This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

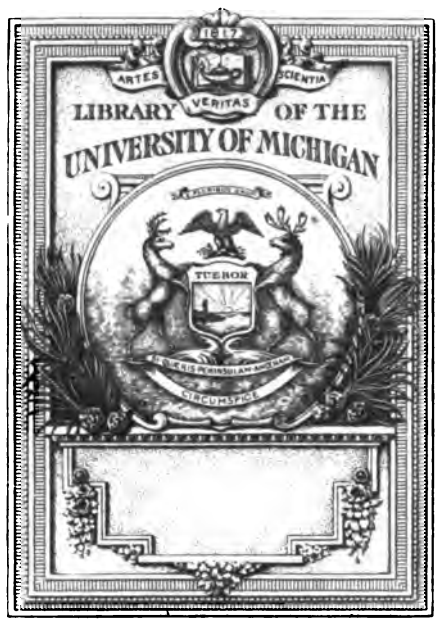
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR

DK
3
.R97

I Russkoe istoricheskoe obshchestvo.

DK
R97

СБОРНИКЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

v. 41-1

ТОМЪ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1885

СБОРНИКЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

V. 44

СБОРНИКЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

ТОМЪ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1885

Печатано по распоряженію Совѣта Императорскаго Русскаго Историческаго Общества подъ наблюденіемъ Члена Совѣта **Я. К. Грота.**

Типографія Императорской Академіи Наукъ.
(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

ПИСЬМА
ГРИММА КЪ ИМПЕРАТРИЦѢ ЕКАТЕРИНѢ II

ИЗДАННЫЯ

Я. Гротомъ.

ВТОРОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ.

LETTRES
DE
GRIMM À L'IMPÉRATRICE CATHERINE II

PUBLIÉES

PAR

Jacques Grot.

SECONDE ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

Гримм-М.
Russ.
5-29-34
29121

Въ XXXIII томѣ Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества напечатаны письма Гримма къ Императрицѣ Екатеринѣ II по подлинникамъ, хранившимся въ Государственномъ архивѣ, частью же доставленнымъ изъ одесскаго архива князя Воронцова. Впослѣдствіи обширное собраніе не вошедшихъ въ этотъ томъ писемъ Гримма къ Императрицѣ найдено было Н. Р. Фурманомъ въ библіотекѣ отца его, въ Привислинскомъ краѣ. Эту драгоцѣнную находку г. Фурманъ въ 1883 году имѣлъ счастіе всеподданнѣйше поднести Августѣйшему Предсѣдателю Историческаго Общества. По передачѣ ихъ, согласно съ Высочайшею волею Государя Императора, въ Государственный архивъ, Историческое Общество возложило на меня порученіе издать ихъ. Въ одномъ томѣ съ этими вновь открытыми письмами опредѣлено было помѣстить и прежде напечатанныя, такъ чтобы тѣ и другія явились вмѣстѣ въ непрерывномъ хронологическомъ порядкѣ. Настоящій томъ и представляетъ осуществленіе этой мысли. Хотя и здѣсь въ собраніи писемъ Гримма оказываются еще довольно значительные пробѣлы, тѣмъ не менѣе письма, которыя нынѣ въ первый разъ издаются, составляютъ весьма существенное дополненіе къ прежнимъ: они содержатъ между прочимъ много но-

выхъ подробностей о событіяхъ Французской революціи и жившихъ въ то время лицахъ, о дѣйствіяхъ союзныхъ державъ въ войнѣ съ Франціею, о взаимныхъ отношеніяхъ европейскихъ кабинетовъ и т. п. Особенно же важны эти письма тѣмъ, что они служатъ къ болѣе полному объясненію изданныхъ въ XXIII томѣ Сборника Историческаго Общества писемъ Екатерины II къ Гримму, въ которыхъ многія мѣста оставались не совсѣмъ понятными по неимѣнію всѣхъ писемъ корреспондента Императрицы. Письма, появляющіяся нынѣ въ первый разъ, означены звѣздочками на поляхъ. Для иностранныхъ читателей, къ настоящему тому прилагается французскій переводъ предисловія къ письмамъ Екатерины II, а также помѣщенныхъ при нихъ примѣчаній и указателя.

Въ заключеніе здѣсь будетъ умѣстно сообщить нѣсколько свѣдѣній о положеніи Гримма въ царствованіе Императора Павла. Въ послѣднее время своей жизни Екатерина II назначила его русскимъ резидентомъ въ Гамбургѣ, но при кончинѣ ея онъ оставался еще въ Готѣ. Получивъ роковое извѣстіе, онъ $^{5}/_{16}$ декабря 1796 г. обратился къ ея преемнику съ письмомъ, въ которомъ, выразивъ свое неутѣшное горе и заявивъ, что имъ уже принесена присяга на вѣрность Русскому Государю, онъ доноситъ, что по совершенно разстроенному здоровью лишенъ возможности, въ тогдашнее зимнее время, отправиться къ своему новому посту. Какъ это письмо, такъ и два позднѣйшія хранятся въ Государственномъ архивѣ. Изъ письма Гримма отъ $^{17}/_{28}$ марта 1797 г. видно, что Императоръ Павелъ лично отвѣчалъ ему, милостиво дозволивъ обращаться прямо къ Его Величеству и сохранивъ за нимъ почетную обязанность быть посредникомъ въ щедротахъ, на продолженіе которыхъ Государь изъявилъ свое согласіе, повелѣвъ выдать пособія: маршалу де Кастри, графинѣ Рошламберъ и графинѣ Шуазэль, аббатиссѣ монастыря Св. Людовика. Послѣдняя была поручена особенному вниманію

Гримма и должна была, по назначенію покойной Императрицы, получить 300 луи; вскорѣ послѣ того Государь самъ удостоилъ ея письма́ и обратилъ ей это пособіе въ пенсію. Маршалу де Кастри Екатериною было пожаловано ежегодное пособіе до возстановленія порядка во Франціи.—Отъ $^{17}/_{28}$ же марта Гриммъ сообщаетъ письмо, только что полученное имъ изъ Бланкенбурга и доставленное ему по повелѣнію Людовика XVIII чрезъ графа д'Аварэ (d'Avaray). Оно извѣщало, что „директорія въ своей премудрости опредѣлила принести въ жертву три коронованныя главы: Императора Павла и королей Прусскаго и Сардинскаго. Въ газетахъ пишутъ, что въ Бреславлѣ арестовано нѣсколько человѣкъ, уличенныхъ въ заговорѣ. Есть также планъ умертвить Павла I во время коронаціи: во главѣ этого замысла князь Орловъ. Въ заговорѣ участвуютъ 360 уволенныхъ офицеровъ. Какого-то Мореля, сенатскаго курьера, живущаго въ Петербургѣ близъ Поцѣлуева моста, снабдили горючими веществами, чтобы предать пламени московскій дворецъ. Содержимый въ оковахъ поручикъ можетъ дать болѣе подробныя свѣдѣнія“. Письмо къ Императору Павлу отъ $^{5}/_{16}$ февраля 1798 г. писано уже изъ Гамбурга, но не самимъ Гриммомъ, который, давно страдая болѣзнію глазъ, между тѣмъ почти совершенно ослѣпъ. Въ этомъ письмѣ Гриммъ отдаетъ отчетъ о мѣрахъ, принятыхъ имъ, вслѣдствіе собственнаго его вызова, по порученію Государя: дѣло шло о томъ, чтобы чрезъ нѣкоего Галлера (Haller, сына знаменитаго поэта), бывшаго въ Раштадтѣ и пользовавшагося особеннымъ довѣріемъ Бонапарта, привлечь послѣдняго на сторону короля Людовика XVIII. Этимъ письмомъ кончается переписка знаменитаго корреспондента Екатерины II съ Павломъ Петровичемъ. Гриммъ прожилъ до 1807 г. О послѣднихъ годахъ его жизни извѣстно очень мало. Для насъ всего важнѣе то, что свято сбереженныя имъ письма Екатерины II были, по его распоряженію, послѣ смерти его, отправлены къ Императору Александру Павловичу и

такимъ образомъ потомству сохраненъ этотъ драгоцѣнный историческій памятникъ.

До сихъ поръ біографическія свѣдѣнія о Гриммѣ были вообще довольно скудны; недавно они пополнены обширнымъ и превосходнымъ трудомъ извѣстнаго французскаго писателя г. Эдмонда Шерера (Scherer), который, составляя жизнеописаніе Гримма, пользовался многими новыми источниками и между прочимъ издаваемыми нынѣ письмами, посылавшимися ему по мѣрѣ печатанія. Эта замѣчательная біографія появилась въ Revue des deux Mondes, начиная съ 15-го октября минувшаго года.

Я. Гротъ.

Январь 1886.

Dans le volume XXXIII du „Recueil“ de la Société Impériale d'histoire russe furent publiées les lettres de Grimm à l'Impératrice Catherine II d'après les originaux conservés pour la plupart dans les archives de l'état, et en partie dans celles du prince Vorontsov à Odessa. Plus tard une riche collection de lettres inédites de Grimm à l'Impératrice fut trouvée en Pologne par M. Fuhrmann dans la bibliothèque de son père. En 1883 il eut le bonheur de pouvoir présenter cette précieuse trouvaille à l'auguste Président de la Société historique. Conformément à la volonté souveraine de Sa Majesté Impériale ces lettres furent déposées aux archives de l'état, et la Société me confia le soin de les publier. Il fut décidé que les lettres parues antérieurement entreraient aussi dans la nouvelle édition, pour que, placées dans l'ordre chronologique, toutes ces missives formassent un tout complet. Le volume actuel vient justement réaliser cette idée. Quoique ce recueil des lettres de Grimm présente encore bien des lacunes, néanmoins celles qui sont données ici pour la première fois, viennent considérablement compléter les lettres publiées précédemment. Entre autres, elles contiennent beaucoup de nouveaux détails sur les évènements de la

Révolution française, sur différents personnages contemporains de ces évènements, sur les actes des puissances coalisées en guerre avec la France, sur les rapports entre les cabinets européens etc. Mais le mérite principal de ces lettres, c'est qu'elles servent pour ainsi dire de commentaire, de pièces explicatives aux lettres de Catherine II à Grimm (t. XXIII du „Recueil" de la S. H.), dont plusieurs passages étaient tant soit peu difficiles à comprendre en l'absence des lettres du correspondant de l'Impératrice. Toutes celles qui paraissent actuellement pour la première fois sont marquées d'un astérisque en marge. Pour les lecteurs étrangers, nous joignons à ce volume une traduction française de la préface mise en tête des lettres de Catherine II, ainsi que des notes et de l'index analytique qui les accompagnent en russe.

Il ne sera pas hors de propos de communiquer ici quelques détails sur la position de Grimm sous le règne de l'Empereur Paul. Peu de temps avant son décès, Catherine II l'avait nommé résident russe à Hambourg; mais il était encore à Gotha quand elle mourut. Ayant reçu la fatale nouvelle, il adressa le 5 (16) décembre 1796 une lettre à l'Empereur, dans laquelle, après avoir peint sa douleur profonde, il lui apprenait qu'il avait déjà prêté serment de fidélité au souverain de toutes les Russies, et expliquait en même temps que sa santé, complètement délabrée, ne lui permettait pas de se rendre à son nouveau poste pendant l'hiver. Cette lettre, aussi bien que deux autres, écrites plus tard, se trouvent aux archives de l'état. La lettre de Grimm, du 17 (28) mars 1797, prouve que l'Empereur Paul lui répondit et lui donna l'autorisation de s'adresser toujours directement à Sa Majesté, en même temps qu'il lui conservait le poste honorifique d'intermédiaire dans la distribution des largesses confirmées et continuées par le souverain, lui ordonnant en outre de remettre des secours au maréchal de Castries, à la comtesse de Rochelambert et à la comtesse de Choiseul, abbesse du couvent de St.-Louis. Cette dernière fut spécialement

recommandée aux bons soins de Grimm et dut recevoir 300 louis que lui avait destinés la défunte Impératrice. Bientôt après, le souverain l'honora elle-même d'une lettre, par laquelle il convertit ce secours en pension annuelle. Le maréchal de Castries recevait déjà une pension que Catherine lui avait allouée jusqu'au rétablissement de l'ordre des choses en France. C'est aussi le 17 (28) mars que Grimm communiqua une lettre qu'il venait de recevoir de Blankenbourg et que le comte d'Avaray lui apporta par ordre de Louis XVIII, laquelle annonçait que „le Directoire avait décidé „dans sa sagesse qu'il fallait immoler trois têtes couronnées: l'em„pereur Paul, le roi de Prusse et le roi de Sardaigne. Les gazettes", continuait le correspondant, „parlent de plusieurs particuliers arrêtés „à Breslau comme prévenus de conspiration et en nomment plu„sieurs. On se propose aussi de faire assassiner Paul lors de son „couronnement: le prince Orlov est à la tête de cette entreprise. „Les 360 officiers licenciés en sont. Un certain Morel, courrier du „sénat, demeurant à Pétersbourg, près du pont Pozaloe *(sic)* est „chargé de matières combustibles pour le château de Moscou. Le lieu„tenant qui a été mis aux fers peut donner plus de renseignements".

La lettre de Grimm à l'Empereur Paul, du 5 (16) février 1798, est datée de Hambourg, mais elle est écrite d'une main étrangère, car Grimm, qui souffrait des yeux depuis longtemps déjà, avait alors presque totalement perdu la vue. Grimm y rend compte des mesures qu'il a prises, et dont le souverain l'avait chargé sur son offre personnelle: il s'agissait de se servir d'un certain Haller (fils du célèbre poète de ce nom), qui était alors à Rastadt, et jouissait de la confiance particulière de Bonaparte, pour gagner ce dernier en faveur de Louis XVIII. Cette lettre est la dernière de celles que le célèbre correspondant de Catherine II écrivit à Paul Petrovitch. Grimm vécut jusqu'à 1807. Nous manquons de détails sur les dernières années de sa vie. Ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est qu'il a pieusement conservé les lettres de Catherine II; elles furent transmises,

conformément à ses intentions, à l'Empereur Alexandre Pavlovitch, grâce à quoi ce précieux monument historique n'a pas été perdu pour la postérité.

Jusqu'ici la biographie de Grimm n'avait pas été suffisamment étudiée, mais elle vient d'être complétée par le vaste et excellent travail de M. Edmond Scherer. Cet écrivain distingué a su se procurer pour cette œuvre beaucoup de nouveaux documents et s'est aussi servi, entre autres, des présentes lettres, qui lui furent communiquées à mesure qu'elles quittaient la presse. Cette biographie remarquable a paru dans la „Revue des deux Mondes", à partir du 15 octobre de l'année dernière.

Jacques Grot.

Janvier 1886.

PRÉFACE DU TOME XXIII.

LETTRES DE CATHERINE II À GRIMM.

L'Impératrice Catherine II n'a entretenu avec personne une correspondance aussi suivie, aussi étendue et aussi intime qu'avec Frédéric-Melchior Grimm, ce critique renommé qui appartenait au cercle des encyclopédistes. De cette correspondance les lettres de l'Impératrice sont seules conservées au complet, et ce sont elles qui forment le contenu du présent volume [1]). L'auguste Président de la Société d'histoire russe a bien voulu permettre de les détacher de la collection générale des papiers de l'Impératrice et d'en faire un livre à part.

La correspondance de Catherine II avec Grimm commença au printemps de 1774 et se continua presque jusqu'à la mort de la grande souveraine. L'histoire des relations de Grimm avec l'Impératrice de Russie est racontée par lui-même dans un mémoire inséré dans le tome II du „Recueil" de la Société historique. Nous allons en extraire ci après les traits les plus marquants, mais d'abord nous dirons quelques mots sur les circonstances antérieures de la vie de l'auteur de ce mémoire. Grimm était originaire de l'Allemagne; il naquit en 1723 à Ratisbonne et fit ses études à l'université de Leipzig, où il suivit entre autres les cours du célèbre Ernesti. Après avoir fini ses études, il se rendit à Paris avec le comte Schoenberg, en qualité de précepteur des enfants de ce dernier. Sa position dans cette famille lui donna accès dans les meilleures maisons de

[1]) C'est à l'année 1878 que se rapportent ces paroles.

Paris, et lui permit de se lier avec les hommes de lettres les plus éminents, tels que d'Alembert, Jean Jacques Rousseau, Diderot, d'Holbach et autres. Mais Rousseau, pétri d'amour-propre et irritable à l'excès, ne fut pas longtemps l'ami de Grimm, et dans ses „Confessions" il donna une preuve évidente de sa haine contre celui-ci. C'est à Rousseau que Grimm fut redevable de son rapprochement avec M^me^ d'Epinay, dont on connaît les mémoires et le livre d'éducation „Les Conversations d'Emilie", souvent mentionné dans les lettres de l'Impératrice.

Vers cette époque il s'éleva dans la littérature une discussion chaleureuse sur la supériorité relative de la musique française et de celle des Italiens. Tout Paris s'intéressait à cette controverse; Grimm y prit part, et ce fut là l'origine de sa gloire littéraire. Se joignant aux partisans de la musique italienne, il écrivit pour sa défense une brochure très spirituelle „Le petit Prophète de Boemischbroda", qui attira sur lui l'attention générale.

C'était en 1753; la même année Grimm entreprit un autre genre de travail littéraire, qui lui valut un nom distingué parmi écrivains et les critiques du XVIII siècle. Il faisait la „Correspondance littéraire", c'est-à-dire qu'il communiquait aux cours étrangères une relation, accompagnée d'observations critiques, des nouveautés de la littérature française. D'abord il n'envoya ces relations qu'à la princesse de Saxe-Gotha, mais ensuite plusieurs princes d'Allemagne se montrèrent désireux de les avoir, ainsi que d'autres princes de l'Europe, auxquels se joignirent, après 1760, Frédéric II et l'Impératrice de Russie.

Quand il arrivait à Grimm de s'absenter de la capitale, Diderot faisait ce travail pour lui. La première édition de la Correspondance littéraire, qui a duré jusqu'en 1790, ne parut qu'en 1812[1]), mais depuis elle a été rééditée plusieurs fois, souvent complétée;

[1]) Elle fut imprimée sous le titre de «Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot». Tout récemment une nouvelle édition de cette Correspondance a été faite à Paris par M. Maurice Tourneux.

cependant jusqu'à présent le texte de son contenu présente encore quelques lacunes. Un exemplaire manuscrit se trouve aux archives des ducs de Gotha (Cod. Chart. B. 1138) [1]).

Cette correspondance, expédiée sous forme de circulaire, deux fois par mois, ne doit pas être confondue avec la correspondance intime à laquelle appartiennent les lettres présentement éditées. Cette dernière eut pour origine le voyage de Grimm à Pétersbourg en 1773, où il vint faisant partie de la suite de la landgrave de Hesse-Darmstadt Caroline, à l'occasion du mariage du grand-duc Paul Petrovitch avec la fille de cette dernière; la jeune princesse reçut le nom de Natalie Alexeievna.

Au dire de Frédéric II, Grimm possédait au plus haut degré la connaissance des hommes et un tact remarquable dans ses relations avec les puissants de la terre. Dès sa première présentation à Catherine II il sut, comme il le raconte lui-même dans son mémoire historique, gagner sa sympathie et toute sa confiance, de sorte qu'il reçut bientôt l'offre d'entrer au service de la Russie. Cette offre fut renouvelée plusieurs fois dans la suite, mais il ne voulut jamais l'accepter, prétextant son ignorance absolue de la langue russe et son âge avancé. En réalité il ne croyait sans doute pas à la stabilite de la position qu'il occuperait dans un pays étranger. Néanmoins l'Impératrice daigna l'honorer de conversations journalières, qui se distinguaient par leur ton familier, leur abandon et duraient souvent des heures entières.

A son départ, au printemps de 1774, l'Impératrice lui exprima le désir de correspondre avec lui. Cette correspondance s'ouvrit par les lettres que Grimm écrivit pendant son voyage. Le volume XXIII de notre „Recueil" commence par la réponse de Catherine II à une lettre reçue de Riga. Vers la fin de l'année 1776 leur correspondance fut

---

[1]) L'exemplaire de «La Correspondance littéraire» de Grimm qui se trouvait entre les mains de Catherine II, est conservé à Moscou aux archives du ministère des affaires étrangères. Pendant que se préparait l'édition du tome présent, le baron Buehler eut l'obligeance de le faire transporter aux archives de l'état. Cet exemplaire est plus complet que le texte des premières éditions, mais il paraît qu'il ne manque pas d'omissions non plus.

interrompue par une seconde visite de Grimm à Pétersbourg, visite qu'il fit après son voyage en Italie. Cette fois son séjour à la cour de Catherine II dura près d'un an; il fut présent au second mariage du grand-duc et eut occasion de gagner la faveur du roi de Suède Gustave III, qui visita Pétersbourg en 1777; sur son invitation Grimm prit le chemin de la Suède pour retourner en France. Les relations personnelles de Grimm avec les principaux artistes de l'Italie donnèrent lieu à l'Impératrice de faire venir, par son entremise, des tableaux, des camées et autres œuvres d'art. Des sommes prodigieuses passèrent par ses mains, tant pour ces commissions que pour la distribution des secours généreux accordés par l'Impératrice aux personnes qui s'adressaient à sa bienfaisance, ou bien pour des récompenses à accorder à ceux qui lui envoyaient leurs livres, manuscrits et autres offrandes du même genre. La première place, parmi ces personnes, appartenait à M^me^ d'Epinay, qui lui envoya, par l'intermédiaire de Grimm, ses „Conversations d'Emilie". Grâce à l'intercession de l'Impératrice auprès du ministre de France, comte de Ségur, la petite-fille de cette dame, Emilie de Belzunce, fut mariée à de Bueil, lieutenant-colonel des gardes françaises, et prise par Louis XVI sous sa protection particulière. Cependant Grimm lui-même, déjà créé baron du Saint-Empire Romain, fut honoré par l'Impératrice de la dignité de conseiller d'état et du cordon de second rang de l'ordre de St. Vladimir qu'elle venait d'instituer. Outre cela Catherine lui fixa une gratification annuelle de deux mille roubles et lui accorda souvent encore d'autres récompenses pécuniaires.

Les désordres qui servirent de précurseurs à la Révolution, firent voir à Grimm la nécessité de quitter la France. Il fit un voyage en Allemagne, aux Pays-Bas et s'éloigna définitivement de Paris en 1792 après le départ du comte Simolin, ministre de Russie. Il est à noter que les années précédentes Grimm avait lui-même appartenu au corps diplomatique, en qualité de représentant de la cour de Saxe-Gotha à Paris.

Après avoir quitté la France, il s'installa d'abord à Francfort

sur-le-Mein, puis à Gotha, où l'Impératrice lui confia le poste de ministre de Russie dans les états de la Basse-Saxe. Enfin, peu avant sa mort, Catherine II le nomma son résident à Hambourg. L'Empereur Paul I le confirma dans cette dignité, qu'il garda jusqu'à ce que la cruelle maladie qui le priva d'un œil ne le mit dans l'impossibilité de remplir ses fonctions. Il mourut en 1807, âgé de 84 ans.

M-me d'Epinay était morte en 1783. Quand sa petite-fille, M^lle^ de Bueil, devint mère d'une fille, puis d'un fils, l'Impératrice fut leur marraine et, en son honneur, la première reçut le nom de Katinka, le second, celui de Catau. Cette famille adoptée par Grimm quitta Paris et se rendit avec lui en Allemagne. En prévoyance de sa mort, il légua les deux enfants à l'Impératrice, qui lui fit la grâce d'accepter ce legs et ne cessa jamais de prendre l'intérêt le plus sincère à leur sort.

Pendant les absences prolongées de Grimm, ses papiers restaient à Paris en mains sûres. Néanmoins l'Impératrice commença à montrer quelque inquiétude sur le sort de ses lettres, craignant de les voir tomber entre les mains des ennemis de l'autorité royale et qu'elles fussent publiées. Grimm finit par entreprendre le voyage de Paris dans le but unique de sauver ses papiers, et il réussit à les transporter intacts en Allemagne. Cependant les appréhensions de l'Impératrice au sujet de la conservation de ses lettres ne cessèrent pas, et elle donna plusieures fois à Grimm le conseil de les brûler. Grâce à ses soins elles ne furent pas perdues pour la postérité; par une disposition testamentaire, faite pendant le règne de l'Empereur Paul I, il ordonna que dix ans après sa mort ces lettres fussent remises au grand-duc Alexandre Pavlovitch. Nous n'avons pas réussi à retrouver les documents concernant cette disposition, mais la clause du testament fut, — tout porte à le croire, — accomplie ponctuellement, car les précieuses lettres se trouvent depuis longtemps aux archives de l'état. Elles forment deux gros cahiers reliés, et, à l'exception de quelques-unes, qui y ont éte placées au hasard, toutes sont rangées dans un ordre chronologique régulier. La sincérité

dont elles sont pénétrées, malgré leur ton, pour la plupart du temps, peu sérieux, souvent même badin, et la variété de leur contenu, font de ces lettres des pièces historiques d'un haut intérêt. Elles furent d'abord expédiées par la poste, ce qui donnait à l'auguste correspondante l'occasion de se moquer de la curiosité des employés postaux; plus tard Grimm proposa de les envoyer par des courriers qu'il fut résolu d'expédier tous les trois mois. Grâce à cet arrangement les lettres s'écrivaient peu à peu, pendant un espace de temps assez long, ce qui leur donnait un caractère de journal, où l'Impératrice notait sans façon (et sans mettre au net ce qu'elle avait jeté sur le papier) ses impressions, ses pensées, ses vues et ses intentions, aussi bien que les événements de sa vie présents ou à venir. Elle fait souvent elle-même l'observation que jamais elle n'a écrit à personne des lettres de ce genre, et rappelle qu'elles ne peuvent être imprimées avant cent ans révolus. Cette idée de la grande Impératrice s'est effectuée littéralement, puisqu'il y a maintenant plus d'un siècle que cette correspondance fut commencée par elle. Malheureusement les lettres de Grimm font défaut: il ne s'en est conservé qu'une partie; elles seront insérées dans un des volumes suivants du „Recueil". Et cependant, en l'absence d'un grand nombre des lettres de Grimm, bien des choses, dans les réponses de l'Impératrice, restent tant soit peu obscures. Souvent aussi l'obscurité est causée par une autre raison: par une prudence facile à comprendre, plusieurs personnes, ainsi que bien des circonstances, ne sont désignées que par des noms supposés ou des expressions allégoriques qu'il n'est pas toujours possible de deviner. Quelques-uns de ces termes de convention sont en français, d'autres en allemand. Voici ceux d'entre eux dont l'explication nous paraît presque certaine: l'homme aux deux physionomies veut dire Joseph II, avant que l'Impératrice eût fait sa connaissance personnelle; une fois il est désigné par l'expression de piccolo bambino (bébé); Manman c'est sa mère, Marie-Thérèse; frère Ge signifie le roi d'Angleterre George III; Hérode—Frédéric II; frère Gu—d'abord le roi de Suède Gustave III, puis Frédéric-Guillaume II;

Gegu, deux des dits rois ensemble; Antonin et Falstaff — Gustave III; les Secondats — est employé dans un sens divers: quelquefois ce nom veut dire Frédéric II et Joseph II, d'autres fois — le grand-duc Paul Petrovitch et son épouse; les épiciers sont les Suédois; marchands drapiers — les Anglais; marabouts — les Turcs; **arme Leute** (pauvres gens) — les Français du temps de la révolution; égrillarde — la révolution même; purée de pois, soupe aux pois — la diplomatie et les diplomates (comme choses indigestes); **Paßgänger** (littéralement, cheval d'amble) — des ministres incapables, agissant mal, irrégulièrement, etc. L'ambassadeur de Prusse Goertz et le ministre des affaires étrangères de cette puissance Herzberg déplaisaient tout particulièrement à l'Impératrice. Faisant allusion à son caractère froid et dissimulé, elle appelle le premier d'entre eux la glace ou le boutonné; pour peindre le caractère hautain et altier du second, elle traduit son nom en français et le nomme: cœur de Montorgueil; Grimm lui-même est le plus souvent désigné par le surnom de souffre-douleur, ou bien par l'expression de gens de Grimma (nom d'un arrondissement et d'une ville en Saxe), ou bien encore il est honoré du titre de Solon d'Allemagne. Des personnes de l'entourage immédiat de l'Impératrice, M. Korsakov est toujours nommé Pyrrhus, roi d'Epire, M. Mamonov — l'habit rouge. Le mot de **Kötyher** (dérivatif de **Koth**, la boue) se rencontre souvent dans les lettres des dernières années et signifie les auteurs de l'anarchie en France. L'Impératrice donne elle-même l'explication de ce terme (page 609), ainsi que de ceux de **Bärenhäuter** (les paresseux) et **Bärenreiter** (cavaliers montés sur des ours), qui l'accompagnent presque toujours. Dans les mêmes lettres il est souvent fait mention du pair d'Ecosse, qui d'ailleurs est désigné quelquefois simplement par son nom. C'est Findlater, Ecossais, qui passa sa vie en Allemagne, vivant tantôt à Francfort, tantôt dans quelque autre ville qu'il prenait à tâche d'embellir de jardins (il est mort à Dresde en 1811). Le surnom de St. Nicolas ou de votre saint tout court, désigne le comte Nicolaï Petrovitch Roumiantsov, notre ministre à Francfort.

En imprimant ces lettres j'ai eu soin de n'y rien changer excepté l'orthographe et la ponctuation; car sous ce rapport l'Impératrice agissait, comme elle le reconnaissait elle-même d'ailleurs, d'une manière très inconséquente et fort arbitraire, au point que la clarté du sens des phrases en souffrait parfois. La quantité des inexactitudes orthographiques dont ses lettres originales sont remplies, a été cause de ce que quelques fautes d'impression se sont glissées dans notre texte malgré la lecture des épreuves la plus attentive. Quant aux incorrections, ou plutôt aux particularités de langage, qui influent sur la prononciation même des mots, je ne me suis pas cru en droit de les corriger. Ainsi, par exemple, j'ai laissé tous les verbes qui suivent la conjonction *si* au futur et au conditionnel *(si je prendrai, si vous voudriez)*, quoique cela soit contraire aux règles de la grammaire française de notre temps. J'ai de même laissé sans changement les formes irrégulières de quelques verbes, comme *il bouille* au lieu de *il bout*, et plusieurs autres tours de mots et de phrases aussi peu corrects sous le rapport de la syntaxe. Malgré les imperfections de ce genre, les lettres françaises de Catherine II démontrent une connaissance si particulière de cette langue, étrangère pour l'Impératrice, de son esprit et de ses idiotismes, que cela seul les rend remarquables, indépendamment même de la richesse variée et du haut intérêt de leur contenu. Il est curieux de dire que l'Impératrice elle-même attribuait à l'influence de Voltaire la supériorité de son style. Par rapport aux tirades allemandes qui se rencontrent souvent dans ses lettres, il faut remarquer qu' à l'époque de l'enfance de Catherine II les formes de sa langue maternelle étaient bien loin d'être établies comme elle le sont à présent, et voilà pourquoi ces tirades sont bien plus remplies d'expressions surannées que le langage français de l'Impératrice. Ainsi elle emploie toujours **vor** au lieu de **für**, se trompe sur la terminaison des cas etc. etc. Ici comme ailleurs je ne me suis permis que les plus légères corrections d'orthographe.

Le volume est pourvu d'un index alphabétique de noms pro-

pres, auxquels j'ai joint des explications de faits, autant que le permettaient le contenu varié des lettres et le genre des notions pour la plupart fugitives qu'elles renferment.

Pour conclure, je crois de mon devoir de mentionner ici avec reconnaissance la coopération bienveillante que j'ai trouvée à la Bibliothèque Impériale publique et à celle de l'Académie des sciences de la part de mes estimables confrères M^rs^ Bytchkov, Kunik et Schiefner. Ils m'ont beaucoup aidé dans la recherche des matériaux concernant les notes, dont la nécessité se faisait surtout sentir dans la première partie du volume, où des expressions difficiles à expliquer et les noms se rencontrant pour la première fois, avaient besoin d'être commentés.

Juillet 1878.

Jacques Grot.

LETTRES DE GRIMM À L'IMPÉRATRICE CATHERINE II.

I.

A Paris, ce 26 janvier 1764.

Madame. Depuis les bontés dont Votre Majesté Impériale a comblé un des plus célèbres philosophes de la France, tous ceux qui cultivent les lettres et qui pensent, quelque lieu de l'Europe qu'ils habitent, se sont regardés comme vos sujets. Les plus obscurs comme les plus illustres d'entre eux ont osé se persuader d'avoir une part immédiate à la protection de Votre Majesté Impériale, et la grâce que Votre Majesté vient de m'accorder, leur doit prouver en effet que vos bontés ne connaissent ni exceptions, ni bornes.

C'est donc avec une entière confiance que je porte mes hommages aux pieds de Votre Majesté Impériale. Si les devoirs pénibles de la souveraineté vous permettent, Madame, de satisfaire la passion que toutes les grandes âmes ont montrée pour les lettres dans tous les siècles; si vous daignez jeter un regard favorable sur ces feuilles, Votre Majesté Impériale voudra bien considérer que la rapidité et la régularité d'un travail périodique ne sauraient comporter une certaine correction, et que la liberté et le secret qu'il exige ne peuvent être que le fruit de la plus grande indulgence.

Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

II.

Lettre de Grimm au vice-chancelier prince Galitsine [1].

A Paris, ce 26 janvier 1764.

Monseigneur. Je prends la liberté d'adresser à Votre Excellence la correspondance littéraire dont Sa Majesté Impériale veut bien agréer l'hommage. Il faut être bien hardi pour oser paraître devant une princesse qui porte dans les lettres ce même esprit supérieur qui règle la destinée d'un grand empire; mais je paraîtrai aux yeux de Sa Majesté Impériale sous la protection de Votre Excellence, et cette circonstance seule peut me rassurer.

La crainte qui me reste, Monseigneur, c'est que M. le prince Galitsine, ministre plénipotentiaire de l'Impératrice à la cour de France [2], par un excès de bonté pour moi n'ait inspiré à Votre Excellence des idées trop favorables de mes faibles talents. Qu'il me soit permis de remplacer ce qui me manque de ce côté-là par les efforts que je ferai pour soutenir les regards de Sa Majesté Impériale. Après la reconnaissance que je dois à Votre Excellence d'avoir fait agréer cette correspondance à Sa Majesté, qu'il me soit permis, Monseigneur, de compter en tous les temps sur votre protection et sur votre indulgence.

Je profiterai de la permission que M. le prince Galitsine m'a donnée d'adresser mes paquets régulièrement tous les quinze jours à Votre Excellence. Je suis avec un profond respect, Monseigneur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur Grimm.

III.

Au même.

A Paris, ce 4 avril 1765.

Monseigneur. J'ai reçu la lettre dont Votre Excellence m'a honoré, avec les bienfaits dont Sa Majesté Impériale a daigné récompenser mon travail. Le plus précieux de ces bienfaits est l'indulgence et la bonté avec lesquelles cette grande et auguste princesse veut bien le recevoir.

---

[1] Князь Александръ Михайловичъ. — Вверху письма по-русски приписано: «Получено 13-го февраля 1764 г.» На первой страницѣ внизу по-русски же: «Возвращено изъ дворца 26-го февраля 1764 г.»

[2] Дмитрій Алексѣевичъ, впослѣдствіи посланникъ въ Гагѣ.

Rien ne manquerait à mon bonheur si, en guidant mon zèle et le fixant sur les objets de préférence et sur les goûts particuliers de Sa Majesté Impériale, quelqu'un voulait m'enseigner les moyens de rendre ce travail moins indigne de ses augustes regards; mais ce n'est pas d'un ministre chargé du fardeau des affaires publiques que j'ose attendre cette grâce.

Ce que j'ose vous demander, Monseigneur, c'est de me continuer vos bontés, de me permettre de porter, sous les auspices de Votre Excellence, mes hommages aux pieds de Sa Majesté Impériale, et d'agréer le profond respect et la vive reconnaissance avec lesquels je suis, Monseigneur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

IV.

Madame. Votre Majesté Impériale est si souverainement bonne que je me ferais conscience de ne pas la tracasser aussi un peu de mes folies. J'ignore encore si j'aurai le courage de remettre ce paquet à Votre Majesté, mais si cela m'arrive, j'exige que Votre Majesté le garde sans l'ouvrir jusqu'à la première matinée où elle n'aura rien à faire pendant son déjeuner. J'exige encore que Votre Majesté ne me fasse pas ressentir les effets de sa colère si ce radotage l'excède et lui déplaît, parce qu'on n'est pas coupable pour avoir le transport au cerveau.

J'exige enfin que, m'ayant accordé tant de bonté et de grâces sans aucun motif, Votre Majesté me les conserve jusqu'à mon dernier instant et que je puisse mourir avec le plus profond respect comme avec la reconnaissance la plus légitime, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur Grimm.

Ce jour salutifère de sainte Catherine, 24 novembre 1776.

CONFESSION GÉNÉRALE.

Avant tout

il faut dire le Crédo.

Je crois en Catherine, unique quoique seconde, et seconde quoiqu'unique, parce que seconde peut aussi signifier en latin favorable; toute-puissante sur les coeurs; créatrice de toutes choses en Russie et autres lieux qui s'en doutent ou ne s'en doutent pas.

* Et en sa bonté consubstantielle et incarnée avec elle, qui s'est fait verbe et s'est manifestée dans la plénitude des temps, pour racheter tout ce qui s'est confié en elle, et par laquelle, du moment que je l'ai connue, j'ai été régénéré à une nouvelle vie, ainsi qu'il est arrivé à tout ce qui l'approche à onze mille verstes à la ronde.

Je crois aussi en son saint esprit, supposé que saint signifie grand; illuminant, épurant, pénétrant, vivifiant; par l'inspiration duquel je me suis senti la suprême vertu de m'élever au-dessus de moi-même, et de me tenir debout au pied de son trône de miséricorde.

Trinité indivisible en une seule personne, toujours agissante, le matin pour la prospérité de son empire, le soir pour le charme de sa cour; hors de laquelle il n'y a point de salut, et en laquelle tous ceux qui espèrent comme moi, trouveront la rédemption et la rémission de leurs fautes. Ainsi soit-il! Amen.

Après avoir dit ce Crédo accompagné d'un *Mater nostra qui es en Russie*, il faut faire un acte de contrition, et se prosterner devant Catherine seconde quoiqu'unique, et lui confesser avec une sainte naïveté toutes mes misères, chimères, visions, imaginations et autres symptômes de folie.

Et dans cet état d'exaltation, en m'adressant à la bonté ineffable de l'Impératrice je chanterai:

Ici
commence la Lamentation de Jérémie le Prophète.

Aleph. 1. Comment est-il arrivé que ce qui donne et conserve la vie à tout le monde, m'a procuré la mort?

2. J'ai connu trop tard ta loi, et que me sert de l'avoir adorée de loin? Ma vie s'est évaporée sans t'être consacrée, et voilà qu'il faut que je meure sans t'avoir payé de tes bienfaits.

3. Et ta bonté ineffable ne pouvant me rendre mes jours perdus loin de toi, m'a procuré la mort en voulant me donner et conserver la vie.

Beth. 1. Et je me suis éloigné de toi, et j'ai cru que n'étant plus témoin de ta bonté ineffable, je pourrais en perdre la mémoire ou en affaiblir l'image pour m'en souvenir avec tranquillité.

2. Et je me suis dit: Pour l'oublier et pour me rendre à moi-même, opposons lui les monuments subsistants de la grandeur romaine, et les rui-

nes de l'ancien monde, et les volcans et les traces des grandes catastrophes de la nature, et tout ce qui fait de profondes impressions sur la pensée de l'homme; et je me suis souvenu de toi davantage.

3. Et j'ai erré sur la terre trois années, et quoique l'univers soit rempli de l'éclat de ton nom, j'en ai senti l'aspect flétri et privé de son charme, parce que je ne tenais plus à toi que par mon coeur et non par mon sort, et je me disais: La vie qui ne lui appartient pas, est elle bonne à conserver?

Ghimel. 1. Et voici que je me retrouve à tes pieds contre le conseil de ma raison et en dépit de ses menaces; et je m'y suis senti entraîné par ce pouvoir invisible et irrésistible qui émane de toi.

2. Et j'ai dit: Revoyons-la et mourons. Et j'ai dit: Elle saura rendre possible ce qui est impossible, et te tromper sur ta destinée, et te faire croire que, même loin d'elle, tu peux lui rester consacré, toi et toutes tes facultés.

3. Et voilà qu'il faut que je meure, car rien de semblable n'est entré dans sa pensée, quoique son coeur soit toujours rempli de bonté et de miséricorde.

4. Que la miséricorde de Catherine seconde et unique soit louée èt célébrée à jamais! Alléluia! Chantez lui un cantique nouveau accompagné du psaltérion. Alléluia!

Ici

finit la Lamentation de Jérémie le Prophète, et commence le *Te Catharinam laudamus* de Paisiello.

Le cantique Ambrosien achevé, la liturgie de l'ancienne et de la nouvelle loi cesse. Le langage mystique et théologique disparaît. Je ne chante plus, je ne parle plus, je ne pleure plus, je ne ris plus. Je présente à l'Impératrice un cahier de mes griefs qu'elle est très humblement et très sérieusement suppliée de prendre en considération et de redresser. Et pour que Sa Majesté Impériale ne dise pas que je l'ai jugée sans l'entendre, je plie mon papier en deux et lui accorde le droit de mettre à côté de mes griefs tout ce qu'elle estimera le plus propre à ses défenses, pour valoir ce que de raison, le tout sans rancune de part et d'autre. Tant mieux pour Sa Majesté, et je me réjouirai cordialement avec elle, si elle se tire de ce mauvais pas à son honneur et gloire.

* CAHIER DE GRIEFS.

Madame,

1. Depuis le premier instant de ma première apparition en Russie, il a plu à Votre Majesté Impériale de conspirer contre mon repos, en me traitant avec une bonté à laquelle je ne puis songer encore actuellement sans accélérer du quadruple la circulation de mon sang, ce qui au calcul le plus modéré donne une fièvre chaude continue des mieux conditionnées avec délire et transport au cerveau. J'ai eu beau crier: N'en faites rien, vous me rendrez malheureux; c'est bien assez que je voie l'Impératrice, il ne faut pas qu'elle me regarde.... Votre Majesté n'a tenu compte de mes cris, elle a toujours été son train, ce qui a augmenté le mal avec une telle rapîdité que non seulement je n'ai plus eu la force de crier, mais que j'eusse crié vingt fois plus fort si je n'avais plus senti ce mal. On ne sera pas bien reçu à me dire: C'est que l'Impératrice est comme cela, elle a ce tort avec tout le monde etc. Car premièrement c'est qu'il ne faut pas être comme cela, et l'on ne doit avoir tort avec personne. En second lieu 'y ai été plus échaudé qu'un autre, puisqu'au bout de trois ans je m'en trouve aussi malade que le premier jour.

2. Je m'étais félicité toute ma vie d'avoir échapé dans mon obscurité aux atteintes de l'ambition. Depuis l'instant fatal où mon repos s'en est allé par une porte, cette ennemie du genre humain est entrée dans mon coeur par l'autre. J'aurais voulu être tout au moins premier moutardier du Pape, pour que l'Impératrice pût dire: Si ma bienveillance n'a pas connu de bornes, c'est en faveur d'un homme si distingué que personne n'y pourra trouver à redire. Je demande qu'on me chasse cette ambition par la porte par où elle est venue, et qu'on me restitue dans mon premier état.

3. Je suis venu au monde sans fortune, et n'ayant jamais ni volé ni su tirer parti de mes occupations, j'ai perdu ma vie à faire un mauvais travail à qui je dois cependant tout mon bonheur qui n'est pas commun. L'état de ma santé m'obligeant d'y renoncer, j'ai trouvé en faisant mon décompte, qu'après en avoir vécu honnêtement pendant vingt ans, je m'en étais encore ménagé un revenu annuel d'environ sept à huit cents roubles. Qu'en arrive-t-il? Ce revenu suffisant pour donner du pain à un philosophe devient trop modique pour un grand seigneur comme moi. En conséquence l'état de mes finances me force, l'année passée, de faire attention malgré moi à l'idée qui vient au duc de Saxe-Weimar de me faire son mi-

* nistre en France. Le duc de Saxe-Gotha qui en doit partager les frais, s'y prête de la manière du monde la plus touchante, et m'envoie ses lettres de créance sans se concerter avec son cousin et sans attendre sa majorité. Me voilà donc installé pour la moitié dans une place honorable, à la vérité sans utilité pour personne et par conséquent sans nul attrait pour moi; mais puisque la nécessité me l'avait fait prendre, encore fallait-il s'y tenir par sagesse, par conscience, par bienséance. La sagesse m'ordonnait de guetter le moment de la majorité du duc de Saxe-Weimar, pour jouir des effets d'un plan formé par lui et pour consolider mon état. La conscience m'exhortait à en remplir les fonctions à l'égard de la cour de Gotha. La bienséance me disait: Es iſt nun einmal Zeit ein ehrbares, ſittſames und ruhiges, obgleich unnützes Leben zu führen. Au lieu d'un parti si sage et si nécessaire, ayant laissé mon repos en Russie pas loin de la maison de sir Thomas Anderson, je me mets à sa poursuite. Je cours en Italie, et l'Impératrice ne rétractant pas sa permission ci-devant donnée, je profite de la proximité pour revenir ici ramasser ce que j'y ai perdu. Tandis que je cours le monde, le jeune duc de Saxe-Weimar prend une allure qui me guérit de l'envie de lui rappeler le plan formé à mon égard. Mes amis de leur côté, me voyant trop malade pour s'opposer à mon dessein, y donnent la main sans consentir, sous quelque prétexte que ce soit, à une separation éternelle.

4. Me voilà donc de retour dans ce lieu fatal où tout dépose de la puissance de l'Impératrice, et où elle est d'autant plus redoutable qu'elle exige moins. Il était un seul moyen de me rendre à moi-même et de me tirer d'un état d'ivresse si dangereux pour moi; c'était de me recevoir avec assez d'indifférence pour me désenivrer subitement. A dire vrai, ma constitution n'était pas assez forte pour supporter un remède de cette violence; mais du moins je croyais pouvoir défier Votre Majesté d'ajouter du poids d'une miette aux bontés faveurs, distinctions de toute espèce dont elle m'avait ci-devant comblé. Qu'il est dangereux de défier l'Impératrice, même à son insu! Chaque jour depuis mon retour j'ai éprouvé un tel redoublement de bonté, de faveur, de distinctions qu'en y pensant je me sens couvert de confusion et qu'il faudra bien que j'en sois suffoqué.

5. Qui voudra ou qui pourra me croire quand je lui dirai qu'étant venu deux fois en Russie, je n'y ai vu, n'y ai connu que l'Impératrice, que je l'ai vue tous les jours, du matin au soir; que j'y ai passé ma vie avec elle; que je n'y ai eu nulle autre affaire que de la voir et de l'entendre, und daß es denn alſo mit mir leider! in kurzer Zeit ſo weit gekommen daß ich durch Gottes und Kaiſerlicher Majeſtät Gnade und Fürſehung Allerhöchſt Deroſelben ordentlicher Koſtgänger geworden. En homme sensé, en homme discret et ré-

* servé, en habile politique enfin, je me dis qu'il est ridicule et impertinent de paraître tous les jours à la cour, je forme les plus belles résolutions tous les soirs, et le matin j'en renvoie l'exécution au lendemain. Comment cette effronterie est-elle punie? Ou Votre Majesté me fait la grâce de me faire appeler, et c'est le comble du bonheur. Je me dis alors: N'eût-il pas été bien bête de manquer cela de gaieté de coeur? Ou j'attrape toujours en public quelque mot, quelque phrase que je serais très fâché d'avoir perdu. Ou j'observe enfin les façons, manières, allures de l'Impératrice qui ne sont pas celles d'une autre, et je dis: Quel spectacle vaut celui-là? Ne suis-je pas venu pour cela? Mais le remords aux doigts crochus ne s'en fait pas moins sentir au-dedans.

6. Je demande à tout casuiste un peu au fait du baromètre des consciences, si je dois être bien à mon aise, lorsque je me trouve établi dans un bon fauteuil en face de Sa Majesté Impériale, souvent à côté des premiers personnages de son empire, au milieu de ceux qui l'ont servie, qui la servent actuellement, et en grommelant tout bas entre mes dents: Il n'y a ici que toi, chien, qui n'as jamais rien fait pour elle, qui ne pourras jamais rien faire pour elle; et comment oses-tu te trouver avec eux en sa présence?

7. Votre Majesté me dira qu'elle n'a garde de me confondre avec qui que ce soit, et qu'elle sait bien me faire sentir dans l'occasion la différence qu'il y a entre eux et moi. Car si par un hasard favorable il me tombe dans mon greffe une pauvre, méchante, petite commission, et qu'il y aurait de l'inhumanité à me l'ôter, elle me sera donnée avec tant de façons et d'excuses qu'il faudrait être bien bête pour ne pas sentir la distance qu'il y a d'eux à moi. Ce remède, je l'avoue ingénument, est de tous ceux qui doivent opérer ma guérison, le plus contraire à mon estomac.

8. Angiolo Quirini et consors diront: De quoi se plaint ce fou? De ce que la mariée est trop belle? Il est bien difficile! N'est-ce pas une destinée unique et incroyable que d'être presque tous les jours instruit, amusé, charmé, intéressé, électrisé ensorcelé par la conversation de l'Impératrice? Eh, mort de ma vie! Oui, c'est de quoi je me plains. Car, dit mon cousin Sancho, qui est devenu riche, veut mourir riche, et ce n'est pas la pauvreté qui est dure à supporter, mais l'appauvrissement. Et comment reprendrai-je mon assiette et ma contenance passée, lorsque mon rêve sera fini? Qui aura été plus riche que moi? qui sera devenu plus pauvre? Je donne ce problème à résoudre au plus habile maître dans la science des équilibres.

9. En attendant je dis que mon rêve ne saurait durer par trois raisons péremptoires:

1.

Parce que

il y a beau temps que Votre Majesté me sait par coeur, et du train dont mon étoile y va, la lassitude doit arriver à grands pas: malheur inévitable pour un homme commun qu'on voit trop souvent sans avoir nulle affaire avec lui, malheur dont ni la puissance de l'Impératrice ni sa bonté, tout incarnée qu'elle est, ne saurait me préserver. Si j'étais venu au monde avec une vue d'aigle, si j'avais fortifié et perfectionné cette vue par l'habitude des grandes affaires, si par un secret inconnu jusqu'à nos jours j'eusse su réunir à l'énergie de l'âme les grâces et les agréments d'un esprit fait pour plaire et pour enchanter, je me sentirais un fonds de richesses inépuisable et une confiance proportionnée a mon fonds; mais n'ayant apporté au monde d'autre fonds que le mérite de savoir apprécier un tel spectacle et le bon esprit d'en jouir, recevant toujours sans pouvoir rien mettre au jeu, mon désavantage est trop énorme, et il n'est pas possible que je soutienne la partie.

2.

Parce que

il est impossible que tant de faveurs et de distinctions ne me fassent des envieux de tous côtés. On examinera mes droits, mes titres, on ne m'en trouvera pas, l'excès de ma fortune ne disposera personne à l'indulgence; et l'on dit que c'est un grand malheur d'avoir des ennemis à la cour, soit qu'on les ait mérités soit qu'on les ait gagnés en dormant; on dit aussi que les moutons ne sont pas toujours les plus forts. Je pourrais me montrer fort éloquent et fort riche en lieux communs sur ce point; mais l'Impératrice n'aime pas les quintessences, elle se mettrait à bailler, et j'en serais pour mes frais de distillation: autant vaut les épargner.

3.

Parce qu'enfin

tout homme a son orgueil. On ne veut pas tout devoir à son étoile, on veut pouvoir se dire: Mon sort est beau; mais je saurai le mériter. Et moi, troublé et tourmenté sans cesse par le souvenir et le redoublement des bontés de Votre Majesté, je suis réduit à dire: L'Impératrice m'a rendu un homme unique en Europe; et moi je n'ai rien fait pour elle, je ne puis rien faire

* pour elle, et il faudra que je meure sans avoir rien fait pour elle. Cette réflexion humilie, abat, consterne et tue.

D'où il résulte que pour être devenu un homme unique en Europe par la grâce spéciale de Votre Majesté et de mon étoile, je suis un homme perdu; et tel est toutefois mon entêtement que je ne voudrais troquer mon sort contre aucun autre.

Je pourrais aller jusqu'à dix, jusqu'à cent; mais quand j'aurai épuisé mes griefs avec la patience de l'Impératrice, que m'en reviendra-t-il? C'est que n'y ayant rien à répondre, j'aurai laissé la moitié de mon papier en blanc sans nul profit. J'ai porté mon voeu et ma dévotion à Notre Dame de la Ressource, mais pour la premiere fois depuis qu'on s'adresse à elle, elle est restée court et a donné un démenti à son nom. Dans cette extrémité, la crise devenant de moment en moment plus violente et plus urgente, j'ai eu recours à l'habileté reconnue de Messieurs Rogerson et Kelchen. En transcrivant leur consultation motivée, je vais encore plier mon papier en deux, afin que si Sa Majesté Impériale connaît quelques remèdes plus efficaces, il ne soit pas dit que pour épargner un peu de papier, je l'aie empêchée de mettre l'emplâtre à côté de la blessure.

BAVARDAGE

servant à embrouiller la matière,
ou
Remèdes non éprouvés
contre
un mal sans ressource.

1.

Palliatif nécessaire et infaillible.

Les soussignés subitement appelés, trouvant le malade dans un état aussi critique qu'extraordinaire, ont cru devoir aller au plus pressé sans toucher au fond de la maladie, en s'occupant d'abord d'un palliatif efficace et aisé à employer.

C'est pour le cas inévitable de la lassitude de Sa Majesté Impériale.

Il est de sa clémence de donner au malade son congé la veille du jour où cette lassitude indubitable arrivera, et non le lendemain, afin que le

* pauvre homme décampe avec tout son embonpoint avant les premiers symptômes de la consomption.

Ce remède pourra servir en même temps d'emplâtre adoucissant aux ennemis qu'il aura pu gagner dans son état de réplétion sans le savoir et sans le vouloir.

2.

Etat actuel du malade.

Il a quelques anciens amis auxquels il ne pourrait entièrement renoncer sans une extrême ingratitude. On présume que l'ingratitude n'est pas précisément l'accoutrement qu'il faut pour se rendre recommandable aux yeux de Sa Majesté Impériale.

Indépendamment de cette considération, on croit pouvoir affirmer qu'il est de toute impossibilité que le malade soit propre en quelque chose que ce soit au service de Sa Majesté en Russie.

Sans vouloir limiter la vue de personnes plus clairvoyantes, on n'entrevoit pas davantage comment il pourrait être assez heureux pour servir Sa Majesté hors de l'empire.

D'où il résulte immédiatement la conséquence doulorneuse que quand il serait le plus grand Grec du siècle, Sa Majesté n'en a aucun besoin, et que n'étant qu'un pauvre hère, cette nullité de besoin augmente en proportion de celle du pauvre hère:

On s'est occupé des moyens de lui faire connaître son état avec tous les ménagements possibles; mais le transport au cerveau s'en est suivi. Tantôt il s'écrie qu'il sent bien qu'il ne peut pas rester collé aux genoux de l'Impératrice toute sa vie. Tantôt que si l'on peut s'en détacher quand on l'a vue comme lui, on est un lâche, un sot, un absurde, et tout ce qu'il y a de pis au monde, un plat. Tantôt, en levant les mains au ciel, il lui demande s'il sera le seul qui ne pourra rien faire pour elle. Puis il dit en pleurant que lorsqu'il l'aura perdue, il veut, loin d'elle, ne penser qu'à elle, ne s'occuper que d'elle, n'exister que pour elle. Et dans tout cela il y a tant d'Elle que des médecins moins attentifs pourraient croire qu'il s'occupe d'un poëme en rimes redoublées en Elle.

3.

Gutachten
sur la manière de traiter cette
terrible maladie.

Il est fâcheux pour le succès du traitement que le devoir du malade l'oblige de faire l'agréable sur le pavé de Paris et de Versailles et de

* ramasser dans la dissipation des nouvelles dont ni son maître ni lui ne se soucie.

Sans cette circonstance on ne regarderait pas son rétablissement comme impossible. On emploierait d'abord à propos le palliatif ci-dessus № 1 en le congédiant la veille. On le renverrait dans quelque maison de campagne près de Paris à la garde de quelques anciens amis. Il y acheverait de vivre tranquillement. Peut être même y parviendrait-il à s'occuper délicieusement de ses souvenirs des bontés de l'Impératrice, de sa reconnaissance, de ce qu'il a vu et qui a été permis à peu de monde de voir. Il parle tant dans ses révasseries de tout ce qu'il voudrait essayer, tenter, griffonner dans la retraite, et de matériaux que Sa Majesté lui a fait espérer. En ce cas un champ immense serait ouvert au moins à ses efforts. Si son griffonnage ne valait rien, on le jetterait au feu; s'il était passable, il serait légué à l'Impératrice, car de façon ou d'autre on prévoit que Sa Majesté sera obligée d'accepter un legs dans son testament. Cette manière d'exister paraît seule capable d'étourdir le malade sur le malheur de ne pas vivre dans le sein de la famille de sir Tom aux pieds de leur commune et auguste maîtresse.

On estime qu'il serait essentiel aussi de lui laisser la prespective de venir tous les trois ans passer trois mois aux pieds de Sa Majesté Impériale, et de lui apporter le fruit de ses loisirs. A en juger par la complexion et les affections morbifiques du malade, il y aurait un danger manifeste à le renvoyer sans espérance quelconque de revoir son auguste bienfaitrice.

4.

Motifs de ce traitement.

Les soussignés ne se sont pas arrêtés à la méthode qu'ils viennent d'indiquer, sans des motifs très graves.

1. La satiété prochaine de Sa Majesté Impériale à l'égard d'un homme qu'elle n'emploie pas à la moindre chose.

2. L'impossibilité physique qu'il s'occupe d'un ouvrage de littérature sous les yeux de Sa Majesté ni même dans un lieu habité par elle; la présence, la conversation de l'Impératrice disposant trop impérieusement de toutes les facultés de son âme, et la tenant dans une agitation continuelle, tandis que rien n'est plus contraire à une occupation littéraire que d'être fortement et vivement affecté par quelque objet que ce puisse être.

3. La conviction où sont les soussignés qu'un ouvrage de littérature de quelque importance ne saurait être que le fruit de la solitude, n'en connaissant pas un seul qui n'ait été composé dans la retraite.

* 4. L'intérêt du style et du coloris d'un ouvrage, qui rend indispensable le séjour dans le chef-lieu de la langue dans la quelle il doit être écrit.

5. La persuasion où l'on est que la confiance de Sa Majesté dans la probité, la discrétion et l'attachement du malade est proportionnée à ses bontés pour lui, c'est-à-dire sans bornes, et qu'il peut mériter celle-là sans être jamais digne de celles-ci.

5.

Crise violente survenue subitement.

Les soussignés occupés à la rédaction de leur avis, ont trouvé tout-à-coup la respiration du malade plus gênée, son pouls plus élevé, et il a articulé assez intelligiblement ces mots inintelligibles: Tous ceux qui me connaissent savent que je vous appartiens par droit de conquête. Faut-il que l'esclave fasse parade des marques glorieuses de sa défaite? Où sont-elles, afin que je m'en pare, pourvu que je ne sois pas perdu sans retour pour mes anciens amis. Puis, après une petite pause, il a ajouté: Je vais embrasser ses genoux comme Oreste la statue d'Apollon. Bientôt après il est tombé dans une létargie totale. Les médecins effrayés du caractère de ces symptômes se sont trouvés au bout de leur latin.

6.

Protestation des consultants.

Les soussignés n'ayant pu observer cette étrange et terrible maladie ni dans son origine ni dans ses progrès rapides, et n'ayant été appelés que lorsqu'elle est parvenue à son plus haut période, ils espèrent que Sa Majesté Impériale ne leur imputera pas à tort s'ils ont radoté dans l'indication du traitement opportun, et si leur consultation n'a pas le sens commun.

Le symptôme capital et prédominant de la maladie étant cette fureur constante et pectorale de vouloir s'acquitter envers les bontés de son auguste bienfaitrice par quelque service que ce soit, ils estiment très respectueusement qu'elle seule est en état de trouver le remède propre à calmer cette dangereuse effervescence; opération préliminaire et essentielle, du succès de laquelle dépend le salut du malade.

Considérant d'ailleurs qu'il paraît doué d'un bon naturel et que c'est sa dévotion et le désir sincère de se confesser qui ont été la cause prochaine de tous les ravages dont ils viennent d'être témoins, ils croient pouvoir sans risque le recommander à la généreuse compassion, magnanimité et clé-

mence de Sa Majesté Impériale, ainsi qu'ils se recommandent eux-mêmes à sa haute bienveillance impériale.

Consulté à Tsarsko-sélo, au mois de novembre, entre l'anniversaire de la bienheureuse inoculation et la fête de Catherine unique, l'an du salut 1776 et son règne immortel le quinzième.

Signé
Rogerson. Kelchen.
avec paraphe.

V.

Post-scriptum au № 10, qui arrivera vraisemblablement un peu plus tard.

A Paris, le 13 (24) novembre 1777.

Comme j'ai eu l'honneur d'écrire ce jour d'hui une pancarte peut-être plus longue que ma discrétion, le courage et la longanimité de Sa Majesté Impériale ne comportent, il n'est pas possible que je me permette de recommencer. Mais je ne saurais me dispenser d'ajouter à tous les bienfaits dont j'ai accablé Sa Majesté par mon gouverneur Thier, le petit écrit ci-joint à la mémoire de Madame Geoffrin. On le dit de M. Thomas, non de cet illustre Sir Thomas dont une main auguste et immortelle a tracé l'épitaphe, tandis que lui-même travaille encore dans cette vie à ajouter de nouveaux traits à son caractère incomparable; mais de ce célèbre Thomas, panégyriste en prose de beaucoup d'illustres morts, et qui veut chanter Pierre-le-Grand en vers français sans avoir été en Russie. On dit que nous aurons encore deux autres éloges de Madame Geoffrin. On dit que quand on a besoin de moi, on va me chercher aux pieds de Sa Majesté Impériale, et qu'on m'y trouve. Ce dernier point est constaté.

SECOND POST-SCRIPTUM

d'affaires

à mon № 17 d'heureuse mémoire.

1. Un certain M. de Buscher de Bruxelles qui prétend avoir ci devant joui du bonheur inestimable d'être connu de Sa Majesté Impériale sous le nom de Dubusquet qu'on lui donnait à Pétersbourg, me harcèle depuis

* longtemps pour parler à la Minerve du Nord d'un trésor qu'il possède en peinture et dont il vient de me remettre un précis historique avec la description et le prix que j'ai l'honneur de déposer ci-joint aux pieds de Votre Majesté. Il est clair par le précis historique que le possesseur destinait ce trésor de tout temps à la Minerve du Nord, et que M. le comte Ivan Tchernichev a encore actuellement entre ses mains les copies qui peuvent donner une idée nette et précise du trésor. Comme c'est un objet considérable et que le prix n'en est pas une bagatelle, je demande, dans le cas où Sa Majesté Impériale en ordonnerait l'acquisition, qu'il soit nommé un comité d'habiles artistes, de connaisseurs et même de brocanteurs, tous gens connus, tous ayant une réputation à conserver, qui signeraient ensemble un écrit sur leur honneur que les dits ouvrages sont des chefs-d'oeuvre et originaux dignes du prix qu'on en demande: car moi, pauvre hère, je ne saurais être responsable de rien. La maison de Tourton et Baur m'ayant parlé la première de cette affaire, m'a insinué qu'il y avait une somme de trente mille livres pour les négociateurs. J'ai pardonné cette insinuation à des gens accoutumés à traiter tout en affaire de finance, j'ai fait semblant de ne les pas comprendre, et j'ai dit qu'ayant l'avantage inestimable de rendre compte directement à Sa Majesté Impériale, il n'était question d'aucun négociateur, qu'en conséquence ces trente mille livres devaient être rabattus du prix, ce qui a été fait. Je supplie Votre Majesté de vouloir bien m'honorer de la décision souveraine de son conseil tenu avec la Minerve du Nord, inspection préalablement prise ou non prise des dessins qui sont entre les mains de Graf Ivan Grégoriévitch, afin que je puisse donner au susdit seigneur Dubusquet ſeine Abfertigung.

2. Une belle dame fort aimable et fort spirituelle m'a fort prié de porter au pied du trône de Votre Majesté Impériale la requête d'un grand flandrin d'abbé polonais. J'ai représenté à la belle dame que je n'avais pas le droit de rien porter au pied du trône, que je ne connaissais que le roi des Polonais par les bontés dont il m'honorait depuis longtemps; mais que je ne voulais connaitre aucun de ses sujets, parmi lesquels je soupçonnais qu'il y avait de mauvais, surtout ceux qui se tenaient à Paris d'ancienne date. A cela la belle dame riposte par un Oh, je vous en prie. L'Impératrice est naturellement disposée à la clémence. Voulez-vous qu'elle en perde une occasion par votre faute?—Le moyen de ne pas faire ce que veulent les belles dames! Plus on regimbe, moins on s'en tire. La mienne qui est la comtesse de Genlis, dame de Madame la duchesse de Chartres, s'est aussi proposée d'intéresser la protection du patriarche. Je ne sais ce que celui-ci aura promis; mais je vois que la requête qu'on me donne à porter lui a

* passé par les mains, car il a écrit dans un coin de l'envers de sa belle patte potelée *Russie*. Je crois que le grand intérêt de la comtesse de Genlis pour l'abbé polonais lui a été inspiré par son amie intime, la comtesse Potocka, Kraïtschin de la couronne. Quant à moi, je m'en lave les mains, en attendant que Sa Majesté Impériale daigne me laver la tête de me laisser aller aux sollicitations des belles dames.

3. Je joins à ce Post-scriptum deux projets de souscriptions dont celui du voyage pittoresque de toute la Grèce me paraît mériter l'attention de Sa Majesté Impériale. C'est un jeune M. de Choiseul qui a fait ce voyage avec une ardeur digne de son âge et une passion pour les arts peu commune dans les gens de sa classe. Il dessine lui-même parfaitement bien, et il n'a entrepris son voyage que pour enrichir l'histoire des arts de ses découvertes. On a en général la meilleure opinion de son ouvrage. Le premier cahier en paraît déjà et n'a pas trompé l'attente du public. Si Votre Majesté m'ordonne de souscrire, je paierai les cahiers à mesure qu'ils paraîtront et je les enverrai successivement par mer avec autre chose ou par demi-douzaine s'il n'y a pas autre chose. S'il faut souscrire pour le Poëme des Mois, qui a déjà beaucoup de réputation, je souscrirai pareillement. De mon dernier décompte il me reste encore plus de huit louis d'argent impérial, et des trente mille livres que Votre Majesté destine à liquider la triste affaire de la fameuse écritoire, je compte bien sauver une somme assez honnête pour suffire encore longtemps à ces petites dépenses.

Après tant de détails d'un si fier ennui, je rentre bien vite dans ma coquille, et j'implore la miséricorde divine, welche der Kaiſerin und der Könige Herz in Händen hat, allerhöchſt daſſelbe ſo zu lenken daß es mit mir nicht zum Garaus kömmt. Domine, salvam fac Imperatricem. Amen!

à Paris, le 22 avril 1778.

POST-SCRIPTUM

au numéro 23, très important et préparatoire de la fin de toutes choses concernant la fameuse écritoire.

Quoique les bienfaits de Sa Majesté Impériale aient été répandus abondamment sur tous ceux qui ont eu à faire avec la fameuse écritoire soit de près soit de loin, et que cette rosée impériale ait fait grand bruit et sur le quai des orfèvres et à l'hôtel de la police, et dans les cercles de Paris et

* dans le palais de Versailles, je ne me trouve pas encore en état d'en livrer un compte définitif, attendu que certain inspecteur de police nommé pour veiller sur l'exécution de cet ouvrage et qui doit recevoir une boîte d'or pour sa peine, est en ce moment-ci à Brest dans les affaires du gouvernement. Dès qu'il sera de retour, c'est à dire sous peu de semaines, la boîte qui est toute prête sera donnée, et le compte sera clos et envoyé au pied du trône.

En attendant il faut rendre compte du premier prix de trente-six mille livres que Sa Majesté Impériale m'a fait passer en 1775 pour servir à l'exécution de cet ouvrage.

Il conste par la quittance ci-jointe générale du sieur Demailly que ledit sieur a touché successivement la totalité de la somme de trente-six mille livres pour prix convenu de l'écritoire. Et si mon dit sieur n'était pas follement parti pour la Russie, à ce qu'on prétend, quinze jours avant l'arrivée de la gratification impériale, il aurait pu s'en réjouir ici avec ses créanciers. Cette gratification a été remise entre les mains de M. le lieutenant-général de police, comme il sera prouvé par le compte définitif.

Je joins aussi à ce compte préparatoire l'estimation faite par les trois experts nommés par la police et la lettre de M. le lieutenant-général y relative. De telles pièces émanées directement du sanctuaire de la police de Paris figureront sans doute avantageusement dans les archives de l'Empire, pour prouver à la postérité la plus reculée que si l'on a imaginé, pensé, exécuté à Paris une écritoire qui ne pouvait convenir qu'à Catherine II, elle ne s'est pas achevée sans que la sacrée police de Paris s'en soit mêlée par les ordres immédiats du gouvernement.

Et pour finir subitement cette insigne seccatura, sans encourir la disgrâce de Sa Majesté Impériale, je joins à ces paperasses, ohne weiter ein Wort zu mudhſen, l'hommage du plus profond respect, de l'attachement à ma souveraine le plus légitime et à toute épreuve, de sorte que, summa summarum, s'il n'y a point de souveraine comme elle (ce qui se dit beaucoup depuis quelque temps), il n'y a pas non plus d'attachement comme le mien, ce que je désire de prouver envers et contre tous.

God save the Emperor of Russia! Amen.

---

* POST-SCRIPTUM SIVE NACHTRAG, № 24,

très important et définitif, rendant compte à Sa Majesté Impériale des derniers fonds envoyés pour la fameuse écritoire, et ennuyant Sa dite Majesté pour la dernière fois de cette superbe et fatale entreprise.

Was Gott thut, das ist wohlgethan! Und was unsere Kaiserin thut, ist besser gethan! Diese zwei christliche Lieder stimmen wir heute billig mit großen Freuden und Getöse an. Grâces soient rendues à l'Eternel qui nous a tirés de l'écritoire du sieur Demailly comme il tira jadis son peuple chéri de la main de Pharaon. Et grâces soient rendues à l'immortelle de Pétersbourg qui a bien voulu trouver ladite écritoire charmante pour me consoler de tous les désastres de cette entreprise, car sans cette approbation impériale hätte ich in meinem Elende vergehen müssen.

Votre Majesté trouvera, en parcourant ce compte, que je me suis conduit comme ein würdiger Collegenrath Ihro Kaiserlichen Majestät, c'est à dire qu'en décernant des récompenses de sa part, je les ai distribuées avec la plus grande magnificence. Je ne me serais pas cru digne d'appartenir à notre auguste Impératrice, si j'avais pu faire autrement. Aussi quoique Votre Majesté n'ait pas plus besoin ici qu'en Hollande d'améliorer son crédit et sa réputation, tout le bruit que le commerce de Paris et la police ont fait de ces récompenses m'a bien prouvé qu'il n'y a qu'une Impératrice de toutes les Russies et que personne ne sait faire comme elle.

Si cet imbécille Demailly est arrivé à Pétersbourg, Votre Majesté peut lui faire expédier une patente comme quoi il a plus de talent que de conduite, et lui faire dire charitablement que M. le lieutenant-général de police de Paris, son tuteur, a reçu ses fonds. Je l'ai fortement dissuadé du voyage de Pétersbourg, et plus d'une fois, aussi est-il parti sans dire gare et sans m'en faire part. Puisque la sottise est faite, je souhaite qu'il s'en trouve bien. Il comptait que dès que l'écritoire serait vue, tous les seigneurs de la cour de Votre Majesté s'empresseraient autour de lui pour avoir chacun un ouvrage de lui. Pour du goût, de l'invention et de l'exécution, il en a beaucoup, mais il a besoin d'être conduit. Drais, le plus habile des trois experts nommés par la police, lui a dit souvent qu'il lui ferait sa fortune, si au lieu de vouloir conduire des entreprises qui le ruinent, il voulait se laisser conduire et travailler sous sa direction. Je lui souhaite, pour les insomnies que je lui dois, que tous les seigneurs de la cour impériale lui commandent des chefs-d'oeuvre et qu'il s'en tire à la satisfaction générale.

J'espère que Votre Majesté Impériale approuvera que j'aie gardé l'ori-

* ginal de la quittance de vingt mille livres de gratification, pour ma sûreté, ainsi que celui de la lettre de M. le Noir.

J'avais osé demander trois médailles d'or pour la récompense des trois experts, Drais, Poirier et Chéret; puis, considérant que le premier de ces experts a eu infiniment plus de tracas que les autres, j'ai osé demander dans une lettre postérieure une quatrième médaille, pour pouvoir lui en donner deux. Pendant que cette lettre allait à Pétersbourg, les trois médailles m'arrivèrent, parce que la volonté impériale, comme celle du dieu Zabaoth, est prompte comme un éclair. Ne comptant plus recevoir la quatrième après l'expédition des autres, je me retournai d'une autre façon, j'achetai de belles manchettes de dentelles et je dis à M. Drais de les donner à sa femme pour qu'elle les porte à l'honneur de l'Impératrice. Cela fit un effet prodigieux et me valut une visite de cérémonie de madame Drais, qui est actuellement la femme la plus fière du quai des Orfèvres; cela vaut aussi à Votre Majesté Impériale une lettre de M. Drais. Cependant la quatrième médaille arriva, parce que l'Impératrice et son archange Olsoufiev, qui devrait s'appeller Gabriel au lieu d'Alexandre, n'oublient jamais rien. Voilà donc une médaille d'or sans pratique, et Votre Majesté aura la bonté de me donner ses ordres à cet égard.

Il conste pareillement par mon compte que, toutes les magnificences faites, il me reste entre les mains, outre la quatrième médaille d'or, la somme de six mille huit cent treize livres dixhuit sols. Votre Majesté voit donc bien qu'il n'était pas nécessaire de me faire une remise pour payer le buste de Voltaire à M. Houdon, et que le paiement de ces deux mille livres n'eussent pas même diminué mes fonds impériaux d'un tiers. J'observe aussi que ma caisse est dans le cas de toutes les caisses impériales; en tirant son bilan à la fin de l'année, il se trouve des fonds de reste; ce n'est pas l'usage des caisses de tous les pays. Il plaira à Votre Majesté Impériale de disposer de ces 6813 livres 18 sous tournois de même que de la quatrième médaille.

POST-SCRIPTUM
oder
Allerunterthänigster Nachtrag.

Madame,

Au moment où M. Litvinov vient prendre mes paquets pour les porter au pied du trône, il me confie un besoin d'argent qui l'empêcherait d'achever sa course s'il n'était pas secouru. Après lui avoir représenté qu'il ne

* m'a pas été adressé, que je ne l'ai point arrêté ici (j'aurais plutôt désiré lui donner des ailes pour faire arriver ma pancarte plus vite), qu'en un mot il a été ici au service du ministre de Votre Majesté Impériale et non au mien, je me suis pourtant déterminé, malgré l'exiguité de mes fonds, à lui donner un petit secours, afin d'autant mieux assurer le service de Votre Majesté. Il m'a demandé quinze louis, je lui en ai donné dix, faisant 240 livres de France. Votre Majesté peut ordonner au seigneur comte Factotum, de les faire retenir sur les appointements du dit seigneur Litvinov et de me les faire rembourser, moyennant quoi les comptes de la caisse impériale n'en seront pas chargés.

POST-SCRIPTUM

au numéro 25, lequel vient de partir par le courrier que M. le prince Bariatinski renvoie à l'Impératrice, notre auguste souveraine. Ce courrier porte à Sa Majesté Impériale de ma part un gros paquet et un petit paquet. Le petit contient un volume de contes et facéties nouvellement imprimé de notre immortel patriarche, que j'offre en pur don à mon auguste maîtresse, quoiqu'il n'y ait rien là-dedans qui ne soit connu. Le gros paquet renferme un gros volume in 4° relié en parchemin vert, rempli de lettres manuscrites du susdit immortel patriarche; c'est également un hommage offert à son immortelle bienfaitrice. A côté de ce manuscrit s'en trouve un autre, allemand, non relié, sur la réforme de l'université d'Erfort, par M. le baron de Dalberg, qui a déjà obtenu l'éloge inestimable que son allure va avec celle de la tête impériale. Dans ce manuscrit allemand se trouve une pancarte № 25 cachetée du plus fidèle serviteur de Catherine II, qui, sans faire tort à personne, est moi. Le tout, grand et petit paquet, est parti sous l'enveloppe ordinaire de M. d'Eck, à qui je me flatte que Sa Majesté Impériale aura grand soin de demander mes deux paquets dès que le courrier de M. le prince Bariatinski sera arrivé, car de toutes les choses la plus antipathique à mon coeur c'est qu'une pancarte, une page, une ligne griffonnée par moi pour être honorée du regard vivifiant de Sa Majesté Impériale, soit privée de ce bonheur par quelque accident que ce puisse être. J'allais oublier qu'à cette pancarte est jointe copie d'une lettre qui m'est venue de bon lieu.

Or l'affaire du courrier coulée à fond, il ne me reste qu'à répéter à Votre Majesté Impériale le regret que j'ai eu de ne pouvoir le charger ni de pruneaux de Tours ni de pâtes d'Auvergne, attendu que son leste équipage s'est refusé à tout cela. Ceci dit, toute autre préface est prohibée, et ici commence le Post-scriptum en forme.

* Madame. Si la fatale écritoire m'a causé plus d'une insomnie, je puis dire que la fatale bibliothèque du patriarche ne me donne pas moins de souci. Comme cette affaire a fait dès le commencement un bruit qui s'est bien vite répandu des quatre coins de Paris dans toute l'Europe, il arrive que j'en entends parler de tous les côtés et sans relâche. Tout le monde dit son sentiment sur la manière dont cette bibliothèque peut être payée, et comme il y a autant de sentimens que de têtes, il en résulte que plus j'en entends parler, plus je deviens perplexe. Je remarque cependant que des personnes qui ont autant de sagesse que d'élévation pensent que Madame Denis ayant osé offrir cette bibliothèque en hommage, il serait de la grandeur de Votre Majesté de l'accepter sans en payer le prix en argent, et d'envoyer simplement un présent en diamants digne de sa magnificence ordinaire. Au milieu de ce bavardage qui me remplit de soucis, je me surprends me moquant des bavards et de moi-même, et me disant tout bas: tu verras que l'Impératrice ne saura pas ce qu'elle a à faire, et qu'elle aura besoin de l'avis des bavards et du tien pour prendre un parti. Le résultat de tout cela, c'est que c'est un grand malheur d'être dévoré de zèle et de n'être au fond bon à rien à son auguste et immortelle souveraine.

Tandis que le zèle et l'inutilité me dessèchent et me renvoient l'un à l'autre impitoyablement, Madame Denis m'a envoyé chercher. Elle venait de recevoir une lettre de M. le grand chambellan de Schouvalov; elle en avait la tête toute à l'envers. Je me doutais bien que ses incertitudes et combats de famille m'ayant tenu en suspens plus d'un mois ou même six semaines, et l'extrême stupidité à laquelle mon rôle de garde malade et le spectacle continuel des souffrances les plus atroces m'avaient réduit cet été pendant trois mois de suite, me feraient passer pour mort et rayé du catalogue des vivants dans l'esprit de Votre Majesté, et j'avais mis depuis longtemps ce malheur, le plus grand pour moi et le plus sensible de tous, au pied de la croix ou plutôt de cette redoutable nécessité qui se rit de notre volonté, qui n'en tient aucun compte, et dont cependant je ne dois pas me plaindre, puisque c'est elle qui dans ses décrets éternels a voulu que je connaisse, que j'admire, que j'adore, que j'aime enfin Votre Majesté avec passion, avec transport, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, ex toto corde meo, comme on doit aimer son Seigneur Dieu. Or Madame Denis, qui ne sait pas calculer ni le temps ni les distances, était toute déroutée par la lettre de M. le grand chambellan. Elle croyait qu'il n'était plus question pour son oncle d'un monument en Russie, puisque cette lettre n'en parlait pas. Je lui ai remis d'abord la tête, et je lui ai rappelé que je ne lui avais parlé du monument que parce que je sentais le plaisir que cette nouvelle de-

* vait lui faire, mais que je lui avais déclaré dès le commencement que le monument et l'achat de la bibliothèque n'étaient point liés dans la tête de Votre Majesté Impériale; que le premier n'y dépendait point du second, et qu'il était par conséquent très simple que M. le grand chambellan n'en eût point parlé. Cela calma sa tête, car pour l'honneur de la nièce je suis obligé de dire que ce monument de son oncle érigé par la plus grande princesse de l'Europe la transporte. Elle fit en conséquence de sa tête calmée une réponse à M. le grand chambellan, qu'elle m'envoya cachetée pour la recommander à M. le prince Bariatinski; c'est ce que j'ai fait. En même temps elle me remit un paquet cacheté à ses armes, en me disant qu'il renfermait toutes les lettres dont Votre Majesté avait honoré son oncle. Me voilà donc condamné au supplice de Tantale sans avoir ses crimes à me reprocher; je suis en possession de ce trésor précieux, et ne puis en jouir si Votre Majesté ne me permet pas de briser ce fatal cachet. J'attends mon arrêt entre la vie et la mort. Si Votre Majesté m'envoie les lettres du patriarche, comme elle me l'a fait espérer, si à ce trésor je puis ajouter cet autre trésor inestimable qui est entre mes mains cacheté, je serai un des hommes les plus riches de l'Europe. Si cette prière est rejetée, qu'il me soit permis au moins de lire ces lettres avant de les renvoyer par la voie que Votre Majesté voudra bien m'indiquer. Si je n'obtiens rien du tout, que toutes les prières indiscrètes que j'ai faites me soient au moins pardonnées, afin que je puisse me noyer l'âme en paix, si le désespoir me prend de n'avoir rien vu de ce trésor qui m'a passé par le bec. Je dois remarquer ici que Madame Denis dit dans sa lettre qu'elle a gardé copie des lettres de Votre Majesté, et je demande les ordres de mon auguste souveraine à cet égard, et si en lui laissant ces copies, il faut lui signifier positivement que Votre Majesté n'entend aucunement que ces lettres soient publiées, divulguées ou copiées. Madame Denis et quelques autres amis de M. de Voltaire prétendent que c'est le plus beau monument qu'on pût élever à la gloire de Votre Majesté que de rendre ces lettres publiques.

Personne, Madame, ne sera plus porté à le croire que moi qui ne les ai point vues, mais qui possède des trésors inestimables en ce genre. Plus je les relis, plus j'y trouve de richesses de toute espèce; c'est comme les beaux tableaux de Raphael: plus on les regarde, plus on en est enivré, extasié. Il me prend quelquefois envie des les commenter pour la postérité, pour en faire sentir la profondeur, la portée, sous l'expression ordinairement la plus plaisante; et ensuite le goût et la grâce inexprimables, qualités dont le génie se dispense ordinairement, et qui sont si éminemment réunies avec lui dans ces fruits du loisir de Catherine II. C'est que l'empereur de

* Russie, comme l'appelait mylord Chesterfield, joint à une tête forte et profonde toutes les grâces d'une femme charmante. Par quelle magie cela se fait-il? Je parie que notre empereur ne le sait pas lui-même; il est comme cela, parce qu'il ne peut pas être autrement. Jamais rien ne m'a prouvé que nous sommes des machines, comme Voltaire, Frédéric et Catherine. God save the Emperor of Russia, et nous fasse célébrer la sainte Catherine à son honneur et gloire!

Un exemple frappant de ce que je viens de dire, c'est dans une des dernières lettres cette proportion géométrique zwiſchen dem Herrn Janus und den guten alten Herrn trouvée la même que celle de M. de la Harpe à Voltaire; cela est sublime et du meilleur goût, et si l'on pouvait en parler dans le Mercure de France, cela passerait en proverbe. Was aber die Frau Mama betrifft, ſo bitte ich Ew. Kaiſerliche Majeſtät allerunterthänigſt um Vergebung wenn ich mich darauf gar nicht einlaſſe. Die gottesfürchtigen Matronen ehre ich in gar tiefer Ehrfurcht. Si Madame Geoffrin vivait encore, je lui demanderais comment il faut que je prenne tout cela, et la leçon faite, je la rendrais à Votre Majesté. Ich glaube die Heiligkeit muß überhaupt den Magen zum Hinabſchlucken ſehr geſchickt machen, das haben die Pfaffen bewieſen ehe die liebe alte Frau Mama auf der Welt war. Wenn man aber endlich gar ſoviel verſchluckt daß man daran erſtickt, ſo geht mich das wieder nichts an. Gott ſegne und gebenedeye die cour d'équité von Smolensko die ſich des alten Herrns ſo eifrig annimmt! Votre Majesté pense que dans cette occasion comme dans beaucoup d'autres il y aura par ci par là des réputations de gagnées et d'autres de perdues. Je le pense de même, mais ce que je sais, c'est que la cour d'équité n'y perdra pas la sienne. Aber des Herrn Tondu muß ich mich abſolute annehmen, denn er hat mir gar oft ſchöne Muſik hören laſſen. Ob in ſeinen Adern nicht für ein Kopickgen Blut ſey, wie Ihro Majeſtät zu muthmaßen belieben, das will ich unterſuchen. Ein armer Teufel mag er wohl ſeyn, aber ein dummer Teufel, das kann ich nicht zugeben, denn er diſcourirt recht hübſch über verſchiedne Sachen wie ein ſchöner wohlerzogner Jaquaut. Er iſt halb von der nämlichen Familie wie ſein ſeliger Vetter de qui le baron de Zuckmantel me disait: mon ami, fort aimable, mais l'âme d'un sous-fermier. Das ganze itzige Unglück rührt davon her daß anno 1776 Ihro Kaiſerlichen Majeſtät Directeur des spectacles, M. Yelaguin, dieſe Würde nicht niedergeleget, ſo wie er geſonnen war. Denn wäre ſie damals vacant geworden, ſo hätte ich ſie für den Herrn Tondu poſtulirt und gewiß erhalten. Es iſt weltkundig daß beſagter Herr Tondu das Opernweſen fürtrefflich verſteht. Hätte er nun dieſes Amt von Ihro Kaiſerlichen Majeſtät erhalten, ſo hätten wir eine ſchönere Sonne in der Opera Nitteti gehabt, und die Morgenröthe hätte im Jahr 1778 anderwärts nicht ſo blutig

* ausgesehen. Alles Unglück in der Welt entsteht daher daß die Leute sich nicht auf ihrem rechten Fleck befinden. Peut-être M. Yelaguin en troquant avec lui aurait-il aussi gagné, quoiqu'il me paraisse impossible qu'il y ait à gagner à quitter le service de Votre Majesté. Was kann aber der arme Herr Tondu dafür wenn ihm sein Schreibmeister in seiner Jugend den Kunstgriff gewiesen seinen Namen flüchtig zu zeichnen. Daß der arme Teufel von seinen Bedienten an die Taschenspieler ist verkauft worden, das ist und scheint mir eine ausgemachte Sache, denn dieses gottlose Pack weiß nicht nur die Imperialen aus den Taschen herauszuspielen, sondern spielt auch Kopickgen in die Taschen und Hände derjenigen Schelme welche den Taschenspielern ihre Griffe erleichtern.

Weil mich nun der gute redliche und wohl abgeschorne Herr Tondu auf den Herrn von Yelaguin gebracht, je prendrai la liberté de recommander à Votre Majesté une affaire très délicate où il faut toute la gaucherie de l'auguste élève de Mademoiselle Cardel pour réussir. Il s'agit de mon ami Paisiello. Je crois qu'il voudrait obtenir de monsieur le directeur le même traitement qu'a eu Galuppi. La différence est très peu de chose pour monsieur le directeur, mais beaucoup pour monsieur le maître de chapelle, point d'honneur à part. Paisiello n'ayant eu d'autre désir que d'être traité comme ses prédécesseurs, et son génie et sa réputation peuvent faire regarder cette distinction comme très légitime. Il s'agit donc d'une petite Zulage comme monsieur le directeur en a accordé à la signora Buonafini et aux autres principaux acteurs. Paisiello est assez bête pour croire que son ami Thomas II surnommé le souffre-douleur n'a qu'à en parler à l'Impératrice et Sa dite Majesté à monsieur le directeur, et que moyennant cela son affaire est faite. Moi je dis que si Votre Majesté veut se mêler de cette affaire, il faut que l'Impératrice n'y paraisse point du tout, mais qu'il faut trouver le moyen de faire naître à monsieur le directeur l'idée d'accorder à Paisiello cette petite Zulage. Or comment s'y prendre? C'est à Votre Majesté à trouver cela et à mener cette affaire avec celles de la Crimée et de la Bavière à bonne fin. Mon ami Paisiello est très à la mode à Paris depuis quelques mois; c'est de tous les maîtres de chapelles modernes le plus applaudi. Le nouvel entrepreneur a fait venir un Opera buffa d'Italie. La seconde pièce de ce spectacle furent «Le Due contesse de Paisiello», qui eurent beaucoup de succès; mais la quatrième sourtout, ce fut la Frascatana de Paisiello, excita une admiration et des applaudissements universels et a fait la révolution en faveur de ce spectacle. On disait dans la loge du palais royal, pourquoi n'est-il pas à Paris? Je répondais: parce qu'il est en Russie. Et pourquoi ne viendrait-il pas? Je répondais: parce qu'il ne serait pas si bien payé qu'en Russie, sans compter les boîtes garnies de diamants que l'Impératrice lui

envoie et les étoffes qu'elle envoie à sa femme quand un opéra lui plaît. — Il y a donc un opéra italien à Pétersbourg? — Oui, entre autres choses.

Nous allons perdre ici le prince coadjuteur. Il emporte avec lui l'approbation générale. Peu de voyageurs ont tiré autant de parti de leur voyage, et quand on pense à son âge, et qu'on voit avec quelle sagesse il dirige sa conduite, on en est étonné et l'on s'attache à lui. Il a fait le tour des provinces avant de venir à Paris, d'ici il a fait une pointe à Brest pour voir la flotte; et pour couler Paris à fond, il a été infatigable; enfin c'est un charmant prince.

Votre Majesté Impériale trouvera ci-jointe la quittance de M. Houdon sur les deux mille livres que j'ai reçues du cabinet impérial pour les deux bustes de Voltaire, l'un en bronze, l'autre en plâtre. Ainsi l'objet de cette lettre de change est rempli et le compte rendu. J'espère que les deux bustes sont aussi heureusement rendus aux pieds de Votre Majesté. Celui qu'Houdon fait en marbre avance beaucoup. Je compte qu'il sera prêt avec la fin de l'année, exposé en public pendant les mois de janvier et février comme chose appartenante à notre auguste Impératrice, afin de satisfaire la vanité de l'artiste, et en mars il prendra la route de Rouen pour être rendu à sa destination par le premier vaisseau. Madame Denis en fait faire une statue de grandeur naturelle, drapée à l'antique, assise dans un fauteuil à l'antique, dont elle veut faire présent à l'Académie française; le modèle m'en a paru charmant. Si Houdon recevait l'ordre de faire la statue de Voltaire debout, pour orner le monument que Votre Majesté lui destine, je crois qu'il en mourrait de joie et de vanité.

Le comte de Nesselrod m'a mandé sa bonne fortune. Tout ce que je puis lui dire, c'est qu'il est bien heureux de servir notre immortelle Impératrice, tout étranger qu'il est, dans une carrière qu'il pourra remplir avec succès. Mais sans m'en appercevoir, le post-scriptum est devenu une pancarte. Il faut la finir pour en commencer une autre, après avoir ajouté à celle-ci les fragments Galianiens. Il a raison, je lui ai promis un portrait par ordre de Votre Majesté, une médaille ou chose quelconque, mais comme il est de la nature des filles, c'est à dire prodigue et avare, facile et intéressé, il ne lui faut ni or ni argent. Voilà mon chant de cygne avec lequel j'expire pour aujourdhui aux pieds de la plus magnanime comme la plus souverainement aimable des ointes du seigneur Zabaoth.

A Paris, le 8 novembre 1778.

* POST-SCRIPTUM ODER NACHTRAG

au numéro 29 expédié le jour de la fête de plus grande que sainte Catherine.

Comme Sa Majesté Impériale n'aime pas les Nachtrag, il faut bien se garder de les lui épargner. Un moyen sûr de plaire aux souverains, c'est de les contrarier: comme les contrariétés sont un mets dont leur rang les éloigne et que les courtisans leur présentent rarement, ils en sont friands; et cette théorie étant indubitable, quand je ne pourrai pas faire ma cour à mon auguste Souveraine par un compte en forme probante, je la ferai au moyen d'un Nachtrag.

1. Nouvelle et, si je sais compter, troisième lettre du divin Reiffenstein avec celle de son protégé Ghigi à qui je fais mettre *Imperatrici*, de mon autorité privée, à la place d'Autocratorissae que je ne crois pas latin. Mais j'écris au petit abbé de Naples [1] pour voir si l'on ne pourrait pas fourrer dans cette inscription dédicatoire le cousinage de l'Impératrice avec le mont Etna en deux mots latins bien purs et bien corrects; et s'ils m'arrivent à temps, je les fais fourrer pareillement de mon autorité privée dans l'inscription dédicatoire. Quant au divin Reiffenstein, je ratifie son épître en tous et chacun des articles, en attendant la ratification impériale; mais je n'entrerai en pourparlers avec M. Clérisseau que lorsque j'aurai reçu les ordres de Sa Majesté Impériale sur ce point.

2. Ce M. Huber de Leipzig à qui j'ai payé l'année dernière une ancienne dette faite par les jeunes pensionnaires de Votre Majesté, qui montait à quatre cent livres et que j'ai acquittée par ordre et avec l'agrément de Votre Majesté, prépare une traduction exacte de l'ouvrage de Winkelmann. Il a une envie si forte de placer l'auguste nom de notre Impératrice à la tête des souscripteurs, qu'il m'a envoyé son épais prospectus par la poste sans égards aux frais. Il m'assure qu'un officier appelé M. de Walz et envoyé en courier impérial de Pétersbourg à Dresde lui a promis d'intéresser toute la cour impériale dans cette souscription. D'où le traducteur conclut que je n'ai pas un instant à perdre pour mettre son prospectus aux pieds de Votre Majesté Impériale, dont j'exécuterai les ordres quand je les aurai reçus.

3. Cette fameuse écritoire ne laisse pas que de présenter toujours encore quelques queues à écorcher. Ne voilà-t-il pas M. Chéret, un des experts

---

[1] Galiani.

* qui a été gratifié d'une médaille d'or, qui m'apporte un vase en forme de lavoir avec sa cuvette, le tout en vermeil, dont il veut que je fasse passer la description aux pieds de Votre Majesté Impériale. J'y ai ajouté au bas tout ce qu'il est nécessaire de savoir en cas d'achat. Quand j'ai vu ce vase, j'ai dit à M. Chéret que c'était superbe, et j'ai pensé en moi-même: Mon bonhomme, tu ne croirais pas peut-être que, comme il ne me faut qu'un bassin de fayence pour me laver les mains, il ne faut à l'Impératrice qu'un bassin de porcelaine, et qu'elle n'en est pas moins Impératrice de toutes les Russies, et qu'elle vivrait cent ans qu'elle ne se laverait pas les mains dans ton superbe vase. Mais comme elle a quelquefois la fureur de faire des présents magnifiques, et que ce quelquefois est tous les jours, soit, envoyons lui ton ennuyeuse description.

Und hiemit iſt der allerunterthänigſte Nachtrag zu Ende. Der himmliſche Vater der ſeine Kinder liebt, und, die er am liebſten hat, mit ſchwerem Kreuz heimſucht, ſucht mich ſeit vielen Wochen mit einer großen Schwäche der Augen heim. Apparemment qu'il croit que depuis qu'il m'a privé de l'intuition immédiate de son ointe, ma très auguste maîtresse, je n'ai plus besoin d'yeux: car à quoi les employer après ce spectacle? Je ne suis pourtant pas encore assez ferme dans les voies pour le remercier de ce bienfait. S'il voulait me rendre ce qu'il m'a ôté, il ne se ruinerait pas, car ce ne serait jamais qu'une paire de mauvais yeux.

Voilà dans l'instant une lettre qui m'arrive de M. Tronchin des Délices. Allons, il faut qu'elle grossisse le Nachtrag sans s'arrêter un moment à Paris.

Je ne doute pas que Sa Majesté Impériale ne soit supérieurement édifiée lorsqu'elle aura appris le sort du malheureux Ollavidès et la sentence de la très sainte inquisition de Madrid. Le dix-huitième siècle de l'Hermitage ou de Tsarsko-Sélo et celui de Madrid ou de l'Escurial ne sont pas contemporains; cela n'est pas possible. God save the Emperor of Russia, oder unſere Kaiſerin, ſagen wir Leute von Riga.

à Paris, ce 30 novembre (11 décembre) 1778.

Si les deux dix-huitièmes siècles ci-dessus mentionnés se disent contemporains ou cousins comme notre Impératrice et le mont Etna, ils en ont menti au dire de toute l'Europe. Je crains que celui de Madrid ne trouble le cendres de Voltaire.

* POST-SCRIPTUM.

Je dois, Madame, remettre à Votre Majesté Impériale les deux missives ci-jointes. L'une m'a été adressée par le chef du Philantropin de Dessau avec quelques brochures que j'aurai l'honneur de remettre à Votre Majesté dès que je les aurai parcourues. L'autre missive me vient de la femme qui est auprès de Mademoiselle de Lewchine. Elle ose demander à Votre Majesté la grâce de faire son mari officier. Elle prétend qu'il a servi en France et que l'Impératrice daignera faire pour le père ce qu'elle a déjà fait pour son fils encore enfant. Nous nous sommes trouvés en correspondance réglée depuis quelques jours. Comme je n'ai pas l'honneur de la connaître, je lui ai représenté que je n'avais point qualité pour me charger de telles lettres, que je ne m'y étais jamais prêté etc. etc. etc. Tant y a que la lettre adressée à Votre Majesté Impériale, après avoir fait plusieurs voyages du château à Monplaisir et de Monplaisir au château, m'est enfin restée, et que je ne puis en conscience la garder à mon profit.

POST-SCRIPTUM AU № 33,

oder allerunterthänigster Nachtrag concernant, si je puis, uniquement le bonhomme Clérisseau et son oeuvre.

Lorsque l'Impératrice, ma très gracieuse souveraine, veut savoir de quel bois sont les gens qui peuvent aspirer à l'épiscopat dans l'église grecque, elle ne s'en tient pas à l'écorce, elle veut voir le fond du sac; et pour y parvenir, elle vous fait prêcher mon vilain deux ou trois fois en son auguste présence, sans qu'il se doute des vues que le chef de l'église grecque peut avoir sur lui. Elle prétend comme cela que, quoiqu'un sermon soit par essence une chose très fardée, il est bien difficile, quand on a entendu prêcher un homme deux ou trois fois, qu'on ne voie pas distinctement à travers tout le fard, si c'est un homme d'esprit ou un sot, un bonhomme ou un cerveau brûlé, un homme sensé ou un fou, un nigaud ou un fanatique; et d'après ces petits essais, le Saint-Esprit qui a peu de crédit dans l'église grecque, est presque dispensé d'inspirer le chef visible de l'église orthodoxe dans le choix des évêques. Je crois cette méthode infaillible quand on a le coup d'oeil de l'Impératrice des Grecs. Das ſind nun ſo kaiſerliche Handgriffe, mit welchen ich mich aber gar nicht abgeben kann. Et cependant,

* par une suite du même principe, moi souffre-douleur impérial, je dois faire jaser Clérisseau sur ce qui a paru fixer le plus l'attention de Joseph Second dans ses portefeuilles. Je demande si ce n'est pas là m'ordonner en d'autres termes d'ouvrir la chaire de la chapelle impériale, de prier Joseph II d'y monter et de débiter sa marchandise en présence du chef de l'église grecque, sans espérance de devenir archevêque de Novgorod. Nun was doch die göttliche Fürsehung für wunderbare Wege hat! Ich hätte nimmermehr vermuthet mit der Zeit zur Küsters Stelle bey der kaiserlichen Kapelle und für so einen Prediger als wie Joseph der Zweyte, zu gelangen. Et Joseph Second ne devait guère s'attendre à prêcher devant Votre Majesté dans le temps qu'il se croyait en pleine sécurité avec les portefeuilles de Clérisseau. Et le bonhomme Clérisseau est bien loin de se douter qu'il a jasé devant le chef de l'église grecque, en me contant les détails des deux visites de Joseph Second. So sind nun die Wege Gottes: Sie sind unergründlich.

La premiere visite s'est bornée à un coup d'oeil général et superficiel des portefeuilles. L'empereur était venu avec sa suite. Attendu le même jour à l'Académie des inscriptions, je crois, il a paru fâché de s'en aller si vite, et a dit qu'il reviendrait. A la vue de tous ces immenses portefeuilles, il a dit: Il faut que l'Impératrice de Russie ne connaisse pas ce trésor, sans quoi vous ne le garderiez pas longtemps. Nun so ist also Joseph der Zweyte schon ein halber Prophet. Aber freylich sagt das Sprichwort: Niemand ist Prophet in seinem Vaterlande, und das ist aus dem Evangelio bekannt.

A la seconde visite l'empereur vient seul. Il demanda à voir les tenants et aboutissants de cette malheureuse maison d'un empereur romain qu'il croyait avoir été commandée par l'Impératrice de Russie. Il est vrai que Votre Majésté voulait un casino d'un romain et non d'un empereur pour le placer dans son parc avec toute la simplicité antique; mais si le pauvre Clérisseau a taillé en plein drap, à qui en est la faute? Si ce n'est pas à celui qui a reçu à ce sujet les ordres immédiats de l'Impératrice, je suis grandement tenté de m'en prendre à Votre Majesté elle-même. Que je demande ici au cordonnier de la reine une paire de souliers pour Votre Majesté, je parie qu'il m'apporte des souliers qui n'iront qu'au pied de Junon ou de Minerve, et l'on sait que ces dames avaient le pied plus fort que Votre Majesté. Qui diable fourre donc à ces gens ces proportions dans la tête quand on leur parle de l'Impératrice? Ce n'est pas moi; c'est donc elle-même. Moi quand je donne une commission de la part de Votre Majesté, je commence par jeter un sceau d'eau sur la tête de l'artiste; sans cette précaution, si ce n'est pas un sot, le feu prend à sa tête comme aux étoupes: Si c'est un sot, je tâche de ne me pas adresser à lui. Pour avoir oublié

* mon sceau d'eau, il n'y a qu'à voir ce qui m'est arrivé avec le divin Reiffenstein. N'a-t-il pas voulu transporter Rome entière à Pétersbourg, parce qu'on lui a dit que Votre Majesté désirait les Loges de Raphaël? La même chose est arrivée à Clérisseau avec sa maison d'un empereur romain, et lui serait encore arrivée à l'occasion des Loges si je n'avais pas été là pour mettre de l'eau dans son vin. Tout ce qu'il m'a bâti, dans une seule séance, à Pétersbourg et à Tsarsko-Sélo suffirait pour loger fort à l'aise Votre Majesté Impériale avec tous les tableaux et toutes les statues de Rome dont le divin Reiffenstein ornait le plus vaste palais; il y aurait eu même des pavillons de réserve pour César et autres gaillards de cette espèce, à qui il aurait pris fantaisie de rendre leurs devoirs à Votre Majesté. Mais j'étais là pour faire rentrer dans le chaos toute cette création en disant: Cela est très beau, mon cher Monsieur Clérisseau; mais l'Impératrice ne demande rien de tout cela. Il faut cette petite attention quand on est le porte-parole du mont Etna au mont Vésuve. Mais à qui en est la faute? Au mont Etna, n'en doutez pas. Quant à Joseph Second, il s'est fait expliquer dans le plus grand détail ce plan de maison d'un empereur romain; il s'est rappelé à cette occasion beaucoup de détails de la Villa Adriana près de Rome; et il a fini par dire à Clérisseau: Mon cher, si l'Impératrice de Russie fait exécuter cet édifice, je vous promets de quitter mon domicile et d'aller la voir dans sa demeure d'empereur romain. Je rapporte les propres paroles si ce n'est de Joseph Second, du moins de son organe Clérisseau, denn einem Küſter, wie unſer einer, iſt nicht erlaubt auch nur den geringſten Ausdruck ſeines geiſtlichen Herrns zu verändern. Tout le reste de la visite s'est passé à examiner du menu détail, des volutes, des frises, des décompositions de colonnes, et à éplucher tout ce menu avec le plus grand soin, en se rappelant en même temps avec la plus grande exactitude tout le menu de son séjour de Rome. Actuellement le chef auguste de l'église grecque ayant peut-être déjà dans son portefeuille d'autres canevas de sermons de mon auguste voyageur, il ne tient qu'à lui de faire la comparaison entre eux et de voir si tout y tient sans couture.

Maintenant faisons prêcher Clérisseau devant l'Impératrice des Grecs, puisqu'il a prêché deux fois devant l'empereur des romains. Premièrement c'est, talent à part, un brave et digne homme qui a moins d'esprit que de génie, mais qui, à force de dessiner les chefs-d'oeuvre de Rome antique, a contracté l'habitude des moeurs et de la probité antiques. On remarque cette trempe d'esprit dans ses actions et dans son parler; sa poitrine se gonfle vite, et tout ce qui en sort fait plaisir à entendre, quoique cela ne soit ni joli ni fleuri. Mais ces caractères ne sont pas propres à faire fortune,

* surtout lorsque l'enthousiasme de leur métier les rend les plus heureux du monde dans leur réduit, et les plus malheureux quand ils en sortent. Aussi Clérisseau, malgré sa haute réputation en Italie et en Angleterre, ou peut-être à cause d'elle, est-il resté pauvre en France; et il était sur le point de s'en retourner à Rome, il y a quelque temps, lorsqu'on lui accorda un logement au Louvre, qui est le seul bienfait royal dont il jouisse. Mylord Harcourt, en quittant son ambassade en France, le mena avec lui en Angleterre. Il voulait que le roi d'Angleterre imitât ses sujets et achetât beaucoup de choses de Clérisseau; mais mylord Harcourt semblait avoir oublié que Sa Majesté britannique a trop besoin de son argent pour acheter des voix au parlement, et qu'il ne reste pas un schelling pour les arts. Clérisseau prétend que le roi avait le plus grand désir de voir les trois gros portefeuilles que mylord Harcout lui avait fait porter à Londres, mais que mylord Bute était contraire à ce projet; et comme dans un pays libre on se sert de la loi pour l'injustice comme pour la justice, on saisit les portefeuilles de Clérisseau à la douane; on lui dit: il est impossible qu'un seul homme ait fait tout cela, vous n'êtes pas auteur, mais marchand de ces ouvrages; ainsi vous êtes dans le cas d'en payer la taxe d'industrie. Fixez en le prix, afin qu'on en puisse déterminer la taxe, et sachez que si vous mettez le prix trop bas, la douane pourra bien vous acheter la totalité à ce prix-là. A ces mots les yeux de Clérisseau étincellent. Moi marchand! s'écrie-t-il. C'est mon sang, c'est le plus pur de mon sang. Sachez à votre tour que j'estime mes portefeuilles trois millions sterling, et si vous osez y toucher, je vous fais un procès en dommages de trois millions sterling. Mylord Harcourt réussit à lui faire rendre ses portefeuilles sans taxe et intacts, mais le roi ne les vit point, et Clérisseau repassa en France avec son trésor.

Je ne lui ai point du tout dit que Votre Majesté m'eût chargé d'aucun ordre à son égard, et je dois observer préliminairement que jamais rien ne sera gravé de ce trésor, parce qu'il faudrait d'énormes avances que l'auteur est bien éloigné de pouvoir faire ni par lui ni par ses amis. Des protecteurs ou amateurs du grand, il n'en est pour le moment. Il a voulu publier les monuments de l'antiquité en France, et il a commencé par la maison quarrée de Nîmes. Ce qui en a paru a reçu de grands éloges, mais je crois que faute de moyens il ne pourra continuer cet ouvrage. Lorsque je lui ai demandé s'il voulait se défaire de son trésor, supposé que je fusse assez heureux pour fixer l'attention de Votre Majesté Impériale sur cet objet, il s'est mis à pleurer et à rire alternativement. Mais vous voulez donc ma mort, car je ne m'en serai pas sitôt séparé, que j'en mourrai de douleur? Imaginez donc que j'ai soixante ans, et que je n'aurai plus rien. Je vous vendrai trente

* années d'études et de travaux; je vous vendrai toute ma vie, il n'en restera plus trace chez moi. Il est vrai que si je ne vends point, je suis l'homme du monde le plus malheureux. Je n'ai que ce seul moyen pour assurer le sort de ma femme après moi. Je l'ai épousée à Rome, elle est romaine, et nous n'avons pas pensé dans notre contrat de mariage à la coutume de Paris qui ôte aux époux le pouvoir de se laisser une épingle par testament. Si je meurs demain, ma femme reste sans pain. Si l'Impératrice me prend mon trésor, je prends cet argent, je le place au nom de ma femme, j'assure son sort, et je meurs en paix.

Voilà, Madame, le texte sur lequel j'ai essuyé une quinzaine de sermons pendant quinze jours de suite que le prédicateur Clérisseau est venu pleurer et rire chez moi alternativement. Enfin, après s'être consulté avec sa femme, ses amis, des gens de loi, il n'a plus consulté, j'ose le dire, que sa discrétion, et il m'a dès ce moment paru plus digne d'avoir à faire à notre auguste Impératrice.

Il est certain que son trésor est immense. Il renferme et tout ce qui existe de grands monumens, et tout ce que l'imagination lui a inspiré d'après eux. Il est l'ouvrage de plus de trente années de sa vie, et il consiste en dix-huit énormes portefeuilles[1] in-foliissimo. Il en demande soixante mille livres de France qui produiront trois mille livres par an. Ce sera toute sa fortune, et c'est sa femme qui en sera propriétaire, afin d'avoir un sort assuré après lui. Non seulement vu la quantité prodigieuse de dessins, la somme est discrète, mais on peut dire qu'employer toute sa vie pour avoir à soixante ans trois mille livres de rente, ce n'est pas la vendre trop cher pour un artiste de réputation. Combien de criquets ici qui avec des pauvretés se sont fait douze et quinze mille livres de rente! Mais Clérisseau dit à cela: il ne faut pas seulement compter les trois mille livres que j'aurai; il faut encore compter le plaisir indicible que j'ai eu à travailler pendant trente ans qui ont passé comme trente jours dans une extase continuelle. Et puis nous ne bornons pas la magnificence de l'Impératrice. Si à la vue de l'immense trésor son grand coeur lui suggère d'ajouter dix ou quinze mille livres à la somme stipulée, nous aurons l'avantage très précieux de devoir ce bienfait à sa munificence, sans l'avoir ni attendu ni exigé. Clérisseau n'a mis que deux clauses à sa proposition. La première c'est que tout ne pouvant être également achevé dans un si immense recueil, s'il prenait fantaisie à Sa Majesté Impériale d'avoir de certains dessins plus

[1] Nota. Ces portefeuilles ne sont pas des volumes reliés, mais d'énormes cartons très profonds, dans lesquels les dessins sont rangés et renfermés.

* terminés et plus détaillés, ils lui seraient renvoyés successivement suivant le besoin que l'Impératrice en aurait, et il les terminerait pour la moitié du prix qu'il exigerait du public pour chaque pièce. Pour la seconde clause, il s'en remet à la clémence impériale. Il demande si après s'être séparé de tout ce qu'il a de cher au monde, ses portefeuilles, pour assurer un sort à tout ce qu'il a de cher au monde, sa femme, Sa Majesté Impériale ne prendra pas en pitié un pauvre artiste qui s'est dépouillé de tout, pour lui faire faire quelquefois quelque dessin, quelque travail qui puisse l'intéresser, afin qu'en lui ménageant la gloire de lui consacrer le reste de sa vie, il soit en même temps préservé du malheur de mourir de chagrin, d'ennui et de désoeuvrement. Il s'engage d'avance de travailler pour les prix les plus discrets et de chanter en travaillant les louanges de l'Impératrice que les voûtes des cieux sont si accoutumés à répéter.

Moi de mon côté, Madame, j'y ai mis une troisième clause. Ayant parlé à Clérisseau de ce projet, non comme d'une information que Votre Majesté m'avait ordonné de prendre, mais comme d'un simple désir qui m'était venu de le servir, et lui m'ayant fait remarquer qu'il lui fallait deux mois de travail pour mettre ses portefeuilles en état d'être livrés, j'ai cru que si la volonté impériale se décidait pour l'acquisition du trésor, il serait bon de n'avoir pas perdu les deux mois qu'il me faut pour attendre les ordres de Votre Majesté, et que si je ne faisais mettre les portefeuilles en état qu'après la réception de ces ordres il se passerait bien du temps avant qu'ils pussent être expédiés, et que finalement ce retard pourrait mener jusqu'à la clôture de la navigation, et Votre Majesté perdre une année de jouissance par notre faute. En conséquence je suis convenu avec Clérisseau qu'il quitterait dès à présent toute autre occupation, pour que ses portefeuilles soient en état d'être livrés et expédiés à l'arrivée de la résolution impériale; et que dans le cas où l'Impératrice ne jugerait pas à propos de faire cette acquisition, je lui achèterais pour le compte de Votre Majesté Impériale pour 2400 ou 3000 livres de dessins, afin de le dédommager du temps perdu et de l'argent que je l'aurai empêché de gagner. Cet arrangement m'a paru d'autant plus convenable qu'il procurera du moins à Votre Majesté pour son argent quelques beaux dessins d'un artiste dont elle estime les talents. Si au contraire Votre Majesté fait marcher toute la boutique, je m'en lave les mains, et ne prétends être aucunement responsable du vacarme que ce Clérisseau à côté de Bibiena excitera dans la tête impériale. Gottlob! ich ſpeye kein Feuer, alſo mir kann man kein Unglück zuſchreiben. Daß ich aber elend jämmerliche und unaufhörliche Post-scripta ſchmiere, das iſt Kaiſerlicher Majeſtät von jeher wohl bewußt.

* Quoique je ne sois pas payé pour juger les idées de Votre Majesté avec indulgence, je suis obligé de convenir, et j'en enrage, que la place destinée aux Loges de Raphaël est sublimement choisie et adaptée à la chose. En conséquence j'écris au divin Reiffenstein de se dépêcher d'envoyer directement le modèle, car je ne sais pas ce que j'en pourrais faire à Paris. Nun das muß man unſerer Kaiſerinn laßen, jeder Sache weiß ſie ſein Fach zu finden, und das Fach der Unſterblichkeit behält ſie für ſich, das iſt aber nicht poli pour Messieurs ses frères et Mesdames ses soeurs. Dieu bénisse les pensées d'Ecaterine son ointe, et me fasse la grâce d'expirer à ses pieds d'attachement et de reconnaissance.

A Paris, ce 2 (13) février 1779, fête de la Chandeleur grecque.

POST-SCRIPTUM AU № 34,

oder höchstwichtiger, allerunterthänigster Nachtrag, concernant maître Sedaine et son oeuvre comique.

Enfin, Madame, cette comédie en cinq actes, en prose et même par-ci par-là en vers, la voilà. Il a fallu plus de temps pour persuader à l'auteur que l'Impératrice de toutes les Russies lui commande une pièce comme on commande un tableau à un artiste, que pour la lui faire faire. Il me faisait les objections du monde les plus raisonnables, auxquelles je n'avais pas un mot sensé à opposer. Comment voulez-vous que je croie, me disait-il, que celle qui a eu la politesse de porter la paix à ses amis les Ottomans de l'autre côté du Danube au milieu de leurs foyers; qui a envoyé ses flottes du fond de la Baltique sur les côtes des anciens Grecs et Troyens, pour faire un feu de joie de la marine de ses amis susdits; qui vient de raffermir la constitution germanique, au moment de son plus dangereux ébranlement, avec la même facilité avec laquelle son doigt infatigable tricote son ornement d'église; qui met le feu continuellement à Rome, à Paris, partout où il y a des étoupes, et couvre de ses explosions mille fois plus d'étendue en un instant que son cousin le mont Etna, dont elle est si engouée, n'en pourra jamais atteindre; qui... qui... qui... il y en aurait jusqu'à demain et après demain, on n'aurait pas fini — ait la fantaisie d'avoir un plat de mon métier, une comédie de ma façon? A quoi je répondis: Votre période, maître Gavaudan Sedaine, est un peu longue, et cependant, comme vous avez très

bien remarqué, il y manque encore quelques centaines de qui. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Est-ce que vous croyez que c'est une tête comme une autre? qu'on en peut venir à bout? Tout ce que j'ai pu faire, c'est de conserver mon franc parler, et j'en use. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau jour elle m'a dit sans préface: faites-moi faire une comédie par Sedaine. Cela n'a pas été plus fin ni plus long. C'est que, pour comble de scandale, au mépris de l'étiquette und des alten löblichen Herkommens von undenkbaren Zeiten her, elle a conservé la gaieté sur le trône, et sait rire quand leurs Majestés ses frères et soeurs s'ennuient royalement. O das ist zu stark, s'écria maître Sedaine en français! Et puis, poursuivis-je, qu'avez-vous peur? elle est du métier, elle a mis la main à l'oeuvre; il est vrai qu'elle n'en convient pas, mais entre nous on joue de ses pièces sur les théâtres de Pétersboug et de Moscou. Miséricorde, s'écria maître Sedaine, je suis perdu! Cette seule circonstance suffit pour me détraquer la tête, pour m'ôter les trois quarts de mon génie, si j'en avais; pour me faire balbutier comme un enfant, ou pour me donner un air guindé et gêné comme celui d'un mannequin. A ces exclamations successives je m'aperçus que j'étais un de ces habiles médecins qui, à mesure qu'ils appliquent un emplâtre, font empirer le mal, et je dis avec humeur: Mais pourquoi aussi l'Impératrice charge-t-elle de ses ordres un nigaud comme moi? Que ne donnait-elle cette commission à celui d'entre les rois, ses bons frères et alliés, dont le caractère de bon citoyen est le mieux établi? Le rang souverain aurait suffi pour aiguillonner le poëte, le caractère somnifère eines redlichen Bürgers l'aurait rassuré; l'Impératrice serait restée derrière le rideau, la pièce eût été merveilleuse, parce que le fantôme de Catherine II n'aurait pas emporté au poëte les trois quarts de sa tête.

Je me garderai bien, Madame, de dire à Votre Majesté Impériale ce que je pense moi de la pièce de maître Sedaine; c'est une épreuve inutile que je veux m'épargner. La pièce est au pied du trône de son juge, et attend son arrêt. L'auteur s'attend à un arrêt de mort, il s'y prépare, il dit qu'il y est résigné. Votre Majesté verra par un des billets originaux de l'auteur que je joins ici, que pourvu qu'il lise sa condamnation de la propre main impériale, il mourra content. En lui lisant le passage qui le concerne dans une des lettres de Votre Majesté, je n'ai jamais pu m'empêcher de la lui lire successivement toute entière depuis Jean-Jaques Rousseau de douteuse mémoire jusqu'à Joseph II confessé par Clérisseau au profit du chef de l'Eglise grecque. Je n'ai jamais vu un homme plus frappé, plus étonné, plus enthousiasmé. Cela le prenait aux jambes comme moi, et il fallut qu'il se promenât dans ma chambre en long et en large, pour revenir peu à peu de sa

* surprise. Le lendemain, en m'envoyant les dernières corrections, il m'écrivit ce billet d'Elle et sur Elle. Heureusement la pièce était faite, sans quoi tout était dit; la lecture de la lettre aurait détraqué ce qui restait de la tête du poëte.

Je ne suis pas précisément l'ami de Sedaine, je n'ai jamais eu grande liaison avec lui; mais c'est un homme dont j'estime prodigieusement le talent et le caractère. Si j'étais sorcier, je ferais en sorte que l'Impératrice eût la tête tournée de cette pièce, et que l'auteur reçût une récompense capable de fixer sur lui l'attention du public. Car je suis surtout enchanté, lorsque les grâces de mon auguste souveraine servent à la fois de récompense et de leçon. De récompense au mérite, avec un bon soufflet sur la joue des aveugles qui l'ont à côté d'eux sans s'en douter. Les couteaux de la fabrique de Toula sont ordinairement à deux tranchants, et le grand fabricant ou la grande faiseuse de l'empire grec sait seule leur donner leur fil merveilleusement. A mon avis Sedaine est aujourdhui le seul homme en France qui connaisse véritablement le théâtre, qui ait du génie et de l'invention; cependant nos faiseurs de phrases et de couplets métaphysiques sont bien éloignés de s'en douter. On pilerait plutôt les la Harpe et les Dorat et tant d'autres faiseurs de tragédies essentiellement froides, dans un mortier que de leur apprendre à donner le tour à une pièce, à une scène même, à la Sedaine; et cependant, parce qu'il est simple et modeste, sans intrigue et sans cabale, ils le regardent de la meilleure foi du monde du haut de leur grandeur, comme des nains qui, marchant sur des échasses de huit pieds, se croiraient dix pieds de hauteur. Voltaire à la vérité lui rendait plus de justice. Sans connaître sa tragédie en prose, sur l'idée seule qu'il avait du talent de l'homme, il ne dédaigna pas d'employer son crédit pendant les dernières années de sa vie, pour empêcher cette pièce d'être jouée, parce qu'il craignait, non peut-être sans fondement, que son succès ne ruinât la tragédie en vers, machine si éloignée de la nature, de fond en comble. Lorsqu'il trouva ensuite Sedaine dans un cercle ici, il alla à lui et lui dit: Monsieur, votre bien est à vous; vous ne devez rien à personne. C'était le cri de la vérité, et le premier mouvement de ce grand homme fut toujours pour la justice, qu'ensuite des considérations secondaires altéraient quelquefois. J'aurais donc une secrète joie bien grande, si cette justice rendue par Voltaire était à jamais consacrée par notre immortelle Impératrice, et que le simple et modeste Sedaine pût dire: C'est à moi que Catherine II a fait ordonner de lui faire une comédie, ce qui ne l'empêchait pas de créer le nouveau Ferney, et de reproduire dans le temple de Minerve l'hyperboréenne les loges du Vatican; c'est ma pièce qu'elle a fait jouer sur son théâtre et en sa présence; c'est

* cette pièce qui a acquis par là le droit de paraître sous les auspices de son nom auguste. Sedaine dit que son Gavaudan ressemble à Diderot, mais il ressemble bien plus encore à lui-même, excepté que le feu de Gavaudan Diderot est toujours prêt à s'en aller par la première cheminée qui l'attire, au lieu que celui de Gavaudan Sedaine reste concentré sous un extérieur froid, mais qui ne lui donne que davantage l'air de six pieds. Les grandes figures ont peu de mouvement et n'en expriment que mieux les grands effets. Si Sedaine avait eu le bonheur de vivre sous le règne de Catherine II, il eût été le Shakespeare de son siècle; mais dans sa patrie, méconnu ou traversé, il n'a pas tiré de son génie le quart de ce qu'un seul regard de Votre Majesté lui eût fait faire. Il n'a pas non plus reçu aucune récompense, et si le frère de Madame de Pompadour, dans les temps qu'il était le Betski de la France, c'est à dire qu'il y avait le même département, ne lui eût donné la place de secrétaire perpétuel de l'Académie royale d'architecture, il n'aurait jamais joui d'aucune faveur du gouvernement, parce qu'il n'a jamais imaginé qu'on dût demander quelque chose, encore moins poursuivre ce qui ne vient pas au devant de nous.

Au reste, Madame, quel que soit le succès de sa pièce dans l'esprit de Votre Majesté Impériale, que la pièce lui plaise ou non, ce qui dépend d'un concours infini de circonstances, je suis bien sûr de deux choses: la première, c'est que le coup d'oeil de l'Impératrice apercevra un grand talent et bien de l'esprit dans la manière dont ce singulier sujet a été manié; la seconde, que le choix du sujet même est un hommage indirect rendu à Votre Majesté, et qu'entre tous les souverains, on ne peut guère présenter qu'à mon auguste Impératrice et son bon allié, le roi de Prusse. Votre Majesté aurait peut-être mieux aimé de voir le lieu de la scène placé alleurs que dans une cour. Ce n'est pas la peine, dira l'Impératrice, lorsqu'on est placé au rang suprême, d'aller au spectacle, pour s'y retrouver de nouveau à la cour; et quand cela m'arrive, il me prend fantaisie de m'en retourner à la maison, parce qu'en y entrant je laisse la cour à la porte. Mais qui peut diriger le choix d'un poëte! Ce qui m'en plaît, c'est que si Votre Majesté permet que la pièce devienne publique, on se croira peut-être obligé dans toutes les cours de la faire jouer, parce qu'elle a été jouée à la cour de Russie, et cette circonstance ne serait pas pour moi la moins piquante de l'aventure.

Comme cette pièce est du douzième siècle, nous avons consulté à la bibliothèque du Roi les images des anciens manuscrits des troubadours, afin de pouvoir donner un costume à l'habillement théâtral des différents acteurs, et c'est d'après ce costume que Cochin nous a dessiné tous les per-

* sonnages. Ces dessins, que j'ai l'honneur de mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale, serviront à guider celui qui sera chargé des habits de la pièce, comme l'esquisse des différents personnages servira à faciliter aux acteurs l'intelligence de leurs rôles.

A propos de poëtes, puisque c'est leur tour d'être coulés à fond aujourd'hui, au très grands détriment et ennui de Votre Majesté, j'ai lu l'autre jour avec une certaine satisfaction dans la gazette de Hambourg daß der berühmte Gelehrte, Herr de la Harpe, von dem Großfürſten nach Petersburg berufen worden, und ſich mit eheſten dahin begeben werde. Il nous en garde bien le secret; mais si ce voyage a lieu, Votre Majesté aura la plus belle occasion du monde de se défaire de ses anciennes préventions et de se convertir, et moi, plein d'admiration pour la miséricorde divine qui veille toujours sur notre ointe et ne veut pas la laisser dans l'impénitence, j'adore ses décrets éternels qui lui ménagent un sauveur dans la personne de M. de la Harpe. Si la pièce de Gavaudan Sedaine doit paraître sur le théâtre impérial, je crois que son vieux Gavaudan fera bien de plier bagage et de décamper, avant d'être chassé par Menchikov et les Barmécides.

A propos de la gazette de Hambourg, car il faut procéder de fil en aiguille, je dirai à Votre Majesté Impériale que cette gazette m'a causé il n'y a pas longtemps une souleur effroyable. J'y ai lu qu'on avait célébré à la cour de Pétersbourg l'anniversaire de la naissance de Monsieur Alexandre; que le soir il y eut bal dans la galerie en présence de Sa Majesté et de leurs Altesses Impériales. J'entendais parfaitement tout cela et je voyais le bal d'ici. Allein, continue le maudit gazetier, et encore au bas de la page, ce qui donne une éternité de pensées tandis qu'on tourne le feuillet, auf einmal wurde mitten im Ball das Tanzen unterbrochen, und die Menge der anweſenden Perſonen, die ſich in verſchiedenen Zimmern vertheilt hatten, floß in einem Haufen zuſammen. A ces mots je pâlis. Qu'est-il donc arrivé? Le feu est-il à la maison? Emporte-t-on l'Impératrice et le Grand Duc et la Grande Duchesse hors du palais? Ou bien Sa Majesté, exécutant le projet dont elle m'a menacé dans sa colère, a-t-elle lancé ces fameuses loges de Raphaël du fond de l'Hermitage à travers toutes les pièces au milieu de cette galerie dont la colonnade sera de marbre l'année prochaine, au grand étonnement des danseurs et danseuses qui ne s'attendaient pas à voir le Père Eternel de Raphaël tomber au milieu d'un bal pour faire le pas de rigaudon à la suite de M. le grand écuyer? Point du tout. Der Gegenſtand dieſer allgemeinen Vereinigung war der Höchſterwünſchte Enkel der großen Catharina, den man dieſen ſeinetwegen ſo feſtlichen Tag zu ſchmücken dahingebracht hatte. Maudit gazetier de m'avoir causé la sueur froide pour me surprendre par l'arrivée de

* Monsieur Alexandre. Au reste, mon ami Thier m'a assuré que le susdit Alexanderlein est déjà grand et fort, qu'il se roule dans sa chambre à terre tant qu'il lui convient, et qu'il aura un frère avant la fin de mars. On me demande souvent ici mon avis sur le plan d'éducation que l'Impératrice suivra pour faire de son petit-fils un homme afin qu'il puisse être un prince. Je leur réponds: Messieurs, si j'étais dans le secret de ce plan d'éducation, je le trahirais et je le ferais imprimer pour le bonheur des nations, afin que tous les porteurs de couronnes en herbe fussent bien élevés. — Mais qui seront les instituteurs? — Rassurez-vous, on ne les prendra pas en France. — Voilà, Madame, comme les inexplicables gaucheries de la Minerve du Nord m'exposent toujours à mille questions auxquelles je ne puis satisfaire que par un honteux silence, si bien que les questionneurs me quittent avec dédain et pensent peut-être: Oh, ce nigaud n'a jamais vu le Volcan de Pétersbourg de près, sans quoi on apercevrait une auréole de son front; il n'en a que les yeux éblouis, ce qui lui promet d'être aveugle au premier jour.

Alors, Madame, il ne verra plus qu'une seule image dans sa tête, mais elle sera auguste, immortelle, ineffaçable, et ce sublime et attrayant fantôme empêchera sa tête de se rétrécir, lorsque ses yeux ne pourront plus voir le firmament des cieux. Alors je m'écrierai: O Ouen Ouang, tu l'as vue, et puisque ton malheur veut que tu ne la voie plus, qu'as-tu besoin d'yeux?

Madame Denis a trouvé parmi les trésors de son oncle un portrait en miniature de Votre Majesté Impériale. Que fait-elle? Ne pouvant porter à son âge des girandoles et collier de diamants, elle emploie tout ce tas de diamants qu'elle doit à la munificence impériale, à s'en composer un immense ruban auquel pend ce portrait de Votre Majesté pareillement entouré de diamants. Ainsi on la rencontre dans les cercles de Paris avec le portrait de l'Impératrice au cou, et si l'on n'en a pas sa suffisance, elle présente du tabac avec le portrait de l'Impératrice sur la boîte, tandis qu'elle, ses nièces et Madame de Villette surnommée Belle et Bonne par le feu Patriarche étalent sur leurs robes les fourrures impériales.

Mais il est temps de finir pour ne pas manquer la poste et de faire voyager la comtesse de Boulogne. Si le voyage de Pétersbourg lui réussit autant que celui de Toulouse, je lui dirai: Lorsque vous vous entretiendrez avec l'Impératrice, ne manquez pas de lui glisser, daß zwar Himmel und Erde vergehen müßen, weil das Evangelium nicht lügen kann, mais que mon profond respect, ma passion, mon attachement pour Sa Majesté Impériale ne finiront jamais, et font le bonheur et le tourment de tous les instants de ma vie.

à Paris, 15 (26) février 1779.

* POST-SCRIPTUM AU № 35,

servant d'avant-coureur fort ennuyeux à ce numéro, et ne souffrant aucun délai pour les raisons y énoncées.

Je tiens, Madame, à peine la divine pancarte de Votre Majesté Impériale, à peine ai-je eu le temps de la parcourir (ce qui se fait toujours avec des yeux étincelants et dévorants à faire peur à tout mon voisinage), que je mets la plume à la main, pour ne pas perdre un instant. L'ordre de Votre Majesté portant de faire prendre à la bibliothèque Voltairienne la route de Lubeck (ce que je ne puis qu'honorer de ma haute approbation)... *Nota* que je suis en train de faire autant de parenthèses que Louis XV en mettait dans ses lettres... Or tel étant l'ordre de Votre Majesté Impériale, toutes ces colonnes vont s'ébranler de Paris et de Genève pour se porter sur Lubeck par terre. J'enverrai de Paris, indépendamment du détachement de la bibliothèque, le plan en relief du château de Ferney et le buste en marbre du Patriarche exécuté par Houdon, tandis que tout le corps de la bibliothèque partira des Délices. Mais il s'agit de régler la marche du petit détachement de Rieu composé de livres anglais. Je veux, avant de le mettre en route, avoir une approbation expresse de ma très gracieuse et auguste Souveraine. Depuis que Votre Majesté m'a ordonné d'acheter pour son compte les livres anglais appartenants ci-devant à M. de Voltaire, M. Rieu m'a encore chargé de mettre aux pieds de Votre Majesté un exemplaire sans doute unique des oeuvres de Voltaire, puisque M. Rieu pendant un grand nombre d'années qu'il a demeuré à Ferney à deux pas du château, n'a eu d'autre soin que de guetter tout ce qui sortait de la plume du Patriarche, et qu'à force de vigilance il est parvenu à former un recueil où l'on m'assure qu'il ne manque pas le plus petit chiffon échappé à Voltaire. Votre Majesté trouvera ci-joint la liste de tout ce que ce recueil, formant en tout 101 volumes, renferme. On m'a encore assuré que des libraires ont offert jusqu'à cent louis d'or à M. Rieu de cet exemplaire, mais il leur a dit qu'il ne voulait pas détacher ce trésor de ses livres anglais, et que le tout irait se ranger aux pieds de Votre Majesté Impériale. Cela a donc encore changé mon marché avec M. Rieu, et comme il n'a jamais voulu fixer lui-même un prix, je m'en suis rapporté à des arbitres de Genève, M. Tronchin des Délices à la tête. Ils m'ont assuré que vu la cherté des livres anglais, les présents d'auteurs en beau papier, les Baskerville, les assez belles reliures, enfin cette collection complète et unique des oeuvres de Voltaire, je pouvais en conscience payer six mille livres de France; que de cette manière

* Votre Majesté aura payé en Impératrice, et que M. Rieu les recevra avec une respectueuse reconnaissance et se trouvera parfaitement et généreusement récompensé. Mes pleins pouvoirs s'étendent assez loin pour m'autoriser à finir ce marché, pour payer les six mille livres, et que l'Impératrice n'en entende plus parler; mais il ne me convient pas de faire ainsi. Chacun a sa marotte, j'ai ouï dire une fois à Sa Majesté Impériale qu'elle était bonne à tarabuster, et je prétends avoir mon droit comme un autre de l'ennuyer et de la tarabuster; il me sera même répondu très gracieusement que ce n'est pas la premiere fois que cela m'est arrivé. Je supplie donc Votre Majesté très humblement de vouloir bien me mander sans délai qu'elle approuve ou bien qu'elle n'approuve pas que je paie six mille livres à M. Rieu, parce que je ne veux terminer cette affaire qu'avec cette approbation. Cela fera que ces livres partiront deux mois plus tard que la bibliothèque, mais ils arriveront encore assez tôt à Lubeck pour faire le trajet cette année, et moi j'aurai marché avec l'approbation impériale, ce qui me fait marcher sans fatigue. Sans dire à M. Rieu et à ses arbitres que je voulais prendre de nouveau les ordres de Votre Majesté, j'ai déclaré que je ne pouvais me décider définitivement sur cet objet que vers la fin de mai.

Par une lettre ci- jointe de M. Tronchin des Délices Votre Majesté aura une idée très précise du travail de M. Racle. Ces plans vont partir pour Lubeck, ainsi que le modèle en relief, en même temps que la bibliothèque. Le tout sera adressé à Messieurs H. F. et A. W. Pauli à Lubeck, qui étaient il y a deux ans les correspondants du baron de Fréderichs, et le sont sans doute encore. C'est donc à eux qu'il plaira à Votre Majesté Impériale de faire adresser tous les ordres relativement à la remise des ballots qu'ils recevront de ma part, et c'est chez eux que le paquebot impérial ira les prendre.

Nota, qu'en me mandant l'approbation ou la non approbation des six mille livres de M. Rieu, je supplie Votre Majesté de m'autoriser pareillement à payer deux mille quatre cents livres de France à M. Racle, ainsi qu'il est dit dans la lettre de M. Tronchin.

Second Nota, que si Votre Majesté s'en rapporte à moi pour décider si M. Racle ira en Russie ou non, il n'y ira pas, parce que je ne puis juger si son voyage peut être nécessaire ou utile au service de Votre Majesté, et que dans le doute je décide pour la négative, surtout à cause de l'observation très juste que tout le monde ne sait pas bâtir en Russie.

Troisième Nota, qu'en recevant les cent dix mille livres de France destinées à la nouvelle édition de Voltaire, je n'ai pas reçu les deux mille roubles dont il est fait mention dans la même divine pancarte et qui étaient destinés à rafraichir mes fonds. Mais que —

* *Quatrième Nota*, je ne veux pas que Votre Majesté me fasse remettre présentement ces deux mille roubles, attendu qu'indépendamment de ce qui me reste encore en caisse de mon dernier décompte, je ne paierai à compte de la nouvelle édition qu'à bonnes enseignes et non d'une seule traite, de sorte que je pourrai toujours prendre sur l'énorme somme de 110,000 livres et l'argent de M. Rieu et celui de M. Racle et d'autres avances de ce genre, et qu'il me restera tout l'espace de temps nécessaire pour en solliciter le remboursement auprès de mon auguste Souveraine, ce qui me délivre encore du souci de garder des fonds cosidérables qui ne sont pas à moi, quoique, déposés dans la première maison de banque de Paris, ils ne courent aucun risque. C'est en cas de mort, chez Messieurs Girardot, Haller et Compagnie que Votre Majesté pourra toujours reprendre dans la minute ce qu'elle m'a confié, et comme je ne dois rien à personne, tout mon avoir en répond par-dessus le marché.

Cinquième Nota. Je paierai, mais sans attendre de nouveaux ordres de Votre Majesté, pour le modèle en relief ou 2,400 ou 3,000 livres de France, suivant que cela aura été jugé plus séant à mon tribunal après l'instruction préalable du procès et le tout mûrement considéré.

Sixième Nota. Wagnière, en conformité des ordres de Votre Majesté, qui par parenthèse sont honorés de ma haute approbation, ne devant pas partir tout à l'heure, je n'ai point de dépense à faire à son sujet pour le moment.

Voilà une kyrielle de nota les unes plus importantes et plus ennuyeuses que les autres; et Votre Majesté m'observera avec raison que quand une fois j'ai rencontré une forme, j'en enfile une kyrielle l'une après l'autre comme Sancho ses proverbes, quand il en avait rencontré un. C'est qu'il y a plus de contact de conformité entre les grandes têtes qu'on ne le croit communément. Tant y a que de tout ce que j'ai dit, je ne vois pas un mot à retrancher, et que mon ministère m'oblige à ne pas laisser manquer l'Impératrice d'ennui; c'est à quoi le Tout-puissant m'a réservé malgré moi pour le salut de son âme.

Mais pour tirer un peu Votre Majesté de toute cette fatale kyrielle de nota, je commencerai par me taire, et puis j'ajouterai à cette dépêche trois pancartes du divin Reiffenstein à son cher Monsieur. Puisque Dieu à fait la grâce à Votre Majesté de sentir le mérite de ces pancartes, et qu'il a même doué Son ointe du don de les commenter au besoin, mon devoir est de n'en pas laisser manquer à l'ointe du Seigneur. Et puis, il faut bien que Votre Majesté sache où en sont les pilastres des Loges, et combien le Saint-Père latin s'intéresse au succès de cette entreprise. Je me suis hâté d'assurer le

* divin Reiffenstein, hérétique comme moi, que le chef de l'Eglise grecque orthodoxe trouverait très bon le coup d'oeil de bénédiction lancé par le Saint-Père latin sur cette sainte entreprise. Mon Dieu, ce n'est pas pour la vie du Saint-Père qu'il faut trembler; il n'est qu'un morveux pour un pape, et l'église espère que son époux Jésus-Christ conservera son vicaire encore une vingtaine d'années pour la tranquillité de Votre Majesté et au grand déplaisir des Romains et du Sacré Collége qui n'aime pas les pontificats qui ne finissent point. Mais c'est pour le divin Reiffenstein qu'il faut que l'église grecque réunisse tout son crédit auprès du Père Eternel et de Son cher Fils; c'est la conservation de cet homme divin qu'il faut obtenir du ciel par nos jeûnes et nos prières. C'est sa perte qui mettrait toute notre entreprise en désarroi. Dafür bewahre uns der barmherzige Gott. Quand j'ai vu sa fluxion de poitrine dans ses lettres à son cher Monsieur, j'ai pâli jusqu'au blanc des yeux; mais j'espère qu'il est entièrement rétabli et pour longtemps. Votre Majesté trouvera dans ces lettres l'histoire des basiliques de Pannini. Peut-être M. de Stackelberg les aura-t-il aisément du comte Rzewuski. *Nota* que ces polonais sont ordinairement fort près de leurs pièces et vendent les apôtres, à plus forte raison leurs hôtels appelés basiliques.

Puisque me voilà retombé dans les nota, *nota* que Wagnière portera à Votre Majesté un échantillon de chaque étoffe dont chaque pièce de Ferney était meublée.

Et *nota*, avant et après toutes choses, que je mets aux pieds de mon auguste et immortelle Impératrice l'hommage du plus profond respect et d'un attachement dont elle ne connaîtra jamais l'étendue.

à Paris, le (16) 27 mars 1779.

AUTRE POST-SCRIPTUM

au № 35,

le premier n'étant pas encore à la poste.

A peine, Madame, ce premier post-scriptum très ennuyeux, autant que ma conscience peut me le rappeler, était-il fermé, qu'il m'arrive une lettre de Vesuvio Paisiello qui me mande qu'il ne peut pas m'écrire, mais que j'aie à lui envoyer sans perte de temps un de ses Finales qu'on a ajouté ici à un opéra d'Anfossi et qui a excité un tumulte et un fracas d'admiration

* peu commun. Il prétend que Votre Majesté Impériale voulant entendre ce morceau dans le premier concert après pâques, je n'ai pas un moment à perdre pour lui en dépêcher la copie. J'ai donc fait copier jour et nuit, j'ai passé la nuit à y mettre les paroles moi-même, pour ne pas les faire estropier par des copistes français qui ne les entendent pas, et à présent que le paquet est prêt, comment faire? Je ne veux pas ruiner ce pauvre Paisiello par le port d'un de ses enfants; grâces à la politesse avec laquelle Votre Majesté a promu l'ouvrage de la paix, il est si avancé que nous n'avons plus l'espérance de voir aller et venir les courriers. Ma foi, dans le doute c'est à l'Impératrice à payer l'amende. Pourquoi a-t-elle de ces engouements? Voilà qu'il lui faudra aussi des finales! Je crois, Dieu me pardonne, qu'elle finira par avoir aussi la passion de la musique. Ainsi jamais on n'aura vu le fond du sac avec elle. Que deviendront donc les historiens qui auront écrit qu'elle n'aimait pas la musique? Les traitera-t-on de menteurs? En vérité, cela est désolant. Moi, je trouvais Votre Majesté très bien, malgré son indifférence pour la musique; il ne lui manquait rien dans mon esprit, et cette qualité de plus ne fera pas hausser ses actions d'un cran, malgré ma frénésie musicale. Actuellement il faudra que je change tout cela, que je culbute mes idées, et ce ne sera pas la dernière fois, si Dieu me prête vie. Allons, que la volonté de Dieu soit faite! Paisiello ne s'en trouvera pas plus mal; mais puisque Votre Majesté m'expose de gaieté de coeur à toutes ces révolutions, je lui ferai payer le port du Finale. Je supplie donc très humblement mon auguste Souveraine de faire remettre ce paquet al Maestro Vesuvio, et lui souhaite bien du plaisir pour son argent. Il est certain que ce Finale est une des plus belles choses que j'aie entendues en musique, et qu'il m'a saisi un enthousiasme de diable à la prima recita; mais c'est la maladie de mon enfance; je n'ai point de reproches à me faire, je suis venu au monde avec cette infirmité. Que dirait ce bon et pauvre M. Roellig de Zerbst s'il savait cela? Il en mourrait de douleur. Quoi, dirait-il en pleurant, je n'ai pas réussi, malgré toute la magie de mon art, à faire aimer la musique à cette immortelle Impératrice que j'avais la gloire d'enseigner, et ce triomphe était réservé à des Italiens! Des catholiques nés dans l'erreur s'en vanteront à la barbe d'un Luthérien environné de toute la pureté évangélique! Mon pauvre Monsieur Roellig, je trouve cela fâcheux, surtout pour notre sainte religion orthodoxe qui ne méritait pas ce dégoût; mais que voulez-vous que j'y fasse? Dieu envoie ordinairement des humiliations à son église, parce qu'il l'aime, l'Impératrice envoie des boîtes chargées de diamants et des aigrettes à Paisiello, parce qu'elle en est contente; elle fait même augmenter ses appointements de mille

* roubles. Tout ce que nous pouvons nous permettre de dire, mon cher Monsieur Roellig, c'est que les allures de l'Impératrice ne sont pas divines. Um das mögen Ihro Kaiſerliche Majeſtät mit ihrem Beichtvater ausmachen.

Si cela dure, Madame, je serai obligé ou de décamper et de déserter Paris, ou bien de me barricader et de soutenir un siège en forme contre tous les importuns que je dois aux faits et gestes de Votre Majesté Impériale et qui ne cessent de m'assaillir. Voici un catalogue de tableaux qu'un certain M. Robinet, censeur royal et barbouilleur de papier, veut vendre à votre Majesté. Si Dieu avait assez retiré Son esprit de dessus Son ointe, pour qu'elle voulût du cabinet du barbouilleur, malgré l'acquisition récente du superbe cabinet Walpole que je me rappelle fort bien d'avoir admiré il y a sept ans en Norfolkshire, je ne m'en rapporterais sûrement pas à l'estimation du barbouilleur, mais j'aurais recours à tous les brocanteurs possibles pour faire apprécier ces tableaux à leur juste valeur. Mais il s'offre bien un autre cabinet à Votre Majesté, si ce goût fatal subsiste tojours. C'est celui du comte de Baudouin, officier aux gardes françaises, collection de tableaux flamands, d'une centaine environ, mais où il n'y a rien de médiocre. C'est un des plus beaux et des plus célèbres cabinets de Paris, M. le prince Orlov l'a vu, M. le comte Ivan Tchernichev doit le connaître àussi. God save our Emperor of Russia, et préserve Son ointe dans ce saint temps de carême de toute autre tentation que de celle de conserver à jamais ses bontés à son pauvre souffre-douleur!

à Paris, le 27 mars 1779.

№ 1.

Allerunterthänigster Vortrag.

Madame,

L'expérience et la discussion des affaires bavaroises à la cour d'équité de Pétersbourg ayant suffisamment démontré qu'il n'y a rien de plus impatientant et de plus ennuyeux que les Nachtrag, il a été résolu en mon conseil privé, moi y étant tout seul, de délivrer Votre Majesté Impériale une bonne fois pour toutes de tous ces Post-scriptum redoutables et desséchants, de supprimer entièrement tout ce qui a l'air d'un Nachtrag annexé aux pancartes, et de faire en sorte qu'une pancarte généreusement avalée et pardonnée par mon auguste Souveraine n'entraînerait plus à son dam une queue

* de trente aunes partagée en divers compartiments. En conséquence de ce nouveau plan toutes les affaires se traiteront désormais le moins succinctement possible dans un Vortrag, qui auront leur numéro distinct du numéro des pancartes, et voilà pourquoi celui- ci est intitulé Numéro 1. Votre Majesté me dira peut-être que l'habit ne fait pas le moine, qu'elle ne voit pas ce qu'il y a à gagner pour elle dans ce changement d'un Nachtrag en Vortrag, que c'est le génie du Vor- ou Nachträger qu'il faudrait changer, et qu'au demeurant il ne lui

. . . importe guère
Que l'ennui soit devant ou marche par derrière.

Mais à cela je réponds: 1) que le Vorträger aimant son Impératrice ou Autocratrice de toutes les puissances de son âme, et tous ses sentiments s'étant concentrés depuis longtemps pour son malheur dans cet attachement, il ne peut plus détacher en lui aucun élément qui ne tienne à quelque sentiment pour son auguste bienfaitrice, qu'il n'en peut ni veut froisser aucun le plus légèrement du monde, et que par conséquent toute séparation des éléments de son génie et des sentiments de son coeur étant impraticable, il faut qu'il reste jusqu'à sa dissolution prochaine avec tous ses défauts, y compris la seccatura ou le desséchement. 2) que l'habit fait très sûrement le moine, et que tout dépend dans ce monde de la perruque qu'on a prise, de sorte que si aus leidiger Verleitung des Bayerischen Nachtrags je n'en avais jamais fait, et que j'eusse porté toutes mes affaires au pied du trône sous la forme d'un Vortrag, Votre Majesté ne se serait peut-être jamais aperçue à quel point je suis ennuyeux. 3) que l'habit d'un Vorträger me donne l'air d'un petit Kouzmine ou d'un petit Bezborodka en miniature, et que cette seule idée fait tressaillir mon coeur de joie où il entre aussi beaucoup de vanité. 4) que l'Impératrice étant obligée, comme se trouvant au service de l'Empire, d'écouter un Vortrag nach dem andern, elle doit être résignée à cette forme, au lieu que personne ne peut l'obliger d'écouter avec la même patience un Nachtrag.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, j'adopte par cette résolution irrévocable la forme invariable du Vortrag avec ses numéros distincts et particuliers, bien entendu que si j'en trouve une meilleure, je ne manquerai pas de l'adopter tout aussitôt.

Après ce préambule aussi nécessaire que fastidieux, je commence mon rapport, et j'ai l'honneur de dire à Votre Majesté Impériale qu'à l'heure où je tiens la plume, le petit gentil courrier dont la venue m'a enrichi de tant de bienfaits, doit être sorti de Paris pour retourner à Pétersbourg. Dieu

* lui accorde un heureux et prompt voyage, et lui fasse la grâce de se trouver bientôt en présence de M. le brigadier Bezborodka, pour lui remettre en mains propres mon énorme paquet de paperasses adressé directement à Sa Majesté Impériale, signé № 1 et accompagné d'un gros rouleau en toile cirée, signé № 2 et à la même adresse, renfermant les dessins et plans de Ferney. Voilà comme le gentil et naïf courrier de notre Impératrice m'a dit qu'il fallait faire conformément aux ordres qu'il avait reçus en partant de M. Bezborodka, qui lui a dit que s'il était absent, il devait se faire annoncer directement à Sa Majesté Impériale. Il ne m'en a pas moins fallu que tous ces détails positifs, pour me faire renoncer à l'enveloppe de mon bienfaiteur constant et adorable, M. le chevalier d'Eck, pour lequel je supplie Votre Majesté d'avoir la plus haute considération, non seulement à cause de tout ce que je lui dois, mais particulièrement aussi à cause de la belle parabole welche unſer Herr Jeſus von dem Eck und Eckſtein, ich weiß nicht mehr bey welcher Gelegenheit, ſehr ſcharfſinnig gemacht hat, woraus ich in meiner Jugend ſo viel wahrgenommen, daß wenn unſere große Kaiſerin ihren rechtſchaffnen Eck nicht hätte, dero Ruhm nur auf einer Seite beflügelt Europa durchwandern könnte, jetzt aber durch des getreuen Ecks Poſtillons und Fuhrzeug in einem Augenblick von einem Ende des Erdkreiſes bis zu dem andern verbreitet werde, ce qui malgré la multitude des postillons ne laisse pas que d'être un métier très fatigant, vu que ce que les anciens auraient appelé le démon de l'Impératrice veut toujours planer, sans jamais connaître ni trève ni repos. Puisque j'ai donc pu renoncer dans cette occasion à la tutelle de mon bienfaiteur M. d'Eck, et abandonner mes paquets à la garde d'un enfant qui m'a apporté les bienfaits de notre Impératrice, j'ai toute confiance qu'il remettra fidèlement et ponctuellement le paquet et le rouleau que je lui ai remis ce matin en mains propres, et en tout cas je me promets von Allerhöchſter Kaiſerlicher Gnade qu'elle voudra bien lui faire demander l'un et l'autre. Les plans de Ferney viendront à propos, pour mettre la belle saison à profit. En attendant le modèle en relief chemine avec la bibliothèque vers Lubeck, comme j'aurai l'honneur d'en faire part à Votre Majesté Impériale par un autre Vortrag.

Continuation du Rapport.

Au moment où je me suis nanti des fonds que Votre Majesté a si généreusement destinés à l'avancement de la nouvelle édition des oeuvres du Patriarche immortel comme son auguste protectrice, et où je comptais en assister efficacement le seigneur Pankoucke, avec les précautions toutefois

* que la prudence et mon devoir m'imposaient, il s'est manifesté un incident dans cette entreprise qui m'a fait un peu changer de plan. Le seigneur Pankoucke, dans l'intervalle qu'il a fallu pour attendre la résolution de Votre Majesté Impériale à sa requête, a associé le seigneur de Beaumarchais en qualité de financier à son entreprise de la nouvelle édition. Il me l'a notifié au moment où, nanti des fonds de Votre Majesté, j'étais prêt à les lui délivrer contre des sûretés raisonnables. Le génie de l'associé me fit quelque impression. Je me rappelai la maxime du Barbier de Seville: *Ce qui est bon à prendre est bon à garder*, non que je crusse Beaumarchais capable de suivre les principes de son Barbier, mais je dis à Pankoucke que Beaumarchais n'étant ni libraire ni imprimeur ni marchand de papier, il n'avait pu se l'associer que pour les avances des fonds, et comme l'Impératrice aimait à faire rendre à tout seigneur tout honneur, il me semblait juste que les fonds du seigneur Beaumarchais fussent employés avant ceux de Votre Majesté. Cependant on était allé en Angleterre acheter deux fontes de caractères de Baskerville qui doivent servir à l'immense édition qu'on projette, et l'on comptait employer les fonds de Votre Majesté à cette emplette préalable; mais comme on ne pouvait se flatter avec certitude que Votre Majesté jugerait à propos de faire cette étonnante générosité, on avait fait aussi à tout événement d'autres dispositions pour n'être pas pris au dépourvu en cas de réponse négative de la part de Votre Majesté. J'ai déclaré que l'Impératrice, sans égard pour le rang suprême, renonçait à l'ambition d'être à la tête de l'entreprise, et que ses fonds ne devaient servir que de supplément. Pankoucke est resté stupéfait de la magnificence impériale, mais il n'a pu désapprouver les limites que j'y ai mises. Il m'a avoué naturellement qu'il n'a jamais cru que Votre Majesté dirait ainsi soit-il à sa requête, et que s'il avait pu le croire, il n'aurait pas traité avec Beaumarchais. Dans le fait il ne faut pas exiger de l'âme de Pankoucke d'être au niveau de l'âme de Catherine; mais je crois que, malgré la magnificence inouïe de Votre Majesté, il n'aurait pas eu les reins assez forts pour faire les avances nécessaires à cette édition. Car le projet de ces messieurs étant de faire un coup décisif et de gagner au moins un petit million, ils seront dans le cas de faire une avance de sept à huit cent mille livres, et un seul homme n'est pas assez fort pour cela. Ils ne comptent pas donner moins de trois éditions en trois formats divers à la fois, et faire de chaque format des éditions immenses, et ne pas délivrer un feuillet que tout ne soit prêt et achevé, afin que de longtemps aucun libraire corsaire ne soit tenté de les contrefaire. En attendant Beaumarchais, avec qui je ne me suis pas soucié d'entrer en conférence à ce sujet, va disant partout en faisant claquer son fouet, que l'Im-

* pératrice de Russie souscrit pour toutes les puissances de l'Europe, et qu'elle a arrêté cinq cents exemplaires. On vient à moi, on me demande ce qui en est. Je hoche la tête, je fais le mystérieux, je dis: il pourrait bien en être quelque chose. Voici, Madame, ce que sous le bon plaisir de Votre Majesté Impériale je me propose de faire: 1) Lorsque la souscription sera annoncée et ouverte au public, ce qui doit être incessamment, je souscrirai pour les cent exemplaires que Votre Majesté m'a ordonné de prendre. 2) Si l'entreprise bien en train exige des avances pour la hâter, je les ferai jusqu'à la concurrence de la somme que Votre Majesté a destinée à cet effet, et je me ferai délivrer des reconnaissances de souscriptions placées en Allemagne, pour la sûreté de la rentrée des fonds. Si Pankoucke était resté seul à la tête de l'entreprise, je n'aurais pu me dispenser de faire courir de plus grands risques aux fonds de votre Majesté, puisqu'enfin sa volonté suprême était qu'ils servissent à accélérer l'édition; mais j'aime mieux pour ma tranquillité la tournure actuelle. Si je l'avais pu prevoir, je n'aurais pas même touché les fonds en question, mais elle ne s'est manifestée qu'au dernier moment, lorsque je m'étais mis en devoir d'en faire la remise entre les mains du seigneur Pankoucke. Au reste, indépendamment des vingt-deux ou trois mille livres qu'il faudra pour la souscription des cent exemplaires, et des dépenses que j'aurai à faire pour d'autres objets, lorsque j'aurai reçu les ordres de Votre Majesté sur mes dernières pancartes, je vais indiquer ici un emploi des fonds qui sont entre mes mains, conformément aux intentions de mon auguste Souveraine.

Continuation du Rapport.

Clérisseau n'a pas été le seul pleureur, j'ai pleuré avant lui, lorsque j'ai lu l'arrêt de Votre Majesté sur ses portefeuilles; tout le public en a été attendri, lorsqu'il l'a appris. Non, jamais on ne pourra remarquer dans l'âme de la plus grande Souveraine sans la plus douce et la plus délicieuse émotion cette délicatesse, avec laquelle en toute circonstance elle sait se mettre à la place du plus petit atôme, et consulter ses convenances avant les siennes; ce prodige ne s'est jamais vu sur le trône, et ce n'est pas le plus petit des prodiges; il a fait à Paris presqu' autant de bruit que la déclaration faite l'automne dernier à la cour de Vienne. Dès que j'eus reçu les ordres de Votre Majesté par le gentil petit courier, je mandai Clérisseau, et je les lui communiquai. Il les écouta les deux poings enfoncés dans ses yeux; quand j'eus cessé de lire, il se mit à fondre en larmes; puis à courir par la chambre en criant: Monsieur, Monsieur, elle est Impératrice, c'est une âme sublime, mais moi je suis artiste, et j'ai aussi une âme, ou je ne mérite pas ce

* titre. Puis, prenant un air plus calme et le ton d'un suppliant, il me dit: Monsieur, je ne saurais consentir à ce que l'Impératrice me demande. Je n'ai plus rien à moi, tout est à elle depuis que vous m'avez lu sa lettre. Comment voulez-vous que je sois le gardien de ce qui lui appartient? J'en perdrais le sommeil, et il faudrait m'enterrer avant trois mois d'ici. Le feu n'aurait qu'à prendre. On n'aurait qu' à me voler. Savez-vous que dans la revision que j'ai faite en attendant ses ordres, j'ai trouvé qu'on m'avait volé deux dessins? Eh bien, que deviendrais-je à présent que tout est à elle, si cela m'arrivait? Non, elle n'a pas voulu m'ôter mon repos par sa générosité et sa grandeur d'âme que je vanterai toute ma vie, mais dont je ne puis profiter. Demain, Monsieur, je vous apporte ici tout ce que j'ai, et vous en serez le dépositaire.... Un moment, mon cher Monsieur Clérisseau, vous voyez bien que les murs de ma maison ne sont pas aussi épais que ceux du Louvre où vous logez. Vos portefeuilles sont plus en sûreté chez vous que chez moi; il faudrait d'ailleurs que je me misse dans la rue pour leur faire place et les loger. Attendons les ordres de l'Impératrice, et j'espère qu'elle vous en délivrera. Il consentit, et comme la vanité ne perd jamais ses droits, il me pria de lui écrire une lettre qui contînt en substance les ordres de Votre Majesté à son sujet, et surtout ces paroles si touchantes et si dignes d'une éternelle reconnaissance qu'il serait cruel de chagriner un honnête homme et un bon artiste avec son propre ouvrage. Je le satisfis sur le champ, mais à condition que rien de tout cela ne serait imprimé. Il s'en alla portant sa lettre de maison en maison, riant et pleurant de joie et de reconnaissance. Le lendemain il m'écrivit la pancarte que je mets ci-jointe aux pieds de Votre Majesté Impériale, en m'envoyant deux exemplaires de ses antiquités de France, l'un pour Votre Majesté que je lui paierai, l'autre dont il fait hommage à l'Académie Impériale des beaux-arts. Ce présent n'est pas désintéressé comme Votre Majesté verra par sa pancarte, car il désire le même honneur que l'Académie des beaux-arts a fait à M. Pierre, premier peintre du roi de France, c'est-à-dire d'être associé honoraire. J'ai mis ces deux exemplaires dans une caisse que j'ai fait partir à la suite de la bibliothèque, et qui est actuellement en route. Vu tout ce qui précède, Madame, ensemble le contenu de la pancarte du bonhomme Clérisseau, je crois que Votre Majesté ne peut se dispenser d'accepter dès à présent tout son trésor, et que le bonhomme en mourrait, s'il était refusé. Si je reçois les ordres de Votre Majesté sans délai, je crois que tout peut encore arriver à Lubeck assez à temps cette année pour faire le trajet à Pétersbourg. J'adresse la bibliothèque et tout ce qui s'ensuit à Messieurs Franz Heinrich et Adrian Wilhelm Pauli à Lubeck; ils sont les correspondats du baron de Fréderichs,

* qui leur fera passer les ordres de Votre Majesté. Il y aura au moins huit portefeuilles tout prêts de partir, lorsque les ordres de Votre Majesté arriveront, et le reste sera prêt sous six semaines ou deux mois, car ce diable de Clérisseau retouche tout, pièce par pièce. Si Votre Majesté m'y autorise, je détacherai des fonds que j'ai entre mes mains la somme de soixante mille livres, et j'en paierai le fond de Clérisseau. Si par la suite j'ai besoin d'argent pour faire aller là nouvelle édition de Voltaire, suivant la tournure actuelle de cette entreprise, je n'en aurai besoin que par parcelles; je me ferais toujours avertir assez d'avance pour pouvoir en demander le montant à Votre Majesté, et lorsque j'aurai payé les cent exemplaires demandés, j'espère n'avoir rien à avancer tout le reste de cette année, de sorte que si les soixante mille livres que je donne à Clérisseau sont à remplacer pour servir à l'édition, ce ne sera que successivement dans le cours de l'année prochaine; ainsi les dispositions de Votre Majesté seront également respectées. Et d'un. 2) Comme tout ce que mon auguste Souveraine a une fois prononcé, doit selon moi avoir son accomplissement, mon allerunterthänigstes Gutachten est que je dois payer à Clérisseau les trois mille livres accordées à titre d'intérêt pour cette année, quoiqu'il puisse toucher les soixante mille livres dans le courant de juillet, si l'Impératrice approuve mon plan. Mais ni les trois mille ni les soixante mille livres ne seront payées, sans que j'y sois autorisé par la réponse de mon auguste Souveraine. 3) Comme le nom de Clérisseau ne peut qu'honorer la liste des académiciens étrangers que l'Académie Impériale des beaux-arts a adoptés, j'espère que Votre Majesté ordonnera qu'il y soit reçu sous la même qualité que M. Pierre, premier peintre du Roi de France, on ne risque rien de faire cette nomination même avant l'arrivée de ses antiquités de la France. Il s'appelle Charles Louis Clérisseau, et il est membre de l'Académie royale de peinture et sculpture de France. 4) J'ose enfin pareillement espérer que Votre Majesté voudra bien accorder à Clérisseau l'honneur qu'il ambitionne d'avoir le titre et le brevet de son architecte; et si dans ce brevet il était qualifié de premier architecte de Sa Majesté Impériale, je ne m'y opposerais pas, parce que cette qualification jetterait un grand lustre sur Clérisseau, qu'elle ne ferait aucun tort à aucun des architectes de Votre Majesté, parcequ'une grande princesse peut avoir plus d'un premier architecte, surtout lorsqu'elle est possédée par le démon de la création; et qu'enfin en fait de titres tout ce qu'il y a de plus brillant est toujours ce qu'il y a de mieux pour le porteur. Tout considéré, Votre Majesté aura bien de la peine de se dépêtrer de ce Clérisseau, mais voilà ce que c'est que d'avoir la fantaisie des portefeuilles.

A vue de pays, lorsque j'aurai payé tout cela, il me restera encore en

caisse de vingt à trente mille livres pour payer, conformément aux ordres que j'attends, les livres de M. Rieu, les plans de M. Racle emportés par le courrier ce matin, le modèle en relief de Ferney, le buste en marbre par Houdon, le voyage de Wagnière etc.

Quant à ce dernier, je supplie Votre Majesté de me dire positivement en quel temps l'Impératrice ordonne qu'il soit rendu à Pétersbourg, et si elle désire qu'il arrive en même temps que la bibliothèque, car il est tout prêt et n'attend que le signe de tête qui doit décider de sa destinée.

Si je ne redoutais les querelles d'allemand, j'aurais une belle occasion d'envoyer à Votre Majesté deux belles lettres in lingua Toscana que Corilla m'a écrites. La tête tourne aussi à celle-là d'orgueil, de joie, de reconnaissance et d'amour. En vérité, c'est une terrible chose de troubler partout et dans tous les coins de l'Europe les coeurs et les têtes, et de leur enlever le calme et la paix. Corilla est toute prête à voler aux pieds de l'auguste Catherine, mais Nardini ayant un vieux père à soigner, ne peut l'accompagner. Cependant elle veut partir. Je crois que vu sa pauvreté, Vorte Majesté pourrait ordonner au baron de Frépderichs de lui établir un crédit chez Messieurs Calamai à Livourne, et que vu la noblesse et l'élévation de son âme, car celle-là a un coeur aussi, ce crédit pourrait être illimité, qu'elle n'en abuserait pas. Elle serait seulement vaine de cette marque de confiance, elle prendrait tout juste l'argent nécessaire à son voyage, et en rendrait compte à M. le comte Alexis, son protecteur. Voilà du moins comme je la connais. Il m'a passé, tout en écrivant, une idée par la tête qui allégerait infiniment pour cette inspirée le fardeau du voyage. Le conducteur de Denis Diderot, M. Balla, est ici. Il connaît l'Italie, l'Allemagne, toute la route. Il est, je crois, sous les ordres du prince Orlov ou du comte Alexis. Ce serait un conducteur fait exprès pour chercher Corilla l'inspirée à Florence et pour la ramener dans ses foyers. J'ai quelquefois des idées admirables, et celle-ci est du nombre.

Je terminerais ici mon très humble Vortrag et pour un échantillon cela ne serait pas trop tôt; mais Dionysius Diderot m'a chargé de porter cette lettre aux pieds de Votre Majesté, et je vais la comprendre dans mon rapport. C'est peut-être une lettre de nouvelle année, car Dieu merci Dionysius sait moins que jamais que le temps court. Peut-être aussi croit-il que l'année devrait commencer le 2 mai. C'est mon opinion, et je m'y tiendrai avec la même tenacité avec laquelle Votre Majesté conserve son vieux style. Mon opinion est encore que ce terrible Vortrag dégoûtera Votre Majesté à tout jamais de cette méthode que je croyais si sublimement inventée. Comme on n'a pas le droit de signer un Vortrag, il ne me reste que le parti de me

* retirer avec confusion dans ma coquille après avoir embrassé avec le plus profond respect et la dévotion la plus ardente les genoux de Votre Majesté Impériale.

à Paris, ce 15 (26) avril 1779.

POST-SCRIPTUM

servant d'enveloppe à l'ennuyeuse pancarte № 37.

Sous cette enveloppe Votre Majesté Impériale receevra trois traités importants que j'ai signés dans le courant de l'année dernière, et qui opèreront avec le temps un changement si considérable dans le système politique de l'Europe, que les apprentis-ministres feront très bien de les étudier dès à présent; c'est pourquoi je les dépose dans les archives de l'Empire de Russie.

2. Une lettre récente du cardinal de Bernis au souffre-douleur impérial, laquelle ne rassure point du tout sur l'état de la santé du Saint-Père le Pape, ce qui me cause un grand déplaisir. Il appert d'ailleurs par cette lettre que le cardinal et le souffre-douleur sont d'avis qu'il faut que Votre Majesté reproduise le miracle de la paix entre la France et l'Angleterre, tout comme ce miracle a été opéré en Allemagne, par la douce persuasion de la raison gréco-russe.

3. Un mémoire concernant le commerce de la Russie avec le Levant par la mer Noire. Ce mémoire doit avoir été envoyé à M. le comte de Panine par M. le prince Bariatinski; mais on a exigé de moi de le mettre immédiatement sous les yeux de Votre Majesté Impériale, parceque l'on est d'avis qu'il n'est pas indigne de son attention.

4. Un baron de Gleichen, demeurant dans ses terres en Franconie, philosophe campagnard et cultivateur, m'a envoyé ce remède contre les mulots, les plus redoutables ennemis du blé. Il regarde sa découverte comme très importante. Il prétend qu'elle doit l'être singulièrement pour l'empire de Russie où le commerce des blés reçoit d'année en année un accroissement de la plus haute considération. En conséquence il m'a chargé de faire à Votre Majesté Impériale hommage de cette découverte où tout est profit, puisque la destruction de ces insectes offre en même temps et sans aucuns frais une manière d'engraisser les volailles. J'ai lieu de présumer que le baron de Gleichen, très convaincu de rendre un grand service, s'attend à

* une marque de satisfaction de la part de cette immortelle Souveraine qui s'est fait la réputation d'encourager et de récompenser tous les genres de mérite et de services. Bien entendu que cette récompense ne pourrait avoir lieu que lorsque le remide éprouvé aurait eu un succès indubitable. Je n'ai jamais vu ce baron de Gleichen que pendant vingt-quatre heures à la cour d'Anspach, il y a une dixaine d'années; il est, je crois, cousin de celui qui a été au service de Danemark, et qui est aujourd'hui cosmopolite ou habitant errant du monde, passant ses hivers tantôt en France, tantôt en Italie. Et voilà une des centmille tribulations journalières que m'attire la bienveillance de mon auguste et suprême bienfaitrice. Je les passe toutes sous le silence, je les avale sans m'en plaindre à personne; mais quand je crois y découvrir une sorte d'utilité quelconque, alors le courage d'en importuner Votre Majesté Impériale me revient, et je vais bravement à la charge de la patience de celle qui a le moins de titres à cette vertu des saints.

Par une lettre du divin Reiffenstein que j'aurai l'honneur d'expédier à Votre Majesté par la poste, il conste que le baron de Fréderichs n'a encore donné aucun ordre à Gaspard Santini relativement aux 24 mille scudi romani ou à peu près qui doivent être touchés à fur et mesure pour la copie des Loges de Raphaël, ce qui n'empêche pas le dit Gaspard Santini de faire toujours les avances nécessaires avec une confiance tout à fait édifiante dans un banquier. Das iſt eines der Wunder unſerer Kaiſerin, ſagen die Leute von Riga. *

---

6 (№ 8).

Allerunterthänigster und höchst betrübter Vortrag.

A Paris, ce 6 (17) juillet 1779.

Madame. Je suppose à Votre Majesté Impériale si peu d'engouement pour mes Vortrag, qu'il ne leur manquait, je crois, pour les achever de perdre, que d'être porteurs de mauvaises nouvelles. C'est pourtant à quoi le sort me réduit.

J'allais gratifier Votre Majesté de deux pancartes du divin Reiffenstein, dont la seconde est énorme, et je me disais: Tant mieux, notre Impératrice aime le style du divin; plus ses lettres sont longues, plus il y a à méditer et à commenter. Pendant que je me dis cela, arrive la troisième et change mes tant mieux en tant pis. Mengs n'est plus, et quoique les lettres

du divin Reiffenstein m'aient préparé depuis longtemps à cette catastrophe, et qu'il m'ait même alarmé sur la santé de ce grand artiste à proportion qu'il espérait de me rassurer, je ne saurais exprimer à Votre Majesté à quel point cette nouvelle m'a frappé. C'est que lorsque les hommes vraiment uniques dans leur sphère viennent à manquer, ils laissent après eux de longues ténèbres, dont le premier aspect saisit l'âme d'effroi et de douleur. La seule consolation qui s'offre en ce moment-ci à mon esprit, c'est d'espérer que Votre Majesté apprendra cette triste nouvelle par les papiers publics et les avis directs de Rome, et que ce ne sera pas moi qui la lui apprendrai le premier. Il ne paraît que trop certain, Madame, que tout ce que les lettres et les arts ont produit d'illustre dans ce siècle est destiné à périr avant l'année 1780. Nous sommes, grâces aux coups redoublés du sort, si appauvris qu'au moins nous n'avons plus à nous inquiéter, parce qu'il ne nous reste plus rien à perdre. Que cette dizaine de 70 à 80 a été funeste! Je désespère de démêler dans mon coeur quel sentiment il lui garde; en me procurant l'avantage inestimable d'approcher Votre Majesté, elle a fait le bonheur et le malheur de ma vie; elle a changé ma vie en rêves, dont les uns sont ravissants et les autres douloureux et pénibles: or les rêves sont un baume au printemps de la vie, mais ils dessèchent quand on touche à la saison de l'hiver.

Votre Majesté Impériale remarquera que le brave Reiffenstein, qui n'est pas seulement divin, mais surtout fort honnête et plein de zèle pour tout ce qui intéresse le service de notre grande et immortelle Impératrice, a porté sa première pensée, ainsi que moi, sur les deux mille scudi avancés à Mengs. Moi j'y ai pensé pour remercier le sort de ce que cette somme a été payée par le fait de M. le grand chambellan et non par le mien, car quoi que je puisse faire, je n'ai pas encore réussi à oublier ce que j'ai dépensé à Votre Majesté pour certaine fatale écritoire en sus du premier prix convenu! Au reste j'ai mandé à Reiffenstein tout de suite que puisque l'ambassadeur d'Espagne devait s'en mêler, nous, pour faire aussi notre devoir, étions dans le cas de faire opposition entre ses mains pour les 2000 scudi de Votre Majesté Impériale jusqu'à ce que nous sachions ses intentions; et j'ai écrit en même temps au cardinal de Bernis pour le prier de favoriser le divin Reiffenstein auprès de l'ambassadeur d'Espagne et de lui permettre d'avoir recours à son éminence en cas de besoin. Après ces précautions prises nous attendrons l'ordre de notre auguste Souveraine pour savoir ce qu'il nous reste à demander à l'égard de ces 2000 scudi.

Votre Majesté daignera remarquer en second lieu, que j'ai jugé à propos de demander au divin Reiffenstein une confession sincère sur sa propre situa-

tion, afin de pouvoir lui être utile si l'occasion s'en présentait, et qu'il m'a fait cette confession philosophique dans la longue lettre qui précède celle de la mort de Mengs. J'avoue que je lui ai demandé ce détail dans la vue de le mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale, mais non seulement je lui ai caché mon dessein, mais je l'en ai même déroutée. Sa dernière maladie me l'avait fait naître. J'ai jugé que tant qu'il vivrait, il serait toujours plus ou moins employé au service de notre Impératrice, qui ne cesserait jamais d'avoir des affaires à Rome, quoiqu'il n'y en ait point entre le chef de l'église orthodoxe grecque et celui de l'église schismatique romaine. J'ai jugé encore que les courses qu'il était obligé de faire avec les étrangers et dont le produit faisait le plus clair de son revenu annuel devaient commencer à devenir pour lui très fatigantes et menacer sa santé de ruine, et je ne me suis pas trompé. J'ai donc pensé que si Votre Majesté jugeait à propos de l'attacher à son service et de s'en emparer entièrement, non seulement cela ne serait pas fort cher, vu la simplicité et la modération du divin homme dans sa vie ordinaire, mais que notre Impératrice en aurait fait l'homme le plus heureux de la terre, parce que dans cette supposition il n'aurait plus qu'à penser jour et nuit comment il exercerait son zèle pour le service de notre auguste Souveraine, pensée dans laquelle il est déjà entièrement absorbé. Je vois que cinq mille livres de France ou six mille au plus font le sort annuel qu'il se procure avec tant de fatigues. Si l'Impératrice ordonne à son Académie des beaux-arts de lui assurer pour toujours les cent zecchins ou environ mille à onze cents livres de France qu'il a touchés jusqu'à présent; si elle daigne y ajouter une pension de mille ou douze cents roubles avec un titre de conseiller et d'agent, Sa Majesté Impériale aurait, comme je l'ai déjà dit, fait la fortune la plus splendide d'un brave et honnête homme, et aurait en même temps un agent zélé et actif pour toute l'Italie, à qui elle pourrait adresser tous ses ordres avec la plus entière confiance, bien entendu que le pauvre souffre-douleur n'y perdrait rien et resterait toujours l'entremetteur. Si Votre Majesté préférait plutôt de lui donner une somme d'argent une fois payée dont il pût se faire un sort, je dirais que ce ne sont pas mes affaires.

Il pourrait alors être tenté de mettre cette somme sur sa tête en rente viagère, et s'il choisissait la France pour la placer parce qu'on y regarde cet emploi comme le plus sacré, attendu que le roi de France a un grand intérêt de se ménager cette ressource pour emprunter et que la mort le libère peu à peu de ses créanciers sans qu'il ait besoin de leur faire banqueroute, dans ce cas, dis-je, moyennant une modique augmentation du capital, on pourrait placer sur deux têtes au lieu d'une, et Votre Majésté ferait

le bonheur de deux personnes au lieu d'une, dont la seconde serait à son choix et jouirait après M. Reiffenstein. Il va sans dire qu'il faudrait qu'elle fût beaucoup plus jeune que lui, et même enfant pour en jouir d'autant plus longtemps. Enfin, si, sans l'attacher entièrement à son service, Votre Majesté juge plus convenable de ne lui accorder que deux ou trois cents zecchins par an en y faisant comprendre ou non les cent zecchins de l'Académie Impériale des beaux-arts, pour le récompenser de tous les soins qu'il se donnera pour l'exécution de ses ordres, il en résultera toujours ce grand bien qu'ayant la moitié ou les deux tiers de son revenu annuel assuré, il pourra se débarrasser des deux tiers des fatigues qu'il est obligé de prendre pour subsister. Si enfin, et pour dernier enfin, mon auguste amabilississsississsissime Souveraine me demande d'où me vient ce radotage et si elle m'a chargé de lui donner mon avis là-dessus, je reprends mon radotage et mon avis, mais sans lever avec moins de confiance mes yeux sur son front auguste, et l'y fixant tant qu'il me plaît, denn wir Leute von Riga haben für unſere Kaiſerin eine kindliche Furcht, aber keine knechtiſche.

Je finis, Madame, par où j'aurais dû commencer, en parlant à V. M. des deux architectes italiens que notre Impératrice est menacée de voir à ses pieds avant la fin de l'année. J'ose me flatter que V. M. approuvera les procédés du divin Reiffenstein, ensemble les précautions qu'il me paraît avoir prises avec toute la prudence requise et qu'elle daignera ratifier les engagements qu'il a pris suivant ses ordres précis en son nom auguste: bien entendu que s'il y a dans tout cela quelque chose qui déplaise à notre auguste Souveraine, elle nous fasse la grâce de nous le reprocher durement, afin que le divin homme de Rome et le céleste homme de Paris apprennent à se corriger, puisqu'ils sont heureusement encore dans l'âge. Je munirai chacun de ces deux architectes d'une lettre pour M. d'Eck, que Votre Majesté me permettra peut-être de qualifier de conseiller d'état, sans me chicaner, et j'adresserai dès à présent mes voeux ardents au ciel pour que mon Trombara et mon Quarenghi soient gens suivant le coeur de l'Impératrice, honnêtes et raisonnables, ni têtes de buse, ni têtes de Falconet, ni rampant à terre, ni se perdant dans les airs, et qu'ils deviennent à son service de plus en plus parfaits, sans faire ni les vieux, ni les jeunes, ni les escargots, ni les papillons, ni les épais, ni les éventés, ni les grands seigneurs, ni les mirliflores, enfin que rien de trop ne se glisse parmi les atomes qui les composent. Quand je les aurai adressés à mon bienfaiteur M. d'Eck, chevalier et conseiller d'état, permis à lui de les adresser à M. le comte de Bruce, à M. Bezborodka, à qui Votre Majesté l'ordonnera hormis au diable et à sa grand'mère. J'ai bien glosé sur ces deux architectes. J'ai dit: Me

semble qu'il serait bien mieux avoir un Italien et un Français, le premier pour la pureté du style, le second pour l'intelligence et l'agrément de la distribution intérieure. Mais, j'ai dit en finissant, c'est à sa tête qu'il faut faire et non à la mienne. Ses ordres sont précis et pressants; ne faut lui faire perdre temps et patience avec mes remontrances; c'est celles-là qu'il faut adresser au diable et à sa grand'mère, après quoi le divin Reiffenstein a fait le reste. Nun der Himmel ſchütze ſeine Geſalbte, Deutſchlands Ruhm, Rußlands Freude und Europens Wunder! Amen.

---

* OBSERVATION TRÈS URGENTE

au sujet de la belle apparition en fait de beaux-arts dont il est fait mention dans la divine lettre du divin Reiffenstein du 4 auguste; laquelle belle apparition n'est autre chose que celle d'un Jupiter assis, molesté dans son nez et dans ses mains.

Comme je suis payé par mon auguste Souveraine, entre autres choses, pour me défier de la tête impériale, dont peu de mortels ont été à portée comme moi de considérer et d'étudier la marche, c'est à dire les sauts et les bonds, et dont il n'est pas donné à tout le monde de mesurer les gambades, encore moins de les suivre, j'aime mieux prévenir ses erreurs que d'avoir à les redresser, mon expérience m'ayant appris que quand une fois quelque gambade a renversé un certain nombre de vérités historiques, rien n'est si difficile que de les rétablir ensuite dans leurs droits et prérogatives près le trône, autrement dit trépied de Sa Majesté Impériale.

Or sus

il faut donc savoir et se bien mettre dans la tête que, comme il y a plus d'un Tronchin en France et à Genève, et que tous ces Tronchins ne sont pas médecins (personne par parenthèse ne sait mieux que moi combien il m'en a coûté de sueur, de veilles et de persévérance pour établir cette vérité importante dans la tête de Sa Majesté), il y a aussi plusieurs Hamiltons en Angleterre, et que tous ne sont pas chevaliers et ministres du roi Britannique auprès du roi Napolitain. Celui par exemple qui offre à Votre Majesté son Jupiter assis est un peintre anglais établi depuis nombre d'années à Rome où il fait aussi le brocanteur. Ce Hamilton n'est pas même sans

* mérite. Il dessine bien et il compose encore mieux qu'il ne dessine; il n'y a que sa couleur de mauvaise; mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de commun entre lui et le chevalier Hamilton, qui en est aux petits soins avec le petit cousin de Votre Majesté résidant près de Naples et s'appelant tout court Vesuvio, personne ne lui contestant son ancienneté, quoiqu'il dédaigne de compter par quartiers.

Je ne sais pourquoi le divin homme, dans la supposition que Votre Majesté s'engoue de ce Jupiter, aime mieux qu'il soit à Gênes qu'à Ostende; moi je suis toujours pour le plus près. Mais ceci me fait penser à l'année prochaine, et demander très positivement si M. le comte Iwan Grégoriewitch compte envoyer quelque frégatte à Livourne, et s'il permettra que nous emballions à bord pour l'Impératrice nos pilastres des Loges und andere Trödeleyen, comme il a fait emballer la duchesse de Kingston à Calais, ou bien de quelle voie il faudra nous servir für unſern Trödel-Markt.

TRADUCTION

de la feuille italienne.

Statue de Jupiter assis, trouvée dans la Villa Adriana plus grande que nature, ayant sept pieds anglais de hauteur depuis la plante des pieds jusqu'au haut de la tête. Cette statue est d'un style grec sublime et de la meilleure conservation, puisqu'il ne lui manque que les deux mains, le nez et quelques autres petites parties de peu de conséquence. Elle est de marbre grec blanc. Cette statue est sans contredit la plus belle chose que M. Hamilton ait jamais eue dans sa possession ou qui ait jamais été expédiée de Rome en aucun temps; et comme il a réussi à M. Hamilton de la faire heureusement sortir de Rome sans qu'elle ait été vue de personne, il a jugé à propos, pour la sûreté de ses intérêts, de se servir de l'occasion d'un navire hollandais et neutre pour faire transporter ce trésor à Ostende, afin de le faire aller de là suivant les circonstances ou en Angleterre ou ailleurs. Et avant de faire aucune démarche pour la vente de cette statue, le propriétaire désire se faire honneur auprès de la cour de Pétersbourg, en lui proposant un morceau aussi précieux de sculpture antique, qui par son sujet n'a pas son égal à Rome ni dans aucune autre partie du monde. Il ne reste à Rome dans le Muséum Clémentinum que le fameux Jupiter assis du palais Ve-

* rospi, qui n'est pas comparable à notre statue pour la qualité de la sculpture. Il n'y a dans cette statue du Muséum d'antique que la partie du trône avec la tête, tout le reste est restauration moderne, et cependant le cavalier Cavaceppi eut ordre du roi de Prusse d'en offrir deux mille zecchins ou mille louis d'or. Ce prix est aussi celui auquel M. Hamilton se tient pour son morceau si supérieur en mérite à l'autre; mais comme c'est la première fois qu'il a l'honneur de présenter quelque chose à Sa Majesté Impériale, il se contenterait même de seize cents zecchins, comme le dernier prix auquel il s'est fixé.

Après avoir si rudement excédé notre auguste et amabilississsisssime Souveraine par mille rabacheries ennuyeuses, il ne me reste que de me dérober à ses augustes regards plein de honte, de confusion, d'amour, de respect, de repentir et de regrets de lui avoir si peu parlé des besoins de mon coeur.

à Paris, ce 16 (27) auguste 1779.

№ 10.

Allerunterthänigster und höchst eilfertiger Vortrag.

Madame,

Je profite dans la plus grande hâte du départ d'un voyageur qui va comme un trait à Berlin, qui y mettra mon paquet à la poste, et qui m'assure que Votre Majesté Impériale l'aura plus vite que si un de ses courriers l'emportait d'ici. C'est pour mettre sous les yeux de Votre Majesté une pancarte Reiffensteinienne que je me sens dieſe grauſame Eilfertigkeit, und ſo begleite ich denn gedachte pancarte mit meinen brünſtigen Wünſchen zu einer kurzen Reiſe, und ſage ihr: Du biſt glücklicher als ich.

Mais avant d'exposer à Votre Majesté la partie qui presse, je ne puis me dispenser de m'arrêter un moment à la partie morale, puisqu'enfin c'est la morale qui maintient l'ordre et l'équilibre dans l'univers, comme tout le monde sait, et qu'il serait temps que notre Impératrice prît une résolution bonne et ferme de ne pas mettre à tout moment les têtes sans dessus dessous. Je m'étais bien gardé de ne leur rien mander à Rome de tout ce qui

était arrivé à Clérisseau. J'avais le pressentiment que cela leur renverserait les têtes. En général je me vante le moins que je peux de tout ce que l'Impératrice mon auguste Souveraine me fait faire par son ordre exprès. Je cache tous ses vouloirs à moi commis de mon mieux. Je n'ai fait à personne l'énumération de tout ce qui a été porté chez Madame Denis par ordre de Votre Majesté. J'ai déclaré à Clérisseau que personne ne saurait par moi le prix de ses portefeuilles: avec cela tout se sait, tout s'ébruite, et je rentre chez moi étourdi à force de questions et de tout ce que j'entends dire. Ce diable de Clérisseau se promène partout, la tête deux fois plus haute qu'auparavant. L'Impératrice de Russie vous a donc rendu prodigieusement riche? lui demande le comte d'Angerviller, directeur général des bâtiments et des académies, c'est à dire, le Betski de ce pays-ci.—Si riche, lui répond Clérisseau, qu'il n'est plus en votre pouvoir de me faire du bien. Nota que la cour ne lui avait jamais donné aucun encouragement. De là il s'en va à l'atelier de Houdon, et lui commande le buste de Votre Majesté Impériale. Faites moi le buste de l'Impératrice, afin qu'il soit placé chez moi sur l'autel de la reconnaissance; il faut que tous ceux qui entrent chez moi, sachent que c'est à elle que je dois tout ce que j'ai. A la bonne heure: quand toutes ces explosions se font dans le foyer, je prends patience; je me dis: Elle m'envoie à tout moment une mèche pour mettre le feu aux étoupes, il faut bien que j'attrape par-ci par-là des éclats: un souffre-douleur impérial doit périr tôt ou tard par le feu, c'est dans l'ordre. Mais ne voilà-t-il pas que le diable tente mon Clérisseau d'écrire tous ses bonheurs à Rome, et ne voilà-t-il pas que toutes les têtes de Rome sont à l'envers, que mon révérend père Jaquier se tourmente dans sa jaquette, que mon divin Reiffenstein me détaille une page entière d'articles sur lesquels il doit m'écrire et sur lesquels il ne m'écrira pas, attendu que sa tête n'y est pas; qu'un jeune élève, pensionnaire du duc de Saxe-Gotha, joli sculpteur, appelé Doell, et un pensionnaire de l'Empereur sont obligés tous les deux de danser d'après le flageolet de l'enthousiasme de Clérisseau, sans compter ce que les Unterberger, les Chichi, les Marons, les Hackert seront obligés de faire: de sorte qu'après avoir essuyé tous les éclats de bombes du foyer de Paris, il faut encore qu'il m'arrive des éclaboussures de Rome. Ce qui me plaît de cette bagarre, c'est que la tête du pauvre divin homme n'y étant absolument pas, Votre Majesté ne saura que dans huit jours tout ce qu'il y aura à dire sur bien des articles qui intéressent son service; la justice exige cette punition.

Mais l'Italie a bien d'autres griefs contre l'Impératrice des Grecs. On prétend que le duc de San Niccola, ministre de Naples, a eu ordre de hâter son arrivée à Pétersbourg et de débuter par faire à Votre Majesté de fortes

* plaintes sur la dernière effroyable éruption du Vésuve. Ce volcan a été outré des propos de l'Impératrice des Grecs. Elle me regarde comme un polisson, a-t-il dit d'un ton de fureur à figer tout le sang de Saint Janvier, elle me refuse jusqu'à la qualité de son cousin, elle n'est engouée que de son Etna; il ne lui en faut pas moins que six tableaux de Hackert, tandis qu'elle n'a pas peut-être de moi une chétive petite miniature. Ah, montrons-lui un peu que nous pouvons aspirer à l'honneur du cousinage; qu'on parle un peu de nos faits et gestes, et qu'on écrive dans l'histoire que ce polisson de Vésuve a fait des siennes dans les environs de la grande Grèce, en même temps que Sa Majesté sa cousine, Catherine II, faisait des siennes sous la constellation de l'étoile polaire. En conséquence de cet errible projet, tout Naples s'est cru au moment de sa destruction, une colonne de feu s'est élevée à la hauteur de dix-huit mille pieds sur une base de six mille. Son ambition était d'être aperçue du balcon de Tsarsko-Sélo; et sans les Alpes le cousin aurait eu cette satisfaction, et l'Impératrice le lorgnant de dessus son balcon aurait dit: Je crois, Dieu me pardonne, que mon cousin l'Etna met son bonnet de travers. A ce propos c'en était fait de Naples, car le cousin Vésuve, outré de voir attribuer ses prouesses au cousin l'Etna par la cousine l'Impératrice, aurait poussé sa colonne de feu dix-huit mille autres pieds plus haut, l'Impératrice aurait reconnu à son grand étonnement le bonnet du cousin Vésuve, mais Naples était enseveli sous les franges de ce bonnet. Voilà qu'il est donc bien prouvé que ce cousin n'est pas un freluquet, et je crois que pour la tranquillité de la cour de Naples et pour la conservation de mon pauvre ami Galiani, Votre Majesté sera obligée de faire expédier à ce cousin un brevet de parenté en bonne forme, afin de le tranquiliser à son tour, et qu'il ne se mette plus sur la pointe des pieds à six mille toises de hauteur, pour voir ce qui se passe à Tsarsko-Sélo sur le balcon. Au reste, ce que j'en dis est pour le bien général, je ne prétends point pénétrer dans le secret des négociations du duc de San Niccola.

Ce ministre vésuvien aura été suivi de près par le nouveau ministre prussien auprès de Sa Majesté Etnaïenne, le comte de Goerz. Oh, pour celui-ci, il est de mes amis. Il veut que je dise à Votre Majesté Impériale tout le bien que je sais de lui. Je m'en garderai bien, j'aurais à griffonner trois jours de suite si je voulais tout dire, et puis il ne sait donc pas que ces volcans ont une perspicacité de diable, qu'on n'a pas besoin de leur cogner le nez sur rien, que d'un coup d'oeil ils vous ont percé un homme d'outre en outre, fût-il enduit d'une quadruple purée de pois. Au vrai, je crois que Votre Majesté me saura gré d'avoir abrégé cet article, et qu'elle trouvera que j'aurais pu l'alonger très aisément par tout le bien qu'il y a à dire vé-

* ritablement de ce nouveau ministre de Prusse, qui a depuis nombre d'années le cachet de Madame Buchwald qui est pour moi le premier des cachets après celui de mon auguste Souveraine: car dans ce siècle de fer la providence a jugé à propos de ranger toute la suprématie du côté non pas des femmes, mais de quelques femmes dont Mademoiselle Cardel restera la plus illustre. Ce comte de Goerz est cause que j'exerce ici l'important ministère dont je suis revêtu. Il bornait alors son ambition à gouverner un petit pays. Comme les choses ont changé en peu de temps! Je suis resté dans toute mon importance, et lui il va être l'interprète, le dragoman du plus grand remueur de bataillons auprès de la plus grande remueuse de têtes et de gouvernements qu'il y ait au monde.

Il est temps, Madame, de finir, c'est à dire de venir au seul article pressé de ce très humble Vortrag. D'après les pancartes du dernier, Votre Majesté Impériale aura regardé les deux mille scudi avancés à feu Mengs comme un capital emporté dans l'autre monde; d'après la lettre du divin homme que je possède depuis un instant, et dont il est accouché au milieu de ses agitations et convulsions clérisseautiques, il se trouve que les héritiers de Mengs peuvent payer la dette non pas en espèces sonnantes, mais en drogues que notre Impératrice aimera peut-être mieux. Comme je me pique de la connaître un peu, quoique je n'aie pas vu le fond du sac au moins, j'écrirai au divin Reiffenstein mardi prochain, attendu que la poste ne part pas plus tôt, en ces termes: Cher Monsieur et divin homme, comme cette auguste Impératrice qui vous cause à vous et au R. P. Jaquier de si terribles soubresauts est connue dans ce monde, entre autres défauts, par son appétit insatiable pour tout ce qui a l'apparence de portefeuille de grands et vrais artistes, et qu'elle a surtout cette fureur de vouloir être la dépositaire de leurs pensées les plus secrètes et les plus intimes, croyez moi et conseillez aux héritiers de Raphaël Mengs de ne prendre aucun parti sur les portefeuilles de leur père avant que les ordres sacrés de Pétersbourg ou de Tsarsko-Sélo ne soient arrivés. Qu'il n'en soit donc rien distrait ni pour aucun Prince d'Allemagne ni pour aucun englishman, mais employez cet intervalle à savoir des héritiers ce qu'ils demanderaient de la totalité à un prix raisonnable et modéré, attendu qu'il leur sera bien plus avantageux de la vendre argent comptant que de vendre en détail, ce qui entraîne beaucoup de faux frais et d'embarras. J'ajouterai qu'on pourra cependant détacher de cette totalité les plâtres pris d'après les antiques et les estimer séparément, parce que je crois que l'Académie impériale des beaux-arts en possède la plus grande partie, et que l'Impératrice à vue de pays n'en aura pas besoin. Dans cet état des choses j'attendrai la réponse de Votre Majesté

* Impériale, que le divin homme dit fort pressée. Mais j'aurai mis la main sur la totalité, sans que l'Impératrice soit empêchée de me dire: *Je n'ai point d'argent pour cela*: car au contraire je l'exhorte beaucoup à me lâcher ce *Je ne veux point*, vu que moi je n'ai plus de souci alors, pour savoir si elle est bien servie, si le tout a tourné à son gré, et ce qui est beaucoup plus difficile, à mon gré; je dors alors bien plus tranquille. La réponse négative de Votre Majesté ne fera même aucun tort aux héritiers, ils ne vendront pas moins bien en détail pour avoir attendu deux mois plus tard, cela les approche de la saison où les étrangers arrivent à Rome, et qui est par conséquent la plus favorable. Or, comme je ne fais aucun doute que les susdits héritiers ne se conforment au conseil que le divin Reiffenstein leur donnera de ma part, il sera libre à notre auguste Impératrice de dire en réponse: Je ne veux rien, ou bien Je veux tout, ou bien J'en veux telle ou telle chose. Et tandis que ces ordres chemineront, je pourrai peut-être déjà mander à Votre Majesté, moyennant l'aide et l'assistance du divin homme, le prix que les héritiers demandent de la totalité avec quelques détails sur la nature de ce trésor.

Quant à ce qui regarde l'exposition publique des copies des Loges de Raphaël dans une des salles offertes par l'ambassadeur de Venise au palais de son excellence qui appartient à la sérénissime république et se nomme San Marco à cause du saint favori de la sérénissime, j'ai l'honneur de prévenir Votre Majesté que je donnerai mardi prochain plein pouvoir au divin Reiffenstein de permettre la dite exposition. Et où est-ce que je prends ces airs-là, sans l'agrément de mon auguste Souveraine? Sous mon bonnet, parce qu'il convient qu'un souffre-douleur impérial fasse voir de temps en temps qu'il n'est pas plus gredin qu'un Vésuve; qu'il a aussi un bonnet; qu'il sait prendre sur lui et deviner dans l'occasion les augustes intentions de sa Souveraine; ce qui n'empêchera pas Votre Majesté, si j'ai mal deviné, de me laver ce bonnet dont j'aurai fait parade mal à propos; mais mon autorité de souffre-douleur n'aura pas moins fait un acte éclatant, quitte à m'en ronger les doigts après. Mais, Madame, ce que j'ai remarqué avec le plus sensible chagrin au milieu des angoisses que l'amitié m'a causées cet été et qui m'ont tenu écarté du temple de Minerve à laquelle je suis consacré, c'est que Votre Majesté Impériale ne m'a pas dit un seul mot sur les pilastres qui sont déjà rendus au pied de l'autel de Minerve et qui devaient être exposés à ses regards à son passage de Tsarsko-Sélo à Péterhof. Or, depuis Votre Majesté a repassé de Péterhof à Tsarsko-Sélo, et nul mot n'a échappé à sa plume concernant les dits pilastres des Loges de Raphaël actuellement en sa possession, de sorte que si j'étais de la famille des volcans, je ne man-

querais pas d'expliquer ce silence comme un arrêt de mort; mais étant connu pour ne pas voir plus loin que mon nez, je me dis tout bêtement: l'Impératrice ayant plus d'une affaire, peut-être les lois danoises ont-elles empêché les ouvrages des Unterberger d'être exposés aux regards qui doivent décider de leur vie ou de leur mort. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si Votre Majesté persiste dans ce silence, je ne réponds pas de la vie du divin Reiffenstein, et que je m'attends à tout instant à le voir passer des convulsions de l'enthousiasme aux convulsions du désespoir. Dieu ait pitié de lui et de moi, quand cet arrêt sera venu!

Je voudrais que dans un de ses accès de ce désir insatiable de faire du bien partout où son auguste bienfaisance peut pénétrer, l'Impératrice me permît, m'autorisât, m'ordonnât d'acheter pour la somme de dix mille livres de France deux diamants très beaux, dont la vente produirait un bien très supérieur à cette somme à une personne qui m'intéresse également et par son mérite et par ses malheurs. Ces deux diamants seraient bien payés avec cette somme, mais pas au-dessus de leur valeur. Il est vrai que les jouailliers de Paris les paieraient bravement six mille livres, sous prétexte qu'il se passera un temps considérable avant qu'ils puissent les placer, ce qui ne les empêcherait pas de les revendre trois jours après dix mille livres même à la personne dont ils auraient été achetés. Si Votre Majesté daigne m'ordonner cette bonne oeuvre, il y aura un coeur de plus qui bénira son nom auguste, elle aura deux diamants de plus dont elle n'aura que faire, ou plutôt dont elle aura toujours à faire, tant qu'elle ne cessera pas d'être elle: car après le c, dit Monsieur Alexandre apprenant l'alphabet latin, vient le d, c'est à dire que Catherine donne ou a donné ou donnera; et je pense même que pour la découverte qu'il a faite là, ces deux diamants pourraient être appliqués de préférence à la plaque de son ordre de Saint-André. En ce cas je pourrais les envoyer à Votre Majesté par le prince Bariatinski, qui m'a dit qu'il avait demandé à notre Impératrice un congé devenu indispensable à ses affaires personnelles, et qu'il en profiterait dès qu'il l'aurait obtenu. Cette occasion de les envoyer serait sans doute la plus sûre, la plus prompte et la plus commode. Je n'ai pas besoin d'ajouter que si, pendant l'absence du prince, M. le comte Panine me jugeait capable de faire quelque chose pour le service de notre auguste Souveraine, puisqu'enfin personne ne peut me disputer le droit de lui appartenir, il me rendrait sans doute l'homme du monde le plus heureux, et j'ose me flatter que M. de Vergennes s'accommoderait aussi de cet arrangement.

Le buste du Patriarche par Houdon étant arrivé, je n'attends que les ordres de Votre Majesté Impériale pour savoir le prix que j'en dois payer,

* après quoi mon compte de cette année sera clos et envoyé au pied du trône, après que j'aurai prié Dieu qu'il ait notre Souveraine autocratrice, législatrice et bienfaitrice en Sa sainte et digne garde.

à Paris, ce 6 (17) septembre 1779.

Madame,

Mon long silence ne peut avoir besoin d'aucun commentaire auprès de Votre Majesté Impériale. Il ne peut signifier autre chose sinon que depuis trois mois qu'il dure, j'ai été malheureux au delà de tout ce qu'on peut imaginer. Condamné à voir souffrir jour et nuit, et à conserver au milieu de ce spectacle horrible un air calme et serein, à donner même à la malheureuse victime de ce long et cruel supplice des espérances qui sont loin de mon coeur, je suis devenu une espèce de machine que la douleur et l'effort continuel de la cacher ont comme endurcie et rendue insensible. Je n'ai pas même la ressource assez ordinaire aux malheureux, de voir le malheur qu'ils redoutent s'acheminer pas à pas, d'en pouvoir marquer le terme, et par conséquent ramasser ses forces pour en soutenir le dénouement. Ballotté continuellement entre la crainte et l'espérance, je passe vingt fois par jour de l'une à l'autre, et la convulsion qui en résulte est sans contredit le sentiment le plus douloureux que l'âme puisse éprouver. J'y devrais être accoutumé depuis six ou sept ans que cela dure: car le dérangement de la santé de cette malheureuse femme a commencé quelques mois avant mon premier départ pour la Russie, et depuis cet instant toujours souffrante, plus d'une fois à l'agonie, et puis revenant à la vie, sans que M. Tronchin ait su ni la guérir ni la tuer, opposant à ses maux, malgré le tempérament le plus frêle, une force et un courage sans exemple, on peut dire qu'elle n'a su ni vivre ni mourir; et moi que l'amitié a cloué auprès de son lit de douleur, j'ai eu pendant ce long espace de temps le rôle d'un bloc de marbre insensible à remplir. Voilà, Madame, ma situation depuis le mois de juin, et plus particulièrement depuis la mort de notre pauvre baron de Zuckmantel. L'année dernière cet état de convulsion et de transes n'avait du moins duré que quatre ou cinq mois, et à la fin de septembre un état beaucoup plus tolérable avait succédé et s'était prolongé jusqu'au mois de mai dernier; mais cette année-ci est beaucoup plus avancée, et je ne remarque encore aucun acheminement vers un état plus supportable et qui me rende la liberté de respirer. Dans l'anéantissement et la stupidité où je suis plongé, le nom sacré de Votre Majesté retentit sans cesse dans mes oreilles, le tableau de ses bontés est toujours devant mes yeux; mais ce qui fait en tout

* temps et en tout lieu ma pensée habituelle et le bonheur de mon existence, achève de mettre le comble à mon malheur. Vingt fois chaque jour j'ai pris la plume pour écrire à Votre Majesté, et chaque fois j'en ai été détourné ou par une nouvelle scène de souffrances ou par l'anéantissement qui succède en moi à ce cruel spectacle. Vingt fois par jour je m'élance aux pieds de mon auguste bienfaitrice et je les embrasse comme Oreste cherchait à embrasser l'autel de la divinité propice qui devait le délivrer des Euménides; mais l'inexorable destinée me rappelle bientôt à mon poste de douleur, et dissipe une illusion aussi favorable. Lorsqu'il m'arrive une lettre de Votre Majesté Impériale, je frémis et frissonne de l'impossibilité où je me trouve d'y répondre et de soulager mon coeur de tout ce dont il est rempli pour l'arbitre auguste de son bonheur et de son malheur, et lorsque ces gages précieux de sa bonté, qui n'eut et n'aura jamais de modèle, me manquent, un noir désespoir me saisit et achève de m'ôter le peu de raison qui me reste. Alors je me dis: Voilà la juste récompense de celui qui a pu s'arracher des pieds de son auguste et immortelle bienfaitrice qui voulait bien l'y souffrir; il n'est que trop juste qu'un tel insensé soit livré aux furies. Et toutefois, Madame, sans cette malheureuse victime qui m'attache ici, j'y serais peut-être encore; peut-être, malgré toute mon inutilité, me serais-je persuadé qu'on ne quitte pas Catherine II sans démence; mais pour cela il fallait que cette femme malheureuse se trouvât dans une situation heureuse ou du moins supportable, que malgré le peu de moyens que le sort m'a ménagés, je ne fusse pas sa seule ressource, et qu'il n'y eût pas à l'abandonner une sorte de lâcheté qui eût suffi pour me rendre indigne des regards et des bontés de Votre Majesté.

Si je me suis permis, Madame, de tracer ici le triste tableau de ma situation, ce n'est pas assurément que je ne sente toute la témérité d'approcher d'un trône environné de prospérité et de gloire, et de profaner par des plaintes et des lamentations inutiles des lieux remplis du génie de notre immortelle Impératrice; mais je ne me le permettrai plus jamais, pourvu que Votre Majesté daigne m'assurer qu'elle ne regardera jamais mon silence que comme une preuve certaine que je suis enchaîné ou par un malheur tel que celui que j'éprouve et dont il n'y a pas peut-être de pareil au monde, ou par la maladie, ou enfin par la mort même. Dès que j'aurai cette assurance impériale, dès que Votre Majesté daignera me dire qu'il n'est pas plus possible que je perde ses bontés qu'il ne m'est possible de vivre sans elles, il ne m'arrivera plus jamais d'oublier assez le respect que je lui dois, pour lui parler des malheurs qui peuvent m'accabler; et dès à présent, pour me sauver du désespoir, je m'assure que mon auguste Impératrice est toujours

* pour moi la même, qu'elle n'est pas même insensible à ma situation, et je m'impose la loi de ne lui en plus jamais parler.

J'ai expédié autant de Vortrag que j'ai pu dans le cruel espace de temps que je viens de passer. Votre Majesté n'aime pas ces formes ennuyeuses et insipides qui ont d'ailleurs le tort de lui rappeller les tracasseries bavaroises. Mais indépendamment de la nécessité d'expédier et de commenter les pancartes du divin Reiffenstein sans aucun retard, laquelle nécessité entraîne celle de la forme, mon coeur se serait brisé avant que j'eusse pu commencer une de mes pancartes. Le seul projet d'en commencer une m'aurait rappelé le droit et le besoin que j'ai de parler à Votre Majesté de tout ce qui me passe par la tête et plus encore par le coeur. Ce besoin impérieux aurait réveillé en moi toute cette foule de sentiments et d'idées relatifs à notre Impératrice qui m'obsèdent comme des fantômes, et l'impossibilité de m'en débarrasser sur le papier aurait achevé de me tourner la tête. Au lieu qu'en commençant un Vortrag, je me dis: Ce sont des affaires dont il faut rendre compte, des ordres qu'il faut demander: aucun de tes sentiments n'a seulement le droit de se montrer. Voilà comme l'homme est toujours dupe de la forme, et comme le mot change sans cesse chez lui l'essence des choses. Au reste, je ne sais pas en conscience pourquoi Votre Majesté fait tant la dégoûtée des Vortrag et Nachtrag. Il peut être ennuyeux d'avoir à faire aux têtes à perruques ou aux Perückenträger, terme que je trouve par parenthèse très expressif; mais lorsqu'on leur doit tant de boisseaux et une si abondante moisson de gloire dans la dix-septième année de son règne; lorsque le pays qui a fait à la Russie le plus grand et le plus beau de tous les présents retentit depuis les bords de la mer Baltique jusqu'aux pieds des Alpes des accents de sa reconnaissance du bienfait signalé qu'il en a reçu; lorsque toute l'Europe répète avec attendrissement le nom immortel de la pacificatrice de Teschen, il me semble qu'elle pourrait entendre parler de Nachtrag bavarois et de l'ennui emphatique des têtes à perruques et des têtes tondues, sans avoir précisément mal au coeur, surtout quand l'ennui est passé et que la gloire est restée. Das iſt nun ſo meine Meinung, die will ich aber niemand aufdringen.

Nous avons enfin vu partir le comte de Strogonov, il y a environ deux mois, avec armes et bagages, il doit approcher à grands pas des portes de Pétersbourg. Son long séjour l'avait presque naturalisé ici; il a par conséquent laissé beaucoup d'amis et beaucoup de regrets. Il serait ingrat, s'il oubliait Paris. Eh bien, il l'aura oublié au bout de huit jours aux pieds de Votre Majesté Impériale; c'est ce que j'ai osé lui prédire, non à sa honte, mais pour lui rappeler cette redoutable magie de notre Impératrice qui fait

* qu'on oublie en sa présence son Dieu, son catéchisme, ses amis und allen andern Plunder. Das bleibt nun auf unserer Kaiserin Gewißen, und Sie wird es schon müßen am jüngsten Tage verantworten. La comtesse de Strogonov a emmené avec elle une Mademoiselle d'Audet que j'ai honorée très particulièrement de mes bontés. C'est une fille bien née, sage, d'une figure point du tout repoussante, et qui depuis sept ans qu'elle a été auprès de la comtesse en qualité de demoiselle de compagnie, a eu invariablement la meilleure conduite possible et s'est fait généralement estimer par une manière d'être également aimable, décente et honnête. Or il est, selon moi, beaucoup plus aisé de réussir à la cour de Votre Majesté que de réunir les suffrages d'une maison particulière et de sa société, soit à Paris, soit à Pétersbourg. L'Impératrice n'a qu'un visage qu'elle vous montre tous les jours le même. Il est vrai que dignité, grâce, agréments, gaieté, bonté, indulgence, tout s'y trouve réuni, et le même regard qui vous atterre par sa majesté vous remet d'aplomb et vous rassure par cette bonté adorable dont il est tempéré. Je soupçonne qu'il n'en est pas de même de toutes les grandes dames de sa cour ou de celle de France ou de toute autre, et je suis quelquefois tout étonné de me trouver plus empêtré en présence de quelque pimbèche de Paris ou de Versailles que je ne l'étais en présence de l'Impératrice de toutes les Russies. Alors je me dis tout bas: Ne te souvient-il plus, souffre-douleur, que tu t'es trouvé plus d'une fois face à face avec le génie tutélaire de l'Empire de Russie, et que quoiqu'une pimbèche de Versailles ou de Paris soit une très grande chose, il n'est pourtant pas encore constaté qu'elle lui aille jusqu'à la cheville de ses pieds. D'où je conclus finalement qu'une jeune personne sans fortune et sans autre recommandation que son mérite et son caractère aimable et sage, a subi une épreuve plus forte en réussissant supérieurement à la cour Strogonov que si elle avait eu ce succès à la cour de Catherine II. Or toute mon ambition serait que Votre Majesté Impériale daignât jeter un regard de bienveillance quelque jour sur cette Mademoiselle d'Audet. Sans compter qu'elle le mérite, c'est que si elle se vante jamais dans ses lettres d'avoir parlé à l'Impératrice, on regardera cela en partie comme mon ouvrage, et cela me fera un honneur infini. Elle est parente du baron d'Holbach, dans la maison duquel je vis depuis trente ans. Elle-même est née à Strasbourg, et possède par conséquent l'allemand et le français. M. de Voltaire avait connu ses parents et s'intéressait beaucoup à elle, ainsi que son bras droit dramatique, M. D'Argental. Lorsqu'à son arrivée à Paris le Patriarche connut personnellement Mademoiselle d'Audet qu'il ne connaissait que par lettres, il s'enflamma tout de bon pour elle, et il est mort avec le projet de la recommander fortement aux

* bontés de Votre Majesté Impériale, et de la proposer comme une personne digne d'être attachée à son service. Je ne me donne point ces airs-là, je connais, Dieu merci, toute la distance qu'il y a entre un Patriarche et un souffre-douleur; mais puisque le sort a conduit Mademoiselle d'Audet sur le seuil du palais de Votre Majesté, c'est assez pour ma gloire, si je lui attire un regard de l'Impératrice; le reste doit être l'ouvrage de son mérite et de son étoile.

Je n'ai pas laissé partir le comte de Strogonov les mains vides. Il est porteur de trois paquets, il en aurait eu davantage, si j'avais joui d'un peu plus de tranquillité. Le premier renferme un ouvrage intitulé *Théâtre à l'usage des jeunes personnes*. Il est de Madame la comtesse de Genlis, dame de Madame la duchesse de Chartres, et qui va être chargée de l'éducation des deux princesses jumelles, Mademoiselle d'Orléans et Mademoiselle de Chartres. Madame de Genlis, en entrant dans le monde, a fait du bruit par sa figure et par ses talents agréables; elle a beaucoup d'esprit. Mère de deux jeunes personnes de dix ou douze ans, elle a composé pour elles ces pièces que je leur ai vu jouer à ravir. Il n'était pas aisé, comme on l'a remarqué, de faire des pièces sans intrigue, sans amour, sans caractère vicieux si l'on en excepte un seul; n'ayant que des actrices femelles, ne prêchant que de la morale, sans que toutes ces conditions réunies les rendent ennuyeuses et insipides ni à la représentation ni à la lecture. Non seulement elles ne sont pas ennuyeuses, mais bien jouées elles sont même très amusantes. C'est pourquoi j'ai jugé à propos de les envoyer à Votre Majesté. M. de Betski a desiré depuis longtemps d'avoir des pièces pour la communauté des demoiselles; s'il les avait fait faire exprès, elles n'auraient pas mieux rempli ses vues. Je crois que cet hiver nous en aurons la suite en un ou deux volumes. Au reste, depuis mon envoi j'ai appris que Madame de Genlis s'est adressée à M. le grand chambellan pour le prier de mettre un exemplaire de son Théâtre aux pieds de Votre Majesté Impériale. Ainsi j'aurais pu me dispenser de l'envoyer, et je laisse à M. le grand chambellan, qui connaît l'auteur et qui en a eu la commission, le soin de lui dire comment son hommage a été reçu. Le second paquet confié à M. de Strogonov contient les *Epoques de la nature* par M. de Buffon, que Votre Majesté m'a ordonné de lui envoyer, parce que les volcans veulent toujours savoir les tenants et les aboutissants de tout. Eh bien, Votre Majesté y apprendra la triste vérité que nous n'avons plus qu'environ 93,000 ans à durer, et qu'en 93,001 il n'existera plus un seul être raisonnable ou sensible qui se rappelle le partage de la Russie en ving-trois gouvernements fait et parfait par Ecaterine II de glorieuse mémoire. Cela est vraiment désolant, et il est fort ridicule

* d'avoir inspiré ce désir effréné de l'immortalité à des êtres qui ne peuvent pas se flatter de rester dans la mémoire des hommes seulement cent mille ans. Mais peut être M. de Buffon s'est-il blousé dans ses calculs, ce que je suis fort tenté de croire. Ce que je remarque seulement, c'est que depuis que le règne de Votre Majesté et l'étude de l'histoire naturelle sont à la mode, la Russie augmente journellement de considération, et tout le monde se dit avec un air entendu que c'est un pays bien singulier et bien intéressant. Mon troisième paquet renferme *les Récréations* dramatiques de M. Tronchin des Délices, le même dont Votre Majesté acheta le cabinet de tableaux il y a dix ou douze ans, et qui NB. n'est pas médecin. Celui-ci n'est pas mon cher Monsieur, mais bien mon précieux ami. Toutes ces nuances sont bonnes à saisir. Son attachement pour l'auguste Souveraine de la Russie non-seulement lui a donné le courage de porter à ses pieds cette offrande, mais encore d'y ajouter une lettre, et si je puis lui répondre que l'Impératrice a accueilli cet hommage avec bonté, il sera parfaitement heureux. Ces Récréations dramatiques forment quatre volumes qui ne sont pas peut-être également récréatifs pour tout le monde; mais on peut user du privilége que Madame Geoffrin s'était arrogé avec les livres de M. de Burigny, c'est à dire de les recevoir et de ne les pas lire. On ne peut pas savoir mauvais gré à un ancien magistrat que les troubles de sa petite république et sa sagesse ont éloigné des affaires, de se récréer en faisant des tragédies, quand même elles seraient mauvaises. Sa grande entreprise a porté sur les tragédies de Pierre Corneille, et le projet d'en retrancher les choses inutiles ou surannées, d'en retoucher et rajeunir le style a vraiment quelque chose de piquant, mais je ne sais si cela suffira pour faire vendre ses Récréations. Je joins ici une espèce de bilan de réduction qui pourra servir au lecteur curieux et patient à vérifier le travail de mon précieux ami. Lorsque le comte de Strogonov aura mis ces trois paquets aux pieds de Votre Majesté Impériale, il n'aura plus de compte à me rendre. Ses amis veulent faire peindre son portrait en enseigne pour des marchands ou aubergistes bien famés qui mettront sur leur porte cette enseigne avec l'inscription: *Beim guthertzigen Mann*; et il y aura de ces enseignes de distance en distance de Paris jusqu'à Pétersbourg.

Si l'on voulait mettre une inscription aux enseignes de Votre Majesté, on pourrait les multiplier à l'infini quand il y aurait même deux mille de ces enseignes depuis Paris jusqu'à Pétersbourg, mais une des inscriptions les plus communes serait à coup sûr: *In der wohlthätigen Kaiserin*. Quand je pense à tous ceux qui, sans me compter, ont le droit d'employer cette inscription, mon coeur tressaillit et s'élève en cet instant au-dessus de tous les maux de

* l'humanité. J'aime à croire aussi que cette pensée est une des plus douces et des plus satisfaisantes unſerer wohlthätigen Kaiſerin, que sûrement l'ingratitude des hommes n'a pas pu gâter. J'ai enrôlé, il y a plus de deux mois, le brave Sedaine parmi ceux qui se prosternent devant l'image bienfaisante de notre Impératrice. Combien n'en ai-je pas enrôlé depuis que mon étoile m'a approché du pied de son trône! Le brave et simple Sedaine est resté d'autant plus pétrifié du bienfait de Votre Majesté Impériale que tout ce qu'on tire ici d'une pièce de théâtre, on le reçoit du public de Paris par la part qu'on a à la recette des représentations et par la vente de son ouvrage imprimé, et que la cour ne donne rien. On a bien l'honneur d'être représenté devant elle à Versailles ou à Fontainebleau, quelquefois même messieurs les premiers gentilshommes font l'honneur à un auteur de lui demander une pièce pour la cour, mais cet honneur paie tout, et Paris paie ensuite en argent. Sedaine a plus d'une fois joui de cet honneur à cette condition, et jugeant d'une cour par une autre, il est resté confondu quand moi, qui ne suis pas premier gentilhomme, je lui ai annoncé la volonté de notre magnanime bienfaitrice. Cela attire à Votre Majesté une lettre de sa part; ce sont des inconvénients inévitables. Cela attirera aussi à Votre Majesté une nouvelle pièce qui est actuellement sur le métier, et qui sera achevée avant la fin de l'année. Je n'en ai voulu rien connaître que je ne sois un peu plus rendu à moi-même, et puis, comme cet homme accouche de toute sa pièce d'un seul trait, que tout s'y tient enchaîné, j'aime autant en embrasser la totalité. Nous nous sommes d'ailleurs conduits avec beaucoup de politique; nous n'avons mis personne dans le secret des bienfaits de Votre Majesté; mais si nous avons reculé à cet égard, c'est bien avec la ferme intention de mieux sauter, et si la seconde pièce a le bonheur d'être jouée en présence de notre auguste protectrice, nous ferons une si terrible explosion, nous amalgamerons si bien et le bienfait passé et la gloire présente qu'il en résultera une masse qui fera la joie et la consolation de tous les honnêtes gens et le désespoir de tous les roquets de la littérature. Cependant, comme un poëte a de l'hommerie plus qu'un autre, nous n'avons pas pu garder notre secret sans en faire confidence à une dame de la cour de nos amies, laquelle étant fort bien traitée par la reine a eu la permission de dire notre secret à l'oreille de Sa Majesté. Je me suis d'autant moins opposé à cette confidence que j'aime avec passion non seulement que les faits et gestes de notre Impératrice soient dignes de sa grande âme, ce qui ne peut pas être autrement, mais surtout qu'ils servent de leçon et d'exemple; ainsi je ne désespère point du tout que les bienfaits de Votre Majesté Impériale, surtout lorsque le moment de les publier avec le vacarme convenable sera arrivé,

* ne vaillent aussi à Sedaine une pension de la cour de France, qu'il n'aurait peut-être jamais eue, parcequ'il ne connaît pas plus que son Gavaudan la route par laquelle on y arrive, ou s'il la connaît, il ne sait pas la prendre. En attendant il a fallu lui prêter un des portraits de Votre Majesté qu'il fait copier pour être placé chez lui, comme Clérisseau a fait faire son buste par Houdon. Ainsi en voilà deux placés dans le Louvre, car Sedaine et Clérisseau y demeurent à titre de leurs places académiques. Je ne désespère pas de voir les portraits der wohlthätigen Kaiserin multipliés au Louvre, au Capitole, partout où il y a des récompenses à décerner au mérite vrai et modeste.

Puisque j'ai touché la corde de Clérisseau, il faut que je la pince tout de bon, et que je dise ici que pour arranger son affaire de la manière la plus satisfaisante pour lui et la plus noble pour l'Impératrice, ainsi qu'il m'a été prescrit par ses ordres, j'ai payé à cet artiste les trois mille livres que les bontés de Votre Majesté Impériale lui avaient primitivement destinées pour cette année, et je suis convenu avec lui que je lui paierais les soixante mille livres au mois de février prochain lorsqu'il me remettrait la totalité de ses portefeuilles. Ce n'est pas là seulement interpréter la magnanimité de Votre Majesté comme il convient, et la servir dans son goût, mais c'est encore assurer aussi ma propre tranquillité, et je sais bon gré à Clerisseau de n'avoir pas voulu garder le moindre chiffon des portefeuilles qui n'appartiennent déjà plus qu'à l'Impératrice. S'il avait conservé la garde de ces portefeuilles, comme Votre Majesté l'avait arrangé avec une bonté qui a touché les personnes les moins sensibles, il y aurait eu deux hommes fort inquiets dans le monde, lui et moi: car enfin qui aurait pu noûs tranquilliser sur tous les accidents possibles et journaliers? Au lieu que ne payant que lorsque je serai mis en possession de la totalité, je n'ai besoin que de savoir par quelle route Votre Majesté m'ordonnera de lui expédier ces portefeuilles, et lorsqu'ils seront rendus aux pieds de l'Impératrice, je n'y penserai plus que pour m'attendrir sur les instructions qu'elle a daigné me donner à ce sujet, et qui ont fait ici plus d'impression que la magnificence avec laquelle elle a fait en un clin d'oeil le sort d'un artiste célèbre. Dieu merci, il me revient toujours quelque éclaboussure de tout ce que j'entreprends par ordre de Votre Majesté. Clérisseau m'a envoyé un superbe dessin d'architecture dans un beau cadre avec la lettre que je vais joindre ici. Si je dis que ce tableau ne m'appartient pas et qu'il est à l'Impératrice, je risque d'être chapitré de nouveau et de la bonne sorte; cependant il n'y a rien de plus vrai. Je conviens qu'il ne me faut pas tant de courage pour garder le dessin de Clérisseau comme pour l'argent de Madame Denis; le tableau de

* Clérisseau je puis au moins le laisser à Votre Majesté par mon testament et la goutte d'eau remontera à la source intarissable en bienfaits et en grandes actions dont elle est aussi sortie, mais l'argent de Madame Denis sera enterré avec moi. Puisque l'oeuvre de Clérisseau a trouvé grâce devant son immortelle bienfaitrice, j'espère que Votre Majesté, en ordonnant qu'on remette à l'Académie impériale des beaux-arts son exemplaire, aura aussi humblement supplié M. de Betski de vouloir bien accorder à M. Clérisseau le même titre d'associé honoraire dont jouit M. Pierre, premier peintre du roi très chrétien, et de m'en expédier le diplôme. Dans mon premier Vortrag il y aura un modèle de brevet de premier architecte de Sa Majesté Impériale, mais en attendant il suffit que Votre Majesté m'autorise à lui permettre d'en prendre le titre; une lettre que je lui écrirai lui servira d'autorité jusqu'à l'arrivée d'une autorité plus auguste.

Si l'on expédie jamais des brevets à ceux qui savent faire des portraits frappants en deux ou trois traits de plume, Votre Majesté risque de recevoir des brevets de premier peintre de toutes les académies de l'Europe. Dans cette lettre divine écrite à l'occasion de la pièce de Sedaine, il y a deux ou trois portraits sublimes. Ils m'ont rappelé ces figures ébauchées qu'on trouve quelquefois sur un pan de muraille dans les palais de Rome tracées avec du charbon en deux ou trois coups par un Michel Ange ou par un Raphaël, et où la grandeur du génie se montre plus à découvert que dans les ouvrages achevés. Aussi à cause de cette ressemblance je mettrai à une des deux mille enseignes de Votre Majesté le mot du Corrège: *Anch'io son pittore*, das ist auf Deutsch: *Ich Kaiserin aller Reussen bin auch von der Zunft.* Ce portrait d'un vieux courtisan priant Dieu jour et nuit, parce qu'il a peur du diable; pâle, harrassé, épuisé de repentir pour avoir été trop aimable autrefois, ou pour s'imaginer de l'être peut-être encore actuellement, ce mélange de fatuité et de dévotion, de prétention et de faiblesse, ce souvenir d'anciens péchés et ces remords qu'on serait inconsolable de n'avoir pas, font un tableau de tant de nuances fondues ensemble qu'il faut une palette comme celle de Votre Majesté pour s'en tirer en trois ou quatre lignes. On pourrait peut-être dire de ce pénitent ce que Voltaire disait dans le Pauvre Diable de Gresset, qui se reprochait tant d'avoir fait d'excellentes pièces de théâtre:

Gresset se trompe, il n'est pas si coupable.

Ce qu'il y a de sûr c'est que l'homme est un animal bien singulier, quand on suit son anatomie morale avec un peu de soin, et qu'on pense à tout ce qui entre dans sa composition qu'on a de la peine à trouver admirable au

* microscope; mais en revanche elle fait bien rire quand un pinceau aussi fin et une touche aussi spirituelle que ceux du Corrège de Pétersbourg la font sortir de la toile. Je ne sais pas pourquoi Votre Majesté prétend faire honneur à M. de Caraman de cette conversion; je crois que ce saint de l'église grecque ne doit pas son salut à un schismatique papiste, et qu'il nous est arrivé tout galant, tout pénitent, tout repentant, tout soupirant, moitié péché moitié remords, ce qui fait qu'on n'est ni chair ni poisson.

Je calcule, Madame, que cette triste pancarte arrivera tout juste aux pieds de mon auguste Lebenserhalterin la veille ou la fête de Sainte Catherine, qui peut avoir été plus sainte, mais pas si sississsisssissima que notre Impératrice. Cette fête sera-t-elle célébrée à Pétersbourg ou à Tsarsko-Sélo? Je ne le saurai qu'un mois après. Ce que je sais et ce que j'éprouve, c'est un frémissement et un tressaillement universel par tous les membres au retour de chaque anniversaire, et puis je m'élance à tout instant aux pieds de celle à laquelle j'appartiens bien mieux que tous les Thomas du monde. J'en préviens, damit Ihro Majestät nicht über mich stolpern im Gehen und Treten, denn aus der Kaiserin Weg und von ihren Fußtapfen laß ich mich nicht vertreiben.

Je suis avec le plus profond respect,
Madame, de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

à Paris, ce 27 octobre (7 novembre) 1779.

Suite de № 44.

Abgenöthigter Nachtrag.

Il ne faut jamais jurer de rien. J'aurais pourtant bien juré que je ne ferais plus de Nachtrag, et qu'après l'heureuse invention des Vortrag et la plus heureuse pacification de Teschen Votre Majesté Impériale se trouverait débarrassée des premiers pour tout le reste de sa vie que Dieu lui accorde, ainsi que ce qui en est passé, joyeuse, glorieuse et sempiternelle. Voilà comme la volonté de l'homme est ambulatoire jusqu'à sa fin; mais comment faire? Une des inestimables pancartes impériales (inestimables veut dire sans prix, et sans prix veut dire ce que tout l'or et l'argent des

* quatre parties du monde, y compris la Sibérie, ne sauraient payer) m'ayant apporté un Nachtrag, la fantaisie d'y riposter par un autre m'a saisi à la gorge, et quand je suis pris par là, il faut bien céder. Le Nachtrag de Votre Majesté n'était assurément pas fait pour me faire pleurer, il a pourtant produit cet effet, tout en me faisant sourire. C'était le feuillet portant au souffre-douleur toutes les inscriptions de la maison de campagne de Sir Léon, dont cependant celle qui se trouve sur la porte principale a été oubliée dans ce Nachtrag. On m'assure qu'il y est écrit en gros caractères: *Le maître de céans sempre l'istesso, toujours le même,* immer der nämliche, oder eins und allerley. Mais j'avais beau sourire en parcourant toutes ces inscriptions, j'ai senti mes yeux s'humecter tout en lisant ce feuillet. L'idée que l'Impératrice a daigné le copier de sa propre main pour m'en faire part a bientôt absorbé toutes les autres, et comme sa bonté se remarque dans les petites choses comme dans les grandes, elle produit aussi toujours l'effet constant et uniforme de mouiller les yeux. La bonté, c'est à dire la véritable, a toujours été pour moi la qualité la plus touchante et la plus attendrissante dont la nature ait doué l'âme humaine; aussi elle en a été bien avare. Or quand par un miracle qu'on ne voit pas dans tous les siècles, la bonté se trouve assise sur le trône, on n'a rien de mieux à faire que de se prosterner devant ce trône et de rester le visage contre terre tant que ce phénomène existe. C'est ce que je fais et ferai tant que je vivrai.

Je ne pourrai pas, Madame, payer Votre Majesté dans la monnaie des inscriptions de Sir Léon; mais comme j'ai été obligé de faire ces jours passés à l'improviste une fourniture d'inscriptions, je vais tâcher de m'en rappeler quelques unes pour m'acquitter tant bien que mal. Je crois avoir eu l'honneur de parler à Votre Majesté de la fureur épidémique qui s'est manifestée en Europe depuis la pacification de Teschen, de mettre partout des enseignes *à l'Impératrice de Russie.* J'en ai dissuadé tous ceux qui ont voulu m'écouter; je leur ai dit: vous ne la connaissez pas comme moi; j'ai prêché à des sourds. Bien plus: on s'est adressé à moi pour avoir des inscriptions pour un grand nombre de ces enseignes; c'est une des plus rudes corvées qui me soit jamais tombée sur le corps de ma vie vivante. Quelle fantaisie diabolique! On veut partout le même portrait, et pour chaque enseigne une autre inscription. J'en ai déjà fourni Dieu sait combien, et si cette épidémie ne cesse pas bientôt, je serai obligé de fermer boutique.

La boutique du souffre-douleur arbore depuis très longtemps et à bon droit l'enseigne de l'Impératrice de Russie avec l'inscription: *Kurz und gut: Bei meiner Kaiserin.* On a trouvé cela un peu insolent; mais j'ai dit qu'à Riga tous ceux qui avaient arboré l'enseigne de l'Impératrice mettaient

* dessous sans façon: *Bei unserer Kaiserin.* Ici je ne veux partager mon gâteau avec personne.

Tout à côté de l'hôtel Grimm ou Grimfeld ou Grimof, ou Grimaud, ou Grimin, ou Grimaldi, ou Grimofski, on a placé la même enseigne avec l'inscription:

In der mit aller Arten von *sississsissi* allzusehr begabten Kaiserin.

Encore tout à côté de moi, près la demeure de la femme aux deux diamants: In der von Temperament wohlthätigen Kaiserin.

Mêmes enseigne et inscription dans la cour du Louvre entre les appartements de Sedaine et de Clérisseau: In der wohlthätigen Kaiserin.

Mêmes enseigne et inscription rue Taranne à la porte de maître Denis Diderot, le philosophe.

Mêmes enseigne et inscription à Rome sur la demeure du divin et modeste Reiffenstein.

On dit que cette enseigne et inscprition se multiplient si fort dans tous les coins de l'Europe et qu'on les demande à cors et à cri de tant de côtés que les peintres et écrivains ne savent à qui entendre.

Même enseigne rue de Richelieu à côté de l'hôtel Denis avec l'inscription: *In der reichen Frau.*

A Versailles, entre l'appartement de M. le comte de Maurepas et le pavillon de M. le comte de Vergennes, même enseigne avec l'inscription: *In der grossmuthsvollen und jedermann nach seinen Thaten beurtheilenden Monarchin.*

Ibidem, tout près de la demeure royale de Louis XVI, même enseigne avec l'inscription: *In der geist- und lehrreichen Schulmeisterin.*

A Londres, tout près de Saint-James, même enseigne avec l'inscription en trois langues: *At the Lefthanded Empress.* C'est à dire: *À l'Impératrice gauchère.* Das ist verdollmetschet: *In der links und flinks wandelnden Kaiserin.* Se trouve en face de la taverne de King George, qui a pour inscription: *In dem niemals links, sondern allezeit flinks und geradezu auf das Loch wandelnden und hineinstürzenden Passgänger, übrigens aber sehr wohlgesitteten Bürger.*

Ibidem dans la cité entre Guildhall et la Bourse, à côté de l'enseigne de William Pitt, qui a pour inscription: *Im grossen Patrioten*, même enseigne avec l'inscription: *In der zunftwürdigen Monarchin*, oder *In der zum besten der Freiheit regierenden Kaiserin.*

A Hayes, près de Londres, tout à côté de la demeure de feu mylord

* comte de Chatham, même enseigne avec l'inscription: *At the very great Whig's soul.* Das iſt: *In der grossen und wahren republikanischen Seele.*

A Amsterdam, à côté de la Bourse, même enseigne avec l'inscription: *A la bonne foi insupportable.* Das iſt: *In der ihre Schulden zu geschwind bezahlenden Kaiserin.*

A Gênes, strada nuova, même enseigne avec l'inscription: *In der uns leider! keinen kopick mehr schuldigen Kaiserin.*

A Francfort sur le Meyn, vis à vis l'Empereur romain, même enseigne avec l'inscription: *In Deutschlands Beschützerin.*

Mêmes enseigne et inscription dans toutes les villes impériales et dans tous les coins du saint empire.

Dans tous les cantons suisses même enseigne avec l'inscription: *In der ohne Bund als Bundsgenossen angesehenen Monarchin.*

A Vienne, zwiſchen der Kaiſerlichen Burg und der Staats-Kanzley des Fürſten Kaunitz, même enseigne avec l'inscription: *In der gar zu höflichen Kaiserin.*

A Munich, près la maison de tonde, même enseigne avec l'inscription: *In der dem Schaafskopf die abgeschorne Wolle wieder aufdringenden Schäferin.*

A Ratisbonne, près l'hôtel de ville où s'assemble la Diète, même enseigne avec l'inscription: *Im Schutzengel.*

A Dresde, auf der Schloßſtraße, même enseigne avec l'inscription: *A la Divinité secourable.*

A Berlin et Potsdam, auf dem Schloßplatz, même enseigne avec l'inscription: *A l'Alliée de poids.* Das iſt: *Im Russischen Schrot und Korn.* Und auf der andern Seite: *In unserer lieben Frauen Hülf.*

A Varsovie, près l'hôtel de la délégation, même enseigne avec l'inscription: *In der langmüthigen Kaiserin.* Und auf der andern Seite: *In der Tauben und Dummen predigenden Weissagerin.*

A Stockholm, sur la place du Nord, même enseigne avec l'inscription: *In der lebenden und leben lassenden Kaiserin.*

A Stettin, sur la maison de Notre Dame des miracles, même enseigne où cependant le portrait de l'Impératrice manque encore, avec l'inscription: *A la Crèche merveilleuse.*

A Constantinople, tout à côté de la Sublime Porte, même enseigne avec l'inscription: *In der gescheidten Frau Gevatterin*, und auf der andern Seite: *In der immer und ewig die nämliche Aria singenden Catarina Gabrielli.* Auf Türkiſch: *In der immer* Je veux ma paix *kreuschenden Kaiserin.*

Dans la Crimée, près de la tente de Sahin Guirai, même enseigne avec

* l'inscription: *Al Genio della Libertà.* C'est à dire: *A la protectrice de la bénédiction califale.*

A Moscou, par-ci par-là, même enseigne avec l'inscription: *Im politischen Kehraus.* A côté de la cathédrale, même enseigne avec le portrait tricotant l'ornement d'église et l'inscription: *Au doigt redoutable.*

A Pétersbourg, à côté de l'Hermitage, même enseigne avec l'inscription: *A la Législomaniaque.* Und auf der andern Seite: *In dem unerschöpflichen Brunnen.* A côté de la demeure de Monsieur Alexandre: *In der wohlbestellten A. B. C. Schule.* A côté de l'hôtel Grimmof, qui n'est pas encore bâti, entre le dit hôtel et celui de Sir Thomas, vulgairement dit niche, même enseigne avec l'inscription: *In dem edlen Herze,* wie auch *In dem standhaften Felsen-Muth,* wie auch *In dem grossen Geist,* wie auch ferner *In der grossen Seele,* mit einem Worte: *A l'enseigne sans pareille!*

Votre Majesté peut s'estimer bien heureuse que je sois au bout de mon papier, car ces inscriptions étant intarissables, il y en a toujours une centaine toute prête dans ma boutique. Personne n'a été content de ma fourniture, parce qu'on la veut au niveau de mon sujet et non de mes forces. Ces injustices dégoûtent du métier. *

№ 19.

Allerunterthänigster eilfertiger Vortrag.

à Paris, 19 (30) juin 1780.

Madame. Après avoir célébré avec toute la pompe requise l'anniversaire de l'avénement au trône de ma très glorieuse Souveraine et le commencement de la dix-neuvième année de son règne immortel, je me hâte de dire à Votre Majesté Impériale qu'enfin mes yeux ont vu Andromède, et qu'Andromède est actuellement en chemin pour se rendre par Francfort sur-le-Mein à Lubeck, où elle attendra chez Messieurs Pauli les ordres de notre très gracieuse et sissisissime Impératrice, pour parler le langage de Païsiello, des gens de Riga, de Narva et de Grimma. Votre Majesté a trop d'humanité pour la laisser longtemps entre les mains des gens de Lubeck, elle ne sera à sa place que lorsqu'elle sera dans le palais de notre auguste et immortelle protectrice. Son sort est vraiment digne de compassion. A

peine détachée du rocher, elle est retombée entre les mains des corsaires; mais à quelque chose malheur est bon, si son étoile la conduit enfin sans accident aux pieds de Votre Majesté Impériale. Au reste, le courage de Persée l'a délivrée du monstre, et la persévérance de M. de Vergennes l'a retirée de sa captivité par plus de quinze mois de soins obstinés. Actuellement il n'y a que moi qui reste dans l'embarras. Dès l'instant où j'ai formé le projet de tirer ce tableau d'entre les mains des corsaires, j'ai senti que sans la protection de M. de Vergennes je n'en viendrais jamais à bout. En m'adressant à lui, je lui dis que je m'engageais à en payer le même prix que l'auteur en avait touché à Rome. Je me disais: le pis-aller c'est que l'Impératrice désapprouve cet arrangement; dans ce cas je lui fais généreusement présent du tableau, et lui rends une partie de ses bienfaits par les miens. On m'avait assuré alors que ce tableau avait été payé six cents sequins à Mengs. Depuis, le maréchal duc de Noailles m'a assuré positivement que l'Impératrice de Russie l'avait fait faire par Mengs et l'avait payé trente-six mille livres, et que c'était le plus beau tableau qui existe, et que tout cela était sûr, attendu que sa fille, la comtesse de Tessé, arrivait de Rome, et qu'elle y avait vu peindre ce tableau, ce qui lui donnait le plus grand désir de le voir à son passage par Versailles. Me voilà déjà monté de six cents à trois mille six cents sequins. Mais que Votre Majesté juge de mon embarras, lorsque M. le comte de Vergennes, en me remettant le tableau, m'a demandé la somme de 24 copeicks, y compris les frais de commission, d'emballage. J'ai beau eu lui rappeler mon premier engagement, je n'ai jamais pu le tirer de ses 24 copeicks; et pour achever de me confondre, il m'a dit ces mots sacramentaux auxquels je ne change pas un iota: Ne mêlons pas le Roi de France ni l'Impératrice de Russie dans nos démêlés; c'est M. de Vergennes qui donne ce tableau à M. de Grimm moyennant la somme de 24 copeicks une fois payée en espèces sonnantes. Moi, Madame, j'aurais été très content au contraire de voir cette tracasserie entre l'Impératrice et le Roi très chrétien, parce que j'aurais dit sagement: à eux la balle. In großer Leute Händel miſche ich mich gar nicht, und ſo ziehe ich meine Stecknadel gar ſchön aus dem Spiel. Maintenant tout le fardeau me reste sur le dos. Quelque bon russe que je sois bis in dem Innerſten der Seele, je n'ai pas un seul vrai copeick en ma possesion, et il faudra bien que Votre Majesté vienne à mon secours en m'envoyant par le premier courrier ou par la première escadre, denn in Rußland bewegen ſich dieſe ſo geſchwind als wie die erſten, un rouleau de 24 copeicks bien frappés, pour me tirer de presse, car pour les valets de chambre de M. de Vergennes, il me sera aisé de leur faire une petite galanterie en argent de France.

J'ai un peu menti, Madame, en disant à Votre Majesté que j'ai vu ce tableau: à peine l'ai-je entrevu. Il commençait à avoir beacoup de célébrité à Paris et à Versailles, même avant son arrivée; je ne m'en souciais point du tout. M. de Vergennes voulait le faire raccommoder par quelque peintre habile, je ne m'en souciais pas davantage, et je lui fis remarquer que cela nous prendrait beaucoup de temps, que la saison était déjà fort avancée, et que si nous retardions l'expédition du tableau, il ne pourrait plus être rendu à Pétersbourg cette année. Cette considération a déterminé le ministre, il l'a fait emballer sur-le-champ et me l'a fait porter à Paris; mais aussi je ne l'ai plus revu, et la première fois il ne m'a été permis que d'y jeter un coup d'oeil très rapide de quelques secondes, le tableau étant à moitié déroulé à terre: malgré cela, Andromède m'a paru une figure céleste, Persée de la famille d'Appollon qu'on grave actuellement pour Votre Majesté, et l'Amour de la famille des Jésus de Raphaël. Non seulement le bras droit de Persée, mais tout le côté droit du corps me paraît avoir souffert par l'infâme négligence des emballeurs de Malaga. M. de Vergennes m'a remis l'instruction ci-jointe pour guider celui qui déballera et déroulera le tableau; je la recommande très particulièrement à ses soins.

Et afin de rendre le repos à son souffre-douleur, je supplie Votre Majesté Impériale très humblement de faire donner ses ordres sur-le-champ à Messieurs Pauli à Lübeck sur la manière dont elle juge à propos que ce tableau aille de Lübeck à Pétersbourg. Les enfants de Clérisseau y sont depuis le commencement de ce mois, et attendent de pareils ordres. Je suis persuadé que dès que tout cela sera arrivé à bon port au séjour de l'immortalité, Votre Majesté voudra que j'aie la consolation de le savoir, afin de dormir tranquillement. Et maintenant il ne s'agit plus d'ajouter une seule ligne si je ne veux pas manquer la poste. Heureusement je suis las et rendu pour avoir couru après ma très auguste Souveraine depuis le jour de son départ de Tsarsko-Sélo jusqu'à son retour. Ce voyage m'a harassé, car c'était partout un train, une affluence, une foule, que j'ai eu toute la peine du monde à ne pas perdre de vue l'objet de mon orgueil et de celui de tout l'empire. Ne voilà-t-il pas aussi les gens de Pétersbourg qui, tout fiers de leur nouveau gouvernement dont la capitale a accouché en l'absence de son génie tutélaire, se mettent aussi à faire du train comme les gens de Riga et de Narva! Et moi, imbécile que je suis, qui ai célébré avant-hier l'avénement suivant le nouveau style! Eh bien, tant mieux. C'est le retour de l'Impératrice que j'ai célébré, son heureux retour à Tsarsko-Sélo; et dans neuf jours j'en célébrerai l'avénement. C'est du profit tout clair, et je chanterai à tue-tête: God save our Emperor of all the Russias! Si M. le comte de

Falkenstein veut me faire l'honneur d'assister à ma fête après l'illumination de Pétérhof, il en est le maître.

à Paris, ce 19 (30) Juin 1780.

№ 21.

Höchst eilfertiger allerunterthänigster Vortrag.

A Paris, 10 (21) juillet 1780.

Madame. Pour le coup le prince Bariatinski me prend sans vert. Un courrier de Votre Majesté Impériale nous tombe sur les bras de Lisbonne. Ce n'est pas moi qui arrêterai sa marche. Le prince me fait demander si je veux profiter de son passage, et en prenant la plume j'attends à chaque minute l'arrêt fatal: Fermez vite et remettez votre paquet. Cette attente menaçante m'ôte même le recueillement nécessaire pour dire à Votre Majesté Impériale avec quels transports de reconnaissance, de confusion et d'attendrissement j'ai reçu la pancarte inestimable, cette olla potrida impériale, mise au four à Plesco le 14 mai et confiée aux Poſt-Commiſſarien le 29 à Mohilef, veille du départ de notre auguste Impératrice dans un coche à six places ayant à côté d'elle M. le comte de Falkenstein. Faut-il, ô ciel! que j'étouffe tous les sentiments d'un coeur tiré à la fois en mille sens divers! Faut-il qu'au lieu de m'élancer aux pieds de mon immortelle Souveraine, d'embrasser ses genoux et de les arroser de larmes de joie et de reconnaissance, je prenne froidement la plume, me tienne droit devant mon bureau et parle tristement d'affaires au lieu de me laisser aller à mes transports! Allons, souffre-douleur, ne fais pas l'enfant, renferme ta fourmilière; il n'est pas juste qu'elle donne au diable un courrier qui fatigue déjà assez, en se logeant dans sa poche, et fais en sorte qu'il puisse faire son trajet à Pétersbourg sans aucune importunité de ta part.

Pour le bon ordre, il faut que Votre Majesté sache que le major Campe parti depuis une vingtaine de jours a emporté quatre paquets, savoir: 1. un cahier du Voyage pittoresque de la Grèce. 2. Un exemplaire de la description des pierres gravées du cabinet de M. le duc d'Orléans. 3. Un Vortrag avec ses paperasses. 4. Un fragment de la nouvelle édition de l'Histoire des deux Indes, par l'abbé Raynal, concernant l'Amérique septentrionale. Je crains que ce fragment humblement présenté par M. de Miatlef et qui ne sera pas public encore de quelques mois, ne fournisse à Votre Majesté une nouvelle preuve combien les têtes sages sont rares en ce pays-ci. Ce n'est pas là la manière de Robertson.

Je suis très fâché de ce que Votre Majesté me dit du Voyage pittoresque de la Grèce. Si je l'avais su, je me serais dispensé de l'envoyer;

mais reduit à griffoner et à produire, je n'ai pas une demi-heure par jour à donner à la lecture, et cette demi-heure il faut la donner aux gazettes du nord, pour savoir ce qui se passe à Polotsk et à Mohilef. L'auteur est un jeune homme, et il est connu qu'en France on est plus longtemps enfant qu'ailleurs. Il n'a pas su peut-être que sous Louis XVI nous avons changé tout cela, et que ce n'est plus la mode de dire du mal de la Russie. Il aura été tout étonné de trouver à son retour Paris rempli d'enseignes à l'Impératrice de Russie, de cafés de Russie, de Grand hôtel de Russie garni, et jusqu'à des marchandes de mode à l'enseigne du Russe galant. Je crois que le duc de Choiseul, en homme d'esprit qu'il est, se mord bien le pouce d'avoir si prodigieusement pris à gauche du côté du nord. Une vanité mal entendue ne lui a jamais permis de se redresser et de changer d'allure, et il a aujourd'hui la mortification de voir qu'un homme sage qu'il a regardé comme une tête subalterne, et qui tout en travaillant sous ses ordres contre les intérêts de Votre Majesté Impériale n'a cessé de lui prédire ce qui en résulterait, que cet homme, dis-je, a non seulement rendu à la France sa consistance naturelle et politique si sensiblement altérée par les grands génies ses prédécesseurs; mais, ce qui est bien plus sensible, que sans bruit et sans vacarme il a battu en brèche leur réputation ministérielle, à ne s'en jamais relever.

Votre Majesté Impériale trouvera ci-joint deux pancartes de notre divin Reiffenstein, justement surnommé divin, puisque ses pancartes inspirent à notre Impératrice des commentaires qui, suivant l'avis de la Faculté, mettent à tout moment la vie du souffre-douleur en danger par le trop fréquent et trop fort épanouissement de sa rate. Par ces pancartes Votre Majesté sera assurée que le susdit divin ne pense jour et nuit qu'à l'exécution de ses ordres gracieux. Ce qui m'a déterminé à user de la permission de notre bienfaitrice souveraine, et à autoriser le divin homme de prendre chez Santini cinq cents sequins pour sa pension de l'année 1779, acceptant néanmoins M. de Bezborodka pour caution de sa pension de même somme pour l'année courante et payable dans six mois. Comme le divin n'a cessé d'être occupé pour notre auguste Souveraine depuis trois ou quatre ans, et que ses occupations ont surtout doublé et triplé depuis deux ans, il m'a paru entièrement conforme à Sa bienfaisance, que la pension de cinq cents sequins, accordée en octobre 1779 et non encore payée, regarde l'année 1779, et que M. de Bezborodka reste notre caution pour l'année 1780, et s'occupe de ce paiement à la fin de cette année ou au commencement de l'autre. Mais j'ai besoin de l'approbation impériale pour ma tranquillité sur cet arrangement.

Votre Majesté approuve donc fort ce que j'ai fait à l'égard des oeuvres de Metastasio? Moi aussi je m'approuvais, mais je ne m'approuve plus, par la raison de la vérité éternelle que le mieux est l'ennemi du bien. L'Impératrice, par une erreur à la vérité très naturelle, ayant souscrit à Vienne, il fallait y envoyer les 40 exemplaires de Sa Majesté, malgré le ridicule de ce détour énorme. J'ai voulu faire pour le mieux, je me suis mêlé de ce qui ne me regardait plus, et voici ce qui en est arrivé.

Suivant le compte rendu à Votre Majesté, j'ai dit au commissionnaire de Paris: Ecrivez à votre correspondant de Vienne que l'Impératrice n'a donné ses ordres à Vienne que parce qu'elle a supposé que c'était le lieu de l'impression; qu'il serait très déplacé de faire faire un si grand détour à ses exemplaires; que cette considération vous a engagé à me les remettre pour être envoyés directement à leur destination. Moi de mon côté j'écrivis à M. le prince de Galitsine à Vienne bientôt après, pour lui expliquer les motifs de cet arrangement et pour le prier de révoquer sa commission à Vienne et de dire au commissionnaire que puisque l'édition se faisait à Paris, il y avait donné ses ordres pour qu'on envoyât directement les 40 exemplaires à Votre Majesté. Cette lettre ou est arrivée trop tard à Vienne, ou n'y est point arrivée, quoique je ne croie pas aux lettres perdues. Le fait est qu'elle resta sans réponse et que M. Polética donna au commissionnaire de Vienne une sommation par écrit de lui livrer les 40 exemplaires pour lesquels il avait souscrit au nom de Votre Majesté. Cette sommation fut envoyée au commissionnaire de Paris, à qui l'on dit qu'on ne se mêlait pas de ce que je pouvais dire ou faire et qu'on lui demandait les 40 exemplaires de l'Impératrice de Russie sans délai à Vienne. Jusqu'ici il n'y a pas grand mal; j'aurais appris un peu à mes dépens de vouloir faire pour le mieux, et cette leçon doit être payée. Mais que fait mon commissionnaire de Paris, en petit fripon subalterne italien qu'il est? Je lui avais bien payé ses quarante exemplaires en les recevant; il voit dans l'ordre réitéré de Vienne un moyen de placer quatre-vingts exemplaires au lieu de quarante. Il envoie donc aussi les 40 exemplaires à Vienne, et au lieu de me faire part de l'ordre de Vienne tout aussitôt après son arrivée, il ne vient que plus de six semaines après, pour me le notifier et pour dire qu'il ne lui a pas été possible de désobéir à l'ordre de Vienne. Cette combinaison était très adroite, et s'il ne m'était pas venu le scrupule d'attendre les ordres précis de Votre Majesté avant d'envoyer toute la cargaison, elle était infaillible; mon fripon fut un peu déconcerté, lorsqu'après lui avoir témoigné mon étonnement de ce qu'il a fait son envoi à Vienne sans m'en prévenir, je lui dis: Eh bien, vous l'avez jugé convenable, n'en parlons plus;

voilà les 40 exemplaires de l'Impératrice en route pour Vienne. Demain vous m'apporterez l'argent que je vous ai payé il y a deux mois, et vous reprendrez les 40 exemplaires que vous m'avez livrés. Il les croyait bien loin; il resta confondu, il me demanda huit jours, je lui en accordai quinze. Il voulut ensuite revenir par lettre sur cet engagement, et me faire entendre que Votre Majesté, par un de ces traits de générosité qui lui sont familiers, avait peut-être voulu souscrire pour 80 exemplaires; je me transportai de fureur. Bref, après une correspondance de huit jours, il me signa un billet qu'il me rendrait mon argent à la publication de la seconde livraison, et qu'il reprendrait ses 40 exemplaires. Voilà où j'en suis, et tout serait bien, je me serais même bien gardé d'affubler mon auguste Souveraine de tous ces détails ennuyeux, si j'avais les 40 exemplaires en ma possession. Mais j'en ai envoyé 12 à Votre Majesté avec les portefeuilles de Clérisseau, et je m'en mords bien les doigts. S'il était possible de me les renvoyer d'ici à l'autre publication, j'en paierais volontiers le port par pénitence. Si cela ne l'est point, il se trouvera toujours pour le fripon un profit de 12 exemplaires, et au lieu de 40 exemplaires Votre Majesté aura souscrit 52; savoir 12 par mes beaux arrangements et 40 par le canal du prince de Galitsine. Je ne puis souffrir que les spéculations des fripons prospèrent, et s'il y a possibilité, je demande en grâce à Votre Majesté de me faire revenir ici ces 12 exemplaires avant la publication; il y a maintenant tant de courriers en l'air, que chacun se chargeant d'une pacotille, la totalité me serait bientôt rendue. Je n'ai pas dit à mon homme que je me sois dessaisi d'un seul exemplaire. Je veux qu'il m'apporte la totalité de mon argent avant que je m'explique sur les 12 exemplaires. Je demande aussi en grâce à Votre Majesté de ne rien imputer de tout ce tripotage à l'illustre Metastasio, qui ne s'en doute seulement pas, et puis de n'en rien dire à l'Impératrice, afin qu'ayant déjà eu le tort de vouloir faire pour le mieux sans vocation, son ministre à Vienne ne m'impute encore cet autre tort impardonnable d'avoir voulu lui faire une tracasserie avec notre auguste Souveraine. Dieu m'est témoin si j'ai jamais eu le projet de nuire au dernier de ses sujets dans son esprit; je ne commencerais pas par ses ministres; et si je n'avais pas rendu mon compte à Votre Majesté sur cette affaire dans un Vortrag précédent, je me serais mis l'esprit à la torture pour trouver quelque moyen de me dispenser de la mettre sous ses yeux.

J'ai touché ces jours passés, par ordre de M. le procureur-général, près de 40 mille livres, ainsi qu'il en constera en temps et lieu par mes décomptes.

Puisque Votre Majesté donne tête baissée dans les miniatures, on est venu me montrer un très beau tableau en émail représentant en petit la

mort de Germanicus, superbe tableau du Poussin, dont l'original est à Rome. Je crois qu'un particulier aurait cela pour 25 ou 30 louis d'or; mais comme on sait que j'achète pour l'Impératrice, on m'en a demandé 40; peut-être pourrais-je l'avoir pour quelque chose de moins. J'ai dit qu'il me fallait un ordre exprès de Votre Majesté, et je l'attends. J'ai déjà écrit au divin sur l'affaire de Chigi le défunt: ainsi, que Votre Majesté ne s'en embarrasse pas davantage ni M. le grand-chambellan. Je ne me sens pas d'humeur à faire payer à l'Impératrice les dettes du défunt; je n'y vois aucun motif de justice; mais j'ai mandé qu'un petit bienfait de Sa Majesté Impériale devait servir à faire tirer et publier la carte dont le produit s'emploierait à payer les dettes.

J'ose recommander aux bontés de Votre Majesté cette lettre qu'on m'a recommandée pour le chevalier de la Teissonière; si j'avais trouvé un meilleur canal, je l'aurais pris.

Pourvu que l'engouement de l'Impératrice pour les Epoques de la Nature ne m'attire pas une nouvelle querelle d'allemand. Cet engouement a engendré des questions impériales. Etait-ce à moi d'y répondre quand j'avais le coupable sous ma main? J'ai donc tout communiqué à M. de Buffon, questions et autres chefs d'accusation. Il en est résulté une réponse, dont j'ai l'honneur de joindre ici l'original avec la copie de la lettre dont elle était accompagnée pour moi. Mais ce n'est pas tout. Le coupable de Montbard s'est cru autorisé de faire hommage de tout ses ouvrages à Minerve l'engouée des Epoques. Il me les a envoyés dans une grosse caisse. Pouvais-je la lui rendre? Point du tout. Je l'ai fait embarquer sur le champ munie d'un passe-port du prince Bariatinski sur le vaisseau hollandais l'Expédition, actuellement en charge à Rouen. C'est le même qui emporte les tableaux du comte Stroganov. On respectera bien autant une caisse directement adressée à Votre Majesté Impériale que les effets d'un de ses sénateurs. Votre Majesté aura la bonté d'ordonner qu'on retire cette caisse à son arrivée suivant le connaissement ci-joint dont j'envoie le double à messieurs Robert et Jean Hay, afin qu'ils y veillent. Quant aux tracasseries qui en résulteront entre Minerve l'engouée et l'historiographe de la nature, ce sont choses qui ne regardent pas le souffre-douleur, et je tire mon épingle du jeu.

Depuis l'arrivée du courrier on dit que la soeur très fidèle ne veut avoir rien à tracasser avec Votre Majesté au sujet de la neutralité armée. Je m'y attendais et je me doutais bien qu'il ne pouvait pas y avoir une idée commune entre Catherine badaude à la messe catholique de Mohilev et Marie chargée de reliques; heureusement, cela n'y fera ni froid, ni chaud. Est-il

vrai, Madame, que le sénat veut que nous appellions notre Impératrice Catherine-la-Grande. Pourquoi donc cette transposition? Tout le monde est accoutumé à dire: la grande Catherine, et Voltaire disait: la divine Catau, ce qui est tout contre *Diva* que les Romains donnaient aux Impératrices. Enfin, comme ils voudront, et je dirai avec Don Japhet d'Arménie:

car il n'importe guère
Que Blaise soit devant ou Blaise par derrière.

Tandis que Votre Majesté Impériale fixait les yeux de l'Europe sur Mohilev, Londres a pensé éprouver une catastrophe, et je parie que le Paßgänger ne sait pas encore que tout cela n'est pas l'ouvrage de ce fou de George Gordon, mais bien celui du meilleur citoyen que Dieu créa en ce siècle. Les Paßgänger anglais sont plus sots que d'autres.

Le courrier ne m'accorde plus que l'instant de me jeter aux pieds de Votre Majesté Impériale et d'y déposer l'hommage du plus profond respect et de mon éternel attachement.

№ 22.

Allerunterthänigster höchst eilfertiger Vortrag.

A Paris, 10 (21) août 1780.

Madame. Voilà le courrier de Votre Majesté Impériale M. Olaus qui arrive tout droit de chez le comte de Nesselrode de Lisbonne, qui entre chez moi, qui me dit qu'il lui faut mes paquets pour notre Impératrice immortelle dans la minute. Oh, le mortel déplaisir de n'avoir qu'une minute, lorsqu'il me faudrait des siècles pour vider mon sac, tant il est plein, et lorsque le sort se plaît à m'accabler de contrariétés, afin de préserver Votre Majesté de l'ennui de mes pancartes. Mais il n'en sera pas toujours ainsi: il me reste une queue à écorcher, elle est dure, j'en conviens; mais aussi vers le mois de novembre Dieu seul peut savoir à quel flux de paroles, à quel déluge Son ointe sera exposée de la part du souffre-douleur impérial. En attendant, pour que M. Olaus ne m'ait pas fait sa visite en vain, il emporte:

1. Le Carmen Saeculare de Philidor, partition, en deux volumes, que notre immortelle Impératrice a acheté pour cinq mille livres, afin de grossir la liste de ses bienfaits innombrables. Ici tout le monde a été attendri que le séjour tumultueux et brillant de Mohilev ait valu un bienfait à un artiste, distingué à Londres, loué et oublié dans sa patrie. J'attends de l'abbé Ga-

liani le programme pour ce spectacle que je réserve toujours pour l'année séculaire de 1782. Philidor, aussi surpris que confus, d'une grâce si peu attendue, est resté chez moi anéanti comme un fondeur de cloches; mais quand il a pu reprendre ses esprits et s'en aller, il est sorti fort gaillard. Il a depuis reçu les compliments en forme du Café de la Régence sur la place du Palais-Royal, lieu unique en Europe, où tous les plus fameux professeurs et joueurs d'échecs sont assemblés toute l'année sans interruption pour ne s'occuper que de cet important objet, et où Philidor est révéré comme l'oracle d'Apollon à Delphes. Il ose espérer que Votre Majesté Impériale ajoutera à son bienfait si inattendu la grâce de ne point permettre que sa partition soit prise ou copiée à Pétersbourg, parce qu'il voudrait se ménager l'avantage de la publier sous les auspices de son auguste bienfaitrice, lorsqu'elle lui aura procuré les honneurs de la représentation et de l'exécution.

2. Un planisphère avec des cartes et des livres y relatifs par le révérend père Chrysologue, capucin de la rue Saint-Honoré, proche voisin de feu Madame Geoffrin. Votre Majesté m'a bien ordonné de la laisser tranquille avec les capucins; mais je ne me suis engagé a rien, parce que les capucins ne m'ont pas promis de me laisser tranquille. Ils disent: Puisque l'Impératrice grecque va entendre la messe latine chez les feus Jésuites, elle doit avoir une oreille pour leurs valets, les capucins. Au reste le planisphère de mon père Chrysologue n'est pas destiné a l'Impératrice, mais bien à Monsieur Alexandre. Mon capucin veut que cet auguste morveux y étudie le ciel avec le même succès que sa célèbre maîtresse d'école lui fera connaître la terre, et voilà pourquoi le planisphère est adapté à la latitude de Pétersbourg, et voilà pourquoi je n'ai pas pu rejeter l'hommage du capucin, suite naturelle des succès des coquins de Polotsk et de Mohilev durant le voyage à jamais mémorable de Catherine, qui ne veut pas qu'on l'appelle la Grande, apparemment parce qu'il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. Au reste, si l'auguste maîtresse d'école de Monsieur Alexandre me permet de faire en son nom une aumône de cinq ou six cents livres au révérend père Chrysologue, le gazetier de Cologne en fera autant de bruit que du noviciat de Polotsk, et les trois couvents des capucins de Paris chanteront un Te Deum.

Mais M. Olaus fait claquer son fouet. Il faut donc que je réserve tout le reste au prince Bariatinski, qui part enfin à la fin de cette semaine et qui emportera, outre les diamants que je lui ai toujours réservés, le fameux camée de Persée et Andromède, qui vient de m'arriver de Rome dans l'instant avec la tête de l'Apollon du Belveder ordonnée par Votre Majesté Im-

périale. J'espère que le Persée de Mengs est délivré à Lubeck, ainsi que le trésor Clérisseau, et il me tarde d'apprendre que tous ces trésors sont heureusement parvenus à leur glorieuse destination. God save our Emperor of all the Russias, et ses escadres qui voguent dans nos mers sous le plus glorieux des pavillons.

№ 23.

Allerunterthänigster Vortrag.

A Paris, 18 (29) août 1780.

Madame. Avant de me liver aux effusions de mon pauvre coeur si cruellement comprimé et depuis si longtemps, il faut me débarrasser d'une foule de petites affaires qui regardent le service de mon auguste Souveraine. Depuis que les bontés de Votre Majesté Impériale m'ont rendu un homme illustre, Dieu seul sait tout ce que j'ai à souffrir pour l'amour d'elle. C'est à dire que tous les oisifs et tous les importuns de l'Europe se croient en droit de m'assaillir et de me voler mon temps, le plus précieux de mes biens, toujours pour me parler d'elle. C'est bien me prendre par mon faible; mais que je regrette cette époque de ma vie où, jouissant des mêmes bontés de Votre Majesté Impériale dans mon heureuse obscurité, je lui disais son fait toutes les fois que la fantaisie m'en prenait. Je n'avais pas encore le public pour confident de mon bonheur. La bibliothèque du patriarche m'a perdu. Nommé dans une lettre de Votre Majesté devenue publique, ma gloire a été portée à son comble, mais mon temps et mon repos sont tombés au pouvoir d'autrui. Mais il s'agit bien de se lamenter au moment où la Souveraine selon mon coeur remplit l'univers de la gloire de son nom immortel, et lorsqu'elle daigne jeter un regard de bonté sur moi dans l'instant même où tous les yeux de l'Europe sont fixés sur elle. Fais ton devoir, souffre-douleur, rends-lui compte des affaires commises à tes soins; après quoi tu bavarderas si le temps te le permet, car tout ceci doit voyager avec le prince Bariatinski.

Le courrier de Votre Majesté, M. Olaus, parti ces jours passés, a emporté, outre un Vortrag en miniature précipitée, la partition du Carmen Séculaire si généreusement acquise par Votre Majesté, ce qui range le premier joueur d'échecs du monde connu et le seul musicien français que les étrangers peuvent écouter, au nombre des protégés de notre auguste Souveraine. Deux autres paquets sont du père Chrysologue, capucin astronome, qui veut absolument contribuer à l'instruction de M. Alexandre.

Ceci est une récapitulation pour le bon ordre.

Le prince Bariatinski étant un courrier d'une autre importance, et jouissant, après mon gouverneur Thier, de toute ma confiance, je le charge aussi de plusieurs articles capitaux.

1[r] article, non capital. C'est un cahier du Voyage pittoresque de la Grèce, qui vient de paraître et qui doit compléter l'exemplaire de Votre Majesté. J'y ai fourré sous la couverture de ce cahier en papier blanc une petite estampe bien indécente, bien libidineuse, bien infâme, mais sa qualité de copiée d'après l'antique couvre tous ses péchés, et comme elle appartient, au bout du compte, à la collection des pierres gravées de M. le duc d'Orléans, dont j'ai envoyé un exemplaire, et qu'on la vend à cause de cela aux amateurs pour complément, je n'ai pas cru devoir en priver l'exemplaire impérial. Votre Majesté trouvera avec l'estampe l'avertissement de l'artiste à ce sujet, et m'ordonnera s'il faudra compléter cette collection ou non.

Puisque j'ai eu occasion de parler de la Description des pierres gravées du cabinet de M. le duc d'Orléans, je vais mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale une lettre que les éditeurs de mon ouvrage m'ont écrite ces jours passés, pour proposer à Votre Majesté les dessins originaux d'après lesquels on a gravé les estampes de ce recueil. J'attends les ordres de mon auguste Souveraine à cet égard.

2. Le fameux camée de Persée et Andromède acheté par Votre Majesté Impériale parmi les effets de la succession de Mengs, m'arrive à point nommé de Rome, pour être emporté par le prince Bariatinski. Il est accompagné par cet Apollon que Votre Majesté m'a fait la grâce de m'ordonner de faire exécuter à Rome pour figurer sur une tabatière. Il me sera doux d'entendre que le divin a parfaitement saisi l'esprit de cette commission que je lui ai transmise telle que je l'ai reçue de notre auguste Souveraine. Car lui aussi il se donne les airs et il a le droit de parler ainsi, depuis que la munificence Impériale l'a agrégé au nombre de ses serviteurs. J'ai eu l'honneur de prévenir Votre Majesté sur la manière dont, d'après ses ordres, je me propose d'arranger les affaires de ce brave et digne homme. Je l'ai exécuté de point en point, comme Votre Majesté verra par la lettre du divin ci-jointe, et j'ose croire qu'en cette occasion j'ai servi mon Impératrice selon le voeu de son grand coeur inépuisable en bonté. J'accepte maintenant M. de Bezborodko pour caution de la continuation de cette grâce impériale, dont la première remise de cinq cents sequins doit avoir lieu à la fin de cette année.

Votre Majesté a fait le bonheur d'un brave homme qui depuis le commencement de l'année 1778 s'est presque entièrement voué à son service avec un zèle aussi infatigable que les bontés de notre Impératrice sont inépuisables: ainsi qu'il appert par l'infatigable correspondance du divin, qui

exige de mon côté assez de temps; mais elle me prend mon temps agréablement, au lieu que les importuns qui m'accablent de propositions à faire à l'Impératrice que je ne lui ferai jamais, m'assassinent au pied de la lettre sans aucun profit pour eux ni pour moi. Si Votre Majesté veut rendre le bonheur du divin parfait, elle lui accordera le titre de son agent ou de son conseiller, afin qu'il puisse dire à la face de l'univers: notre auguste Souveraine. Je prendrai encore à cet égard M. de Bezborodko pour caution. Il peut m'envoyer ce brevet quand il voudra, tout comme j'attends de lui, par le premier courrier impérial qui passera par Paris, la patente de l'Académie Impériale des beaux-arts et celle de premier architecte de Sa Majesté Impériale pour le brave et presque divin Clérisseau.

Pour revenir au camée, Madame, Votre Majesté n'attend pas de moi une phrase après l'historique du divin. Je mande seulement à celui-ci que je le trouve cher. En revanche je trouve l'Apollon bon marché. Je me réjouis infiniment de pouvoir faire passer ces pièces sans aucun délai à leur glorieuse destination: car tant que j'en suis gardien, je ne dors pas d'inquiétude. Cette même tourmente m'empêche de le montrer beaucoup, de peur qu'on me le laisse tomber. Le peu de personnes qui l'ont vu, m'ont tourmenté pour le faire monter ici, croyant qu'on ne fera pas aussi bien à Pétersbourg qu'à Paris; d'autres ont voulu m'engager de le faire copier par un homme qui imite en peinture ce genre d'ouvrage supérieurement. A toutes ces propositions je suis resté roc inébranlable et j'ai dit: Si l'Impératrice le veut ainsi, elle aura bien l'esprit de me l'ordonner.

Tandis que j'écris, j'apprends de Lubeck que l'évangéliste St. Marc y est venu enlever le trésor Clérisseau, et l'Andromède de Mengs et les miniatures de Teresina de Maron et mes tristes douze exemplaires de Metastasio, que je voudrais bien ravoir ici. Me voilà toujours avec un fardeau de moins sur les épaules, car j'ai une confiance étonnante dans l'évangéliste et son gouverneur Slitzov; mais pour être parfaitement tranquille, il faut que je le sache arrivé à Pétersbourg. Le 16 il était encore retenu pour le vent contraire.

3. Les deux diamants si généreusement achetés par notre bienfaisante Impératrice et depuis si longtemps prisonniers chez moi, trouvent enfin aussi dans le prince Bariatinstki un porteur à qui je les confie avec une entière sécurité. Mon emballeur M. Delorme qui, par parenthèse, a gagné bien de l'argent avec notre Impératrice depuis qu'il emballe pour elle, m'a fait un grand plaisir sans s'en douter; il s'est ecrié: Ah, qu'ils sont beaux! Je lui ai demandé combien il les estimait au premier coup d'oeil. Il m'a répondu qu'ils pourraient bien valoir 25 à 30 mille livres. C'est bien dommage que

M. Delorme ne soit pas jouailler. Si son autorité était de quelque poids, j'aurais sauté de joie comme un cabri d'avoir fait faire un bon marché à Votre Majesté, en lui faisant exercer un acte de générosite, conformément au voeu de son grand coeur, qu'aucun coeur palpitant sur ce globe n'approcha jamais sans être soulagé. Il est aisé à notre Impératrice magnanime de dire: Voilà bien du bruit pour une omelette au lard. Il faut que Votre Majesté sache que de ma vie je n'ai fait un plus grand effort qu'en lui proposant ces diamants. Une voix secrète me disait toujours: Pourquoi faut-il que l'Impératrice achète des diamants dont elle n'a que faire, parce que celle qui les possède est dans l'infortune? Cette voix secrète me reprochait sans cesse mon injustice. Mais cette femme infortunée était madame d'Epinay. On n'aime pas toujours à faire parade de sa détresse; et si elle avait passé par les mains des jouaillers, elle aurait vraisemblablement perdu un tiers de sa valeur. Il est des destinées bien malheureuses dans ce monde. Cette femme est depuis sept ou huit ans dans un état de santé et de souffrance déplorable, je l'ai vue à l'agonie deux ou trois fois: malgré cela la force de son esprit la soutient avec une vigueur étonnante, et elle m'a convaincu de la vérité de l'axiome de M. de Buffon, qu'on ne meurt que parce qu'on y consent. Elle jouissait d'un petit revenu sur les fermes générales depuis qu'elle existe. Ses enfants en avaient une portion plus forte. Sa fille, mariée à un homme de qualité qui a bien servi et dont le frère estimé comme bon général est mort gouverneur de St. Domingue, a trois charmants enfants dont deux vont être sous-lieutenants de dragons et leur soeur est cette petite Emilie à qui les Conversations ont fait une réputation. Eh bien! c'est dans ce moment d'infirmité et de souffrance d'un côté, de besoin pour l'éducation d'aimables enfants de l'autre, que M. Necker par un arrangement général supprime tous les bénéfices sur les fermes, et voilà toute cette famille réduite à la misère. On ne peut pas blâmer l'opération de M. Necker. Il connaît madame d'Epinay, il s'intéresse à sa situation, il a plaidé sa cause dans le temps du bienheureux Louis XV, où madame du Barry et l'abbé Terray voulurent s'emparer de cette portion. Il lui conserva alors ce qu'il lui ôte aujourd'hui. Il est vrai que le Roi, en supprimant tous les bénéfices, dit qu'il aura égard aux situations particulières, et qu'il n'y en a pas qui mérite autant cet égard que celle de madame d'Epinay; mais comme il y a trop de ces situations particulières, et que ses longues infirmités lui ont fait perdre ses protections, on ne fera rien pour elle, parce qu'il faudrait faire pour trop de personnes protégées qui se trouvent dans son cas, quoique perdant comme elle, ils ne perdent pas le nécessaire comme elle. Tout cela est inintelligible pour notre Impératrice, parce qu'elle ne con-

cevra jamais, comment un souverain reprend ce qu'il a accordé et ne le remplace par rien, lorsqu'on n'a pas démérité auprès de lui, et qu'il s'agit d'une pension de quinze cents roubles; mais c'est que Votre Majesté ne peut pas avoir une idée nette de ce que c'est qu'un gouvernement endetté, et par conséquent toujours gueux et toujours aux expédients pour trouver de l'argent. Quand avec cela ayant une grande supériorité de moyens on ne sait pas pousser la guerre avec plus de nerf et de vigueur, on réduit le ministre qui doit fournir les fonds, à la nécessité de tondre sur un oeuf, et on ne rend pas la besogne du ministre qui doit procurer la paix, aisée. Je plains M. de Necker et M. de Vergennes; je ne reproche pas au premier d'enlever, en sa qualité d'homme public, à madame d'Epinay ce qu'il lui conserva autrefois comme particulier, contre la rapacité de l'abbé Terray; mais j'avais besoin de le dire à mon incomparable et irremplaçable Souveraine, afin de me justifier devant sa personne sacrée, et plus encore devant moi-même, des diamants que je lui ai fait acheter au grand tourment de ma conscience.

J'espère dans quelques mois, quand la nouvelle édition des Conversations sera publiée, et qu'on aura trouvé dans leur augmentation un des meilleurs ouvrages sur l'éducation, Votre Majesté ne regrettera pas son acte de bonté quoiqu'exercé sans aucun motif valable, et M. Necker regrettera la rigueur à laquelle les tristes devoirs de sa place l'ont condamné, supposé qu'il ait le temps de s'en apercevoir. Je ne sais pourquoi en griffonnant ceci, il me vient dans la tête un trait de notre Impératrice, et dans les yeux des larmes que son souvenir me coûte à tout instant. Un jour à Péterhof à table il était question du feu comte Razoumovski et de toutes les concessions que l'Impératrice Elisabeth lui avait faites, mais dont il n'existait à sa mort aucun titre légal: seulement Ecatherine savait à peu près que telle avait été l'intention d'Elisabeth, et confirma toutes ces concessions sans titre; et dit alors, à l'occasion de ce qu'on avait rappelé ces faits: Qu'il serait bien triste de supposer assez de lâcheté dans le coeur d'un souverain pour ne pas remplir avec une exactitude religieuse ce qu'il savait avoir été la ferme intention de son prédécesseur. Et moi, à qui ce propos troubla la digestion et serra le coeur, je dis entre mes dents: Nun das merk du, junger Herr Secondat, und begreif daß, wenn man kaiſerlich regieren will, ſo muß man ein kaiſerlich Herz haben. Warum und wie aber dieſes kaiſerliche Wort ſich in meinem Sinne erwacht hat, das weiß der Himmel.

4. Puisque j'ai parlé de concessions et de bienfaits, il est juste que celle qui jouit de ma plus constante bienveillance en reçoive un à l'occasion du départ de son ministre. Votre Majesté trouvera dans la boîte aux diamants à l'autre bout un petit profil en plâtre. C'est celui de cette Olympe dont je

me rappelle que le portrait en prose a fixé son attention. Je désire que Votre Majesté trouve assez d'accord entre les deux portraits, pour dire qu'ils se ressemblent.

Le bonhomme Gillet est venu pleurer chez moi, quand je lui ai dit que l'Impératrice m'avait promis de m'envoyer six mille livres pour lui. Cela lui a mis du baume sur la blessure qu'une étourderie de sa part lui a faite. J'ignore par quel hasard l'Académie Impériale lui a fait payer ici sa pension deux fois par deux banquiers différents à peu de mois de distance. Le bonhomme a signé les deux reçus que les banquiers lui ont présentés, sans regarder, et a touché, supposant qu'on lui payait deux années au lieu d'une. Qand ces deux reçus sont arrivés à Pétersbourg, on s'est aperçu qu'il a touché deux fois pour le même sujet, on a jeté feu et flamme, et l'on a supprimé sa pension, pour lui apprendre à tromper. Mais s'il avait eu l'intention de tromper, il aurait précisément par sa double signature fourni les preuves de conviction de sa tromperie, et cette double signature prouve au contraire manifestement sa bonne foi. Ce qui est difficile à expliquer, c'est comment on a pu faire double remise du même objet par deux banquiers différents. Au reste le bonhomme fait actuellement plaider sa cause auprès de M. de Betski, et espère de sa justice qu'il lui rétablira sa pension sans délai. Il ne faut pas même que l'Impératrice sache rien de tout cela, ni qu'elle s'en mêle, à moins qu'on ne voulût lui déférer Gillet comme un fripon prenant de deux mains. Je ne lui avais guère laissé d'espérance sur les six mille livres qu'il m'a fait solliciter. Sa joie et sa reconnaissance en ont été d'autant plus vives, qu'outre la tracasserie du double reçu, un banquier à qui il avait confié la moitié de son bien, le lui avait emporté en faisant banqueroute. Combien Votre Majesté fait couler de larmes de reconnaissance dans tous les coins de la terre! Celles du brave Wagnière ne sont pas les moins douces. Sans son auguste bienfaitrice, il se trouverait bien à plaindre. M. Duvivier devenu mari de madame Denis l'a absolument brouillé avec la nièce de M. de Voltaire, afin de lui supprimer sa pension.

Dès que le prince Bariatinski sera parti, je me mettrai à entamer l'affaire du cabinet des pierres gravées du bailli de Breteuil, qui ne fait que revenir des eaux. Je ne crois pas M. le procureur général ou M. Olsoufiev fort éloigné d'acheter un petit bouquet à l'Impératrice pour le jour de sa fête. Elle mérite bien quelque petit cadeau par-ci par-là, et ce n'est pas le cas de dire: Je n'ai point d'argent; mais il faut auparavant savoir si le cadeau vaut l'argent.

Comme je mérite aussi quelquefois un petit cadeau, j'espère que Votre Majesté Impériale ne me refusera pas celui de l'a b c des maximes mo-

rales fait pour M. Alexandre par notre immortelle Normal-Schulmeisterin. Il me faut ce cadeau, il me le faut. Le souffre-douleur n'entendrait pas raison sur ce refus. Le premier courrier peut me l'apporter, il me le faut. M. le comte de Falkenstein en a-t-il tâté? S'est-il un peu instruit dans la Normal-Schule de Pétersbourg? Ou bien a-t-il plus parlé qu'écouté? Il a sur ses camarades l'avantage unique d'avoir beaucoup vu, beaucoup voyagé. Je ne suis pas inquiet qu'il ne sache beaucoup; mais cela est-il un peu classé, oder ist in seinem Kopfe alles unter einander comme dans les guinguettes de Paris? Je regrette à tous les instants de ma vie mon bonheur évanoui comme un rêve; mais combien j'aurais donné pour être aux pieds de mon auguste Souveraine, pour lui dire tout ce qu'elle pense de M. de Falkenstein! Il faut qu'en effet la revue du monde entier ait été bien complète à Mohilev, puisque le pauvre souffre-douleur y a aussi passé; mais je parie que Votre Majesté n'a pas dit à son comte de Falkenstein qu'en 1777, lorsque l'Impératrice était si empêtrée de l'arrivée de M. le comte de Gothland, je lui ai prédit précisément qu'un beau matin elle aurait le dégoût de voir arriver chez elle M. le comte de Falkenstein, qui se trouvait pour lors en France. Il ne tenait qu'à Votre Majesté de me faire honneur de cette prédiction à la barbe du chef du Saint-Empire Romain. Il ne sait sûrement pas non plus que si j'ai le malheur d'être le souffre-douleur du chef du Saint-Empire Grec, j'ai la consolation d'être l'enfant gâté du prince de Kaunitz. J'avais un peu négligé ce mien protecteur pendant les jeux de gobelets, parce que je sais me taire, mais je ne sais pas dire, pour rien au monde, le contraire de ma pensée. Il m'a fait faire de tendres reproches, ce qui m'a engagé à donner une lettre pour lui au prince Prozorovski. Cette lettre m'a attiré une réponse pleine de tendresse, écrite dans le temps que M. le comte de Falkenstein parlait du beau temps et de la pluie à Mohilev. Dans cette réponse je lis en propres termes:

«Aimez toujours bien fort votre Impératrice de Russie, que j'honore et que j'aime bien aussi, parce qu'elle m'en paraît digne à tous égards. Aimez aussi le roi de Prusse, je le veux bien; mais ne nous haïssez pas pour cela, ainsi que bien injustement il se plaît à faire. Vous pouvez très bien être l'un sans l'autre, ce me semble».

J'ai riposté et j'ai dit que je remerciais d'autant plus fortement pour la permission, d'aimer mon Impératrice, que quand je ne l'aurais pas, cette permission, il n'en serait ni plus, ni moins, et qu'il ne dépend pas de moi de ne pas l'aimer jusqu'au jour de mon trépas inclusivement. Que quant au roi de Prusse, j'étais pareillement obligé de l'aimer pour les bontés qu'il m'avait toujours témoignées; que je le connaissais par les tripotages du cabinet; que

je n'en faisais aucun cas; qu'à l'école de mon Impératrice j'avais fait provision de lieux communs et de dictons qui ont l'air un peu trivial, comme: Man muß leben und leben laßen. Qu'à titre de ma nullité j'avais trouvé de la protection et de la bonté dans tous les camps, etc., etc., etc.

Ici tout le monde me demande comment Ninette à la cour s'est tirée d'affaires, et personne n'attend ma réponse, parce que personne n'a voulu avoir peur pour elle. Le prince de Lobkowitz qui nous a quittés, qui s'est trouvé dans la bagarre de Londres, et qui a été depuis se plonger dans les boues de Saint-Amand pour la guérison de son pied, s'est bien mordu le pouce, quand il a appris ici le voyage de son auguste maître vers Mohilev. S'il avait été à Vienne, il lui aurait demandé pour toute grâce d'être du voyage comme palefrenier pour avoir encore un fois le bonheur de voir mon Impératrice. C'est l'histoire du genre humain: quand on ne l'a pas vue, on veut la voir, et quand on l'a vue, on veut la revoir, et l'on meurt de regrets loin d'elle. Je crois, Dieu me pardonne, que j'ai aussi pris à son école du goût pour les gaucheries: car il est incroyable combien j'ai expliqué gauchement certains passages de sa lettre sur M. le comte de Falkenstein. Je ferais bien rire Votre Majesté, si je pouvais lui dire tous les commentaires que j'ai faits in petto sur cette divine pancarte. Je serais toujours bien fâché si tout le monde entier ayant passé en revue, le baron de Dalberg n'a pas eu son tour et l'attache de notre Impératrice.

A M. le comte de Falkenstein succède M. le marquis de Brandebourg, soi-disant M. le prince de Prusse. En sa qualité de prince d'Allemagne et en ses qualités personnelles c'est mon protégé déclaré: ainsi Votre Majesté n'a qu'à prendre bien garde à ce qu'elle me dira sur son compte, et que je ne sois pas tenté de prendre à gauche. Le ministre à la glace a la plus belle occasion du monde pour se dégeler; s'il n'en profite pas, je regarderai son état comme désespéré.

Milord George Gordon m'a écrit de la tour de Londres, pour me demander s'il est vrai que l'Impératrice des Grecs a commis l'abomination d'assister à une messe latine. J'ai été très embarrassé, j'ai répondu à sa Lordship, qu'elle n'y a été qu'en sa qualité de badaude; c'est une défaite dont sa Lordship ne se contente pas. Je suis sûr que Votre Majesté a redoublé d'admiration pour les bons citoyens et leur allure gauche, quand elle a su tout ce qui se passait à Londres, tandis que l'Impératrice des Grecs était à la messe latine ou à l'opéra buffa de Mohilev avec M. de Falkenstein. Je commence à croire que j'ai gagné un peu l'esprit de prophétie à force d'approcher du trépied sacré de Pétersbourg. Quand j'ai vu toucher avec tant de sagesse à ces vieilles lois contre les catholiques, que la révo-

lution des moeurs avait bien mieux abolies qu'aucune législation ne pouvait jamais faire, j'ai pris mon chapeau de Quaker, et j'ai dit: ami George, c'est un excellent moyen de faire faire à ton peuple un pas de cent cinquante ans en arrière: il t'en cuira, c'est moi qui te le dis. Et c'est milord George Gordon, archifou, qui s'est chargé de l'exécution de ma prophétie. Mais l'ami George n'a jamais bien compris la différence entre l'esprit gauche, tel qu'il a été donné à l'élève de Mademoiselle Cardel, et l'allure gauche d'un Paßgänger qui marcherait encore trente ans de même, qu'il ne se remettrait jamais en mesure. Il est bien heureux pour ces gauchers de n'avoir rien à démêler avec certains esprits gauches échappés de la tourtière de Mademoiselle Cardel: ceux-ci leur auraient fait voir du pays; mais heureusement ils ont affaire à des esprits pleins de droiture, avec qui ils ne risquent que la façon de leurs propres sottises: ces esprits droits m'ont l'air de vouloir absolument que tous les malheurs des gauchers soient leur propre et unique ouvrage, et ne les aident par conséquent en rien pour les pousser dans les margouillis où ils se sont si spirituellement campés. Dieu bénisse les esprits droits et les gauchers; ils m'ennuient tant qu'ils sont. Je m'en tiens à mon lot, an meine Normal-Schulmeiſterin. Cela vous fait toujours honneur et plaisir, et ne vous donne jamais du chagrin. Votre Majesté remarquera que je ne dis plus Elle, comme j'en ai été une fois injustement accusé en pleine table, mais Cela. Quand je vois les maîtres du monde empressés autour de son école; quand je vois son pavillon flotter sur les mers et annoncer à cet élément couvert de pirates, que le règne de la justice est arrivé; quand je vois ce nom auguste et sacré que je n'entendis jamais prononcer sans émotion, révéré et respecté de toutes les nations à l'envi; quand je vois ses anciens détracteurs ou réduits à chanter publiquement la palinodie, ou abaissés à un honteux et mortifiant silence, c'est alors que mon coeur s'épanouit, et qu'il est prêt à se briser de joie en mille morceaux. Mais ce qui fait mon orgueil, ce n'est pas de voir cela environné de gloire et d'un éclat qu'aucune tête couronnée n'assembla jamais autour d'elle, — c'est de l'avoir dévinée telle qu'elle s'est montrée depuis, en 1762, neuf jours après son avénement au trône, lorsqu'elle fit proposer aux éditeurs de l'Encyclopédie de venir l'achever dans son empire. Alors je pris aussi mon bonnet de Quaker et je dis: Ah, ah! C'est là ton allure, neuf jours après le 28 juin? C'est de ce bois que tu te chauffes, quand tu as tant de têtes à ranger sous un bonnet. Beau masque, je te connais à présent.

Mais voici encore une pancarte du divin Reiffenstein qui vient très à propos pour grossir ce paquet, et le prince Bariatinski retarde son départ de deux fois vingt-quatre heures, pour attendre la fille de Caton, Portia,

avec ses charbons ardents, et la conduire dans l'asile que Votre Majesté Impériale lui réserve. Le prince voyageur se charge donc encore de cette Portia qu'Emilie de Belsunce a baisée, quand elle a su qu'elle allait à Pétersbourg, en la priant sans façon de rendre son baiser à l'Impératrice; et puis le dessin de la colonne Trajane. La pancarte du chevalier de Müller et le comte de Santini suivront par la poste. Je mets dans ce paquet la petite facture de tous les effets commis au prince voyageur que je vois partir avec peine pour plus d'une raison. J'espère que l'Impératrice des Grecs ne refusera pas son approbation à la prudence qui a inspiré le divin pendant toute l'audience que l'Antechrist lui a donnée. Mais j'oublie qu'il n'est plus permis chez Votre Majesté de nommer les gens par leurs noms; et que tandis que nous autres braves Luthériens nous sommes obligés de garder le diable, sous prétexte qu'il a été reçu légalement avec nous, nous ne pouvons plus donner à sa sainteté, le Pape, les noms dont nous l'avons de tout temps décoré. Cela s'appelle, mit einem Worte, avoir deux poids et deux mesures. J'espère que Votre Majesté approuvera l'appaisement des mânes de l'abbé Chigi en vertu de ses ordres, et pardonnera le prolongement de la méridienne du divin outre mesure en faveur de l'excessive chaleur.

Je crois, Dieu me pardonne, n'avoir pas encore fait mention de la somme de près de 40 mille livres que M. le procureur général m'a fait toucher pendant que Votre Majesté Impériale répandait la vie et ses bienfaits innombrables dans plusieurs provinces de son empire. J'emploierai cet argent suivant ses ordres, ainsi qu'il sera clair par mon décompte. Houdon ne se sent pas de joie de la glorieuse destination de sa statue, non pas pour la nouvelle Jérusalem, mais pour le nouveau Ferney. Maître Sedaine reparaîtra incessament sur l'horizon de Minerve l'hyperboréenne avec une nouvelle pièce. Mademoiselle d'Audet, après que l'Impératrice l'eut comblée de bontés, a mandé à un de ses amis: Je me sentais d'autant plus loin d'elle que je m'en voyais plus près. Votre Majesté a pris en pitié ma fureur musicale et m'a impérialement gratifié de deux opéras. Comme je suis un homme insatiable, j'espère de cette même compassion impériale qu'elle ordonnera qu'on m'envoie successivement *Amore e Psiche* fait par Traetta pour le mariage de Monseigneur le grand-duc en 1773 et puis la *Didone abbandonnata* de Galuppi, et puis tout ce que fait et fera Vesuvio Pasïello, auquel j'impose le devoir de l'amitié de revoir avec soin toutes les copies dont je serai gratifié par la munificence de notre grande et sissississime Souveraine; car l'Antigona et Demetrio me sont arrivés avec tant de fautes que je désespère d'avoir assez de temps et de science pour les accommoder.

En remettant ce paquet au prince Bariatinski, j'imprimerai mes regards sur son front de toute la force de mon âme, afin que Votre Majesté en trouve encore la trace la première fois qu'il aura le bonheur de l'approcher. Qu'il est heureux! Si son bonheur ne lui fait pas oublier mes interêts, il déposera aux pieds de Votre Majesté Impériale l'hommage du plus profond respect, et, pourquoi ne le dirai-je pas, du plus inaltérable comme du plus tendre attachement qui lient mon âme à la destinée la plus glorieuse de l'Europe.

Post-scriptum.

Il y a déjà quelques mois qu'on m'a assuré que des bien-intentionnés ont tenté de faire un feu de joie de la flotte de Cronstadt, dont heureusement nous voyons le pavillon se déployer avec un applaudissement universel. Je suis persuadé que cette attention de la part des bien-intentionnés n'est pas perdue avec l'Impératrice: en certaines occasions la bonne volonté vaut le fait.

Je crois que mon ami de Sans-Souci n'est pas de trop bonne humeur de la vocation subite qui est venue à l'archiduc Mayel, qu'on archifiait différemment pendant son séjour en France, pour l'état ecclésiastique. Mais mon ami de Sans-Souci a tort. Pourquoi n'est-il pas resté éveillé, après que Minerve son amie lui eût procuré le repos par son puissant tripotage de Teschen? Il faut se reposer, mais non pas s'endormir. Mon ami Taſchenſpieler n'a pas perdu la tête, et a arrangé ses gobelets d'une autre manière. Je ne crois pas qu'on raffole ici précisément de la vocation subite; mais il est fort différent de prévenir doucement une chose ou de s'y opposer durement quand elle est arrangée. Mon ami de Sans-Souci a tort; il fallait veiller, et avoir de l'huile dans sa lampe, pour les chanoines qui aiment la salade.

Je ne sais si Votre Majesté a toujours conservé l'insoutenable et orgueilleuse présomption de ressembler à feu Louis XV, un des plus grands philosophes de son temps.

Du moins du côté de la piété il faut baisser pavillon. Ce grand homme n'aurait jamais fait le badaud ni à une messe grecque, ni à un sermon luthérien, il aurait fait le signe de la croix devant ces abominations. J'ai appris depuis peu un trait unique de lui, qui caractérise bien la scrupuleuse délicatesse de sa conscience royale.

J'attendrai par la première occasion opportune, deux médailles d'or pour Salomon Gessner de Zürich: car comme il a réussi de faire placer deux tableaux dans les cabinets de Votre Majesté Impériale, j'estime qu'il sera orgueilleux de suspendre deux médailles dans sa bibliothèque, ornées du buste sacré que l'univers révère.

Les idées de M. Schaden me paraissent d'un homme de sens et de mérite.

1.

L'idée d'élever dans les écoles non seulement des écoliers, mais en même temps des sujets capables d'instruire les autres, et appliqués à toute sorte d'enseignement public, me paraît excellente et entièrement conforme aux vues de Sa Majesté Impériale, qui, voulant multiplier les écoles dans son empire, a surtout besoin de personnes en état de bien enseigner la jeunesse.

M. Schaden propose pour cet effet un séminaire d'étudiants qui seraient employés à l'office de répétiteurs et qui auraient l'inspection des écoliers hors le temps de classes dans leurs chambrées etc. Il en fait un corps qui en cas de maladie peut suppléer les professeurs, et dont on en peut tirer en cas de vacance pour remplacer ceux qui manquent et recruter les colléges de sujets capables et tout dressés.

J'ajoute qu'il serait peut-être conforme aux vues de Sa Majesté que les meilleurs écoliers d'une classe supérieure fussent choisis pour être les répétiteurs de la classe inférieure qu'ils auraient quittée. Un jeune homme écolier dans sa classe et répétiteur dans la classe inférieure non seulement s'imprimerait mieux ce qu'il y aurait appris, mais se rendrait l'enseignement familier, ce qui contribuerait infiniment à lui donner des idées nettes et précises et la facilité de les communiquer. Il faudrait attacher une grande distinction au titre et aux fonctions de répétiteur et ne les accorder qu'à ceux des écoliers qui dans les exercices publics auraient surpassé leurs camarades, et lorsqu'ensuite en qualité de répétiteurs ils auraient montré de la capacité et de l'application, Il faudrait aussi à tous les exercices publics leur décerner en cette qualité des récompenses honorables. On sait que ces récompenses sont aussi idéales que celles des grands enfants, mais qu'un écolier est peut-être plus fier de son petit bout de ruban chiffonné qu'un maréchal de ses cordons.

2.

M. Schaden veut qu'on établisse dans les colléges une classe particulière pour donner à la jeunesse les premières notions de la nature, des arts, de la morale, des lois les plus générales et les plus nécessaires tant naturelles que celles de la patrie, pour former aux écoliers l'esprit et le coeur, et pour élever non seulement des savants, mais aussi des citoyens. Cette vue me paraît excellente.

3 et 4.

Ces deux paragraphes regardent la police et l'inspection du collége. L'auteur voudrait que l'inspection du collége de Moscou fût exercée par les professeurs à tour de rôle, et ne fût pas un office permanent. Je trouverais ce qu'il dit à ce sujet très plausible, pourvu qu'il puisse me garantir la stabilité du plan général de l'enseignement, sans quoi je craindrais que chaque inspecteur, pendant son année, sous prétexte d'améliorer les études ne fit des innovations pour le plaisir et la gloriole d'en faire, que son successeur supprimerait ensuite en leur en substituant d'autres qui ne vaudraient pas mieux. D'où il resulterait une fluctuation de méthode très nuisible aux écoliers et capable de donner les professeurs au diable.

Dans les écoles protestantes en Allemagne les inspecteurs s'appellent Scholarques ou Ephores, Vorſteher, et sont tirés de la magistrature; on leur adjoint ordinairement le surintendant ou chef du clergé. Ces personnages sont respectés des professeurs et en grande vénération auprès de la jeunesse.

J'estime qu'il sera conforme aux vues de Sa Majesté Impériale que les professeurs des écoles et universités jouissent d'une grande considération, non par la décoration et d'autres titres, mais par leur seul office de professeur, afin qu'on tienne à grand honneur d'exercer un métier très pénible en lui-même. Sans doute, pour seconder cette vue, le Gouverneur ou Représentant de Sa Majesté dans les gouvernements se fera un devoir d'assister aux exercices publics des écoles, de traiter les professeurs avec une grande distinction et de les payer avec une monnaie qui sans épuiser le trésor public, sait produire des effets surprenants, lorsqu'elle est judicieusement distribuée.

L'auteur voudrait qu'on enseignât dans les écoles les premiers principes fondamentaux et élémentaires de nos sciences et de nos actions. Il dit qu'il ne faut pas pour cela un professeur exprès, mais que le Recteur ou un autre peut réunir cette tâche à la sienne, d'où il résulterait une variété et par conséquent un agrément de plus pour lui et pour les écoliers.

Je désirerais aussi qu'on n'envoyât pas les jeunes gens du collège à l'université sans leur avoir donné les prèmières notions de l'histoire littéraire.

6.

Il attaque la division établie au Collége de Moscou in Sprachen und Real-Wiſſenſchaften. Il dit qu'il y a de la différence entre un maître de langue et un professeur de langue. Que celui-ci ne peut enseigner à la jeunesse la grammaire d'une langue sans songer en même temps à former l'enten-

dement et même le coeur des jeunes gens, au lieu que le maître de langue est content quand il a farci leur mémoir de mots. Il soutient qu'il est impossible et pernicieux d'assujettir un professeur d'enseigner quatre heures de suite même chose, el je le crois.

7.

Il voudrait qu'il y êut au collège un théâtre et que les écoliers fussent accoutumés à jouer la tragédie et la comédie pour apprendre à avoir du maintien, une contenance aisée, une élocution facile, de la grâce. Malgré ces avantages, qui ne sont certes pas à négliger, j'estimerais qu'il ne faudrait pas trop multiplier ces exercices dramatiques, qui sont précédés de longues distraction et déroutent de l'application journalière: une ou deux fois par an tout au plus.

Les deux brochures, l'une sur les Trivial- und Real-Schulen de Mayence, l'autre sur les Lateiniſchen Schulen du même pays me paraissent dictées par un excellent esprit: et il serait difficile, je crois, de faire un meilleur choix d'études et de trouver une méthode plus sage pour l'enseignement. Dans la dernière brochure où il est question d'ordonner un gymnasium ou une école moyenne, on prescrit d'enseigner les langues allemande, latine, française et grecque, cette dernière plus superficiellement que les autres. En Russie il faudrait sans doute enseigner de la même manière les langues russe, latine, allemande et grecque, et laisser à chacun le soin d'apprendre chez lui la langue française, ou dans des écoles à part qui n'auraient pas besoin de l'appui immédiat du gouvernement pour se soutenir.

Il y a à la fin de la brochure sur les Real-Schulen une liste de livres classiques tous remarquables, mais dont j'ai marqué avec un crayon ceux qu'il faudrait examiner préférablement. Il y a aussi dans le texte deux autres brochures de citées qui méritent grande attention: Anweiſung zum Gebrauche des A. B. C. Buches. Celle-ci paraît contenir la méthode qu'on se proposait de rendre générale à Mayence et d'appliquer à tous les objets d'instruction. Nachricht wie die Beſchäftigungen der Kurfürſtlichen Schullehrer-Akademie in dem neuangehenden Lehrjahre werden fortgeſetzet werden 1773. Il paraît par ce titre qu'on avait établi à Mayence une académie pour former des précepteurs pour les écoles, et il serait intéressant de savoir comment on s'y est pris.

Verſuch eines Schulbuches für Kinder der Landleute und zum Gebrauch in Dorfſchulen.

Cet ouvrage est destiné à l'instruction de la dernière classe des citoyens. La religion en occupe une partie; le reste est employé à donner des ideés justes et précises aux enfants des paysans des choses désirables pour leur instruction. Mais cet essai ne me paraît pas aussi heureux qu'il pourrait l'être. Le chapitre Von der Geſellſchaft und der Obrigkeit, von Geſetzen und Soldaten m'a paru un des meilleurs.

Der Freund junger Leute.

Cela est traduit du français de je ne sais quel rapsodiste. L'ami des hommes de M. de Mirabeau a fait faire l'ami des femmes, et puis l'ami des jeunes gens. Cela est dans la règle. Il y a beaucoup de lieux communs et beaucoup de très bonnes idées dans l'ami des jeunes gens, compilées d'après Locke et d'autres excellents écrivains. Mais l'auteur n'a rien pensé, n'a rien senti, n'est pénétré de rien, et n'a par conséquent ni sève ni nerf.

Peut-être, la lecture de tels livres est-elle propre pour une certaine classe de têtes, mais celles qui ont apporté avec elles leur propre substance ne sauraient se nourrir de pareilles productions.

Das in Dessau errichtete Philanthropium.

C'est toujours en dernière analyse une exhortation pathétique à toutes les âmes charitables pour secourir de leur bourse un établissement qui me paraît conçu sur un plan trop vague, trop vaste et chimérique, quoique son exécution, quelque imparfaite qu'elle soit, doive produire plusieurs changements avantageux dans l'éducation commune.

Trois brochures concernant l'établissement des écoles normales et triviales ou communes en Autriche.

La première est l'Edit de l'Impératrice Reine apostolique en date du 6 décembre 1774, sous le titre: Allgemeine Schulordnung. La seconde—Nachricht von der gegenwärtigen Beſchaffenheit der Normalſchule und einiger andern, deutſchen Schulen in und bey der Kaiſerlich-Königlichen Reſidenzſtadt Wien,

contient, outre un précis historique sur ces écoles et la liste de leur nombre à Vienne, les instructions respectives pour le Surintendant, les Directeurs, les Précepteurs et les Ecoliers de ces écoles.

La troisième brochure, Entwurf zur Einrichtung deutſcher Schulen, est la plus considérable et la plus remarquable. Elle mérite d'être lue avec réflexion, surtout par ceux qui se destinent à l'instruction de la jeunesse. La méthode adoptée dans ces écoles consiste en tables où sur chaque objet et sur chaque science la génération et l'enchaînement des idées sont représentés comme dans les tables généalogiques les générations successives. Je crois cette méthode excellente, non seulement pour imprimer la suite des idées relatives à chaque science dans la mémoire des enfants avec solidité, mais aussi pour les accoutumer à la netteté et à la précision des idées sans laquelle il vaudrait mieux se passer de connaissances. La confection de ces tables ne peut être que l'ouvrage d'un très bon esprit, et je crois l'auteur anonyme de cette brochure très capable d'en avoir fait de bonnes. Il faudrait les faire venir de Vienne. J'ai marqué dans la brochure même quelques endroits qui m'ont paru dignes d'attention. Ce que l'auteur appelle Buchſtabenmethode pour faciliter aux écoliers les moyens d'apprendre par coeur, consiste à écrire sur une table la lettre initiale de chaque mot du discours qu'ils doivent retenir, en y ajoutant les points et virgules et autres signes qui servent à fixer le sens des paroles. Je conçois que cette méthode peut abréger beaucoup la peine d'apprendre par coeur et qu'un exercice continuel doit donner aux jeunes gens une grande facilité pour perfectionner leur mémoire.

En général tout ce plan d'instruction me paraît plein de bon sens et excellent à consulter et à suivre dans un établissement d'écoles.

A Paris, ce 6 (17) septembre 1780.

Madame. Si mon petit charmant abbé napolitain se confond et s'extasie, s'il pense perdre la tête et la raison, parce que j'ai pu lui mander avec vérité que l'Impératrice de tous les coeurs comme de toutes les Russies (NB. que je crois les coeurs guère plus communs que les Russies et que ce n'est pas par la quantité, mais par la qualité que nous brillons) a parlé de lui à M. le comte de Falkenstein au milieu du fracas de Mohilef, que ne doit-il pas advenir à un souffre-douleur, à un Ouen-Ouang, à un dévot à Ecatherine, qui tient nuit et jour les genoux de sa divinité tutélaire embrassés, lorsqu'il

a non seulement la même attitude, mais qu'il peut se vanter qu'à Pétersbourg comme à Mohilef il a été pendant quelques instants l'objet de la conversation de deux personnes les plus augustes du siècle, dont la réunion fixait en ce moment les regards de l'Europe entière? Ah, il faut que je sois bien gâté, puisque j'existe encore sans être crevé de vanité ni anéanti de reconnaissance! Mais aussi qui aurait le droit d'être gâté, si je ne l'étais pas, moi, qui né dans l'obscurité suis devenu un personnage illustre par la pure volonté de celle qui a rempli l'univers de l'éclat de son nom, de celle qui a mérité le titre de bienfaitrice non seulement de ses sujets, mais de tous les peuples de la terre à qui le sort a permis d'avoir avec elle les rapports même les plus éloignés, moi qui ne peux plus faire un pas sans être désigné sous le nom de celui qu'elle honore depuis longtemps d'une constante bienveillance, sans être protégé et environné d'un rayon de sa gloire, qui suffit pour rendre un objet comme sacré et digne de l'attention de son siècle? Ma gloire ne dépend donc plus de personne. Le seul nombre des lettres que je possède de mon auguste Souveraine, par sa pure grâce et bonté, et quelles lettres encore! suffirait à l'immortalité de vingt ou trente de mes pareils. Aussi, lorsqu'il a plu à Votre Majesté Impériale de me mander de Mogilef: Nous avons parlé du monde entier, et par conséquent aussi de vous, j'ai dit: Je le crois bien: de qui parlerait-on, si ce n'est de ceux qui marquent le plus si ce n'est par leur mérite, du moins par leur étoile? Et lorsque Votre Majesté me fait la grâce de me dire qu'il avait encore été questiou de moi à Pétersbourg, et que M. le comte de Falkenstein lui a dit qu'il avait entendu dire mille biens de moi, j'ai dit: De qui en dirait-on si ce n'est de ceux que Catherine a distingués dans la poussière, et sur qui elle a fixé les regards du public par le sien? Votre Majesté l'a prié de croire qu'il n'était point trompé sur mon compte; mais n'était-il pas mieux, plus simple et plus vrai de dire avec Saint-Paul, qui aimait les comparaisons nobles: oh, pour celui-là, j'en dispose comme le potier dispose de son argile; si je n'en fais rien, ce n'est pas sa faute, mais c'est que ce n'est que de l'argile. Quelle impression ce seul mot aurait fait sur l'esprit de M. de Falkenstein! Comme il m'aurait rendu intéressant et grand à ses yeux! Car il a assez vécu pour savoir combien il est difficile à ses pareils de trouver un attachement pur, désintéressé et passionné sans grimace et sans étalage, dans ceux qui ont le bonheur de les approcher; et s'il n'a pas démêlé pendant son voyage que l'Impératrice des Grecs, entre autres dons magiques dont la nature l'a douée, possède celui de se faire adorer non comme souveraine, mais abstraction faite du rang suprême, pour sa seule personne, je dirai moi, que je ne donnerais pas deux sous pour sa pénétra-

tion et perspicacité. Mais je n'en peux douter après l'éloge que Minerve fait de sa tête et de son esprit; et, à dire la vérité, le seul voyage projeté et exécuté par lui cette année, suffit pour justifier cet éloge. Car il n'appartient pas à une tête commune de former et de réaliser de tels projets. Dans son rang une tête commune aurait justement redouté d'être éblouie par l'éclat qui environne le trône le plus glorieux et le plus brillant de l'Europe et cette sotte humiliation aurait suffi pour l'en écarter. Puisque, malgré son rang, il a osé en approcher, c'est qu'il s'est senti en état de soutenir cette entrevue: et cette noble confiance, ainsi que le prix qu'il a attaché à cette entrevue, n'entra jamais dans une âme commune. Il ne tenait qu'à Votre Majesté de dire à M. le comte de Falkenstein: Mon souffre-douleur m'avait bien dit en 1777, tandis que vous voyagiez en France et que j'avais chez moi M. le comte de Gothland, que j'aurais incessamment le dégoût de vous voir arriver chez moi: mais c'est que Votre Majesté ne se soucie pas qu'il soit rendu justice à mes dons prophétiques. On pourrait cependant ne pas m'envier cette petite gloriole; il ne fallait pas assurément être grand sorcier pour prévoir cela. Votre Majesté peut se rappeler aussi qui je voulais envoyer encore à l'école unſerer gekrönten Normal-Schulmeiſterinn. Ce n'était pas une prophétie, mais un désir bien violent d'un grand bien. Celui-là ne serait pas arrivé instruit comme M. le comte de Falkenstein, qui a eu par sa position cet avantage unique d'entre ses pareils de voyager et de connaître toute l'Europe dans un âge où l'esprit a acquis toute sa maturité; mais mon voyageur aurait porté des oreilles, il serait venu enfant, et serait peut être reparti homme. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faudrait à Pétersbourg tout près de l'Hermitage une auberge à l'enseigne des Trois Rois et une fondation en vertu de laquelle il y en aurait toujours un, deux ou trois, non de l'orient, mais de l'occident. Après un mois de séjour il serait convenu qu'on serait relayé, car celui dont les oreilles auraient été dréssées un mois sans succès, pourrait s'en retourner en toute sûreté avec un brevet de tympan inaccessible, et celui qui ne serait pas dans ce cas-là aurait ramassé assez de provisions pour faire valoir pendant longtemps le bien qui lui est confié; et tous le peuples de l'occident lèveraient au ciel des mains reconnaissantes et béniraient l'auberge des Trois Rois proche l'Hermitage, et Votre Majesté, pour me récompenser de l'idée de cet établissement, m'accorderait la place de Waiter ou d'Oberkellner dans cette auberge. Est-il possible que les plus beaux établissements restent toujours dans la tête des hommes, et ne se réalisent jamais pour le bonheur du genre humain? Que j'aurais été heureux, Madame, de faire le Kellner dans cette occasion unique et d'avoir encore ce bouton à ma redingote d'immortalité! J'aurais

dit à mon auguste Gaſthalterin tout ce qu'elle pense von ihrem vornehmen Gaſt; mais avant de m'embarquer dans cette confession périlleuse, j'aurais risqué quelques questions préliminaires, comme par exemple: Entend-il le langage du trépied? Comprend-il la vertu d'un grand vent ou d'un grand mal de tête? und ſo andere Kleinigkeiten, die ich bemerke ehe ich mich über einen Menſchen herauslaße. Après ces préliminaires j'aurais dégoisé, et j'aurais développé tout ce que l'Impératrice a gardé par devers elle dans son coeur impérial über die Ausſicht in künftige Zeiten und wieder ſolche Kleinigkeiten: car ce que notre Impératrice marque dans ses tablettes, y est profondément tracé, und das kann nur ein blinder Kerl, wie ich, mit ſeiner Naſe herausnipfeln; aber das kann der Blinde nur in Gegenwart ſeiner Kaiſerin thun. Loin d'elle son talent se perd et l'abandonne. Malheur à l'aveugle, s'il est depuis trois ans banni de sa présence auguste! Le prince de Lobkowitz, qui aurait donné tout au monde pour se trouver dans la suite de M. le comte de Falkenstein, ne fût-ce que comme palefrenier, vient de m'interrompre au milieu de mon beau dire par une lettre qu'il m'écrit de Bruxelles. Il me dit:

«Vous devez avoir reçu d'amples détails sur l'apparition que mon maître «a faite en Russie. Je ne sais s'il y a réussi, mais je sais bien en revanche «qu'il est enchanté de ce pays-là et enthousiasmé de la véritablement grande «Catherine».

Il faudra bien lui dire ce que la véritablement grande Catherine dit de M. le comte de Falkenstein. Bien des commis de postes l'auront vu et noté avant lui et moi ohne einen Zug von ihrer Tobakspfeife zu verlieren.

Aber warum denn, um tauſend Gottes Willen! haben Ihre Kaiſerliche Majeſtät unſern wackeren und rechtſchaffnen Feldmarſchall Galitzin nebſt dem Senat und übrigen neuen Gouvernementsräthen mit der großen Catharina ſo ſchlecht abgewieſen? Tout le monde s'en prend à moi, und ſagt mir unter die Naſe: Nun das iſt zuweilen, Gott weiß! ein wunderlicher Kopf. De quoi se fâche-t-elle? On ne lui dit pas plus haut que son nom. Et moi qui ai prévu tout ce qui est arrivé à ce brave maréchal Galitsine et à ses pauvres arcs de triomphe, je réponds à cela: Que voulez-vous faire? La voilà comme elle est! Wir müſſen nun ſchon mit ihr vorlieb nehmen. Umſchmelzen oder Verbeſſerung iſt gar nicht zu hoffen. Nachaffen iſt auch ihr Werk nicht. Je me suis bien douté qu'elle ne voudrait pas partager les honneurs et les frais d'un service pour le repos de l'âme du patriarche, et que son haut allié serait obligé de le faire chanter en faux bourdon à ses dépens exclusivement, qui suivant un décompte exact qui m'a été envoyé ont monté à 42 écus 8 gros. C'est sans doute la plus belle de toutes les excuses, de dire: je crois son âme très en repos; mais si chacun à part soi prenait cette bonne opinion de ses amis,

de ses parents, de ses proches qui partent pour l'autre monde, les coquins de Sa Majesté à Polotsk et à Mohilef et beaucoup d'autres marchands qui vivent du même commerce d'orviétan, seraient fort embarrassés de meubler leurs boutiques comme il faut, lorsqu'ils ont à recevoir et à complimenter leur souveraine. Au reste le haut allié n'a pas raffolé de cette idée. Il s'y est prêté un peu à regret, fatigué par les instances de certain vieil enfant; le même qui autrefois voulut délivrer chez Votre Majesté ses étourdis de compatriotes qui avaient été pris parmi la canaille confédérée en Pologne. Voilà pourquoi la dépense du service s'est bornée au faux bourdon, tandis que Votre Majesté pouvait désarmer je ne sais qui par une superbe messe de morts composée par Païsiello et exécutée par toute la chapelle impériale théatrale transportée à Mogilef. Quand je dis: je ne sais qui, c'est que je ne sais véritablement pas et, en ma qualité d'orthodoxe Luthérien, ne suis pas obligé de savoir par qui le purgatoire est desservi, si c'est par des diables ou par des anges. J'espère qu'un des coquins de la Russie Blanche voudra bien me dire au juste comment ce service est fait. Tout coquins qu'ils sont, je parie qu'ils ne se doutent point à quel degré leur auguste et souveraine protectrice possède le talent de peindre. D'un seul coup de pinceau elle me montre une infinité de visages sur des cous patelins et retors en présence de celle dont la majesté et la bonté forment les traits augustes, qui ne sont pas déparés par un léger sourire que ses réflexions secrètes impriment sur ses lèvres, et que les coquins ont la vanité de prendre pour un sourire de satisfaction d'être si bien complimentée; et voilà le tableau fait.

Tout enfant gâté que je suis, je ne suis pas aussi sot qu'eux. Si je trouve tout simple que M. le comte de Falkenstein ait parlé de moi à l'Impératrice, je n'ai garde de m'en vanter à qui que ce soit. Il y aurait certainement des gens bornés qui diraient dans leur simplicité: Grand Dieu, à quelle extrémité as-tu réduit deux têtes couronnées, dont l'une a vu la plupart des choses créées, et l'autre en crée, tant que la journée dure, par son génie! Elles ont si entièrement épuisé tout sujet possible de conversation qu'elles ont été à la fin réduites à parler d'un pauvre diable de souffre-douleur, d'Ouen Ouang, d'un on ne sait ce que c'est. Or si je puis éviter à mon siècle de dire de pareilles absurdités, je ne dois pas y manquer.

Mais, Madame, si je sais me rendre justice en présence de M. le comte de Falkenstein, mon coeur n'a pas pu soutenir une autre épreuve à laquelle il n'était pas préparé. Lorsque j'ai vu une lettre de Votre Majesté Impériale de douze pages, commencée à Pleskof, continuée à Polotzk et terminée a Mohilef la veille du départ, mes yeux se sont transformés en deux sources jaillissantes et j'ai fondu en larmes. J'ai mille fois baisé ces carac-

tères sacrés, tracés par cette main auguste sur laquelle je voudrais expirer prosterné d'attendrissement et de reconnaissance. Il suffit d'un de ces traits pour faire la destinée de ma vie, et lorsque par son absence de la capitale je me croyais menacé d'une longue et cruelle disette, lorsque je me soumettais à cette dure nécessité avec toute la résignation dont je pouvais être capable, je me trouve tout à coup en possession d'un paquet de douze pages! Jamais je n'ai été plus perplexe ni moins certain si je rêvais ou si j'étais éveillé. Ah, les voyages de Votre Majesté Impériale m'ont toujours tourné à compte! Je n'ai tremblé à ces époques que pour être d'autant plus transporté de joie et de satisfaction. Mais jamais mon coeur ne s'est trouvé en presse comme à la réception de cette lettre divine qui, tant qu'elle ne sera pas connue, laissera toujours l'histoire de ce voyage à jamais mémorable imcomplète. Que Votre Majesté est injuste envers elle-même en me réduisant au silence à la face de l'Europe! La postérité, qui connaîtra un jour cette lettre et qui se rappellera que chaque pas de notre immortelle Impératrice à été marqué par des bienfaits et des encouragements de tous les objets publics et utiles, cette postérité verra avec attendrissement que tant de bienfaits semés sous ses pas ne suffisaient pas encore à cette âme généreuse et sublime; qu'il lui fallait encore pour délassement prendre la plume de station en station, et en la laissant aller à toute sa gaieté et sa verve ordinaires, marquer chaque page par autant de bienfaits envers le mérite de tous les pays et de toutes les classes. La postérité verra cette pièce unique, qui seule mettra le sceau au voyage de Mohilef; mais moi je n'y serai plus; mais moi je la possède, et ne puis faire jouir mon siècle, ô bizarrerie fatale! tandis que si elle était adressée à un autre, je me ferais un devoir de la lui dérober par tous les moyens permis ou non permis, et de la publier pour l'admiration et la consolation de l'humanité! Du moins, Madame, il ne s'est pas passé un jour encore que je ne l'aie portée dans ma poche, et par un effet bien naturel partout où je vais, muni de ce monument de bonté et de gloire, je me sens élevé au-dessus de tout ce qui m'approche et m'entoure. Je pourrais crier: Son esprit est avec moi!

Votre Majesté peut penser après cela si j'ai envie qu'on fasse aussi plaisir à ma Souveraine, qu'on aille au devant de ses désirs, qu'on lise dans ses yeux, et qu'on y démêle ce qui peut lui plaire. Je ne suis nullement inquiet que M. Olsoufief et M. le procureur général ne pensent comme moi et ne soient très disposés à donner à l'Impératrice avec son argent tous les cadeaux qu'elle mérite. Maintenant je puis parler avec connaissance de cause du cabinet de pierres gravées du bailli de Breteuil, et affirmer que c'est une collection digne d'appartenir à Votre Majesté Impériale. Je me

suis adressé, pour la faire examiner, au plus grands antiquaire de ce pays-ci et à un des plus savants connaisseurs de l'Europe. C'est un M. d'Ennery, connaisseur passionné et d'autant plus sûr que, contre l'usage de ce pays-ci, il fait plus de besogne que de bruit, qu'il n'ambitionne aucune célébrité et que, jouissant d'une fortune honnête, il ne connaît d'autre bonheur que de cultiver les arts et d'employer son bien à satisfaire ses goûts. C'est donc un homme dont le Mercure de France et les trois cents feuilles hebdomadaires ne parlent jamais, mais que tous les vrais amateurs respectent comme leur oracle. Quand il a su quel service je venais lui demander pour l'Impératrice de Russie, il s'est transporté de joie. Celui-là n'aime pas Votre Majesté en Sa qualité de législomaniaque, ou der gekrönter Hauptet Normal Schulmeisterin, ou de dictatrice du code maritime, ou de pacificatrice de l'Allemagne, ou de Souveraine, l'amour et la gloire du genre humain, mais uniquement pour la passion qu'elle a pour les arts, ce qui lui paraît, comme de raison, de toutes les affaires de ce monde la plus importante. Voilà comme les originaux de toute espèce, de toute physionomie, de toute croyance trouvent toujours dans notre Impératrice quelque coin où ils peuvent placer leur hôtel et l'encens qu'ils lui brûlent. M. d'Ennery n'a mis que deux conditions au service que je lui demandais, la première de ne pas connaître la personne à qui appartenait le cabinet; la seconde, de n'en être pas connu. Ces deux conditions ne l'ont laissé qu'en présence de Votre Majesté et de la vérité, et il ne voulait pas d'autre compagnie. Je lui ai remis, du consentement du bailli de Breteuil, le cabinet tout entier pendant quinze jours. Il ne l'a pas seulement examiné superficiellement, il l'a examiné pierre par pierre, il en a fait un catalogue raisonné qui sera une pièce très précieuse, si Votre Majesté fait l'acquisition de ce cabinet, mais qui ne sera que pour Votre Majesté, et dont le bailli de Breteuil ne doit pas tâter: car les amateurs véritables sont jaloux de leurs découvertes comme les coquettes de leurs charmes et ont toujours un peu le goût exclusif. Le mien dit qu'il ne doit rien au possesseur qu'il ne connaît point, qu'il gardera par conséquent ses connaissances par devers lui et pour l'Impératrice qu'il aime comme ses deux yeux. Son examen a été très favorable à la collection. Il l'a trouvée de toute façon digne de devenir impériale. Il dit bien que tout n'est pas du même prix, ni digne de rester dans la même armoire; mais à cela le bailli répond qu'il sait cela très bien, et qu'à Rome il faut souvent acheter neuf pierres médiocres pour en avoir une dixième superbe, parce que les brocanteurs ne veulent pas les séparer. On a attrapé la belle, mais on ne jette pas les médiocres qui l'accompagnent. Ce qui m'a encore prouvé, à ma satisfaction, que le bailli m'a dit vrai en m'assurant qu'il n'avait mis à

chaque pierre que le prix qu'il en avait payé, c'est que M. d'Ennery m'en a montré plusieurs que les amateurs payeraient bien vite le quadruple du prix marqué; mais c'est que le bailli, pendant un séjour à Rome de plus de vingt ans, a eu des occasions uniques qu'un voyageur ne peut espérer de trouver. Au fait mon examinateur et juge suprême voudrait que je payasse quatre mille livres moins que le bailli ne demande, non qu'il trouve le prix demandé exorbitant, mais parce qu'il voudrait que l'Impératrice aît toutes les belles choses qui existent pour la moitié de leur prix, toujours pour l'amour qu'il lui porte à cause de son amour pour les arts. Le bailli dit qu'il ne peut pas varier sur le prix de cent six mille livres tournois qu'il a demandé, parce que c'est l'argent qu'il y a mis, à l'ecxeption de deux mille quatre cents livres qu'il employera à faire monter les pierres qui ne le sont pas. Or si le marché se fait, nous pourrions bien défalquer cette dernière somme, et nous réserver la monture sous les auspices de M. d'Ennery, qui y veillerait avec la dernière exactitude, chosirait les pierres lui-même, rejetterait celles qui ne méritent pas les honneurs de la monture, et nous ferait par conséquent peut-être une petite épargne sur cet objet. Sur tout cela j'attends le dernier mot de M. Olsoufief ou de M. le procureur général. Je leur observe que la fête de grande Catherine n'est pas fort loin; mais quant à moi, ce n'est ni mon désir, ni mon devoir de les induire en dépense. Je sais que je suis un homme assez cher pour eux, et que mon voyage de Rome et mon séjour à Paris reparaissent souvent dans leurs régistres. Incessamment Votre Majesté pourra les gratifier d'un nouveau décompte qui leur apprendra comment je me suis défait de leur argent, à moi remis personellement, depuis le dernier compte que j'en ai rendu.

J'attends avec impatience la nouvelle de l'heureuse arrivée de l'évangéliste S. Marc dans la sacristie du palais de Pétersbourg. Si au lieu du 16 auguste il avait été le 16 juillet à la rade de Lübeck, il m'aurait fait plaisir; mais c'est qu'en sa qualité d'historien il aura voulu écouter aux portes de Mohilef, de Tsarsko-Sélo, de Péterhof, pendant que M. le comte de Falkenstein y était... Tant y a que je l'aime mieux voiturier par mer qu'historien, et que je ne verrai son gâchis sur Mohilef avec plaisir que quand je saurai mes Clérisseau et mon Mengs si miraculeusment sauvés des mains des corsaires, non sans quelque égratignure, heuresement arrivés dans l'asile de leur auguste protectrice.

Depuis le départ du prince Bariatinski, que je supplie Votre Majesté de nous renvoyer subito, afin de me débarrasser d'une infinié de visites qui redoublent chez moi et dont j'ai toute ma suffisance quand il y est, j'ai aussi reçu celle de M. Auguste, orfèvre du Roi. Celui-ci aime l'Impéra-

trice pour les vaisselles qu'elle fait faire. Outre qu'il est très habile artiste et le premier de sa classe, il m'a l'air d'un bon Flamand qu'il est. Il ne se vante pas d'avoir perdu avec l'Impératrice depuis qu'il a le bonheur de travailler pour elle, mais il assure que l'honneur l'a encore plus guidé que le profit. Le prince Bariatinski lui a insinué que Votre Majesté pourrait bien avoir le dessein de faire faire une vaisselle d'or massif, et a demandé d'emporter avec lui des dessins de M. Auguste relatifs à cette idée. La confiance de toute la terre dans notre Impératrice est si grande que M. Auguste n'a pas hésité un moment de travailler et de confier ses dessins au prince. Il est simplement venu m'observer que ces dessins sont la propriété la plus précieuse d'un artiste, qu'en s'en dépouillant il se sépare, pour ainsi dire, de sa fortune; qu'à la vérité un autre exécuterait mal d'après les dessins qui ne seraient pas les siens, mais que cela suffirait pour que lui il ne pût plus les employer. Que l'exécution d'un tel service était une chose si capitale et si unique que si Votre Majesté daignait la lui confier, il quitterait et fermerait son atelier, se vouerait entièrement à un ouvrage de cette importance, ferait en cas de besoin le voyage de Russie et croirait avoir à jamais assuré sa réputation et sa fortune en se tirant avec succès et à la satisfaction de Votre Majesté Impériale de cette entreprise. Je lui ai promis de faire parvenir cette profession de foi du pied au trône.

Votre Majesté se permet, soit dit sans reproche, un peu d'irrévérence envers mes pancartes américaines. Ne voilà-t-il pas un homme bien payé de la peine qu'il prend par pure gloriole de faire quelque chose à l'autre hémisphère, moyennant un peu d'encre et de papier, qui puisse s'attirer les regards de Minerve la visitée! Puisque cela est ainsi, Minerve l'obstinée n'aura plus rien, ni le journal du siège de Charlestown, ni d'autre belles choses dont elle aurait pu faire sa déclctation. Il est vrai que Charlestown a été pris, et que le journal du siège vient comme la moutarde après dîner; mais la chère mère patrie ne me paraît pas plus avancée avec ses filles revêches. Au milieu des 365 mille mensonges qui se débitent en Europe et en Amérique il y a dans la tête du souffre-douleur quelques vérités éternelles dont il ne démontera pas. Par exemple: le procès entre la maman et les filles revêches est irraccommodable, et la maman l'a bien mérité par sa rare et merveilleuse sottise. S'il lui restait un grain de sagesse, elle dirait: Mes enfants, nous ne devons plus demeurer ensemble. Votre mère a été frappée d'aveuglement et a de quoi pleurer le reste de sa vie; mais oubliez le passé, et voyons si après avoir rompu notre ménage avec un scandale exécrable, nous ne pouvons pas voisiner ensemble en bonne intelligence. Autre vérité du dit souffre-douleur: C'est que la pacification en Europe

n'aura pas lieu, sans que la très puissante et très sérénissime bewaffnete Neutralitäts-Profeſſorin ne soit priée de s'y trouver avec son code maritime sous le bras, de l'ouvrir, de feuilleter et de dire un peu sur quel pied elle juge que les droits du genre humain doivent être respectés par la suite. Mais à propos, voilà donc un vaisseau marchand russe arrêté et pris par la marine anglaise, et par conséquent la neutralité armée anéantie. Si elle renaît, ce ne sera pas de ses cendres, car on m'assure que le vaisseau russe est déjà rendu. Es iſt wahr, unſere Kaiſerin, ſagen die Leute von Riga und von Narva, iſt die allerhöflichſte Frau von der ganzen Welt. Elle a un doigt qui tricote pour l'église, mais qui n'a jamais menacé personne. Il est vrai qu'il est toujours là droit devant son nez. Je crois pour faire une bonne fin dans ce monde, il faut avoir son doigt droit et son esprit gauche. Was hält der Herr Graf von Falkenſtein davon? Je ne suis pas aussi réjoui de l'incendie des chanvres que du vaisseau arrêté. Cette nouvelle qui m'arrive très promptement par Amsterdam me met de très méchante humeur. J'espère qu'on aura doublé le dommage, comme il arrive dans les premiers avis. J'ai la très glorieuse ressemblance avec ma très auguste Souveraine de n'avoir presque aucun instant à donner à la lecture. A un certain âge il faut lire dans sa tête, et si l'on n'y trouve rien, il faut fermer la boutique et végéter. Et puis, quand on a eu le bonheur de lire dans de certaines têtes, on est terriblement gâté sur les lectures, et l'on range certaines déclamations philosophiques au nombre des capucinades les plus fastidieuses. Depuis que j'ai lu dans la tête unſerer allerhöchſten Neutralitäts-Profeſſorin et que Voltaire n'écrit plus, j'ai été atteint d'un dégoût universel pour toute lecture de livres nouveaux.

Le baron de Dalberg n'a pas attendu ma question sur les écoles normales de Vienne. Quand il a su que cet objet avait été traité à Mohilev, il m'a répondu: c'est tout juste à former des Normal-Schulmeiſter que tendait le plan que j'avais osé envoyer à la divine Normal-Schulmeiſterin. Lorsqu'il aura reçu mon réquisitoire, il y répondra plus directement. J'ai pensé m'arracher les cheveux quand j'ai vu que ma requête touchant cet homme d'un mérite vraiment rare n'est arrivée aux pieds de ma Souveraine qu'après le départ de M. le comte de Falkenstein, et puis je me suis consolé en me rappelant que mon gouverneur Thier m'a dit plus d'une fois: Unſere Kaiſerin iſt gar eine geſcheidte Frau, qui dans l'occasion a plus d'une corde à son arc. Or l'occasion de faire du bien est son occasion favorite. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le projet que j'ai formé, je ne trouverai jamais d'obstacle que par l'extrême mérite du sujet que j'ai en vue. Votre Majesté me dira que cet obstacle est très grand, et je le sais bien;

ce n'est pas pour des prunes que j'ai voulu le mettre sous le palladium de Minerve. Il a été, lui, le premier et le véritable promoteur des écoles normales en Allemagne, lui et un autre prélat silésien, et puis cela a gagné Vienne, et puis cela a gagné Münster; et moi je me donnais les airs de dire à mon Impératrice en 1777 que son auguste soeur, Marie Thérèse, ne savait pas ce qui en arriverait; mais M. le comte de Falkenstein le sait peut-être mieux. Au reste c'est un grand bien qui en arrivera, les peuples seront plus instruits, plus sensés, plus raisonnables; il n'y a que de grands niguands, ou de vils coquins qui aient peur de ces peuples-là; ceux qui sont nés pour commander, aiment mieux commander à des hommes qu'à des brutes. Was ſagt der Herr Graf von Falkenſtein dazu?

Je savais très bien que cet illustre voyageur était atteint à peu près de la même maladie que moi et qui s'appelle fureur musicale; je savais aussi qu'il aimait particulièrement les compositions de notre Vesuvio Paisiello, qui a pu lui dire que nous avons la plus sisisisisissime souveraine du monde. M. le marquis de Brandebourg, soi-disant Principe di Prussia, qui est venu relayer M. le comte de Falkenstein aux Trois Rois, est aussi un malade du même hôpital; ainsi Paisiello trouvera encore à qui parler. Il n'y a que moi qui ne peux plus lorgner dans la gueule de la signora Buonafini ni de la divine Gabrielli, et qui vis au milieu de païens qui n'ont jamais su et ne sauront jamais ce que c'est que la musique, encore moins le chant, ce don céleste accordé à toute la terre, hors la France, pour charmer les maux de la vie. Je suis bien fâché que mon Carmen saeculare si magnifiquement payé par mon Impératrice n'ait pas été à temps en Russie pour être exécuté à Mohilev en présence de M. le comte de Falkenstein. Les coquins de Sa Majesté Impériale à Polotsk et à Mohilev auraient été excellents pour présider à cette fête théâtrale et pour la diriger. Personne ne se connaît en cérémonies religieuses comme eux, et tout ce qui est pompe de spectacle est bien de leur ressort. Il faut convenir qu'ils étaient des gens d'esprit, c'est dommage qu'ils fussent si ambitieux: en fait d'ambition démesurée les gens d'esprit se cassent plus souvent le cou que les gens bornés, parce qu'ils forcent tous les ressorts.

Quant à M. de Brandebourg, sa qualité de mon ancien protégé lui donne des droits à ma constante faveur, et je suis très curieux d'apprendre s'il a fait honneur à ma recommandation. Au reste, l'homme à la glace, qui a succédé l'année dernière à un bon Israélite dans le poste de dragoman du haut allié, a présentement la plus belle occasion de dégeler, et s'il n'en profite pas, il ne saura de sa vie sur quel pied danser.

Je ne trouve pas bon que Votre Majesté appelle ma tête de Minerve celle que les badauds de Paris ont trouvée ressemblante à ma Minerve, car les badauds de Paris et moi nous sommes deux, et quand je parle en leur nom, je ne parle pas au mien. Das kann ich aber Ihro Kaiſerlichen Majeſtät nicht verhalten daß in höchſt Deroſelben letztem allergnädigſten Schreiben die Dinte gar ſehr ſtark durchgeſchlagen. Iſt es die Schuld der Dinte oder des Papieres? Ich kann niemand bey meiner Kaiſerin verklagen. Das iſt aber gewiß daß wenn unſere Kaiſerin ſpricht oder ſchreibt, ſo bringt das tief genug ins Herz und hat nicht nöthig das Papier anzugreifen.

J'ai vu ces jours M. le marquis de Castries de retour de sa tournée militaire. S'étant trouvé près de Spa, il y a fait une course pour y voir une femme de ses amies. Je lui ai demandé des nouvelles du prince Orlov, que je savais y être et que je me flatte de voir ici; et quand je le verrai, je me mettrai à pleurer de joie comme un veau, parce que je me croirai aussi rapproché de mon auguste et immortelle Souveraine que s'il n'y avait, comme à Polotsk, que la Dwina entre elle et moi; et à mesure que cette illusion enchanteresse se dissipera, le veau pleurera toujours, mais au lieu de joie, il sanglotera de regret. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'aurai pas eu un aussi doux moment depuis que j'ai quitté la Russie, que celui où je reverrai le prince Orlov. Dem kann ich nun ganz natürlich ſagen daß ich unſere Kaiſerin im Innigſten meiner Seele lieb habe, und daß das nun mit mir ſterben muß, denn heraus kann ich ſie nicht bringen. Und das war denn nun ſchon ſo, ehe ſie ihre große Normal-Schule zu Waſſer und zu Land eröffnet, denn ich weiß ſeit langer Zeit was in ihr ſteckt. On dira peut-être: voilà un plaisant marouſle qui croit la deviner. Non, il ne prétend pas la deviner, et il sait peut-être mieux qu'un autre que Cela ne se devine pas; mais son souffre-douleur la défie de faire quelque chose qui puisse le surprendre de sa part et lui faire dire: Nun das hätte ich doch in meinem Leben nicht geglaubt!

On dit que M. le comte de Haga a gagné de l'argent à Spa au trente et quarante. Je crois que ce feu M. le comte de Gothland a eu quelque désir de faire une excursion jusqu'à Paris et à Versailles, qu'il en a été question, mais que cela ne s'est pas arrangé, et qu'il s'en retournera tout naturellement par la Hollande.

God save our Emperor, et lui donne la patience nécessaire pour lire cet énorme fatras jusqu'au bout, et la magnanimité de pardonner ce fatras au barbouilleur et de lui conserver sa bonté et faveur impériales jusqu'au dernier instant de sa vie inutile.

Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur Grimm.

A Paris, ce 6 (17) septembre 1780. Anniversaire de ma première entrée dans la capitale de la gloire et de l'immortalité.

Allerunterthänigster Parisischer und Römischer Rechnungs-Vortrag du 18 (29) septembre 1780.

Madame. Il plaît au souffre-douleur, caissier, trésorier et aumônier de Votre Majesté Impériale dans les Gaules et autres pays citra et ultra-montains, de mettre sous les yeux de son auguste Souveraine une partie de ses comptes, afin d'être toujours débarrassé d'autant du fardeau de sa comptabilité. Votre Majesté trouvera donc ci-joint l'état actuel de sa caisse de Paris. Ce n'est pas que je n'en aie déjà dépensé une bonne partie, mais je ne veux rendre compte d'un objet que lorsqu'il est entièrement consommé. afin que la plus grande clarté subsiste toujours dans ces décomptes, et que la dépense pour le même objet ne se trouve jamais morcelée en plusieurs articles. Entre autres objets je laisse en arrière la souscription de la nouvelle édition de Metastasio, parce que je persiste à me faire restituer, à la seconde livraison, ce que j'ai payé pour la première, ne prévoyant pas alors que le prince Galitsine persisterait à se faire envoyer les 40 exemplaires de Votre Majesté à Vienne malgré mon humble remontrance, encore moins que le commissionnaire me cacherait cette résolution du prince, après avoir reçu mon argent, afin de placer 80 exemplaires au lieu de 40. Je n'ai regret qu'aux 12 exemplaires envoyés avec les trésors Clérisseautiques, qu'il faudra bien que je paie en sus des 40 que le prince Galitsine a absolument voulu payer et palper, à moins que Votre Majesté ne trouve moyen de me les renvoyer: ce que j'aimerais infiniment et sur quoi j'attends une très gracieuse décision de mon auguste Souveraine. J'apprends dans l'instant que l'évangéliste St. Marc a mouillé dans le port de Pétersbourg, le premier septembre nouveau style. Comme je ne sais cela que par les lettres de commerce, je ne sais que le fait positif. Le reste me viendra par les lettres vivifiantes de celle dont le regard tout-puissant anime tout ce qui se trouve à douze ou quinze mille verstes à la ronde autour d'elle. Voilà toujours mon Clérisseau, mon Mengs, avec les miniatures de Teresina de Maron et les 12 exemplaires de Metastasio en sûreté dans l'asile glorieux qui les attend.

Ces lettres de commerce me confirment l'incendie des chanvres, qui me met toujours de très méchante humeur. Je suis comme Dumarsais qui à chaque accident malheureux disait: Je voudrais bien savoir à quoi servent ces tristes anges-gardiens!

Le dernier paiement de 39546 livres tournois qu'il a plu à Votre Majesté Impériale de me faire faire pendant le glorieux et immortel voyage de Mohilev, et que j'ai porté en recette dans mon compte, m'a été fait en trois sommes distinctes, savoir:

Première somme de cent louis de France.....	2400
Seconde somme de 2850 florins courants de Hollande.	6146
Troisième somme pure et simple.....	31000
Faisant un total de.....	39546.

D'où j'ai conclu, en consultant la pancarte impériale, valant plus que tous les millions de la terre, expédiée au souffre-douleur de Mohilev, que la première somme de cent louis était destinée à payer à Houdon le petit Voltaire en bronze doré; que la seconde évaluée dans les ordres donnés en florins de Hollande devait représenter les 1500 roubles que la munificence impériale destinait à M. Tronchin des Délices; qui notabene n'est pas médecin; qu'enfin la somme restante de 31000 livres, 20000, suivant les ordres de Votre Majesté, devaient servir au paiement de la statue en marbre de Voltaire assis qu'Houdon est transporté de consacrer à l'immortelle protectrice des arts; que les 11000 livres restantes devaient être partagées entre Philidor et le bon Gillet, dont le premier devait en avoir 5000 et le second 6000. Le cas de ce bonhomme est d'autant plus graciable qu'entre les deux paiements ordonnés par l'Académie impériale pour le même objet à deux banquiers différents, il y a eu une distance de plus de cinq mois, et que lui ne lisant pas ce que le banquier lui présenta à signer tout dressé, a cru de bonne foi que l'Académie, profitant d'une occasion favorable pour le change, lui payait l'année courante, à l'échéance de laquelle il ne manquait plus que deux mois et demi lorsqu'il a signé cette fatale quittance qu'on lui a imputée à crime. A la fin de ce mois il lui sera dû une année de cette pension de 400 roubles, accordée après vingt années de résidence, et maintenant supprimée. Mais Gillet se confie dans les supplications de son ami Martinelli, et nous espérons fléchir les dieux courroucés, sans que l'Impératrice s'en mêle. Le plus court et le mieux serait que l'Académie lui donnât une somme une fois payée, suffisante pour lui faire 400 roubles de rente viagère. Elle n'en en-

tendrait plus parler, et le bonhomme n'aurait plus à faire aux banquiers. Ce qui m'a intéressé à sa cause, c'est sa douceur et sa résignation.

Il a essuyé une banqueroute de douze mille livres ici, lorsque l'arrêt foudroyant de l'Académie impériale a été lancé. Il n'a été sensible qu'à l'imputation gratuite qu'on lui faisait de bassesse et de mauvaise foi. Il ne s'est plaint de son malheur qu'à Clérisseau et à moi. S'il ne peut pas se louer des procédés de l'Académie, il ne s'en plaint du moins à personne; il pleure quelquefois sur son infortune en silence, mais toutes les fois qu'il parle de l'Impératrice, il pleure d'attendrissement et de reconnaissance: car quoiqu'accoutumé à la dureté du marbre, il connaît et adore son coeur magnanime. Lorsque je lui annonçai le don de 6000 livres, il me dit: Et bien, la voilà, comme elle est; se mit à pleurer et s'en alla.

Si Votre Majesté Impériale approuve l'emploi des sommes de sa caisse de Paris, tel que je l'ai conçu, il en résulte que j'ai encore à recevoir 22,200 livres pour payer les tableaux Robinet que Votre Majesté a marqués dans le catalogue du dit seigneur, et puis la somme qu'il faudra pour le cabinet Zuckmantel; mais pour cette dernière remise, je n'en aurai besoin que pour le mois de mars, temps vers lequel il faudra embarquer cette collection sur le Rhin à Strasbourg pour la Hollande, d'où elle se rendra dans le gouffre impérial.

Pour ne pas quitter trop brusquement le brave M. Tronchin des Délices, qui n'est pas médecin, j'observerai que je n'ai pas pu lire, sans sourire un peu fortement, le jugement que Votre Majesté a porté de ses Récréations dramatiques ou de ses corrections faites à Corneille. Ce jugement était écrit en caractères si menus et si contrastants avec le caractère mâle et ferme de l'Impératrice, qu'il m'a fallu dresser les oreilles le plus que j'ai pu, pour l'entendre. C'est une nouvelle manière très expressive de parler bas à quelqu'un à la distance de quatorze ou quinze cents verstes, que de diminuer le caractère de sa main ou le calibre de son écriture à proportion de l'importance du secret. Cette invention pittoresque est due à notre Impératrice. Notre art d'imprimer est encore au berceau. Je suis persuadé qu'on parviendrait à noter la déclamation d'un livre pour les yeux avec la même certitude que la musique pour les oreilles, en grossissant ou diminuant, en élargissant ou rétrécissant les caractères de son écriture. Cela serait d'une utilité manifeste dans les ouvrages dramatiques. Tous les aparté d'une comédie seraient par exemple imprimés de la manière dont Votre Majesté a bien voulu me confier son secret sur ces pauvres Récréations dramatiques, à qui l'on ne peut réprocher dans leur innocence que de s'être laissé imprimer. Heureusement l'Impératrice ne s'est pas récréée avec ces pauvres

Récréations, ni moi non plus. Ce brave Tronchin vendit jadis à Votre Majesté un très joli cabinet de tableaux. Il se disait guéri de la manie des tableaux; mais il y a des maladies dont le redoublement vous prend, quand vous y pensez le moins. Aussi Tronchin, qui n'est pas médecin et qui n'est que malade, a-t-il aujourdhui un cabinet plus nombreux et tout aussi précieux que le premier: tant qu'il vivra, il achètera des tableaux. Il s'est occupé à faire un catalogue raisonné de son cabinet, qu'il a fait imprimer. Voilà une récréation permise. Il vient de m'en envoyer deux exemplaires, d'où je juge qu'il y en a un que je dois porter aux pieds de Votre Majesté Impériale, ce qui sera fait à la première occasion qui se présentera.

Maintenant, ayant pris une plume neuve, je passe au compte del signor Gasparo Santini de Rome, qui n'a pas besoin de mon commentaire, tout en étant amplement commenté et clarifié par les lettres du divin dont il se trouve escorté. Votre Majesté trouvera d'abord ce compte en italien, tel qu'il m'a été envoyé de Rome, et puis la traduction que j'en ai faite pour la plus grande commodité de mon auguste Souveraine. Il en résulte que sur les articles y détaillés Santini est en avance de 3017 scudi 60 bajocchi, sans compter ce qu'il a déjà avancé et ce qu'il est dans le cas d'avancer journellement pour la continuation des Loges de Raphaël. Votre Majesté trouvera dans la plus fraîche des lettres du divin Reiffenstein toutes les réflexions judicieuses qu'on peut faire à ce sujet, et j'attends là-dessus ses ordres. Si, au lieu de faire établir en Hollande ce crédit que le divin propose, soit en son nom, soit au nom de Santini, Votre Majesté juge à propos de le faire établir pour moi, nous serons trois surveillants à l'argent de l'Impératrice au lieu de deux. Alors toutes les fois que Santini aura une traite à faire sur la maison en Hollande, où mon crédit sera établi par ordre de Votre Majesté, il m'enverra cette traite avec un certificat du divin Reiffenstein, comme quoi elle est due pour le service de Votre Majesté, et moi je la ferai passer à la maison de Hollande, en lui mandant de l'acquitter sur mon crédit établi. Je me ferai en même temps toujours envoyer de Rome les comptes sur l'argent tiré de Hollande, pour les mettre à fur et à mesure sous les yeux de Votre Majesté, qui y trouvera toujours la balance de l'argent déboursé avec les traites. Cette méthode me paraît la plus simple, la plus claire et la plus courte, pour que le service de Votre Majesté se fasse sans interruption, et que Santini ne soit pas en avance à son détriment.

Mais je tiens toujours grandement à l'idée du susdit Santini pour l'établissement d'un commerce direct entre la Russie et l'Italie sur le plan proposé par lui, ce qui nous ferait faire une économie considérable dans les

traites occasionnées par la gloutonnerie de notre auguste Souveraine en fait de beaux-arts. Je sens à merveille que ce n'est pas l'affaire de Votre Majesté. Le mot Wir haben keine Zeit für große Kleinigkeiten, das ist ein großes normal-schulmeisterisches Wort, und ich hoffe, der Herr Graf von Falkenstein werde es gehört und beherziget haben. Mais nous, les humbles serviteurs et instruments de notre Impératrice, nous devons avoir le temps nécessaire aux grandes minuties. En conséquence je condamne Votre Majesté de mettre le projet de Santini, tel qu'il m'a été développé par le divin Reiffenstein, sous les yeux de M. le président du commerce, et je condamne mon dit sieur président à le considérer, mâcher, remâcher et exécuter par quelque maison de commerce établie à Pétersbourg. Il y en a tant qui doivent leur fortune aux affaires de Votre Majesté Impériale, que ce n'est pas un grand effort de leur part que d'essayer de gagner encore d'une autre manière en s'associant avec un homme intelligent à Rome pour l'établissement d'un commerce direct entre la Russie et l'Italie. L'objet est grand et vaut la peine, indépendamment de l'épargne que nous ferons à l'Impératrice sur les traites d'argent et sur le change; il peut avec le temps concourir à l'agrandissement du commerce par la mer Noire. Il n'y a qu'à aller doucement dans les commencements. Un petit essai qui réussit en fait essayer d'autres, et voilà comme le monde a été créé.

Messieurs Hay me mandent qu'ils ne sont plus chargés des ordres du cabinet impérial. Votre Majesté voudra donc bien faire savoir à son souffre-douleur, par qui Santini doit être remboursé de ses avances et recevoir le crédit dont nous avons besoin en Hollande. Il y a un autre article que je comptais éclaircir par messieurs Hay, et qui ne les regarde plus. Je crois que les 360 roubles pour l'année 1779 de la Correspondance littéraire sont dûs, mais je n'en suis pas sûr. Depuis l'année 1773 cet article m'a toujours été payé en Russie, et M. Meister, qui était mon homme d'affaires à Paris pendant mon absence, se remboursait sur mes fonds ici. Je ne sais si j'ai reçu l'année 1779 ou non. Ordinairement on payait au mois d'avril l'année précédente; cette année il ne m'est rien venu pour l'année 1779. Il serait aisé de faire au cabinet un relevé de cet article depuis 1773, et de voir par ce relevé si l'année 1779 a été peut-être payée d'avance ou non: car pour tout au monde je ne voudrais tomber dans le péché du bon Gillet. Si elle est due, on me l'enverra par je ne sais qui, puisque Messieurs Hay ont l'esprit de n'être plus mêlés dans les affaires du cabinet.

Je verrai venir M. le chevalier de Miller avec ses rouets, quand il sera débarrassé de cette vilaine fièvre qui a insulté la moitié de Rome, pour parler italien avec le divin.

J'allais finir. On m'apporte une lettre du haut allié de Votre Majesté, qui me dit: le code maritime dont vous me parlez, est le chef d'oeuvre du génie et de la politique, et tel qu'on devait l'attendre de votre grande Impératrice, qui met à tout ce qu'elle fait le sceau de l'immortalité. Et puis il espère que M. le colonel (qui est moi) voudra bien, quand il ira en Russie, en passant ici (à Potsdam) s'y arrêter pour voir un vieux lieutenant colonel russe qui le recevra avec plaisir. Et moi je me prosterne devant ma grande et, qui pis est, charmante Imprératrice (ce qui se dit rarement des souverains) et baise la trace de ses pieds sacrés.

Après avoir fermé mon paquet, je le rouvre pour dire à mon auguste Souveraine en toute humilité et vérité, qu'il m'arrive une lettre de commerce de Lisbonne, qui m'apprend que l'amiral Borissov y a relâché le 8 septembre avec sa division de cinq vaisseaux et deux frégates, et que le chevalier Polibine est allé croiser avec la sienne vers les Canaries. God save the flag of all the Russias.

Il serait peut-être possible de me renvoyer les douze exemplaires de Metastasio par les chariots de poste d'Allemagne, en les adressant à quelque maison de commerce à Francfort sur le Main, avec ordre de me faire tenir le ballot par la diligence; alors il n'en coûterait à Votre Majesté Impériale que les 40 exemplaires retenus et payés par le prince Galitsine de Vienne, et j'aurais ici satisfaction complète de celui qui a voulu m'attraper.

Allerunterthänigster höchst eilfertiger Vortrag.

A Paris, le 15 (26) october 1780.

Madame. Entre autres insignes calamités dont il plaît au Dieu de miséricorde d'éprouver ma vie, je compte les courriers, voyageurs, passe-volants et autres, qui viennent vous annoncer qu'ils sont prêts de se charger d'un paquet pour Ecatherine l'immortelle, mais qu'ils partent sous vingt-quatre heures. Da wird nun ein grauſamer Lärm im ganzen Hauſe. Herz und Geiſt fangen an zu beben, zu brennen und zu lodern; on ne sait par où commencer, ni par où finir, und zuletzt kömmt gar nichts heraus. Un sujet livonien de Votre Majesté Impériale, M. le baron de Bock vient de me jouer ce tour-là. Après avoir été à Spa, il vient passer trois fois vingt-quatre heures à Paris. La veille de son départ il m'offre de se charger d'un paquet pour notre auguste Souveraine et de le porter d'un trait de Paris à Pétersbourg. Cela est bien tentant; mais il me prend sans vert. Que peut-on ramasser du soir au lendemain? J'ai envie de m'emballer moi-même, et qu'il me roule aux

pieds de celle qui tient ma destinée entre ses mains. Mais il ne voudra pas peut-être se charger d'un fardeau si lourd. Allons, j'enverrai demain de grand matin dans la rue des Lombards. Si les pâtes d'Auvergne sont arrivées, il faudra que Votre Majesté en mange avec Monsieur Alexandre, sans oublier le Sieur Constantin au regard spirituel, à mon honneur et gloire. Mais peut-être mes dits Sieurs sont-ils plus accoutumés au mets favori et délicat de l'Impératrice, la tranche de boeuf à la mode, qu'aux pâtes d'abricots? En ce cas il se trouvera toujours quelque négrillon, quelque page qui voudra bien s'en accommoder.

Après cela, pour renforcer le paquet, j'y mettrai le catalogue que M. Tronchin, qui n'est pas médecin, vient d'imprimer de ses tableaux, et dont il désire de mettre un exemplaire aux pieds de Votre Majesté Impériale, dans l'espérance que si jamais le catalogue de la Galerie impériale est publié par l'impression, Votre Majesté daignera ordonner qu'on lui en envoie un exemplaire. Ce que je lui promets in petto, c'est que notre auguste Souveraine jettera plutôt les yeux sur son catalogue, qui est bien fait, que sur ses Récréations dramatiques, et qu'elle ne sera pas obligée de diminuer le caractère mâle et ferme de son écriture pour m'en parler. Quant aux 1500 roubles que Votre Majesté m'a ordonné d'employer à une marque de sa bienveillance impériale pour le susdit, l'un des 40 Tronchins, j'ai pris le parti de lui faire faire ici quelques jolies pièces de vaisselle, avec lesquelles il pourra figurer au château des Délices et montrer aux curieux qu'on ne perd pas son temps quand on emballe pour l'Impératrice.

Votre Majesté me doit un compliment. Le marquis de Castries, dont j'ai osé lui parler quelquefois, vient d'être nommé par le Roi Très-Chrétien ministre de la marine. C'est le quatrième choix sublime de ce jeune monarque: Maurepas, Vergennes, Necker, Castries. Quand on a mis la main sur quatre hommes de cette trempe, on a le droit de se faire pardonner quelques choix moins heureux. Je connais le marquis de Castries depuis 30 ans. Je lui dois infiniment, il ne m'a jamais perdu de vue. Je l'ai vu dans bien des situations différentes, et j'ai toujours vu le même homme. Il s'est si bien toujours ressemblé à lui-même, qu'il n'a pas même perdu à l'âge de 53 ans l'air de la jeunesse et les avantages de la figure. C'est un homme d'une probité à toute épreuve, d'une grande élévation, d'un grand caractère et de beaucoup de sagesse. Quand j'ose solliciter un compliment, c'est un compliment de condoléance: car lorsque mes amis parviennent aux premières places, ils sont perdus pour moi, et je prends congé d'eux. Mon inutilité garantit de toute relation d'affaires, et cette inutilité a été rendue immuable par Votre Majesté: car puisque j'ai été condamné à l'inutilité pour le ser-

vice de ma bienfaitrice, il n'y a point de puissance sur la terre qui puisse me rendre une activité utile.

Le roi de Suède ou M. le comte de Gothland, voisin, cousin et fraterlet de Votre Majesté Impériale, a été à Spa, et par conséquent bien près de nous. On prétend qu'il a même marqué le désir de faire un tour ici, mais que cette ouverture a été déclinée avec politesse. Il a donc pris le chemin de la Hollande. Je lui avais écrit pour lui dire que je ne me donnais pas les airs, malgré le voisinage, de lui aller faire ma cour, parce qu'il ne me convenait pas de me donner un air de fatuité et d'importance. Il m'a répondu d'Amsterdam avec beaucoup de bonté que j'ai mal fait; que malgré le brouhaha de Spa il aurait fort bien su trouver les moyens de s'entretenir avec moi et que certainement l'Impératrice de Russie n'eût point été oubliée. Quand j'ai lu ces paroles royales, je me suis écrié: plût à Dieu que je pusse l'oublier ou ne m'en souvenir qu'à bon loisir! Ma vie en serait bien plus tranquille, et il n'y aurait plus ces hauts et ces bas qui me font rire et pleurer alternativement. Voilà ce que dit le souffre-douleur, et voici ce que dit le roi par continuation. Il faut avouer que l'Impératrice joue un bien beau rôle dans tout ceci, et que ce moment est un des plus brillants de sa vie. Voilà ce que dit le roi, et voici ce qu'ajoute le souffre-douleur. On croit toujours que le dernier est le plus brillant, mais comme elle est magicienne, elle vous attrape, et il vient toujours quelque chose après de plus brillant à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'elle a plus d'un oeuf dans son panier. Le roi, pour faire taire le souffre-douleur, lui fait ensuite l'énumération de tous les seigneurs russes qui ont été à Spa, et ajoute qu'il a été comme l'ambassadeur de Russie pour le prince et la princesse Orlov, qu'il leur a fait faire connaissance avec nos dames de Paris, etc.

Moi, Madame, je suis fort mécontent de tout ce qui me revient du prince Orlov. On dit qu'il s'est mis entre les mains d'un médecin anglais établi à Bruxelles, charlatan que personne ne connaît. Cet homme lui donne des remèdes propres à tuer un cheval. Il s'en sert, s'en trouve toujours plus mal, et continue. A quoi sert donc d'avoir été à l'école de Catherine II, si l'on n'y a pas appris que la médicine, après la théologie, est la plus vaine des sciences, et qu'il faut être fou pour abandonner son corps aux expériences d'un charlatan? On le dit véritablement fort changé, et j'en suis en peine. Je supplie Votre Majesté de lui ordonner de venir au plus vite me rendre ses devoirs à Paris, afin que je le gronde et que je le mette entre les mains de Tronchin, qui ne le guérira peut-être pas, mais qui à coup sûr ne le tuera pas. Le marquis de Castries avait passé quatre ou cinq jours à Spa, et en était de retour depuis quinze jours lorsqu'il a été fait ministre. Une

tournée militaire pour inspecter des régiments sur la frontière l'avait conduit dans le voisinage de Spa, et comme il s'y trouvait des femmes de sa connaissance, il leur avait fait visite. A son retour il m'a beaucoup parlé du prince Orlov, parce que mes amis savent que quand on veut me rendre heureux et me faire sa cour, il faut me parler de la Russie. J'ai su aussi que M. le comte de Gothland, aujourd'hui Haga, avait célébré l'anniversaire de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski avec les chevaliers et les dames russes qui étaient à Spa. Quand je veux faire l'éloge du marquis de Castries, d'un mot je dis: il eût été digne de servir Catherine II, tout court et pas grande. Que ne ferait pas un ministre de sa trempe sous les ordres d'une souveraine de la trempe de la nôtre? Je suis sûr que tôt ou tard (car le moment dépendra de la folie ou de la sagesse des autres) notre auguste Souveraine rendra la paix à l'Europe et à l'Amérique: car depuis quelques années, comme qui dirait depuis qu'elle règne, il ne se fait plus rien de bien, de sensé, de grand dans ce monde sans elle et son heureuse influence. Il est vrai que mes amis les marchands de riz et d'indigo se sont encore laissés battre dans la Caroline, et je crains que cela ne fortifie les bons et loyaux citoyens de Windsor et de Westminster dans le projet insensé de subjuguer des gens qui ne restent soumis que tant qu'on leur tient le couteau sur la gorge, et qui se soulèvent dès que le tranchant du couteau ne chatouille plus la peau; mais s'il y a un moment de sagesse au milieu de tant de folies d'un côté et de beaucoup de fautes de l'autre, l'oracle de Minerve la Normal-Schulmeisterin de Monsieur Alexandre et autres quidams porteurs de couronnes présentes ou à venir, se fera entendre et sera respecté.

J'ajoute, Madame, à mes bienfaits en pâtes d'Auvergne et au catalogue Tronchinique quelques exemplaires du Carmen Saeculare adopté par les bienfaits de notre grande Impératrice.... je voulais dire von unſerer Kaiſerin von mittelmäßiger Statur, car sa marotte est de ne vouloir pas être grande. J'envoie ces exemplaires dans le cas où Votre Majesté aurait la fantaisie d'entendre ce Carmen en concert. La traduction du père Sanadon est bien maussade.... C'était pourtant un jésuite! On en avait fait une beaucoup meilleure; mais malheureusement Philidor n'en a plus et ne peut mettre que ces restes aux pieds de son auguste bienfaitrice. Je me prosterne à ces pieds avec tout le feu qui me dévore et me consume inutilement pour le service et la gloire de mon immortelle Souveraine, et puisque M. le baron de Bock ne me permet pas de griffonner plus longtemps, je lui souhaite des ailes pour arriver avec mes pâtes dans le sanctuaire de l'immortalité. God save our Emperor of all the Russias! Amen.

A Paris, ce 1 (12) janvier 1781.

Madame. Il ne faut pas que l'année grecque commence sans que je porte aux pieds de mon auguste et immortelle Souveraine le tribut de ma reconnaissance avec mes voeux et l'hommage du plus profond respect, je pourrais ajouter du plus tendre, et toutes les épithètes que ce mot peut comporter sous tous les rapports possibles, attendu que les dieux acceptent tout cela pour offrande, et que toute dévotion fervente consiste en feu concentré et en tendresse. S'il se trouve quelqu'un, je ne dis pas dans l'empire de Votre Majesté Impériale, mais dans le monde entier, qui prétende me surpasser en attachement pour notre Impératrice, qu'il se montre, et je lui soutiendrai qu'il en a menti, et qui pis est, je le lui prouverai, fût-il de Riga ou de Narva. Le plus court est qu'on ne m'échauffe pas la tête, car le coeur l'est suffisamment.

Il faut à présent que je rende compte à Votre Majesté de ma vie pendant les six derniers mois de l'année qui vient de finir. Après la réception de cette pancarte impériale, commencée à Plesko, continuée à Polotsk et achevée à Mohilev, die ich nicht anders als prächtig, göttlich und unvergeßlich nennen kann, j'ai été sans doute atteint de trop d'orgueil, d'ivresse et de vanité; le Dieu des miséricordes ne veut pas que ses enfants nagent dans la joie. Au milieu des tribulations journalières dont Sa bonté céleste prend soin d'assaisonner ma vie, j'ai accablé mon auguste et sississime bienfaitrice de nombre de pancartes, Vortrag et autres fadaises. Ne voyant pas arriver de réponse à mes fadaises, j'ai d'arbord vécu sur tout ce que j'avais dans mon escarcelle de provision en philosophie. J'ai dit: après la saison de l'abondance vient la saison de la disette; cela est tout simple, il faut la supporter avec résignation et courage, jusqu'à ce qu'il plaise à la providence impériale de te ranimer par un regard bienfaisant; elle sait bien qu'elle peut disposer à son gré de la vie ou de la mort de son souffre-douleur. J'étais loin de penser alors, que l'Impératrice s'occupait presque tous les jours à m'écrire une page ou deux, et que sa bienfaisance me préparait une autre unvergeßliche pancarte, ouvrage immortel de plus de six semaines, qu'un de ses courriers devait m'apporter. Ne pouvant ni prévoir ni supposer une chose si incroyable, je vécus sur ma provision de philosophie que je sentis de jour de poste en jour de poste s'épuiser sensiblement. Lorsque je fus à sec, je me dis: du armes Blümlein, mußt nun verwelken, denn deine himmliſche Gärtnerin hat deiner vergeſſen. La fièvre me prit, je me couchai, et j'espérais de finir en la bénissant. Mon ancien gouverneur Thier pensa me donner le coup d'assommoir. Il se présenta chez moi à l'improviste. Je n'étais pas assez bien alors pour recevoir quelqu'un, et mes gens le ren-

voyèrent sans m'en prévenir. Lorsque je l'appris, je fis courir après lui. Son nom m'avait ranimé. Je me dis: voilà la rosée céleste qui vient vivifier une fleur mourante; la main de l'Impératrice est avec lui.... Point du tout: mon gouverneur Thier venait de Stuttgart et de Montbéliard, où M. le comte de Panine l'avait envoyé pour une commission particulière et il n'avait ni rosée céleste, ni main impériale. Alors je laissai retomber ma tête, et je me dis: nun, du mußt verwelken. Mais celle dont le génie bienfaisant entretient et propage la vie du plus vaste empire qui existe, dit alors: nun, du ſollſt nicht verwelken. Et son ange céleste et impérial, appelé Principati (car ange veut dire Botſchafter), entra chez moi, et à la vue d'une pancarte impériale d'une épaisseur énorme, je me sentis rendu à la vie. Ce qu'il y a de moins surprenant, c'est que le jardinier Tronchin crut avoir fait ce miracle, en me faisant saigner du pied brusquement au milieu de la nuit, lui qui est le plus anti-saigneur que je connaisse. Je n'ai pas voulu le tirer de cette douce illusion, ni lui confier que si l'ange Principati ne m'eût apparu le lendemain et ne m'eût ranimé en montrant à mes yeux défaillants les caractères de cette main auguste sur laquelle je me prosterne vingt fois par jour, le miracle du jardinier Tronchin eût manqué absolument son effet.

Tout cela s'est passé, Madame, tandis que Marie Thérèse terminait sa carrière à Vienne, et que la cour de Votre Majesté Impériale se préparait à célébrer la fête de grande Catherine. Mais j'étais déjà échappé au danger et considérablement mieux, au moment où l'on publiait à Pétersbourg après la messe cette grande promotion dont la gazette m'a apporté la liste. Actuellement je n'ai plus qu'à me ménager, c'est-à-dire à m'ennuyer pour me préserver d'une rechute. Votre Majesté, soit dit sans reproche, m'a rendu le sang si inflammable que je ne sais plus comment le gouverner. Voilà ce que c'est que d'avoir été trop près du trépied impérial; la combustion vous gagne, et quand vous n'avez pas une étoffe assez forte pour résister à l'embrasement, vous êtes consumé, vous et votre étoffe, en un clin d'oeil. C'est mon cas, Madame, et plût à Dieu que je fusse embrasé et consumé par la gloire dont les rayons environnent la tête auguste et sacrée de ma Souveraine; ma mort serait trop glorieuse; mais ne pouvoir presque pas m'occuper ni écrire sans me sentir le sang allumé, sans m'exposer à des insomnies, c'est là un de ces tours infernaux du malin qui crève dans sa vilaine peau rissolée de ce que l'ange Principati est venu m'apporter une pancarte impériale à nulle autre pareille, et de ce qu'il prévoit qu'il ne pourra plus jamais me persuader que l'Impératrice puisse ou veuille jamais oublier et abandonner son souffre-douleur, qui est bien le meilleur diable du monde.

Le malin a raison d'enrager, pour peu qu'il soit envieux. Une pancarte pareille à celle que je dois à l'ange Principati est un trésor unique qui n'existe nulle part que dans le portefeuille du souffre-douleur; c'est un monument de génie, de verve et de profondeur, qui n'a pas hâté le retour des forces après ma maladie, parce qu'il a mis de nouveau le feu aux étoupes que le jardinier Tronchin a eu tant de peine à éteindre. Il m'a aussi fait connaître un autre malheur qui a immédiatement succédé à la disette; c'est l'impatience de griffonner seulement deux cent cinquante pages de suite, pour me décharger de la deux cent-cinquantième partie environ de ce que j'ai sur le coeur et besoin de dire à Votre Majesté. L'impossibilité de satisfaire à ce besoin impétueux de mon coeur a sensiblement retardé ma convalescence. La seule, mais grande consolation que j'ai ressentie au milieu de ces cruelles contradictions, je la dois à la remarque que la pancarte sans pareille m'a fait faire, que, Dieu merci, la gaîté et la verve impériales ne font que croître et embellir d'année en année, und ſo kann ich wirklich mit dem heiligen Apoſtel Paulus ernſthaft fragen: was wird denn nun einmal daraus werden? Il faut convenir qu'on la baille belle à Votre Majesté, et que le génie de Catherine peut chanter en toute sûreté tout le long de l'année: de moi je suis assez content: refrain qui a besoin d'être réhabilité dans une occasion auguste, depuis que le grand et malin Voltaire l'a rendu ridicule dans la bouche de Pompignan. L'année qui vient de finir a été l'année de la visitation. L'année qui avait précédé celle-là, devint à Teschen l'année de la pacification. Cette année-ci, si Dieu n'y met ordre, deviendra l'année de l'admiration et de la bénédiction universelles: car, puisque cette guerre, au dire de Votre Majesté et au sentiment de beaucoup d'hônnetes gens, est la plus sotte du monde, l'Impératrice ordonnera aux mers de calmer leur courroux, aux pirates de finir leur brigandage, ou, pour parler sans figure, elle fera cesser la guerre maritime, comme elle a fait finir la guerre germanique. Ceci ne sera pourtant pas l'ouvrage seul de Votre Majesté, et cependant la gloire lui en restera uniquement, tandis que son bon frère George devrait avoir sa part à ce gâteau, vu qu'il vient de mettre l'Impératrice exclusivement dans la nécessité de pacifier les mers d'une manière infaillible. Cette rupture brusque et hautaine avec les Bataves est certes un coup de génie qui n'a d'autre but que de prier l'Impératrice poliment de se montrer le printemps prochain à la tête de cinquante ou soixante vaisseaux de la neutralité armée dans La Manche. Comme elle a à faire à des sourds, il est vrai qu'elle sera obligée de leur parler un peu de près; mais c'est aussi toute la peine qu'elle aura; du reste tout se passera avec la plus grande cordialité et politesse du monde. Après avoir couvert les Bataves de son égide,

elle dira aux Gallicans et Anglicans: Messieurs, combien de temps comptez-vous encore faire les fous? Les uns lui répondront: Madame, en vérité nous ne sommes pas endurcis dans nos folies. Qu'on ne nous traite pas comme des polissons, parce que sous le puissant Louis XV, dans le temps que nous étions gouvernés par de grands génies, on nous a rossés sur mer et sur terre: voilà le terme de notre ambition aujourd'hui, qu'on ne nous rosse pas et que nous ne sommes gouvernés que par des gens sensés. Au fond, Madame, nous ne demandons que ce que vous demandez vous-même, la liberté légitime de tout le monde. Nous ne demandons pas la mort du pécheur. S'il s'est rendu malade, ce n'est pas notre faute. Il s'est amusé fort longtemps à se couper bras et jambes, et puis il a crié: Est-ce nous qui en sommes cause? Au reste, nous voyons à la force de sa voix que malgré les bras qu'il s'est déchiquetés, c'est un drôle encore bien vivace et qui ira encore loin en dépit de ses folies, le tout parce que ses ancêtres ont été une fois bien sages. . . . Voilà donc les choses déjà arrangées du côté gallican. De l'autre côté on répondra: Madame, dès que vous le prenez sur ce ton-là, prenez que je n'aie rien dit, ni aux Bataves ni encore moins à vous, qui avec l'air de la mère des amours êtes coriace comme Junon aux yeux de bœuf, quand vous vous y mettez et que le diable ne peut pas faire démordre des idées qui sont entrées dans sa tête. Je n'ai pas encore la fièvre chaude au point de ne vouloir absolument conserver aucun ami sur la terre. Au fond j'ai fait l'ivrogne qui se débat avec succès entre les pattes de gens plus vigoureux que lui, mais qui tomberait enfin d'épuisement si vous n'aviez pas la bonté de me prendre par la main et de me conduire dans mon lit où j'ai grand besoin de me reposer après toutes les folies que j'ai faites. Quant au bras que je me suis coupé avec tant de dextérité, je sens bien, Madame, que toute magicienne que vous êtes, vous ne pourrez pas le recoudre à mon épaule; ainsi n'en parlons plus. Sauvez-moi seulement le vilain mot d'indépendance. Faites-moi faire avec les épiciers d'Amérique une trêve où ils ne seront ni chair ni poisson, ni dépendants ni indépendants, ou, pour parler plus clairement, où ils seront indépendants sans en avoir le titre, et je tâcherai de m'accoutumer peu à peu aux suites inévitables de ma superbe sottise. A cela l'Impératrice dira: Messieurs de part et d'autre, puisque le bon sens vous revient, ce qui vaut mieux tard que jamais, allons, embrassez-vous, que vos sottises soient finies et que je n'entende plus parler de vous; mais vous, Monsieur le buveur de punch, ne croyez pas que le dernier excès de votre folie vous soit remis sans pénitence: puisque vous avez cassé les pots des Bataves pacifiques et neutres, vous les paierez, morbleu, depuis le premier jusqu'au dernier, et avant que je m'en retourne: car je veux que

justice soit faite. Et afin que pareille vilenie n'arrive plus davantage par la suite, il faut, s'il vous plaît, vous remettre un peu à l'a b c, et je veux vous faire répéter votre catéchisme en présence de tout le monde, pour voir si vous ne l'avez pas oublié. Sur quoi l'Impératrice tire de sa poche le catéchisme marin, le fait répéter à haute et intelligible voix, article par article, par tous les écoliers, de quelque nation qu'ils soient. Chacun le souscrit et promet de ne le plus oublier. On fait relier ce catéchisme, doré sur tranche et portant sur le dos: das unſterbliche Catharinifche Meer-ſymbolum mit allen ſeinen rechten und ſeligmachenden Glaubenspuncten, et l'Impératrice s'en retourne de La Manche in den finnländiſchen Meerbuſen, au milieu des acclamations et des bénédictions des nations. Voilà, Madame, comme j'ai rêvé la chose mot pour mot cette nuit du jour de l'an grec, et quand je dis que c'est elle que j'ai vu arriver dans La Manche, ce n'est pas son corps que je déplace, mais son esprit, qui se répand et fait sentir sa puissante influence sur toute la terre connue, pour le bonheur de l'humanité. Wie ich nun in den letzten Zeitungen mit großer Erbaulichkeit erblicket, was unſerer Kaiſerin Herr Bruder George und deſſen Frau Ehegattin für chriſtliche wackere Leute ſind, mit was für beklemmten Herzen und naßen Augen ſie ihren zweiten Knaben, den Paſtor von Osnabrück, in die Fremde und auf die Wanderſchaft geſchickt: ſo habe ich geſagt: nun, ſo ein redlicher Biedermann und Hausvater findet ſich in der ganzen City von London nicht. Wer könnte ſich denn einbilden daß dieſes der nämliche iſt, welcher Seeräuberbriefe und Plünderungsbefehle unterzeichnet um ſeine friedfertigen Nachbarn zu beſtehlen? Das Ding, das man die menſchliche Natur nennt, iſt doch ſo etwas recht curioſes.

Aber, um tauſend Gotteswillen, was iſt denn mit meinem protégé vorgegangen, daß derſelbe ſogar mit einer bindoniſchen Reputation zurückgegangen iſt? Pour le coup, je me suis écrié, en m'adressant tout droit à lui: Je le vois!

Ton génie étonné tremblait devant le sien;
Et jamais tu n'as pu te remettre en contenance ni d'aplomb.

Das iſt nun freylich keine Kleinigkeit, zumalen wenn die natürliche Mechanik etwas ſchwer und ſteif eingerichtet iſt, und die Räder nicht geſchmiert ſind um leicht und flüchtig zu gehen. Dieſe bindoniſche mésaventure m'a rappelé ce que l'oncle m'a conté, que lorsqu'il avait été conduit la première fois en présence de l'Impératrice, il avait été obligé de se piéter de toutes ses forces pour ne pas perdre contenance. Eh bien, le neveu l'a perdue, et je vois avec douleur qu'il ne l'a pas retrouvée ni reprise. Est-il vrai que l'Impératrice ira cet été se guérir aux eaux de Tsaritsina du rhumatisme que

la seccatura automnale lui a causé au bras? Le souffre-douleur dit: ci cela est, tant mieux; car à nous autres, gens de Riga, Narva et Grimma, les voyages de notre Impératrice ont toujours grandement tourné à compte.

Lorsque M. le comte de Falkenstein se trouvait des heures entières en tête-à-tête avec notre auguste Normal- und See-Schulmeisterin, il ne se doutait pas, je crois, de la promotion qui l'attendait à son retour, et que nous verrions sitôt de son eau dans un coquemar. Actuellement tout ce qu'il a dit à l'oreille impériale, et que Votre Majesté m'a si durement refusé de me répéter, tout cela va s'ébruiter, et avant la fin de l'année qui commence, j'en saurai aussi long sur tout cela que si j'avais été greffier de Mohilev et tenu la plume pendant les conférences impériales gréco-romaines. Je veux bien, Madame, qu'on ne fasse plus de bruit sur les bénéfices escamotés par cadet, pourvu toutefois que cela ne tire pas à conséquence, et qu'on ne retourne plus à la chasse de ce gibier ni pour cadets ni pour neveux. Je suis de l'église orthodoxe grecque; nous n'aimons pas les princes prêtres; c'est un accoutrement qui ne leur va point; notre Impératrice ne fera pas de son Constantin un prestolet. Il manque à la constitution germanique une loi fondamentale qui empêche les princes d'entrer dans les chapitres et qui réserve à la noblesse la possession des états ecclésiastiques, jusqu'à ce qu'il plaise au Dieu des miséricordes de sécullariser une bonne fois tous les évêchés et toutes les abbayes, en anéantissant la religion catholique, apostolique et romaine. Au reste, si je suis instruit, le ci-devant comte de Falkenstein s'annonce très bien et très pacifiquement, et s'il suit bis Lehrsätze von Mohilev, Hermitage et Tsarsko-Sélo, comme cela en a l'air, il doublera, en moins de dix ans, sa puissance, sans verser une goutte de sang.

Nous avons possédé pendant une quinzaine de jours le prince Orlov, qui est allé passer l'hiver dans les provinces méridionales. Il n'a fait, suivant son usage et devoir, que deux visites, la première à Diderot, la seconde à moi. Il vint chez moi le jour même de l'apparition de l'ange Principati; j'étais encore bien malade, mais la pancarte impériale était dans ma poche. Je lui donnai par écrit le passage où il était question de sa tabatière, et j'étais tout fier d'avoir à m'acquitter d'un ordre de mon auguste Souveraine auprès du prince grand-maître de l'artillerie. J'ai trouvé sa santé meilleure que je n'espérais; en revanche, la princesse se dit fort malade, sans en avoir l'air. Je crois, s'ils voulaient, l'un et l'autre, renoncer aux remèdes et aux charlatans, ils se porteraient bien tous deux; mais la princesse croit qu'à force de drogues on la fera accoucher d'un petit prince Orlov. Le prince m'a promis de repasser l'été prochain, après avoir vu le paysan médecin de la

Suisse, appelé Michel. Je lui ai demandé s'il n'était pas honteux de voyager de charlatan en charlatan.

A propos de tabatière, il faut que j'aie l'honneur de dire à Votre Majesté Impériale que cette pancarte sera portée aux pieds de mon immortelle bienfaitrice par l'ange Principati, qui est de retour de Madrid et va retourner à Pétersbourg dans le séjour de la gloire. Qu'il emporte aussi dans une boîte, à l'adresse de l'Impératrice, le tableau en émail de la mort de Germanicus d'après le Poussin. Que j'ai payé ce tableau 30 louis: que tout le monde me jette la pierre, et dit que je ne l'ai pas payé assez, qu'il faudrait au moins en donner 10 louis en sus, parce que le peintre est vieux et pauvre comme un rat d'église; et qu'à moins que Votre Majesté ne me l'ordonne expressément, je n'en ferai rien, parce que je crois qu'on paie bien quand on donne le prix qu'on demande. Qu'à ce tableau j'ai ajouté une tabatière représentant le tombeau de Voltaire à Ferney, que j'envoie à mon Impératrice pour ses étrennes en signe de ma constante bienveillance. Qu'au mois d'octobre passé, avant de tomber malade, un baron de Bock, sujet livonien de Votre Majesté, allant droit d'ici à Pétersbourg et m'offrant ses services, je lui ai confié un Portrag avec des pâtes d'Auvergne toujours en pur don pour mon Impératrice.

Votre Majesté a excité un beau vacarme dans le ménage de M. et de Madame de Vergennes, qui était auparavant si paisible. Le mari a cru que j'avais eu l'esprit d'inventer cette tournure, comme Votre Majesté verra par la lettre ci-jointe. Quand je lui eus prouvé, papier à la main, qu'un souffre-douleur impérial ne mettait rien de son crû dans les ordres de l'Impératrice, il s'est fâché contre sa femme: «Vous perdez donc l'esprit, Madame, d'envoyer vos fourrures prendre l'air à Pétersbourg?»—Elle a nié. Je lui ai montré le corps du délit et lui ai donné copie du procès verbal. Elle m'a soutenu que jamais elle n'avait ni eu ni vu une aussi belle fourrure. Pour le coup, le mari a été de son avis. Je lui ai répondu: vous ne savez donc pas qu'on revient toujours plus beau de Pétersbourg qu'on n'y est allé? Vous devez l'avoir vu dans vos dépêches, sans me compter. Il a été obligé de se rendre. Ont-ils reconnu leur fourrure, ne l'ont-ils pas reconnue, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le Roi de France a été instruit de cette querelle de ménage, que madame de Vergennes est bien fâchée que le deuil que nous portons pour Marie Thérèse l'empêche de mettre en évidence sa belle fourrure heureusement de retour, et qu'elle m'a fait les plus grandes instances pour la mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale avec l'hommage de son profond respect et de sa reconnaissance. A cet égard je ne me suis engagé à rien; j'ai dit que, comme cha-

rité bien ordonnée commençait par elle-même, je comptais m'y mettre d'abord, et que s'il restait de la place, je ne manquerais pas de la lui donner, mais que je devais l'avertir d'avance que bien du monde était à ces pieds-là.

Votre Majesté Impériale trouvera à côté de la lettre de M. de Vergennes une lettre que M. de Haller m'a écrite au moment où je suis tombé malade. C'est le fils du grand Haller, honoré en son vivant de la bienveillance de l'Impératrice des Grecs. Il a lui-même beaucoup de talent, de mérite et de caractère. Il est à la tête de la première maison de banque de ce pays-ci; mais comme il est jeune et né sans fortune, je crois bien qu'il a besoin des fonds qu'il réclame. Je suis malheureusement obligé de convenir que tous les faits sont exactement vrais, et je l'abandonne ainsi que moi, suivant son conseil, à la clémence impériale.

C'est diabolique que cet empire de Russie soit au rebours de tous les autres pays. Dans la plupart des autres grandes monarchies tout se fait et se passe à l'insu du souverain, qui ne se mêle ordinairement ni des grandes ni des petites affaires; en Russie, au contraire, on ne peut réussir dans la plus petite bagatelle sans y mêler l'Impératrice. Cela vous désole un souffre-douleur. J'avais cru que l'équité et la justice suffiraient pour faire rendre sa pension à ce pauvre Gillet, qui bénit tous les jours l'Impératrice, les larmes aux yeux, des six mille livres que sa munificence lui a accordées; je me suis trompé: il ne lui reste aucune espérance à cet égard, excepté dans la protection immédiate de Votre Majesté Impériale. Je suis bien sûr que notre Impératrice ne souffrira jamais qu'un pauvre artiste qui a passé vingt ans de sa vie à son service, soit privé, sous les prétextes les plus frivoles et les plus mal fondés, d'une pension qui lui a été accordée en vertu des règlements de l'Académie, confirmés par la signature auguste de la souveraine. Lui ôter sa pension, c'est le condamner dans sa vieillesse à mourir de faim avec sa famille. Il espère que l'Impératrice, au milieu des soins de son empire, daignera jeter les jeux sur sa lettre, qui expose les faits. Il a été surtout sensible au reproche de malversation qui s'est glissé bien indiscrètement dans la lettre du secrétaire de l'Académie, tandis que Gillet n'a jamais eu ni voulu avoir aucun maniement de deniers et que l'Académie lui a donné à son départ la pancarte la plus honorable. Il m'est bien dur d'importuner l'Impératrice de ces ennuyeux détails; mais est-ce ma faute, si l'on ne peut réussir en rien sans l'avoir dans sa manche, si l'on ne peut ni conserver une pension de cinq cents roubles, ni faire une paix en Allemagne, ni rédiger un code maritime sans elle? Qu'elle s'en fâche donc contre qui il appartient; moi je n'y peux rien.

Mais il faut enrayer ici mes 250 pages, et économiser mes forces, qui en ont ridiculement besoin. Pour ennuyer mon auguste Souveraine plus souvent et pendant encore plus d'une année, il faut l'ennuyer à chaque séance moins longtemps, jusqu'à ce que mon sang porté à l'inflammation se montre plus traitable. Mon ange Principati est venu chez moi; en arrivant, chargé comme un mulet, il m'a pourtant assuré qu'il était expédié comme reitender Courier. Or je le défie d'avoir apporté à cheval tout ce qu'il avait pour moi. Je suis bien fâché de le laisser retourner au séjour de la gloire sans l'accabler de plus grands fardeaux. Il y a sur ma table beaucoup de pancartes du divin Reiffenstein. Je vais les expédier peu à peu par la poste, et ce sera l'affaire de quelques Vortrag. En attendant je vais ajouter ici la dernière de ses pancartes arrivée aujourdhui, à cause du Corrège dont il y est question; mais je lui manderai aussi de ne plus parler de tableaux: car personne n'approuve plus que moi l'héroïque résolution prise par notre auguste Souveraine de n'en plus acheter; personne n'est plus fâché que moi de lui dépenser tant d'argent tout le long de l'année. Par la lettre de Votre Majesté qui a suivi de près la divine pancarte, le pauvre souffre-douleur s'est trouvé de nouveau entre le marteau impérial et l'enclume du cyclope Clérisseau. Das iſt ein ſchwerer Stand. Cette lettre a rendu Clérisseau fou au moins pour la moitié, et comme il l'était déjà à moitié depuis que Minerve, en s'emparant de son trésor, l'a couvert de l'égide de sa gloire, Dieu seul peut prévoir de quelles portes triomphales, façades de palais et autres mièvreries il accouchera au milieu du vacarme, excité dans sa tête par la lettre de son auguste bienfaitrice.

On assure ici que le prince Bariatinski ne doit pas revenir. Tous mes collègues me le demandent deux fois par semaine. Je dis que je n'en sais rien, et que si nous le perdons, ce ne peut être que pour son bien. Si cela était, j'oserais demander à Votre Majesté à genoux le comte Nicolas Romantsov pour son successeur. Je croirai pouvoir engager ma vie qu'il se rendrait digne de cette grâce impériale, et moi je jouirais de la plus grande félicité dont je suis susceptible dans l'exil où je suis condamné de vivre loin de celle dont un regard peut disposer de ma destinée. Nun, der Herr gebe ihr ein glückſelig freudenreiches Jahr. Er ſey mit Seiner Geſalbten, und gebe mir die Gnade zu erſterben, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur Grimm.

A Paris, ce 1 (12) janvier 1781.

Mis aux pieds de Sa Majesté Impériale par son très humble, très obéissant et très fidèle souffre-douleur invalide, qui renaît de sa cendre dont il

a été couvert une partie de cet hiver, et qui va reprendre la plume incessamment pour écrire à Sa Majesté le plus pressé, c'est-à-dire, ce dont son coeur est le plus oppressé. Il espère que cela n'ira pas d'abord au delà de 240 ou 260 pages. Mais, mort ou vif, griffonnant ou non griffonnant, il tient l'autel de la divinité tutélaire de l'empire de Russie embrassé. Si cette divinité est adorée aujourd'hui dans toute l'Europe, son premir autel est dans mon coeur, et c'est là qu'elle est honorée avec le plus de ferveur, de zèle et de connaissance de cause.

Je mets aussi au pied de cet autel le billet que M. Necker m'a écrit en m'envoyant le livre.

A Paris, 8 (19) février 1781.

J'espère que mon ange Principati a déposé au pied de cet autel mon énorme pancarte confiée à ses soins.

№ 26.

A Paris, 27 février (10 mars) 1781.

Allerunterthänigster Vortrag, welcher vermuthlich sehr buntfarbig ausfallen wird, doch dieses ist dem allmächtigen Gott allein bewußt.

Ihm und unserer großen Kaiserin sey Ehre, Ruhm und Preis in Ewigkeit! Amen!

J'espère que mon ange Principati, parti d'ici au commencement de l'année russo-grecque, sera heureusement parvenu aux pieds de Votre Majesté Impériale, et qu'il y aura déposé ma pancarte № 51, avec une superbe et magnifique tabatière en écaille, dont j'ai gratifié notre Impératrice pour ses étrennes, de même que le tableau en émail de la mort de Germanicus que j'ai acheté par ses ordres. Il y a plus. Au mois d'octobre dernier j'ai confié un Vortrag et des pâtes d'Auvergne à un baron de Bock, sujet livonien de Votre Majesté, parce qu'il m'a dit qu'il allait d'ici à Pétersbourg comme un trait. J'ai besoin de savoir, pour la conservation de ma pauvre vie, que tout ce qui émane de mon coeur pour glorifier, exalter, quelquefois aussi ennuyer et impatienter notre grande Impératrice, parvient droit au pied de son trône, sans trouble ni empêchement quelconque, sans négligence ni infidélité de la part des porteurs.

Après le départ de mon ange Principati, que je nomme ainsi à juste titre, puisqu'il m'a sauvé la vie en m'apportant à point nommé une pancarte impériale salutifère, je comptais pouvoir immédiatement ennuyer mon

auguste Souveraine, moyennant nombre de Vortrag romains et parisiens; mais Dieu en a autrement ordonné. Quoique, grâce à la clémence impériale, j'eusse gagné le grand procès contre ma santé au mois de novembre dernier, j'ai encore eu tant de petits démêlés avec elle et plus insupportables que les gros différends, qu'il n'y a qu'une quinzaine de jours que je puis me regarder comme absolument délivré de toute chicane et reconduit par Esculape en personne au pied de l'autel de Minerve l'hyperboréenne, qui seule tient dans sa main la destinée de ma vie. Aussi Dieu sait comme je vais user de mon privilége de lui écrire, après tout ce que j'ai été obligé de garder sur mon pauvre coeur depuis tant de mois!

Mais il ne s'agit pas ici de se laisser aller aux mouvements de son coeur, ni de se laisser entraîner par le torrent des sentiments, avant d'avoir remédié à la stagnation que ma mauvaise conduite du mois de novembre et ses suites ont occasionnée dans les affaires de Votre Majesté Impériale. Si cette stagnation n'a pas été préjudiciable aux intérêts de mon auguste Souveraine, elle a été du moins très contrariante pour mon zèle, qui est naturellement si gonflé de vanité, que lorsqu'il est retardé dans sa marche, il voudrait me persuader que tout l'empire de Russie va en pâtir: ce qui prouve que Votre Majesté peut en toute sûreté me faire expédier un brevet de mouche du coche impérial.

Ce qu'il y a de plus pressé pour le moment, ce sont, Madame, les pancartes du divin Reiffenstein, si longtemps et si involontairement retardées par le souffre-douleur. Il faut les mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale.

Il paraît par la divine pancarte impériale que j'ai reçue sur mon grabat et qui m'a rendu à la vie, que l'Impératrice ne se souvient plus trop de ce qu'une autre divine pancarte impériale, écrite pendant ce voyage immortel de l'année dernière, m'a ordonné au sujet des rouets à filer de M. de Miller. Il faut donc, avant de supplier Votre Majesté de jeter les yeux sur les pancartes du divin qui y sont relatives, ainsi que sur les lettres de M. de Miller lui-même, que je copie ici, mot pour mot, le passage de la pancarte impériale, tel qu'il a été tracé à Plesko, le 16 mai dernier, par cette main auguste et sacrée qui tient entre ses doigts: 1° la destinée de toutes les Russies, 2° celle de l'Europe, 3° celle du souffre-douler impérial. Voici ce passage:

«Vous me demandez un brevet de marchand fripier; cela vient très à «propos, car cette ville manque d'industrie; située au milieu du lin, ils ne se «sont pas avisés jusqu' à présent, de mettre ce lin en oeuvre. Venez donc, «ou inoculez à quelqu' un votre talent du développement, et envoyez-le ici;

«il y développera peut-être l'industrie. Le divin Reiffenstein ferait très «bien d'envoyer quelques apprentis de son client Miller à Pétersbourg, «d'où, après avoir fait des sous-apprentis, nous les emploierions ici ou ail-«leurs selon l'utilité. Qu'il nous envoie du moins les modèles des rouets «qui filent et tordent à la fois».

Cet ordre est venu en réponse à la notification du divin que le roi de Sardaigne se trouvait très bien des élèves que le chevalier de Miller lui avait envoyés, lesquels élèves un ministre de Votre Majesté avait voulu engager à son service à son passage à Bologne. Je n'ai pu ni dû me dispenser de communiquer au divin cet ordre au plus vite, et voilà, depuis cet instant, et le divin et son chevalier Miller et même papa Braschi, qui aime Votre Majesté comme ses boyaux, tous trois conjurés pour développer l'industrie à filer et tordre à Plesko. Par l'étude sérieuse que Votre Majesté aura la bonté de faire de ces pancartes, elle apprendra:

1° que les machines et rouets qui ne savent que filer et tordre, comme d'autres machines ne savent que tordre et avaler, sont déjà à bord de l'escadre de l'amiral Borissov.

2° que trois élèves sont dressés et n'attendent que l'ordre de notre auguste Souveraine pour se rendre à Pétersbourg.

3° qu'il y a un quatrième sujet bien plus distingué et qui ne serait pas seulement propre à présider à cet établissement, mais encore à d'autres entreprises considérables, qui offre pareillement ses services à Votre Majesté. Les échantillons dont il s'agit sont entre mes mains, et j'espère pouvoir les joindre à ce très humble et très ennuyeux Vortrag.

Si Votre Majesté m'autorise à faire partir les trois sujets dressés pour Pétersbourg, où les rouets seront, à ce que j'espère, avant eux, elle daignera sans doute me dire à qui il faudra les adresser. Si le seigneur Huttin doit aussi marcher, pareil ordre m'est nécessaire par rapport à lui.

Comme je sais par coeur tout ce qui tient à la magnanimité impériale, j'ai cru de mon devoir de sonder le terrain d'avance auprès du divin, afin de n'être pas pris au dépourvu, quand l'Impératrice me demandera ce qu'il faut donner à M. de Miller pour ses rouets. Je vois qu'il ambitionne d'abord un titre, je ne me mêle pas de cela. Conseiller privé est un grand titre en Russie; en Allemagne aussi: mais quand en Allemagne on y ajoute quelque chose comme conseiller privé des finances ou conseiller privé de commerce, cela baisse le titre de conseiller privé de plusieurs crans. Je ne crois pas que ces sortes de conseillers privés mitigés existent en Russie. En général, quand on ajoute en Allemagne l'épithète de privé à un titre, c'est une preuve que la personne à qui on l'accorde est de la noblesse, voilà

tout. Le chevalier de Miller a été ministre d'état en Toscane, où on lui a suscité des tracasseries; il a quitté la partie et s'est retiré à Rome, où papa Braschi le traite fort bien, surtout quand il va à son audience pour lui parler de viscere sue, de ses boyaux, c'est-à-dire de l'Impératrice des Grecs.

Il plaira à Votre Majesté Impériale de remarquer, en étudiant la lettre du divin du 27 septembre, qu'il me faut une décision sur les armes impériales avec ou sans chiffre à substituer dans les Loges de Raphaël, et qu'il faut surtout m'envoyer les armes impériales avec le chiffre E^{II} bien coloriées dans toute leur étendue.

Il faut pareillement une décision au divin pour savoir s'il doit acheter ou non chez Jenkins ce portefeuille des dessins de Mengs dont il est question dans la même lettre du 27 septembre, de même que le tableau représentant l'étude appliquée, pour les ajouter aux emplettes de Mengs. Le portefeuille est un objet de mille sequins et le tableau de deux cents.

Après cela vient la proposition de Filippo Hackert sur deux objets, chacun de 360 sequins.

Je n'ennuierai certainement pas Votre Majesté Impériale de la correspondance très urgente que j'ai eu à soutenir pendant plus de deux mois avec Gaspard Santini, autre client du divin; elle était devenue très pressante au moment où une méchante fièvre me retenait dans mon lit. Des banquiers d'Amsterdam avaient payé plusieurs sommes à Santini pour le service de Votre Majesté; c'étaient ceux chez qui le feu baron amplissime avait établi le crédit de Santini. Tout-à-coup ces messieurs, sans prévenir Santini, tirent sur lui pour répéter ces sommes avec intérêts, apparemment parce que messieurs Hott leur avaient mandé qu'ils n'étaient plus chargés des ordres de la cour. Ils ont joué là un fort vilain jeu qui pouvait faire sauter Santini net; heureusement pour lui, son correspondant à Livourne accepta les lettres et fit honneur à la traite. Santini s'adressa à moi avec beaucoup d'anxiété pour savoir ce que cela signifiait. Jamais je ne fus si mal disposé pour remédier à une tracasserie imprévue. Cependant je fis divorce avec ma fièvre, je m'assurai des moyens de tirer Santini immédiatement de peine. Je n'ai jamais un écu, mais aussi je ne dois jamais une obole, et l'on se fie à ma parole. Je n'avais donc qu'à proférer le nom de Votre Majesté pour m'assurer, sur ma simple parole, des fonds dont j'avais besoin, et je fus en état de me remettre au lit, en écrivant à Santini: «tirez sur moi sans autre facon.» Huit jours après m'arriva avec la divine pancarte impériale une lettre de M. Bezborodka avec un crédit en Hollande de 50 mille florins, et je n'eus plus besoin des ressources que je m'étais

ménagées ici; mais je suis rancunier, et comme je crois que les procédés de la maison d'Amsterdam n'ont pas été réguliers, je désire qu'il lui soit défendu de s'immiscer dorénavant dans les affaires de Votre Majesté Impériale. Cette maison s'appelle Pye, Rich et Wilkieson, et je vois avec plaisir que le nouveau banquier de Votre Majesté, M. Southerland, tire sur messieurs Raymond et Théodore de Smeth d'Amsterdam. C'est dans cette maison que mon crédit est établi. Santini en a déjà disposé pour plus de 16 mille florins. Je lui ai ordonné de rendre directement compte de ses opérations à M. le général de Bezborodka, ce qui ne le dispensera pas de me tenir au courant, pour mettre des comptes sous les yeux de Votre Majesté. Pour le dire ici en passant, j'ai été aussi obligé de toucher ici sur ce crédit la somme de six mille livres tournois, pour payer les travaux du modèle auquel Clérisseau travaille avec un zèle sans relâche. Ce modèle de la porte de Pétersbourg à Moscou sera en état d'être expédié ce printemps pour le temple de la gloire, mais mon Rechnungs-Vortrag sera expédié encore plus tôt, afin que Votre Majesté connaisse l'état de ses fonds. Il doit me revenir pour le mois prochain une remise de 30 mille livres pour finir l'affaire du cabinet Zuckmantel. Des gens en qui j'ai confiance, m'assurent que ce cabinet est donné pour rien, et que l'Impératrice n'a jamais fait un aussi bon marché. Tant mieux. J'ai été assez cher pour elle, depuis qu'en ma qualité de souffre-douleur je lui dépense son argent de droite et de gauche.

Le divin et mon bras droit, Santini, mes sous-dépensiers, prétendent qu'il leur faut encore à peu près 30 mille scudi romani, non à la fois, mais successivement, pour liquider et les emplettes de Votre Majesté et l'entreprise entière des loges de Raphaël. Le plus court serait, si Votre Majesté n'a point de défiance de mon zèle et de ma probité, de me laisser dans la maison de messieurs de Smeth à Amsterdam un crédit toujours subsistant de 50 mille florins, de sorte qu'après chaque traite reconnue légitime, le crédit resterait toujours le même. Moyennant cette précaution je pourrais diriger les dépenses de Rome de façon à prévenir tous les retards et faux frais.

Mais après avoir si longtemps parlé d'argent, il faut que je dise à Votre Majesté que j'ai lu avec transport dans la divine pancarte impériale: «après les tableaux achetés chez Mengs et Jenkins je n'achèterai plus rien»; et je n'ai eu rien de plus pressé que d'en faire l'intimation au divin Reiffenstein. Je n'ai pas la conscience tranquille quand je pense à tout l'argent que j'ai fait sortir de la cassette impériale. Ce qui ajoute encore à mes remords, c'est l'état actuel du change. Je sais bien que ce ne sont ni les em-

plettes de Votre Majesté, ni peut-être le grand nombre de voyageurs russes qui influent éssentiellement sur l'état du change; c'est cette ridicule et détestable guerre qui, ruinant également presque toutes les marines marchandes de l'Europe, les oblige à rétrécir où à suspendre leurs spéculations jusqu'à la paix. Que le diable emporte les guerroyeurs! Votre Majesté ne trompe pas du moins mes espérances. Sa démarche est toujours noble, sage, assurée et méthodique. Voilà la médiation offerte aux Bataves et Bretons. Offert et accepté me paraît synonyme dans cette occasion: car je pense bien que ces derniers voudront se désenivrer aussi une fois, et quand ils auront rendu justice aux Bataves, pourquoi ne travaillerait-on pas, sous la même médiation auguste, à la réconciliation générale? Il faudra bien y venir tôt ou tard. On dit que les Anglais ont employé en dernier lieu feu M. de Falkenstein à cette besogne. Je le veux bien encore. Qu'il se concerte avec la grande Normal-Schulmeisterin, que tous les deux donnent la paix à l'Europe et à l'Amerique, et Joseph de Falkenstein aura prouvé que ce qu'il a dit à l'oreille de Catherine de Wundberg méritait de lui être confié: en secondant la politique éclairée et magnanime de son auguste amie, il aura guéri une partie de l'Europe de ses appréhensions sans doute injustes, et posé la première pierre à l'édifice de sa propre gloire.

Mais en attendant que cet ouvrage salutaire s'accomplisse, le souffre-douleur rêve dans son taudis aux moyens de relever le change sans attendre la paix. J'ai déjà vu avec satisfation que Votre Majesté avait permis la sortie de la potasse: plus on ouvrira de sources d'exportation, plus on approchera du remède; le comte de Schouvalov prétend que l'exportation du cuivre, sans avoir aucun inconvénient, aurait de grands avantages. Comme l'épidémie de doubler en cuivre est devenue générale dans les marines royales et guerrières, il est certain que cette branche de commerce doit éprouver une consommation considérable. Moi, en ma qualité de mouche du coche impérial, je voudrais faire des emprunts en Hollande et peut-être à Gênes, sans autre vue que de prévenir la baisse du change; et comme à la paix ce change haussera indubitablement dans la proportion de sa baisse, je prendrais ce moment pour le remboursement des capitaux. L'Impératrice me dira peut-être: «Souffre-douleur, qui t'a prié de déraisonner sur le change, et de m'ennuyer de tes déraisonnements?» Qui me l'a permis, Madame? Suis-je donc Collegienrath pour rien, et n'est-il pas de l'essence d'un conseiller de dire son avis à tort et à travers?

En cette même mienne qualité je n'ai pas perdu un instant pour faire passer à Votre Majesté le compte rendu par M. Necker au roi de France sur l'état de ses finances. C'est un exemplaire que l'auteur m'a donné pour

être offert à Votre Majesté. Cet ouvrage a fait ici une prodigieuse sensation; mais comme j'ai constamment observé que le public de ce pays-ci se vengeait tôt ou tard de l'enthousiasme et de l'engouement qu'on lui avait inspirés, je n'ai jamais eu autant de peur pour M. Necker qu'au moment où je le vois porté à son pinacle. Son ouvrage fera sûrement sensation dans toute l'Europe. J'ignore si Votre Majesté aura le temps de le lire, et si le dédale de la finance française qu'il faut parcourir, ne la rebutera pas. Une chose qui a frappé sur l'homme, quoique tout le monde ait pu le remarquer comme lui, c'est l'affirmation qu'il fait qu'il s'est constamment privé de la douce satisfaction de rien faire en faveur de l'amitié. Cela n'est pas consolant pour ceux auxquels il prend intérêt. Sans doute un ministre est d'abord homme public et ensuite ami, et M. Necker, étranger et protestant, avait besoin de plus de sévérité sur ce point qu'un autre. Mais l'amitié doit-elle être un titre d'exclusion, et quand une opération publique a fait du mal à quelqu' un auquel on prend intérêt, doit-on craindre de le réparer, de peur qu'on ne soit acccusé d'avoir accordé quelque chose à la faveur et à l'amitié? Voilà une question de casuiste difficile à décider. Ce qu'il y a de sûr et ce qu'on a observé, c'est que pour son intérêt il vaut mieux être l'ennemi de M. Necker et avoir eu des torts avec lui, que d'être son ami: car jamais il n'a rien pris ni retranché à ceux dont il avait à se plaindre, de peur qu'on ne le soupçonnât d'être guidé par la passion et par la vengeance, et jamais il n'a voulu réparer le mal que ses opérations ont fait à ses amis, de peur qu'on ne le crût partial en leur faveur. Cela est peut-être d'un grand caractère, mais que je ne me sens pas le courage d'envier.

Le brave Wagnière est venu me faire une visite de quinze jours, parce qu'il ne m'avait pas revu depuis son voyage au temple de la gloire. Il a été ici de maison en maison pour notifier que s'il n'était pas réduit à mourir de faim, lui et sa famille, c'est aux bienfaits de Votre Majesté qu'il en était redevable. Son voyage n'a pas eu d'autre objet que de faire cette notification générale. Il dit que son maître n'a aucun tort avec lui, mais que ses héritiers en ont eu de bien grands. Il m'a fait lire un précis qu'il a fait du dernier et fatal voyage de M. de Voltaire à Paris, qui m'a fait saigner le coeur. Il est écrit avec une vérité frappante et prouve à quel excès de misère le plus grand homme peut être exposé dans ses derniers moments. J'ai demandé à Wagnière s'il se ferait une peine de déposer cet écrit dans la bibliothèque de son maître à Pétersbourg. Il m'a promis de me l'envoyer de Ferney, et dès que je l'aurai, je le ferai passer à Votre Majesté Impériale par une voie sûre.

Votre Majesté ayant reçu de ma part de belles étrennes, soit dit sans reproche, croira peut-être qu'il est convenable de me donner aussi les miennes? Cela n'est plus nécessaire; j'y ai pourvu, et je me suis donné mes étrennnes de la part de mon auguste Souveraine. Ainsi je n'ai plus qu'à la remercier de ses bontés pour être parfaitement en règle. Voici le fait. Quand j'ai reçu l'ordre de faire exécuter par Weder une tête de Minerve de Tsarsko-Sélo pour servir de pendant à celle de l'Apollon de Belvedère faite par le même artiste, j'ai dit: pourquoi pas deux? Il y en aura une pour celui que l'Impératrice en jugera digne, et une autre pour le souffre-douleur. En conséquence Votre Majesté verra par la lettre du divin du 21 février que Weder en fait deux et que je ne tarderai pas à les recevoir toutes deux. Was wird aber unſere Kaiſerin dazu ſagen? Sie ſagt: ja, nun mein guter Schmerzleider, du biſt ein unverſchämter Schurke. Was iſt aber zu thun? Weil es nun ſchon ſo einmal iſt, ſo ſey's dir gegönnt: hierauf wirft ſich der Schmerzdulder der Kaiſerin zu Füßen, küßt Ihr die Hand und ſagt: Dank ſey der großen Catharina für dieſe neue, große und unausſprechliche Wohlthat! Mais comme l'impudence, quelque forte qu'elle soit, n'étouffe pourtant pas tout sentiment de justice, Votre Majesté est bien persuadée, à ce que j'espère, que la plus belle de ces têtes ira droit à Pétersbourg, et que le souffre-douleur se trouvera encore trop heureux de posséder la moins belle. Il se met, avec tous ses portraits, profils, bustes et commémorations, sous la sauve-garde de son auguste et immortelle Souveraine, en déposant à ses pieds l'hommage du plus profond respect.

№ 27.

Allerunterthänigſter eilfertiger Vortrag.

A Paris, ce 1 (12) mars 1781.

Madame, M. de Moulovski, capitaine de vaisseau de Votre Majesté Impériale, est allé comme un trait de Pétersbourg à Livourne, est venu comme un éclair de Livourne à Paris, et repart encore ce soir pour Pétersbourg. Son grand objet était de bien voir le port de Brest. A ma réquisition M. le marquis de Castries lui a donné une lettre de recommandation très forte pour le commandant du port du Brest, et ce commandant, pour faire honneur à la recommandation du ministre, a eu les plus grandes attentions pour le capitaine de vaisseau de Votre Majesté. M. de Moulovski me paraît infiniment satisfait de sa course. J'espérais qu'il s'arrêterait quelques jours à Paris; mais il repart encore ce soir pour Pétersbourg. Dans vingt

jours il aura le bonheur de voir l'Impératrice, comme je vois cette feuille de papier que je lui confie. Qu'ils sont heureux celui-là et celle-là!

Je profite du départ de M. de Moulovski pour faire passer à Votre Majesté Impériale d'abord toutes les pancartes et épitres de Rome, et puis bien des petites choses dont j'ai l'honneur de joindre ici la facture.

Les deux cuillères et le couteau d'argent sont une restatition qui vient de m'être faite par le marquis de Juigné. Il a découvert ces restes de sa vaisselle d'ambassade, à son grand étonnement, parmi sa vaisselle de Paris, et il s'est empressé de me les apporter comme des pièces qui ne lui appartiennent plus, depuis que l'Impératrice a acheté sa vaisselle d'ambassade. C'est un bon et loyal homme que ce marquis de Juigné, un peu citoyen peut-être, mais n'importe: il a conservé un grand fonds d'attachement pour Votre Majesté. Il regarde toujours comme un de ses devoirs les plus agréables de faire les honneurs de Paris à la nation Russe, et sa maison leur est toujours ouverte. Il est vrai que personne ne sait mieux que moi qu'on n'oublie plus l'Impératrice quand on a eu le bonheur de la voir. Le nombre de ses passionnés augmente ici de semaine en semaine, de jour en jour. Ceux qui l'ont vue, en parlent avec transport; ceux qui ne l'ont pas vue, projettent de la voir. Les pauvres gens viennent me conter leurs doléances, et osent comparer leur passion à la mienne. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un feu concentré, et qu'une seule étincelle échappée du mien les consumerait eux et leurs passions, quelques égards que je fusse disposé à leur accorder. Parmi ces passionnés mon conseiller d'état broche toujours sur le tout. Il a été obligé de renoncer à ses projets de course septentrionale, parce que M. le comte d'Artois l'a nommé l'année dernière son chancelier-garde des sceaux; mais il n'est pas guéri pour cela de sa maladie: il espère toujours qu'il pourra avoir un congé de six mois de son prince pour faire sa course. Parmi les autres malades, le maréchal de Noailles est un des plus attaqués. Pour le vicomte de la Herrera, que nous avons ici en passant depuis plusieurs mois, sa maladie est malheureusement très invétérée. Partout où il me trouve, je suis sûr qu'il ne me quittera plus et qu'il sera parlé de l'Impératrice jusqu'à extinction de forces naturelles. Il passe du poste de la Haie à celui de ministre d'Espagne près du figliolo de Naples; mais il m'a juré vingt fois que, quelque besoin qu'il ait d'un climat doux et du soleil de Naples, il repartirait avec transport pour la Russie si son maître voulait l'y renvoyer. Mais ce bonheur ne lui arrivera pas. Le marquis della Torre, qui doit remplacer le comte de Lascy, vient d'arriver ici et va continuer sa route sous peu de jours. Gott weiß wie viel ich armer Mann von allen diesen leidenden und kranken Seelen auszustehen habe!

Pour revenir à mon paquet de toile cirée, Votre Majesté y trouvera la comédie de maître Sedaine, à la réception de laquelle j'ai eu l'honneur de la préparer depuis bien longtemps. Je suivrai ma méthode, et ne dirai sûrement pas à Votre Majesté ce que j'en pense. Ce que je sais, c'est que si celle-ci n'est pas jouée sur le théâtre de Pétersbourg, ce ne sera pas par la raison qui a privé la pièce précédente des honneurs de la représentation. Maître Sedaine serait bien tenté de faire hommage à son auguste bienfaitrice d'une copie de sa tragédie en prose: Paris sauvé. Celle-là n'a pas été faite pour l'Impératrice; il y a plus de douze ans qu'une suite de cabales non interrompue l'empêche d'être jouée. Lorsque le roi de Suède vint en France, il y a dix ans, il en entendit la lecture, et lorsqu'il devint roi, il demanda à l'auteur une copie. L'auteur en offre une à notre auguste Souveraine, et moi j'attends son agrément pour l'accepter: si ces pièces sont jamais imprimées, elle ne pourra jamais échapper à l'épître dédicatoire que l'auteur lui destine.

Un autre hommage qui se trouve dans le paquet en toile cirée, c'est la nouvelle édition des Conversations d'Emilie en deux tomes, que l'auteur ose mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale. Si la premiere édition de cet ouvrage a pu s'attirer un regard favorable, l'auteur s'en est fait un titre pour réclamer l'indulgence de Votre Majesté. Elle était bien tentée de mettre le nom sacré et immortel de Catherine II à la tête de son livre, mais une pareille liberté ne peut se prendre sans une permission expresse; mais si jamais cette permission est accordée, il est à présumer que l'épitre dédicatoire ne se fera pas attendre, car je la crois faite, elle n'a besoin que d'être imprimée. Tout le monde ne verra pas peut-être que cet ouvrage est plutôt une instruction pour les mères que pour les filles, et qu'il apprend aux premières le secret de faire accoucher les enfants de leurs idées, en quoi consiste peut-être tout le secret de l'éducation. Au reste, si l'Impératrice, à qui il reste si peu de temps et, comme de raison, si peu d'envie de lire, daigne jeter les yeux sur ce livre en sa qualité de Normal-Schulmeisterin qui connaît le prix d'un livre élementaire, Emilie de Belsunce dit que son Impératrice n'ayant pas le temps de tout lire, doit passer les quatre premières Conversations ainsi que la sixième et septième, qui sont à peu près restées ce qu'elles étaient. On pourrait donc commencer par la cinquième et continuer par la huitième et suivantes. Cet ouvrage est un phénomène en ce qu'il a été composé au milieu des souffrances les plus cruelles et de malheurs et chagrins de toute espèce, et qu'il ne manque pas cependant de serénité, ni même de gaîté quelquefois. Quant à Emilie de Belsunce, qui a peut-être plus fait de ce livre que la mère, je ne sais si

elle est élevée dans la crainte du Seigneur, mais elle est sûrement élevée dans l'amour de l'Impératrice. Nous célébrons toutes ses fêtes. Tout le bien qui lui arrive, tous les petits agréments, tous les amusements même nous les devons toujours a l'Impératrice.

Il y a eu un bal superbe à l'hôtel du souffre-douleur: c'était le bal de l'Impératrice. Aussi toute la jeunesse russe y a brillé. Les Schouvalovs, Stroganov, Soltikov, Tchernichev, et vers la fin du bal la princesse Dachkov s'est montrée escortée de son fils et de sa fille. Toute cette profanation continuelle du nom sacré de l'Impératrice prouve manifestement qu'il y a parmi nous quelqu' un de bien malade d'un attachement épanché, à ce que disent les médecins: je meurs de peur que ce ne soit le souffre-douleur.

№ 25.

A Paris, ce 27 mars (7 avril) 1781.

Madame. Au milieu d'une pancarte que je griffonne depuis deux jours, pour qu'elle se trouve à point nommé aux pieds de Votre Majesté Impériale le 21 avril, ce qui veut dire pour les gens vulgaires à qui il ne faut pas toujours pot à part, le 2 mai, je reçois un monitoire de M. le comte de Vergennes, qui me prévient que si je veux profiter d'un courrier qu'il va dépêcher pour Pétersbourg, je n'ai pas un moment à perdre pour lui envoyer mon paquet. Da iſt nun meine Seelenruh ſchon verloren, car quand on me presse l'épée dans les reins, tout est dit et le sens commun va au fin fond de l'eau. Je n'ai donc garde de gâter ma pancarte; je la laisse là pour la finir à mon aise. Le plus grand de mes bonheurs, la plus grande de mes jouissances, c'est d'écrire de la bonne encre à mon auguste Souveraine, das muß nicht durch die Eile verdorben werden. Il vaut mieux que ma pancarte trotte par la voie ordinaire et arrive un peu plus tard à sa glorieuse destination, et que je la finisse avec le recueillement convenable à la faveur et à la dévotion qui m'enflamment au saint, doux et grand nom d'Ecatherine. Mais il ne faut pas non plus que le courrier de M. de Vergennes paraisse les mains vides dans des lieux remplis de Son génie et de Sa gloire. En conséquence Votre Majesté trouvera dans ce paquet:

1°. La continuation de l'Hospice de charité, par Madame Necker, ou le résultat de ses comptes de la dernière année.

2°. La tragédie de Zulime, par M. de Voltaire, manuscrit corrigé de la main de l'auteur, et qui doit par conséquent reposer dans sa bibliothèque. Il plaira à Votre Majesté Impériale de se rappeler que ce manuscrit m'a

été offert pour le gouffre impérial par un avocat de Chartres, et que Votre Majesté m'a autorisé à le prendre et à donner en retour une médaille d'or qui était restée entre mes mains. Or le souffre-douleur n'a pas voulu lâcher la médaille sans être sûr que ce gage de la bienveillance impériale remplissait parfaitement l'ambition de l'avocat: car, tant qu'il dépendra de lui, le souffre-douleur ne placera jamais le plus léger bienfait de son Impératrice sans s'être assuré d'avance de la plus profonde et la plus respectueuse reconnaissance, denn Perlen muß man nicht vor die Säue werfen, ſagt das heilige Evangelium. Cette considération a engagé une correspondance métaphysique entre le souffre-douleur et l'avocat, qui n'a duré qu'environ dix-huit mois, parce que d'un côté les occupations et la maladie du souffre-douleur, de l'autre la mort du père de l'avocat survenue au moment le plus chaud de la correspondance, ont mis de terribles entraves à la conclusion de l'affaire. Mais la preuve qu'elle a été terminée à la satisfaction réciproque des correspondants métaphysiques, gît dans la lettre ci-jointe: car l'avocat ne traiterait pas le souffre-douleur de Monseigneur, s'il n'était pas au comble de ses voeux et de sa gloire: pour l'Excellence, c'est une autre affaire, denn eine Art von Excellenz bin ich freylich, und die kleine Excellenz kann man mir nicht abſprechen. Maintenant j'attends les extases de Salomon Gessner sur ses deux énormes médailles d'or; les extases de l'abbé Galiani sur sa médaille en bronze sont déjà arrivées et suivront avec la pancarte entamée. Tant y a que toutes mes médailles impériales sont placées suivant les ordres et l'intention de mon auguste Souveraine, et qu'il n'en reste pas trace chez moi.

3°. M. de Montyon, conseiller d'etat et chancelier de M. le comte d'Artois, est un de ces hommes grièvement attaqués par cette terrible maladie qu'on appelle vulgairement die Catharinen-Sucht, oder nach Andern, die Nords-Minerven-Krankheit. Ich, als ſein Leibmedicus, habe einen harten Stand mit ihm. Ce pauvre malade avait autrefois sous ses ordres un M. Moheau qui a fait un ouvrage très estimé sur la population de France, et voilà qui s'avise de mettre dans la tête de ce M. Moheau, aujourd'hui placé dans les bureaux de la guerre à Versailles, qu'il faut qu'il fasse hommage de son livre à la dominatrice de toutes les Russies, qui doit se connaître, dit-il, en population. Moi j'accepte l'hommage de M. Moheau, et mets son livre et la lettre dont il l'a accompagné, aux pieds de cette fière, mais juste dominatrice dont le trident, non content de dominer sur la mer Caspienne, sur le pont Euxin et sur la Baltique, va dicter le code de l'équité et de la justice aux mers humiliées et outragées par la barbarie et les pirateries des requins de toute espèce.

J'ignore, Madame, si l'allié terrestre de Votre Majesté, en sa qualité d'académicien de Pétersbourg, a envoyé à notre auguste Protectrice une brochure de sa composition sur la littérature allemande. Comme je suis, par la grâce et iniquité spéciale de Votre Majesté, le confrère académique de cet auguste écrivain, il n'a pas manqué de m'envoyer son ouvrage, et je n'ai pu lui en faire mes remercîments sans entrer un peu dans la controverse. Ce livre a excité un grand scandale dans le Saint-Empire; un grand théologien et un grand médecin, l'un à Brunswick, l'autre à Breslau, l'ont déjà réfuté avec tout le respect dû à la tête grise et couronnée de l'auteur. La gazette littéraire de Göttingen en a aussi dit son avis. Nun iſt freylich nicht zu läugnen daß der erlauchte Herr Verfaſſer ſeiner Materie nicht gewachſen iſt, und von der deutſchen Sprache ohngefähr wie ein Blinder von den Farben urtheilt. Cela est bien moral pour ceux qui réfléchissent, de voir un grand prince et, qui pis est, une grande tête qui donne tous les jours un temps considérable à la lecture, vivre au milieu de sa patrie, dont la capitale possède plusieurs écrivains de la première force, sans en rien savoir, sans se douter que sa langue maternelle n'est plus celle qu'on parlait et écrivait il y a soixante ou quatre-vingts ans; et qui, de la meilleure foi du monde, ignore tout ce qu'on a écrit depuis quarante ans tout autour de lui, et la révolution qui est arrivée et dans la langue et dans les têtes allemandes, et qui par conséquent ne peut entrevoir que la plupart des écrits de sa patrie valent mieux que toutes ces brochures insipides qu'on voit paraître à Paris et où les idées de quelques grandes têtes sont répétées, délayées et défigurées en mille manières diverses.

Mais le courrier de M. de Vergennes fait claquer son fouet: il faut, si non plier bagage, du moins plier et fermer cette pancarte improprement dite. J'avais cependant encore de bien belles choses à dire; je vais retourner à ma pancarte commencée quand j'aurai porté ce paquet à Versailles.

Il faut que Votre Majesté Impériale sache que je compte fermement que le modèle de la porte de Pétersbourg à Moscou sera terminé avant la fin de ce mois, et que, sans attendre des ordres ultérieurs, comme dit le divin, je ferai partir ce modèle par terre pour Lubeck, où il plaira à Votre Majesté de le faire chercher; j'en marquerai le départ précis. Les tableaux Zuckmantel pourront descendre le Rhin jusqu' à Wesel et se rendre de là par terre à Lubeck à peu de frais, dès que j'aurai reçu les 30 mille livres qu'il me faut pour cet objet. Mais pour les tableaux Robinet et pour la statue du patriarche, deux objets qui sont payés par Sa Majesté, c'est une autre affaire. Je ne sais pas absolument comment, par quelle route et avec quelles précautions je dois les envoyer à Pétersbourg au milieu du gâ-

chis maritime qui subsiste, et j'attends sur cela une instruction impériale très précise.

J'ai vu avec satisfaction par les papiers publics qu'il a plu à Votre Majesté de se conformer à mes idées avant de les connaître, en ouvrant un emprunt en Hollande. Je veux absolument que le change remonte, que le gâchis maritime finisse, et que ce soit le trident de Catherine qui mette le holà. Mais on dirait que les Bataves attendent que tout le monde se batte pour eux avant qu'ils s'éveillent. Si cela est comme cela, je leur dirai comme le barbier de Séville: «que Dieu vous bénisse, et allez vous coucher, puisque vous ne savez vous lever.» Je suis de près den Kaiſerlichen Normalſchüler, Joseph de Falkenstein, et jusqu' à présent je suis fort content de ce qu'il a dit à l'oreille de Votre Majesté, et de ce que l'Impératrice a renfermé l'année dernière dans son coeur impérial. S'il continue, s'il entend ses intérêts, s'il est sage comme Minerve la magicienne, il pourra doubler sa puissance sans qu'il en coûte une goutte de sang à personne.

J'envoie à Votre Majesté un prospectus de Beaumarchais sur l'édition de Voltaire, qui sera incessament suivi d'un ennuyeux Vortrag du souffre-douleur. Pendant que le brave Wagnière était ici, sa fille Catherine, et en cette qualité filleule de Votre Majesté, m'a écrit une belle lettre. Je lui ai répondu: preiſe Gott und die Kaiſerin, car dans l'église orthodoxe luthérienne c'est un article de foi que les saints ou souffre-douleur sont sans crédit. Nun muß ich ſchließen mit dem 40 Pſalm: wie der Hirſch ſchreyet nach friſchem Waſſer, ſo ſchreyet meine Seele, o wohlthätige Selbſtherrſcherin, nach einer göttlichen Zeile von dir. Und meine Seele iſt und bleibt avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur Grimm.

Allerunterthänigster abgenöthigter Nachtrag zu № 53.

Ja, da macht nun unſere huldreichſte Kaiſerin gar ein verzweifelt Geſicht, und ſagt: Wenn der Kerl auch ſo gar wieder mit Nachträgen aufgezogen kommt: ſo muß ich ihn ohne Barmherzigkeit auf lebenlang mit ſeinen Schartecken aus meinem Reiche verbannen laſſen, denn ſeit dem Teſchner Frieden kommen mir die Nachträge wie Coloquinthen vor. Je sens, Madame, tout ce que je risque en prenant cette forme proscrite: cependant, quand on a jugé témérairement ses amis en présence de leur auguste protectrice, on doit courir après ses paroles, comme un basque, dès qu'on reconnaît leur injustice. A peine j'avais livré mon énorme paquet à M. le comte de Vergennes, que j'ai

appris, à n'en pouvoir douter, que les Bataves ne méritaient point mes reproches, que pour procéder un peu à la sournoise dans leurs préparatifs, ils n'y allaient pas moins bon jeu bon argent, et que lorsque le moment des préparatifs serait passé, ceux qui les ont provoqués auraient peut-être à se repentir de cette extravagante témérité. On m'assure que leur projet est de sortir tous à la fois comme un essaim de sa ruche et de tomber de tous côtés sur les dépouilles de leur anciens alliés, qui les ont si grièvement turlupinés. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les Bataves ont peut-être le meilleur port de La Manche, c'est celui de Flessingue; toutes les forces de la neutralité armée, y compris les vaisseaux les plus considérables, pourront y mouiller fort à leur aise et partager le canal britannique en deux; mais je crois que les géographes russes connaissent la position de Flessingue et la bonté de son port aussi bien que moi.

Il me semble que les Brittishmen n'ont pas reçu de nouvelles consolantes de l'Asie, et que celles d'Amérique ne sont pas meilleures. Mes épiciers Caroliniens se soutiennent très bien. Ils apprennent tout excepté à faire de l'or, parce qu'il ne convient pas aux chrétiens d'être sorciers; mais si on leur avait fourni honnêtement d'argent, je crois qu'il y a beau temps qu'ils auraient convaincu les drapiers qu'il faut les laisser tranquilles. C'est une étrange manie à papa George de croire qu'il pourra rentrer dans la maison de ses enfants après l'avoir incendiée six ans de suite. Nun das iſt ja eine pure Unmöglichkeit, ſagt unſere huldreiche Kaiſerin, und der Bürgermeiſter von Darmſtadt ſchnipſt ſeine zween Finger auf ſeine ſilberne Tobaksdoſe und ſagt: „das wird wohl ein wenig ſchwer halten, wenn auch unſer gnädigſter Landgraf ſein Bataillon dazu hergebe.“

J'apprends que les Français ont pris beaucoup de dépêches de la cour de Londres au général Clinton à bord d'un paquebot qui devait se rendre à Newyork. On y a trouvé aussi une lettre d'un banquier fort connu de Londres, qui rend compte à ce loyal Arnold dont l'acquisition au service britannique a coûté la vie à ce malheureux André généralement regretté. Par ce compte on voit que le coquin d'Arnold vient de placer cinq mille livres sterling dans les fonds d'Angleterre; c'est le prix du sang d'André. A la bonne heure, qu'on paie les trahisons, qu'on encourage et récompense les traîtres; c'est sans doute un mal nécessaire, mais qu'on accorde au traître l'habit d'honneur, l'uniforme militaire; qu'on le mette à la tête d'une expédition et que des officiers britanniques consentent à servir sous ses ordres, cela est nouveau dans les fastes de l'histoire. Je voudrais aussi savoir si l'Impératrice approuverait le chef de ses forces navales ou de terre, qui après la conquête d'une île ennemie y laisserait flotter le pavillon en-

nemi pour attraper tous ceux qui par ignorance tombent dans la gueule. C'est sûrement un tour de gens avisés; mais y a-t-il de quoi s'en vanter publiquement dans une depêche publiée d'office?

Nun, ſagt unſere allergnädigſte Kaiſerin, iſt aus dem souffre-douleur gar ein Zeitungsſchreiber geworden. Je quitte ce métier et la plume. Votre Majesté Impériale ne doit pas ignorer que M. de Hennin, chef de bureau des affaires étrangères, comme on dirait en Angleterre, sous-secrétaire d'état, a prêté jadis à M. de Voltaire un volume des oeuvres mêlées de Plutarque. Ce livre, qui a coûté quinze francs, a passé avec la bibliothèque du patriarche en Russie. M. de Hennin, dans le poste délicat où il se trouve, ne peut accepter aucun présent venant de l'étranger; mais il voudrait avoir en échange de son livre un autre livre imprimé en Russie, n'importe en quelle langue, de la valeur de quinze francs. Nun mein Abendgebet: Du, barmherziger Gott, erhalte Deine Geſalbte, die Selbſthalterin aller Reußen und aller Herzen!

A Paris, toujours le 7 avril 1781.

A Paris, ce 23 avril (4 mai) 1781.

Madame. Ce n'est pas la première fois que, n'étant rien moins que sorcier, j'ai pourtant su faire arriver à point nommé une pancarte aux pieds de mon auguste et immortelle bienfaitrice: tant le dieu des messagers se croit obligé d'avoir égard aux prières des justes. Je vais donc l'invoquer avec un redoublement de ferveur, pour qu'il remette mon paquet dans la plus belle et la plus redoutable main de l'univers connu, au jour préfix du 2 mai que les Grecs célèbrent obstinément le 21 avril, jour cabalistique qui pensa mettre le feu à la ville de Stettin, wie denn ich, kaiſerlicher Schmerzdulder, das Brandmal noch vor drey Jahren mit meinen ſterblichen Augen geſehen, welches aber doch nicht ſo tief in den Boden eingebrannt hat, als mein armes Herz iſt gebrandmarkt worden, pour avoir envisagé de trop près et trop longtemps celle qui naquit ce jour, pour être Deutſchlands Stolz, Rußlands Glück und Ruhm, für die Weiſen in den übrigen drey Welttheilen ein Wunder, und für die Gekrönten und Ungekrönten ein Räthſel; nun ſey Gott ihnen und meinem armen Herzen gnädig und barmherzig! Was es aber mit mir für ein Ende nehmen wird, das weiß Er, der Allwiſſende, alleine.

Si donc cette pancarte arrive à point nommé, elle rappellera à Votre Majesté Impériale qu'au même instant où les voeux de la Russie retentis-

sent dans les rues, dans les airs, au palais impérial, le taudis du souffre-douleur est sens dessus-dessous; toutes les morveuses sont en l'air à cause de la solennité du jour. Toutes ces morveuses deviennent d'année en année moins morveuses: elles se marient l'une après l'autre à la barbe du souffre-douleur, mais cela ne leur ôte pas le goût de célébrer celle dont le nom est révéré depuis les bords de la Newa jusqu'au delà du fleuve des Amazones: cela les met seulement dans l'obligation de produire d'autres morveuses pour transmettre l'usage de célébrer le 2 mai de génération en génération. Avec tout le train qu'elles feront chez moi, j'aimerais mieux me trouver ce jour-là à huit cents lieues d'ici, comme par exemple à Pétersbourg, dans la suite de monsieur Alexandre, en qualité de son portemanteau oder Schweifträger, lorsqu'il ira en gala rendre ses respects à l'Impératrice. Voilà un pis-aller dont je m'accommoderais prodigieusement; mais monsieur Alexandre dit qu'il ira bien chez l'Impératrice sans portemanteau, et me renvoie à garder les manteaux de mes morveuses.

Si Votre Majesté, qui aime à répandre le bonheur tout autour d'elle à onze ou douze mille verstes à la ronde, avait à coeur d'ajouter à mon bonheur ce jour-là, je doute qu'elle en vînt à bout, car ce jour est un mercredi, et à moins d'un courrier extraordinaire, rien n'arrive de Russie ce jour-là; mais le lendemain est le jour de poste ordinaire de Pétersbourg, et comme il n'y a point de bonne fête sans lendemain, ſo würden ja alle böſe Geiſter jämmerlich kräuſchen und zappeln, wenn juſt an dieſem Tag aus purer Kaiſerlichen Huld und Großmuth ein kleines Kaiſerliches Pankärtchen an den armen Schmerzdulder einliefe. Wie würde der arme Tropf ſich aufblähen, da er ſchon ſo lange Zeit hungert und durſtet, und ſeit dem hohen Catharinenfeſte des vorigen Jahres, wo er eben im Begriff war nach der andern Welt abzuſegeln, und wo ihn noch zu rechter Zeit ein kaiſerlicher huldreicher Blick zurück berufen, nichts von dem göttlichen Manna genoſſen, welches doch der es einmal genoſſen, nimmer mehr entbehren kann. Mais si l'on ne peut s'en passer, on a encore moins le droit de le solliciter; il faut l'attendre avec confiance et résignation, et s'il ne vient plus, nun ſo biſt du ja, Kerl, alt genug, und kannſt nun vor Kummer und Gram verzagen. En l'attendant, je cherche comme une âme en peine, à droite et à gauche, celui qui pourra me dire des nouvelles de celle dont un regard peut faire ma destinée, et j'ai la consolation d'entendre de tous côtés: l'Impératrice se porte parfaitement bien; elle travaille avec plus d'application et d'ardeur que jamais; rien ne peut ni arrêter ni ralentir cette ardeur inextinguible pour la gloire et la prospérité de l'empire; ja nun, das kömmt mir auch ganz glaublich vor, denn als einen hartnäckigen Kopf habe ich ſie allezeit gekannt, und wo ſie anbeißt, da ſetzt ſie durch.

J'ignore, Madame, encore à l'heure qu'il est, le sort de mes paquets expédiés en octobre par le baron de Bock, en janvier par mon ange et sauveur Principati, en mars par M. Moulovski. Ce dernier a emporté, entre autres choses, une nouvelle comédie de maître Sedaine, qui s'estimera bien heureux si elle obtient les honneurs de la représentation, et les Conversations d'Emilie, sur lesquelles le grand Huber de Genève m'a écrit une lettre originale comme lui, et qu'il faut que je dépose dans mes archives de Pétersbourg, c'est-à-dire dans la cheminée impériale.

D'original à original, à quelque distance qu'ils se trouvent, que ce soit Genève ou Naples ou Pétersbourg, il n'y a jamais bien loin, ainsi donc le grand Huber me conduit tout naturellement à Naples chez le charmant petit abbé, et celui-ci me mène droit, avec mes pancartes très injurieuses pour moi, aux pieds de mon auguste Souveraine. J'ai été un peu furieux contre Votre Majesté, en remarquant dans la dernière pancarte divine et salutifère cet excès de délicatesse qui lui fait tout de suite enfermer la partition du Carmen Saeculare de Philidor sous la clef et hermétiquement, parce que j'ai osé la supplier de ne point permettre qu'on en tire des copies, dans la vue de faire imprimer ou graver cette musique. Cela ne s'appelle-t-il pas renverser la charrette de l'autre côté? Si l'Impératrice a si magnifiquement et si impérialement payé une copie de cette musique, simplement pour l'avoir sous clef, il est évident que j'aurais pu du moins lui en épargner le port de Paris à Pétersbourg: car, en la tenant ici sous ma clef en ma qualité de Kaiſerlicher Muſikverwahrer, elle eût été tout aussi bien gardée. Je connais des caractères violents qui disent: de quoi se mêle donc cette Impératrice de mettre dans le commerce de la vie privée, dans les plus petites choses, autant d'égards, de discrétion, de réserve, de délicatesse als unſer einer? De quel droit empiète-t-elle sur les vertus des particuliers, tandis qu'aucun particulier ne peut empiéter sur aucune de ses qualités impériales? Il faut que j'avale tous ces propos, et que je reste court. Votre Majesté me fera plaisir de me mander ce que je puis répondre à cela, denn es thut mir leid ſo große Beſchwerden auf meine Kaiſerin kommen zu laßen. Je leur dis quelquefois: vous vous fâchez là pour des babioles; c'est bien pis quand on la voit de près: denn in ihrem ganzen Handthieren iſt ſie gar eine wunderliche oder wunderbare Frau. Croiriez-vous, messieurs, que la première fois que je me suis trouvé dans ce Tsarsko-Sélo où la création a établi sa boutique avec tous ses outils de sorcellerie, elle a voulu savoir si j'étais bien logé, bien fermé, bien chauffé, et parce qu'elle a imaginé que je n'étais pas assez près du poêle, elle a fait un vacarme de l'autre monde?—Qui? l'Impératrice?—Elle même. — Allons, souffre-douleur, vous êtes fou. — Demandez-lui plutôt,

et si j'ai dit un mot qui ne soit pas exact, je ne veux plus de ma vie recevoir une seule ligne tracée par sa main sacrée. Et quand j'ai voulu lui dire son fait, quand je lui ai demandé de quoi elle se mêlait, elle m'a demandé à son tour si une maîtresse de maison ne devait pas savoir si les gens qu'elle avait invités étaient bien logés chez elle; juſt eben ſo als wenn ſie eine gnädige Frau auf einem furländiſchen Adelſitz wäre. Et tout cela ne l'empêche pas de mener sa petite barque, Slava Rossii genannt, comme si de rien n'était, et de se mêler encore à droite et à gauche de bien de petites choses dont le genre humain se souviendra. Wenn ich nun ſolche Sachen zu erzählen gezwungen bin, ſo vergißt man des großen Philidor Partiture, man ſieht mich mit ſtarren oder ſchielen neidiſchen Augen an und ruft aus: nun ſo muß ſchwer und hart bey ihr zu leben ſeyn. Alors le souffre-douleur se met à fondre en larmes, und ſagt: das weiß der lebendige Gott! Il faudra pourtant qu'il plaise à Votre Majesté de tirer cette partition de Philidor de sa prison et de voir ce qu'elle en voudra faire. Le petit charmant abbé, tout en disant qu'il lui est impossible de faire un programme pour l'hymne séculaire d'Horace, m'a envoyé l'esquisse ou le projet d'une fête magnifique. Je garde cette esquisse parce qu'elle est en italien. J'ai ordonné à la fille de Diderot d'en faire la traduction que je mets sous les yeux de mon auguste Souveraine; c'est une grande faveur que j'ai accordée à cette ex-morveuse, en la choisissant de préférence pour traductrice. Votre Majesté sait que je suis un esprit très borné; ainsi je n'avais pas encore compris jusqu'à présent, à quoi bon cette peste dont il a plu au Seigneur dans sa miséricorde de visiter la ville de Moscou sous le règne de Catherine II. L'hymne séculaire m'en a donné la clef. C'est pour procurer à l'empire russe une ressemblance de plus avec l'empire romain; c'est pour offrir à l'Impératrice des Grecs une occasion toute pareille à celle que saisit l'Imperator des Romains pour célébrer des jeux séculaires. Il exerçait, parmi ses dignités, celle de pontife souverain, comme elle compte parmi les siennes celle de chef de son église; il était le maître du monde par la force des armes, elle en est devenue l'arbitre par une séduction diabolique étayée sur trois pierres plus dures que celle sur laquelle le divin Sauveur a fondé son église; ces trois pierres s'appellent de leur nom de baptême, justice, modération, fermeté. J'espère que Votre Majesté voudra bien me faire savoir si elle daigne accorder sa protection à ce projet, et s'il doit avoir lieu cette année ou l'année prochaine. Le jour de l'avénement au trône paraît plus particulièrement appartenir à cette solennité. Si les jeux séculaires doivent se célébrer cette année, ce sera pour commencer sous leurs auspices la vingtième année der Zauber-Regierung; si on les renvoie à l'année prochaine, ce sera après l'accomplissement de cette

vingtième année; de quelque manière qu'on les célèbre, cela ne sera pas une fête sans caractère et sans physionomie. Daß aber die Kaiſerin glücklich und glorreich zwanzig Jahre durchregiert hat, sans s'être ennuyée un quart d'heure pendant ces vingt ans, welches doch eine der allergewöhnlichſten Thronkrankheiten iſt, und daß ſie deswegen der göttlichen Fürſehung kein Freudenfeſt anſtellen wolle, das kann ich nicht glauben, denn das wäre eine grauſame Undankbarkeit gegen den Himmel. Le paüvre Philidor, qui pour être le premier homme du monde in einem großen und unentbehrlichen Fach, nämlich im Schachſpiel, n'en est pas plus riche, et qui se trouve plus chargé d'enfants que d'écus, ne désespère pas que Votre Majesté, après l'avoir si magnifiquement, si généreusement, si gratuitement récompensé, ne permette encore qu'il fasse graver et publier sa partition pour en tirer quelque profit encore et pour satisfaire les amateurs en Angleterre et en France; mais si cette musique doit véritablement servir à célébrer les jeux séculaires de la Russie, il se garderait bien de la publier avant qu'elle ait rempli cette glorieuse destination. Bien plus: si Votre Majesté Impériale était décidée de donner, pour l'exécution de cette musique, une fête à peu près dans le goût du programme de l'abbé Galiani, Philidor formerait un projet bien plus ambitieux: il s'associerait ici avec Cochin, qui ferait une demi-douzaine de dessins représentant les cérémonies religieuses qui auraient eu lieu à la cour de Votre Majesté pour l'exécution du Carmen Saeculare d'Horace; ces dessins seraient gravés en même temps que la partition et associés à la musique pour faire un monument durable de l'honneur qu'Horace et Philidor auraient reçu en Russie sous le règne de Catherine II. Un mot de Votre Majesté nous guidera dans ce que nous devons entreprendre ou laisser. Quand le programme dit que ces fêtes doivent durer trois jours, il a tort. Elles duraient trois jours à Rome, parce que c'étaient des fêtes religieuses où il s'agissait de remplir différents devoirs envers les dieux, comme nous fêtons trois jours de Noël ou de Pâques; mais en Russie, où l'imitation et le renouvellement de cette fête n'est au fond qu'une représentation théâtrale, je ne dis pas que les jeux séculaires ne doivent durer plusieurs jours pour l'heureuse continuation du règne de Catherine II; mais tout ce qui est renfermé dans le programme et tout ce qui a trait au poëme séculaire d'Horace doit être exécuté en une seule fois et dans le même jour, sauf à répéter ensuite cette fête, en cas de succès, en petit sur le théâtre de la cour, en commémoration de cette époque solennelle, autant de fois que son succès le comportera.

Puisque me voila embourbé dans mon bourbier favori, la musique, je ne doute pas un instant que Votre Majesté n'ordonne très gracieusement

qu'on m'expédie par le premier courrier la partition ou lo Spartito d'Alcide al bivio del nostro Paisiello, bien entendu qu'avant que ce bienfait impérial me soit expédié, le grand Paisiello en fasse une révision très soignée lui-même, car l'Antigona de Traetta que je possède, grâces aux bontés de mon auguste Souveraine, m'est arrivée si défigurée par le copiste, si chargée de fautes, qu'à moins de l'envoyer à Traetta dans l'autre monde pour me la faire corriger, je dois désespérer de la posséder dans toute sa pureté virginale. C'est dommage que Votre Majesté Impériale se soit toujours mêlée de régner depuis qu'elle est sur le trône. Ces petites occupations la détournent d'autres soins importants, comme celui de rafraîchir la bibliothèque musicale de son souffre-douleur, de lui envoyer successivement tous les opéras qui ont été joués depuis que Catherine II occupe le trône de toutes les Russies. Voilà comme les petites affaires absorbent les grandes, et qu'il y aura plus tôt vingt-deux gouvernements créés, institués, établis, revus et corrigés que je ne me trouverai en possession des trésors de génie jadis renfermés sous la clef de M. le franc-maçon Yélaguine, aujourd'hui sous celle de M. de Bibikov. Quand une fois les jérémiades commencent, on ne doit pas les abréger; à Rome elles durent trois jours, et dureront peut-être avec le temps tout le long de l'année. Il y a bien trois ans que le petit portrait de l'Impératrice à cheval en uniforme des gardes, que j'ai reluqué à Copenhague chez Ericson, m'a été à peu près promis par mon auguste Souveraine. J'ai beau chercher de tous les côtés dans mon taudis, je ne puis le découvrir, je n'y trouve que la place qui l'attend depuis trois ans. Il serait cependant en pays de connaissance, et novissimé j'ai acquis le petit buste de porcelaine qu'on a fait à la manufacture de Sèvres, pour le faire briller sur ma cheminée comme il brille sur le service du prince Potemkine. Si les dix-neuf portraits de l'Impératrice dont je suis jusqu'à présent en possession, ne me suffisent pas, c'est qu'un sacristain qui est digne de son emploi doit avoir sa divinité sous tous les rapports possibles. Qui diable! s'imaginerait que jusque dans le faubourg de Péra à Constantinople il se trouverait des gens capables d'importuner le sacristain dans sa petite chapelle borgne, au milieu de ses dix-neuf images minerviques? Le chevalier de Saint-Priest écrit à son ami, M. de la Reinière, à Paris: «Procurez moi, à quelque prix que ce soit, un portrait bien ressemblant de l'Impératrice de Russie; vous le ferez copier à mes dépens par un habile peintre, et je vous manderai comment vous me le ferez parvenir ici». N'ayez pas peur que M. de la Reinière s'adresse à M. Roslin; c'est au sacristain qu'il a recours, c'est chez lui qu'il veut faire copier. En cela je ne veux pas tout à fait le désapprouver; mais comme le sacristain, au milieu de ses dix-neuf

portraits, n'en a pas un seul dont il soit content; comme il voit toujours dans sa tête un portrait de l'Impératrice tel qu'il ne l'a encore vu sur aucune toile, on peut aisément s'imaginer dans quelle perplexité le mettent les demandes des ambassadeurs auprès de la sublime Porte. Enfin le peintre parisien doit essayer à composer un portrait sous ma direction, en prenant dans deux ou trois des miens, sous ma dictée, ce qu'il faut pour en créer un parfait, cela deviendra ou sublime ou détestable. S'il réussit, il en fera aussi une copie pour moi; ce sera mon № 20, et si le petit Ericson ne se dépêche pas, il ne pourra obtenir que le № 21.

J'en étais là le 7 avril de notre style dédaigné en Russie, lorsqu'un billet de M. de Vergennes m'avertit que je n'ai pas un instant à perdre si je veux profiter d'un courrier qu'il va dépêcher pour Pétersbourg. Aussitôt je laisse là mon griffonage, je me mets à barbouiller une nouvelle pancarte № 53, je l'enferme dans un gros paquet composé d'un livre sur la population, qui attendait chez moi depuis quelque temps une occasion, et d'une ancienne tragédie manuscrite du grand Voltaire, pour laquelle un avocat de Chartres a reçu de la munificence impériale une médaille d'or, ce qui l'a rendu plus fier qu'un Artaban; et je dis à ma pancarte № 53, à peu près comme dans les Tristes d'Ovide: «bon voyage, chère pancarte, bon voyage. Tu seras peut-être assez heureuse pour traîner sur la table de l'Impératrice à côté du tricot impérial; elle jettera sur toi un regard plein de bonté, tandis que ton griffonneur, loin de son regard auguste».... Ovide écrivait à peu près ainsi à Rome des rives du Pont-Euxin environ deux mille ans avant que l'aigle de l'Impératrice Catherine dominât sur ces rives; et moi qui ne vis pas dans le pays des Gètes, j'envie sa solitude, dont il s'ennuyait si fort. Jamais je n'aimais le tourbillon de Paris, mais il me devient de jour en jour plus insupportable; et si je suis obligé d'y achever ma vie, si je ne puis m'enfermer dans quelque retraite champêtre pour y digérer le passé, j'achèverai ma vie dans les regrets et dans l'amertume. Après avoir remis à M. de Vergennes mon № 53, j'étais pressé de reprendre celui-ci, pour le faire courir après son successeur. Ah, je t'en souhaite! Un mois s'est presque écoulé avant que j'aie pu continuer ma pauvre pancarte. Un mois entier! tandis que je ne respire que pour griffonner et déposer le griffonnage sur le trépied sacré de la Pythonisse couronnée! Avant-hier son anniversaire auguste a été célébré avec la plus grande pompe par toutes les morveuses, ex-morveuses et morveuses postulantes dans le taudis du souffre-douleur. Hier il n'y a pas eu de lendemain, car la poste de Pétersbourg est bien arrivée, mais sans aucun Labſal für dieſen armen Tropfen: l'Impératrice n'a plus d'encre dans son écritoire um dieſen bedrängten Mann

in ſeinen Drangſalen zu erquicken. Aujourd'hui il faut que ce N traîneur détale, coûte que coûte, vers sa glorieuse destination. Qui peut donc être assez barbare pour empêcher ce pauvre Ouen-Ouang de griffonner tout à son aise, surtout dans ce temps einer anhaltenden Dürre, où la rosée bienfaisante de son Impératrice s'est entièrement retirée de lui? Qui? L'Impératrice toute seule. Aussi je veux lui chanter cet air terrible, dès que Paisiello m'en aura fait et envoyé la musique:

Tu mi da me dividi,
Barbara, tu m' uccidi:
Tutto il tormento mio
Tutto mi vien da te.

Que Paisiello me fasse un air sublime, et je le chanterai avec une bravura qui partira du coeur. Tu mi da me dividi est surtout frappant. Jamais homme a-t-il été plus cruellement partagé en deux que moi? La moitié, les trois quarts à Pétersbourg, le reste végétant ici; ce qui me confond, c'est que cela ait pu durer jusqu'à présent. Votre Majesté me dira peut-être qu'elle ne pense pas seulement à moi, et que par conséquent il n'y a sûrement pas de sa faute si je ne lui écris pas tout mon soûl et tout à mon aise. Voilà comme sont les souverains: tout le mal qu'ils ne font pas avec leurs dix doigts, ils s'en lavent les mains; mais ils n'en sont pas plus innocents. Je suis un des hommes les plus tourmentés qu'il y ait sur la terre. Et pourquoi? Toujours à cause de l'Impératrice. Il ne se passe pas un jour qu'on ne vienne m'accabler de visites, de lettres, de propositions de toute espèce. Je passe ma vie en audiences inutiles, à écouter, à lire des lettres, à y répondre, à refuser, au lieu de me recueillir, de vivre au pied de l'autel où l'immortalité réside, à côté de l'objet de mon culte, d'y vivre jour et nuit. O distraction funeste et déplorable! Votre Majesté me dira: tu es bien fou d'écouter tous ces gens-là; que ne les envoies-tu promener? pourquoi perds-tu ton temps à répondre? Cela est bientôt dit, mais quand on ne veut pas se faire une foule d'ennemis, il faut au moins refuser poliment, il faut répéter sans fin et sans cesse que les bontés de l'Impératrice ne me donnent aucun droit d'en abuser, en me chargeant, sans qualité et sans permission, de toute espèce de propositions. La plupart du temps tous ces proposants se font étayer de protections considérables, auxquelles il faut aussi motiver son refus; et des semaines, des mois s'écoulent, sans que je puisse satisfaire le besoin le plus impérieux de mon coeur. O détestable emploi de la vie! Je regrette le temps où le culte de Minerve l'hyperboréenne

n'était pas reçu en ce pays-ci. Je l'adorais en silence, et l'on ne m'empêchait pas de lui parler, à force de me parler d'elle. Il ne faut cependant rien outrer. Si je l'accuse de tout le mal qui m'arrive, c'est bien entendu que tout le bien me vient aussi de cette source inépuisable. Nous avons ici, depuis le commencement de l'hiver dernier, une jeune polonaise, Godska de son nom, divorcée d'un prince Sangusko et qui a épousé l'année passée un prince de Nassau établi en France et qui n'est pas reconnu en Allemagne. J'avais vu cette jeune princesse, au moment de son premier mariage, à Varsovie, elle m'a recherché ici avec un empressement extrême; j'ai fait le cruel pendant quelques mois, et puis elle a fini par me subjuger. C'est un plaisir de l'entendre parler de l'Impératrice, et faire taire tout ce bourdonnement de hannetons qui se permettent par exemple de parler des affaires de Pologne sans en avoir les premières notions. Il faut voir avec quelle facilité elle dissipe, déconcerte et anéantit tous ces hableurs. Je sais que sur des circonstances essentielles de quelques événements arrivés en Pologne elle a rectifié les notions de gens qui par leurs places devraient être bien instruits. Elle me paraît quelquefois ressembler à Jésus-Christ assis à l'âge de douze ans au milieu des docteurs dans le temple. Elle a bien le double de l'âge de son Sauveur; mais c'est toujours un spectacle intéressant de voir la jeunesse et les grâces donner des leçons de sagesse et des instructions aux gens barbus. Je n'ai donc pas pu me dépêtrer d'elle; elle a fait ma conquête, et malgré l'austérité de ma retraite, il faut que j'aille une fois la semaine, quelquefois deux, l'entendre parler de l'Impératrice et lui en parler. Elle caractérisa, l'autre jour, dans un cercle assez nombreux, l'esprit de gouvernement dans les trois partages de la Pologne. Après avoir remarqué que le sol de la Russie Blanche était le moins bon des trois partages, elle dit: «Si j'avais des terres dans le partage prussien, je m'estimerais heureuse d'en perdre la moitié pour transporter l'autre dans la Russie Blanche, et si j'en avais dans la portion autrichienne, je me féliciterais d'en perdre les trois quarts pour obtenir un quart dans la Russie Blanche». Elle nous détailla ensuite les raisons de ce désir et de sa graduation avec autant de netteté que d'éloquence. Helas! quant à moi, elle prêchait un converti. Qui sait mieux que moi et les gens de Riga, combien il est doux de vivre sous la domination de la Russie blanche, rouge ou verte, petite ou grande, de quelque couleur ou corpulence qu'elle soit?

Il n'est pourtant ni juste ni possible, Madame, que Votre Majesté Impériale échappe à toutes les tribulations auxquelles son fidèle serviteur est ici en proie. Je n'en veux servir que deux petites pour entremets sur la table de l'Impératrice.

Premier plat d'entremets.

Il y a ici M. Cozette, directeur général de la manufacture royale des gobelins; c'est un artiste d'un mérite supérieur, et peut-être unique en son genre; il copie les plus beaux tableaux, tapisserie, façon des gobelins, d'une manière à s'y tromper; il faut avoir le nez sur le tableau pour s'apercevoir que c'est de la tapisserie. Il a fait entre autres le portrait de l'Empereur pendant son séjour en France, que la reine a, je crois, envoyé ensuite à son frère. Cet artiste est possédé de la fureur de faire un tableau pour l'Impératrice des Grecs, et il y a plus de dix-huit mois qu'il me tourmente; l'année dernière il m'apporta un superbe Rembrandt copié d'après un tableau de la collection du Palais-Royal. Je crus m'être tiré d'affaire en lui disant, contre ma conscience, que l'Impératrice n'aimait pas les tableaux de ce maître. Point du tout. Cette année il est revenu à la charge, m'apportant une superbe Sybille copiée d'après un tableau du Palais-Royal del Dominichino et me disant: «Voilà un tableau dans le style que l'Impératrice aime». Je demande ce que l'Impératrice ferait à la place de son souffre-douleur? J'ai beau dire que je n'ai aucun ordre de rien acheter, cet homme me répond qu'il ne me propose pas d'acheter, mais d'obtenir à son tableau une place dans la galerie impériale. Que faut-il faire? Au reste, je sais que des particuliers paient depuis trois mille jusqu'à 600 livres d'un pareil tableau; ainsi, en donnant 4 mille livres, il serait parfaitement payé, et la gloire de l'artiste serait à son comble. Voilà ce que c'est pourtant que d'avoir vingt portraits sans en avoir un seul tel que je le vois dans ma tête. Si j'en avais, un M. Cozette me l'exécuterait bien vite en tapisserie, et je crois que j'aurais le courage de m'en détacher pour l'envoyer à Votre Majesté. Mais l'Impératrice envoie ses beaux portraits à Vienne, et point dans le taudis de son souffre-douleur. Au reste s'il voyait ces portraits arrivés à Vienne, peut-être n'en serait-il pas content, denn das iſt wahr, über dieſen Punct iſt er ein gar frittlicher Menſch.

Second plat d'entremets.

Nous avons ici un peintre de batailles nommé Le Paon, qui n'est pas, certes, non plus un homme médiocre. Cet homme n'a pas commencé sa carrière d'une manière commune. Tourmenté par son génie et toujours porté à peindre les combats et les scènes militaires, à peine eut-il atteint l'adolescence, qu'il s'engagea comme dragon. Dans cette qualité il fit toute la dernière guerre, se trouva à tous les combats, dans toutes les escar-

mouches, et toujours avec le projet d'observer des effets pittoresques et de faire des études relatives à son art, d'après nature. A la fin de la guerre il quitta l'épée pour le pinceau, et le succès de ses tableaux prouva bien qu'il avait bien choisi son école. Cet artiste s'est aussi mis au nombre de mes persécuteurs, et il s'est présenté avec les plus fortes recommandations de la part de personnes très considérables, dont il a d'autant moins besoin que son talent le recommande assez. Le maréchal de Broglie, sous lequel il a servi, le protège particulièrement. Ce n'est pas un peintre qui soit dans le besoin; tant s'en faut, il gagne constamment 18 à 20 mille livres par an avec ses tableaux; mais il me dit: «Je me sens appelé au grand, et voilà presque dix ans de passés, sans que j'aie pu traiter un seul grand sujet. Le goût du grand diminue d'année en année en ce pays-ci, et le fier est obligé de faire place au gentil. Je suis condamné à m'enrichir en faisant de petits tableaux; l'Impératrice de Russie seule peut m'en faire faire de grands, tels que j'en ai fait deux ou trois pour le prince de Condé après la guerre finie en 1762, et que je n'en fais plus depuis ce temps. Sa guerre contre les Turcs a fourni les grands sujets, et si elle m'ordonne de les exécuter, elle m'aura donné l'immortalité qu'aucun autre souverain n'est en état de me procurer». Je demande à Votre Majesté Impériale ce qu'elle veut faire de cet homme-là. Il est tout prêt à abandonner ici tout son établissement, tout son gain annuel, à se transporter en Russie avec femme, pinceau, palette et bagage, pourvu que l'Impératrice lui permette d'exécuter pour elle en grand toute la suite de ses victoires contre les infidèles; après avoir rempli cette tâche glorieuse, il reviendra s'amuser à la bagatelle dans sa patrie. Ou bien, si Votre Majesté ne veut pas de cette translation avec armes et bagages, il ira simplement de sa personne faire les études nécessaires à ses tableaux, sous la direction des généraux acteurs dans ces scènes de carnage et de gloire, et ses portefeuilles remplis d'études, il reviendra en France exécuter ces grands tableaux. Moyennant ce dernier arrangement, l'académie de France et le public de Paris et les voyageurs en auraient ici la vue pour rien. Il plaira à Votre Majesté de me dire comment il faudra faire pour me débarrasser de cet énergumène, qui est, comme tous les gens marqués, simple et bon enfant dans tout ce qui ne tient pas à son ver coquin particulier.

Je pourrais servir un troisième plat d'entremets, en parlant d'un troisième énergumène, Clérisseau; mais comme je me flatte d'expédier son modèle entre le 15 et le 20 de ce mois pour Lubeck, je me réserve d'en griffonner alors tout à mon aise, et il me suffit de prévenir Votre Majesté Impériale qu'à vue de pays ce modèle pourra être rendu à Lubeck dans les

premiers jours de juillet, et qu'il faudra y donner des ordres à la maison de Pauli sur la manière dont ils doivent l'expédier pour Pétersbourg. Il me serait bien aisé d'y faire aller à peu de frais les tableaux de M. de Zuckmantel; mais il me manque un fonds de 30 mille livres pour terminer cette affaire; tout le monde m'assure que Votre Majesté aura ces tableaux à très bon compte.

Il a fallu fournir à l'énergumène Clérisseau les plus mémorables époques du règne dont la Russie est affligée depuis dix-neuf ans, pour lui fournir des sujets de bas-reliefs. Je l'ai donc fait comme je l'ai pu dans le feuillet ci-joint. Votre Majesté verra ce qu'il en a pris. Je suis fâché d'avoir oublié la peste, depuis que je sais qu'il en faut une aux règnes mémorables. M. de Mélissino, curateur de l'université de Moscou, que nous avons possédé ici, s'est senti aussi échauffé par son zèle patriotique quand il a entendu parler de notre modèle; il a eu la bonté de faire pour moi en allemand cette esquisse d'emblêmes et d'inscriptions; mais Clérisseau a voulu s'en tenir aux faits historiques.

Mon Rechnungs-Vortrag suivra de près. En attendant, Votre Majesté apprendra sans doute par la pancarte de Salomon Gessner de Zürich, qu'il est en possèssion des deux médailles impériales, et qu'il en a la tête pour le moins aussi tournée que l'avocat de Chartres de la sienne.

Il est temps de finir et de débarrasser mon auguste Souveraine de l'insigne calamité de lire cette pancarte, si je ne veux pas encore manquer la poste. Aber um tauſend Gottes Willen, was nimmt denn der vorjährige Normalſchüler Joſeph für Sachen mit ſeinem lieben papa Braschi vor? Und was ſagen denn die Herren coquins von Mogilev und Plotzko dazu? Iſt denn der jüngſte Tag wirklich vor der Thür, und ſoll die babyloniſche Hure absolute triumphiren? Dieſe Sachen kränken mich gar ſehr, und ich ſage mit einem viel kümmerlichern Blick als ein Bürgermeiſter von Darmſtadt: ja, wo will es denn hinaus? Wenn ſich die griechiſche Kaiſerin nicht meiner und des papa Braschi erbarmt, und ihr mütterliches Vorwort für uns ſpricht, ſo kann der Gräuel der Verwüſtung daraus entſtehen, denn der Herr Joſeph hat doch noch nicht alles laut geſagt, was er ſeiner göttlichen Normal-Schulmeiſterin in die Ohren zu Mogilev geflüſtert. Nun Gott ſteh uns bei.

J'ignore si le prince de Ligne a envoyé ses préjugés et fantaisies militaires à Votre Majesté Impériale. Je crains qu'il n'ait pas assez gobé l'athmosphère de l'école normale de Pétersbourg. On dit qu'il y a de bien grandes incongruités et même platitudes dans cet ouvrage. Je suis bien content de ne rien lire de ce qui paraît; je suis bien charmé aussi que tous les fous ne soient pas toujours en France; ce privilége exclusif me chagrine-

rait un peu. Nous avons assez de cette graine pour n'être pas jaloux de la voir prospérer chez nos voisins. J'ai entendu lire quelques passages de la production du prince de Ligne, qui me tranquillisent sur le reste. Par exemple, il apprend à ses lecteurs, et j'ignore si c'est un préjugé ou une fantaisie, que l'empereur seul a une armée nationale, avec laquelle il pourra marcher, quand il lui plaira, droit à Constantinople ou à Pétersbourg ou à..... vraisemblablement Paris. C'est une découverte dont je fais mon compliment à l'auteur. J'avais été assez bête jusqu'à présent, pour croire que s'il y a une armée nationale au monde, c'est l'armée russe. Point du tout. J'ai aussi fait connaissance avec une infinité de nations qui vivent sous la domination de l'empereur à mon insu. J'ai à la vérité quelque soupçon que la plupart de ces nations, dont la nomenclature est si imposante, est composée de cinq ou six gueux répandus dans quelques masures qu'on nomme un village, et qu'une seule des nombreuses nations qui vivent sous le sceptre de l'Impératrice des Grecs avalerait d'un seul trait toutes ces nations de la création du prince de Ligne; et j'ai encore dans la tête que si Joseph porte avec le temps la population de la Hongrie au degré dont elle est susceptible, il aura plus de monde et moins de nations. Et puis, il faut dire avec le roi Salomon que les hommes sont bien fous, mais que toutes les folies ne sont pas amusantes.

Et en finissant tout de bon, il faut que je fasse trois présents à Votre Majesté; ils m'arrivent dans l'instant: savoir, deux Voltaire et un roi d'Angleterre, tous trois parlants. Les petits présents entretiennent l'amitié, et d'honneur ou Gott weiß, j'ai besoin de conserver l'amitié de Votre Majesté, non parce que c'est l'Impératrice de toutes les Russies, mais parce que c'est l'Impératrice de tous les coeurs, und weil mein armes Herz, zu meinem größten Schmerz und Leidwesen, auf eine unglaubliche Art an der Kaiserin hängt. God save the Kaiserin. Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant et très fidèle serviteur. Grimm.

№ 28.

Allerunterthänigster römischer Vortrag.

A Paris, ce 21 mai (1 juin) 1781.

Madame. Ma place de Briefträger entre l'immortelle de Tsarsko-Sélo et le divin de Rome m'oblige de mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale les deux lettres de Rome que je joins ici.

Il appert par ces deux lettres que je suis en possession des deux camées représentant la tête de l'immortelle de Tsarsko-Sélo. Votre Majesté se rappellera sans doute qu'il ma été ordonné d'en faire exécuter une par le même artiste qui a fait l'année dernière la tête d'Apollon, et que moi, souffre-douleur, j'ai eu l'insolence d'en commander deux, parce que j'étais persuadé que l'intention de mon auguste bienfaitrice était de m'en donner une pour mes étrennes. Cette supposition était sans conredit très impertinente; malheureusement, je ne suis pas encore aussi endurci que je suis insolent. Je n'ai pas sitôt vu les deux camées en ma possession, que le remords cuisant s'est fait sentir. Je me suis dit: souffre-douleur, tu as fait là une espièglerie très répréhensible. Et si l'Impératrice trouvait mauvais par hasard que tu te fasses des présents de sa part sans son agrément? A ce premier reproche s'est joint un autre embarras. Quoique l'un de ces camées soit très supérieur à l'autre tant pour la matière que; suivant le divin et compagnie, pour le travail, je ne pourrais pas m'emparer de celui qui est inférieur, au moins quant à la pierre, sans compromettre ma tranquillité. Vaut mieux, mon cher souffre-douleur, n'avoir que dix-neuf portraits de l'Impératrice et conserver la paix de l'âme, d'autant que ces dix-neuf portraits je les possède ou de sa munificence, ou sans qu'elle puisse y trouver à redire; ainsi c'est une jouissance pure et sans tache. D'après cette réflexion je suis décidé, Madame, d'envoyer à Votre Majesté les deux camées, bien sûr que l'Impératrice, suivant ses accès journaliers de clémence, me renverra tout de suite celui qu'elle aura décidé l'inférieur, en me disant: «Tiens, prends cela pour toi». Mais comment faire pour les envoyer à Votre Majesté Impériale? Depuis longtemps il n'a pas paru d'uniforme vert sur l'horizon de Paris, depuis longtemps mon coeur n'a pas tressailli à l'aspect de cet uniforme. Je me flattais toujours qu'un de ces courriers qui ont passé ici pour se rendre à Lisbonne, repasserait ici pour retourner à Pétersbourg. Vaine espérance jusqu'à ce jour! Il n'est cependant pas trop proposable d'expédier un courrier tout exprès, pour chercher deux petites boîtes renfermant chacune un profil d'une des plus magnifiques caboches qu'il ait réussi au Tourneur tout-puissant de faire sortir de son atelier depuis qu'il se mêle de tourner des caboches à tort et à travers. Aussi prétend-on, soit dit en passant, que lorsqu'il entrevit ce qu'il venait de faire, il prit tout de suite l'air imposant d'un bourgmaître de Darmstadt, frappa sur sa tabatière de cuir bouilli, prit une prise de tabac mit einer ſich ſelbſt gefälligen, naſeweiſen Miene, et dit en toussotant: „Ja, ja, aus dieſer caboche werden ſeltſame Sachen herauskommen während des achtzehnten saeculi nach der Geburt Chriſti". Quelque beau que soit ce soliloque, il ne me donne point de

porteur de camées ou de caboches de Paris à Pétersbourg. Puisse le Tourneur éternel m'en procurer un! Si je l'attrape, il ne partira pas sans mes deux petites boîtes.

Je ne doute pas que le récit de la maladie del signor Gasparo Santini ne cause à Votre Majesté la même émotion qu'il m'a fait éprouver. Au fond, je me sens du faible pour ceux qui sont consumés par le zèle pour l'empire des Grecs, lors même que ce zèle reste inutile. Celui de Santini le sera tant que son projet d'établir un commerce direct, et par conséquent des traites directes entre la Russie et l'Italie, ne sera point effectué; mais nous avons beau nous égosiller sur ce projet, est-ce qu'on nous écoute à Pétersbourg? En attendant le susdit Santini a déjà épuisé plus de la moitié de mon crédit de 50 mille florins établi au mois de novembre dernier à Amsterdam par M. le prince de Viazemskoï. Je suppose qu'à mesure qu'il fait ses traites, que je suis obligé d'autoriser, il en envoie les notes avec les quittances du divin à M. le général de Bezborodka ou à M. Richard Southerland, et que ces messieurs trouvent un accord parfait entre ces notes et quittances, et les traites dont messieurs de Smeth d'Amsterdam leur font part. Je ne recevrai moi que le compte général, pareil à celui que j'ai eu l'honneur de mettre l'année dernière sous les yeux de Votre Majesté et qui en sera la continuation. Dès que je l'aurai, je le mettrai aux pieds de mon auguste Souveraine, pour le coudre au premier, afin qu'elle puisse voir d'un seul coup d'oeil quel effroyable argent nous lui avons dépensé à Rome.

Quant au titre de consul ou de banquier de Sa Majesté Impériale que le divin sollicite pour récompense du zèle de Gasparo Santini, c'est un article que je conseille au divin de traiter à fond avec l'Immortelle, sans que je m'en mêle. Je n'ai pas été heureux avec mes propositions consulaires, et je n'ai jamais eu le crédit d'obtenir une seule patente de consul, quoique ma protection n'agisse jamais qu'en faveur d'Archisantinis, c'est-à-dire de gens dévorés de zèle pour le service de notre auguste Souveraine. L'hiver dernier un de mes compatriotes établi à Lorient, appelé Puchelberg et très avantageusement connu dans le commerce, m'a tourmenté pour avoir une patente de consul impérial dans ce port, et m'a assuré qu'il pouvait être utile en plus d'une occasion au ministre de Votre Majesté résidant en France, par des nouvelles de mer et autres services loyaux. J'en ai écrit au prince Ivan Bariatinski, pour lui recommander ce négociant et le prier d'obtenir cette patente pendant son séjour à Pétersbourg dans les bureaux de M. le comte de Panine ou de tel autre ministre de Votre Majesté qui était dans le cas de disposer de ces places. Il ne m'a pas répondu. Nos politiques,

après avoir soutenu pendant huit mois que le prince Bariatinski ne reviendrait plus reprendre son poste en cette cour, et après en avoir disposé en faveur de cinq ou six personnes différentes, vraisemblablement sans avoir consulté Votre Majesté, disent aujourd'hui que le prince sera de retour à son poste au mois de septembre prochain. J'en suis vraiment charmé, et je m'y prends dès à présent pour faire sentir à l'Impératrice quelle belle occasion elle aura là pour accabler son souffre-douleur de bienfaits en musique, en portraits d'Ericson, en manuscrits, sur lesquels on lui a fait si souvent venir l'eau à la bouche sans apaiser sa soif. Je ne défends pas pour cela aux courriers qui pourront être expédies avant lui vers nos contrées, de se charger de toutes et aucunes de ces choses, notamment du petit catéchisme de Monsieur Alexandre selon le bon plaisir de son auguste gouvernante ou Aja, comme disent les Italiens supérieurement bien, car cela signifie Aide, et un gouverneur ne doit être que cela, ou, en français, un accoucheur.

Il faut, à propos d'italien, revenir encore sur ce Metastasio dont je ne croyais pas les oeuvres capables de me donner de l'humeur. Puisque le prince Galitsine de Vienne a fait aller, suivant ce qu'il me mande, tous ses quarante exemplaires à Pétersbourg, ne serait-il pas possible que Votre Majesté m'en renvoyât douze, savoir six in-4° et six in-8°, pour remplacer les douze que j'ai envoyés de mon côté? Je les rendrais à l'éditeur, et je n'aurais pas causé de dommage à l'Impératrice pour avoir voulu faire pour le mieux. Si cela ne se peut pas, il faut que je paie à cet éditeur, à mon grand chagrin, les volumes à mesure qu'ils sortiront de presse, pour compléter ces douze exemplaires, et que je les envoie à Pétersbourg courir après leurs frères aînés, puisque ceux-ci ne veulent pas revenir ici à la maison paternelle, et il en coûtera à mon auguste Souveraine douze exemplaires en-sus des quarante qui ont pris leur route par Vienne, et cela parce que le souffre-douleur, à force de génie, avait trouvé une spéculation suivant laquelle sa généreuse bienfaitrice devait retrouver à la fin de la souscription les trois quarts des frais avancés avec tant de munificence. Je supplie Votre Majesté de me faire savoir définitivement si je dois revoir ces douze exemplaires ou non, afin de prendre mon parti en conséquence. Il faut que je m'accuse auprès de Votre Majesté d'un vilain tour que j'ai joué au divin, et dont je me repens très sincèrement. Après M. le procureur-général, et peut-être avant lui, je suis l'homme de la terre qui a le plus de regret à la dépense effroyable dont nous sommes, lui et moi, les confidents. Comme les dépenses de Rome me pèsent sur l'estomac plus que toute autre, parce qu'elles sont d'un lourd assommant, je me suis avisé, par une suggestion de

Lucifer que nous autres pauvres Luthériens avons été obligés de conserver dans notre liturgie par un ordre exprès de l'Impératrice, notre suprême évangile, je me suis avisé, dis-je, de mander au divin que, m'étant trouvé il y a quelque temps dans une compagnie où l'on ne se doutait point de l'intérêt que j'y devais prendre, un voyageur s'étendit beaucoup sur les immenses emplettes que l'Impératrice de Russie faisait à Rome, mais en ajoutant qu'elle payait tout horriblement cher et que les Romains eux-mêmes étaient étonnés des prix énormes qu'elle donnait. Il n'y avait pas le moindre fondement à cet impudent mensonge, mais je me suis toujours dit: à bon compte souffre-douleur, faut mentir; cela ne peut pas nuir. Voyons toujours ce que dira le divin. Il est vrai que j'ai ajouté tout de suite que je ne croyais pas ces propos, que je connaissais son zèle, mais que j'éprouvais moi-même tous les jours l'inconvénient d'être chargé des ordres de Votre Majesté, parce que tout le monde était plus ou moins tenté d'abuser de sa générosité et de sa munificence. Voilà, Madame, la clef de cette apologie que le pauvre divin s'est cru obligé de faire de sa conduite, que j'ai toujours regardée comme irréprochable et pure comme de l'or. J'ai été obligé de verser une ample provision de baume de consolation sur les égratignures que je lui ai faites de gaîté de coeur; j'espère que sa première lettre m'apprendra qu'il est entièrement rassuré et tranquille. Moi je le suis davantage depuis l'infamie que je me suis permise. J'y ai même gagné l'expédient qu'il propose pour éviter que le nom de l'Impératrice ne renchérisse les objets. Il est constant que si Votre Majesté persiste dans ses appétits gloutons, il serait beaucoup plus convenable de dire au divin: «Tiens, je te permets de dépenser cette année deux mille, trois mille, quatre mille roubles en tableaux ou autre curiosités; s'il t'en tombe sous la main de vraiment dignes du cabinet de l'Impératrice, tu les prendras sans demander de nouveaux ordres, jusqu'à la concurrence de la somme fixée; si au contraire tu ne trouves rien de digne de moi, l'argent restera dans mes coffres jusqu'à ce que l'occasion s'en présente». Ce serait certainement le seul moyen pour que l'Impératrice achète sans être connue et sans craindre que son nom auguste ne renchérisse considérablement tous les objets dont sa gloutonnerie a envie. Das überlaſſe ich der allerhöchſten Beherzigung unſerer liebenswürdigſten Monarchin, nach dem Ausſpruch des großen Paisiello.

Il faut finir si je ne veux pas manquer la poste, mais en finissant je me crois obligé de représenter unmaaßgeblich an unſere liebenswürdigſte Monarchin qu'elle ne pourra pas se dispenser de me dire un mot au sujet du présent considérable que M. de Buffon lui a fait et qu'il compte même compléter à fur et mesure; je crois même qu'elle ne pourra guère se dis-

penser de lui envoyer quelque marque de sa bienveillance. M. de Buffon est le seul homme de lettres gâté de ce pays-ci; il a été toujours traité avec une distinction particulière à la cour. Je peux présumer, sans être sorcier, qu'il suppose qu'après les agaceries que Minerve lui a faites, qu'après l'offrande qu'elle lui a permis de déposer sur son autel l'année passée, il pourra se vanter d'une distinction que toute la terre ambitionne, distinction venant de Catherine. L'Impératrice me dira: «Souffre-douleur, que faut-il que je lui donne?» Or c'est une question qui m'est antipathique: du moins, je u'y suis pour rien cette fois-ci, et cela ne m'arrive pas souvent. C'est Votre Majesté qui m'a tourmenté avec ces Epoques: il a bien fallu renvoyer la balle à l'auteur. Pour rien au monde je n'aurais parlé à Votre Majesté de ces Epoques le premier; je sais combien il est dangereux de mettre le feu aux étoupes. Il en est résulté un présent d'un ballot tout entier avec je ne sais combien de gravures enluminées. Est-ce ma faute? Peut-être une suite de médailles en or frappées sous le règne de Catherine II et à l'occasion des principaux événements de ce règne serait une suite aussi toute naturelle de la magnificence de ces dons. Warum hat ſie die Saiten ſo hoch geſtimmt? das iſt meine Schuld auch nicht. Mais, parbleu! j'ai bien besoin de m'épuiser en inventions, quand personne au monde ne sait comme elle ce qu'il faut mettre dans la casserole et la manière dont il faut l'assaisonner.

Il est trois heures du matin; je tombe de sommeil; il faut fermer boutique et se coucher; demain ou plutôt aujourd'hui à huit heures il faut que ce paquet soit à la poste. Nun ſo weiß ich denn, daß in der ganzen Welt kein Menſch unſerer huldreichen und liebenswürdigſten Monarchin eine ſo ſanfte und ſüße Nachtruhe wünſche als wie ich, obgleich die Wünſche von allen Seiten für ihr allerhöchſtes Wohlſein auflodern. Que je m'endorme ou que je m'éveille, son nom sacré est toujours le premier et le dernier que l'attachement et la reconnaissance portent sur mes lèvres, et le souvenir de ses bontés ne permet pas à mon coeur de palpiter une seule fois sans qu'il lui échappe un voeu pour sa conservation, sa prospérité et sa gloire.

№ 29.

Allerunterthänigster Expeditions-Vortrag.

A Paris, ce 25 mai (6 juin) 1781.

Madame. C'est une vérité bien consolante pour le juste, comme moi par exemple, que ses prières montent droit au ciel comme la fumée quand le vent ne la rabat point, si bien que toutes les fois que l'air est calme, le

juste devrait se mettre en prières. A peine avais-je fini la mienne, que M. de Lohmann, de retour de Lisbonne, est entré chez moi et m'a offert la plus belle occasion pour faire passer les deux camées aux pieds de mon auguste bienfaitrice. Il a bien voulu faire pis. Me voyant occupé de l'emballage et de l'expédition du modèle de la porte de Clérisseau, il s'est presque mis à mes genoux pour obtenir de moi la permission de s'emparer de ce modèle et de le porter à Pétersbourg. Aber das war eine pure Unmöglichkeit. Sans compter que la caisse de ce modèle a plus de six pieds de long, et qu'il aurait fallu faire une voiture exprès pour la transporter avec un courrier, le modèle exposé au cahotement continuel et précipité de la poste, n'y aurait jamais résisté, et je n'ai pu par conséquent me rendre à ses instances. Il faut que ce modèle chemine d'ici doucement et uniformément à Lubeck. Tout ce que je puis faire pour M. de Lohmann, qui désire avec tant de passion de multiplier les occasions de servir notre auguste Souveraine, c'est de joindre mes supplications aux siennes pour qu'il plaise à Votre Majesté Impériale de lui ordonner d'aller chercher ce modèle à Lubeck, où je compte qu'il sera rendu entre le 15 et 20 juillet, nouveau style. Cet officier, que je n'avais jamais vu, sait parfaitement le chemin de mon coeur. Il m'a montré tant d'attachement für unſere Kaiſerin, il m'a conté avec tant de satisfaction le bonheur qu'il a eu de servir sur le yacht qui a possédé pendant quatre heures l'Impératrice et M. de Falkenstein et Leurs Altesses Impériales, que je me suis presque trouvé sur le yacht à côté de lui, et il n'a pas oublié tout ce que cette promenade a valu aux officiers et à l'équipage, car partout où l'Impératrice met les pieds, il faut qu'elle laisse des traces de sa bonté et de sa magnificence.

Je ne parlerai pas aujourd'hui du modèle de Clérisseau. Laissons-le cheminer tranquillement vers Lubeck, et ma pancarte qui le concerne aura tout le temps d'arriver à Pétersbourg avant lui. Bornons-nous à parler de ce que nous confions aux soins de M. Lohmann.

1°. Les deux camées faits par Weder. Les voilà donc tous les deux, puisque ma conscience ne me permet pas de garder sans façon celui que Votre Majesté décidera sûrement le moins beau. Au moment de notre séparation, je sens mon coeur qui se gonfle; mais une voix intérieure me rassure et me dit: «fie-toi à ta Souveraine; elle ne permettra pas que cette séparation soit éternelle ni même longue, et tu possèderas en pleine sécurité comme un don de sa main auguste, ce que tu n'aurais pu garder sans avoir l'âme bourrelée. Puisque j'ai parlé l'autre jour de M. de Buffon, je ne cache pas à Votre Majesté Impériale qu'un camée comme celui qui me reviendra sûrement de Pétersbourg, placé sur une belle tabatière, ferait vraisemblable-

ment un furieux effet sur l'âme du Pline français. On est si accoutumé aux magnificences de Votre Majesté, que les hommes de la première trempe ne se regardent pas comme sûrs de leur fait, c'est-à-dire d'avoir du génie, tant qu'ils n'ont pas reçu quelque signe visible de la bienveillance de Minerve protectrice, et dès qu'ils l'ont reçu, ils en font un vacarme par toute l'Europe. Est-ce ma faute ou celle de Minerve Tsarsko-Sélienne? Je m'en rapporte à la décision de la cour d'équité de Pétersbourg. Mais pour faire ce vacarme, il ne faut pas seulement être un Voltaire recevant des fourrures et une boîte tournée par la main qui, comme celle du Potier éternel, tourne plus d'une destinée comme il lui plaît, et comme elle veut, ou bien un Buffon, si Votre Majesté juge à propos de le ranger parmi les têtes tournées de sa façon; il n'y a pas jusqu'à l'avocat de Chartres qui n'ait voulu mettre le public dans la confidence de sa médaille d'or et qui ne m'ait fourré dans ses caquets sans m'en demander la permission, comme Votre Majesté verra par la feuille du Journal de Paris. Ce qui est d'autant plus désastreux pour moi que cela m'attire une foule innombrable d'importuns qui sont loin d'être des Plines, des Sophocles et des Homères français, et qui voudraient tous impatienter l'Impératrice par leurs hommages. Ils n'y réussiront pas par mon canal, et je serai le seul impatienté. Au reste, Votre Majesté remarquera, dans la lettre de l'avocat de Chartres, le passage que le censeur n'a pas voulu passer. J'étais curieux de savoir ce qu'on avait pu supprimer de la lettre de l'avocat; je l'ai fait demander aux auteurs du journal, et ils m'ont rétabli le passage supprimé, à la main. C'est une chose remarquable qu'on soit toujours disposé à regarder la liberté de penser comme contrebande, et qu'on ne veuille pas qu'elle se vante de l'indigénat dont elle jouit en Russie. Quant à M. de Buffon, qui a trouvé le secret de se faire tolérer par la Sorbonne malgré toutes ses hérésies, je préviens Votre Majesté qu'il a un fils unique, officier aux gardes, que le père fera plutôt voyager vers le nord que vers le midi, dès qu'il sera un peu moins jeune, le tout pour avoir par lui des nouvelles directes d'un certain phénomène brillant qu'on observe constamment sous le soixantième degré depuis une vingtaine d'années.

2°. Avec les camées marcheront les commentaires sur la vie de M. de Voltaire enrichis des cahiers manuscrits du fidèle Wagnière. Si la lecture de ces cahiers fait à Votre Majesté autant de mal qu'à moi, j'aurai commis une grande imprudence de les lui envoyer. J'y ai ajouté un recueil de lettres de ce grand homme à un abbé janséniste, son trésorier, pendant qu'il était en Lorraine avec madame du Châtelet. Ces lettres ne sont pas assurément importantes par le sujet, tant s'en faut; mais telle était la magie de cet

homme étonnant, qu'on aime mieux lire ces détails mesquins sous sa plume que les sujets graves sous la plume des autres. Ce recueil ne paraît que depuis deux jours.

Il faut pourtant, puisque je suis sur le chapitre de cet homme irremplaçable, que j'envoie à Votre Majesté un prospectus de l'édition à laquelle préside Figaro Beaumarchais. Cet homme, qui court plus d'un lièvre, est venu chez moi pour me dire que l'Impératrice ayant souscrit dans l'origine pour cent exemplaires, il me priait d'en réaliser la promesse. Je lui ai répondu qu'à la vérité Votre Majesté avait eu dès le commencement cette généreuse intention, et qu'elle s'était même décidée à souscrire pour quatre cents exemplaires, tant elle avait à coeur de favoriser le libraire, mais que l'entreprise ayant passé entre les mains d'un capitaliste, qui fait tout pour la gloire de Voltaire, le cas n'était plus le même, et qu'il me fallait nécessairement de nouveaux ordres pour la souscription d'un certain nombre d'exemplaires. Figaro me dit à cette occasion les plus belles choses pour l'Impératrice, qu'il voulait mettre sur le frontispice de son édition: *imprimé au palais de Tsarsko-Sélo*, qu'il ferait tirer un exemplaire sur du vélin qui seul vaudrait un capital et qui serait pour l'auguste Souveraine qui possède la bibliothèque de Voltaire. Je lui répondis qu'il n'avait qu'à m'écrire tout cela, que je le mettrais sous les yeux de Votre Majesté et que l'Impératrice aimait beaucoup le Barbier de Séville. Il y a à peu près un an à cette visite; je devais avoir sa lettre huit jours après, et elle est encore à venir. Je ne courrai sûrement pas après, et je commence à croire que cette édition ne se fera pas de longtemps. Il n'y a pas longtemps que j'ai recontré Figaro et qu'il me dit que la souscription ne se remplissait pas; c'est qu'on n'a point de confiance dans Figaro et que sa loterie, sur laquelle il comptait beaucoup et à laquelle personne n'a rien compris, a inspiré de la méfiance à tout le monde.

En revanche l'entreprise du graveur Moreau, le même qui a fait le dessin et l'estampe du sacre du roi, est fort intelligible. C'est un artiste estimé et exact dans ses engagements. Il a été dans sa jeunesse en Russie et attaché à l'Académie des beaux-arts; mais il compte plus sur le nom de M. de Voltaire que sur le sien, pour engager l'Impératrice à souscrire pour un certain nombre d'exemplaires. Ce ne sont pas mes affaires, je ne m'en mêle qu'en ma qualité de plastron. C'est à l'Impératrice à décider; moi je reviens à mes moutons.

3°. Mon troisième mouton confié à M. de Lohmann est le neuvième cahier du Voyage pittoresque de la Grèce, et mon quatrième est une estampe que j'envoie à Votre Majesté Impériale en pur don. C'est le portrait d'un de

ses amis ou de ses partisans ou de ses engoués, qui n'y a pas mis son nom; mais aussi je prétends que l'Impératrice doit le reconnaître tout de suite. Il a pris pour devise le vers connu:

Qui mores hominum multorum vidit et urbes.

Et moi j'aurais ajouté *et Catharinam*: Celui qui a vu bien des pays, bien des moeurs, bien des usages, bien de l'hommerie, et Catherine: car encore faut-il finir par le trait, par le coup de foudre, et comme disait Jésus-Christ: Marthe, Marthe, porro unum est necessarium, eines allein iſt nothwendig, c'est d'avoir vu Catherine.

4°. Le dernier mouton qui se présente sous les auspices de M. de Lohmann, c'est M. le comte de Girecourt avec son Histoire de la maison d'Autriche en six volumes. Ce M. de Girecourt est un homme de condition de Lorraine, fort à son aise, ce qui ne donne pas toujours le talent d'écrire, mais aussi ne l'ôte pas. Je ne dirai pas si son ouvrage est bon, car je ne le lirai pas, si Dieu me prête vie; mais aussi je ne prétends pas que Votre Majesté le lise. Le comte de Girecourt se sent seulement le besoin de porter son histoire avec son hommage aux pieds de l'immortelle Catherine, et de quel droit en empêcherais-je le pauvre homme? Il n'aspire ni à médaille d'or ni à tabatière; son ambition se borne à recevoir en réponse deux lignes signées du nom auguste de Catherine. Feu Marie Thérèse, de pieuse mémoire, et plusieurs têtes couronnées lui ont fait cet honneur, et le terme de son ambition serait d'avoir une lettre de Votre Majesté dans son portefeuille; il ne serait pas à craindre avec lui que cette lettre passât dans les journaux et papiers publics. A cela l'Impératrice me répond: «Tu deviens fou, mon pauvre souffre-douleur. Comment veux-tu que je perde mon temps à écrire à un gentilhomme de Lorraine à qui il passe par la tête de m'envoyer son barbouillage?»... — Ah, c'est où j'attendais Votre Majesté. Non, certes, je ne veux pas que l'Impératrice perde son temps. Elle n'a qu'à signer la lettre que j'ai faite en son nom et que je joins ici, et me la renvoyer signée, et tout sera dit. Suis-je donc ein Collegien-Rath oder ein Kaiſerlicher Concipiſt pour des prunes? Ou si je n'ai pas bien fait, il sera fort aisé au général Bezborodka d'en faire une meilleure, de la faire signer par l'Impératrice et de me l'envoyer. Gekrönte Häupter müßen Sekretarien und phrasiers um ſich haben. Aber das iſt denn nun unſerer Kaiſerin Sache gar nicht. Sie will immer ihr Handwerk ganz allein treiben, und ſich nicht nach dem Schlendrian ihrer Herren Brüder und Brüderlein, Frauen Schweſtern und Schweſterlein richten. So iſt es denn leider mit ihr ſo weit gekommen daß ſie die cou-

verts zu ihren Briefen ſelber ſchneiden muß, und muß ſie zuſiegeln, und noch oben darauf die Adreße proprio pugno darauf ſetzen. Nun ſolche erbärmliche Sachen kommen heraus wenn man ſich immer in ſeinen principiis von der gefrönten Confrérie abſondern will.

Voilà, Madame, le précis et le contenu de trois paquets en toile cirée que je confie à M. de Lohmann; mais puisque le ciel et sa divine providence m'ont mis dans la triste nécessité d'ennuyer l'Impératrice de toutes les manières possibles, il faut encore que j'ajoute quelques articles assommants à ce pitoyable Vortrag. Une belle dame de la cour me tourmente depuis plus de six mois pour que je mette le mémoire del signor de Montemurli sous les yeux de Votre Majesté Impériale. J'ai beau lui prouver qu'elle exige de moi de commettre la plus grande indiscrétion possible. Elle en convient, elle se rend à toutes mes preuves, et quand je crois l'avoir persuadée et convertie, elle recommence ses persécutions comme si de rien n'était. Je ne sais si Votre Majesté a remarqué que les belles dames sont comme les enfants; personne ne sent mieux qu'elles la force d'un argument, mais au lieu de s'y soumettre, elles n'ont qu'un mot; c'est toujours le même: «mais je veux cela; je vous en prie, faites ce que je veux». Il faut donc, bon gré mal gré, que j'ennuie mon auguste Souveraine de l'affaire Montemurlienne. Il est vrai que ce signor de Montemurli me paraît un brave homme. Il m'assure qu'il a été sur le point de fonder une colonie en Russie sur les bords de la Mer Noire, mais les Arabes du mont Atlas l'en ont détourné. Quand il parle de ces Arabes, il vous fait venir l'eau à la bouche, et l'on sent combien on est malheureux de ne pas vivre avec eux de miel et de sauterelles sous des tentes et d'être enfermé dans des villes. Quand ces Arabes sont contents d'un étranger, ils disent: «Ce chrétien mériterait d'être arabe», comme on dit dans la Gaule: «Voilà un étranger qui mériterait d'être français»: tant les sottises de la zone torride et de la zone tempérée se ressemblent.

Après la belle dame vient un ancien ministre d'état, M. Bertin, qui propose une immense collection de manuscrits, toutes les dépêches des ambassadeurs de Louis XIV et autre fatras. Il sera fort aisé à l'Impératrice de dire: «Je n'en veux point». M. Bertin a fait l'année dernière connaissance avec le prince Orlov à Spa, et à cause de cela moi souffre-douleur il faut que je devienne brocanteur de plusieurs centaines de volumes manuscrits.

J'allais finir par un acte de contrition et me recommander à la miséricorde impériale; mais ne voilà-t-il pas qu'il m'arrive une pancarte américaine, et encore de fraîche date, car il n'y a que sept mois tout au plus

qu'elle est en chemin. Oh, pour le coup Votre Majesté ne l'échappera pas. Ce correspondant de Philadelphie que je dois uniquement à mon auguste Souveraine, m'accable à tout instant de gros paquets renfermant les journaux du Congrès et de tout ce qui arrive dans ce pays-là, sans compter un fatras de gazettes américaines. J'avale tout cela, paquet par paquet, sans en dire un seul mot à Vôtre Majesté; mais ceci passe la raillerie: ce n'est pas un bulletin, ce n'est pas une gazette, c'est une pancarte. Oh, l'Impératrice en tâtera, ne fût-ce que pour lui accorder une place dans sa cheminée, — mes archives. C'est pourtant une chose bien plaisante qu'un homme qui n'espère jamais être connu de Votre Majesté, et à qui je n'écris jamais dans l'espérance de le dégoûter, ne trouve pas de plus grand bonheur à Philadelphie que celui d'instruire l'Impératrice des affaires américaines, qui à son tour n'en sait rien. Et n'est-il pas singulier que les amazones d'Amérique, dans leurs accès de patriotisme, après avoir cité la bible, parlent, pour s'échauffer, entre elles de Thalestris, d'Elisabeth et de Catherine?

Notabéné que si Votre Majesté daigne signer la lettre pour le comte de Girecourt, il faut y faire mettre une enveloppe et la faire cacheter. J'aurais dû envoyer aussi du papier pour cela; mais je suis trop avare. Autre notabéné, c'est que M. Moreau, qui veut faire de sa collection d'estampes une entreprise très distincte de l'édition de Beaumarchais et très indépendante de ce que celui-ci tiendra ou ne tiendra pas, voudrait sur toutes choses obtenir la permission de dédier ce recueil à Votre Majesté Impériale.

Maintenant je lève des mains innocentes et pures vers le ciel, non seulement pour obtenir à M. de Lohmann un heureux et prompt voyage, un temps prospère et de bons chemins; mais principalement pour fléchir le Tout-puissant, afin qu'il incline le coeur de son ointe à la clémence envers son souffre-douleur, qu'elle n'écoute que les mouvements de son coeur généreux et magnanime, et lui pardonne tous les ennuis qu'il lui cause tout le long de l'année, à condition cependant qu'un rêpentir sincère du dit souffre-douleur prouve à son auguste Souveraine que sa prochaine conversion le rendra digne de cette grâce impériale. Nun, der allmächtige Gott begleite unſere große Kaiſerin auf allen ihren Wegen und Fußſteigen, ohne ſich zu viel in ihr Handwerk zu miſchen, und nach meines Herrn Hofmeiſters des Obriſtlieutenant Thiers Ausſage, iſt die Kaiſerin geſcheidt genug um ihr Handwerk ſelber zu treiben. Dem souffre-douleur aber gebe Er Kräfte ſeiner unſterblichen Monarchin nach zu hinken. Amen.

P. S. Quand mon camée sera de retour de Péterbourg, je ne manquerai pas d'en faire part à Votre Majesté Impériale.

A Paris, ce 6 (17) juin 1781.

Madame. A peine mon paquet préparé pour M. de Lohmann était-il fermé et remis à ce zélé serviteur de notre auguste Souveraine, que m'étant couché un peu tard suivant ma mauvaise coutume, j'ai été réveillé d'assez bonne heure par un autre courrier de Votre Majesté Impériale, M. Brosine. Quand celui-ci m'a dit qu'il était dépêché vers moi par le général Bezborodka, fac-totum, das ist fac-optimum impérial, car le fais-tout de l'Impératrice est certainement le fais-le mieux en toute occurrence; quand il a voulu me soutenir qu'il venait pour moi tout exprès, j'ai un peu souri. Cependant j'ai pris le paquet, j'ai collé mes lèvres sur le caractère sacré de mon auguste et amabilissisime Souveraine, j'ai arrosé son paquet de larmes délicieuses, et j'ai dit: Voyons, l'Impératrice est sujette à des maladies subites et terribles. Peut-être s'agit-il encore de lui sauver la vie. Elle me la doit, de son propre aveu, déjà deux ou trois fois, car que serait-elle devenue, si je lui avais refusé les loges de Raphaël copiées par Unterberger, ou bien la porte de Clérisseau, ou seulement cette tête d'Apollon copiée par Weder? Il est vrai que je suis un médecin un peu cher, et si M. le prince Wiazemskoï et M. le factotum Bezborodka sont d'aussi zélés serviteurs de notre Impératrice que moi, mes mémoires d'apothicaire doivent souvent leur faire faire la grimace, attendu la cherté des emplâtres de Rome et des vésicatoires de Paris. C'est diabolique, soit dit en passant, que cette princesse qui au bout du compte ne peut pas nier d'être née au dix-huitième siècle, puisque j'en ai vu les vestiges à Stettin, ne veuille pas avoir les goûts de son siècle. Le colifichet règne sur toute la terre, et par je ne sais quel caprice, elle ne veut pas le laisser approcher d'elle. Il est pourtant bien sûr que le colifichet ne peut pas ruiner une Impératrice de Russie, et qu'un mémoire de mademoiselle Bertin, quand elle aurait donné la plus grande carrière à son esprit créateur, n'approcherait pas encore de la cherté d'un mémoire du souffre-douleur. Aber, ja, ja, ſo, ſo, nu, nu, ſagt man in Dreſden. Und wenn der lebendige Gott unſere große Kaiſerin wiederum mit einem ſchweren Anfall von „Antiquitäten-Fieber, oder Raphaels-Sucht oder „Bau-Ruhr oder andern dergleichen Umſtänden heimgeſucht hat: ſo iſt es ihr ja nicht zu verdenken, wenn ſie einen Courier ſchickt um ſchleunige Hülfe gegen ſolche gefährliche Anfälle zu haben.

Après ce soliloque, Madame, j'ai prié mon courrier avec instance et tendresse de s'aller reposer, j'ai dévoré la pancarte divine dont je lui avais l'obligation; cependant, à quelques broutilles de commissions près, qui se trouvent vers la fin et qui, à parler vrai, ont les symptômes inquiétants de

cette maladie redoutable, je n'ai pu rien découvrir qui exige de ma part une assistance immédiate, ni par conséquent l'envoi d'un courrier. En revanche j'ai trouvé, à chaque page, à chaque ligne, les traces de cette bonté inépuisable par laquelle les dieux ou leurs ayant-cause ont voulu distinguer l'âme de Catherine d'entre celles de tous les souverains de la terre: car si la bonté avait jamais entièrement disparu sur la terre, c'est au fond du coeur de notre Impératrice que nous serions sûrs de la retrouver: et c'est au fond du mien que Votre Majesté retrouvera la reconnaissance si par malheur on est obligé de la chercher parmi les hommes. Mais comment pourrais-je, Madame, vous donner une idée du fond de ce coeur qui vous apartient à tant de titres? Comment montrer à Votre Majesté ce qui s'y passe, lorsque l'Impératrice, par un effet de cette bonté que j'adore, daigne employer le don de persuasion qui réside sur ses lèvres, pour me rassurer sur son silence? Quelqu'inestimables que soient pour mon coeur les lettres de Votre Majesté Impériale, je n'ai pas encore pensé que les bienfaits passés soient un titre aux bienfaits à venir, ni encore moins que les bontés de Votre Majesté dépendent de la fréquence de ces gages précieux de sa faveur impériale. Quand Votre Majesté cesserait entièrement de m'écrire, j'y perdrais sans doute le plus grand agrément, la plus grande douceur de ma vie, mais jamais on ne me persuaderait que j'ai perdu les bontés de mon auguste Souveraine. Pourquoi les perdrais-je? A-t-elle jamais repris ce qu'elle a une fois accordé, ce qu'elle a gratuitement accordé? N'est-elle pas toujours la même? Ne le suis-je pas aussi? J'en suis même un peu moins indigne qu'autrefois, puisque depuis près de huit ans que cela dure, il s'est établi de la part de Votre Majesté une chaîne de bienfaits, et de ma part un redoublement journalier d'attachement, de fidélité et de passion pour mon immortelle bienfaitrice, redoublement à la vérité bien inutile pour son service, mais dont je n'éprouve pas moins la puissance à tous les instants du jour. Ainsi quand il serait possible que Votre Majesté me retirât ses bontés, il ne serait pas possible de me le persuader, et je mourrais sans le croire et par conséquent sans le savoir. Mais l'Impératrice ne peut pas plus m'oublier que je ne puis me détacher d'elle: entre elle et moi c'est pour la vie et pour la mort, et je nourris toujours cette espérance secrète que lorsque j'aurai accompli ma destinée, elle ne regrettera pas la petite dépense de faire venir mes cendres pour leur accorder un coin dans la tombe de sir Thomas Anderson. Voilà, Madame, ma profession de foi. Il est bien vrai que ma maladie de l'année dernière s'est manifestée à la suite d'un long silence de Votre Majesté; mais la faculté n'osa décider alors que ce silence en ait été la cause; ce qu'elle remarqua, c'est qu'une pancarte divine de mon adorable

Souveraine arrivant juste au moment de la crise, hâta ma convalescence d'une manière surprenante, et il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Je ne me consolerais pas de penser que Votre Majesté par un excès inoui de sa bonté se crût obligée à une correspondance régulière, je ne dis pas quand les soins de l'empire et les détails des détails disposent de ses moments, mais lors même que les soins de son délassement la portent de préférence à d'autres objets d'amusement. Je viens, Madame, de faire mes preuves, le silence de Votre Majesté a duré six mois entiers, sans pouvoir me donner la plus légère inquiétude, ni m'inspirer la plus petite crainte d'aucun affaiblissement de la faveur impériale. J'ai vécu sur mon bien acquis. Elle m'a assez enrichi, me suis-je dit; ouvrons notre trésor; j'y trouverai de la nourriture pour le reste de ma vie, et quand je la passerais à lire et à relire, je mourrais sans avoir vu tout ce qui y est. Il me suffit d'être sûr que, soit en écrivant, soit en se taisant, elle est toujours la même, auxilium, spes et salus nostra, das iſt, meine Hülfe, mein Troſt und mein Heil.

En travaillant ainsi à rassurer la plus grande princesse de ce siècle et de beaucoup d'autres, sur la peine qu'elle se reproche quasi de m'avoir faite par son silence, je ne puis me défendre de penser combien la postérité serait étonnée si un chiffon comme celui-ci pouvait échapper à l'oubli pour lequel il est né, et parvenir jusqu'à elle. Elle croirait lire un éclaircissement entre deux amis dont l'un craint de n'avoir pas assez d'attention, et l'autre d'abuser d'un excès de complaisance; mais elle resterait à coup sûr confondue en apprenant que cette discussion a eu lieu entre l'Impératrice de toutes les Russies et un particulier obscur qui n'a aucun autre titre à l'illustration que le plus beau de tous, celui d'avoir été honoré des bontés de cette grande et immortelle Souveraine; mais aussi c'est alors que la postérité se formerait une idée juste de cette bonté dont j'ai la présomption de croire que j'entrevois seul la limite incommensurable. Au reste, je suis loin de plaindre Votre Majesté d'être ainsi organisée; je plains plutôt les souverains ses confrères d'être étrangers à cette organisation et assez malheureux pour ne pas sentir à quel point cette bonté les élèverait au-dessus du reste des mortels. Je peux dire, Madame, qu'à quelque chose malheur est bon; le silence de Votre Majesté m'a préservé de l'inquiétude que m'aurait donnée son bras gauche. J'ai bien su que l'Impératrice avait eu une légère incommodité de rhumatisme, mais on m'avait assuré en même temps qu'elle avait été peu de chose; c'était la version de la colonie Russe résidant à Paris. J'espère que le retour de la belle saison aura fait disparaître jusqu' aux ressentiments de douleur, et puisque Votre Majesté renonce à l'usage des eaux, j'ai le droit d'en conclure que le besoin ne s'en fait plus sentir. On dit que

nous allons avoir ici bientôt un comte Cagliostro, charlatan, qui fait beaucoup de bruit à Strasbourg depuis six mois. Il a fait des miracles comme tous ses pareils, mais ce qui le distingue de ses camarades, c'est que pour rien au monde on ne lui ferait accepter de l'argent; on ne peut être guéri que pour rien par cet homme merveilleux. Votre Majesté ignore peut-être que M. le comte Cagliostro a été très lié avec l'auguste Impératrice des Grecs, ainsi je pourrai lui demander ce qu'elle doit faire pour dissiper ce reste de rhumatisme. Il se loue beaucoup de ses bontés, mais il prétend que ses premiers médecins n'en ont pas eu autant pour lui que leur Souveraine. Ils ont eu le malheur d'être jaloux de sa science (pauvre M. Rogerson!) et l'Impératrice a été obligée, pour préserver M. le comte des piéges de ses médecins, de lui donner une escorte jusqu'à la frontière. Cet honneur n'est pas accordé à tout le monde, et je n'ose dire qu'il a été reconduit comme on chasse les autres. S'il vient ici, il sera dans son véritable élément, car pour les charlatans de toute espèce il n'y a que Paris et Londres; plus ils sont sots, plus ils sont sûrs de trouver des admirateurs dans ces deux égouts de la sottise humaine.

Si le prince Orlov n'a pas connu le comte Cagliostro en Russie, j'oserais presque me flatter de le voir arriver à Paris à la piste du comte en sa qualité de chasseur de charlatans infatigable. Jusqu'à présent, autant que j'en sais, le prince ou plutôt la princesse court après la santé et la fécondité en Suisse, et dans ce siècle d'incrédulité, la lie des siècles, ce n'est plus par la foi dans des mystères sacrés ou profanes qu'on obtient de la lignée, cela vient ordinairement quand on n'y pense pas, et ce n'est pas le moyen de faire venir cela, que d'y penser sans cesse. Je crois, Madame, que je vais aussi courir après la santé. Le prince Henri vient à Spa, il m'a mandé qu'il m'a arrêté un appartement dans sa maison. M. Tronchin prétend que cette course me fera du bien, et moi je le prétends encore plus que lui. Ma santé n'a pas été merveilleuse depuis quelque temps, le sang me porte beaucoup à la tête, et la vie sédentaire à laquelle je suis condamné est funeste. Je compte plus sur le mouvement que sur les eaux de ce Tsaritsino qui n'est pas celui de la Russie. Au reste les affaires de Votre Majesté Impériale ne souffriront rien de cette course. La correspondance romaine avec le divin ira son train, et avant que la Providence m'accorde une pancarte divine de Tsarsko-Sélo en réponse à celle-ci, je serai de retour dans mon taudis. J'ai d'ailleurs tout balayé ici. Le modèle de la porte de Pétersbourg chemine vers Lubeck. L'ordre de Votre Majesté de garder ici les Robinet est arrivé trop tard. Comme ces tableaux ne sont qu'au nombre de six et que leur port d'ici à Lubeck n'est pas un objet de cent écus, je les ai fait partir

avec le modèle, avant d'avoir reçu cet ordre impérial; en revanche la statue du Patriarche attendra ici la paix.

Je n'ai point reçu des fonds expressément pour le cabinet Zuckmantel, mais comme M. le procureur général m'a établi un nouveau crédit de 50 mille florins, il n'a pas eu besoin de me faire une remise exprès pour cela, et ce cabinet est également payé et va partir de Strasbourg pour Lubeck où je compte qu'avant la fin de juillet le modèle, les Robinet et ce cabinet Zuckmantel seront arrivés en bon état pour être remis par messieurs Pauli de Lubeck à celui que Votre Majesté chargera de les voiturer par mer à Pétersbourg. Mes principes en fait de finances se trouvent absolument d'accord d'avec ceux de M. le procureur général. Le nouveau crédit de 50 mille florins n'est pas encore entamé. Sur le premier de pareille somme je n'ai touché moi qu'au mois de février six mille livres pour le modèle, et puis au commencement de juin encore cinq mille livres pour le même objet, car ce modèle a emporté au delà de dix mille livres, et cependant Clérisseau et Gillet ne se sont remboursés que de leurs avances; et puis, j'ai touché le 20 juin 34 mille livres; tout le reste du premier crédit de 50 mille florins est allé à Rome; cependant ce crédit n'est pas encore entièrement épuisé. Pour les 34 mille livres j'en ai employé 30 mille à payer le cabinet Zuckmantel, et j'en réserve 4 mille pour les frais d'emballage. Tout cela sera clair quand je pourrai rendre mon compte à Votre Majesté Impériale; il me manque encore une pièce probante: si elle m'arrive avant mon départ, mon compte sera expédié tout de suite. J'ai fait partir d'ici un homme exprès pour Strasbourg afin d'être sûr de l'emballage; j'ai mieux aimé faire cette dépense de plus que de risquer que les tableaux soient mal emballés.

Je me réjouis du fond de mon coeur, avec tous les bons et fidèles serviteurs de Votre Majesté, de la résolution courageuse que l'Impératrice a prise de ne plus rien acheter. Quand je l'ai vue refuser un Corrège, j'ai dit: oh, pour le coup c'est tout de bon; incontinent je me suis mis à genoux pour remercier le ciel, j'ai fait trois fois le signe de la croix, et je me suis écrié: Seigneur, maintiens ton ointe dans ces sentiments chrétients et édifiants, et cela te fera bien de l'honneur. Il est vrai que j'ai été un peu confus de remarquer entre les premières et dernières feuilles de la pancarte divine, c'est-à-dire, en moins d'un mois, une grande différence, car après avoir dit courageusement: Je n'achèterai plus rien, on est un peu surpris de lire: Il faut que le divin envoie vite et tôt et ceci et cela et une kyrielle qui ne finit point. Et je me suis encore prosterné, et j'ai dit: Seigneur, il souvient Robin de ses flûtes; on dirait que les bonnes résolutions de ton ointe sont chancelantes, et cela ne te fera pas beaucoup d'honneur. Moi, pauvre diable, je n'ai que le

parti de l'obéissance. Si je n'écris pas sur-le-champ au divin, si celui-ci ne se dépêche pas de venir au secours de ton ointe, elle me reprochera d'avoir mis ses jours en péril, de n'avoir pas voulu lui sauver la vie, et par la résistance la plus sage je deviendrai en moins de rien la bête noire de tout mon siècle. Ma foi, Seigneur, la façon en est trop chère. Tu te vantes tout le long de l'année d'avoir le coeur des rois et des impératrices dans ta main; c'est ton affaire, tire-t'en comme tu peux, moi je m'en lave les mains. Après cette dévote et fervente prière, je dirai à Votre Majesté qu'il est inutile, quand on a pris une bonne et ferme résolution, de crier à tue tête: je n'achèterai plus rien. Cela ressemble trop aux poltrons qui chantent la nuit dans les rues pour prouver qu'ils n'ont pas peur, ou plutôt de peur d'avoir peur. Il n'y a qu'à dire posément et naturellement: Souffre-douleur, le goût des emplettes m'a passé; je ne m'amuse plus qu'à régner, qu'à rendre mes peuples heureux, qu'à leur élever aussi un petit Alexandre à la brochette pour le même but; ainsi je n'ai plus besoin de rien. Et moi je réponds à cela: or c'est là précisément le cas de faire des propositions à l'Impératrice, car elle s'y refusera rondement, nous aurons remporté la victoire, M. le procureur général, la sagesse et moi, et l'Impératrice nous en saura un gré infini: car après la victoire elle dira: c'est pourtant moi qui ai résisté à la tentation; je ne suis pas seulement héroïne quand j'ai la couronne impériale sur la tête, je le suis encore en robe de chambre et c'est bien gracieux; et celui qui a dit qu'il n'y avait point de héros pour son valet de chambre, en a menti. En conséquence, pour procurer à Votre Majesté ce contentement perpétuel d'elle-même, et pour lui assurer la gloire de me refuser, je lui ferai toujours quelque petite proposition. Aujourd'hui je me bornerai à deux.

La première sera bien aisée à refuser. Le comte de Baudouin a envoyé son catalogue l'année dernière et les estampes de ceux de ses tableaux qui sont gravés. Son cabinet, un des plus beaux de Paris, est bien connu de tous les seigneurs russes qui ont voyagé en ce pays-ci. Je lui ai dit l'année dernière que nous tous, fidèles serviteurs de l'Impératrice, ne voulions pas qu'elle achète, tant que la sotte guerre tiendrait le change dans l'état où il est. Il est revenu à la charge cette année, laissant Votre Majesté maîtresse des conditions, du temps, de tout, comme la lettre ci-jointe en fait preuve. Il sera fort aisé à Votre Majesté de dire avec la politesse qui lui est particulière: monsieur le comte, je n'ai plus de place pour vos tableaux au moins de dix ans.

L'autre tentation est un peu plus difficile à vaincre, mais puisque je me suis laissé tourmenter une année entière avant d'en parler à Votre Majesté,

il lui sera bien plus aisé d'y résister un quart d'heure. Un peintre de l'académie appelé Houel a passé quatre ans de sa vie en Sicile à parcourir et à peindre tous ces lieux célèbres, tous ces sites enchanteurs; il en a rapporté plus de quatre cents tableaux, je crois. Cette collection est certainement précieuse et intéressante, d'autant qu'elle joint la vérité historique au charme de l'illusion pittoresque. L'année dernière l'auteur me l'offrit pour l'Impératrice pour 70 mille livres. Cette année il se fit un scrupule de proposer au public la gravure de ces tableaux avant de savoir la détermination de Votre Majesté. Je lui dis qu'il pouvait aller en avant, que l'Impératrice n'avait point le goût exclusif, et je gagnai à cette occassion 30 mille livres, car il me laissa pour 40 mille livres ce qu'il m'avait offert l'année dernière pour 70 mille. Votre Majesté aura un peu plus de mérite et par conséquent plus de gloire à refuser ce marché: or la gloire est une belle chose, l'Impératrice sait cela mieux que moi. Plût à Dieu qu'elle eût connu cette sainte résistance il y a deux ans, lorsque ma mauvaise étoile me força à lui proposer des Robinet. Au lieu de refuser courageusement, elle marqua les six tableaux qui lui coûtent plus de 22 mille livres, et moi ayant tenu le bec dans l'eau à ce Robinet pendant deux ans, je fus obligé à la fin d'exécuter les ordres de ma Souveraine, qui dans un autre temps se serait volontiers passée des Robinet. Or c'eût été 22 mille livres à compte du cabinet Houel, et il n'aurait plus fallu que 18 mille pour achever cette emplette.

Je n'ai pu m'empêcher de rire quand j'ai vu avec quel courage Votre Majesté refusait le cabinet de ce Tronchin, qui n'est pas médecin. Mais, Madame, ce Tronchin, qui n'est pas médecin, n'offrait pas son cabinet à Votre Majesté. Puisqu'il a été assez fou pour en acheter un second, après avoir vendu le premier, il est au moins assez sage pour sentir qu'il ne faut pas qu'il vende le second, parcequ'il aurait la peine d'en former un trosième, et un jeune homme de 75 ans y pense à trois fois. Mon Tronchin non-médecin n'a voulu autre chose que faire hommage de son catalogue raisonné à l'auguste Impératrice de Russie, qui l'année dernière encore l'a comblé de bienfaits; si elle l'a oublié, lui il n'a pas la mémoire si courte. Si Votre Majesté n'exerce sa vertu de résistance que contre les choses qu'on ne lui offre pas, les anges du ciel ne riront pas aux anges de sa conversion; il leur faut d'autres prouesses.

Je joins à cette pancarte le catalogue des tableaux du brave et loyal baron de Zuckmantel, tels qu'ils doivent se trouver au déballage. Je crois que le petit catalogue d'une feuille est la liste des tableaux qu'on a retranchés de l'envoi, parce qu'ils n'étaient pas dignes d'être exposés au regards de Votre Majesté Impériale et ne valaient pas les frais de transport de

Strasbourg à Pétersbourg. Il en reste encore cent-vingt, je crois, et tout le monde me soutient que c'est le meilleur marché que l'Impératrice ait fait. Tant mieux, il me consolera un peu des Robinet, et ma conscience reste encore assez chargée de tout l'argent que j'ai dépensé à mon auguste Souveraine à Paris et à Rome. Mais aussi, Dieu merci, cela va finir, je n'aurai plus rien à acheter, ni par conséquent à l'ennuyer de comptes rendus. Au reste, s'il faut absolument tapisser Monseigneur le Grand-Duc en tableaux, je compte que les Robinet et les Zuckmantel rempliront bravement cet objet; c'était leur première destination.

Puisque j'ai prononcé ce mot fatal de compte rendu, je dois dire à Votre Majesté Impériale que M. Necker a été bien vivement touché du suffrage dont son compte rendu a été honoré par Minerve l'hyperboréenne. Il se proposait de m'écrire un petit mot à ce sujet, mais il est tombé malade, et suivant le billet de sa femme que je joins ici, il est tourmenté au milieu de sa fièvre de l'idée de ne m'avoir pas parlé de sa reconnaissance et de sa vénération pour l'Impératrice des Grecs. Votre Majesté a appris en son temps la retraite de cet homme célèbre. Cet événement a dû surprendre dans l'éloignement, et c'est peut-être l'événement le plus décisif de la sotte guerre qui donne tant d'humeur à Votre Majesté; mais ceux qui ont vu les choses de près ont vu approcher ce malheur à pas lents depuis plusieurs mois, et l'ont jugé inévitable longtemps avant qu'il ait éclaté. Aussi j'ai eu une humeur diabolique contre ce diable d'homme pendant tout l'hiver; il m'a prouvé que lorsque les têtes s'échauffent, plus on a d'esprit, plus on fait de lourdes bévues. Vivent les bêtes pour se conduire supérieurement! C'est une vérité dont je suis pénétré depuis très longtemps. Ils ne faut pas leur confier la conduite des autres, mais pour la leur propre, elles sont parfaites. M. Necker conduisait à merveille les finances du royaume; mais pour avoir voulu aller trop vite, marcher avec trop d'éclat, et peut-être ne pas laisser marcher à côté de lui des gens qui ne cherchaient pas à lui enlever sa gloire, son unique idole, il s'est cassé le cou. En marchant plus doucement, il ne pouvait manquer d'arriver au terme de ses voeux, mais, tandis que personne n'osait songer à le déplacer, il a voulu courir à sa perte, et il y aura peut-être entraîné la France. Je le tiens pour un homme mort, il ne résistera pas à cette catastrophe; il est né pour les grandes affaires; il ne se portait bien que depuis qu'il était en place, et à moins qu'il n'ait un empire à gouverner, je ne vois point de salut pour lui. Votre Majesté me dira: eh bien, il aimait un peu à tapisser sur la rue, à faire un grand éclat devant sa boutique, à attirer tous les yeux, à les détourner peut-être de tous les autres, pour jouir exclusivement du frou frou de la réputation, quel mal y

a-t-il à cela? Tant mieux, si l'on trouve des gens sous sa main qui mettent toute leur existence et bornent toute leur récompense à ces hochets. Votre Majesté parle comme une seconde Catherine ou comme une Catherine seconde. Sous elle, Necker eût été à l'immortalité avec tout le fracas qu'il eût désiré, et l'Impératrice aurait dit en souriant: Mon Dieu, que les hommes sont de grands enfants! Mais lorsque dans un ministère où l'on ne peut manquer de se faire des nuées d'ennemis, on a encore la maladresse de blesser l'orgueil, peut-être le sentiment de ceux qu'on devrait ménager, que peut faire alors un jeune roi au milieu du choc des passions qui se font la guerre autour de lui? Il est réduit à choisir entre plusieurs maux celui qu'on lui fait envisager comme inévitable. Un homme d'état a dit qu'il faut que la France soit bien robuste pour résister à tout cela, surtout si l'on continue à faire la guerre avec le nerf des années précédentes. Ce qu'il y a à craindre encore, c'est que tout ne rentre bientôt dans l'ordre accoutumé, c'est-à-dire dans le désordre, et que tous les abus à peine étouffés ne renaissent insensiblement. Alors M. Necker aura la douleur d'avoir vu passer son ministère comme un de ces météores lumineux qui éblouissent un instant par leur éclat, mais dont le passage est trop rapide pour laisser un souvenir et une impression durables. Votre Majesté a bien raison, son ouvrage n'était pas l'affaire d'une année; c'est au bout de dix ou de vingt ans qu'il en pouvait subsister une trace ineffaçable consacrée par les bénédictions des peuples.

L'auteur des Conversations d'Emilie est aussi pénétrée que moi des bontés de Votre Majesté Impériale, et si la protection auguste dont Votre Majesté veut bien l'honorer a de quoi l'enorgueillir, la prudence lui prescrit de supplier sa Protectrice magnanime de modérer l'excès de ses bontés. Tout le monde dans ce monde n'a pas l'âme aussi généreuse, aussi grande que notre Impératrice, et il se pourrait qu'on trouvât étrange que Votre Majesté fût instruite des malheurs de cette personne, et qu'on lui en fît un tort qui éloignerait davantage le remède. Quelquefois la nécessité ordonne non seulement de souffrir, mais aussi de souffrir sans s'en plaindre, du moins au loin, de peur d'aggraver les maux. M. Necker avait certainement ce tic singulier que pour obtenir justice et même faveur de lui, il valait mieux avoir des torts avec lui que d'être de ses amis, parce que dans ce dernier cas il ne voulait jamais être soupçonné d'avoir cédé à l'amitié, et dans le premier il voulait avoir l'air d'écraser son ennemi à force de générosité. Ce sentiment me paraît manquer de justice. La générosité consiste à ne pas se venger de son ennemi quand on le pourrait facilement, à ne pas lui refuser justice, mais aussi à ne pas faire de l'amitié un titre d'exclusion. Si Votre Majesté trouve le loisir de jeter les yeux sur les Conversations, j'espère qu'elle trou-

vera qu'il y a bien des choses dans cet ouvrage, quoiqu'il n'ait jamais le ton emphatique, et qu'il ne paraît pas tous les mois des livres de cette espèce en France.

Maître Sedaine a eu bien de la peine à se persuader que sa pièce ait été jouée avec succès. Comme il n'en avait pas entendu parler depuis quatre mois, il la croyait tombée sans ressource, et le benêt imaginait que je n'osais lui annoncer ce désastre. Enfin mon petit courrier M. Brosine, c'est-à-dire le moins grand de ceux qui sont venus depuis gentil courrier d'heureuse mémoire, est chargé de la tragédie en prose: «Paris sauvé», à qui Votre Majesté daigne aussi promettre les honneurs du théâtre impérial. Je crois que j'aurai aussi, avant de fermer, l'épitre dédicatoire avec quelques dessins représentant les principales figures de cette pièce. J'y joins quelques boîtes de confitures à croquer pendant la représentation. Je suis assez déconfit du mauvais état des confitures précédentes qu'on m'a promenées par la Suède et je ne sais où, pendant quatre mois de suite. Ce n'est pas moi qui ai couru après le baron livonien, c'est lui qui est venu me dire qu'il allait comme un trait en Russie et qui m'a tant prié de le charger de quelque paperasse. Hélas, il m'est bien aisé de succomber à cette tentation; mais les barons livoniens ne m'y rattraperont plus. Votre Majesté a si magnifiquement récompensé M. Sedaine d'une pièce à qui elle n'a pu accorder les honneurs de la représentation, qu'il est manifeste que la seconde pièce jouée avec succès doit être beaucoup moins magnifiquement payée. Si Votre Majesté permet l'impression de ces pièces et qu'on mette son nom auguste à la tête de «Paris sauvé», j'attendrai des ordres pour savoir ce qu'il faudra donner à un homme qui a eu la gloire de travailler par son exprès commandement.

M. de Buffon est en Bourgogne, où je lui enverrai ce bracelet qui est peut-être de la même date que les ossements des éléphants qu'on trouve aussi, je crois, sur les bords de l'Irtisch. Je me suis tourmenté pour inventer pour lui une marque de la munificence impériale; il y en aurait une très impériale, c'est l'envoi d'une belle fourrure dont je pense que le dit seigneur comte de Buffon resterait très orgueilleusement ébahi.

Sedaine entre et m'apporte ses dessins et son épître. Il m'enjoint très expressément de le mettre aux pieds de son immortelle bienfaitrice (combien de personnes, dit-il, ne lui doivent pas ce nom!), après lui sa femme, ses enfants, ses pièces, tout veut être à ces pieds. Et il dit comme cela, que si l'Impératrice désire de garder ces pièces quelque temps dans son portefeuille, sans qu'elles soient imprimées, elle n'a qu'à dire un mot, et elle sera obéïe; il n'est pas pressé d'imprimer. Je suis charmé de voir Votre Majesté s'enfoncer de temps à autre dans l'histoire sacrée et exercer

l'érudition de M. le grand chambellan et son talent pour les interprétations. Je me trouve bien coupable, Madame, d'avoir renouvelé les regrets de Votre Majesté sur une perte à jamais irréparable par l'envoi d'une méchante boîte. Je suis d'autant plus coupable que je ressens à tous les instants du jour cette perte cruelle et certes aussi vivement que mon incomparable Souveraine. Il me semble que depuis cet instant un vaste silence couvre la nature, tel à peu près que l'extinction totale de quelques espèces parlantes ou chantantes produirait sur la terre; et l'on est tenté de dire que ce n'est plus la peine de faire de grandes et belles actions, puisque celui qui pouvait s'élever à leur niveau pour les célébrer n'est plus.

Ce maréchal de Noailles qui s'est fait inscrire chez moi parmi les chalands de Votre Majesté n'est sans doute autre que ce ci-devant duc d'Ayen célèbre par ses bons mots, dont il n'a pas perdu le goût en changeant de nom. De qui donc Votre Majesté prétend-elle faire la conquête? Des bêtes? Il faudra, Madame, s'il vous plaît, rayer cela des almanachs de l'Impératrice grecque; jamais elle ne tâtera ni de leur suffrage ni de leur admiration; ce sont des morceaux de friandise qui ne sont pas pour son bec. Cela est fâcheux, mais cela est comme cela, et moi souffre-douleur je dois la vérité toute crue à mon auguste Souveraine. J'ai fait un heureux, en communiquant au marquis de Juigné ce que Votre Majesté a eu la bonté de me dire à son sujet. J'en ai fait un autre, en disant à M. Olivadès que son sort a vivement occupé cette Souveraine dont le nom n'est jamais prononcé avec indifférence. J'ai vu l'effet visible que ce mot a fait sur lui. Cet illustre martyr de l'inquisition se trouve à Paris depuis peu de temps; il voudrait bien, je crois, s'y établir, reste à savoir si madame sa maman, l'inquisition, y consentira. Je crains qu'échappé de ses tendres griffes, il ne soit obligé de pousser plus loin et de vivre en pays hérétique. Je vois Votre Majesté presque aussi disposée à se scandaliser de la sainte inquisition que du roi-boeuf; à force de se scandaliser de tout, on peut tomber dans de terribles écarts. Appeler les saints inquisiteurs des belîtres! Juste Dieu, dans quel siècle vivons-nous? Si Don Joseph Solano avait fait sauter ces saints hommes par dessus son bord, ces chiens d'Anglais n'auraient pas voulu les repêcher peut-être, et adieu la foi et toutes ses richesses. Je suis persuadé que c'est la sainte inquisition qui trace aux Espagnols tous ces beaux projets de campagne qui se font tant admirer des connaisseurs, et dont on a dit que le secret était si parfaitement gardé que même après l'exécution personne ne le devinait. Le vicomte de la Herreira est un troisième heureux que j'ai fait. Nun, das weiß Gott, die Catharinenſucht iſt eine ſchwere und grauſame Krankheit. Wenn die einmal einreißt, ſo iſt es aus mit dem Patienten. Combien de fois il m'a parlé de ce voyage

sur le Volga et de ce dîner à l'ail! Il m'a embrassé de joie quand il a vu que l'Impératrice s'en souvenait. Il vient de se faire opérer avec succès de la cataracte, et partira vers l'automne pour Naples, afin d'y parler de l'Impératrice avec l'abbé Galiani. Quel livre envoyer à M. de Hennin pour lui remplacer le sien? Le voyage de Gmelin en allemand, et le faire remettre à M. de Vérac, pour le lui faire tenir. Il est étonnant comme le souverains sont enclins à la calomnie. Je me rapelle très bien que j'ai dit à Votre Majesté que je trouvais très injuste que Votre Majesté contribuât à rebâtir les villes incendiées du Saint-Empire, parce que toutes les villes de l'Empire de Russie brûleraient, que le Saint-Empire Romain ne donnerait pas une obole pour leur reconstruction; et à cause de cela on me dit: vous voulez que je contribue à rebâtir les villes brûlées d'Allemagne, tandis que je veux tout juste le contraire. O de tous les fondateurs l'archifondatrice! o Hundert und drey Stadtbauerin! où est la justice? Autre hérésie: je ne dois point empiéter sur le terrain de mon très cher frère Joseph II. Nous autres, Empire Russe, nous sommes le terrain de notre très chère Souveraine Catherine II; mais nous autres, Empire Romain, nous ne sommes pas terrain de notre très cher chef Joseph II; notre terrain brûlé ou non brûlé ne lui appartient pas. Das iſt nun ein großer Unterſchied, welchen der gerechte Joſeph ganz gut in acht nehmen wird; ich verhoffe es. Notre Impératrice des Grecs fait toujours à rebours de tout le monde. Les autres font plus de bruit que de besogne; elle veut, à cause de cela, faire plus de besogne que de bruit. Son bruit dit qu'il sera bien difficile de faire rendre à mon ami Haller ce qu'il a prêté, et sa besogne est de le faire payer, ce qui a été fait: tandis que je parlais à mon ami Haller des difficultés, il m'a appris qu'il était payé; et j'ai dit avec Gillet: eh bien, la voilà comme elle est. Je suis bien sûr que l'Impératrice viendra aussi à son honneur et à faire payer ce pauvre Gillet de sa pension. La persuasion réside sur ses lèvres augustes, la justice et la générosité dans son grand coeur: ainsi son factotum chamailleur réussira avec M. le président et M. le secrétaire de l'Académie. Il y aura au mois de septembre prochain deux ans que le pauvre Gillet n'a rien touché.

Votre Majesté aura entendu parler de l'incendie de notre salle d'Opéra. On dirait que nous n'avons du feu à Paris que pour fournir à nos folliculaires et journalistes l'occasion de s'épuiser en éloges pompeux des pompiers. C'est, à les entendre, une troupe de héros, qui donne des preuves prodigieuses d'activité, dintelligence, d'intrépidité; mais c'est quand tout est brûlé. Dans nos villes impériales d'Allemagne nous n'avons ni héros ni panégyristes, nous n'avons que des ordonances qu'on observe, et les incendies

finissent avant qu'on ait eu le temps d'en parler. Voilà donc l'Opéra à bas et les plus sublimes talents en danse, une divine Heinel, la gloire de l'Allemagne, une Théodore plus légère qu'un oiseau, un Dauberval, un Nivelon, sans fonctions, au moins pour plusieurs mois. Il dio de la danse Vestris et son fils Auguste faisaient pendant ce temps les beaux jours de Londres.

Je pâlis, Madame, en considérant la longueur de cette pancarte. Dieu me préserve d'en compter les pages; je n'aurais jamais le courage de l'envoyer. Que Votre Majesté me pardonne pour la dernière fois, et je promets à Dieu et à son ointe de n'en plus jamais écrire de cette longueur effrayante. Je me tourmente toujours dans mon cabinet à faire hausser le change, et mes tourments n'y font ni froid ni chaud. Le comte de Schouvalov dit que Votre Majesté pourrait et devrait envoyer une partie du cuivre de sa banque en Hollande. Je ne conçois pas bien cela, parce que je ne l'entends pas, ou bien, je ne l'entends pas bien, parce que je ne le conçois pas. Mais je voudrais, moi qui ne vois pas plus loin que mon nez dans ces matières, que l'Impératrice eût une caisse et un trésorier de fondation à Amsterdam. Tant que le change de Russie serait sur un bon pied, le trésorier ferait valoir les fonds de la caisse en bon papier qui produirait, mais dès que le change ferait la mine de vouloir baisser, il réaliserait son papier et se mettrait sur la brèche pour empêcher la baisse. Je crois qu'un homme intelligent et au fait du tripotage de l'argent préviendrait par cette manoeuvre toute variation sensible et préjudiciable, et procurerait aux autres mesures que la sagesse de Votre Majesté Impériale peut prendre, le temps nécessaire pour faire leur effet. Cette caisse pourrait d'abord se former d'emprunts ouverts, car, Dieu merci, nous avons plus de crédit que de besoins: voilà la décision d'un aveugle jugeant des couleurs. J'ai appris aussi, il n'y a pas longtemps, que la France était en état de fournir à la Russie les piastres à meilleur marché que la Hollande.

Dieu, qui veille sur ses enfants, m'a bien vengé de celui qui a tremblé que je ne gardasse le plus beau des deux camées, en m'inspirant de les envoyer tous deux, afin de tenir de la main de mon auguste bienfaitrice celui que je me suis appliqué dans un accès d'impertinence. Actuellement c'est d'elle-même que je le tiendrai, et personne n'aura plus à trembler que moi de joie et de reconnaissance quand je le recevrai. Paisiello m'écrit quatre pages de sissisi sur notre sississime Souveraine, qui veut bien le garder encore quatre autres années; je lui répondrai par six pages de sissisi, et le prierai d'engager notre sississime Souveraine de m'envoyer son Alcide al bivio et autres trésors avec ce camée qui vaut seul un trésor. Il pourra expliquer à Votre Majesté ce que le Pape veut dire quand il appelle l'Impé-

ratrice des Grecs ses entrailles: *viscere mie*, qu'il ne faut pas prononcer à la française. Sa correspondance avec l'Impératrice des Grecs devrait bien lui prouver qu'il ne faut jamais s'entendre quand on veut rester d'accord. Ce n'est que depuis que ses enfants l'ont un peu compris, qu'il n'y a plus de paix dans la maison. Gott weiß was der Joseph mit seinem alten Papa vornehmen will. Je crois que Papa Braschi fera bien d'écrire à Votre Majesté dans toutes les langues qu'elle n'entend pas, pour se recommander à sa puissante médiation auprès de ce Joseph qui veut casser les vitres à son vieux Papa. Le nom sacré de mon auguste Souveraine sera le mot de ralliement entre le prince Henri et moi. Je plains Votre Majesté, les oreilles lui tinteront à faire pitié; cet inconvénient est sans remède. Après cela si je trouve beaucoup d'éloignement entre les deux frères, je prêcherai la paix, la soumission sans bassesse, le rapprochement. Maintenant je ne sens que l'extrême besoin que j'ai de l'indulgence impériale pour me faire pardonner cet intolérable bavardage. Je me jette aux pieds de Votre Majesté et je les embrasse pour obtenir mon pardon, et je promets sérieusement de me corriger; et, en me relevant pardonné, j'y dépose l'hommage du plus profond respect, avec lequel je serai toute ma vie, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

№ 30.

Allerunterthänigster Pforten-Vortrag.

A Paris, ce 15 (26) juin 1781.

Madame, J'ai pris sur moi de rétarder de huit jours le départ de mon délicieux Brosine, afin de pouvoir le charger de tous les papiers dont Votre Majesté Impériale doit se trouver munie à l'arrivée du modèle de la fameuse porte de Pétersbourg à Moscou, lequel modèle il plaira à Votre Majesté de faire prendre à Lubeck chez Messieurs Pauli et Compagnie avec les tableaux Robinet et le cabinet Zuckmantel. Or ça, je compte très fort que Votre Majesté ne s'avisera pas de me faire une querelle d'allemand au sujet de cette porte-modèle; ni de me dire: «je crains qu'elle ne soit trop belle», et d'autres propos piquants. Car je serais capable de faire un esclandre, de faire imprimer la lettre impériale, et de dire à l'univers et autres: voyez et jugez, petits et grands. Or une telle publication (je devrais écrire ceci en petits caractères à l'exemple de Votre Majesté, attendu que je le dis tout bas) une telle publication ferait beaucoup de tort à l'Impératrice, parce que l'univers s'apercevrait qu'il y a quelquefois de tels vacarmes dans l'intérieur de Sa

Majesté qu'on ne sait à qui entendre, que les idées se coudoient, se heurtent, se culbutent les unes sur les autres, de sorte qu'il faut tout le flegme allemand d'un souffre-douleur pour n'en être pas renversé les quatre fers en l'air, lorsqu'il plaît à Sa Majesté d'ouvrir la porte et d'en lâcher la meute sur ce pauvre homme. Votre Majesté doit sentir qu'on ne peut pas trop garder le titre d'Autocratrice, das iſt Selbſtherrſcherin, quand on souffre bon gré mal gré un tapage aussi continuel dans son intérieur: sous une autocratrice tout doit être tranquille, paisible, en repos, comme dans l'âme germanique d'un souffre-douleur; point de choc, point de bruit, point il me faut ceci, point il me faut cela. Or, comme Votre Majesté est loin de cet état de perfection, il faut donc me ménager, pour que je ne parle pas, et que son triste état ne perce pas dans le monde. Il était certes fort inutile d'enflammer cet autre brasier de Clérisseau, en disant qu'il ne se gêne pas, nous avons du granit, nous avons du marbre; et puis (voilà le pis de l'affaire) c'est moi qui passe de temps en temps par cette porte. O mot fatal, quel ravage n'as-tu pas causé chez ce fou de Clérisseau! J'aurais donné de l'argent pour lui ôter cette ideé de la tête!

Au reste, je dois dire à Votre Majesté qu'il n'y a eu qu'une voix sur cette porte, et que tous ceux qui l'ont vue ont été frappés de la noblesse, de la grandeur et de la simplicité imposante. L'Europe l'a vue par les yeux de ses ambassadeurs. Quand elle sera sous les yeux de mon auguste Souveraine, je lui en dirai mon avis et celui du bailli de Breteuil fondus ensemble, mais pas plus tôt. Aujourd'hui je me borne à mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale:

1°. Un état dressé par le fameux M. Delorme concernant les caisses qui renferment toute la pacotille Clérisseau et les tableaux Robinet partis de compagnie. Item le mémoire de frais d'emballage qui seront acquittés à Lubeck avec le port. Item une note de ce qu'il faut observer en ouvrant et déballant le modèle. Nota: cette pièce est essentielle, et Dieu préserve Votre Majesté de l'égarer.

2°. Des observations sur ce modèle faites par l'original Clérisseau. Moi j'observe que certainement il n'a pas perdu son temps, en imaginant, composant, essayant, exécutant tout cela en cinq mois. J'avais à coeur que Votre Majesté ne perdît pas une année, ce qui serait arrivé si le modèle n'eût été achevé qu'en auguste ou septembre; j'eusse été dans la nécessité de le garder tout l'hiver.

3° Une lettre de l'original Clérisseau à moi adressée, que j'invite Votre Majesté d'étudier avec autant d'application qu'une épître de S. Paul aux Corinthiens, ou que les épîtres du divin de Rome commentées par l'Impé-

ratrice de toutes les Russies, excepté celle des sots, supposé qu'il y ait une Russie pour les sots, comme il y a un paradis pour les pauvres d'esprit, ce dont je doute. Votre Majesté y verra mes querelles avec ce Clérisseau, et puis on finit, quand on a bien crié, par se raccommoder.

Depuis que son cabinet est parti d'ici, jusqu'au moment où les ordres de faire le modèle sont arrivés, il s'est occupé à faire les huit tableaux que je n'ai jamais pu l'empêcher de joindre à son modèle. Un Suisse en voulut emporter deux l'hiver passé, il lui offrit de les payer ce qu'il demanderait. Pas pour un diable: ces tableaux sont à ma Protectrice; si j'ai encore des yeux l'année prochaine, je vous en ferai. Il ne m'a donc pas été possible, Madame, de débarasser Votre Majesté de ces tableaux. Les particuliers les paient à Clérisseau quatre cents livres pièce; mais je suppose toujours que Votre Majesté les comprendra dans la récompense générale à accorder à Charles Clérisseau, ou plutôt qu'elle jugera à propos, suivant sa munificence ordinaire, d'ajouter une somme quelconque à celle de 60 mille livres avec laquelle le sort de cet artiste a été fait par son auguste bienfaitrice; moyennant quoi tout se trouvera soldé à la fois. Pour le brevet de premier architecte impérial que j'attends toujours, il ne peut plus lui être refusé, puisqu'il en a fait les fonctions. Gillet a aussi travaillé depuis cinq mois sans relâche, et je ne me suis pas cru en droit de le récompenser, sans avoir l'attache de notre commune bienfaitrice. Lorsque tous les gens de l'art de Pétersbourg, y compris la Bibiena couronné, auront prononcé sur ce monument, je dirai aussi mon mot.

Maintenant je veux bien, par pure compassion, sauver encore une fois la vie à Votre Majesté, en mettant vite et tôt le divin en campagne pour toutes les gloutonneries imaginables dont la liste seule me donne le cauchemar; mais je déclare à la face du ciel et de M. le procureur général, que c'est pour la dernière fois, et que je deviendrai dur comme une pierre et inexorable par la suite. C'est bien assez pour m'affliger, que d'avoir eu un rhumatisme; quant au Raphaëlisme, c'en est trop; et si je me laissais aller à mon bon naturel, notre Souveraine sississime se trouverait criblée de tous les ismes possibles. Je délivrerai Votre Majesté de Beaumarchais et ses loteries, mais je veux aussi que l'Impératrice mène une vie chrétienne et paisible, qu'elle laisse le Père éternel dans sa niche, et qu'elle ne le force pas à son âge de faire de si énormes voyages. C'est bientôt dit et demandé que quelques belles, bellissimes pierres antiques. Cela ne se trouve pas sous la main tout de suite à Rome, ou, si l'on veut être servi subito, on paie des prix fous. Or je ne veux pas que Votre Majesté paie davantage, comme elle a payé ce fameux Persée de Mengs. Si le bailli de Breteuil voulait

nous permettre de choisir dans sa collection, notre choix serait bientôt fait, car son cabinet est surtout précieux par la beauté de la matière et des pierres; mais le bourreau ne veut vendre que tout ou rien. Enfin je lâcherai le divin, peut-être est-il déjà lâché, je ne dis pas tout; mais c'est pour la dernière fois. Tout ce que je comprends d'après la superbe description de Tsarsko-Sélo, c'est que si mon bon ange m'y ramenait, pressé comme je serais d'embrasser l'autel de la divinité tutélaire de ce lieu sacré, je me cognerais le nez à bien des portes, sans m'y reconnaître, avant de retrouver le sanctuaire qui recèle meiner Augen Weide, und meines Herzens Troſt, und meines Sinnes Stolz, Rußlands Freude und Europens Hoffnung.

Je dirai à Votre Majesté pour nouvelle qu'on croit que l'Empereur viendra cette semaine passer deux jours avec la Reine, sa soeur, à Trianon. Ce sera vraisemblablement in ristretto et loin des profanes. Tant pis pour Joseph von Falkenstein s'il ne va pas à la piste du taudis du souffre-douleur: car avec qui parlera-t-il mieux qu'avec lui de son voyage de Mohilev et de Pétersbourg? et de quoi peut-on parler qui vaille ce sujet-là? J'ai vu une lettre de Vienne qui dit qu'un règne de 40 ans est si parfaitement oublié qu'on croirait qu'il y a quatre cents ans que Marie Thérèse a régné. Aber warum denn das? Das bitte ich Ihro Kaiſerliche Majeſtät unterthängiſt mir in die Ohren zu ſagen. Aber ich weiß doch ſchon warum. Was aber Ihro Kaiſerliche Majeſtät von dem alten Herrn von Sorgenfrey zu ſagen belieben, das iſt ſehr lehrreich und merkwürdig, et Tacite n'aurait pas mieux dit. Celui-là, nämlich der alte Herr, n'a jamais dit à aucun de ses commensaux ce que l'Impératrice, sa haute Alliée, dit un jour à son souffre-douleur: savez-vous que vous m'étrillez prodigieusement aujourd'hui? ce qui fit faire un tel éclat de rire au dit souffre-douleur en présence de l'auguste étrillée, que je n'y saurais penser sans fondre en larmes d'attendrissement et de douleur, en m'écriant: quel temps c'était! quelles causeries, quel rêve incroyable! Or je veux faire un livre exprès pour prouver qu'un souverain qui ne se met pas à portée d'être étrillé journellement, ne peut pas être plus en valeur que la plus belle chemise qu'on ne blanchirait jamais. Mais je n'ai garde de commencer mon livre ici; je finis pour ne pas m'exposer au danger d'envoyer à Votre Majesté Impériale par le même délicieux courrier deux pancartes assommantes. Je finis en me prosternant devant mon immortelle Souveraine, et ne me relève que pour lire mon pardon dans ses yeux, dans ce regard doux, redoutable et auguste, qui déconcerte et rassure en même temps.

Je vais célébrer l'heureux avénement à Spa. Nous perdons toute la tribu Schouvalov tout de bon; elle retourne droit à Pétersbourg. Je conseille à Votre Majesté d'avoir beaucoup de respect pour son souffre-douleur. C'est

le seul homme en France pour qui la princesse Daschkov ait daigné prendre une lettre de recommandation en Angleterre. Il est vrai qu'elle espère que je dirai beaucoup de bien de ses enfants devant le trépied impérial, et il est certain que ses enfants ont eu une approbation générale. Son fils paraît avoir beaucoup profité de son long séjour en Ecosse, et je suis toujours heureux quand je puis dire du bien d'un sujet de Votre Majesté Impériale.

P. S. Il est arrivé un cruel malheur à la ville de Gera, qui a été brûlée de fond en comble, il y a environ trois ou quatre mois; il n'est pas resté une seule maison. Cette ville, située sur les confins de la Saxe, était très industrieuse et très commerçante, par conséquent remplie de la gloire de Catherine. Le comte Alexis Orlov, en allant de Pétersbourg dans la Méditerranée ou en revenant, s'y arrêtait toujours et commandait des ouvrages pour l'Impératrice. Je ne sais pourquoi le comte de Reuss, à qui cette ville infortunée appartenait, me donne la préférence pour porter sa supplique aux pieds de Votre Majesté Impériale. J'ai préalablement répondu par une question. Croyez-vous, ai-je demandé, si une ville de l'Empire de Russie éprouvait le malheur de la ville de Gera, qu'elle pût compter sur de grands secours et une assistance efficace de la part de l'empire d'Allemagne? Point de réponse. Alors j'ai dit: vous voulez apparemment me priver de mon titre de souffre-douleur, et que l'Impératrice m'appelle son porte-ennui.

A Paris, ce 8 (19 auguste) 1781.

Madame. Je disais donc à Votre Majesté Impériale, en lui dépêchant le 9 juillet, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de la bienheureuse révolution, mon très humble et, à ce que j'espère, très lucide Rechnungs-Vortrag, que j'allais partir le soir même, pour me rendre à Spa, le Tsaritsina de ces pays-ci, en vertu d'une invitation formelle reçue du héros de la Prusse, qui a maintenu le nom de Henri dans tout le lustre dont il jouit en Europe depuis le Navarrois si tourmenté pendant sa vie, si exalté après sa mort. Or cette invitation s'est faite en forme de prière avec une discrétion et une délicatesse extrêmes, et Henri m'a demandé comme une grâce la faveur qu'il m'accordait. Voilà du tsarskosélique tout pur et à faire pitié. Combien de fois l'Impératrice ne m'a-t-elle pas impatienté avec ces tournures! On dirait que j'ai fait le plus grand sacrifice en venant à Spa passer six semaines avec un des plus illustres personnages du siècle de la manière la plus intéressante et la plus agréable. Nun über dergleichen Zumuthungen zuckt man

die Achſel. Si, en entreprenant ce charmant voyage, j'ai été trompé en quelque chose dans mon attente, c'est que tous les Tsaritsina ne mènent pas par Pétersbourg; la route du mien ne m'a conduit que tout platement par Bruxelles, où l'archiduchesse gouvernante avec son époux saxon avait fait la veille son entrée par le temps le plus triste et le plus pluvieux, tandis que Joseph était allé parcourir les sept provinces unies. Tout était en mouvement dans cette capitale par le plus vilain temps du monde; c'était pour moi une raison de plus d'en déguerpir au plus vite. J'espère que mon départ subit n'a influé en rien sur le malheur arrivé quelques jours après au feu d'artifice, mais je sais que je me trouvai fort bien le 13 aux pieds de mon protecteur. Dans le premier moment il y eut un peu de vacarme, de confusion et de désordre dans nos discours; c'était bien naturel après quatre années d'absence et de grands evénements. Les idées se pressaient, se heurtaient un peu les unes à côté des autres, et je ne réponds pas des contusions qu'il y eut par-ci par-là: car l'art de parler de dix choses à la fois et en même temps n'est pas encore perfectionné à un certain point, et le crible par où il faut passer est si étroit que je ne sais ce qui en serait arrivé, si le nom de Catherine ne nous eût mis subitement à l'unisson après le premier choc. Je laisse aux savants critiques de la postérité à décider qui des deux, du héros ou du confident, prononça le premier ce nom auguste, tant prononcé depuis dix-neuf ans; je crois pourtant que ce fut Henri. Ce n'est pas sans une extrême confusion que j'appris que tout commerce de lettres avait cessé entre l'Impératrice des Grecs et lui. Comment lui avouer que j'étais plus heureux que lui et que j'avais conservé cet avantage inestimable? Il m'assura que ce n'était pas de prince à l'Impératrice qu'il regrettait de l'avoir perdu, et je l'assurai à mon tour que je le concevais d'autant plus facilement, que ce ne serait jamais de souffre-douleur à l'Impératrice que je m'affligerais de ce malheur, si j'étais réservé à en mourir. Mais que voulez-vous, ajoutai-je? autrefois c'était son passe-temps favori de griffonner des lettres, aujourd'hui le goût lui en a passé, parce qu'elle est accablée d'infirmités. Vous radotez, mon cher confident, me dit Henri; je sais qu'elle ne s'est jamais mieux portée. — Ja freylich, dem äußerlichen Anſehen nach, ai-je répondu; aber ich kenne den innerlichen Zuſtand, da ſiehts erbärmlich aus. Folianten und Quartanten, Juriſterey, Normalſchulmeiſterey, das a, b, c ediren, Einrichtungsſucht und viele andere ſchwere Krankheiten hauſiren im keiſerlichen Kopfe wie ein Regiment Coſaken; c'est une complication de maux où les Rogerson, Kelchen et compagnie perdent leur latin, leur grec, leur anglais, leur allemand et le peu de russe qu'ils peuvent savoir. — Mais n'y a-t-il donc jamais de relâche avec ces accidents? demande Henri.—Je crois

que si, répond le souffre-douleur; mais je présume que Messieurs Alexandre et Constantin s'emparent, tant qu'ils peuvent, de ces intervalles, et finalement les absents ont tort, dit le proverbe. Si je ne suis pas compris dans la réforme générale, c'est à la miséricorde impériale que j'en ai l'obligation; elle sait qu'il y va de ma peau: or la peau d'un souffre-douleur ne s'écorche pourtant pas aussi légèrement que celle d'un lapin. Sans compter qu'on a un peu besoin de lui pour les immenses provisions nécessaires à la gloutonnerie, et c'est ce qui vous le préserve miraculeusement de sa ruine. Aussi ma litanie n'a-t-elle qu'un verset: que Dieu conserve l'appétit glouton à Son ointe, et préserve du puits de l'oubli le souffre-douleur-fournisseur! Hospodi pomilouï! — Nu, répond Henri, si vous m'assurez que son silence ne vient pas d'un changement de sentiments, je cesse de m'en plaindre, et je vous donnerai même une prise de tabac de cette tabatière tournée de ses propres mains à son tour de l'Hermitage. — Elle changer! ai-je fini, en baisant dévotement cette précieuse relique! Jamais, jamais! Felſen mögen brechen, Thürme können ſtürzen, aber der Kaiſerin Herz kann nicht brechen und ihr Sinn kann ſich nicht ändern: denn gut iſt gut, und recht iſt recht. Henri est convenu de ce principe, et la consolation a rempli son grand coeur. Mais pourquoi, reprend-il, m'avoir promis son portrait en grand et ne me l'avoir pas donné, tandis que sa place est marquée dans mon grand salon depuis nombre d'années? — Eh bien, la voilà, ai-je dit; je la reconnais: si vous saviez, Monseigneur, tout ce qu'elle m'a promis en ce genre et tout ce qui est encore à venir! Der Geiſt iſt willig, aber das Fleiſch iſt ſchwach, ſagt der Apoſtel. Comment voulez-vous qu'au milieu de toutes les infirmités ci-dessus mentionnées, elle conserve la piste de tous ses engagements? Mais j'ai trouvé remède à cela. Je me ferai un ami solide de son grand moutardier, de son factotum, du général Bezborodka. Elle promettra, lui tiendra, et tout ira le mieux du monde. C'est bon pour un souffre-douleur, dit Henri; mais moi! qu'est-ce que cela m'avancera!

Voilà à peu près, Madame, comment s'est passée notre première soirée; et après beaucoup d'autres aussi belles choses dites de ma part, Son Altesse Royale m'envoya me coucher, afin de recommencer le lendemain. Denn, das weiß der lebendige Gott, der Kaiſerin Name miſcht ſich in Brunnen-, Tiſch- und Redouten-Geſpräche, webt ſich in alle Diſkurſe, ſie mögen öffentlich oder inter privatos parietes gehalten werden; und paßt überall. On dirait que nous avons juré de la mettre à toute sauce, et il n'y en a point à laquelle elle ne donne du ragoût.

Cinq ou six jours après mon arrivée est survenu un autre pélerin qui se nomme Joseph et qui, ni plus ni moins que Catherine, se prétend aussi

second de son nom. Joseph entra dans Spa à pied, suivant en cela la coutume de notre Seigneur et Sauveur, mais non pour la même raison: car un de ses chevaux de poste s'était abattu. Bientôt il se mit dans un fiacre, afin de ne pas copier notre divin Sauveur, qui dans ces occasions ne montait tout au plus qu'un âne, et vint tomber chez Henri comme une bombe. Je puis assurer Votre Majesté qu'à ma montre, qui ne court pas plus vite qu'une autre, ils restèrent deux heures et demie enfermés tête à tête. Joseph ne cacha pas même qu'il avait retardé son voyage de Spa exprès, pour être sûr d'y rencontrer Henri. Il dîna ce jour chez le prince de Lichtenstein. Dès qu'il fut rentré dans son auberge, Henri y tomba comme une bombe à son tour; mais pour le coup je me trouvai à sa suite, et ce que je sais, c'est que ce n'est pas par ma faute ni par mon fait qu'en un clin d'oeil l'Impératrice se trouva encore mêlée dans nos caquets. So will ich mir alſo unterthänigſt die Frage: ne pouviez-vous pas parler d'autre chose, verbeten haben. Joseph débuta par un éloge des comtes de Romantsov, avec qui il se rappela de m'avoir vu à Vienne, et faisant la transition des sujets à la Souveraine, il me demanda s'il y avait longtemps que je n'avais eu de ses nouvelles. C'était me dire de la manière la plus délicate qu'il connaissait l'excès des bontés de mon auguste Souveraine pour un vase d'argile de sa création. Il m'assura ensuite qu'il avait des nouvelles de plus fraîche date que les miennes. Cela me parut simple: car tout présomptueux qu'est un vase d'argile, quand il est de création impériale, il n'est pas dépourvu de jugement. Mais lorsque Joseph m'apprit qu'il avait en sa possession le catéchisme composé pour Monsieur Alexandre, alors, je l'avoue, le courroux m'enflamma le sang et mes yeux étincelèrent de fureur. Voilà donc, m'écriai-je, le coup fatal que le sort me réservait! Il y a un siècle que je fais le mendiant pour arracher ce catéchisme à force d'importunités, et il faut que M. le comte de Falkenstein fasse le voyage de Spa tout exprès pour m'apprendre qu'il est possible de l'avoir ce catéchisme, sans que j'en aie tâté! Das iſt zu fett! Joseph m'en fit un éloge à tour de bras. Etait-ce donc là le moyen de me calmer! Il m'avoua qu'il l'avait reçu en russe, et qu'il l'avait fait traduire en allemand chez son ministre. Belle excuse, ai-je dit! N'a-t-elle donc personne autour d'elle, pour me le faire aussi traduire en allemand? Ne peut-elle pas dire à son grand moutardier: factotum, fais-moi traduire cela pour mon souffre-douleur, et que je n'en entende plus parler?—Sur quoi nous nous mîmes à éplucher l'Impératrice grecque de la tête aux pieds, et Dieu sait comment elle fut accommodée entre Joseph, Henri et moi, vase d'argile indigné et fumant de colère. Après l'avoir tenue ainsi sur les fonts à peu près une heure et demie, Henri, pour m'apaiser,

me dit: allons-nous en à la comédie. Joseph vint bientôt après dans la loge du prince se placer entre Henri et moi. Il se pria pour le lendemain, en sa qualité de comte de Falkenstein, à dîner chez Henri, qui s'appelle à Spa le comte d'Oels; et il choisit pour convives, indépendamment de son compagnon, le général Terzy, et les personnes attachées au prince, le souffre-douleur gréco-impérial et Raynal le proscrit par Séguier, à qui Henri a rendu auprès de Joseph les services les plus essentiels, en lui procurant un asyle à Bruxelles avec tous les agréments possibles. Ce même besoin d'un grand coeur, d'une âme généreuse, d'inspirer à ses pareils les sentiments de bienveillance qu'on éprouve, a porté à coup sûr Henri à faire pour moi auprès de M. le comte de Falkenstein ce que l'Impératrice fit l'année dernière à Mohilev et à Pétersbourg; mais comme je ne m'y trouvai pas en tiers, je ne saurais en administrer les preuves à Votre Majesté. Nous nous trouvâmes donc le lendemain rangés autour d'une table de sept couverts, comme les sept sages, et il n'y manquait pour huitième que celui de Minerve l'hyperboréenne. L'on resta à cette table près de deux heures et demie, Joseph à la droite de Henri, et moi à la droite de Joseph; et le soir à la comédie, dans la loge du prince, même répétition; et la pièce était ce qu'on écoutait le moins, et l'on jasait de plus d'une chose, et Mohilev, Smolensk, Moscou, Pétersbourg, Tsarsko-Sélo s'y mêlaient à tort et à travers. Et les badauds de Spa, en regardant cette loge, disaient à leur bonnet: nun, wahrhaftig in Gott, ein griechisch-kaiserlicher Schmerzbulder muß doch ein vornehmes Thier seyn! Le surlendemain matin Joseph se trouva à toutes les fontaines; on dansait à la principale; il fut très aimable avec tout le monde; mais enfin, après avoir salué la compagnie et embrassé Henri, il partit à dix heures du matin pour Bruxelles, d'où il s'est rendu depuis pour huit jours à Versailles. Si Votre Majesté Impériale se plaint d'un tintement d'oreilles insupportable survenu au tympan impérial les 19 et 20 juillet, nouveau style, ce ne sont pas mes affaires, je n'ai fait que me prêter à la démangeaison de Joseph et de Henri, et ce n'était pas à moi à leur dire: ah ça, en voilà assez, parlons d'autre chose. Et quant à nos promenades solitaires du matin, il nous est très à charge, à Henri et à son humble confident, qu'en dépit de nous l'Impératrice se mêle dans tous nos caquets, soit que nous grimpions les montagnes, soit que nous les descendions, tandis que nous aurions tant d'autres sujets à couler à fond. Au premier concile écuménique je proposerai que pour la tranquillité générale et pour la commodité de tout le monde, il soit défendu de parler de Catherine II comme de la bulle in coena Domini, et qu'on ne parle plus que de Catherine de Sienne.

Au reste, je suppose que Votre Majesté justement alarmée des effets de mon courroux, n'aura rien de plus pressé que de m'envoyer au plus tôt le catéchisme alexandrin en langue allemande: en ce cas il sera bon de mettre aussi dans le même paquet le panégyrique de Catherine II, prononcé et publié par les coquins favoris de Sa Majesté Impériale dans une langue qu'elle n'entend pas; moi qui l'entends un peu, j'ai grand désir de connaître le fumet de cette pièce curieuse par mon propre nez. Ceci me fournit un nouveau motif d'admirer la justice des souverains. Je voudrais bien voir qu'un des gens de Riga, de Narva ou de Grimma s'avisât de faire le panégyrique de Catherine II, et, qui pis est, de l'imprimer. Comme il serait bien reçu! comme le Jupiter de Tsarsko-Sélo en habit d'amazone prendrait son foudre! comme il tonnerait! comme il pesterait! Mais aux coquins de la Russie Blanche tout est permis, tout est loisible; Dieu sait quels noms et surnoms ils ont donné ou n'ont pas donné à l'Impératrice, tandis que le pauvre maréchal Galitsine à la tête de sa clique à été renvoyé l'année dernière avec son surnom comme un morveux. Et puis, vantez, si vous pouvez, la justice des souverains.

Je conseille à papa Braschi, tandis qu'il en est temps encore, de mettre sa correspondance avec l'Empereur des Romains sur le même pied que celle avec l'Impératrice des Grecs, c'est-à-dire, de s'écrire en langue réciproquement inintelligible. Tout le mal dans ce monde vient de la rage qu'on a de s'expliquer; tant qu'on ne s'entend pas, tout va le mieux du monde et l'on reste toujours d'accord. Ceci est une de ces vérités éternelles dont la découverte m'est due. Je parie qu'il ne résultera jamais de tracasserie de la correspondance du chef de l'église grecque avec le saint père latin; beaucoup de flagorneries de part et d'autre, et puis c'est tout: au lieu que si papa Braschi continue à parler à son très cher fils en Dieu Joseph II en Pie et à lui écrire en langue vulgaire pour les enfants, je crains que son cher fils ne lui fasse voir plus de pays qu'il ne voudrait. Heureusement ce ne sont pas mes affaires; je m'en tiens à mon Luthéranisme, und finge mit der christlichen Kirche in aller Stille: vor dem Gräuel zu Polotzk und Mohilev, und des Papstes Mord behüte uns, lieber Herr Gott!

Nous possédons actuellement Madame la princesse d'Orange avec sa fille agée de près de onze ans. L'oncle n'ayant pas voulu faire le voyage de Hollande dans les circonstances présentes, la nièce ne voulant pas se refuser le plaisir de le revoir, est venue passer huit jours avec lui. Votre Majesté sait que cette nièce tient depuis longtemps le premier rang d'entre les princesses mes favorites; ce choix a même eu très particulièrement l'approbation impériale; ainsi point de querelle d'allemand là-dessus, c'est une

affaire dite. Mais sous huit jours la princesse s'en retournera à la Haie, le souffre-douleur impérial à sa chaise de paille, et Henri dans sa retraite de Reinsberg, après avoir donné quelques jours à un autre de mes favoris, l'ex-prince héréditaire, aujourd'hui duc de Brunswick, qui, suivant ce que j'ai appris de son oncle à ma grande et plus douce satisfaction, est aussi excellent et parfait souverain qu'il était brillant et grand à la tête des guerriers.

Henri s'en va d'ici avec l'estime, la vénération et le suffrage des diverses nations qui composent le congrès très bigarré, très varié, très singulier de Spa et son train. Toutes les nations de l'Europe rassemblées ici et plus ou moins brouillées en ce moment, ont été unanimes dans leur sentiment sur lui et dans l'empressement qu'elles lui ont marqué. On ne connaît pas vers l'occident et le midi de l'Europe dans le premier rang ce talent d'être souverainement aimable avec un assemblage de grandes qualités, ni cette réunion de la plus haute réputation avec une simplicité et une politesse qui honore autant celui qui la possède, qu'elle flatte celui qui en est l'objet; on a été touché surtout de l'extrême sensibilité qu'on lui remarque pour toute espèce de mérite. Cette sorte de sensibilité dans les princes est vraiment le cachet de leur propre valeur; c'est dommage que la plupart oublient ce cachet en venant au monde. Quant à Joseph et à moi, nous avons retrouvé à Henri sa tête d'aigle telle que nous la lui connaissions; aussi toutes mes inquiétudes sur sa santé sont dissipées; d'ailleurs ces eaux lui feront sûrement du bien. L'impression qu'il aura laissée se communiquera cet hiver à Londres et à Paris, et couvrira un peu à Spa celle du neveu Haga de l'année passée. J'ai été un peu confus de tout ce que j'en ai entendu dire dans ce pays de Liège. Son oncle qui ne se croit pas obligé d'aimer tous ses neveux autant que celui de Brunswick, me dit à cela: mon cher confident, ne prends pas tant à coeur les faits et gestes d'un Nabob de ton Impératrice. Nun, bey dergleichen Tröſtenden wird man ſtumm und ſpitzt die Ohren. Un autre fait que j'ai appris ici à ma grande surprise, et sur lequel l'opposition et le parti de la cour sont d'accord, c'est que le prince de Galles est perdu de débauche et de crapule, et qu'il y est plongé par dessus les oreilles. Das muß dem bürgerlichen und chriſtlichen Herrn Papa ſehr ſchwer fallen, und thut mir gutem Bürger auch weh.

Nous avons ici depuis quelques jours le comte et la comtesse de Bruce, qui sont venus avec le comte Michel de Romantsov d'Aix-la-Chapelle, de même qu'une comtesse de Soltikov de Moscou. Le comte Serge de Romantsov est pareillement arrivé de Londres et a réveillé en moi ce chien de faible que j'ai pour lui. Il n'a pas perdu l'année qu'il a passée en Angleterre, et si son

père, avec l'agrément de Votre Majesté Impériale, lui donne encore une année pour la France et la Suisse, je suis persuadé que sa patrie aura en lui un sujet de grande distinction. On me mande de Gotha que le baron de Dimsdale y a passé, pour aller inoculer à Tsarsko-Sélo messieurs Alexandre et Constantin. Tous les papiers publics parlent d'un grand voyage de Monseigneur le Grand-Duc et de Madame la Grande-Duchesse. Tout cela s'arrange et se tripote à peu près à mon insu, sans me demander seulement: was meynt der Herr? Cependant en 1774 Monseigneur le Grand-Duc m'a promis formellement que s'il sortait jamais de Russie, ce serait pour me demander du café à la crême à Paris. Wie kann denn der gebrannt, gemahlen und parat seyn si je ne suis consulté sur rien?

En partant de France il y a six semaines, j'ai supplié Votre Majesté Impériale de modérer cet excès de générosité qui la portait à s'intéresser aux malheurs de l'auteur des Conversations d'Emilie auprès de la cour de France. J'avais lieu de craindre que cet intérêt si magnanime, si étranger aux souverains de la classe commune, ne fût envisagé comme l'effet de je ne sais quelles démarches concertées; je n'ai pas même voulu partir sans en prévenir, à tout événement, M. de Vergennes. Je lui a fait part en peu de mots de la situation de Madame d'Epinay, et j'ai ajouté: n'allez pas chercher midi à quatorze heures; ni elle ni moi n'avons pu former le projet d'intéresser l'Impératrice à son sort; mais vous n'ignorez pas combien cette grande Princesse est tourmentée par sa bienfaisance habituelle, et qu'aucun objet digne de protection, qu'il soit près, qu'il soit loin, ne s'en trouve à l'abri. Eh bien, cette démarche de précaution a fait des merveilles; M. de Vergennes m'a dit: donnez-moi une note là-dessus; je la remettrai à M. de Fleury, et je lui dirai que l'Impératrice de Russie s'y intéresse. J'ai remis la note en partant; et bien loin d'arrêter, comme je l'ai fait, la généreuse intercession de Votre Majesté Impériale, je dirai à présent que son nom auguste, si elle daigne s'y employer, peut opérer les effets les plus heureux pour le sort de Madame d'Epinay, supposé que son existence, qui paraît un miracle continuel, puisse se prolonger.

J'ai grande hâte de savoir qu'un bâtiment de Votre Majesté est venu à Lubeck, a enlevé la porte de Clérisseau, les Robinet et les Zuckmantel, et est arrivé au port de Pétersbourg avec sa proie. Tout cela peut être déballé à l'heure qu'il est et figurer à l'Hermitage et avoir éprouvé l'oeil sévère du censeur et l'indulgence de l'Impératrice. J'ai aussi conduit de l'oeil depuis Paris et Spa les frégates de l'escadre de l'amiral Borissov; je les ai vues entrer dans le Sund, et je les crois rendues à Cronstadt, envoyant

pareillement à l'Hermitage les tributs de Rome et de son divin Reiffenstein, lesquels tributs ne sont pas des bénéfices simples.

Je ne sais si j'ai eu l'honneur de dire à Votre Majesté Impériale que M. de Buffon est dans ses terres en Bourgogne, et que je lui ai envoyé là la petite chaîne d'or renfermée dans le dernier paquet de mon auguste Souveraine. Deux jours avant de partir, j'ai dîné encore avec M. Olivadès, et comme dans ce dernier paquet il est encore question de lui, je n'ai pu lui refuser la satisfaction de lui en faire part. Les plus douces consolations viennent du Nord. Il m'a conté qu'étant en Suisse, il n'a pas voulu se rendre à Paris sans avoir visité les saints lieux de Ferney, qu'il a été touché aux larmes de voir à quel point la mémoire du grand patriarche y était révérée, avec quel attendrissement et quel saint respect les habitants de cet asile naguère fortuné se rappelaient sa bonté et ses bienfaits. Ce récit m'a aussi touché aux larmes, quoique je n'aie pas été victime de la sainte inquisition. Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Majesté Impériale le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

A Paris, à Spa ce 8 (19) août 1781.

Madame la princesse d'Orange a fait présent à son oncle d'une boîte d'écaille noire très simple, mais ornée d'une miniature peinte par elle. C'est une copie de la Sibylle du Dominichino qui ne le cède en vérité en rien aux copies que Térésina de Maron fait pour le cabinet impérial. C'est dommage que cela ne soit pas le gagne-pain de cette charmante princesse; je l'aurais arrhée tout de suite, et je lui aurais dit: tout ce que vous ferez désormais, je m'en empare pour le compte de l'Impératrice et aux mêmes prix et conditions que j'ai avec Térésina. Cependant le succès général que l'ouvrage de la princesse a eu à Spa, lui a fait naître l'idée de travailler aussi pour Votre Majesté Impériale et de lui faire hommage d'un de ses tableaux. Qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai fait naître cette idée, car, Dieu merci, je n'y suis pour rien. La nièce fera le tableau, l'oncle fournira la boîte, qui pourra bien coûter quelques écus. Ce n'est pas un hommage qu'on se propose de faire à l'Impératrice, mais tout rondement un petit présent fait à Catherine, parce que les petits présents entretiennent l'amitié. Si Votre Majesté l'agrée sur ce pied, l'oncle enverra le petit présent à sa glorieuse destination accompagné de quelques lignes; si l'obligation d'une réponse l'importune, c'est le souffre-douleur qui sera chargé de l'expédition, et son auguste Souveraine lui dira sans aucun embarras: voilà qui est parfaitement bien; et comme le tableau ne sera commencé par la

princesse peintresse qu'à son retour à la Haie, Votre Majesté Impériale aura le choix d'entre ces différentes façons et le temps de dire à son souffre-douleur celle qui lui sera la plus agréable.

P. S. Madame, Je rouvre mon paquet pour dire à Votre Majesté Impériale que j'ai eu l'indicible plaisir de recevoir coup sur coup par le courrier de Paris une amplissime pancarte tracée par une main sacrée le jour anniversaire de l'arrivée à Mohilev, suivie de deux autres de moindre taille, mais également divines. Il me prend envie de dépêcher un courrier à Joseph pour lui en notifier la date, et je parie qu'il me fera répondre qu'il en a eu de plus fraîches, car suivant mes nouvelles de France il en a eu de très fraîches à Trianon. Nun ich vergönne es ihm, et je vais sous trois jours à Paris comme un trait, pour exécuter les ordres de mon auguste Souveraine, et pour répondre aux pancartes divines.

Votre Majesté me demande ce qu'elle doit faire pour l'auteur des Conversations d'Emilie, après lui avoir déjà accordé Sa généreuse protection auprès du Roi très chrétien. Je réponds à cela, lire les Conversations, à commencer par la cinquième, car les quatre premières sont à peu près restées comme elles étaient; si elles ennuient, les jeter; si elles intéressent, continuer à une, ou à la moitié d'une par jour. Je crois, comme l'abbé Galiani, qu'il y a dans ce livre bien des choses et qu'il faut y lire aussi le blanc. Le nom de l'Impératrice s'y est fourré une ou deux fois d'une manière qui m'a plu.

Si Votre Majesté m'envoie deux médailles d'or pour ce charmant petit coquin d'abbé Galiani, peut-être Sa munificence ordinaire y joindra-t-elle une troisième pour M. Huber qui n'est pas le grand Huber de Genève, mais celui de Leipzig, traducteur de Winkelmann, pour qui Votre Majesté Impériale m'a permis de souscrire en Son nom auguste, et qui doit avoir expédié l'exemplaire ou les exemplaires de l'Impératrice (car je crois que la permission a été portée jusqu'à six) à M. de Stählin à Pétersbourg. Ce livre ne diminuera pas dans le palais impérial ni ce funeste Raphaélisme, noch die leidige Sameenſucht die je länger je mehr um ſich greift. Mais puisque l'Impératrice en est si cruellement atteinte, ne serait-il pas plus court, supposé que M. Olsoufiev ou M. le procureur général ait quelque cadeau à lui faire pour sa fête, de lui acheter tout simplement, moyennant cent dix mille livres de France, le cabinet du bailli de Breteuil, plutôt que de risquer de ramasser et de payer fort cher des choses peut-être suspectes. Bien entendu qu'en recevant ce cadeau, Sa Majesté Impériale donnerait ses reversales, comme quoi, à commencer de ce jour, elle renonce solennellement au diable et à ses oeuvres, et déclare qu'elle n'aura plus de fantaisie

et qu'elle retourne dès à présent à son innocence baptismale qui n'a besoin pour son salut ni de camée, ni de Père éternel. Das iſt aber nur ſo ein unvorgreifliches Gutachten, qui ne retardera pas l'exécution des ordres précis de Votre Majesté. Il y a pour les pastes et les empreintes un artiste à Dresde qui s'appelle Lippert, qui a fait des collections admirables de ces empreintes faites avec le plus grand soin et qui en a fait la description dans un ouvrage très estimé.

Ce n'est pas seulement à Spa que Joseph a fatigué le tympan du souffre-douleur à force de lui parler de l'Impératrice de toutes les Russies. Il a rencontré à Aix-la-Chapelle une ancienne connaissance de France, M. Bertier, intendant de Paris, et il lui a aussi entonné cette litanie grecque. Je sais tout cela, dit M. Bertier. — Comment, dit Joseph, vous savez cela? — C'est que j'ai un ami intime, M. de Montyon, grand enthousiaste de l'Impératrice grecque, qui connaît son souffre-douleur qui réside à Paris, et quand celui-ci est de bonne humeur, il nous montre de temps en temps quelques fragments de lettres, qui nous émoustillent pour plusieurs semaines; mais ce qu'il y a d'insupportable avec ce souffre-douleur, c'est qu'il n'en donne qu'à lèche-doigt. Eh bien, dit Joseph, vous la connaissez, ainsi je ne vous apprends rien de nouveau. M. Bertier est venu passer 24 heures à Spa pour me conter tout cela, dans l'espérance d'attraper encore quelque fragment avant de s'en retourner à Paris; mais je ne tenais pas encore mes divines pancartes, et il a été obligé de prendre la route de Paris à jeun. Nous avons ci le duc de Richmond, un des chefs de l'opposition, et une immensité d'Anglais et d'Irlandais; mais dans ce café général de l'Europe, tout le monde vit en frère, et c'est un plaisir de voir des dames de Paris, de Londres, de Dublin, d'Amsterdam, de la Haie, danser pêle-mêle et s'embrasser en soeurs.

Il faut fermer, si je ne veux pas encore manquer le courrier. God save our Emperor of all the Russias! J'apprends que le prince Orlov, après son malheur, a pris la route de Pétersbourg, et que les comtes Ivan et Alexis sont venus à sa rencontre.

A Paris, à Spa, ce 12 (23) auguste 1781.

Allerunterthänigste Zulage zu dem Brosinischen Geschmier.

Madame. Mon paquet était fermé et remis à mon délicieux M. Brosine, à qui je souhaite bon voyage, santé et toutes sortes de prospérités, lorsque

j'ai reçu la lettre ci-jointe de mon ami Haller, fils d'un grand homme et cependant pas du genre des nigauds, comme l'ordre des choses semblerait l'exiger. Comme cette lettre est plus pour Votre Majesté Impériale que pour son souffre-douleur, je la dépose vite à ses pieds, je m'y prosterne et me sauve en grande diligence: car Dieu seul et moi nous savons combien l'Impératrice doit être excédée d'entendre parler de moi ou de voir mon écriture.

Ne voilà-t-il pas une lettre de M. Necker qui m'arrive au moment où je tiens ce cachet redoutable qui élève une barrière entre mon auguste Souveraine et son plus fidèle serviteur. Qu'elle aille donc aussi cette lettre, et qu'elle soit plus heureuse que moi. On dit en ce moment que le comte de Grasse a battu sir Samuel Hood dans les mers de la Martinique. Au moins on ne dira pas que le marquis de Castries n'ait pas envie de se battre, car voilà, en moins de six mois qu'il est ministre, le troisième combat. God save the Emperor of all the Russias! Amen!

---

* Madame,

ce 5 (16 mars) 1782.

A peine ma pancarte expédiée hier était-elle à la poste, que je me suis aperçu d'une petite méprise que j'ai faite; c'est d'avoir fourré parmi les pancartes de Rome et de Naples une lettre du grand Huber de Genève à Emilie de Belsunce que j'avais fait copier pour l'envoyer à sa mère, et qui hors la tendresse maternelle ne pouvait intéresser personne. En revanche une lettre du charmant petit abbé napolitain que j'avais fait copier pour accompagner les pancartes du divin de Rome, s'était si bien fourrée parmi les paperasses de ma table que je ne l'ai découverte qu'aujourd'hui. Cela s'appelle faire un qui pro quo. Il est vrai pourtant que la tête du grand Huber et celle du petit abbé sont assez voisines pour qu'on se trompe au fumet quand on n'y regarde pas de près. En tout cas voici toujours le mal réparé par l'envoi tardif de la lettre du petit abbé que je suis d'autant plus intéressé à faire lire à mon auguste Souveraine que j'y suis traité d'homme incomparable, après avoir passé depuis un an ou dix-huit mois par toutes les nuances trouvables de monstre épithétisé à toute sauce; la lettre du grand Huber à Emilie trouvera tout naturellement sa place dans mes archives au fond de la cheminée impériale.

* Ce 9 (20) mars.

J'ai donc dit à Votre Majesté Impériale, ou si je ne l'ai pas dit, je le dis ici, que je suis en possession du tableau dont le pinceau de Madame la princesse d'Orange fait hommage à l'Impératrice des Grecs. Ce tableau est placé sur une boîte qui n'éblouira pas Votre Majesté par sa magnificence, et a pour passeport une lettre du prince Henri, oncle de la peintresse. J'admire et j'adore la géographie du Très-Haut qui fait aller cette boîte de la Haie à Berlin, et de Berlin à Paris, pour arriver à sa glorieuse destination à Pétersbourg. Il y a là de quoi mourir de vanité pour un souffre-douleur à qui un Henri dit que puisque c'est l'amitié qui a procuré à sa nièce la permission d'offrir cet hommage à Votre Majesté, il faut aussi que l'amitié le présente. Je ne désespère pas que l'Empereur de la Chine ne m'envoie par voie de terre une boîte de thé à offrir à Votre Majesté Impériale, et sa Hautesse Ottomane, le drapeau de Constantin pour le présenter de sa part au sieur Constantin son filleul. Les gens de Spa avaient bien raison de croire daß ein Griechiſch-Kaiſerlicher Schmerzbulder ein ſehr großes Thier in dieſer Welt ſey, mais je voudrais de tout mon coeur en avoir moins de preuves et pouvoir tempérer l'éclat qui m'environne. Je regrette le temps de cette heureuse obscurité où je pouvais écrire vingt pages de suite à mon auguste et amabilissisissime Souveraine sans être interrompu par personne; aujourd'hui, à force de me parler de l'Impératrice, on m'empêche de lui parler, c'est-à-dire qu'on me rend malheureux comme pierre. Votre Majesté a bien raison de me dire: Ne pourriez-vous pas parler d'autre chose? mais j'ai beau répéter cela, je prêche à des sourds. Il y a un autre malheur: plus je vais, plus j'ai de choses à dire à Votre Majesté; à mesure que je vide mon sac, il se remplit du double et du triple, de sorte que je suis comme un hydropique toujours menacé d'en étouffer. Lorsqu'il m'arrive une lettre de mon immortelle bienfaitrice, je sens d'abord un frisson qui me court par toutes les veines, et puis du chaud, et puis je la tiens quelquefois une heure sans oser l'ouvrir, une secrète terreur m'agite. D'où vient- elle? Apparemment que tout ce qui peut disposer de la destinée de l'homme et le rendre heureux ou misérable est toujours bien redoutable pour lui. Et puis, quand j'ai pris sur moi de briser le cachet, je lis, je cherche à dévorer tout à la fois, et puis je cours comme un fou, répondant sans relâche jour et nuit; et quand j'ai répondu ainsi vingt-quatre heures de suite, il ne se trouve pas une ligne d'écrite, et je me désole de ce que toutes les belles choses que j'ai dites à l'Impératrice soient perdues. Et je finis par crier avec M. Friport, comme un homme qu'on empale: Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est

* que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Or je demande à Votre Majesté ce que c'est que cela, car je m'y perds. Il faut aussi que je confesse que Votre Majesté ne ménage pas assez mes yeux. Il y a des passages dans les pancartes impériales qui lâchent les robinets des réservoirs lacrymaux comme de deux fontaines; cela ne fait pas honneur à mon âge. Comment est-il possible par exemple que je lise d'un oeil sec le passage que voici:

«Je vous prie de me faire un jour une liste de tout ce que je vous ai «promis et de me l'envoyer, afin que je vous tienne parole; je veux mourir si «je me souviens de rien en ce moment».

C'est avec cette bonté vraiment adorable que Votre Majesté daigne supporter mes mauvaises et impertinentes plaisanteries et se résigner à l'exécution de toutes les fantaisies d'un vermisseau qui, malgré le ton de légéreté qu'il se permet quelquefois dans ses accès de gaîté et que l'Impératrice pardonne, n'oublie pas son origine, c'est-à-dire son néant. Hélas, Madame, bien loin que Votre Majesté ait jamais été en reste avec moi, je ne me souviens que de ses bienfaits innombrables dont la liste m'embarrasserait bien autant par sa longueur, que celle que Votre Majesté me demande, par le défaut de matière. Mon coeur s'émeut à tous les instants au souvenir de ces bienfaits, mon regret éternel est de n'avoir pu consacrer ma vie à ma bienfaitrce, à qui néanmoins toutes mes pensées et tous mes sentiments appartiennent; mais toutes les fois que j'aurai une fantaisie, je ne manquerai pas de dire à ma bienfaitrice auguste: J'ai reçu ta promesse sacrée. Je conviens que ceux qui ont retenu mon camée, que j'avais livré avec tant de confiance, ont un peu manqué de générosité, mais aussi je suis sûr que le ciel propice me dédommagera du tort qu'ils m'ont fait, et que le troisième camée que Votre Majesté m'a permis de m'appliquer et qui est déjà commandé à Weder, sera d'une ressemblance très supérieure aux deux autres. Voilà comme le ciel sait tirer du mal même le bien qu'il ménage à ses enfants. Votre Majesté me demande aussi pourquoi mes voyages sont si stériles en pancartes, tandis que les voyages de ma bienfaitrice couronnée me sont si propices. Il faut apparemment qu'une Impératrice et son souffre-douleur ne voyagent pas absolument de la même manière. Je fais ordinairement mes traites jour et nuit d'une ville à une autre; quand j'arrive au gîte, je suis harrassé, mes gens encore davantage, je ne puis pas faire mon étalage avec toute la commodité qu'il me faut; papier, encre, plume, tout doit être parfait quand je commence une pancarte; le recueillement doit précéder, et puis en vrai Quaker, je me laisse aller à l'inspiration, et cela coule; tous les moments ne sont pas bons pour cette disposition, mais comme je ne fais ces façons avec personne, comme je n'ai à personne autant à dire qu'à Votre Majesté, comme j'ai sou-

* vent des lettres forcées à écrire, même pour son service, et que je ne peux plus lui écrire quand j'ai écrit à d'autres, weil dieſes eine Art von Entheiligung iſt; comme dans les villes de mon passage je suis souvent distrait par des affaires ou accablé par des importuns, de tout cela et de beaucoup d'autres ingrédients il résulte un silence forcé et tourmentant en voyage qui ne contribue pas au bonheur d'un souffre-douleur, ains lui est diamétralement opposé. J'avoue que j'ai été assez heureux à Spa dans mes promenades solitaires avec Henri; le nom de l'Impératrice que j'aime tant à entendre prononcer que, si personne ne le prononçait, je passerais ma vie à le répéter tout haut, mais c'est un risque que je ne courrai jamais ou plutôt un privilége exclusif que je n'aurai jamais; ce nom sacré se fourrait dans tous nos colloques, y revenait sans cesse, et j'aimais à l'entendre prononcer à Henri jusque dans ses plaintes, parce qu'elles étaient si remplies de sentiment, elles me montraient une ténacité d'attachement pour l'objet de mon culte, que j'étais obligé de dire, cela est bien naturel, et puis je faisais le rôle de consolateur qui me donnait à mon tour l'occasion de parler de l'objet de mon culte tant que je voulais. Lorsque cet objet nous laissait en repos, nous coulions à fond d'autres matières qui n'étaient pas toujours aussi satisfaisantes, mais qu'indépendamment de l'intérêt dont elles étaient dans l'histoire du moment, la confiance rendait très attrayantes. Ainsi j'ai passé mon temps à Spa d'une manière fort intéressante, quand même M. le comte de Falkenstein ne serait pas venu brocher sur le tout et relever nos actions d'une manière très éclatante. Votre Majesté Impériale a bien raison de croire qu'il y a du Basile dans les rapports qu'on lui a faits; mais je suis moi comme Basile, et je demande, qui est-ce qu'on trompe ici, et quel projet avait-on en voulant tromper sur ce point? Cela est inexplicable pour moi. Si j'avais le bonheur de me trouver encore en face du tricot impérial, j'expliquerais sans doute cette énigme avec le secours du trépied impérial, et j'apprendrais à Votre Majesté bien de petits détails très singuliers, mais qui ne peuvent pas s'écrire, parce qu'il faudrait des pages entières de petites explications et explications des explications qui rendraient enfin le fond très insipide. Tant y a que Votre Majesté a fait une des plus bonnes comme des plus glorieuses actions de son règne en bâclant la paix de Teschen. Quant à moi qui suis ein wahrer glaubensvoller Chriſt, de tout temps je ne crois que ce que j'ai vu de mes yeux, das übrige laße ich alles an ſeinem Ort geſtellet ſeyn, und das thun auch die Bürgermeiſter von Darmſtadt. Je voudrais bien par exemple ne point croire que Joseph a mal aux yeux et même un peu sérieusement, mais c'est une version qui se soutient depuis trop longtemps pour qu'il n'y ait quelque chose. Quand je me suis trouvé à Spa à son côté à table et que je l'ai vu

* boire de l'eau toute claire, je me suis rappelé la calomnie généralement établie lors de la dernière guerre, qu'il s'enivrait tous les jours dans son camp en Bohême, et j'ai trouvé bien simple qu'on eût dit de son hôte de Spa qui m'a donné à dîner avec lui, qu'il n'avait plus sa tête. A qui la calomnie s'attacherait-elle en effet, si ce n'est à ceux que le sort a placés en évidence? il n'y a pas de quoi boire de l'eau à calomnier un souffre-douleur ou autres gens de sa sphère, et la calomnie, comme toute autre vertu, aime à se faire honneur de sa dépense. Au reste, tout cela est oublié aujourdhui; on ne parle que du voyage du Pape, du mal aux yeux de l'Empereur, del giro de M. le Comte et Madame la Comtesse du Nord, et pour petite pièce, on se chuchote à l'oreille que le Grand-Duc de Toscane tombe journellement dans des accès de mélancolie noire qu'on regarde comme très alarmans pour les suites; s'il n'en est pas plus incommodé que l'hermite de Reinsberg de la sienne, on peut se tranquilliser. Quant aux augustes voyageurs du Nord, tout le monde, hors mon auguste Souveraine, me dit que nous aurons l'honneur de les voir au milieu de Paris. Cela est-il croyable que l'oracle de Pétersbourg reste seul muet? Ce qui m'en plaît, c'est que tout le monde me taxe d'une discrétion ridicule, parce que je réponds à toutes les questions, je n'en sais rien; et puis, soyez vrai.

Ce 10 (21) mars.

Je ne cache pas à Votre Majesté Impériale que je suis très importuné de tous ces bruits qui courent de la grippe générale qui a régné à Pétersbourg. Quoiqu'elle ne soit qu'incommode, je n'en veux pas entendre parler, et je crains toujours qu'elle n'ait eu l'insolence de percer jusqu'au palais impérial, de m'attaquer mon Monsieur Alexandre, mon Sieur Constantin et jusqu'à notre auguste Souveraine que nous autres gens de Grimma ne sommes plus à portée de soigner en concurrence avec M. Kelchen. Toute la tribu Russe m'assure bien ici que l'Impératrice se porte parfaitement bien, quoique quelques gazettes aient assuré qu'elle n'a pas voulu faire pot à part avec ses sujets dans cette occasion et qu'elle a été grippée comme le commun des martyrs. J'aime au moins à me flatter que tout cela est passé depuis longtemps, et que la premiere pancarte impériale m'en donnera la consolante certitude. Voilà un des plus impertinents et des plus fantastiques hivers que j'aie encore vus, et il a été uniformément impertinent depuis Pétersbourg jusqu'à Naples, depuis Astracan jusqu'à Lisbonne. Je supplie Votre Majesté très sérieusement en hiver comme en été de nous conserver son inappréciable santé parce qu'il est prouvé que des Impératrices de cette étoffe il

* n'en pleut ni n'en neige, et cela est aussi dur pour le coeur qu'aux oreilles. Il n'est pas même encore calculé dans le livre des destinées combien il faut au Très-Haut de siècles pour accorder une telle Souveraine aux voeux de l'humanité dans un accès de bonne humeur qui naturellement sont rares chez Lui, attendu le peu d'occasions qu'il a de se réjouir de ses oeuvres.

Ce 2 (13) avril.

Les pancartes impériales du 15 février et 4 mars se sont rapidement succédées et ont porté au milieu d'innombrables bienfaits pour le tiers et le quart, un bienfait bien précieux au souffre-douleur, la certitude du parfait rétablissement de Votre Majesté Impériale. Puisque cette maudite grippe n'a pas respecté le temple de Minerve, il est bien naturel que mes voeux, mes prières et mon encens l'en aient fait déguerpir. Je crois avoir déjà dit à Votre Majesté que M. de Buffon ne se possède pas de joie, que son fils ne s'en possède pas davantage, qu'il fait ses paquets à force, que la réponse dont Minerve a honoré l'historien de la nature est décidée un petit chef-d'oeuvre; que ce n'est pas moi qui décide ainsi, parce que je ne me mêle pas de juger, mais tous ceux qui la voient, c'est-à-dire à peu près tout le monde, parce que le vieillard dans son délire de reconnaissance met à peu près tout le monde dans sa confidence. Or on la trouve surtout chef-d'oeuvre quand on a lu la lettre à laquelle elle sert de réponse, parce qu'en peu de lignes elle répond à cette longue lettre, sans rien oublier, avec une grâce, une précision, une énergie, une harmonie qui confondent. Par quelle magie, s'écrie-t-on, apprend-on à écrire ainsi dans une langue dont le berceau est à huit cents lieues? Voilà de ces questions auxquelles je ne réponds pas. Demain on donne le dernier coup de ciseau au buste de M. de Buffon, après demain on l'emballe, le jour d'après on le charge sur la voiture. Dieu merci, j'ai aussi une occasion de me défaire de la boîte de ma protégée, la princesse d'Orange. Votre Majesté trouvera ici la facture de tout ce que je confie au jeune voyageur. J'ai fourré la boîte de la princesse d'Orange dans la caisse № 4, parmi la suite des oeuvres de M. de Buffon; Votre Majesté voudra bien ordonner qu'on y fasse attention à l'ouverture de cette caisse. La lettre du prince Henri qui sert de passe-port à cette boîte je la fourre dans ce paquet ci. Il veut que la lettre et la boîte arrivent sous mes auspices; il dit que dès que l'Impératrice ne se souvient plus de la promesse de son portrait, il doit cesser de le désirer, quoiqu'au besoin il pût produire des témoins; et moi je lui passe cette petite humeur, je l'aime même en lui, parce qu'il me paraît si naturel, quand on a eu le bonheur de voir notre

* Impératrice de près, qu'on lui reste éternellement attaché. Dans la caisse № 3 Votre Majesté trouvera le tableau de Térésina de Maron depuis si longtemps prédit dans les prophéties du divin. Il est arrivé très à propos de Rome pour se rendre à sa glorieuse destination. J'ai eu une souleur parfaite en recevant cette caisse de Rome; le bruit qu'on entendait en la remuant, me disait assez que la glace était cassée en mille morceaux; je m'attendais à en tirer un tableau entièrement abîmé, et j'eus une humeur diabolique depuis mon départ du cabinet de M. de Vergennes à Versailles jusqu'à mon arrivée dans le cabinet du souffre-doleur à Paris. Je fais vite ouvrir la caisse, et par miracle je trouve que le tableau n'a presque pas souffert. Il y a bien quelques égratignures, mais pas dans les figures essentielles; je n'ai pas voulu qu'on y touche, pas même au cadre qui a été molesté; je me suis borné à faire remettre une glace; je me flatte que moyennant le savoir-faire de M. Delorme cette glace arrivera entière, et je recommande le raccommodage du tableau à M. Martinelli. Dans le rouleau № 2, Votre Majesté trouvera les deux premiers cahiers du Voyage pittoresque de la Sicile, par Jean Houel, dont les tableaux originaux appartiennent à l'Impératrice depuis quatre mois. J'ai souscrit pour ces cahiers, afin que Votre Majesté ait un avant-goût de ce qu'elle va recevoir. Suivant mon traité 250 tableaux pourront être expédiés au mois de juin, et les 250 restants, à la même époque l'année prochaine. Or si je savais que le courrier dont je suis menacé, dût effectivement arriver pour emporter les pierres gravées du bailli de Breteuil, je n'enverrais pas les portefeuilles de Jean Houel à Lubeck, et je les garderais pour les faire voyager avec les pierres gravées par le même courrier. Je voudrais bien que l'Impératrice me dît, fais les partir pour Lubeck, ou bien, garde les jusqu' à ce que j'envoie les faire prendre. Il y a dans ce rouleau encore les dix premières estampes de Moreau le jeune destinées à la nouvelle édition des oeuvres de M. de Voltaire, de quelle part qu'elle nous vienne avec le temps. J'ai souscrit pour cet exemplaire; le graveur voudrait bien qu'il donnât envie à Votre Majesté Impériale de m'ordonner de souscrire pour plusieurs. Si cet ordre me vient, je l'exécuterai; si non, non.

J'ai confié le 5 de ce mois à un courrier pourtugais retournant à Pétersbourg un gros paquet pour mon auguste Souveraine adressé au Factotum impérial, autrement général de Bezborodka. L'ambassadeur de Portugal en cette cour m'a répondu sur sa tête de la remise fidèle de ce paquet, et j'ai lieu de croire que les gens de la Reine Très Fidèle seront fidèles à remplir les commissions dont il se chargent. Ce gros paquet renferme l'esquisse d'un traité de commerce entre l'empire de Russie et les états du Roi de Sardaigne. L'ambassadeur de Sardaigne en cette cour à qui je l'ai communiquée

* comme une confidence de moi à lui, m'a fait entendre depuis, et je juge que c'est après en avoir parlé à sa cour et en avoir reçu réponse, que ce projet était peut-être conçu d'une manière trop vaste, mais que le Roi son maître serait très charmé qu'il s'établît un commerce direct entre la Russie et ses états, et très disposé à y concourir par tous les moyens qui pourront dépendre de lui. Ainsi si l'Impératrice daigne parler, même par un frêle organe comme moi, elle trouvera Monsieur son frère de Savoie très empressé à écouter et à répondre; voilà ce que j'ai compris en écoutant les propos de son ambassadeur. J'ai vu ces jours passés un jeune gentilhomme de Poméranie, appelé M. de Blandow, associé de la maison de Groot de Pétersbourg où il est, je crois, né et élevé. Il vient de passer deux ans en Italie pour se mettre au fait du commerce de ce pays-là, et il va retourner à son poste à Pétersbourg. Ce jeune homme m'a tout à fait plu. Il a l'air bien élevé, il est instruit et modeste, s'énonce avec précision, et parle de notre auguste Souveraine, comme j'aime à en entendre parler. Je suis persuadé qu'il n'a pas perdu son temps dans son voyage, et qu'on pourrait le consulter et l'employer avec avantage dans les affaires de commerce en général et de l'Italie en particulier; c'est ce qui m'a fait prendre la liberté de lui donner une lettre de recommandation pour le Factotum impérial.

Je joins ici une lettre du comte de Baudouin que j'ai reçue trois ou quatre jours après en avoir parlé à Votre Majesté Impériale dans ma pancarte confiée au courrier portugais. Et pour que l'Impératrice ne soupçonne pas son souffre-douleur d'être un franc étourdi, je vais copier ici les propres paroles impériales en date du 13 octobre:

«Si le cabinet Baudouin est encore à avoir, je vous prie de m'en accommoder, et cela pour cause».

D'après cela je ne m'en suis pas accommodé, mais avec une prudence digne du serpent j'ai dit qu'il y avait à parier que Votre Majesté s'en accommoderait vers le printemps. Qui parie, ne s'engage pas et ne compromet que son opinion, mais il est tout simple que le propriétaire ait éloigné toute autre idée ou proposition de marché.

Ce 9 (20) avril.

Le jeune Buffon part après demain, il faut donc clore cette pancarte. Le maréchal de Biron lui a accordé un congé même avant la revue du régiment des gardes, afin de répondre à l'impatience du père qui, après avoir emballé son fils, va prendre la route de la Bourgogne pour s'enfermer dans ses terres. Qu'il est heureux ce jeune homme, il va voir notre Impératrice!

* Le coeur bat aux gens de Grimma quand ils y pensent, leurs yeux se remplissent de larmes, les sanglots les étouffent, et ils disent avec une voix entrecoupée ce qui est écrit sur le monument du paysage de Nicolas Poussin: «Et moi aussi j'ai vécu dans l'heureuse Arcadie». Actuellement que ce voyage est arrangé et qu'il va commencer, le père est dans des transes mortelles, que son fils ne fasse quelque étourderie, qu'il ne lui arrive de ne pas réussir, de laisser une impression désavantageuse, que sais-je? Les pères sont sur ce point aussi enfants que les plus enfants d'entre les enfants.

Votre Majesté m'a parlé de ma dernière maladie avec une bonté qui n'est pas propre à faire tarir l'eau des fontaines des gens de Grimma. Je ne le cache pas à Votre Majesté, l'Impératrice a bien des moyens en mains pour se défaire de moi; elle peut me tuer, en m'oubliant, mais cela répugnera à sa générosité; c'est par l'excès de ses bontés qu'elle me coûtera la vie, denn das iſt zu ſtark, ich kann es nicht aushalten.

Il faut que j'apprenne à Votre Majesté un petit secret das Regentenweſen ſo recht gründlich zu beurtheilen. Toutes les fois que l'Impératrice dit à son souffre-douleur: Je vous défends, elle peut être sûre qu'elle a tort, tout comme Jupiter quand il prend son foudre. Et encore: Je vous défends de parler! C'est la première loi de silence que Votre Majesté ait promulguée depuis son avènement au trône. Or toute loi de silence prouve que celui à qui elle est imposée, a raison dans ce qu'il dit: car on n'a jamais défendu le déraisonnement depuis que le monde est monde, premièrement parce qu'il est de l'essence de ce monde, en second lieu parce qu'il n'y a rien de si innocent que lui, son bourdonnement ne faisant pas plus de mal que celui des cloches. Voyons donc de quoi il m'est défendu de parler. Des galvaudeurs de frère un tel et de lui-même aussi. D'après cet arrêt foudroyant, qui ne croirait que j'ai passé ma vie à en ennuyer ma trop indulgente Souveraine? Or je n'en ai jamais parlé que je n'aie été provoqué par elle. Est-ce moi qui ai parlé encore en dernier lieu des trente-six infortunes d'Arlequin, expression, pour le dire en passant, ou hérétique ou hyperbolique, puisque tout le monde sait que dans la pièce canonique de ce titre, Monsieur Arlequin n'a essuyé que vingt-six infortunes, et c'est bien honnête? Il s'agit donc de savoir si, lorsque la raquette impériale me lance une balle avec son énergie accoutumée, il est défendu à la raquette souffre-dolorique ou souffre-douloureuse, de la ramasser et de la renvoyer au lieu de son départ. S'il est de l'essence d'un souffre-douleur impérial de se laisser jeter des pierres dans son jardin, ohne zu muckſen, nun ſo muß man ſichs freylich gefallen laßen. Jetzt da das Haus vom Keller bis auf den Heuboden iſt ganz neu ausgefegt und austapeziert worden, il ne tiendrait qu'à moi de dire à Votre Majesté si l'on a

* changé du noir au blanc ou bien du blanc au noir; mais je me tairai, je me vengerai de l'arrêt foudroyant, et si ce que je prévois arrive, on ne saura seulement pas si je l'ai prévu. Nun hätte ich auch gar ſchöne Gedanken über des alten Herrn Papa Reiſe zu dem Herrn Zauſler, könnte auch vorher ſagen ob der alte Herr bis nach Petersburg poussiren will, dans l'idée qu'entre Saint Pierre du Vatican et Saint-Pétersbourg de l'Ingrie il n'y a que la main, item ob er im Vorbeygehen ſeinem Mit- und Neben-Pabſt in Mogilov, welches vielleicht das ehemals gar zierliche Biſchöfchen von Polotzk iſt deßen ich mich gar wohl beſinne, den Pantoffel küßen will. Aber von dieſem allen laß ich kein Wort entwiſchen, denn Ungerechtigkeiten müßen beſtraft werden. Wenn es nur mit den Augen des Herrn Zauſlers beßer gieng, ſonſt werden die Schurken ſagen, das ſey der Finger Gottes, und die Dummgänſe werden krächzen, Ja, ja. Und nun ſo iſt von Alters her das ſchöne menſchliche Geſchlecht in Schurken und Dummgänſe vertheilt, und die welche pot à part machen, nehmen nicht viel Platz auf Gottes Erdboden ein.

Malgré l'injustice dont je suis la victime, je ne puis m'empêcher de rendre justice à l'arrêt définitif dont le cas de Lehnchen a été l'objet. Cet arrêt pour la sagesse n'a son pareil dans l'antiquité que le jugement de Salomon, et pour la bonté il n'y a rien qui lui ressemble dans l'histoire soit ancienne soit moderne, excepté la législation du Code Catherine. Je commence à croire que nous nous tirerons avec honneur de cette triste aventure, et que tout se passera comme Votre Majesté Impériale l'a prescrit. Je me flatte de pouvoir à peu près répondre de Lehnchen, elle ne mettra plus d'obstacles dans la route du jeune homme dont les sentiments me répondent du reste. Je ne doute pas que sa famille n'ait fait passer à son cousin des ordres conformes à ceux de Votre Majesté que je lui ai expédiés à Rome sans aucun délai. Quoique la dernière lettre de M. de la Harpe ne fût pas tout à fait rassurante, je ne doute pas que notre jeune voyageur ne se soumette à ces ordres avec résignation et avec reconnaissance surtout du sort qu'une main bienfaisante a daigné faire à la compagne de ses aventures. J'ai seulement regret à tout l'argent que je dépense à Votre Majesté, et je me surprends dans des accès et des mouvements d'avarice très sordide. Incessamment je rendrai un compte exact et détaillé de tout ce qui a passé par mes mains depuis le mois de juillet, époque de mon décompte précédent. En attendant j'ai supplié le Factotum impérial de vouloir bien faire honorer, comme on dit, toutes mes traites et quittances, ainsi que celles de M. Santini, par M. Sutherland, car s'il nous arrivait quelque déshonneur de ce côté-là, nous serions perdus de réputation à tout jamais, et l'on peut badiner avec tout dans ce monde hors la réputation. Pour rassurer la bienfaitrice cachée de

* Lehnchen contre l'appréhension très naturelle qu'un successeur de M. Necker ne rogne à Lehnchen ce qu'il ne lui a pas donné, je n'ai qu'une réflexion à opposer; c'est la confiance universelle qu'on a dans les rentes viagères et leur solidité que le Schnapphahn Terray lui-même a bien un peu effleurées, mais n'a pourtant pas osé entamer. Il y a un haut degré de vraisemblance qu'on ne touchera jamais en ce pays-ci aux rentes viagères, parce que le Roi se priverait de la plus sûre et peut-être de la seule ressource qu'il a de trouver de l'argent quand il en a besoin, mais surtout parce que la mort des rentiers le libère successivement et naturellement, sans qu'il ait besoin de faire banqueroute. Il ne se privera donc pas, dit-on, d'une si grande ressource, pour obtenir en un quart d'heure ce que le cours de la nature lui procure peu à peu en dormant. Voilà le raisonnement sur lequel repose la confiance des rentiers. On suppose que le Roi hérite, année commune, au moins deux millions de rente par extinction.

Ce 10 (21) mars.

Je n'ai pu m'empêcher de lire à Don Pablo Olavides [1]) ce que Votre Majesté Impériale a daigné m'en dire à différentes reprises; la plus puissante consolation des malheureux, c'est la certitude d'avoir occupé un instant la plus forte tête de leur siècle. Le bon péruvien échappé à l'inquisition dont il n'a pas envie de se laisser rattraper, a formé le même voeu que M. Necker; il désirerait conserver dans ses archives ce que la plus forte tête de son siècle a daigné tracer sur le papier à l'occasion de ses malheurs; et moi, fidèle à mon devoir et à mes principes, je ne puis le satisfaire sur ce point qu'avec la permission expresse de Votre Majesté Impériale. Don Pablo a d'ailleurs dans ses manières un caractère de bonté et de douceur particulier aux martyrs. Il parle de son malheur avec beaucoup de simplicité. Il dit qu'il s'est trompé en croyant que le moment était venu. Quant au courage, il dit que l'homme se trouve dans les instants décisifs des forces qu'il ne se connaissait pas. Il a été surtout frappé des mots de Votre Majesté: «Qu'ils continuent, qu'ils continuent, et ils verront ce qui leur arivera». Il m'a assuré que c'était ce qu'il avait dit mot pour mot à ses juges farouches.

Il faut terminer cette pancarte, le jeune voyageur l'attend. Je ne la ferme pas sans la plus douce et la plus pénible émotion quand je pense qu'en moins d'un mois ce chiffon de papier se trouvera si près de Votre Majesté, tandis que j'en resterai si loin. Madame d'Epinay a voulu elle-même tracer quelques lignes sur son grabat de souffrances, et je n'ai pu m'opposer au désir de la plus juste et la plus vive reconnaissance.

[1]) Императрица въ своихъ письмахъ къ Гримму ошибочно пишетъ: Olivadès.

* On nous assure que le comte et la comtesse du Nord se proposaient d'être le 25 de ce mois à Genève; mais comme tout est en combustion dans cette ville malheureuse, on présume qu'ils n'y iront pas et qu'ils en seront d'autant plus tôt à Paris. Votre Majesté peut croire sans miracle qu'on a envie de les bien traiter. Quant à moi, privé de toute instruction de la part de mon auguste Souveraine, j'irai me présenter sur leur passage et tâcherai même de me faire remarquer; s'ils daignent me reconnaître, ils sauront bientôt qu'ils peuvent disposer de moi et de mon zèle d'une manière illimitée; si non, je me tiendrai coi dans ma niche, et j'en aurai d'autant plus de temps pour m'occuper de la Souveraine de mes pensées. Mais quelle singulière fantaisie de les appeler enfants du Nord? Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis choqué de cette fantaisie de vouloir être puissance du Nord, quand on touche à la Chine et à la Perse et presqu'à l'Amérique, quand on a son pavillon sur la mer Noire, sans sortir de chez soi, quand on se propose peut-être de faire le commerce de l'Inde par terre à cause de la proximité. Il n'y a pas l'ombre de justice dans cette prétention. Pour puissance orientale, passe. Le salut nous est venu de l'orient et le génie et les richesses, preuve die heiligen drey Könige mit ihrem Stern aus Morgenland. Mais peut-être la fille de Jupiter me dira: Je te défends de me parler de cela, et la loi du silence s'étendra aussi sur le Nord et sur l'Orient. Fermons notre pancarte sans murmures. Entonnons le cantique: God save our Empress! Er ſey gebenedeyt daß unſere Kaiſerin nicht mehr ſchnupft, nicht mehr huſt, nicht mehr friert, nicht mehr glüht, nicht mehr räuſpert, ſondern ſich in allerhöchſtem Wohlſeyn zur größten Freude und Zierde des Reiches und zum Troſt der Leute von Riga, Narva und Grimma befindet. Et puis, apprêtons-nous à célebrer dans onze jours l'anniversaire de la naissance avec une solennité digne de ce jour auguste, avant et après lequel je suis et resterai avec le plus profond respect,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant
serviteur Grimm.

POST-SCRIPTUM.

Ce qui m'en plaît, c'est que le séjour du comte et de la comtesse de l'Orient dans les Gaules, nous procurera nombre d'anges, archanges, messagers, archimessagers, Bothen und Landdurchſtreicher, qui apporteront au

* souffre-douleur des portraits de la fille de Jupiter et de Messieurs les Urenfel de Jupiter, item toute la Musique de la cour depuis 1762, item des a b c, des cathéchismes en abondance, denn auf das harte und gottesvergeßne Urtheil: Von dem allen kriegst du nichts, mache ich gar keinen Staat. En conséquence le souffre-douleur court jour et nuit pour trouver un hôtel assez vaste afin de loger tout cela.

Wichtiges Notabéné.

En fermant cette éternelle pancarte je reçois de M. Delorme, le premier et le plus cher des emballeurs de l'orient et de l'occident, la Note ci jointe de ce qu'il est essentiel d'observer en déballant le buste de M. de Buffon.

Or

il est essentiel d'observer de point en point cette observation essentielle et par conséquent de la mettre ès mains du déballeur en même temps que la caisse.

God save our Empress! Hurra! Hurra! Hurra!

Alte Neuigkeiten.

Le vicomte de la Herreria voudrait que je ne fermasse jamais une mienne pancarte sans le mettre aux pieds de notre grande Impératrice, à ce qu'il dit. Il m'a attaqué aujourd'hui en pleine table, en terre papale, chez nôtre très aimable Nonce. Le comte d'Albaret, oiseau dont le comte de Stroganov peut dépeindre le plumage à Votre Majesté, a fait chorus. Il a avancé, inter pocula, avec un bruit épouvantable, que depuis Marc-Aurèle le trône n'a pas été occupé par tant d'élévation, tant de bonté, tant de morale; et tout ce bruit pour le chiffre envoyé à la petite de Belsunce. Je lui ai dit: Pourquoi parlez-vous d'une chose dont je n'ai parlé à personne et que la petite personne intéressée ignore encore elle-même?—C'est, m'a-t-il dit, parce que tout le monde en parle.... Il faut donc que les commis de la poste aient divulgué un secret qu'on ne leur a pas donné à garder. Enfin je me suis fâché, et j'ai eu recours à la question recommandée par Votre Majesté: Messieurs, ne pourriez-vous pas parler d'autre chose? On m'a observé qu'il n'était pas poli d'empêcher les gens de parler de ce dont ils avaient envie, et qu'étant attaché à la Souveraine la plus polie de son siècle et des autres, je devais tâcher de l'imiter au moins en cela. Voilà donc, Madame, un secret de Votre Majesté Impériale qui ne m'a pas réussi, et je suis obligé de

* demander de nouvelles instructions wie ich mich in ſolchen Fällen zu verhalten habe. Es iſt freylich ſehr ennuyant für mich, immer von einer Sache blau und grün, bunt und ſcheckig reden zu hören. Aber Gottlob! mein Papier iſt zu Ende.

Ce 16 (27) mai 1782.

Madame,

Dans ces temps de richesse où la manne du Seigneur ou plutôt de Son ointe tombe en abondance sur les prairies des gens de Grimma et où ces bons Israélites sont si oppressés par leur reconnaissance, que le conseiller d'état et docteur Kruse perd son latin à leur enseigner l'art de respirer, dans ces temps fertiles il s'agit surtout de ne pas perdre la tête et de maintenir le bon ordre dans les expéditions. Il faut donc que Votre Majesté Impériale daigne jeter les yeux sur la note des paquets que j'ai confiés à mon archiarchange Miklachevski dont j'ai envoyé une toute semblable par mon dit archange à M. le Factotum et général de Bezborodka, ce qui fait qu'il aura pu veiller à ce que la petîte boite du camée incrustée dans le rouleau ait été fidèlement remise à sa haute destination, pour parler la langue du divin.

Je voudrais bien savoir pourquoi l'ointe du Seigneur est devenue cent fois, mille fois plus chère aux gens de Grimma depuis qu'ils ont envisagé son fils unigenitus; je savais leur thermomètre à la température du Sénégal, comment a-t-il donc pu monter encore? Pourquoi les bontés de l'Impératrice les troublent-elles davantage, parce que M. le comte soi-disant du Nord est à Paris, tandis qu'ils connaissent ces bontés de longue main et que M. le comte et Madame la comtesse du Nord n'y ajoutent ni n'en ôtent? Pourquoi la simple apparition de l'archange qui leur montre de loin l'écriture de l'ointe, tourmente plus qu'à l'ordinaire ces pauvres gens de Grimma et leur pousse des larmes hors des yeux que c'est une honte? Je supplie Votre Majesté de m'expliquer un peu tout cela, car je m'y perds; c'est un vrai labyrinthe. Quand je dis plus chère, ce n'est sûrement pas le mot; c'est si faible, si mesquin, si impertinent même, que cela fait pitié. Comment dire? Ce n'est pas ma faute si la langue est si pauvre qu'elle ne peut rien exprimer. Mais la difficulté pourquoi l'arrivée de M. le comte du Nord a fait tout ce dégât chez les gens de Grimma subsiste toujours. Apparemment que tout ce qu'elle a réveillé était bien mal endormi, bien mal assoupi et que le tapage est d'autant plus grand qu'il a transplanté ces pauvres gens dans les temps

* passés et qu'il a rouvert leurs blessures toutes à la fois. Nun Gott ſey ihnen gnädig und barmherzig!

Je ne cache pas à Votre Majesté que le prince Bariatinski a eu un harten Stand avec moi à son arrivée ici. Il a eu beau invoquer le ciel et les enfers pour témoins de son innocence, j'ai voulu absolument lui arracher cette image sacrée promise par M. le général de Lanskoi, tant attendue des gens de Grimma et qu'il n'avait pas. Heureusement l'archiarchange est survenu au moment où j'allais faire un vacarme épouvantable dans les quatre parties du monde, pour me plaindre de Votre Majesté, de son ministre plénipotentiaire, et du général-chambellan, faiseur de la promesse; l'archange est survenu et a délivré le prince Bariatinski des griffes de ma persécution, en me mettant en possession de cette image à l'ombre tant désirée. Aber um tauſend Gottes Willen, iſt denn das Rußiſche Reich von Einpackern ſo entblößt daß ſich ſogar unſere Kaiſerin damit abgeben muß? Le grand Delorme, l'emballeur par excellence, esi-tl un bienfait que le ciel dans sa clémence a accordé à la France exclusivement? Et le vaste empire de Russie, sous le règne de Catherine II, ne peut-il pas au moins montrer son émule? Au moment où le génie de Catherine taille en plein drap, les emballeurs lui manqueraient, und ſie müßte alſo aus Noth ſo in das Delormiſche Handwerk hineinpfuſchen? Nun das verſteht die Kaiſerin doch gar nicht. Ja das Auskramen, das iſt ſo eigentlich ihre Sache, und da hat ſie nun ſo faſt in allen vier Welttheilen ihre Krämereyen, Läden und Buden mit allerley buntſcheckigten Waaren welche den hin und hergehenden und den hin und her ſehenden ſehr in die Augen ſtechen, aber in das Einpacken muß ſie ſich absolute nicht mêliren. Les premiers principes fondamentaux lui manquent. Qui a jamais vu plier une figure par le milieu de sa bordure tant en haut qu'en bas? L'argent manquait-il pour acheter deux cartons bien minces de la grandeur du papier, entre lesquels on l'aurait placé et fait aller au bout de l'univers sans que le moindre pli eût consterné par son aspect le coeur d'un souffre-douleur? Le général, mon bienfaiteur, mériterait bien, pour avoir souffert ce pli fatal, d'être condamné à m'envoyer une seconde image aussi parfaite que la première. En attendant il faut que je me contente de la première, malgré ses plis, et sans savoir encore ce que je mettrai pour inscription dans le cartel au-dessous. Il n'y a place que pour un mot, et comment diable caractériser par un seul mot ce faisceau de bâtons rompus où le bâton de l'emballage a été oublié net? Nun ſo kümmerlich muß ich mein Leben zubringen. Chercher des inscriptions et n'en pas trouver! Je ne suis plus étonné que l'apôtre Raynal ait tiré sur la Russie. Un empire sans un Delorme est un saint sans auréole, et comment reconnaître un saint sans cette décoration? A la vérité je n'ai pas lu ce que l'apôtre Raynal

* a griffonné sur la Russie ni sur d'autres objets, je n'ai pas vu sa nouvelle édition; mais je me doute bien à quel point il a pu déraisonner sur des objets dont il ignore les premiers éléments. La maladie indigène du bon pays de Gaules c'est de parler de ce qu'on ne connaît pas, et de se croire appelé par la Providence à la fonction pénible de précepteur et de flambeau du genre humain. Je vois par ce que Votre Majesté a la bonté de me dire que l'apôtre Raynal est dans le cas de faire aux Russes la réponse qu'il faisait aux Anglais à Spa. Lorsque ceux-ci l'attaquaient sur quelque passage que ce fût concernant leur patrie, il ne défendait jamais ce qu'il avait avancé, mais il disait: «Eh bien, Messieurs, ce n'est pas la seule absurdité qu'il y ait dans mon ouvrage; c'en sera une de plus». Je me félicite souvent de n'avoir pas le loisir de lire autre chose que quelques gazettes politiques et d'ignorer ainsi complètement les sottises qu'on imprime. Je me dédommage ainsi d'avoir ci-devant perdu ma vie à les lire toutes, lorsque c'était mon devoir. Il est vrai que si j'avais du temps pour lire, je saurais bien me préserver des sottises du jour et l'employer à des lecteures qui me charmeraient au lieu de m'attrister. L'apôtre Raynal errant en Allemagne se trouve en ce moment à Berlin, flanqué, à ce qu'on me mande, d'un côté par la princesse Daschkov, de l'autre par le comte de Sacken. J'ignore si le grand Frédéric, qui a bien aussi quelques griefs contre lui, l'admettra en sa présence; la curiosité pourrait bien l'emporter, et j'avoue que je donnerais beaucoup d'argent pour me trouver présent à cette conférence derrière un paravent à l'insu des deux puissances conversantes. Comme cela fait deux instruments entièrement discordants et qui n'ont pas une seule corde commune, je ne serais pas fâché de voir comment ils s'en tireraient en duo, l'un et l'autre aimant à jouer de leur instrument et à ne le pas laisser reposer.

Il faut que l'Impératrice sache qu'Emilie de Belsunce a eu la noble et téméraire ambition de mettre sa reconnaissance aux pieds de Madame la comtesse du Nord, ne pouvant la porter aux pieds de Votre Majesté Impériale, et que sur mon humble requête, Madame la comtesse du Nord a bien voulu combler ce désir, et en l'admettant en sa présence, a témoigné mille bontés à la petite personne; M. le comte du Nord, qui était présent, a couronné l'oeuvre par son accueil.

Après cette audience a comparu Figaro sieur de Beaumarchais, et a occupé la scène pendant trois heures et demie par la lecture du Mariage de Figaro, son filleul. C'est un ouvrage plein de verve, de folie et de gaîté, très supérieur à mon gré au Barbier, et où presque tous les états sont drapés, ce qui n'en facilite pas la représentation, parce qu'aucun état en gros ne raffole des vérités qui lui sont utiles. Figaro de Beaumarchais voudrait

* vaincre ces obstacles pendant le séjour de Leurs Altesses Impériales. Il dit que M. de Bibikov lui ayant demandé cette pièce de la part de la protectrice auguste et universelle de tous les ouvrages enfants de l'art et du génie, il ne croira le sien digne de lui être offert, que lorsque la représentation l'aura éclairé sur ce qu'il faut ou retrancher, ou limer, ou perfectionner. J'ignore s'il réussira; il n'y a guère de temps à perdre, mais aussi le parrain de Figaro ne manque pas d'activité. Si M. le comte du Nord avait voulu témoigner le plus léger désir de voir cette pièce, tout était dit, et je ne dois pas être peu flatté que le seigneur de Beaumarchais ait jeté les yeux sur moi qu'il ne connaît presque pas, pour faire réussir cette négociation, comme Votre Majesté verra par sa lettre; mais je ne saurais blâmer, ains ne peux m'empêcher d'approuver en plein la sagesse de M. le comte du Nord qui ne veut former aucune demande; qui serait charmé de faire sa révérence à Figaro sur le théâtre de Paris, mais qui y renonce si Figaro ne peut y monter que par son intercession.

Aujourd'hui les augustes voyageurs ont assisté à une séance de l'Académie Française et ont ordonné au souffre-douleur de Sa Majesté Impériale de se mettre à leur suite. J'en reviens, et me voilà tout fraichement frotté contre l'immortalité; j'espère que Votre Majesté s'en apercevra. M. de la Harpe a d'abord lu un allocution à M. le comte et Madame la comtesse du Nord en vers harmonieux. Après cela l'abbé Arnaud a lu un portrait en prose de Jules César que Votre Majesté a honoré de tout temps de quelque attention. Après cela M. de la Harpe a embouché de nouveau sa trompette poétique, en lisant une longue, mais très longue épître adressée à M. le comte de Schouvalov, de Lyon où s'était transporté l'harmonieux la Harpe, à Paris où était pour lors M. le comte de Schouvalov. Tous ces trésors sont ou seront un jour à Pétersbourg, et si Votre Majesté n'en profite pas, ſo iſt es eine pure Verſtockung. Nun wie kann man denn, wenn's ſo iſt, Mitleiden mit der Kaiſerin haben?

Ce 19 (30) mai.

Avant-hier M. le comte et Madame la comtesse du Nord ont dîné au petit Trianon chez la Reine. Hier on leur donna sur le grand théâtre de Versailles l'opéra d'Iphigénie en Aulide de Glück et le ballet de Ninette à la Cour, auxquels je me suis trouvé. Aujourd'hui, après avoir eu l'honneur de dîner chez Leurs Altesses Impériales, je comptais griffonner toute la soirée; mais M. le comte de Bruce n'entend pas raillerie. Il part cette nuit, et il faut que je ferme mon paquet à huit heures du soir; cela est dur pour un

* homme qui ne respire que vers la nuit et qui ne griffonne à son aise que lorsque tout autour de lui est plongé dans le sommeil. Fermons donc, pour recommencer.

Votre Majesté verra par la lettre du divin et par celle du charmant petit abbé, que Messieurs de Lanskoi se sont embarqués pour la Sicile, avant d'avoir pu recevoir les ordres qui les rappellent à Pétersbourg. Je crois que Votre Majesté ne regardera pas cela comme un fort grand malheur, mais je prévois aussi que les 12 mille livres que je leur ai fait payer à Rome, après les 13 mille 5 cents qu'ils ont touchées en entrant en Italie, seront à peu près mangées lorsqu'ils seront de retour de la Sicile à Rome, et je n'ai plus d'ordre de leur rien fournir. Quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas la volonté de Votre Majesté qu'ils restent dans la peine, et j'ai pris sur moi d'autoriser M. Santini de leur payer encore 5 à 6 mille livres pour mon compte. J'ose me flatter que mon auguste Souveraine autorisera à son tour cette démarche que j'ai faite, et que ses ordres souverains pourvoiront à l'entretien de la caisse impériale confiée à mes soins, ainsi que bon lui semblera. Je ne puis m'empêcher d'observer, après le malheur qui nous est arrivé chez Jenkins et dont je me consolerai encore moins que le divin, que tout ce qui sort de chez Jenkins et de chez Byres ou de chez tout autre antiquaire de Rome, m'est extrêmement suspect, et que si les camées proposés sont bien beaux et bien antiques, je ne doute pas du moins qu'ils ne soient excessivement chers.

M. le comte de Bruce envoie chercher ma pancarte, il faut fermer, il faut finir, et cependant mon coeur ne finira avec Votre Majesté que lorsqu'il aura cessé de palpiter. Il m'est bien dur de laisser deux pages en blanc. M. le comte de Bruce se charge d'un gros paquet. C'est de la musique pour le grand Paisiello, sur laquelle j'ai mis une enveloppe à l'adresse de M. le Factotum impérial, et par-dessus cette enveloppe une autre à l'adresse de notre auguste und gemeinſchaftliche Kaiſerin; ces deux adresses serviront de passe-port au paquet de l'Orphée impérial.

Je mets aux pieds de l'ointe du Seigneur dont le nom, l'idée et l'image font tressaillir mon pauvre coeur cent fois par jour, l'hommage du plus profond respect et de l'attachement aussi incommensurable que ses bontés, avec lesquels je serai toute ma vie,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

* Madame,

On vient de m'avertir dans l'instant de l'hôtel soi-disant du Nord et que j'appelle moi l'Hôtel de l'Orient, *a solis ortu*, vom Aufgang der Sonne. Nun iſt die Sonne bekanntermeiſe nur einzig und allein in der Deutſchen Sprache weiblichen Geſchlechts, weil ſie in dieſer Sprache absolute ihrer Landsmännin, der Kaiſerin aller Reußen, hat näher verwandt bleiben wollen... Cette savante excursion m'a fait perdre, tout en débutant le fil de mon récit, il faut donc recommencer et dire qu'on vient de m'avertir que ce soir M. le comte du Nord expédiera un courrier vers son auguste mère, et l'on me permet d'en profiter si j'en ai le temps. Or je laisse à mon auguste Souveraine à juger si c'est le moment de faire des excursions savantes, ou de me livrer aux sentiments, mouvements et agitations de mon pauvre coeur. Il est sept heures et le courrier doit partir ce soir, c'est-à-dire tout à l'heure. Obligé de supprimer également et mes observations grammaticales et mes agitations sentimentales, je n'ai que le temps de dépêcher à Votre Majesté Impériale les pancartes importantes des autres, sans y joindre la mienne.

Ci-joint se trouvent en conséquence deux lettres du charmant petit abbé napolitain. 2°. Deux pancartes du divin de Rome, remplies du suc le plus pur de toute sorte d'instructions. Votre Majesté verra que la seconde caisse des ouvrages enluminés est en route, et que je fais travailler autant qu'il dépend de moi à déterrer la première. Quant à ce que le divin me bavarde sur le chevalier de Miller, c'est sur ma provocation: car prévoyan que tôt ou tard Votre Majesté voudra donner une marque de sa bienveillance au dit chevalier pour tous les rouets, fils à retordre et ouvriers qu'il a dépêchés en Russie, je prends de temps en temps sous mon bonnet, de consulter le divin sur le genre de récompense qui pourrait convenir au presque divin chevalier. 3°. Suit une instruction importante sur les trois tableaux en tapisserie que j'ai supplié Votre Majesté Impériale de faire délivrer du purgatoire de Lubeck où ils doivent être actuellement rendus, et transporter dans le paradis de l'Hermitage où ils jouiront de la vision béatifique de l'ointe du Seigneur. Observation très courte: Lorsque ces tableaux ont été commandés pour Votre Majesté, qui pouvait prévoir que le Roi des Français aurait l'occasion la plus naturelle de vendre pour un prix d'amitié réciproque à M. le comte du Nord quantité de ses tapisseries des Gobelins et, entre autres, les portraits de Henri IV et de Sully exécutés par le sieur Cozette? Man erlebt allerley wunderliche Zufälle, und hat freylich Urſache oft genug zu ſagen: Ja, ja! So, ſo! Nu, nu! 4°. Suit un détail sur Don Pablo Olavides tiré d'un voyage imprimé, qu'il m'a communiqué lui-même, mais qui n'apprend rien de nouveau. Il y a ajouté son portrait gravé qui est fort

* ressemblant, qu'on ne peut se procurer pour de l'argent et dont je gratifie généreusement mon auguste Souveraine, denn ich bin gar ſehr geneigt ihr immer etwas Gutes zu thun. 5°. Suit un billet de Madame Necker suivi de deux billets de Madame de la Ferté Imbault, qui tous trois prouvent les ravages que M. le comte et Madame la comtesse du Nord ont exercés ici partout où ils se sont montrés. Das iſt nun ſo eine General-Plage geworden, hart für die, die ſie betroffen, und welche ſich von Versailles bis nach Paris erſtrecket, da doch ſonſt Paris die contagieuſen Krankheiten welche in Versailles graßiren eben nicht an ſich zu ziehen pflegt und ſich von denſelben nicht anſtecken läßt. Aber wo ſich der Herr Graf von Norden aufzuhalten pflegt, da ſchleicht ſich die Krankheit ein, und iſt hernach keine Hülfe mehr dagegen. Die société royale de Médecine nennet ſie septentriomanie. Gott behüte mich davor. In Chantilly ſoll ſie eben ſo grauſam wie in Versailles und Paris graßirt haben. Je plains l'Impératrice, si Madame de la Ferté Imbault exécute toutes les menaces renfermées dans le second billet. Heureusement tout ce fatras passant par le canal de Votre Majesté dans le giron de Madame la comtesse du Nord, il n'est pas dit que Votre Majesté soit obligée en sa conscience impériale de le lire. Ich vermuthe daß da viel bürgerliches und ehrliches Zeug drin ſteckt, und, mein Gott! es thut mir leid genug, aber die bürgerlichen Seelen ſind unſerer Kaiſerin Sache gar nicht. Je lui en garde le secret tant que je puis, mais je désespère de sa conversion. Tant y a que le succès de M. le comte et Madame la comtesse du Nord est universel, et que tous les badauds disent: Nun deine Kaiſerinn muß doch eine große Frau ſeyn. Le fait est que je m'en contente telle qu'elle est, et que je porte à ses pieds l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,

Madame,

de Votre Majesté Impériale

le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

A Paris, ce 5 (16) juin 1782.

Madame,

à Paris, ce 7 (18) juin 1782.

J'ai griffonné en toute diligence par le courrier Forssman arrivé de Lisbonne et allant à Pétersbourg quelques lignes pour mon auguste et immortelle Souveraine; mais le temps n'y étant pas, il a fallu garder un lourd fardeau sur le coeur. D'ailleurs, plus j'écris à Votre Majesté Impériale, plus je me sens suffoqué de ce qu'il me reste à lui dire, semblable aux hydropiques

* dont la soif augmente à mesure qu'ils boivent. Nun das kann kein gutes Ende nehmen.

Nous perdons demain M. le comte et Madame la comtesse du Nord. Votre Majesté entendra de tous côtés tant parler du succès général, uniforme, constant, qu'ils ont eu en France, que je ne me permettrai plus de rien ajouter aux pancartes précédentes. Ce succès a commencé à Lyon, en entrant dans ce royaume, et il les suivra certainement jusqu'à la frontière. Jamais je n'ai vu réunir tous les suffrages à ce point et les fixer aussi invariablement. Par tant de milliers de têtes disparates je n'ai entendu porter qu'un seul jugement, et ce jugement est celui de l'approbation la plus étendue, sans aucun si ni mais. Votre Majesté verra sans doute avec le temps les billets de la Reine des Français à la comtesse du Nord; M. le comte a captivé M. de Vergennes au point qu'il m'en a parlé pendant près d'une heure avec un intérêt si vif et si tendre, avec une admiration si profonde pour l'éducation que le fils de Catherine a reçue de sa mère, que la statue de cette princesse immortelle s'en est prodigieusement agrandie dans son imagination. Comment fera-t-il donc pour lui conserver une place convenable dans sa tête, si jamais il lui est réservé de rencontrer Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin? Car enfin ces deux Sieurs ayant sur leur papa l'avantage d'une santé de crocheteur et d'une constitution physique de fer dans un âge où le papa ne méritait guère ces qualifications, ils ont sucé avec le lait de leur nourrice cette instruction vigoureuse et énergique qui caractérise l'école de leur Schulmeisterin, et qui demande une organisation forte, heureuse et proportionnée à la nourriture qu'on lui présente.

Puisqu'il a plu au Tout-Puissant de me faire tomber dans les filets de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin, tout au beau milieu du chapitre inépuisable de leur papa et maman transplantés pour un moment dans les Gaules, il faut que je remercie mon immortelle bienfaitrice, mais du fond de mon coeur attendri, de ces cahiers allemands et inestimables qui font partie de la bibliothèque des deux Sieurs marmots d'auguste origine. Il est vrai que je dois ce bienfait si précieux bien autant à ma persévérante importunité qu'à la bienfaisance de ma bienfaitrice auguste; mais je n'ai rien perdu pour avoir attendu, et je suis même bien aise de n'avoir eu ces cahiers qu' après la publication du Tsarewitch Chlor en Allemagne. Car disposée comme je connais Votre Majesté à me faire des querelles d'allemand, on m'aurait peut-être calomnié, soupçonné, accusé d'avoir contribué à cette publication. Aujourd'hui je possède ces cahiers sans qu'on puisse m'attaquer, und ich habe sie unserer Kaiserin abgebettelt, abgenöthiget, abgedrungen oder abgerungen, suivant qu'on veut faire de moi un héros ou un goujat. Je puis

* dire à Votre Majesté avec vérité que j'ai dévoré ces cahiers; que depuis longtemps je n'ai fait une lecture qui m'ait autant attaché, et que j'ai été désolé de la voir finir si vite. Il y a dans ces morceaux une sève, un nerf, une vie qu'on ne trouve guère dans nos écrivains modernes, peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu la main à la pâte et qu'ils restent eux-mêmes enfants toute leur vie. Da iſt Urkraft drinnen, et c'est avec quoi il faut remuer l'âme des enfants. Cette variété d'ailleurs est admirable. Tantôt une maxime digne de fixer l'attention des hommes, tantôt de ces petits caractères esquissés dont la beauté ou la laideur morale sort, sans l'aide d'aucune de ces réflexions triviales qui font la ressource de nos froids moralistes; tantôt une infinité de connaissances physiques ou morales, relatives à l'empire de Russie et locales, énoncées avec tant de précision et de clarté, si heuresement choisies et présentées, que je me figure Monsieur Alexandre et consorts écoutant avec bouche béante, tout comme je les ai lues. Quand on voit notre Normal-Schulmeiſterin tenir école, on dit: quel dommage qu'elle ait à régner! Quand on la voit régner, on dit: comment peut-elle faire autre chose? Quand on la voit dans sa vie privée, on dit: pourquoi n'est elle pas réduite à causer et à plaire; c'est son véritable lot. Quand on la voit en commerce avec les arts, on dit: elle est née tout exprès pour les créer, pour les inspirer, pour en étendre la sphère. Quand on la voit les yeux fixés sur un plan et le crayon à la main,.... c'est à Quarenghi que je demande ce qu'on en dit alors. Ce brave Quarenghi a la bonhomie de m'écrire pour me remercier des bontés de l'Impératrice et des tabatières qu'il en reçoit, comme si c'était ma faute. Je crains bien, quoique son art soit d'un caractère plus sévère que celui de la musique, qu'il ne tombe avec Vesuvio Paisiello dans des sisssisssissi qui ne finissent plus, et qu'il ne m'en étourdisse, comme l'autre, sur toutes les gammes. Ceci est une parenthèse, je reviens à mes moutons, et je dis: Quand on a eu le bonheur de l'approcher et de la connaître, ô souvenir douloureux et ineffaçable! quand on a, pour ainsi dire, pénétré dans son âme généreuse et sublime, on se prosterne et l'on devient idolâtre. Sous quelque forme et à quelque quart d'heure qu'elle se montre, on est tenté de la croire exclusivement et uniquement ce qu'elle est dans ce moment; et quand on pense ensuite qu'elle est cela et tout le reste aussi, on est stupéfait, man gafft ſie an als wie ein unbegreifliches Ding, und endlich ſagt man: Nun, wie, der Teufel! hat er denn das zuſammengebracht und zuſammengebuchſtabiert? Pour répondre à cette question, Votre Majesté se perd avec M. Pincé dans la métaphysique, et me dit: Je ne suis moi qu'un composé de bâtons rompus.—A la bonne heure. Il ne faut pas disputer sur les mots. Cette définition m'a même frappé comme lumineuse, et par conséquent

* m'a coûté un grand éclat de rire. Mais le tout est d'examiner la nature de chacun de ces bâtons rompus qui se trouvent là en faisceau; et quand on les a considérés, chacun à part, on dit de nouveau: Aber, um tauſend Gottes Willen, wie hat Er denn das zuſammen geleimt? Er weiß aber ſelbſt kein Wort davon wie es ihm gelungen iſt. Mais à propos, puisque c'est moi qui procure à Quarenghi de l'ouvrage et des tabatières et gratificàtions, il est bien juste que j'en remercie la bonté Souveraine dont la rosée ne me paraît pas tomber sur une terre ingrate.

Maintenant qu'il a plu à M. de Vergennes de me mener à la lisière, du fils à la mère et aux petits-enfants, j'espère qu'il voudra bien me ramener à M. le comte du Nord que j'ai laissé au milieu de la cour sans achever ses succès. Je devais donc dire à Votre Majesté Impériale que si le Roi, la Reine, la famille royale, les ministres, la cour ont été enchantés de Monsieur le comte et de Madame la comtesse, ç'a été toute la même chose à Paris; ils ont gagné tous les coeurs dans ce Paris qui aime tant, en fait de goût, différer d'avis avec Versailles. Si Votre Majesté me demande: Aber wie iſt denn das gekommen? So antworte ich dem Kaiſerlichen Kopf, welchen ich als einen großen Kritiker verehre, nach des Herrn Pincé Methode. Cette question ne peut se faire que par trois raisons contradictoires. Ou 1° parce que l'Impératrice a oublié son évangile: Der Wind wehet, wie er will, und du hörſt ſein Sauſen wohl, aber du weißt nicht woher er kömmt, noch wohin er fährt. Ou bien 2° parce que Sa Majesté ne se fait pas une idée juste de la France, et qu'elle croit qu'on n'y sait pas apprécier le vrai mérite, simple, naturel, défanfreluché. Ou bien enfin et 3° parce que Sa Majesté ne se rend pas assez justice à elle-même, et qu'elle croit qu'il faut encore autre chose que d'être sorti de son école, pour réussir. Or moi qui ne suis pas toujours de l'avis de M. Pincé, je partage le différend, et je dis que l'étonnement ne peut venir que de ce que la Russie n'a pas connu la France, et le succès, de ce que la France ne connaît pas la Russie. Aussi moi, qui connais l'une et l'autre, j'ai prévu ce succès tel qu'il est arrivé, mais je me suis bien gardé de l'annoncer, parce que le seul plaisir de ne se pas soumettre à un avis prononcé d'avance, l'aurait ou diminué ou fait avorter. Voilà une théorie profonde et lumineuse qui comporterait une développement de plusieurs rames si le papier était moins cher. Par exemple si l'on avait su, comme moi, que l'Impératrice de toutes les Russies et de tous les coeurs est aussi la personne la plus polie de l'univers, et de naturel et d'habitude, on aurait certainement moins admiré cette politesse aisée et soutenue de M. le comte et de Madame la comtesse, et cette facilité de dire toujours à propos et avec une grâce infinie les choses les plus agréables et les plus

* appropriées aux personnes qu'ils avaient devant eux; on aurait peut-être trouvé cela bien simple en se souvenant du proverbe: Dis-moi qui tu as hanté, et je te dirai qui tu es. Mais la foule des badauds a été confondue quand elle a vu que l'école de cette politesse de Louis XIV dont elle aime encore à parler comme d'un rêve, s'est transplantée, à son insu, à la cour de Catherine II, et qu'elle s'y est encore ennoblie et agrandie, ainsi que l'ont prouvé les marques d'humanité et de sensibilité que nos illustres voyageurs ont données en toute occasion, et qui ont rendu le petit peuple aussi idolâtre d'eux que le public en général. Dazu aber hat ſie der kaiſerliche Herr Schmerzbulder gar nicht vorbereitet: ſondern wenn man allerley einfältige Sachen aus Italien von beyden erlauchten Reiſenden vor ihrer Ankunft erzählte, ſo hielt der Herr Schmerzbulder ſein Maul fleißig zu, und dachte bey ſich ſelbſt: Nun, das werden die Herren Badauds ſchon bald ſelber ſehen, ob der nördlichen oder oſtlichen Minerva Kinder einer badaudiſchen Seife nöthig haben, um ſich in der großen Welt zu zeigen. Aussi Messieurs les badauds ont-ils observé ensuite que l'Impératrice en sait trop long et qu'elle n'aurait pas laissé voyager son fils si elle ne l'eût pas connu fait pour réussir in gradu heroico partout où il se montrerait. Ich kann aber Ihro Kaiſerlichen Majeſtät nicht verbergen daß auch das bürgerliche, ſo man an den hohen Reiſenden wahrgenommen, ſehr viel zu der allgemeinen Bewunderung welche ſie erworben, beygetragen hat: denn in unſerer berühmten Reſidenz-Stadt Paris ſind viel mehr ehrliche Bürger als man gemeiniglich glaubt; ſie haben aber ſtarke Stimmen und ihre Hände ſind breit genug um ein großes Klatſchen herauszubringen. Es iſt aber nicht jedermanns Sache ihr Klatſchen zu verdienen. Man muß ſchöne, ehrbare, chriſtliche, tugendhafte, und mehr dem Herrn Hans Jacob Röthling oder auf franzöſiſch Rousseau, als dem Herrn Doctor Martin Luther anſtändige Tiſchreden führen können, und auch in dieſer Art haben ſich die hohen Reiſenden ganz vortrefflich hervorgethan.

Ce 10 (21) juin.

Après avoir endoctriné Votre Majesté Impériale, au moyen de la plus profonde et la plus subtile métaphysique, sur le fait le plus simple et le moins incroyable de ce bas monde, le succès de Monsieur le comte et de Madame la comtesse du Nord en France, il ne me reste rien à ajouter sinon que nous les avons perdus avant-hier, et que nous ne parlons d'eux à la cour, à la ville, dans le clergé, dans la magistrature, dans les académies, dans les spectacles, dans les promenades, parmi les beaux-esprits, les bouquetières et le noble corps des poissardes qu'avec le plus vif regret et un

extrême attendrissement. Ils ont laissé partout des traces de la plus grande générosité. Mais c'est à M. de la Harpe et à ses pareils à transmettre à la postérité tous les détails du saccage que ces illustres voyageurs ont exercé sur les coeurs; il n'appartient pas à un simple germain de s'en mêler, et c'est à Votre Majesté à se mettre à côté de la postérité dont elle sera elle-même la fable, pour apprendre par un organe du haut parage tout ce qui a été dit et fait de mémorable pendant le mois que nous avons possédé les enfants de Catherine. Ce moment ne sera pas brillant dans les fastes gaulois du côté des victoires, et le plat que le Schnaphahn Rodney a servi à M. de Grasse était dur à avaler et ne sera pas de facile digestion; mais si M. le Comte du Nord n'a pas pu nous entendre brailler des Te Deum, il a pu remarquer un mouvement public qui a son prix et qui prouve l'extrême affection que la nation porte à Louis XVI. Cet accès de patriotisme n'a pas été l'effet des machines qu'on a fait jouer; il a été naturel et libre, et la contagion s'est propagée avec une vitesse particulière. Entre autres agréments que m'a valus le séjour du fils de Catherine, je compte la satisfaction d'avoir vu et connu le brave Dimsdale, un des plus grands bienfaiteurs de l'empire de Russie. Aussi l'empire de Russie y a-t-il été fort sensible, et je défie le chef de l'église grecque de mieux étoffer les cathédrales de Moscou que le chef de l'empire grec n'a étoffé les chapelles et manoirs du sauveur du dit empire. Après avoir parlé de l'Impératrice jusqu'à extinction de voix, est venu le tour des augustes marmots, Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin, que le sauveur venu d'Ecosse a vus de ses yeux, tandis que je ne les connais que par les yeux de la foi et que je ne pourrai me former une idée de leurs traits que lorsque Dieu aura inspiré à mon bienfaiteur, le général de Lanskoï, la généreuse résolution de m'expédier le tableau Bromptonien en conséquence de la gracieuse concession de mon auguste Souveraine. Votre Majesté verra par les oracles du divin que je suis enfin en possession du camée que je dois aux bontés de ma constante et unique bienfaitrice; mais hélas! je lui coûte continuellement de l'argent, et ne suis jamais content. Il me semble que ce camée est le moins ressemblant des trois. Je n'étais content que du premier, dont la pierre était la plus commune, et que je voulais m'appliquer à cause de cela, mais dont je me suis trouvé dépouillé au mépris de tous les principes de la Neutralité armée, de sorte qu'il ne me reste qu'à en appeler au code futur tracé par Minerve et ratifié d'avance par le cri de la justice, auquel je réunis le mien. Je n'en suis pas moins touché et du bienfait venu de Rome, et du bienfait Bromptonien que j'attends de Pétersbourg et des bienfaits en musique que je dois au Général-Factotum; mais si je me mets une fois à remercier Votre Majesté, toute

* l'innombrable kyrielle de ses bienfaits se présentera devant mes yeux, et les remercîments se changeront en pleurs accompagnés de sanglots et oppression. Il n'y a pas jusqu'à Monsieur Alexandre qui ne se soit dépouillé pour se mettre au nombre de mes bienfaiteurs. Je ne demandais pas un habit si riche ni si magnifique; je ne voulais qu'éviter à son auguste grand'mère la peine de me barbouiller les pancartes impériales par des dessins de son invention; une simple toile aurait rempli mes voeux. Il y a déjà des marmots dans mon quartier qui le portent et un tailleur qui en vend. Il fera fortune, mais la mienne est manquée. La Comtesse du Nord m'a coupé l'herbe sous les pieds à Versailles et auprès de M. le Dauphin. Elle m'a fait l'honneur de me dire elle-même qu'elle en a laissé en Italie en deux ou trois cours; elle aurait donc pu me céder la pratique de M. le Dauphin. Mais point du tout; c'est de sa façon qu'il sera habillé à la façon de Monsieur Alexandre, et moi je reste avec mon bel habit comme un fondeur de cloche. Das iſt zu fett. Pour comble de malheur, toutes mes morveuses accoutumées à célébrer les fêtes de l'Impératrice, en déjeunant et sautant chez moi, se sont avisées de commencer leur rôle de mère en accouchant de filles, de sorte que je n'ai pas la perspective d'un seul marmot qui puisse porter mon bel habit sous mes yeux, et qu'à vue de pays je serai obligé de l'envoyer à Brest pour en gratifier l'aimable femme d'un lieutenant de vaisseaux de mes amies, accouchée depuis six mois d'un gros garçon. Nun, die nordiſche Frau Gräfin hätte mir freylich nicht ſollen ins Handwerk pfuſchen.

Dans la confusion de mon coeur j'ai mille pardons à demander à Votre Majesté Impériale de toutes les folies qui m'ont passé par la tête sur le fait de Lehnchen von Dresden et de toutes les souleurs que mes propositions successives ont causées à M. le général de Lanskoï; mais si Votre Majesté pouvait se faire une idée de ce que c'est que d'être le cerbère d'un lutin comme Lehnchen pendant six mois de suite, elle me pardonnerait sans doute. Encore, pauvre cerbère que j'étais, ai-je passé deux mois de ces six sur le grabat, malade comme un chien vulgaire, et par conséquent les transes dans lesquelles j'ai vécu journellement de voir le lutin m'échapper en dépit de ma vigilance, ont doublé et triplé pendant ce temps-là. Enfin les choses ont beaucoup mieux tourné que je n'avais osé l'espérer; je ne serai cependant parfaitement tranquille que lorsque je saurai le chevalier voyageur arrivé sur territoire de Russie. Je vois par le désir que son cousin en a, que le chevalier blessé n'est pas guéri, et le lutin, tout consolé qu'il est, a des retours fréquents vers son premier vainqueur, qui me rendent toutes mes transes de cerbère. Le consolateur va faire un voyage d'affaire en province, pendant lequel le cerbère ne sera pas tout à fait tranquille; c'est lorsque le

chevalier blessé sera rendu au sein de sa famille, que le cerbère de Lehnchen pourra dormir sur ses deux oreilles et se moquer de tous les fantômes dont il a été obsédé par ce lutin. Ce qui lui déplaît en ce moment, c'est qu'il arrive encore une queue à la dépense de cette petite sorcière. J'avais cru être quitte de l'Inspecteur de police moyennant une boîte de 50 louis et au-delà que je lui avais donnée pour gratification du voyage de Bar-le-Duc et de Strasbourg. Il m'en a remercié dans le temps; mais depuis le départ de Monsieur le Comte du Nord il m'a honoré d'une visite pour me rappeler que Lehnchen avait été surveillée par mes ordres pendant près de six mois, que les frais de cette surveillance conformes aux tarif de la police ont été considérables, surtout pendant tout le temps du séjour du chevalier blessé. Il a fallu se rendre à ce monitoire, et promettre encore 50 louis pour l'extinction de ces frais, quoiqu'on m'ait fait entendre qu'ils ont été plus loin. Lehnchen a été une personne bien chère, mais, grâces au ciel, Votre Majesté n'en entendra plus parler; et je suis convaincu que son chevalier, quand il aura achevé de l'oublier, ne donnera que des sujets de satisfaction à sa famille; il a le fond du caractère excellent, et si son malheur n'avait pas voulu qu'il fût livré à un conducteur aussi abominable, je ne doute pas un instant qu'il n'eût entièrement répondu aux voeux et aux intentions de ses parents pendant son séjour en pays étranger.

Je crois avoir déjà dit un mot à Votre Majesté de la joie indicible dont la grâce impériale a rempli le coeur de Corilla; on dirait qu'elle a rappelé à la vie son âme moitié errante sur les sombres bords. Depuis la joie et la pétrification d'Emilie de Belsunce, je n'en ai pas vu de pareille à celle de Corilla. Je suis fâché que Votre Majesté ne puisse pas lire ses effusions dans sa langue naturelle; je laisse aux experts depuis M. le grand chambellan jusques à l'heureux Quarenghi ou au fortuné Paisiello le soin de la traduire en un baragouin quelconque. Quant à moi je ne me donnerai pas ces airs là, d'autant que s'il y a une moitié pour Minerve la bienfaisante, l'autre est pour son chapelain souffre-douleur, qui ne pourrait que rougir en traduisant, et qui a déjà lavé à l'illustre Corilla son bonnet à ce sujet, sur quoi il attend sa réponse de pénitence. Votre Majesté sait mieux que personne s'il m'a fallu autre chose, pour déterminer le bienfait, que de rappeler à la bienfaitrice le nom de Corilla et sa constante passion pour elle. Il est certain que de ma connaissance l'âme de cette inspirée est une des plus voisines de l'âme de Catherine; il en résulte naturellement la passion la plus vraie et la plus profonde dans l'âme de la dévote pour l'objet de son culte, et c'est cette passion si sensible à l'élévation et à la véritable grandeur qui m'a attaché à l'âme de Corilla: or quand une telle âme est encore travaillée

* par la reconnaissance pour l'objet de son admiration, il n'est pas aisé d'imaginer tout le bouleversement qui en est la suite. J'avais cru que le seigneur Santini pourrait être chargé du paiement de cette pension, mais je vois par la réponse que le change de Rome à Florence est prodigieusement désavantageux pour cette dernière ville. Le plus court sera sans doute de charger la maison de Calamai à Livourne de ce paiement annuel, ou bien, si Votre Majesté Impériale daigne m'y autoriser, je pourrais le faire de Paris. Je connais une personne ici à laquelle le Grand-Duc de Toscane fait à peu près la même pension; je pourrais lui remettre ici ses cent ducats, et elle ferait payer ceux de Votre Majesté à l'heureuse Corilla. J'ai osé prendre sur moi de répondre à cette dernière que l'intention de son auguste bienfaitrice était qu'elle touchât ces cent ducats sans perdre sur le change; et puis, qu'on me dise que je ne sais pas aussi lire dans l'âme de Catherine et prévoir ses intentions!

La lettre du divin mérite pour le coup une sérieuse attention, et je ne Boute pas que Votre Majesté Impériale ne fasse comprendre dans ses projets de commerce avec l'Italie celui de fournir de pierres précieuses tirées de la Sibérie les Pichler et les Weder de Rome, qui en manquent.

Le jour même du départ des augustes pélerins, j'ai reçu le billet du Bailly de Breteuil que je prends la liberté de mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale. J'ai répondu sur-le-champ que j'approuvais bien fort que M. de Nicolaï vît tous ces trésors et en rendît compte à Sa Majesté, et comme Monsieur le Comte du Nord a dépêché M. de Nicolai d'ici à Pétersbourg, ce compte peut être rendu avant que cette pancarte ait le bonheur de se trouver sous les yeux de mon auguste Souveraine. Il peut donc rendre un compte exact du cabinet de pierres gravées du Bailly, car il l'a examiné avec soin, et je lui crois bien plus de connaissances en ce genre qu'à ce pauvre diable de souffre-douleur qui n'y a jamais apporté qu'un instinct peut-être assez faible, qu'il n'a jamais eu occasion ni d'exercer ni de perfectionner; et Votre Majesté peut enfin prendre un parti décisif sur cet objet qui me débarrasse du Bailly comme je me tiens à peu près débarrassé du comte de Baudouin. Pour entendre ce que dit le dit Bailly-ambassadeur de son dessert, il faut savoir que le Bailly, après avoir vendu son premier dessert, a employé l'argent de Votre Majesté pour en faire un plus beau dans le même goût où cependant aucune des pièces du premier ne se trouve répétée; toutes les pièces du nouveau dessert sont composées d'après d'autres monuments antiques de Rome qui ne se trouvent pas dans le premier. Il est arrivé au Bailly la même chose qu'à ce Tronchin vendeur de son cabinet; ils se sont crus guéris tous les deux de leur manie, et chacun de son côté a

* employé l'argent de Votre Majesté à un nouveau recueil de joujous, tant les enfants se détachent difficilement de leurs marottes. Lorsque le Bailly a été nommé à l'ambassade de son ordre à Paris, son nouveau dessert transplanté a fait du bruit, la Reine, M. le comte d'Artois ont eu envie de l'avoir sur sa réputation, sans l'avoir vu; mais je ne sais comment il s'est établi ici un préjugé qu'il ne faut jamais rien vendre aux princes, hors à l'Impératrice des Grecs; le Bailly a mis son savoir-faire à éloigner ces propositions. A la naissance du Dauphin dont je n'aurai pas la pratique pour ses habits, la ville de Paris a eu l'honneur de donner à dîner au Roi et à la Reine à l'hôtel de ville; M. le Prévôt des Marchands a proposé au Bailly de prêter son dessert pour la table royale, comme un excellent moyen de le faire voir à la Reine dans toute sa splendeur. A cette proposition le Bailly a pâli, frémi; il a vu son dessert, l'objet de ses plus tendres soins, exposé aux plus grands dangers au milieu de cette auguste bagarre. Il l'a refusé; mais encore fallait-il trouver une prétexte plausible à ce refus: il a donç dit qu'il était en marché avec Votre Majesté Impériale pour cet objet, et qu'il ne pouvait plus en disposer d'aucune manière. En effet il vint dès lors me le proposer; mais moi qui suis excédé tous les jours que Dieu donne, de propositions pour mon auguste Souveraine, et qui ne suis jamais plus content que quand elle n'achète rien, au moins par mon ministère, je dis alors au Bailly qu'il fallait auparavant attendre le sort du cabinet des pierres gravées, et ne pas confondre tant d'objets ensemble. Il voulait me vendre alors ce dessert au prix coûtant, quittances sur table, et ce prix devait aller à cent-vingt mille livres; mais il ne me demandait point cette somme; il voulait que je proposasse à Votre Majesté de lui en faire la rente viagère à 10 pour cent; cela ferait douze mille livres tous les ans, et il me disait alors qu'il avait 57 ans faits. Depuis il m'a dit qu'il désirerait en avoir 40 mille livres en argent, et la rente viagère des 80 mille restants, ce qui ferait une rente annuelle de huit mille livres jusqu'à son décès. Il a donné à M. de Nicolai la description de ce dessert avec les dessins colorés de toutes les pièces. Je ne l'ai point vue; mais ce qui m'en plaît, c'est qu'il y a ajouté une description pareille avec dessins colorés du premier dessert dont Votre Majesté est en possession, et cette description peut et doit entrer dans les archives de cet entresol que je ne connais pas hélas! Quant à la description de l'autre dessert, comme j'ai la confiance que l'Impératrice n'en voudra ni à rente viagère ni autrement, il se trouvera bien une occasion de me la renvoyer soit avec le bienfait Bromptonien, soit avec les 101 opéras qui doivent m'arriver encore. Règle générale: je ne serai parfaitement heureux que lorsque je ne dépenserai plus rien du tout pour le service de Votre Majesté, et qu'au

* lieu de la fatiguer et moi aussi de toutes sortes de propositions, je pourrai m'abandonner librement aux mouvements de mon coeur dont les besoins sont très différents de tous ces vilains calculs d'argent.

La fille de Jupiter est comme son papa. Lorsqu'elle menace de la foudre, on peut compter qu'elle a déjà éclaté. A peine m'a-t-elle dit que le diplôme d'Académie tomberait sur la tête du petit abbé comme une bombe, que les gazettes m'ont appris que la bombe était lancée; mais son tonnerre donne la vie, et celui de son papa tue.

Les trois tableaux en tapisserie doivent voguer actuellement entre Lubeck et Pétersbourg. Deux cent quarante dessins du cabinet Sicilien de Houel vont prendre le même chemin et seront suivis l'année prochaine par les 260 restants à qui la clémence innée de l'Impératrice, au dictonnaire du divin, a permis de rester cette année en France pour être gravés. J'ai déjà eu l'honneur d'expédier à Votre Majesté deux de ces cahiers; mais l'auteur m'a obligé de prendre un second exemplaire sur du papier d'Hollande que j'ai joint aux quatre portefeuilles. Je n'ai pas voulu les recevoir comme un hommage offert à Votre Majesté, mais je les paierai à mesure qu'ils paraitront, un peu plus cher qu'un exemplaire sur papier ordinaire; Votre Majesté pourra disposer de ce dernier en faveur de quelque amateur. L'auteur m'a menacé d'une lettre qui doit supplier Votre Majesté Impériale d'agréer la dédicace de cet ouvrage et d'agréer que son nom auguste soit à la tête; si cette lettre vient, il faudra bien lui expédier un passe-port. Six tableaux que Clérisseau a fabriqués pour son auguste bienfaitrice, sans lui en demander la permission, ni à moi non plus, feront cette année la clôture de mes envois par Lubeck et de mes inquiétudes jusqu'à ce que je sache tout arrivé à bon port.

Ce 28 juin (9 juillet).

C'est aujourd'hui le vingtième anniversaire de l'époque que la postérité marquera dans les fastes de l'empire Gréco-Russe comme la plus glorieuse, et que j'ai décidée telle dans ma caboche avant la postérité. Vingt ans de prospérité et de gloire, c'est un des plus magnifiques cadeaux que la soi-disante Providence puisse faire à un empire; aussi en est-elle diablement chiche. Ce serait donc le cas ou jamais, de célébrer ou, comme aurait dit feu M. Wagner, de magnifier sa bonté, d'en faire un vacarme de tous les diables, en faisant un nouveau bail de vingt années sur le même pied; mais j'ai eu beau prêcher cet évangile depuis un an, l'Impératrice a fait la sourde oreille. Sous prétexte que cela aurait l'air de se vanter de ses faits et ges-

* tes, on m'a envoyé promener avec mes propositions, ni plus ni moins qu'un maréchal de la noblesse de Pétersbourg qui, après l'introduction du nouveau gouvernement, a voulu introduire l'Impératrice sous je ne sais quels arcs de triomphe et l'appeler de je ne sais quels noms à son retour de Mohilev, noms que je lui entends donner par tout le monde entre ses dents, et pour récompense desquels M. le maréchal a eu dans une des pancartes à moi adressées le diplôme de morveux, dignité qui m'attend peut-être aussi, malgré mon âge. Nun es iſt freylich ſehr bequem, alles was ſeit zwanzig Jahren vorgegangen, mit Stillſchweigen zu übergehen, unſern lieben Herr Gott für nichts zu danken oder ſo ſtill zu danken daß er durch kein Geräuſche aus ſeinem erſten Schlaf gebracht wird; auch alles was er großes und glorreiches für das Reich zwanzig Jahre nacheinander in einem Athem gethan, als eine Schuldigkeit anzuſehen, und unter dem Vorwand daß eigner Ruhm, dem Sprichwort nach, ſtinkt, dieſen großen Tag nach dem alten Schlendrian zu feyern, nämlich zur Rechten und zur Linken kaiſerliche Wohlthaten auszutheilen, aber übrigens davon nicht den geringſten Lärmen zu machen. Aber ſo ein laulichtes und gottesvergeßnes Betragen erhitzt mir gar ſehr meine chriſtliche Galle. Iſt es denn nicht aus der Bibel bekannt daß es der Herr iſt welcher der Regenten Herz regiert und 19 Zero gegen einen chiffre giebt? Und wenn nun wir Leute von Grimma, Riga, Narva und Peterburga oder Moſka nichts von unſerm chiffre ſagen ſollen, ſo müßen vermuthlich die Herren Zeroiſten ſich mit Te Deums hervor thun. So verkehrt gehts in der Welt, wenn man die göttlichen Wohlthaten vergißt, und nicht einmal ein heydniſches carmen saeculare mit Philidors Melodien dem Herrn Zebaoth zu Ehren abſingen laßen will. Mit ſolchen chriſtlichen Vorſtellungen legt man freylich bey unſerer Kaiſerinn keine Ehre ein, aber deſto mehr iſt unſer Gewißen dadurch erleichtert. Mit ſeinem Eigenſinn kann der kaiſerliche Kopf freylich allerley wunderbar Sachen in dieſer Welt anfangen und ausführen, das will ich ihm nicht läugnen; aber ob der Seele ewiges Heil und Wohlfarth dabey befördert wird, das iſt eine andere Frage.

Pour me mettre en état de célébrer ce grand jour avec un coeur rempli de joie, ohngeachtet der Kaiſerlichen Herzens Verſtockung, il a plu à la divine Providence de me gratifier d'une pancarte impériale apportée par M. Diacov il y a trois jours et plus, laquelle j'ai baisée avec plus de ferveur et de respect que jamais dévot n'a senti pour la plus sainte des reliques. Quoique cette pancarte soit, comme à l'ordinaire, remplie de beaucoup d'injustices contre moi, je ne sais par quel prestige il m'arrive qu'après en avoir avalé beaucoup et de dure digestion, il ne me reste à la fin de la lecture qu'attendrissement, reconnaissance, gonflement d'artères et autres symptomes qui ne peuvent se calmer que par un Thränenguß. Au milieu de ces mouvements

* je ne dois pas laisser passer sous silence ces injustices, de peur de les multiplier par leur impunité. Par exemple j'ai lu aussi tout plein de choses dans la gazette ou dans les gazettes, et la preuve en est qu'on m'a même envoyé des gazettes d'Allemagne et encore soulignées, Das heißt einem die Naſe auf das Papier reiben. Si cela a fait murmurer notre gracieuse Impératrice entre ses dents, pourquoi ajoute-t-elle que c'est contre l'indiscrétion du souffre-douleur et compagnie? Quelle est donc sa compagnie? quelle est son indiscrétion? Peut-il empêcher que les faits et gestes de l'Impératrice ne percent dans le public; que ceux qui sont comblés de ses bienfaits ne s'en vantent, que cela gagne dans le public comme le feu grégeois et que ses oreilles en soient les premières étourdies? Est-ce sa faute s'il y a eu pendant tout l'hiver un pélerinage continuel chez le Pline français au Jardin du Roi pour voir ces fourrures, ces médailles et entendre lire cette lettre dont on s'est si incroyablement engoué qu'on l'a décidée un chef-d'oeuvre en une page et demie, un modèle de style qui écrase absolument la lettre à laquelle elle répond? Est-ce la faute du souffre-douleur si le chiffre de l'heureuse Emilie l'a fait briller pendant les fêtes données à Monsieur le Comte du Nord, s'il a fait tant de bruit à Versailles et à Paris qu'enfin il a passé dans les gazettes? Ce chiffre est-il de mon invention peut-être? Si Votre Majesté ne veut pas qu'on parle de ces choses, pourquoi les fait-elle, pourquoi les invente-t-elle, pourquoi les trouve-t-elle? Je ne vois aucune tête couronnée accusée de rien qui ressemble à cela: Donc qui se sent morveux, n'a qu'à se moucher sans taxer les innocents. Si la très chère soeur Dona Maria occupe quelqu'un, c'est les âmes du purgatoire, mais celles de ce monde sont en sûreté avec elle; aussi les gazettes n'ont-elles jamais rien à dire sur son compte, et elle a beau accéder à la neutralité armée, personne n'en saura rien, si Votre Majesté veut lui en garder le secret. Denn wenn man will chriſtlicher weiſe hübſch unbekannt bleiben, ſo muß man ſich in das Catharineſche Weſen gar nicht einlaßen. Voilà, Madame, à quoi se réduisent les indiscrétions de souffre-douleur et compagnie, qui n'a point de compagnons et qui se pique d'être seul de sa bande quand il s'agit des gens de Grimma. Ces injustices dégoûtent à la longue de la vertu. Que me sert à moi d'être précisément le plus discret unter den Menſchenkindern? Ne ferais-je pas beaucoup mieux de mériter les reproches injustes qu'on me fait? En tirant une seule des pancartes divino-impériales, au hasard, de mon portefeuille pour en gratifier le public, je suis sûr de travailler plus efficacement à l'histoire de notre singulier siècle que tous les historiographes actuellement en charge, je suis sûr de me rendre immortel, d'être compté parmi les bienfaiteurs des êtres pensants des quatre parties du monde. Quel effort de vertu

* héroïque et sublime ne faut-il pas à un souffre-douleur pour n'être pas tenté de mériter les injures que lui prodigue son auguste Souveraine?

Après avoir exhalé mes justes plaintes et exposé mes griefs publics et personnels, il est temps que je parle à Votre Majesté Impériale d'un homme dont elle a fait le bonheur, comme de tant d'autres, d'un trait de plume. Scorodoumov est au comble de ses voeux; il ne se possède pas de joie du bonheur qui l'attend. Je crois pouvoir assurer Votre Majesté que s'il y a quelque chose à craindre de sa part, ce n'est pas la paresse, c'est au contraire que l'ardeur du travail ne l'entraîne trop loin aux dépens de sa santé. Depuis du moins qu'il est à Paris, il a travaillé avec une ardeur prodigieuse. N'osant se livrer à l'idée d'appartenir à Votre Majesté, il voulait remporter en Angleterre quelques dessins de tableaux capitaux pour les y graver à son aise. Maintenant il fait ses paquets pour l'Hermitage; il a écrit à sa femme à Londres de venir le joindre ici, et vers le milieu du mois prochain il compte se mettre en route pour sa patrie. D'après les ordres qu'il a plu à Votre Majesté Impériale de me donner à son sujet, je me crois suffisamment autorisé à lui payer les mille roubles accordés pour frais de voyage; il fera en sorte d'être rendu aux ordres de sa souveraine bienfaitrice à la fin de septembre. Mais j'ai pris sur moi beaucoup plus que les mille roubles. Sur ce que l'heureux Scorodoumov m'a représenté qu'il lui est essentiel d'emmener avec lui un habile imprimeur en gravure, à qui il se fait fort d'enseigner la manière anglaise d'imprimer en couleur, qu'on ne connaît encore en France qu'imparfaitement, je l'ai autorisé à chercher un bon et habile sujet en ce genre et à lui promettre de la part de Votre Majesté Impériale jusqu'à 400 roubles d'appointements par an, à condition de dépendre uniquement de son cabinet. Si nous trouvons le sujet qu'il nous faut, nous l'emballerons immédiatement et l'enverrons par mer avec les effets de Monsieur le Comte du Nord à Pétersbourg. Une autre représentation du seigneur Scorodoumov, c'est qu'il est indispensable, pour remplir à Pétersbourg les vues de Votre Majesté et son devoir, qu'il fasse ici acquisition: 1°. d'une presse pour imprimer ses gravures; 2°. d'une provision de noir de Paris dont on se sert dans toute l'Europe pour la belle impression des estampes; enfin 3°. d'une bonne provision de papier de grand aigle et d'autre qu'on ne trouve aussi qu'en France et dont on ne peut pas non plus se passer pour l'impression des estampes. Ces trois objets feront encore une affaire de 50 louis ou 1200 livres de France, et j'ai pris sur moi d'accorder toutes ces propositions, sans prendre les ordres de mon auguste Souveraine. Si j'ai failli en cela, ce sera le cas de tonner, de m'accabler de réprimandes; je baisserai la tête bien humblement, et il ne me prendra pas envie de regim-

* ber, car le pécheur doit être contrit. J'ose même demander ce châtiment à Votre Majesté, afin qu'il ne m'arrive plus une autre fois de rien prendre sous mon bonnet à quoi je ne sois expressément autorisé.

M. le général de Lanskoi m'ayant par exemple expressément autorisé à envoyer à Votre Majesté l'officier d'office, que je lui avais proposé, je l'ai engagé au service de mon auguste Souveraine, et il va partir pour se rendre à son devoir. Ce que les Français appellent dans la pauvreté de leur langue un officier, nous autres vieux Germains l'avons appellé conditor. La destinée des mots est souvent une chose aussi extraordinaire que celle des hommes. Les Romains donnaient le nom de conditor à leur Romulus parce qu'il avait fondé Rome, und dieſe Kerls hätten ohne alle façon dieſen Spitznamen auch unſerer Kaiſerinn gegeben wegen des portelet Cherson und etlichen hundert andern Städten welche ſie aus ihren weiten Aermeln hier und dort auf die Karte von Rußland ſchüttelt. Nun aus dieſem baumſtarken und ſteinartigen Worte iſt mit der Zeit ein Zuckerbecker geworden; das iſt doch ſelten genug. J'ai fait avec le conditor Balu, successeur de Romulus, un traité suivant l'usage; mais ignorant quel est le traitement d'un tel créateur à la Cour de Russie, et l'ayant déclaré et confessé mon ignorance à notre conditor en sucreries, il m'a déclaré à son tour qu'il voulait à l'égard de son traitement s'en remettre absolument à ce qu'il plairait à Votre Majesté Impériale d'ordonner à cet égard. Le comble de nos voeux serait d'être employé au service immédiat de l'ointe du seigneur dans son intérieur ou son particulier, préférablement au service de sa Cour. Si Votre Majesté nous accordait cette faveur inestimable, le vieux père Balu ici, âgé de plus de quatrevingts ans, fermier de plus de 40 ans de M. l'Archevêque de Paris, homme vénérable dans son état, prierait le dieu des miséricordes jour et nuit, de douer d'une vertu surnaturelle les confitures, glaces, macarons et massepains que son fils fortuné préparera pour la table de celle dont le nom glorieux est prononcé dans la cabane du pauvre avec autant d'attendrissement qu'il excite d'émulation dans les palais des Rois.

Puisque ce nom glorieux est respecté ou chéri dans tous les palais et dans toutes les cabanes, et que moi souffre-douleur j'en ai les éclaboussures tout le long de l'année; si par hasard Votre Majesté ne croyait pas avoir comblé la mesure de sa bienfaisance et qu'elle fût tourmentée du désir insatiable de faire encore un heureux ou plutôt une heureuse à l'époque du vingtième anniversaire de la félicité de l'empire, il ne sera pas dit que le souffre-douleur ne sache lui indiquer un sujet digne de préférence. Il est incroyable à quel point j'ai été bombardé de lettres depuis le mois d'octobre dernier, c'est à dire depuis près de neuf mois, de toutes les parties d'Alle-

magne et par des personnes du plus grand mérite et de la première considération, mais uniformément en faveur de la même personne. Cette personne a un nom français, elle s'appelle Madame de la Roche, mais elle est allemande. Elle a honoré sa patrie par plusieurs écrits fort estimés, mais dont, je l'avoue à ma honte, je n'en connais aucun, parce que je n'ai ni le temps de lire ni la facilité d'avoir ici les livres étrangers. Son mari, M. de la Roche, a été quelque temps ministre d'état ou chancelier de l'Electeur de Treves et considéré de toute l'Allemagne; mais il n'est pas toujours aisé aux gens d'un certain mérite de se maintenir auprès de princes d'une certaine trempe. La dite Altesse Electorale, à force d'aimer à marcher dans la voie étroite, a si bien tout retréci chez elle que je crains que mon pauvre comte Nicolas de Romantsov n'ait bien de la peine à élargir un peu sa caboche électorale. M. de la Roche faisant sa place avec beaucoup de réputation, on trouva le secret d'alarmer la conscience timorée de l'Electeur. Entre autres objets d'alarmes, on lui insinua que son chancelier, quoique bon catholique, à juger conformément à la charité chrétienne, avait cependant pour femme une protestante et, qui pis est, faisant des livres. On ne peut exiger d'un prince marchant dans la voie étroite, de courir risque de se damner pour le plaisir d'avoir un bon chancelier; M. de la Roche fut congédié. Jusqu'ici il n'y rien à dire; mais M. de la Roche avait quitté le service de Mayence pour entrer à celui de Trèves, et comme il quittait une bonne place, il avait stipulé que dans le cas où l'Electeur de Trèves n'aurait plus besoin de ses services ou lui retirerait sa place, il lui serait assuré, sa vie durant, la moitié de ses appointements. Son Altesse Electorale ne s'est pas rappelée cet engagement en congédiant M. de la Roche, et cet homme est sorti de Coblence avec sa femme et plusieurs enfants de la plus grande espérance, sans à peu près savoir que devenir. S'il se passe de vilaines choses parmi les hommes, on en voit aussi de bonnes. Un baron de Hohenfeld, chanoine de Spire, ministre de l'Electeur et par conséquent collègue de M. de la Roche, fut si indigné du traitement qu'on faisait à un homme de ce mérite, que le lendemain il remit sa place à son Altesse Electorale et partit pour sa maison de chanoine à Spire où il établit toute cette famille de la Roche et où il partage encore aujourd'hui avec elle tout ce qu'il possède au monde. Madame de la Roche a composé dans cette retraite des contes moraux dont ses amis se promettent le plus grand succès en Allemagne, et ce sont ces contes moraux avec lesquels ils me font enrager depuis plus de huit mois. Ils ne se bornent pas à solliciter la permission d'orner du nom de Votre Majesté Impériale cette production; ils me disent: Cette grande princesse honore de ses bienfaits, encourage par ses dons tout le long de l'année

* toute espèce de mérite chez toutes les nations de l'Europe; pourquoi ne fixerait-elle pas un instant sa bienveillance sur l'Allemagne? Que fait une somme de cinq ou six mille livres de France à l'Impératrice de Toutes les Russies, à la bienfaitrice de toutes les nations? Si elle daignait l'accorder à Madame de la Roche, elle mettrait cette femme intéressante en état de faire imprimer ses contes moraux à ses frais, d'en faire une édition jolie et soignée, de l'orner d'estampes suivant la manie du jour. Cette édition ainsi annoncée et sous de tels auspices, toute l'Allemagne, qui s'intéresse singulièrement au sort de cette femme, s'empresserait à souscrire, et la somme de cinq ou six mille livres ainsi employée produirait à cette mère respectable un capital suffisant pour établir et placer ses enfants dans le service. Ce qu'il y a de particulier, c'est que toutes les lettres me recommandent sur toutes choses que cette supplique ne parvienne pas avant son effet, à la connaissance du baron de Hohenfeld, parce qu'il se croirait tenu à déranger encore davantage sa petite fortune pour trouver cette somme. Je n'ai vu qu'une fois dans ma vie cet homme rare, je n'ai vu qu'une seule fois aussi Madame de la Roche, je ne connais point son mari; j'ai résisté plus de huit mois à toutes les sollicitations, j'ai représenté l'audace dont je me rendais coupable en importunant sans cesse Votre Majesté, mais à peine ai-je éconduit un solliciteur, qu'il m'en vient un autre. Strasbourg, Manheim, Mayence, Wurzbourg, Vienne, Berlin ont conspiré contre moi et me ruinent en ports de lettres et en frais de répondre; et tandis que je réponds à droite et à gauche, ma plume taillée tout exprès pour l'Impératrice chôme, et cette seule calamité suffit pour porter la désolation dans le coeur des gens de Grimma. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si quelque petite portion de ce qui m'est resté en caisse doit favoriser l'édition des contes moraux de Madame de la Roche, les muses allemandes dans l'effervescence de leurs transports ne feront pas moins de tapage que les muses françaises ont fait en tant d'occasions et que les muses italiennes font en ce moment à l'occasion de la pension de Corilla. Le bienfait impérial sera le pot au lait qui ne cassera pas et la permission de dédier en sera le couvercle. De ce pot et de ce couvercle résultera la fortune de toute une famille, au lieu que si la pauvre femme sans pot et sans couvercle est obligée de vendre son manuscrit à un libraire, faute de moyens d'imprimer pour son compte, tous les projets de fortune de la pauvre femme sont à vau-l'eau.

Ceci me mène naturellement à parler du suprême plaisir avec lequel j'ai lu depuis un an tout ce que Votre Majesté Impériale m'a écrit de temps à autre sur la littérature allemande. Wenn ich mir den Kopf angreife und nachgrüble warum denn die Leute von Grimma ihre Kaiserin gar so erstaunlich

* lieb haben, ſo finde ich vors erſte mit dem Herrn Pincé zehntauſend Urſachen, und alsdenn unter andern auch dieſe: C'est qu'elle a une tête supérieure à tous les préjugés d'enfance, d'éducation, d'habitude ou de quelque nature qu'ils puissent être. Le vrai talent, le vrai mérite, ce qui se sent et ne s'exprime pas, n'a qu'à s'offrir à elle sous quelque habit qu'on voudra, n'ayez pas peur qu'ils lui échappent ou qu'on puisse lui en escamoter le cachet, ou qu'elle fasse ce beau syllogisme: «Ils n'ont pas porté cet habit du temps de feu M. Wagner ou de Mademoiselle Cardel, donc ce ne peut être le vrai talent, le vrai génie, car ils auraient le chignon à la française». Je connais de grandes têtes qui se sont cassé le nez avec ce raisonnement: or sans nez comment peut-on juger? Comme ils ont fait, à faire pitié. Ce qu'il y a de sûr et de vrai, c'est que la langue allemande, sous les plumes qui l'ont maniée depuis une trentaine d'années, est devenue une des plus belles langues d'entre les modernes, comme elle est par son propre fonds une des plus riches, et que si frère Joseph avait sur ce point le nez de sa soeur Catherine, il en ferait la première langue de l'Europe, parce qu'il est précisément venu à cet instant, à ce point nommé, où la protection d'un souverain peut influer efficacement sur sa langue et en fixer la destinée; mais, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, la pente générale du sort et des révolutions indérangeables qu'il amène, c'est de faire prendre à la langue russe la place de la langue grecque et à la langue germanique celle de la langue latine, et en cela elle aura opéré avec d'autant plus de justesse que je crois le russe aussi harmonieux et chantant que le grec, et l'allemand aussi mâle et nerveux que la langue des Romains. Ce sera une assez belle époque pour l'esprit humain, lorsque dans les universités d'Amérique on étudiera le russe et l'allemand comme dans les nôtres on étudie le grec et le latin, et qu'on expliquera dans leurs écoles les cahiers faits par Catherine pour la bibliothèque de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin, comme on explique dans les nôtres les offices de Cicéron. Ces cahiers m'ont fourni une nouvelle preuve en faveur de la langue allemande. Sans pouvoir en connaître l'orginal, je suis convaincu que la traduction allemande lui a conservé toute sa force, toute son énergie, et qu'une traduction française n'y réussirait pas au même degré. Nun von dieſem allen läßt ſich der große Friederich gar nichts träumen noch ahnden, und lebt mitten in ſeinem Zeitalter und unter ſeinen Landsleuten ohngefähr wie ein Schläfer der nichts muthmaßt; man könnte es ihm auch verzeihen, wenn er nicht darüber geſchrieben hätte: aber das iſt zu fett oder vielmehr zu mager. Mit dem königlichen Bruder Heinrich bin ich auch darüber in große Zwiſtigkeiten gerathen. Ob nun dieſer gleich den Blick eines Adlers und ein hohes Gefühl des Herzens hat, ſo kann er ſich doch nicht

* über die Vorurtheile ſeiner Erziehung hinauf ſchwingen. Je vois que Votre Majesté est, au reste, beaucoup plus avancée que moi, puisqu'elle lit le journal de Nicolai de Berlin que je ne connais que de réputation. Je n'ai pas une heure dans toute une semaine, en mettant une minute à la queue de l'autre, à donner à la lecture; à peine ai-je le temps de lire les gazettes pour savoir ce que fait l'Impératrice. Nun da finde ich denn freylich Artikel die mir die Augen verdrehen und die Haare auf dem Kopf zu Stahlfedern machen. Freylich, wenn ich ſie allein läſe, ſo wärs meine Schuldigkeit dergleichen Artikel in meinem ſchmerzdulderiſchen Herzen einzuſperren und zu unterdrücken: aber was wird denn die gelehrte Welt davon denken, wenn ſie dergleichen Aufſätze wahrnimmt? Ohne das Chersoneſiſche Weſen aufzuwärmen, das leider ſchon griechiſch genug klingt und allenthalben viel Aufſicht gemacht und noch macht: ſo möchte ich doch gerne wißen warum denn der junge Herr, Sieur Constantin genannt, griechiſche Cadets haben muß! Warum muß denn alles ſo griechiſch neben, bey und um in, cum et sub ihm ſeyn? Ich könnte nun wohl meine Neugierigkeit darüber mäßigen, aber was ſoll ich denn den Leuten antworten die ſich deswegen bey mir erkundigen? Das Evangelium ſagt nun nicht mehr wie ehemals, Wer Ohren hat zu hören, der höre; ſondern, Wer Naſen hat zu riechen, der rieche.

Tout le monde me jette ici la pierre de ce que je n'ai pas encore eu la grippe dont tout le monde est affligé et qu'on a appelée la coquette du Nord. On m'observe que mon devoir était de l'avoir avant tout le monde, et c'est précisément le devoir que je prétends avoir rempli l'hiver dernier, lorsque la coquette faisait des siennes à Pétersbourg, et qu'ici on faisait des siennes pour la naissance du petit marmot royal appelé Dauphin. N'étais-je pas alors sur mon grabat, accablé sous les caresses les plus recherchées de la coquette, avant de savoir qu'au même instant ses faveurs n'étaient refusées à personne à Pétersbourg? Si la coquette avait voulu prendre ici, comme en Angleterre, le nom d'Influenza, je conviens que je n'aurais pu échapper de ses griffes. Ah, la cruelle maladie que cette influenza! Il y a environ neuf ans que comme un franc étourdi que je suis, j'ai été la gagner en Russie, et depuis cet instant fatal elle m'a travaillé sans relâche. Je la sens circuler avec mon sang, elle m'a pénétré jusqu'à la moëlle des os; ses atteintes sont sans remède, et il faut que j'en meure. Votre Majesté m'a causé un furieux accès de cette terrible maladie, en répondant à ma question über das Treiben und Handthieren unſerer Kaiſerin. Ces dix lignes allemandes m'ont causé un attendrissement délicieux et inexprimable d'admiration et de reconnaissance; mais ces sentiments sont trop forts pour mon pauvre coeur prêt à se dissoudre dans l'excès de son bonheur. S'il m'était permis de communiquer au public ces dix lignes, il aurait de l'Impératrice un portrait plus fidèle et

* plus touchant qu'aucun Brompton de la terre ne fera jamais. Combien ce portrait sera un jour précieux et cher à la postérité, und wie ſelig wird ſie den preiſen an den dieſe zehn Zeilen geſchrieben worden! Das iſt er auch, aber zu ſtark für ſein armes Gerüppe. Il n'a pas reçu une organisation assez forte pour un bonheur si grand. Il est vrai que j'ai le plus urgent besoin d'être au courant de la journée de l'Impératrice, de savoir les changements qui y sont survenus depuis que j'ai été chassé de son auguste présence, de connaître toutes les invasions que Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin ont faites sur cette journée avec un succès qui encouragera leurs usurpations. Grâces à ma constante et souveraine bienfaitrice, je peux maintenant me rendre compte à tout instant de ce que fait l'Impératrice.

Eh bien, ne l'avais-je pas pressenti que Votre Majesté prendrait le parti de s'étonner de l'impression que Monsieur le Comte et Madame la Comtesse du Nord feraient et laisseraient en ce pays-ci? Je pourrais me borner à répondre à cet étonnement, que jamais de ma vie je n'ai vu M. de Secondat se montrer nulle part, sans exciter la plus forte sensation, quoiqu'il fût le plus silencieux des hommes, et certes! Monsieur le Comte du Nord n'est pas silencieux. Mais cet étonnement impérial couvre au fond une injuste prévention. C'est qu'on ne veut pas croire qu'en dépit de nos travers et de nos ridicules, il n'y a point de pays où les premières impressions du mérite soient plus vives et plus rapides; si elles étaient durables, aucun pays ne pourrait disputer la supériorité à celui-ci. On veut peut-être encore moins se persuader que l'influenza du Nord ait pu s'établir ici, ni voir qu'il est naturel qu'elle ait rejailli de la mère sur le fils, tandis qu'il n'y a certainement point de nom plus respecté à la cour de Louis XVI et de ses ministres que celui de Catherine. Il est vrai que chez le commun des martyrs-courtisans le respect pour ce nom a doublé et triplé depuis l'apparition du fils, parce que le commun des martyrs est assez borné, en jugeant d'après lui, pour croire que le mérite a peur du mérite. Il ne sūppose pas que le mérite éminent cherche et encourage au contraire le mérite; qu'un Montesquieu n'a d'autre désir que de rendre par l'éducation son Secondat supérieur à lui-même, s'il est possible: lorsque le commun est parvenu à se convaincre de ces vérités, alors il est ravi d'admiration. Ce qu'il y a de certain c'est que le souffre-douleur est assez tourmenté depuis le départ de ces augustes pélerins. Tantôt c'est M. de Vergennes, tantôt le maréchal de Biron, tantôt une grande dame, l'une après l'autre, qui l'honorent de leurs inductions des enfants à la mère, da muß ich aber freylich geſtehen daß, ob ſie gleich wißen daß der kaiſerliche Kopf ein wunderbarer Kopf iſt, es doch kein Kinderſpiel iſt, ihnen eine richtige Schilderung von dieſem Kopfe einzuätzen. Pour

* donner à Votre Majesté une petite marque de satisfaction, je lui envoie en pur don les petits médaillons qu'on a faits à la manufacture de Sèvres en toute hâte de Monsieur le Comte et Madame la Comtesse du Nord; quant à celui de l'Impératrice fait d'après Nini, je le garde pour moi, ainsi que le buste en biscuit qui fait un des 25 portraits. On travaille actuellement aux bustes des deux augustes pélerins, et on peint leurs portraits sur des tasses. Quand Monsieur Constantin et le Sieur, je ne sais ce que j'écris, quand Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin m'auront envoyé le leur, on pourra compléter la maison impériale. Lorsque la toilette de Madame la Comtesse du Nord sera arrivée à Pétersbourg, il faudra que Votre Majesté la juge avec beaucoup de circonspection: car cette toilette a occupé M. de Vergennes et les gens de Grimma plus de cinq mois de suite, ce dont Madame la Comtesse du Nord ne se doute pas. Je vois qu'elle m'a outrageusement calomnié dans l'esprit de mon auguste Souveraine, en me peignant comme engraissé. Je demande à Votre Majesté s'il est bien aisé de croire qu'un souffre-douleur prenne de l'embonpoint à trois mille werstes von ſeiner Seelen- und Augenweide. Que n'ai-je déposé à mon départ la mesure de ma circonférence dans les archives de Sir Thomas Anderson! Je la lui renverrais maintenant; il la comparerait et confondrait la calomnie. Madame la Comtesse du Nord croit apparemment, parce que le Sieur Constantin a grandi trois énormes pouces pendant son absence, et qu'elle en a la preuve dans la mesure qu'on lui a envoyée, qu'il n'y a rien de plus simple pour un souffre-douleur absent que de grossir de son côté quand il ne peut plus grandir. Elle me permettra de lui dire qu'elle connaît à présent mieux l'intérieur de Paris que l'intérieur et l'extérieur des gens de Grimma.

Ce 10 (21) juillet.

Il n'y a pire sédition que celle des idées qui se présentent toutes à la porte pour sortir. Votre Majesté croit qu'on n'a qu'à prendre la plume et du papier, qu'alors l'ordre et le calme se remettent d'eux-mêmes parmi elles et tout va tout seul. Cela peut être vrai pour une tête accoutumée à commander aux hommes; mais moi j'éprouve tout le contraire. Toutes les fois que je prends la plume pour écrire à Votre Majesté, le tapage redouble à la porte. Jamais aucune guerre civile n'a fait autant de vacarme ni fait plus de ravage que cette guerre à la porte. A force de s'entrechoquer, de se pousser de se heurter les unes les autres pour se montrer dans leur plus grande parure devant le trône de la gloire, il n'y a presque aucune idée qui, en forçant le passage, n'ait été plus ou moins poussée, maltraitée, estropiée,

* ou du moins chiffonnée à faire pitié. Or comme personne ne connaît mieux leur état de détresse que moi, il en résulte que je suis on ne peut pas plus mécontent de tout ce que je parviens à dire à Votre Majesté Impériale, la plume à la main, tandis que ce que je lui réponds jour et nuit, tantôt en ville, tantôt dans les champs, tantôt marchant, tantôt assis, tantôt couché, tantôt au milieu du tumulte du monde, tantôt seul, arpentant ma chambre en long et en large, me paraît admirable; c'est dommage qu'autant en emporte le vent, et que l'Impératrice n'en apprend pas un seul mot. Das iſt nun leider Gottes! ein betrübter Zuſtand. Quel remède y-a-t-il à cela?

La magnificence de mes habits et de ceux de Louis XVI pendant les fêtes du Nord m'a valu la peinture de deux cabinets du nouvel appartement de Tsarsko-Sélo. Das Malen iſt nun gar eine jämmerliche Sucht welcher unſere Kaiſerin gar nicht widerſtehen kann. J'ai envie de faire peindre mon habit du bal paré et de l'ajouter à cette pancarte; cela me vaudra peut-être une peinture toute entière de ce superbe appartement contre lequel j'ai dans cette saison-ci continuellement mes lorgnettes braquées en pure perte: est-ce pour le contenant, ou pour le contenu? Je le demande aux savants. Tout ce qui arrive de Russie et se montre chez moi, est excédé de mes questions et pour le moins autant gequält que ce pauvre souffre-douleur Busch, mon collègue, par son auguste maitresse. Il faut bien savoir où chercher et prendre l'Impératrice, et conserver la carte d'un lieu si fatal pour moi, au milieu des bouleversements et changements de scènes que le démon familier de Sa Majesté opère avec sa baguette, tantôt dans le palais, tantôt dans les jardins. Je me promène dans ces jardins, je sais où trouver la salle de la comédie; je sais où chercher le grand escalier; j'irai à cet appartement enchanteur sans demander le chemin à personne. Tous les détails que je puis ainsi recueillir à force de questionner me font un plaisir indicible et une peine inexprimable, Votre Majesté me dira que cela n'a pas le sens commun, et qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Point du tout. Comment une porte où les idées se heurtent, se blessent et s'étouffent tout le long de l'année, peut-elle être ouverte ou fermée? Die Kaiſerin iſt an allen Schuld. Das mag ſie auch am jüngſten Tag verantworten.

Le général Factotum et Faccommercium m'a adressé une superbe dépêche qui me prouve que le cabinet de notre Impératrice conserve toujours ce ton de sagesse et d'élévation qui caractérise son génie. J'ai expédié cette dépêche par une voie sûre au chevalier de Miller à Rome, et j'attends sa réponse; mais comme j'ai cru pouvoir me permettre d'en faire une sorte d'ouverture à l'ambassadeur de Sardaigne en cette cour, homme de beaucoup d'esprit et de grande considération, j'ai déja eu par lui une espèce de

* réponse, et sa cour lui a permis de me communiquer l'empressement avec lequel elle répond à l'idée d'envoyer des ministres respectifs. J'ai lieu de présumer que l'ouverture formelle pour l'exécution de cette idée parviendra à Votre Majesté Impériale par le canal du prince Galitsine de Vienne.

M. le Factotum impérial m'a également déjà expédié un nouveau crédit de 50 mille florins de Hollande. J'estime infiniment dans M. le procureur général cet étouffement que Votre Majesté m'annonce de sa part au seul mot de crédit illimité, et je serais bien fâché qu'il me fût établi en vertu d'un ordre absolu. Je ne veux rien des bords de la Neva de cette manière, et je ne l'avais proposé que comme un expédient plus commode; mais je suis très content de celui que M. le procureur général préfère comme préservatif contre les étouffements. Ma périlleuse garantie dont les banquiers de Hollande ont bien voulu se contenter en une ou deux occasions, ne m'a gêné en rien et ne peut avoir aucun inconvénient pour moi toutes les fois que M. le Factotum de Sa Majesté Impériale fait honorer mes traites, comme il l'a fait jusqu'à présent avec la plus scrupuleuse exactitude. La seule chose qui m'ait véritablement tracassé dans tout ceci, c'est que j'étais dans le cas d'autoriser sur mon crédit établi par les ordres de Votre Majesté, les traites de Santini de Rome dont je ne pouvais diriger ni même connaître l'emploi. Mais M. l'admirable Factotum m'a encore promis de me délivrer de cette inquiétude, et d'établir à Santini un crédit distinct du mien dont il restera le directeur et l'arbitre, puisque c'est à lui directement que Santini a de tout temps rendu ses comptes. Cette affaire une fois arrangée, je serai parfaitement heureux quant aux Rechnungsweſen. Le général Factotum m'a promis une décharge et approbation impériale sur mes comptes rendus que j'attends à sa commodité. Son excellence se confie à la clémence innée de son auguste Souveraine, et espère qu'elle se sera ennuyée très à fond avec l'examen de ses comptes et toutes les pièces justificatives: car ce n'est que par des oeuvres de cette espèce qu'elle peut espérer de mériter le royaume des cieux; Dero Legislomanifiren und alles Dero übriges Handthieren würden Allerhöchſt Dieſelben wohl ſchwerlich auf den engen Fußpfad bringen welches doch der einige Weg zu unſerer Seeligkeit iſt und der cul de sac wo ſich alle redliche und ehrliche Bürger mit der Zeit antreffen.

Il me tarde de savoir que M. de Buffon est arrivé à bon port avec toutes mes caisses et tous mes paquets. Il m'a écrit de Riga du 16 juin; le plus fort était donc fait. Je suis aussi inquiet de ce camée acheté à Paris, fourré dans sa boîte, au bout d'un bâton d'estampes. Item le vénérable Siméon Matthiev est bien longtemps à faire son voyage, puisqu'en juin il n'était pas encore arrivé; je sais qu'il s'est embarqué à Lubeck. Votre

* Majesté me décharge de tout soin de lui chercher des soufres, pâtes et autres empreintes ou imitations de pierres gravées. Tant mieux, si c'est une preuve de la diminution de la maladie. Cependant toutes les fois que les gens de Grimma voient leur Impératrice attaquée d'une nouvelle infirmité, leur zèle les porte à parcourir toutes les pharmacies de l'Europe pour y trouver le remède contre la maladie à la mode. N'ayant rien trouvé dans les pharmacies de France contre le mal des camées et des soufres qui me satisfît, j'ai cherché dans les pharmacies étrangères, et j'ai déjà indiqué celle de Lippert de Dresde comme très renommée; mais j'en connais ou plutôt j'en ai découvert une encore plus renommée, où Votre Majesté à force de se fournir de remèdes, pourra peut-être guérir son mal radicalement. Il y a à Londres un certain James Tassie qui imite toutes les pierres gravées qui lui tombent sous la patte, dans la plus grande perfection. Non seulement il rend les dessins parfaitement, mais il imite aussi scrupuleusement la pierre, et jusqu'à ses défauts, quand elle en a, de sorte qu'à peu de frais on a un portrait parfaitement ressemblant à l'original. Il vend les intagliati depuis un sheling et demi jusqu'à deux sheling et demi; les camées une demi-guinée; les impressions en émail un sheling. En 1777 sa collection consistait en 3700 pièces; mais il comptait l'augmenter de plusieurs milliers. Si la santé de Votre Majesté a absolument besoin de ces topiques, il sera aisé à ses serviteurs en Angleterre de découvrir ce M^r. James Tassie à Londres et de lui rendre compte du piteux état de leur Souveraine. Gott gebe dieſen Mitteln Kraft, wenn ſie müßen gebraucht werden!

Quoique notre auguste Souveraine ait généreusement pardonné aux cuisants chagrins du divin la cuisante aventure, elle me cuit toujours, et comme je suis rancunier, je suis très fâché que Monsieur le Comte du Nord avec sa clémence innée ait mis les pieds chez Jenkins et encore plus qu'il y ait laissé un seul rouble de son argent. Je hais les fripons et j'aime la vengeance au point que quand je serais sûr que Jenkins est en possesion du plus beau Raphaël ou du plus unique Corrège de la terre, et quand l'Impératrice me dirait dans son style ordinaire et menaçant: «souffre-douleur, si tu ne me procures ce tableau», c'en est fait de ma vie, j'aurais bien de la peine à le demander à Jenkins le fripon.

Je suis très fier de l'approbation que Votre Majesté Impériale daigne donner à l'arangement que j'ai fait pour la rente de Lehnchen la fine mouche. Il est vrai que Louis XVI s'étonnerait un peu de l'accouplement s'il venait à sa connaissance, et s'il avait les principes de son grand-père, il se scandaliserait surtout du luthéranisme de Lehnchen l'accouplée; mais heureusement il n'est pas aussi grand théologien que Louis XV, le feu parallèle

* de l'Impératrice, ni par conséquent amateur de prêtres. Il ne s'agit pas dans ce moment-ci de fourrer une troisième tête entre ces deux têtes si disparates; mais si jamais nous avions le malheur de perdre Lehnchen par décès physique, M. le général de Lanskoï, au nom de qui j'ai fait constituer la rente, se trouverait dans le cas d'en jouir ou d'en disposer tant que Louis XVI sera parmi les vivants. Quoique cette rente de deux mille livres net coure depuis le premier janvier de cette année, Lehnchen, par l'arrangement établi parmi les payeurs de rentes, n'en touchera les six premiers mois que vers la fin de cette année et ensuite de six mois en six mois. Je désire que son chevalier se trouve heureusement rendu sur le territoire de l'empire gréco-russe, lorsqu'elle entrera en jouissance. Les 4432 livres qui vont être payées par ordre de Votre Majesté Impériale, m'ont attiré une très belle lettre du sieur Hardi, qui me fait un éloge très éloquent du maître qu'il a le bonheur de servir; il ne me manque que la contre-épreuve de ce tableau, c'est à savoir si le maître est aussi enchanté du serviteur que le serviteur l'est de lui.

Puisque Votre Majesté veut se mêler aussi de recruter sa troupe de comédiens français, je commence par M. de la Sozelière que la sublime et indomptable Sainval m'a dépêché de Bordeaux et dont je joins ici les propositions pour lui et sa femme, petite ou arrière petite-fille du grand Baron. Je ne connais pas le talent de ce la Sozelière, mais son personnel m'a beaucoup plu et je le crois bon et honnête homme. Il m'a appris que pour les gens de son état, d'être engagé pour la Russie s'appelait recevoir le bâton de maréchal de France; d'où je conclus que Votre Majesté peut faire des maréchaux de France, quoique le Roi de France ne puisse pas faire des maréchaux de Russie.

Je découvre tous les jours à mon auguste Souveraine quelque nouveau talent. L'art des commentaires est né avec elle, et s'il venait à se perdre, il se retrouverait dans ses pancartes divines. Lorsqu'elle ne trouve pas à commenter, elle analyse avec la même supériorité, et si j'en voulais montrer les échantillons, les faiseurs de journaux la paieraient bien cher, pour leur faire des extraits dans ses moments perdus. Sa manière d'analyser est rapide comme son coup d'oeil, et cependant rien d'essentiel n'est oublié; tout y est, jusqu'à la cordialité de M. Cruse. Pour celui-ci, il est devenu mon ami très cordial, ou me tenant au coeur, pendant le séjour de Monsieur le Comte du Nord: car tout ce qu'il a dit aux gens de Grimma sur la santé dont dépendent leur repos, leur bonheur, leur joie, leur vie, les a ravis jusqu'au troisième ciel. Votre Majesté pense bien que le premier mot de ces gens, c'est, comment se porte-t-elle?

Ce 15 (26) juillet.

* Il est certainement plus que temps d'expédier M. de Diacov et de fermer ce paquet. Ich ſchwöre bey dem lebendigen Gott, und, was noch mehr iſt, bey ſeiner Geſalbten, aus der ich vielleicht mehr Weſens als aus ihm ſelber mache, daß ich weder die Blätter dieſer unendlichen Pancarte zählen, noch weniger dieſelben durchleſen will. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de les parcourir à mesure qu'elles étaient griffonnées. Si j'entreprenais de les relire d'un bout à l'autre, jamais je n'aurais le courage de les expédier au trône de miséricorde, quelque confiance que je puisse avoir d'ailleurs dans la clémence innée de celle qui y est assise. Je supplie cette clémence innée de se persuader qu'il ne faut pas lire cette épouvantable pancarte tout d'une haleine, mais feuillet à feuillet avec pauses ad libitum, et que pourvu que la lecture en soit achevée vers la fin de l'année, je serai tranquille et ne me reprocherai pas d'avoir abusé de la patience et des yeux de la prunelle des miens. Dès que mon paquet sera fermé, je me mettrai à répondre à Votre Majesté, si ce n'est chez moi, c'est dans les rues, si ce n'est dans les rues, c'est dans les champs, si ce n'est assis, c'est debout, si ce n'est debout, c'est couché! Que n'ai-je le secret de faire parvenir ces réponses jusqu'au trône de miséricorde! Nun, ſagt die Kaiſerin, wenn der verdammte Schmerzbulder nicht bald ſeinen Abſchied aus dieſer Welt nimmt, ſo wird der Griechiſch-Kaiſerliche Thron halb unter ſeinen Pancarten verſinken. Il en ressemblera mieux, Madame, à un de ces monuments augustes de Rome antique que le temps a moitié enterrés sous terre. L'heureuse Emilie est toujours aux pieds de celle dont le chiffre, couronné par le voeu non seulement de la Russie, mais des nations, pend à son cou. Elle est bien touchée que le papa de son amie Prascovia Andrewna ait daigné faire mention d'elle devant le trône de miséricorde. J'espère que M. de Buffon aura porté au pied de ce trône la lettre de sa mère, écrite bien longtemps avant celle d'Emilie la bienheureuse. Quand Votre Majesté fera voyager Monsieur Alexandre, il y aura dans ses instructions un article qui dira: Tu n'oublieras pas, mon cher Monsieur, de visiter die Grabſtätte meines ehemaligen Schmerzbulders, et de m'en rendre compte. Monsieur Alexandre ne manquera pas de se conformer à cet article. Lorsqu'il sera arrivé devant la Grabſtätte, il y trouvera l'épitaphe: Ci-gît qui seul d'entre les mortels parvint à embrasser par la pensée ce que vaut ton aïeule et ta maîtresse d'école. De par le Dieu vivant, s'écriera Monsieur Alexandre, et par l'Impératrice mon aïeule et très honorée Souveraine, voilà un insolent coquin! A quoi tient-il que je ne prenne mon sabre destiné à couper le noeud gordien, pour détruire cette tombe de

* fond en comble? Sur quoi le Sieur Constantin prendra la parole et dira: Calme-toi, mon frère, und gönne ſeiner Aſche die Ruhe. Der welcher in ſeinem Leben nur einen Gedanken hat, der kann's weit bringen, und das Unerforſchliche erforſchen. So hat Newton die Welt oder das Universum, und der Grübler von Grimma ihre Zierde oder unſere Großmutter erforſchet. Après ce colloque, les deux Sieurs continueront leur voyage.

Dieu m'est témoin que j'avais juré de ne pas entamer une nouvelle feuille. Puisque le voyage des deux Sieurs m'expose au malheur de manquer à mon serment, je finis en embrassant les genoux de ma divinité tutélaire et en déposant à ses pieds l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur
Grimm.

J'en suis à n'oser lever les yeux; mais il faut tourner.

*

Si la demande de M. de la Sozelière n'est pas rejetée, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'il est engagé à Bordeaux jusqu'en 1784, parce qu'il est avec le ciel des accommodements, et quand il s'agit d'obtenir le bâton de maréchal de France, on s'arrange avec son directeur et l'on paie au besoin un dédit.

Je dépose, selon mon droit, dans mes archives ou la cheminée impériale plusieurs lettres et paperasses qui embarrassent ma table.

Au moment où je songe sérieusement à faire une fin avec cette pancarte, arrive chez moi en grande cérémonie une députation des illustres protectrices du seigneur Montemurli, pour me rendre des actions de grâces solennelles de la justice éclatante rendue au dit seigneur créancier du marquis Cavalcabò pour les affaires de Catherine l'immortelle. Cette créance a été payée par son ordre suprême, et les dames protectrices en rendent grâce à mon crédit éminent. Cela me fait mourir de rire. Je leur dis en toute humilité et en toute vérité: Soyez sûres, Mesdames, que la prétention ayant été trouvée juste, le seigneur Montemurli n'avait besoin d'aucun appui auprès du trône de justice pour l'obtenir; et qu'en revanche si elle eût été injuste, le seigneur souffre-douleur aurait plaidé le reste de ses jours, sans engager l'Impératrice à causer un étouffement hors de propos à son pro-

* cureur général. Bénissez donc le nom de l'Impératrice et de son procureur général et du Factotum impérial et de tout autre agent instrumentant immédiatement sous ses ordres. Qu'ils sont heureux ceux-là! Sur quoi la députation s'est retirée, en s'écriant: Es lebe die Kaiserin aller Reußen und aller Herzen! Et moi, j'ai dit: Ainsi soit-il! Je suis persuadé que l'infortuné Gillet devra aussi un de ces jours à M. l'admirable Factotum la justice éclatante que nous osons solliciter au pied du trône des miséricordes, après avoir attendu en vain depuis trois ans la justice de l'Académie impériale.

Autre députation qui entre. Cette Académie, si rigoureuse envers maître Gillet, vient de nommer maitre Sedaine pour remplacer parmi ses associés honoraires feu maître Gabriel, premier architecte du Roi de France. Maître Sedaine se prosterne devant le trône des miséricordes, et dit que c'est à moi de l'y conduire. Il dit qu'il doit tout à ce trône, gloire et aisance; mais si je le laisse dire, il n'aura jamais fini, ni moi non plus. Si je me mets à remercier pour tout le monde, quand est-ce que j'aurai le temps de remercier pour moi qui ai reçu plus de grâces, faveurs et bienfaits qu'eux tous, et dont le coeur palpite de reconnaissance à tous les instants de ma vie?

La députation des dames protectrices m'a appris que le seigneur Montemurli, au lieu de visiter le mont Atlas, est allé de Tunis à Constantinople d'où il se propose de se rendre à Astracan. On dit que le dit seigneur a de grandes connaissances en fait de commerce et qu'il a toujours eu beaucoup de goût pour la Russie, où il a même voulu s'établir autrefois. Il est vénitien d'origine. Nous autres politiques nous disons que la Serenissima Vecchia veut députer un ministre permanent vers l'Impératrice des Grecs et que Sa Majesté Impériale envoie en échange le comte Siméon de Worontsov, ce dont on fera des feux de joie à Gotha, surtout si le nouveau ministre y passe en se rendant à son poste.

---

ce 4 (15) auguste 1782.

Madame,

Après avoir laissé respirer Votre Majesté Impériale pendant une quinzaine de jours (car il y a bien ce temps-là que M. de Diacov est parti avec la plus volumineuse et la plus assommante pancarte qui ait jamais vu le jour dans les quatre parties du monde, toutes les découvertes du capitaine Cooke y comprises), je reprends la plume, mais avec la sainte résolution de ne plus abuser de la patience de notre clémente et auguste Souveraine à ce point-là, de ne plus coucher par écrit ce que je lui dis tout le long de la

* journée et une partie de la nuit, sans que ses oreilles en soient fatiguées (ce qui peut se tolérer), et de me restreindre au nécessaire, afin que sa clémence ne soit pas tentée de se retirer de dessus son souffre-douleur, bavard insupportable (retraite qui enverrait ipso facto le dit souffre-douleur dans la retraite éternelle). Cependant voilà en moins d'une page déjà trois parenthèses, et rien au monde ne m'est aussi antipathique que les parenthèses. Dieu sait comment je ferai pour ne dire à Votre Majesté que le strict nécessaire. Si j'écoute mon coeur, tout ce qui l'occupe lui paraît de la dernière importance et du plus étroit nécessaire à être communiqué à l'Impératrice, parce que, dit-il, c'est toujours elle qui se trouve au fond du sac, il faut donc au moins qu'elle le sache. Je ne sais si Votre Majesté a remarqué comme moi, qu'il n'y a rien de si impérieux et de si impertinent que ce qu'on nomme le coeur. Il n'y a pas souvent un brin de raison dans tout ce qu'il dit et veut. Il n'observe ni convenances, ni distances, il crie comme un aveugle qu'il est, et lorsque dans un accès d'indignation je lui dis: Du nichtswürdiger Erdwurm! il me répond: Eh bien, j'en suis plus fait pour être à ses pieds. Veux-je savoir de quels pieds il parle, il se tait, et je ne sais finalement s'il a marqué sa place à ceux de l'Impératrice ou bien aux pieds de M. Busch des gequälten. Der verdammte Erdwurm!

Je crois que le plus court est que je parle à Votre Majesté des autres, cela le fera taire, et peut-être pourrai-je tenir mon serment d'être court. Commençons par Corilla; c'est après moi, sans contredit, tout ce qu'il y a de plus malade du fait de l'Impératrice. J'aime cette Pythonisse, parce qu'elle est passionnée, et qui dit passion dit élévation. Gouverner les autres, ou les enchanter, les subjuguer par ses inspirations sont deux métiers plus voisins qu'on ne pense, et voilà pourquoi le coeur de Corilla a toujours tressailli au nom de Catherine; l'âme de la magiciene en paroles avait en elle de quoi mesurer l'âme de la magicienne sur le trône, et dès qu'on a cette mesure, on en devient malade à n'en jamais relever. Le bienfait que Votre Majesté Impériale a si généreusement accordé à la magicienne en paroles l'a rappelée des portes de la mort à la vie. Votre Majesté trouvera ci-joint sa lettre à son auguste bienfaitrice. L'étiquette italienne l'a forcée de commencer, comme le petit abbé, par la sacrée Majesté Impériale; mais peu à peu elle en a dérivé, comme on dirait à Cronstadt, pour tomber dans les sisisisisisi de Paisiello. Car s'éloignant insensiblement du trône et se rapprochant de son coeur, elle trouve, comme moi, que cette grande et puissante Souveraine est *la più amabile e graziosa* d'entre celles de son sexe, ce qui frise prodigieusement les sisisi de Paisiello. Cette lettre à la *più amabile e graziosa* se trouve ici accompagnée de celle que j'ai reçue en

* même temps, afin que Votre Majesté sache que lorsque Corilla et souffre-douleur parlent de l'Impératrice, ils n'ont pas sitôt fini, quoiqu'ils soient toujours d'accord sur tous les points. J'ai fait traduire ces deux lettres, ne pouvant pas prendre sur moi de les traduire moi-même. L'italien, surtout sous la plume de Corilla et lorsqu'elle parle à sa Divinité *del Nord*, est si plein de grâces, de passion et de gentillesse que le français à côté en devient pitoyable. Aussi m'a-t-il été impossible d'entreprendre cette traduction moi-même; j'aurais cru m'être rendu coupable d'un sacrilége envers Corilla. Je me suis donc adressé à un traducteur de métier dont j'ai pris, à la vérité, la liberté de corriger la traduction; mais il est vrai aussi que cela ne m'a point du tout réussi. Ce qu'il y a de plus maussade, c'est la traduction du sonnet; elle a si bien tué son original qu'il est impossible de lui supposer le moindre mérite, la moindre grâce. *Regger l'alto impero del vasto Nord* est harmonieux et poétique, et *une main qui règne sur le vaste empire du Nord* est mesquin et plat. *E governa con bel freno aurato* est poétique et noble; *qui gouverne ses peuples avec un sceptre d'or* ne sort ni du mesquin, ni du sec, ni du plat. L'italien nous montre une Minerve sur son char, tenant divinement bien les rênes dorées d'un grand empire, et la traduction en fait une Sainte vierge, une Regina caeli, telle qu'on la voit dans nos églises gothiques dans une belle robe dorée sur un grand panier bien roide, avec un sceptre d'or à la main. Quand on s'aperçoit combien il est aisé en poésie de changer toute une image, en changeant un mot, comme ici par exemple, en faisant d'une rêne un sceptre, on conçoit combien les prétendus merveilleux de la volière, malgré leur ramage harmonieux, sont loin de ce sanctuaire où Voltaire et Metastasio ont passé leur vie. Combien *belle main* est trivial et maussade à côté de *candida mano!* A propos de cette main auguste, j'ai une commission bien délicate de Corilla. Elle m'envoie deux copies du sonnet; dans l'une il y a deux fois *Possente man*, et dans l'autre deux fois *candida man*. Elle veut que je choisisse entre ces deux copies celle qui doit être présentée à cette main ou *possente* ou *candida*. Dans quel défilé cette sorcière me pousse! Si je n'avais pas un grand caractère, je balancerais peut-être dix ans avant de savoir laquelle des deux copies-il faut envoyer, et l'Impératrice resterait sans son sonnet pendant ce temps-là. Mais dans les grandes occasions je sais, comme Monsieur Alexandre, couper le noeud gordien. Je dis: Puisque personne ne peut nier que cette main ne soit et *possente* et *candida*, je n'enverrai ni l'une ni l'autre copie, mais j'en ferai faire une troisième où dans la première stance je mettrai *possente*, dans la seconde, *candida*, ce qui par une gradation heureuse mène à la *benefica man* de la troisième stance. Après cette décision

* je me suis rengorgé comme un bourguemaître de Darmstadt, reste à savoir si Corilla se rengorgera de mon choix, et si elle ne se repentira pas d'avoir remis ce choix délicat à l'arbitrage d'un barbare. Dieu préserve Votre Majesté de traiter ce noeud gordien coupé de billevesée: car l'arrangement des mots est dans un sonnet une chose pour le moins aussi importante que l'arrangement d'un gouvernement dans une province de l'empire grec; ainsi la fonction qui m'a été confiée par Corilla, peut aller de pair avec celle dont M. le comte de Bruce est chargé en ce moment-ci, si je ne me trompe. Je présume que la volonté suprême est que la pension de cent ducats accordée à Corilla coure depuis le commencement de cette année; j'ai aussi osé prendre sur moi de dire à Corilla que la bienfaisance suprême se charge des frais du change, et que sa volonté est que ces cent ducats passent dans ses mains sans diminution; c'est mon devoir de chercher dans toutes les circonstances la manière la plus noble comme la plus digne de notre auguste Souveraine. J'ose supplier Votre Majesté de me mander si je dois me charger du paiement de cette pension, et si je dois la comprendre dans mes comptes, ou si le cabinet impérial me fera tenir cette somme tous les ans à part, comme une chose réglée, sur laquelle je lui fournirai les quittances de Corilla.

Après avoir prononcé sur ce point, Votre Majesté dira: Eh bien, j'ai fait une heureuse de plus; que je n'en entende donc plus parler. Cela ne ferait pas notre compte, Madame. Pour que l'heureuse Corilla soit la plus heureuse de toutes les heureuses du fait de l'Impératrice, il faut que sa main *possente* et *candida* nous accorde encore deux grâces. La première est sollicitée par Corilla même dans sa lettre au souffre-douleur. Nous embrassons tous deux les genoux de notre bienfaitrice pour qu'elle consente que son nom auguste soit inscrit dans la liste non des bergers et bergères, *mà de' pastori e pastorelle* de l'Arcadie, et qu'il y soit solennellement proclamé. Cela ne fera pas seulement un sensible plaisir à Corilla et à son co-pasteur, mais tout Rome en sera enchanté, et la gloire d'avoir obtenu cette distinction pour l'Arcadie, rejaillira toute entière sur Corilla. Papa Pie VI lui même en aura une joie immodérée, et comptera cette distinction parmi celles de son pontificat. Le bon papa a eu tant de couleuvres à avaler, sans compter celles qui suivront encore, qu'il est bien juste qu'il éprouve aussi quelque puissante et innocente consolation. Or celle-ci qui fera tant d'autres heureux, ne coûtera à Votre Majesté Impériale d'autre peine que de faire comme Jupiter quand il est de bonne humeur: Er nickt den Kopf. La seconde grâce, c'est moi tout seul qui ose la proposer, c'est d'honorer la lettre de Corilla d'une réponse de cinq lignes. Votre Majesté me dira: Mon

* souffre-douleur, tu deviens absolument imbécille. Crois-tu, wenn die Kaiſerin alle ihre Hanthierungen von Morgen bis Abend getrieben, wenn ſie gebaut, gemauert, gebrechſelt, gepflanzt, qu'il lui reste du temps pour l'exécution de tes fantaisies? Hélas, Madame, je sens bien que je m'égare; mais si Votre Majesté pouvait concevoir à quel point cette lettre de cinq lignes rendra Corilla heureuse, elle ne balancerait pas un instant. J'empêcherai bien que cette lettre ne devienne publique; mais je n'empêcherai pas peut-être que Corilla n'en meure de joie, qu'elle ne s'en vante au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse de Toscane, qu'elle ne soit la plus heureuse créature sur la terre. Et puis, Votre Majesté fait si bien ces sortes de lettres! Il faut toujours faire de temps en temps ce qu'on fait bien. Si j'obtiens cette grâce, je suis sûr que les gens de Grimma donneront un bal qui durera trois jours et trois nuits, autant de temps que Jonas a passé dans le ventre de la baleine, et Emilie en sera considérablement fatiguée.

Je crois que je serai obligé d'interdire aux gens de Grimma la lecture des gazettes. Premièrement cela les fait gloser sur tout et éplucher les faits et gestes de l'Impératrice, à ne jamais finir: or ce n'est pas un moyen de rendre les pancartes plus courtes. De plus, ils se mettent à tout moment en colère, et ce n'est pas un moyen d'être tranquille dans le ménage. Ils ont eu, il y a quelque temps, une humeur diabolique de l'incendie des boutiques; cela est naturel. Ils ont voulu crier de ce que l'Impératrice s'est transportée elle-même sur les lieux; je leur ai fait comprendre que sa seule présence a peut-être empêché ce fléau d'étendre ses ravages infiniment plus loin. Alors ils se sont jetés sur la friperie de Pierre-le Grand. Ne faut pas croire, disent-ils, qu'il ait inventé la poudre à lui tout seul, et qu'elle ne puisse pas trouver à corriger plus d'un de ses thèmes. Quelle idée, par exemple, de mettre toutes les boutiques dans une ville les unes à côté des autres comme dans une foire, afin que lorsque le mauvais génie met le feu à une de ces boutiques, il ait le passe-temps de ruiner tout le commerce d'une ville d'un seul brandon? Pourquoi ne pas disperser ces boutiques dans les différents quartiers? Cela diversifie l'aspect d'une ville, et quand il arrive un malheur, au moins il reste particulier et ne devient pas un fléau. A cela je leur ai répondu: Tranquillisez vous. Peut-être l'Impératrice n'est-elle pas si éloignée de ces idées, et si cela est, vous aurez satisfaction; avec elle on ne perd jamais rien à attendre.—A peine les avais-je fait taire sur ce point-là, qu'une autre gazette les a mis dans une colère épouvantable. Was der Teufel! hat ſie denn auf dem Schiff zu thun, wenn man es vom Stapel ſtößt? Hätte denn der Pobeditel nicht können getauft werden und aus der Admiralität herauslaufen, wenn ſie nicht darauf geſeßen hätte? Ja wo was

* halsbrecherisches vorbey geht, da muß sie dabey seyn, sonst glaubt sie, es ist Ehre und Freude verlohren. Aber das sollen ihr die Leute von Grimma sobald nicht vergeben. Ma foi, Madame, je ne trouve pas trop de réponse à tout cela, et c'est un dur métier d'avoir toujours Votre Majesté à défendre tantôt sur un article, tantôt sur l'autre. Il vaudrait cent fois mieux tourmenter M. Busch que de m'exposer par toutes ces entreprises à une apologie continuelle et interminable. Ob nun aber das Schiff selber Pobeditel oder Bobeddoslow heißt, das muß ich elender unwißender Kerl an seinem Ort gestellt laßen. Ce qu'il y a de certain, c'est que la gloire se fourre toujours dans toutes ses sauces, qu'elles soient salées ou d'eau douce, liquides ou fricassées.

Ce 5 (16) auguste.

Si je veux faire de cette pancarte-ci un être raisonnable et qui ne ressemble pas à la précédente, il faut travailler dès à présent à y mettre fin, sans quoi une feuille courra après l'autre, et le crime de lèse-patience impériale deviendra inévitable. Faisons donc vite la revue de tout ce que j'ai à envoyer dans mes archives cet ordinaire pour y être converti en cendres.

La lettre à Messieurs de l'Académie impériale des Beaux-Arts n'est pas dans ce cas-là. C'est une lettre de remercîment de l'Académie royale d'Architecture de l'honneur fait à son secrétaire dont le dit secrétaire, maître Sedaine, croit être uniquement redevable à la protection immédiate de son auguste bienfaitrice, et se rengorge de ces honneurs académiques au suprême degré.

La lettre de M. de Montribloud ne demande qu'un refus tout sec et à être brûlée ensuite. Je ne l'envoie que pour donner une idée et déposer dans mes archives un échantillon de lettres comme j'en reçois vingt par mois, auxquelles il faut encore répondre avec grande courtoisie, si l'on ne veut pas passer pour impertinent, et entendre dire qu'on est un homme à qui les bontés de l'Impératrice ont tourné la tête. Je n'envoie pas le catalogue qui est très détaillé et par conséquent très considérable et qu'il faudrait renvoyer n'achetant pas la collection. J'aime mieux le garder quelque temps et le rendre ensuite, en disant que ce cabinet ne peut convenir à Votre Majesté.

Quant aux lettres du divin, comme la plume de Votre Majesté est taillée tout exprès pour les commenter, je les abandonne à cette plume auguste. Monseigneur le Grand-Duc nous a mis dans une grande perplexité avec ses remarques sur la couleur du chiffre impérial. Ce chiffre m'a été envoyé par Votre Majesté l'année dernière à ma réquisition, pour servir de modèle et être substitué dans la copie des Loges aux armes papales. J'ai bien de la

* peine à me persuader que l'Impératrice ne sache pas quelle est la couleur de son empire, quoiqu'à dire vrai, elle en ait fait un empire de toutes couleurs. Cependant j'ai mandé au divin de faire suspendre la copie de ce chiffre, jusqu'à ce que Votre Majesté Impériale ait décidé si c'est la couleur du chiffre envoyé ou celle de l'auguste voyageur qui doit briller dans la copie des Loges Raphaëliques. J'ai voulu savoir à quoi pouvait encore monter l'argent nécessaire pour terminer cette entreprise singulière et qui ne pouvait être ordonnée que par une seule tête de ma connaissance. Ma foi, cela va encore assez loin, et je n'ai d'autre consolation que de penser que lorsqu'elle sera terminée, ni le divin ni moi n'aurons plus une seule occasion de dépenser un seul écu pour les maladies de Votre Majesté Impériale. Ce n'est qu'alors que je serai heureux: car toutes les fois que l'argent de Votre Majesté me glisse entre les doigts, il me prend des transes mortelles qu'il n'ait été mal dépensé, et alors adieu le sommeil jusqu'à ce que j'aie certitude pour ou contre ces transes. Quand les preuves sont pour, peu s'en faut qu'il ne me prenne envie de me pendre; quand elles sont contre, je trouve que la joie d'avoir rencontré ne dédommage pas des inquiétudes qui l'ont précédée. Je désire donc, wie der Hirſch ſchreyet nach friſchem Waßer, de m'en tenir uniquement à cette autre fonction que j'ai le bonheur d'exercer sous mon auguste Souveraine, celle de son Gnadengeld-Verſchwender. Elle a son Factotum, ses Faccommercium, et moi, je suis son Facbene ou Facbeneficium oder der Kaiſerliche Wohlthatenträdler. Tout est profit dans cet heureux métier. Nul souci, nulle inquiétude, nul remords ne trouble le sommeil. Quand le bienfait est accordé et délivré, on est sûr d'avoir fait trois heureux, celui qui l'a recu, celui qui a eu ordre de le remettre, c'est-à-dire soi en sa qualité de Facbeneficium, et celle qui l'a donné et dont l'âme sublime n'est jamais plus satisfaite que lorsqu'elle a versé à pleines mains ses bienfaits, et qu'elle a atteint le mérite dans quelque coin de la terre qu'il se trouve caché. Je pense tous les jours et jamais sans le plus profond attendrissement à toutes les jouissances délicieuses que je dois à cette âme sublime, depuis que mon heureuse étoile m'a enchaîné aux pieds de la plus *grande e possente* comme de la *più amabile e graziosa Sovrana*. Elle a versé sur ma vie un bonheur qu'aucun autre bien de la fortune ne peut égaler, en me choisissant si souvent pour l'organe de ses bienfaits, en m'accordant l'heureuse distinction de porter dans l'âme des autres la joie et le bonheur en prononçant son nom auguste. Quand je parcours la liste des heureux que j'ai faits, je sens mon âme s'élever au-dessus-d'elle même, et c'est encore un bonheur dont je suis redevable à cette âme sublime. Tous mes soins dans cette fonction si touchante se bornent à ce que de mon fait

* ou par mon influence la plus indirecte ou la plus légère possible, aucun de ses bienfaits ne tombe sur un sujet qui n'en serait pas digne, et à cet égard même ma conscience, bien loin de me faire aucun reproche, me rend le témoignage le plus satisfaisant, en me rappelant combien de fois j'ai résisté aux sollicitations les plus pressantes et les plus puissantes jusques à me faire des ennemis, sans autre motif que la conviction de l'injustice et de l'indiscrétion de la demande, non que le sujet ne fût digne de bienfaits, mais parce qu'il ne me paraissait pas juste que le bienfait qu'on recherchait fût obtenu de Votre Majesté.

Mais en quittant un chapitre si doux à mon coeur, il faut se rapprocher des affaires et dire à Votre Majesté Impériale que le seigneur Santini, en m'envoyant la quittance de Messieurs de Lanskoï sur les six mille livres et tirant sur moi pour cette somme, comme je l'en ai autorisé, m'a en même temps marqué qu'il n'avait aucune nouvelle de Pétersbourg du crédit direct dont je l'avais flatté pour ce qui concerne ses déboursés pour le compte de Votre Majesté Impériale, et dont il rend directement compte à M. le général-Factotum. Votre Majesté a trouvé juste que je ne réponde pas d'une dépense dont je ne connais pas les détails et que je ne saurais diriger de mon taudis avec connaissance de cause. D'ailleurs je réponds de la probité du divin comme de la mienne, et Santini ne peut dépenser l'argent de Votre Majesté que sur ses quittances. J'espère donc que M. le général-Factotum voudra lui établir un crédit direct d'autant plus promptement qu'il m'assure qu'il est déjà en avance sur plusieurs articles. Après quoi le dit Général-Factotum, ayant sûrement plus d'une affaire, pensera dans un de ses moments de loisir à ma décharge relativement à ma gestion.

Ce n'est que d'aujourd'hui et d'après les lettres reçues de nos voyageurs siciliens que je suis entièrement tranquille et que je regarde le roman de Lehnchen comme fini, du moins pour ce qui me concerne et quant au rôle que j'y ai joué et dont Fielding avec un rien aurait fait un second M. Adams, conseiller de Joseph Andrews. J'avais enjoint très expressément à M. Basile de Lanskoï de ne point montrer à son jeune cousin et compagnon ce que je lui confiais touchant le consolateur de Lehnchen, parce que, ai-je dit, je me trouverais trop cruellement offensé si celui-ci osait se permettre de supposer que je n'ai inventé cette histoire que dans l'espérance qu'elle le détacherait de la dame de ses pensées. Cette tournure a parfaitement réussi. Le sage Basile n'a pas manqué de violer la défense que je lui ai faite, et cela a produit le meilleur effet. Aussi j'ai répondu à la lettre du jeune chevalier à Vienne, et en lui rappelant succinctement tout ce qu'il doit à la tendresse de M. le général son frère, je lui ai promis qu'après la

* manière dont il y avait répondu, tout le passé serait oublié, qu'à la place du reproche il ne trouverait que bonté et tendresse, et qu'ayant eu le malheur d'attirer l'attention de Votre Majesté Impériale par ses fautes, il était sûr de la fixer désormais par la sagesse de sa conduite et le zèle et l'application pour son service. Je lui crois en effet un excellent caractère, et il a surmonté une redoutable passion que la moindre violence aurait embrassée et poussée au dernier degré d'effervescence. Lehnchen, toute consolée qu'elle est, ne peut prononcer le nom de Lanskoï, sans fondre en larmes, sans m'accuser d'être la cause de son malheur et de ses regrets éternels; mais, grâces au ciel, ne craignant plus ses entreprises, ses reproches glissent sur mon coeur endurci, et ne m'ont pas privé de sa confiance et de son estime. La police m'a fait demander si je ne voulais pas consentir à faire retirer la lettre de cachet contre ce misérable la Fontaine qui pour se dérober à ses suites se tient toujours au Temple où il est dans la misère. J'ai prié qu'on ne se pressât point: lorsque je saurai Messieurs de Lanskoï arrivés auf Rußiſchen Grund und Boden, je permettrai qu'on biffe l'ordre donné contre ce misérable et qu'il devienne tout ce qu'il lui plaira. M. de Vergennes s'est prêté dans toute cette affaire avec le plus grand empressement à tout ce que j'ai été dans le cas d'exiger de lui et s'en est rapporté à moi pour tous les ordres dont j'avais besoin, sans la moindre défiance.

L'heureux Scorodoumov sera en route avant la fin du mois pour se jeter aux pieds de sa souveraine bienfaitrice. J'ai encore pris sur moi d'évaluer les mille roubles accordés pour son voyage à cinq mille livres, c'est-à-dire de laisser les frais du change à la charge de sa souveraine bienfaitrice; mais je lui ferai trouver cette somme successivement en route, à mesure qu'il avancera, et je compte lui faire toucher la dernière portion à Riga. Il emmène avec lui sa femme, née en France et élevée en Angleterre. Elle est protestante et m'a paru une femme d'un vrai mérite. Il y a, je crois, huit ans qu'ils sont mariés. Il doit beaucoup à cette femme, parce qu'elle a eu des facilités par ses protections de faire connaître les talents de son mari à qui, faute de protection, il aurait fallu bien du temps pour percer. Ils quittent un fort joli établissement en Angleterre. La femme peint la miniature et grave aussi. Ainsi au lieu d'un artiste, Votre Majesté Impériale en aura deux à ses ordres. Peut-être la souveraine bienfaitrice daignera-t-elle ajouter aux appointements accordés la grâce d'un logement. Si cela arrive, il faudra bien que je le souffre: il n'est pas possible de lui rompre en visière à tout bout de champ; on n'aurait jamais fini. J'ai déjà eu l'honneur de prévenir Votre Majesté que je permettais à Scorodoumov d'acheter une presse pour imprimer des estampes, du noir et une certaine provision de

* papier, et d'engager un imprimeur en taille douce pour trois ans au service de Votre Majesté Impériale sous les ordres du seigneur Scorodoumov. Tout cela, y compris l'imprimeur, est emballé, embarqué et sera en mer avant la fin du mois. On a donné à l'imprimeur six cents livres de France pour son voyage, et on lui a promis quinze cents livres de France par an pour ses gages, ainsi qu'il appert par le traité que le seigneur Scorodoumov a signé avec le dit imprimeur appelé Augustin Hermand, lequel traité j'ai ratifié. Je supplie donc mon auguste Souveraine de dire que j'ai bien fait et qu'elle a tout cela pour agréable, afin que ma conscience reste en repos.

La fortune du seigneur Scorodoumov que j'ai faite avec tant de facilité et de promptitude, m'a attiré une autre pratique dans la personne du seigneur Chédrine, autre artiste russe, sculpteur de son métier et également élève de l'Académie impériale des Beaux-Arts. Cet artiste a une application infatigable, un travail opiniâtre, et je lui crois beaucoup de talent. La manière dont il subsiste depuis plusieurs années que la pension de l'Académie a cessé, tient du miracle, car il ne vend rien, il garde tous ses ouvrages pour orner son atelier, et il vit, je crois, de l'air. Je présume que des voyageurs russes lui ont de temps en temps fourni des secours pour subsister. Il a gagné, il y a déjà du temps, le second prix de la sculpture à l'Académie d'ici; cela lui assure une place fixe dans la salle où l'on travaille d'après le modèle, et cette place il ne la vendrait pour rien au monde. Le général Samoïlov, pendant son séjour ici, ayant vu chez lui une figure d'Endymion endormi, l'a engagé à l'envoyer en Russie et lui a fait espérer de la faire agréer par Votre Majesté; il l'a même encouragé à écrire directement à Votre Majesté et au prince Potemkine, ce que Chedrine a osé faire en envoyant ses lettres à M. de Samoïlov à Vienne. Mais depuis ce temps-là il n'en a plus reçu aucune nouvelle, il ne saurait pas même ce qu'est devenu son Endymion, si l'aumônier parti d'ici ce printemps ne lui avait mandé que cet Endymion est heureusement arrivé, d'abord à Narva et ensuite à Pétersbourg. Chédrine n'en est pas plus avancé. Si Votre Majesté daignait se faire montrer cet ouvrage, elle pourrait juger du talent de l'artiste. Le général Kamenski voulait aussi lui faire exécuter en grand un Hercule russe dont le piédestal devait être orné de bas-reliefs relatifs aux principaux événements d'un règne dont nous avons vu les merveilles, mais qu'on n'ose appeler celui de Catherine si l'on ne veut se faire des affaires avec elle. Cet Hercule, M. de Kamenski l'a aussi oublié dans l'atelier de l'artiste, depuis qu'il est parti, et l'on croirait, si l'on ne connaissait pas les caprices de Sa Majesté, que l'Impératrice devrait être bien tentée de faire

exécuter l'Hercule Russe, emblême de la force et de la vigueur de son règne. Mais ce n'est pas de quoi se flatte le seigneur Chédrine. Il voudrait jouir du bonheur de son camarade d'études, Scorodoumov, c'est-à-dire ni plus ni moins que d'appartenir directement à la personne de l'Impératrice. Tous ces enfants de l'Académie impériale ne veulent pas retourner dans le sein de leur nourrice, mais bien s'enchaîner aux pieds de la *Madre augusta del greco Impero*. Ma foi, à leur place je lui donnerais aussi la préférence sur toutes les académies du monde. Chédrine n'a aucune condition à prescrire ni à demander à sa Souveraine bienfaisante; seulement il voudrait qu'elle lui permît, avant de se fixer auprès d'elle, de passer encore un an ou deux à Rome, et un bienfait de cinq cents roubles par an serait suffisant pour remplir ce voeu. Cet artiste prétend qu'il faudrait commencer par envoyer tous les jeunes élèves à Paris, parce qu'ils y trouvent une grande émulation qui excite au travail au milieu de tant d'élèves de toute espèce; et finir par Rome, parce qu'on n'y trouve ni concours ni émulation, tout y est mort; mais on y trouve les grands modèles, éternels comme l'art, et qui inspirent un autre genre d'émulation, quand on a commencé à se sentir et à pénétrer dans les secrets de l'art.

Miséricorde du ciel! que vois-je? Voilà un homme qui entre chez moi tout essoufflé. Je lui fais épeler son nom; c'est M. Yachantov. Sa qualité? c'est un messager du ciel. Il m'apporte une pancarte divine que je ne lui fais pas épeler. Je porte mes lèvres sur le caractère sacré de cette pancarte divine, ne pouvant les porter, hélas! sur la main auguste à qui je la dois. J'envoie mon messager du ciel se coucher, c'est ce qu'il y a de plus pressé; et moi je ne dormirai pas. Car, après avoir lu et relu, soupiré, gémi, souri, pleuré, ri aux éclats, il faudra se promener en long et en large, arpenter sa chambre en tout sens, froisser ses meubles ou en être froissé, le tumulte sera plus fort que jamais dans l'intérieur de ma dépouille mortelle; je passerai ma nuit à répondre à chaque ligne; toutes ces réponses voudront être couchées sur le papier à la fois. Juste ciel, quel vacarme! ce n'est pas le moment d'écrire, ni d'établir eine Rangordnung entre des péronnelles qui n'entendent ni rime ni raison. Que la bonte divine me soit en aide! Mais du moins, si ma pancarte s'allonge encore hors de toute proportion, Votre Majesté conviendra avec moi que ce n'est pas ma faute, c'est celle du messager du ciel qui vient d'entrer chez moi sans dire gare. Puissent les bénédictions du Très-Haut tomber sur lui et sur l'ointe du Seigneur qui l'a envoyé!

Ce 19 (30) auguste.

* Après avoir employé une quinzaine à remettre le calme parmi les flots agités de mon coeur depuis l'arrivée du messager Yachantov, je reprends la plume, pour rendre compte de mes faits et gestes à mon auguste Souveraine, et avant d'entamer sa pancarte divine, il faut que je lui parle de l'exécution de ses ordres.

Voilà donc le cabinet du bailli de Breteuil devenu impérial, encore ne voudrais-je pas jurer qu'il conservât ces honneurs en changeant de climat. J'espère que par ce coup d'éclat je terminerai glorieusement ma carrière de brocanteur impérial, et que pour la paix de ma pauvre conscience, Votre Majesté daignera m'envoyer des lettres d'émérite, comme on en donne aux professeurs hors de combat dans les universités. Il n'y a désormais que les honneurs de brocanteur de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin que j'ambitionne de conserver. Vivent les fantaisies de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin! Chacun aura pour ses neuf livres tournois un jeu complet d'onchets et encore dans un étui de bois rose. De telles commissions n'ôtent pas le sommeil au brocanteur. Il est déjà en transes à présent, d'après un mot de Votre Majesté sur les cahiers gravés de Houel, que cette collection sicilienne ne réponde pas à l'attente de son auguste Souveraine, et ces transes ne rendent point du tout heureux. Il faut pourtant que je dise à Votre Majesté Impériale, comment je m'y suis pris, toutes les fois que j'ai exercé ce métier fatal de brocanteur impérial; je dis, *comment je m'y suis pris*, et non, *comment je m'y prends*, parce que je regarde mes lettres d'émérite comme déjà obtenues. Premièrement je n'ai jamais voulu sur rien de ce que Votre Majesté devait acquérir, m'en rapporter à mon jugement; j'ai même souvent évité de connaître les objets qu'on proposait, de peur d'influer sur la détermination de Votre Majesté par mon jugement, auquel je n'accorde nulle autorité dans les arts si ce n'est auprès de moi, parce qu'il est plus fondé sur le sentiment et sur l'impression reçue que sur des connaissances raisonnées. Toutes les fois donc que j'ai prévu qu'une des maladies de Votre Majesté me pousserait à une acquisition pour lui sauver la vie, je me suis adressé aux juges les plus éclairés sur l'objet dont il était question, pour les consulter. Ainsi lorsque le cabinet de Houel fit beaucoup de bruit à Paris, parce qu'en ce moment la Sicile et l'Etna sont à la mode en Europe comme Catherine, et lorsque tout le monde disait que ce cabinet appartenait de droit à Votre Majesté,

nt me l'offrir pour 70 mille livres, et j'ai dans mes paperasses

un écrit souscrit par les principaux membres de l'Académie

ure qui me certifiait ce prix modéré et la collection très

* précieuse. Il se passa plus d'un an de cette proposition à la seconde, où Houel vint m'offrir sa collection pour 40 mille livres. Votre Majesté, atteinte en ce temps-là du mal sicilien, me manda qu'on ne pouvait pas se passer de ce cabinet; je ne le pris pas pour cela. Un heureux hasard ayant amené de Genève à Paris ce Tronchin dont Votre Majesté possède le cabinet, je l'enfermai pendant plus de dix jours avec le cabinet Houel pour toute nourriture. Ce juge, un des plus éclairés et certainement le plus intègre qui existe, regarda cette collection comme très précieuse et point du tout chère. Alors je conclus le marché, et M. Tronchin fit une nouvelle revue en paraphant chaque dessin ou tableau de sa main, et persista dans son jugement, en faisant cette opération à mes côtés. Après cela il n'y a qu'à se pendre si cette collection ne répond pas à l'attente *della possente ed amabillissima Sovrana di tutte le Russie e di tutti i cuori*. A l'égard du cabinet du bailli de Breteuil j'ai tenu la même marche. J'ai vu, il y a plus d'un an, que ce cabinet n'éviterait pas son sort, c'est-à-dire, de tomber dans le greffe de Votre Majesté. Je me suis dès lors adressé à un des plus grands connaisseurs en pierres gravées qu'il y ait en Europe, et qui est consulté d'Italie et de toutes parts comme un oracle. Le bailli de Breteuil s'est prêté à mes désirs, m'a confié son cabinet que j'ai remis entre les mains de mon oracle, M. d'Ennery. Celui-ci l'a gardé près d'un mois, a épluché une pierre après l'autre, a fait pour sa propre satisfaction un travail considérable sur ce cabinet, et en me le rendant m'a dit qu'il trouvait cette collection très précieuse; qu'on voyait qu'elle avait été faite par un grand connaisseur; que lui, s'il était dans le cas de l'acquérir, il demanderait qu'on lui rabattît du prix six mille ou même peut-être dix mille livres; mais qu'il ne croyait pas qu'on pût faire cette demande décemment au nom de Votre Majesté Impériale. Après cette décision prononcée il y a plus d'un an, j'ai cru ma conscience en sûreté; mais actuellement qu'il s'agit de fondre la cloche, que le messager Yachantov est venu pour emporter la cassette, toutes mes inquiétudes me reprenent; j'ai été cependant de nouveau à confesse chez le plus redoutable des casuistes d'Ennery: toujours même absolution de sa part, et pas plus de tranquillité de la mienne. Votre Majesté trouvera que je suis un second Louis XV, qui évitait sur toutes choses d'avoir un avis à lui, ou quand il en avait un, de le suivre; mais ce grand prince, par une suite de sa philosophie, s'en rapportait souvent à l'avis de gens dont il ne faisait nul cas, au lieu que moi, pauvre hère, je ne me décide que d'après l'opinion de ceux dont j'ai la plus haute idée relativement aux objets sur lesquels je les fais prononcer. Voilà la différence entre feu Louis XV et moi; le point de ressemblance, c'est que nous au-

* rions dû quitter notre métier tous les deux, ce qui lui était plus malaisé qu'à moi, à qui il ne faut que des lettres de vétérance, pour me faire descendre du trône de brocanteur après le coup d'éclat que je vais faire en envoyant le cabinet Breteuil: il est difficile de finir une carrière orageuse et pénible d'une manière plus brillante.

Ce cabinet doit m'être livré au commencement de la semaine prochaine. Votre Majesté Impériale se rappellera qu'il m'a été offert pour cent six mille livres, mais qu'à ce prix le possesseur s'engageait de choisir d'entre les pierres non montées une centaine, et de les faire monter pour l'embellissement du cabinet. C'est à cette monture que la quinzaine depuis l'arrivée de M. Yachantof a été employée. Depuis que ce prix a été fixé par le propriétaire et le catalogue envoyé, il a augmenté sa collection de quatorze pierres, camées ou intagliati, qui lui ont coûté 92 louis d'or; il a fallu prendre ce supplément. On m'a offert, par son canal, encore plusieurs pierres; mais j'ai dit que je verrais, lorsque ce cabinet serait arrivé à sa destination; que pour le présent je ne voulais plus rien acheter. J'ai pourtant excepté une pierre egyptienne qui m'a paru charmante et pour laquelle on m'a demandé 13 louis. J'ai mandé au bailli que s'il pouvait l'avoir pour huit louis, je le priais de l'ajouter aux 14, parce que ces 15 feraient alors une somme ronde de cent louis ou 2400 livres, laquelle, ajoutée aux cent six mille, portera toute cette acquisition à 108400 livres. Pour payer cette somme, j'ai été non seulement obligé d'épuiser entièrement tout le crédit qui m'a été établi en dernier lieu; mais il m'a fallu encore tirer sur M. Sutherland, sous ma garantie, pour une somme de 34000 livres. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je dois payer lundi prochain, et j'ai écrit en même temps à M. le général Factotum, pour le supplier de vouloir bien autoriser M. Sutherland d'accepter cette traite, et de me décharger ainsi que Messieurs Rilliet, qui ont garanti avec moi, de notre garantie. M. le procureur général doit me regarder comme l'homme le plus capable de donner des étouffements qu'il y ait en Europe. Me voilà toujours de nouveau à sec sans un sou de crédit, tandis que je comptais que le crédit dernièrement envoyé me mènerait au moins à dix-huit mois ou deux ans, ne prévoyant pas de gros objets à gloutonner si prestement. Das hat aber Gott der Herr in seinem unausforschlichen Rathschluß anders beschlossen.

La lettre du prince Henri lui a été expédiée sans perte d'une minute. Je suis trop attaché à ce prince, et je lui dois trop de reconnaissance, pour retarder d'un instant la joie qu'elle lui causera. J'ai vu l'année dernière à Spa combien l'idée que Votre Majesté pût avoir changé à son égard, lui était pénible. Je le crois bien: Si je l'avais cette idée funeste, elle ne me

* tourmenterait pas longtemps; elle me tuerait. Aber ich ſinge mit der chriſtlich Lutheriſchen Gemeine: Eine feſte Burg iſt unſere Kaiſerin, und ich traue auf ſie trotz Teufel, Höll und Welt. Les contes vieux comme Hérode ont été suivis d'un de ces grands éclats de rire que le souffre-douleur n'a pas appris de réprimer à temps. Hérode n'en fera jamais sur Votre Majesté, car le vieil Hérode avait un grand respect pour les Romains, et je ne sais par quelle fatalité Romain et Russe commencent par la même lettre. Mais un conte qui n'est pas d'Hérode, c'est que le mal d'yeux a repris Joseph unſern Gaſt, qu'en conséquence plus de camps de Prague, ce qui fait aller M. le Comte du Nord pour une quinzaine de jours en Suisse. Je ne suis pas fâché qu'il voie un coin de cette terre libre. Après quoi il faut que Votre Majesté sache qu'il ira à Stuttgard et Vienne pour se rapprocher de sa terre natale; et si le souffre-douleur ne rendait pas ce compte à l'Impératrice, elle ne saurait où prendre son fils. Est-il possible que Votre Majesté ne se lasse pas de me faire des querelles d'allemand parce que je suis né dans le lieu où réside la quintessence de l'empire germanique? J'ai eu quelques scrupules sur la qualification du Comte du Nord, faut-il me calomnier pour cela? Est-ce ma faute si Votre Majesté embrasse les quatre points cardinaux à la fois! Puis-je moi faire une autre géographie, et empêcher que ce qui est soit? Je ne me suis pas tourmenté pour déplacer la Souveraine de mon coeur; si l'on veut trouver qui mettre à sa place, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Je trouve la Finlande, Arcangel et le Kamschatka aussi septentrional qu'un autre; mais quand on règne là, pourquoi faut-il être voisin des Chinois, du mont Caucase, se trouver frontière de tout le monde et lorgner presque jusques dans l'Inde de chez soi? Quand on ne regarde que d'un côté, on n'est vu que d'un côté; c'est une vérité éternelle, cela. Pourquoi donc personne ne peut-il mettre le nez à la fenêtre sans voir Votre Majesté? Dafür kann ich nichts, kann's auch nicht ändern. Il ne faut donc pas me reprocher que j'entretiens les gens du Nord de l'Orient qui ne les regarde pas. Das ſind ſo zweydeutige Ausdrücke, daraus ſich ein ſchwacher Kopf, wie der meinige, gar nicht finden kann. L'Orient qui ne les regarde pas! Was ſoll das heißen? Est-ce pour m'insinuer que l'Orient ne regarde pas les gens du Nord? Il est peut-être assez bête pour cela; mais tant pis pour lui; il verra ce qui lui en arrivera avec le temps. Veut-on dire que les gens du Nord ne s'occupent pas de l'Orient? Das iſt ſchnurſtracks dem Evangelio zuwider, qui dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres d'esprit: ergo les royaumes de la terre sont tout ce qui reste pour les autres. Ce n'est pas moi qui ai fait la part à Votre Majesté, c'est l'évangile. Und ich als ein Rechtgläubiger beſtehe darauf daß der reiſende Herr nebſt ſeiner Frau Ge-

* malinn hätte ſollen Herr Gräf von Norden, Oſten, Süden und Weſten getauft werden. Votre Majesté ne veut répondre d'aucun ravage ni saccage de ces voyageurs venus de l'orient en dépit du Kamschatka; cela est fort commode. Je suis cependant et je reste juste, malgré les injustices qu'on me fait. Alles was das bürgerliche der hohen Reiſenden für Unheil in Paris angerichtet, dafür kann unſere Kaiſerin freylich nicht haften, denn da würde ſie ſich gar jämmerlich ſchlecht herausziehen: en revanche tout ce qui vient du fait des voyageurs en leur qualité de fils de Catherine, Votre Majesté m'en paraît évidemment et civilement responsable. Je suis pourtant bien charmé qu'au milieu des injustices qu'il faut que j'essuie, Votre Majesté se rende justice. In allen Sachen bin ich nichts mehr als eine Pfuſcherin; c'est un cri de conscience que cela. Darauf antworten auch alle Herren Brüder und Schweſtern ſogleich choralmäßig: Ja, das weiß Gott im Himmel: denn ſie hat uns allen unſer Handwerk verpfuſcht. Je ne peux pas passer ma vie à faire l'apologie de Votre Majesté. J'aime mieux m'occuper de la guérison des yeux de Joseph; j'aime à croire que ce mal n'est pas aussi incurable que toutes les maladies de l'Impératrice grecque, unſere Hoffnung und unſer Troſt; mais je crains que Joseph ne fasse trop de remèdes. J'étais tenté de lui écrire de s'en tenir à l'eau fraiche et suivant les circonstances, glacée. Si mes yeux ont pu voir l'ointe du Seigneur, c'est à ce remède que j'en suis redevable, car ils étaient, il y a vingt deux ans, bien aussi malades et aussi menacés que ceux de Joseph, et ce remède m'a conservé la vue, de sorte que je vois incomparablement mieux aujourd'hui qu'il y a vingt-deux ans. Je supplie donc Votre Majesté Impériale de dire cela à Joseph de ma part, puisque je n'ai pas osé me donner les airs de le lui écrire. Il faut se plonger le visage et le répéter suivant le besoin souvent. Toutes les eaux possibles que j'avais essayées m'avaient fait beaucoup de mal, lorsque Tronchin m'astreignit à ce remède simple.

Les gens de Grimma ont été très choqués de lire dans la pancarte divine la confirmation de tout ce qui les avait choqués dans les gazettes, et accompagnée de plusieurs circonstances aggravantes. Ils ont crié: *Habemus confitentem reum;* mais ce n'est pas le moyen de faire la paix de Votre Majesté avec eux. Tout cela ne sert qu'à les faire épiloguer sur tout. Was Teufel! hat ſie denn da zu hammern gehabt, und ſich die Hand welche Corilla possente und candida nennt, mit Pech zu beſudeln? Und wenn ſie beym Herrn [illegible]ki zu ſpeiſen geht, warum muß denn das zu Fuß geſchehen? Est-elle un[illegible]me, oder hat man ihr die Pferde aus dem Kaiſerlichen Marſtalle [illegible] de notre temps, continuent-ils, on n'arrivait pas à Péter- après avoir arpenté quais, bois et bosquets; navigué,

* couru la poste, fait le charpentier, goudronnier, Stapelläufer, le diable et son train, et tout cela dans le même jour. Ils n'ont pas été plus contents du voyage de Cronstadt, et se sont tout de suite rangés du côté du vent contraire et de l'avis de Messieurs de la marine; quand ils ont vu que cela n'y faisait rien, et que Votre Majesté n'en arrivait pas moins à Cronstadt, ils ont dit: «Eh bien, oui, elle ne connaît point de plaisir plus exquis au monde que d'arriver où elle veut, contre vent et marée». Comme je prends le parti de Votre Majesté dans toutes les occasions contre ces imputations, ils ont cherché à m'attirer de leur côté, en me faisant remarquer que Votre Majesté ne laissait jamais échapper une occasion de m'humilier, quand elle s'offrait. Vois, disent-ils, comme elle te parle de Cronstadt comme si tu n'avais jamais été dans ce port; à la vérité tu n'as pas mis quatre heures pour y aller, en te battant contre le vent. Et d'un. Ensuite en parlant des travaux qu'elle y a ordonnés, elle ajoute: *Ce qui n'est pas infiniment intéressant pour vous, mais bien pour ce port.* Cela est obligeant, comme tu vois! C'est supposer que ce qui intéresse et embellit le port de Cronstadt, t'est parfaitement indifférent. Enfin ces deux pages qui commencent la pancarte divine, pour m'expliquer laborieusement ce que c'est que ce Tchesma de fraiche date que je ne saurais où trouver sans cela, tandis que j'y ai été dix fois à la suite de l'Impératrice, lorsqu'il portait le noble nom de la Grenouillère; item pour m'apprendre qu'il y a là une église dont Gustave III, Roi des Goths et Vandales, a posé la première pierre, tandis que je me suis trouvé à cette cérémonie en personne naturelle; que trois ans après, Joseph II a assisté à la consécration de cette église, tandis que j'y ai assisté en esprit avec une ferveur mêlée de lamentations, et que c'est à mes prières luthériennes que ce lieu saint doit les bénédictions dont le Seigneur l'a comblé, tout cela fournit autant de textes aux gens de Grimma pour me prouver que l'Impératrice ne cherche qu'à me mortifier et qu'à m'humilier. Je crois que Votre Majesté fera bien de les ménager un peu et de chercher à les désarmer, sans quoi il est à craindre qu'ils ne deviennent trop contrariants, et moi, qui me trouve entre l'enclume et le marteau, je ne saurais plus comment me tirer d'affaire. Par exemple, ils savent que Votre Majesté n'aime pas le séjour de Péterhof, et autrefois ils se piquaient de ne le pas aimer non plus. Aujourd'hui ils l'aiment, et précisément par la raison qui fait que l'Impératrice n'en raffole pas. C'est un grand malheur, disent-ils, assurément qu'elle y dorme comme une marmotte, et qu'elle n'y ait ni temps ni envie d'écrire. Il faut donc que toute l'année il n'y ait jamais relâche au théâtre? Eh bien, nous, nous aimons la saison où l'Impératrice dort comme une marmotte, où elle se repose, malgré qu'elle en ait. Le souf-

* fre-douleur, continuent-ils, est un très grand personnage dans son espèce. Cela ne l'empêche pas d'être tous les ans imbécille pendant les mois de Juillet et d'Auguste, et il se trouverait très heureux d'avoir un Péterhof à son commandement pour y dormir à son aise.

Je ne finirais pas, Madame, si je voulais ramasser toutes les épluchures de ces gens-là. *Un nom n'est qu'un nom, et un nom ne tire jamais à conséquence.* Ils me demandent où Votre Majesté a pris ce beau principe. Eux, ils soutiennent que le nom fait tout, et que suivant qu'on s'appelle Catherine ou Marie, tout change du noir au blanc ou du blanc au gris. Le père de Tristram Shandy aurait eu un peu moins de chagrin dans sa vie, si Votre Majesté lui avait persuadé que le nom ne fait rien à l'affaire. Les gens de Grimma trouvent de tels principes pernicieux et malsonnants. Dieu veuille qu'ils ne découvrent pas par les gazettes la manière dont le vingtième anniversaire de l'avénement au trône a été célébré. Il a plu, Dieu merci, diraient-ils, grâces, avancements, bienfaits, de touts côtés en abondance; mais on n'a pas entendu un seul verset du Carmen Saeculare, quoique feu Horace ait fait les paroles et Philidor la musique; pas un brin de reconnaissance envers l'être suprême pour vingt années de succès et de gloire! Apparemment qu'en sa qualité de mazette dont elle se décore Dieu sait de quel droit, elle suppose que tout cela croît naturellement sous ses pas, sans qu'elle s'en mêle? Qu'elle demande donc à M. Busch si ses choux lui viennent en dormant. Ou bien, aussi tout ce qui s'est passé pendant ces vingt ans, ne vaut pas la peine qu'on en fasse commémoration. En revanche pour l'inauguration de la statue de Pierre-le-Grand; il y aura un train et un vacarme de l'autre monde. Eh bien, je conseille à Votre Majesté de faire taire ces gens épilogueurs une bonne fois, en saisissant ce moment de l'inauguration, pour faire revenir Pierre-le-Grand, et voir s'il se reconnaît dans sa capitale et dans son empire; il n'y a pas si longtemps qu'il en est absent. Quand il s'y sera reconnu, Votre Majesté lui rendra son compte, ayant à côté d'elle son Factotum avec les relevés. Ce compte ne sera pas aussi volumineux ni aussi compliqué que celui de M. Necker; on l'a rendu au souffre-douleur l'année dernière en une demi-page. Tant de gouvernements érigés, tant de villes bâties, tant de vaisseaux goudronnés, tant d'impôts abolis, tant de dettes payées, tant d'édits de bienfaisance, tant de leçons de danse données à son intime Abdoul Hamet par terre [illegible] de gaucheries, tant de Pfuſcherey en, dont les détails [illegible] infinis, mais dont le relevé peut se faire en très peu [illegible] e la statue se fait de cette manière, je monte [illegible] hétise que les gens de Grimma se rappro-

* cheront sincèrement de Votre Majesté Impériale; tous leurs griefs seront oubliés.

Ce 20 (31) auguste.

Je suis bien touché de la bonté que M. le général de Lanskoï a eue de remplacer cette silhouete chiffonnée, et de ne pas épargner cette fois-ci les cartons. On voit bien qu'il a étudié l'évangile selon Sainte-Catherine, comme on dit selon Saint-Luc: car cet évangile dit: si l'on te demande un, tu donneras trois. Aussi a-t-il fait trois heureux. Emilie s'est d'abord emparée d'un des trois; si je la laissais faire, elle se croirait en droit d'avoir autant de portraits de l'Impératrice dans sa chambre qu'un souffre-douleur impérial. Sa mère a pris le second; le troisième et le chiffonné que je n'ai pas jeté pour cela aux vents, me sont restés. Si je me laissais aller à ma générosité naturelle, il ne tiendrait qu'à moi de remplacer magnifiquement ces trois silhouettes. Le seigneur Scorodoumov a fait un dessin charmant du profil de l'Impératrice d'après la boîte que le souffre-douleur garde parmi les saintes reliques de son pélerinage à la source de la gloire. Son projet était de le graver, et la planche en était même fort avancée lorsqu'il tomba malade. Après son rétablissement je lui ai conseillé de profiter du reste de la belle saison pour se mettre en route et d'achever et d'imprimer sa petite planche à Pétersbourg. Il est effectivement parti avant hier, et je ne dois pas oublier de dire ici que la presse, le papier et le noir qu'il a fait embarquer au Havre de Grace ont été mis à l'adresse de Votre Majesté Impériale pour être d'autant plus respectés, et si ces effets arrivent avant lui à Pétersbourg, on aura sans doute la bonté de les laisser intacts à la douane jusqu'à son arrivée. A son départ il m'a fait présent de ce charmant dessin; c'est mon profit d'avoir été choisi par mon auguste Souveraine pour annoncer ses bienfaits à cet artiste. Un coeur noble mettrait ce dessin entre les cartons qui lui ont apporté les trois silhouettes, et en ferait hommage à son bienfaiteur, le général de Lanskoï. Il serait bien beau de faire ce sacrifice; mais l'avarice me saisit à la gorge au moment de le consommer; elle me dit que profit et héroïsme ne chassent pas toujours ensemble. Toute réflexion faite, j'envoie l'auteur et je garde l'ouvrage; quand on a l'auteur, on possède virtuellement l'ouvrage. Au demeurant, quand j'ai été héros l'année dernière, en envoyant les deux camées de l'Impératrice pour qu'on pût choisir et me renvoyer le moins beau, cela ne m'a pas réussi, et il a fallu qu'il en coutât à Votre Majesté un troisième que, par parenthèse, mon oracle d'Ennery trouve très beau; je crois donc qu'il vaut mieux que je quitte le cothurne et que je marche terre à terre. Tout ce que le prince

* Orlov monté sur son trépied a prophétisé touchant le général de Lanskoï, moi je l'ai deviné dans mon exil, ainsi nous sommes à deux de jeu. Il est vrai qu'il n'y a qu'une voix sur ses qualités morales, et par conséquent il ne m'a pas fallu être sorcier pour les deviner. Pour ses maladies, suites d'une gloutonnerie générale, j'en ai vu des symptômes très redoutables en ma qualité d'archiatre impérial pour ces sortes d'infirmités. Mais malgré la divination dont le ciel m'a doué, je suis enchanté du portrait intéressant que Votre Majesté a daigné m'esquisser. Premièrement, parce que sans connaître l'original, on voit qu'il ressemble; en second lieu, parce que ce portrait est un petit chef-d'oeuvre comme la lettre à l'historien de la nature: or un petit chef-d'oeuvre fait toujours plaisir à voir. Si le général Lanskoï a bien senti à quel point la lettre à l'historien de la nature était charmante, il a déjà rempli toutes les prédictions du prince Orlov; tous ceux qui en ont été engoués ici, diront qu'il a gobé le goût ailleurs que dans Algaroti et consorts. Je le soupçonne d'être aussi charmé que moi de l'arrivée de cette éternelle première caisse d'estampes coloriées et qu'il n'en jettera pas son lopin aux chiens. J'espère que la seconde caisse aura suivi de près. Si Votre Majesté étudie et médite les pancartes du divin toujours avec la même application, elle verra qu'il m'a aussi pris un accès de gloutonnerie, et que je suis menacé, si je n'y prends garde, d'être atteint du même mal dont je traite l'Impératrice depuis tant d'années avec une supériorité reconnue; voilà comme les grands médecins, en bravant les dangers de la contagion, finissent par être victimes eux mêmes. Jusqu'à présent j'étais fort content d'une belle épreuve noire de l'école d'Athènes, ne voilà-t-il pas qu'il m'en faut une coloriée? Puis il faudra une Aurore du Guide, et puis une troisième, et voilà comme les maladies deviennent incurables. On dit, pour s'en imposer, que quand on a vingt-trois portraits de l'Impératrice, il est impossible de ne les pas entourer de tout ce que les arts ont produit de plus sublime et de plus touchant, et voilà comme on enfile le chemin de la perdition. Heureusement la route est chère, et je ne courrai à ma perte que suivant les facultés de ma bourse.

J'ai envoyé à l'historien de la nature dans son manoir en Bourgogne tout ce que Votre Majesté Impériale a eu la bonté de me mander sur son fils. M. de la Herreria a sauté comme un cabri quand il a vu son nom dans la pancarte divine. Il s'est fait opérer ici de la cataracte l'année dernière, très heureusement, cette circonstance l'a fait rester longtemps à Paris; mais il partira enfin cet automne pour Naples d'où je vois qu'on va envoyer pour relever le duc de San Nicola. Celui-ci retournera donc dans sa patrie professer le russe, si toutefois Votre Majesté ne badine pas en m'assurant

* qu'il sait le russe aussi bien que l'Impératrice. Je voudrais bien avoir une excellente traduction en français de ces excellents cahiers de la bibliothèque de Monsieur Alexandre. Je n'ose l'entreprendre, car je n'approcherais jamais de la sève et de l'énergie de l'allemand, qui n'est cependant pas l'original. Avec cette traduction gauloise je ferais quelques heureux ici, je ne dis pas beaucoup, car il faut une furieuse kyrielle de titres et de preuves pour être digne de certaines faveurs et pour les obtenir de moi. Votre Majesté veut amadouer les gens de Grimma, en leur persuadant que M. de Falkenstein n'a pas tout ce qu'ils possèdent de ces cahiers. L'auteur prétend, à la gloire éternelle des Conversations d'Emilie, les avoir mises à contribution, mais il a oublié de dire que par de légères corrections il a rendu ces passages plus intéressants. Ce qu'il y a de plus heureux, c'est ce mêlange de résultats moraux et de connaissances locales, d'observations sur les moeurs, les coutumes, les ressources de quelques provinces de l'empire, qui m'ont fait lire ces cahiers avec le même intérêt que Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin peuvent y apporter; j'y ai appris une infinitté de choses curieuses dont je n'avais aucune idée. S'il est vrai que les princes qui veulent sortir de la sphère commune et fixer les regards de la postérité, doivent avoir une fortune à faire, Votre Majesté corrige certainement, autant qu'il dépend d'elle, dans Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin le malheur qu'ils ont eu de venir au monde avec une fortune toute faite; et c'est peut-être là tout le secret de l'éducation des princes.

Votre Majesté fait de moi un des plus grands dignitaires du paradis en m'accordant les honneurs et titres de patron des opprimés et me prophétisant qu'ils auront toujours recours à ma protection. Tant qu'ils supposeront que j'ai Sainte-Catherine dans ma manche, cela ne sera pas trop sot à eux. Je ne puis obéir à mon auguste Souveraine, en ne souscrivant pas pour les estampes de Moreau, parce que cédant à l'importunité, j'ai souscrit avant l'arrivée de cet ordre; mais Votre Majesté ne sera ni ruinée ni bien malade après cette souscription, et si ces images lui déplaisent, elle n'a qu'à les jeter dans le greffe de M. Olsoufiev qui en fera ses choux gras. Im Gegentheil habe ich unterthänigst die Dédicace verbeten, womit Ihro Kaiſerliche Majeſtät bedroht waren. Si Votre Majesté accorde à Chedrine la grâce que j'ai osé mendier pour lui, il est bien entendu que rendu à Rome il se propose d'y travailler à tout ce que sa souveraine bienfaitrice pourra lui faire ordonner d'exécuter, et que dès ce moment il lui consacre son temps et son travail. J'ai vu le modèle de son Hercule; il est de l'âge de l'empire de Russie, c'est-à-dire dans toute la vigueur de la jeunesse; cette idée m'a paru heureuse. Je suis convaincu que si Votre Majesté daigne déférer à mon

* humble et ardente prière de rendre Corilla la plus heureuse de toutes les créatures par cinq ou six lignes de cette main auguste et redoutable, M. le général Lanskoï trouvera ces six lignes dignes d'être à côté de la lettre à l'historien de la nature. La bienfaisance de M. le Factotum impérial m'a comblé de trésors en musique par le messager Yachantov. Que le ciel récompense la bienfaisance du Factotum! A force de richesses, de portraits, d'objets de luxe, je serai obligé de louer une grange pour y étaler mon opulence. La coquette du Nord nous a quittés. Pourvu qu'elle ne voyage pas vers Gibraltar, afin d'achever le tour du monde, et dans l'espérance d'y rencontrer Mylord Howe. Au reste, si la Russie croit l'avoir inventée, il faut qu'elle se détache de cette gloire et qu'elle la cède à sa voisine, la Chine; M. Fitz-Herbert assure que d'après les nouvelles venues en Angleterre de l'empire du milieu, la coquette y a exercé son métier avant de pénétrer en Russie qui par conséquent ne l'a eue que de la seconde main.

Je remercierai Madame de la Ferté Imbault de tous les trésors prodigués à la Comtesse du Nord; mais Votre Majesté me doit un remercîment de l'avoir préservée de tous ces trésors. Tous ces trésors dans lesquels il règne par-ci-par là une citoyennerie malheureusement fort au-dessus de la portée de notre Impératrice, devaient cependant tomber sur elle et être transmis par elle à la Comtesse du Nord. Quelle adresse ne m'a-t-il pas fallu pour détourner cette source abondante du domaine impérial, et la faire arriver tout droit dans le sein citoyen de Madame la Comtesse du Nord! Les obligations que Votre Majesté m'a, sans le savoir, sont innombrables. Cependant je serais content que l'ointe du Seigneur ne fût pas plus ingrate à l'égard des bénédictions du ciel qu'envers son souffre-douleur. Je ne prétends pas pour cela épargner à Votre Majesté toutes les tribulations qui m'accablent. Le noble citoyen abbé de Lubersac, un des plus grands seccatori de l'empire des Gaules, vient par exemple de m'assommer par un exemplaire de l'Hommage littéraire présenté aux souverains du Nord. Oh, pour celui-là Votre Majesté ne l'échappera pas, et moi je l'esquiverai. Je le reçois dans l'instant, et tel que je le reçois, sans l'ouvrir, de peur de le gâter, je l'emballe pour le service de ma Souveraine du Nord, sans exiger d'elle de l'ouvrir plus que moi. Puisque son image sacrée placée à la tête n'a pu me rapprocher de l'abbé citoyen, je crois ce rapprochement impossible. A côté de l'abbé citoyen et seccatore, je place six portraits du maréchal de Biron gravés par le comte de Baudouin, qui boude un peu Votre Majesté de n'avoir pas voulu de son cabinet, tandis qu'elle serait la maîtresse d'y mettre le prix, mais qui boude bien plus Monsieur le Comte et Madame la Comtesse du Nord d'être partis sans avoir vu ce cabinet.

* Il est vrai que ce sont les premiers voyageurs à qui cela soit arrivé. Aussi M. de Baudouin veut-il que le portrait du maréchal de Biron passe par les mains de l'Impératrice pour arriver jusqu'à eux. Ce maréchal est un des ravagés-saccagés par Monsieur le Comte et Madame la Comtesse, comme la renommée l'a appris à Votre Majesté, et comme le prouve le coursier Limousin qui fait actuellement sa route de Paris à Pétersbourg. Encore faut-il avoir dans ses portefeuilles le portrait des gens qu'on a sacagés.

Ce 21 auguste (1 septembre).

Puisqu'il a plu au Très-Haut de me faire tomber encore une fois, et cette fois par la faute de mon auguste Souveraine, dans le péché irrémissible d'une pancarte dont je n'ose compter les feuillets et que j'ose encore moins relire, je vais vider mon sac jusqu'au fond, afin de me mettre dans l'impossibilité absolue d'en recommencer une pareille.

Il y a plus de six mois que j'ai lu à maître Clérisseau un passage d'une pancarte divino-impériale concernant sa porte. Depuis la lecture de ce passage nous avons attendu chaque jour de poste une pancarte du général Baur, pour nous mettre en état d'exhaler un peu notre zèle dont nous sommes embrasés pour la maison de notre Souveraine; mais la pancarte du général ne venant point, nous courons risque d'être dévorés par ce zèle et d'en mourir victimes. C'est avec un grand crève-coeur que nous avons lu dans les gazettes que nous étudions à fond, que l'Impératrice, en allant à Péterhof, a passé pour la première fois par la porte de Livonie, tandis que la nôtre n'existe encore qu'en herbe. Quoi qu'il en soit, je dois rappeler à notre bienfaisante et unique Souveraine que Clérisseau a travaillé pendant quatre mois et demi sans relâche et presque jour et nuit au modèle de sa porte, pour ne pas manquer la saison de la navigation. Il n'a rien reçu de ce travail. Je dois ajouter que lorsqu'il vendit son cabinet à Votre Majesté Impériale, le besoin urgent où il était de se faire un sort et d'assurer du pain à sa femme, d'un côté; de l'autre la crainte d'en manquer l'occasion unique, en mettant un prix trop haut à son cabinet, lui ont fait fixer ce prix à peu près à la moitié de sa valeur, en se confiant dans la générosité de l'auguste bienfaitrice que le ciel lui avait suscitée, lorsqu'elle aurait pu examiner cette collection. Il est certain que tout le monde a estimé son cabinet 40 mille écus, et que tout le public est persuadé ici que Votre Majesté l'a acheté beaucoup plus cher. Il n'a été payé que 20 mille écus ou 60 mille livres. A ce cabinet il a ajouté tout un portefeuille renfermant un palais des empereurs avec tous ses détails; il a aussi ajouté huit tableaux

* encadrés sous leurs glaces. Ensuite est venu le travail de la porte. Après ce travail il a encore fait six tableaux pour Votre Majesté qu'il m'a forcé d'envoyer cette année. Les particuliers lui paient ces tableaux 25 louis ou six cents livres pièce; mais comme ses yeux commencent à lui refuser souvent le service, il n'a pu faire que ces six tableaux dans toute son année, et vu le besoin où il s'est trouvé, je les lui ai payés, ces six derniers, à 600 livres pièce; mais je n'ai pas compris ces 3600 livres dans mes comptes, parce qu'il me faut préalablement l'autorisation de Votre Majesté Impériale. C'est à la bienfaisance souveraine à fixer ce que maître Clérisseau doit recevoir pour le travail de la porte, pour ses tableaux, pour le portefeuille ajouté à sa collection, et peut-être pour supplément au prix payé pour son cabinet. Moi, en ma qualité de souffre-douleur de Clérisseau, bien plus que de l'Impératrice, je ne puis qu'exposer la situation de cet artiste. Avant que sa magnanime bienfaitrice pensât à lui pour son salut, il était réduit à vivre du travail de ses mains, la plupart de ses tableaux passaient en Angleterre; mais si le malheur eût voulu qu'il perdît les yeux ou l'usage des mains, il mourait de faim strictement, lui, sa femme et son enfant. Le bienfait de Votre Majesté lui a assuré du pain, il s'en est fait un revenu de trois mille livres par an, et il peut devenir aveugle sans risquer d'aller à l'hôpital. Si Votre Majesté était tentée de faire une fortune de plus, mais une fortune bien plus grande que celles du prince Orlov et du prince Potemkine ensemble, et qu'elle voulût accorder à Clerisseau pour tous les différents objets ci-dessus exposés, une somme de 50 mille livres, il aurait une dot et un époux pour sa fille, et le nom de l'Impératrice serait béni à jamais de génération en génération; la fille serait unie à un homme de mérite, et le père mourrait en paix avec le nom de sa souveraine bienfaitrice sur les lèvres.

Le pauvre Gillet est la dernière pièce de mon sac. Votre Majesté m'a promis de la part de son Factotum que je recevrais pour lui de l'argent en même temps que pour le cabinet Breteuil. Si M. le Factotum impérial ne peut pas venir à bout de ce redoutable trésorier de l'Académie qui supprime les pensions obtenues par vingt ans de service, sans autre motif que parce que lui trésorier n'a pas été exact ou plutôt qu'il a été embrouillé dans ses comptes et a remis le même tierçal deux fois, que n'imite-t-il, notre excellent Factotum, la conduite de notre auguste Souveraine? Nous n'avons rien de plus beau à faire, chacun dans notre sphère. S'il veut m'autoriser à traiter le pauvre vieux Gillet de sa part comme j'ai traité Lehnchen de la part de M. le général Lanskoï, le pauvre homme aura une rente viagère équivalente à la pension supprimée; et quoique cette pension lui manque depuis trois ans, je suis persuadé que moyennant cette rente il ne

* demandera plus rien à M. le trésorier, et qu'il mourra aussi, en bénissant le nom de l'Impératrice et de son Factotum. Vu son âge, il faudrait également placer sur la tête de Louis XVI et la sienne, et après sa mort M. le Factotum disposerait de la rente en faveur de qui bon lui semble tout le temps de la vie de Louis XVI.

J'admire souvent avec attendrissement la disposition toujours subsistante dans notre immortelle Souveraine à l'équité et à la justice. Aucune prévention reçue, aucune insinuation ne peut effacer dans son coeur magnanime ni affaiblir les traces de cette vertu, de toutes les vertus la première. La justice rendue si généreusement et si naturellement à Zelmire me fait me prosterner de reconnaissance et d'admiration et embrasser les genoux de notre Impératrice, comme si je connaissais Zelmire. J'ai ici un ami de toute ma vie, le comte de Schomberg: nous sommes liés depuis l'âge de onze ans, il était ami passionné de Voltaire. Toutes les fois qu'il me voit, il me dit: «Allez, tout ce que je sais, c'est que votre Impératrice est une brave femme». Ah, s'il savait à quel point elle l'est! Il est inoui de régner vingt ans et de l'être à ce point-là. Mais c'est à nous autres vermisseaux à imiter, comme nous pouvons, ce modèle sublime. Je n'ai donc aucune peine à rendre à l'époux de Zelmire la justice qu'il a obtenue de la Minerve du Nord. Je ne hais que ces coeurs froids qui, sous l'étalage de beaux sentiments et d'une bonté qu'ils n'ont jamais éprouvée, distillent le poison de la calomnie, et cachent des poignards d'assassins sous le manteau de la douceur et de la bienveillance. Est-il possible que ces êtres malfaisants, à l'oeil louche, au coeur gangrené, aient le droit de se dire de la même espèce que notre Impératrice! Je suis sûr que si Zelmire a le bonheur de l'approcher, elle achèvera de détruire l'ouvrage de la calomnie, et notre divinité tutélaire sera tentée de protéger sa soeur.

J'embrasse l'autel de cette divinité, et je prie les immortels qu'ils me fassent la grâce d'expirer à ses pieds de reconnaissance, de tendresse et de vénération.

Madame,

de Votre Majesté Impériale

le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

*

Allerunterthänigster Nachtrag

zu dieser hier beygeschlossnen verzweifelten Pancarte.

NB.

Il ne faut lire ce Nachtrag que lorsque la maudite pancarte suffocatoire sera coulée à fond.

Madame,

Depuis que cette énorme et inexcusable pancarte est couverte d'une enveloppe, ma conscience est un peu plus tranquille, comme si la taille seule de ce paquet ne suffisait pas à ma condamnation, ou que le péché fût diminué parce que je m'en suis dérobé la vue. Au reste, l'Impératrice n'a pas besoin de punir mon indiscrétion et l'abus que je fais de sa longanimité et de ses bontés; le ciel venge assez son ointe par les malédictions les plus terribles. C'est un fait que plus j'écris à Votre Majesté Impériale, plus il me semble qu'il me reste de choses à lui dire. Ainsi, bien loin d'éprouver aucun soulagement, à mesure que les feuilles se remplissent, les étouffements augmentent; et je suis absolument réduit à la misère déplorable de ceux qui sont tourmentés par la faim canine, et qui, plus ils mangent, plus ils veulent manger. Si M. Kelchen sait un remède contre mon triste état, j'espère qu'il ne me refusera pas son secours.

Voilà donc le cabinet du bailli de Breteuil remis et livré au souffre-douleur, qui a expliqué à son auguste Souveraine la manière dont il a pu le payer, lequel souffre-douleur l'a ensuite fait emballer en sa présence par le grand Delorme, et après l'avoir fait plomber et pris toutes les précautions pour qu'aucune main profane n'y touche, il va le livrer au messager Yachantov et lui recommander sur ses deux yeux d'en avoir soin. Je n'ai pas jugé à propos de dire à qui que ce soit ce que cette caisse renferme, il n'y a que M. Delorme et moi qui soyons du secret. J'ai prié le prince Bariatinski de déclarer dans son passe-port ministériel que cette caisse renferme des papiers d'affaires appartenants à Votre Majesté Impériale; c'est tout ce qu'il y a de plus sacré. Votre Majesté verra par la facture ci-jointe ce que cette caisse renferme, et aura la bonté de faire vérifier les pierres d'après le catalogue. J'ajoute ici pareillement la lettre du bailli de Breteuil. Ce diable d'homme avait tous ces jours-ci la rage d'être au mois de juin, il a daté ainsi ses lettres, et j'ai été obligé de lui renvoyer ses quittances pour la même fausse date; mais je lui pardonne cette erreur Si Votre Majesté remplit sa prédiction, et si elle daigne me confirmer qu'elle a fait une bonne acquisition et pas trop chère; alors, comme c'est ma dernière entreprise

* forte contre la bourse de M. le procureur général, je chanterai le cantique de Siméon, et j'aurai enterré avec honneur la synagogue qui m'a fait si souvent passer de mauvais moments.

Votre Majesté n'avait pas encore reçu le *Gutachen* de son Collége de commerce sur la proposition sarde. Cela n'a pas empêché le Factotum impérial de m'adresser une très belle dépêche sur la proposition sarde, laquelle a fait un merveilleux effet à la cour de Turin, comme j'ai su par l'ambassadeur de cette cour en France, et comme la missive de M. de Miller, dont j'adresse l'original à M. le Factotum impérial, le confirme. Il en résulte qu'il ne tient qu'à Votre Majesté d'avoir un plénipotentiaire sarde à sa cour et d'en envoyer un gréco-impérial à Turin. Outre cette lettre que M. de Miller m'a écrite, il a écrit presqu'en même temps un billet confidentiel à son respectable ami, le divin Reiffenstein, que celui-ci m'a envoyé et dont je ne puis me dispenser de gratifier Votre Majesté Impériale. Par ce billet il m'appert que M. le chevalier de Miller en son particulier n'est pas de l'avis de l'envoi réciproque de ministres, et qu'il voudrait borner cette mission à de simples chargés d'affaires. Il paraît que son ami Quaglia, auteur principal du projet de commerce, a jeté un dévolu sur cette place et s'est flatté d'être envoyé par le Roi son maître à Pétersbourg. Mais il paraît aussi que la cour de Turin pense que ce qu'il y a de plus pressé, c'est l'établissement des ministres respectifs, qu'après cela on pourra parler d'affaires et de commerce quand la connaissance sera faite; et je meurs de peur que Votre Majesté ne pense à cet égard comme le roi de Sardaigne, et adieu le projet de M. Quaglia d'aller en Russie. Je manderai donc à M. de Miller que si les deux cours sont contraires à ses idées, je serai obligé de me ranger du côté le plus fort et d'être aussi contre lui. J'ignore à la vérité si le roi de Sardaigne donnera 240.000 livres d'appointements à son organe immédiat auprès de Votre Majesté, et je ne serais pas fâché à tout événement de toucher tous les ans ce qui manquera à cette somme; mais je pense que la correspondance une fois solidement établie par la résidence respective des ministres, il sera aisé à Votre Majesté de donner au sien pour bras droit un conseiller d'ambassade versé dans les affaires du commerce, dont les conférences avec M. Quaglia à Turin avanceront plus le traité projeté que tout ce que M. Quaglia pourrait faire à Pétersbourg, où le ministre de Sardaigne ne dédaignera pas de prendre connaissance de tout ce qui peut avoir raport aux intérêts réciproques des deux cours et contribuer par conséquent à le rendre agréable au roi son maître. Cette opinion n'est pas seulement la mienne, mais aussi celle du comte de Scarnafis, ambassadeur de Sardaigne en France, homme de beau-

* coup d'esprit et de capacité. Je garderai donc mon opinion jusqu'à ce que Votre Majesté me fasse ordonner de m'en défaire.

M. Yachantov, à qui j'ai dit que la caisse que je lui confie renfermait des papiers qui intéressaient très particulièrement notre auguste Souveraine, me promet de la couver de ses yeux d'ici à Pétersbourg, d'empêcher, tant qu'il aura un souffle de vie, qu'aucune main profane n'y touche, et borne tous ses voeux à ce qu'il soit assez heureux pour la déposer lui-même aux pieds de Votre Majesté Impériale. Je ne puis m'empêcher d'observer à cette occasion qu'il m'a été dit plus d'une fois par divers voyageurs et que plusieurs courriers de Votre Majesté m'ont confirmé, qu'il existe dans une petite langue de terre de la Pologne qu'on traverse en quittant Mémel pour entrer en Courlande, une douane polonaise la plus impertinente possible, et qui fait des chicanes d'autant plus déplacées aux voyageurs qu'on ne reste en Pologne que l'espace de trois quarts d'heures, et qu'il est impertinent de vexer des passagers. Cette douane n'existait pas de mon temps. Je meurs de peur qu'elle ne veuille toucher à ma caisse. Diesem Unfug sollte unsere große Kaiserin billig steuern.

J'espère qu'à l'arrivée de M. Yachantov, le pauvre Balu, Ihro Kaiserlichen Majestät Hofconditor, aura déjà fait son chef-d'oeuvre. Qui croirait qu'on eût confié les effets de M. le Comte du Nord à la plus méchante nacelle possible. Balu croyant qu'il pouvait voyager avec les effets de M. le Comte du Nord presque sans risque, a pensé périr vingt fois d'ici à Copenhague, la nacelle n'ayant pour tout équipage que trois matelots dont un eut le bras démis le lendemain du départ, et un second les reins cassés le surlendemain. Il est vrai que jamais il n'y eut un été comparable à celui-ci, les ouragans n'ont cessé de sévir tout le mois d'août comme au milieu de novembre. Enfin heureusement poussé des rochers de la Norvège dans le Sund, Balu a trouvé à Copenhague dans le ministre de Votre Majesté Impériale, le baron de Sacken, un protecteur très touché de sa détresse, qui l'a comblé de bonté et lui a procuré son passage à Pétersbourg sur une escadre de quatre vaisseaux de Votre Majesté. Ayant sauvé sa vie, il n'a pas demandé le reste de son argent à ce malheureux capitaine de la nacelle. A propos du généreux et compatissant baron de Sacken, quand je pense avec quelle chaleur et quels bras, quelle passion, le comte de Sacken m'a parlé de Votre Majesté toutes les fois qu'il a pu me fixer un instant auprès de lui, je ne puis que gémir en pensant à la malheureuse récompense de certaines passions.

Si l'ingratitude me fait gémir, en revanche j'ai ri aux larmes de la colère et des emportements de Minerve contre les quarante immortels. Quoi,

* me suis-je dit, le grand Roslin aura fait de Catherine une cuisinière suédoise, non seulement sans aucun danger pour lui, mais à son très grand profit et contentement, et elle se fâche parce qu'un immortel, jadis enfant de choeur du comtat Venaissin, a donné à César la physionomie d'un abbé de Carpentras. Où est la justice d'exiger qu'un immortel en petit collet et provençal atteigne à la hauteur de César et embrasse par sa pensée le génie du plus grand des Romains? Elle a donc oublié ce qu'elle me dit un jour depuis six heures jusqu'à onze heures du soir, non sur son trépied, mais couchée dans son lit avec une grosse fièvre et un magnifique mal de tête, ce qu'elle me dit de génie et d'inspiration sur la manière et le maniéré, et sur l'influence qu'une mode, un habillement, une habitude en apparence indifférente prenaient forcément sur le tour d'esprit, sur les têtes, sur le coup d'oeil, sur la manière d'agir et de sentir. Comment ne pas faire de César un égoïste quand on consacre toute sa vie et qu'on concentre toutes les facultés de son âme à attraper un bénéfice? Nun wenn die Herren Immortels wüßten daß ſie mit ihrem Schnack einen braven Biedermann in Ohnmacht gebracht und faſt außer Stand ſeine Reiſe nach Minervens Sélo zu unternehmen, ſo würden ſie ſich gewiß viel darauf einbilden. Avec tout cela, il faut finir, et donner la bénédiction à M. Yachantov. Der Meiſter iſt todt, das iſt wahr, und mit ihm iſt alles ausgeſtorben, Geiſt und Genie aber haben den Rhein paßirt. Je vois que Votre Majesté connaît jusqu'aux Physionomies de Lavater. Mais pourquoi me reprocher comme une malice le malheur que j'ai de ne pas lire? Je n'ai pas vingt minutes par jour pour lire; tout le reste il faut griffonner. Ah, si j'avais du temps pour la lecture, je n'en disposerais pas en faveur de M. de la Harpe. Je m'arrache des pieds de mon auguste Souveraine, pour ne pas entamer un nouveau feuillet. Pour mon malheur je me suis rappelé une de ces soirées dont à peine je puis croire la réalité, et mes yeux se remplissent des larmes. Pourquoi donc faut-il que je rie et pleure tour à tour? Enfin, Dieu bénisse notre Impératrice, et nous la conserve avec tous ses défauts et torts, tous sans exception quelconque! C'est l'ardente prière des gens de Grimma, jour et nuit ils en fatiguent le ciel, et ils espèrent mourir avec son nom auguste et sacré sur les lèvres.

à Paris, ce 3 (14) septembre 1782.

à Paris, ce 1 (12) octobre 1782.

Madame,

Je ne suis pas encore un pécheur endurci et gangrené sans ressource. A peine M. Yachantov avait-il emporté mes paquets, que je me suis

* rappelé l'énormité des pancartes successivement confiées à Messieurs Diacov et Yachantov; le remords s'est niché dans mon âme avec tout son attirail de reproches et de chagrins; tout d'un coup je me suis senti l'onction et l'éloquence de M. Wagner; j'ai pris un air paternel, et je me suis dit: «Souffre-douleur, ne faut plus faire comme cela; faut penser que l'Impératrice a autre chose à faire qu'à se fatiguer les yeux par la lecture de tes interminables pancartes. Faut de la mesure en tout. Si tu ne gardes pas la mesure, il en arrivera qu'enfin tu lasseras ton auguste et trop clémente Souveraine de toi et de ton griffonnage, und ſo wird denn mit der Zeit ihre Huld verſcherzt, und iſt einmal ihre Huld verſcherzt, ſo iſt das Leben verſcherzt». Après ce discours pathétique, que moi en ma qualité de M. Wagner me tins à moi en ma qualité de souffre-douleur contrit et pénitent, j'eus la consolation de m'apercevoir d'un repentir sincère de ma part, et me suis promis saintement de donner à l'Impératrice le temps de se reposer de moi. Pour être plus sûr de n'être pas tenté, de tremper une belle plume neuve dans mon écritoire et de recommencer, j'ai pris des chevaux de poste, et j'ai fait une course de quinze jours en Normandie. Je n'avais jamais vu cette province, qui est cependant à la porte de Paris et une des plus intéressantes de la France par ses ressources, son industrie, son commerce, le génie des ses habitants, qui se ressentent encore de leur origine, et la variété de ses productions. J'ai été fort content de ma petite course. Je ne cacherai cependant pas à Votre Majesté Impériale, que si j'ai eu le malheur de fatiguer l'Impératrice cet été, qui était déjà si triste, si pluvieux, par mes pancartes trop longues, elle ne me laisse pas non plus en repos. J'ai beau aller en Normandie pour me sauver de la tentation de lui écrire, son image auguste et chérie est toujours là devant mes yeux; je cherche à lire dans les siens, et ni les côteaux et les prairies le long de la Seine, ni les flots agités de la mer à Dieppe et au Havre n'ont pu m'en distraire un seul instant. Aujourd'hui qu'il y a à peu près un mois que la pancarte Yachantovienne a été fermée, je crois que je puis risquer de griffonner un peu, quand ce ne serait que pour dire à Votre Majesté que j'ai toujours voyagé en Normandie comme à sa suite, et quand j'ai pu m'en détacher un peu, mon imagination a trotté après M. Yachantov, pour voir s'il avait bien soin de ce que je lui avais confié. Il doit être à Pétersbourg depuis huit ou dix jours au moins, et ce serait un acte de générosité bien digne de l'incomparable général-Factotum, si Dieu lui avait inspiré le dessein de me mander l'arrivée de ce messager impérial à sa destination par deux lignes.

Indépendamment de l'obligation de suivre des yeux le messager Yachan-

* tov portant une boîte de cailloux, j'avais pris aussi un autre souci en croupe qui me suivait en Normandie. Le tableau qui brille chez moi depuis un an, grâces aux bontés de mon auguste Souveraine, et qui la représente à cheval et en uniforme, le jour de son avénement, avait toujours fait une grande sensation chez ceux qui ont leurs entrées et la permission d'assister au lever du souffre-douleur; mais la tête maniérée et mignardisée de l'Impératrice me chagrinait continuellement; Alexandre et Jules César en perruque en bourse ne m'auraient pas chagriné davantage. Il n'y a pas longtemps que Greuze, venant me voir, est obligé d'attendre dans mon salon, parce que j'étais en affaires avec quelqu'un dans mon cabinet. Il se met à examiner mon tableau, et lorsque je viens le joindre, il me fait sur la tête de l'Impératrice les mêmes observations qui me poignaient. Je lui dis: Bourreau, pourquoi me parlez-vous de choses auxquelles il n'y a point de remède? Greuze me répond: «Le remède est trouvé. Envoyez votre tableau chez moi avec l'autre portrait que vous avez, et je vous repeindrai cette tête telle que je l'imagine. Voilà d'autres transes qui me saisissent; je vois mon tableau perdu. Comment se flatter qu'un homme qui n'a jamais vu cette tête puisse la peindre? Moi seul, si je savais manier le pinceau, j'en pourrais laisser à la postérité une image fidèle. Cependant comment refuser l'offre de Greuze? Je me résigne lâchement à l'accepter, et je prends congé de mon tableau, tout comme si l'on m'avait arraché une troisième fois des pieds de Votre Majesté Impériale. Mais le diable, comme on dit, n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme, et Dieu récompense quelque fois les lâchetés de ses enfants chéris. Tandis qu'en parcourant la Normandie, je cherchais à m'accoutumer à la perte de mon tableau et à la triste nécessité d'en mendier un autre au pied du trône de miséricorde, Greuze faisait un tour de force, et à mon retour je trouvai la plus belle tête et la plus ressemblante possible, et me voilà en possession d'un tableau unique; aussi en ai-je disposé dans mon testament comme d'une triple merveille. Je suis bien fâché de n'avoir pas de ma très auguste et très unique bienfaitrice un parfait portrait tranquille comme j'en ai un portrait historique. Nous avons ici un jeune homme de Genève qui fait le portrait en émail supérieurement, et j'aurai par son moyen une tête en émail éntière comme j'en ai une en profil d'après le comte Rotari. Ce Génevois, qui s'appelle Touron, fait parfaitement bien aussi d'après nature. Je n'ai jamais vu de M. Necker un portrait supportable, et je ne connais point de figure plus difficile à peindre sans charge; son compatriote en lui conservant une ressemblance frappante, l'a peint de la manière la plus agréable. Si ce portrait avait existé dans le temps du seigneur Scorodoumov, je le lui aurais fait graver; son burin me paraît particulière-

* ment propre à rendre la manière du Génevois. Indépendamment de l'argent qu'un graveur tirerait du débit d'une telle estampe, nous aurions fait hommage de la première épreuve à Votre Majesté Impériale. Au reste, qui sait si le seigneur Touron n'aura pas avec le temps la pratique du seigneur souffre-douleur? Le portrait de master Brompton m'est promis depuis longtemps et m'arrivera infailliblement encore de mon vivant; j'aurai même ceux de Monsieur Alexandre et de master Constantin par dessus le marché; ainsi tenez vous prêt, master Touron, à tout événement. Nur, ſagen die Leute von Grimma, das manierliche wollen wir uns verbeten haben, Herr master Brompton. Sie werden doch wohl ſchon eingeſehen haben daß unſere Kaiſerin gar nicht manierlich iſt. Apparemment qu'ils entendent par ce terme le maniéré, leur jargon ne me regarde pas.

J'ai trouvé, Madame, à mon retour de Normandie les gens de Grimma plus échauffés que jamais. Es ſind gar wunderliche Leute, et je crois que Votre Majesté fera très bien de finir avec eux avant de finir avec Messieurs de la Crimée; quant à moi, je n'y peux plus tenir. Ils étaient tout absorbés par la cérémonie de l'inauguration de la statue. Je leur dis: Eh bien, quoi, trouvez- vous un tableau plus beau et plus sublime que Catherine saluant la statue de Pierre premier? Vous en pleurez et vous avez raison.—Cela est vrai, crièrent-ils, cela est vrai; mais l'Ukase! — Eh bien, quoi, l'Ukase? N'est-ce pas un monument éternel de gloire et de bonté de la part de notre Impératrice, comme un sujet éternel d'attendrissement et de reconnaissance pour ses peuples? — Cela est vrai, crièrent-ils, cela est vrai; mais cet ukase! — Nun was Teufel habt ihr denn zu kräuſchen? — On nous a oubliés dans cet ukase; il n'y a pas un seul article pour nous.—Nun ſo hol euch der Geyer, ihr verfluchten Leute von Grimma! Ihr wollt ſogar in dem feyerlichſten Geſetz des Reichs Figur machen!—N'a-t-elle pas fait rémission à tous les débiteurs de la couronne? Si nous ne sommes pas endettés envers la couronne, qui peut l'être plus que nous envers l'Impératrice, et que signifie une couronne sans la tête qui la sait porter? Mettez-y tous les diamants de l'Asie et de l'Amérique, et on ne l'estimera pourtant qu'au taux de la tête qui est dessous. — Das kann nun wohl ſeyn, meine guten Leute von Grimma, ſagte ich darauf, aber eben deswegen ſind wir andern Leute von Grimma, Riga, Narva und Cherſona ſo ſtolz auf unſere Kaiſerin. Au reste, je ne crois pas qu'elle ait voulu faire une distinction entre les débiteurs envers elle et envers la couronne; et si vous ne lui devez pas au-dessus de cinq cents roubles, vous êtes compris dans l'ukase. — Comment, cinq cents roubles, s'écrierent-ils! Nous sommes endettés par-dessus les oreilles envers elle, et elle nous endette de jour en jour davantage. Il aurait fallu un article tout exprès pour

* nous; il est manifeste ou qu'elle nous a oubliés ou qu'elle veut nous perdre. — Je leur observai, Madame, qu'il y avait un article en faveur des débiteurs insolvables; mais je ne pus réussir à les calmer, et je supplie Votre Majesté, à cause du grand jour de l'inauguration et de la rémission universelle, de s'expliquer avec eux. Ils sont certainement hors d'état de s'acquitter; mais il disent: Nous le savions d'avance, pourquoi nous a-t-elle écrasés de dettes envers elle? Le prince de Guémenée aura plutôt payé tous les millions que les badauds de Paris et autres lieux lui ont portés si naïvement, que nous autres badauds de Grimma n'aurons payé une obole de ce que nous devons à notre Impératrice. Sur quoi ils m'ont produit la liste de toutes leurs dettes depuis neuf ans révolus. Il faut convenir que cela fait trembler. Je leur ai demandé la liste des remboursements faits par eux dans cet intervalle, soit par services passés, soit par services futurs, wenn es auch nur Frohndienſte wären, ou bien en mitraille, en petite monnaie, en babioles. Rien. Du zèle et voilà tout. Or le zèle en fait de remboursement en reconnaissance est Zéro, qui n'a de valeur qu'autant qu'il est précédé d'un service effectif. Alſo Null und Null und wieder Null bleibt immer Null. So ſieht das Regiſter der armen Leute von Grimma aus. Das iſt zu fett auf einer Seite und zu mager auf der andern. Nun Gott der barmherzige ſtehe ihnen bey. Unſere große Kaiſerin hat ein mitleidiges Herz, wie ſie aber dieſen armen verſchuldeten Leuten heraushelfen kann, und ſie von ihren Gewißens-Unruhen und Herzens Bangigkeit befreyen wird, das weiß der Allwißende allein.

Ce 9 (20) octobre.

J'ai pris le parti l'autre jour, Madame, de quitter brusquement les gens de Grimma. C'est une engeance diabolique dont on ne peut pas se défaire comme on veut. Cela passe sa vie à suivre son Impératrice à la piste, à la contrôler, à l'éplucher de la tête aux pieds, und weil die Narren kurzſichtig ſind, ſo überladen ſie mich mit dummen Fragen. Und warum dies? Und warum das? Und was hat ſie geſtern gethan? Und was thut ſie heute? Und was wird ſie morgen thun? Und übermorgen? Si je voulais mander à Votre Majesté seulement les questions dont ces gens-là m'accablent et m'étouffent, je ne laisserais pas quinze minutes par jour à M. le général-Factotum, pour faire ses rapports. J'aime mieux faire quelques questions à Votre Majesté pour mon propre compte. Je trouve bien que les gens de Grimma ont raison quand ils observent que dans toutes les solemnités publiques la première personne que Votre Majesté oublie, c'est notre Impératrice; cela me fait aussi un peu chauffer dans ma peau. Quand on érige une statue à Pierre-le-

* Grand, c'est en mémoire de ses bienfaits qu'on accorde des grâces; quand la flotte Ottomane brûle, c'est sur sa tombe qu'on porte le grand pavillon. A-t-on des obélisques à placer à Tsarsko-Sélo, c'est à l'honneur des Tschesmenski et des Zadounaïski qu'on les érige. Et quand pensera-t-on à notre Impératrice? J'ai vu le maréchal de la noblesse du gouvernement de Pétersbourg dans la suite de Monsieur le Comte du Nord. Il avait encore l'air tout radieux de la manière dont l'Impératrice a reçu et acueilli certaines propositions à son retour de Mohilev. Il faut apparemment que Votre Majesté soit bien sûre qu'il pleuvra toujours des Catherines sur la Russie, c'est à dire de ces âmes généreuses et sublimes qui mettent leur gloire à célébrer et à recompenser celle des autres et qui ne sont pas plus fières des lauriers qui les ceignent que le lion n'est inquiet de sa force. A la bonne heure. Qu'il en pleuve donc des Catherines pendant quelques siècles de suite. Qu'il en pleuve sur la Russie et sur toutes les monarchies, et sur l'Angleterre par dessus le marché: car c'est surtout à la tête d'un pays libre que j'aurais plaisir d'en voir une; mais malheureusement, quand j'ai passé à Stettin, on m'a assuré que le moule en était perdu. Oserais-je demander à Monsieur Alexandre s'il l'a retrouvé? Mais ce n'est pas la question que je voulais faire. Il est malheureux qu'avec Votre Majesté je ne puisse pas aller mon droit chemin, et qu'à force de voir des routes devant moi, je me trouve dans une que je ne comptais pas enfiler, pour me perdre dans une autre où je ne voulais pas entrer davantage. Et puis on dit que l'homme est libre. Ce que je voulais savoir, c'est ce qu'il a dit à tout cela. Quand il s'est vu en plein air, s'est-il reconnu? En regardant à droite et à gauche, il peut avoir reconnu l'Amirauté et le Sénat, mais comme il n'était pas aus dem Geſchlecht der Kurzſichtigen, en portant les yeux tout autour de soi un peu plus loin que son nez, comme par exemple du côté de la mer Noire et ailleurs, il a sûrement cru avoir la berlue. Et s'il a fait usage de ses oreilles et écouté tout ce qu'on dit de son empire depuis vingt ans dans tous les coins de l'Europe et même de l'Amérique, il se sera frotté les yeux, et il se sera dit: Je dors depuis soixante ans; il est naturel que je rêve encore. Mais enfin, qu'a-t-il dit à l'Impératrice, quand il a vu tout cela? C'est ce que je supplie Votre Majesté de me mander dans le plus grand détail. Tout ce qui s'est d'ailleurs passé pendant ce jour mémorable, je l'ai à peu près su par les gazettes; mais la manière dont le compte rendu par Catherine a été reçu par Pierre, voilà ce qu'il m'importe de savoir. Au reste ce compte est si clair et si public, si kurz und gut, que Monsieur Alexandre, dans un cas de besoin, aurait pu le rendre à son arrière-grand-papa. Je désire que le sien se trouve un jour aussi clair et aussi apuré, et que son petit-fils puisse le

* rendre avec la même précision à Catherine le jour de l'inauguration de sa statue équestre. Ich habe auch aus den Zeitungen erfahren, daß ſich der Herr Alexander in den löblichen Soldatenſtand begeben und ein ſchönes Cuiraßier-Regiment bekommen. Nun dazu gratulire ich ganz unterthänigſt, und wünſche viel Vergnügen in dieſem neuen Beruf. Was den Herrn Sieur Constantin betrifft, dem wird man wohl ein griechiſch Regiment anwerben müßen, denn man ſagt daß dieſem Herrn Sieur allerley wunderliche Gedanken durch den Kopf paßiren. Ja freylich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieu nous conserve cette tige sous l'ombrage de laquelle l'empire grec et les gens de Grimma fleurissent! Comme ces gens-là sont diablement caustiques quand ils se mettent sur la friperie de leur Impératrice, ils disent: «Il est encore bien heureux qu'elle ait laissé son image sur la médaille frappée à l'occasion de l'inauguration de la statue. Il eût été beaucoup plus malin de laisser chercher la postérité en quel temps et après quels faits et gestes cette statue a été érigée, ou bien de lui persuader qu'elle est sortie de terre, là entre le Sénat et l'Amirauté, comme un champignon, sans que personne s'en soit mêlé». Je supplie Votre Majesté de faire taire une bonne fois ces gens là. Ce sont des épilogueurs éternels qui m'enterreront sous un tas d'épluchures, si leur Impératrice n'y met ordre.

Ce 24 octobre (4 novembre).

Depuis que j'ai posé la plume pour que cette pancarte n'allât pas trop vite, je me suis trouvé dans la nécessité de dépêcher deux Vortag à mon auguste Souveraine. Je n'ai pas eu regret au dernier; il a été emporté par un brave homme, M. Griff de Moscou, qui m'a parlé de Votre Majesté Impériale selon mon coeur, et il est donné à peu de monde de m'en parler à ma fantaisie. Il s'est chargé d'ailleurs d'un paquet dont je joins ici la facture, et quoiqu'il aille directement à Moscou sans toucher à Pétersbourg, il m'a promis d'avoir soin de mon paquet, et je suis tranquille. Je ne le suis pas autant sur le premier Vortrag expédié tout simplement par la poste. Il n'est pas parti, ohne dem Herrn ſchmerzbulderiſchen Verfaßer harte Gewißensſtöße zu geben. Mais il est réllement digne de pitié, ce pauvre souffre-douleur. Impitoyablement poursuivi, il a toujours une meute de chiens à ses trousses qui veulent le pousser aux pieds de Votre Majesté pour leur compte; de quel côté qu'il se sauve, il trouve une meute prête à le lancer. De guerre lasse, il prend quelquefois un de ces aboyeurs, et puis un autre, et les porte sur son dos au pied du trône de miséricorde; mais au moins choisit-il parmi eux ceux que sa conscience lui reproche le moins, et des sept huitièmes des autres l'Impératrice n'en entend jamais parler.

* J'ai bien un autre remords de conscience. Depuis le jour à jamais fortuné où je suis entré pour la première fois dans le cabinet de Votre Majesté Impériale, j'ai dit: Que toutes les vengeances célestes s'accumulent sur ma tête, et que je sois exterminé dessus la surface de la terre, si jamais je deviens capable de dire à mon auguste Souveraine quelque chose de contraire à la vérité, ou contraire à ma pensée, ou dans un autre projet ou avec une autre intention que celui ou celle que je peux lui confier. Je suis bien sûr, Madame, de m'être tenu saintement parole jusqu'à ce jour; cela n'empêche pas que dans le compte rendu concernant le sieur Chedrine je n'aie mandé à Votre Majesté un tas d'inexactitudes et de mensonges. Ce n'est pas que j'aie à me repentir du bien que j'ai dit de ce jeune artiste; au contraire tout ce que j'en ai appris depuis, me le confirme et me prouve que de tous ceux sur lesquels j'ai cherché à attirer la rosée toute-puissante de notre bienfaisante Souveraine, il n'en est pas un à qui le Sieur Chedrine doive le céder, sa situation, sa conduite, son application infatigable à perfectionner son talent, ses moeurs réglées et honnêtes doivent naturellement inspirer de l'intérêt pour lui. Mais j'ai accusé le général Kamenski d'inexactitude et d'oubli, et je l'ai calomnié auprès de Votre Majesté, sans le vouloir assurément, mais tout aussi injustement que si j'en avais eu le coupable dessein. Bien loin que le général Kamenski ait oublié ses engagements avec le jeune artiste russe, et le monument qu'il lui avait commandé, la première chose qu'il a faite à son retour en Russie, c'est d'envoyer de l'argent, je crois une somme de mille roubles, au sieur Chedrine, pour le mettre en état de travailler. Le général avait destiné une somme de 40 mille livres de France à l'exécution de ce monument. Comme il devait être érigé dans une de ses terres à l'honneur de notre immortelle et glorieuse Impératrice, une des conditions du marché avec l'artiste que nous avons violée de la manière la plus cruelle et la plus innocente, était que son exécution resterait secrète et se ferait à l'insu de Votre Majesté. Il y a apparence que l'argent de la première remise est à Paris depuis plus de dix-huit mois, sans que le sieur Chedrine en ait rien su, encore moins touché une obole; et sans une lettre écrite de Russie et échappée comme par miracle à celui qui la guettait et qui supprimait les lettres comme l'argent, Chedrine n'aurait rien su de tout ce qui se passait et se serait cru abandonné de la terre entière, comme il en était très persuadé lorsqu'il vint me trouver la première fois. Que Dieu pardonne à celui qui a commis cette infidélité et qui ne l'a pas encore réparée à l'heure qu'il est, car pour moi je sens que je ne pourrai lui pardonner! Le tort qu'il a fait à ce pauvre artiste est incalculable. S'il lui avait remis l'argent lorsqu'il l'eut touché, Chedrine n'aurait pas été ré-

* duit à la dernière extrêmité depuis dix-huit mois, il aurait travaillé, le monument serait peut-être près d'être achevé et envoyé, car le général aurait sans doute continué ses remises, au lieu que ne pouvant supposer que ses lettres et son argent aient été interceptés, il doit naturellement accuser depuis longtemps Chedrine non seulement de paresse et de négligence, mais d'infidélité et d'escroquerie, tandis que ce pauvre homme avait déjà loué un atelier qui lui a été inutile jusqu'à présent et dont le loyer a ajouté à ses détresses, et qu'il avait pareillement marchandé le bloc de marbre qu'il a été obligé ensuite d'abandonner à d'autres, se trouvant hors d'état de remplir ses engagements. On ferait une liste d'une foule d'autres torts, tous également irréparables, qui ont résulté de cette infidélité. Ce n'est pas le moins considérable que celui de nous avoir exposés à calomnier ce brave général Kamenski et à confier à Votre Majesté son secret qu'elle ne devait pas savoir; mais quant à ce dernier point, je ne suis pas encore sans espérance, et si dans l'intervalle de ma dernière pancarte à celle-ci, Votre Majesté n'a pas eu occasion de le divulguer, je suis très sûr qu'il restera renfermé dans son coeur impérial comme le secret des Jésuites dans le coeur royal de Don-Carlos, et que le général ne saura jamais que nous lui avons fait cette injustice sans le vouloir. Au reste, Chedrine cherchera maintenant à l'informer du véritable état des choses, qui est qu'il n'a pas touché jusqu'à ce moment une obole; mais si ce malheur joint au désir le plus vif de se rendre digne des bienfaits de notre auguste Souveraine peut toucher son grand coeur, il aura été la source du plus grand bonheur. En lui accordant une pension de cinq cents roubles avec la permission de passer encore deux ans à Rome et d'y travailler à des ouvrages que Votre Majesté lui ordonnerait, je suis presque sûr que vu le tort qu'on lui a fait et qu'on lui fait encore actuellement, il obtiendrait encore la permission tacite d'exécuter à Rome le monument projeté entre le général et lui. Non seulement il l'y ferait à meilleur marché qu'à Paris; mais je suis sûr que l'atmosphère de Rome et l'air qu'on y respire ne nuiraient point à la beauté de l'exécution.

Après ces éclaircissements et cette apologie nécessaires de Chedrine et de son avocat près du trône de miséricorde, il faut que j'entreprenne aussi l'apologie de Charles Clérisseau: car il ne serait point du tout impossible que le conte qu'on a fait de lui pendant le séjour de Monsieur le Comte du Nord fût parvenu jusqu'à Votre Majesté Impériale, puisqu'il a été mandé à Rome avec la plus grande affectation et qu'ici on en a fait un bruit de l'autre monde. L'envie est bien aussi active qu'aucune des autres vilaines passions dont il a plu au Créateur dans sa haute sagesse d'orner l'âme humaine. Tant que Clérisseau mourait ici de faim avec tout son talent, il n'a

* éprouvé qu'une pitié stérile et insultante; depuis que Votre Majesté a acquis son cabinet, l'envie a succédé à la pitié, et il n'y a point d'exagération qu'elle n'ait adoptée, de peur de manquer de pâture. Ainsi on a dit d'abord que le cabinet avait été payé cent mille écus par l'Impératrice, et que l'envoi du brevet de premier architecte avait été ensuite accompagné d'une pension de douze mille livres. Clérisseau, qui ne prononce jamais le nom de son auguste bienfaitrice sans s'incliner jusqu'à terre, et qui passe sa vie à le prononcer, ne s'étant jamais expliqué sur ce qu'il avait reçu ou ne pas reçu, ne démentit aucune de ces exagérations et arma d'autant l'envie contre lui. Voilà la position où il était à l'arrivée de Monsieur le comte du Nord. Le prince Bariatinski, qui lui a toujours témoigné de l'amitié, l'avait prié peu auparavant de lui faire une note de tout ce qui en fait d'arts pouvait mériter l'attention particulière des augustes voyageurs. Clérisseau fit cette note; il donna même au prince une très bonne idée, pour leur montrer en une seule matinée tout ce que les arts avaient produit depuis le commencement du règne de Louis XVI, et il eut l'honnêteté d'ajouter: «Gardez vous bien, en proposant cela à l'Académie, de dire que l'idée vient de moi; cela gâterait tout». En effet l'idée fut trouvée superbe, on n'en a jamais connu l'auteur, mais elle n'a pas eu d'exécution comme tant d'autres choses. Huit ou dix jours après l'arrivée, Clérisseau se crut obligé d'aller faire sa révérence aux enfants de son immortelle bienfaitrice. Le prince Bariatinski le présenta; mais notre pauvre prince Bariatinski était bien à plaindre dans ce temps-là. Il était assailli de deux cents côtés à la fois, et ne savait à qui entendre; Monsieur le Comte n'était pas moins exposé à toutes sortes d'attaques. Il fallait que Clérisseau eût choisi un de ces moments tumultueux; c'est du moins par là que je puis expliquer ce qui est arrivé. Clérisseau présenté par le prince se trouve un moment après seul en face de M. le Comte du Nord qui vraisemblablement avait compris confusément qu'il avait à faire à un artiste connu de Votre Majesté. Il lui demande, s'il est en liaison avec le général Betski. Clérisseau répond non, et pour remettre M. le Comte du Nord sur la voie, il lui parle de plans d'architecture. Monseigneur, croyant qu'il avait à faire à un de ces gens sans aveu qui excèdent les princes avec leurs projets, lui répond qu'il ne bâtit point, et lui tourne le dos. Clérisseau sort et vient chez moi un peu déconcerté. Moi je me moque de lui, et je lui dis: «Comment, un homme qui a appris à l'Impereur Joseph ce que c'était que l'âme d'un artiste n'a pas su se faire écouter par le Grand-Duc Paul?» Cette mauvaise plaisanterie fut très déplacée. Clérisseau en sortant de chez moi se trouva de plus en plus mortifié. Il écrivit au prince Bariatinski pour le remercier d'avoir bien voulu le pré-

* senter, ajoutant que, quoique cela n'eût pas réussi et que M. le comte du Nord l'eût traité comme un faiseur de projets, il n'en était pas moins reconnaissant, etc. Cette lettre n'était pas mal, il n'y avait qu'une ligne fort ridicule; c'est celle qui disait qu'il ne pourra pas se dispenser de faire part à Votre Majesté de la réception qu'on lui a faite. Il faut que M. le Comte du Nord ait eu connaissance de cette lettre et de la mortification de Clérisseau. Quelques jours après leurs Altesses Impériales allèrent voir la maison de M. de la Reynière, dont Clérisseau avait orné le principal salon. Il s'y trouva une compagnie de plus de quarante personnes, et le maître de la maison avait fait avertir, entre autres, l'auteur du salon. La beauté de ce salon frappa M. le Comte du Nord. Il demanda qui en était l'auteur, et M. de la Reynière en prit occasion de le présenter à son auguste hôte dans un des coins du salon où il s'était niché. Son Altesse Impériale, qui avait toujours comblé des plus grandes bontés tous ceux qui avaient eu l'honneur de l'approcher, voulut apparemment, par un mouvement de cette bonté, raccommoder la première entrevue; elle dit à Clérisseau: «Monsieur, quand vous êtes venu chez moi, je vous ai dit telle et telle chose», et lui dit ainsi les choses du monde les plus agréables. Clérisseau ne comprit nullement cette tournure, et au lieu de s'incliner profondément comme devant l'image de son auguste bienfaitrice, il répondit: «Monsieur le Comte, il se peut que vous ayez eu l'intention de me le dire, mais je n'en ai rien entendu». Cette réponse surprit Monseigneur à son tour qui lui dit: «Il faut donc que vous n'ayez ni oreilles ni mémoire». De là il s'en suivit une conversation dans un coin écarté du salon qui parut d'autant plus étrange au reste de la compagnie qu'elle en était plus éloignée et qu'elle n'avait aucune connaissance de ce qui avait précédé. On en fit cent versions, les unes plus ridicules que les autres, et cependant personne n'avait été assez près pour entendre. Tout ce qu'on en peut dire avec vérité, c'est que son Altesse Impériale en se tournant vers la compagnie, dit en riant: «Jamais je n'ai été si mal mené; j'en ai la chemise collée sur mon dos». Le fait est encore que voulant absolument se raccommoder, Monseigneur alla trois fois bravement à la charge, toujours sans succès, parce que Clérisseau ne voulut jamais comprendre que toutes les choses remplies de bonté qu'on prétendait lui avoir dites, il pouvait les regarder comme reçues en ce moment. Enfin Madame la Grande-Duchesse voulant rompre cette conversation et venir au secours de son auguste époux, dit: «Monsieur Clérisseau, je suis si enchantée de votre salon que j'espère que vous m'en enverrez les dessins et le modèle». Mon ours toujours démonté et ne pouvant se remettre, répond: «J'enverrai ce modèle et ces dessins à mon auguste bienfaitrice où Madame la Comtesse pourra les avoir». Son

* Altesse Impériale insiste et dit: «Ce qui est à l'Impératrice n'est pas à moi; je vous les demande pour moi»; mais il n'y eut jamais moyen de lui faire dire autre chose si non: je les enverrai à mon auguste bienfaitrice. Voilà, Madame, le fond véritable d'une histoire qui a été brodée de cent manières. Je suis bien persuadé que leurs Altesses Impériales n'y ont plus pensé le moment après; mais les envieux, les artistes, les bons amis de Clérisseau n'en ont pas fait de même. On en a fait un vacarme épouvantable; on a dit qu'il fallait le mettre à la Bastille, qu'il allait y être. On a dit qu'il était devenu fou; qu'il avait déjà eu un pareil accès de folie avec l'Empereur. Clérisseau n'est pas le plus indulgent de ses juges; il se reprocha beaucoup de n'avoir pas répondu par de profondes révérences et un respectueux silence; mais quand il s'est fait tous ces reproches, il dit: «On ne refond pas, hélas! son caractère». L'Empereur peut bien avoir dit à Votre Majesté que c'est un original, mais sûrement pas un fou. Ce Monarque l'honora de deux visites, la première avec sa suite, la seconde seul. Dans celle-ci Clérisseau lui dit: Savez-vous ce que c'est qu'un artiste? D'un côté il a son crayon, de l'autre on lui offre vingt mille livres de rente s'il veut quitter son crayon. Il vous jette vos vingt mille livres de rente à la tête et garde son crayon qui le rend plus heureux que tous les trésors de la terre. — Et si je vous les offrais, reprit l'Empereur? — Vous en êtes incapable, replique Clérisseau. Et l'Empereur le frappe sur l'épaule et dit: «Voilà un brave homme!» Quand j'ai vu par les lettres de Rome que cette histoire y avait été mandée avec toute la rocambole la plus ridicule, je me suis reproché de ne l'avoir pas mandée dans le temps à Votre Majesté Impériale, car il serait très possible qu'elle ait fait l'entretien de Pétersbourg comme de Paris: toutes les capitales se ressemblent, l'oisiveté et le désoeuvrement veulent y être amusés tant bien que mal. La crainte d'ennuyer Votre Majesté par des détails si fastidieux m'a seule empêché, mais nullement la crainte qu'ils ne fissent tort à mon original de Clérisseau dans l'esprit de celle à qui il doit tout. Il n'est pas sur ce point aussi tranquille que moi; mais ses remords doivent expier sa faute.

Ce 2 (13) novembre.

La mienne, Madame, serait impardonnable si je ne songeais pas à finir cette pancarte après avoir demandé à Votre Majesté Impériale pardon de son ennui. Je crois que je vais la confier à M. Neubaum, autre associé ou chef de la maison Thames à Moscou. Il la portera au moins un bout de chemin avec lui. Puisse-t-elle arriver au pied du trône le jour de Sainte-Catherine

* et rappeler à Votre Majesté que ce jour il y aura grande fête et grand vacarme dans le taudis du souffre-douleur, qui tant qu'il vivra sera avec le plus profond respect,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

№ 40.

Allerunterthänigster abgedrungner Vortrag, betreffend Betteleyen und andere Bedrängnisse.

Madame,

Si les bontés de l'Impératrice, ma très gracieuse et amabilississsissime Souveraine ont fait de moi un des plus grands et des plus glorieux personnages de ce siècle, il faut convenir que la plus belle-médaille a son revers, et que dans un autre sens elles ont fait de moi einen armſeeligen, geplagten und geſchornen Mann. Je griffonnais en paix une pancarte destinée à celle qui tient ma destinée ainsi que bien d'autres entre ses doigts, pour la lui dépêcher à la première occasion: car depuis qu'elle ne m'écrit plus par la poste, moi aussi j'ai la fantaisie de ne lui écrire que par courrier, et malheureusement pour moi les temps ne sont pas aussi féconds en courriers qu'en miracles. Je préparais donc ma pancarte pour la première occasion, lorsque deux hommes, l'un en Hollande, l'autre en Allemagne, se sont avisés le même jour de troubler ma tranquillité par deux lettres. C'est assurément troubler ma tranquillité que de me forcer la main pour importuner Votre Majesté Impériale.

Commençons par la lettre d'Allemagne. Il y a plus de deux ans que je suis continuellement bombardé de lettres, de sollicitations, pour porter les besoins du baron le Fort au pied du trône, et que je perds mon temps à faire des réponses pour me refuser absolument à ce qu'on exige de moi. Il est bien vrai que je connais ce baron le Fort pour un très honnête homme, qui a toute sa vie servi en France avec honneur et qui est père d'une nombreuse et charmante famille; mais quel droit ai-je, moi, d'importuner l'Impératrice pour tous les braves gens qui ont des enfants aimables? J'ai donc toujours résisté et dit qu'il fallait chercher d'autres canaux. Aujourd'hui on m'en fait une affaire de conscience. On me dit que si je ne veux pas faire parvenir cette requête au pied du trône de miséricorde, c'est moi seul qui aurai empêché la fortune de toute une famille intéressante, parce que Monseigneur le Grand-Duc, à son passage par Carlsruhe, a promis d'appuyer la

* requête de sa protection. Que ne s'en chargeait-il? Que ne la faisait-il présenter par Monsieur Alexandre ou le Sieur Constantin? Apparemment qu'elle n'a pu être dressée pendant le peu de temps que leurs Altesses Impériales ont passé à Carlsruhe, et qu'on a dit: Il n'y a qu'à l'envoyer au souffre-douleur; à quoi est-il bon s'il ne peut pas présenter un chiffon de papier? Eh bien, Madame, je le dépose au pied du trône de miséricorde, pour qu'il ne soit pas dit que c'est ma dureté qui a empêché la fortune de toute une famille.

Voilà pour la Betteley, voici pour die Bedrängniße. La lettre de la Haie m'a fait mal. Nota qu'il y a un siècle que je n'en avais reçu et que je n'ai nul commerce réglé. Pourquoi me choisit-on donc de préférence? Pourquoi ne s'adresse-t-on pas directement au trône de miséricorde? Pourquoi n'y expose-t-on pas sa situation? Croit-on que je puisse ou veuille me mêler des arrangements que mon auguste Souveraine prend dans sa sagesse et pour raisons à elle connues? Das thun die Leute von Grimma nicht. Tout ce que je puis faire c'est de lui envoyer la lettre telle qu'elle m'arrive, parce qu'il n'y a jamais de mal que les Souverains connaissent l'état des choses et l'intérieur comme l'extérieur de leurs serviteurs.

Puisque ma triste destinée m'a poussé mitten unter die Bettler und Bedrängte, je demanderai à Votre Majesté Impériale, enhardi par sa longanimité à moi seul connue, que faut-il répondre à la requête de Madame d'Angeli, pour laquelle on me tourmente depuis six mois et au projet de dédicace de M. Charles Dupuis? O ich armer, geplagter und geschorner Mann! Pour comble de malheur le divin me salue d'une lettre dans laquelle Votre Majesté entendra parler pour la première fois de ses fileurs et fileuses qui allaient si bien, parce que l'Impératrice n'en entendait pas parler.

Je viens de lire dans la gazette de Hambourg l'article suivant: Der erste Theil des Polizey-Reglements, eines trefflichen Werks unserer unsterblichen Kaiserin, erscheint nunmehr ins Deutsche übersetzt. Ihro Kaiserliche Majestät haben befohlen diesen ersten Theil sogleich an allerhöchst deroselben Schmerzbulder in Paris abzufertigen, damit dieser alberne Mensch seine kritischen Anmerkungen darüber ausbrüten könne. En conséquence de cet article j'attends à tout instant ce Réglement de mon bienfaiteur, le Factotum impérial, et j'espère qu'il aura la charité de me mander aussi l'arrivée de M. Yachantov à bon port avec sa pacotille, afin que le souffre-douleur dorme tranquille. Cela n'est pas aisé par le temps qui court. On parle tant des grands projets de notre grande Impératrice, que ce pauvre diable en est tout étourdi et qu'il dit plus que jamais: Wenn ich aber nur wüßte, was sie treibt, was sie handthiert und was sie im Sinne hat. Ich verlange ja nur Kleinigkeiten. Ce dernier

* point surtout est de toutes les minuties la plus minutieuse. Quoi qu'il en soit de ses desseins, je chante jour et nuit avec les gens de Grimma suivant la véritable mélodie de Hendel! God save our Empress!

A Paris, ce 17 (28) octobre 1782.

№ 41.

Allerunterthänigstes, unvermuthetes Vorträglein.

Madame,

Je viens de faire connaissance avec Messieurs Neubaum et Griff, qui sont les chefs d'une des principales maisons de banque de Moscou. L'un d'eux arrive d'Angleterre, où il a passé beaucoup de temps, et va partir pour retourner à Moscou. Voilà un de ces hommes avec qui j'aime à la passion de m'entretenir et de parler de cette grande et immortelle Souveraine que les gens de Grimma adorent. Cela ne peut être soupçonné d'aucun autre intérêt que celui de rendre justice à qui il appartient, d'aucune flatterie, d'aucune Nebenabſicht, et cela parle de l'Impératrice comme j'en pense. A force de l'éplucher pendant trois quarts d'heure, et de passer en revue tous ses glorieux desseins, toute cette constance infatigable pour le bien de son empire, cette justesse de son coup d'oeil et sa portée, ses principes inaltérables et toujours confirmés par l'expérience, j'ai été attendri jusqu'aux larmes, et me suis trouvé soulagé quand mon homme m'a quitté, parce que j'ai pu leur donner un libre cours. Combien de souvenirs une telle conversation ne réveille-t-elle pas, et qu'on se trouve malheureux alors d'avoir connu Votre Majesté! Une des choses qui m'ont le plus touché, c'est la remarque qu'il m'a faite sur le respect qu'on porte en tous lieux au nom de notre Impératrice, et combien de fois les Anglais disent: ah, si nous avions une telle Souveraine à la tête de notre gouvernement! Ce n'est pas que sur ce point, comme sur aucun autre, il m'ait appris rien de nouveau; mais les coureurs de pays sont bien aises quand d'autres coureurs de pays dont ils estiment la tête leur répètent les observations qu'ils ont faites eux-mêmes. Et puis, on jette un coup d'oeil sur la postérité, et l'on se dit: Avec quelle admiration, avec quel attendrissement le nom de Catherine ne sera-t-il pas prononcé! Et puis on s'enorgueillit, on se félicite de l'avoir connue. Et puis, on se prosterne à ses pieds, et l'on baise la terre que ces pieds ont foulé.

Quand cet homme-là est sorti et quand on a assez pleuré, l'on est bien tenté de ne pas le laisser partir pour la Russie sans le charger de quelque chose pour Votre Majesté Impériale. Il est vrai qu'il va à Moscou sans passer par Pétersbourg; mais il ne m'a pas moins promis que mon paquet

* serait porté par des mains sûres de Moscou à Pétersbourg entre les mains du général-Factotum impérial. En conséquence je charge M. Griff qui part, après m'avoir si rudement secoué: 1°. d'un médaillon à l'honneur de l'Astrée de toutes les Russies, qui a été projeté ici par je ne sais plus qui, dans le temps que nous avions l'honneur de posséder Monsieur le Comte du Nord. Cet hommage est donc bien désintéressé, puisque je ne sais plus même en indiquer l'auteur; mais dans la foule qui m'obsède et que je suis obligé d'éconduire de chez moi avec une politesse sans cesse renaissante, il est impossible de retenir tous les noms. Je croyais que celui-ci avait eu moins mis son nom à son explication. 2°. Le catalogue des effets précieux qui composent le cabinet de feu M. le duc d'Aumont, qui, en son vivant, avait eu grand désir d'entrer en brocantage avec Votre Majesté Impériale. Dieu merci, après sa mort il ne me fera plus peur: car lorsque ce catalogue sera entre les mains de Votre Majesté, tout sera déjà vendu au plus offrant et dernier enchérisseur; mais le catalogue peut être parcouru et les dessins regardés, sans qu'il en résulte aucune inquiétude d'esprit pour le souffre-douleur. 3°. Les deux mémoires de M. le docteur Samoïlowitch sont un présent que ce brave homme m'a fait, et dont je ne peux faire un meilleur usage qu'en le portant aux pieds de sa Souveraine et de la mienne. M. Samoïlowitch n'est pas de ceux que j'éconduis de chez moi, mais comme je dois parler de lui dans ma pancarte, je ne veux pas m'étendre ici sur son sujet. 4°. Dans une boîte séparée, à l'adresse de mon auguste Souveraine, Votre Majesté trouvera deux pierres gravées que le diable m'a tenté d'acheter à cause du bon marché. L'une, la sardoine, est l'Amour et Psyché della Casa del conte Fede in Roma, bel ouvrage de Pichler; l'autre, la cornaline, est une Léda. Je n'ai pas succombé à la tentation du malin, sans consulter le bailli de Breteuil; mon autre oracle, M. d'Ennery, étant absent, Votre Majesté trouvera ici le jugement du bailli. Quand j'ai vu qu'à Rome la sardoine seule pouvait valoir 30 sequins, j'ai jugé que je ne ruinerais pas l'Impératrice, en payant pour les deux pierres les 12 louis qu'on me demandait. On n'a pas voulu les séparer, sans quoi je n'aurais pris que la sardoine; cependant vu la modicité du prix, on peut regarder la seconde comme pour rien. Je fais ces sortes d'emplettes en vertu d'un ordre exprès de Votre Majesté Impériale de l'année dernière, qui me l'enjoint; mais comme la gloutonnerie doit être rassasiée par les gros plats du bailli, Votre Majesté ne daignera-t-elle pas me dire un de ces jours: Halte-là, mon souffre-douleur, je n'ai plus besoin de rien en fait de pierres? Nun der lebendige Gott wache über ſeine Geſalbte, und laße es ihr wohl ſeyn, und thue mit ihr wie ſie mit uns thut. Er begleite auch meinen wackern Griff mit ſeinen Schutzengeln nach

* Moskou und meine Päcklein zu unserer großen Kaiserin Füßen, wo ich armer Teufel leider! nicht bin. Amen.

A Paris, ce 21 octobre (2 novembre) 1782.

№ 42.

Allerunterthänigster, höchstwichtiger, höchst politischer, höchst Erbsensuppen schmeckender Vortrag.

Madame,

J'espère bien que Votre Majesté Impériale n'entreprendra pas la lecture des papiers ci-joints sans un profond recueillement, sans avoir préalablement invoqué le Saint Esprit dont l'église grecque a la réputation de faire peu de cas, sans faire usage de cette force de tête dont ils disent que le ciel a doué l'Impératrice des Grecs et dont je n'ai jamais eu occasion de m'apercevoir. Après la lecture faite, viendra le tour du Factotum impérial et de tous ceux dont Votre Majesté voudra savoir l'avis. Quant à moi, j'ai reçu ces papiers du divin de Rome, pour les faire passer au pied du trône de la Diva Catharina. Je n'y joins pas dans ce paquet-ci sa pancarte, laquelle, contenant autres choses, je réserve pour un autre paquet. Je ne sais pas même encore par quelle voie je ferai passer ce paquet-ci au pied du trône de mon auguste Souveraine, mais je le ferme toujours à bon droit, de peur que le secret ne transpire, que le parfum de la soupe aux pois, auquel le salut de l'empire est ataché, ne s'évapore et ne passe dans d'autres cuisines politiques. Au reste, ni le divin ni moi ne connaissons les cuisiniers fricasseurs de cette soupe; ils se sont adressés au divin par une voie mystérieuse, et ne se feront connaître que lorsque Votre Majesté les mettra à l'épreuve en présence des mangeurs de soupes aux pois de profession. Nous autres profanes, divin et compagnie, nous attendrons en toute humilité l'ordre de Votre Majesté Impériale pour savoir s'il faut laisser ces fricasseurs dans le nuage dont ils se sont enveloppés ou s'il faut les solliciter de se mettre en évidence.

Quand je réfléchis quelquefois, c'est-à-dire, jamais plus de deux ou trois cents fois par jour, qu'il y a tout à l'heure quatre mois que j'ignore parfaitement ce que fait et pense l'Impératrice, j'ajouterais presque avec autant d'insolence que d'inquiétude: *se più di me si cura, se parla più di me*; quand je pense que je n'ai aucune nouvelle de l'arrivée du seigneur Yachantof ni de plusieurs autres guenilles dont il a été précédé, il me prend des peurs accompagnées de sueurs froides, non d'être oublié par celle qui tient ma vie dans ses mains, car les gens de Grimma chantent avec l'homme de Dieu, Mar-

* tin Luther: Eine feſte Burg iſt unſer Gott, eine noch feſtere unſere Kaiſerin; mais je crains quelquefois horriblement que notre Impératrice suivant ses us et très adorable coutume n'écrive journellement quelques lignes pour la consolation et le salut de son pauvre souffre-douleur; que ces lignes s'accroissant insensiblement ne s'égarent à la longue sur la table impériale, et que finalement elles ne restent perdues pour celui dont elles font la gloire et la félicité suprême. Perte funeste qui entraînerait bientôt celle du possesseur de cette félicité: tant il est dangereux de jouir d'un bonheur qu'on n'a pas mérité. Je ne cache pas à Votre Majesté que je tremble et pâlis, en considérant que de longtemps peut-être aucun courrier ne dirigera sa route vers nos contrées. Que deviendront donc les gens de Grimma? Nun, das weiß der barmherzige Gott, aber ſie ſingen und ſchreyen mit großer Zuverſicht: Eine veſte Burg iſt unſere Kaiſerin, Sie wird ſchon Mittel finden.

J'ai dîné aujourd'hui à côté de M. de la Herreria qui pendant tout le dîner n'a cessé de me parler de Votre Majesté. Cela m'a paru bien dur. Comment donc faire et où se sauver pour n'en plus entendre parler? Votre Majesté a beau me dire, suivant sa louable coutume: «Ne pourriez-vous pas parler d'autre chose», cela ne me sauve pas une syllabe. Il faut m'indiquer un pays où je n'en entendrai plus parler avec la route que je dois tenir pour m'y rendre. Est-il vrai que Votre Majesté fait publier par son Académie des cahiers de botanique qu'elle fait orner de superbes planches gravées à ses frais? L'ambassadeur de Suède me tourmente impitoyablement pour lui procurer cet ouvrage, et moi, ô honte ineffaçable! j'en ignore jusqu'à l'existence. S'il se vend, nous le paierons; mais s'il ne se vend pas, comment faire?

J'ai vu ces jours-ci un certain M. Melon, intrépide voyageur, dont le père a écrit le premier ouvrage sur le commerce en France. Il a été à Constantinople, en Egypte, aux Indes, au diable. Ayant passé l'hiver dernier à Mayence, il s'est trouvé en Août à Pétersbourg à l'inauguration de la statue, sans trop savoir comment, et après y avoir passé six semaines, il est tombé chez moi bien vite, pour s'en aller en Bretagne aux Etats. Le nigaud n'a pas eu l'esprit d'approcher le chef de l'empire et de l'église des Grecs. Il a vu un ou deux fois et peut-être trois le prince Potemkine, mais dans les derniers jours de son séjour, et regrettant de ne l'avoir pas vu plutôt; il en a été parfaitement bien traité, et il est venu me dire que ce prince avait beaucoup d'esprit et qu'il était très aimable. Il m'a confié aussi que quand on voulait savoir ce que vaut l'Impératrice, il fallait la voir opérer de près, et pas seulement voir ce qu'elle faisait, mais comment elle le faisait. Voilà de ces observations qui renversent toutes les miennes. Et comment fera-t-elle

* donc pour entrer dans le royaume des cieux où il n'y a de la place que pour les pauvres d'esprit? Nun God save our Empress! Aber als ein getreuer Diener rath ich Allerhöchſt Ihro Majeſtät ſich da ſo ſpät als möglich anzumelden, ſonſt geht die Thüre nicht auf, und das wäre eine große Schande.

A Paris, ce 10 (21) novembre 1782.

№ 43.

Allerunterthänigster, höchstwichtiger Rechnungs-Vortrag.

Madame,

Les bourguemaîtres et autres gens de Grimma constitués en dignité viennent d'ordonner dans la dite communauté la célébration et observation rigoureuse d'un jour solennel de jeûne, de prières et de pénitence, à cause de la terrible aridité dont il a plu au ciel de les visiter dans sa colère, aucune rosée bienfaisante du septentrion n'étant venue depuis plus de quatre mois, rafraichir et vivifier leur foi réduite aux abois. Mais malgré la détresse où ils se trouvent, malgré les cris perçants avec lesquels ils appellent cette rosée divine et essentielle à leur existence, leur foi et confiance dans la dispensatrice suprême de tout bien ne sont pas moins restées constantes et inébranlables. Ils se sont rappelés des temps d'une disette plus longue et plus alarmante et qui a fini par répandre des bénédictions d'autant plus abondantes et plus célestes sur leur sol gémissant et épuisé. Ainsi au milieu des atteintes de la soif la plus ardente, ils chantent à plein gosier, comme s'il n'était pas à moitié desséché: Durch Catharinens Schild gedeckt, kann uns kein Unfall treffen: ein ſehr troſtreiches Lied, welches der ſeelige Mann Gottes, Martin Luther, wider die großen Anfechtungen zum Labſal aller Schmerzbulder aufgeſetzt. Au fond, une seule inquiétude les tracasse. Ils voudraient avoir la certitude que la pacotille confiée au courier Yachantov est arrivée intacte aux pieds de leur auguste bienfaitrice; et il y aura tout à l'heure trois mois que ce porteur de pacotille est parti de Paris, sans qu'ils aient pu s'en procurer la moindre nouvelle. Das iſt ein wenig hart.

Comme dans les douleurs inévitables, il faut savoir se donner le change et se distraire, j'ai conseillé aux gens de Grimma de s'occuper à compter les deniers de Sa Majesté Impériale confiés à leurs soins. D'ailleurs, si leur destin funeste voulait que la main bienfaisante de leur Impératrice se retirât de dessus d'eux et les condamnât à périr, il serait plus essentiel encore que leurs comptes fussent en règle, et que dans aucun cas ils ne partageassent les honneurus brillants de banqueroutier avec M. le grand chambellan de France prince de Guémenée. Je supplie donc Votre Majesté Impériale, et

* j'osè même l'exiger de sa bonté, de jeter les yeux sur le compte ci-joint, de l'examiner ou le faire examiner et vérifier avec toutes ses pièces justificatives et de m'en faire notifier la réception pour la décharge de ma conscience. Il y a plus d'un an ou dix-huit mois que Votre Majesté a daigné m'offrir de son propre mouvement, de m'envoyer une décharge en règle de tous les deniers qui m'ont passé par les mains. J'ai accepté cette offre comme un nouveau bienfait; mais elle n'a pas été réalisée jusqu'à présent; je serais cependant bien charmé de laisser à mes héritiers ce gage de la fidélité et de l'exactitude de mon administration.

J'espère, Madame, que Votre Majesté Impériale trouvera la même clarté dans ce compte que dans les précédents. M. Scorodoumov m'ayant représenté que ses services ne manqueraient pas de rester longtemps inutiles à notre auguste Souveraine, si je ne lui permettais pas: 1°. d'engager ici au service de Votre Majesté un ouvrier intelligent à qui il pût faire faire l'impression de ses estampes sous sa direction, 2°. d'acheter une presse, plusieurs rames de papier servant à l'impression des estampes, ainsi qu'une provision de noir d'impression, enfin tout ce qu'il n'aurait pas pu avoir aisément à Pétersbourg pour mettre au jour ses talents, j'ai cru devoir me prêter à ses désirs. Je n'ai retranché de sa liste que l'article des cuivres, en lui observant qu'il les trouverait à meilleur marché et de meilleure qualité à Pétersbourg. Tout cela y doit être arrivé depuis longtemps, y compris lui et son imprimeur. J'ai fait fournir cet argent sur ses reçus, et c'est à lui de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait. J'espère que Votre Majesté approuvera cette dépense à laquelle j'ai cru devoir me prêter. Dieu veuille que tout ce que le sieur Balu a mandé à sa femme sur le bonheur de son début, soit aussi vrai que les détails qu'il lui a faits de la magnificence de la cour, de la beauté de la capitale, et ce qui ne touche pas moins un homme de son état, de celle des offices! Je les ai trouvés très exacts, et sa chère moitié en est restée tout ébahie.

Je remarque en finissant que je n'ai plus aucun crédit de la part de M. le procureur général, mais qu'il me reste entre les mains, suivant ce compte, une somme de vingt mille livres de France dont Votre Majesté Impériale peut disposer à tout instant suivant son bon plaisir. Il est toujours entendu qu'en cas de mort, on trouvera dans la maison Girardot, Haller et C^{e} le dépôt des deniers dont le souffre-douleur au moment de son décès sera comptable à son auguste Souveraine, sous la protection de laquelle il se repose de ses calculs, de même qu'il la confie à l'oeil du Tout-puissant pour la gloire et la prospérité de l'empire et le salut du genre humain.

A Paris, ce 20 novembre (1 décembre) 1782.

№ 44.

Allerunterthänigster, etwas kläglich lautender, aber auf Kaiserliche Huld und Gerechtigkeit fest trauender Vortrag.

Madame,

J'aurais dû dépêcher la pancarte ci-jointe du divin de Rome avec la proposition du chiffre et d'autres arcanes impénétrables, mais ce qui le regarde personnellement dans cette pancarte, et sa crainte d'avoir été calomnié auprès de son auguste et unique bienfaitrice, m'ont paru mériter une attention particulière de ma part, et j'ose en conséquence fixer un moment les regards de la justice de Votre Majesté Impériale sur les complaintes du susdit. Il existe dans ce monde un petit nombre d'hommes qui n'ont d'autre patrimoine et de richesse que leur probité; il est vrai qu'ils en sont fiers et jaloux à l'excès, et comme c'est le bien dont ils font le plus grand cas possible, ils pardonneraient plutôt un attentat contre leur vie que contre leur probité. Le divin est de ce petit nombre. S'il avait manqué de delicatesse et d'honnêteté, ayant passé la plus grande partie de sa vie à Rome continuellement chargé par des princes et des particuliers de commissions, d'achats, d'envois de toute espèce, ils ne serait pas arrivé à l'âge de plus de soixante ans sans être riche ou du moins à son aise, et il est notoirement si loin de cet état d'aisance, que sans le bienfait que Votre Majesté lui a accordé dans ses dernières années, il n'aurait pas de quoi se faire enterrer avec le temps. Son désintéressement est si connu à Rome qu'il sert de risée à un peuple pour qui cette qualité et l'imbécillité sont synonmes. Lorsque Votre Majesté, l'employant à l'exécution de ses ordres, a cru, suivant sa générosité accoutumée, devoir y ajouter le don d'une pension, il s'est trouvé dans une situation si neuve, dans un embarras si grand de sa richesse, que le premier emploi qu'il en ait fait, c'est de faire ériger un monument dans le Panthéon ou dans la Rotonde à son ami Winkelmann. Ensuite il s'est mis dans la tête qu'il ne devait plus accepter de l'argent d'aucun Russe, et qu'il devait être à leurs ordres et les servir pendant et après leur séjour à Rome sans aucune rétribution. Je n'ai appris ces faits que successivement et par hasard, et n'ai pu m'empêcher de l'en gronder, mais il est plus aisé de le gronder que de le corriger. S'il est vrai qu'on ait voulu le calomnier auprès de Votre Majesté, ce dont j'aime encore à douter, c'est d'autant plus mal que la personne, quelle qu'elle soit, qui ait osé l'entreprendre, a eu à coup sûr à se louer personnellement de son désintéressement. Quoiqu'il en soit, il donnera certainement un fier démenti à cette calomnie à sa mort, car il mourra pauvre comme un rat d'église, et cette pauvreté ne pourra s'attribuer à dé-

* faut d'ordre ou goût pour la dépense, car c'est l'homme du monde qui vit avec le plus de simplicité et de frugalité, et tout le reproche qu'on pourra lui faire, tombera sur les secours prodigués en cachette à de pauvres artistes pour les soutenir et les mettre en état de faire des progrès. Que ceux qui n'ont pas les mains pures ou qui du moins ne les ont pas imbéciles, respectent les imbéciles qui ne savent pas prendre de toutes mains et qui mettent leur vanité dans un désintéressement peut-être outré. Leur nombre ne sera jamais bien effrayant; d'ailleurs, plus il y en aura, mieux ce sera pour les gens à toutes mains, parce qu'il restera plus à happer.

Je ne me serais pas permis, Madame, cette apologie en faveur d'un honnête homme devant le trône de justice et de miséricorde, sans le malheur qui lui est arrivé de se laisser si rudement duper avec les tableaux achetés pour le compte de Votre Majesté Impériale, malheur dont il n'est pas encore consolé et dont il ne se consolera jamais. J'ai parlé de ce malheur au bailli de Breteuil avec le chagrin que j'en ai ressenti moi-même; il m'a donné une solution de ce problême, en m'apprenant comment les choses se passent à cet égard à Rome. Il y existe de temps immémorial une convention tacite qui n'a jamais été ni écrite ni signée, mais qui ne s'exécute pas moins rigoureusement entre les brocanteurs et les artistes. Quelqu'un se propose de faire des emplettes en tableaux; il mène un artiste ou plusieurs chez le brocanteur pour le diriger dans son choix. Si le marché se conclut, le brocanteur envoie tant pour cent, et ce n'est pas une rétribution médiocre, à chacun des artistes arbitres qu'il n'a peut-être jamais vus auparavant. Ceux-ci ne s'informent pas trop d'où leur vient ce présent: il en résulte seulement que plus le brocanteur vend cher, plus la rétribution est considérable. On conçoit combien le brocanteur Jenkins qui a eu une grande partie de l'Angleterre à meubler avec ses croûtes, doit avoir été une bonne pratique pour les artistes arbitres. Le bailli de Breteuil, à qui son expérience des choses de la vie a appris à ne s'étonner de rien, me dit: «Comment voulez-vous qu'un homme naturel comme Reiffenstein qui ne sait se défier de rien, qui croit tous les hommes aussi honnêtes que lui, qui a un si grand respect pour l'art qu'il ne trouve jamais ses productions payées trop cher, ne soit pas attrapé, lorsque, consultant les plus grands artistes de Rome l'un après l'autre ou tous ensemble, il les trouve tous d'accord sans aucun complot de leur part?» Je conçois, Madame, qu'il est difficile pour un homme simple et droit de se garantir de ce piége, mais il n'en est pas moins malheureux quand il s'y voit pris. Personne ne sait mieux que moi comment avec le zèle le plus pur et le plus ardent pour son auguste Souveraine, on peut la servir très mal, comment plus on se défie de ses propres lumières,

* plus on peut faire de faux pas; la seule consolation qu'il y ait à tous ces chagrins, c'est que ce temps d'épreuves, de fautes et de malheurs est passé, que l'Impératrice de toutes les Russies et de tous les coeurs regorge de tant de trésors que ni souffre-douleur ni divin ne peut plus se trouver exposé à aucune épreuve de cette espèce, tous les engouements, toutes les grandes maladies de Sa Majesté devant être passes et radicalement guéries.

S'il est vrai qu'on ait voulu nuire au divin auprès de son auguste bienfaitrice, il est naturel que sa lettre ait fait faire plus d'une réflexion au souffre-douleur, qu'elle l'ait fait replier sur lui-même et dire avec son Sauveur: Geſchieht das an dem grünen Holz, was wird an dem dürren werden? Ou ce qu'on dit des hommes est faux, ou je dois être incomparablement plus exposé à la calomnie que le divin, parce que Votre Majesté m'a comblé des bontés les plus précieuses de sa bienveillance impériale pendant tant d'années et que j'ai également dépensé un argent immense en commissions et exécution des ordres de Votre Majesté, et souvent avec le même bonheur que mon confrère en nigauderie, le divin de Rome. Cependant je suis sur ce chapitre pour le moins aussi chatouilleux que lui, et comme il n'est pas possible de fournir des preuves positives sur un fait négatif, il m'a passé par la tête de déposer dès à présent mon bilan aux pieds de mon auguste Souveraine, afin que Votre Majesté puisse reconnaitre immédiatement après ma mort, que ma fortune n'ayant reçu aucun accroissement dont l'origine ne soit connue, je n'ai point forfait au respect que tout homme d'honneur doit se porter à lui-même et qui est certainement d'une valeur qu'aucune richesse du monde ne peut remplacer.

Mon compte rendu ne sera pas aussi étendu ni aussi compliqué que celui de M. Necker; il ne sera pas aussi concis que celui que Votre Majesté m'a rendu l'année passée en cinq lignes. Tant fait pour la prospérité de l'empire, tant pour l'avantage et l'exemple de l'Europe, tant pour le bien de l'humanité, donne tant en droits à l'admiration et à la reconnaissance de son siècle, tant en gloire pendant son règne, tant en immortalité près les races futures. Cela est clair, furz und gut; un enfant peut faire ce compte là quand les choses sont faites. Es iſt aber auch zu bemerken daß nur eine zweite Catharine und nicht zwey Catharinen ſeit der gnadenreichen Geburt unſers Erlöſers ſich dieſer irdiſchen Welt gezeiget haben. Le compte rendu par le divin pourrait être de cette brièveté-là. Pauvreté, frugalité, indépendance, reste au moment du départ pour l'autre monde, zéro; mais moi qui suis devenu un homme opulent par les bienfaits de Votre Majesté, il me faut trois fois plus de papier qu'à l'Impératrice et au divin, pour rendre mon compte clair.

* Au moment où je suis arrivé en Russie j'étais parvenu à me faire par mon travail et mes épargnes environ mille roubles de rente viagère; c'était tout mon avoir. Entre mes deux voyages de Russie j'ai eu le malheur d'hériter d'un de mes frères vingt mille livres de France. Après avoir prodigieusement dépensé en voyages pendant près de cinq ans, je me suis trouvé à mon retour de Pétersbourg vers la fin de 1777 encore une somme de trente mille livres de reste, d'où il s'ensuit que les dons de Votre Majesté ont été très considérables pendant mes deux séjours. Me trouvant donc un capital de 50 mille livres par la réunion de ces deux sommes, je l'ai placé au commencement de 1778 chez M. le duc d'Orléans qui m'en paie cinq pour cent d'intérêt, en retenant les impositions royales, c'est à dire trois vingtièmes à cause de la guerre maudite. C'est en quoi consiste mon bien; il n'a été ni diminué ni augmenté d'une obole depuis cette époque, c'est à dire pendant tout le temps de ma gestion des deniers de Votre Majesté Impériale. Je vis sur mon courant formé par mon petit revenu combiné avec mes appointements de Gotha. Cela ne fait pas une forte masse, mais j'ai compris de bonne heure qu'on n'était riche que des besoins qu'on n'avait pas, et sans les dépenses que la décence de ma place de ministre exige, je ne saurais vraisemblablement que faire de mon argent. Il a plu à Votre Majesté d'ajouter à cela, sans me consulter, deux mille roubles de pension; ce n'est pas au vermisseau à demander: Rosée bienfaisante du ciel, pourquoi me viens-tu? Mais j'ai senti que ce bienfait si peu mérité ne devait pas être regardé et dépensé comme un revenu. Je le mets en réserve tous les ans, et comme la guerre a obligé le Roi de France de créer beaucoup de rentes viagères et que la dignité de ma représentation exige une dépense proportionnée à son importance, j'ai eu l'ambition d'augmenter mon revenu par mes épargnes. J'ai emprunté à diverses reprises de l'argent pour me faire des rentes viagères, et suis parvenu à me faire encore près de deux mille roubles de rentes. Ces rentes je les emploie, avec la pension de Votre Majesté, à rembourser successivement l'argent qu'on m'a prêté à intérêt. Si je vis assez pour rembourser tout cet argent, je me trouverai fort au-dessus de mes affaires; si je meurs avant, les 50 mille livres placées chez M. le duc d'Orléans répondront suffisamment de ce qui restera encore à acquitter au moment de ma mort; et voilà la simplicité et la clarté qui conviennent à l'administration des finances d'un grand empire; je suis une espèce de petit Necker dans la précision de mes combinaisons. Mais comme à mon âge il m'a trop répugné de constituer ces rentes sur ma tête et de les laisser éteindre avec moi, j'ai associé, moyennant quelque dépense ou quelques privations de plus, la tête de la petite Emilie, sans qu'elle s'en doute, à la

* mienne, de la même façon dont j'ai accouplé Louis XVI et Lehnchen von Dresden; et j'ai la satisfaction dès à présent de penser que la petite Emilie jouira de ces rentes après moi pendant sa vie, et que le bienfait de Votre Majesté non mérité de ma part, aura servi à son profit comme au mien.

Somme totale: Je dois, comme tant d'autres, toute ma fortune aux bienfaits de Votre Majesté Impériale, et par ricochet Emilie de Belsunce en bénira un jour mon auguste bienfaitrice; mais ma fortune est bornée, et ses sources sont connues; et j'ai l'orgueil de me croire si fort au-dessus des atteintes de la calomnie qu'à tout hasard je brave ses flèches empoisonnées avec une confiance entière dans la justice du génie tutélaire et protecteur de l'empire de Russie et des gens de Grimma. La dernière grâce que j'espère d'en obtenir après toutes celles dont j'ai été comblé, c'est qu' immédiatement après mon décès il plaise à Votre Majesté de se faire rendre compte de l'état de ma succession; et si le compte de mes exécuteurs testamentaires n'est pas conforme à celui que je viens de rendre, je consens que ma mémoire soit flétrie.

Après avoir ennuyé Votre Majesté Impériale de l'apologie, à ce que j'espère, très peu nécessaire du divin, à laquelle il m'a passé par la tête, je ne sais comment ni pourquoi, de coudre la mienne, je devrais me cacher de honte et m'enfuir à toutes jambes; mais avant de fermer cet ennuyeux et par conséquent coupable griffonnage, il faut que je dise à Votre Majesté un mot du docteur Samoïlowitch. Toutes les fois qu'un Russe de cette trempe se présente chez moi, je sens mon coeur tressaillir, et il me prend envie de fixer sur lui un instant les regards bienfaisants de son immortelle Souveraine, à qui je désire des sujets de cette trempe par milliers et par millions, parce que c'est alors qu'ils seront dignes de la posséder. Ce jadis chirurgien devenu médecin s'est fait une réputation, à ce qu'il me paraît, bien méritée en France et en Allemagne, et va tâcher de la mériter en Angleterre. Il est rempli de zèle et de bonnes vues pour sa patrie, et si ce zèle est encouragé par ceux qui sont chargés de l'exécution des grands desseins et des intentions bienfaisantes de Votre Majesté, la Russie verra bientôt de tous côtés et dans tous les genres, des gens de mérite et de capacité s'élever et faire des progrès dignes du règne de Catherine. M. Samoïlowitch m'a appris qu'il doit aux bontés de Votre Majesté une pension de 500 roubles pour le temps de ses voyages, et que M. le procureur général est son protecteur auprès du trône. Ce secours est sans doute considérable et il a suffi à tout pendant son séjour à Strasbourg et à Paris; mais nous craignons qu'en Angleterre où tout est du double plus cher qu'en France, il ne suffise pas; c'est cependant un pays qu'aucun médecin ne peut négliger impunément. Si la source

* de tout bien daignait ajouter une gratification extraordinaire de 500 roubles une fois payés à la pension ordinaire, l'Esculape voyageur se trouverait en état de faire ce voyage avec la perspective la plus décidée d'en tirer grand parti, et retournerait ensuite immédiatement en Russie consacrer ses talents et ses lumières à sa patrie. Il faudrait encore que l'Impératrice nous gardât le secret de ce bienfait, sans en parler à M. le procureur général qui pourrait trouver mauvais que son protégé, qui n'est certes pas ingrat, cherchât d'autres appuis, et d'aussi frêles appuis que le mien, auprès du trône de miséricorde. Le fait est qu'il n'en faut accuser que mon chien de zèle pour tout ce que je crois pouvoir contribuer au plus petit avantage de l'empire, et ce zèle ne se tourmente si fort que pour se donner le change à lui-même sur son entière inutilité pour le service qu'il ambitionnerait le plus. Si Votre Majesté daigne jetter les yeux sur le tableau inventé par M. Samoïlowitch, elle trouvera peut-être qu'il n'est pas un très grand Grec en ordonance pittoresque d'un tableau; mais les conséquences de l'art médicinal qu'il tire de son tableau n'en sont pas moins importantes.

M. Sutherland m'ayant fait passer de la part du cabinet la pension de Wagnière pour l'année 1782, celui-ci m'a renvoyé avec sa quittance une lettre pour son auguste bienfaitrice. Nous payons les bienfaits de Votre Majesté en monnaie d'ennui et d'importunité; c'est une redevance à supprimer. Aber das iſt eine pure Unmöglichkeit. Unſere Kaiſerin zu loben, c'est le besoin le plus impérieux de nos coeurs, und ſo lange wir Luft und Athem ſchöpfen, ſo müßen wir ſchreyen, was ſie iſt und was ſie thut. Nun der Herr laß es ſeiner Geſalbten nicht an Gedult fehlen mit uns armen Leuten Gedult zu haben!

A Paris, ce 9 (20) décembre 1782.

Madame,

ce 24 novembre (5 décembre) 1782.

Quoique tout soit à peu près sens dessus dessous dans le palais souffre-douleur, et qu'il se ressente du désordre qui accompagne et qui suit une grande fête, il ne faut pas que le maître de ce palais, après avoir célébré la fête de grande Catherine avec tout l'éclat et tout le bruit convenables, se couche sans porter aux pieds de Votre Majesté Impériale ses voeux et ses hommages, sans quoi il pourrait être soupçonné, comme un véritable bourguemaître de Darmstadt, d'avoir bu un coup de trop à cause de la solennité du jour, et de s'être mis hors d'état de balbutier son compliment en face du trône de la gloire et de l'immortalité. Or son devoir, en qualité d'Amphi-

* trion, était d'enivrer ses convives, la comtesse de Bruce, les comtes de Romantsov, les ex-morveuses devenues mères, Emilie de Belsunce et sa bonne mère qui boivent tous les jours à la santé et à la gloire de leur auguste bienfaitrice; mais lui souffre-douleur, Amphitrion et ordonnateur de la fête, a dû conserver la tête froide et le coeur chaud. Aussi, au canon près, il se flatte que sa fête n'a guère été moins bruyante qu' à Pétersbourg, et que le babillage des morveuses et ex-morveuses a pu en quelque façon être aussi étourdissant que le canon de la forteresse et de l'Amirauté. Je suppose que Monsieur le Comte et Madame la Comtesse du Nord auront donné la préférence à la fête de Pétersbourg sur la mienne, et pour les en punir, je les dépouille ipso facto de leur qualité orientale et septentrionale, et ne les reconnais plus, à dater d'aujourd'hui, que pour simples Grand-Duc et Grande-Duchesse de toutes les Russies. J'avais bien projeté d'avoir à ma fête la princesse de Mecklenbourg-Schwerin, de la maison de Gotha, cousine germaine du Roi d'Angleterre et du Duc de Gotha, qui, après avoir fait à Windsor la conquête de la royale Charlotte, est venue passer un mois à Paris, non pour faire la mienne, car il y a beau temps que nous nous aimons à la passion. Malgré cela, je n'ai pu lui procurer l'avantage de briller à ma fête, parce que le désir de voir le Roi Très-Chrétien et la Reine sa compagne l'a conduite à Versailles; la Reine prévenue de cette curiosité l'a abordée sans façon dans la galerie, l'a menée chez ses enfants l'un après l'autre, lui a ensuite fait montrer le petit Trianon dans le plus grand détail et avec toutes les illuminations possibles; de tout cela est résulté au retour de Versailles un redoublement de rhume qui a privé ma pauvre aimable princesse de Mecklenbourg de l'avantange unique d'assister à la fête du palais souffre-douleur.

Maintenant que le bruit, mais non le désordre y a cessé, je pense, Madame, que c'est bien le cas aujourd'hui de faire un petit cadeau à Votre Majesté. Il ne serait pas impossible que l'Impératrice eût distribué ce matin des grâces à droite et à gauche, et que personne n'eût songé à lui faire aussi un petit cadeau. Après avoir rêvé longtemps à ce que je pourrais lui envoyer, surtout n'ayant d'autre occasion que la triste voie de la poste, je me suis rappelé la profonde admiration dont elle a été saisie à la lecture de ce sublime portrait de Jules-Cesar dont Monsieur le Comte du Nord a été gratifié à l'Académie française. Un impromptu inséré dans le Mercure à l'honneur de ce sublime morceau m'a paru très propre à faire un très sensible plaisir à Votre Majesté, et à entretenir le feu sacré de son admiration pour l'immortel auteur de ce portrait, à le communiquer même à Joseph en Biedermann qui a eu l'avantage de se frotter de près contre les immor-

* tels. Aussitôt j'ai fait chercher par tout Paris le plus beau peintre en paroles qui existe, et de son pinceau secondé par le poëte du Mercure est résulté le superbe présent dont j'ai l'honneur de gratifier Votre Majesté à l'occasion de sa fête. Puisse le Tout-puissant faire à son ointe la grâce d'en sentir tout le mérite! J'aurais volontiers ajouté à la riche bordure qui orne cet impromtu, un cadre encore plus superbe, mais cela ne s'enferme pas dans une lettre; il faut donc que Votre Majesté en fasse la dépense; M. Quarenghi fournira les dessins s'il en a le temps, car on m'assure que l'Impératrice ne laisse pas chômer ce pauvre homme, und daß der Bau- und Schöpfungs-Teufel in Petersburg gräßlich herum ſchwärmet. A tout chef-d'oeuvre il faut son pendant. Heureusement le Mercure m'a encore tiré de presse, en me fournissant un quatrain pour le portrait de M. D'Alembert. Rien ne figure mieux vis à vis de l'impromptu que ce quatrain; aussi je n'ai épargné ni bordure ni écriture, je ne regarde pas à la dépense, lorsqu'il s'agit de la satisfaction de Votre Majesté. Si par hasard M. Quarenghi, en faisant le cadre de ce quatrain, s'étonne de voir un poëte s'étonner d'admirer, moi je l'admirerai de s'étonner, et nous serons à deux de jeu. Votre Majesté pourra placer ces deux chefs-d'oeuvre ainsi encadrés à côté des saintes images et reliques de sa chambre à coucher; c'est le moyen le plus efficace que j'imagine pour ne pas plus oublier les uns que les autres. Nun nach einem ſo ſchönen und prächtigen Geſchenke kann ſich der Kaiſerliche Herr Schmerzdulder wohl ruhig und vergnügt zu Bette begeben, und etwas Unordnung, als Ueberbleibſel eines großen herrlichen Schmauſes, in dem ſchmerzdulderiſchen palais dieſe Nacht über dulden, da dann morgen früh Ordnung und Ruhe wieder hergeſtellt werden, und ſtatt Paſteten und Weinflaſchen, Papier und Dintenfäßer ihre Plätze wieder einnehmen können.

M. Fagot, dit Cochois, a l'honneur de faire ses compliments à Monsieur Alexandre. Il n'a pas été invité à ma fête, mais aussi il se prépare de célébrer l'anniversaire de la naissance du susdit Monsieur Alexandre, sans m'inviter. En attendant il veut bien se servir de mon canal pour envoyer à Monsieur Alexandre son adresse et lui demander sa pratique. Le fait est que M. Fagot est un serpent que j'ai réchauffé dans mon sein. Il a vu chez moi l'habit à la Monsieur Alexandre ou à la Sieur Constantin; je lui ai permis d'en prendre le dessin, et voilà qu'il en fait commerce; mais au lieu d'associer sur son neuf de carreau mon immortalité à la sienne, il a mieux aimé passer sous silence la reconnaissance qu'il me doit, et donner à ses habits le surnom *à la Princesse du Nord*, parce que je lui ai confié bêtement que Madame la comtesse du Nord avait fait présent d'un pareil habit à la Reine de France pour M. le Dauphin. Et voilà le train du monde.

* M. Fagot fera fortune, son nom ira à la postérité avec son neuf de carreau, et le mien sera oublié. Au reste, Votre Majesté n'ignore pas que c'est le privilége du Français de voir plus loin que son nez et de reculer sur le champ les bornes d'une nouvelle découverte qu'il reçoit des étrangers. La créatrice du Nord n'a vu dans le nouveau costume dont M. Fagot est le seul possesseur en France, qu'un habit infiniment commode pour les enfants; M. Fagot y a découvert d'un clin d'oeil que les dames peuvent porter cet habit pour monter à cheval; qu'il n'y aura rien de plus galant et de meilleur goût: et voilà le commencement d'une révolution dont on ne peut calculer les suites; peut-être l'année prochaine serons-nous tous obligés de porter des habits à la Monsieur Alexandre. En général la nation russe est considérablement à la mode dans ce moment-ci à la ville et à la cour; elle a succédé à cet égard à la nation anglaise. Le séjour de Monsieur le Comte du Nord ayant été une occasion pour les dames russes de se faire présenter à la cour sans passer par les formes étroites de l'étiquette, la Reine les a traitées depuis cette époque avec la plus grande distinction. Cet automne aux chasses du Roi dans le bois de Boulogne, la Reine ayant aperçu la comtesse de Soltikov de Moscou, a fait mettre son propre attelage devant sa voiture, afin qu'elle pût mieux suivre la chasse, et les dames russes ont été priées des haltes de Sa Majesté. Au milieu de tout cela le comte Serge Petrowitch[1]) brille comme l'étoile du Nord. Le Roi cause volontiers avec lui, la Reine et la cour le traitent avec beaucoup de distinction; à Paris c'est à qui le gâtera le plus, de sorte que je m'estime heureux au delà de toute expression, lorsque du milieu de sa gloire il daigne jeter sur moi, humble reclus, un regard de faveur et de bonté. So hat es denn dem allmächtigen Gott, der ſeine Kinder immer gar gern mit Trübſalen heimſucht, in ſeinem ewigen Rath gefallen mich dieſen ſonderbaren Zeitpunkt erleben zu laßen, wo die Kaiſerin der Leute von Riga, Narva und Grimma auch die Kaiſerin der Leute von Paris und Verſailles geworden. Darüber machen nun die Leute von Grimma allerley ſonderbare Anmerkungen, und ſagen unter ſich: Nun, die Mode iſt doch ein ſehr wunderliches Ding, und niemand in der Welt kann ſich verſprechen in Sicherheit vor ihr zu bleiben. Qui diable pouvait prévoir qu'il fallait un voyage de M. de Secondat pour faire connaître aux badauds M. de Montesquieu?

Voilà deux pages et demie griffonnées le lendemain de la Sainte ou grande Catherine. Tout le monde me parle de cet ordre de Saint-Volodimir nouvellement institué. On me demande où Votre Majesté prend ses Saints.

---

[1]) Roumiantsov, frère du diplomate célèbre.

* Moi je remarque qu'il lui faut toujours des Saints qui aient porté cap et épée, et dont l'odeur de sainteté est au bout du compte très équivoque pour un nez chrétien comme le mien. Reste à savoir si Messieurs les nouveaux chevaliers trouveront avec les couleurs de leur Saint l'entrée du paradis bien facile. Ich habe nichts dagegen, werde auch mit ehesten dem Kaiserlichen Herrn Factotum wegen dieses schönen rothfarbenen mit schwarzen Rand verbrämten Bandes meine gehorsamste Gratulation abstatten. Ici on me demande en quelle année je suppose que le Grand-Visir et le Mufti pourront porter l'ordre de Saint-Volodimir, und hundert andere kützliche Fragen. Il n'y a pas jusqu'à M. Fagot qui ne se fasse informer en quel temps il peut envoyer sa première cargaison d'habits d'enfants à Constantinople. Je lui conseille de les faire aller provisoirement en Crimée. Und übrigens laße ich mich in so weitschüchtige Fragen gar nicht ein, und sage: Ja, ja, so, so, nu, nu, das wird sich mit der Zeit schon geben. Was einmal im Hang ist, kann doch nicht wieder in Schwung kommen. Das hat der seelige Herr Sancho sehr wohl eingesehen, und seinem Herrn durch mehr als dreyßig Sprüchwörter bewiesen daß der Herr Fagot nur ein wenig Geduld haben muß, denn kommt Zeit, kommt Rath, sagt Herr Sancho, der die Weltweisheit vom Grunde aus studiert hat.

Ce 14 (25) décembre.

Une légère indisposition m'a empêché de continuer mon griffonnage, et a préservé Votre Majesté Impériale de l'ennui de lire cette rapsodie quelques semaines plutôt. Pendant ce court intervalle un ukase émané de la volonté suprême m'a causé plus d'une sueur froide. On m'a parlé de coiffures baissées, de garnitures réduites à une laruger effrayante quant à l'étroit, enfin de simplicité conseillée dans les ajustements et d'uniformes honorés à la cour par-dessus tout, même sur le dos des femmes des premiers rangs. L'immortelle Mademoiselle Bertin ayant appris cette fatale nouvelle de la bouche de l'auguste Reine de France et de Navarre, est sortie des appartements de Sa Majesté avec une émotion impossible à rendre, et a crié à toutes les dames, à tout ce qu'elle a rencontré sur son chemin: Savez-vous la nouvelle, la grande nouvelle? Elle a défendu toutes mes garnitures!... J'ai été d'abord très flatté de me trouver d'accord avec un aussi illustre personnage dans la dénomination de l'Impératrice; Mademoiselle Bertin et moi, en parlant d'elle, nous disons Elle tout court. Mais après ce juste mouvement de vanité, la peur m'a saisi; j'ai dit: De quoi, diable, s'avise-t-elle? Au moment de son plus haut rayon de gloire en France, au moment où tout le monde est engoué d'elle, sans autre motif que parce qu'on a trouvé M. le

* Comte du Nord mieux élevé que nos princes, et qu'on en a tiré des conséquences à perte de vue; à ce moment plus désiré qu'espéré de ma part, elle va se brouiller avec Paris et Versailles d'un trait de plume! Car ne vaudrait-il pas mieux pour elle d'être à couteau tiré avec son intime ami Abdul Hamet que d'être brouillée avec Mademoiselle Bertin? Après ce triste monologue, j'ai quitté ma tanière en tremblant pour la réputation de Votre Majesté, j'ai pris un maintien modeste et suppliant, et je me suis dit: Ce n'est pas le moment de porter le nez en l'air, en parlant du vent du nord. Mais, ô prodige incompréhensible! J'ai trouvé à la vérité que cette proscription des modes et garnitures françaises avait fait oublier la paix entre la France et l'Angleterre; qu'on l'appelait la révolution tout court; qu'elle faisait un bruit épouvantable, mais tout à la gloire de Votre Majesté. Cela m'a fait faire des réflexions bien profondes. Voyez un peu, me suis-je dit, tout ce qu'on peut se permettre quand on a le vent en poupe! Dans toute autre circonstance une démarche beaucoup moins hardie l'aurait perdue de fond en comble, et la voilà à Paris au pinacle précisément par la chose qui aurait dû lui casser le cou. Et devinerait-on de quelles bouches sortent les acclamations, le panegyrique de cette loi dangereuse et téméraire? De la bouche des femmes. Toutes les femmes de Paris et de la cour se sont donné le mot pour admirer la législatrice du Nord à propos de la proscription des falbalas. Elles félicitent les dames russes qui sont ici, d'avoir une telle Souveraine; elles disent que c'est le réglement le plus sage qui ait été fait dans ce siècle, que c'est une folie, une frénésie sans exemple, sans goût et sans aucune jouissance réelle, que de se ruiner en chiffons; mais qu'il n'a pas fallu moins que la plus forte tête de l'Europe, pour faire comprendre une vérité si frappante à la belle moitié des nations. D'après ces propos et tant d'autres que j'ai entendus de mes propres oreilles, il est évident que le réglement de Votre Majesté a rendu tout à coup toutes les femmes de Paris philosophes, à moins que la saison n'ait aussi un peu contribué au succès éclatant et incroyable de ce réglement. C'est, je crois, à la fin de l'année que l'illustre Mademoiselle Bertin fournit à chaque belle dame son mémoire de l'année, et il n'y a point de moment plus propre à sentir l'inutilité et la ruine des chiffons, qu'en voyant d'un côté un total effrayant à payer et de l'autre côté une bourse vide. Cependant les artistes ont renforcé les acclamations de la beauté. Ils ont dit qu'il n'y avait ni goût ni sens commun dans ces ajustements, dans cette manière de se coiffer; que tout cela était essentiellement mesquin et gothique; qu'on n'en pouvait rien faire dans les arts, ni en peinture, ni en sculpture, et qu'on voyait bien que c'était la passion de ces arts et l'intérêt du bon goût qui avaient fait porter cette loi. Ainsi au lieu du

* déchaînement que je redoutais tant, je n'ai partout trouvé que de l'admiration et de l'engouement, et à moins que les Académies ne se déclarent en faveur de Mademoiselle Bertin, je ne vois pas quel avocat peut faire parvenir sa juste réclamation au pied du trône ennemi des garnitures. Le comte Serge a soutenu à Versailles que cette inimitié venait au fond d'une jalousie de métier, parce que, disait-il, nous avons chez nous aussi notre Mademoiselle Bertin qui tient dans sa boutique assortiment de bois de construction, de mâts, de chanvres, d'agrès, de voiles, et qui ne veut pas pour ces garnitures souffrir la concurrence de Mademoiselle Bertin de Paris. Quoi qu'il en soit, il faut que Votre Majesté se fasse à l'idée d'être prodigieusement à la mode à Paris, et moi qui ai craint que ce réglement ne portât un coup mortel à sa réputation et ne changeât tout du blanc au noir, il faut que je me détermine à comprendre qu'il n'est pas donné à un allemand de voir plus loin que son nez. Au reste, puisqu'il existe des uniformes de gouvernement, j'espère de la clémence de mon auguste Souveraine qu'elle ne me laissera pas ignorer de quel gouvernement je suis, quelles sont mes couleurs et quelle est la marque caractéristique d'un souffre-douleur, car moi aussi j'ai la vanité de me conformer au nouveau réglement.

Ce 1 (12) janvier 1783.

Nun Gott der allmächtige verleihe unſerer großen Kaiſerin ein glückſeeliges, freudenreiches Jahr, und vollende an Ihro Majeſtät alle Wünſche ihres getreuen Schmerzbulders, ſo wird ihr gewiß in dieſer Welt nichts fehlen. Was aber die andere Welt betrifft, dafür laßen die Leute von Grimma die Herren Sanct Volodimir, Sanct George oder Jörge und Sanct Alexandre Newsky ſorgen. Je ne sais par quelle fatalité j'ai entamé cette feuille, ne voulant pas aller au delà de trois. Cela m'a empêché de la faire partir par la poste à la fin de l'année latine, et la voilà encore sur mon bureau, cette triste pancarte, au commencement de l'année grecque. Ce qu'il y a de plus pressé, c'est de donner à Votre Majesté ses étrennes. Deux almanachs sont partis à cette intention de Gotha et doivent déjà se trouver à leur glorieuse destination. A ces almanachs je joins un Eloge historique de M. de Maurepas qu'on ne peut avoir pour de l'argent, par conséquent je veux que Sa Majesté Impériale le doive à ma bienfaisance. M. le comte de Soltikov se chargera de ce paquet. Il est si touché d'avoir été mis au bleu qu'il veut aller tout courant porter sa reconnaissance au pied du trône des grâces; il y portera donc mon paquet aussi. On me tourmente beaucoup et depuis longtemps d'Allemagne pour

* savoir si Zelmire a trouvé grâce devant le trône des miséricordes. Je réponds tristement que je n'en sais rien. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mords les doigts d'avoir excédé mon auguste bienfaitrice dans le cours de l'été dernier par l'envoi de pancartes d'une longueur assommante et intolérable. Un silence total en a été la suite cruelle, le juste et terrible châtiment. Il fallait prévoir qu'en poussant continuellement à bout la patience de mon auguste Souveraine, j'en verrais enfin le terme fatal pour moi. Que me sert à présent mon repentir? Il vient trop tard. Il fallait prévenir le moment de la satiété; quand il est arrivé, il ne reste plus ni remède ni ressource. Il y a environ six mois que j'ignore entièrement ce que fait, ce que dit, ce que pense l'Impératrice; que je n'ai plus vu ce caractère sacré qui faisait tressaillir mon coeur. S'il est décidé par le sort que j'en doive rester privé pour jamais, eh bien, n'ai-je pas assez vécu? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'existe aucune puissance sur la terre capable de me persuader que les bontés de Votre Majesté Impériale se sont affaiblies pour moi. L'Impératrice ne sait qu'accorder, mais non pas reprendre sans raison. Elle peut cesser d'écrire, mais ce que j'ai reçu d'elle sans titre, sa bienveillance, je ne peux plus la perdre; et la reconnaissance que je lui ai consacrée, qui a fait le bonheur de tous les jours de ma vie, continuera à en faire, à la vérité, la seule douceur qui me restera, jusqu'à la dernière palpitation de mon coeur. Dans l'éloignement, dans l'abandon, je me sentirai aussi enflammé, aussi rapproché de son génie et de son caractère auguste que dans les moments de ma plus grande prospérité.

J'ai vu avec le plus sensible plaisir que Votre Majesté a semé des médailles d'or partout où il y a eu germe de mérite et particulièrement en Allemagne. Votre Majesté est au-dessus des préjugés qui maîtrisent même les meilleurs têtes, et vos bienfaits, Madame, sont presque toujours des leçons. Après avoir vu ce détail dans les gazettes, j'ai reçu la lettre d'une très aimable femme de Cobourg, qui a aussi voulu m'en faire part. Je lui ai répondu que si elle ne m'avait pas évité l'année dernière à Gotha, j'aurais pu lui montrer ce que l'Impératrice m'a mandé il y a plus de deux ans sur Wilhelmine, production de son mari, en me parlant en même temps de Sebaldus Nothanker, mais que mon usage étant de ne confier jamais aucun de ces fragments précieux, il était impossible de le lui envoyer par la poste. Je crois que s'il y avait une médaille de reste dans le tiroir de M. le général-Factotum, le baron de Thümmel, auteur de Wilhelmine, serait bien glorieux de partager cet avantage avec son excellent continuateur, Nicolai de Berlin. Il y a plus de dix-huit mois que j'ai annoncé une médaille, par ordre, à M. Huber de Leipzig, traducteur de Winkelmann, il ne l'a ja-

* mais reçue, et comme cette grâce a aussi passé dans la gazette, tous ses amis et les passe-volants lui demandent sans cesse de voir sa médaille et le soupçonnent de n'avoir su la garder. Cela est affligeant pour le pauvre homme. Si le général-Factotum daignait me l'adresser, elle arriverait à Huber par le chemin le plus long et la voie la plus courte. Après moi, c'est la pauvre Corilla qui m'inspire le plus de compassion. Elle eût été si heureuse de savoir que sa pancarte a reçu un accueil favorable de celle qu'elle est acoutumée à révérer comme une divinité dont la grandeur et la bienfaisance se sont rendues visibles sur la terre. Je n'ai osé prendre sur moi de lui payer les cent ducats de la première année de sa pension, ne sachant pas si Votre Majesté Impériale n'avait pas donné des ordres directs pour la faire payer à Florence par la voie de Livourne.

J'espère qu'à l'arrivée de cette pancarte Messieurs de Lanskoï et leur fidèle Achate, M. de la Harpe, seront heureusement rendus à Pétersbourg. Ils m'ont écrit de Vienne, et ce dernier une assez longue pancarte pour que je la soumette ici à la considération de M. le général de Lanskoï. Votre Majesté me permettra aussi de joindre à ce paquet ma réponse à M. Basile de Lanskoï. Item elle daignera se rappeler que le coupable la Fontaine s'était retiré au Temple, lieu de franchise, pour se soustraire aux ordres que la police avait donnés contre lui. J'étais fort content de le voir confiné là par son propre choix, et j'ai dit: Tant qu'il y sera, il ne m'embarrassera guère. Depuis six mois il n'a cessé de fatiguer le lieutenant de police par des suppliques pour qu'il retire son ordre, afin qu'il puisse quitter son asile sans danger pour lui. La police, par respect pour Votre Majesté Impériale, s'en étant toujours rapportée à moi sur ce point, j'ai cherché à gagner du temps jusqu'à ce que j'aie su nos voyageurs rendus aux frontières de Russie; mais ayant reçu une nouvelle réquisition de la part de la police et ne voyant plus rien à craindre de la part de ce malheureux, je viens de consentir qu'on révoque l'ordre qui existe contre lui, et j'espère que Votre Majesté approuvera cette conduite.

Ce 5 (16) janvier.

Da es dem allmächtigen Gott in ſeinem unerforſchlichen Rath gefallen unſerer allergnädigſten Kaiſerin ſo empor zu helfen daß ſie ſogar für die Herren badauds von Paris und Verſailles ein objet à la mode geworden, ſo haben die unſterblichen Herren Vierziger Ihro Kaiſerlichen Majeſtät heute das Siegel der Unſterblichkeit eingeprägt, en se rangeant de son avis. Un anonyme que tout le monde connaît pour un des malades les plus désespérés de Votre Ma-

* jesté, ce conseiller d'état devenu chancelier de M. le comte d'Artois, M. de Montyon enfin, a fondé, entre autres prix, une médaille de la valeur de douze cents livres dont l'Académie française disposerait tous les ans en faveur de l'ouvrage le plus utile à la société qui aurait été publié dans l'année. L'Académie s'est assemblée aujourd'hui, pour adjuger ce prix pour la première fois, et elle l'a adjugé aux Conversations d'Emilie. Cet ouvrage, avant d'avoir obtenu les suffrages des quarante immortels, avait été couronné par les bienfaits de Votre Majesté Impériale; il est même à croire que sans ces bienfaits qui ont fixé dans le temps l'attention du public, celle de l'Académie ne se serait peut-être jamais portée sur cet ouvrage. Voilà comment cette source sacrée d'où découlent de si grands et de si continuels bienfaits, placée sous le soixantième degré près du temple de la gloire et de l'immortalité, féconde non seulement par sa propre bienfaisance les champs les plus éloignés d'elle, mais dirige encore vers eux toutes les autres sources jalouses de la prendre pour modèle. La comtesse de Genlis n'a eu que quatre voix, Madame d'Epinay toutes les autres; ce qui a fait dire à la maréchale de Luxembourg, en voyant Madame de Genlis et voulant la consoler: «Eh bien, Madame, l'Académie a eu aujourd'hui de l'esprit comme quatre». Moi j'observe que l'Académie ayant eu ce prix à décerner pour la première fois, ce sont deux femmes qui se le sont disputé, et qu'il n'y a pas eu dans toute l'année un seul ouvrage que l'Académie ait jugé digne d'entrer en lice; cela me paraît ce que M. Kelchen appelle symptomatique. Lorsque le cygne de Ferney fut enlevé au monde, le destin força sa patrie ingrate de marquer le deuil de la nature par un silence général; alors on n'entendit plus que le croassement discordant de quelques grenouilles. Les cygnes chantent aujourd'hui en Germanie et y devront incessament leurs succès à la protection de la Minerve du Nord. Si Votre Majesté veut augmenter sa bibliothèque germanique, j'y demande une place pour une comédie en cinq actes, intitulée der Hofmeiſter, ouvrage d'un jeune livonien appellé Lenz'qui a paru il y a environ dix ans. C'est un ouvrage d'une verve incroyable; je n'ai jamais pu m'empêcher de le recommencer trois fois, et si je le retrouvais sous ma main et que j'y misse le nez, il faudrait bien l'achever encore. L'auteur a voulu faire la satyre de l'éducation domestique, et le mot d'éducation domestique n'y est pas prononcé. On dit que ce pauvre Lenz est devenu fou depuis; je l'ai longtemps été de sa pièce et je le suis encore.

Comme les gens de Grimma sont épilogueurs par leur nature, ils ont osé critiquer l'inscription de la statue équestre que tout le monde a approuvée; ils la trouvent tout juste de la moitié trop longue, et ils observent

* que la concision est le premier mérite d'une inscription. Pourquoi disent-ils Petro primo Catharina secunda? Et pourquoi pas Petro Catharina? Celui, ajoutent-ils, qui a besoin de demander quel est le numéro de ce Pierre et de cette Catherine, n'est pas digne de porter les yeux sur cette inscription. Je supplie Votre Majesté de faire juger cette chicane par l'Académie impériale, sans que j'aie à m'en mêler.

Ce 11 (22) janvier 1783.

Avant-hier les préliminaires de la paix furent signés entre la France et l'Espagne d'une part et la Grande Bretagne de l'autre. Ce fut fait à Versailles entre onze heures et midi, et nous attendons à présent la ratification de Londres, pour fermer de ce côté de l'hémisphère le temple des sottises et des folies humaines pour quelque temps. Aussi bien depuis quelque temps ne pensions-nous plus à ces querelles maritimes que pour admirer la seconde représentation de l'Espagnol devant Alger, supérieurement et dans un genre absolument neuf jouée devant Gibraltar. Toutes nos vues sont tournées vers l'orient, et le comte de Choiseul Gouffier vient d'exposer au public gaulois, dans un discours préliminaire à son Voyage de la Grèce, ce que les nations attendent de ce côté-là. Si Votre Majesté, à force de regarder du côté de l'orient, y perce à la fin jusqu'à Hyder Ali aux grandes Indes et qu'il lui prenne fantaisie de faire un traité de commerce avec lui comme avec le Danemark, je suis bien aise, en joignant ici une lettre authentique du grand Hyder, de montrer dès à présent au visir comte Ivan Tchernichev, en quel style Son Altesse Indienne lui écrira.

Aujourd'hui est entré chez moi le chevalier de Ribas, arrivant de Rome et ne voulant s'arrêter ici que quelques jours pour retourner sans délai par Vienne à Pétersbourg. Comme mon dessein est de faire parvenir cette pancarte aux pieds de Votre Majesté Impériale avant l'arrivée du ministre par lequel les nouveaux Etats-unis de l'Amérique rendront leur premier hommage à l'Impératrice des Grecs, je vais me dépêcher de la fermer, et suivant l'occurrence je la confierai ou à M. le comte de Soltikov mis au bleu ou au chevalier de Ribas, c'est-à-dire à celui qui nous quittera le premier: à vue de pays ce sera le chevalier. Puisse-t-elle trouver au pied du trône cet accueil indulgent et favorable qui vivifié.

Voilà donc par la signature des préliminaires une des plus grandes révolutions irrévocablement consommée. Lorsque Votre Majesté me la prédit au commencement de 1774, j'étais bien éloigné avec ma vue bornée d'entrevoir que ce pût être l'ouvrage de peu d'années. Cette autre révolution

* qui tient si fort à coeur au comte de Choiseul-Gouffier peut être l'ouvrage de peu d'instants, si le génie digne de la concevoir et de l'opérer n'est pas croisé par l'intérêt qui a rendu tant de grandes pensées inutiles au monde.

Je suis avec le plus profond respect,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant serviteur

Grimm.

Il faut convenir qu'il y a des gens que le sort ne se lasse point de persécuter. M. Olavides vivait ici paisiblement et jouissait d'un sort tranquille. Il avait au-delà de quarante mille livres de rente, mais sa mauvaise étoile avait voulu qu'il en eût confié la plus grande partie à M. le prince de Guémenée. Ce prince fait la plus noble des banqueroutes, car une banqueroute de plus de trente millions aurait même pu affecter un trésor royal quelconque; et voilà M. Olavides débarrassé de 26 mille livres de rente. Il est vrai qu'on dit qu'il ne perdra pas tout, mais en attendant il ne jouit de rien, et après sa mort il lui reviendra peut-être une partie de son capital. Heureusement, car tout a son bon et mauvais côté en ce monde, les grandes épreuves ont cela de bon qu'elles laissent à l'âme une grande indifférence pour les accidents qui peuvent traverser la vie; cette perte a fait moins d'impression sur le philosophe espagnol éprouvé, que je ne lui ai causé de joie, en lui apprenant que Votre Majesté Impériale me permettait de lui donner copie des fragments qui le concernaient.

№ 45.

Allerunterthänigster, höchstwichtiger und sehr kurzgefasster Vortrag.

Madame,

En attendant que le chevalier de Ribas, qui a fait une courte apparition ici et qui va repartir sous quelques jours, porte au pied du trône mes paperasses et le dernier cahier du Voyage pittoresque de la Grèce par le comte de Choiseul-Gouffier, j'ai cherché à me procurer le discours préliminaire qu'on lit à la tête de ce cahier. L'auteur en a fait tirer quelques exemplaires pour l'usage de ses amis, dans ce petit format que je dépêche ici. Comme je n'ai pas l'honneur d'être du nombre et qu'il ne se vend point, il ne m'a pas été aisé de me le procurer; mais enfin j'ai réussi, et le voici. Comme il

* y est prodigieusement question des Grecs et de Catherine, deux sujets fort à la mode, j'espère que Votre Majesté Impériale lira ce discours, toutes affaires cessantes et avec le recueillement nécessaire. Dans cette espérance je me prosterne au pied du trône de la gloire et des miséricordes, et chantant avec Gabriel, Archevêque de Pétersbourg: God save our Empress!

A Paris, ce 20 (31) janvier 1783.

№ 46.

Allerunterthänigster Academischer Vortrag.

Madame,

L'Académie royale d'Architecture désirant de resserrer de plus en plus les liens qui subsistent entre elle et sa soeur l'Académie impériale des Beaux-Arts, a demandé au Roi la permission de remplacer un correspondant qu'elle vient de perdre en Espagne, par un correspondant en Russie, ce qui a été approuvé. En conséquence maître Sedaine, qui par sa place de sécretaire perpétuel de la dite Académie royale, est son organe, a mandé le nécessaire à l'Académie impériale des Beaux-Arts et à son secrétaire dans les paquets ci-joints. Mais le susdit maître Sedaine pouvant, à ce qu'il croit, se permettre la vanité de professer une reconnaissance et un attachement sans bornes pour Votre Majesté Impériale, il a été décidé, après mûre délibération, que ces paquets seraient adressés à la Souveraine bienfaitrice sous cachet volant, afin que si par hasard elle désirait de procurer cette place de correspondant à M. Quarenghi ou à toute autre créature qu'elle en jugeât digne, elle pût diriger en sa faveur ses supplications auprès de l'Académie impériale des Beaux-Arts et incliner le coeur de Messieurs les académiciens vers l'objet de son choix. Sur quoi maître Jean Michel ou Michel Jean Sedaine et moi, son premier garçon, nous nous recommandons à la haute bienveillance de Votre Majesté Impériale.

A Paris, ce 25 janvier (5 février) 1783.

№ 47.

Allerunterthänigster, medicinischer auch kunstreicher Vortrag.

Madame,

J'ai eu l'honneur de parler à Votre Majesté Impériale dans une de mes pancartes du docteur Samoïlowitch, et même de solliciter de la munificence

* intarissable de notre Souveraine bienfaisante par essence, une gratification extraordinaire de cinq cents roubles une fois payés qui doublerait ses appointements cette année et le mettrait en état d'entreprendre le voyage d'Angleterre, qui est cher par excellence, après quoi il retournerait vers la fin de l'année en Russie pour y consacrer sa vie et ses travaux à sa patrie. Toutes les fois que je rencontre un Russe qui sent la gloire et le bonheur du règne le plus auguste que jamais le ciel ait accordé à un coin de notre chétive terre, je sens mon coeur bondir de joie. C'est surtout dans la classe moyenne que j'aime à découvrir des hommes qui en sont enflammés et qui se disposent à se rendre dignes, quant à eux, d'un bonheur si rarement accordé à la terre. Je suis intimement convaincu que Chedrine et le docteur Samoïlowitch sont de ces gens-là, ein jeder in ſeinem Fach, et qu'ils brûlent de se faire remarquer dans leur classe par d'utiles travaux. Il y a ici aussi un jeune ukrainien, M. de Kotchoubey, neveu du général-Factotum impérial, qui me paraît un très joli sujet. Il y a plus de deux ans qu'il est à Paris, retiré, appliqué, ne courant pas les spectacles, mais gagnant sagesse et connaissances; aussi est-il sous la direction d'un homme d'un mérite peu commun qui s'appelle M. Italinski, du pays de son élève, et qui réunit bien des qualités essentielles hors celle d'une bonne santé.

Le docteur Samoïlowitch, pénétré du plus profond respect pour le génie tutélaire de l'empire grec et sachant qu'aucune partie n'est négligée sous son influence bienfaisante, m'a remis ces brochures pour les porter au pied de son trône. Il est clair que le papier doré est destiné à l'Impératrice, et s'il y a double exemplaire, il appartient à qui Sa Majesté jugera à propos, particulièrement à M. le procureur général que le susdit M. Samoïlowitch compte au nombre de ses protecteurs. La pancarte qu'il a osé adresser à son auguste Souveraine, est à la vérité un peu longue; mais si Votre Majesté daigne y jeter un oeil clément, elle ne trouvera pas peut-être le projet qui y est exposé, indigne d'attention. La liste attachée à la pancarte est composée de personnes d'un mérite reconnu et supérieur.

Nach der Medicin kömmt die Kunſt. Depuis le séjour de M. le Comte du Nord, la duchesse de la Rochefoucault-d'Enville me tourmente d'envoyer à Votre Majesté Impériale les dessins ci-joints d'une machine très ingénieuse à la vérité. Elle prétend que cette machine amuserait beaucoup Monsieur Alexandre, et l'instruirait en l'amusant. C'est une imprimerie de poche, à proprement parler, et chacun peut apprendre en une demi-heure à s'en servir. J'ai vu des dames s'amuser à imprimer avec cette machine aussi vite qu'aurait pu faire l'ouvrier le plus exercé. On espérait que M. le Comte du Nord aurait le temps de voir le cabinet des instruments physiques

* du Roi au château de la Muette, et l'abbé Rochon, de l'Académie des sciences, garde de ce cabinet et inventeur de la machine, se proposait de faire imprimer à Madame la Comtesse du Nord des vers à sa louange, sans qu'elle s'en doutât. Voilà qui eût été galant et malin, mais elle ne vint pas voir ce cabinet, et fut privée par conséquent de l'avantage de faire son éloge sans le savoir. Nun das findet ſich auch nicht ſo bald wieder, und hätte die Frau Grä-fin ſo an Dero Lobrede gearbeitet, ſo wäre der Herr Schmerzbulder hübſch ru-hig geblieben. Comme depuis ce moment on n'a cessé de le tourmenter pour la proposer à son auguste Souveraine, il la fit montrer l'été dernier au seigneur Scorodoumov, qui la trouva très ingénieuse et qui serait en état d'en enseigner l'usage à Monsieur Alexandre si le dit Monsieur était tenté d'en faire l'acquisition. Il faudrait qu'il en payât six mille livres, s'il voulait prouver par sa manière de marchander qu'il descend en ligne directe von ſeiner allerhöchſten Frau Normal-Schulmeiſterin. L'abbé Rochon est véritablement un excellent académicien et un homme de mérite; il en a la simplicité et la candeur.

Weil uns nun der Himmel den goldnen Frieden beſcheret, ſo werden ſich Ihro Kaiſerliche Majeſtät in Gnaden erinnern daß der marmorne brave Voltaire hier in Meiſters Houdon Bude ſitzt und auf ſeine Erlöſung wartet. Je ne sais pourquoi une frégate impériale ne relâcherait pas ce printemps au Havre, avant de s'en retourner à Cronstadt, pour prendre à bord ce Voltaire qui appartient à l'Impératrice depuis longtemps, comme de son vivant il lui a appartenu de tout temps. Si Votre Majesté était curieuse de donner une compagne de voyage à son Voltaire, je lui offrirais pour le même prix qui a été payé pour cette dernière statue, savoir 20 mille livres, la Diane que Houdon a faite pour le duc de Saxe-Gotha. Cette figure a une grande réputation; elle est aussi restée dans l'atelier de l'artiste à cause de la guerre. Actuellement que le moment de son départ approche, il me prend des transes terribles. Elle a les deux bras et la jambe droite en arrière en l'air, et malheureusement Gotha est au milieu des terres. En attendant qu'il deviene port de mer, il faudra faire voyager la statue par terre, au lieu que si elle était faite pour Votre Majesté, elle irait par eau du quai de Paris droit au quai de Pétersbourg, comme j'espère que le Voltaire impérial ira, et ne me donnerait pas l'inquiétude mortelle de la voir arriver mutilée en Thuringe. Dans ce cas je disposerais le duc de Gotha à remplacer sa Diane en marbre par une Diane en bronze qui braverait toutes les secousses de Paris à Gotha. et Votre Majesté aurait de quoi placer une belle déesse au milieu d'une rotonde ou d'un bosquet ou d'un des temples de Tsarsko-Sélo, ou de l'Hermitage.

* Puisque mon génie inquiet m'a conduit à nommer à mon auguste Souveraine le duc de Gotha, il faut que je lui présente une très humble requête de la part de ce prince. Il est atteint, leider Gottes! de quelques-unes des maladies dites impériales, mais en miniature, comme il convient à sa petite constitution. En conséquence ayant su que l'Impératrice à laquelle rien ne résiste, a eu le crédit de se procurer à elle ou à son académie le moule de l'Hercule Farnese qu'aucune autre académie ne possède, il ose supplier Sa Majesté de permettre qu'il en fasse tirer un plâtre. J'en ai parlé au chevalier de Ribas, qui m'a promis d'en parler à M. de Betski, et pour peu que Votre Majesté me seconde, je suis sûr de réussir. Le duc demanderait à M. de Betski la permission de payer les frais du plâtre et chargerait une maison de commerce de Pétersbourg de le lui expédier par mer à Lubeck ou à Hambourg.

Der Catharinengeiſt hat auch den kleinen boshaften abbé Galiani ergriffen, und er macht ein ſehr großes und dickes Buch sur les droits et les devoirs des Neutres pendant la guerre, welches aber noch nicht fertig iſt. Ce qui en est imprimé va déjà au delà de 400 pages et le petit abbé me l'a envoyé par le chevalier de Ribas. J'ai dit à celui-ci que personne n'est plus en état que lui de traduire ce traité en français pour le service de notre auguste Souveraine et qu'après en avoir fait cet usage glorieux, nous pourrions faire imprimer ici cette traduction pour le service du public. En conséquence de cet arrangement il emporte mon exemplaire avec lui à Pétersbourg, et comme il a voulu me laisser ici un échantillon de sa manière de traduire, je renvoie cet échantillon à *l'eccelsa ed immortal Caterina* qui y est apostrophée. Mich geht das ganze Zeug aber gar nichts an, denn mein Herz iſt nicht neutral, ſondern rußiſch.

Dem geweſnen, nunmehr aber abgeſetzten Herrn Grafen von Norden und Oſten gratulire ich gehorſamſt zu dem ſchönen Volodimirs Band, welches derſelbe bey Ablegung ſeines Septentrionaliſchen Namens gefunden. Ich habe auch in der Liſte viele andere Namen wackerer Leute gefunden, welche durch dieſes herrliche Band erfreuet worden. Ich ſage herrlich, weil das Sprüchwort ſagt: Dis-moi d'où tu viens, et je te dirai qui tu es.

Si j'ai l'obligation aux gazettes de me fournir ces listes complètes des braves gens volodimirisés par Votre Majesté Impériale, en revanche ces maudits gazetiers me traitent avec une injustice criante. Il y a plus de six mois, parce qu'il y en a peut-être huit, que j'ai indiqué à mon auguste Souveraine master James Tassie résidant à Londres, comme l'homme le plus propre de satisfaire la gloutonnerie impériale en fait de pierres gravées par des imitations parfaites. Qu'arrive-t-il? L'Impératrice, suivant sa louable

* coutume, enlève à ce pauvre homme, comme à tant d'autres artistes, tous ses trésors, et voilà plus de six mille pièces qui vont être englouties par le gouffre de l'Hermitage. Cela fait un bruit diabolique à Londres; tout le monde veut voir les six mille victimes de la gloutonnerie, et les papiers anglais disent publiquement que c'est M. Weitbrecht, de mon temps libraire de Sa Majesté Impériale, qui lui a fourni l'idée de cet enlèvement effroyable; et master James Tassie sera devenu illustre et riche, sans se douter seulement qu'il existe quelque part un souffre-douleur à qui il en a l'obligation. Il est vrai que celui-ci a l'obligation à l'ambassadeur de Sardaigne de lui avoir indiqué James Tassie; et voilà comme va le monde, ces maudits gazetiers ne veulent jamais remonter à la source de rien. Voilà comme il y a cent à parier contre un que la postérité parlera de Catherine II comme les gazetiers de M. Weitbrecht, et que M. Wagner et peut-être Mademoiselle Cardel resteront dans l'obscurité ou, suivant l'évangile, sous le boisseau, comme le souffre-douleur. Dem ſey nun wie ihm wolle, ſo wünſche ich Ihro Kaiſerlichen Majeſtät einen guten Magen alle dieſe engliſche Opferſtücke wohl zu verdauen. Uebrigens und ſchlüßlich müßen wir nun freylich mit unſerer Kaiſerin vorlieb nehmen, bis wir eine beßere finden. God save our Empress!

A Paris, ce 27 janvier (7 février) 1783.

Allerunterthänigster Nachtrag über alle hier beyliegende Schmierereyen.

Madame,

Le chevalier de Ribas est mon homme. Plus je fais le discret pour ne le pas trop surcharger de paquets, plus il m'encourage à lui confier tout ce qui attend chez moi depuis quelque temps ſeine Erlöſung, pour arriver aux pieds de Votre Majesté Impériale. En conséquence je le charge non seulement comme une diligence de terre ou comme un chariot de poste, mais comme un navire, et pour peu qu'il me demande encore des paquets, je lui mettrai dans une poche la statue de Voltaire appartenante à Votre Majesté, et dans l'autre celle de Diane qu'il ne tient qu'à l'Impératrice d'avoir, si elle sait profiter à propos de ma peur et de mes inquiétudes.

La facture ci-jointe mettra Votre Majesté au fait de tout ce dont le chevalier de Ribas s'est chargé. Comme l'énorme paquet signé N° 1 n'a pas pu assouvir la soif de cet emporteur, et qu'il n'a voulu compter pour rien le paquet signé N° 2 qui sera cependant le plus pesant pour Votre Majesté, attendu qu'il renferme les pancartes du souffre-douleur dont le vo-

* lume est de dure digestion, j'ai ruminé dans ma tête ce que je pourrai envoyer à mon auguste Souveraine pour lui donner une petite marque de ma bienveillance, et au chevalier de Ribas la satisfaction d'emporter un paquet un peu étoffé de plus. J'ai pensé que dans un temps où le ciel avait fait à l'Impératrice des Grecs la grâce de devenir la coqueluche de Paris et d'être à la mode en France, la dite fortunée Souveraine, pour marquer sa reconnaissance envers le ciel et le peuple gaulois de cette faveur insigne, pouvait mettre du rouge de Paris sur ses deux joues impériales, sans déroger au dernier réglement qui lui a attiré l'admiration des dames françaises et les applaudissements des badauds. En conséquence Votre Majesté trouvera dans le paquet signé N° 3 deux tasses du meilleur rouge que j'aie pu trouver, et qu'on met pour première couche, en le mouillant légèrement, et une boîte renfermant quatre pots à rouge en poudre, qu'on met par-dessus le premier avec la houpe. J'espère que Votre Majesté s'en servira à la gloire éternelle du souffre-douleur gratifiant, et aussi un peu pour avoir au moins le rouge de commun avec les dames de Versailles et de Paris, ses admiratrices. J'espère aussi bien fort que ce rouge n'est pas compris parmi les denrées de contrebande; mais si, comme je le présume, son importation est sujette à des droits, je prie bien fort mon ancien ami de Riga et de Pétersbourg, M. Dahl, de les faire payer à l'Impératrice suivant le tarif et de ne pas l'épargner, car il faut que la loi soit respectée.

Après la paix, ce qu'il y a de plus important, ce sont les bals de Versailles. La Reine a fait donner aux dames russes des appartements au château de Versailles, pour qu'après avoir passé la moitié de la nuit au bal, elles pussent s'aller coucher sans avoir besoin de revenir à Paris. Je crois que jamais dame étrangère, à moins d'être princesse, n'a joui de cette prérogative. Il est arrivé à un de ces bals qui se donnent dans l'appartement de Madame la princesse de Lamballe, que tous les jeunes gens ne dansaient qu'avec tout ce qu'il y avait de plus brillant et de plus joli, et que les dames moins belles furent obligées de danser, dans une pièce à côté, entre elles sans trouver un seul danseur. Le lendemain au souper de Madame de Lamballe, le Roi ayant pris du Nord la mauvaise habitude de ne point s'asseoir et de roder derrière les tables, s'arrêta devant la table où était soupant le prince de Poix, et lui dit: «Je m'adresse à vous comme au doyen des jeunes gens, et je vous prie de dire à vos danseurs que je trouve très mauvais ce qui est arrivé au dernier bal, et que j'espère qu'à l'avenir aucune dame ne manquera de danseur».

Lorsque Votre Majesté se trouvera accablée de tous ces paquets, elle sera déjà toute accoutumée à la paix d'occident, aber ich befürchte daß der

* Neid-Teufel in die Kaiſerliche Seele bringt und in derſelben große Verwüſtungen anrichtet. Es iſt freylich und leider wahr daß der Katholiſche König ſeine Regierung durch viele beſondere und illustres exploits ausgezeichnet. Davon mag aber nun wohl der Inquisition das Lob gebühren, und deswegen kann ſich unſere Kaiſerin nicht ſo hoch hinauf ſchwingen. Elle n'a, disent les gens de Grimma, qu'un seul tableau de Tchesmé dans sa galerie; excusez du peu. Le Roi catholique n'avait non plus dans la sienne qu'un seul tableau du fameux siège d'Alger, il n'a pas voulu mourir ni finir la guerre sans avoir l'avantage de lui donner un pendant par le tableau du fameux siège de Gibraltar qui a un effet presque aussi pittoresque que celui de Tchesmé. Et voilà notre Impératrice sans pendant. Das iſt eine große Prüfung für die Geſalbte des Herrn, et cela prouverait même en faveur de la religion catholique contre la religion grecque, à laquelle je reste cependant inviolablement attaché. Amen.

A Paris, ce 27 janvier (7 février) 1783.

FACTURE

du 27 janvier (7 février) 1783

des effets donnés à M. le chevalier de Ribas pour Sa Majesté Impériale.
Paquet signé N° 1.

1. Le Voyage de Naples et de Sicile. Les deux premiers volumes et sur le troisième, les six premiers cahiers.

Après une longue persécution, M. le comte de Strogonov ne souscrivant pas pour Sa Majesté Impériale, ainsi que j'en avais flatté les auteurs, je me suis déterminé à souscrire pour un seul exemplaire, et comme il devait devenir impérial, on en a choisi les épreuves avec soin. Cet ouvrage est estimé, et je crois avec raison.

2. Prospectus sur la nouvelle édition des Peintures antiques dessinées à Rome par Pietro-Sante Bartoli et autres.

En daignant jeter les yeux dessus, Sa Majesté Impériale verra de quoi il s'agit.

3. Voyage pittoresque de la Grèce, 12e cahier.

J'espère que la petite édition du discours préliminaire est arrivée heureusement par la poste.

* 4. Différents échantillons de papier-vélin sans aucune raie, imité d'après la fabrication anglaise. L'inventeur français met ces essais aux pieds de Sa Majesté Impériale

5. Notice des médailles du cabinet de feu M. Pellerin.

Paquet signé N° 2

contient N° 1, 2, 3 et 4 du griffonnage de souffre-douleur.

Paquet signé N° 3.

1. Deux tasses à rouge.

2. Une boîte de bois d'acajou avec quatre pots de rouge.

3. Catalogue raisonné d'un cabinet de tableaux qui sera vendu au plus offrant au mois d'avril.

Heureusement, quand ce catalogue sera arrivé au pied du trône, il ne sera plus temps de donner des ordres.

4. Description des tapisseries appartenantes à la très illustre maison Delfino à Venise.

La très illustre maison Delfino aurait fort envie de vendre ces tapisseries à la très auguste Impératrice des Grecs; j'ai même une idée confuse d'avoir déjà importuné Sa Majesté Impériale à ce sujet, il y a quelques années. Donc je n'ai plus besoin d'un second refus, et je le donnerai tout seul.

A Paris, ce 2 (13) février 1783.

Madame,

A peine avais-je fermé et remis au chevalier de Ribas mes paquets numérotés 1, 2 et 3, que l'apparition du courrier du cabinet de Votre Majesté Impériale, ou plutôt du messager des dieux, M. Styx, a occasionné chez moi un bouleversement dont il ne m'aurait pas même été possible un moment auparavant de me former une idée. Les gens de Grimma m'ont fait passer un récit des plus alarmants des désordres dont l'apparition de ce messager des dieux a été suivie, et m'ont prouvé qu'il n'existe point de catastrophe physique dont les symptômes soient aussi redoutables que ceux d'une catastrophe morale de cette force. Après une sécheresse et une aridité totales de près de six mois, ce messager de leur divinité tutélaire a paru au milieu d'eux et a lâché les écluses de la bienveillance impériale avec si peu de précaution, qu'un engloutissement universel de tout ce qui porte le nom de Grimma a pensé en être la suite immédiate. Que Votre Majesté se figure le désordre de ces premiers instants; le déluge de Moïse n'est qu'une pauvreté auprès, et il ne reste point de termes pour en donner une idée. Jamais il n'y

* eut une preuve plus forte et plus démonstrative à quel point les extrêmes se touchent. Nun war das freylich ein ſeeliger Tod, vom Nektar der Freuden durchſtrömt und überſtrömt zu werden, aber es war doch Tod; et un souffre-douleur tenant dans ses mains tremblantes une pancarte impériale de 41 pages, se trouva dans les premiers instants dans un état plus critique que ne l'était un moment auparavant le souffre-disette avec tous ses symptômes de consomption. Mais lorsqu'au torrent de la bonté et bienveillance impériales il se sentit la force d'opposer un torrent de larmes, alors il se crut la vie sauve. En effet, depuis six jours (mais il ne lui en a pas fallu moins), depuis six jours qu'il est en possesion de ce trésor inappréciable de 41 pages, il a peu à peu perdu l'immobilité effrayante du premier moment, l'usage des jambes est revenu, il a recouvré la respiration, et les cris de la reconnaissance qui l'étouffaient, ont été si continuels et si aigus que je crains que Votre Majesté n'en ait été étourdie à ne savoir où se mettre, malgré la distance immense qui sépare de son auguste bienfaitrice celui qu'elle fait mourir de reconnaissance et d'attachement. Il en est résulté un petit soliloque avec lui-même. Depuis dix ans, dit-il, mon étoile la plus étrange, la plus glorieuse, m'a transformé en ballon. Questa mano possente e candida dont Corilla connaît si bien la force, tient ma destinée entre ses doigts; le plus léger mouvement de cette main auguste m'élève jusqu'aux nues, agrandit la sphère de mes forces, me fait planer dans les cieux, et je n'aperçois plus rien au-dessus de moi que la puissance du génie de celle qui dispose de moi. Mais aussi un moment d'oubli lui fait-il échapper le ballon d'entre les doigts, aussitôt il roule à terre, tout son orgueil l'abandonne, le découragement et le désespoir prennent la place de la confiance, et à toutes les pensées hautes succède un anéantissement total. Cependant, qu'es-tu, ô misérable ballon, pour vouloir toujours occuper cette main qui tient les rênes du plus vaste empire et dont les mouvements décident des mouvements du monde? Si par un miracle inexplicable elle a daigné te soutenir depuis dix ans, comment espérer que ce miracle se renouvelle et se perpétue? De tout cela, Madame, il résulte que c'est une triste condition que celle d'un ballon qui renferme un coeur. Au milieu de sa plus haute gloire, lesté de 41 pages d'écriture de sa divinité tutélaire, il suit le précepte de Salomon qui lui rappelle son néant, et au lieu de jouir, il tremble. Il n'était pas si pusillanime pendant cette longue disette d'où il vient de sortir; en se rappelant tous les bienfaits de Votre Majesté Impériale, il lui semblait qu'il était riche au-delà de ses besoins et surtout fort au-delà de son mérite, pour tout le temps qui lui restait à vivre; l'idée seule de n'être plus au courant de ce que dit l'Impératrice, me paraissait effrayante. Mais quand je pense que pendant tout le

* temps de ma disette, Votre Majesté n'a pas cessé de daigner s'occuper de moi; qu'à tous les instants de son loisir les intérêts de son souffre-douleur se sont présentés à son coeur généreux et magnanime; qu'elle a su me garder avec le plus grand soin, pendant plusieurs mois, tout ce que sa munificence me préparait; que pour avoir attendu longtemps, faute d'occasion, je n'en ai pas perdu une seule ligne, alors tout mon coeur se dissout und zerſchmelzt aus Wolluſt und Dankbarkeit. Je bénis le tiroir de cette table dont Votre Majesté me fait un tableau si pittorèsque, qui gémit sous le poids de mes énormes pancartes, au point que l'écritoire impériale, la source et le soutien de ma vie, ne peut y conserver sa place que par ruse et par artifice, en s'effaçant d'un côté et s'accommodant comme elle peut des extrémités pointues de cette table si impitoyablement surchargée du fatras d'un souffre-douleur qui ne sait ni par où commencer, ni surtout finir, lorsqu'il veut rappeler son attachement et son zèle inutile à son auguste Souveraine. Je bénis mille et mille fois ce tiroir, le gardien de mon trésor, et cette plume qui va chercher dans cette écritoire si mal campée de quoi satisfaire sa bienfaisance inépuisable, et cette main auguste et adorée qui ne sait pas seulement tricoter pour l'ornement de l'église qu'elle gouverne, mais qui, après avoir filé les plus glorieuses destinées du plus vaste empire, trouve encore de quoi conserver et embellir la trame du plus chétif des mortels.

Mais rien n'a jamais éprouvé mon coeur, rien ne l'a fait tressaillir jusques dans ses replis les plus cachés, comme la bonté avec laquelle Votre Majesté Impériale daigne me rassurer contre la longueur de mes pancartes. J'ai pâli en lisant que 118 pages avaient été entassées au même instant sur cette table pittoresque. Eh bien, cette table a beau gémir sous ce fardeau insupportable, la patience et le courage de l'Impératrice sont au-dessus de tous les fardeaux, et je n'ai pas toujours senti toute la force de ce vers dans sa bouche:

Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte.

Comment Votre Majesté ne craint-elle pas que l'encouragement que je reçois à la place de la réprimande la mieux méritée, ne produise à la fin un déluge de pancartes semblabe à cette inondation qui suivit d'assez près mon départ de Pétersbourg et qui y fit tant de dégât que l'Impératrice ne put jamais concevoir à quoi cela était bon? Pour moi qui n'ai jamais tant à dire à Votre Majesté que quand je suis à la fin d'une de mes pancartes, et qui ai toujours plus de choses sur le coeur, à proportion qu'elle est longue, je frémis que cette indulgence impériale n'expose Votre Majesté à un griffonnage sans bornes. Et si l'Impératrice me pardonne, que dira Monsieur Alexandre? Sera-t-il bien content que j'abuse ainsi de la bonté dont il prétend avoir

* pour le moins un aussi grand besoin que moi? Il me prendra en aversion, et il aura raison. Voilà comme j'offense plus d'une puissance par la longueur démesurée de mes pancartes. Qu'il ne s'imagine pas du moins que ce soit une maladie générale, et que tous ceux à qui je suis dans le cas d'écrire soient exposés à souffrir de ma prolixité. Dieu merci, j'ai toujours bien vite fini avec les autres, et la plupart du temps je voudrais me dispenser de commencer; mais si jamais le sort ou le hasard le sépare de son auguste Normal-Schulmeisterin, et qu'il en soit éloigné seulement d'une vingtaine de werstes, il verra s'il est si aisé de finir, quand on a commencé à lui écrire. Il verra aussi s'il est si aisé d'être content de ce qu'on lui mande, et si l'on ne sent pas à chaque ligne la pauvreté de la langue, l'insuffisance de l'expression, quoiqu'elle ait la bonté de dire: «Allons, dites toujours, car vous dites bien». Il sentira enfin quelle terrible maladie c'est que cette sédition des idées qui se culbutent les unes les autres, pour se présenter toutes à la fois au guichet. Ce n'est pas qu'il n'y ait aussi beaucoup de tapage de cette espèce dans l'intérieur de notre Impératrice; mais d'abord elle a une magnifique porte à deux battants à leur ouvrir; et puis ses idées das ſind Gaukelerinnen, und wenn das Getöſe zu groß wird alors elles se grimpent sur les épaules les unes aux autres; da kömmt über eine Linie eine Zwiſchenlinie, und über dieſe Zwiſchenlinie hüpfen noch ein paar Wörter hinauf, ſo daß in der ganzen Welt nichts einen ſo maleriſchen Anblick hat als was Ihro Majeſtät mit dem Namen einer Kaiſerlichen Pancarte beleget haben. Si mes pauvres idées avaient le talent de s'accroupir ainsi les unes par-dessus les autres, elles ne se culbuteraient, ni ne s'écraseraient, comme elles font, au guichet. Vor allem dieſen Unheil bewahre der Himmel unſern lieben Herrn Alexander, und flöße ihm die Kaiſerliche Grosmuth und Barmherzigkeit gegen den Schmerzbulder ein, damit er ihm verzeihe was nicht zu ändern iſt und was die geiſtreichen Predigten des Herrn Paſtor Wagners mit aller ihrer Gründlichkeit nicht verhindern können.

Il me serait impossible de dire à Votre Majesté à quel point j'ai été touché de la générosité de M. le général de Lanskoï, à l'aspect du tableau représentant Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin. Tout le monde trouve ce tableau charmant, on vient en foule le voir chez moi, et souvent je suis obligé de l'envoyer se montrer chez le tiers et le quart; il enchante tout le monde, il n'y a que moi qui ne puisse pas le regarder sans une confusion qui me fait rentrer sous terre. Tout ce que je me permets de dire, c'est que si le sacrifice dont je suis l'objet est noble et grand, jamais son prix ne pourra être mieux senti que par moi. J'ai été bien fâché d'apprendre à cette occasion la mort de Brompton. J'ignore si cet habile peintre a laissé un bon portrait de notre Impératrice. Si, écrasé comme je le suis, de bien-

* faits, j'osais fouiller dans mes archives, j'y trouverais, je crois, une promesse d'en recevoir une copie avec le temps. Si cela est, je sais d'avance que Votre Majesté ne voudra pas se laisser surpasser en générosité par M. le général de Lanskoï, et qu'elle sentira mieux que moi le besoin qu'ont Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin de lorgner leur Normal-Schulmeisterin du coin de l'oeil et de découvrir dans ses yeux si elle est bien contente de la manière dont l'un porte sa bannière et l'autre coupe son noeud. Si ce besoin est avéré, je croirais ohnmaasgeblich qu'il faudrait que ce pendant fût de la même grandeur, et qu'il n'eût pas un cadre moins brillant, moins artistement travaillé, que celui que je dois à la générosité de mon bienfaiteur. En conséquence j'ai cru, par égard pour Monsieur Alexandre et le Sieur Constantin, devoir les placer de façon que le pendant qu'ils attendent, pourra arriver quand il voudra, il se trouvera placé à côté d'eux à leur grand contentement, sans les gêner le moins du monde et sans déranger la chapelle. Cette chapelle est surmontée par l'Ecole d'Athènes de Raphaël magnifiquement enluminée par Volpato, arrivée depuis peu de Rome et déposant du luxe et du goût de dépenser du souffre-douleur. Sous cette Ecole se trouve la place prête à recevoir le portrait de la grande maîtresse de l'Ecole grecque moderne, autrement dite de russie. A sa gauche sont déjà arrivés, grâce au plus noble sacrifice d'un chevalier russe, les deux écoliers qui promettent faire le plus d'honneur à cette grande maîtresse d'école et être les jurés crieurs d'office de sa gloire et de son savoir-faire. Sous ces deux pendants on voit une belle copie en miniature de la Madonna della Seggiola de Florence, autre preuve du luxe du souffre-douleur; sous ce tableau, le profil fait par Scorodoumov d'après la boîte qui ne peut être habituellement exposée à cause de sa magnificence. Voilà la chapelle où je fais mes dévotions le plus assidument; mais il y en a encore trois autres dans la même pièce, quatre dans une autre à côté; deux dans une troisième pièce, sans compter tout ce qui pend aux cheminées pour les dévotions de tous les instants. Mais, malgré cette diversité de chapelles, on ne voit partout que la même divinité, on n'entend que la même liturgie, on entonne toujours la même antienne à sa louange; il est vrai que quand elle est une fois commencée, elle ne finit plus, mais ce n'est pas la faute de l'antienne, c'est la faute de celle qui en est l'objet.

Votre Majesté peut penser si je suis pressé de satisfaire le désir de mon bienfaiteur et de lui procurer cet émail d'après la tête retouchée par Greuze. Je n'ai été arrêté que par un doute: il n'est pas dit s'il ne veut que la tête et le buste, ou bien la figure entière avec le cheval. Je n'ai pas perdu un instant pour demander les ordres de M. le général de Lanskoï à

* cet égard par la poste, puisque M. le Factotum impérial m'a permis de garder M. Styx quelque temps pour les besoins de mon coeur. Si l'émail ne doit livrer que la tête, je crains que le grand chapeau dont elle est coiffée ne fasse pas un bon effet dans un petit espace; si tout le tableau doit être copié en émail, c'est une grande entreprise; je serai cinq ou six mois sans mon tableau; mais c'est bien le moindre des sacrifices que je puisse faire à mon bienfaiteur. Ce qu'il y a de pis, c'est que pendant ces cinq ou six mois je serai dans des transes continuelles que cet émail ne réussisse pas selon mes voeux; mais aussi s'il réussit, je serai au comble de la joie. Je n'attends que mes ordres pour commencer, et je suis déjà convenu avec l'artiste que si c'est le tableau en entier, nous lui donnerons la grandeur et la largeur de mon précieux tableau du coupeur de noeud et du porteur d'étendard.

Tandis que je griffonne ici, le chevalier de Ribas prend la clef des champ pour gagner Pétersbourg où il veut être rendu dans les premiers jours de mars. Je n'ai pas osé rouvrir mes pancartes à l'apparition de M. Styx; elles étaient déjà toutes livrées au chevalier. Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus empressé de se charger de tous les paquets possibles pour Votre Majesté Impériale; je crois que si je lui avais proposé une maison entière à emporter, il m'aurait prouvé qu'il y a de la place dans sa voiture. Je remets ici le duplicata de la liste de tout ce qu'il a emporté.

Ce 1 (12) mars.

Hélas, Madame, le chevalier de Ribas n'est pas peut-être à l'heure qu'il est fort loin de Pétersbourg, avec tous mes paquets, tandis que mon bienfaiteur Styx n'a pas encore bougé de Paris, et que j'abuse d'une étrange manière de la permission que M. le Factotum impérial m'a donnée de le garder quelque temps pour l'intérêt de mes pancartes. Peu de jours après avoir griffonné ce que dessus, j'ai été assailli par une grosse fièvre qui ne demandait qu'un médecin pour devenir une maladie sérieuse; mais comme je lui ai refusé ce petit objet de luxe malgré toute son effervescence et toute l'irrégularité de sa conduite, il a bien fallu qu'elle se mît enfin à la raison. Elle ne m'a pas moins fait perdre près d'un mois dont j'ai passé la moitié sur mon grabat absolument hors de combat. J'ai été vingt fois tenté de prier le prince Bariatinski de réexpédier M. Styx, sans attendre mon griffonnage; puis la permission expresse de M. le Factotum s'est peinte à mes yeux au milieu de ma fièvre avec des couleurs si vives, que le courage de laisser partir mon bienfaiteur Styx avec les mains vides m'a entièrement manqué. J'ai donc à implorer la clémence de mon auguste Souveraine, et

* j'espère qu'elle me pardonnera comme un écart qu'il faut attribuer à ma fièvre, d'avoir osé prendre sur moi de retenir le seigneur Styx si longtemps. Il n'y a pas de sa faute; je n'ai jamais vu de courrier plus pressé de partir que lui. Il n'a cessé de s'informer du jour de son départ, et pendant que ma maladie m'a mis hors d'état de le recevoir, et depuis que j'ai pu le revoir. Enfin je l'ai remis à la semaine prochaine sans faute, et j'espère profiter de tous les moments d'ici à son départ, pour griffonner autant que mes forces le permettront; la certitude de ne pas excéder mon auguste bienfaitrice fait pour les gens de Grimma un argument invincible contre les remontrances qui tendraient à leur faire abréger leurs pancartes. Comme M. Styx a emporté de Pétersbourg une partie de ses fonds en assignations, et qu'il n'aurait trouvé à s'en défaire ici qu'avec beaucoup de dommage pour lui, j'ai pris sur moi de lui compter trois cents livres de France de la caisse impériale qui est entre mes mains, et je l'ai obligé de les accepter et de les employer à la dépense journalière de son séjour de Paris. Il a fait beaucoup de difficulté d'accepter cet argent, craignant que ses supérieurs et ses protecteurs à Pétersbourg ne regardent cette démarche comme irrégulière de sa part; mais j'ai pris sur moi de le rassurer et de lui observer qu'il ne m'appartient pas et que je ne prétends pas lui accorder de mon chef une gratification de la part de Votre Majesté Impériale; que je ne veux au contraire que le préserver de pertes inutiles; que rien n'empêche que lorsqu'à son retour le cabinet impérial règlera son compte, il y comprenne et se fasse retenir les trois cents livres de France que je lui avance; cela l'a tranquillisé. Il m'a paru en général un fort joli sujet, fort attaché à ses devoirs, et toutes les fois qu'un sujet de Votre Majesté s'attire mon approbation, je la lui donne avec une joie dont je lui sais le plus grand gré du monde.

Votre Majesté peut être bien persuadée que personne n'a été plus occupé de l'état du prince Orlov que moi. Je l'ai su d'Allemagne et par la colonie russe à Paris. J'ai pu aisément m'imaginer combien notre bonne Impératrice, bonne autant qu'elle est grande, bonne comme la divinité devrait l'être, serait peinée de cet état, et c'est par pure délicatesse que j'ai cru devoir m'imposer le silence sur un sujet si triste dans ma pancarte précédente. Mais quoique le voeu constant de mon coeur soit que Votre Majesté n'éprouve jamais la plus légère peine, j'adore cependant avec transport cette sensibilité qui la lui cause, et je vous félicite, Madame, d'avoir pu conserver sur le trône un coeur sensible, source de peines, mais aussi de satisfactions et de délices dont vos pareils végétants dans leurs palais n'auront jamais aucun soupçon. Malheureusement j'apprends que ce n'est pas la seule peine qui ait affligé Votre Majesté sur la fin de l'année der-

* nière, et que beaucoup de malades lui ont causé de l'inquiétude autour d'elle. Je suis rassuré sur tous, excepté sur le général Baur; mais il est jeune encore, et ces crises doivent le tirer d'affaire. Cette pancarte divine de 41 pages finit d'une manière bien accablante pour moi, en me disant: je suis accablée de travail et par la maladie des gens que j'estime et que j'aime. Je ne crains pas l'accablement du travail pour Votre Majesté, et j'espère que le commencement de la première pancarte divine m'apprendra que l'autre n'existe plus. Il y a dans la vie morale comme dans le physique des époques bien fâcheuses. Tout a l'air de se détraquer, de menacer ruine, de nous quitter, c'est comme lorsque les tempêtes et les ouragans bouleversent les éléments; on doute alors que le beau temps puisse jamais revenir; mais le calme renaît enfin, le soleil reparaît et le souvenir des maux causés par les orages s'efface. Le pauvre Diderot est tombé malade le même jour que moi; ils l'ont saigné trois fois en moins de douze heures. On m'a assuré qu'il avait été fort mal, mais quand j'ai été en état de le voir, je l'ai trouvé assez bien, et il va de jour en jour de mieux en mieux.

Nous avons eu ces jours passés les détails les plus affligeants sur les désastres causés par des tremblements de terre à Messine et dans cette partie de la Sicile, ainsi que dans toute la Calabre ultérieure. J'espère que la moitié de ces désastres ne se trouveront pas vrais; il est naturel que les premiers récits soient exagérés par la frayeur et que l'imagination frappée multiplie les fantômes; mais quel qu'en soit le dernier résultat, je crois que la somme des maux causés par cette catastrophe sera effroyable assez; et d'abord on ne peut douter dès à présent que Messine et beaucoup de villes de la Calabre ultérieure ne soient entièrement renversées et englouties et que le nombre de ceux qui y ont péri ne monte à plusieurs milliers. C'est bien là le cas de demander avec Votre Majesté: à quoi bon tout cela? Malheureusement le conducteur ou plutôt la conductrice, la destinée ou la fatalité, étant aveugle de naissance, il lui est impossible de faire une distinction entre Messine et un tas de fourmis. Cet événement m'a donné une humeur diabolique, comme si aux yeux de l'Eternel qui n'en a pas, il devait y avoir de la différence entre un tas de Siciliens ou de Calabrais et un tas de fourmis.

J'ai fait pendant ma fièvre une délicieuse lecture; c'est le troisième bienfait inestimable que je dois à M. Styx le retardé; c'est le nouveau volume de la bibliothèque de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin. J'ai lu ces cahiers non seulement avec le plus grand plaisir, mais aussi avec le plus grand fruit pour moi-même, et les réflexions qu'ils m'ont fait faire, m'ont souvent fait oublier que ce n'est pas pour mon instruction que ces cahiers ont été composés primitivement. Si une partie de ces proverbes

existe en Russie, je suis bien sûr qu'une plus grande et la plus précieuse est de la création de celle dont le destin est de tout créer chez elle et chez les autres, mais cette dernière partie ne sera pas celle qui sera le moins avidement adoptée par les nations. Il y a des réflexions à la fois simples et lamineuses, que je n'ai vues nulle part, celle-ci par exemple: C'est une preuve d'esprit de ne pas remarquer ce qui n'est pas digne de remarque. Heureux les princes qui reçoivent cette nourriture avec le lait de leur nourrice! Leur tempérament s'en ressentira toute leur vie, il sera sain et vigoureux, il aura été pétri exprès par la justice et la bienfaisance pour commander aux hommes. Depuis la Cyropédie que j'ai lue dans ma première jeunesse, je n'ai rien lu qui m'ait fait ce plaisir. Da iſt Geiſt und Kraft drinnen. Cela est digne en tout point de la brave femme par excellence, et les moments qu'elle consacre à ces cahiers ne sont assurément pas perdus pour l'empire. Or Votre Majesté n'a traduit Brave femme qu'à moitié: Brave femme veut dire eine tüchtige Frau, mais veut dire aussi eine wackere Frau. Nun muß der Herr Alexander wißen daß ohne Wackerkeit und Feſtigkeit alle Tugenden zuſammen kein Kopickgen werth ſind. Und die alten Deutſchen waren weiſe und geſcheute Leute, denn bey ihnen war die Eigenſchaft Feſt oder Veſt der größte Ehrentitel ſo wie auch Geſtreng. Ich möchte wißen ob im Rußiſchen ſo etwas ähnliches iſt.

Was aber der Herr Alexander als ein künftiger feſter Mann wohl zu betrachten hat, das ſteht im Evangelio: Wem viel gegeben iſt, von dem wird man viel fordern. Dazu mag der geſtrenge Herr Conſtantin auch ſeine Ohren ſpitzen. Plus leur éducation a été et restera un phénomène unique dans les annales du monde, plus leur siècle exigera d'eux. Je ne puis songer sans attendrissement avec quelle avidité leur siècle recueillera un jour tout ce qui se trouve de traits épars de leur première enfance dans les pancartes dont mon étoile assurément unique m'a rendu l'heureux dépositaire. On comparera les traits de cette enfance et la direction qu'elle a reçue, avec ce qui en a résulté, et il est impossible que ce résultat donne des hommes ordinaires.

Le conte de Fewei est un diamant. J'y ai reconnu toute l'éducation trait pour trait que Monsieur Alexandre a reçue dans sa première enfance; j'y vois toute celle qui l'attend à mesure qu'il avancera en âge. Das iſt Nahrung für Fürſtenkinder. J'embrasse les genoux de Votre Majesté pour obtenir d'elle une traduction bien ou mal croquée de ce conte en français, car je n'ai jamais su traduire. Mais quand j'aurai cette traduction esquissée, je la retoucherai, je la soignerai: voilà pourquoi je la demande aussi voisine du russe que possible, afin que je m'en éloigne aussi le moins possible. Quand j'en serai tout à fait content, nous l'imprimerons ici en français et

* en allemand. Il ne faut pas que ce mot fatal gendarme Votre Majesté. Ne vaut-il pas mieux que j'en sois l'éditeur soigneux que de voir ce conte charmant imprimé sans soin à Berlin ou en Saxe, comme il est arrivé à son frère aîné? D'ailleurs il n'est pas nécessaire d'en faire une édition pour le public; nous pouvons aisément nous borner à n'en tirer que quelques exemplaires pour Monsieur Alexandre et Compagnie. Depuis quelque temps il s'est manifesté parmi les imprimeurs de Paris une émulation qui est une vraie maladie, mais qui tournera au profit de la typographie; c'est à qui fournira les plus belles impressions. J'ai quelquefois envoyé à Votre Majesté des échantillons de l'imprimerie de Didot; un autre imprimeur nommé Pierres est son rival le plus redoutable. Le discours préliminaire du comte de Choiseul sur son voyage de la Grèce, tel que j'ai eu l'honneur de l'envoyer à Votre Majesté en petit format, est sorti des presses de Pierres; c'est dans ce format et avec cette élégance que je voudrais imprimer le conte de Fewei. Le sort de Votre Majesté est d'électriser et d'émoustiller toutes les têtes dans tous les coins de l'Europe, sans en excepter désormais l'Amérique, de quelque état, profession et condition que les gens porteurs de ces têtes soient. Il est dit dans le conte de Fewei quelque part, que certains souverains ont cette vertu magique; quand j'ai lu ce passage au milieu de ma fièvre, j'ai dit: Qui se sent morveux, se mouche. Or il n'y a pas tant de morveux en ce monde qu'on le croirait bien, ni tant de gens qui aient le droit de se moucher, à ce que dit M. Pierres qui se trouve attaqué de deux maladies graves, l'une la fureur de bien imprimer, l'autre la fureur d'imprimer n'importe quoi pour Votre Majesté Impériale. Il est venu tout exprès de sa rue Saint-Jacques pour m'apprendre que le premier de ces maux il le prend en patience, et qu'il ne tient qu'à moi de le guérir du second. La vraie passion est une maladie incompatible avec la vilaine passion de l'intérêt; aussi tout le monde rend-il justice au désintéressement du seigneur Pierres. En l'employant à quelque chose, il ne serait question que de lui rembourser strictement les frais d'impression, et il ne serait pas plus cher à cet égard que tout autre imprimeur; mais si ensuite pour sa récompense honorifique Votre Majesté daignait le gratifier d'une médaille, il en ferait un trophée éclatant et éternel à l'honneur de la typographie et à la gloire de la famille des Pierres. Il a déjà reçu une pareille récompense de je ne sais plus quel souverain; mais qu'est-ce que c'est qu'une médaille de tout autre souverain? L'évangile dit ou plutôt notre Sauveur dit: Marthe, Marthe, ou bien, Pierres, Pierres, porro unum est necessarium, eines iſt nothwendig: c'est d'avoir reçu une médaille de l'Impératrice. Fewei, le charmant Fewei peut procurer dieſe Nothwendigkeit à maître Pierres; mais si

* Votre Majesté avait toute autre chose à faire imprimer chez lui, je répondrais avec d'autant plus de confiance que pas un feuillet n'en serait détourné, qu'étant imprimeur du gouvernement et de la police pour les choses secrètes, il est dans le cas de pouvoir répondre de la sûreté de ses opérations. Mais quoiqu'il plaise à Votre Majesté de décider sur la maladie de maître Pierres, Emilie dit que Votre Majesté ne lui refusera sûrement pas la satisfaction de lire Fewei, et que si elle ne le reçoit pas en réponse à cette reqûete, ce ne peut être que ma faute.

J'ai été très choqué, Madame, de la question: Que voulez-vous faire de mon règlement de police, et de la menace: Avant que vous me le disiez, je ne vous l'enverrai pas. Premièrement, n'est-il pas imprimé? Et puis, il est donc bien difficile de deviner ce que j'en veux faire? Et qu'est-ce que je fais de la bibliothèque de Monsieur Alexandre et du Sieur Constantin? Tout cela n'appartient-il pas de droit aux archives d'un souffre-douleur? D'ailleurs les gens de Grimma veulent aussi y fourrer leur nez, ils veulent éplucher ce règlement; ils espèrent trouver bien des choses à y reprendre, und das iſt wahrhaft für ſie. Was doch unſere Kaiſerin mißtrauiſch ſeyn kann! Elle est capable de me demander: Comment savez-vous que la première éducation du sieur Fewei a quelque ressemblance avec celle de Monsieur Alexandre. Je le sais, Madame, il y a plus de trois ans; mon gouverneur Thier vint alors faire une apparition ici et il me dépeignit l'appartement de mon dit Sieur Alexandre et tous ses exercices gymnastiques à l'âge de quinze mois. Avec tout cela le Sieur Fewei n'a pas un aussi joli trait par devers lui que celui de Monsieur Alexandre tremblant de la fièvre et faisant sentinelle à sa porte dans son manteau pour recevoir l'Impératrice, et je suis bien sûr que s'il trouve dans son chemin la nacelle du charmant Fewei, il y sautera tout aussi lestement. Si on lui fait des représentations, il dira: Meine Herren, ich war noch nicht vier Jahr alt, als ich die Kaiſerin habe auf dem Pobedoslaw mitten unter den Seeleuten ſitzen geſehen, und hat ſich laßen mit ihm vom Stapel ſtoßen; ſie befindet ſich aber deswegen doch, Gott ſey Dank, ſehr wohl. Et voilà ce que c'est, Madame, que de donner mauvais exemple, je ne dis pas à la jeunesse, mais à la première enfance.

Un pauvre souffre-douleur se trouve pénétré de reconnaissance quand le crayon impérial lui trace le tableau de cette chambre à coucher où il se promène continuellement, et qu'il ne reconnaîtrait plus sans ce crayon bienfaisant; mais il est d'autres informations dont il est étrangement blessé. Il prétend, par exemple, qu'un jour de ceux qu'il a passés dans le temple de Minerve, jours auxquels il pense jour et nuit et jamais longtemps sans fondre en larmes, Minerve lui dit: En telle année commenceront les travaux

* de la Fontanka. Au point nommé il a su par les messagers de Minerve que tous ces travaux avaient commencé. On croit apparemment, dit-il, que je croupis dans la plus crasse ignorance? Uebrigens, ſagen die Leute von Grimma, iſt darüber freylich nichts zu ſagen. Feſt iſt unſere Kaiſerin nach deutſcher Manier. Wie entworfen, ſo ausgeführt. Was ſie unternimmt, darauf beſteht ſie. Das iſt auch der einzige Fehler den ihr der gutherzige Mann, Abdul Hamet, vorwirft.

Ce 2 (13) mars.

La confiance attire la confiance. Puisque sa Hautesse Très Chrétienne (nun dieſes Prädicat verdient der große Alkoraniſche Theolog, Abdul Hamet) m'a confié ses chagrins und was er an ſeiner großen griechiſchen Freundin auszuſetzen hat, ſo kann ich ihm meine gravamina und Beſchwerden über die allerhöchſt gedachte Griechiſche Kaiſerin ganz und gar nicht verheelen. Das iſt wahr, ihr Eigenſinn iſt zuweilen unausſtehlich. Wie bin ich armer Tropf nicht mit meiner Arcadiſchen und Corilliſchen Bittſchrift abgefertigt worden. Nun, was hätte nicht der Custos oder Custode oder auf deutſch Küſter der Arcadie für eine unſterbliche Freude gehabt ſo eine Pastorella zu proclamiren? Abgewieſen, rund abgeſchlagen. Und warum? Weil der arme Pius VI nicht weiß auf welchen Fuß er tanzen kann. Quoiqu'en ma qualité de Luthérien orthodoxe, je sois obligé de prier le Tout-puissant trois fois par jour, de préserver son église du Pape et de l'Antechrist, qui ne sont qu'une seule et même chose, j'ai envie, sans préjudicier à mes prières, de prendre le parti de l'Antechrist Pie VI. Est-ce que Votre Majesté ne sent pas que ce pauvre Antechrist meurt d'envie de faire tout ce que l'Impératrice des Grecs désire. D'abord pour accorder un pallium ou un manteau à un archévêque, il ne se ruine pas en étoffe, et si l'archévêque de Mohilev croit que ce pallium le tiendra chaud, il aura compté sans son hôte; puis il ne lui coûte pas une obole de faire à Votre Majesté un évêque in partibus: au contraire, cela fait pour lui de petits profits dont il a grand besoin, puisqu'on dit que l'exemple de M. de Guémené l'encourage et qu'il va faire une petite banqueroute de 80 millions; il laissera d'ailleurs à Votre Majesté le soin d'introduire cet évêque in partibus dans son diocèse, que ce soit à Corinthe ou à Ephèse. Weil aber der arme Antichriſt ſehr unartige Kinder hat, die ihm über den Kopf gewachſen ſind, und ihm nicht mehr erlauben zu thun was er wünſcht, und Herr in ſeinem Hauſe zu ſeyn, muß man ſich denn deshalb über ihn erzürnen? Der arme Mann weint ſich faſt die Augen darüber aus dem Kopf. Je suis cependant bien aise que les coquins de la Russie Blanche aient mis Votre Majesté dans le secret que le

* Roi Catholique a religieusement gardé dans son coeur royal. Peut-on imaginer une calomnie plus bête que celle que ces noirs coquins ont voulu établir contre ce grand monarque? Quand Votre Majesté n'aurait pas pris la défense de son bon frère royal contre les abominations de ces excréments de la terre, l'expédition d'Alger et le siège de Gibraltar seraient deux monuments ineffaçables qui déposeront éternellement de la légitimité la plus étroite du Roi Catholique. J'accorderai à Votre Majesté que dans un cas de besoin, bâtard ou non bâtard, on n'est ni plus ni moins Roi d'Espagne, quand la Providence vous a flanqué sur ce trône; mais je défie un malheureux bâtard de se ménager deux événements de cette force dans son règne. Voilà où le doigt de Dieu se montre, et nous prouve clairement qu'aucune annonciation d'ange ou d'archange n'a présidé à cette naissance, que tout s'est passé bêtement et régulièrement, et que les vilains calomniateurs, s'ils n'avaient pas surpris la religion de l'Impératrice des Grecs, n'auraient pas actuellement sur toute la terre où placer leur tête. Nun die Kaiſerlichen Coquins ſind freylich abſcheuliche Leute. Gott helfe ihnen in die heilige Inquisition hinein, ſo wie er dem redlichen Olavides herausgeholfen. Il faut que je rectifie un article de ma pancarte précédente. Il est bien vrai que M. le prince de Guémenée a emporté à ce pauvre M. Olavides 24 mille livres de rente; mais au lieu de 16 mille, comme on me l'avait assuré, il lui reste encore 40 mille; c'est être riche pour un philosophe, et il est plus aisé d'oublier le vol de ce grand prince dans cette situation que lorsque, comme tant de malheureux, on perd par la banqueroute de son Altesse toute sa subsistance.

Je suis bien aise de m'apercevoir que Votre Majesté Impériale ait été convenablement frappée par cette illustre banqueroute; elle est véritablement d'une grandeur imposante, et escroquer aux badauds de Paris plus de trente millions hypothéqués à peu près sur les brouillards de la Seine, c'est une des plus étonnantes entreprises de ce siècle. J'ignore si Madame la princesse de Guémenée a daigné avoir recours à la petite ressource de s'appliquer la dot de Madame Clotilde; ce que tout le public sait, c'est que son illustre époux n'a pas dédaigné de prendre l'argent de tous les acteurs, danseurs, valets, laquais, et leur en faire des rentes viagères. Ces malheureux se voyant privés de leur subsistance, meurent de chagrin comme des mouches, et son Altesse hérite tous les jours des rentes qu'elle à volées. Le grand Vestris que nous appelons le dieu de la danse, qui est toujours grand dans ses sentiments, quoique un peu bête, ayant appris que son fils naturel le petit Vestris, danseur unique, se dérangeait beaucoup dans ses affaires, a fait assembler ces jours passés toute la famille Vestris, devant laquelle il a fait comparaître son bâtard, et après l'avoir fortement tancé et

* lui avoir demandé l'état de ses dettes, il l'a menacé de lui faire quitter le nom et les armes de Vestris, parce que, dit-il, nous ne voulons point de Guémenée dans notre famille. Je vois que Votre Majesté n'empruntera pas plus que la maison Vestris des Rohan Guémenée à la France; mais puisqu'elle était en train d'accorder les honneurs de l'adoption à quelques sujets de son bon frère George III, j'en propose encore deux. Premièrment le second de Rodney, sir Samuel Hood devenu lord d'Irlande, et qui, si j'en crois mes mémoires, a été le véritable grand faiseur sur les flottes britanniques en Amérique; et puis ce capitaine Roger Curtis, qui a commandé la marine anglaise à Gibraltar, et qui après avoir détruit les batteries flottantes du Roi catholique et légitime par la manoeuvre la plus judicieuse, s'est ensuite exposé au péril le plus imminent pour retirer de ces batteries incendiées des ennemis qui périssaient misérablement dans ces machines infernales.

Ce 3 (14) mars.

Votre Majesté Impériale m'a dit si positivement qu'elle serait bien aise de garder le duc de San Niccola, que je me suis permis d'en toucher un mot au petit abbé vaurien et aussi à un chevalier Acciardi que nous avons ici, qui est au service de Naples et que je crois en commerce de lettres avec le Marquis della Sambucca. Le petit abbé en peut aussi parler à ce ministre ou peut être aussi au chevalier Acton, qui a beaucoup de crédit sur son maître le Roi de Naples, et qui, comme je sais, a une forte passion pour notre Impératrice, parce que c'est un homme de tête. Le chevalier Acciardi m'a bien dit que si l'on avait été instruit à Naples à temps, rien n'eût été plus aisé que de laisser en place celui qui a eu le bonheur de réussir; mais son successeur étant nommé depuis plusieurs mois, on sera peiné de donner à celui-ci un dégoût. Quoi qu'il en arrive, il ne pourra être qu'infiniment avantageux pour le duc de San Niccola que sa cour soit informée qu'il a su mériter la bienveillance unſerer recht und ſchlechten Kaiſerin, pourvu que les bouleversements de la Calabre et de la Sicile permettent au nouvel associé de la neutralité armée de s'occuper d'autre chose que de tremblements de terre. Au reste, si j'ai péché, Madame, en risquant de parler des succès du duc de San Niccola, sans en avoir aucun ordre exprès, je supplie Votre Majesté de faire laver la tête à son souffre-douleur d'importance, afin que cela ne lui arrive plus. Mais après avoir châtié, il faut lui envoyer pour emplâtre les traductions italiennes du duc de San Niccola de la précieuse bibliothèque de Monsieur Alexandre et Sieur Cons-

* tantin. J'ai pâli à la nouvelle de la maladie inflammatoire de mon bienfaiteur, le général de Lanskoï; heureusement elle se trouve au milieu de la pancarte impériale, et elle était par conséquent guérie depuis longtemps, lorsque cette pancarte est partie.

A propos de la prétention de notre Impératrice d'être recht und ſchlecht in allen ihren Sachen, ſagt der chriſtliche Herr Abdul: Ja nun, Recht und ſchlecht iſt ein ſchöner Wahlſpruch, wenn ſie nur bey ihm hübſch blieb: So aber theilt ſie ihn, behält das recht für ſich, und überläßt das ſchlecht ihren Nachbaren. Il n'y a point de conscience à cela, disent les gens de Grimma. Ces gens sont très choqués d'être induits en erreur par les papiers publics oder durch das alte Katterſchnurren, welches ihnen zuweilen vor den Ohren zauſt, ohne daß ſie wißen, woher es kömmt. Témoins les cadets grecs du Sieur Constantin, auxquels ils ne trouvaient cependant rien à redire, mais ils aiment beaucoup mieux avoir à féliciter Monsieur Alexandre sur son grade d'enseigne que sur un régiment. Das iſt nun auch wieder ſo feweiſch, denn der Herr Fewei lernte auch vors erſte gehorchen, weil ſich das Commandiren von ſelbſt oder vielmehr durchs gehorchen lernt.

M. de Sartine, ancien ministre de la marine et auparavant longtemps lieutenant de police, m'a prié avant ma maladie d'aller voir chez lui un tableau et de l'offrir à Votre Majesté Impériale. C'est un Guercino de cinq pieds, un pouce de haut sur six pieds huit pouces de large, représentant Loth et ses filles, c'est-à-dire trois figures. Ce tableau m'a paru beau, et le chevalier de Ribas, à qui je l'ai fait montrer et qui a l'oeil plus exercé que moi, m'a confirmé dans mon opinion. Il vient originairement de la succession du maréchal d'Estrées, qui l'avait payé 24 mille livres; M. de Courtenvaux, frère du maréchal, l'a laissé par testament à M. de Sartine. Celui-ci n'étant pas logé assez grandement pour trouver place à ce tableau dans sa maison l'offre à Votre Majesté pour dix mille livres, car dès qu'on a quelque chose à trafiquer dans les arts, la gloutonnerie de l'Impératrice se présente aux spéculateurs, et le souffre-douleur est exposé à leurs attaques. J'étais encore malade lorsque le comte de Soltikov est venu m'annoncer qu'il partait trois heures après sa visite; j'étais hors d'état de griffonner; mais je lui ai toujours collé les deux exemplaires du sixième cahier de Houel. Les dessins de Messine qui se trouvent dans cette collection deviendront d'autant plus précieux, que suivant l'apparence les originaux n'existent plus. Le chevalier Hamilton a écrit le 25 février une longue lettre de Naples à M. Fitz-Herbert, sans dire un mot de tous ces bouleversements, et c'était une lettre particulière et non d'affaires; cela s'appelle être prodigieusement blasé sur les volcans.

* Lorsque j'envoie des lettres et papiers de toute couleur dans les archives du souffre-douleur, qui sont, comme tout le monde sait, la cheminée de Votre Majesté, je ne prétends point du tout que l'Impératrice les commente. Je n'en excepte que les pancartes du divin. Outre qu'elles ont ordinairement besoin de commentaire, Votre Majesté a un talent si décidé et si supérieur in dieſem Fach, que je ne conseille à aucun commentateur de profession de lutter contre elle. La lecture de ces commentaires est ordinairement suivie de grands éclats de rire dans le taudis du souffre-douleur. J'espère que Votre Majesté recevra avec reconnaissance le linge du chevalier de Miller, et que je serai averti lorsqu'à l'imitation de la reine de Sardaigne, l'Impératrice portera la première chemise de la façon des fileuses. Quant aux inquiétudes du divin, avant d'avoir reçu la panacée impériale qui l'aura radicalement guéri, j'avais déjà pris sur moi de le rassurer et de lui faire entonner avec moi: Eine feſte Burg iſt unſere Kaiſerin. Je suis sûr qu'enrhumé ou non, dans son lit ou debout, il chante ce cantique à l'heure qu'il est de toutes ses forces, car il doit être en possession de la panacée impériale. Votre Majesté, suivant sa bonté divine, s'est étendue avec trop de clémence, dira le divin, sur cet article; je la supplie en conséquence de n'y plus faire aucune attention. Das war nun ſo von dem divin eine ganz natürliche Furcht, von dem souffre-douleur aber eine bloße Grillenfängerey, welche bloß der großen Dürre des vorigen Herbſts zuzuſchreiben iſt; denn wenn alles vertrocknet, da häufen ſich die Grillen von allen Orten her, aber der Herr Styx hat ſie mit ſeinen Schleußen voll kaiſerlichen und göttlichen Nektars in einer halben Secunde überſchwämmt und erſtickt, daß ſie in Ewigkeit nicht wieder erſcheinen werden. Cela n'empêche pas que le souffre-douleur n'espère que son auguste Souveraine ne se fasse rendre compte de son testament et de l'état de ses affaires en temps et lieu, ainsi que des legs qui lui sont dévolus par ce testament.

Ce 9 (20) mars.

Les caprices de ma santé m'ont encore empêché de griffonner ces jours passés. Or il ne s'agit plus de griffonner et d'abuser de la tolérance de Votre Majesté si gracieusement annoncée dans la dernière plus que divine pancarte, sans fin et sans mesure. M. Styx et ma conscience me reprochent de l'avoir outrageusement longtemps gardé, et il faut que demain il puisse partir avant que le soleil se couche. Voilà notre arrêt définitif. Que la miséricorde de notre très gracieuse Souveraine me pardonne de l'avoir gardé si longtemps! J'aurai ce poids sur ma conscience jusqu'à ce que mon par-

* don formel m'arrive consigné dans la première pancarte impériale et salutifère; on appelle ainsi ce qui porte salut: or rien ne porte salut et bonheur comme une pancarte impériale. Si l'on pouvait compter sur ce bienfait des dieux seulement quatre fois par an, tous les trois mois, ce monde serait un paradis qu'on ne voudrait plus quitter; mais comment espérer ce bonheur actuellement que les messagers de Minerve vont devenir de plus en plus rares? Nun Gott ſtehe dem armen Schmerzbulder bey.

J'aurais encore tant de choses à dire à mon auguste Souveraine que je ne lui dirai pas, parce qu'il faut finir, und ſo darf nur das allernöthigſte auf das Papier. Premièrement le prince Galitsine bénit notre bienfaisante Impératrice jour et nuit des bontés dont elle l'a comblé. Il va s'établir à Münster auprès de ses enfants et garder un pied à terre à la Haie. En second lieu, j'ai touché sur ma périlleuse parole une somme de dix mille livres de France à la charge de M. Sutherland ou plutôt du cabinet impérial, afin de rafraichir les fonds de Votre Majesté entre mes mains, parce qu'après avoir payé le mémoire à la charge de M. le général de Lanskoï, la pension de Corilla, le bienfait accordé à Madame de la Roche, et celui du fortuné Chedrine, j'ai trouvé que le résidu de la caisse impériale n'était pas suffisant pour tout cela. Or il s'agit de tâter un peu le terrein auprès de M. le procureur général et de voir s'il ne lui prendra pas des étouffements, si Votre Majesté lui propose de m'établir un crédit pour une certaine somme. Cela me dispensera de tirer dans l'occasion sous ma périlleuse garantie, et je crois que c'est une forme moins chère pour le cabinet impérial: or M. le procureur général et moi nous aimons à tondre sur un oeuf lorsqu'il est question des deniers de Votre Majesté.

Il faut absolument que je remette à la première pancarte à parler à Votre Majesté de l'heureux Chédrine, qui est au comble de ses voeux et qui se prosterne avec moi devant le trône de la miséricorde; j'aurai l'honneur de rendre compte à Votre Majesté de ses projets. Quant à l'heureuse Madame de la Roche, il ne faut pas que Votre Majesté se flatte que cette main auguste et bienfaisante qui influe si puissamment sur son sort puisse lui rester inconnue. Tant de personnes considérables ont osé par mon canal s'adresser à elle, que quand elle voudrait se cacher, tout le monde la devinerait. Et puis, le bienfait en lui-même est sans doute un grand bien; mais la main qui l'accorde, le double et le triple aux yeux du public. L'heureuse Madame de la Roche a donc besoin, non seulement de recevoir, mais aussi de s'en vanter, parce que dès ce moment, devenue un objet de la bienveillance de Catherine, elle devient un objet intéressant pour le public; son sort est changé, ses infortunes disparaissent, sa considération augmente.

* Ce que je peux faire, c'est de préserver Votre Majesté de l'épître dédicatoire, mais non du tribut de reconnaissance payé en public. Je sais bien que cette publicité expose Votre Majesté à des importunités, et bien plus encore le pauvre souffre-douleur, qui ne peut s'y soustraire par le silence comme l'Impératrice; mais qu'y faire? Der abgeſchmackte Kerl der im Rauch herum vagiert, der Lubersac, der Pfuy Teufel hat mich achtzehn Monate lang mit unſerer Kaiſerin geplagt und verfolgt, noch vor der Nordiſchen Anherkunft. Davon hat unſere Kaiſerin nichts gehört noch erfahren, aber Gott ſey Dank geleſen habe ich nichts von dem abgeſchmackten Zeug, ſonſt wäre ich ganz verdörrt. Au reste, j'adore Votre Majesté autant pour ses refus que pour les bienfaits qu'elle accorde, parce que je les trouve de toute justice, et nommément ceux que la divine pancarte de 41 pages m'a apportés, et j'admire sa bonté inépuisable de ne pas prendre en grippe un malheureux souffre-douleur forcé contre le cri de sa consience d'importuner celle dont un regard lui soutient la vie, mais dont un regard aussi suffirait pour le faire rentrer sous terre. Si M. le procureur général m'envoie des fonds, j'arrangerai l'affaire de Clérisseau définitevement, mais comme la bienfaisance impériale veut faire de cet artiste un homme à jamais heureux et fixer l'aisance et le bonheur dans sa maison, il faut qu'elle daigne m'autoriser spécialement à cet acte de sa bonté, car le souffre-douleur, en puisant dans la caisse de Votre Majesté, ne peut rien prendre sous son bonnet: en attendant il partira ce printemps encore six nouveaux tableaux de Clérisseau qui ne travaillerait plus pour le pape accordant ou refusant malgré lui le pallium. Il n'y a pas, Notabéné, un instant à perdre pour que M. le Factotum ou tout autre me mande comment Voltaire et peut-être Diane doivent voyager, car la saison approche, et si une frégate impériale venait au Havre, j'en serais beaucoup plus content que de confier ces trésors au premier navire marchand.

Quant au pauvre Gillet, que la misère a chassé de Paris, et dont Votre Majesté m'autorise aussi à arranger le sort, je lui dois d'abord la justice qu'il ne s'est plaint à qui que ce soit, de la rigueur qu'on a exercée contre lui; sa confiance dans l'Impératrice a été sans bornes, et s'il était entièrement oublié par elle, il mourrait, je crois, avec cette confiance. Je pourrais faire pour lui comme pour Lehnchen, qui est en pleine jouissance de sa rente. En lui constituant une pareille rente viagère de deux mille livres par an moyennant vingt et tant mille livres, je lui notifierais qu'il n'aurait rien à prétendre pour les trois années pendant lesquelles il est resté privé de sa pension, parce que Votre Majesté lui ayant fait un don de six mille livres, cette somme remplace tout juste la rente de deux mille pendant ces trois ans. Mais comme le pauvre Gillet n'est pas jeune, et que je voudrais asseoir

* cette rente sur deux têtes qui promettent de vivre, je propose à Votre Majesté de la constituer sur la tête de Louis XVI à cause du certificat de vie qu'il faut toujours avoir sous la main, et de choisir pour la seconde tête celle de Monsieur Alexandre. Moyennant cet arrangement le pauvre Gillet serait le pensionaire de Monsieur Alexandre tout le reste de sa vie, et après sa mort ce coupeur de noeuds aurait à sa disposition une rente de deux mille livres en France, dont il gratifierait, sous le bon plaisir de l'Impératrice, qui bon lui semblerait. Mais sur tout cela il faut l'agrément de Votre Majesté sans étouffement de la part de M. le procureur général.

Je suis ravi de voir ce que j'ai osé annoncer de Zelmire justifié par le suffrage et l'approbation de Votre Majesté Impériale. Je ne souhaite à cette petite d'autre protection que celle de la grande, und damit kann man ſich ſchon in der Welt fort helfen. On dit qu'un fondeur de Berlin va fondre la statue de notre Impératrice. Où existe donc le modèle de cette statue? Si c'est dans le coeur de Zelmire ou dans le mien, nous ne le donnons pas à fondre au premier venu. Das iſt nun vielleicht wieder ſo eine Sage der Zeitungsſchreiber wie das Cuiraßier Regiment des Herrn Alexanders, welchem ich eine ſchöne Scherfe und einen glänzenden Ringkragen von Herzen anwünſche. Plût à Dieu qu'il existât une belle statue de notre Impératrice!

Ce 10 (21) mars.

Voilà M. Styx qui entre tout botté; il ne s'agit plus de bavarder, il faut cacheter. Dans l'ordre des paquets qu'il emporte, cette pancarte est signée № 2. Celui qui est signée № 3 renferme le catalogue imprimé du cabinet Montribloud, dont je fais hommage à la princesse Daschkov en sa nouvelle qualité de directrice de l'Académie impériale, et en ma qualité d'académicien indigne, dont la nomination restera éternellement sur la conscience de l'Impératrice la grande. C'est à Madame la directrice à voir si elle veut augmenter le cabinet de l'Académie de quelques débris de celui-ci, et c'est à moi académicien indigne à indiquer à notre supérieure la source où elle peut puiser. La caisse enfin signée № 4 à l'adresse de M. le général de Lanskoï m'a été remise par le sieur Noé, à qui j'ai fait le paiement de 12 mille et tant de livres par ordre de Votre Majesté; j'ai signé cette caisse № 4, et j'ignore ce qu'elle renferme.

Avant de cacheter et de donner den Abſchieds-Kuß à M. Styx, il faut que je notifie solennellement à Votre Majesté que dans le courant du mois septembre prochain, il y aura dix ans que le ciel m'a fait la grâce d'approcher mon auguste et unique bienfaitrice pour la première fois. Ce moment et

* tous ceux que j'ai passés à ses pieds, me sont présents comme si c'était hier. Mon coeur n'est pas ingrat envers le ciel comme certains grands coeurs que je n'ai jamais pu déterminer à célébrer le vingtième anniversaire d'un règne que nous appelons glorieux et à qui ils ne sauraient refuser l'épithète de fortuné. Moi je veux célébrer mon dixième anniversaire par des jeux séculaires où je ferai peut-être exécuter le Carmen Saeculare de Philidor. Je préviens à temps sur la grande solennité de cette année, parce que je suppose que Votre Majesté Impériale sentira qu'elle ne peut se dispenser d'envoyer un ambassadeur extraordinaire, pour assister de sa part à ces jeux séculaires et y recevoir toutes les bénédictions dont les gens de Grimma ont à combler leur Impératrice la grande, sans préjudice de leur droit de la critiquer, éplucher et lui remontrer comme par le passé.

Si, à cette occasion ou à une autre plus prochaine, Votre Majesté avait absolument un cordon de Saint-Alexandre en réserve et dont elle ne sût que faire, la princesse de Mecklenbourg-Schwerin, que nous avons possédée ici cet hiver et que j'aime de tout mon coeur, m'a fort tourmenté de proposer pour ce cordon un comte de Reuss de Schlaitz, son cousin germain. J'ai beau eu assurer la princesse que Votre Majesté ne m'avait pas encore nommé au secrétariat de ses ordres, il a toujours fallu promettre de faire encore ce pas de clerc. Le père du candidat ci-dessus nommé, oncle de la princesse, se trouve décoré de l'ordre de Saint-Alexandre, et s'il y avait un statut de l'ordre contraire à ce que père et fils fussent en même temps chevaliers, je crois que ce fils se trouverait heureux d'obtenir le cordon de Sainte-Anne.

Je suis avec le plus profond respect,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble, très obéissant et très fidèle

serviteur Grimm.

J'ai oublié, je crois, de dire que la caisse signée № 1 contient le tableau arrivé de Rome et deux boîtes de pruneaux, bienfait du souffre-douleur.

Le baron le Fort, qui m'a tourmenté depuis trois ans au moins, sans épargner, à ce que je vois, Votre Majesté, a pris le parti de mourir, avant de savoir, au moins par moi, le refus pour lequel j'adore notre Impératrice: car que serait la bienfaisance sans justice? En voilà donc un dont Votre Majesté n'entendra plus parler.

№ 48.

* Allerunterthänigster, höchst eilfertiger Vortrag.

Madame,

Je n'ai pas le courage de reprendre au comte Michel de Romantsov la triste pancarte que je lui ai confiée pour mon auguste et immortelle Souveraine, quoique par l'expédition que les ministres de Votre Majesté Impériale font d'un des couriers du cabinet et qui porte un nom qui sonne bien agréablement à mon oreille, il soit en mon pouvoir de faire arriver ma triste pancarte de quelques jours plus tôt au pied du trône. Mais il faut au moins prouver à mon auguste Souveraine par le canal de ce courrier que malgré la cruelle et déplorable situation où je me suis trouvé, je n'ai pas négligé les petites affaires qui sont commises à mes soins. Hélas, la seule consolation qui reste au souffre-martyre dans cette vallée de larmes, c'est de s'occuper des affaires de celle qui règne sur son coeur comme sur l'empire des Grecs; et puisque son étoile ne veut pas qu'il lui soit réellement utile pour aucun service quelconque, il ne lui reste que la ressource d'attacher la plus grande importance à toutes les misères dont il se trouve chargé et qui puissent conserver la mémoire de son zèle et de son inutilité.

Votre Majesté Impériale trouvera d'abord ci-joint le connaissement du capitaine du navire, le jeune Ulric, à bord duquel j'ai fait embarquer neuf caisses à l'adresse la plus auguste. Aussitôt que ce navire aura jeté l'ancre au port des ruhmreichen Peterburg, Monsieur le Factotum impérial aura la bonté, le connaissement à la main, de faire retirer ces neuf caisses et de les faire porter où son devoir l'ordonne. Je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté que j'ai voulu acquitter ici les droits de sortie conformément au tarif de la douane, qui se perçoivent sur tout ce qui est ouvrage en marbre ou machine comme celle qui doit faire de Monsieur Alexandre et consorts des garçons imprimeurs; mais que M. de Vergennes n'a pas voulu, ains a ordonné que tous les effets destinés à Votre Majesté Impériale passassent en pleine franchise. A cette occasion je ne puis me dispenser de relever une de ces propositions hasardées et téméraires dont les pancartes impériales sont remplies; sie wimmeln davon. Votre Majesté prétend que son souffre-douleur ruine le Roi de France ou son ministre en ports de lettres et de paquets, en faisant venir à l'adresse de ce dernier, particulièrement de Rome, des paquets destinés à l'Impératrice des Grecs. Premièrement je ne fais jamais passer aucune lettre par le canal de M. Vergennes, mais j'en paie fidèlement le port, et la preuve en est que je porte ces ports d'Italie

* et d'autres lieux en compte à notre Impératrice, jugeant plus convenable pour ma bourse qu'elle les paie que moi. Mais quand il y a à Rome un tableau de Teresina de Maron ou quelque autre guenille pour le service de Votre Majesté, alors j'use de la permission que M. de Vergennes m'a accordée une fois pour toutes, de le faire venir à mon adresse sous son enveloppe par le courrier de France qui part tous les huit jours de Rome, au lieu de faire aller mon petit caisson de coche en coche, ce qui le ferait arriver à Paris au bout de trois ou quatre mois, au lieu de quinze jours que met le courrier à faire sa route. Mais en cela je ne fais aucun tort ni au Roi de France ni à son ministre: car si celui-ci ne m'accordait pas la franchise de son couvert, je ne ferais pas venir mon paquet par le courrier à cause de la cherté du port; donc le Roi n'y perd ni y gagne. A la vérité le courrier est un peu plus chargé, mais sa cariole n'est faite que pour cela. Moi je n'y gagne que l'agrément d'avoir les affaires de Votre Majesté un peu plus vite et d'épargner quelques écus à l'Impératrice que j'escamote aux coches. Si je faisais autrement, je priverais M. de Vergennes d'une occasion de donner cette légère marque de respect pour tout ce qui est propriété impériale, et de faire pour moi ce qu'il fait pour le premier venu qui le lui demande. Donc j'ai raison de faire comme je fais, et l'Impératrice a tort avec moi comme de coutume.

Puisque Votre Majesté a continuellement tort avec moi, je puis bien aussi avoir quelquefois tort avec elle. En conséquence voulant faire un petit présent d'amitié à mon ami Paisiello, j'ai eu l'insolence de fourrer dans une des caisses impériales un paquet à son adresse qui lui porte six bouts de tabac. Je ne sais pas seulement si ce n'est pas là de la contrebande toute pure. S'il en était ainsi, je supplierais Votre Majesté d'épargner l'innocent Paisiello et de faire flanquer à l'amende le coupable souffre-douleur. J'ai fait bien pis; j'ai envoyé dans la caisse № 9 un piano-forte et tout un magasin de musique appartenant à Madame Todi sous la sauvegarde impériale. Il faudra donc laisser cette caisse intacte jusqu'à l'arrivée de la Signora Todi et la lui remettre comme sa propriété. J'ai cru pouvoir prendre sur moi de rendre ce service à une très célèbre cantatrice, que le désir de contempler la gloire de Catherine conduit à Pétersbourg, et qui a refusé toutes les offres qu'on lui a faites ici pour rester, afin de suivre la voix de M. de Bibikov, qui l'a invitée à venir, promettant qu'elle serait parfaitement bien traitée, mais sans avoir fait de contrat avec elle, sans même lui avoir assigné de l'argent pour le voyage. Elle prétend que lorsqu'on est appelé pour le service de Votre Majesté, on n'a que faire de transactions et de traités, et que pour elle, elle s'en remet à la générosité impériale. Quand on me parle

* sur ce ton-là, je n'ai jamais un seul mot à répondre. Madame Todi a eu des succès éclatants en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Elle est portugaise, et le ministre Très Fidèle doit la protéger en conséquence. Elle a indépendamment d'un rare talent pour la musique, que Votre Majesté aime à la passion, les qualités d'une honnête et aimable femme, faite pour vivre dans la bonne compagnie. Quoique son genre soit l'opéra seria, elle chante au besoin le bouffon d'une manière très piquante, et elle nous a chanté la moitié du charmant opéra du Barbier de Séville, les airs de Figaro, ceux de Don Basile, avec la plus grande gaieté. Toute l'Allemagne, toute la France et la moitié de l'Italie se sont adressées au souffre-douleur pour le conjurer de la recommander fortement aux bontés de Votre Majesté Impériale, et si Votre Majesté me les refuse, on commencera à se douter en Europe que je n'ai point de crédit dans le cabinet de Pétersbourg, ce qui peut renverser tout le système politique et toutes les combinaisons des spéculatifs.

Un autre homme unique prend aussi dans ce moment-ci le chemin de Pétersbourg. C'est M. Röntgen, célèbre Herrnhuter, et sans contredit le premier ébéniste mécanicien du siècle. Voilà comme l'attraction opère; les premières têtes s'attirent réciproquement, et comme Votre Majesté ne peut pas aller à Neuwied sur le Rhin, le grand Röntgen se rend à Pétersbourg sur la Newa. Neuwied est le théâtre de sa gloire, comme l'univers celui de son émule en ébénisterie, Catherine II; mais la France, l'Allemagne, la Hollande sont remplies de la gloire de Röntgen. Eh bien, tout cela ne remplit pas son ambition, il laisse là ses immenses établissements pour porter à Votre Majesté un meuble unique qu'il a composé tout exprès pour elle et à son intention, et dont il n'existe ni existera jamais le pareil. Il ne demande d'autre faveur que celle de pouvoir le montrer à Votre Majesté. Si après l'avoir vu, Votre Majesté ne s'en soucie pas, il le rembarque et s'en retourne avec lui à Neuwied et en bon Herrnhuter il se consolera de cette cruelle mortification avec son doux désus. Aber das Anſchauen und der Blick der Kaiſerin muß doch ſeiner Arbeit gegönnt werden, weil es der einzige Zweck der Reiſe dieſes großen Mannes iſt.

Il est temps que je retourne à mes moutons, si je ne veux pas manquer le courrier que les ministres de Votre Majesté comptent faire décamper demain matin. Je dis donc que je n'ai rien à dire sur les caisses № 1 et 2, parce que j'ai déjà dit, si ce n'est qu'en déballant la statue du grand Voltaire, il faut observer la note du grand De Lorme que je joins ici, pour procéder avec succès au déballage de la statue.

№ 3.

* J'ai parlé suffisamment à Votre Majesté de cet hommage du seigneur Chedrine dans ma triste pancarte.

№ 4.

Maître Clérisseau m'a encore affublé de six tableaux, ouvrage de son année. Tant que Votre Majesté ne m'ordonnera pas de terminer finalement avec le susdit pour le passé, je serai toujours exposé à cette rente qui augmentera la dette, car je ne paie rien, n'ayant point d'ordre assez précis.

№ 5.

C'est la machine qui doit faire de Monsieur Alexandre un garçon imprimeur. J'y ai fait ajouter, suivant les ordres de Votre Majesté, beaucoup de planches en cuivre et surtout en étain, ce dernier métal étant le plus aisé à employer. J'avais fait montrer cette machine à Scorodoumov, pour qu'il fût en état de la monter et d'en enseigner l'usage, dans le cas où Votre Majesté la ferait venir. Mais si M. Scorodoumov ne mérite pas cette faveur, j'ai su à tout hasard de l'abbé Rochon, auteur de la machine, que M. Lexell pendant son séjour à Paris l'a étudiée à fond et *con amore*, parce qu'il l'a trouvée très ingénieuse. Ainsi cet académicien sera très fort en état d'en montrer l'usage à M. Alexandre. On pourrait aussi en cas de besoin substituer un alphabet russe à l'alphabet fraiçais, et quoique le premier soit plus nombreux, l'abbé Rochon prétend qu'il y aurait assez de place pour cela. J'ai envoyé un exemplaire de ses Mémoires, tel qu'il me l'a remis, au pied du trône. Il faut que Votre Majesté présente une humble requête à la princesse Daschkov pour obtenir d'elle que l'abbé Rochon soit aggregé en qualité d'associé étranger à l'Académie impériale; c'est un membre qui lui fera honneur comme il en a fait ici à l'Académie royale. Le gouvernement, qui a en ce moment de grands projets de canaux dans l'intérieur du royaume, l'emploie dans ce moment-ci à ces entreprises coûteuses et importantes.

№ 6.

Ces quatre portefeuilles renferment la seconde moitié des dessins originaux du cabinet Houel qui appartient à Votre Majesté depuis dix-huit mois; ainsi m'en voilà entièrement débarrassé.

Le gros volume sur l'éducation est un hommage de l'auteur, le président Rolland, président au parlement. Il y a aussi un exemplaire pour

* l'Académie impériale. Cet ouvrage ne se vend pas, il se donne en présent, et par conséquent il m'a été offert comme un hommage. Si Votre Majesté avait une médaille d'or de reste, le président la porterait, j'en suis persuadé, à la messe rouge par-dessus la robe rouge. Je n'ai pas l'honneur de le connaître; mais si cela lui arrive par mon canal, j'irai à la messe rouge, que je n'ai jamais vue.

№ 7 et 8

renferment des présents que M. de Buffon m'a déjà remis en avril pour Votre Majesté Impériale et qui sont détaillés dans un état qu'il m'a fait remettre en même temps.

Ci-joint suit aussi un catalogue de tableaux italiens qu'un peintre romain vient d'apporter de Rome pour les vendre à Paris; mais heureusement Votre Majesté n'achète plus de tableaux. A cette occasion il faut que je dise à Votre Majesté que cet hiver avant mon malheur, on m'avait offert une collection de pierres antiques qu'on se proposait de vendre à une vente publique. On me proposa de me les laisser pour 25 mille livres, et mon oracle d'Ennery me dit: «Ne manquez pas cela». Moi je dis que je ne pouvais acheter, à moins qu'on ne voulût attendre que je pusse écrire et recevoir réponse. On était pressé, et l'on me refusa le délai de deux mois que je demandais. La vente publique eut lieu, et ce qui m'avait été offert pour 25 mille livres, fut vendu et poussé en détail et produisit au propriétaire la somme de 58 mille six cents livres. Il ne faut pas dire cela à certain général passionné; il m'arracherait les yeux de n'avoir pas mis la patte sur ce trésor. Mon oracle d'Ennery m'a bien chanté pouille.

Il faut aussi que je mette sous les yeux de Votre Majesté une note qui m'a été très particulièrement recommandée par notre très aimable nonce, que je trouve parfait et dont je suis amoureux en dépit de mon luthéranisme. Son protégé Gronchi s'est engagé à Livourne et a passé à Kherson pour entrer dans le génie. Il faut que Votre Majesté déterre absolument ou M. le gouverneur de Kherson ou quelque autre général et l'engage à parler de ce jeune ingénieur qui paraît rempli de talents, à en parler, dis-je, à l'Impératrice. Quand une fois elle en aura entendu parler, si c'est un bon sujet, comme on le dit, je tiens sa fortune pour faite.

Il faut finir, car je n'y vois plus clair, et l'aurore va me surprendre la plume à la main; je vais donc fermer ce paquet et me coucher. Sans dire à Votre Majesté Impériale que je suis accablé sous tous les trésors inestimables que j'ai reçus tandis que j'étais environné des plus épaisses ténèbres; et que je ne desire de la santé et de la tranquillité que pour exprimer et

* prouver à notre glorieuse et immortelle Souveraine à quel point va mon attachement pour son auguste personne ainsi que le profond respect dont je suis pénétré pour elle. *

A Paris, ce 20 (31) juillet 1783.

№ 53.

Allerunterthänigster Vortrag.

A Paris, ce 8 (19) février 1785.

Madame. Les plus grands inconvénients de ce monde ne laissent pas de présenter aussi quelques avantages dont ils sont accompagnés; mais par la même raison les plus grands bonheurs ne sont jamais exempts de quelques inconvénients: telle est la loi immuable de la nature. Qui croirait que les bontés de Votre Majesté Impériale, qui font mon existence et le seul bonheur qui me reste sur la terre, puissent avoir des inconvénients pour moi? J'en éprouve cependant presque journellement. Il me pleut des importuns de presque tous les coins de l'Europe. Je les repousse, tant que je puis, avec politesse et quelquefois aussi un peu de rudesse, mais ce qu'il y a de cruel, c'est que ma vie se consume dans cette triste et pénible fonction, et bientôt il ne me restera plus de temps pour rien au monde hors pour faire des réponses rudes et polies aux importuns. A Dieu ne plaise que j'ennuie mon auguste Souveraine du détail de mes tribulations de ce genre; je dois me dire sans cesse qu'il n'y a personne sur la terre qui ne fût avide de mes tribulations au prix du bonheur dont je jouis. Aussi ce n'est pas pour les détailler ni pour m'en plaindre, que j'en parle; la seule chose que je regrette, c'est qu'il ne me soit pas possible de les supprimer toutes et que des considérations trop puissantes me forcent d'en excepter deux ou trois, et de les porter à la connaissance de Votre Majesté Impériale.

Je dois d'abord me reprocher bien vivement d'avoir laissé pendant plusieurs mois sur ma table une lettre qu'un prince de Hesse-Philipsthal m'a envoyée pour Votre Majesté. C'est le même qui a servi dans les armées du Roi de Prusse et qui s'est brouillé avec lui à la fin de la petite guerre en Bohême pour la succession bavaroise, et qui a quitté le service prussien; il s'est marié depuis. Je n'ai pas l'honneur de le connaître; ce sont les bontés de Votre Majesté qui me procurent celui qu'il me fait de me choisir pour l'organe auprès de notre auguste Impératrice, pour lui apprendre qu'il a osé prendre la liberté de la choisir pour marraine de son enfant premier

né, qui est, je crois, un fils. Si Votre Majesté daigne honorer de semblables lettres d'une réponse de sa chancellerie, j'ose la supplier d'ordonner qu'elle me soit adressée, pour que je répare auprès de ce prince mon inexcusable inexactitude. Elle n'a pas été l'effet d'une négligence de ma part; mais cette lettre m'est parvenue à ce moment fatal où, accablé par une funeste nouvelle, on m'aurait plutôt arraché la vie que de m'engager à distraire Votre Majesté par quoi que ce soit, encore moins par une lettre de cette espèce. J'espère que mon indulgente Souveraine me pardonnera ce retard.

L'accablement et l'abasourdissement que j'ai éprouvé l'été dernier à Lyon, lorsqu'on me porta un coup si mortel et si imprévu dans les manufactures où j'étais allé voir les ouvrages ordonnés par la Minerve du Nord, m'a fait dans cette ville parmi le commerce une réputation d'attachement pour celle que le commerce regarde comme sa divinité tutélaire, dont je recueille les fruits par la lettre dont on m'honore et que je suis forcé de mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale. Si l'exposé en est exact, je ne dois pas être inquiet, puisque c'est M. le comte de Bezborodko qui est nanti de cette affaire et que certainement justice sera faite.

Il m'en coûte infiniment et je fais sur moi un effort bien pénible de parler à Votre Majesté d'une affaire plus délicate et qui ne me concerne en rien; mais après avoir esquivé depuis plus de dix-huit mois de m'en charger, j'ai jugé que les parties intéressées mêmes me sauraient gré de l'avoir portée à la connaissance de Votre Majesté, plutôt que de souffrir qu'elle y parvînt par un mémoire qu'on voulait présenter à M. de Vergennes à ce sujet; ce n'est que lorsque j'ai vu cette résolution prête à s'exécuter, que je l'ai arrêtée, en disant que je me chargeais de l'affaire. Votre Majesté n'ignore pas peut-être avec quel soin et quelle dépense le maréchal duc de Biron, âgé de 84 ans, fait les honneurs aux étrangers de toutes les nations et particulièrement aux Russes. Le comte Pierre Razoumovski et sa femme ont été l'objet continuel de ses attentions pendant leur séjour en France, et ils n'auraient jamais pu quitter Paris sans un service signalé qu'il leur rendit. Il leur prêta sur leur parole 52 mille livres de France pour les mettre en état de payer leurs dettes et de regagner leur patrie. Il avait rendu un pareil service à l'amiral Rodney, que ses dettes auraient arrêté pendant toute la guerre en France sans le secours du maréchal, ce qui n'aurait pas été indifférent. Le maréchal ne reçoit jamais ni billet ni reconnaissance pour de pareils services; il en résulte une dette d'honneur d'autant plus sacrée. Quelque temps après le retour du comte Pierre, M. le maréchal Rasoumovski écrivit au maréchal de Biron pour le remercier du service signalé qu'il avait rendu à son fils, sans lequel

il n'eût jamais pu se tirer de Paris, et promit de payer dès qu'il serait de retour à Pétersbourg. Six années se sont écoulées sans que le maréchal ait vu rentrer ses fonds, ce qui ne l'a pas empêché de faire à d'autres voyageurs russes des prêts d'argent, moins considérables à la vérité; mais qui n'ont pas été rendus non plus. Le maréchal prétend qu'à son âge on ne peut ni ne doit plus attendre, et il croit que l'Impératrice ne sera pas plus tôt dans la confidence que ses fonds lui rentreront; et moi je le désire par mon attachement pour le nom Russe: on me donne un coup de poignard toutes les fois qu'on me conte des histoires de ce genre.

Je finis cette feuille en y joignant une lettre du bon Wagnière, que je ne désire pas de supprimer, et en portant au pied du trône de Votre Majesté Impériale l'hommage du plus profond respect.

№ 54.

Allerunterthänigster Vortrag.

A Paris, ce 9 (20) février 1785.

Madame. J'ai retrouvé dans mes paperasses la note précise de la place qui ferait le bonheur de la vie du sieur Bertin, et puisque Votre Majesté Impériale a laissé tomber une fois sur cet homme un regard de sa bienveillance, je ne puis me dispenser de mettre cette note sous ses yeux.

J'y joins aussi une ancienne lettre de Hardy également rétrouvée dans mes paperasses, qui peut servir de commentaire à ses autres lettres et mémoires annexés au Vortrag № 52.

Enfin voici une feuille du journal de Paris, dans lequel j'ai cru devoir faire insérer une lettre touchant M. Diderot. Ces messieurs avaient imprimé dans une feuille précédente un précis de la vie de ce philosophe, dans lequel la circonstance la plus intéressante avait été entièrement passée sous silence. J'ai cru devoir relever cet oubli, mais de la manière du monde la plus simple; encore n'ont-ils pas pu imprimer cette lettre sans y faire une faute grossière, en faisant donner à Diderot trente mille livres par les libraires, tandis qu'il n'en a reçu que vingt mille.

* Madame,

Il ne m'est pas possible de laisser partir le prince Bariatinski sans qu'il emporte avec lui une feuille qui rappelle à Votre Majesté Impériale qu'il existe ici un coeur qui, entièrement dévoué à la plus auguste comme à la plus aimable d'entre ceux à qui le bonheur des nations a été confié et qui sont d'ordinaire ni aimant, ni aimés, ni aimables, ne connaît d'autre joie ni d'autre douleur que celles qui lui viennent d'elle. Ce texte si neuf serait sans doute délayé dans une quarantaine de pages au grand ennui de Votre Majesté, si le prince Bariatinski allait d'ici comme un trait ou comme un Baschlovski à Pétersbourg; mais je vois qu'il veut d'abord employer quelques semaines à parcourir la Hollande, et qu'il ne sera guère rendu à la cour de Votre Majesté Impériale que vers l'anniversaire de l'avénement au trône; cela m'ôte le courage de griffonner, et un pressentiment secret fondé sur les bontés inépuisables de mon auguste Souveraine m'inspire la confiance qu'avant l'arrivée de cette époque j'aurai trouvé une occasion aussi sûre et plus prompte de l'accabler d'une enorme pancarte.

Le prince Bariatinski emporte d'ici les regrets de tout le monde, sans compter les miens. Quand j'ai commencé à prévoir ce changement, j'ai osé former un voeu indiscret; mais ce voeu n'ayant pu être rempli, j'aurais voulu tout laisser dans son ancien train, tant je suis un animal d'habitude. Je lui dois d'ailleurs la justice qu'il a toujours eu pour moi les meilleurs procédés, et que me regardant comme une créature de Votre Majesté, bien loin de concevoir aucune inquiétude de ma faveur, il m'a témoigné en toute occasion les plus grands égards. A la vérité, comme je rends à ceux qui ont le bonheur de servir mon auguste et gracieuse Impératrice, tout ce que je leur dois, je suis en droit en quelque sorte de m'attendre de leur part à un parfait retour, mais lorsqu'on a éprouvé ce retour dix ans de suite, comme moi de la part du prince Bariatinski, on en est d'autant plus sûr. Une autre justice que je lui dois, c'est que, glorieux de servir une Souveraine dont le génie et les succès ont imprimé à son règne le caractère et l'éclat de l'immortalité, je lui ai connu en tous les temps, et quelles qu'aient été les révolutions dans sa propre situation, invariablement le même et un très grand fonds d'attachement et de zèle pour son auguste personne; je l'en ai d'autant plus blâmé du parti qu'il a pris: car je sens que si j'avais le bonheur de la servir dans quelque poste que ce fût, ce n'est que par la force qu'on pourrait m'en dépouiller, et que si j'étais né son sujet et fait d'ailleurs par ma naissance pour tenir à sa cour, elle ne pourrait

* m'en écarter qu'en déployant la volonté la plus absolue de la puissance souveraine.

Je suis tenté de prier Votre Majesté de faire mes tendres remercîments au prince Potemkine de la tranquillité qu'il a bien voulu me rendre au bout de huit mois de tourments et d'inquiétudes. J'ai toujours eu à me louer de ses bontés, mais il ne me les a jamais autant prouvées que lorsqu'il y a le moins pensé. Que je lui sais gré d'avoir chassé notre Impératrice de ce petit cabinet de dix toises de l'Hermitage autour duquel j'errais jour et nuit avec des angoisses dont je ne serai pas remis de longtemps, et que ce fatras de langues primitives et de vocabulaires sous lequel je voyais le plus beau et le plus grand génie comme étouffé, aggravait encore. Il est sans doute un peu humiliant pour Votre Majesté d'être réduite à cet aveu. Il a plus d'esprit que moi; mais enfin il faut avant tout être vrai, l'on est ensuite glorieux comme on peut; peut-être notre Impératrice retrouvera-t-elle avec le temps un petit brin de sa gloire passée auquel elle puisse se raccrocher; il n'y a point de mal qu'elle soit un peu humiliée de toute la peur qu'elle nous a faite; et quand il n'y aurait que ce qu'elle m'a fait souffrir pendant ce temps, assurément je ne suis pas rancunier, mais je ne puis être fâché de l'aveu humiliant qu'elle a été obligée de faire. Au reste j'ai trouvé *le m. Pr. Pot.* et je me suis creusé inutilement l'esprit pour deviner cette *m.*

Votre Majesté Impériale trouvera ici la belle édition du Mariage de Figaro, beau caractère et beau papier. Je me suis bien tourmenté pour envoyer enfin par M. Baschlovski l'ouvrage de M. Necker, et j'ai su depuis que le prince Bariatinski et encore avant lui le comte Nicolas de Romantsov l'ont fait tenir dès son apparition à Votre Majesté. Je ne suis pas content de la manière dont il a cité le mot de l'Impératrice: car je ne lui ai pas demandé comment elle faisait pour si bien administrer ses finances, c'eût été une fade adulation, et ce n'était pas mon ton avec elle; mais je lui demandai ce qu'il fallait pour administrer les finances d'un grand pays, et elle me répondit. Il faut toujours compter. Voilà tout; mais de cette manière le mot est bien plus beau, puisqu'il renferme tout l'ouvrage de M. Necker, comme disent les pédants, *in nuce*, dans une noix ou coquille: or de tels faiseurs de coquilles sont tout ce qu'il y a de plus rare au monde; c'est domage qu'on puisse leur reprocher le cabinet de dix toises et les vocabulaires de deux cents langues.

On a fait bien du train dans les gazettes du dîner de tolérance que le confesseur de notre Impératrice a donné le jour des Rois aux prêtres de toutes les communions chrétiennes. Cela est sans doute unique dans le monde

* comme beaucoup d'autres choses; mais il me semble que cela n'est pas neuf, et que le confesseur de Sa Majesté pratiquait cette charité déjà de mon temps; apparemment que la compagnie a été plus nombreuse et plus bigarrée cette année-ci.

Je porte avec tout autant d'amour et un peu plus de tranquillité que ci-devant au pied du trône de la gloire l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis,

Madame,

de Votre Majesté Impériale

le très humble, et très obéissant serviteur Grimm.

A Paris,
ce 11 (22) avril 1785,
en attendant le 21 du style grec.

№ 67.

Allerunterthänigster, kurzgefasster, historischer Vortrag.

Madame,

Apès avoir donné la clef des champs à M. de Lavrov et lui avoir souhaité des ailes, afin que Votre Majesté Impériale sût d'autant plus vite le bien qu'elle a opéré dans un petit coin de la terre gauloise (car ce que la bienfaisance souveraine et universelle sait le moins, c'est le détail immense de tout le bien qu'elle fait dans tous les coins de la terre), j'ai pris à mon tour la clef des champs pour être pendant quelques jours témoin oculaire du bonheur de deux jeunes époux qui doivent tout à Votre Majesté; j'ai cru que ce serait un puissant moyen de raccommoder ma santé, qui a été assez délabrée cet hiver, et je ne me suis pas trompé. J'ai donc passé huit jours à vingt-deux lieues de Paris dans le ménage de Philémon et Baucis encore à la fleur de l'âge. Puisque ces deux noms sont consacrés à nous montrer le modèle des bons époux dans leur décrépitude, il faut croire que Philémon et Baucis étaient d'excellents époux dès l'âge le plus tendre, car on ne change pas de mal en bien en vieillissant, mais bien plutôt de bien en mal si l'on n'y prend garde, surtout dans un poste aussi difficile que celui du mariage. Ainsi Emilie devenue Baucis à dix-huit ans promet de rester le modèle des épouses à quatre-vingts, si Dieu lui prête vie ainsi qu'à Philémon de Bueil son époux. Ils ressemblent aussi à leurs antiques modèles par leur piété envers les dieux, car dans leur taudis de Varenne l'autel consacré à l'immortelle à laquelle ils doivent leur bonheur et leur tendresse mutuelle, reçoit l'encens de leur reconnaissance dès l'aurore, et son nom sacré est

* répété par les échos d'alentour depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce taudis est une bonne gentilhommière possédée depuis longtemps par les ancêtres de l'époux; cela est d'une honorable médiocrité, fort éloigné de toute espèce de faste. Philémon et Baucis, avec trente mille livres de rentes entre eux deux, n'y pourront pas vivre dans un grand luxe; mais outre que contentement passe richesse, leur médiocrité ne les rendra que plus dignes de recevoir sous leur toit l'immortelle, leur bienfaitrice, si elle se met jamais à voyager hors des limites de son empire vers l'occident, tout comme l'indigence des premiers Philémon et Baucis leur attira la visite du maître des dieux et des hommes, du grand Jupiter. Cependant lorsqu' Emilie Baucis aura donné la sépulture à son tuteur, le souffre-douleur impérial, et Philémon de Bueil à deux oncles à peu près du même âge, ils se trouveront dans une très honnête aisance. J'ai aussi déjà une espérance assez fondée qu'ils pourront perpétuer leur humble et profonde reconnaissance envers l'immortelle, de génération en génération, jusqu'à leur postérité la plus reculée, puisqu' Emilie Baucis éprouve déjà des symptômes de grossesse, et que celui qui viendra au monde avec le droit presqu'acquis d'être le filleul de l'immortelle, paraît déjà conçu dans le sein de sa mère. Que la volonté de Dieu soit faite, quoique je me fusse contenté cette année de la savoir épouse, et que j'eusse attendu sans murmure jusqu'à l'année prochaine pour la plénitude des droits de maternité.

A mon retour de Varenne, j'appris que pendant le court intervalle de mon absence la mort m'avait enlevé mon oracle en pierres gravées, d'Ennery; frappé d'un coup d'apoplexie, il se trouva privé de la vie en moins de deux heures. Me voilà à mon tour privé de toute confiance dans mes opéra-tions en ce genre, et désormais sans guide et sans appui, sans mon oracle, de la manière dis me permettre un avis dans un genre de trafic où la fraude mandé comment elle fais front découvert; heureusement notre Impératrice une fade adulation, et ce n'est le monde sait, et mon ineptie en ce genre dai ce qu'il fallait pour administre sera pas exposée à se briser contre les répondit Il faut toujours compter. nviction généralement établie que notre

je n'oserai jamais
et la tricherie marchent
n'achète plus rien, comme
comme en beaucoup d'autres,
écueils de la fraude. Malgré la co
Impératrice n'achète plus rien du tou
près de moi pour faire parvenir à la co
riale que feu mon oracle d'Ennery lais
gravées, toutes incontestablement belles
cieuse de portraits en émail faits par Pet
ges les plus connus et les plus illustres du
me fait prendre la liberté d'importuner pa
faiteur, Bacchus Weynach, afin que, si con

jusqu'il renfermet, on a pourtant fait des instances auprès de moi pour faire parvenir à la connaissance de Votre Majesté Impériale que feu mon oracle d'Ennery laisse un très petit nombre de pierres gravées, toutes incontestablement belles et antiques, et une collection précieuse de portraits en émail faits par Petitot et représentant les personnages les plus connus et les plus illustres du règne de Louis XIV. C'est ce qui me fait prendre la liberté d'importuner par cette courte missive mon bienfaiteur, Bacchus Weynach, afin que, si contre toute attente et la résolution

* irrévocablement prise, Votre Majesté avait à gratifier son souffre-douleur de quelques ordres relatifs à ces objets, ces ordres puissent du moins arriver à temps.

Quoique j'aie été accusé quelquefois avec autant d'injustice que de précipitation, de ne savoir ce que je veux, je sais très bien que j'attends avec la plus vive impatience un messager impérial qui m'apporte ce que mon auguste bienfaitrice me prépare dans sa grande bonté et miséricorde depuis le mois d'octobre dernier; mais je n'ai pas besoin de convenir de ce désir indiscret de mon coeur devant le monde entier. N'est-il pas naturel de désirer que la table impériale soit débarrassée de ces richesses qui lui sont inutiles, et que le portefeuille du souffre-douleur en soit enrichi? Pour nouvelles, il n'y en a pas d'autre si non que Madame la comtesse de Bueil arrive demain de son manoir avec son époux pour assister à la fête qui se donnera au palais souffre-douleur le 2 mai prochain, passant parmi les Grecs pour le 21 avril, en commémoration de l'heureuse naissance de notre glorieuse Souveraine. Après quoi sa protégée sera présentée à la cour dans une quinzaine de jours. J'ose toujours solliciter pour son présent de noce un chiffre exactement pareil à celui que portent les filles d'honneur à la cour de Votre Majesté Impériale. Nous nous prosternons elle et moi au pied du trône où la gloire et la bonté ont établi leur siège.

A Paris, ce 17 (28) avril 1786.

Supplément pour servir de commentaire aux effets confiés à Monsieur Constantinov,
ou insérés dans la pancarte.

Je n'ai rien à observer sur № 1 ni sur № 2 qui renferme un tableau de Teresina que j'ai reçu immédiatement après le départ de M. Alexiyev, précédent messager de mon auguste Souveraine.

Dans № 3 Votre Majesté Impériale trouvera trois exemplaires de Paris sauvé, dont l'immortelle a agréé la dédicace il y a plusieurs années. C'est donc une ancienne dette qui se paie enfin. L'exemplaire de Votre Majesté n'est pas parmi ces trois-là. Il se relie actuellement en maroquin aux armes de l'empire, et ne pourra être expédié qu'à la première occasion. En revanche je destine un de ces trois exemplaires, que l'auteur m'a chargé de porter au pied du trône, à M. le comte de Mamonov, qui est du métier et

* par conséquent juge compétent. Je recommande aussi aux bontés de mon auguste Souveraine ma lettre pour lui. Je lui dois un double compliment, je lui dois aussi un double remercîment pour les Proverbes et pour la pâte. Je n'ai pas encore pu lire les premiers: Si je suis incapable d'écrire, je le suis bien plus encore de lire; je ne sais en ce moment que faire trotter ma tête sans frein et sans guide. Quant à la pâte, elle m'est précieuse; mais Votre Majesté sait aussi que jamais je ne pourrai être content d'aucun portrait de mon auguste Souveraine. Il y en a un gravé au fond de mon coeur auquel je compare les autres, et c'est en vain que j'en cherche un qui l'approche.

Le billet que M. de Meister m'a écrit sert de preuve de la joie que lui a causée la médaille. Il m'a remis en même temps une nouvelle édition augmentée de sa Morale naturelle, pour la porter au pied du trône, et pour la même destination glorieuse un petit écrit consacré aux mânes de Diderot. Si avant de le publier, il m'eût consulté, mon nom ne s'y serait pas trouvé, mais le détail des bienfaits de Votre Majesté Impériale eût été plus exact.

J'ai cru devoir ajouter à ce paquet les observations du sieur Bergasse, quoiqu'on les vende à un prix excessif eu égard à leur volume. Elles donneront à Votre Majesté une idée de quel oeil le public envisage le ministère actuel. Cet écrit cependant était publié avant la banqueroute.

Le paquet de Madame la comtesse de Ségur pour son mari se met sous l'indulgente protection de Votre Majesté Impériale.

Pareillement une lettre de Madame la duchesse de la Vallière pour Madame la Grande-Duchesse.

L'Alcoran ne s'est pas trouvé parmi les bienfaits apportés par M. de Constantinov, mais bien les trésors du génie de Cimarosa. Malheureusement, tant que j'aurai la fièvre chaude, je ne pourrai jouir de ces trésors.

Les lettres de Corilla prouvent assez à quel point cette médaille et surtout l'adresse écrite par la main auguste de sa bienfaitrice l'ont rendue heureuse. J'ai ajouté à ces lettres une faible traduction en français, mais qui ne peint qu'imparfaitement l'âme de Corilla. Je voudrais avoir le temps de lui écrire deux ou trois fois par mois; j'en recevrais autant de réponses remplies de passion et de grâce dans la plus belle langue qui existe. Comme nous n'avons rien de caché pour notre Impératrice, je lui envoie la lettre de Corilla au souffre-douleur telle qu'elle est, et recommande à sa puissante protection celle qui est destinée au comte Alexis Orlov, et j'offre à son excellence mon couvert s'il veut répondre à son ancienne amoureuse et s'il ne se rappelle plus les adresses dont il se servait ci-devant.

J'ai été obligé de donner trois cents livres à M. Constantinov pour le mettre en état de repartir. Il dit que ses supérieurs pourront les retenir sur ses appointements si le cabinet ne juge pas à propos de les lui passer en compte. Il prétend qu'à son départ de Pétersbourg il a été chargé de si énormes paquets qu'il a été obligé de payer partout en Allemagne trois et même quatre chevaux. Je fais part de cette avance à M. le comte de Bezborodka pour qu'il me dise s'il veut me les rembourser ou si je dois les compter à Votre Majesté Impériale.

Au moment où je ferme mon paquet, on m'assure que le prince de Nassau a mandé à M. le duc d'Orléans la prise d'Otchakov par assaut; mais on ment tant à Paris, et cette nouvelle ne me vient pas d'un assez bon coin pour y croire. Elle est cependant bien naturelle, et je l'attends de jour en jour. Ils m'ont appris à Versailles que le Vauban d'Otchakov, le fameux la Fitte était enfin arrivé à Marseille. On m'a ajouté que M. de Choiseul a gardé encore trois ou quatre officiers à Constantinople, non pour permettre qu'ils s'emploient au service des infidèles, mais seulement que le Grand-Seigneur, en se promenant, puisse les rencontrer quelquefois et ne s'aperçoive pas de cette défection totale. Quand je demande pourquoi ces ménagements pour sa hautesse, lorsqu'ils ont perdu tout crédit et toute influence à Constantinople, ils me soutiennent qu'ils ont regagné beaucoup de terrain depuis peu, et qu'il importe aux deux cours impériales que cette influence soit ménagée avec le plus grand soin possible.

Je vais tomber, Madame, dans un terrible anéantissement dès que ce paquet sera entre les mains de M. Constantinov. Puissent les lauriers de notre Impératrice chérie s'accroître de tous les côtés! Puissent ses entreprises être partout couronnées de succès, et ses succès apprendre à la terre que les souverains gardés par l'amour et l'affection de leurs sujets, entourés sur leurs trônes par la justice et la bienfaisance, sont les seuls invincibles! Der Herr der Heerſchaaren ſey mit unſerer großen und liebenswürdigſten Kaiſerin, und fechte an der ſpitze Seines Volkes und vertilge ihre Feinde! Je crois, Dieu me pardonne, que Falstaff le parjure veut faire de moi un dévot à triple karat.

№ 74.

Allerunterthänigster, eilfertiger Vortrag, welcher um eine noch eilfertigere Antwort flehet.

A Paris, 10 (21) septembre 1786.

Madame. J'attends toujours le manifeste des motifs qui ont pu porter Votre Majesté Impériale d'étouffer son souffre-douleur sous une marque

visible de sa bienveillance, comme s'il n'était pas assez écrasé depuis treize ans sous le poids de ses bienfaits. J'ai demandé ce manifeste à M. le comte de Besborodka, lequel, si en sa qualité de Factotum impérial il a pris quelque part à ce déploiement imprévu de la puissance impériale, doit se sentir un terrible poids sur la conscience; j'en ai demandé pareillement compte à M. le m-al prince Potemkine, mon bienfaiteur en musique. Ils sont tous deux trop près du trône pour souffrir qu'on soupçonne celle qui l'occupe depuis vingt-quatre ans assez passablement, de faire quoi que ce soit sans motifs; et moi j'ai tout à gagner à savoir ces motifs, parce qu'ils m'apprendront une infinité de belles choses que j'ai faites sans le savoir et dont Votre Majesté m'est redevable. J'observe seulement qu'il est très urgent de publier ce manifeste, pour prévenir une guerre de plume qui aurait peut-être autant d'éclat que celle de Messieurs de Gemmingen et Dohm et qui s'élèverait infailliblement entre les gens de Grimma et les Factotum de Votre Majesté Impériale. Dieſes Uebel wolle der allmächtige Gott allergütigſt abwenden, und alle Diener unſerer großen Kaiſerin, ſie ſeyen Allesmacher oder Schmerzbulder, in ſeiner Gnade bewahren vor Streit und Fehde. Amen.

En attendant avec anxiété ce manifeste nécessaire, je ne dois pas négliger le service de mon auguste Souveraine, et lui confier tout le souci que me cause le devoir de veiller sur le sort de ce célèbre cabinet de pierres gravées dont le propriétaire est mort, il y a dix mois, et dont Votre Majesté possède la description en deux volumes in-folio. Ce cabinet est un effet de la succession du défunt, et le fils n'est pas le seul prétendant à la succession; il y a aussi le gendre, du chef de sa femme, fille du défunt, qui a des reprises à faire, de sorte que pour liquider les droits réciproques, il faut vendre ce cabinet et tout le mobilier. Votre Majesté me dira que c'est ce que nous voulons; mais voici où commencent les soucis du souffre-douleur. Premièrement, le fils a fait maison nette, il n'a pas gardé un seul de ceux qui composaient le conseil de son père. Il s'est entouré de gens dont la réputation ne fleure pas comme baume, qui passent tous pour avoir l'âme financière, ce qui est d'une trempe dont on ne peut pas même donner une idée à notre auguste Souveraine, puisqu'il n'y a pas proprement de financier en Russie, et que les juifs, qui en pourraient retracer un symbole, n'y sont pas même tolérés. C'est déjà un très grand malheur pour un souffre-douleur d'avoir à traiter avec de pareilles gens. Cependant j'avais des raisons de me tenir tranquille. Je savais que le catalogue était sous presse, qu'il allait être publié, et qu'on devait vendre le cabinet en détail au plus offrant au mois de janvier prochain. Je n'attendais que la publication de ce catalogue pour l'envoyer à mon auguste Souveraine et demander ses ordres; mais voici

ce qui vient de déranger mon plan et troubler ma tranquillité. J'apprends ces jours passés qu'un brocanteur italien, et je ne doute pas que ce ne soit un certain Millioti, dans la probité et la droiture duquel je n'ai jamais pu prendre confiance, mais c'est ma faute peut-être; j'apprends, dis-je, que ce brocanteur a offert de payer quatre cent mille livres de France pour la totalité de ce cabinet et que cette offre était sur le point d'être acceptée par les deux ayant droit à la succession. Sur quoi je m'adresse sur le champ au seul homme qui était resté du conseil du père, homme par parenthèse généralement estimé, mais qui vient aussi d'être congédié, et je lui demande la préférence sur le brocanteur, sous condition qu'on m'accorde deux mois pour recevoir mes ordres. Votre Majesté verra par sa réponse du 18 de ce mois, 1°: que les parties intéressées s'attendent à ce que je fasse une offre supérieure au brocanteur pour avoir la préférence; 2°: qu'on m'envoie, pour traiter de l'affaire, à un de ces messieurs de la nouvelle cuisine dont la réputation ne fleure pas comme baume. En conséquence je ne perds pas un instant pour lui demander un rendez-vous; on me répond chez lui qu'il est absent pour quinze jours. Je retourne à la charge auprès du premier; il me répond par sa seconde lettre que je ne puis traiter avec aucun autre qu'avec celui-là. Dans l'intervalle j'avais aussi chargé le garde de ce cabinet, l'abbé de Lachaud, de sonder le terrain; celui-là me répond crûment qu'on ne peut attendre le temps qu'il me faut pour avoir mes ordres. Je ne m'endormirai sûrement pas sur les démarches qui me paraîtront nécessaires pour parvenir à mon but; mais en attendant je supplie Votre Majesté Impériale de me donner des ordres précis, qui pourront être ici entre le 4 (15) et 9 (20) novembre, sur les points suivants: 1°. Puis-je couvrir l'offre du brocanteur et payer 400 mille livres pour cette acquisition? 2°. Si l'on demande que je fasse une offre supérieure pour avoir la préférence, jusqu'où puis-je aller? En général, il faudra considérer que j'aurai à faire à des juifs. Peut-être serai-je dans le cas d'offrir un pot de vin en particulier, de graisser la patte à ceux qui s'en mêleront etc. Le plus court serait que mon auguste Souveraine me fixât la somme au-delà de laquelle elle me défendrait d'aller, et dont je tâcherai de sauver ce que je pourrai de la main des corsaires. Il se peut que lorsque ces ordres arriveront, tout soit déjà consommé avec le brocanteur; alors je me désolerai. Il se peut que Votre Majesté, malgré sa terrible maladie, fasse un généreux effort sur elle et me dise: allez vous promener, vous et le cabinet; alors je ferai un double entrechat. Dans l'intervalle je tâcherai de découvrir si le brocanteur agit pour quelque puissance: car son offre de payer comptant me paraît forte. Dieu fasse la grâce à Bacchus de porter ce feuillet d'une main ferme au pied du

trône de la gloire; et à l'Impératrice d'aimer et de protéger son souffre-douleur jusqu'à ce qu'il repose dans la tombe des Anderson! God save our Emperor!

№ 92.

* Allerunterthänigster Commissions-Vortrag.

Commission très pressée.

Madame,

Comme j'ai toujours eu lieu d'être très satisfait de l'exactitude avec laquelle Votre Majesté Impériale a fait mes commissions jusqu'à présent, je ne saurais en conscience en charger un autre ni dépouiller mon auguste Souveraine d'une fonction dont elle s'acquitte si parfaitement bien à ma satisfaction. En conséquence voici une commission qui presse.

On vient de me communiquer une lettre écrite en italien et datée de Kherson. Elle a été écrite à Vienne, et je la crois du consul de l'Empereur des Romains dans le dit port créé par un turlu de l'Impératrice des Grecs et naguère visité par elle en compagnie de M. le comte Joseph de Falkenstein et d'autres vivants. Dans cette lettre il est dit que la frégate de Votre Majesté, le Boristhène, venait d'entrer dans ce port criblée de coups; qu'elle s'était trouvée au milieu de la flotte turque forte de dix-sept voiles; que s'apercevant qu'on tirait sur elle à boulet, elle s'était empressée de répondre à cette politesse par toute sa bordée. Qu'il s'en était suivi un combat qui avait duré avec un extrême acharnement huit heures consécutives, dont quatre de nuit. Que pendant ce combat trois bâtiments turcs avaient été coulés bas; qu'enfin le Boristhène, entouré, criblé de toutes parts, n'avait pas moins trouvé, après ce court engagement de huit heures, le chemin du port de Kherson. Qu'après sa rentrée il s'était tenu un conseil de guerre, et qu'il y avait décidé, vu cette aggression, de repousser la force par la force. D'où je conclus qu'à l'époque de cet événement on ignorait à Kherson que la Sublime Porte avait fait le plaisir à Votre Majesté de rompre avec elle en toute politesse, ce qu'on n'aura pas manqué d'y apprendre depuis avec toute la certitude convenable.

Il manque à ce récit deux articles essentiels: le jour de ce combat, car comment le marquer dans mon almanach, si je l'ignore? et le nom du capitaine de cette frégate, qui en vaut pourtant bien un autre. J'ai donc recours à mon auguste Souveraine pour savoir ces deux points. Le nom de cette

* frégate infernale, c'est ainsi que les musulmans la qualifient, est Boristhene. Ce Boristhène est au moins cousin germain de la galère le Dnepr, qui a porté l'Impératrice des Grecs de Kiow vers Kherson: car, malgré la diversité dans la prononciation, je crois que le nom et les armes sont les mêmes; et cela explique l'issue du combat tout naturellement.

Ces points éclaircis, je prie Votre Majesté de faire faire sans perte de temps mes remerciments au chef des forces navales turques sur la mer Noire, des ménagements extrêmes dont il a usé envers le dit Boristhène pendant huit heures entières. Il m'est démontré clair comme le jour que le commandant musulman a eu l'attention délicate d'engager ce combat avec toutes ses forces contre le capitaine du Boristhène sans dire gare, simplement pour lui causer une surprise agréable; que la gloire du dit capitaine a tenu extrêmement à coeur à ce bon musulman, au point de lui permettre sans difficulté la petite espièglerie de couler bas deux ou trois bâtiments chargés de vrais croyants. De tels procédés excitent toute ma sensibilité, et je ne doute pas que Votre Majesté ne la partage et ne soit flattée de s'acquitter de ma commission.

Après quoi je suis très pressé de faire faire mes compliments à monsieur le capitaine de la frégate impériale rentrée criblée. Il faut qu'il ait beaucoup de savoir-vivre et de tact pour avoir senti sur le champ l'intérêt que le croissant composé de 17 étoiles brillantes prenait à sa gloire, et pour ne lui avoir rien laissé à désirer à cet égard. Dès que je saurai son nom, je ne manquerai pas de lui marquer plus particulièrement ma satisfaction sur cette journée; je crains seulement que son Impératrice et la mienne ne s'avise de me prévenir et ne fasse sa propre commission avant de savoir mes intentions; je n'aime pas à être prévenu.

Le gros du public qui ne sent pas tout de suite les choses délicates et fines, telles que le procédé des musulmans dans cette occasion, ce gros du public, tout surpris d'un tel début d'hostilités, dit tout crûment que notre Impératrice a le diable au corps; les anciens auraient dit plus poliment qu'elle est possédée d'un démon, mais nous autres modernes nous nous ressentons toujours dans nos expressions de la grossiéreté de notre origine. Démon ou diable, on prétend que Votre Majesté le sait souffler à tout ce qui se remue pour son service, que ce soit à la pointe de l'épée ou à la pointe de la plume ou en pointant le canon ou enfin de toute autre manière. Il ne serait pas joli que cette opinion s'établît dans le public: car tout ce que la tolérance exige, et encore tout au plus, c'est de supporter dans quelqu'un le démon dont il est possédé, parce qu'on peut supposer qu'il ne dépend de lui de s'en débarrasser; mais de le communiquer aux autres, c'est insoutenable.

* J'aime à me flatter que monsieur le capitaine du Boristhène doit tout à ces bons musulmans que depuis longtemps personne ne soupçonne d'avoir le diable au corps, et rien à ce démon à qui l'on ne sait quel nom donner, qui gouverne la Russie depuis vingt-cinq ans. J'aime encore à me persuader que tout ce qui occupe le plus ces bons musulmans en ce moment, c'est de trouver dans la mer Noire quelque anse commode qui puisse mériter le nom de Tchesmé, afin que la mer Blanche n'ait pas cet avantage exclusivement, et je prie Votre Majesté de les aider à le trouver; c'est là encore une de mes commissions. Nous l'appellerons Tchesmé second, et nous dirons que les feux d'artifice de Pétersbourg et de Tsarsko-Sélo sont des pauvretés auprès de ceux de Tchesmé. Et dans le catéchisme des musulmans on enseignera désormais qu'il y a deux Tchesmés comme il y a deux Catherines, quoiqu'il n'y en ait qu'une: possédée ou non, c'est en quoi gît le mystère. Et dans la première édition du cathéchisme de Martin Luther je ferai insérer qu'il y a deux Tchesmés faisant deux, et deux Catherines n'en donnant qu'une, et que c'est là un article de foi pour les gens de Riga, Narva et Grimma.

A Paris, 1787, le lendemain de la fête du couronnement de la possédée.

№ 98.

Allerunterthänigster Verkündigungs-Vortrag.

Madame,

Ce n'est pas à la Sainte Vierge que j'aurai recours pour faire mon annonciation, quelqu'illimité que soit son crédit auprès de Votre Majesté Impériale; mais c'est à Bacchus, mon bienfaiteur, que je m'adresse; c'est sous ses auspices qui m'ont été plus d'une fois favorables, que je vais me proterner devant le trône de la gloire et embrasser l'image sacrée de l'immorstelle. J'ai grande peur que mon auguste Souveraine ne me regarde comme mort, ou, ce qui serait bien pis, comme endormi, ou rêvant tout éveillé et oubliant dans mon rêve que M. de Toutolmine est ici depuis plus de deux mois et demi. Je n'ai jamais été plus éveillé, ni eu lieu de l'être autant que depuis qu'il est ici, ainsi que Votre Majesté Impériale le verra par la pancarte dont il sera porteur; mais ce n'est que d'aujourd'hui que je puis assurer mon auguste Souveraine avec certitude qu'à travers mille embarras, l'objet pour lequel M. de Toutolmine m'a été dépêché, sera rempli et entièrement rempli au gré de Votre Majesté, et que ce messager de Minerve dûment chargé pourra se mettre en route dans huit jours ou dans dix au plus tard, de sorte que cet insipide Vortrag sera suivi de près par lui.

* Malgré tous les soins imprévus que sa mission a entraînés pour moi, je n'ai pas négligé les affaires du jeune voyageur, qui ont été pareillement terminées avant-hier pour ce qui me concerne. Il ne reste plus à présent qu'à remplir de son côté son engagement, en partant lundi prochain pour Londres, et comme il m'en a solennellement renouvelé la parole avant-hier, en conformité de sa lettre que j'ai mise au pied du trône de la gloire par mon Vortrag du 8 (19) septembre, je ne dois avoir aucun doute qu'il ne me la tienne. J'aurai pareillement l'honneur de rendre compte à Votre Majesté Impériale de cette opération dans les paquets que M. de Toutolmine emportera. Si celui-ci a été retenu ici longtemps, il ne l'a pas perdu; non seulement il l'a employé à son instruction, mais il s'est fait généralement estimer de tous ceux qui l'ont connu à Paris et à Versailles.

Après cette annonciation que j'ai trouvée très urgente pour certifier à Votre Majesté que son souffre-douleur ne dort point, je retourne à la pancarte qui chargera la poitrine de M. de Toutolmine. Cela n'empêche pas ma dévotion habituelle pour implorer la bénédiction divine sur les armes de notre Empereur Catherine, et que je ne chante à tout instant le refrain de mon cantique: God save our Emperor of all the Russias, y compris la Tauride et autres lieux.

A Paris, ce 8 (19) octobre 1787.

Avis important.

Le 17 (28) septembre j'ai expédié en toute diligence pour Lubeck à l'adresse de Sa Majesté Impériale les douze exemplaires de l'Art de la Marine, par M. Romme, volume in-quarto, pour lesquels j'ai eu ordre de souscrire et qui m'avaient été livrés la veille. C'est-à-dire que j'en ai gardé un dont M. de Toutolmine sera chargé. J'ai recommandé que cette caisse soit envoyée immédiatement par mer à Sa Majesté Impériale, afin d'arriver encore cette année avant le retour des glaces, et que le connaissement du navire soit envoyé à M. Sutherland, pour que la caisse puisse être retirée sans difficulté. J'espère que le navire qui portait à Monsieur l'Habit rouge les Oeuvres de Buffon, et l'autre qui portait à Sa Majesté Impériale la suite des Oeuvres de Voltaire, tous deux partis successivement du Havre de Grace pour Pétersbourg, sont arrivés à bon port. Comme on dit beaucoup de bien de l'ouvrage de M. Romme, s'il en fallait encore d'autres exemplaires, pour l'instruction des éleves de la marine impériale, j'attends les ordres et je les aurai, à ce que j'espère, au prix de la souscription.

Autre avis important.

* Il est naturel que le jeune voyageur désire vivement de servir sa Souveraine et sa patrie; mais d'après les conversations que j'ai eues avec lui, je ne puis douter qu'il ne préfère le service de terre au service maritime.

Madame,

Voici un véritable guet-apens pour le souffre-douleur. J'apprends que dans une heure un courrier va être expédié à M. le comte de Ségur. Il m'est impossible de le laisser partir sans faire savoir à Votre Majesté Impériale que j'existe encore et que je n'existe que pour penser à l'immortelle. Je donnerais tout au monde pour me trouver une demi-heure à ses pieds, pour savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, et m'en retourner ensuite content et restauré dans mon taudis. Je vais envoyer ici à Votre Majesté trois exemplaires du catalogue des tableaux de M. le duc de Chabot à distribuer aux amateurs. J'aimerais bien mieux que toute l'épaisseur de ce paquet fût remplie de mon griffonnage pour donner de l'exercice à l'indulgence de mon auguste Souveraine; mais à peine me permet-on d'achever cette page, et il faut finir sous peine de manquer le courrier. J'apprends que M. le comte de Ségur a pris le parti de renoncer à son voyage en France; il n'a fait en cela que prévoir et deviner les ordres de sa cour, car dès que les nouvelles de Constantinople ont été connues ici, on lui a dépêché un courrier avec injonction de rebrousser immédiatement chemin vers le séjour de la gloire, de l'endroit où ce courrier le rencontrerait. Je ne me mêle pas de la purée aux pois, comme Votre Majesté sait, mais je suis convaincu que sérieusement ils sont décidés à renoncer au système baptisé chimérique dans la divine pancarte confiée à M. de Toutolmine. Je ne plains dans tout cela que l'objet de ma passion, qui se flattait de revoir son mari après trois ans d'absence et se voit en un clin d'oeil déchue de ses espérances. Elle se soumet à son sort avec un courage et une résignation qui ne la rendent que plus intéressante. Le prince de Nassau part aujourd'hui et compte avoir joint dans 18 jours les drapeaux du maréchal Tavritcheski, y compris un séjour de 24 heures à Varsovie. Je suis obligé de garder M. de Toutolmine encore ce mois, parce que cet éternel contrôleur général des finances de M. le duc d'Orléans, qui seul peut me faire la remise du cabinet, est toujours absent, et à moins qu'une nouvelle lettre que je lui ai décochée ces jours passés ne lui donne des ailes, on assure chez lui qu'il ne sera à Paris que vers le 20. Cela me brûle le sang. J'espère que Bacchus aura porté aux pieds de Votre

* Majesté Impériale mon contre-manifeste contre le manifeste du prince de Ligne, et mon Vortrag avec les lettres du jeune voyageur. Je finis désespéré de finir et me recommande à la commisération de Monsieur l'Habit rouge. God save notre Empereur Catherine, et donne force compagnons au pavillon qui par sa grâce et celle de Dieu, repose sur le tombeau de Pierre-le-Grand.

A Paris, ce 20 septembre (1 octobre) 1787.

Le souffre-douleur va célébrer sous trois jours l'anniversaire de son heureux couronnement.

№ 98.

Allerunterthänigster eilfertiger Vortrag.

Madame,

On vient de m'apprendre dans l'instant que cette nuit il sera expédié un courrier à M. le comte de Ségur; et l'on me propose d'en profiter. Ces annonces sont pour moi des coups mortels et me causent le supplice de Tantale; c'est me donner la perspective d'un bien en m'en rendant la jouissance impossible. Il faut donc commencer par étouffer tous les sentiments qui se présentent en foule innombrable lorsque je prends la plume pour Votre Majesté Impériale; il faut renfermer jusqu'à l'expédition d'une pancarte en forme toutes les effusions qui s'en sont suivies de deux bienfaits reçus par le divin canal de Bacchus mon protecteur; et pour les empêcher de me troubler, je vais me borner à quelques lignes d'un sujet assez peu satisfaisant et très capable de modérer les élans dont je suis si habituellement tourmenté.

L'immortelle ayant manifesté sa pensée sur la destination des services du jeune voyageur dans les circonstances actuelles, jen 'ai pas perdu un moment pour lui en faire part; mais comme il inclinait particulièrement pour le service de terre, je ne lui ai pas dit que la lettre dont je lui envoyais l'extrait, fût en réponse à la sienne, que j'ai mise sous les yeux de Votre Majesté Impériale; je lui ai mandé au contraire que la lettre de Votre Majesté s'était croisée avec la mienne, mais qu'elle nous suffisait pour prendre un parti. Je joins ici sa réponse que je ne fais que recevoir, et d'après laquelle il plaira à Votre Majesté d'ordonner le nécessaire.

Je lui avais écrit sour le couvert du comte Siméon[1]), et ne pouvais me dispenser de mettre ce ministre un peu au fait de ce qui s'était passé à Paris. Votre Majesté trouvera ici un fragment de sa réponse qui n'a pas dû me ré-

---

[1]) Vorontsov, ambassadeur à Londres.

* jouir, mais dont la vérité m'a paru frappante. Malheureusement j'ai fait des découvertes bien plus sinistres depuis le départ du jeune voyageur et qui me font craindre qu'il ne soit déjà à peu près ruiné de fond en comble. Dans le compte que j'ai rendu de mon opération avec lui, j'ai indiqué les motifs qui m'avaient forcé de laisser 30 mille livres en arrière payables en 1792. C'est l'année où il se croit en droit de disposer de sa fortune et sur laquelle il a accumulé tous ses engagements. J'ai frémi en voyant le billet que j'ai copié au dos du fragment du comte Siméon, et j'ai lieu de présumer que s'il est le plus énorme, il n'est pas le seul. J'ignore quel est ce marquis de Ferrières, quelles sont son existence et sa réputation, mais je le saurai. Sa proposition est que si l'on veut acquitter ce billet dès à present, il consent de perdre cent mille livres pour chaque année d'attente; par conséquent le billet n'étant payable qu'au bout de cinq ans, c'est cinq cent mille livres qu'il en laisserait rabattre et il se contenterait de 640,000 livres. Peut-être en offrant 600,000 livres pourrait on épargner encore les 40 mille; peut-être en offrant cinq cent mille livres pour la totalité du billet, pourrait-on épargner 640,000 livres. Je dis cela au hasard, et n'ai aucun droit de l'avancer. Je suis à mille lieues de cette espèce d'hommes qui fonde sa fortune sur la ruine surtout de la jeunesse sans expérience. Je n'ai eu connaissance de ce billet-ci comme de celui fait à Macarthy et que j'ai anéanti, que par M. de Simolin. Il a à la vérité exigé de moi qu'il ne fût pas nommé; mais je n'ai pu m'y engager; accoutumé à rendre compte à mon auguste Souveraine avec la plus scrupuleuse vérité de tout ce qui a trait aux affaires dont il lui plaît de me charger, rien au monde ne pourra j'amais m'écarter de ce principe d'une ligne. J'ignore quel degré d'attention elle croira devoir donner à tout ceci; mais comme j'ai la témérité de lui confier aussi quelquefois mon avis, lorsqu'elle ne me le demande pas, je croirai indispensable de confier l'administration des biens du jeune voyageur à un curateur honnête, actif, intelligent et respectable de toute manière et sous ces qualités M. de Zavadovski s'est sur le champ présenté à mon imagination: car M. Sutherland ne peut être bon que pour faire les remises, et si l'on veut sauver les débris de cette fortune, il faut un administrateur éclairé, ferme et sage. S'il y avait ici encore d'autres billets ou engagements ignorés, on réussirait peut-être, par l'entremise de la police, de les retirer pour le quart de leur valeur, parce qu'il est à présumer que ceux qui les ont, ont plus ou moins de grands ménagements à garder avec la police. Mais je suis frappé des réflexions du comte Siméon sur le danger du séjour de Londres, parce que là aucun éclat ne peut être prévenu par voie d'administration que la constitution anglaise n'admet pas.

* Je quitte ce sujet affligeant pour dire à Votre Majesté Impériale que j'attends aussi les ordres suprêmes de mon auguste Souveraine au sujet de sa correspondance avec M. de Voltaire, que j'ai lue en caractères moulés avec le plus grand plaisir. Cette lecture sera délicieuse pour tous les grands et bons esprits, et chaque année de plus y ajoutera un nouveau prix. En attendant, tous ceux qui ont eu part à la publication tremblent plus ou moins; il n'y a que Figaro qui, se fiant à la magnanimité de l'immortelle, soit intrépide. Il dit: «Je n'ai aucun tort; je suis négociant; j'ai acheté et je vends. Prenez-vous en à ceux qui m'ont vendu. Mais comment aurais-je eu l'imbécillité d'acheter cent mille écus les oeuvres de Voltaire imprimés depuis 40 ans dans toute l'Europe? Après cela je suis prêt à me soumettre aux ordres souverains de l'Impératrice, et jusqu'à leur arrivée rien ne sera publié. Veut-elle que le volume soit supprimé, il le sera et tous les frais seront perdus pour moi. Veut-elle des cartons, on en fera partout où ils seront exigés. Je sais que le gouvernement ici peut sévir contre moi et m'obliger de m'enfuir en Angleterre en perdant les trois quarts de ma fortune; mais je sais que l'Impératrice est grande, magnanime et qu'elle abhorre ces voies de rigueur». Voilà les accents de Figaro auxquels j'ajoute qu'immédiatement après qu'il aura promis la suppression, le volume paraîtra dans quelque coin de France ou d'Allemagne. Si avant de permettre la publication, Votre Majesté m'ordonne de lui envoyer les passages qui me paraîtraient susceptibles de suppression, je le ferai et l'on attendra la décision de l'immortelle dont les armes soient couronnées d'autant de succès qu'elle a de coeurs qui lui apartiennent par droit de conquête, à commencer par le mien, sur la surface du globe. J'ai eu un très grand plaisir à voir M. le général de Lévachev, qui en s'en retournant de Naples nous fait une petite visite.

A Paris, ce 30 novembre (11 décembre) 1787.

NACHTRAG.

Madame,

Quand je dis que tous les coeurs sont à elle et que les trois quarts du temps elle n'en sait rien, il me prend fantaisie de le lui prouver par un exemple. Il y a ici un officier d'artillerie du plus grand mérite, de la première capacité. Il s'appelle le chevalier des Vaulx. Il a servi dans l'Inde pendant la dernière guerre avec la distinction la plus brillante, ainsi que l'attestent les lettres de M. le maréchal de Castries, de M. le bailli de

* Suffren et particulièrement la demande du comte d'Offélize, commandant en second dans l'Inde. J'ai vu tous ces originaux dont je joins ici les copies ainsi qu'une lettre que le comte de Boistel, maréchal de camp et commandant de la Flandre maritime, m'a écrite à son sujet. Il est rare dans ce métier de joindre la théorie à l'exécution, et la science à la valeur la plus brillante. En conséquence j'ai grande envie de faire présent pour le temps de la guerre du chevalier des Vaulx à mon bienfaiteur en musique, le Ma-al ou mieux le M^{al} prince Potemkine Tavritcheski. Il a la fureur, comme le prince de Nassau, de se trouver partout où il y a des coups à donner ou à recevoir. Il était parti cet été pour la Hollande, espérant pouvoir y être utile; mais quand il a vu l'état des choses, il a quitté avant l'invasion prussienne. Maintenant il grille de se signaler au service de Votre Majesté Impériale. A la vérité il ne veut pas quitter le service de sa patrie, il observe même que son serment comme chevalier de Saint-Louis s'y oppose; mais il s'engagerait de servir l'immortelle tant que la guerre contre les infidèles durera. D'un autre côté le gouvernement de France ne lui donnera pas une permission expresse d'aller servir dans ses armées, mais la permission sera verbale et tacite; il demandera par lettres la permission de voyager dans le Nord et on la lui accordera. Si Votre Majesté daigne faire quelque attention au présent que je prétends lui faire, c'est à elle à régler le sort du chevalier des Vaulx. Je suis persuadé qu'il irait même comme lieutenant-colonel, tant les doigts lui démangent de brûler de la poudre pour Votre Majesté; mais je crois, ohnmaaßgeblich, qu'il serait digne de débuter comme colonel, et qu'il n'en serait que plus utile. Il aura ce grade incessament en France, et s'il part pour le séjour de la gloire, vraisemblablement avant ce départ; M. le maréchal de Castries, scrupuleux observateur des ordonnances, n'a pas voulu le faire colonel sans le faire passer par le grade de lieutenant-colonel, qu'il a depuis plusieurs années. C'est un homme qui me paraît avoir environ 40 ans. Si M. de Martange se faisait proposer pour le service de Votre Majesté Impériale, je ne lui donne pas mon attache comme au chevalier des Vaulx. J'ai connu ce M. de Martange dans ma jeunesse. Il est français. Il a servi en Saxe, où il n'a pas laissé une réputation à envier. Ce service l'a pourtant aidé à devenir, comme par escamotage, lieutenant-général en France sous le ministère de M. de Montbarey, au grand scandale de l'armée. Il passe pour un grand intrigant et je crois que ce n'est pas à tort. Il a fait des tentatives l'année dernière pour offrir ses services à Votre Majesté par le comte Nicolas[1]) qui l'a renvoyé à M. de Simolin, comme le

[1]) Roumiantsov, l'ambassadeur.

* canal naturel; mais il ne s'est pas présenté à celui-ci. Je ne serais pas étonné que depuis la guerre des infidèles il eût cherché d'autres voies pour faire agréer ses services.

Les officiers français qui avaient passé en Turquie depuis quelques années, reviennent successivement par ordre de la cour; je crois leurs raports assez uniformes sur les affaires de la Sublime Porte. Il me revient d'assez bonne part que la flotte de la Sublime étant rentrée de la mer Noire apparemment pour bonnes raisons, le sage gouvernement ottoman a voulu, suivant sa douceur ordinaire, couper le cou au commandant, qui a été fort heureux d'en être quitte pour l'exil. Or on prétend que c'est le seul officier de quelque capacité qu'ils aient et dont ils se défont; qu'on me dise après cela que mes musulmans ne sont pas remplis d'attentions et de procédés délicats pour mon auguste Souveraine. Pour M. de la Fitte, je sais que M. de Choiseul, ambassadeur à Constantinople, a mandé qu'il allait lui dépêcher un tartare à Otchakov pour le retirer; mais qu'il craignait que la place ne fût déjà investie. Mon bienfaiteur en musique veut-il donc en débarasser mes chers musulmans avant la fin de l'année? Cette dernière circonstanc je la sais de source: car les souffre-douleurs étant de leur naturel une race vaniteuse, je dois avoir l'honneur d'assurer Votre Majesté que si M. de Vergennes m'a honoré de quelque estime et de quelque confiance, je n'ai rien perdu au changement du ministère et que M. le comte de Montmorin m'en témoigne pour le moins autant. Il est vrai que cette faveur que j'éprouve n'aura du moins jamais aucun inconvénient pour personne. Il faut que je conte à mon auguste Souveraine une petite aventure que ce ministre m'a confiée. Il doit se douter que ce qu'on me confie, on le confie aussi à Votre Majesté; je ne cache à personne que je n'ai point de secret pour elle. Ce que je vais conter, reviendra sans doute à Votre Majesté par différents côtés; mais voici toujours, à ce que je crois, la version la plus exacte.

On peut bien s'imaginer, sans être sorcier, après ce qui s'est passé en Hollande, qu'on n'a pas en France la tête tournée de Fr. Gu. Si j'avais eu voix en chapitre, j'aurais fait retirer de Berlin le chargé des affaires sans me plaindre, car qu'on puisse ou veuille faire la guerre ou non, c'est toujours un temps perdu que celui de la plainte; si Fr. Gu. avait jugé à propos de laisser son ministre en France, il en aurait été le maître, et ce ministre aurait été traité le plus froidement et le plus poliment possible. Mais comme Votre Majesté m'a appris que chacun fait ses affaires comme il l'entend, j'ai gardé mon avis pour moi et ne l'ai dit à personne. A Versailles on a donc cru devoir laisser à Berlin le chargé des affaires, le ministre en titre en ayant été absent par congé depuis presque le commencement de

* l'année. A ce chargé d'affaires on a mandé en dernier lieu que la révolution en Hollande étant consommée, il était inutile d'en parler d'avantage au ministère de Fr. Gu., tous les discours ne pouvant plus remédier à ce qui s'était passé. A cette injonction on ajouta par forme de réflexion que Fr. Gu. avait détruit en peu de semaines la liaison entre les deux cours que son prédécesseur avait constamment travaillé à cimenter pendant les vingt dernières années de son règne. Le chargé, d'affaires doué de cette pénétration rapide qui n'est pas sans exemple dans les grands hommes de ce pays-ci, a vu dans cette réflexion un regret de sa cour sur cette espèce de rupture et un grand désir de renouer comme si de rien n'était. Il a fait des propositions en conséquence au cabinet de Berlin, bien sûr qu'il se ferait un mérite immortel à Versailles s'il pouvait réussir à rétablir cette liaison. Le cabinet de Berlin à qui il ne doit pas coûter d'oublier le passé, s'y est trouvé très disposé. Vite mon chargé dépêche un courrier à Versailles avec cette bonne nouvelle. Ce courrier n'a pas trouvé l'accueil que son commettant espérait pour avoir opéré avec une si grande supériorité de génie. Il lui a été renvoyé par le coche, et on lui a répondu par la poste ordinaire en toutes lettres pour lui laver la tête de tout ce qu'il s'est avisé de prendre sous son bonnet, et pour lui enjoindre de se rétracter et de confesser au ministère de Fr. Gu. qu'il n'a pas compris ses instructions et qu'il a agi d'une manière absolument opposée aux ordres de sa cour.

Me voilà dans la soupe aux pois jusqu'au cou, contre mon ordinaire. Heureusement on ne m'accorde plus qu'un instant pour fermer mon paquet, l'envoyer à Versailles et le faire partir de là pour le séjour de la gloire. Ce ne sont pas ces pancartes qui me soulagent. Mon coeur reste aussi plein qu'il était, et il lui faut une occasion plus paisible et moins brusque si je dois respirer à mon aise. Aber fragen die Leute von Grimma, was ſagt denn unſere Kaiſerinn vom Herrn Antoninus oder Antonius oder Antonio oder Antony? Wenn man nun einmal auf Univerſitäten recht ausſtudirt hat, ſo geht man auf Reiſen und ſucht ſich an Höfen zu qualificiren, und wenn man es nun einmal recht gut eingefädelt und ausgefädelt hat, ſo nimmt man Abſchied, und geht zurück unter dem martialiſchen Geſang: Jean s'en alla comme il était venu.

Je supplie mon auguste et bienfaisante Souveraine de ne point permettre qu'on oublie ou qu'on néglige son souffre-douleur en cas d'événements. Il faut qu'il en soit le premier instruit et pour le moins aussitôt que M. le Comte de Falkenstein. C'est un grand malheur pour lui de ne pouvoir se procurer une carte passable. Le prince Ma-al Tavritcheski lui avait fait venir l'eau à la bouche en lui faisant dire par le prince de Nassau lors de son dernier voyage, qu'il comptait lui envoyer une carte, mais qu'elle ne

* serait prête que quinze jours après. Elle l'est donc et je n'ai rien. L'immortelle ne devrait pas souffrir que son souffre-douleur n'eût pas seulement une carte du voyage immortel. Cette pseudo-pancarte se trouvera à ses pieds vers la fin de l'année latine. Il n'y a ni commencement, ni fin, ni milieu, où mon coeur ne s'élance vers son temple pour y porter ses voeux avec le plus profond respect. J'apprends que le prince de Nassau y est arrivé. Qu'il est heureux celui-là! Le comte de Ségur, qui ne se doute pas de toutes les bisbilles qu'il y a eu entre Monsieur l'Habit rouge et le seigneur souffre-douleur, me fait un portrait du premier qui est un chef-doeuvre, et ce qui pis est, c'est qu'il a l'air de ressembler comme deux gouttes d'eau. Je ne parle pas à Votre Majesté Impériale de Zelmire. J'ai prouvé par ma dernière pancarte que papa et maman sont fort contents de la savoir sous la sauvegarde de Minerve. Je le crois bien, moyennant quoi on a pourvu à tout. Je n'ai pu lire sans attendrissement tout ce que l'immortelle m'a mandé à ce sujet, au milieu de ses petites affaires avec le croissant. Zelmire chante avec les gens de Grimma: Eine feſte Burg iſt unſere Kaiſerin, und wer ſich auf Sie verläßt kann ruhig ſchlafen zu Lohde, zu Grimma und anderwärts, auch mitten unter den Gefahren dieſes Lebens, parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Qu'on a bien raison de chanter ce cantique tous les matins et tous les soirs. Si son génie tant de fois couronné par la victoire inspire des chants d'allégresse à ceux qui ont le bonheur de vivre sous ses lois, quels sont les accents dignes de célébrer et sa bonté touchante et cette persévérence d'un coeur sublime dans ses nobles et généreuses déterminations?

A Paris, ce 1 (12) décembre 1787.

Fr. Gu. a envoyé ici M. d'Alvensleben, son ministre à la cour de Dresde, apparemment comme le baron de Groschlag a été envoyé par la cour de France à Berlin, c'est-à-dire comme la moutarde après dîner. Il n'a pris ici aucun caractère, et a été présenté comme simple voyageur. Je l'ai connu autrefois à Dresde, et j'ai renouvelé ici connaissance avec lui. Je ne crois pas que Fr. Gu. ait beaucoup de gens de cette étoffe dans son ministère; son coup d'oeil en affaires ne me paraît pas commun du tout. *

A Paris, ce 1 (12) auguste 1790.

Madame.

Que je suis à plaindre! Quand je passe quelque temps sans apercevoir les caractères sacrés de cette main auguste qui dispose de ma destinée, ma vie s'eteint insensiblement et je n'ai plus l'air que d'une ombre ambulante, et lorsqu'un Pavlov tombe du ciel pour m'enrichir de tous les dons de l'immortelle et de l'année passée et de l'année présente, je succombe sous le poids de tant de bienfaits, et j'expire de bonheur et de reconnaissance. Comment donner à Votre Majesté Impériale une idée de la violence de mon état? Celle qui en est cause, devrait cependant bien le connaître, celle qui l'opère devrait m'apprendre le secret de le peindre. Jamais, Madame, mon ménage intérieur ne s'est encore trouvé dans un tel désordre, quoique Votre Majesté n'ait cessé d'y porter le trouble et les insurrections depuis l'instant où mon destin m'a approché du pied de son trône. Il me faudra plus de quinze jours avant que le calme et la raison puissent reparaître dans ce ménage, avant que je puisse tenir la plume et balbutier quelques mots à mon immortelle et indéroutable bienfaitrice. Pour comble de malheur, au milieu de transports de joie au-dessus de mes forces, le prince de Nassau vient de me donner un coup d'assommoir, dont je ne sais si je pourrai me relever. Je ne suis pas encore bien instruit de ce qui s'est passé entre lui et celui dont le nom ne se trouvera plus jamais sur mes lèvres; mais le moindre succès de celui-ci est pour mon coeur un mortel poison, et la profanation du jour anniversaire du glorieux avénement aggrave encore mon mal. Ce succès me paraissait d'ailleurs impossible après tout ce qui s'était passé cinq ou six jours auparavant. Je ne crois pas qu'il influe sur le cours glorieux de la campagne, mais en attendant il m'a porté un coup d'autant plus affreux qu'il était inattendu. Enfin, Madame, jamais on n'a éprouvé dans un si court espace tant de bien et tant de mal à la fois. J'étais allé vers la fin de juillet, style latin, à 25 lieues d'ici chez madame de Bueil passer une quinzaine de jours dans sa terre avec elle, 1°, parce que les malheurs de la France et les siens ne lui ayant pas permis de venir cet hiver à Paris, il y avait plus de huit mois que je ne l'avais vue; 2°, parce qu'elle devait accoucher et désirait que je fusse auprès d'elle; 3° enfin, parce que je voulais essayer de respirer plus librement. Appuyé ainsi sur trois béquilles comme M. Pincé sur ses trois raisons, j'ai assez réussi en ce qu'ayant fait divorce avec mon écritoire et me promenant beaucoup en grimpant des montagnes, je me sentais considérablement soulagé; mais en rentrant dans Paris, mes étouffements m'ont repris. Et le moyen, Madame, qu'il en fût autrement au milieu de tant de

bonheur qui m'y attendait entre les doigts du seigneur Pavlov depuis près de quinze jours, assaisonné de tant de soucis! Car, sans compter le déplaisir que je dois au prince de Nassau et sur lequel je ne suis pas encore bien éclairci, je ne le suis pas davantage sur l'arrangement signé par Léopold à Reichenbach, et tout cela me tourmente de façon qu'à compter du jour où la Néva s'est dégagée de ses glaces et où j'ai célébré l'anniversaire de la plus glorieuse et miraculeuse naissance, depuis celle de Minerve sortie toute armée du cerveau de son père, il ne s'en est pas passé un seul où je n'aie été travaillé par un accès de fièvre chaude. Si j'en crois le prince Henri, Votre Majesté fait un si grand cas du sieur de Hertzberg, comme il dit, qu'elle n'a pas seulement daigné avoir un ministre à Reichenbach. Ce sieur de Hertzberg est la bête noire du prince et l'a été de tout temps. On dit que désappointé dans toute sa politique, et ne pouvant avaler ni Danzig ni Thorn, pour lesquels il avait exercé la gueule de son auguste maître depuis un temps infini, il a pensé lui-même faire le saut périlleux du poste éminent d'où il a rêvé qu'il gouvernerait l'Europe comme le Louvois du dix-huitième siècle. Mais en attendant que ce louveteau ait le temps de se réveiller de ses rêves, je dois penser que Léopold, qui a perdu Laudon si mal à propos, connaît les intentions de son alliée et qu'il n'a pu rien accorder ni contre ses intérêts, ni contre sa propre gloire. Cette réflexion me soutient; mais cependant je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté que je n'ai plus assez de force pour soutenir une quatrième campagne. Mes Russes, invincibles sous l'égide de Minerve, auraient beau enchaîner la victoire sur leurs pas contre les infidèles et contre les traîtres et même contre les louveteaux, mes inquiétudes, mes soucis würden mich aufreiben; je n'ai plus même de quoi soutenir les accès de joie que me causeraient leurs succès. J'en préviens Votre Majesté, pour qu'elle m'accorde la paix avant la fin de cette année ou qu'en cas de refus, elle puisse préparer meine Ruheſtätte dans le mausolée des Thomassins à Tsarsko-Sélo et qu'elle sache d'avance le genre de mort qui aura terminé les jours de son souffre-douleur.

En attendant mon arrêt, je vais partir immédiatement après le messager de l'immortelle, Pavlov, que M. de Simolin est pressé de renvoyer, pour me rendre aux eaux de Bourbonne, où les médecins s'obstinent de m'envoyer pour me guérir de mes étouffements, qui, pour combler mes malheurs, m'empêchent absolument de griffonner. Ils m'assurent que ma guérison est là et que j'en reviendrai avec une respiration parfaitement libre; mais ces eaux ont la réputation d'être très fortes, elles me feront ou beaucoup de bien, ou beaucoup de mal. Si elles prennent ce dernier parti, je ne m'y obstinerai pas, et pour peu que mon cher Saint-Nicolas se rap-

proche des rives du Main et me donne signe de vie, je volerai dans ses bras et j'y trouverai peut-être ma guérison. Cela me donnera occasion d'assister au couronnement de Léopold, comme j'ai assisté à celui de son père; mais il me faut pour cela des nouvelles de mon Saint-Nicolas. Il m'a écrit au moment de son départ de Pétersbourg en juin, depuis je ne sais ce qu'il est devenu. Il venait de quitter le séjour de l'immortelle, Tsarsko-Sélo, il venait de recevoir d'elle ses instructions; il était frappé d'admiration de sa simplicité profonde et lumineuse, comme s'il l'eût approchée pour la première fois; il était plein de son génie, de son esprit divin, en m'écrivant. Ah! quel plaisir j'aurai de le serrer dans mes bras! Je lui enfoncerai mes regards dans ses yeux, pour en arracher, si je puis, l'image de l'immortelle qui s'y est projetée en juin et que j'espère y trouver encore toute entière en septembre. Je sais que j'en puis expirer de joie, mais ce sera la plus belle des morts. Si je puis exécuter ce projet, je crois que le prince Henri fera une course non pas à Francfort, mais à Wilhelmsbad près de Hanau pour y passer deux ou trois jours avec moi en retraite. Ce déplacement, dont il me menace parce qu'il sent qu'il ne peut me proposer de me retrouver dans les sables du Brandebourg, cette entrevue, dis-je, aura de quoi exercer les oisifs et les spéculateurs. Elle n'aura cependant pour objet que d'acquérir des notions justes sur l'état des affaires de la France, et j'aurai la douleur de lui prouver géométriquement que la France est perdue sans ressource, et qu'à moins qu'un dieu ne descende dans une machine pour la sauver, il n'en restera sur la carte que ce trou noir qu'Edmund Burke et moi ne sommes pas les seuls qui l'ayons aperçu dès le commencement de cette déplorable révolution. Son état anarchique est tel qu'il est impossible qu'il subsiste encore quelque temps, et qu'il n'arrive quelque autre révolution impossible toutefois à prévenir, puisqu'on n'aperçoit nulle part des acteurs assez forts pour dénouer une pièce que des bandits et des polissons ont compliquée sans savoir ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'il y a d'indubitable jusqu'à présent, c'est la banqueroute qui mûrit sous la main de la loyauté, proprement dite méchanceté et ineptie française, et qui devient de jour en jour plus inévitable.

Du 3 (14) auguste.

En m'acheminant vers Bourbonne, je porterai sur mon coeur ces deux cahiers précieux, l'un de 1789, l'autre de 1790, que je dois à Pavlov tombé du ciel. Je tâcherai de conjurer cette tourmente qu'ils ont excitée en moi; d'y rétablir, si je puis, le calme, de faire renaître un ordre quelconque du

tumulte de mes idées et de mes sentiments, afin de pouvoir écrire à mon auguste Souveraine avec quelque suite, ce qui ne sera pas en mon pouvoir sitôt. En m'écrivant depuis le 21 jusqu'au 27 juin, tandis que le canon de la trahison et celui de la vengeance retentissaient à Tsarsko-Sélo, tandis que les courriers se succédaient; en exerçant sa plume avant, pendant et après le dénouement, avec un calme, une tranquillité supérieurs à tous les événements, Votre Majesté me donne un spectacle inoui, et je me trouve presque coupable d'en rester le seul dépositaire. Ce spectacle appartient de droit à l'humanité toute entière, et comme elle n'en a jamais vu un pareil, de quel droit puis-je l'en frustrer? Certes, il n'y a point de richesse connue au monde qui pût payer à mes yeux le prix de cette pancarte, et la sage assemblée nationale de France m'offrirait en vain le montant de tous les revenus dont elle a si habilement dépouillé le trésor de la nation, qu'elle avait été appelée à féconder, qu'elle n'en obtiendrait pas une ligne; mais je ne saurais me défendre d'un voeu secret et ardent, que sans connivence de ma part et sans qu'on m'enlève une syllabe de mes richesses, on parvienne à me les voler pour en enrichir le monde. Qu'il est loin de connaître cette Souveraine qui l'a rempli de sa renommée depuis vingt-huit ans! De tous les côtés on s'écrierait, comme je l'ai fait quelquefois, que c'est de tous les personnages du siècle la plus célèbre et la moins connue. De quel étonnement on serait saisi en la voyant, au milieu des exploits de ses flottes, dont les nouvelles se succèdent d'heure en heure, dont les coups retentissent jusques dans ses oreilles, occupée de quoi? A répandre des bienfaits, à s'occuper des risques de fortune et des chances de la situation d'un être mortel et obscur qui n'a d'autre titre au monde à ses bontés que sa passion pour l'immortelle. Mais les dieux ont-ils jamais tenu compte aux faibles mortels de leur passion pour eux? Ne l'ont-ils pas exigé comme un tribut naturel que la supériorité entraîne et provoque? Ah, Madame, ce lambeau de la divine pancarte m'a causé un étouffement qui eût été le dernier de tous, si d'abondants sanglots n'étaient pas venus à mon secours pour soulager un coeur, oppressé d'une manière si soudaine et si inattendue. Il ne m'a pas été possible d'achever la lecture de ce lambeau. Dieu sait quand j'oserai y porter les yeux.

Ce 4 (15) auguste.

Je fus obligé hier de quitter subitement la plume pour ne point étouffer, tant le simple souvenir de la première impression reçue par ce lambeau que je n'ai osé achever, encore moins recommencer à lire, me secoua violemment

le coeur et les entrailles. Il est donc clair que mes étouffements me viennent de reconnaissance, que je les dois uniquement à Votre Majesté, et que si j'en expire, c'est uniquement à elle qu'il faudra s'en prendre; il ne sera donc pas étonnant que les eaux de Bourbonne n'y fassent rien du tout. Avant d'en mourir, je vais communiquer ce mal à Mad. de Bueil; puisqu'elle est aussi un objet de sollicitude pour son auguste protectrice, il n'est que trop juste qu'elle éprouve les angoisses de la reconnaissance avec moi. Elle est accouchée d'un troisième enfant et d'une seconde fille pendant que j'étais chez elle. J'espère que sa fécondité s'en tiendra là; c'est plus qu'il n'en faut pour le temps qui court, sans compter que sa fille aînée est une petite merveille pour la figure et le caractère, qui n'aura jamais sa pareille dans la famille. Tous ceux qui la connaissent prétendent qu'elle a été douée par sa marraine en venant au monde, et qu'au fait la filleule d'une telle marraine ne peut pas ressembler à tout le monde. Quand on lui demande son nom, elle répond: on m'appelle Madame Katinka, et ce petit monsieur, en montrant son frère, c'est Monsieur Kateau arrivé de Russie. Si jamais je peux mettre Madame Katinka en possession de l'estampe que Votre Majesté me fait espérer pour elle, elle connaîtra en un tour de main toute la famille impériale et la fera connaître le lendemain à son frère avec la plus grande précision. Mon recueil à moi a été augmenté par une tête de Minerve, dont le seigneur Millioti m'a fait présent et qu'il m'assure avoir copiée d'après un camée fait par Madame la Grande-Duchesse; mais ce surcroît de richesses ne peut ni ne doit me priver de celui que Votre Majesté me fait espérer; je suis même persuadé que M. Jarkoï est déjà guéri de son mal d'yeux, que mon portrait en émail est prêt et que M. de Machkov pourra être chargé de me l'apporter.

Jusqu'à présent l'assemblée auguste n'a rien prononcé sur la pension de Madame de Bueil, quoique M. de Wimpfen, un des membres du comite, en ait fait une mention particulière dans son rapport que je joins ici, où il a fourré un éloge de l'immortelle dans un goût analogue au lieu où il devait faire son effet. Je ne m'attendais ni à être nommé, ni à trouver cet éloge dans le rapport du baron de Wimpfen; mais il m'a mandé, en me l'envoyant, qu'il n'avait pu s'empêcher de louer celle qu'il admire depuis si longtemps. On m'assure que cet éloge a reçu de grands applaudissements dans l'antre des douze cents rois avocats et gilets, où je ne mets jamais les pieds, vu que le spectacle de la démence et de la méchanceté ne m'a jamais amusé. Ce sujet me ramène droit à cette remise d'argent et à d'autres arrangements incroyables en faveur de Madame de Bueil et de son tuteur, faits au milieu du ronflement du canon par cette bienfaisance inépuisable que ses soins pour

la gloire et le bonheur du plus vaste empire ne contenteraient qu'imparfaitement, si elle ne s'occupait encore de deux atomes jetés par le sort loin d'elle. Ici, Madame, les sanglots recommencent, et ce que je puis faire de mieux, c'est de fermer ce paquet, de le remettre à M. Pavlov, de faire mes paquets pour Bourbonne et de partir. Dans mes accès de délire, j'en veux souvent à mon étoile de ne m'avoir pas fait naître vingt ans après Votre Majesté Impériale; j'aurais pu consacrer mes jours à son glorieux service, j'aurais passé ma vie à ses pieds; je n'aurais pas souffert une seule des cent mille égratignures qu'elle a faites à mon coeur, sans la lui reprocher en face. Que l'Eternel veille sur Son ointe, et qu'il me choie son bonheur et sa gloire comme la prunelle de ses yeux! Si l'ointe accorde la paix de l'empire aux gens de Grimma, ils béniront éternellement son nom glorieux et auguste. Ils lui laissent le soin de s'arranger avec les infidèles; quant aux coeurs faux et perfides, ils ne doivent être honorés d'aucun ressentiment. Dieu merci, ils auront de quoi se souvenir le reste de leur vie de la belle équipée qu'ils ont faite, et avant qu'ils aient payé le quart de leurs dettes et réparé le quart de leur flotte détruite, ils auront tout le temps d'apprendre les sept psaumes de pénitence, et de les chanter dans les mines de Dalécarlie. D'ailleurs le plan des gens de Grimma après le rétablissement de la paix est tout arrêté à l'égard de ce chanteur. Sans se mêler le moins du monde de son intérieur, qu'il s'est rendu si agréable, ils sont décidés à entretenir constamment dans la Finlande impériale un fonds de 30, 40, peut-être 50 mille hommes des forces de l'empire. Ils laissent à leur auguste Souveraine le soin de pourvoir à la subsistance de ces troupes, qui ne feront aucune démonstration offensive; ils ne se mêlent pas non plus de la flotte de Cronstadt, qui n'a pas besoin de la providence des gens de Grimma; mais ils seront très envieux de voir comment le chanteur éreinté se trouvera du séjour paisible de ces voisins, un peu nombreux à la vérité, mais qui, étant dans leurs foyers, ne sont pas obligés de le guérir de la folie si elle devenait sa maladie habituelle. Je récommande à M. le président du collége de la guerre le plan de campagne pacifique des gens de Grimma.

Je suis si touché de tout ce que Votre Majesté me dit sur la Reine de France que je crois de mon devoir de chercher une occasion sûre pour le lui faire connaître. C'est une consolation qui ne doit pas lui être refusée. Malheureusement sa situation est telle que les démarches les plus innocentes ont leur délicatesse, et qu'il suffirait d'un chiffon de papier dont la remise serait remarquée et mal interprétée, pour fonder les soupçons les plus étranges et même les plus atroces. Je crois que nous touchons à une crise très violente et très prochaine: les finances aux abois et l'insurrection de toute

l'armée prête à se débander sont deux symptômes précurseurs d'une prochaine dissolution.

J'ai mis dans le paquet remis à M. Pavlov deux brochures sur l'ordre de Malte, qui a reçu avec la plus profonde reconnaissance ce que je lui ai dit de la part de l'immortelle. Il presse en ce moment l'assemblée avec beaucoup de vigueur de décider son sort en France, afin de savoir à quoi s'en tenir et de prendre de son côté un parti après cette décision.

Inkle et Yariko est une traduction de M. de Meister; avant la révolution il avait commencé à traduire les contes de la bibliothèque des petits garçons de la marraine de Katinka. Nous voulions lui traduire toute la bibliothèque, et moi y mettre la rocambole, et publier le tout conjointement; mais cette malheureuse révolution a aussi détruit la librairie; on ne trouve plus d'imprimeurs que pour des sottises, des libelles, des calomnies atroces, et il ne paraît pas autre chose: cependant notre projet n'est pas abandonné. En attendant M. de Meister m'a dit qu'il employait ces contes dans sa Correspondance littéraire au grand contentement de ses lecteurs et qu'il en recevait des compliments de tous côtés. Dans les temps de disette, on emploie jusqu'à ses diamants pour se tirer d'affaire.

J'ai oublié de dire que M. et Madame de Bueil sont désignés dans le rapport de M. de Wimpfen sous le nom de Du Roux, qui est celui de M. de Bueil issu d'une ancienne maison d'Auvergne qu'on croit la même que celle de Ruffo de Naples. Il porte le nom de Bueil du chef de sa mère dont il l'a hérité. Mais Votre Majesté n'ignore pas que depuis deux mois il n'y a plus de noblesse en France, qu'il n'y a plus que des citoyens actifs, à commencer des frères du Roi jusqu'aux balayeurs de rues, attendu que tous les hommes naissent libres et égaux en droits suivant la déclaration des droits des petites-maisons de France.

Tandis que j'étais chez Madame de Bueil, un baron de Thurn a passé à ma porte et y a laissé une instruction avec un paquet que Votre Majesté trouvera ici tout entier. Je suis si religieux que je n'en garde pas même un exemplaire pour moi.

Je n'ai eu aucum signe de vie de M. Zavadovski au sujet de son pupille depuis dix-huit mois. Ce silence n'a pas empiré les choses, au contraire. Les propositions des propriétaires sont devenues beaucoup plus douces et je crois qu'on pourrait s'en débarrasser avantageusement, surtout en empruntant à la banque à huit pour cent, ce qui diminuerait bien le revenu, mais non pas le fonds du pupille, qui se retrouverait en entier au bout de vingt ans, suivant une des belles institutions de ce mauvais règne de 28 ans.

Mais quoi que détermine le vénérable tuteur dans sa sagesse, je ne lui

demande qu'un oui ou non sur la dernière proposition de ces écumeurs, pour m'en débarrasser une bonne fois.

J'observe, en finissant, que, si par un effet de cette bonté incommensurable qui me fait exister depuis dix-sept ans, un messager de l'immortelle s'approchait en septembre ou en octobre des rives de la Seine avec des paquets pour le souffre-douleur, il faudrait recommander à ce messager de s'informer, chemin faisant, à Francfort chez le comte de Romantsov de l'existence de ce souffre-douleur qu'il y trouverait peut-être en personne et qui y recevrait les dons de l'immortelle que sa bienfaisance lui destine.

A Francfort, ce 7 (18) octobre 1790.

Madame. Il faut avant tout que je charge Votre Majesté Impériale de témoigner ma haute satisfaction à M. le contre-amiral Ouchakov des journées du 28 et 29 auguste. Nun deswegen deputiren mich denn die Leute von Grimma vor den allerhöchſten Thron unſrer glorreichen Kaiſerin oder des ganzen Kerls der darauf ſitzt, um ihre allerunterthänigſte Gratulation abzuſtatten. So ſagen die tollen Leute, und wenn ich ihnen einige Vorſtellungen machen will, ſo ſchreien ſie, ſie iſt's und bleibt's, und ich muß ſchweigen. Je supplie au moins Votre Majesté d'être persuadée que je ne partage pas leur égarement, et que je ne comprends pas même quel moyen de comparaison il peut exister entre le petit doigt de notre Impératrice et je ne sais quelle massue d'Hercule dont j'ai tout au plus une idée confuse d'avoir entendu parler le prince de Ligne.

J'ose me flatter que Bacchus, mon bienfaiteur, aura acuelli avec sa bonté ordinaire ma pancarte du 1 (12) septembre, quoique venant d'un séjour purement aquatique, et lui aura accordé le passage vers le trône de la gloire. Six jours après je me suis mis en route pour m'approcher de cette ville d'élection et de couronnement et surtout du grand Saint-Nicolas, que j'étais sûr d'y retrouver; je pouvais donc me flatter de jouir encore une fois d'un beau et doux moment avant d'étouffer tout de bon. En cheminant de Bourbonne vers Francfort, je me suis délicieusement occupé de cette paix si inopinément bâclée. Nun, ſagte ich, en parlant à mon bonnet, das iſt nun ſo ein Handwerksgriff von ihr, der wenig ſeines gleichen hat, und das werden ihre neid- und gelbſüchtige Freunde mehr Mühe haben es ihr zu verzeihen, als wenn ſie ihren Herrn Vetter, olim Falſtaf Schlaf genannt, itzt aber gar ein aufrichtiger, zärtlicher und ſchätzbarer Freund, auf das Haupt geſchlagen oder gar gefangen eingebracht. Et puis, Dieu seul connaît le fond du sac et le souffre-

douleur n'a garde d'y fourrer son nez pour voir ce qui s'y mitonne. Moyennant ces interlocutoires du souffre-douleur et de son bonnet, je me suis trouvé insensiblement aux portes de Francfort, où, comptant me trouver dans les bras de l'amitié chez un ministre dont le caractère ne reprendrait son activité qu'après la bagarre de Francfort, je n'ai pas été peu étonné de descendre chez un ministre de mon auguste Souveraine, accrédité et en pleine représentation auprès du collége électoral. Je ne sais, Madame, à quel point sa délicatesse lui permettra de parler de ses succès, mais la mienne m'oblige de dire à Votre Majesté qu'il a rempli sa mission avec un éclat, une dignité, une considération et aussi une amabilité que peu de gens savent réunir et qui sied si bien au représentant de la plus auguste et la plus aimable Souveraine de l'univers. Je suis fâché qu'il n'y ait eu de succès que pour lui, et que mon ancien ami, Monsignor Caprara, nonce du pape, et même le marquis de Brême, ministre de Sardaigne, n'aient pas pu entrer avec lui en partage au moins pour quelques brins. Le premier a cependant porté son sanctissime maître à adoucir et supprimer dans son bref de créance plusieurs expressions usitées que les électeurs protestants ne goûtaient point, de sorte que moyennant ces changements, ils est le premier nonce du pape qui ait été reconnu en cette qualité par tout le collége électoral; mais à cela près, il a fait, ainsi que le ministre de Sardaigne, de l'eau toute claire. Cela est venu, à ce que m'assurent mes amis du collége électoral, de ce que l'un et l'autre ont trop affiché de porter l'aigle noir dans leur livrée et de se faire précéder dans toutes leurs démarches par cette silhouette. Il me semble qu'on commence dans le Saint-Empire à se lasser et à se détacher un peu de cet aigle; on lui trouve l'air arrogant, le vol tortueux et pas la vue d'aigle, de sorte que sous l'ombre de ses ailes, mon pauvre nonce n'a pas pu obtenir un seul mot consolant ou simplement poli ni pour lui-même ni pour son saint père. Je n'ai cependant pu me dispenser de reprocher au représentant de mon auguste Souveraine, au milieu de ses succès, le faste qu'il a étalé dans le sein de toutes les magnificences électorales. Ses soupers, où régnait à côté de la magnificence le bon goût, étaient tout ce qu'il y avait de plus ambitionné et de plus à la mode; de tous côtés l'on me disait: o nein, denen soupers des Grafen Romanzof gleicht nichts. Si, en qualité de souffre-douleur impérial, ces o nein flattaient ma vanité, ils m'exposaient de l'autre côté à mille négociations de la part des ambassadeurs et des grandes et belles dames pour obtenir de mon hôte tantôt telle invitation, tantôt telle autre, en faveur de telle et telle coterie illustre, le tout parce qu'on n'était nulle part si bien que chez lui.

Ce 8 (19) octobre 1790.

J'ai parlé jusqu'à présent à Votre Majesté de son représentant auprès de la diète d'élection et de couronnement; le souffre-douleur ne dispute point le pas au Saint-Empire; mais enfin dès les premiers embrassements ce représentant a déployé le caractère d'ambassadeur de Sa Majesté Impériale auprès de moi, et ne s'était guère informé si, sortant de tant d'étouffements, j'étais en état de soutenir une telle ambassade ou plutôt une telle bordée. Il est certain que Votre Majesté ne veut pas que son souffre-douleur reprenne haleine et qu'elle ne s'informe guère s'il est en état de soutenir coup sur coup tant d'assauts. Peu de temps avant mon départ de Paris, j'ai pensé toucher à ma dernière heure, en recevant une pancarte où la même plume qui dirigeait les opérations de l'armée de Finlande et des flottes de la Baltique, s'occupait encore, au milieu du ronflement du canon, qu'on devine de quoi... de mes intérêts, de ceux de ma pupille, mis en danger par la sagesse et la loyauté françaises! Puisque j'ai pu échapper à ce trait lancé à bout-portant sur mon coeur, je voudrais le graver sur l'airain pour l'information de la postérité. Hélas, on ne le croira jamais, et à moins que je ne dépose l'original de cette pancarte entre les mains d'un notaire ou dans quelque greffe public, qui voudra se persuader que toute occupée à faire repentir un ennemi de la témérité de ses entreprises, Votre Majesté eût encore pu songer à régler mes intérêts et ceux de ma pupille? Enfin, étouffé sous le poids de ce bienfait, le coeur atteint d'un trait mortel, je me rends aux eaux, je commence à respirer plus librement; une lettre de cinq lignes qui me fait part de la signature de la paix sans perdre une minute, m'étouffe de nouveau. J'échappe encore à ce trait et me rends ici, pour me livrer à la douceur d'embrasser un ami si tendrement et si justement chéri et de le questionner tout à mon aise sur tout ce qui intéresse mon coeur. Et cet ami m'étouffe de nouveau. Il se dit chargé d'une commission de Votre Majesté pour son souffre-douleur; il me dit mot pour mot ce que le coeur le plus généreux, le plus magnanime l'a chargé de transmettre au coeur le plus reconnaissant, le plus attendri; il me jure qu'il n'y ajoute pas une syllabe, qu'il me rend mot pour mot ce qui est sorti de la bouche de l'immortelle, et je suis moi-même obligé de convenir que les phrases qu'il me rapporte ne sont pas les siennes, et portent le cachet particulier de celle qu'il fait parler. Cependant je reste anéanti et lui dis: Répétez-moi cela, afin que j'aie la douceur de l'entendre encore une fois, et après l'avoir entendu une seconde fois, j'ai pensé être arrivé à mon dernier étouffement. Depuis, Madame, je me le suis fait répéter tous les jours; tous les jours Votre ambas-

sadeur est obligé de s'acquitter de nouveau de sa commission; tant que nous serons ensemble, il remplira ce devoir; en l'écoutant, mes yeux se remplissent de larmes et mon coeur a enfin appris à en être moins oppressé. Maintenant il faut bien que je réponde à cette ambassade. Non, Madame, jamais je n'ai cru les bontés de Votre Majesté affaiblies ou diminuées pour moi. Si cette funeste idée pouvait jamais entrer dans ma tête, Votre Majesté en aurait bientôt la certitude, parce que c'est le seul malheur auquel je ne pourrais survivre. Mais ma confiance dans ces bontés est aussi inébranlable que le trône de celle à qui je les dois, et la certitude de ne les perdre qu'avec ma vie, s'est identifiée avec mon existence. J'ai bien senti sans doute la différence des années de disette qui ont succédé aux années d'abondance; mais il ne m'était pas difficile d'en voir les véritables causes et de m'y soumettre sans murmure comme on se soumet à la nécessité, en espérant le retour du bonheur avec le retour de la paix pour laquelle je ne cesse de faire des voeux. Eh! ne suis-je pas assez riche de mon bonheur passé, et ces richesses ne sont-elles pas une jouissance continuelle? Je désire donc que mon auguste et immortelle bienfaitrice soit convaincue que rien ne manque à mon bonheur, parce que ses bontés me sont toujours présentes, que de tout temps je les ai cru inébranlables comme sa gloire, et qu'une fois acquises, n'ayant jamais pu rien faire pour les mériter, je suis d'autant plus sûr de les conserver jusqu'à mon dernier étouffement. Tous les instants de mon existence lui sont consacrés, je ne la quitte pas plus que son ombre, mon amour, ma reconnaissance, mes voeux l'accompagnent, la poursuivent en tout lieu, et quelle belle place n'aurais-je pas à attendre dans le ciel si j'avais jamais pu vouer à mon Dieu la dixième partie de l'amour dont je brûle pour mon Impératrice! Ceci me rappelle que, je ne sais quel fatal contretemps ayant une fois retardé mes pancartes, l'Impératrice a poussé l'impiété jusqu'à accuser son souffre-douleur d'avoir été éclipsée dans son coeur par l'éclat de quelque prince allemand. Es iſt nun freylich wohl wahr, große Genies habe ich unter den Fürſten und Mächten unſeres Zeitalters gefunden, mit denen unſere Kaiſerin gar in keinem einzigen Punkt ſich vergleichen kann oder darf, und dieſe großen Genies vermehren ſich allenthalben von Jahr zu Jahr zum Erſtaunen, aber wenn man nun einmal gewohnt iſt mit unſerer Kaiſerin von mittelmäßiger Statur vorlieb zu nehmen, ſo bleibt doch immer das Herz an ſie gehängt, und die Augen werden zu kurzſichtig um die Größe der großen Genies, wenn ſie auch Herkules-Keulen wären, zu umfaßen.

Ce 9 (20) octobre.

Je comptais, Madame, amasser peu à peu une pancarte énorme pour en accabler mon auguste bienfaitrice à la première occasion sûre; mais mon Saint-Nicolas m'offre cette occasion dans l'instant même; je vais donc enfermer ce peu de lignes, et Votre Majesté pourra se vanter de l'avoir échappé belle et d'être quitte de moi à bon marché. Je ne dirai rien à Votre Majesté Impériale de Francfort; je suis bien sûr qu'à cet égard l'ambassadeur de l'Impératrice par excellence auprès de moi ne lui laisse rien à désirer. L'empereur Léopold, à qui, comme à toute la famille impériale et napolitaine, j'ai été présenté par le dit Saint-Nicolas comme chose appartenante à l'Impératrice par excellence, a eu la bonté de me traiter comme une ancienne connaissance. Le duc de Gotha a ensuite jugé à propos de profiter de mon séjour ici pour m'accréditer auprès de Sa Majesté Impériale à l'effet de lui remettre sa lettre de félicitation sur son avénement à la dignité impériale. Cela m'a procuré une audience particulière, qui a duré une demi-heure, et c'est beaucoup dans le tourbillon de Francfort. Les affaires de Gotha n'ayant disposé que de trois minutes, les affaires de France ont pris le reste du temps. Hélas, ce malheureux pays approche de jour en jour du terme de sa destruction, sans qu'on puisse apercevoir un signe de salut. M. Necker a fini sa carrière ministérielle, et sa réputation s'est enterrée sous les ruines de la monarchie. Je crains que M. de la Fayette ne finisse de même. Je ne vois partout que des gens qui, ayant mis en mouvement une machine qu'ils n'avaient ni le talent ni la force de diriger, en ont été entraînés eux-mêmes et sont au moins la cause innocente de la perte de la France. C'est qu'il n'y a rien de plus coupable que des innocents qui se mêlent de grandes affaires, et pour la première fois peut-être la nécessité n'a pas créé les hommes qu'il fallait ou bien l'homme nécessaire pour sauver son pays. Tandis que les révolutions et les dissensions produisent naturellement une foule de caractères, il ne s'en est pas trouvé un seul dans ces temps calamiteux, et la France est devenue la proie d'un tas d'avocats, de têtes creuses se donnant pour philosophes, de polissons, de gredins, de jeunes freluquets n'ayant pas l'ombre de sens commun et jouets de quelques bandits, qui, tout criminels qu'ils sont, ne méritent pas même le titre d'illustres scélérats. Après avoir revu les cérémonies de l'élection et du couronnement d'un empereur des Romains avec le même plaisir d'enfant qu'elles m'ont fait il y a 45 ans, je vais m'arracher de l'ami de mon coeur et selon mon coeur, pour me replonger dans ce gouffre de Paris dont j'ai pour cet hiver plus mauvaise opinion que jamais; mais enfin il ne faut

pas abandonner ceux à qui on a laissé, depuis qu'ils existent, le droit de compter sur nous, et puisqu'il ne dépend pas de moi d'enlever Madame de Bueil avec ses enfants et son mari de la France, il faut y rentrer, et s'il est nécessaire, s'y enterrer avec elle ou à côté d'elle.

Je me sens de temps en temps le besoin de faire un petit don à mon auguste Souveraine pour preuve de ma bienveillance invariable. Cette fois-ci elle aura pour présent une production royale, un ouvrage du roi de Naples. Ce prince, qui a gagné ici la rougeole au moment où il devait repartir avec l'empereur pour la Bohême et la Hongrie, mais d'ailleurs sans aucun danger pour lui, a fondé près de Caserte une colonie appelée Santo Leucio, dont il s'occupe beaucoup et dont il a composé et fait publier l'institution, la législation et même le catéchisme politique. J'en ai demandé deux exemplaires, et les ai obtenus. Si Votre Majesté se croit obligée à un contre-présent au roi de Naples pour le sien, elle est assurément en fonds et en plus d'un genre de littérature. Ce qui me plaît de cette production royale, c'est qu'on dit que cette colonie est l'ouvrage du roi depuis son origine, ab ovo, jusqu'à son dernier développement. Ce roi, grand chasseur devant le Seigneur, s'occupe aussi beaucoup dans ses courses de la multiplication de l'espèce. Ayant pour principe de ne jamais toucher deux fois le même objet, il en est résulté un nombre considérable d'enfants; embarrassé des mères et de leur progéniture, il a marié les premières et les a réunies en famille dans cette colonie de Santo Leucio. Comme j'ai du faible pour les bâtards, je m'intéresse à la colonie et à la législation de cette population naissante, et j'espère que Votre Majesté accordera à cette production royale une place dans sa bibliothèque. Si l'abbé Galiani avait vécu, il aurait pu contribuer au lustre de cette population et comme prolificateur et comme législateur.

Si Votre Majesté se croit aussi obligée à un contre-présent envers son souffre-douleur pour ce don vraiment royal, je lui demanderai un cordon de Saint-André, supposé qu'il y en ait un dont elle ne sache que faire, en faveur du premier ambassadeur de Saxe, comte de Schoenberg, jadis mon élève pendant quatre ans. Ce comte de Schoenberg, que nous appelons Schomberg en France, est d'une illustre naissance, se trouve à la tête du conseil d'état de Dresde, et pour avoir parcouru la même carrière que son père, il ne lui manque que la plus belle de toutes les décorations. Son père l'a reçue en 1745 après la diète d'élection où il était premier ambassadeur de Saxe, comme son fils l'est aujourd'hui. C'est à Votre Majesté à décider dans sa sagesse s'il est bon dans ces circonstances qu'il y ait dans le conseil de Dresde un membre principal à sa livrée; autrefois tout ce conseil

la portait, aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus dans cette cour que M. de Marcolini au bleu de Russie. Ce comte de Schoenberg a en France un frère aîné, lieutenant-général, qui a servi avec la plus grande distinction; c'est mon ami depuis l'âge de onze ans. Il risque aussi d'être ruiné de fond en comble par la sublime Assemblée nationale, ainsi que tout le militaire de France. Mais il est philosophe, et il n'a qu'une passion, c'est celle de la brave femme. C'est ainsi qu'il ose appeler ce que les gens de Grimma nomment den ganzen Kerl. Votre Majesté verra dans sa lettre ci-jointe du 15 juin combien il était affligé alors de ce qui s'était passé à Frederikshamn et qu'il croyait un revers. Il aura été consolé depuis par la paix de Werela, et pour ne point diminuer sa joie, je lui cacherai soigneusement la découverte que j'ai faite ici et qui m'a été bien sensible. C'est que cette paix nous coûte plus cher que je ne comptais, puisqu'elle a occasionné à notre Impératrice une dépense de deux archines du plus beau velours bleu au profit du monarque suédois, naguère Falstaff Schlaf, aujourd'hui Vetter wach. Nun das ist freylich ein wenig theuer.

Suivant mes lettres de France le sort de l'ordre de Malte doit être décidé à l'heure qu'il est, et vraisemblablement l'auguste nation l'aura dépouillé de ses biens, pour être fidèle à ses principes et uniforme dans ses sublimes opérations. Das bitte ich unsere allergnädigste Kaiserin, qui est aussi uniforme, zu beherzigen. Puisque le comte de Romantsov me demande impitoyablement mon paquet sans aucun égard pour les besoins de mon coeur, qui exigeraient encore huit jours au moins de griffonnage, j'embrasse les genoux de mon auguste Souveraine, dont il n'est au pouvoir de personne de m'arracher, et je dépose à ses pieds l'hommage du plus profond respect; je dirais aussi du plus tendre, mais ceci est un secret.

A Francfort, ce 1 (12) novembre 1790.

Madame. En m'arrachant des bras d'un ami si tendrement et si justement chéri, je perds la douce habitude contractée depuis près de deux mois, de parler matin et soir ou plutôt du matin au soir de l'objet auguste de ma passion et de mon culte, avec un homme capable et digne de m'entendre. Ce n'est pas ce moment pénible que je choisirai pour écrire à Votre Majesté Impériale. Elle trouverait avec raison que les lamentations du grand prophète Jérémie sont des bouffonneries auprès de celles du souffre-douleur impérial. Pour me calmer je cours tout droit me replonger dans le gouffre

où règnent la méchanceté et la démence, et où les affaires empirent de jour en jour. Je n'y ai nulle affaire, et cependant j'y cours, je quitte le plus tendre ami, je résiste à ses instances, parce que, ne pouvant enlever ma petite pupille et ses enfants de la France, il est indispensable, puisque je l'ai accoutumée depuis qu'elle existe à compter sur moi, que j'aille la rassurer par ma présence et partager les dangers dont je ne puis la préserver.

Dès que je serai rentré dans ma solitude si peu sûre et rendu à moi-même, j'aurai recours à mon bienfaiteur Bacchus pour qu'il porte au pied du trône la reconnaissance des gens de Grimma du dernier bienfait qu'ils doivent à leur auguste Souveraine. Je leur ai fait la morale de mon mieux sur leur ridicule conduite de Bourbonne. Ils n'ont pas manqué de répliquer, les si et les mais ne manquent jamais à ces gens-là; cependant ils m'ont promis de se taire provisoirement, et d'imiter le grand exemple de l'immortelle dans les grandes occasions comme le modèle le plus sublime en tout genre. J'ai prolongé ici mon séjour de huit jours, et certes je ne demandais pas mieux, dans l'espérance de voir arriver M. de Machkov. C'est un lanternier, il n'a pas paru sur l'horizon de Francfort; je vais donc me rendre à Paris pour l'attendre de pied ferme et lui enlever la pancarte qu'il me retient.

Dans une course que j'ai faite à Gotha, j'ai trouvé qu'il y régnait un excellent esprit et que nos écrivains n'avaient pas gagné le mal français comme tant d'autres beaux-esprits de Germanie dans plus d'une contrée. Nos plumes de Gotha ont efficacement contribué à éteindre le feu de la sédition dans la Saxe électorale, comme Votre Majesté verra par le „Rebellions-Fieber" et d'autres pamphlets ci-joints, que la cour de Dresde leur a demandés par milliers pour les répandre parmi ses sujets rebelles. Cette folie paraît entièrement assoupie. Dès que je serai à Paris, j'aurai l'honneur de parler à mon auguste Souveraine d'un livre intitulé das kleine Noth- und Hülfs-Büchlein, dont l'auteur établi à Gotha a, lui seul, vendu plus de cent mille exemplaires, quoique son livre ait été contrefait dans toutes les parties d'Allemagne.

Ma mauvaise plume et mes yeux humides et plus encore les chevaux de poste qui s'impatientent à ma voiture, m'imposent la nécessité de m'arracher du pied du trône de l'immortelle, comme je vais m'arracher des bras d'un ami irremplaçable pour moi. Je supplie Votre Majesté Impériale d'avoir pitié de son souffre-douleur, de lui conserver ses bontés inappréciables, et de trouver bon qu'il dépose à ses pieds l'hommage du plus profond respect.

Si Votre Majesté se rapelle les ordres qu'elle a donnés au comte de

Romanzov pour moi au moment de son départ, elle doit bien croire qu'il n'y a pas un mot qui n'ait percé mon pauvre coeur d'outre en outre de reconnaissance, de tendresse et de cet amour dont Dieu veut être aimé par ses créatures.

A Paris, ce 14 (25) novembre 1790.

Madame. Mon almanach, le seul véritable puisqu'il est luthérien, m'ordonne de célébrer aujourd'hui la fête de Sainte et Grande Catherine, deux dames qui ne se ressemblent guère, mais il convient et plaît à Votre Majesté Impériale de me renvoyer aux calendes grecques et de m'obliger à ne chômer cette fête que dans onze jours; je ne suis pas le plus fort, il faut le souffrir. Quand je dirai à mon auguste Souveraine que je suis ici depuis cinq jours; que j'ai quitté Francfort le 1 (12), après avoir dépêché à Bacchus, mon protecteur, quelques élans pour l'immortelle; que je me suis arraché des bras de mon Saint-Nicolas en étouffant; que je suis rentré dans Paris avec le coeur navré, et que pour ma bienvenue on m'a donné pour spectacle national le saccage de l'hôtel de Castries, Votre Majesté me demandera: «Eh, qui donc, imbécile, t'obligeait d'y revenir?»—Ah, qui m'y obligeait! Ce n'est, certes, ni mon plaisir, ni le voeu de mon coeur qui m'y ont ramené. J'aurais pu passer l'hiver le plus doux auprès de mon saint à Francfort; nos excursions continuelles à Tsarsko-Sélo, à Pétersbourg, à l'Ermitage, auraient trompé mon coeur, et je m'y serais cru transporté dans de certains moments. J'aurais pu m'établir à Lausanne auprès du maréchal de Castries, à qui je suis attaché depuis 40 ans, qui s'y est retiré dès le commencement de la régénération des Gaules, parce que dès le commencement il en a prévu toutes les bénédictions qui allaient fondre sur nous. J'aurais dû pour l'intérêt de ma santé détruite et que Paris achèvera promptement, chercher un ciel plus doux, celui de Nice ou de Pise ou de Naples, pour pouvoir y respirer librement et sans étouffer. Mais Votre Majesté ne m'a-t-elle pas appris depuis longtemps par son glorieux exemple, qu'il y a une vertu cardinale sans laquelle les autres ne méritent pas leurs noms? Cette vertu est la constance. C'est à elle que le prince Potemkine à adressé son ode ou son cantique, entre toutes les qualités de l'immortelle. Ce cantique, pour le dire en passant, a été évidemment inspiré par la salutation de l'ange à Marie, et le prince prophète avait bien le droit de chanter à l'occasion de la paix de Wärela: *ave*, *Catherina*, *constans*, *invicta;* mais il ne fallait pas oublier *gratiae plena*, parce que premièrement cela

est, en second lieu c'est l'essentiel d'une salutation angélique, et enfin parce que cette plénitude de grâces n'empêche pas un brin notre saluée d'être têtue autant qu'il faut et comme il faut. Or, puisque la constance est la première de ses vertus, comment son souffre-douleur oserait-il en manquer et ne point imiter de loin celle dont l'image rayonnant de gloire l'obsède jour et nuit? Je me suis donc dit qu'ayant accoutumé Madame de Bueil depuis qu'elle existe à compter sur moi, ce n'était pas le moment de l'abandonner, et que, puisqu'elle était attachée à la glèbe par les petites possessions de son mari, et puisqu'avec trois enfants et une mince fortune aussi détruite que les plus considérables de la ci-devant France, il n'était pas en mon pouvoir de la tirer d'ici et de lui faire quitter sa triste patrie, comme ont fait tous ceux qui en avaient la possibilité, c'était à moi à revenir ici partager le sort de mon enfant adoptif, à la soutenir, quoiqu'à 25 lieues l'un de l'autre, autant qu'il dépendait de moi, et enfin à m'ensevelir auprès d'elle s'il le faut et si mes étouffements physiques, qui se sont déjà rétablis depuis mon retour, m'en font la loi. Cette nécessaire résolution a déjà eu sa récompense, car le ciel juste se plaît à encourager même le plus faible effort d'un souffre-douleur pour imiter die Mutter der unerſchrockenen Standhaftigkeit, que les gens de Grimma appellent tantôt la mère remplie de grâce, ainsi que la salutation angélique l'ordonne, tantôt den ganzen Kerl, ayant recours à l'une ou l'autre de ces dénominations suivant que leur coeur est tourmenté ou leur tête renversée. Ainsi, rentré dans ce gouffre de Paris avec un coeur déchiré de mille manières et passant les trois premiers jours dans les plus épaisses ténèbres, la clémence du ciel a daigné les dissiper le quatrième en me faisant apparaître le messager céleste Machkov que j'avais inutilement attendu à Francfort, et avec lui tous les dons de l'immortelle. Un frissonnement universel et pénétrant jusqu'à la moëlle des os m'a saisi à l'aspect de ces dons, parmi lesquels la pancarte brille d'un éclat qui a pensé me faire mourir de joie et de reconnaissance, ce qui est la plus douce à la fois et la plus violente manière de quitter ce monde. Il m'a fallu, depuis la réception de mes paquets, deux fois vingt-quatre heures de pourparlers avec les gens de Grimma, avant de pouvoir prendre la plume et tracer cette introduction historique à ma pancarte, qui partira pour le séjour de la gloire quand il plaira au ciel miséricordieux de lui en ménager l'occasion. Il me faudra bien le double de ce temps pour remettre un peu d'ordre dans ma tête avant de griffonner autant que mes étouffements me le permettront. En attendant je dirai à Votre Majesté que l'image révérée et magnifiquement encadrée de mon auguste Souveraine que je dois à mon bienfaiteur Jarkoï, a été reçue avec les mêmes cérémonies et la même dévotion

avec lesquelles mon protégé, le comte Souvarov Rymnikski reçut son cordon de Saint-André à Kinburn; excepté de n'avoir pas communié, je puis me vanter d'avoir ri, pleuré et eu, autant que lui, l'air d'un possédé. Il est cependant impossible que ce cordon de Saint-André lui ait causé le même mouvement de joie et de reconnaissance qu'à moi l'image révérée, parce que j'en suis épuisé, anéanti, et que chez lui ce mouvement a produit redoublement sur redoublement, dont les bons musulmans ont été obligés de payer toutes les façons. Ma joie n'extermine que moi, celle du héros, comte des deux empires, extermine les ennemis de notre Impératrice; ma joie est plus concentrée, la sienne plus excentrique. Que n'ai-je communié, comme lui, et sous les deux espèces, avant de toucher à l'image révérée! Cet acte de piété m'aurait peut-être donné la force de supporter ma joie et de ne pas succomber sous le poids de la reconnaissance. Nun gebenedeyet ſey, allergnädigſte Frau, die gratiae plena, auf Deutſch die huldreiche Mutter der Frucht ihrer unerſchrocknen Standhaftigkeit, welche ihren Schmerzduldet mit dieſem unſchätzbaren Bilde der Unſterblichen begnadiget! Votre Majesté me dira peut-être que ceci n'est qu'une singerie de l'élan de génie du prince Potemkine le Taurien; mais j'en demande une traduction littérale en russe, et mon trait pourra peut-être se soutenir à côté du sien. Ah, si j'avais su faire des cantiques en russe, je ne serais pas où je suis! Il me sera bien dur, quand je serai à mon chant de cygne, de ne pouvoir le fredonner en russe, et d'être réduit à le chanter tout platement en latin, en allemand ou en français, comme Siméon dans son jargon juif: nunc dimittis servum tuum, domine: Seigneur, c'est actuellement que tu laisses mourir ton souffre-douleur en paix, car mes yeux ont vu ton ointe sortir triomphante de tous les malins vouloirs et de toutes les embûches de ses ennemis circoncis et non circoncis, lesquels, barbus ou rasés, beſchnittene oder unbeſchnittene, möchte doch, tutti quanti, alle und jede, der Teufel holen, pour les récompenser de l'ennui qu'ils m'ont causé! Amen!

Ce 24 novembre (5 décembre).

Pour le coup Votre Majesté ne peut empêcher que toute la synagogue du souffre-douleur ne soit illuminée à l'honneur de la patronne du jour, et son image révérée exposée dans son cadre magnifique. Pour solenniser cette fête, je vais d'abord lire la divine pancarte apportée par Machkov, à haute et intelligible voix pour la vingtième ou trentième fois et d'un bout à l'autre, ce qui, comme Votre Majesté sait, n'arrive pas dans les premiers jours, où l'inquiétude de n'y pas trouver ce qu'il faut ou d'y trouver ce qu'il

ne faut pas, vous fait attaquer une pancarte de l'immortelle par tous les bouts et la retourner et renifler en tout sens avant d'oser la lire méthodiquement depuis son commencement jusqu'à sa fin. Après cette lecture, qui tient ici la place du panégyrique prononcé dans la chapelle impériale, et qui la remplit parfaitement bien, parce que l'oeuvre loue bien mieux l'ouvrier que tout ce que le grand Platon et l'apostolique archevêque de Pétersbourg ont pu débiter en chaire à sa louange, je ferai un acte de pénitence pour n'avoir pas encore parlé à mon auguste Souveraine, au milieu des plus violents accès de ma reconnaissance, ni du profil des six têtes, ni des médailles grande et petite frappées à l'occasion de la paix de Wärela. Ces six profils ont fait tracer dans ma divine pancarte Machkovienne six portraits d'une touche ferme et sûre qui peint pour la posterité à qui je les lèguerai, en les déposant avec les profils gravés dans le trésor de Katinka de Bueil. C'est lorsque ces enfants, élevés près du trône de la gloire, auront rempli en partie leurs hautes destinées, que le portrait de leur enfance et de ce qu'elle annonce, tel que je le possède et tracé par une telle main, paraîtra un véritable prodige; je n'ai donc pas le droit d'en priver la posterité. Quant à la superbe médaille de la pacification bâclée entre les deux barons, je ne saurais disconvenir qu'elle ne soit bien placée dans le médailler du souffre-douleur: car il est aujourd'hui avéré que cette exécrable guerre finnoise, qu'il a aussi peu prévue que l'oeuvre de la démence et scélératesse gauloises, a été l'origine et la cause de ses étouffements, et il n'est pas moins certain que cette paix aussi inattendue que tout autre miracle ou prodige a pensé lui déranger entièrement la tête.

Le tourbillon du couronnement de Léopold m'a empêché de dire à Votre Majesté combien j'ai eu à souffrir des gens de Grimma pendant mon voyage de Bourbonne à Francfort, à l'occasion de cette paix. A mesure que cette paix se nichait dans leur tête, au lieu de les y accoutumer, elle augmentait leur folie. Je m'étais résigné à leur voir faire des gambades, à entendre leurs cris de l'autre monde. Nun das iſt ein Meiſterſtück, das iſt ein Kunſtgriff, das iſt ein Hauptſtreich. De temps en temps je leur disais: Nun, Ihr Narren, habt Ihr denn von Eurem ganzen Kerl etwas anderes als Hauptſtreiche erwarten können? Ne voulaient-ils pas. Madame, me forcer le second jour de la route de dépêcher sans perte de temps tout exprès un courrier à Votre Majesté! Et pourquoi faire? C'est qu'il ne suffit pas, me dirent-ils, de s'être débarrassé d'un ennemi; il ne faut pas qu'elle reste en si beau chemin; il faut qu'elle oublie ses fredaines, et qu'elle s'en fasse un ami à pendre à dépendre.— Et comment faut-il qu'elle s'y prenne pour cela?—Rien de si aisé. Elle n'a qu'à lui avouer confidentiellement qu'à la vérité son ressentiment a été

bien grand, bien profond; mais qu'il n'a pu tenir contre l'admiration que sa valeur personnelle lui a inspirée; que ce sentiment l'a subjugué et lui a fait oublier tout le passé. Don Quichotte, m'observèrent les gens de Grimma, n'a jamais aspiré à d'autre gloire que celle de l'intrépidité personnelle; à ce prix il consentait d'être moulu, roué de coups; et l'on sait du reste que le héros de la Manche est le modèle favori du héros dont nous voulons qu'elle fasse la conquête. Si une fois celui-ci se persuade qu'elle meurt d'admiration pour lui, il se rattachera à son char pour la vie. Ce qui n'empêche pas qu'on ne lui montre aussi dans le lointain quelque lucre, quelques petits profits pour lui, dans le cas où il marcherait droit et de manière à faire oublier toutes ses frasques déloyales: car nous nous rappelons très bien que si pour l'héroïsme il est de la famille du chevalier de la Manche, il est du côté des petits profits entièrement dans les principes du bon Sancho, qui pensait au solide. C'est ce que nous avons fort bien remarqué dans le temps de notre accointance avec lui, de même que l'aversion extrême qu'il avait pour les parents de sa mère et que nous supposons en ce moment plus forte que jamais. — Je demandais à ces radoteurs: quel parti tirera-t-elle donc d'un allié que vous voulez lui adosser et qu'elle a totalement éreinté en moins de trois campagnes? A cette question il faut convenir qu'il m'ont fait des réponses très spécieuses. D'abord ils ont supposé que le Danemark ne pourra jamais marcher que droit et que s'il ne fait pas tout ce qu'il devra faire, on ne pourra du moins jamais le porter, quelques appâts qu'on lui offre, à faire ce qu'il ne doit pas. Il faut être juste, même envers les fous: ceci ne m'a pas paru sans vraisemblance; mais dès que je leur ai accordé cette vraisemblance, ils l'ont supposé comme infaillible, et m'ont montré une ligue entre les trois couronnes comme très aisée [1]) pour faire respecter la Baltique et la garantir de l'apparition de tout pavillon militaire inusité dans cette mer, ce qui, suivant eux, ne rendrait pas les plans de campagne du grand Hertzberg ni ses mesures offensives de plus facile exécution qu'il ne faudrait. Après m'avoir détaillé leurs idées avec une extrême chaleur et beaucoup plus de verbiage que je n'en mets ici, car Votre Majesté n'ignore pas combien ils sont verbeux et bavards, je leur demandai si c'est pour la communication de ce beau plan qu'ils voulaient me faire dépêcher un courrier à l'Impératrice, et les apostrophant comme ils le méritaient,

[1]) Il est clair que les bavards supposent que le génie est fait pour maîtriser et réunir autour de lui ceux qui ne demanderaient pas mieux que de se détester entre eux, et pour planer sur eux par son irrésistible influence. Comment opèrera-t-il ce prodige? C'est son secret; mais le principe est d'une vérité éternelle et incontestable.

je leur dis: Nun, Ihr Erznarren, haltet ein für allemal's Maul zu, denn Euer Geſchwätze iſt unausſtehlich. Habt Ihr denn vergeſſen, was Euch Euer ehmaliger Gefährte, der große Major Thier, mehr als einmal geſagt, daß unſere Kaiſerin geſcheidter iſt als alle Bücher, die je geſchrieben worden, und wer kann ſich denn ſo etwas Wahnſinniges träumen laßen und alberner Weiſe glauben, daß ſie Euren Rath nöthig hat, um zu wiſſen was ſie zu thun hat? Et quand elle vous mande que le jour de la pacification de Wärela il lui est tombé un grand cor du pied, vous croyez qu'elle ne saura que faire de son pied dégagé si vous ne lui baillez votre avis là-dessus! O, Ihr Erztropfen und elende Schächer, Euer miſérables Geſchwätze ſoll nimmer mehr vor die Ohren unſerer Kaiſerin kommen. A ce refus sévère autre déluge de paroles. Ils m'observent que tout en voulant obtruder, comme disait le divin de Rome, à Votre Majesté, c'est-à-dire aufdringen ce nouvel allié, ils ne se fient pas beaucoup au pélerin. Notre idée, disent-ils, veut être conçue, pondue, couvée, soignée, remplumée, et peut-être notre Impératrice n'y attache-t-elle pas toute l'importance qu'elle mérite. Quand elle se sera emparée du pélerin, ce qui lui sera fort aisé, il faudra qu'elle ne le perde pas de vue; qu'elle le surveille sans cesse, ce qui est fort ennuyeux: car ceux à qui il vient d'échapper, regretteront de ne l'avoir pas mieux conservé. Ils feront des frais pour le regagner tout éreinté qu'il est, parce que dans leurs mauvais dessins, que Dieu confonde! tout est bon. Et lui qui est de la nature des anguilles, et pour la stabilité de système une espèce d'Honoré Mirabeau de l'Assemblée nationale des Gaules, assailli par de nouvelles chimères, par de perfides insinuations, pourrait regretter d'avoir été aux abois au milieu de la campagne et se laisser entraîner dans de nouvelles démarches obliques. C'est par l'intérêt sincère que nous prenons à lui, que nous voulons qu'il soit sous la vigilante tutelle de notre Impératrice, afin de le préserver de nouvelles perfidies que nous ne pourrions lui pardonner ni à la vie ni à la mort. Votre Majesté remarquera du moins que ces bavards de Grimma sont au fond de bonnes gens. Ils ne veulent pas la mort du pécheur [1]), mais qu'il vive et qu'il se repente. En conséquence, disent-ils, il faut le promener dans les espaces imaginaires, lui faire voir des étoiles en plein midi, et rendre aux séducteurs tout nouvel escamotage impossible. Voilà, Madame, le dernier mot des bavards. Ils ont lu dans la gazette qu'il pouvait être question de convoquer une diète pour le printemps prochain. Or, c'est ce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils supposent que le pélerin est fort mal avec sa nation,

[1]) Ils ont même imité la magnanimité de leur Souveraine, en oubliant le passé en faveur de son repentir.

puisqu'il s'est cru réduit à l'extrémité de faire sauter une tête pour effrayer. En se rendant aux états du royaume avec cette tête sur une pique, ses anciens amis, les Anglais, pourraient être tentés d'y faire rouler quelques guinées, et d'éreinté qu'il est, ils pourraient le rendre entièrement paralytique, et ce n'est pas ce qu'il nous faut pour le moment, parce qu'ils voudraient ensuite lui fournir des béquilles.

Ce 1 (12) décembre 1790.

Le reste de mon voyage de Bourbonne à Francfort s'est passé un peu plus paisiblement. J'ai fait une pause à Metz pour voir le marquis de Bouillé, que je n'avais pas revu depuis la révolution et tous les risques qu'il a courus. C'est l'homme selon mon coeur, mais, à moins de quelque combinaison extraordinaire et imprévue, il sera aussi inutile au rétablissement de l'ordre que les autres, parce que la désorganisation de ce malheureux royaume est telle qu'il me paraît impossible de le garantir de sa dissolution. Votre Majesté a parfaitement raison: un homme à la tête de dix-huit mille homme deviendrait en ce moment, avec du caractère et de la résolution de conquérant et suivant la trempe de son caractère, ou le maître et le tyran, ou le sauveur de sa patrie; mais il lui faudrait dix-huit mille hommes sur lesquels il pût compter, et grâce à la profonde scélératesse de ceux qui ont conduit les choses au point où elles sont, tout est, d'un moment à l'autre et toujours à point nommé, en révolte, en insurrection, en défection. Rien ne me représente un image plus fidèle d'une armée turque que l'état actuel de l'armée française, à la différence que ceux qui gouvernent ici font tout au monde pour exciter, encourager, récompenser les coupables et les criminels que le visir fait du moins étrangler ou empaler quand il le peut. Telle est la vicissitude des choses humaines qu'un instant de délire nous a mis de niveau avec les imbéciles et barbares ennemis de mon auguste Souveraine. Pour sauver la France, il faudrait une force étrangère pour noyau, autour de laquelle les forces nationales pussent se rallier, et cette force étrangère n'existe pas; un seul Français aurait aussi pu faire ce miracle vingt fois, cent fois, en un clin d'oeil; mais il ne le veut pas; ce Français est le roi.

En sortant de Metz j'étais pressé de détourner mes yeux du déplorable état de la France, et mes bavards de Grimma, dont il ne dépend pas de moi de me débarrasser, s'étant un peu calmés sur la paix bâclée par les deux barons, ont tourné mes regards vers cette cour dictatoriale et polie qui, grâce aux inspirations du grand ministre qu'elle possède, fait, depuis qu'il

règne, ses affaires avec tant de gloire et de profit pour elle, et celles des autres avec tant de justice et de loyauté. Sur ce chapitre il n'y eut pas beaucoup de train entre nous. Mes bavards soutinrent que la monarchie prussienne n'était pas d'une assiette assez forte pour comporter un mauvais règne; ils ne voulurent pas même accorder au grand Hertzberg plus de cinq ans pour ruiner de fond en comble tout l'édifice que la grande paire de manches avait employé cinquante ans à élever avec tant de soins et de parcimonie. Moi de mon côté je leur confiai que le grand Hertzberg et le grand Necker, quoique ne se ressemblant guère, m'avaient fait prendre les ministres littérateurs en aversion. Si le pédant, à force de morgue, de faux calculs et de dissertations académiques et polémiques, est réservé par la Providence à perdre son pays, l'autre venait de finir son rôle et il pouvait se demander ce qu'était devenue entre ses mains cette France qu'il avait reçue toute entière en 1788. Il s'était flatté, comme un enfant, mais doué d'un orgueil de Lucifer et d'une parfaite ineptie pour diriger une grande machine, qu'il gouvernerait les états-généraux par la puissance de sa parole et de sa plume; il n'aspirait à rien de moins qu'à devenir le ministre de la nation pour ne plus dépendre des caprices de la cour; et la nation ou ceux qui s'en constituèrent les organes se moquèrent de lui et finirent par le bafouer. Il aimait les coups de théâtre, et en produisait de temps à autre à l'Assemblée nationale, ou y envoyait son roi pour en faire qui causaient à la sensible et douce nation un attendrissemment de 24 heures, mais dont elle se moquait le surlendemain. Enfin il abandonne la partie. Les esprits justes, en attaquant sa capacité, rendront justice à son intégrité; en lui refusant les talents et les ressources d'un grand financier politique et surtout d'un homme d'état, ils ne le soupçonneront pas d'avoir rien projeté ni voulu de ce qui est arrivé, mais ils diront que puisque sous son ministère la France était tombée dans un état aussi déplorable, il fallait ou se sauver ou périr avec elle.

Votre Majesté m'a paru désirer de savoir quels sont les sentiments du prince Henri sur la conduite politique de Sa cour. Je ne puis mieux les faire connaître à mon auguste Souveraine qu'en tirant de sa correspondance depuis le commencement de 1790 tout ce qui y a rapport, et je tâcherai de continuer cet extrait jusqu'à ce qu'il plaise au ciel de m'accorder un messager de l'immortelle à qui je puisse confier cette pancarte. Les petites notes sont du souffre-douleur.

J'ai rencontré à Francfort un de ces hommes à qui les Italiens donnent le redoutable nom de seccatore ou de dessécheur. C'est M. Walpole, ministre d'Angleterre à la cour de Munich, que j'avais vu autrefois à Paris.

Il s'occupait prodigieusement des affaires de Votre Majesté Impériale et de Sa situation à l'égard du cabinet britannique. Il m'exhortait toujours à lui faire quelque ouverture et m'insinuait qu'il en saurait faire usage. Je ne manquai jamais de me moquer de lui de ce qu'il me croyait le dépositaire des vues de Votre Majesté et assez fou pour lui faire, sans aucune mission, une ouverture quelconque; mais en revanche je ne manquai jamais non plus de lui confier tout ce que je pensais moi de la conduite politique et du système actuel du cabinet de Londres, et ne lui cachai pas le degré d'estime qu'il m'inspirait. Sur la fin du séjour de Francfort, il changea un peu de langage et me dit que nos affaires avec l'Angleterre étaient irraccommodables. Je ne fis pas grande attention à tout cela, ignorant à quel point le seccatore Walpole, qui n'avait pas été en Angleterre depuis longtemps, pouvait être dans la confidence des ministres ses supérieurs. Ce que je vis clairement dans ses attaques et ce que j'ai constamment remarqué dans tous les entretiens que le hasard m'a procurés avec des ministres britanniques, c'est que le grand grief de l'Angleterre contre la Russie, c'est l'établissement des principes aussi justes et modérés qu'évidents et inattaquables de la neutralité armée; ils n'ont jamais pu ni voulu le digérer. Et moi je leur ai constamment observé que cette doctrine ne pouvait être odieuse qu'aux tyrans de la mer et aux pirates, et que le grand Chatham, au milieu de la guerre la plus glorieuse, se piquait d'en pratiquer les principes envers les neutres, en disant: nous voulons bien être les maîtres, mais non pas les tyrans de la mer. Enfin, s'il est écrit dans le livre des destinées que le grand avocat Hertzberg ne peut terminer sa glorieuse carrière sans se frotter contre nos cosaques, et si l'Angleterre se sent une démangeaison insurmontable de faire dans ce procès cause commune avec le grand avocat, les gens de Grimma disent que je ne puis me dispenser de fixer les regards de leur auguste Souveraine sur l'état où se trouve la Hollande. La puissance stathoudérienne a trop abusé de la victoire pour que la nation oublie et pardonne jamais ces torts. Les Bataves conserveront à jamais le désir de se venger de leurs oppresseurs, d'exterminer, s'ils peuvent y contribuer, les Prussiens et de se soustraire au joug des Anglais. En cas de rupture ces Bataves pourraient tailler aux deux nouveaux aggresseurs de la Russie une besogne à laquelle ceux-ci ne s'attendraient guère, surtout si Votre Majesté leur répondait des deux couronnes du Nord, et si Léopold, qui doit se souvenir de toutes les obligations qu'il a à la maison stathoudérienne pour les services qu'elle lui a rendus dans ses provinces belgiques pendant leur soulèvement, par une juste reconnaissance jugeait à propos de faire attention aux dispositions patriotiques des Hollandais! Il y aurait toujours cette

différence qu'ici on favoriserait une nation libre injustement opprimée par une puissance illégitime, tandis que dans le cas opposé il s'agissait d'exciter des sujets soulevés contre leur souverain légitime. Ce que je sais, c'est que les Bataves sont très attentifs à la conduite de l'Angleterre et de la Prusse envers Votre Majesté, et qu'elle leur présente plus d'un objet de réflexion. Ce que je sais encore, c'est qu'ils fournissent aux emprunts ouverts pour la Russie tous les fonds qu'on leur demande, quoique le baron Sutherland, par des motifs personnels, ait ôté sa correspondance à une maison patriote et ait confié ces négociations d'emprunt à une maison qui est dans les intérêts de la maison stathoudérienne, ce qui dans tout autre temps aurait fermé toutes les bourses patriotiques et par conséquent fait manquer la négociation, parce qu'il n'y a point de possibilité de faire une opération d'argent quelconque quand les bourses patriotiques s'y refusent, et qu'ici, malgré le déplaisir de traiter avec une maison qui a un autre symbole politique que le leur, les patriotes ont cru avoir des motifs trop puissants pour ne pas passer par-dessus ce petit désagrement, en favorisant de leurs ducats la cause qui est celle de la justice, de la gloire et de la dignité que toute puissance qui en a le sentiment respecte chez elle et dans les autres comme le premier besoin de l'existence politique.

Ce 20 (31) décembre.

Quelques jours après son retour, mon bienfaiteur Machkov est arrivé chez moi tout courant, se reprochant d'avoir oublié une commission dont Votre Majesté Impériale l'avait chargé à son départ pour le comte de Romantsov et pour moi. Il s'en était acquitté à Francfort, il l'avait oubliée à Paris. Ce n'était rien moins qu'une prédiction prophétique: c'était de me dire que si la maladie déplorable qui vient de ravager la France pouvait gagner l'Europe, c'est aux Turcs qu'il faudrait en faire compliment, parce que rien ne les empêcherait alors de faire la conquête de l'Europe entière. Je tranquillisai mon pénitent Machkov sur son péché d'omission, qui ne m'avait pas empêché de savoir depuis six mois ce qu'il venait de me dire. En effet, il y en a tout autant que l'immortelle me lança ce trait de lumière dans la tête, et il est du nombre de ses traits que je lâche quelquefois, comme sans dessein, sur les têtes qui m'environnent, pour juger de leur portée et de leur vue ou d'aigle ou de chouette. Suivant qu'un pareil trait saisit, frappe et pénètre, ou bien tombe à terre sans seulement effleurer le crâne, mon porteur de tête est jugé pour moi sans rémission. Dans l'audience que l'Empereur m'accorda pour lui remettre la lettre de félicitation du duc de

Gotha sur son avénement, ce monarque me parla d'abord de la révolution française, comme à un homme qui venait d'en être témoin. Il ne me jugea pas digne de m'en parler avec confiance sous des rapports politiques, et le nom de sa soeur ne fut pas seulement prononcé; mais il s'en tint à des généralités philosophiques, et sur ce que je lui dis, que je craignais le retour de la barbarie, la destruction des arts et des lumières, il me répondit que le retour de la superstition et de l'empire des prêtres lui paraissait prochain et inévitable. Alors je lui dis la prédiction de Votre Majesté. Il me sembla qu'il craignait de me laisser apercevoir l'impression que cette prédiction fit sur lui; peut-être aussi imagina-t-il que je ne l'avais mise en avant que pour donner à la conversation une tournure politique. C'est sur quoi je le rassurai très promptement en m'enfonçant dans les plus profondes conjectures philosophiques et générales. Ce qu'il y a d'indubitable, c'est que les Welches sont toujours Welches, que Voltaire les retrouverait comme il les a laissés, comme ils sont depuis deux mille ans, que par l'usage qu'ils ont fait de la liberté, ils ont prouvé qu'ils y étaient propres comme la vache à danser sur la corde, et qu'à leur extravagance actuelle ne peut succéder que le despotisme le plus rigoureux. Mon bon nonce Caprara, qui est un homme d'esprit, ce qui ne l'a pas empêché de faire de l'eau toute claire auprès de la diète d'élection, parce qu'il a voulu marcher sous l'égide de la Prusse et que le collége électoral n'aimait pas ce bouclier, me disait à l'occasion de la sagesse de l'Assemblée nationale: je n'ai pas peur pour l'autorité de l'église; nous sommes peut-être trop vieux, vous et moi, pour la voir renaître de sa cendre, mais elle renaîtra, vos Jacobins ont rendu ce miracle immanquable; mais convenez aussi qu'ils ont fait perdre un beau procès au genre humain, et que s'ils eussent été capables de conduire cette révolution avec modération et sagesse, ils auraient pu la rendre bien heureuse pour l'humanité entière. Certes, mon bon nonce a raison, la frénésie gauloise a fait en peu de mois l'ouvrage de plusieurs siècles d'une décadence progressive, et il n'y a pas jusqu'à la langue que cette frénésie ne corrompe avec une rapidité alarmante, de sorte que la langue des Racine et des Voltaire aura incessamment un air étranger. Lorsque l'abbé Galiani prophétisait que la langue russe deviendrait celle des cours et la langue française la langue des savants [1]), il ne croyait pas toucher si près à cette révolution. Comme les temps désas-

[1]) Cette langue devenue tout à coup ancienne passera pour avoir cessé d'être écrite et parlée à peu près à la mort de Voltaire: ce n'est sûrement ni dans la rudesse de Camus, ni dans le verbiage civique d'un tas d'avocats et de polissons, ni dans le jargon de Mirabeau que la postérité reconnaîtra le caractère de la langue française.

treux sont des temps à prédictions, je vais aussi faire la mienne. Certes, si le délire de la France n'est pas comprimé et ne cesse promptement, il pourra être plus ou moins fatal au noyau de l'Europe, parce qu'il est impossible que l'air pestilentiel ne ravage et ne détruise en proche. La destruction de la discipline militaire sera un des effets immédiats de cette contagion, de cette insubordination méthodique dont nous sommes ici en pleine jouissance. Dans cet état de choses le barbare et farouche musulman aurait sans doute beau jeu, et la prédiction de l'immortelle serait promptement accomplie, si l'aigle de la Russie n'était pas hors de l'atteinte du délire gaulois. Cet empire et la discipline de ses armées dompteront et anéantiront au besoin les barbares et préserveront de leur irruption ce noyau de l'Europe que d'épaisses ténèbres couvriront. Deux empires se partageront alors tous les avantages de la civilisation, de la puissance du génie, des lettres, des arts, des armes et de l'industrie: la Russie du côté de l'orient, et l'Amérique, devenue libre de nos jours, du côté de l'occident, et nous autres, peuples du noyau, nous serons trop dégradés, trop avilis, pour savoir autrement que par une vague et stupide tradition ce que nous avons été. C'est sans doute sans exemple dans les fastes du monde qu'une grande nation ait pu subitement disparaître et être effacée de la liste des nations par son propre fait, sans être accablée par aucun malheur que celui de sa propre démence. Quel sort déplorable d'être démolie par un tas de gueux et polissons, qui ne peuvent pas même se faire estimer par un grand caractère de scélératesse, qui trahissent dans la discussion des plus simples questions leur futilité, leur ignorance, leur ineptie, qui joignent à leur frénésie un caractère de puérilité et d'enfance qui les couvre de mépris, se croyant constamment la lumière des nations et l'exemple de l'univers, lorsqu'ils en sont devenus la risée. Je n'excepte aucun des trois ordres, et les vaincus et les vainqueurs sont également l'opprobre de l'humanité. Il ne s'est pas trouvé un seul grand caractère lorsque la nécessité en demandait impérieusement, voilà la plus grande marque de réprobation qu'une nation puisse étaler. Votre Majesté me demande ce que sont devenus ces chevaliers français d'une fierté et d'une valeur autrefois si brillantes. Avant la révolution ils s'étaient fait jokeys et palefreniers anglais; ils est tout simple qu'après la révolution ils aient estimé à honneur et gloire d'être confondus avec la canaille. Ce sont eux qui, dans une séance du soir où ils étaient à moitié ivres, mirent sur le tapis la destruction de la noblesse, après avoir admis à leur audience un tas de gueux habillés à l'opéra et payés sous le titre d'ambassadeurs des nations; les avocats ne firent alors que mettre le sceau à leur propre folie. Que penser d'une nation qui ignore ou semble ignorer

que la noblesse est aussi inhérente à la nature d'une société et aux progrès de la civilisation que le développement de la beauté, des forces, et le progrès de la croissance à la nature des corps? C'est sans doute une faute impardonnable à M. Necker, non pas d'avoir accordé le doublement du tiers, qui était conforme à la justice et qu'il n'avait pas la puissance d'empêcher, mais d'avoir cru qu'un ministre pouvait convoquer les états-généraux, sans s'inquiéter de leur composition, sans avoir l'oeil sur les élections, sans y influer essentiellement, sans s'y ménager un parti prépondérant. Le roi était bien le maître alors d'exiger deux qualités préliminaires et essentielles dans un député, celle d'avoir 40 ans, parce qu'il est d'expérience que la raison et la réflexion mûrissent plus tard en France qu'ailleurs, et celle d'être propriétaire. Ces deux conditions nécessaires auraient suffi pour préserver la monarchie de tomber entre les mains des avocats et des gilets et écarter leurs sinistres et stupides travaux. Mais lorsque je consulte l'histoire et que je me rapelle ce que cette nation a été toutes les fois qu'elle a voulu se gouverner elle-même et diriger ses affaires, je suis tenté de croire que le malheur de la France était arrêté du jour où le mot d'états-généraux fut prononcé. La nation imprudemment mise en jeu a manifesté le même caractère d'emportement, de férocité, d'extravagance et de puérilité dont elle a fait profession dans toutes les occasions depuis qu'elle existe. C'est nous qui étions dans notre tort, en nous croyant à mille ans de ces symptômes de barbarie et de licence, parce qu'un siècle de prospérité, de frivolité et de corruption nationales ayant succédé a un règne brillant de succès, d'orgueil et de gloire, a masqué et dérobé à nos regards les pointes toujours subsistantes du caratère primitif. Lorsque dans l'hiver qui précéda l'ouverture des états-généraux je découvris, au milieu de l'effervescence des esprits, les premiers germes de la démence publique, j'osais bien leur dire quelquefois en badinant: «Je vois bien que vous voulez inventer la liberté et dépasser, à force de génie, les Anglais et les Américains, mais tâchez de ne pas rester derrière les Polonais». Je croyais alors faire une mauvaise plaisanterie; je ne fais pas aujourd'hui l'injure à une diète de Pologne de l'assimiler à l'Assemblée nationale des Welches. Il ne me vint pas dans la tête alors que lorsque la France pleine de force, de sève et de vigueur pouvait être portée par des règlements doux et modérés au plus haut degré de prospérité en moins de temps qu'il n'en a fallu pour démolir la Bastille, la furia francese, la fougue des avocats et des polissons entreprendrait de démolir la monarchie avec la même rapidité, et ne trouverait aucun obstacle dans cette criminelle entreprise.

Ce 10 (21) janvier 1791.

Dans l'incertitude si je suis encore assez cher à la divine Providence pour m'accorder dans le cours de cette année soit un messager de l'immortelle, soit une occasion quelconque, mais sûre pour lui faire parvenir cette pancarte, j'ai pris ces jours passés mon refuge sous la treille de mon protecteur le divin Bacchus, pour satisfaire au besoin impérieux de mon coeur de déposer une pancarte en miniature sur l'autel de l'immortelle, afin qu'au milieu de ses travaux, de ses succès, de sa gloire, de ses traductions de Plutarque, de ses Hand- und Kunstgriffe, elle n'oublie pas une circonstance très essentielle dans les fastes de son règne, c'est que son souffre-douleur ne respire que par elle et pour elle. Puisse le ciel propice accorder un heureux voyage à mon Pankärtchen en miniature et la grâce de trouver à son arrivée mon protecteur Bacchus assez à jeun pour pouvoir le porter d'un pas assuré aux pieds de l'immortelle. Quand le souffre-douleur dit qu'il respire, je conviens qu'il a un peu de fatuité dans son dire: car il est plus tourmenté d'étouffements que jamais, et la plupart du temps hors d'état de tenir la plume, ou lorsqu'il a écrit trois lignes, obligé de se lever et de faire faire à ses poumons plusieurs évolutions pour happer et se procurer l'air nécessaire; parmi ces manoeuvres, si sur six il en réussit une, il faut s'en féliciter. Il est aisé de comprendre le supplice d'un homme dont le devoir et l'état demandent l'usage continuel de la plume, qui n'a d'autre bonheur au monde que d'écrire jour et nuit à Votre Majesté, et qui, réduit déjà par l'impossibilité physique à la nécessité de ne pas coucher sur le papier la centième partie de ce qu'il lui écrit jour et nuit dans sa tête, se trouverait encore menacé de l'impossibilité de satisfaire ce besoin irrésistible de son coeur dans les moments destinés au griffonnage. Déjà de toutes mes pensées, de toutes mes déclarations Votre Majesté ne connaît ni la centième, ni la meilleure, ni la plus belle part, attendu que tout cela sort de la tête et du coeur sous des formes trop profondes et trop fugitives pour pouvoir être traduit en paroles et fixé sur le papier; aussi ne suis-je jamais content de rien de ce que je dis à Votre Majesté; si cependant un arrêt du sort et de l'implacable nécessité me forçait à un silence total et me réduisait à la végétation, j'aimerais mieux renoncer à la vie. Est-ce pour me châtier de mon intempérance passée dont Votre Majesté a pardonné les excès avec tant de bonté et de générosité, mais dont le Juge Suprême ne veut pas négliger la punition; est-ce pour préserver désormais Son ointe de toute nouvelle atteinte de ma part, que ce Juge Suprême a résolu de me paralyser les poumons quand je me mets en devoir de griffonner? Les médecins, qui ne sont

pas dans le secret de Celui qui est là haut, suivant leur coutume ne connaissent rien à cet état; aussi je compte bien mourir de mon mal et non de leurs remèdes.

Madame de Bueil, qui avait quitté Paris en 1789 six semaines avant la révolution, s'est enfin hasardée à rentrer dans le gouffre la surveille du jour de l'an selon la computation du calendrier Julien, auquel l'Impératrice des Grecs ne tient que par un penchant inexcusable pour son cousin germain Jules César. Elle prétend qu'elle a le droit d'écrire au moins une fois par an à son auguste bienfaitrice, et certes si la reconnaissance donne de grands droits, personne n'en a, après moi, d'aussi grands qu'elle, sur Votre Majesté. Sa première apparition à la cour a été cruelle et lui a porté un nouveau coup de massue. Tout le monde, en la voyant, s'est souvenu avec émotion et attendrissement de son frère massacré et mangé à Caen en auguste 1789. La reine s'est approchée d'elle, et les larmes roulant dans les yeux, elle lui a dit: «Madame de Bueil, je voudrais vous parler, mais cela m'est impossible»; les sanglots ont pensé suffoquer la petite protégée de Votre Majesté; toute la famille royale lui a témoigné un intérêt extrême. La reine se détournant d'elle et dévorant ses larmes, a continué à tenir sa cour avec l'apparence de la plus grande tranquillité; c'est un art qu'elle a eu tout le temps d'apprendre à l'école du malheur; je ne la vois jamais sans être frappé de sa contenance au milieu des dangers dont elle est environnée. Ce serait sans doute une grande consolation pour elle que de savoir l'intérêt qu'elle inspire à Votre Majesté Impériale, et si je vois jamais jour à pouvoir lui procurer cette consolation sans compromettre son repos, cela sera certainement fait avec zèle; mais en attendant la prudence ordonne trop impérieusement de ne rien risquer qui puisse fournir le plus léger prétexte pour aggraver les dangers de cette princesse infortunée.

A Paris, ce 20 (31) janvier 1791.

Je crains que Votre Majesté ne soit aucunement frappée du mérite de la conduite des gens de Grimma depuis plusieurs jours que la prise d'Ismaïl est pour eux un fait avéré, sans tenir pour cela moins du miracle. Mes Russes ont résolu de me faire croire aux trompettes de Jéricho, rien n'est plus certain. Lorsque la trompette de la renommée a porté cette nouvelle dans le taudis du souffre-douleur, tous les fondements de ce taudis en ont été ébranlés. Eh bien, au milieu de cette terrible commotion, qu'y

a-t-il à dire sur la contenance des gens de Grimma? Ont-ils, suivant leur coutume, obsédé, fatigué leur Souveraine de leurs cris de joie? Non. Ont-ils seulement songé à avoir recours à leur protecteur Bacchus, pour faire arriver leurs acclamations au pied du trône à peu près en même temps que les trophées d'Ismaïl? Non. Ils se sont tenus cois, en ensévelissant leurs cris de joie dans cette pancarte, dont le départ n'est encore aucunement prévu. Votre Majesté les soupçonnera peut-être d'avoir eu dans les premiers jours de cette nouvelle la tête assez perdue pour être hors d'état de coudre ensemble trois lignes qui eussent le sens commun. Cela peut être, quoiqu'il ne soit pas bien de tout deviner. Mais la paix de Wärela les avait mis à peu près dans le même état. Cela les a-t-il empêchés d'étourdir leur Souveraine? Le babillage et les cris de Bourbonne n'ont-ils pas percé et retenti à Tsarsko-Sélo et pénétré jusques dans cet appartement dont mon saint m'a fait une description trop détaillée pour mon repos, puisqu'à chaque objet il me disait: c'est l'Impératrice qui me l'a montré elle-même, et moi j'ajoutais tout bas: Malheureux, tu ne connais rien de tout cela! Il faut donc, Madame, être juste et leur savoir gré de leur silence discret, d'autant plus que le diable n'y perd rien, et que cette prise d'Ismaïl, le plus incroyable fait de guerre qui existe, les a renversés à ne s'en pas relever peut-être de six mois. Ils s'en relèvront promptement si Votre Majesté fait succéder la paix à cet événement sans exemple. La paix: bien entendu qu'ils ne la veulent pas à tout prix, mais telle qu'il faut qu'elle soit, sans intervention aucunière de ganache étrangère à la matière, comme le fruit der Mutter der unerſchrockenen Standhaftigkeit.

Aber, um tauſend Gotteswillen, que dirai-je à Votre Majesté du prince de Ligne? Iſt denn das erlaubt? Il laisse échapper une lettre de notre Impératrice, il permet qu'on la lui vole, et de Vienne elle passe à Paris et paraît imprimée dans une feuille archidémocratique, de sorte qu'en moins d'une de ses colonnes, le gazetier passe en revue la moitié de l'Asie et de l'Europe convenablement drapée au grand magasin de l'Ermitage de Pétersbourg. Nun, dit le souffre-douleur, das hätte ich armer Teufel mir ſollen einfallen laſſen und nur drey Zeilen von meiner Kaiſerin entwiſchen laſſen, ſo daß ſie wären die Beute eines Zeitungsſchmierers geworden, ſo wäre ich armer Schurk ohne Barmherzigkeit die Beute des Verderbens geworden, hätte mir die kaiſerliche Ungnade auf den Hals gezogen und wäre mit Leib und Seele verloren gegangen. Il y a donc deux poids dans la balance de notre Impératrice: l'un pour le prince de Ligne, à qui tout est permis, pardonné d'avance; l'autre pour le souffre-douleur, à qui l'on ne passe rien? Il n'y a rien à dire, pourvu que cela soit connu et affiché pour l'instruction du monde littéraire.

On n'est pas souffre-douleur dans ce monde pour ses aises ou ses priviléges à avoir. Moi, il faut que j'enfouisse impitoyablement tous mes trésors, le prince de Ligne les étale et n'aura pas seulement une semonce pour cette petite gentillesse, und ſo wird die Gerechtigkeit in dieſer Welt gehandhabt. Au milieu de mes justes plaintes, je n'ai consulté que mon zèle et ma fidélité pour servir mon auguste Souveraine dans cette circonstance délicate. J'ai soutenu que cette lettre n'était pas d'elle, mais l'ouvrage d'un faussaire, d'un pseudonyme, qui a osé prendre un nom auguste pour faire plus commodément sous son égide sa revue politico-comico-pittoresquico-philosophique. J'ai voulu mieux faire: car que ne fait pas un souffre-douleur quand il s'agit de sauver sa Souveraine? J'ai voulu établir sur des arguments inattaquables, invincibles, que cette lettre ne pouvait pas être d'elle. J'ai dit aux plus obstinés: Vous trouvez cette lettre spirituelle? Eh bien, l'Impératrice n'a point d'esprit; elle en convient toute la journée, et tout le monde le sait de reste. Vous trouvez cette lettre gaie? Eh bien, l'Impératrice est triste comme un bonnet de nuit, et n'a jamais ri de sa vie. A ces arguments sans réplique, on m'a dit: Montrez-nous de ses lettres: nous les comparerons avec celle qui s'adresse au prince de Ligne, et nous jugerons par nous-mêmes. Que faire dans ce défilé? J'ai beau dire que je ne pouvais me jouer, comme ce prince à qui tout réussit, d'une ukase qui me le défend impérieusement, impitoyablement; on me rit au nez et mes arguments se dissipent comme la poussière agitée par le vent; et tandis que je pérore, un de mes antogonistes tire de sa poche une lettre de Vienne où on lui dit qu'on a vu l'original de cette lettre, qu'on l'a tenu dans ses mains, et qu'on y a vu beaucoup d'autres traits de la même force et qu'on a retranchés de la lettre imprimée, de sorte que je ne désespère pas d'en voir paraître au premier jour une édition revue et augmentée d'après le manuscrit original. Je demande à Votre Majesté en sa conscience ce que pouvait faire de mieux un souffre-douleur dans cette conjoncture imprévue et épineuse; et s'il n'a pas réussi, s'il a fait de l'eau toute claire, à qui en est la faute? Est-ce à celle qui écrit des lettres dans ce goût-la, ou à celui qui les reçoit et ne les montre qu'à cinq ou six amis qui ont bonne mémoire et les retiennent par coeur, ou enfin à celui qui s'égosille en pure perte pour en prouver et établir la supposition en dépit de sa propre conscience?

Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'ayant travaillé sans relâche depuis quinze mois à faire une petite réputation à Votre Majesté Impériale dans cette auguste Assemblée de douze cents rois, ses frères, mon aide de camp, le baron Felix de Wimpfen, douze-centième partie de la royauté lui-même, leur ayant dit sans cesse et dans leurs comités et même en plein

sénat de la tribune, que Votre Majesté depuis vingt-cinq ans n'avait été appliquée qu'a deviner leur secret afin de verser sur l'empire de l'Aigle tous les dons, tous les bonheurs, tous les bienfaits qu'ils verseront bien plus immanquablement aujourd'hui ou demain ou après sur l'empire des Lys, puisqu'ils sont douze cents paires de mains contre une seule paire, j'ai trouvé tous mes travaux et ceux de mon aide de camp détruits en un clin d'oeil par l'apparition de cette lettre fatale. Que deviendra à présent la pension de Madame de Bueil? Moi je leur prêchais que l'Impératrice ne manquerait pas de s'enorgueillir si, en considération de sa protection, l'auguste Assemblée daignait séparer cette pension par un décret solennel de toutes les autres pensions de la défunte munificence royale et prononcer sa conservation; mon aide de camp Wimpfen qui connaît ses confrères et la nourriture qu'il leur faut, ayant lui-même une ancienne passion pour cette Impératrice, leur persuadait que l'objet de sa passion serait au comble de ses voeux si elle pouvait siéger au milieu de la plus auguste Assemblée de l'univers et occuper pendant une quinzaine le fauteuil de président. Madame de Bueil allait recueillir les fruits de notre apostolat. L'indomptable, l'inattendrissable Camus quittait son regard farouche, m'écoutait avec complaisance, prévoyait avec satisfaction la reconnaissance que sa clémence pour Madame de Bueil inspirerait à sa protectrice, et oubliant un moment son rang auguste, me reconduisait jusqu'à son escalier, en m'accordant le titre d'excellence malgré les décrets de l'Assemblée, le tout pour me marquer les égards que les rois savent toujours réserver pour les représentants de ceux ou celles qui sont du même bois qu'eux. On voulait même, pour hâter cette décision, associer dans cette opération le comité diplomatique au comité des pensions et la faire prononcer par les deux, afin de la rendre plus imposante. Tout est fini, tout est détruit, la fatale lettre a tout anéanti. Comment oserais-je me présenter maintenant devant ce redoutable Camus à l'oeil farouche? D'un seul tour de ses bras nerveux il me ferait administer cinquante coups de bâton, d'un seul de ses regards foudroyants il m'enterrerait aux entrailles de la terre. Car il ne faut pas croire que nos douze cents rois soient si aisés à vivre, ils ont assez prouvé le contraire. Ils s'enivrent tous les jours, que Dieu leur donne pour le bonheur de la France, à l'encens qu'ils se font administrer à l'ouverture de chaque séance, et afin de n'en pas manquer, ils font composer dans leur propre pharmacie les compliments et les adresses de remercîment qu'ils se font débiter et qu'ils avalent à longs traits. Par la même raison ils sont chatouilleux à l'excès et sensibles à la plus petite égratignure. Voilà donc la pension de Madame de Bueil flambée. Il est vrai que M. de Montmorin m'a tranquil-

lisé à ce sujet, il y a plus de six mois, comme Votre Majesté le verra par sa lettre du mois d'auguste 1790, que je joins ici. Il a été empressé de donner cette marque de zèle et de respect pour la protection de Votre Majesté; mais qui peut calculer toutes les chances qui peuvent s'élever contre cette lettre? L'Assemblée certes ne songe pas à se séparer, encore moins à prononcer sur les pensions une loi générale et équitable. Elle est prompte à détruire, sa cognée est toujours prête quand il s'agit de renverser, mais nos augustes sont un peu moins pressés lorsqu'il s'agit de rétablir. Il se passera des années avant qu'on prononce sur le sort des pensionnaires, qui d'ailleurs sera sans difficulté le plus fâcheux possible, et pendant ce temps non senlement on reste en souffrance, mais la chance la plus sinistre et la moins incertaine, c'est que M. de Montmorin peut être renvoyé d'un moment à l'autre et par conséquent sa bonne volonté anéantie. Mais dans la dissolution universelle qui peut se permettre une plainte individuelle?

№ 22.

Allerunterthänigster Vortrag oder viel mehr Brief-Vorrath von verschiedenen Gattungen und Farben.

Préface.

Si l'on veut regarder ces épîtres comme une suite nécessaire au Nouveau Testament, il faut les intituler Epistolae diversorum Apostolorum ad Grimmenses, ou en langue vulgaire, Epîtres de divers apôtres aux gens de Grimma; et si le sieur Constantin veut prendre la peine de les traduire en grec, il leur donnera l'air sacré qui leur convient. Rien n'empêche non plus que Votre Majesté les traduise en russe, mais sans préjudice de la traduction de Plutarque, qui a été mise sur le métier au bruit du canon ennemi et du tonnerre de l'immortelle qui l'a fait taire. Beaucoup de gens, car on ne peut pas cacher les faits et gestes de Votre Majesté à tout le monde, ont trouvé cette traduction entreprise sous des auspices trop remarquables pour être abandonnée. Si le general Zoubov veut quitter son Polybe, pour se faire une réputation en aidant à la traduction de mes Epîtres, il en est bien le maître. Mon Saint-Nicolas n'a cessé de me parler de ce général Zoubov qu'il aime avec passion, et comme j'étais logé chez lui, il a bien fallu l'écouter pour ne pas manquer aux devoirs de l'hospitalité: car notre Impératrice veut que tout ce qui porte sa livrée soit poli, au point que le grand Hertzberg n'attend que la permission de la porter pour faire ses premières armes en politesse: sans la crainte d'être gauche dans un art tout

nouveau pour lui, il aurait déjà risqué quelques essais. Pour revenir aux épîtres qui se trouveront à la suite de ce Vortrag, il suffit que les trois premières soient sorties de la plume du divin par excellence, pour qu'on ne s'avise pas de leur contester leur inspiration; et si Votre Majesté osait attaquer leur caractère sacré, j'en appellerais immédiatement au futur concile oecuménique.

Fin de la Préface.

Introït ou commencement du Vortrag et Allocution.

Madame. Je suppose qu'il sera assez doux à Votre Majesté Impériale de se trouver inopinément en jouissance de trois épîtres de son divin, dont la dureté des temps l'a privée jusqu'à présent. Si le besoin de les commenter se fait, comme ci-devant, sentir à Votre Majesté, il faudra bien que je le souffre. Des censeurs rigides diront peut-être que j'aurais bien dû retrancher de ces épîtres divines mon éloge, qui les allonge sans nécessité; mais, sans compter qu'il est toujours doux, comme a dit cet autre, d'être loué *a viro laudato*, par quelqu'un qui est lui-même digne de louange, de quel front me serais-je donc permis de mutiler le texte sacré? il n'y a qu'un hérétique qui puisse porter une main sacrilége à l'intégrité du canon. Par la même raison, je n'ai pas pu toucher à l'article de la vive et trop juste reconnaissance du divin pour les bienfaits de l'immortelle auxquels il doit, comme tant d'autres, le soutien et la consolation de sa vieillesse. Je crois que la reconnaissance ne peut jamais être à charge, même aux immortels, qui n'en ont que faire. L'article de madame le Brun a été provoqué de ma part. C'est une aimable femme, qui n'a pas un talent commun. La nuit du 5 au 6 octobre 1789, qui imprimera un opprobre éternel et égal à celui de la Saint-Barthélemi, à la nation française, lui fit une impression d'horreur si grande qu'elle se sauva de Paris subitement dans cette affreuse nuit, se mit avec sa palette et ses pinceaux dans une voiture publique et se rendit à Rome. J'étais curieux de savoir ce qu'on pensait de son talent à Rome. Quant au Saint-Michel, l'Archange de Térésina Mengs d'après le Guide, par où j'aurais dû commencer mon commentaire, il ne m'en reste rien à mentionner après tout ce que notre divin a dit dans ses trois lettres, si ce n'est qu'il est arrivé, à un verre cassé près, en parfaite santé de Rome à Paris, et que je me flatte que son voyage de Paris à Pétersbourg ne sera pas moins heureux, vu qu'en le confiant au fameux médecin Olaüs ou Ollaïas, que j'attends de retour de Madrid pour le charger aussi de toutes les pancartes possibles, je suis bien sûr qu'il lui fera voir en très peu de temps

bien du pays. Si Votre Majesté est aussi contente de cet archange que son souffre-douleur, le divin sera au comble de ses voeux. Il plaira aussi à Votre Majesté de remarquer que M. le comte Factotum, ayant eu depuis quelque temps quelques petites affaires sur les bras et n'ayant pas trouvé le moment de régler et solder les comptes du seigneur Santini, celui-ci s'est trouvé hors d'état de faire de nouvelles avances; qu'en conséquence le divin, ayant trouvé dans un accès d'enthousiasme ce tableau allégorique, et pour en faire jouir d'autant plus promptement notre auguste Souveraine, l'a payé à Térésina de ses propres épargnes résultantes des bienfaits de l'immortelle, afin de pouvoir le faire expédier tout de suite. Or le souffre-douleur, qui a aussi ses accès d'enthousiasme, a mandé sur le champ au divin que cette auguste Souveraine ayant entre autres caprices le tic de ne pouvoir souffrir qu'on lui prête de l'argent et fasse des avances, il fallait se conformer à cette humeur massacrante; qu'en conséquence et pour le préserver de toute incartade impériale, je le priais de tirer sur moi une lettre de change pour ses 80 sequins avancés par lui de ces épargnes, afin que je les rembourse des deniers de la caisse impériale confiée à mes soins, et que le tableau prophétique pour nos ennemis se trouve payé lorsqu'il sera arrivé à sa glorieuse destination. J'espère que Votre Majesté approuvera cette détermination de son souffre-douleur, et lui passera dans ses comptes cet article, qui n'aurait aucun inconvénient si le change sur Paris n'était pas devenu d'un désavantage prodigieux depuis la sublime régénération qui a élevé ce royaume au faîte de la gloire et de la prospérité. Les Français ont sans doute raison de ne pas trouver trop cher ce qu'il en coûte pour jouir de tant de biens si inconnus et si incalculables; mais nous autres non régénérés, qui ne prétendons à aucune part de leur gâteau, nous devrions, suivant le droit de l'homme, être exemptés aussi du tort que nous fait le change, que la façon qu'il leur en coûte pour la cuisson de ce gâteau a si incroyablement dérangé.

Il a été avancé plus haut que la reconnaissance n'est jamais à charge aux immortels, d'autant qu'il est d'expérience que les réconnaissants ne sont jamais assez nombreux pour faire foule et embarras autour des bienfaiteurs. En conséquence de cette observation, je fais entrer sans scrupule dans le canon de mes épîtres inspirées, celles que je reçois de temps en temps du fidèle Wagnière. Si on lui conteste d'être un grand Grec, on ne pourra pas nier qu'il ne soit un bon Israélite. Le baron de Sutherland ne m'a pas encore fait la remise de sa pension; mais Votre Majesté trouvera dans les lettres du bon Israélite la raison pourquoi je lui ai demandé une lettre payable en Hollande et non à Paris. Si j'avais payé à Wagnière ses 1500

livres à Paris, il en résultait, vu le beau taux du change, une perte de onze pour cent soit pour lui, soit pour la caisse impériale de Paris. Pour prévenir cet inconvénient, comme j'avais quelque peu d'argent à Francfort, j'ai autorisé Wagnière de tirer sur Francfort au lieu de Paris, et de cette manière il n'y a eu du dommage pour personne, si M. Sutherland me rembourse en Hollande, d'où je pourrai remplacer à Francfort sans perte ce que j'en ai tiré, au lieu que de Paris cela ne me serait pas également possible. Dès que le baron de Sutherland m'aura fait cette remise, je lui ferai passer le reçu du fidèle Wagnière pour sa décharge envers le cabinet impérial.

Je ne doute pas un instant que Votre Majesté, après avoir reçu mon humble requête dans ma dernière missive par le canal de Bacchus, n'ait daigné accorder une prolongation de congé jusqu'en automne à son président de Réval, Kotzebue, et ne lui ait fait annoncer cette faveur si indispensable au rétablissement de sa santé, par la régence du dit lieu mémorable dans les fastes de l'année dernière, et dont le souvenir a rendu mon protégé Tchitchagov si honteux en présence de son auguste Souveraine. S'il se doutait du haut degré de faveur dont il jouit, ainsi que son bras droit Kruse et son bras gauche Powalichine, auprès du souffre-douleur, il ne se fourrerait pas derrière la porte quand sa Souveraine et la mienne paraît. Quant à M. de Kotzebue, je ne l'ai vu qu'environ une heure, mais j'ai déjà confié à Votre Majesté qu'il a fait ma conquête. Dieu sait combien je l'ai questionné sur cette fameuse journée de Réval dont les premiers bruits si contraires à la vérité m'ont accablé au point que j'ai pensé en etouffer sur la place, et dont les nouvelles postérieures m'apprenant le fait, m'ont causé une dilatation tout aussi redoutable que la contraction, de sorte qu'en deux fois vingt-quatre heures la même nouvelle a pensé me tuer deux fois par deux coups entièrement opposés; voilà au fond toute l'obligation que j'ai à la journée de Réval. Le président m'a écrit depuis son départ une épître de Mayence, dont l'original se trouve dans ce recueil d'épîtres sacrées. Quoiqu'elle ne soit pas courte, je ne peux pas dire qu'elle m'ait paru longue. J'espère qu'elle ne le paraîtra pas non plus à mon auguste Souveraine, car je ne cache pas que le voeu de mon coeur est qu'elle la lise d'un bout à l'autre. Je crois qu'un homme de cette trempe est digne de la servir efficacement, quel que soit le poste qu'elle lui assigne, et comme il paraît par sa lettre que son ambition est aussi grande ou aussi petite que Votre Majesté le voudra, je me fie avec toute la confiance possible à la décision souveraine qui saura bien lui trouver et fixer sa place.

On ne peut se cacher que l'Impératrice de toutes les Russies et de tous

les coeurs ne soit prodigieusement à la mode depuis six mois et que ses actions n'aient prodigieusement et incroyablement haussé dans cet intervalle. Non pas, à la vérité, au club des Jacobins ou des enragés, où l'on se doute d'abord confusément qu'elle n'a pas pour la régéneration gauloise tout le respect qu'elle mérite, et où la lettre qu'elle s'est permise d'écrire au prince de Ligne et que celui-ci s'est permis de laisser imprimer, a laissé de fâcheuses impressions. Ce club reçoit d'ailleurs ses impulsions par les fripons qui ont vendu les intérêts de leur patrie à l'étranger et font les patriotes, et par des émissaires anglais et prussiens qui ont pris à tâche de travailler ce malheureux pays en-dessous: or ces derniers ont pour système de calomnier auprès de l'auguste Assemblée nationale indirectement les desseins de l'Impératrice et directement ceux de la maison d'Autriche, et le club, pourvu que les émissaires lui montrent une grande admiration pour ses travaux, est assez inepte, assez ignare, assez étranger aux affaires, assez imbécile pour qu'on lui persuade qu'il fait nuit en plein midi. Mais depuis qu'on a vu l'Impératrice bâcler d'abord cette paix de Wărela, et puis, après la convention de Reichenbach, montrer le même calme qu'avant, recevoir les propositions dictatoriales avec une dignité tranquille et fière, les repousser avec une politesse parfaite, et tandis qu'on la croyait réduite à recevoir la loi, remporter sur ses ennemis victoire sur victoire, et par ses armes sur les bords du Danube, et par l'ascendant de son génie dans le cabinet, tout ce qui n'est pas club des Jacobins a été saisi d'une telle admiration, d'un tel enthousiasme, que partout où l'on va, dès qu'on peut se tirer du spectacle désolant qu'on a continuellement sous les yeux, on n'entend qu'un cri, qu'un choeur universel: *Non, il n'y a plus qu'un seul souverain en Europe. Quel génie! quel caractère! quel grand homme que cette femme!* Au milieu de ce tintamarre, on s'attend à me voir me rengorger d'avoir pu voir de près cette Souveraine unique et d'être un objet de bienveillance pour elle, et moi qui n'ai pas eu besoin du suffrage des badauds pour savoir six mois après son avénement au trône ce qu'il en fallait penser, je déclare que je n'estime pas ceux à qui il a fallu crever les yeux pour qu'ils aperçoivent enfin ce qui est grand et digne d'admiration; que je ne fais cas que de ceux qui savent deviner un grand caractère d'avance et qui n'attendent pas qu'il ait étalé sa marchandise et attaché à son char amis et ennemis, pour l'encenser et lui ériger l'autel qu'il mérite. De ce très petit nombre est mon comte de Schomberg, ancien lieutenant-général en France où il a servi avec distinction plus de 40 ans et aura dans la démolition universelle pour récompense la perte de son régiment et de son traitement. C'est le frère aîné de celui qui était premier ambassadeur de Saxe

à Francfort et pour qui j'ai osé indiscrètement et témérairement solliciter le cordon bleu; c'est le plus ancien ami que j'aie au monde, puisque notre amitié date de l'âge de dix ans. Ce que tout le monde dit aujourd'hui de l'Impératrice, il l'a dit il y a vingt ans, lorsque personne ne le disait; voilà où est le mérite. N'ayant pas de plus douce jouissance que celle d'admirer, il ne l'a cependant jamais étendue au-delà de trois personnages de son siècle, l'Impératrice, la grande paire de manches Frédéric et Voltaire; c'est sur ces trois autels que son encens a constamment et exclusivement brûlé. C'est un tel dévot qui a le droit de s'enflammer et dont j'estime les accès d'enthousiasme, lorsque les grandes occasions développent et exposent en spectacle toute la grandeur de l'objet de son culte. Voilà, Madame, pourquoi je ne puis me dispenser de placer quelques-unes de ses épîtres dans ce recueil sacré d'épîtres inspirées que Votre Majesté ne peut se dispenser d'étudier pour sa propre édification. Fuyant les malheurs de la France, il est allé, il y a plus de dix-huit mois, se réfugier en Suisse à côté du maréchal de Castries, et c'est de Lausanne qu'il m'adresse ses hymnes à la gloire de son héroïne. Votre Majesté verra que dans un accès de son enthousiasme il pousse le délire jusqu'à lui demander effrontément son portrait. C'est ménager une nouvelle occasion à M. Jarkoï pour exercer son talent, si l'Impératrice daigne exaucer cette fervente et hardie prière: car il est bien démontré que le souffre-douleur n'a rien de trop et qu'il ne peut pas céder un des siens pour satisfaire son ami. J'ai d'ailleurs feuilleté et consulté les casuistes les plus célèbres et les plus accrédités sur ce cas tout particulier; ils décident tous unanimement qu'on ne peut refuser à un fidèle dont la haute dévotion est si notoire, l'image sacrée devant laquelle son encens brûle depuis tant d'années sans discontinuer, et qu'il a un droit acquis de la voir toujours exposée sur l'autel de son oratoire.

Je finis et je clos le canon de mon nouveau nouveau testament non pas par un apocalypse, mais par une épître fort courte et fort claire de mon Saint-Nicolas de Francfort écrite de Carlsruhe pour l'édification des gens de Grimma. Elle doit être comprise dans ce récueil d'épîtres inspirées, par la raison déjà ci-dessus alléguée que le culte et la reconnaissance des vrais dévots ne sauraient être à charge aux immortels, et que les effusions d'un coeur qui ne se croit pas en leur présence, ne peuvent leur être que d'autant moins suspectes qu'on ne songe pas à les invoquer.

Non, je ne clos pas mon nouveau testament: car il est écrit dans le vieux testament là-haut, que je n'aurai jamais fini ni ne pourrai jamais finir lorsque je suis en présence du génie de mon auguste Souveraine. Ne voilà-t-il pas une épître de la duchesse de Saxe-Gotha qui me tombe des

nues et que je ne puis me dispenser de comprendre dans mon canon! Je dois la croire aussi inspirée que les autres; si Votre Majesté la relègue parmi les apocryphes, je me réserve toujours le droit d'appeler au futur concile.

La dépêche de l'année dernière du comte de Riaucour, second ambassadeur de Saxe à la diète de Francfort, envoyée à sa cour pour lui faire connaître quelques apôtres de la régénération française qui sentent de la vocation pour le martyre, n'est pas peut être inconnue de Votre Majesté Impériale. Je la joins ici à tout hasard, sans lui accorder les honneurs de l'inspiration, afin que si quelque apôtre y désigné ou tout autre prédicateur d'insurrections jugeait la Russie digne d'être travaillée dans le sens de ces principes, il puisse immédiatement parvenir aux honneurs de l'élévation qu'il mérite et ne soit pas obligé de mendier longtemps la récompense qui lui est due. Je ne crois pas tous les apôtres désignés ici, en mission; mais en revanche je crois le nombre des missionnaires moins connus et plus obscurs infiniment plus grand et digne de toute l'attention d'un gouvernement vigilant. Je crois M. de Riaucour absolument dans l'erreur sur ce qu'il dit de Gotha et de Weimar. Les marchands de venin ne sont pas assez bêtes pour s'établir dans de petites villes où ils seraient reconnus et démasqués dans la minute; il leur faut de grands théâtres pour leur métier. Au reste, je ne connais pas assez Weimar pour décider s'il n'y en a pas du tout; mais je suis bien sûr qu'il règne un excellent esprit à Gotha parmi ceux qui écrivent pour l'instruction publique. Ils sont dignes de servir de modèle à tous ceux qui, en quel pays que ce soit, se mêlent de ce métier. C'est aux écrits sortis des presses de Gotha que la Saxe électorale fut redevable l'automne dernier du prompt rétablissement de la tranquillité parmi les paysans soulevés qui, au dire des experts, ne furent pas gouvernés par les apôtres de la nouvelle doctrine française, mais par de savantes manoeuvres du docte Hertzberg, qui espérait par ce moyen débarrasser l'electeur du comte Marcolini, à qui il supposait du penchant pour la maison d'Autriche.

Je ne saurais mieux faire qu'enfermer ici une lettre pour le prince maréchal Tauricus, Ottomanicus, et une autre pour le prince de Nassau, et de les mettre sous la protection impériale.

En finissant ce Vortrag, je ne puis me dispenser de relever une des mille et une injustices dont je suis la victime. Il plaît à Votre Majesté de supposer que j'ai nagé dans le bonheur de me trouver à Francfort au milieu de cet océan de princes que la solennité du couronnnement avait rassemblés. J'en appelle à mon saint si j'en ai cultivé, hanté un seul, si je

les ai vus ailleurs qu'au cercle chez l'Empereur; mais je me réserve d'écrire un livre entier sur cette matière et de repousser victorieusement eine Aufbringung si hasardée, comme si mon coeur n'était pas suffisamment occupé et que j'y eusse beaucoup d'appartements vides pour le service des passe-volants.

A Paris, 22 février (5 mars) 1791.

Première épître Schombergienne au souffre-douleur.

J'ai reçu ce matin, Monsieur, la lettre que vous avec eu la bonté de m'écrire de Francfort le 10. Vous avez ainsi exaucé un peu tard les voeux que je vous avais adressés chez votre banquier à Francfort en réponse à une lettre que vous m'aviez écrite de Bourbonne. Je n'ai pas eu non plus de nouvelles de mon frère depuis un temps infini; il est vrai que de mon côté aussi j'ai respecté des affaires et des fêtes; les unes et les autres m'auraient empêché de jouir de lui si j'avais été à Francfort; de fort bonnes raisons d'ailleurs y mettaient obstacle, et mon mariage n'a été fait que le 28 octobre. Ce n'est que ce jour-là que mon Xavier a épousé une jeune personne jolie, agréable, pleine de grâces, d'esprit et de raison, qu'il aime avec passion et dont il est aimé de même. J'ai joui aussi du spectacle le plus rare, unique même peut-être, celui de deux êtres parfaitement heureux. Vous retournez donc à Paris? Mais comment votre ami (mon Saint-Nicolas de Francfort) ne vous a-t-il pas rappelé ce que disait un de ses compatriotes:

«Adieu, je reviendrai quand ils seront changés?»

(Vers de Voltaire dans Le Russe à Paris.)

Vous aurez au reste pour distraction la gloire de votre amie, la plus brave femme de tous les temps, et qui pratique avec tant de noblesse et d'aisance le *debellare superbos et parcere victis* de Virgile. Quant à moi, l'Assemblée nationale m'a délivré de toutes les servitudes de ce monde, et avec mon Plutarque je suis parvenu à me rendre presque aussi heureux que si j'étais mort. Je ne fais pas encore de projet pour le printemps; c'est la saison où à mon âge l'on se fixe ordinairement à demeure, mais l'hiver je le passerai très certainement à Lausanne, c'est-à-dire dans un bon château chaud à un quart de lieue de la ville auprès de M. le maréchal (de

Castries), qui se porte à merveille, ce qui est encore moins, à mon avis, l'effet de l'exercice qu'il se donne que de cette sagesse que vous lui connaissez. Je ne vous oublierai certainement pas auprès de la tribu, puisque j'ai toujours besoin de parler de vous; j'en ai un plus essentiel encore, qui est de savoir de vos nouvelles, et d'autant plus que vos étouffements me donnent beaucoup d'inquiétude. Vous avez à présent parfaitement mon adresse: veuillez donc bien, de temps en temps, écrire quelques lignes à votre ami le plus ancien, le plus fidèle et le plus tendre.

Lausanne, 17 novembre 1790.

Seconde Epître Schombergienne au souffre-douleur.

J'ai reçu hier, Monsieur, la lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire le 30 novembre au milieu de vos étouffements qui m'oppressent, et sourtout m'inquiètent sûrement plus que vous. M. le maréchal (de Castries) a été on ne peut pas plus sensible à votre souvenir et à votre intérêt; mais comme il faut bien avoir un défaut, il a, au suprême degré, à la vérité, celui d'une modestie (c'est un vrai Tchitchagov) insupportable; il en résulte qu'on ne peut jamais lui dire ce qu'on pense sur son compte et ce que pensent de même les autres; il croit toujours qu'on veut le louer de ce qu'il respire: tant les vertus lui sont naturelles. Il disait à son fils (le duc de Castries après son affaire avec Charles Lameth), qui nous est enfin arrivé le lundi 6, qu'il honorait sa vieillesse. Bien d'autres choses encore l'honorent; si l'on peut toutefois parler de la vieillesse d'un homme qui a l'air d'avoir quarante ans au plus et en a la force physique et morale, ainsi qu'une élasticité bien rare déjà à cet âge. Cela me fait croire que les meilleurs ingrédients du baume de la vie sont la raison, la sagesse, la constance, une résignation douce et facile aux événements auxquels l'on ne peut rien; c'est ce qui donne cette physionomie toujours la même, c'est ce qui compose tout l'homme d'Horace:

Justum ac tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida.

Aussi sa santé est-elle excellente, et ces beaux bords du lac ne voient-ils pas d'homme plus léger à pied et à cheval. Tout le château ne renferme

aussi que des êtres bien portants, depuis le preux de Chauvigny jusqu'au chevalier Beauteville, qui à 87 ans ne se doute pas d'une infirmité; enfin tous ses habitants et habitantes vous remercient, vous aiment et vous disent mille choses tendres. Quant à moi, je veux tâcher aussi de suivre ce précepte:

Servetur ad imum
Qualis ab incepto processerit et sibi constet.

Je n'ai jamais dans mon état et dans mon métier rien demandé, ni rien refusé; je veux toujours faire de même. Je ne demanderai point d'être employé et ne le refuserai pas. Je sais bien que les généraux romains, qui étaient citoyens et respectaient les citoyens, n'étaient pas toutefois aux ordres d'une municipalité, mais à la bonne heure encore. J'ai su servir en Franche-Comté sous un comité; je servirais de même ailleurs, mais je ne le solliciterai pas. S'il s'en suit que l'on continue à m'ôter, je me rappellerai que le grand Frédéric avait calculé qu'il vivrait avec trente sous par jour. Si, par une rare bienfaisance, on me laissait par hasard mille écus de rente, je vivrais le plus heureux du monde dans mon petit cabinet, lorsque toutefois on ne pillera ni n'égorgera plus dans Paris, ce qui pourrait être dans une dixaine d'années. Oh! combien de choses dont je n'ai nul besoin! Comme il faut néanmoins se faire une occupation dans sa retraite, et que de penser est aussi pénible que vain, je continuerai à apprendre des langues; je veux y joindre le russe. Mon admiration (et de tout temps d'admirer a été une de mes plus vives et plus douces jouissances) me fait un besoin de lire la traduction de votre amie (la traduction de Plutarque, faite pendant le ronflement du canon, apparemment que le souffre-douleur a eu l'indiscrétion d'en parler).

Voilà ce qu'eût fait Julien dans un camp. O la brave femme! Quelle Catau! la leçon des rois, des héros, des sages! Que vous êtes bon de toujours vous tourmenter de la fantaisie de mon frère! Il a cependant un titre qui devrait être déterminant, le plaisir que cela vous ferait; j'en demande pardon au plus grand Souverain de la terre et le plus illustre à jamais: un ruban n'est pas trop pour cela, et pour éviter cependant qu'il ne tire à conséquence, ce sublime monarque n'a qu'à dire son motif. L'histoire dira encore cela, et certes ce ne sera pas un lieu commun. Mais voici bien autre chose: je demande son portrait positivement, fièrement, car il m'est dû. Si je n'ai pas combattu les Suédois et les Tartares, j'ai souvent combattu les barbares et le sots; je m'en suis fait des ennemis personnels, comme autrefois pour le grand Frédéric. Et puis, à qui ce portrait pourrait-il faire plus

de plaisir? Qui lui rendrait un culte plus constant? Et n'ai-je pas pour lui inventé ce vers:

Et l'Europe la compte au rang des plus grands hommes?

Oui, mon cher ami, je veux le portrait de votre sublime et belle amie, et je vous conjure de le lui demander de ma part par le premier courrier. Avant tout cependant, de vos nouvelles, car je vous suis plus tendrement attaché que personne..

Lausanne, ce 9 décembre 1790.

Troisième Epître Schombergienne au souffre-douleur.

Je viens, Monsieur, de recevoir la lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire le 16; je la communiquerai tout de suite après le dîner, parce que je sais à quel point on en sera touché; mais je me hâte de profiter du départ de la poste pour y répondre, et sourtout pour vous conjurer de me donner le plus souvent qu'il vous sera possible, mais seulement en très peu de lignes, des nouvelles de vos étouffements, qui m'oppressent, en vérité, autant et peut-être plus que vous. Je soupçonne qu'ils tiennent à un commencement d'asthme, avec lequel on vit fort longtemps et fort malheureux, ce qui au reste est parfaitement synonyme, n'en déplaise à l'abbé Girard.

Le pillage de l'hôtel de Castries est sans doute une petite tache dans la meilleure des constitutions possibles; mais le soleil n'a-t-il pas des taches aussi, lui qui donne la lumière, la vie et le bonheur à ce que nous appelons l'Univers?

M. le maréchal perd sans doute beaucoup sur ses brevets de retenue, 40,000 écus par exemple et même plus, mais enfin on voulait les détruire totalement et lui enlever par conséquent l'argent qu'il avait déposé; c'eût été un peu rigoureux, cela a répugné aussi à la justice et à la bonté de leurs excellences; ils ont décrété que les brevets de retenue accordés en raison d'une finance donnée ne seraient point totalement supprimés; mais ceux qui ont été accordés comme une pure grâce le sont décidément. Par conséquent je perds le mien, qui est de 40,000 livres; c'est par lui que je comptais après ma mort continuer quelques pensions à mes vieux domestiques et quelques charités à des malheureux: cela rendra la lie amère, car pendant ma vie mon brevet, qui avait cette destination sacrée, m'eût été

inutile, n'ayant point de dettes et n'en voulant point faire. Si j'eusse vendu, ainsi que je l'aurais pu dix fois, mon régiment 400,000 livres, j'aurais vingt mille livres de rente à l'abri de tout; je n'y ai nul regret toutefois, d'abord parce que j'aurais mal fait, et puis parce que ces vingt mille livres de rente m'auraient rendu trop riche pour un philosophe; quinze cents livres (dans la comédie du Père de famille) de rente suffisaient au fils d'un philosophe, mais qui ne l'était pas lui-même, au contraire très amoureux.

Comme la bonté divine, qui gouverne tout si admirablement, ne néglige même aucun détail, j'ai eu pendant plusieurs jours la crainte que M. Gibbon (anglais établi à Lausanne, auteur de plusieurs ouvrages très estimés) ne mourût d'une attaque de goutte.

Cependant je jouis des nouvelles victoires, *per mare*, *per terras*, du grand homme qui s'est revêtu des grâces et des charmes d'une belle femme. O Mahomet, tu n'en rougis point, et ce n'est que dans ton paradis que tu aspirerais à en triompher!

Je dirai à madame de Blot que vous me l'avez nommée dans votre lettre; elle se plaignait l'autre jour du contraire avec tous les droits, à ce qu'elle prétendait, de l'amitié qu'elle a pour vous.

Présentez, je vous prie, mes sincères hommages à madame Diodati, qui a daigné se souvenir et parler de moi. Valeas meque ames, iterum atque iterum rogo.

Lausanne, ce 22 décembre 1790.

A Paris, ce 15 (26) mars 1791.

Madame. Le contre-amiral Paul Jones m'a confié le paquet ci-joint. J'en ignore le contenu, mais autant que j'ai pu entrevoir, il renferme un projet ou un plan où il s'est sans doute réservé un rôle principal, mais qu'il croit d'une grande importance au cas que la guerre dût continuer, importance qui augmenterait si la cour de Londres s'abandonnait au point d'y prendre une part active. Autant que j'ai pu deviner, il s'agirait de l'inquiéter jusques dans la région de son coeur et de ses principes de vie, dans l'Inde. Le contre-amiral ose se flatter que Votre Majesté daignera me charger d'une résolution quelconque relativement à son paquet.

Les autres paperasses doivent trouver le terme de leur existence dans la cheminée impériale.

A Paris, ce 20 (31) mars 1791.

Madame. Mon bon ange Ollaïas, après m'avoir à son passage en février accablé des bienfaits de l'immortelle, est de retour de Madrid depuis dimanche. Malgré son empressement à voler d'une extrémité de l'Europe à l'autre pour le service de Votre Majesté Impériale, il se résignerait à attendre ici mes paquets pendant des semaines entières; mais je n'ose le retenir; c'est déjà un assez grand chagrin pour lui d'être devancé par le courrier de la cour d'Espagne de quelques jours. Je lui donne tout ce que je puis expédier, M. de Machkov le suivra de près et emportera le reste. Tant que le souffre-douleur ne sera pas à son dernier étouffement, il griffonnera. Ci-jointe la facture de ce que mon bon ange Ollaïas a emporté; si Votre Majesté lui permet de déposer ces paquets lui-même aux pieds de l'immortelle, elle aura fait un heureux, et je dois désirer ce bonheur aux bons anges à qui je dois le mien. S'il l'obtient, Votre Majesté trouvera tout à côté de lui son souffre-douleur, qui voudrait expirer à ses pieds d'attachement et de reconnaissance.

Le grand Mirabeau est à toute extrémité.

№ 24.

Inventaire d'une partie de la friperie de mon bon ange Ollaïas sive Ollaüs.

J'ignore, à ma grande confusion, la véritable orthographe d'un nom si cher à mon coeur.

A Paris, ce 22 mars (2 avril) 1791.

Madame. C'est hier au soir que mon bon ange a pris la clef des champs après avoir reçu mes paquets et mille bénédictions de ma part pour son heureux voyage. Ce digne successeur du grand Thier n'ambitionne d'autre bonheur que de pouvoir étaler aux pieds de l'immortelle toute sa friperie ou plutôt la mienne, et je le crois bien: approcher de ses autels porte salut, et pour moi aussi cette vision béatifique serait le suprême bonheur, et je ne sens que trop combien il serait consolant de reposer ses regards, même furtivement, sur ces traits augustes dont l'image voltige sans cesse autour de mes yeux.

Mais quel coup de lumière vient de me frapper! Je me rapelle distinctement que ma pancarte confiée à mon bon ange a été pliée, fermée, cachetée sans avoir été numérotée. Quel oubli! Il prouve que ma tête n'y est plus; elle est toujours si près de mon coeur quand j'écris à Pétersbourg,

que je ne peux plus lui confier le plus petit détail de police, tant ce voisinage la rend imbécile. Je supplie Votre Majesté Impériale de me renvoyer ma pancarte au plus vite pour que j'y mette le № 23, qui lui était destiné et qui lui appartient de droit, car je ne pourrais commettre ce soin qu'à mon auguste Souveraine elle-même, et certainement je n'aurai pas cette impertinence; c'est bien assez qu'elle daigne supporter mes fautes, et je ne m'aviserai pas d'espérer qu'elle les répare.

Je joins ici une copie de la facture des effets confiés à mon bon ange, dont le nom me tracasse par son orthographe. J'ai épuisé tout ce qu'il y a à dire sur № 1. Je n'ai rien à dire sur № 2, mais il me reste à faire une revue importante, c'est celle de № 3. Ce paquet est partagé en trois portions. La première est dramatique et renferme quatre pièces patriotiques. Dans une des pancartes impériales dont j'ai été sevré pendant une année entière et dont je serais sans doute resté absolument frustré, si, ayant eu quelque soupçon de son existence, je n'avais pas opiniâtrement insisté sur son envoi; dans cette pancarte divine, qui me fut enfin délivrée sous le titre de moutarde après dîner, comme si la moutarde de l'immortelle pouvait jamais arriver trop tard, je remboursai, au milieu de tant de bienfaits, un refus bien dur et bien sec. J'avais postulé, en toute humilité, un exemplaire des oeuvres dramatiques composées pour le théâtre de l'Ermitage, je comptais les commenter, les enrichir de mes notes. Refus net, sous prétexte d'une prétendue loi dont il n'était pas aisé de deviner l'existence et suivant laquelle, pour avoir droit à un exemplaire, il fallait envoyer une pièce afin d'en grossir le recueil, comme si le docte commentaire, que je me proposais de rendre très prolixe, n'eût pas beaucoup mieux rempli cet objet. C'est le propre des lois injustes de rendre opiniâtres ceux qui en sont les victimes. En conséquence je me consultai avec mes teinturiers, et je leur dis: vous voyez le dégoût qu'on me donne et que je ne prétends pas dévorer. D'abord je refuse net à ces oeuvres dramatiques le sceau de l'immortalité, puisque je renonce à les commenter: cependant je ne prétends pas moins les posséder; en conséquence et sans perte de temps évertuez-vous, mes chers teinturiers, et envoyons au plus tôt une fournée de pièces à ce four redoutable de l'Ermitage, et nous verrons si l'on osera encore nous saluer d'un refus quand nous leur demanderons à notre tour de leur fournée. Aussitôt nous mettons la main à l'oeuvre, mes teinturiers à composer, moi à applaudir, et voilà qu'à la place d'une pièce exigée, j'en ai expédié trois, de sorte que j'ai acquis le droit incontestable à trois exemplaires des oeuvres dramatiques qui m'ont été si sèchement refusées, et ces trois exemplaires je les attends au

plus tôt, ne me souciant pas d'en faire crédit plus longtemps. Par le vent qui souffle dans les Gaules depuis deux ans, il faudra bien que Votre Majesté trouve bon que mes teinturiers et moi nous nous soyons voués au genre patriotique, hors duquel et hors de la France point de salut: s'il y a tant d'émigrations, c'est que tout le monde aime à se damner, et voilà pourquoi le monde sera désormais clair-semé en France, parce qu'il n'y restera que les élus qui, comme on sait, ne sont pas en grand nombre. La première de mes pièces, que je m'approprie parce que les teinturiers ne comptent pas et que je ne connais pas seulement les miens, est la Journée des Dupes. Elle a été composée immédiatement après la nuit du 5 au 6 octobre 1789 d'exécrable mémoire, et si l'accès du théâtre de l'Ermitage fût resté pour moi aussi facile que dans les temps ordinaires, il y a déjà plus d'un an que cette pièce eût obtenu les honneurs de la représentation. La seconde de mes pièces est dans le genre infernal qui règne aussi en France depuis deux ans; j'ai donc mis la scène dans un souterrain aux enfers. On appelle 1789 tout court un club qui s'est appelé le club de 1789 et qui cherche à lutter contre le détestable club des Jacobins; mais ce 1789 est lui-même inspiré et secrètement dirigé, même à son insu peut-être, par un des plus détestables esprits que la France si féconde en ce genre possède aujourd'hui, parce qu'il a la tête et le coeur également faussés et la coupable ambition de jouer un grand rôle dans le bouleversement général: ce génie infernal s'appelle Condorcet, et voilà pourquoi peut-être ce club est sévèrement traité au tribunal de l'enfer, quoique les juges ne daignent seulement pas faire mention de Condorcet. Nous aimerions mieux, mes teinturiers et moi, voir jouer cette pièce par des amateurs que par des acteurs de profession; dans ce cas je déclare que je destine le rôle de Minos à M. le grand écuyer Lov Alexandrovitch, parce qu'il le jouera avec toute la majesté dont ce rôle est susceptible. En reconaissance du succès que je lui procure sur le théâtre de l'Ermitage, j'espère qu'il m'obtiendra de son illustre historiographe un exemplaire de ses voyages par terre et par mer, dont on m'a sevré jusqu'à présent avec la même rigueur que des oeuvres dramatiques, parce qu'on ne veut absolument pas se ruiner en bienfaits littéraires envers le souffre-douleur. On m'assure que tout le texte de ce voyage est encore à faire, mais que l'inscription des différents chapitres en fait une production étonnante. C'était la manière de travailler de feu l'abbé Galiani. Le titre de l'ouvrage et celui des chapitres donnaient plus à penser que tout le remplissage qu'il dédaignait d'y faire. Quant à ma troisième pièce du grand dénouement, les censeurs impériaux de l'Ermitage établis pour l'examen des pièces de ce théâtre trouveront peut-être qu'on y jure beaucoup et de tou-

tes manières; mais ils doivent considérer que c'est le goût de la nation régénérée de jurer ab hoc et ab hac, et que dans cette pièce nous nous sommes surtout astreints au bon ton: or le bon ton de l'ère de la liberté serait bien fâché de ressembler au bon ton et à l'urbanité de l'ère du despotisme. J'en avertis charitablement messieurs les censeurs de l'Ermitage pour leur épargner la gaucherie de se formaliser de ce qu'il faut admirer, ne leur en déplaise. J'observerai, en quittant le cothurne infernal et civique, que je ne demande et n'attends que trois exemplaires du théâtre de l'Ermitage, parce que je n'ai fourni conjointement avec mes teinturiers que trois pièces, et que nous ne prétendons rien pour la quatrième pièce qui est dans le paquet № 3 et qui s'y est fourrée à notre insu. Toute patriotique qu'elle est, nous n'y avons ni ne prétendons y avoir aucune part, et la dame qui y joue le premier rôle, ayant déjà dans son portefeuille plusieurs tragédies de sa composition, peut bien être soupçonnée d'avoir elle-même célébré ses hauts faits par une comédie héroïque dans une occasion où son civisme a eu un si grand éclat et fait tant de bruit.

Les deux imprimés allemands que j'ai mis dans le paquet № 3 peuvent donner à votre Majesté Impériale une idée du bon esprit qui règne à Gotha parmi ceux qui se mêlent d'écrire, tandis que le mal français n'a pas laissé que d'infecter aussi plusieurs barbouilleurs de papier en Allemagne. Le parallèle qui se trouve dans le Zuruf an patriotiſche Schweizer entre la série des biens que les Suisses peuvent échanger contre un pareille série de maux que les Français, grâce à leur régénération, ont à revendre en ce moment à tous ceux qui pourront en être tentés, est très remarquable. Votre Majesté verra par les deux lettres que l'auteur m'a écrites et que j'envoie à mes archives de la cheminée impériale, combien les différents cantons ont été reconaissants de ce petit écrit qui m'a paru digne d'être honoré d'un regard de l'immortelle. L'autre écrit, das Rebellionsfieber, a eu l'avantage d'avoir apaisé le soulèvement des paysans de Saxe, qu'on accusait le grand Hertzberg d'avoir excité et fomenté. Le gouvernement de Dresde en fit venir six mille exemplaires de Gotha, qu'il voulait faire distribuer dans les campagnes. L'auteur déconseilla cette distribution, et dit qu'il allait au contraire les faire vendre au prix de quelques deniers, parce que l'acheteur aurait le double de confiance dans ce qu'il aurait acquis et payé volontairement. Cet auteur est celui du Noth-Hülfs-Büchlein, sur le plan duquel je voulais, ainsi que mon saint, un tout pareil pour la Russie, et après avoir longuement entretenu le génie tutélaire de cet empire de mes balivernes, je vois par la gazette que dans le gouvernement d'Esthonie mon conseil est

vraiment la moutarde après dîner, puisque ce livret y est déjà traduit et adapté au pays.

Ce 29 mars (9 avril).

Dans le Réveil de Suleau, lequel Suleau existe véritablement et est un drôle de corps, Votre Majesté trouvera un portait de M. de la Fayette que je trouve malheureusement très ressemblant. On a toujours droit de reprocher à ceux qui n'ont pas su diriger et maîtriser une révolution si fatale, de s'en être mêlés et surtout de s'être emparés des premiers rôles et des plus importants pour n'y avouer que celui de valet de la canaille. J'espère que la prédiction de Suleau ne s'accomplira pas et que M. de la Fayette ne sera pas pendu par son peuple chéri; mais je ne serais pas étonné qu'il finît ses jours en Amérique, comme M. Necker en Suisse, et par-dessus le marché, débarrassé d'une grande fortune et ruiné, parce qu'il a joint un grand désintéressement et beaucoup de qualités romanesques à beaucoup d'idées métaphysiques et abstraites que d'autres mauvais ouvriers lui ont fourrées dans la tête, et dont l'amas indigeste dans des têtes creuses a produit autant de maux pour la France que la scélératesse de plusieurs factieux a causé de catastrophes. Suleau fait aussi le portrait de Mirabeau et l'appelle un homme colossal. Il faut lire: homme monstrueux. Il est impossible qu'un monstre lâché en liberté ne se rende même immortel par ses ravages, et qu'après avoir tout renversé, il ne croque par-ci par-là les méchants comme les bons, s'il en trouve dans son chemin; mais l'audace et la perversité portées au plus haut degré, qui étaient les qualités dominantes de Mirabeau, réunies à une versatilité et à une oblique de conduite incalculables, ne peuvent entrer dans la composition d'un grand homme. Il est mort, il y a huit jours, à ce qu'il paraît, des suites d'une débauche et de l'agitation violente et continuelle dans laquelle il vivait depuis environ deux ans, et sa mort en ce moment est généralement regardée comme un malheur public, parce qu'après tous les maux qu'il avait causés à sa patrie on espérait qu'il la préserverait de ceux par lesquels les Lameth, les Barnave et quelques autres de la pire espèce du club des Jacobins, avec lesquels il s'était brouillé, se flattent de donner le coup de grâce à la monarchie. Il faudra voir si le ciel propice enverra quelque autre monstre pour la sauver et pour succéder à celui-là: car pour voir paraître quelque grand homme, quelque grand caractère, quelque héros à qui la France doive son salut, je crois qu'il y faut renoncer. Rien ne caractérise mieux la démence de cette nation, rien ne prouve combien elle est loin de sa guérison que les honneurs

incroyables rendus après sa mort à un homme généralement méprisé pendant sa vie et que sous plus d'un rapport on pouvait regarder comme un échappé de la potence. On vient de débaptiser entre autre jusqu'à la Chaussée d'Antin, sur laquelle il demeurait depuis quelque temps, pour l'appeler rue Mirabeau; comme c'est ma demeure depuis quatorze ans, c'est-à-dire depuis l'instant fatal qui m'a exilé du temple de la gloire où mon repos et mon coeur sont restés, je suis capable, si cette folie s'établit tout de bon, de quitter ma maison par la seule aversion de trouver sur l'adresse de mes lettres la rue Mirabeau.

Lorsque votre Majesté aura lu la petite brochure de la Coalition, je ne désespère pas que, vu la découverte de mes talents dramatiques, elle ne m'ordonne de faire avec mes teinturiers pour le théâtre de l'Ermitage une parade politique dont frère Ge et le comte de Redern seront les seuls acteurs. Mes teinturiers n'auront que la peine de copier ce que tout le corps diplomatique entend chaque jour de cercle à Saint-James. Il pourra être assez piquant de voir dans une farce copiée d'après nature le roi d'une monarchie limitée faire ce que les fous de France ont appelé aristocrate, et le ministre d'un roi très absolu faire le démocrate. Ici on est toujours très convaincu que les émissaires du roi absolu reçoivent de l'argent du roi limité par le canal de la princesse d'Orange, une des plus profondes politiques dans le sens du grand Hertzberg, pour perpétuer par la corruption les malheurs de la France, qui deviennent de jour en jour plus incurables. Ils voudraient surtout brouiller l'Empereur radicalement avec l'auguste Assemblée nationale et l'engager dans une querelle sérieuse à couteau tiré, et il ne faut pas être grand sorcier pour deviner ce qu'ils se promettraient de ce succès; mais, malgré la démence qui règne ici, réunie à l'ignorance parfaite du comité diplomatique, ce succès sera difficile à obtenir. Il y a huit jours que mon bon ange Ollaïus est en route, mais de ces huit jours ma mauvaise santé m'en a pris six, pendant lesquels j'étais à peu près hors de combat. Mon autre bon ange Machkov avait cependant eu la complaisance de m'accorder toute cette semaine et de différer son départ d'autant, pour accabler mon auguste Souveraine d'une nouvelle pancarte; mais les immortels, à qui son repos est cher, m'ont mis sur le grabat et réduit à lui écrire jour et nuit, suivant mon usage, dans ma tête, mais sans user mes plumes: si cela ne satisfait ni ne console mon coeur, au moins cela m'épargne le crime d'abuser de son indulgence sans bornes, comme de sa bonté. Quand je suis malade et livré à mes réflexions, alors je m'abandonne à mon talent pour les soupes à la purée de pois, et j'en porte sur la table de ma Souveraine à tout instant, avec le désespoir de ne pouvoir la lui servir. Le

message de frère George à son parlement m'a réduit à cette occupation pendant toute cette semaine. J'avoue qu'un ancien reste de prévention pour William Pitt ne m'a jamais permis d'arrêter mon idée sur la possibilité d'une mesure véritablement hostile de la part de l'Angleterre contre l'empire de Russie. Son exécution me présentait pour les Anglais tant de désavantages et si peu de profits que je me disais: un ministre britannique n'est pas assez fou pour entreprendre une guerre si peu nationale et qui pourrait tourner contre lui comme très antinationale; il ne s'exposera jamais à augmenter la dette nationale si énorme, à aggraver le fardeau du peuple déjà si accablant pour un objet si chimérique. J'avoue que même après le message de frère Ge, je ne saurais me le persuader, et si ces événements incroyables doivent se réaliser, je croirai qu'ils couvrent d'autres projets étrangers à l'empire de Russie: car il me répugne aussi de supposer qu'ils veulent jouer comme des enfants, dans l'espérance d'en imposer et de faire peur par leurs préparatifs; cette farce est plus digne du génie du grand Hertzberg qui, à force d'aimer les démonstrations hostiles, est toujours à peu près sûr d'entraîner son royal maître dans des mesures qu'il voulait lui faire éviter. Quoi qu'il en soit, après le message de frère Ge, je n'en ai pas moins travaillé toute cette semaine sur mon grabat à mon plan de campagne. Préalablement je crois le cabinet de mon auguste Souveraine obligé de fournir à l'opposition du parlement britannique, en lettres moulées, les éclaircissements sur l'état des négociations que les ministres de frère Ge lui ont refusés net; je veux ces éclaircissements dans ces principes de justice, de dignité et de mesure auxquels mon cabinet impérial m'a accutumé, mais je les veux si pressants, si évidents, que les plus grands brouillons de Berlin et autres lieux en restent bègues pendant tout le cours du procès. Il faut ensuite que Votre Majesté me réponde absolument, entièrement, d'un acteur qui a débuté dans les rôles de trahison et de perfidie, et à qui j'ai pardonné l'année dernière, parce qu'il a senti qu'il n'y avait rien à gagner dans ces vilains emplois, et qu'il m'a paru vouloir sincèrement en changer et marcher désormais dans les voies de la justice, afin de me faire oublier le passé. Cela dépend de lui, et sa conduite prochaine fixera mes sentiments; je ne m'oppose pas même à ce qu'il conçoive l'espérance de quelques avantages en Allemagne, qui lui ont été ci-devant enlevés, mais à condition qu'il marche droit, si par malheur pour l'humanité, il réussit aux brouillons de prolonger et d'étendre le fléau de la guerre. En échange de cette garantie que je demande à Votre Majesté de la conduite de celui à qui j'ai si noblement pardonné l'année dernière, je crois pouvoir répondre à mon tour de la Hollande à mon auguste Souveraine. J'ai toujours été à por-

tée d'avoir des renseignements assez sûrs sur l'état des affaires de ce pays-là, et si le pavillon anglais doit décidément se hasarder dans la Baltique, je doute très fort, en dépit du despotisme de la princesse d'Orange et de l'entregent de milord Aukland, qui n'est pas le plus maladroit des ouvriers, qu'on réusisse à entraîner les Bataves de prime abord dans des démonstrations hostiles. Ce pays est dans un état de crise intérieure qui coupera même à ses tyrans les moyens de l'entraîner dans des mesures ambitieuses. Je pense au contraire que si la folie du grand Hertzberg gagne véritablement le ministère anglais, nous devons songer à tirer un grand parti de la situation de la Hollande et de la disposition des esprits de ce pays. Dans la supposition d'un éclat effectif des cours de Londres et de Berlin, il est impossible, suivant mes idées, que l'Empereur ne se trouve rengagé dans la guerre avant la fin de cette année. J'ai trop bonne opinion de Léopold pour croire qu'il veuille conserver le titre de pacifique à tout prix; ce serait un moyen infaillible d'avoir à faire la guerre pendant toute la durée de son règne. S'il reprend les armes, comme il y sera obligé par tous les motifs de justice et de prévoyance, c'est à lui à s'occuper principalement de la Hollande. Il doit beaucoup à la princesse d'Orange pour tous les soins qu'elle a pris de fomenter la révolte dans ses provinces belgiques. Il ne portera pas l'esprit de révolte chez les Bataves, mais il les aidera à rétablir leur gouvernement légitime, il les protègera contre les usurpations du stathoudérat, et de cette manière il en fera des amis éternels des deux cours impériales; de cette manière aussi la princesse d'Orange pourrait être la première à se repentir de la promenade anglaise dans la Baltique, et les possessions prussiennes en Westphalie pourraient se trouver très promptement fort mal à leur aise. Quant à la conduite de nos forces de terre sous nos braves généraux depuis la Livonie jusqu'en Ukraine, j'en abandonne le plan entièrement à mon auguste Souveraine. J'ai été assez content de la manière dont elle a commandé nos armées en Finlande dans les campagnes précédentes, pour ne pas désirer une autre allure en Livonie contre qui il appartiendra. Je ne me réserve que le commandement des forces navales, et à cet égard j'observe à mes favoris Tchitchagov, Kruse, Powalichine et tutti quanti, que je borne leur gloire dans le cours de cette campagne, non à combattre le pavillon anglais, mais à s'embosser de façon à garantir Cronstadt et Réval de toute insulte. J'espère que des batteries bien rasantes et de ces places et d'autres points convenables donneront d'ailleurs aux chercheurs d'aventures toutes les leçons nécessaires pour s'en retourner chez eux en automne beaucoup plus instruits qu'ils n'étaient venus. Mais je déclare à mes favoris que je ne veux point de bataille na-

vale en pleine mer, parce que je ne vois pas quel profit nous pourrions tirer de la victoire même la plus décidée. Notre rôle est de laisser se promener nos chercheurs d'aventures à leur gré et de chanter vers l'équinoxe: Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fonds avec son revenu. Je ne parle pas à Votre Majesté de la flotille, je la regarde comme appartenante à l'armée de terre, et comme telle je la renvoie sous les ordres immédiats de celle à qui j'en ai confié le commandement. Voilà, Madame, le plan en gros tel que je l'ai esquissé dans mon lit cette semaine, mais si Votre Majesté croit que tout cela ou autre chose pourra se mettre à exécution sans beaucoup d'insomnies de ma part, je dirai qu'elle ne connaît pas la pauvre tête de son souffre-douleur.

Ce 30 mars (10 avril) 1791.

Il faut fermer ce paquet que mon bon ange Machkov va m'enlever dans le moment. J'ai une pancarte de commencée depuis le mois de février; il faut qu'elle reste là jusqu'à la première occasion favorable que la clémence du ciel voudra me ménager pour l'envoyer en sûreté au pied du trône de la gloire. Ma misérable santé s'oppose au seul bonheur que j'ai, celui d'écrire à Votre Majesté et de lui dire tous les jours que je ne respire que pour l'aimer; c'est là le culte qu'on doit aux immortels. Si je dois espérer quelque soulagement, il faudra d'abord que je retourne le mois prochain aux eaux de Bourbonne. De là je compte aller en juin auprès de mon saint à Francfort, pour me secouer à côté de lui sur les grands chemins dans les différents points de sa mission. J'en préviens mon auguste bienfaitrice, afin que ses bienfaits puissent m'atteindre en tous lieux; mais ma maison à Paris reste toujours montée de façon que tout ce qui m'arrive, y est reçu comme quand j'y suis en personne. Je ne laisserai pas sortir mon bon ange Machkov de ma maison sans le conduire chez madame de Bueil pour qu'elle le prie de la mettre aux pieds de l'immortelle. Il arrivera, à ce que j'espère, pour le 21 avril (2 mai) qui est un des plus grands jours de l'année dans le taudis du souffre-douleur; c'est l'anniversaire de la neuvième année qu'Emilie porte le chiffre glorieux dont la bonté souveraine l'a décorée et qui dans la destruction de toute chose en France a acquis, s'il était possible, un prix encore plus grand. Je suis fâché de ne pouvoir présenter aussi à mon partant Katinka et son frère Catau; mais ils sont tous les deux en ce moment à une lieue de Paris dans le travail de l'inoculation. Je crains bien que la misère des parents ne m'oblige d'user de la permission que Votre Majesté daigna me donner l'année passée au fort de

la campagne de Finlande, de puiser dans sa caisse pour venir au secours, en cas de besoin, d'Emilie et de Katinka et de Catau. Je m'en suis défendu longtemps, mais fallait-il exposer plus longtemps la beauté et peut-être la vie de Katinka à devenir victime d'une maladie cruelle? Certes, sa souveraine bienfaitrice ne me l'aurait pas pardonné. C'est avec le même esprit de soumission et de reconnaissance que je reçois pour elle ou pour sa mère les six mille roubles si généreusement placés aux enfants trouvés de Moscou. J'estime que dans quinze ou dix-huit mois la banqueroute totale de la France éclatera infailliblement. Si le souffre-douleur existe encore, il aura recours à la bonté souveraine pour la niche qui lui est promise, et si Emilie et Katinka ont la vie sauve au milieu de la destruction générale, elles devront la première planche sur laquelle elles pourront se sauver, à la même bonté souveraine. Je supplie Votre Majesté de croire que Katinka jouit déjà d'une très haute réputation à cause de sa beauté et de son amabilité. Elle ne peut se montrer nulle part sans attirer tous les regards, et ceux qui l'ont une fois fixée, ne peuvent plus s'en détacher; mais quand on sait de qui elle est filleule, tout le monde dit: c'est tout simple que ce ne soit pas un enfant ordinaire. Enfin elle fait un tort considérable à son frère Catau qui passerait pour un fort joli et aimable garçon, si l'on pouvait lui accorder un regard à côté de sa soeur. Elle n'avait que deux ans et quelques mois lorsqu'elle quitta Paris il y a deux ans, et elle n'a rien oublié de tout ce qu'elle y a vu ou fait. En entrant chez moi cette année la première fois, elle a couru baiser sa marraine et puis ses petits garçons; mais elle a remarqué que ces petits garçons n'avaient pas grandi; cela ne lui a pas fait plaisir, et j'ai été obligé de l'assurer que son parrain Alexandre était déjà fort grand, pour lui conserver ses droits de parrain. Lorsqu'elle a vu les nouveaux portraits de Votre Majesté, elle est restée fort interloquée. Elle sait bien que sa marraine est Impératrice; mais il n'est pas aisé de lui donner une idée nette de ce que c'est au juste qu'une Impératrice; et lorsqu'elle a vu mes nouveaux trésors, elle m'a demandé si sa marraine n'était pas marchande de tableaux. Sa question était même intéressée, parce que, me disait-elle, si cela est, je lui demanderais mon portrait. Je croyais, lui dis-je, que vous vouliez lui demander le sien, car elle ne peint pas des choux comme vous. Pour le sien, dit-elle, je n'en ai pas besoin; vous en avez assez pour m'en donner un; il faut lui demander ce que je n'ai pas. Quand il a fallu lui avouer que sa marraine n'était pas marchande de tableaux, je n'étais pas plus avancé, car elle voulait savoir ce que c'est qu'une Impératrice, et jamais je n'ai pu la contenter par mes définitions. Cela ne l'empêche pas d'être tous les jours ornée des rubans de

sa marraine; car je lui ai fait une rente de tous les rubans lilas qui enveloppent les envois de Votre Majesté, et au dernier il a fallu lui sacrifier même le grand cachet de la boîte. Elle le porte autour de son cou, pendu à son ruban lilas, et elle en prend le même soin que sa mère a de son chiffre.

O bénédiction divine! Voilà un bienfait qui m'arrive par la bonté de mon protecteur Bacchus! Votre Majesté en moins de trois pages coule à fond vingt points, et si je voulais seulement entamer une réponse, il me faudrait vingt feuilles, ce qui ferait 80 pages: heureusement pour Votre Majesté, il ne m'est plus permis d'en griffonner deux, tant je suis étouffant. Mais comme il ne serait pas bien et que ce n'est pas mon usage, de rien passer à Votre Majesté, je dois m'arrêter au quinzième point et lui observer très humblement qu'à la vérité je ne prétends pas nier que le maréchal prince Potemkine n'ait été, au départ des vingt points, depuis quatre jours à Petersbourg, mais qu'il ne m'en est pas moins impossible de lui accorder le surnom de Tauricien, quoique sa marraine l'appelle ainsi et que lui-même signe ses lettres de cette manière. Tawritcheski en russe veut dire en latin Tauricus. Tauricus veut dire en français le Taurien. Ce n'est pas ma faute si ce nom n'est pas plus long; le Taurien peut me jeter un regard foudroyant, il peut m'allonger une mine à me faire rentrer sous terre, mais il faut qu'il raccourcisse le nom que sa marraine lui a imposé. Et puis, il faut donc que je reste tout ébahi de ce qu'il est arrivé beau, spirituel, aimable, brillant et de bonne humeur? Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que la victoire embellit, et après une belle et glorieuse campagne devait-il arriver triste, maussade, hébété, et songe creux? Ja, wenn ich ſagen darf, die Mutter, allergnädigſte Frau, die Frucht der wahren Standhaftigkeit macht unſer einem zuweilen außerordentliche Zumuthungen. (Ce passage prouvera à Votre Majesté que je commence à savoir écrire en russe.) Le duc de Tronsac, aujourd'hui de Richelieu, à son retour d'Izmaïl ne m'a pas dit que le prince maréchal Taurien ne fût pas brillant, mais il m'a bien parlé de son extrême regret de ce que la mort de son père, qui, par parenthèse, n'est pas une perte, l'ait obligé de revenir ici en toute hâte et empêché de suivre le prince brillant à Pétersbourg et de se mettre aux pieds de la marraine du Taurien et de Katinka de Bueil. Il se flatte bien que ce qui est différé n'est pas perdu. Au reste j'ai écrit au bras droit du prince de bonne humeur, pour proposer à son Altesse deux officiers généraux de France, qui, ayant servi avec distinction et, dégoûtés du service militaire qui n'existe plus en France, veulent se vouer au service qui a pris la victoire à sa solde. Le bras droit, M. de Bühler, me mande de Iassi que ma lettre

est arrivée le lendemain du départ du prince brillant pour le trône rayonnant, et qu'il n'en sera que plus à portée de prendre les ordres de sa marraine sur l'objet de ma lettre. Je puis donc confier à Votre Majesté que l'un de ces officiers dont j'ai donné le signalement dans ma lettre est le cadet des Viomenil qui a le grand cordon rouge, l'autre est le comte de Vauban. Si cela devait avoir quelque suite, il faudrait marquer les conditions auxquelles on les établirait et fixerait dans le service qu'ils ambitionnent et qui est aujourd'hui le seul à ambitionner.

Je n'apprends pas à Votre Majesté que le comte de Ségur est nommé à l'ambassade de Rome; s'il quitte le chef de l'église grecque pour celui de l'église romaine, ce n'est pas sans un extrême regret. Il prétend que dans deux ou trois ans il aura sa liberté, et le premier usage qu'il en fera, sera de se mettre aux pieds du chef de l'église grecque. On dit beaucoup de bien de son successeur, M. d'Osmond, que je ne counais qne de vue. Il a déjà passé deux fois chez moi depuis sa nomination, mais ma maladie m'a empêché de le recevoir.

Douzième point. Je joins à la protection immédiate du grand Zimmermann la protection médiate du souffre-douleur pour implorer l'indulgence du sénat en faveur de Kotzebue. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sans le malheur cruel qu'il a eu de perdre sa femme, il n'aurait jamais demandé une prolongation de congé, et qu'il sera sûrement à sa place immédiatement après la saison des eaux. Je ne sais pas seulement où le prendre pour l'avertir du danger qu'il court, ne l'ayant jamais vu que pendant une matinée chez moi.

Vingtième et dernier point, en attendant la réponse aux autres. Que toutes les bénédictions du ciel environnent son ointe! Que tous les infidèles avec ou sans prépuce tombent à ses pieds, soit pour lui rendre un hommage libre et sincère, soit par le glaive qu'elle n'a jamais tiré que malgré elle, lorsqu'on l'y a forcée! Que dans sa miséricorde elle n'oublie jamais son souffre-douleur qui ne respire que par elle et pour elle et qui porte au pied de son trône glorieux l'hommage du plus tendre amour et du plus profond respect! Amen.

№ 25.

Allerunterthänigster, höchst eilfertiger und unvermutheter Vortrag.

A Paris, ce 19 (30) avril 1791.

Madame. Depuis le départ du grand messager Ollaïas ou Ollaus (dont l'orthographe me chiffonne toujours) et du petit messager Machkov (que Dieu

conduise et prenne en sa sainte garde!) j'ai presque toujours été malade, et il ne me reste plus d'autre parti que de partir incessamment pour les eaux de Bourbonne, de passer de là en Allemagne me rendre auprès de mon saint et d'aller de là vers la fin de juillet aux eaux d'Aix-la-Chapelle essayer si elles voudront mettre le sceau à un soulagement quelconque de mes étouffements. Au milieu de mes infirmités, ma tête et mon coeur sont restés entiers. Pour celui-ci, c'est tout simple: habité, comme il est, par l'immortelle, il doit être hors de toute atteinte; quant à la première, je crains que Votre Majesté Impériale ne me demande un certificat en forme de la part de la Faculté, pour être sûre qu'elle ne m'a point tourné, quand elle saura la démarche à laquelle je vais me porter. C'est que je vais tout uniment dépêcher un exprès à mon protecteur et bienfaiteur Bacchus, pour qu'il porte cette pancarte en forme de Vortrag aux pieds de Votre Majesté Impériale. Je ne lui ferai pas donner la patente de courrier, mais je lui ferai recommander d'aller aussi vite qu'un courrier. Je lui donnerai l'argent nécessaire pour aller. Lorsqu'il aura remis mon paquet à Bacchus, celui-ci lui remettra avec la réponse l'argent nécessaire pour son retour: bien entendu que si mon auguste Souveraine désapprouve la démarche que je vais faire, sans rien perdre de ses bontés, j'en serai puni et condamné à payer les frais de l'envoi et du renvoi de cet exprès, sans miséricorde aucune ou aucunière, comme il plaira de dire à mon auguste Souveraine. Voici, Madame, ce qui m'a déterminé à expédier cet exprès.

Je n'ai pas besoin de dire à Votre Majesté ce que c'est que le marquis de Bouillé. Il a commandé les forces françaises pendant la dernière guerre aux Antilles de la manière la plus brillante; c'est le seul homme de guerre qui se soit montré dans cette époque parmi les acteurs des différents partis. Ses talents militaires, son activité, son coup d'oeil, son intrépidité, sa détermination, prompte comme l'éclair et toujours sage, l'ont porté au plus haut degré de réputation dans sa patrie et lui ont attiré la plus haute considération de la part des ennemis de la France. Ses vertus particulières ont ajouté un nouveau lustre à ses succès militaires. Le plus noble désintéressement, la générosité qui l'a toujours accompagné dans la victoire, ont rappelé et fait revivre en lui ces qualités touchantes des anciens chevaliers. Aussi lorsqu' après la guerre il se montra en Angleterre, il reçut de cette nation, peu disposée à gâter les étrangers, des hommages si brillants que je ne crois pas que jamais général ennemi et surtout français en ait reçu de pareils. Ce fut bien pis en Hollande où il fut reçu comme un dieu, pour avoir fait rendre aux propriétaires, après la reprise brillante de Saint-Eustache, avec la plus scrupuleuse exactitude, tout ce qu'il put recouvrer du pillage scandaleux

exercé par les chefs anglais lors de la prise. Durant la paix le marquis de Bouillé alla presque tous les ans assister aux revues de Joseph et de Frédéric, et fut constamment traité dans les deux camps et par les deux souverains avec la plus grande distinction. Depuis la malheureuse révolution qui a anéanti la France, Votre Majesté n'ignore pas le rôle qu'il a joué. C'est le seul homme qui ait montré du caractère, et s'il avait été soutenu le moins du monde, il aurait sauvé la France; mais que peut-on pour ceux qui ne savent ni ne veulent s'aider? Il a souvent risqué depuis deux ans d'être massacré, assassiné, mis à la lanterne; son intrépidité et sa sagesse ont toujours déconcerté ces horribles projets, et en dépit des forcenés et des factieux, il a maintenu son autorité et fait respecter son nom au point que les Jacobins même n'ont pas osé murmurer lorsqu'en dernier lieu le roi lui confia une des quatre armées qu'ils veulent mettre sur pied, tant il s'était rendu inattaquable pendant tout le temps de son commandement à Metz. Voilà l'homme qui me détermine à dépêcher un exprès à mon protecteur Bacchus.

Ces jours passés je vis entrer chez moi à l'improviste le général de Heymann, qui a toujours été en second sous M. de Bouillé depuis la révolution et l'instant où il a pris le commandement de Metz. Lorsque je passai à Metz il y a sept mois, M. de Bouillé, en me parlant de ce général, me dit: je ne voudrais pas garder mon commandement 24 heures, si je n'avais pas cet homme avec moi. Heymann est un excellent officier de cavalerie. Il a suivi cette carrière avec passion. Il allait aussi tous les ans aux revues du roi de Prusse. En qualité d'Alsacien ou d'Allemand des bords du Rhin, il avait l'avantange de la langue avec les généraux Prussiens, qui ne se piquent pas de savoir d'autre idiôme. Il a connu Seidlitz et ce Wackenitz regardé par Seidlitz comme un officier de cavalerie du premier mérite, qu'une injustice de Frédéric éloigna de son service et donna à celui de Hesse. Heymann a aussi voyagé en Pologne avec M. de Conflans; il y a vu des troupes russes. Dans des temps plus paisibles il m'en parlait toujours avec passion quand je le rencontrais; et en homme toujours passionné pour le service de la cavalerie, il vous faisait partager son ivresse quand il vous parlait de ce qu'on pourrait faire des cosaques et avec des cosaques. Il me disait quelquefois: donnez-moi un corps de six mille Russes, et si je ne vous remets pas l'ordre partout en un clin d'oeil, vous me ferez mettre à la lanterne. Voilà, Madame, quelques traits caractéristiques pour reconnaître M. Bouillé et son ambassadeur auprès de moi, M. de Heymann.

Cet ambassadeur, après m'avoir remis sa lettre de créance, me dit qu'il arrivait de Metz, qu'il ne serait à Paris qu'un instant; que le prétexte de ce voyage était de conférer de la part du général avec le ministre de la

guerre sur plusieurs objets importants et urgents, mais que le véritable objet de cette course était de conférer avec moi et de me faire de la part de M. de Bouillé une ouverture qui me prouverait sa confiance, mais à laquelle il espérait que je répondrais aussi avec la plus grande franchise. La lettre de M. de Bouillé me priait simplement d'ajouter une foi entière à ce que me dirait le général de Heymann de sa part. Je jugeai aisément d'après ces préliminaires que M. de Bouillé ne croyait plus sa place tenable et qu'il désespérait du salut de la France: car je le connaissais pour trop attaché à son pays pour abandonner son poste s'il pouvait conserver le plus léger espoir pour le retour d'un ordre quelconque. Je ne me trompai point.

Avant d'exposer ici les propositions qui m'ont été faites de sa part, je dois dire quelle est sa position. M. de Bouillé a tout au plus 60 ans. Ses succès lui ont procuré le grade de lieutenant-général de très bonne heure. A la paix en 1782 il eut le cordon bleu et toutes les distinctions que ses services et sa réputation devaient lui attirer. L'année dernière, après l'expédition de Nancy, qui prévint un embrasement général, tandis que la canaille des rues qu'on appelle aujourd'hui la nation, hurlait aux Tuileries pour demander sa tête, l'Assemblée nationale, en dépit de tous les enragés et tous les Jacobins, fut obligée de lui décerner des remercîments, et le roi lui fit offrir le bâton de maréchal de France à cause de l'importance de ce service. M. de Bouillé se contenta de l'approbation civique de l'Assemblée et refusa le bâton, disant qu'il serait sans doute bien glorieux d'obtenir pour un fait militaire cet honneur suprême; mais qu'il ne croyait pas le mériter pour avoir rétabli l'ordre dans une ville. Cependant il n'avait certes jamais couru autant de dangers qu'à la journée de Nancy, ni déployé dans aucune affaire plus de nerf, de sagesse, de présence d'esprit, d'intrépidité et de mesure. Le Roi lui fit donc présent d'un cheval de ses écuries et l'Assemblée lui diminua ses appointements: car c'est un des grands moyens de l'auguste nation assemblée de donner à toutes les premières places un traitement d'une mesquinerie tout à fait édifiante. Le sien fut réduit à 40 mille livres que sa table seule doit absorber, et lorsqu'il y a quelques mois, on exigea de lui de faire plusieurs centaines de lieues pour visiter tous les postes de son gouvernement, on lui refusa jusqu'à cent louis pour les chevaux de poste, tandis que, sous l'ancien détestable régime du despotisme et de l'oppression, un simple maréchal de camp inspecteur avait huit mille livres. Depuis l'expédition de Nancy, qui aurait suffi pour rétablir l'ordre dans le royaume si l'Assemblée nationale n'avait pas jugé à propos d'abolir toutes les informations contre les coupables et d'encourager le crime par l'impunité solennellement prononcée, les choses n'ont cessé d'empirer de mois en mois, de

semaine en semaine; les restes de la discipline militaire ont été anéantis et toutes les troupes désorganisées à un tel point par les principes de l'égalité et les droits de l'homme, qu'on peut assurer qu'il n'existe plus d'armée en France. M. de Bouillé, qui a prévu ce malheur de loin, a bien promis de tenir bon dans son commandement le plus longtemps qu'il lui serait possible, mais il a aussi exigé et obtenu pour condition qu'il serait le maître de quitter son commandement d'un moment à l'autre, dans les 24 heures, de le remettre au plus ancien de ses officiers, et de quitter même la France, s'il jugeait ne pouvoir plus remplir ses devoirs dans le poste où il a tenu depuis près de deux ans comme par miracle. Dans ces derniers temps l'Espagne a voulu l'attacher à son service sous les conditions les plus avantageuses. L'Angleterre lui a fait faire les offres les plus séduisantes, mais la seule probabilité d'être dans le cas, en acceptant, de porter les armes contre son pays, les lui a fait rejeter. Il n'a pas été aussi négatif envers l'Espagne, mais, Madame, le voeu de son coeur, son goût, l'intérêt de sa gloire seraient de se vouer au service de Russie. Il prétend qu'il n'y a plus que là qu'il existe une tête souveraine, et ce dogme devient de plus en plus celui de l'église universelle; il croit que c'est un plaisir de se sacrifier pour elle, et moi, je dis: heureux, trois fois heureux celui dont c'est la glorieuse destinée! Il va jusqu'à se flatter qu'en cas de rupture avec les Anglais, il serait assez heureux pour rendre à cette Souveraine immortelle des services essentiels. Toute sa carrière militaire l'a obligé d'étudier le fort et le faible des ennemis qu'il avait toujours en tête; toutes ses expéditions ont toujours été moitié de terre, moitié maritimes, et le succès qui les a presque toutes couronnées prouve que ses observations n'ont pas manqué de justesse. Il ne demande certainement pas un commandement maritime sur les flottes de Votre Majesté, mais il ose présumer qu'embarqué avec ses amiraux, ayant un commandement quelconque sur des troupes de transport ou marines, il rendrait peut-être des services très essentiels; il se flatte que connaissant l'allure et les manoeuvres des Anglais, il pourrait leur faire porter des coups dont ils seraient loin de se douter, et que la guerre de la plus juste défense pourrait en quelques occasions devenir offensive d'une manière très sensible pour les aggresseurs. Tout ce que je me permets de croire sur ces objets, c'est que l'Impératrice ne trouverait pas un Paßgänger dans M. de Bouillé. Il prétend que par la même raison le général de Heymann serait excellent à employer dans l'armée de Livonie contre les Prussiens, parce qu'il connaît la machine de leur cavalerie, son fort et son faible, au bout des doigts, et il soutient, non sans beaucoup de raison suivant mes faibles lumières, qu'à la guerre rien ne donne de plus grands moyens de succès que de pos-

séder parfaitement la connaissance de la composition, des pratiques et de l'allure de l'armée qu'on doit combattre, arrêter ou ruiner.

Maintenant je supplie mon auguste Souveraine de se mettre un instant à la place de son souffre-douleur et de juger de sa perplexité. Je reçois cette ouverture au moment même où la levée de bouclier de M. Pitt rend la rupture de l'Angleterre et de la Prusse avec la Russie imminente et inévitable. Toutes les lettres d'Allemagne s'accordent sur ce point. Votre Majesté verra quel est le sentiment du prince Henri et à quel point il croit la démarche anglaise décisive et irracommodable. Je sais par une voie authentique qu'à l'office de la cour de Danemark, qui est, je crois, du 8 mars, le ministère britannique s'est contenté de répondre qu'il était fâché de ne l'avoir pas reçu plus tôt, mais qu'actuellement c'était trop tard. Tout annonce qu'avant la fin du mois où nous allons entrer, le pavillon anglais flottera dans la Baltique et l'armée prussienne se sera mise en mouvement. Dans cette circonstance m'arrive l'ambassade de M. de Bouillé. Lui seul a le droit de me rendre perplexe; tout autre ne m'aurait pas fait sortir de mon assiette, et j'aurais attendu sans impatience le premier messager de l'immortelle pour lui rendre compte paisiblement de ma commission. Je suis loin de présager si Votre Majesté Impériale pourra ou voudra accueillir la proposition de M. de Bouillé et agréer ses services. Je conçois que la justice et la sagesse souveraines peuvent trouver des obstacles insurmontables à placer un étranger au milieu ou, comme j'aime à croire, à la fin d'une guerre que la victoire a constamment secondée et où par conséquent tant de généraux russes ont acquis des droits à sa bienveillance et aux récompenses. Plus la réputation du général étranger est brillante, plus il peut être difficile dans ce moment de lui trouver sa place. D'un autre côté, si l'explosion annoncée de toutes parts doit avoir lieu, et qu'il plaise à l'immortelle d'agréer les services de M. de Bouillé, ce n'est pas à la fin de la campagne, c'est dans six semaines au plus tard que lui et son bras droit Heymann doivent être rendus à leur destination et à portée de commencer leur service. C'est donc la seule possibilité que Votre Majesté agrée la proposition, quand elle serait même dépourvue de toute vraisemblance, qui me dicte le parti auquel je m'arrête. Ne pouvant lui faire par la poste une ouverture qui exige le plus grand secret, ainsi que la réponse impériale, ne pouvant non plus la retarder sans la rendre inutile, je me détermine à adresser ce paquet à mon protecteur Bacchus. Le général de Heymann, qui va repartir, le portera à Metz. Il dira à M. de Bouillé qu'il ne m'appartient pas de lui faire aucune réponse à sa proposition, mais que je la crois assez importante pour qu'elle arrive au pied du trône sans délai et par une voie sûre. En conséquence M. de Hey-

mann choisira à Metz un officier de hussards de confiance, parlant l'allemand, qui portera ce paquet à Pétersbourg en toute diligence et le remettra à mon protecteur Bacchus avec une tendre lettre de ma part. Il sortira du royaume sous prétexte d'aller acheter des chevaux. Arrivé à Francfort, je lui ferai compter l'argent nécessaire pour faire sa course à Pétersbourg. Bacchus, en lui remettant en réponse les ordres de Votre Majesté pour son souffre-douleur, lui donnera l'argent nécessaire pour son retour. Bien entendu, comme il est dit ci-dessus, que si la volonté souveraine condamne cette mission comme téméraire, déplacée, étourdiment consentie de la part du souffre-douleur, le dit soit irrévocablement condamné à payer et à rembourser l'allée et le retour de cette course par forme d'amende; il est assez riche des bienfaits de sa suprême bienfaitrice pour pouvoir être rappelé à l'ordre et fixé dans sa sphère de nullité par une forte correction. Il sera enjoint au hussard officier, voyageur et porteur, de me porter la réponse de mon protecteur Bacchus à Francfort, soit chez le comte Nicolas de Romantsov, soit chez messieurs les frères Bethmann. Quand même je ne serais pas à Francfort, il y trouvera des renseignements pour me remettre mon paquet en toute sûreté. Je me trouverai vraisemblablement déjà en Allemagne à son retour, après avoir donné trois semaines aux eaux de Bourbonne. Il ne serait pas impossible que M. de Bouillé fût aussi déjà rendu à Francfort pour y attendre les résolutions suprêmes à son sujet: un décret rendu hier par l'auguste Assemblée autorise tous les soldats d'assister aux assemblées des clubs de constitution; c'est le coup de grâce porté à la discipline et qui rendra désormais tout commandement militaire impossible. Je crois que M. de Bouillé usera de son droit de quitter le sien dans les 24 heures.

Je termine cette dépêche par l'original de la lettre de créance que M. de Bouillé a donnée à son ambassadeur près de moi, et par l'original aussi des conditions sous lesquelles il ambitionne de servir Votre Majesté Impériale. Cette dernière pièce ne devait pas m'être montrée, et ne devait que servir de direction à l'ambassadeur négociateur dans ses conférences avec moi; mais je m'en suis emparé, parce qu'il faut aller au fait, surtout dans une négociation aussi pressée que celle-ci. Il résulte de cette négociation que c'est en qualité de général en chef que M. de Bouillé prétend débuter, et je ne fais nul doute que s'il acceptait les propositions de l'Espagne, on ne lui accordât dans ce service le grade de capitaine général qui équivaut à celui de maréchal. Je suppose que le général Heymann voudrait débuter dans le grade de lieutenant-général; nous n'avons pas encore traité ce dernier point explicitement, mais en se vouant au service de Votre Majesté, il prendrait dès à présent l'engagement d'y rester toute sa vie. M. de Bouillé conserve

peut-être au fond de son coeur une faible espérance du rétablissement d'un ordre quelconque en France et de la possibilité d'y reprendre un service militaire. Il n'y a que cette illusion, bien frivole en ce moment, qui puisse l'empêcher de prendre un engagement irrévocable et de l'étendre au delà de la guerre présente. J'ai gardé, Madame, pour la fin le point le plus difficile à arranger. En quittant la France, M. de Bouillé voudrait faire honneur à ses affaires, payer ses dettes etc. J'ai donc dû demander à quoi devait monter cette gratification honnête dont il est question dans l'instruction secrète, pour remplir tous les objets y spécifiés; et il m'a été repondu: à 150 mille livres de France. J'ai fait pareille demande sur la gratification du général ambassadeur, et il m'a répondu: a 80 mille livres de France. Le tout pour pouvoir finir tout ici en peu de jours et arriver à tire d'ailes au séjour où la gloire les attend. S'il était dans la volonté suprême d'accorder ces sommes, il faudrait me les assigner à ma disposition à Francfort sur le Mayn, car c'est là le centre où je me réunirais avec ma pacotille de héros et d'où ils partiraient pour la gloire. M. de Bouillé mènerait, comme de raison, son fils avec lui pour le faire débuter dans le métier des armes. Je pense que sa femme resterait préalablement en France. Quant aux officiers de toute arme qu'il propose de mener avec lui, il plairait sans doute à Votre Majesté de s'expliquer sur ce point et sur leur nombre, si le point est agréé. Le général Heymann a été fort content de mon plan de campagne contre les Prussiens, et pense comme moi que, sans verser le sang en bataille rangée, il doit exister un moyen infaillible dans la guerre qu'ils entreprennent, de ruiner leur armée en lui coupant les vivres et les subsistances, et il s'en fie à cet égard à ses cosaques. Nous pensons aussi que la flotille dont j'ai abandonné le commandement à Votre Majesté par ma dernière pancarte, pourra être de la plus grande importance tant contre les Anglais que contre les Prussiens. Ah, si je ne craignais pas ce que mon auguste Souveraine appelait dans le temps de ma prospérité l'hommerie, en amalgamant pendant la campagne le marquis de Bouillé avec le prince de Nassau, quel bien ne pourrait-il pas résulter pour les armes de la Souveraine immortelle! Et certes, la moisson de gloire pourrait être plus que suffisante pour l'ambition de deux grands coeurs.

Ce 21 avril (2 mai).

C'est aujourd'hui la plus grande de toutes les fêtes du taudis du souffre-douleur. Tout était préparé pour la célébrer avec le plus grand éclat. Katinka et son frère M. Catau, heureusement rétablis de leur inoculation, s'étaient présentés avec leur mère dès le matin au lever du dit souffre-dou-

leur en grand gala pour lui rendre leurs hommages et chanter un hymne à la gloire de leur auguste marraine. Les symptômes de paix qui m'étaient venus depuis deux jours d'Angleterre et d'Allemagne, ne contribuaient pas peu à rendre la joie et la pompe de cette fête complètes; l'envoi de M. Fawkener me paraissait le plus heureux présage pour l'accomplissement de mes voeux. La lettre du 17 avril, qui m'arrive en ce moment de Reinsberg, et dans cette lettre une seule ligne, comme Votre Majesté pourra voir, a tout détruit en un clin d'oeil, et changé mes cris d'allégresse dans un morne silence. Si cette ligne se vérifie, tous les maux dont mon auguste Souveraine m'avait si efficacement guéri l'été dernier, vont me reprendre et achèveront promptement de me conduire à mon dernier étouffement. Je vais copier ces fragments de Reinsberg et puis fermer mon paquet et le remettre au général Heymann pour le faire porter au plus vite par Bacchus au pied du trône. Ma taciturnité subite ne m'empêche pas d'unir mes voeux silencieux en ce grand jour aux cris de Katinka et de son frère Catau pour la gloire et la permanente satisfaction de leur imperturbable marraine. Ce n'est pas ma faute, si le grand pâtissier, en pétrissant mon âme immortelle, a oublié d'y mettre quelques drachmes de cette pâte imperturbable. On dit qu'occupé déjà alors de la création qu'il projetait pour l'année 1729 à Stettin, il a été pendant les dix années qui ont précédé son année merveilleuse, très chiche de tous ses bons ingrédients, afin de les entasser et pétrir tous dans ce moule unique, et quand il s'est aperçu que son succès surpassait encore son attente, il a dans le premier accès de joie étourdiment cassé son moule, de sorte qu'onques depuis il n'a plus rien fait qui vaille, et voilà la véritable clef que peu de gens connaissent, de ces années de disette qui ont précédé et si longuement suivi le grand phénomène de Stettin.

Tout le monde me demande s'il est vrai que M. Sénac de Meilhan, exintendant de Valenciennes, et voyageant depuis la révolution en Italie, a passé au service de Votre Majesté en qualité d'historiographe avec cinq mille roubles d'appointements. Je réponds que je n'en sais rien, mais qu'en tout cas, il a là un emploi bien oiseux, parce que c'est l'Impératrice qui depuis 29 ans écrit tous les jours son histoire sans user ses plumes et son papier. On me demande si c'est sur de l'airain. Je réponds que je n'en sais rien, mais ce que je crois, c'est que le style dont elle se sert, grave pour l'immortalité. Il est très déplaisant d'être toujours questionné et d'avoir toujours à répondre: je n'en sais rien.

M. de Kotzebue me mande qu'il a reçu par le canal du grand Zimmermann la prolongation de son congé. Il en bénit le ciel et l'immortelle qui a fléchi la rigueur du sénat.

Le comte de Forstenbourg, frère naturel de feu Zelmire, me fut recommandé par son père, qui l'aime plus que tous ses enfants légitimes, il y a plusieurs années. Je le plaçai dans le régiment de Schomberg, corps de la plus grande réputation. C'est un sujet charmant, dont je n'ai jamais entendu parler sans éloge. Il devait rester au service de France, et tous ceux qui le connaissaient lui prédisaient une carrière brillante. L'année dernière, dégoûté de tout ce qui se passait ici, il alla en Allemagne dans l'espérance de guerroyer. Son père lui défendit d'approcher ni de la Silésie ni de Berlin, et lui signifia qu'il ne voulait pas qu'il tâtât du service prussien. Il resta plusieurs mois à se morfondre à Dresde, mais toujours obsédé de l'idée de servir en Russie où, si je l'avais cru, je l'aurais proposé du moment où la guerre avec les infidèles éclata. Enfin au commencement de l'hiver il me mande qu'il a demandé et obtenu de son père la permission d'aller en Russie et d'y servir s'il en peut obtenir l'agrément. Il prend son recours à la protection du tout-puissant souffre-douleur. Tandis que je lui fais déconseiller ce voyage, que je le désapprouve, que je lui fais entendre, le mieux que je puis, que la circonstance la plus favorable à le faire remarquer, celle d'être fils de son père, pourrait bien ne pas lui être fort avantageuse en ce moment, il était déjà en route et mes sages conseils arrivèrent comme moutarde après dîner. Très heureusement pour lui: car sa première lettre de Pétersbourg porte qu'il a débuté sous les auspices les plus favorables; qu'il a été au bal chez M. le vice-chancelier, que le prince de Nassau lui a demandé s'il voulait servir; que le prince maréchal Potemkine Taurien, et non Tauricien, l'avait placé dans son régiment des cuirassiers avec le grade de major; que son ami et compagnon, Charles Schweizer, aussi du régiment de Schomberg, avait eu la même faveur et le même grade; que le prince le traitait à merveille; qu'il devait être présenté le surlendemain à l'Impératrice, et qu'on l'avait assuré que Sa Majesté était favorablement prévenue en sa faveur. Et puis, avisez-vous, monsieur le souffre-douleur, d'étaler votre profonde sagesse vis-à-vis d'un rejeton d'un amour illégitime qui, pour toute réponse, peut vous rire au nez: en vérité, cela dégoûte du rôle d'oracle si recherché autrefois. Je suis obligé de prévenir mon auguste Souveraine que je ne pourrai me dispenser de recommander à sa haute bienveillance le jeune prince de Craon, qui va aussi faire ses premières dévotions au temple de la gloire et suivant les circonstances, si elles lui sont favorables, chercher à débuter dans le service de l'immortelle. C'est l'unique rejeton d'une illustre maison. Je ne le connais point, mais je suis attaché depuis 35 ans à son oncle, le maréchal prince de Beauvau qui, n'ayant pas vu les choses de près, s'imagine qu'un souffre-douleur impérial ſey gar ein großes und anſehnliches

Thier am griechisch-kaiserlichen Hof. Ce n'est pas à moi de le désabuser, les faits parleront de reste.

Nous avons possédé ici le duc de Würtemberg pendant plusieurs semaines. Il faut qu'il ait aussi une haute idée d'un souffre-douleur impérial, car il lui prodigue les soins les plus recherchés. Il me fait souvent demander audience et ne se paie pas de refus; il faut l'admettre bon gré mal gré. Dans une de ces audiences il m'a notifié formellement que le Pape a reconnu son mariage pour très bon et très canonique, et j'en suis d'autant plus charmé pour le Saint-Père, que j'ai toujours aimé, et pour moi, que l'épouse canonique a, je crois, son premier mari vivant, et qu'elle est de la communion luthérienne comme moi, c'est-à-dire de la seule à qui les joies du ciel soient exclusivement réservées.

Le duc de Richelieu, dont le nom ismaïlitique était Fronsac, et qui vient de faire une course à Londres, a la tête tournée de sa croix de Saint-George, il en a une joie d'enfant. Il ne tardera pas longtemps à se mettre en route pour Iassi. Il dit que le peuple anglais ne veut pas entendre parler de la guerre avec la Russie et qu'il l'affiche en gros caractères à tous les coins des rues, afin que le ministère n'en prétende pas cause d'ignorance.

30 avril (11 mai).

Voilà donc encore un Te Deum dont le souffre-douleur est obligé de faire les frais dans sa chapelle, et que Katinka et son frère Catau et leur mère Emilie vont brailler avec lui en actions de grâces de la victoire du prince Galitsine et de la courtoisie de Hassan-Samsondgi-Bacha, bras droit du foudre de guerre Jussuf-Pacha, qui a bien voulu procurer au prince Galitsine l'occasion de lui présenter quelques rafraîchissements. Je supplie Votre Majesté de considérer que je me suis assez enroué à chanter des Te Deum pour victoires et conquêtes, et que si cela ne finit point, il ne me restera plus un filet de voix pour le Te Deum de la paix après lequel je soupire jour et nuit.

Le général Heymann a été retenu ici par le ministre de la guerre jusqu'à ce moment, mais enfin il part demain. Rien n'ayant changé depuis douze jours, et les apparences de guerre étant les mêmes, je donne ce paquet au général à emporter et persiste dans mon projet de le faire porter à Bacchus par un exprès. Je sais même de très bonne part que le comte de Schulenbourg, qui est, à ce qu'on m'assure, ce qu'ils ont de mieux à Berlin, après avoir, dans une effusion de coenr envers quelqu'un, déploré la manière dont les affaires politiques de son maitre avaient été conduites de-

puis le commencement de son règne, a ajouté avec chagrin: «Telle est aujourd'hui la position où l'on nous a précipités que si nous ne faisons pas la guerre, c'en est fait de la réputation et de l'existence prussienne». Il estimait donc la guerre inévitable. On dit aussi qu'on a trouvé dans les papiers du feu roi un mémoire où il recommande sur toutes choses de ne jamais entreprendre une guerre pareille à celle qu'on projette, et où il donne cependant le seul plan de campagne praticable si l'on était réduit à la nécessité de la faire, et que c'est ce plan qu'on se propose de suivre. Dans cette position de choses je persiste à penser que ce n'est pas à un chétif souffre-douleur à décider si la proposition d'un homme tel que M. de Bouillé, qui connaît parfaitement et profondément les Anglais et la machine prussienne, et de son bras droit Heymann, qui possède aussi cette dernière à fond, mérite ou non l'attention de l'immortelle, et je ne peux m'en assurer que moyennant un exprès. J'exige que ma souveraine dominatrice me dise: souffre-douleur, *j'approuve* ou bien je *désapprouve* ta conduite. Cela suffira pour la faire juger par les gens de Grimma en dernier lieu et sans appel. Quant aux deux sommes ci-dessus indiquées, je viens de m'en expliquer avec M. de Heymann; il suffirait qu'ils pussent en disposer entre mes mains dans tout le courant de l'année. Je ne leur paierais d'abord que ce qu'il faudrait pour les frais de leur équipage et de leur voyage, et successivement ils m'assigneraient, après leur arrivée à leur glorieuse destination, ceux à qui ils doivent en France, et je les paierais. Je n'aurais donc besoin que d'une lettre de crédit à Francfort sur les sommes en question, et je ne les toucherais que successivement par portion sur les mandats des deux généraux. Je suis au bout de mon temps, de mes forces et de mon papier; mais mon coeur n'est pas soulagé. Il faut que j'expire victime de ma passion et de ma dévotion pour l'immortelle; c'est une mort bien violente et bien douce.

Instruction de M. le marquis de Bouillé à son ambassadeur M. de Heymann.

Je demande un grade supérieur à celui que j'ai dans le commandement d'un corps en activité, une pension quelconque assurée après la fin de la guerre, ou à mon fils, si je meurs pendant la guerre, une gratification honnête pour l'arrangement de mes affaires, mes frais de voyage et mon équipage.

Un grade supérieur pour l'officier général et les officiers que je mènerai avec moi, et les mêmes avantages dans la proportion.

C'est dans le cas de guerre qu'on propose de servir en Russie, et d'y mener de bons officiers de toute arme. Quand elle sera finie, il me sera libre de rester au service de Russie ou de la quitter. Et dans le premier cas, il me sera donné un commandement assorti à mon grade.

Extraits de la correspondance de Reinsberg avec le souffre-douleur, relatifs à un seul objet.

PRÉFACE.

Pour pouvoir juger équitablement ces différents fragments, il sera nécessaire de se replacer dans le moment que leurs dates respectives indiquent.

Année 1790.

Du 22 janvier.

Oui, mon ami, il est très possible que le feu de la guerre s'allume, dans les commencements point en Allemagne; mais si les événements sont contraires, cela pourrait bien finir en Allemagne. Ce feu de discorde nous vient d'un favori ultramontain du feu Roi[1]). La paix avec les Turcs et la mort de l'Empereur qu'on regarde comme certaine, pourraient conserver la paix. Certaine grande dame d'ailleurs, si elle voulait un peu, assoupirait facilement ces troubles. Je ne suis point mêlé dans tout cela, Dieu merci.

Du 6 février.

Un voyage de six jours à Berlin m'a empêché de vous écrire. Quoique le Roi ait de bons procédés et tout l'extérieur de l'amitié pour moi, j'ai été néanmoins très content de revenir dans mon ermitage. Je suis trop vieux pour me traîner là où je ne suis ni utile ni nécessaire; d'ailleurs la société a si fort changé que sur dix personnes que je rencontre, à peine en connais-je une. J'ai vu Nesselrode, sans beaucoup lui parler; mais j'ai pu un peu plaisanter. Je souhaite qu'il fasse un long séjour à Berlin. Au reste j'ignore si nous aurons guerre ou paix, et je crois que tout le monde l'ignore. Ce que je sais pour sûr, c'est qu'en cas de guerre, on ne songera pas à moi. Je n'en suis nullement affligé; je le serais si j'étais obligé de m'embarquer dans un mauvais navire.

Du 18 février.

Quand on a joué 64 ans la comédie sur le théâtre de ce monde[2]), on fait bien de tirer le rideau, avec d'autant plus de raison qu'on ne m'offrira

---

[1]) Le marquis de Lucchesini.

[2]) A propos de son 64 anniversaire

jamais un rôle à jouer, et que c'est encore un bonheur de pouvoir se retirer d'une troupe composée de tant de mauvais acteurs.

Du premier mars.

Mes craintes de la guerre s'affaiblissent de jour en jour. Je n'y ai jamais trop cru, et je suis très content de ne m'être point trompé dans mon calcul, parce que c'eût été un grand malheur pour ce pays-ci. Ajoutez à cela ce que vous saurez à l'heure qu'il est; que Joseph est mort le 20 du mois passé. On assure que son successeur est très pacifique, mais ces messieurs, héritiers de couronnes, changent quelquefois avec leur fortune. Je veux le voir assis sur son trône d'Hongrie et de Bohême avant de le juger. Il aime l'argent, à ce qu'on dit, autant que feu son frère. On ne croit pas qu'il veuille rester lié étroitement avec les amis de feu son frère; on dit ici que ces derniers recherchent l'amitié d'Albion. Je vous conte toutes ces fadaises politiques, auxquelles je n'ai aucune part.

Du 7 mars.

Nous sommes encore dans l'incertitude sur la paix et la guerre. Je n'en sais autre chose que ce que le public et quelques anciens amis m'apprennent. C'est notre grand Hertzberg qui met le fer dans la forge. Il serait digne d'une place parmi les enragés; son éloquence, à la vérité, céderait à celle des Barnave et des Mirabeau; mais en revanche personne ne dirait plus noblement des injures. J'espère que, malgré tout son venin, la tranquillité se rétablira. Puisse votre santé en faire de même!

Du 22 mars.

Je ne crois nullement à la guerre. Je n'y ai jamais cru. Il est vrai qu'il se fait des choses si extraordinaires dans ce petit coin du monde que je suis trop téméraire peut-être de prononcer si hardiment mon opinion sur un contingent futur; mais je raisonne d'après la position actuelle. Elle n'est pas telle que nous puissions guerroyer, à moins de prendre un grain d'ellébore de plus: car nous sommes à la mode, et nous avons aussi nos enragés.

Du 29 mars.

Je crains que mes conjectures ne se vérifient pas. Depuis qu'un Italien [1]) s'est mis dans la politique, et qu'il vise continuellement au même but, quoi-

[1]) Le marquis Lucchesini.

qu'il ait été souvent contrarié dans ses entreprises, il ne faut jurer de rien. Il paraît par mes dernières lettres qu'il a envoyé un grimoire de conséquence: et s'il est signé, vous jugerez vous-même combien les difficultés deviendront plus grandes pour remettre l'ordre et l'harmonie sur ce vilain tas de boue qu'on appelle le monde, et où il y a depuis un an tant de troubles et de désordres, tandis que le bonheur n'est nulle part. Nous pourrons nous adresser des jérémiades réciproquement.

P. S. Dieu sait où j'établirai mon séjour; car ce qui est certain, c'est que je n'entre pour rien dans tout ce qui se fait, et que, si la barque se met en mer, les pilotes sont déjà choisis.

Du 2 avril.

Je ne suis pas joyeux et n'ai nul sujet de l'être. Je crois que les orages éclateront de tous côtés. Il est impossible de se former une idée des choses d'ici; cela ressemble à une assemblée nationale; dans le moment je ne puis trouver une comparaison qui me paraisse pire. Pensez un peu, mon cher ami, à quelque endroit où nous puissions réunir quelques amis et passer quelques mois tranquillement ensemble. Il faut que je sorte d'ici. Le soupçon seul que je puisse savoir quelque chose et opiner du bonnet me blesse. Cela est si peu vrai que l'on ne m'écrit ni ne me dit rien. Un Italien, un fou de ministre [1]), un bon homme [2]) brassent tout entre eux; c'est une affaire horrible. Enfin, il faut que j'en sorte; mais comme par cet événement mes finances pourraient se trouver étrangement dérangées, il faudrait faire tomber le choix sur un petit endroit où l'on vivrait à bon marché.

Du 5 avril.

Que ne puis-je soutenir vos espérances à l'égard de la paix! Je raisonnais d'après le peu de bon sens que la nature m'a départi, et d'après quelques légères connaissances que mon expérience me donne; mais la politique entre certaines mains devient un vrai labyrinthe, et nous sommes à cet égard en aussi grande confusion qu'on l'est en France, avec la différence que chez vous c'est presque toute la nation qui a pris de l'ellébore, tandis que chez nous des gens de toute espèce en ayant pris une bonne dose, bouleversent tout. Je me trouve au milieu de tout cela, sans qu'on me demande

[1]) Le grand comte de Herzberg.
[2]) Fr. Gu.

mon avis sur la moindre chose, et j'avoue que je le dois envisager relativement à moi comme un bonheur; écarté comme je suis, le blâme ne peut tomber sur moi. Si je devais être consulté par ces ligueurs, je les quitterais bien vite, et la partie la moins saine, qui est la multitude, m'accuserait d'abandonner les intérêts de la patrie. Une lueur reste encore: on prétend que les Anglais veulent la paix, et je crois que Léopold ne sera nullement difficile, mais je crains un peu votre grande amie, laquelle est d'une roideur extrême: enfin il faut attendre. Le duc [1]) a été appelé pour une couple de jours. S'il avait autant de force d'esprit dans la discussion sur des objets graves qu'il a de courage vis-à-vis d'une batterie de canons, tout serait bien; mais c'est là le grand mais... Le reste est —

Un tas de gens sans nom,
Qui, lâchement flatteurs etc.

Un ministre [2]) parmi eux, qui se dit homme de lettres. Je ne sais si vous l'en croyez sur sa parole, car vous aurez lu ses contes bleus.

Du 16 avril.

Mais je m'occupe de ce qui se passe chez vous, tandis que les papillons noirs voltigent autour de moi: non que je sois occupé par des affaires; je les sais toutes à la vérité, mais ceux qui auraient pu me les dire il y a plusieurs mois, me les cachent jusqu'à ce moment. On distribue le commandement des troupes, on arrange, dérange, on fait du fracas; je dois même vous avouer que dans l'état des choses je suis très content de me trouver hors de cour et de procès. L'armée entière avec armes et bagages sera prête à marcher le 16 du mois prochain. Je crois qu'on transportera même une partie de cette armée en Silésie, et qu'y fera-t-on? Je réponds la paix. Je ne puis juger que d'après mes lumières et avec les données que j'ai, et j'en conclus la paix. L'homme qui était fou lorsque j'étais à Paris, ou pour mieux dire, son grand homme d'affaires [3]) s'y emploie tout entier, et à moins que votre grande amie, la Catau de Voltaire, ne s'y oppose, elle se fera, et c'est encore pour d'autres que pour nous-mêmes que notre argent aura été dépensé. Ce tableau doit m'obtenir mon pardon, si je vous parais avoir de l'humeur.

---

[1]) De Brunswic.
[2]) Hertzberg.
[3]) Frère George et M. Pitt.

Du 30 avril.

Je n'ai pu, mon cher ami, vous écrire plus tôt. Les maux domestiques m'affligent. Quoique je n'entre pour rien ni politiquement ni militairement dans le désordre politique et militaire de ce pays, j'en sens encore le poids, et comme les suites en pourraient être fâcheuses, je me prépare à l'éprouver encore davantage. A la fin de ma carrière je me trouve dans le cas des Danaïdes: car à quoi me sert-il d'avoir exposé mes jours pendant onze campagnes, d'avoir fait deux voyages en Russie, d'avoir passablement réussi à Versailles en 1784? Tout est détruit, et comment? et par qui? Ah, il y a des démagogues partout! Cependant il reste encore une lueur d'espérance, mais elle est faible; d'ailleurs l'ineptie engage une discorde qu'il sera difficile par la suite de terminer.

Du 3 mai.

La situation de la France est affligeante, mais sous d'autres formes nous serons ici peut-être très mal aussi. Ce n'est pas qu'on ne pût encore très bien se tirer du labyrinthe où l'on s'est engagé; mais avec les ouvriers qui sont en place, on ne peut rien espérer de bon. L'armée avec armes et bagages pourra entrer vers la fin du mois en campagne; au moins elle fera une promenade en Silésie, et cet intervalle pourrait encore devenir utile. Il est douloureux de voir dépérir autour de soi l'édifice auquel on a travaillé; mais quand on n'a aucun reproche à se faire, quand on n'a aucun moyen pour l'empêcher, il faut se résigner.

Du 6 mai.

Nous sommes ici entre le ziste et le zeste. Si la raison, le bon sens, la saine politique nous gouvernaient, je vous dirais: nous conserverons la paix; mais comme les têtes chez nous sont d'une nature nullement surprenante, que la cervelle n'est pas placée dans des organes très élastiques; que le gros bon sens que les Allemands ont quelquefois, a été confondu par du jus sarmate [1]); que ces têtes ont donné dans un labyrinthe, et que lorsqu'elles ne sauront comment en sortir, elles s'en reposeront sur leurs bras, pour frapper à droite, à gauche, même au vent, tout ce beau raisonnement me fait connaître que je ne suis qu'un sot, car je ne comprends rien à leur

[1]) Cette expression, qui ne présente pas un sens bien déterminé, n'est pas autrement lisible dans l'original.

sublime conduite. Dans une couple de semaines on dit que toute l'armée se mettra en marche. Je crois qu'on tirera à la courte paille paix ou guerre, car la raison est logée très loin de là. Vous voyez, mon cher ami, que je vous rends folies pour folies. Les vôtres vous viennent d'esprits exaltés; des nôtres il faut rayer le mot esprit totalement.

Du 17 mai.

(48-e anniversaire de la premiere bataille à laquelle j'assistai).

Mais je raisonne sur les affaires de France, et ne suis rien moins qu'un aigle dans mon pays. Il est impossible d'y porter un jugement. Plus il serait dans les règles, plus il serait trompeur; et comme les bases qu'on a voulu établir pour faire la guerre sont mauvaises, il s'en suit que tout ce qui se fait est versatile. Je vous jure que dans ce moment personne ne peut assurer si la guerre se fera ou si l'on conservera la paix. Je penche pour la dernière de ces opinions, point du tout parce que c'est sans contredit le parti le plus sage, mais par un motif fondé sur les petites causes [1]) qui influent sur les grandes; et il est certain que si ces petites causes nous conservent la paix, les Prussiens leur devront un temple: car un ministre impudent et vain nous a jetés dans un cercle de contradictions dont il serait d'ailleurs difficile de se tirer. Mille remercîments de l'éclaircissement sur Luc. Si le Luc de Voltaire eût pu mentir, la comparaison eût été encore plus juste; car il n'est possible de trouver plus de mensonges rassemblés que dans l'Histoire de la guerre de sept ans par Luc.

Du 27 mai.

Ici on nous a engagés, et pour parler clair, c'est le fameux Herzberg qui par tout plein de traités incohérents pour la Prusse, nous a placés dans un labyrinthe. On attend un courrier le 29 de Vienne. Je crois que l'on pourra après l'arrivée de ces dépêches se tirer encore tant bien que mal d'affaire; mais l'article des vivres forcera les troupes d'aller en Silésie pour y subsister. Enfin si sur toute cette affaire je pouvais parler, on verrait

---

[1]) Les sorciers disent qu'il pourrait bien être question ici de la femme du Roi qui n'est pas Reine; mais lorsque quelques lignes plus bas il est question d'un ministre impudent où il y a eu peut-être une *r* d'oubliée, les sorciers n'y sont plus: car, disent-ils, ce ne peut-être le grand Hertzberg, attendu que le gazetier politique du Mercure de France, qui est lui même un très grand homme, nous certifie régulièrement tous les huit jours que ce grand ministre est l'arbitre de l'Europe.

qu'une tête épuisée, allemande, vandale et gothique, peut faire autant de mal qu'en fait quelquefois une tête légère. J'ai toujours abhorré ce Hertzberg. Du vivant du feu Roi je le tenais serré, mais à présent il peut s'échapper. Cet homme vain, glorieux, rempli de tous les défauts les plus bas, ignorant, écrivant comme un cochon, était autrefois appelé le ministre patriote; je n'étais du nombre de ceux qui faisaient son éloge; à présent il est connu, honni et on l'abhorre [1]). Si la guerre se fait, il n'y aura guère d'événements cette année; la position des Autrichiens est telle qu'on ne leur fera guère de mal. Voilà ce qui me rendit la guerre en 1778 si odieuse, voilà ce qu'un ministre prussien ne devrait pas ignorer. Les bras me tombent quand je réfléchis sur tout cela.

Suite des Fragments de la correspondance de Reinsberg avec le souffre-douleur de S. M. I.

enrichis de quelques notes par l'éditeur.

Année 1791.

Du 9 avril.

Les Anglais causent tout le mal, nous étions devenus fort raisonnables, mais on ne sait comment s'arranger avec un allié aussi exigeant et qui, comme le lion, garde tous les morceaux pour lui. Dans l'état où je me trouve, fort incommodé, j'ai pourtant écrit une lettre, laquelle passera par différentes mains, par celles de douze cents rois peut-être, tout comme chez vous. J'ignore si elle produira ce qu'elle doit produire; mais je vais toujours mon chemin, car c'est un grand bonheur de remplir ses devoirs, même incognito. Ce que j'augure de tout ceci, c'est: ou la Russie s'engagera dans une guerre fort désastreuse, car son ami le roi de Suède ne restera pas neutre, et les Anglais envoient 60 vaisseaux, 40 dans la Baltique, 20 dans la mer Noire; ou bien elle acceptera le statu quo: nous sommes dans tous les cas les nigauds de la fête. Recevez embrassements et tendresses. Je n'en puis plus.

Du 11 avril.

Je voudrais pouvoir vous donner des nouvelles agréables, mais je me trouve dans le cas du proverbe: en lavant la tête d'un âne, on y perd sa

[1]) Les sorciers ne se doutaient guère de toucher de si près au panégyrique complet de l'arbitre de l'Europe; il faut qu'ils ne soient pas grands sorciers.

lessive. Les Anglais, ces insulaires tant prônés, les plus fourbes alliés de l'Europe, les plus rapaciers à suivre leur intérêt et à sacrifier celui de leurs soi-disants alliés, sont venus à bout, malgré la raison, malgré les lumières qu'on ne peut ni ne pouvait méconnaître, de nous forcer à donner la main à toutes leurs entreprises. Il ne s'agit plus que d'une réponse de l'Impératrice, laquelle ne viendra même pas avant que la flotte anglaise soit arrivée dans la Baltique, ce qui sera vers la fin de ce mois. Il serait inutile de vous dire combien cela m'afflige. Si vous avez vos chapeliers, vos Lameth, vos Barnave, nous avons nos illuminés, nos illuminés et encore nos illuminés. Tout le monde crie, tout le monde a parlé haut; mais l'idole est de bois, et tous les sons frappent en vain ses oreilles. En voilà assez sur la politique. Je me lave les mains sur ce qui en peut résulter, ayant pour principe qu'après qu'on a hardiment rempli son devoir et qu'on a parlé avec liberté et force, on doit envisager les événements sans crainte ni trouble. Au moins votre grande amie saura combien j'ai été contraire à tout ce qui est arrivé jusqu'à présent et à ce qui peut arriver encore, et vous voyez aussi combien j'ai de bonnes et de légitimes raisons, en me retirant tout à fait d'un séjour où je serais dans le cas de passer ou pour coopérateur aux infamies et aux bêtises, ou pour un homme nul. Mais en voilà déjà trop sur ce triste et vilain sujet.

Du 17 avril.

Toute la politique a été dans la plus forte crise. Personne ne voulait qu'on suivît les ordres de M. Pitt venus de Londres. Un seul homme a tout déterminé, et cet homme n'est ni roi, ni prince, ni Prussien [1]). Dirigé par l'abominable cabinet de Saint-James, on a envoyé le courrier avec l'ultimatum à Pétersbourg. Les gens honnêtes et éclairés espèrent encore dans l'intervention de l'Espagne et du Danemark, et les dernières lettres de Londres assurent, à ce qu'on prétend, que quoique Pitt ait le parlement pour lui, il ne laisse pas que de voir une disposition peu favorable dans le peuple, et que cela pourra encore l'amener à des moyens plus doux. Le bon roi de

[1]) Ce signalement ne peut convenir qu'à Bischofswerder que je croyais par d'autres raisons dans des dispositions tout pacifiques; mais qui peut vouloir calculer et assujettir à des règles la marche versatile et tortueuse d'un illuminé? D'après les assurances réitérées qu'on m'a données, je suis obligé de croire que sa prétendue disgrâce et l'absence qui s'en est suivie n'ont servi que de voile à un voyage mystérieux qu'il a fait à Vienne pour sonder l'empereur sur des moyens de tout pacifier aux dépens des Turcs et des Polonais, les amis de coeur de son maître écolier.

Suède se range du parti anglais [1]). Les Polonais aboieront à leur manière. Il est certain que si tout cela se met en jeu, l'Impératrice pourra courir de grands risques; mais il n'en est pas moins vrai que tout ce tapage n'a d'autre objet que celui d'étendre prodigieusement le commerce anglais au Levant, en Pologne et en Russie. La Prusse y perd en tout sens. Trésor employé sans bénéfice pour elle. Considération: qui en aurait pour les esclaves de l'Angleterre? Troupes: car le militaire, sans motifs et sans raison, est traîné d'un lieu dans un autre, se dérange, sans qu'humainement il puisse prévoir pour lui ni gloire ni profit. Voilà, mon cher ami, le tableau d'un autre pays malheureux au milieu duquel je me trouve, sans que mon expérience et quelques lumières soient de la moindre utilité à ceux qui en ont tant besoin. Le Hertzberg, celui qui dès l'origine a le plus contribué à nos maux politiques, convient à présent de ses torts et pleure; il pleure toute la journée. Ah, tout ceci vaut bien une Assemblée nationale, et je crois que je préférerais encore d'en avoir une, à l'état désolant où je me trouve.

Du 7 juin.

Notre thermomètre hausse et baisse alternativement. Les trouppes iront en Silésie, on y tiendra un congrès, et vraisemblablement tout sera pacifié. Le roi d'Hongrie doit avoir de justes appréhensions; on ne veut le couronner dans ce royaume que sous des conditions qui le replacent dans la position

---

[1]) Il faut observer qu'en trois fragments de Reinsberg le souffre-douleur reçoit trois fois cette sinistre assertion et qu'à force de se répéter, elle fait enfin son effet et reproduit en lui tous les maux dont la bonté souveraine l'avait guéri l'année dernière. Ce qui les aggrave, c'est qu'il a observé que c'est après avoir reçu la veille un courrier de Stockholm, que le ministère britannique a porté le message guerroyant au parlement. Ceux qui seraient tentés d'accuser le pauvre souffre-douleur de faiblesse et de pusillanimité, n'exigeront pas de lui apparemment d'avoir, à la distance où il se trouve, la fermeté et la tranquillité der gebenedeyten Mutter der unerſchrockenen Standhaftigkeit. C'est tout au plus, s'il avait le bonheur de se trouver à ses pieds, d'arranger quelques chapitres de la traduction de Plutarque sous sa dictée, qu'il pourrait espérer de gagner quelque chose de cette Unerſchrockenheit, parce que la proximité des qualités sublimes est bien aussi contagieuse que celle des maux les plus redoutables; mais éloigné, livré à lui-même et à toutes les fausses nouvelles qui se répandent avant qu'on sache la vérité, je voudrais bien voir ses censeurs à sa place pendant toute une campagne et juger de leur contenance. Ce n'est pas sa faute si la trahison et la perfidie lui sont mortelles. Sie vergiften ihn, und da er ſchon bey der erſten Verrätherey faſt ſein Leben eingebüßt, c'est fait de lui s'il en survient une seconde. Nun der Herr der Heerſchaaren erſticke die Treuloſen et les gens à double profil! M. Eden, ministre anglais à Dresde et frère de milord Auckland, ambassadeur à la Haie, a été à Gotha pour porter au duc la Jarretière presque 20 ans après la mort de son père qui l'avait, et sans que lui, autant que je sache, l'ait demandée. On mande de Gotha du 28 avril: «quelqu'un croit qu'on aura Gustave pour 4 millions d'écus, pour qu'il fasse faux bond à sa «cousine». M. Eden dit: «si Gustave tient bon pour sa cousine, le Danemark se joindra à eux «pour défendre l'entrée de la Baltique aux escadres étrangères.

où étaient ses prédécesseurs, il y a trois ou quatre siècles. Tout est une vraie bagarre. J'ai mauvaise grâce d'en parler; il serait croyable que n'étant pas de la fête, je fais mes efforts pour y trouver des sottises; mais je parle d'après les moins clairvoyants: tant les choses qu'on fait sont palpables. Enfin, une sotte paix vaut toujours mieux qu'une sotte guerre. J'attends avec impatience l'alternative que nous aurons. Vous voyez par cette lettre que l'amour-propre a toujours une grande force sur l'homme; je commence par vous parler de mes intérêts, mais ceux de la France me touchent bien autant etc.

Du 21 juin.

Mais le mieux, mon ami, c'est qu'il n'y aura point de guerre, et comme on en est certain et qu'on en est convenu de part et d'autre, cela n'empêche pas qu'on ne soit couru en Silésie avec toutes les troupes, pour y tenir un congrès. Dans deux mois tout cela sera de retour. Le pays n'en sera pas plus heureux; les affaires externes comme les internes n'en iront pas mieux; qu'y faire? Je suis moins que rien dans ce pays des aveugles. Au moins auraient-ils pu connaître qu'un pauvre borgne, comme moi, voit plus loin qu'eux: c'est une petite et chétive vanité qui m'échappe.

Du premier juillet.

Quoique toutes nos troupes soient actuellement en Silésie, on peut encore parier pour la paix. Elle est presque sûre avec le roi d'Hongrie, et il y a à parier qu'il fera sa paix particulière avec la Porte. L'Impératrice ne veut entendre à rien, elle fera sa paix elle-même. Voilà, mon cher ami, l'extrait de la politique; elle se trouve dans un si grand désordre qu'il n'est guère possible de se tirer de ce labyrinthe. Le résultat en sera des sommes immenses que nous aurons dépensées et dont nous ne tirerons pas le moindre profit, si ce n'est la gloriole d'un ministre poméranien relativement aux cessions que fera le roi d'Hongrie aux Turcs, en rendant ou tout ou la plus grande partie de ses conquêtes. Un M. de Spielmann, premier commis des affaires étrangères, se trouve en Silésie, et il est plus qu'apparent qu'il finira cette affaire. Ce que deviendront les Russes, est leur affaire, trop heureux si nous tirons notre épingle de ce maudit jeu.

Du 11 juillet.

Il est très apparent que le Roi d'Hongrie fera sa paix séparée avec les Turcs: l'étoile de la Prusse nous tire pour le moment du labyrinthe; mais avec

la sage conduite que nous tenons et avec les pertes réelles que nous causera ce petit brin de vanité, on peut calculer qu'à moins qu'on ne se corrige, notre grand Hertzberg engagera folies sur folies. Je crois que l'Impératrice fera sa paix également, mais sans y faire intervenir Hertzberg. C'est pour complaire à sa vanité que toute l'armée se trouve rassemblée en Silésie. Il a annoncé un congrès; mais il ne s'y trouve que le premier commis du bureau du prince de Kaunitz. C'est un homme qu'on loue infiniment; mais ce n'est pas ainsi que notre fou de ministre l'entendait. L'Impératrice n'envoie personue, ce qui rend ce soi-disant congrès un peu mesquin: car le ministre d'Angleterre et celui d'Hollande, qui y sont allés de Berlin, n'ont rien à prétendre pour leurs cours respectives.

Du 20 juillet.

La meilleure nouvelle que je puisse vous donner, c'est que la paix est comme faite. Léopold rend toutes ses conquêtes sur les Turcs; mais il n'a voulu entrer en rien de toutes les autres propositions du sieur de Hertzberg, et j'aurais fait comme lui. La cour de Vienne assure que celle de Pétersbourg sera tout aussi équitable. On enverra des plénipotentiaires anglais et prussiens à Bucharest ou Iassi, et c'est par où se terminera cette sotte pièce qui nous coûte des sommes immenses, sans que nous en recueillions le moindre avantage réel. L'Impératrice ne négocie point du tout avec le sieur de Hertzberg et consorts; c'est par le roi Léopold qu'on apprend à connaître ses sentiments.

Du 2 auguste.

Les préliminaires sont signés. Le roi des Romains fera sa paix particulière avec les Turcs. Il leur rend toutes ses conquêtes à l'exception d'Orsowa et d'un district de six milles, qu'il voudrait conserver si les Turcs y consentent. Si l'Impératrice ne consent point à la paix qui doit se traiter à Bucharest, le roi d'Hongrie fera sa paix particulière, et voilà tout. Il enverra librement des troupes en Flandre pour reconquérir ces provinces. Et voilà nos millions au diable sans un sou de profit, tandis qu'on aurait pu obtenir les mêmes choses par la négociation. Ce vilain roi de Suède a eu du bonheur. A quoi pense donc la Providence?

Du 22 auguste.

Je ne vous dis rien d'ici. La paix faite, ce pays n'offre que des misères. Trop heureux, devant y vivre, d'y avoir un petit coin isolé où j'entends parler, le moins que je puis, de nos misères.

Du 30 auguste.

La paix est faite; mais le roi de Suède vient de manquer à ses promesses faites à la Prusse et à l'Angleterre en faisant sa paix particulière avec l'Impératrice. Si c'est un petit traître, j'avoue qu'on reçoit ici ce qu'on mérite. Pourquoi se faire un allié de ce misérable Suédois et de ces chétifs Polonais? Basta. Je finis par mes voeux pour votre santé.

Du 8 septembre.

Vous ne me parlez jamais de votre héroïne; mais ce que vous pouvez me dire, c'est un mot: suis-je sur le livre noir ou sur le livre blanc? Je ne mérite pas d'être sur le premier, mais si cela était, il faudrait bien se soumettre. Il m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie d'être rongé par le venin de la calomnie; mais ici il m'est essentiel de le savoir: car cela peut influer sur ma marche et la régler dans le cas où nous nous rapprocherions de cet horizon. Je suis comme le philosophe marié à l'égard de Céliante, et je lui dirais volontiers:

Malgré tous vos défauts, je vous aime à la rage.

Je trouve toute sa conduite dans ces dernières affaires noble et grande. Elle a su persuader au roi de Suède de faire sa paix particulière. Elle seule a une conduite parfaite, pourvu qu'elle ne pousse pas la fermeté au-delà des bornes: car sagment elle doit faire sa paix, en rendant ses conquêtes aux Turcs, sans quoi elle ne serait pas à la fin de ce galimathias politique.

Du 10 octobre.

Vous n'ignorez pas tous les nuages qui obscurcissent notre horizon. L'histoire de tout ce qui s'est passé chez nous depuis huit mois en politique est très curieuse. Les hommes qui n'ont jamais manié les grandes affaires, croient, lorsqu'ils sont bornés, que rien n'est plus facile; ils les traitent en conséquence, et sont les derniers à s'apercevoir qu'ils sont dans un cul-de-sac, terme très propre pour rendre mon idée; s'il était question d'une rue, j'aurais dit, par respect pour Voltaire, dans un impasse.

Du 17 octobre.

Je n'ai jamais été anglomane. J'estime leur constitution, les philosophes, quelques historiens et beaux-esprits que cette nation a donnés à l'Europe, mais elle est la plus glorieuse et dans les affaires la plus perfide de

toutes les nations. Si l'on ne s'était pas embarqué si avant avec eux, je suis sûr qu'on ne le ferait plus. On en est bien las, et ils commencent à se faire détester par le peu de gens éclairés que nous avons; les sots mêmes ne les aiment plus. Tout dépend de l'Orient. Si la paix se conclut, on peut même alors concevoir quelque espérance pour le salut de la France. Six mois que nous avons par devers nous, pendant lesquels on ne peut faire autre chose que négocier, me font espérer qu'on parviendra si non à éteindre, au moins à assoupir pour quelques années les troubles du Nord.

Du 8 novembre.

Je reviens au livre noir et au livre blanc, au sujet desquels vous ne m'avez pas répondu. Si je suis sur le premier, j'aurai toujours le droit de m'étonner qu'un esprit si fort au-dessus du commun, si éclairé et qui affectionnait un objet qu'il croyait et devait connaître, se laisse en imposer par des insinuations malignes; cela ne lui est pas si pardonnable qu'au commun des rois, que la nature a fait à moitié imbéciles, lorsque leurs entours empoisonnent leur esprit par des calomnies contre les gens de mérite qu'ils ont intérêt à écarter. Malgré cela, si j'avais du pouvoir, j'en aurais usé bien autrement; le livre noir n'eût plus existé, et la Prusse s'en serait bien trouvée.

Du 19 novembre.

N'oubliez pas, mon cher ami, le reclus de Reinsberg. Quoique je sois absolument inutile au monde, je ne regrette pas de n'être pas au nombre des députés de l'Assemblée nationale, ni de n'être pas le ministre qui fait alliance avec les Polonais, les Suédois et les Anglais, ni de n'avoir pu signer le traité de Reichenbach, ou celui que l'Espagne vient de signer, encore moins celui du roi de Suède. Il y a des époques dans la vie où celui qui n'est rien, vaut les grands faiseurs.

Du 15 décembre.

Je suis sûr, mon cher ami, que vous aurez de la charité pour moi et que vous en trouverez le moyen de dire à votre respectable héroïne, que je suis moins que rien dans ce pays-ci, que mon jugement est compté pour zéro, qu'on ne cherche pas même à le savoir, quoique je ne le cache à personne. Qu'à commencer par les affaires de la Hollande en 1786 et en y comprenant tout ce qui s'est fait en politique jusqu'à ce jour, on ne trouverait que beaucoup d'entreprises la plupart contradictoires et sans le moindre avantage

pour ce pays-ci. Que j'ai toujours été d'avis et le suis encore, qu'il est absolument nécessaire pour le bonheur de ce pays et même de celui qui est vingt fois plus grand que le nôtre, d'être en bonne intelligence, et quand même l'intérêt de l'un ou de l'autre exigerait un écart, qu'il fallait néanmoins entretenir la bonne harmonie, et tâcher autant qu'il serait possible, d'accorder ces intérêts ensemble. Telle a été ma doctrine, qui n'a point varié. Je ne suis point anglomane, et NB. je ne reçois point de guinées. J'aime la princesse d'Orange, mais je ne suis pas partisan du stathoudérianisme. Je désirerais le bonheur des Flamands et que les pauvres Liégeois pussent exister sans se voir régir par leur importun evêque; mais j'aurais laissé les Polonais, sans entrer avec des gens si peu dignes de foi dans aucun arrangement. Je me serais abstenu de toutes les petites vues partielles et de toutes ces velléités de petites acquisitions qui irritent les esprits sans qu'aucun grand avantage en puisse résulter; mais si j'avais porté mes vues sur des objets, c'eût été en formant un plan étendu et grand dont le résultat aurait servi à l'affermissement d'une paix perpétuelle. Voilà ma confession politique, et en qualité d'un homme qui peut dire avec Piron:

Je ne suis rien, pas même académicien,

je ne crains pas de la faire, dût-elle être connue de toute l'Europe.

Du 28 décembre.

Vous savez que les Anglais menacent la Russie. Personne ne verrait avec plus de plaisir que moi la paix rétablie. Qu'en pensez-vous? Ce pays-ci est parsemé de pavots. Les actions qu'on y fait éveillé sont si plates que les spectateurs s'endorment.

Année 1792.

Du 10 janvier.

Les affaires du Nord m'inquiètent plus que jamais. Elles ne seraient point dans cette position si, depuis quatre et même cinq ans, j'eusse pu faire agir comme je le croyais utile. L'expérience me prouve que je ne me suis trompé dans aucun de mes calculs.

Du 24 janvier.

La politique me paraît aussi bien organisée que votre Assemblée nationale. La grande question, y aura-t-il paix ou guerre? sera résolue par les Anglais et par l'Impératrice de Russie. Il se trouve derrière tout cela des

comparses qui font un plat rôle; au moins est-il sûr qu'en jouant le jeu des autres, ils n'y gagneront rien. J'ai passé mon hiver ici. Heureusement qu'on peut voir distinctement que je ne suis pas mêlé même dans la moindre petite chose; c'est à quoi se borne toute mon ambition.

Du 31 janvier.

On compte beaucoup sur la paix entre la Russie et la Porte, et malgré tout le bruit que font Messieurs les Anglais, il est à croire que si l'Impératrice se contente d'Otchakov et restitue le reste de ses conquêtes, la paix se fera. C'est un bien, mais qui ne sera pas de durée; car il y a des hommes qui croient qu'il faut tout embrouiller, et que c'est là le plus sûr moyen pour être rangé parmi les grands hommes.

Du 23 février.

Mais je ne vous entretiendrai point, mon cher ami, de ce qui se passe sous vos yeux; je vous rendrai en revanche mon opinion avec ma franchise sur les affaires du Nord. Je commence par mon admiration pour la conduite noble et sage de l'Impératrice. Sacrifier son ressentiment, faire sa paix avec ce roi de Suède qui méritait si bien d'être fouetté, est un coup de parti qui ne peut être conçu que par une âme grande et forte. Je conviens encore que sa fermeté à l'égard d'une paix forcée est du même caractère, qui mérite toute admiration; mais comme elle a sacrifié son ressentiment en faisant la paix avec la Suède, elle pèsera dans sa sagesse si elle doit continuer la guerre au risque qu'une flotte anglaise vienne faire du tapage dans la Baltique. Pour juger ce que la raison demande, il faudrait que je susse bien exactement l'état de ses forces maritimes, et j'avoue que je ne pense pas qu'elles puissent résister aux Anglais. Ces derniers font du bruit; mais je crois que si les Turcs cèdent Otchakov, et que l'Impératrice, comme elle l'assure, s'en contente, la paix finira tout ce grabuge. Je ne dis mot sur la Prusse, j'en pourrais trop dire; mais ce qui est certain, c'est que celui qui sera toute sa vie couvert par un nuage [1]), est fort innocent, tout en se laissant entraîner par la foule d'intrigants qui l'environnent. Je gémis de tout cela, mais dans l'impossibilité d'y remédier, je me tiens enfermé avec mes livres et me promène dans mes bois.

---

[1]) Le savant commentateur, en perçant ce nuage, prétend s'être cogné le nez contre Fr. Gu, dont le corps n'est pas aérien.

De Berlin, du 10 mars.

Depuis huit jours que mon sort m'a conduit ici, j'ai toujours été occupé du désir de répondre à votre lettre du 14 du mois passé; mais de ma vie je n'ai été plus recherché par tout plein de monde. Des conversations particulières très longues, plusieurs même avec celui qui est le soi-disant chef du royaume. Je ne sais si mes discours feront du bien; au moins je n'ai pas à me reprocher d'avoir dissimulé mes pensées, et j'espère que si tout le bien que je désire ne s'en suit pas, au moins j'aurai fait que le plus grand mal qui nous pressait, sera évité. Je retourne demain dans mon ermitage. J'en loue le ciel. Chacun sait que ceci n'est pas tolérable, et qu'à la longue je perdais tout le fruit de mes peines. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait; c'est de donner une rude secousse.

De Reinsberg, du 14 mars.

Me voilà rendu à mes Pénates et sorti du trouble dont j'étais entouré; ma dernière lettre a dû vous prouver que, dans quelle situation que je me trouve, je ne saurais oublier mes amis. Et vous, mon ami, dont la santé m'intéresse si fort, qu'avez-vous dit en recevant ma dernière lettre? Je crains que vous n'ayez pensé que j'avais perdu la tête. Non, pardieu, je ne l'ai point perdue, mais elle était continuellement occupée par de grands intérêts. Après cela vous croirez peut-être que mon triomphe est complet. Il le serait s'il ne s'agissait que de se contenter d'un peu de gloriole; mais comme je suis très convaincu que les discours ne suffisent pas, je crains très fort que nos affaires n'en aillent pas mieux. Au moins j'ai l'avantage d'avoir fait convenir que si l'on avait pris extérieurement après la mort du feu Roi les mesures que j'avais indiquées, on aurait mieux fait et nous ne serions pas dans un labyrinthe duquel, quelle tournure que prennent les choses, les fruits seront pour d'autres, les peines pour nous. J'espère que le grand orage s'apaisera. Cela dépendra beaucoup de l'Impératrice. Si sa modération et sa sagesse la dirigent, elle pourra sortir honorablement de tous ces embarras. Enfin si je travaillais à ces affaires, j'aurais pu mieux faire; mais comme le travail est soumis à d'autres et que ce n'est que par mon impertinence que je me suis immiscé dans tout cela, je ne saurais répondre de ceux qui n'ont pas deux idées de suite, et qui font des dépêches dans un sens contraire à celui qu'ils assurent adopter. Je n'emporte d'autre consolation que celle d'avoir rempli mon devoir; je ne pouvais faire davantage, et ma tâche remplie, j'étais trop heureux de me retrouver dans ma solitude.

Fin

des Extraits de cette correspondance, lesquels sont un monument indélébile de la confiance sans bornes que le souffre-douleur a dans son auguste Souveraine, comme c'est son devoir: car la confiance est comme la foi, elle ne se donne ni ne s'obtient comme on veut, il faut qu'elle soit inspirée, et tandis que je ne la borne pas à l'égard de l'immortelle à mes propres pensées qui, comme tout mon moi, lui appartiennent, et que je la mets dans la confidence des plus intimes pensées de l'ermite de Reinsberg sans en retrancher une syllabe, il s'en faut bien que cet ermite ait jamais vu une ligne de tout ce que je possède par la bienfaisance de l'immortelle. Tout le reste de sa correspondance roule sur les tristes affaires de la France, auxquelles il a toujours pris le plus vif intérêt, ainsi qu'au sort d'une infinité de personnes que ses deux voyages en ce pays-ci lui ont fait connaître. Les deux derniers extraits de très fraîche date sont les plus remarquables et donneraient le droit de s'attendre à un changement non seulement dans les mesures, mais encore parmi les acteurs du cabinet de Berlin, si l'on ne savait que la raison seule, quelles secousses qu'elle donne, ne produit que des impressions momentanées sur l'inertie et la faiblesse, et qu' auprès des caractères indécis, inappliqués et faibles, jouets habituels des intrigants qui les entourent, une intrigue ne peut être déjouée que par une autre intrigue et que le résultat de tous ces combats ténébreux est en dernière analyse honte, dommage et ruine entière. Je n'espère donc rien du coup de collier de l'ermite de Reinsberg, quelque vigoureux qu'il ait été, et je ne serais pas trop étonné que le lendemain de son départ tous les intrigants, divisés ordinairement d'intérêts et de vues, se fussent réunis pour effacer sur la cire molle jusqu'au souvenir de l'impression qu'elle avait reçue.

Après cet extraits il convient de lire l'imprimé qui se trouve dans le paquet № 3 sous le titre: *le secret de la coalition des ennemis de la révolution française.* L'auteur, sous le masque de démocrate qu'il prend, paraît fort instruit de ce qui se passe, et démasque plusieurs enragés et plusieurs ressorts cachés qui perpétuent ici les malheurs de l'anarchie. Il y a plus de dix-huit mois que ceux qui se trouvaient dans la bouteille à l'encre m'assuraient que l'Angleterre dépensait beaucoup d'argent pour fomenter en France les désordres dont nous étions témoins. J'avoue que j'avais de la répugnance à le croire, et que j'ai résisté longtemps à ces insinuations. Votre propre démence, leur disais-je, joue si bien le jeu de l'Angleterre qu'elle serait bien folle de dépenser une guinée pour cela. Mais quand je vois que cette démence subsiste toujours et que les enragés, à force d'avoir

démoli et détruit leur pays, ont amassé une fortune immense et regorgent de richesses, il faut bien que je me rende à l'évidence. D'ailleurs c'est le génie *du grand Hertzberg* de troubler par ces moyens tous les états qu'il juge dignes de son attention. Depuis son avénement au ministère, depuis la suprême dictature qu'il exerce en qualité de souverain arbitre avec tant de gloire et de succès sur toutes les puissances de l'Europe, il n'a jamais connu que l'art de fomenter des troubles pour se faire admirer. Par une modestie rare dans les grands hommes, il ne joue pas seulement ce jeu pour son compte, mais encore pour celui de ses amis il se fait le chat avec les pattes duquel ils tirent leurs marrons du feu. Pour sa propre satisfaction il a pensé soulever la Galicie avec le plus grand succès contre l'Empereur, a travaillé longtemps la Hongrie dans le même sens et la travaille encore; il a étendu ses soins bienfaisants jusques sur la Lombardie autrichienne, et quoique je n'aie aucun droit de l'en soupçonner, comme les grands génies embrassent tout, je jurerais qu'on trouvera des traces de ces soins jusqu'en Livonie, de sorte que je souhaite avec passion la couronne du martyre à ses apôtres et qu'aucun n'échappe à cette récompense. Dans les Pays-Bas autrichiens ses faits et gestes ont eu toute l'Europe pour témoin. En entrant à Liège à main armée, il pouvait finir toute querelle en 24 heures, et grâce à ses soins les troubles ont été prolongés pendant 18 mois. Ici, tandis qu'il lit à l'Académie de Berlin de savantes dissertations contre la révolution française, ses émissaires sont affiliés au club des Jacobins et travaillent pour les Anglais. Il avait d'abord envoyé ici le comte de Redern, ministre de Prusse à Londres, l'été dernier, auquel a succédé le juif Ephraïm lorsque sa mission à Bruxelles n'était plus tenable pour lui. On m'assure que depuis le retour du comte de Redern à Londres la conversation publique entre Fr. Ge et lui, toutes les fois qu'il y a cercle à la cour, roule sur les affaires de France. Frère George fait l'aristocrate, le prussien le démocrate, et sous ces deux accoutrements ils se chamaillent très ostensiblement. Les faits et gestes du juif Ephraïm se trouvent dans la Coalition. L'argent anglais passe par le canal de la princesse d'Orange dans les mains du juif. Le génie de cette princesse paraît digne de celui du grand Hertzberg. En ce moment, comme l'Empereur a fait marcher une poignée de troupes dans les états de l'évêque de Bâle pour finir les désordres, le juif et consorts font les plus grands efforts pour engager quelques municipalités des frontières d'aller attaquer les impériaux à Porentruy. Ils croiraient sans doute d'avoir bien mérité auprès du grand Hertzberg, s'ils parvenaient à embarquer Léopold dans une querelle ouverte et directe avec l'Assemblée nationale ou le club des Jacobins.

Nota. Il faut réserver la lecture de ce chiffon pour la bonne bouche, c'est-à-dire pour la fin.

P. S. Le porteur de ce paquet ne m'est pas connu, mais ce sera un officier de confiance, particulièrement connu de mes deux généraux, et si l'Impératrice jugeait à propos de le voir et de lui parler, il serait en état de lui rendre un compte véridique de la situation actuelle des choses.

Comme il faut tout prévoir dans la crise où nous sommes, il se pourrait que M. de Bouillé jugeât nécessaire de sortir de France sous très peu de jours: car si l'on en doit venir aux coups de fusil, il faut qu'il quitte son poste avant que le premier soit *tiré*, attendu qu'un homme d'honneur ne quitte pas après; il se pourrait encore qu'on exigeât des officiers sous très peu de jours un serment que M. de Bouillé ne jugerait pas de son honneur de pouvoir prêter, et alors il abandonnerait encore sa patrie et son poste sur-le-champ. Dans ce cas lui et le général Heymann pourraient se trouver à Francfort aussi vite que mon paquet, et ils prendraient alors sans balancer la résolution de le porter eux-mêmes; comme simples voyageurs, ils mettraient Votre Majesté à portée de les juger par elle-même. Elle n'aurait pas la peine de les appeler au risque de ne les pas trouver au gré de ses désirs. Dans le cas où leurs offres seraient agréées, ils se trouveraient tout naturellement à leur place dès le commencement de la campagne. Dans le cas contraire personne ne saurait qu'ils sont venus offrir leurs services; ils s'en retourneraient au bout d'un certain séjour, et si Votre Majesté jugeait de sa générosité de les dédommager des frais d'un voyage entrepris avec l'espérance de la servir, l'Impératrice n'aurait fait qu'une chose de plus dans son genre, et mes généraux s'en retourneraient au moins avec l'avantage de l'avoir vue et d'en être personnellement connus, et choisissant ensuite un autre service, ils n'auraient plus à se dire avec regret qu'ils auraient pu servir Votre Majesté. De façon ou d'autre, tout serait au mieux. Au reste, je ne sais si le souffre-douleur s'abuse, mais il est très convaincu dans son for intérieur que ces deux généraux feront dans un degré très éminent la conquête de la conquérante des coeurs et qu'elle les trouvera d'un bois propre à plus d'une chose grande, utile et digne d'elle.

Le comte d'Osmond, successeur de M. de Ségur, ne tardera pas beaucoup à partir pour se rendre à son poste avec un grand désir de mériter les bontés de Votre Majesté Impériale. C'est à cette ambition que doit se borner provisoirement un ministre dont le souverain est frappé de nullité. Pour le comte de Ségur, il partait pour Rome, mais les scrupules du Saint-Père ont au moins reculé son voyage.

Sa Majesté Impériale est sans doute instruite par les dépêches de M. de Simolin de la première lettre que j'ai reçue de M. le maréchal de Castries. En voici une seconde pour tenir Sa Majesté au courant de cette affaire [1]).

Courtes observations sur la facture ci-incluse.

Sa Majesté Impériale lira avec édification la Journée du 18 avril 1791. C'est une des plus belles journées de l'histoire de France. Il n'y a rien qui lui soit comparable, si ce n'est peut-être la Nuit de Versailles du 5 au 6 octobre 1789.

Sa Majesté Impériale est suppliée de lire avec beaucoup de recueillement le chapitre № 261 des Actes des apôtres. Elle verra à quelles tribulations son souffre-douleur se trouve exposé à propos de bottes. Tout n'est pas profit dans les grandes places, surtout lorsqu'elles sont uniques, et c'est en vain qu'on voudrait échapper à l'envie et à la jalousie sous le manteau de son obscurité personnelle.

Le navire dont le connaissement est ci-joint porte deux tableaux à sa Majesté Impériale.

Le premier est celui que M. de Calonne m'envoya sur la fin de l'année dernière de Londres, pour me donner une idée du talent de ce peintre son protégé, si passionné pour la gloire de faire un tableau pour l'Impératrice. Ce tableau d'essai est trop grand pour trouver place dans le palais du souffre-

---

[1]) Seconde lettre de M. le maréchal de Castries.

Je reçois, Monsieur le Baron, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, par laquelle je vois que M. le prince de Nassau a négligé de faire passer des ordres à M. de Simolin pour justifier ma démarche et autoriser celle que j'ai faite d'une lettre de crédit. Je joins ici la lettre en original de M. de Nassau, que je vous prie de me renvoyer après en avoir donné connaissance à M. de Simolin. Depuis ma lettre écrite, j'ai fait partir pour Pétersbourg un officier distingué qui est celui qui doit être à la tête de ceux qui y passeront; il connaîtra par lui-même les genres différents de talents qui lui sont nécessaires; et à quelques uns près déjà prévenu, j'attendrai de ses nouvelles pour aller en avant sur les autres.

Je suis confirmé dans ce retard par les bruits qui annoncent la paix entre la Russie et la Porte; je pourrais en douter puisque vous ne m'en dites rien. Ces bruits sont cependant si grands, et l'escadre anglaise n'étant pas entièrement armée, que je crois qu'il n'y aura rien de perdu par un retard de quinze jours ou de trois semaines. En attendant, il est inutile que M. de Simolin voie M. de Fleurien. Je dois vous accuser la réception de la lettre de crédit de 15,000 que vous avez fait si promptement expédier. Jusqu'à présent je n'ai fait d'autres avances que celle qui a été nécessaire à un capitaine de vaisseau, M. le marquis de Traversay, pour se rendre d'ici à Pétersbourg avec un aide-de-camp de M. de Nassau. Lors même que la paix serait faite, il sera utile pour bien des établissements de paix. Malgré tous les préparatifs de guerre, l'objet auquel l'Impératrice se réduit est si modéré d'après ses succès; elle appuie la possession d'Otchakov de tant de bonnes raisons, d'après la déclaration de guerre qu'elle a eue de la part des Turcs, que tous les gens impartiaux seront pour elle etc. etc. etc.

Lausanne, ce 21 avril 1791.

douleur, qui s'est vu obligé de le renvoyer au taudis de l'Ermitage impérial. Il l'a fait ôter de son cadre qui est emballé à part, parce que les tableaux encadrés paient à leur entrée et sortie d'énormes droits en France. Si M. de Calonne, qui devait connaître les lois fiscales de son pays, avait bien voulu s'en souvenir, il m'aurait épargné le paiement de ces gros droits à l'entrée de son tableau protégé à Calais, et s'il en avait voulu garder le cadre à Londres, ce tableau n'aurait été ni plus ni moins beau. Au reste, cet ancien ministre ayant quitté l'Angleterre immédiatement après l'envoi de ce tableau, je présume que le peintre passionné, son protégé, pourra attendre la résolution impériale jusqu'après le rétablissement de la paix avec les infidèles avec et sans prépuce.

Le second tableau est de Robert, peintre de l'académie. Il représente une vue de Tsarsko-Sélo, et ce mot a suffi pour me donner une terrible palpitation en le regardant. Robert m'assure que ce tableau lui a été commandé de la part de Sa Majesté Impériale par M. le comte de Strogonov. Son prix est 50 louis ou 1200 livres de France, à payer par le comte de Strogonov ou par le souffre-douleur; mais celui-ci ne le peut sans un ordre exprès de l'Impératrice, sa Souveraine ordonnatrice. On doit présumer que Robert, dont le principal talent est de peindre des ruines, doit se trouver en ce moment comme coq en pâte dans sa patrie. De quel côté qu'il se tourne, il trouve son genre au pinacle et les plus belles et les plus fraîches ruines du monde.

Depuis le mois de janvier la mort a enlevé successivement Rulhière, Falconet et Gillet, dont la première pancarte parlera plus amplement.

La marquise de la Ferté Imbault, fille de Madame Geoffrin, se meurt en ce moment, victime de la révolution. Car quoiqu'on ne soit plus jeune à 76 ans, elle aurait certainement poussé sa carrière beaucoup plus loin; mais sa tête trop aisée à s'embraser n'a pu résister à la continuité des horreurs et des atrocités qui nous ont environnés depuis deux ans.

Il y a des avis d'Hannover qui parlent avec inquiétude de la santé de frère Ge. Quelques lettres de Londres disent qu'il n'est pas menacé d'une rechute de son précédent mal, mais qu'il penche vers l'imbécillité.

Facture du 1 (12) mai 1791.

Pour Sa Majesté Impériale Feuilles et Brochures remportées par l'exprès du souffre-douleur et ci-incluses.

La Journée du 18 avril 1791.
Actes des apôtres № 261.

Mémoire de M. de Calonne contre le décret du 14 février 1791 de l'Assemblée se disant nationale.

Lettre de M. Burke à un membre de l'Assemblée nationale de France.

Le connaissement du capitaine de l'Aimable céleste de Rouen sur deux tableaux embarqués à bord de son navire à l'adresse de Sa Majesté Impériale.

---

* Madame,

à Gotha, ce 15 (26) auguste 1793.

Et deux! au commencement de ce mois dont tant de jours sont à jamais flétris dans l'histoire par les plus exécrables époques dans les annales de la France, le prince Viazemskoy parut à l'improviste et ne put m'accorder que quelques instants pour griffonner quelques lignes et les faire déposer par lui au pied du trône de la gloire. Aujourd'hui, en ce moment même, il m'arrive par la poste une lettre de trois lignes de mon saint, se tenant pour l'instant à Manheim, qui m'avertit qu'il va expédier un courrier vers ce trône, et que ce courrier suivra cette lettre de si près qu'il n'y aurait point de miracle qu'il ne m'arrivât en même temps qu'elle. Quand il ne passerait que demain, je n'en serais guère plus avancé: je dois aller demain passer la journée à quatre lieues d'ici dans un institut d'éducation qui a beaucoup de réputation, et où je dois établir M. Catau, filleul de votre Majesté Impériale. Il aura six ans avant la fin de cette année, car il a eu l'impertinence de venir au monde le même jour que Monsieur Alexandre; il est si urgent de pourvoir à son éducation, que sans examiner si nos moyens nous permettront de l'entretenir longtemps dans un institut fort cher, je risque toujours l'essai. C'est une des suites les plus funestes du bouleversement de la France et de l'émigration forcée de la noblesse, que l'impossibilité où des familles errantes et poursuivies de ville en ville se sont trouvées de soigner la première éducation de leurs enfants.

Voici donc une feuille que je vais laisser ici demain à tout hasard pour le courrier de mon saint, si, comme je dois le craindre, il passe par Gotha pendant les heures que j'en serai absent. Au moins ne l'aurai-je pas retardé d'un instant dans sa course, et cela me sera une consolation qui ne me dédommagera à la vérité que faiblement de l'impossibilité où je suis de le surcharger d'un gros et énorme paquet.

Si Votre Majesté Impériale daigne s'informer auprès de lui après son souffre-douleur, il pourra lui dire: Je ne l'ai point vu à mon passage par Gotha; mais on m'a assuré qu'il a tout à fait l'air et le jeu de son état, de ce qu'il

* est, d'un souffre-douleur en un mot. Il est vrai qu'autrefois, en sa qualitè de souffre-douleur impérial, il était gras au lard; mais les années de disette sont venues et l'ont desséché; il est devenu sec comme un bâton. C'est que sa foi est toujours également vive; mais il ne peut supporter le carême au delà d'un certain terme. Comme il n'a ici aucune distraction quelconque, il est tout entier du matin au soir et du soir au matin, au seul objet qui soutient son existence; et quand le second mois est révolu il ne se plaint point de la longueur de l'abstinence, mais il maigrit et dépérit visiblement. Il est vrai que les événements de ce funeste mois d'exécrable mémoire que les Français ont si souvent et si cruellement souillé de leurs crimes de lèse humanité, n'étaient guère propres à distraire le pauvre souffre-douleur de l'objet auguste qui dispose de lui si puissament, ni de le tromper sur le temps de disette dans lequel il vit. La rigueur du sort de la Reine de France a pensé achever de lui faire perdre le peu d'esprit qui lui reste. Il a sans doute fallu bien des fautes, un enchaînement de faux calculs et de fausses mesures, une alternative cruelle de précipitation lorsqu'il fallait rester immobile, et de hésitation lorsqu'il fallait agir avec fermeté et se décider avec vigueur, pour tomber du faîte de la grandeur et de la puissance au dernier degré de malheur et de misère de la condition humaine; mais quelle est l'âme qui ne frémisse, qui ne se bouleverse et se brise de mille manières, à l'aspect d'un sort si déplorable? Quand je pense au moment où je vis pour la première fois cette princesse infortunée à Vienne l'année qui précéda son mariage, ou elle me parla avec une curiosité enfantine de ce palais royal qui devait lui devenir si fatal; quand je songe que le sort de la plus jeune archiduchesse, envié peut-être alors de toutes ses soeurs, était d'aller en France pour être livrée aux bourreaux sans l'ombre de crime ou de tort envers la nation, peu s'en faut que je n'en perde la tête. Quand je me rappelle l'ivresse où ce peuple frivole et féroce était avec raison pendant plusieurs années de suite de cette Reine, de l'amour qu'il portait uniformement à son Roi pendant les douze ou treize premières années de son règne, un des plus beaux de l'histoire de France, peu s'en faut que je n'exile la bonté de tous les trônes. Je le ferais immanquablement si, pour la consolation de l'humanité, le destin n'eût pas fait régner la bonté depuis plus de trente ans sur le trône le plus éclatant, environnée d'amour, de bénédiction et de gloire. On prétend à la vérité que cette bonté adorée de ses sujets, révérée de l'univers, ne s'est jamais trouvée réduite à son seul patrimoine qui ne vaut rien isolé.

On me dit bien que je m'effraie trop tôt sur le sort de la Reine de France, que peut-être ses bourreaux n'oseront pas achever leur dernier crime; mais grand Dieu! ne serait-il pas plus désirable pour cette princesse infortunée

* de terminer promptement son sort que d'être un objet journalier d'outrages pour la plus vile et la plus exécrable canaille de l'univers? Il y a des gens qui prétendent que ces monstres, après avoir assouvi leur rage de mille manières, veulent faire un moyen de négociation avec les puissances dont ils se sont attiré les armées dans leur démence. On dit qu'ils proposent de livrer la Reine et la famille royale, si l'on veut les laisser maîtres du royaume. Ce serait sans doute ne leur accorder autre chose que la faculté de s'entre-détruire de façon à devenir la proie du premier qui serait tenté d'asservir un si abominable peuple; mais si les puissances belligérantes pouvaient écouter de telles propositions, elles ne feraient que perpétuer les malheurs de l'Europe et ceux de leurs propres sujets d'une manière indéfinie, tandis qu'en portant les derniers coups à l'hydre qui est aux abois et qui sent sa fin approcher, elles auront guéri radicalement une des plus profondes plaies dont la race humaine ait jamais été affligée.

Pour détourner les yeux de ces funestes objets qui détruisent ma pauvre pupille sous mes yeux, je vais, en fermant cette lettre pour le courrier de mon saint à venir, y en ajouter une que j'ai reçue de la princesse héréditaire de Báde par le prince de Viazemskoy. Mon auguste Souveraine dira que je suis un pécheur endurci en commettant de nouveau le péché que la princesse me reproche. Elle me dira surtout qu'il n'est pas bien modeste de communiquer une lettre où il est question du don de ma plume. Mais qui sait mieux que Votre Majesté que je n'ai pas plus de plume que cette excellente princesse; que comme elle, je n'ai qu'un coeur; que comme le sien, ce coeur appartient à l'immortelle? Mà come? Que je plains cette princesse de Bade dont je connais l'attachement pour Votre Majesté Impériale depuis près de vingt ans, si cette passion l'expose à la millième partie des tourments qu'elle me cause! Gott ſey mir armen Tropfen gnädig, und helfe mir aus allen meinen Nöthen! Amen.

.....[1]) Grâces à l'idée que j'avais du duc de Brunswic, je n'en ai rien sauvé, dans le temps que cela aurait été possible, parce que ce qui ne l'était pas, c'était de deviner la tournure de la campagne de 1792. C'est elle qui vient de me réduire à l'état de Job; mais c'est elle qui a ravi le trône et la vie à l'infortuné Louis XVI, qui tient depuis quatorze mois la Reine et toute la famille royale dans un état plus cruel que tous les supplices. Après le spectacle de tels malheurs et de tels crimes, il faudrait être

[1]) Le commencement de cette lettre ne se trouve pas dans le manuscrit original. Note de l'éditeur.

* hardi de se plaindre de son infortune. Hélas, rien de tout ce que les brigands m'ont enlevé, je ne pouvais l'emporter en quittant la vie. Les bontés non méritées de Votre Majesté Impériale m'ont mis depuis longtemps au-dessus de tout besoin. Après ce qui vient de m'arriver, un ou deux malheurs de plus, et j'aurai retrouvé une tranquillité imperturbable. Qu'on vienne m'annoncer demain à mon lever, que Madame de Bueil et ses trois enfants ont trouvé la mort dans une suffocation subite et prompte comme l'éclair; qu'une lettre de Paris m'apprenne ensuite que le même accident a aussi heureusement et aussi rapidement enlevé la personne que j'ai laissé dans ma maison, qui m'intéresse si vivement et si justement, et qui se meurt de douleur de ce qui vient d'arriver chez moi; que mon coeur soit enfin en sûreté de ces deux côtés, et je défie qu'on me surprenne un regret. Mais après avoir vécu heureux toute ma vie, le seul bonheur qu'il me restait à désirer, c'était de la terminer aussi heureusement et avec autant de tranquillité que de joie; et à la place de ce bonheur si doux, mourir avec le désespoir de laisser et de savoir dès ce moment les objets de l'affection de toute sa vie dans la dernière indigence, sans aucune ressource au monde, questo è un martiro, questo è un tormento, che un almatrafitta soffrir non sa.

Je soulage, Madame, mon coeur comme dans le sein d'un ami, et l'idée que c'est avec la Souveraine du plus vaste empire, environnée de grandeur et de gloire, qu'un frêle pot de terre ose se livrer à cet épanchement sur ses misères, ne me retient ni ne m'arrête un seul instant. Le reproche de témérité, d'oubli de toute pudeur et bienséance, de ce que je suis et en présence de qui je suis, ne me tombe pas seulement dans l'esprit; je croirais au contraire commettre un crime de lèse-Majesté, de lèse-bonté souveraine, si dans aucune circonstance de ma vie je pouvais me rendre coupable de la plus petite réticence envers une souveraine que j'ai toujours admirée, chérie avec passion, et qui depuis vingt ans fait l'orgueil, la gloire, le bonheur de tous les instants de ma vie. Dès l'année 1789 elle m'écrivit: Je crains que vous n'ayez du souci, que n'en parlez-vous à vos amis? Je lui répondis que je n'avais nul souci; que depuis que la loyauté française m'avait pris avec tous les créanciers de l'état trois fois sous sa sauvegarde, j'étais sûr qu'elle me ferait banqueroute, mais qu'alors je m'adresserais en toute confiance à mon auguste Souveraine pour lui demander une place en Allemagne ou en Italie où je lui serais aussi inutile que je l'ai été toute ma vie. Le 12 février 1790 Votre Majesté m'écrivit:

«Vos idées sont tristes; on voit que vous souffrez d'esprit et de corps. «Tâchez de vous égayer, et si je puis diminuer vos soucis, parlez-moi avec «adresse et finesse, à coeur ouvert».

* Le 24 juin 1790 la plume de l'immortelle traça ces paroles:

«Le second point qui vous tourmente, est la fortune vacillante de votre «élève, vu l'état général du pays que vous habitez. Je trouve votre résigna-«tion très belle assurément, mais il faut pourvoir au moment; et à cet effet «j'ai ordonné de vous envoyer six mille roubles dont vous paierez ce que «je dois, et le reste vous servira à quoi il vous plaira de l'employer. Six «autres mille roubles seront déposés ici à la maison des enfants trouvés, afin «que vous en fassiez, soit du revenu ou du capital, tout ce qu'il vous plaira. «Je les ai mis là, parce que je crois cette maison plus sûre que tous les en-«droits où l'on peut placer de l'argent en France, et où l'on ne paie plus du «tout. Si ceci n'a pas le sens commun, vous me le direz. Pour un poste «d'envoyé ou en Italie ou en Allemagne, volontiers je vous l'accorderai «lorsque vous le souhaiterez».

Le 31 auguste 1791 l'Impératrice m'écrivit:

«Qu'est-ce donc que cette ruine dont mon souffre-douleur est menacé? «C'est bien là le cas de dire. Que n'en parlez-vous à vos amis? Eh bien «donc, souffre-douleur, expliquez-vous net, qu'est-ce que cette ruine? Je ne «veux de la friperie de personne; mais je veux que vous ne soyez ni ruiné ni «souffrant, excepté de moi, comme mon souffre-douleur en titre. Cela est juste».

Je remplirais aisément cette feuille si je voulais continuer à extraire ici de mon trésor tous les passages où la bonté impériale revient à la charge sur ce texte avec une obstination qui n'appartient qu'à elle. Je ne répondis alors à ces attaques que par le sentiment de la profonde reconnaissance qu'elles devaient m'inspirer, 1°. parce que ma ruine n'était pas prononcée; 2°. parce que je ne désespérais pas encore entièrement du salut de la France; mais comme je voyais depuis le mois de novembre de l'année dernière cette ruine s'avancer vers moi rapidement et prête à m'atteindre, je glissai de temps en temps un mot sur la place que la bonté souveraine avait daigné me réserver. Quant au salut de la France et particulièrement des émigrés, puisqu'on a laissé les crimes les plus atroces exercer trop longtemps leurs ravages, j'en désespère aujourd'hui absolument, non que l'ordre monstrueux actuel puisse jamais prendre consistance ou même subsister encore long-temps, ni qu'on puisse douter du rétablissement de la monarchie, et qu'un peuple aussi féroce et insensé ne retourne, je ne dis pas à l'obéissance, mais à la servitude pour laquelle il prouve invinciblement depuis quatre ans, qu'il est né. Mais comment au retour d'un ordre quelconque, ce malheu-reux pays pourra-t-il se tirer des ruines de tous les genres dont il est en-combré? comment les infortunés émigrés pourront-ils retrouver leurs biens pillés, ravagés, morcelés? Quant aux biens du comte de Bueil, je les crois

perdus sans ressource. Il avait mis chez moi les titres de propriété de ses terres en dépôt, il les y croyait bien en sûreté; par la violation de ma maison, les barbares et farouches brigands les ont découverts et les ont anéantis. Ils en ont agi ainsi à l'égard de tous les émigrés propriétaires; comment celui qui doit rentrer dans son patrimoine, fera-t-il pour prouver contre des acquéreurs de mauvaise foi l'étendue de ses possessions, et que tel champ, tel étang, tel bois en faisaient partie?

Je suis donc navré d'une douleur mortelle de voir Madame de Bueil, au moment où je fermerai les yeux, avec ses trois enfants, je ne dis pas réduite à la pauvreté, mais au dénûment le plus absolu, ne sachant où poser sa tête ni où prendre une miette de pain pour apaiser la faim de ses enfants, et la peur de la voir tomber dans cet abîme au moment de ma mort, ne peut manquer de l'accélérer. Sa raison ne lui montre que trop souvent ce gouffre qui la menace, et depuis qu'elle remarque que cette campagne n'aura aucune tournure decisive, qu'il n'y a aucun espoir pour les malheureux émigrés de rentrer dans leurs foyers, que toutes les horreurs continueront dans l'intérieur de la France, et rendront ses maux de plus en plus irrémédiables, elle dépérit si sensiblement que pour peu que cela continue, ses enfants pourront bien se trouver sous peu sans mère à la merci de la charité publique. Je mourrai aussi de douleur si je ne parviens pas à laisser à la personne qui est chez moi et qui m'intéresse si justement un sort de deux à trois mille livres de France par an sa vie durant, sort auquel j'avais pourvu sur mon bien que d'infâmes brigands viennent de m'enlever.

Si mon pauvre coeur pouvait être soulagé de ces deux fardeaux qui l'oppressent à tous les instants de sa douloureuse existence, il pourrait respirer avec la certitude de mourir tranquillement et sans désespoir. Alors la bonté souveraine disposerait de lui, de son séjour, de son sort, à son gré, pourvu qu'elle ne me relègue pas dans un coin où il serait difficile d'espérer de voir passer souvent un de ses messagers qui portent la vie et le bonheur dans le coeur du pauvre souffre-douleur. Cette perspective est aussi essentielle à ma vie que la respiration, et je crains si fort de me trouver hors de la route des courriers de Votre Majesté, que depuis un an j'étais quelquefois tenté d'aller m'établir à Vienne, parce que c'est là que je supposais que leur passage et repassage devaient être le plus fréquents; mais la modicité de ma fortune, le devoir sacré de l'employer toute entière au soutien de ma malheureuse pupille, n'ont pas permis à cette idée de prendre racine chez moi. Il est vrai que quand on a passé sa vie dans les grandes capitales, il est presque impossible de se faire au séjour des petites villes; celui de la campagne absolue serait mille fois préférable. C'était bien autre-

* fois mon château en Espagne de finir dans quelque paisible retraite en Suisse; mais on ne peut se cacher que cette exécrable peste française a plus ou moins infecté l'esprit des petites gens, et par conséquent gâté le charme des retraites champêtres, et que jusqu'au retour et à l'entier raffermissement du bon sens et du bon ordre, ce n'est que dans les grandes capitales qu'on peut échapper à l'ennui et au déplaisir de ces symptômes. J'ai passé ma vie, au milieu de Paris et de ses dissipations, en retraite. La société et mes amis disposaient de moi depuis une heure jusqu'à cinq ou six au plus. A six heures j'étais séquestré, heureux au milieu des images sacrées de mon culte jusqu'à deux heures du matin. Je m'imaginais quelque fois que j'aurais vécu ainsi à Vienne. Je n'y aurais pas peut-être été malade d'admiration pour le ministère actuel, mais c'était une maladie qui me tourmentait aussi bien rarement en France; mais j'ai laissé et conservé quelques amis à Vienne; le peuple m'y a paru naturellement bon, et l'on jouit bien vivement de cette qualité quand on s'est trouvé pendant quelque temps au milieu de Cannibales abrutis: enfin j'ai souvent éprouvé que dans les grandes villes, seul et séquestré de la société soit par goût ou par devoir, on jouit encore du plaisir et des amusements des autres sans les partager, et que l'idée d'être entouré de gens heureux qui jouissent, embellit singulièrement la retraite solitaire où l'on se tient de son propre choix. Mais quelque part que je sois placé par ma bienfaisante et auguste Souveraine, dès que j'y existe comme son sujet, comme sa chose, sous sa protection et sauvegarde immédiates, je m'y trouverai parfaitement et souveraienement bien. Sous son égide immortelle et comme chose à elle appartenante, je ne désespérerais pas même d'être vengé un jour avec éclat du vol infâme que me fait la nation magnanime et loyale, même lorsque je n'existerais plus. Il me paraît que comme c'est le premier exemple d'un genre d'infraction du droit des gens réfléchie et jusqu'à ce moment inouie, il ne doit pas être indifférent pour les puissances toutes également intéressées à maintenir et à faire respecter les principes sacrés de ce droit des nations, de se faire rendre compte un jour, lors de la pacification, de ce délit d'une nouvelle espèce, et d'exiger que le département ou la municipalité ou la section de Paris, l'autorité usurpatrice enfin qui s'en est rendue coupable, soit condamnée à un dédommagement proportionné au tort irréparable qu'elle m'a fait et à la gravité du délit qu'elle vient de commettre. Cette cause appuyée de l'influence toute-puissante de Votre Majesté Impériale ne pourrait manquer d'obtenir une justice éclatante, et cette justice pourrait servir à réparer en partie les pertes et la ruine de ma malheureuse pupille, de sorte que même sous la tombe, le souffre-douleur serait encore tenu d'entonner ses psaumes

* et chants d'allégresse en actions de grâces des bienfaits posthumes de l'immortelle.

Ce 9 (20) octobre.

Il y a aujourd'hui huit jours, Madame, que le comte Otton de Stackelberg, venant de l'armée prussienne et se rendant en diligence à Pétersbourg, entra chez moi à l'improviste, et me demanda mes paquets pour les mettre aux pieds de Votre Majesté. Je venais dans l'instant même recevoir six lignes de mon saint silencieux de Ham qui me prévint qu'il allait expédier un courrier, et qu'il me l'enverrait pour prendre mes pancartes en passant. Je préférai de les garder pour le passage du messager de mon saint: voilà cependant huit jours de passés sans qu'il ait paru sur l'horizon de Gotha-Grimma; je l'attends à tout instant. Pour ne pas laisser partir le comte de Stackelberg les mains vides, je lui donnai deux paquets renfermant chacune une brochure; j'y ajoutai six lignes en travers à qui j'accordai les honneurs de № 60, mais je les reprends ici expressément, un chiffon de papier ne pouvant ni ne devant aspirer aux honneurs réservés aux pancartes: la pancarte № 60 sera portée avec celle-ci au pied du trône. Le comte de Stackelberg ne s'arrêta chez moi qu'une demi-heure. Il me parla de plusieurs particularités de cette campagne prussienne qui s'accordaient assez avec ce que j'en avais oui dire d'ailleurs; peut-être les ministres de Votre Majesté ne seront-ils pas fâchés de confronter ce qu'il pourra leur en dire, avec les versions qui leur viendront par d'autres canaux.

La facture ci-jointe indique le titre des deux brochures dont il est porteur. Le Revolutions-Almanach est un hommage de l'auteur, du sage Reichard. Voilà la seconde année que cet almanach, fait dans un excellent esprit, paraît. Il commence à avoir beaucoup de vogue, quoique les Jacobins d'Allemagne aient tout mis en oeuvre pour l'étouffer dans sa naissance, au point qu'à sa première apparition l'année passée, l'auteur ne put jamais réussir pas même pour de l'argent, à le faire annoncer dans les gazettes et dans les journaux; mais il sera l'almanach de tous les gens sages, de tous les bons esprits, en dépit de la contagion de la lèpre française, arrêtée, mais non extirpée en Allemagne.

Le sage Reichard vient de m'apporter encore un autre hommage pour Votre Majesté Impériale, en deux gros volumes, intitulé le Guide des Voyageurs en Europe. Je crois que c'est un ouvrage instructif et commode qu'il aurait peut-être fallu partager en quatre volumes au lieu de deux, pour le rendre plus aisé à manier et à transporter. L'auteur, sans dire gare, sans me demander mon avis, mais aussi sans aucun verbiage, l'a dédié à Sa

* Majesté Impériale, Catherine II, Impératrice de toutes les Russies, parce que les passions ne consultent pas. Ce n'est pas un livre à lire de suite, mais à consulter à tout moment. Si Votre Majesté ne veut pas lui accorder une place à côté de ses vieilles chroniques, peut-être Monsieur Alexandre, mon légataire, ne sera-t-il pas fâché de le placer dans sa bibliothèque. J'observe ici que M. Reichard sera un jour un homme assez aisé et même riche, parce qu'une succession fort considérable, mais dont la propriétaire se porte très bien, ne pourra lui échapper; mais en attendant il n'est riche que de sa médaille impériale et d'une jeune et aimable femme dont il est fort amoureux, ce qui ne rapporte que du contentement. J'observe encore qu'il a fait hommage à Votre Majesté, depuis quelques années, de toutes ses productions, et que d'avoir été quelquefois nommé dans les lettres de l'immortelle est pour lui un sujet d'orgueil dont sa femme n'espère pas de triompher malgré tout son crédit. Or si, en considération de tout ceci, il plaisait à Votre Majesté de m'autoriser à lui faire un don impérial de 40 à 50 louis, soit en nature, soit d'une manière utile pour lui, j'oserais dire que ce serait un bienfait bien employé; non seulement il ajouterait au bonheur de l'heureux ménage, mais il donnerait encore la jaunisse aux Jacobins d'Allemagne, deux effets salutaires opérés à la fois. J'attends le courrier de mon saint silencieux, pour lui remettre l'hommage du sage Reichard; mais ce courrier tarde à paraitre.

Mais ne voilà-t-il pas, Madame, que Dagobert Wurmser secondé par ce prince de Waldeck qui perdit si mal à propos l'année dernière un bras au siége de Thionville non assiégée, mais qui est d'ailleurs un officier d'une brillante valeur et d'une capacité qui s'est fait remarquer en toute occasion, s'avise d'expugner et de prendre les lignes de Wissembourg déclarées inexpugnables par tous les docteurs du synode prussien, et sans leur en demander la permission. Cela frise un peu l'impertinence. Je crois pourtant que cette fois-ci le duc de Brunswick a connu les projets de cet inepte Wurmser. La part qu'il y a prise ne m'est pas encore bien claire; mais il me paraît qu'il a du moins concouru à l'exécution du plan projeté, en faisant des mouvements avec son corps tandis que les autrichiens attaquaient, et donnant ainsi de l'inquiétude à la horde des sans-culotte pour leurs derrières et leur flanc gauche. Tout le monde convient que la perte des attaquants est on ne peut pas plus médiocre et insignifiante en comparaison de celle de leurs ennemis. Cet exemple de plus pourra-t-il enfin persuader aux grands docteurs qui ont la destinée de l'Europe entre leurs mains, qu'il est insensé de se laisser toujours attaquer par des hordes sauvages qui n'ont comme tous les barbares qu'une espèce d'impétuosité en assaillant, et qu'on disperse au

contraire comme la poussière qu'and on va au-devant d'eux et qu'on leur tombe dessus; qu'il est absurde de se tenir tranquillement vis-à-vis de leur artillerie, qui est tout ce qu'ils ont de formidable, et de ne jamais faire usage de sa supériorité de manoeuvre, lorsqu'on est à la tête d'une armée qu'on exerce sans cesse, à laquelle toutes les manoeuvres sont familières, et en face d'une horde qui n'en a aucune idée, et toujours disposée à s'enfuir toutes les fois qu'on marche sur elle? Y a-t-il une position inattaquable qu'un général habile ne sache prendre de revers ou faire quitter à son ennemi par une savante combinaison de manoeuvres? Et si la guerre est un art, en quoi consiste-t-il si ce n'est de faire faire à son ennemi ce qu'il ne veut pas et ce qu'on veut?

On m'assure que c'est le chancelier d'Angleterre, mylord Louborough qui a inventé et fait adopter le siège de Dunkerque, pour faire sa cour à son royal maître. Warum bleibt denn der Mann nicht in ſeinem juriſtiſchen Fach und warum miſcht er ſich in die Erbſenpuree? Le ministre anglais qui conseillera à sa nation de se faire de Dunkerque un second Gibraltar, ne lui rendra pas un grand service.

On m'assure aussi que la comtesse de Doenhof, das königliche Krebsweib, que je croyais toujours en Suisse, est dans le Brandebourg, et que son royal époux, en se rendant dans sa Prusse méridionale, l'a vue dans une terre du comte d'Arnim. Si elle reprend les rênes de son empire, celui de M. de Bischofswerder ne sera pas près de sa résurrection. Ein kurzſichtiger und unwiſſender armer Schelm wie ich, darf ſich auch nicht unterſtehen zu fragen ob dergleichen Zufälle oder Begebenheiten das politiſche Syſtem mit Veränderungen bedrohen. Solche Räthſel aufzulöſen gehört ein anderer Kopf dazu als der des mühſeligen Schmezdulders, und da müßte man zuförderſt die geheimen Triebfedern kennen welche die ſchleunige Abreiſe des Königs von ſeiner Armee, und ſeinen Spaziergang nach Süd-Preußen hewirkt haben. Vorläufig wäre auch noch die kleine Frage aufzuwerfen: Von was für einer Farbe iſt denn eigentlich das politiſche Syſtem von Berlin? Iſt da wirklich ein ſolches Syſtem vorhanden? Und wer iſt denn in dieſer Viertelſtunde der accreditirte Staats- und Hanpt-Färber? Zu allen dieſen Erörterungen iſt des Schmerzdulders Kopf zu dumm, und dazu wäre auch der tief- und ſcharfſinnige Kopf eines Hertzbergs nicht zu gut.

Jene m'aviserai pas davantage de parler à Votre Majesté des bruits qui courent depuis quelque temps sur Vienne et à Vienne; des découvertes que l'Empereur, à ce qu'on prétend, a faites dans les papiers saisis sur le Jacobin capturé de Semonville, et qui ont fait dire au jeune monarque dans son premier mouvement de surprise et de douleur, qu'il voudrait ne les avoir jamais vus. De cette exclamation à l'arrestation de plusiers grands

* personnages il n'y a qu'un pas; aussi voit-on des listes assez longues de gens importants disparus, arrêtés et transférés en lieux de sûreté, et l'on ajoute que l'Empereur va faire présent à tous ses alliés de la liste des Jacobins que, d'après les papiers de Semonville, chacun d'entre eux possède dans sa cour et dans ses conseils. Dans la liste de Vienne le ci-devant vice-chancelier, aujourd'hui chancelier pour les affaires du Milanais, comte de Cobenzl, le politiquement défunt baron de Spielmann, un secrétaire du cabinet de l'Empereur, Schloesnig, sont gravement inculpés. M. de Manfredini qui gouverne la Toscane sous le jeune Grand-Duc, frère de l'Empereur, n'y est pas oublié, et il suffit de se rappeler les différentes notes que le ministre d'Angleterre en Toscane, mylord Hervey, a présentées à ce gouvernement pour désigner les vertus civiques de ce ministre jacobin pour n'être pas étonné de le trouver sur cette liste. Le politique Spielmann passait d'éjà aux conférences de Pilnitz pour un excellent Jacobin, et le comte de Cobenzl se pâma de plaisir au couronnement de 1790, lorsque pendant la nuit il entendit jouer dans les rues de Francfort l'air Ça ira; on était tenté de croire qu'il désirait de voir son maître aussi libra à Vienne que l'était alors l'infortuné Louis XVI à Paris. Eh bien, malgré tout ce qu'on dit et qu'on lit sur ce sujet dans toutes les lettres de Vienne, malgré une infinité d'autres personnages importants, tant ministres que généraux actuellement employés dans les armées autrichiennes, qu'on nomme dans ces lettres, comme aux gages de l'exécrable jacobinière de Paris, je ne croirai pas un mot de tous ces contes, et si j'y dois ajouter foi, il faut que l'Empereur me le certifie proprio pugno, et qu'il me mande dans une lettre olographe: «Très honorable souffre-douleur de ma très auguste soeur et très haute alliée, tu dois et peux le croire, et la justice que je farai des traîtres, te le prouvera». Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on dirait qu'un pouvoir invisible arrête les efforts réunis pour écraser l'hydre à cent têtes dont le souffle empoisonné menace depuis si longtemps le bonheur du genre humain; mais pour produire cet effet sinistre et incompréhensible, il suffit peut-être, sans aucun mélange de trahison, de la pauvreté d'esprit si universellement répandue dans ces jours de misère et d'humiliation.

Après avoir dit ce que je ne crois pas, je finis cette pancarte par ce que je crois, par mon Credo. Il est précis et court; il est celui du petit nombre d'élus de l'église orthodoxe. Je crois en Catherine II, le seul fanal de l'humanité dans ces temps de ténèbres, son seul appui dans ces temps de désolation, le seul espoir de son salut. Je crois que son génie plane sur l'Europe pour en détourner les effets terribles de la barbarie, de la férocité, de l'atrocité de cette race impie et sacrilége que l'enfer a vomie sur la terre pour

* l'effroi des bons. Je crois que l'enfer ne prévaudra pas contre l'imperturbable constance de son coeur magnanime. Elan et prière: O messager de mon saint tant désiré, arrive, arrive, ne te fais plus attendre; arrive et porte au pied de son trône mes voeux, mon amour, ma foi, mon salve Catharina, mater misericordiae, spes nostra, salve!

CONVERSATION

entre un homme d'état et un loyal Allemand, lors du départ du Roi de Prusse de son armée, pour se rendre en Pologne, à Francfort dans les derniers jours de septembre,

1793.

L'Allemand. Vous ne doutez pas, je me flatte, de la part que je prends aux avantages que vos troupes viennent de remporter. Votre monarque arrive ici en vainqueur couronné de lauriers, et qui plus est, en vainqueur fort modeste. Il quitte le théâtre de la guerre immédiatement après la victoire, comme pour se dérober à la gloire de ses succès. Informé déjà des détails de la journée du 26, permettez, Monsieur, que je vous en demande aussi de l'affaire qui doit avoir eu lieu le 27.

L'homme d'état. Mais il a suffi de faire une manoeuvre adroite avec cinq bataillons, pour faire croire aux Français qu'ils étaient enveloppés (ce qu'ils auraient été le lendemain) et pour les faire fuir du pays de Deux-Ponts.

L'Allemand. A merveille: voilà du moins ce pays délivré de la vermine des sans-culotte, et garanti, à ce que je suppose, de toute nouvelle invasion. Je vous remercie, Monsieur, d'avoir fixé mon opinion à cet égard, le public ayant déjà voulu me faire croire au renversement des lignes de Wissembourg.

L'homme d'état. Oh non, quant aux lignes de Wissembourg, il n'y faut pas songer; elles sont inexpugnables. Il n'y a qu' à lire l'histoire de la guerre du maréchal de Turenne, pour se convaincre que quinze mille hommes peuvent défendre cette position unique contre une armée de cent mille.

L'Allemand. Si l'on pouvait prendre Landau, peut-être aurait-on alors la clef de ces lignes fameuses?

L'homme d'état. Si Landau était pris, il y aurait effectivement une difficulté de moins; mais les plus grandes resteraient toujours à vaincre.

L'Allemand. De sorte que nous ne devous plus nous attendre à de grands événements pendant cette campagne?

* *L'homme d'état.* Il faut laisser aux auteurs du plan ingénieux de percer ces lignes, le soin de l'exécuter.

L'Allemand. Par une suite naturelle de mon opinion sur votre compte, toutes les fois que j'ai vu réussir une opération pendant la guerre actuelle, jai supposé que vous en aviez conçu le projet; mais il y a des cas où, sans avoir concouru à un plan, on se trouve obligé par la position des choses d'en partager et les avantages et les revers. Croyez-vous, Monsieur, que l'armée prussienne puisse s'assurer des quartiers d'hiver tranquilles, si l'on ne fait pas plus de progrès en Alsace?

L'homme d'état. On ne peut faire que les choses possibles.

CONVERSATION

entre un homme d'état disgracié et le loyal Allemand, à Francfort, au commencement d'octobre,

1793.

L'Allemand. Mon empressement, Monsieur, de vous voir est aussi grand que l'intérêt sincère qui m'attachera toujours à vous.

L'homme d'état. Vous voyez un homme à qui l'on a dit d'aller soigner sa santé dans les bras de sa femme, et je jouirai sans trouble de ce bonheur que la pureté de ma conscience me dépeint d'avance comme un état de repos fort désirable.

L'Allemand. Vous me permettrez cependant de n'envisager ce répos momentané que comme un entr'acte et d'espérer de vous voir reparaître bientôt sur la scène politique avec une nouvelle vigueur et une influence d'autant plus flatteuse qu'elle sera le résultat de la vérité reconnue.

L'homme d'état. Il n'y a qu'un seul cas où il serait possible qu'on eût besoin de moi, et où il faudrait même m'accorder toutes les conditions qui détermineraient mon retour; mais il est fort douteux que ce cas existe jamais. D'ailleurs le plus grand obstacle est l'affection d'un seul homme que je crois avoir conservée tout entière; elle ne saurait contrebalancer l'envie qui a engendré la haine que tous ceux qui l'entourent m'ont jurée.

L'Allemand. Je vous avoue, Monsieur, que je suis un peu superstitieux; je crois à une certaine prédestination fondée sur la force des événements dont le résultat peut être reculé par des incidents, par de fausses démarches, mais qui en dernière analyse triomphe de tous les efforts de l'ineptie et de la mal-

* veillance. C'est à l'homme dont la sagacité et la justesse d'esprit ont su prévoir l'unique point de ralliement, et dont on saura alors apprécier les services, que ce triomphe est réservé.

Réponse. Le sourire de l'amour propre flatté, suivi d'une *Pause.*

L'Allemand. Pensez-vous, Monsieur, que l'armée de Wurmser pourra se maintenir dans sa position actuelle pendant l'hiver, ou sera-t-elle obligée de repasser le Rhin?

L'homme d'état. J'espère que toute l'armée combinée pourra soutenir sa position actuelle, mais il y aura une espèce de campagne d'hiver défensive et fort rude. C'est à la conduite inexplicable de la cour de Vienne et à l'ineptie du général de Wurmser qu'il faut attribuer la mauvaise réussite de cette campagne.

D'abord après le siége de Mayence, le Roi de Prusse communiqua à l'Empereur son plan d'attaquer la France par Saarlouis. Cette entreprise, en nous rapprochant de l'armée du prince de Cobourg, aurait couvert nos ailes réciproquement. Un corps d'observation sur les bords du Rhin nous en aurait assuré le succès, en tenant Landau bloqué, de sorte qu'ayant une fois percé en Lorraine, nous pouvions également compter sur l'Alsace, vu les bonnes dispositions d'alors des habitants de Strasbourg. Il faut qu'un club secret des Jacobins dirige le cabinet de Vienne pour qu' à plusieurs courriers expédiés à ce sujet, il ne s'en soit suivi aucune décision. Un temps précieux s'est écoulé: des forces ennemies si formidables se sont rassemblées en Alsace que le Roi de Prusse a cédé aux instances du général de Wurmser de venir à son secours. Au lieu de concerter un nouveau plan, ce général, sans consulter le Roi, a constamment entrepris des opérations partielles qui lui ont coûté cinq mille hommes sans aucun avantage réel. Son abandon dans les conseils de ceux en qui il a une fois pris confiance, l'y a entraîné sans doute, avec une telle insouciance qu'un jour il fit faire à son armée un mouvement en avant, sans même en avertir le général[1]) commandant un corps en seconde ligne, qui se trouva par là dans la plus grande inquiétude d'être ou enveloppé ou écrasé par l'ennemi, et il ne fut garanti de ce malheur que par le prompt secours que le Roi accorda à ses instances.

L'Allemand. Ce récit, Monsieur, porte tellement l'empreinte de la vérité, que loin de me laisser le moindre doute, c'est par simple curiosité que je voudrais entendre ce qu'un autrichien pourrait y opposer.

---

[1]) Le prince de Furstemberg, si je ne me trompe. (Grimm.).

FRAGMENT

* d'une lettre d'Eisenach, du 18 juin 1793.

On vient de me communiquer une nouvelle adresse de Dumouriez à sa nation et le précis d'une conversation qu'il a eue à Stuttgard. Il se pourrait, Monsieur, qu'ils ne fussent pas encore parvenus à votre connaissance; je n'ai pas voulu manquer de vous les faire passer à tout hasard.

J'ajouterai ici ce que la comtesse de Castel, chez laquelle ce fameux personnage a soupé à Wurzbourg, m'en a conté en raccourci: Que tel qu'il paraît dans ses écrits, tel il est aussi dans la conversation. S'énonçant supérieurement, avec une facilité etonnante, infiniment d'esprit et beaucoup de saillies très piquantes, souvent mordantes, ne déparlant pas et faisant toujours rouler le discours sur lui-même; présomptueux et arrogant au suprême degré. Que son grand et unique but paraissant être la gloire ou la célébrité, il comptait bien ne pas avoir fini son rôle. Qu'il aurait volé à l'armée chrétienne, mais qu'appréhendant infiniment de rencontrer les princes et de se compromettre avec eux, il s'en était abstenu. Qu'il faisait un cas extrême de Clairfait, et qu'en général il parlait avec beaucoup de considération des armées autrichiennes, mais dans un sens tout contraire de celle de Prusse, surtout des généraux, nommément du duc de Brunswick et du Roi. Que d'ailleurs il ne savait où se nicher ni de quel bois faire flèche.

Il est assez curieux que tout ce narré répond fort bien à ce qui est dit dans la conversation de Stuttgard.

La comtesse de Castel prétendait aussi que des personnes très sûres venant très récemment du camp près de Mayence soutenaient qu'il fallait pour le moins encore trois semaines pour achever tous les préparatifs et être en état de commencer le siége en règle et dans les formes.

FRAGMENT

d'une lettre de Reinsberg, du 14 janvier 1793.

Vous avez vu un roi de six pieds et un duc très malheureux, car je crois qu'il l'est plus qu'aucun homme ne l'a jamais été, au point qu'il me fait pitié, et que très souvent à Berlin, où j'ai été, j'ai pris sa défense.

Notre Impératrice qui ne se dément jamais, toujours grande au milieu des orages comme dans le calme, vient de faire une action superbe, en pre-

nant soin d'une très grande partie des émigrés. Elle réunit dans ce procédé la sagesse, la prudence, la charité et la magnanimité. Ce trait m'attache à elle plus que jamais, et je la trouve bien plus brillante et couronnée de gloire qu'elle ne l'était déjà par toutes les victoires remportées sur les Turcs.

Autre du 3 février 1793.

On se flatte dans notre pays que les Anglais traiteront de la paix générale. Pour nous ce serait un grand bonheur; les ressources seront dans peu épuisées, on est déjà très fort dans la détresse à Vienne, et cette guerre ne conduira qu'à l'épuisement total des pays. Il est vrai que la Pologne doit dédommager de tout cela. ¡C'est un joujou d'enfants; je n'en dirai pas plus. Je connais Catherine, et je la trouve toujours sage, mesurée, connaissant parfaitement les intérêts de sa vaste monarchie, et cachant parfaitement aussi ses profonds desseins. Basta, votre bonne tête fera ses observations sur ce que je dis.

Autre du 29 avril 1793.

Ah l'utile chose que cette guerre! Il n'y a beau jeu que pour celle qui se sert des pattes des chats pour tirer les marrons du feu. Cette sage personne serait-elle par hasard connue de vous?

A Gotha-Grimma, ce 10 (21) octobre 1793.

Madame.

Après avoir lorgné, relorgné, perlorgné d'un bout à l'autre le nouveau don de ma constante et auguste bienfaitrice, cette pancarte qui à Erfort, le 8 de ce mois, nouveau style, passa des mains de M. de Strekalov entre les miennes, voyagea ensuite avec moi pendant la nuit sur mon coeur, et ne perdit pas une des palpitations qu'elle lui causait, je sentis qu'il fallait lui consacrer une pancarte toute fraiche et toute entière; je me hâtai en conséquence de déposer dans la précédente plusieurs objets dont j'avais la tête offusquée, afin de pouvoir me livrer, sans nulle distraction, à toutes les effusions de la reconaissance dont mon coeur était suffoqué. Mais, ô mon Dieu, que Tes jugements sont redoutables, qu'il est téméraire de vouloir se soustraire à tes décrets, et que celui qui veut marcher droit dans tes voies tortueuses et impénétrables, se trouve loin de son but! Ta volonté sainte veut, une fois pour toutes, que le souffre-douleur impérial ne commence jamais une nouvelle pancarte sans griffonner tout autre chose que celle

* pour laquelle il s'était fait tailler sa plume, et sans être dérouté, d'entrée de jeu, de l'objet par lequel il comptait débuter. Il t'a plu, tu sais seul pourquoi, d'ériger ton serviteur en girouette; il faut bien qu'il tourne vers le côté où ton souffle le pousse, et qu'il prenne successivement toutes les directions que ton divin caprice lui prescrit. J'avais pris la plume aujourd'hui pendant un calme plat, comme disent les marins, pas le moindre petit vent dans les carrefours de Grimma; je devais donc m'attendre à une navigation paisible et me croire loin des orages. Aussi, après avoir satisfait ma piété et chanté, à l'honneur de l'immortelle, un nouveau psaume en actions de grâces et de louanges, pour célébrer son nouveau bienfait reçu de la main du patriarche Strekalov, remisant, comme disait l'abbé Galiani, une princesse non débaptisée chez ses parents, et la rendant à son luthéranisme, je croyais pouvoir m'enfoncer méthodiquement dans cette pancarte impériale; traiter à fond la maladie nouvelle des vieilles chroniques dont j'ignorais jusqu'à l'existence; défendre victorieusement le Qui ne voit pas du grand et profond Lavater, que j'ai revu cet été pendant un quart d'heure à son passage ici, lorsqu'il alla se rendre de Zurich à Copenhague pour une conférence mystico-politico-théologico-diplomatico-morale avec le premier ministre, comte de Bernstorf, dont des hommes vulgaires, comme moi, ne sauront jamais le fin mot. Je croyais pouvoir méditer ensuite, tout à mon aise, l'oracle du feu comte Panine, empruntant le nez d'un capucin et les hem! hem! d'un bourguemaître de Darmstadt, pour imprimer d'autant plus suavement et plus fortement dans la tête un peu dure de sa très gracieuse Souveraine le théorême que les rois... les rois... sont un mal... nécessaire... dont on pourrait... se passer si... les hommes n'étaient pas... des hommes, hem! hem! D'où il s'ensuit immédiatement, que si les hommes n'étaient pas des hommes, ils seraient ou de anges, fiers aristocrates de leur naturel, et il leur faudrait toujours des rois, ou des bêtes à quatre pattes, et il ne leur en faudrait pas, attendu que les tigres, les léopards, les panthères, les hyènes, les crocodiles, les serpents à sonnettes, les loups à grosse gueule, sont tous des sans-culotte, démocrates purs, jouissant de temps immémorial de tous les avantages de la liberté, y compris celui de dévorer leur semblable, dont les Français n'ont eu la première révélation qu'en 1789: mais ceux-ci avançant dans leur nouvelle carrière à pas de géant, il ne leur a pas fallu quatre ans pour surpasser leurs modèles, les tigres. Il s'en est suivi une destruction universelle de tous les maux nécessaires aux hommes, comme foi, lois, rois, jusques et y compris les plus fieffé aristocrate de tous, le soi-disant Père éternel; mais ne pouvant assassiner celui-ci comme leur roi, qui, étant de la race des agneaux, ne pouvait échapper à leurs griffes, ils en ont

* du moins renversé le trône, en le réformant lui-même et le réduisant dûment à la qualification de ci-devant Père éternel. Il est évident que toute cette profonde théorie se trouvait enveloppée dans les hem! hem! du feu comte de Panine. Enfin je comptais pouvoir tout à mon aise évoquer cette ombre du plus illustre des Paſſgänger, pour savoir ce que je devais penser de ces travaux généalogiques dont les ravages m'étaient absolument inconnus, et qui obligent l'illustre Monsieur Yelaguine de refondre entièrement son Histoire de Russie, déclarée éloquente et ennuyeuse par un oracle qui, très familiarisé avec les hem! hem! des bourguemaîtres, et très brouillé avec les nez des Capucins, est cependant plus sûr que celui de Nikita Iwanowitch Calchas.

Eh bien, Madame, par un décret immuable du ciel, une chétive gazette allemande se présente à ma vue, tout exprès pour me dérouter de toutes ces grandes pensées, pour les anéantir en un clin d'oeil, avec tous les magnifiques développements que j'espérais en tirer. Dans la pancarte Strekalovienne Votre Majesté me notifie le 5 auguste, que Monsieur Alexandre sera bien et dûment marié d'ici à Noël. En conséquence de cette notification, j'annonce aux gens de Grimma cette grande nouvelle avec un air mystérieux, et je leur fais remarquer qu'ils ont encore un grand mois pour préparer leurs habits de noce, leur illumination, leur feu d'artifice, leurs décharges d'artillerie et leur feu roulant de mousqueterie, parce que dans ma haute sagesse je place, sans hésiter, le jour de l'angélique hymenée entre la fête de Sainte-Catherine la grande et la fête des saints-chevaliers de l'ordre de Saint-André. Et ce jour là, c'est-à-dire le 28 septembre ou le 9 octobre, au même instant où je faisais cette confidence aux gens de Grimma avec un air si capable, on mariait le deux anges à Pétersbourg en présence de l'Impératrice et de toute la Cour. Voilà du moins à quoi cette fatale gazette me prépare, en m'apprenant que ce jour est invariablement fixé. C'est donc à dire que la veille du jour de mariage j'aurai été surpendre la princesse Frédérique à Erfort, le jour même je l'aurai passé en retraite avec ma pancarte Strekalovienne, sans me douter de rien au monde, et le lendemain de la noce jaurai vu passer la princesse de Bade à Gotha sans pouvoir lui dire: Il n'y a plus d'anges fiancés. Nun das iſt zu fett, pflegt unſere Kaiſerin zu ſagen, und wahrhaftig unverantwortlich, ſetzt der hohe Kaiſerliche Schmerzbulder hinzu. Aussi la commotion que cette gazette vient de causer ici, ne peut se concevoir, et le tremblement de terre de Lisbonne ne passera auprès des connaisseurs que pour un jeu de marionnettes en comparaison. Jamais la postérité ne pourra ni ne voudra croire qu'on ait voulu escamoter au souffre-douleur le jour qui a comblé les voeux de son légataire, de ma-

* nière que sa propre filleule Katinka Alexandra n'a pas seulement songé à porter la santé du couple fortuné, nouvellement défiancé, et de l'auguste magicienne qui leur a joué ce dernier tour diabolique; qu'il ne s'est trouvé ni trompettes ni timbales à notre dîner, et que toute la journée s'est passée dans une retraite choquante. Quel remède y a-t-il à cela? Aucun. Comment redresser le mal qui en est résulté? Tous les saints du paradis y perdraient leur latin. A qui s'en prendre d'un procédé si inoui dans les fastes de l'humanité? Est-ce au grand maître des cérémonies? Est-ce à la Grande Magicienne de l'Empire grec? Ceci ne se peut pas, à cause du respect et de l'amour qu'on lui porte à Grimma. Comment un grief si énorme s'accorderait-il avec la Lob- und Dank-Sucht welche hier ſeit einigen Monaten ſo jämmerlich grafirt, et avec l'encens qui brûle jour et nuit sur l'autel der unſterblichen Zauberin!

Heureusement un mal ne vient jamais seul, et la divine sagesse vous accable toujours de plusieurs à la fois, pour que l'un puisse faire diversion à l'autre, et pour vous convaincre, dans un monde qui fourmille de maux, que deux sont moins lourds à supporter qu'un seul, parce qu'ils peuvent s'alléger réciproquement, ce qui ne laisse pas d'être fort gracieux. La gazette fatale qui a excité céans un si prodigieux vacarme, nous a donc aussi gratifiés de deux pièces authentiques qui n'avaient pas encore percé ici. La première est l'ukase de l'Impératrice à l'occasion des fêtes de la paix; la seconde, le discours que M. le procureur général a prononcé le premier jour de ces fêtes, en face du trône, au nom et en présence de tout le sénat en corps. Et pour m'arrêter d'abord à celui-ci, comment le premier corps de l'empire et son organe prétendent-ils s'excuser du silence absolu qu'ils ont gardé dans ce discours sur les gens de Grimma? Lorsqu'il s'agit d'amour, de fidélité, de zèle, d'attachement, l'orateur ne devait-il pas dire que toutes ces matières combustibles brillaient dans les cabanes de Grimma avec autant d'éclat que la gloire, la bonté, la bienfaisance, la générosité et la magnanimité auf dem Kaiſerſtuhl unſerer großen, milden, gutherzigen und alles beglückenden Monarchin; qu'en vain le sénat chercherait danstout l'empire une communauté qui surpassât en ce genre celle de Grimma? Depuis quand n'est-ce plus le devoir du sénat de faire connaître à sa Souveraine ses plus fidèles sujets? Et parce que l'Impératrice aurait peut-être répondu au harangueur: Je sais cela avant vous, son excellence se serait-elle par hasard trouvée offensée de n'avoir rien à apprendre à sa Souveraine? D'autres grands Grecs avant sa dite excellence, se trouvant à la tête des affaires de l'empire, ont éprouvé plus d'une fois la même mortification, et n'en sont pourtant pas morts, ni tombés en consomption. M. le procureur

* général Samoïlov ne peut pas prétexter ici cause d'ignorance, car sans compter que dans sa place on ne doit ignorer de rien, il doit se rappeler qu'avant de l'occuper, il a connu les gens de Grimma, qu'il a parfaitement su de quel bois ils se chauffaient; et si par hasard il ne les a pas trouvés assez huppés pour figurer dans sa harangue à une cérémonie si auguste, je lui conterai un petit trait pour lui prouver qu'il y a toujours quelque chose à apprendre avec les vieux. Un jour, dans le temps de ma prospérité, c'était dans le temps de la maladie des nouveaux gouvernements, qui attaqua bientôt l'empire avec la même violence que l'Impératrice qui l'avait mise à la mode; mais ne la prenait pas qui voulait, il fallait que chaque province attendît son tour, et c'était une chose convenue que la maladie ne pouvait pénétrer que dans deux provinces à la fois et dans quatre au plus par an, à qui l'on administrait la nouvelle cuisine de Sa Majesté. Un jour donc on présenta à l'Impératrice une députation de la noblesse d'une province qui venait d'obtenir cette nouvelle cuisine. Elle venait remercier Sa Majesté de ce que son tour était venu avant celui d'autres provinces qui soupiraient après, et elle fut admise à la table impériale. Pendant le dîner le prince Orlov voulant faire allusion à ce que la noblesse de cette province n'était pas riche, et faisant, à ce que je crois, une espèce de pointe en russe, dit à Sa Majesté que cette noblesse était riche en pauvreté. Oui, et en zèle pour la patrie, ajouta l'Impératrice. Et voilà une émotion subite et attendrissante qui s'empare de tous ces députés, et le souffre-douleur, qui s'en apperçoit, et à qui son voisin traduit ce mot en un clin d'oeil, réduit pendant le reste du repas à avaler ses larmes à la place de son dîner. A l'application, Monsieur le procureur général, et attrape. Avisez-vous de dire à l'Impératrice que vous n'avez pas osé fourrer ces gens de Grimma dans votre discours, à cause de leur peu d'importance, et elle vous répondra: Je sais qu'ils sont riches en pauvreté et en zèle pour moi: en votre qualité de procureur général, qui peut d'un moment à l'autre avoir des affaires avec le saint Synode, vous devez savoir votre évangile, et vous souvenir que votre Sauveur ne répondit aux reproches qu'on lui fit d'être si fort occupé de la pécheresse pendant un grand repas chez un seigneur pharisien, que par le mot: elle a beaucoup aimé. Sachez que les immortels tiennent sur tout compte de l'amour qu'on leur porte, parce que, tout dieu qu'on est, ne se fait pas aimer qui veut, faut encore être aimable. Apprenez aussi par mon exemple, qu'on se nourrit quelquefois de larmes à la table des immortels, et que le souffre-douleur n'a pas toujours engraissé à celle de son auguste Souveraine. Et quand vous aurez noté tout cela dans vos tablettes, vous pourrez vous vanter que l'oubli des gens de Grimma dans

* votre discours, vous a appris en peu de temps beaucoup de grandes vérités.

Avec tout cela, quelque débonnaire qu'on soit, Votre Majesté sentira que je ne puis me dispenser de porter directement plainte de cet oubli contre le Sénat, et de demander justice de ce procédé. Un autre de ses procedés envers les gens de Grimma, quoique moins grave, n'en est pas moins poignant. Devait-il les exposer à ne recevoir l'ukase à l'occasion des fêtes de la paix, que par la gazette? N'était-ce pas son devoir de leur envoyer ex officio une copie authentique, dûment collationnée et certifiée véritable, avec toute la kyrielle de vingt-un-article de Gnadenbezeigungen pour toutes les classes des enfants de la patrie, même de ceux qui ne pouvant aspirer à aucune récompense, ont du moins éprouvé en cette occasion la clémence et l'indulgence de leur Souveraine par le pardon de leurs fautes? Au reste, que le Sénat ait encore négligé ici un devoir essentiel, les gens de Grimma s'en moquent généreusement, en considérant que ce discours adressé à l'Impératrice sur son trône, a dû mettre toutes les vénérables têtes de cet auguste corps en l'air; il n'est donc pas étonnant que bien des choses essentielles aient été négligées. A Grimma on s'est passé de son attache, on n'en a pas moins publié, trompeté l'ukase dans tous les carrefours, en dansant et chantant des hymnes et des psaumes. Tous les murs en sont tapissés, on l'apprend par coeur, on récite à haute voix tantôt l'un, tantôt l'autre paragraphe; c'est un vacarme qu'on ne s'entend pas parler. Ce qui me fâche, c'est qu'on se propose d'en faire et publier le commentaire, cela peut entraîner des éclaircissements et des observations qui peuvent mener loin. Freylich wird hier unſere Kaiſerin wieder die Krone der größten Meiſterin im Stichelreden davon tragen, was werden aber die geſtichleten großen Köpfe dazu ſagen? Und wenn man nun bey den Leuten von Grimma anfrägt, was der mit böſen Abſichten begleitete nordiſche Krieg bedeute, worinnen denn die Ränke der Mißgunſt beſtanden welche zernichtet worden; wenn man fragt, wo waren denn dieſe Ränke zu Hauſe, wer ſind denn die Neider des Ruhms und der Macht von Rußland, welche ſo vielerley Feuer in der Nachbarſchaft anfachen wollten, und mit einer langen Naſe ſich allmählig zurückgezogen, was ſoll denn der redliche Schmerzdulder, der die Stichelеykunſt niemals verſtanden, auf ſolche gefährliche Fragen antworten? Voilà comme mon auguste Souveraine me met toujours dans les positions les plus délicates sans me donner aucun moyen de m'en tirer, sans marquer le moindre regret de l'embarras où je me trouve. Et puis, elle se formalise de mon doute, si l'église grecque sait ce que c'est qu'un acte de contrition! Mais si je n'en ai jamais trouvé trace ni dans les ukases pour les fêtes de la paix, ni dans aucune des pancartes impériales,

* suis-je donc si repréhensible d'avoir risqué cette question sur un être invisible que je n'ai jamais aperçu dans le domaine de l'église orthodoxe? On ne peut reprocher à Votre Majesté d'oublier ses péchés. Elle se rappelle parfaitement et distinctement celui qui fut commis il y a seize ans envers un pauvre philosophe sur le grand escalier du château de Peterhof par deux têtes couronnées et par-dessus le marché masquées. Rien n'était plus naturel que de voir le souvenir de cette offense accompagné d'un bon acte de repentir et de contrition, puisque l'église grecque en fait tant de cas. Je la cherche cette contrition la plus légère trace, un soupçon m'en auraient suffi; à sa place, je trouve une nouvelle injure, et me vois honoré du titre de Jacobin. Si avec de telles dispositions de contrition, on peut obtenir l'absolution de son confesseur, il faût convenir qu'on se sauve à bon marché dans l'église orthodoxe. J'aurais sans doute mieux fait de ne pas toucher à la corde de la Paßgängerey universelle de mon siècle, puisque je lui ai attiré l'anathème le mieux prononcé qui soit jamais sorti de la bouche d'un pontife. Die Köthereyen(dieſes kräftige Wort war mir ganz unbekannt) ſind doch ja nicht der Zweck der wahren Paßgänger, mais je conviens que c'est leur enveloppe générale; ils les mettent à toute sauce, et je conviens encore que rien n'est plus ruineux à la longue; mais quand ils seront bien anathématisés, seront ils-moins g. u. e. u. x.? Que devient la tolérance chrétienne? Est-elle donc réduite à n'être plus exercée que par le souffre-douleur envers son auguste Souveraine? Soit! Je vais encore donner un exemple de ma mansuétude inaltérablement évangélique.

Votre Majesté me tend un piége des plus traquenards, en m'apprenant que mes pancartes se trouvent sur la table impériale, dans toute leur pauvreté, dans toute leur nudité, et oppressées par une vieille chronique Livonienne. Je ne suis donc pas surpris si j'étouffe si fort depuis quelque temps. A cette déclaration imprévue succède la demande très captieuse d'un conseil. Je dois décider si les réponses et résolutions impériales doivent commencer par les plus vieilles ou les plus fraiches de mes pancartes. Il est clair que ce cas de consience n'a été mis en avant que pour me mettre dans un embarras inextricable, et pour faire peut-être de moi le second âne de Buridan qui, se trouvant entre deux picotins d'avoine, sans motif de préférence ni pour l'un ni pour l'autre, est obligé de mourir de faim. Quelque parti que je prenne, je serai toujours chicané. Si je dis: il faut commencer par le commencement, on me répondra: vous qui lisez toujours mes lettres à rebours, vous ne pouvez pas m'accorder le droit d'y répondre en remontant de la fin au commencement. Si je dis au contraire de commencer par la fin, on me répondra: vous qui connaissez la maladie

* régnante des vieilles chroniques, vous n'avez pas seulement l'attention de me conseiller de commencer par couler à fond vos vieux radotages. Encore si j'avais reçu cette consultation quelques jours plus tôt! Dans l'ignorance parfaite où je suis depuis quelque temps de tout ce qui se passe au temple de la gloire et dans son arrondissement, je me serais adressé avec confiance aux deux anges fiancés, et je les aurais suppliés de décider cette question captieuse, en tirant pour cela, en présence de Votre Majesté, à la courte paille; mais actuellement que je les sais mariés, les anges ne me prendraient-ils pas pour un homme échappé des petites-maisons, si je leur supposais le loisir nécessaire pour s'embarrasser d'une affaire si épineuse? Quant à moi, puisqu'il plaît à mon auguste Souveraine de me mettre dans cette souricière, mon parti est pris, je ne déciderai pas la question. Je resterai âne de Buridan, entre le ziste et le zeste, puisque tel est le décret de la volonté suprême. Nun, ſagt unſere Kaiſerin, Gott ſey gepreiſt! Wenn das ſo iſt, ſo kann der ganze Plunder mein Caminfeuer anzünden.

Ce 15 (26) octobre.

Puisqu'il est notoire que la Russie s'est enrichie cette année d'un livre classique de plus, intitulé Histoire généalogique de la Russie, dont le second volume est actuellement sur le métier, tandis que le premier, déjà imprimé et public, est déclaré unentbehrlich par tous ceux qui veulent connaître cette histoire, il ne s'agit plus que de savoir si les ordres sont donnés pour le traduire en toute diligence en allemand, si l'on y travaille à force, et si l'on s'empressera de l'expédier au souffre-douleur par cahiers, ainsi que cela s'est pratiqué autrefois avec les cahiers de l'histoire de Russie composés pour l'éducation de Télémaque Alexandre. Si personne n'y a songé, c'est un nouveau grief que je serai obligé de déposer au pied du trône contre qui il appartient, et si cela continue, bientôt on ne pourra plus approcher de ce trône éclatant, ohne über eine grimmiſche Beſchwerde zu ſtolpern. Au reste, il m'est bien douloureux de relever ici encore une faute grave dans laquelle l'auguste auteur de ces travaux généalogiques est tombé. Il attribue le mot: que de choses dans un menuet! au grand Vestris, le dieu de la danse au dire de son frère le cuisinier, et ce mot appartient notoirement à un des ancêtres du grand Vestris, le grand Marcel. Ce grand homme qui fleurissait dans les dernières années de Louis XIV, mais qui existait encore lorsque je vins en France, et dont la figure imposante avec une superbe perruque à trois marteaux rappelait les belles années de la France sous Louis XIV, était convaincu qu'il était plus aisé de régner et de gouverner une grande monarchie avec gloire, que de danser un menu-

* et avec correction: opinion qu'il est à craindre que l'auteur auguste, tout en se trompant dans sa citation, ne cherche à favoriser pour son profit, en soutenant qu'il est plus aisé de régner que de faire l'ouvrage généalogique qui rend un si grand service à l'histoire éloquente et ennuyeuse de M. Yelaguine.

Mais puisque M. Yelaguine tire un assez grand profit de ces travaux généalogiques pour avoir le plaisir dans ses vieux jours de refaire à neuf les ouvrages de sa jeunesse, comment n'a-t-il pas songé à garder en Russie son collaborateur, M. de Meilhan, qui possède, je crois, en français les talents que M. Yelaguine sait déployer en russe, dans un degré également éminent, et qui serait resté à portée de refaire son Histoire de Russie, avant de l'avoir faite, ce qui est bien autrement miraculeux? Aujourd'hui c'est Reinsberg qui possède cet homme doué d'une éloquence tellement yelaguinienne et soutenue que plutôt que de se fatiguer elle fatiguerait à mourir tous ses auditeurs, hors le prince hospitalier qui ne se lasse point de l'écouter. Le prince Henri m'écrit du 30 auguste, de Reinsberg: M. de Meilhan est ici depuis plusieurs mois; plus on le connaît, et plus on l'aime. Et du 11 octobre: J'ai encore M. de Meilhan, qui fait nos délices; on l'aime à mesure qu'on le connaît davantage.

Ce 16 (27) octobre.

Hélas, Madame, ne voilà-t-il pas mon demi-favori, le pieux Josias de Cobourg qui prend aussi la tournure de me chagriner! Le 16 de ce mois, nouveau style, il n'a pas été battu, mais il n'a pas battu, et la suite de cette journée a été la levée du siége ou plutôt du blocus de Maubeuge. Un témoin instruit et éclairé assure que cette affaire est le second tome de la bataille de Hastenbeck, à laquelle j'eus l'honneur de me trouver en 1757, où les deux armées opposées se crurent battues, chacune de son côté. On assure que, quoique l'aile gauche des autrichiens eût plié, le prince de Cobourg n'eût pas songé à la retraite s'il avait su à temps ce qui s'était passé à sa droite où les Jacobins avaient été tellement houspillés, enfoncés, abîmés, qu'il en serait résulté une déconfiture totale, si l'on avait poursuivi ces premiers avantages; mais on ajoute que le prince maréchal ne les apprit que lorsqu'il n'était plus en mesure d'en profiter, et l'on me dit pardessus le marché, que ce défaut de diligence dans les rapports des différents chefs des divisions au chef commandant général est une chose assez commune dans les armées autrichiennes; il serait d'autant plus instant, si cela est, d'y remédier. Enfin on prétend que sans savoir ce

qui s'était passé à l'extrémité de l'aile droite, le comte de Clairfait, les généraux de Terzy et de Bellegarde s'étaient fortement opposés au parti de la retraite, sur la nésessité duquel le prince de Hohenlohe, faisant les fonctions de maréchal général des logis de cette armée depuis la retraite de M. de Mack, avait seul insisté: or j'ai ouï dire plus d'une fois dans le cours de cette campagne, j'ignore avec quel degré de fondement, que ce prince contrariait fréquemment le pieux Josias, son chef, dans ses vues et projets. Quoi qu'il en soit, voilà le temps des opérations et des entreprises militaires fini, sans qu'on puisse se vanter, ni en Alsace ni dans les Pays-Bas, de pouvoir faire prendre à ses armées des quartieres d'hiver tranquilles; c'est le métier des hordes sauvages ennemies de venir les inquiéter, et elles n'y manqueront pas. Mais dans cette mésaventure du 16 octobre, ce qui me désole, c'est qu'il me reste un grief particulier contre mon demi-favori Josias de Cobourg. Depuis le commencement de cette sanglante campagne, se rappelant fidèlement les leçons de son mentor, comte des deux empires, et les observant strictement, il n'avait jamais permis aux sans-culotte de l'attaquer; il s'était toujours chargé de ce soin à leur égard, et la victoire l'avait constamment accompagné. Par quelle fatalité oublie-t-il cette fois-ci sa leçon? Il savait parfaitement que ce Jourdan serait obligé de venir l'attaquer à tout prix, et il ne va pas au-devant de lui pour l'attaquer et dissiper ses hordes dans les plaines du Cambrésis! Il l'attend près de Maubeuge dans une position vraisemblablement très forte et très militaire, mais au milieu d'un pays coupé et fourré où, de son propre aveu, sa cavalerie n'a pu agir. Ainsi de gaieté de coeur, il renonce à l'avantage décisif qu'il tirera toujours infailliblement de sa nombreuse et excellente cavalerie, et il permet aux barbares à qui il a à faire, de tirer parti contre lui de leur seule et unique supériorité, cette nombreuse et excellente artillerie que ces malheureux ne doivent qu'à la puissance passée de ce qu'ils ont appelé, dans leur délire, leurs despotes. Toutes les fois qu'on laissera arriver cette artillerie tranquillement sur son front, ou qu'on ira l'attaquer de front dans ses retranchements, au lieu d'aller chercher dans les plaines ces misérables hordes, avec des troupes exercées et rompues aux manoeuvres, qui les dissiperaient comme la poussière, et leur prendraient cette artillerie avec le reste de leurs armes et bagages, n'est-il pas évident bu'on renonce à un avantage immanquable pour le céder à son ennemi? Si avec une armée d'une valeur éprouvée, vous vous concentrez dans une position, quelque bonne qu'elle soit, pour recevoir l'attaque d'une horde sans discipline, sans tenue militaire, ramassée à la hâte et par là même infiniment plus nombreuse qu'une armée disciplinée ne peut l'être, n'arriverta le

* pas nécessairement que l'ennemi, à qui la plus grande perte en hommes peut être parfaitement indifférente vu qu'il les peut toujours remplacer par d'aussi habiles, vous attaquera jusqu'à l'extinction de vos forces naturelles, en faisant toujours relever ses bandes repoussées par des bandes fraiches, ce qui est le seul moyen connu où la valeur la plus décidée succombe et reste accablée par le nombre? Le prince de Cobourg convient que ses troupes se sont battues deux jours sans discontinuer et sans prendre de nourriture, parce que l'ennemi n'a pas cessé de remplacer ses assaillants incontinent par d'autres assaillants. Votre Majesté voit que j'ai un compte bien sévère à demander à mon demi-favori sur cette journée bue je regarde comme fatale, ainsi que toute la campagne depuis l'instant où le malheureux siège de Dunkerque est venu arrêter le cours de ses opérations toutes glorieuses. J'en reviens toujours à remontrer humblement aux Paßgänger couronnés, s'il y en a, que si toute la charlatanerie de leurs fameuses revues, de leurs manoeuvres et évolutions scientifiques, de leurs continuels exercices, de la solennité de leurs gardes montantes et descendantes, ne leur procure pas vis-à-vis d'une armée où toute discipline militaire est anéantie, d'une armée composée ou d'une soldatesque insolente et désobéissante, ou d'un ramas de paysans et de bourgeois de toute sorte de plumage, tous ou poltrons ou en délire, et commandée par des brasseurs, des bouchers, des cordonniers, qu'on destitue et remplace tous les huit jours par d'autres sujets aussi habiles, ne leur procure pas, dis-je, des avantages plus signalés et plus décisifs, le jeu ne vaut pas la chandelle. N'est-il pas excessivement remarquable que ces valeureux Français qui combattent pour leur religion et leur Roi dans le Poitou, une des provinces de France appelée par les barbares la Vendée, qui depuis huit à dix mois s'y maintiennent miraculeusement, puisqu'en les supposant même secourus par l'Angleterre, on ne peut douter qu'il ne leur manque mille choses de la première nécessité pour pousser la guerre, n'est-il pas incroyablement étrange que ces chevaliers français enfin retrouvés aient dans trente-cinq combats livrés défait vingt-six fois victorieusement les hordes scélérates de leur patrie, et n'aient reçu aucun échec de quelque conséquence, dans les autres combats dont l'issue ne leur a pas été favorable? N'est-il pas inconcevable que cette campagne presque ignorée dont il n'existe ni bulletin, ni gazette, ni rapport officiel, ait été la plus brillante, lorsque les forces militaires de presque toute l'Europe sont déployées en campagne contre les mêmes scélérats avec des succès si peu décisifs? On serait tenté de croire à quelque puissance malfaisante et invisible, protectrice déclarée des Jacobins, qui enchaîne et paralyse tous les efforts des puissances contre eux. Que n'avait-on pas droit d'attendre de cette armée

* catholique et royale, quelle révolution décisive n'aurait-elle pas opérée dans sa malheureuse patrie, si l'Angleterre avait voulu entrer dans les projets magnanimes de Votre Majesté! Je crois qu'elle n'en est pas à se repentir vivement de ne les avoir pas adoptés. Je suis bien sûr qu'on sera obligé d'y recourir, comme au seul plan efficace, si jamais on prend à coeur de se tirer des Köthereyen dans lesquelles on s'est, sauf respect, si bêtement embourbé. Je souhaite seulement qu'on ne s'en avise pas trop tard, lorsqu'il n'y aura plus de remède contre le retour de la barbarie et des ténèbres dont l'Europe entière me paraît menacée.

J'apprends, Madame, en cet instant le nouveau crime exécrable du 16 octobre; j'en suis glacé d'horreur. On a beau chercher à préparer son imagination à de si épouventables catastrophes, on a beau les prévoir longtemps avant qu'elles n'arrivent, comme inévitables, on n'en reste pas moins frappé à mort, lorsqu'on en reçoit la certitude. Je confesse que ces horribles atrocités sont trop fortes pour mon faible coeur, il succombe sous leur poids redoutable. Elles font croire à l'existence d'un enfer, puisque nous le voyons visiblement déchaîné sur la terre. Le seul rayon de consolation qui entre dans mon âme, c'est de penser que la vie de cette Reine infortunée était depuis nombre d'années un long supplice cruellement prolongé, et qu'elle a dû éprouver une sorte de douceur de toucher au moment fatal de le voir terminé. Quant à moi je ne survivrais pas à tant de crimes si je n'avais la ressource de tourner mes regards vers mon auguste Souveraine, et de les y attacher sans distraction. L'élévation de ses vues et de son âme, sa bonté inépuisable, sa gloire impérissable peuvent seule, consoler, dans ces affreux moments, du malheur d'exister. Puissances du ciel, s'il y en a, conservez l'auguste objet de mes humbles voeux, conservez l'unique soutien qui reste à l'humanité dégradée et malheureuse!

A Gotha, ce 18 (29) octobre 1793.

Madame,

Depuis la connaissance de l'horrible catastrophe qui a terminé le long et cruel supplice de la Reine de France, je ne puis détourner ma pensée un seul instant de Votre Majesté Impériale, sans tomber dans les convulsions du désespoir. Quelqu'atroce que fût l'assassinat du Roi, la fureur des tigres contre un homme présente un spectacle moins déchirant, parce qu'on suppose avec raison l'homme doué de plus de force physique, plus préparé aux dangers, aux coups du sort, aux revers même les plus terribles. Mais

* voir la tête la plus belle et la plus auguste, après avoir été en butte pendant des mois entiers, que dis-je pendant des mois? pendant des années entières, aux cruautés et aux ignominies les plus raffinées, tomber sous la hache du bourreau, sans que ni le rang, ni le sexe, ni la beauté à qui rien ne résiste dans la nature entière, n'ait pu désarmer des monstres dont la rage n'avait été aucunement ni provoquée ni agacée, à moins que la force de l'âme unie à l'élévation du rang ne soit pour leurs yeux avides de sang un signal de fureur et de carnage, — ah, Madame, cette pensée horrible et douloureuse plonge dans les angoisses de la mort. Les annales du monde n'offrent rien qui ressemble à un courage aussi grand, aussi froid, aussi calme, aussi soutenu, en proie aux plus cruels tourments de tous les genres; mais y eut-il jamais une destinée plus déplorable que celle de cette victime auguste? On ne lui survivrait pas, on mourrait de douleur d'appartenir à une race aussi perverse et aussi exécrable, si l'on ne pouvait tourner ses yeux vers cet empire gouverné depuis près de trente-deux ans par la sagesse, la bonté et la gloire, offrant au monde consterné le spectacle consolateur d'un grand peuple, ou plutôt d'un grand nombre de peuples divers, tous heureux, tous sentant leur bonheur unter dem mächtigen, milden und glorreichen Zepter unserer großen, und, was mehr als groß ist, unserer guten, liebreichen und huldvollen Kaiserin. Sa main propice est seule capable de verser un baume salutaire sur les plaies d'un coeur déchiré par l'horreur de crimes inouis. Hélas! pourquoi dans un siècle si cruellement souillé et déshonoré, ne reste-t-il sur tout notre hémisphère que cet unique, ce seul grand modèle à contempler, pour nous distraire de l'ignominie de la race à laquelle nous appartenons?

Lorsque Votre Majesté prononça l'anathème redoutable, O! verflucht seyen die miserablen Paßgänger die nichts als Köthereyen anfangen, sich ruiniren, und keinen Zweck haben als Köthereyen, son souffre-douleur, en sa qualité de grammairien, ne fut d'abord frappé que par la propriété et l'énergie de ce terme à lui inconnu; mais bientôt la philosophie succédant à la grammaire, et lui montrant le tableau de ces Köthereyen et de leurs suites probables dans toute sa laideur, il fut saisi d'une profonde affliction qui dégénère aujourd'hui aisément en découragement total. On se demande en tremblant: Was wird denn daraus werden? C'est en prenant la vérité pour des absurdités, et des absurdités pour des vérités, que la France s'est perdue, qu'on s'est perdu dans tous les temps. Si les cabinets de l'Europe en sont là; s'ils continuent ce salmigondi de politique et de vues contradictoires que Votre Majesté voit à leur origine, et dont les misérables résultats sont manifestes pour tous les yeux, quel génie pourra donc préserver l'Europe de

* sa ruine totale et du retour de la barbarie? L'issue de cette campagne n'a aucunement répondu à son début, parce qu'immédiatement après la prise de Valenciennes, on s'est dévoyé, on a abandonné la poursuite d'un plan dicté par le bon sens, pour s'enfoncer dans ses Lieblings-Köthereyen, pour tenter des entreprises folles d'une manière folle, vraisemblablement aussi pour consumer les plus beaux mois de l'été à négociailler à Londres, sur les rives du Rhin, peut-être à Vienne et dans les Pays-Bas, lorsqu'il ne fallait s'occuper qu'à frapper de grands coups. Ainsi l'expérience de toutes les Köthereyen de l'année dernière qui ont mis l'Europe à deux doigts de sa perte, n'a pas empêché des heiligen Römischen Reichs Erz-Kötherer, tutti quanti, de les recommencer cette année. Actuellement que la saison est passée, et que le prestige des négociations s'est évanoui de nouveau, aux yeux même der allerköthigsten Paßgänger, on se trouve pour récompense du bel emploi de l'été, aux Pays-Bas et sur les rives du Rhin dans un égal embarras de se procurer des quartiers d'hiver tranquilles. S'il y a cependant jamais eu une vérité constante et hors de toute contestation, c'est celle de l'impossibilité absolue de traiter avec la France; elle n'est pas moins frappante pour le hibou que le plus faible rayon de lumière éblouit et aveugle, que pour l'aigle de l'empire grec, accoutumé à fixer le disque du soleil. Parmi tous les misérables qui se sont emparés de l'autorité en France, y en a-t-il un seul qui puisse prendre un engagement quelconque, et s'il l'a pris, qui puisse le tenir le lendemain, à moins que ce ne soit pour commettre quelque nouveau crime, quelque nouveau forfait exécrable? Et s'il est clair comme le jour, qu'on ne peut se tirer du labyrinthe funeste où l'on s'est mis par ses Köthereyen, qu'en adoptant la seule mesure qui mène directement au but, celle que notre Impératrice a si invariablement et si inutilement recommandée depuis deux ans, qu'attend-on encore pour y recourir? Exterminer la race impie qui s'est emparée du gouvernement en France, ou bien souscrire à la ruine et à la destruction universelles de tout gouvernement réglé, de toute police, de toute culture, perdre quinze siècles de civilisation, retourner à la barbarie sur les débris de tous les arts, de toutes les connaissances consolatrices de notre misère, et nous y laisser traîner à travers tous les malheurs et tous les crimes, voilà l'alternative dont il s'agit entre l'Europe et les monstres qui ont dévoré la France. Et l'Europe balance! Et il s'y trouve des souverains et des gouvernements qui regardent ce procès comme étranger, comme indifférent pour eux! Et l'on calcule son petit intérêt passager, on se plaît dans ses petites vues mesquines, dans ses petites jalousies, dans le petit jeu de misérables intrigues, lorsqu'un intérêt si capital et si pressant se développe d'une manière si

* redoutable! Mais si vers la fin de l'année prochaine cette hydre exécrable existe encore, c'en est peut-être fait de l'Europe. Ce n'est pas par la démence de leurs principes en fait de gouvernement que les monstres anarchiques la subjugueront; je n'en ai jamais craint la contagion: quoique les avocats, les hâbleurs, les esprits absurdes et avides de gouverner ne manquent nulle part, les peuples voisins de la France ont trop de bon sens pour se laisser entraîner, à force de sophismes et de jongleries, dans des abîmes qui ont fait en si peu de temps du peuple de France une horde de brigands. Mais ces brigands, chassés de leurs cavernes par la faim, par la soif du pillage, lorsqu'ils ne trouveront plus rien à piller et à voler chez eux, lorsque la nation sera au pied de la lettre une horde sans-culotte, se jetteront sur leurs voisins, non pour y porter leur prétendue liberté, mais pour y exercer les mêmes ravages qu'en France; la nécessité de vivre de rapines, les y obligera: à leur suite marcheront la barbarie, la destruction de tout ordre social, la famine et peut-être la peste qui feront de l'Europe un vaste cimetière. Le plus fort est certainement fait; et lorsqu'on voit de quoi ils ont été capables en France en moins de cinq ans, qu'on observe en même temps l'incurie et la stupeur des gouvernements d'alentour d'eux, on ne peut être ni accusé de pusillanimité ni regardé comme visionnaire quand on frémit sur le sort qui menace l'Europe entière.

Tandis que je m'abandonne à ces réflexions lugubres, on m'apporte une lettre anonyme, timbrée de Francfort, que je me trouve obligé de transcrire ici, parce qu'elle ne s'adresse pas à moi, quoiqu'elle me soit adressée. L'auteur, après avoir déploré, comme toute âme sensible, le sort funeste de la Reine de France, poursuit en ces termes:

«Pourquoi les souverains de l'Europe ont-ils l'air d'ignorer ou de mé-«priser le danger qui les environne? Peuvent-ils, pour des intérêts parti-«culiers, oublier un moment l'intérêt général et perdre de vue l'hydre «anarchique qui menace tous les gouvernements de la dissolution de l'ordre «social? Continueront-ils à ménager des coupables ou à en avoir peur? Cette «faiblesse ne rendra les scélérats que plus audacieux. La fausse politique «ne fera qu'accélérer l'explosion générale du mal, et l'insouciante sécurité «précipitera le danger. On doit cependant plutôt plaindre que blâmer la «plupart de ces souverains dont la volonté est dirigée arbitrairement par «eurs ministres; mais point d'excuse pour votre Impératrice si elle n'use «pas dans cette crise violente de tout le pouvoir que la destinée lui a con-«fié, de toute l'influence de la supériorité de son génie et de toute la force «d'un caractère inébranlable dont la nature l'a douée. Je vous le répète, «point d'excuse pour elle si elle n'emploie pas tous ces moyens pour sauver

* «l'Europe d'une destruction générale; plus de salut pour l'Europe sans elle, «sans son intervention. Voilà ce que je me suis senti tout à coup un violent «besoin de lui faire savoir. Je vous en charge, parce que je vous estime; «mais considérez qu'il n'y a pas un instant à perdre. Ne dites pas que mon «imagination me porte trop loin dans mes appréhensions. Tout ce que nous «avons vu depuis quatre ans, ne nous autorise-t-il pas à croire tout pos-«sible?»

Voilà, Madame, ce que mon anonyme me charge de dire à Votre Majesté Impériale. Il ne me donne pas seulement son adresse pour lui faire tenir une réponse. Apparemment qu'il la croit superflue, et qu'il ne suppose pas que l'Impératrice et son souffre-douleur puissent voir les choses autrement que lui; mais il me paraît que ce qui surtout ne lui entrera jamais dans la tête, c'est que dans tous les cabinets les plus voisins du gouffre destructeur, il en existe une seule dont on puisse se promettre la moindre ressource efficace dans la crise actuelle.

Mais, puisque les empires finissent comme tout ce qui existe, qui sera assez puissant pour déranger ou ralentir le cours naturel des événements? Si notre heure a sonné; s'il est arrêté dans les décrets éternels des destinées que l'Europe retombe dans la fange et dans la barbarie d'où elle n'a pu se tirer qu'après tant de siècles d'efforts et de travaux, n'arrivera-t-il pas alors que tout concoure à point nommé pour les remplir? C'est alors que le génie tutélaire qui paraît veiller sur son sort, n'en peut détourner l'arrêt fatal, parce que les immortels même sont soumis aux décrets de la destinée, parce que quand elle a prononcé, un concours de circonstances rendra ses décrets inévitables. Alors le génie tutélaire ne sera ni moins radieux, ni moins puissant; mais le sort l'aura placé à une grande distance du foyer du mal, et il y aura entre lui et ce foyer un grand nombre de Paßgänger qui ou ne le comprendront pas, ou ne l'écouteront que lorsqu'il n'en sera plus temps, et qui seront tout étonnés de se trouver engloutis avant de se croire menacés. Toutes les révolutions qui ont bouleversé ce misérable globe, ont eu des commencements que l'effort le plus léger aurait arrêtés et qui négligés par l'incurie ou l'inadvertance humaine, ont dégénéré en un torrent destructeur qui a tout entraîné, tout ravagé, tout englouti. Voilà, Madame, l'idée qui me tourmente souvent, et je ne suis pas assuré que notre heure n'ait sonné. Lorsque l'abbé Galiani prophétisait le temps où la langue française serait une langue morte et la langue russe celle des cours, il me faisait apercevoir dans le lointain un point lumineux, frappant, inévitable; mais que j'étais loin de penser, et lui peut-être aussi, que je verrais l'accomplissement de cette prophétie encore de mon temps. La langue française est

* morte, rien n'est plus incontestable. Les barbares qui ont tout détruit en France, l'ont changée en moins de quatre ans dans un jargon aussi barbare, aussi bas, aussi dégoûtant qu'eux; je les défie de se trouver la moindre communauté de langage avec un seul des bons écrivains de la langue morte, et ils sont déjà tellement corrompus qu'ils en seraient bien fâchés. Si, après avoir tout dévoré en France, ils inondent l'Europe si peu effarouchée jusqu'à présent d'avoir vu naître dans son sein subitement une horde de brigands et de scélérats dévastateurs, il est évident que d'un côté les arts, les lettres, la police, la culture, la politesse, avec toutes les douceurs de la vie policée et sociale, fuiront vers l'Amérique et y fonderont leur empire; de l'autre se confineront dans l'empire de Russie qui en deviendra le centre à l'extrémité de l'Europe et dont la langue dominera alors sur tous les peuples cultivés. Mais ces peuples ne se trouveront plus dans cette Europe ravagée, apauvrie, abrutie et dévastée; la Russie portera la culture vers l'orient. La barbarie fuira devant son flambeau, un nouveau soleil luira sur ces contrées fortunées, les vivifiera, et portera sa lumière bienfaisante jusqu'en Asie, pour faire renaître dans ce premier berceau du genre humain la culture et la police qui en ont été si longtemps bannies, après s'être répandues de ce berceau sur le reste de la terre. C'est alors qu'on viendra de ces contrées en Russie étudier les monuments enlevés à l'Italie sous le règne immortel de Catherine II, dans un temps où l'on était bien éloigné de croire la ruine des arts en Italie et la chute des empires en Europe si imminente. Et c'est ainsi que la prophétie de l'abbé Galiani se sera accomplie avec une précision littérale. Il faut convenir que ce tableau a quelque chose d'imposant, de grand et de vaste, qui me distrait, malgré moi, de nos misères. Qu'importe, misérables atomes que nous sommes, que des volcans ou des torrents détruisent nos innombrables fourmilières, que des générations entières d'entre nous disparaissent et périssent au milieu de nos convulsions insensées? Le soleil luit-il moins paisiblement sur d'autres contrées heureuses et fortunées, et d'autres fourmilières innombrables y jouissent-elles moins de leur existence tranquille et prospère? Heureux celui dont le moment d'exister se trouve placé dans une fourmilière paisible! Mais si le mouvement est essentiel à l'existence du monde et s'il ne peut être arrêté un seul instant, ne faut-il pas que tout naisse et finisse, et renaisse pour finir encore, et par quelle loi les vicissitudes morales pourraient-elles avoir un privilége sur les vicissitudes physiques?

* Ce 1 (12) novembre.

Il y a plus d'un an que Votre Majesté m'a permis de dire à Corilla qu'elle accorde à son neveu, Antonio Meucci, la grâce de faire un tableau pour elle Mes tribulations continuelles m'ont fait longtempsdifférer cette heureuse annonce; mais enfin, comme une grâce de l'Impératrice ne doit jamais être perdue, j'ai annoncé, et je viens de recevoir de Corilla une réponse si pleine de jubilation et de gratitude, que, toute italienne qu'elle est, e crois, que Votre Majesté la verra arriver à la suite de cett pancarte.

A Gotha, ce 28 octobre (8 novembre) 1793.

Madame,

Le 20 (31) octobre dernier je me suis adressé aux successeurs de Bacchus pour faire parvenir au pied du trône mes tristes doléances sur l'impossibilité d'y faire passer mes pancartes. J'ai su depuis que le courrier de mon saint qui devait les y porter, est retardé, que mal à propos j'ai soupçonné M. Camille d'avoir passé ici pour aller à Pétersbourg et de m'avoir oublié.

Mais ô bonheur inspéré, tandis que je tourne tous les jours mes yeux vers la porte par laquelle doit arriver mon courrier de Ham pour la rédemption de mes pancartes, arrive un courrier de M. de Strekalov, mon dernier bienfaiteur, pour prendre mes paquets. Il est vrai qu'il ne me laisse que l'instant de les fermer. Votre Majesté Impériale trouvera sur la facture ci-jointe les paquets dont je le charge, non compris les deux pancartes ci-jointes. La troisième qui est sur le métier sera portée par le courrier de mon saint.

La lettre pour la comtesse de Schouvalov est une nouvelle preuve que je ne veux pas laisser mon auguste commissionnaire attitrée sans pratique.

Je suis si hors de moi-même du bonheur inespéré de mettre mes pancartes aux pieds de Votre Majesté Impériale que j'en ai la tête à l'envers, qu'il m'est impossible d'écrire une ligne et qu'il ne me reste qu'à me prosterner à ses pieds en embrassant l'autel de mon salut.

A Gotha, ce 30 octobre (10 novembre) 1793.

Madame,

Si les successeurs de Bacchus à qui la protectorie de l'église de Grimma a été conférée sans aucune sollicitation de leur part, se sont acquittés du

* devoir que cette charge leur impose, ils auront porté au pied du trône ma lettre du 20 (31) octobre, et comme Votre Majesté Impériale n'aura jamais entendu parler de ce M. Camille si légèrement soupçonné par moi d'avoir été dépêché à Pétersbourg où il n'est pas allé, et si calomnieusement accusé d'avoir passé par Gotha sans me demander mes paquets, il est à craindre que mon auguste Souveraine ne prenne son souffre-douleur pour un visionnaire, et ne dise dans sa clémence tout bas: Le pauvre homme! il n'y a plus personne au logis. Il y avait deux fois vingt-quatre heures que cette lettre était partie, lorsque j'en reçus une de mon saint qui, en me parlant du crime à jamais exécrable du 16 octobre avec l'horreur que toute âme sensible éprouve, m'apprit que son courrier annoncé par sa lettre précédente était retardé, et m'ouvrit ainsi les yeux sur l'innocence de M. Camille. Il n'y avait plus moyen de courir après ma lettre; mais il faut pardonner aux malheureux de soupçonner partout des malheurs, des contrariétés, des événements chagrinants, et sous ce point de vue j'espère obtenir de Votre Majesté le pardon de mes visions.

Un bonheur imprévu m'arriva avant-hier, afin d'accomplir la prédiction de je ne sais quel saint prophète qui dit que le diable n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme. Je vis entrer chez moi vers le soir à l'improviste le capitaine Moltreck, que M. de Strekalov, après avoir déposé sa princesse, renvoie en Russie, et à qui il a eu l'attention de recommander de prendre mes paquets en passant par Gotha. Voilà comme le bonheur vient aussi lorsqu'on y songe le moins. Il était pressé de continuer sa route. Je lui remis sur le champ les deux pancartes № 60 et № 61, qui étaient déjà cachetées et toutes prêtes sur mon bureau pour s'envoler vers le séjour de la gloire. J'y ajoutai une demi-feuille № 63 où Votre Majesté n'aura pas trouvé le sens commun, parce que, toutes les fois que je suis pressé, tous les sentiments, toutes les idées se présentent à la fois, et se précipitent tellement les uns sur les autres qu'étouffés dans la cohue, il n'en reste plus en état de paraître au pied du trône de mon auguste Souveraine. Cela m'arrive surtout lorsque celui qui doit emporter mes paquets, reste en ma présence et qu'il s'agit d'écrire devant lui. Das ist eine pure Unmöglichkeit, comme dit notre Impératrice. Le commerce avec les immortels veut du recueillement, veut de la solitude. Le mien avec l'immortelle l'exige bien plus impérieusement. De combien de contorsions, de combien d'oeillades tantôt tournées vers le ciel, tantôt fixées en terre, tantôt accompagnées du sourire de la joie et du bonheur, tantôt des larmes d'un sentiment doux et profond, ces élans de dévotion ne sont-ils pas assaisonnés! Est-il praticable de se montrer dans ces accès à âme qui vive? Que dirait un messager de

* l'immortelle s'il surprenait un souffre-douleur dans cet état de possédé? Il dirait: Aber, um tauſend Gottes Willen, was der Kerl für Geſichter ſchneidt! Was fehlt ihm denn? Was kömmt ihm denn an? Wunderbar genug, daß ſo eine Fratze ſeine Schmierereyen an unſere Kaiſerin ſchicken darf, und daß ich mich damit beladen muß! Votre Majesté conçoit par ce monologue que l'enfantement d'une pancarte ne souffre point de témoins, et c'est un des malheurs de ma position actuelle, que les messagers de l'immortelle arrivent chez moi comme des bombes, et ne me perdent de vue que lorsque j'ai livré mon paquet. Mais plût au ciel que ce fût là le plus grand de mes malheurs! Je ne m'en plains que pour me faire pardonner par Votre Majesté les traces d'imbécillité qui se remarquent à la fin de mes pancartes terminées en présence d'un tiers.

Votre Majesté trouvera ci-joint la facture des paquets confiés et remis au capitaine Moltreck.

Il ne m'a pas laissé le temps nécessaire pour faire part à mon auguste Souveraine de la perte récente d'un bon et loyal serviteur. Le divin Reifenstein de Rome n'existe plus. Il est mort en bénissant le nom glorieux de sa souveraine bienfaitrice, ainsi qu'il appert par sa dernière lettre de Frascati dont j'ai enrichi ma pancarte № 61. Votre Majesté trouvera dans la lettre ci-jointe de Gasparo Santini les circonstances de ce triste événement et d'autres détails qui y ont rapport. Connaissant l'exactitude scrupuleuse de cet excellent homme, je ne doute pas qu'il n'ait eu le temps d'expédier avant de mourir les deux tableaux de Teresina de Maron, et j'en attends à tout moment des nouvelles. Il a touché les deux cents cecchins que je lui avais fait payer pour cela, dès son retour de Frascati à Rome; il ne s'agit donc plus que de savoir s'il a aussi eu le temps d'emballer ces tableaux et de me les expédier. J'ai écrit à ce sujet à Gasparo Santini, et l'ai chargé, si par hasard ces deux tableaux n'étaient pas partis, de me les adresser. Votre Majesté se rappellera sans doute dans sa clémence, comme disait ce pauvre divin, qu'il lui revient un legs de la succession de cet excellent homme, le portrait d'Antonio Raphaël Mengs peint ou du moins retouché par lui-même. Il se proposait d'envoyer ce legs par mer avec des tableaux exécutés à l'encaustique par ordre exprès de Votre Majesté Impériale. Cette expédition n'aura pas pu avoir lieu à cause de la guerre. J'attendrai les ordres souverains pour savoir si je dois me faire adresser ces tableaux avec le legs par terre à Francfort d'où je pourrais les envoyer par terre à Lubeck, afin de les faire aller de là par mer, à l'ouverture de la navigation, à leur glorieuse destination. Si Votre Majesté a encore d'autres ordres à me donner relativement aux détails renfermés dans la lettre de Gasparo

* Santini, je tâcherai d'approcher du divin Reifenstein, en tout temps mon modèle, par le zèle que je mettrai à les exécuter. Au milieu de tant de jouissances uniques réservées à la suprême bienfaisance de notre Souveraine magnanime, j'ose croire qu'elle ne sera pas insensible à la satisfaction d'avoir assuré depuis longues années le sort d'un véritable philosophe d'une probité, d'une simplicité, d'un désintéressement rares, qui avait placé et trouvé le bonheur dans la pauvreté et dans l'indépendance, et qui, grâces aux bienfaits de Votre Majesté, s'est trouvé, au milieu des infirmités d'un âge avancé, dans l'aisance jusqu'à la fin de sa vie.

Il n'est donc que trop vrai que depuis un mois je chercherais en vain mes anges fiancés à la cour de Votre Majesté; qu'en dépit de l'oracle prononcé l'année dernière qu'on ne se marie pas si jeune, ils sont pourtant mariés, et que pendant que ma pancarte, actuellement sur le métier, attend un rédempteur qui se fera peut-être attendre longtemps, il ne me reste d'autre ressource que de déposer ici mes félicitations qui s'adressent à mon légataire sur son heureux hyménée, et de l'assurer que ce n'est pas ma faute si les gens de Grimma n'ont pas joint leur illumination à celles de tout l'empire à l'occasion de ce fortuné mariage; que c'était bien leur voeu, tout était prêt pour cela, mais que M. le grand maître des cérémonies a forfait aux devoirs de sa place, en leur laissant tout ignorer. Dieu lui pardonne, puisque je ne lui pardonnerai pas!

Ce 3 (14) novembre.

J'ai eu depuis peu deux visites. Hier passa ici le coadjuteur de Mayence pour retourner à sa résidence d'Erfort. Il venait de Constance dont il a aussi la coadjutorie, et en dernier lieu de Mayence où il avait fait une visite de quelques jours à son papa spirituel, et revu sa patrie pour la première fois depuis sa délivrance. Il avait l'air remarquablement plus radieux que lorsqu'il passa ici, il y a quelques mois, pour se rendre à Constance. On m'assurait alors qu'il avait beaucoup de soucis. On prétendait que la cour de Vienne lui avait dépêché un comte Landriani, milanais, ami particulier du feu empereur Léopold, qu'elle tenait depuis quelque temps à Dresde sans caractère public, pour le porter à renoncer à l'électorat de Mayence, vraisemblablement en faveur d'un des nombreux archiducs. Je crois que c'est l'archiduc Joseph qu'elle destine à l'état ecclésiastique. On offrait, à ce qu'il me fut dit alors, au coadjuteur le plus riche évêché d'Hongrie et tous les autres dédommagements à son choix; mais il n'en trouva pas d'équi-

* valant à la dignité de premier prince de l'Empire, et il se refusa à toutes les propositions. On assurait alors que la famille de Collorédo à qui l'on suppose en ce moment le plus grand crédit à Vienne, chercherait à le forcer à ce parti malgré lui; qu'on tâcherait même de porter la cour de Rome à quelque mesure rigoureuse, et qu'on rappellerait à ce sujet qu'il avait autrefois appartenu à l'ordre des illuminats, qui sont autre chose que les illuminés; qui ont fait tant de bruit en Allemagne avant la révolution française, et qui ont tant intrigué l'electeur palatin et la cour de Munich, parce que le chef-lieu de ces illuminats était en Bavière où résidait un de leurs patriarches, un certain Weishaupt aujourd'hui retiré à Gotha, à qui son sérénissime électeur n'aurait pas manqué de faire trancher la tête s'il n'avait pas trouvé le moyen de se soustraire à son glaive. J'ignore jusqu'à quel point tout ce qu'on m'a dit à ce sujet est fondé; le coadjuteur ne m'en a rien confié. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on avait publié, il y a quelques mois, une brochure intitulée Philo und Spartacus, découvrant tous les ressorts de la machine par laquelle les illuminats prétendaient se rendre maîtres de tous les gouvernements, les diriger et au besoin les maîtriser. Spartacus était le nom du patriarche Weishaupt, et Philo celui d'un autre patriarche de l'ordre, le baron de Knigge, connu par plusieurs écrits, vivant aujourd'hui à Brême. La publicité de cet écrit et le bruit qu'il ferait, devait servir à prouver qu'un homme qui avait appartenu à cet ordre, ne pouvait être ni archevêque, même in partibus infidelium, ni encore moins premier prince ecclésiastique de l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, si cet orage a existé, il est passé, et l'on m'assure que la cour de Vienne ne pense plus au siége de Mayence, et qu'elle a surtout renoncé à l'idée d'en déposséder le coadjuteur de force. J'observe à cette occasion qu'il faut que le souffre-douleur de Votre Majesté soit un bien pauvre hère, car jamais il n'a pu être ni franc-maçon, ni illuminé, ni illuminat, ni appartenir à aucune société secrète, ni à aucun ordre mystique. Il est bien vrai que, jaloux à l'excès de conserver son empire sur lui-même intact, il n'a jamais recherché l'honneur dangereux d'appartenir à aucune de ces corporations; mais de n'en avoir jamais été recherché le moins du monde, de n'en avoir jamais reçu la plus légère invitation, cela est pourtant bien humiliant.

La visite de milord comte de Findlater a précédé celle du coadjuteur de quinze jours. Il avait passé l'hiver dernier à Hambourg, de là il s'était rendu à Carlsbad pour y passer la belle saison, et avant d'aller s'établir pour l'hiver à Leipzig, il a voulu me faire une visite. Quoique sa figure soit aussi longue et pas plus gaie que celle de Don-Quichotte, il a fait la conquête de Katinka et d'Adèle de Bueil, apparemment parce qu'elles ont fait

* la sienne et qu'il s'en est beaucoup occupé, et parce qu'avec une figure très sérieuse il dit des choses fort gaies. Ainsi depuis son départ, tous les jours à notre dîner, et immédiatement après la santé de l'auguste marraine et celle du parrain Alexandre le fortuné nouveau marié, la santé de milord Findlater m'est régulièrement portée. Mais ce n'est pas pour faire cette conquête, qu'il est venu faire son apparition chez moi. Il a voulu me prouver que tandis que notre Impératrice travaille avec tant de succès et de gloire à la prospérité de son empire, il n'a pas perdu un instant cet objet de son affection de vue. Or pour pouvoir se tenir à côté d'elle, il a bien senti qu'il fallait la surpasser de beaucoup et renchérir en imagination sur ce qu'elle avait déjà fait en réalité. Il faut donc que Votre Majesté se détermine à rester un peu en arrière de milord, quant aux limites de son empire arrêtées et fixées par sa seigneurie écossaise, à moins qu'elle ne préfère de se mettre tout de suite à son niveau, en transformant en réalités toutes ses imaginations dont il a fallu lui promettre de tracer ici l'esquisse.

Commencement. Et d'abord, comme milord est arrivé chez moi avec une carte géographique d'une grandeur de plusieurs aunes en long et en large, et qu'il a fallu m'éborgner sur cette carte pendant deux heures et demie, pour me bien mettre au courant de toutes les visions politiques de sa dite seigneurie, il plaira à Votre Majesté d'étaler devant elle cette même carte immense, et de nous suivre attentivement. Nous nous plaçons dans l'attitude impériale favorite, tournant le dos au nord, fixant de nos regards le midi, ce qui nous donne l'occident à notre droite et l'orient à notre gauche. Du côté droit ou de l'occident, nous trouvons que l'Impératrice a si bien pourvu aux limites de l'empire, qu'il ne nous reste rien à demander; mais du côté gauche ou de l'orient, il nous faut toute la partie de la Circassie entre la rivière du Cuban et la mer Noire, y compris tous les beaux yeux circassiens, ainsi que la Mingrélie, l'Imeret, la Géorgie, en un mot tout le pays entre la mer Caspienne et la mer Noire.

Pour donner une petite marque d'attention au Sieur Constantin, nous le faisons Roi de Grèce, relevant de l'empire grec ci-dessus limité, et nous le mettons en possession de tout le pays au midi du Danube et de la Save, ainsi que de toute la Grèce.

Votre Majesté nous demandera si nous nous sommes expliqués et arrangés à cet égard avec les puissances voisines, amies, envieuses, alliées, &c. C'est fait: milord donne à la maison d'Autriche la Valachie, la Moldavie et la Bessarabie. En revanche elle rendra à la Pologne la partie de la Galicie qui relativement à la Hongrie se trouve au-delà du Dniester et de la rivière de Saan, de sorte que ces deux rivières feraient sa frontière de ce côté-là.

* Le Roi de Prusse obtiendra de la munificence de milord tout ce qui reste à la Pologne sur la rive gauche de la Vistule depuis et y compris Cracovie et Varsovie, pour l'ajouter aux provinces qui lui ont déjà été cédées par la Pologne. Votre Majesté remarquera que partout nous plaçons nos bornes et poteaux soit au bord des mers, soit aux rivières comme limites naturelles. Ou bien on pourrait arrondir le Roi de Prusse en Allemagne par la Poméranie suédoise et par le pays de Mecklenbourg, en sécularisant en faveur de la maison de Mecklenbourg les évêchés de Bamberg et de Wurzbourg, tout comme on pourrait sécula riser en faveur du landgrave de Hesse-Cassel l'évêché de Fulde.

La Pologne regagnerait la partie de la Galicie jusqu'au Dniester, que nous reprenons à l'Autriche; et comme milord ne veut rien faire mesquinement, il y ajoutera, si l'on veut, la Courlande. Il établit la résidence royale à Grodno ou dans toute autre ville considérable ou polonaise ou lithuanienne, et s'en rapporte au demeurant, quant à la forme de gouvernement de cette république royale régénérée, à sa haute, puissante et intime Alliée.

Enfin, pour n'oublier personne, nous donnons aux anglais ou l'île de Chypre ou l'île de Candie, ou les deux en cas de besoin, et leur ouvrons dans notre partage deux marchés de commerce au lieu d'un. Nous démolissons à perpétuité les forts des Dardanelles, et assurons liberté entiere de navigation à toutes les puissances possessionnées sur les bords de la mer Noire.

Nous sentons bien qu'il faudra au Roi de Grèce une tourterelle pareille à celle dont Monsieur Alexandre est en possession. Milord la lui cherchera, soit à Saint-James, soit à Berlin, suivant le degré de contentement que l'un ou l'autre de ces colombiers lui aura donné.

Il faut convenir que l'Impératrice est née coffée. Cela a été, je crois, déjà observé par d'autres avant moi; mais les travaux de mylord Findlater mettent surtout cette vérité en évidence d'une manière frappante. Il est assurément bien commode d'avoir un pair d'Ecosse dans sa manche, qui nous arrange les limites de notre empire, sans que nous ayons seulement besoin d'y regarder. Cela nous ménage tout le loisir de poursuivre fort à notre aise nos travaux généalogiques qui ne donnent du tintouin qu'à M. Yelaguine, et pas un pouce de terrain à l'empire, tandis que milord passe ses nuits dans des calculs politiques très compliqués, pour porter ses frontières presque aussi loin que sa gloire, et que le souffre-douleur, obligé de le suivre jusqu'au pied du mont Caucase et jusqu'aux bords de la mer Caspienne, sans seulement oser lorgner chemin faisant les belles géorgienes et circassiennes, se trouve véritablement sur les dents. Au reste, si Votre Majesté n'est pas

* contente de notre essai, elle n'a qu'à parler, et nous lui fournirons autant d'esquisses différentes qu'elle en souhaitera. Quand il s'agit de la Russie, milord n'est pas plus au bout de ses ressources que cet empire lui-même. D'ailleurs les soirées de Leipzig sont longues, nous avont tout l'hiver par devers nous, et dussions-nous fournir toutes les semaines un plan différent, milord y pourvoira, sans nous faire craindre son épuisement. Fin.

Les ténèbres qui m'ont enveloppé depuis plus de quinze jours, les nouvelles désastreuses de la France qui m'ont rempli de tristesse et d'horreur, ne m'ont pas rendu digne de paraître en présence de mon auguste Souveraine et de porter à ses pieds mes félicitations sur ce traité d'alliance, d'amitié, de tendresse et d'union intime que son ambassadeur a signé à Grodno avec la toute aimable République royale, le jour même qui a fini les tourments de l'infortunée Reine de France. Le deuil occasionné par ce déplorable événement a empêché les gens de Grimma de célébrer ce traité à jamais mémorable par une illumination, mais il n'en a pas moins mis toutes les têtes en l'air dans leur bicoque. Nun, ſagen Sie, das iſt nun wieder ſo ein Stückelchen von ihrer Stricknadel, une de ses gaucheries, un plat de son métier, worüber man Folianten ſchreiben könnte, welche zween berühmte Gelehrte, der abgeſchiedne große Hertzberg und der noch athmende preiswürdige Lucchesini, mit ſchönen Noten, Commentarien und Erläuterungen bereichern könnten. Wenn unſere große Kaiſerin eine prächtige Ausgabe dieſes Werks veranſtalten läßt, ſo wollen die Leute von Grimma unmaaßgeblich und unterthänigſt das Wort eines kaiſerlichen Herrn Collega, des alten Comödienſchreibers Terentius, zur Epigraphe oder zum Motto vorſchlagen: Amantium irae, amoris reintegratio, ce qui veut dire que les querelles des amants finissent par un redoublement d'amour. Mais quel redoublement, vive Dieu! La fièvre la plus inflammatoire n'en a jamais produit de plus ardent. C'est ce que le souffre-douleur, sans être sorcier, a prévu dès les premiers mois de l'année 1792, lorsque sa Souveraine aussi affectée des fredaines de sa petite espiègle de voisine que le doux Sauveur de l'égarement du pécheur, s'écriait avec inquiétude: Qu'est devenue ma petite voisine? Qu'a-t-on fait de la République, mon amie, mon alliée? Il me faut ma République. Qu'on me la rende telle qu'elle est. Il était aisé de prédire que la petite égrillarde ne résisterait pas à une si tendre invitation, qu'elle serait bientôt repentante de ses oeillades, de ses lorgneries du côté de l'occident et du côté de l'orient, de ses coquetteries affichées dans tous les coins; que ceux par lesquels elle s'était laissé entraîner dans le libertinage avec un si grand scandale, ne resteraient pas longtemps ses amis; que revenue de ses vertiges, elle demanderait elle-même ou souffrirait du moins

* avec résignation que pour la délivrer de toute tentation nouvelle, on lui écourtât les cotillons, qu'on lui rétrécît le corset, qu'on lui rognât même les ongles, pour que de pareils écarts ne lui arrivassent plus, et que dès qu'elle aurait mis sa robe de pénitente, elle se jetterait à corps perdu dans les bras qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Il est tout simple que dans ses élans de repentir, elle soit aussi extrême qu'elle l'a été un moment dans ses fredaines; qu'elle se rattache à son alliée, après avoir désarmé sa colère, comme le lierre s'attache au chêne; qu'elle crie à tue-tête: Nous sommes désormais les deux inséparables, vous la grande, moi la petite; et que, de peur de n'être pas assez près de sa grande inséparable, elle ait absolument voulu être identifiée avec elle, et pouvoir dire: Elle et moi, nous n'en faisons plus qu'un. Et voilà comme les raccommodements mènent toujours plus loin qu'on ne l'aurait été si l'on ne se fût pas brouillé. Heureux péché, s'écriera la République retrouvée, puisqu'il m'a fait rentrer dans la voie du salut, sans crainte de m'en écarter de nouveau! Felix culpa! Heureux égarement! J'espère que la petite ne terminera pas ses travaux à Grodno, sans remercier le Très Haut de la faveur signalée avec laquelle il a fait tourner ses grandes erreurs à son plus grand bien; et comme les petits aiment à imiter les grands, le Roi pourra ouvrir cette solennité religieuse par une proclamation où, à l'imitation d'une ukase de ma connaissance, il ne pourra pas, à la vérité, remercier le Très Haut au nom de sa petite, de l'avoir fait triompher de tous les tours, liſtige Ränke und Schwänke, und allerlei guten Abſichten de ses envieux, car n'a pas des envieux qui veut; mais il pourra, dans un accès de reconnaissance, étaler aux yeux de l'Eternel et de l'univers, tous les sages conseils, tous les généreux desseins, toutes les heureuses suggestions, dont la petite est redevable à ceux qui l'ont guidée à l'époque de ses égarements. L'ukase de la haute et puissante alliée n'a pas voulu nommer les masques in dem Kapitel von den Neidern des Ruhms und der Macht von Rußland, und von ihren Ränken und Schwänken in dem benachbarten Lande, 1°. parce qu'il faut être poli avec ses envieux; 2°. parce que c'eût été superflu, indem ſich ein jeder Unbefangener aller derſelben gewiß erinnert. Le cas de la petite repentie et de son royal tuteur est fort différent. Il s'agit de chanter les louanges de ses amis de coeur dans le temps de ses folies, qui l'ont si bien conduite qu'au bout d'environ deux ans d'erreurs et d'une année de pénitence, elle s'est retrouvée dans le chemin du salut avec une taille très dégagée. Or il est toujours beau de publier les noms de ceux à qui l'on a de si grandes obligations. Les gens de Grimma n'attendent que cette proclamation du royal tuteur, pour entonner le cantique: Was Gott thut, das iſt wohlgethan, après avoir chanté le Domine, salvam fac ancillam tuam,

* Catharinam nostram, piam, felicem, augustam, humani generis decus ac solatium!

Ce 6 (17) novembre.

Après avoir terminé le feuillet précédent par un Te Deum solennel à l'occasion du retour irrévocable d'une grande pécheresse, d'une république pénitente et repentante, dans la voie du salut, je me retrouve dans le cas d'entonner immédiatement un nouvel hymne en actions de grâces à l'honneur de l'immortelle, intarissable dans ses oeuvres de miséricorde, comme dans ses oeuvres de grandeur et de gloire. C'est, il en faut convenir, passer dans ces temps désastreux et funestes, au milieu de tant de catastrophes effroyables, bien doucement sa vie, que d'avoir à la consacrer à la composition der ſchmerzbulderiſchen Lob- und Dank-Pſalmen; que d'avoir en vingt-quatre heures deux sujets de se livrer à des chants d'allégresse. Je dois ce second Te Catharinam laudamus au comte de Tiesenhausen, qui entra dans mon réduit solitaire avant-hier entre onze heures et minuit, tenant dans sa main une lettre d'une feuille que rien au monde ne peut remplacer et qui remplace tout. Il m'apprit qu'il était chargé de la notification du mariage des deux anges, à Carlsruhe; que delà il irait faire la même notification à Bareith, à Madame la princesse de Wurtemberg, mère de Madame la Grande-Duchesse; et moi, faisant parade de mon érudition de gazettes, je l'assurai que cette princesse lui épargnerait une partie du chemin, parce que, d'après les gazettes, elle s'était rendue avec le prince son époux à Stutgard, pour se trouver à l'installation du nouveau duc, son beau-frère. Le comte de Tiesenhausen me prévint qu'il ne serait pas longtemps sans repasser pour prendre mes paquets; à peine pus-je lui faire une vingtaine de questions sur les fêtes du fortuné mariage, qu'il me quitta pour aller répondre aux questions de Carlsruhe. Une découverte que je fis à l'occasion de son nom, c'est qu'il est vraisemblablement fils de celui aux noces duquel j'assistai dans le palais de Votre Majesté Impériale au temps de ma félicité passée, lorsqu'il épousa Mademoiselle de Stackelberg, demoiselle d'honneur.

A peine eut-il les talons tournés, que pressant contre mon coeur le gage précieux dont il venait de me mettre en possession, je m'écriai: ô bonté vraiment digne de régner sur tous les coeurs comme sur l'univers, qui n'oublie jamais celui qui se confie en elle! et un torrent de larmes inonda mon visage. Je ne sais par quelle raison ou par quelle lubie je ne suivis pas cette fois-ci ma méthode ordinaire. Je ne lorgnai pas mon paquet, je ne le

* tournai pas en tout sens entre les doigts; je l'ouvris brusquement, et en commençant par le commencement, je lus la première page d'un bout à l'autre, sans me permettre la plus petite oeillade anticipée sur la seconde ou troisième page. Une inspiration secrète, en me détournant de ma marche accoutumée, avait concentré mes regards sur cette première page. Elle renfermait en effet tout ce que je pouvais désirer, tout ce qui pouvait satisfaire les besoins de mon coeur. D'abord, cette notification, la plus importante et la plus charmante de toutes: «Or sus, après six semaines de fêtes sans interruption et sans relâche, je vous déclare que j'en suis sortie en vie et bien portante». Votre Majesté a bien raison d'ajouter que c'est tout ce qu'on peut exiger d'un honnête homme en pareil cas. A dire vrai, je n'étais pas fâché d'être un peu rassuré à cet égard, parce que je croyais avoir observé que quand l'Impératrice voulait s'amuser à être malade, elle choisissait ordinairement pour cela le temps qu'elle avait désigné aux fêtes publiques en commémoration des petits événements de son règne, tandis qu'elle ne s'en avise jamais, lorsqu'elle a une armée à commander en Finlande, ou un plan de campagne à prescrire sur les bords du Danube, ou une campagne navale à diriger soit dans la Baltique soit dans la mer Noire, ou une petite voisine qui a scandalisé le monde par ses fredaines, à rappeler dans son giron par la pénitence, ou enfin quelques autres petites occupations de ce genre; elle jouit alors de la plus brillante santé sans interruption, parce qu'elle se trouve dans son élément comme le poisson dans l'eau, et a encore par-dessus le marché le temps de traduire Plutarque et de cribler de Stichelreden son souffre-douleur. D'après cette observation bien ou mal fondée, j'avais pris les fêtes un peu en grippe, et c'est une obligation très essentielle que j'ai à Votre Majesté, d'avoir dérangé cette étiquette d'indisposition qui me déplaisait souverainement, par une série de fêtes et de santé de six semaines sans relâche. A cette première notification en succède une autre qui met le comble à la félicité des gens de Grimma: «Nos jeunnes gens, beaux comme des anges, heureux comme on peut l'être, sont au parfait dans leur ménage et dans l'esprit du public, et moi, dans la joie de mon coeur». Après ce tableau enchanteur, que pouvait-il manquer à la mienne? Rien, si la seconde page et la troisième ne l'eussent terni d'une étrange manière. Qui pouvait s'attendre d'y voir figurer M. de Secondat d'une manière si sinistre? Quant à moi, j'en étais à mille lieues. Qui pouvait s'imaginer de trouver l'enfer avec toutes ses fureurs tout à côté de ce paradis si divinement esquissé en trois où quatre coups de pinceau? Que je plains l'illustre victime tombée du comble du bonheur dans l'abîme du malheur, sans que je puisse lui supposer l'ombre d'un tort! Mais si l'enfer la persécute, il n'a pu l'arracher

* au bonheur, puis qu'elle respire près de l'immortelle et nécessairement sous son égide. Elle doit savoir aussi bien que moi, que contre cette protection les portes de l'enfer ne prévaudront jamais, et puisque l'oracle a parlé et prononcé qu'il faut sortir d'embarras et avec honneur, toutes ses inquiétudes doivent cesser avec la mienne. Ce n'est jamais en vain que l'innocence persécutée et en détresse invoque Notre Dame des secours et des ressources; dans les cas les plus désespérés elle a toujours su en indiquer d'efficaces à ceux qui auraient péri sans elle. Que je suis heureux de savoir mon légataire au parfait dans son ménage et dans l'esprit du public! Quelle leçon pour ceux qui, en troublant la paix intérieure, trouvent encore le secret de rompre la paix publique. Qui que tu sois, Secondant ou Montesquieu, point de salut dans ce monde ni dans l'autre sans le suffrage et la faveur du public. C'est ce que mon légataire sait déjà et ne perdra jamais de vue. Je ne puis quitter ce triste sujet, sans observer à Votre Majesté que je ne saurais admettre l'alternative qui la termine: «gardez cette lettre pour vous ou jetez-la au feu». On aurait le droit d'en inférer qu'il y en a que je ne garde pas pour moi, et qu'il existe un autre nez dans ce monde qui ait la possibilité de s'y fourrer: assertion évidemment impie. La jeter au feu est sans doute une autre extrémité bien terrible; mais je m'y résoudrai sans doute, afin qu'il soit démontré que lorsque l'immortelle a prononcé son arrêt, aucun miracle n'est plus impossible.

Ce 11 (22) novembre.

Depuis le commencement de la guerre contre les barbares on a déposé à Ratisbonne des dons volontaires et patriotiques entre les mains des ministres de l'Empereur et du Roi de Prusse, pour être employés aux frais de cette guerre calamiteuse. Les uns en faisant ces dons, y mettent leur nom, d'autres y mettent une devise en gardant l'anonyme dans les listes qu'on imprime successivement dans les gazettes. Je viens de remarquer dans ces listes un anonyme qui, en envoyant 36 florins 48 kreuzer, a mis pour devise: Held Suvarov, komm zu dem Helden Coburg hin mit deiner Kaiserin Schaar, und sag, wie ehedem, nach dem Sieg, wie viel der Feinde waren. Or si Votre Majesté remarquait par hasard cette devise dans les gazettes, elle pourrait soupçonner son souffre-douleur d'avoir composé cette devise pour y envelopper son don patriotique. Je suis donc obligé en mon honneur et conscience de ne pas laisser cette généreuse contribution sur mon compte, et de déclarer à haute et intelligible voix que ce n'est pas moi qui ai apostrophé le comte des deux empires. Je ne disconviens pas que si Held Suvarov était

* avec son élève, Saxe-Cobourg, ou avec son admirateur, Wurmser, je ne fusse tout autrement tranquille, et que son absence ne me cause parfois des angoisses cruelles sur l'issue de cette campagne. Es iſt curios daß ſo in ganz verſchiedenen Winkeln Leute ſitzen können, die ſich weder geſehen noch gehört haben, und deren Inſtrumente ſo genau das nämliche Lied ſpielen, als wenn ſie es lange vorher gemeinſchaftlich verabgeredet. Dergleichen moraliſche und pſycho-logiſche Erſcheinungen ſind pure Räthſel für den gemeinen Mann, und ihre Auf-löſung muß unſer einer dem Qui ne voit pas des großen und in alle Tiefen ein-dringenden Lavaters überlaſſen.

Au nombre des devoirs les plus pénibles, mais aussi les plus indispensables d'un souffre-douleur, est celui d'être avec une vigilance sans quartier à la piste de toutes les injustices de son auguste Souveraine, de les lui mettre consciencieusement devant les yeux, sans en laisser échapper une seule, et de rembourser, pour récompense de ce zèle imperturbable, quantité de Stichelreden, les unes plus cuisantes que les autres; mais quand le devoir commande, il faut savoir se résigner et aller au feu sans sourciller. Votre Majesté, en parlant de l'audience fixée pour le lendemain de sa lettre, à l'ambassadeur du sultan Sélim, se permet de dire que cette ambassade ressemble à celle des gueux. A quoi donc veut-on qu'elle ressemble? Quoi, on aura houspillé de pauvres gens quatre ou cinq ans de suite sans miséricorde, on les aura étrillés, sans discontinuer, avec leurs habits sur le corps, et l'on veut que ces habits ne soient pas en lambeaux et que ceux qui les portent n'aient pas l'air gueux! Voilà ce qui en deux mots s'appelle une injustice criante. Lorsque la cour de France, à la paix de 1763, après sa malheureuse guerre de sept ans, eut un ambassadeur extraordinaire à envoyer en Angleterre, elle fit choix du duc de Nivernais. C'était un des seigneurs les plus spirituels de la cour, mais sans comparaison aussi le plus maigre et le plus étique. La chronique scandaleuse le disait fils de Voltaire dont, suivant elle, indépendamment d'une certaine ressemblance, il tenait visiblement les qualités d'esprit et de corps. Un des matelots du paquebot anglais qui passa monsieur l'ambassadeur, dit à ses camarades: «Voyez-«vous à quelle détresse nous avons réduit ces pauvres Français pendant «cette guerre? Lorsqu'il fut question d'envoyer un ambassadeur chez nous, «on chercha dans toute la France celui à qui il était resté le plus d'embon-«point, et l'on n'en put jamais trouver un plus gras que celui-ci». Ce matelot, Madame, ne trouva pas à redire à la maigreur de l'ambassadeur français, qui lui paraissait dans l'ordre des choses; et je suis persuadé que les postillons russes qui ont conduit son excellence, monsieur l'ambassadeur marabout et ses compagnons de voyage vers le séjour de la gloire, ne se

* sont nullement formalisés de l'air déguenillé qui faisait ressembler ces pauvres gens à l'ambassde des gueux; au contraire, ils ont dit entre eux: «Voilà l'ouvrage de notre Matouchka». Au demeurant, le grand Sélim a fait en cela preuve du sens exquis dont, au su de tout l'univers, la nature l'a doué. Il s'est dit: «J'aurais bien tort de faire dans cette occasion une dé- «pense au-dessus de mes moyens. Je connais de longue main ma magnanime, «ma plus intime amie, voisine et réconcliée; elle ne souffrira pas que l'am- «bassade de mon marabout ressemble à une ambassade de gueux, je suis entièrement tranquille là-dessus». Effectivement on voit par les gazettes que les deux entrées d'ambassadeurs, l'une à Constantinople, l'autre à Pétersbourg, ont été d'une manière frappante absolument égales en magnificence. On croit lire les Mille et une Nuits quand on s'enfonce dans ces détails. Le général Koutouzov était entouré et suivi d'une armée russe magnifiquement équipée; une armée magnifique aussi paradait et escortait l'ambassadeur du grand Sélim, avec la seule différence que ce n'était pas une armée turque, mais aussi une armée russe. Le Rarabout entouré par les enfants de la victoire dit que de sa vie il ne s'est trouvé en si bonne compagnie, et c'est un avantage qu'il doit à la confiance illimitée de son sublime maître en sa haute voisine et réconciliée.

Ce 13 (24) novembre.

C'est une cruelle manière d'exister que d'avoir la certitude d'apprendre à chaque jour de poste, c'est-à-dire quatre fois de la semaine, un tissu d'horreurs sans exemple dans les annales du monde, de voir les innocents périr par le fer des bourreaux à côté d'une foule de coupables, et tomber les plus illustres victimes à côté des plus exécrables scélérats de la terre. Voilà donc un des principaux artisans des malheurs de la France, ce misérable duc d'Orléans, qui vient de recevoir la récompense due à ses forfaits. Il a suivi de près, avec une vingtaine de ses infâmes compagnons, l'ombre de Marie Antoinette; mais, grand Dieu, est-ce par d'aussi horribles victimes que ces mânes augustes peuvent être apaisés? Il n'a pas été jugé avec plus de justice qu'elle, car un des symptômes qui caractériseront cette époque à jamais déplorable, c'est que les coupables comme les innocents ont été tous également victimes de la tyrannie la plus atroce qui ait jamais désolé la terre; mais l'arrêt du supplice dû à ses crimes était depuis longtemps prononcé au tribunal de tout ce qui existe d'honnête sur la terre, et la postérité apposera à cet arrêt le sceau de l'horreur et du mépris qu'elle vouera au criminel qui en est l'objet. Voilà l'abîme où la nullité, l'absence de

* toute qualité morale peuvent entraîner, tandis qu'elles sembleraient ne devoir conduire qu'à une existence insignifiante et voisine de la végétation. Ce malheureux n'avait rien moins que l'étoffe d'un grand criminel; mais étranger à tout sentiment moral, quoiqu'il ne manquât pas d'ailleurs d'un certain esprit, il n'eut pas en lui de quoi distinguer un honnête homme d'avec un mauvais sujet, et ne put par conséquent manquer de tomber dans ces derniers temps dans les piéges des scélérats qui, sans en faire le moindre cas, en firent l'insrument de leurs projets criminels. Quand on rapproche l'existence du père de la fin du fils, on franchit un intervalle qui ne paraissait pas dans l'ordre des choses possibles. Ce père n'était pas un génie, n'était pas un aigle, il avait peut-être l'esprit assez borné; mais la nature l'avait doué d'un tel instinct pour l'honneur et pour les honnêtes gens que jamais aucun mauvais sujet ne put l'approcher, encore moins le circonvenir ou durer auprès de lui. Dès qu'il voyait un homme capable de manquer à l'honnêteté, à la probité, à l'honneur et à l'élévation des sentiments et une certaine délicatesse, il le prenait en aversion et s'en éloignait. Je me rappelle qu'un jour, dans un embarras d'argent, son chancelier Silhouette lui proposa pour ressource de retarder le paiement des appointements, gages et pensions de sa maison de six mois, ce qui ne ferait d'autre tort à ceux qui en jouissaient, que d'être soldés six mois après leur mort. C'est-à-dire, lui répondit le prince, que vous me proposez pour un expédient de finance, de faire une banqueroute de six mois à ceux qui me sont attachés, et comment feront, pour vivre pendant ces six mois, ceux qui n'ont d'autre ressource que leur traitement? Dès ce moment son chancelier perdit sa confiance, et six mois après il trouva un expédient de lui ôter sa place, mais en lui laissant une pension considérable dont il ne fit pas reculer le paiement d'un semestre. Cela n'empêcha pas Louis XV de prendre ce Silhouette l'année d'après pour son contrôleur général des finances, place où il ne put se maintenir plus de six mois, sans être au bout de son latin. Une plaisanterie perpétua sa mémoire et son nom dans les arts. L'usage de faire prendre à l'ombre le trait de son profil devint à la mode sous son ministère. On appela ces profils des silhouettes, parce que, disait-on, il avait tellement ruiné la France que personne n'était plus en état de se faire peindre, et qu'il fallait se contenter de sa silhouette.

Cet instinct, ce goût inné pour ce qui est honnête préserva le duc d'Orléans de toute contagion avec les malhonnêtes gens ou d'un caractère équivoque, quelqu'aimables qu'ils pussent être d'ailleurs. Cela n'empêcha pas que le goût du plaisir ne l'entraînât quelquefois, tout comme un autre, dans la mauvaise compagnie, qu'il ne vécût même avec des filles en liaison

* suivie; mais la dignité de son rang et une certaine bienséance le suivaient jusques dans ses orgies, qui ne furent jamais déshonorées par la crapule; ses compagnons de plaisir y trouvèrent toujours le prince. Le respect dû au public ne fut jamais blessé, le secret environnait ces parties, et au milieu de ces petits écarts dont personne ne voyait les traces, la cour du Palais-Royal jouissait de l'existence la plus brillante. Tout ce qu'il y avait en France de plus aimable, de plus à la mode, de plus respectable aspirait à l'honneur d'y être admis; on n'était pas de bon ton sans en être, et si Louis XV était roi à Versailles, on appelait le duc d'Orléans le roi de Paris. Il jouit constamment et au plus haut degré de l'affection du peuple et de la faveur de ce public que l'élève de Minerve Catherine et mon légataire a si bien su se captiver, sans laquelle il n'y a point de salut dans ce monde.

Un prince de cette trempe ne pouvait négliger l'éducation de son fils: la manière dont il la composa eut le suffrage général, et l'on ne doit pas oublier que ce fils répondit très bien à ces soins et n'annonça aucune des qualités perverses qui l'ont rendu si malheureusement célèbre. Ce ne fut qu'après son éducation achevée et sa présentation à la cour, que Louis XV ennuyé et gêné dans ses propos par l'innocence d'un jeune prince, voulut qu'il fut initié dans les mystères de la débauche. Les premiers pas faits, il fut entraîné insensiblement et lentement dans tous les désordres de la crapule. Entouré à la fin de joueurs, d'escrocs, de spéculateurs, d'agioteurs, d'ivrognes, de libertins, d'hommes et de femmes perdus, sa compagnie habituelle développa la bassesse de ses sentiments; et déjà du vivant de son père, il se livra, au milieu de ses désordres, par avarice, aux plus sordides spéculations de finance et d'agiotage. Ayant obtenu par ses importunités de son bon père la propriété du Palais-Royal, il n'en fit usage que pour en transformer le jardin en un lieu public et privilégié de prostitution par des établissements qui moyennant les loyers de boutiques et de mauvais réduits devaient lui procurer un accroissement de revenu. De tout cela il ne devait résulter au plus qu'un homme méprisable, indigne de son nom et de son rang, et effacé à la fin de sa vie du souvenir des hommes; mais pour le malheur de la France et le sien, il devait se trouver dans un période de troubles sous un gouvernement doux, mais faible et nul, et rencontrer une femme d'une ambition sans bornes, d'un génie infernal, afin de tomber, sous sa direction, d'égarements en égarements, des crimes en crimes, de devenir, entre ses mains, les plus lâche de traîtres envers son roi, et pour l'histoire un objet éternel d'opprobre et d'exécration.

Cette femme, dont le mari supplicié quelques jours avant le duc d'Orléans avec une vingtaine d'autres bandits ses pareils, s'était appelé successi-

* vement le comte de Genlis, ensuite le marquis de Sillery, et avait repris depuis la révolution, en bon jacobin, son nom de famille Brulart, était d'une extraction très obscure, mais comédienne à l'excès, d'un caratère ardent et altier. Sa mère savait qu'avec de la figure et de l'intrigue on pouvait parvenir à tout en France. Elle lui fit apprendre à jouer de la harpe, et la produisit, à la faveur de ce talent, d'abord dans un cercle modeste, et peu à peu dans la société du grand monde et des gens de la cour. Remplie de grâces, adroite et artificieuse au suprême degré, il s'agissait de lui trouver un mari qui lui donnât un nom pour la rendre susceptible de tout. Le comte de Genlis, assez mauvais sujet, joueur et escroc, devint ce mari; mais comme cette union ne donnait pas le moyen de vivre, on trouva le moyen de placer la jeune mariée au Palais-Royal en qualité de dame de compagnie de Madame la duchesse d'Orléans, alors duchesse de Chartres. Bientôt elle subjugua le duc de Chartres et devint sa maîtresse. Dès ce moment son caractère se déploya dans toute sa force. Elle gouverna despotiquement le prince et la princesse et toute la jeune cour du Palais-Royal; et quoique ce prince déjà plongé dans la débauche, après avoir satisfait sa fantaisie, ne fût pas susceptible d'un attachement durable pour sa maîtresse, elle conserva sur lui et ses volontés l'influence la plus décidée par la seule puissance de l'empire qu'un esprit fort prend sur un esprit faible. Alors on fut surpris de la voir tout à coup passer d'une vie très frivole et très dissipée, à une vie très retirée, à des occupations sérieuses, se faire auteur et composer de volumineux ouvrages sur l'éducation. Elle avait sans doute déjà formé le projet romanesque de s'emparer de l'éducation des enfants de France et principalement de celle du Dauphin. Dans cette vue elle afficha tout à coup la dévotion, et déclara par ses écrits la guerre aux philosophes; mais elle se méprit sur la date, et ce qui aurait fait beaucoup d'effet du temps de Louis XV où la cabale des dévots aurait pu la porter aux nues, n'en fit aucun sous Louis XVI, parce qu'il n'y avait plus de cabale de dévots, que sous son règne on ne persécutait plus, et que les philosophes, n'étant plus persécutés, commençaient à perdre de jour en jour de leur considération, à n'être plus à la mode, et à ne plus savoir quelle contenance tenir. Trompée dans son calcul, elle se fit confier par son ancien amant l'éducation de ses fils et se déclara leur gouverneur en titre, précisément à l'époque où l'on est dans l'usage de retirer les princes des mains des femmes pour les remettre aux hommes. Mais cela ne produisit que des chansons à Paris et aucun effet à la cour. Ne pouvant conquérir la Reine, elle devint son ennemie irréconciliable et mortelle. A peine le bon duc d'Orléans eut-il les yeux fermés, qu'elle entoura son fils d'intrigants et d'espèces de tout genre,

* et l'associa à toutes les cabales obscures formées contre la cour. Tout à coup, pour brouiller M. le comte d'Artois avec la reine, elle manigança un mariage entre M. le duc d'Angoulême, fils aîné de ce prince, et Mademoiselle, fille du duc d'Orléans, sur lequel les parties contractantes reçurent les compliments d'usage, sans que depuis ce moment on en ait jamais reparlé. Bientôt les agitations déplorables sous le ministère du prêtre Loménie d'inepte et exécrable mémoire donnèrent occasion au duc d'Orléans d'essayer publiquement ses forces contre la cour, au parlement. Le prêtre tour à tour faible et violent, le fit punir par l'exil et quelques-uns de ses complices par une prison rigoureuse, sans que le respect dû au trône fût mieux affermi par ces coups d'autorité. C'est sous ces funestes auspices que se formèrent les états-généraux, et que le duc d'Orléans, toujours guidé par sa Mégère, projeta sa vengeance. Dès le commencement de cette assemblée convoquée pour la ruine et la honte éternelle de la France, cette détestable femme s'entoura de tous les mauvais sujets, de tous les factieux, de tous les scélérats qui, n'ayant rien à perdre, avaient tout à gâgner dans le renversement de l'ordre et dans la subversion de la monarchie, et voilà les précepteurs qu'elle choisit pour initier ses élèves dans les secrets de la science révolutiouaire et de la félonie envers leur souverain. La perversité du père ne suffit pas à cette âme infernale, elle voulut encore se venger de la mère d'avoir osé secouer son joug, en empoisonnant pour jamais toute sa race. C'est chez elle que s'enfantaient, se préparaient et se développaient tous ces projets criminels, si connus aujourd'hui de toute la terre, qui avortèrent toujours au moment de l'exécution, parce que, pour donner une idée de la nullité de ce méprisable duc d'Orléans, sans employer l'infâme expression de Mirabeau, son âme était toujours grosse du crime, sans pouvoir en accoucher. Au milieu de tant d'affreux complots, elle publia une brochure sur l'éducation d'un Dauphin dans l'espérance que les factieux forceraient le Roi et la Reine à la lui confier; mais ce projet favori fit encore une fois naufrage, et fut remplacé par celui de renverser le trône, de précipiter son misérable prince des degrés de ce trône où sa naissance l'avait placé, dans la fange; de le rendre par le rang l'égal de la plus vile populace, comme il l'était par la bassesse de ses sentiments, dans le fol espoir qu'à l'aide de cette canaille abrutie et féroce, il parviendrait à se tirer de ce cloaque impur, à relever le trône de France et à s'y placer.

Elle peut jouir en ce moment des fruits de son ouvrage, et s'applaudir de son génie infernal qui a conduit le Roi et la Reine sur l'échafaud. Le duc d'Orléans vient de recevoir sa récompense par la main du bourreau, ses deux fils cadets attendent un sort à peu près pareil dans les cachots de Mar-

* seille. Leur frère aîné ayant déserté au moment de la défection de Dumouriez, est aujourd'hui caché dans un coin de la Suisse avec sa soeur et cette femme abominable qui les a empoisonés depuis tant d'années, et qui n'a plus aujourd'hui d'autre affaire que de dérober sa tête à la fureur des Jacobins, ses anciens amis. Je me rappelle que m'entretenant il y a deux ans à Aix-la-Chapelle avec un émigré, homme de qualité, qui avait longtemps exercé une des prèmières charges de la maison d'Orléans, je lui dis: Je vous ai tous vus en admiration devant les grâces et l'esprit de cette femme, et vous croyant sur parole, je hurlais avec les loups prôneurs de cette hyène, quoique son air de Circé et son esprit de domination, qui perçait au milieu de ses souplesses, m'eussent suffisamment préservé des agaceries qu'elle ne négligeait pas même pour la plus chétive conquête. Apprenez-moi donc du moins quel pouvait être son but dans le cours de cette révolution où tout se fit par la canaille. Voulut-elle donc que son prince, son ancien amant, l'esclave de toutes ses volontés, ne recueillît d'autre fruit de sa vile et basse popularité, que de devenir l'égal de son cordonnier, de monter la garde à côté de lui et avec lui, en bonnet de grenadier, au milieu d'une troupe de bandits et de galériens, leurs nobles compagnons d'armes?—Vous ne voyez donc pas, me dit mon émigré, qu'en cela elle n'a fait qu'exercer la plus éclatante et la plus terrible vengeance de l'infidélité que son amant a osé lui faire? L'âge et l'ambition ardente dont elle était consumée, lui ayant fait perdre ses charmes, elle ne prétendit point le retenir dans ses liens, elle ne fut point blessée de ses désordres et de ses débauches; mais quant à l'empire, elle ne voulut le partager avec personne, et elle ne lui pardonna jamais celui qu'il avait laissé prendre sur lui à la jeune et charmante femme de ce nigaud de Buffon qui a hérité de son père un nom illustre, le plus lourd des fardeaux pour un imbécile. Pour venger cet afront, elle voulut que le premier prince du sang de France devînt dans les bras de sa rivale le dernier et le plus méprisable des hommes et un objet de dérision et d'insulte pour la plus vile canaille.—Ah, si c'était là son dessein, lui repliquai-je, vous me remplissez d'admiration pour elle. Les Médées sont rares, et en voici une. Si l'objet de sa vengeance avait eu un brin de son génie, il aurait recueilli le fruit de ses crimes et n'aurait pas péri comme le plus vil des scélérats.

Mais comment-ai-je pu m'appesantir si longtemps sur ces détails d'horreur et d'infamie? N'est-ce pas là un beau sujet à fixer l'attention d'une souveraine environnée de prospérités et de gloire, qui par la continuité des prodiges de son règne, a su communiquer à ceux qu'elle gouverne, cette énergie et cette élévation de sentiments vers lesquelles, au milieu de tant de na-

* tions abâtardies et pourries, l'humanité humiliée et gémissante peut encore tourner ses regards avec orgueil et satisfaction? N'est-ce pas là de ma part une belle preuve de reconnaissance envers cette Souveraine sublime, de m'avoir physiquement conservé la vie depuis cinq ans au milieu de cet amas de férocités et de crimes dont le sort réservait l'horrible spectacle à mes derniers jours? Oui, Madame, si je n'en suis pas mort de douleur, si je respire encore, c'est un miracle sans cesse renouvelé de Votre Majesté. L'habitude que mon coeur m'a fait contracter depuis vingt ans, d'entourer par ma pensée l'objet auguste de ma passion, de ne pas plus quitter cette Souveraine auguste que son ombre, de m'appliquer à me pénétrer des idées qui l'occupent, des sentiments qui l'animent à chaque instant; de m'attacher à ses pas, sans la perdre de vue ni jour ni nuit; d'être par conséquent effectivement et continuellement absent du lieu où j'existe, cette habitude seule a pu rendre ce miracle possible. Grâces à cette magie qui me fixe où je ne suis pas, tous ces horribles événements de la révolution française se sont passés sous mes yeux, pour ainsi dire, dépouillés de leur réalité, comme si j'en étais à une grande distance; et tandis que j'existais vraiment au milieu des plus affreuses catastrophes dont les victimes m'intéressaient si vivement, je me trouvais par ce prestige comme éloigné de ces objets de pitié et de terreur. Ne quittant jamais l'égide de l'immortelle, il n'est pas étonnant que sa puissance m'ait préservé de mourir de douleur et de désespoir. Maintenant je frissonne pour cette malheureuse duchesse d'Orléans qui a reçu du ciel la bonté la plus touchante en partage. Abreuvée depuis longtemps du calice de toutes les amertumes possibles, je crains que son tour de périr ne soit à l'ordre du jour depuis le supplice de son affreux époux. Héritière par la mort de son père de trois millions de revenus, comment échapperait-elle à la fureur sanguinaire des brigands régicides?

Ce 17 (28) Novembre.

Hier à six heures du matin je vis entrer chez moi M. Charles Schweizer, chevalier de Saint-George, arrivant de Ham et me demandant en toute diligence mes paquets pour les porter aux pieds de Votre Majesté Impériale. Comme mon saint, en me faisant la faveur de faire prendre à ses courriers leur chemin par Gotha, pour se charger de mes paquets, exige en reconnaissance de ce service important, que je ne les retarde pas un instant, et qu'il n'entend pas plaisanterie sur cet article, j'ai promptement cacheté la pancarte № 65, qui attendait chez moi sa rédemption depuis un mois; mais je n'eus que le temps d'y ajouter mon présent de noces pour mon légataire,

* sans pouvoir charger mon chevalier de Saint-George de cette pancarte-ci, laquelle attendra à présent, dans mon triste réduit, de la miséricorde divine le passage d'un autre rédempteur qui lui procure le bonheur d'arriver an séjour bienheureux où mon âme se tient habituellement. A l'égard de mon présent de noces, dès que M. le comte d'Anhalt, qui doit le savoir, m'en aura fait connaître l'auteur, j'en entreprendrai la réfutation. Quant à sa première partie qui concerne la Russie, cela va sans dire, je suis réfutateur en charge à cet égard; quant à sa seconde partie, qui n'est qu'une espèce d'homélie sur la France, je lui prouverai qu'il n'est pas nécessaire de parler de choses qu'on ne connaît point. J'espère que ma réfutation sera achevée à temps, pour servir de présent de baptême au nouveau-né de mon legataire; il faut pour cela que M. le comte d'Anhalt ne me fasse pas attendre après le nom de l'auteur, parce qu'il est bon de connaître ceux qu'on doit combattre. Il observera lui-même que je n'ai pas plus de temps qu'il ne faut, pour réfuter mon homme, faire relier ma réfutation avec la même perfection que son écrit, et la faire arriver strictement pour le jour du baptême an die allerhöchſte Behörde. Nun zu dieſer aufs künftige Jahr bevorſtehenden heiligen Handlung gratulire ich zum voraus meinem Herrn Legataire in Unterthänigkeit.

Votre Majesté doit être accoutumée, à rencontrer dans son chemin des gens connus et inconnus, qui ne rêvent que d'elle, sur elle, pour elle. Or qui rêve sans cesse au même, du même et sur le même objet, risque de devenir songe creux. Ce n'est pas à moi de décider si la cervelle de l'auteur des trois notes qui se trouvent à la suite de cette pancarte est restée dans un état de santé parfaitement désirable. Mais mon auguste souveraine s'écriera peut-être: Che seccatura! souffre-douleur, que t'ai-je fait? Pourquoi veux-tu me dessécher avec ton songe creux? Ne crains-tu pas que je me fâche? —A cela je réponds: Non: car les immortels sont longanimes, und was gut gemeint iſt, erzürnet ſie nie.

Ce qui est dit dans ces notes sur le marquis Lucchesini m'a donné envie de lire son article dans le citoyen Gorani, et je ne saurais dire que cet article m'ait fait le même effet qu'à l'auteur des notes. Il me semble que le citoyen veut prouver assez naturellement que dans la nouvelle carrière dans laquelle le marquis est entré sous le roi Frédéric Guillaume, il n'est resté qu'au second rang, et n'a pas acquis la réputation d'un négociateur de la première volée. Je conviens que tout cela n'empêche pas d'être jacobin, tout en affichant la plus grande aversion pour la révolution française; mais je pense que le citoyen Gorani n'en sait pas plus là-dessus que moi, et que quand les jacobins veulent s'affilier des créatures dans les cabinets

* des puissances avec lesquelles ils sont en guerre, ils ne mettent dans leur secret ni leurs citoyens barbouilleurs de papier, ne les souffre-douleur de Sa Majesté, la trois fois grande. Tout ce que je puis accorder à cet égard, et ce que je me rappelle très bien, c'est que sur la fin de l'an passé où j'eus l'honneur de hanter son exellence au quartier général du Roi son maître à Francfort, elle avait près d'elle un secrétaire qui avait la réputation d'un archi-jacobin. Au reste, on assure que M. de Bischofswerder pendant le séjour de son auguste maître à Potsdam, a repris tout son crédit et qu'il a presque toujours été tête à tête avec le Roi. On lui prête le propos qu'il avait été la dupe d'un Tartuffe, d'un intrigant et d'un sot, mais que rira bien qui rira le dernier. A cela un de ses bons amis s'est écrié: Comment, il a donc été sa propre dupe? Mais les plus savants interprètes ont assigné la première épithète à Woellner, la seconde à Lucchesini, de sorte qu'il ne restait au vertueux Manstein que le choix de la troisième. D'un autre côté, on conte que la comtesse de Doenhof a risqué un coup de théâtre, mais qui n'a pas été heureux. Le Roi étant retiré à Potsdam et occupé à faire de la musique, tout à coup les deux battants s'ouvrent, on voit entrer das Rebsweib portant un poupon dans ses bras. Elle se jette aux pieds de son royal époux de la main gauche, lui demandant pardon de toutes ses incartades, de toutes ses fautes, de tous ses péchés; mais rien ne fléchit le Roi. Alors la colère succéda à la soumission; elle se retira courroucée, en laissant le poupon sur une chaise. Le lendemain le Roi lui écrivit pour lui ordonner de se retirer à dix Meilen de Potsdam. Dans sa retraite elle pourra lire, pour sa consolation, l'histoire d'Abraham et d'Agar et celle d'autres Rebsweiber de l'ancien testament, dont la fin était ordinairement beaucoup plus triste.

A l'occasion de M. Elliot dont il est question dans mes notes politico-apocalyptiques, j'aurai l'honneur de dire à Votre Majesté que ce ministre, venant de Dresde, passa ici il y a quelques semaines, et s'y arrêta même quelques jours pour attendre des lettres. Il me sembla qu'il devait aller à Francfort s'aboucher avec les autres ministres de sa cour, qui se trouvaient à l'armée prussienne. Le fait est que ceux-ci lui avaient mandé que le duc de Saxe-Meiningen avait un corps de deux mille hommes tout prêt à entrer en campagne, et qu'il devait aller le prendre immédiatement à la solde de la Grande Bretagne. Il me confia ce projet, en m'observant qu'il ne voulait pas hasarder un voyage à Meiningen, sans être sûr que ce corps existe. Je lui dis que, sans le savoir, j'étais persuadé que le duc de Saxe-Meiningen n'avait pas deux cents hommes en état de marcher, qu'au surplus rien n'était plus aisé que de s'en procurer des notions certaines. En effet, en moins de deux fois vingt-quatre heures il eut, sans y paraître, la certitude

* de mon assertion, et reprit la route de Dresde. Nous nous connaissions d'ancienne date, et sans avoir été liés ensemble, nous nous étions rencontrés trop souvent pour nous oublier. Il me parla donc avec une sorte de confiance que la charge éminente de souffre-douleur impérial m'attire quelquefois. Je le trouvai dans les meilleurs principes sur la conjoncture actuelle, et je lui dois la justice que de toutes les personnes employées dans les affaires que j'aie eu occasion de voir depuis trois ans, je n'en ai pas rencontré qui ait des idées aussi arrêtées et sur l'importance du moment présent, et sur l'urgence de déployer la plus grande énergie pour écarter de l'Europe les dangers qui la menacent. Il me fit entendre avec beaucoup de franchise qu'un poste écarté comme celui qu'il occupe à Dresde, ne le tenait pas fort au courant des affaires, ni même des vues de sa propre cour; qu'il croyait cependant être sûr que le ministère britannique pénétré de la grandeur du danger s'occupait des mesures les plus vigoureuses, mais que le concours de Votre Majesté était indispensable au succès de ces mesures. C'est là où je l'attendais. Je lui dis avec ma franchise germanique que n'étant pas dans les affaires, j'avais cependant mon avis sur toutes les affaires de ce monde, et que n'étant chargé des interêts d'aucune cour, je n'avais non seulement mon franc penser, mais même mon franc parler sur leurs opérations et leur politique. Que le refroidissement entre les cabinets de Pétersbourg et de Saint-James, s'il a réellement existé, est un de ces phénomènes en politique au-dessus de ma portée; que s'il est vrai qu'il date de la dernière guerre des Turcs, je ne comprendrai jamais quel intérêt pouvait avoir l'Angleterre pour attirer cette guerre à la Russie, encore moins la politique de lui attiser encore une autre guerre dans le nord. Car, comme je suis rancunier en diable, et que je n'avais pas oublié le rôle que mon pélerin avait joué en Danemark et en Suède à cette époque, c'est tout juste où j'en voulais venir. Je lui dois la justice de s'être mieux justifié que je n'avais espéré. Il me dit qu'il n'avait tant pris sur lui dans cette occasion que parce qu'il connaissait les intentions de sa cour, qui étaient d'obliger Gustave, immédiatement après être délivré des Danois, de signer sa paix avec Votre Majesté; mais que le commissaire prussien Bork était venu lui gâter toute sa besogne de la part de sa cour et avec tous les talents d'un brouillon qu'il possédait. Je me dis intérieurement: Se non è vero, è ben trovato. Pour en venir à des événements plus récents, il me fit entendre que l'influence de Votre Majesté sur la cour de Berlin était en ce moment de la plus haute importance pour empêcher le Roi de Prusse de se détacher de la coalition, de retirer son armée des bords du Rhin, ou de mettre à la continuation de la guerre des conditions inadmissibles; que l'Angleterre fe-

* rait certainement tous les sacrifices possibles pour l'intérêt général, et même pour y lier les intérêts particuliers de la cour de Berlin; mais que les arguments efficaces et décisifs étaient exclusivement à la disposition de Votre Majesté. Il est vrai, Madame, qu'il court d'étranges bruits sur les conditions que le cabinet de Berlin met à la continuation de la guerre. Tantôt on me dit que M. de Lucchesini doit négocier à Vienne la cession de la Galitzie, parce que les provinces nouvellement acquises par son maître manquent de salines; tantôt c'est la cession du reste de la haute Silésie dont il doit être question; tantôt enfin, il s'agit de je ne sais combien de millions d'écus à fournir pour mettre le Roi en état de subvenir aux frais d'une nouvelle campagne. Dans tout cela je n'ai jamais qu'un seul argument, mais que je ne manque pas de jeter à la tête des Prussiens qui m'échauffent quelquefois la cervelle par leurs déraisonnements. Si vous avez entrepris cette guerre, leur ai-je souvent dit, pour les beaux yeux de votre rivale, pour servir la cause et les intérêts de la maison d'Autriche, vous avez suivi la plus folle, et tranchons le mot, la plus bête de toutes les politiques; mais si vous avez senti qu'il s'agissait dans cette querelle autant de votre peau que de celle de vos rivaux, si vous êtes convaincus comme moi, que la peste française pénétrera plus aisément dans les pays protestants que dans les pays catholiques, si vous risquez d'être atteints de cette contagion pestilentielle avant vos rivaux, comment pouvez-vous regarder cette guerre comme plus particulière à l'Autriche qu'à la Prusse? Comment ne voyez-vous pas que si les Autrichiens combattent pour leurs autels et pour leurs foyers, vous combattez pour les vôtres? Mais l'avarice, l'intérêt sordide, les vues mesquines qui empêchent de voir l'ensemble de cette conjoncture effrayante et de ses suites infaillibles, und wie ſich nun alle die Köthereyen immer nennen mögen und können, perdront l'Europe. Ne m'a-t-on pas voulu assurer ces jours passés que la cour de Vienne réduite aux abois par les frais de cette guerre si déplorablement conduite, était résolue, si elle n'était pas terminée à la fin de la campagne de 1794, d'abandonner les provinces belgiques et le Brisgau à leur sort, de retirer ses armées des Pays-Bas et des bords du Rhin, de concentrer ses forces dans ses possessions intérieures et de se borner à la défense de ses frontières?

Pour revenir à M. Elliot, il m'a prêché l'évangile que le salut de l'Europe dépend de l'union de la Russie et de la Grande Bretagne, et en cela il a prêché un converti; il m'a assuré que dans ce moment le ministère anglais prenait les mesures les plus vigoureuses et les plus décisives, et il m'a paru mettre toute sa confiance, pour terminer cette guerre désastreuse, dans le débarquement qu'on va tenter incessament sur les côtes de France. Il n'a

* paru inquiet, mais prodigieusement, que du retard de quelques semaines que ce débarquement aura éprouvé, et qui aura pu devenir préjudiciable aux royalistes. Et mon inquiétude à moi, mais que je ne lui ai pas témoignée, est que si cette expédition est aussi bien combinée que l'a été cet été le siège de Dunkerque, elle n'éprouve le même sort. Mais ce que je ne lui ai pas caché, c'est la réflexion, si cette expédition peut mettre fin à la guerre, comment l'a-t-on retardée jusqu'au mois de novembre? comment a-t-on si mollement secouru ces braves et respectables royalistes? Il a d'abord voulu me soutenir que les royalistes ne voulaient point avoir de troupes étrangères avec eux au commencement de la campagne; mais il ne m'a pas persuadé. Je lui dis: si vous aviez eu à coeur de terminer la guerre au mois de juin, et que vous eussiez pris la balle au bond lorsque l'Impératrice vous envoya le comte d'Artois, cette Vendée ainsi baptisée par les régicides serait aujourd'hui à Paris, les désastres de la France et les inquiétudes de l'Europe auraient cessé au même moment, et l'Angleterre et la Russie en seraient restées les arbitres. Il me répondit en souriant: c'est que nous ne voulons pas être brusqués, nous n'aimons pas les surprises; et dans la suite de la conversation, il me répéta jusqu'à trois fois: c'est qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'université de Cambridge. Et moi, m'adressant journellement à l'ombre de l'immortel Chatam, je lui dis: l'université de Cambridge a sans doute fait de ton fils un grand ministre de l'intérieur, un grand administrateur en finances, un profond connaisseur de la constitution anglaise; mais qu'as-tu fait de ta vue d'aigle, à qui il n'échappait aucun mouvement sur la terre, de cette tête qui embrassait l'univers d'un coup d'oeil, et qui portait la vie partout et dans l'instant où elle était nécessaire; de cette vélocité des plus vastes conceptions, de cette abondance de moyens, de cette vigueur et de cette constance pour déployer les forces de ta nation, et pour en assurer le succès dans l'exécution? A qui as-tu laissé l'héritage de toutes ces qualités dont on ne peut faire emplette à l'université de Cambridge, sans lesquelles il est peut-être possible d'être un grand ministre de paix, mais qui sont toutes essentielles pour diriger d'une manière brillante, heureuse et imposante, la guerre d'une grande nation? Si le bonheur du genre humain eût donné en ce moment un second Chatham pour ministre à l'Angleterre, supposé qu'il soit dans la possibilité des chances humaines que deux hommes pareils existent et se succèdent dans le même siècle, chez la même nation, ce grand Chatam serait l'allié intime de la trois fois grande Catherine; la guerre des barbares serait terminée, la justice et l'ordre public auraient partout repris leurs antiques droits, et les nations se reposeraient avec sécurité sous l'égide des deux

génies tutélaires placés pour leur salut aux deux extrémités de l'Europe. Mais dans l'état d'appauvrissement qui s'est manifesté subitement de toutes parts, dans tous les pays, lorsque la trois fois grande élève sa voix, où est l'homme qui en comprenne seulement l'idiôme? Qu'on me le montre, et je croirai l'Europe sauvée. Ici, Madame, les gens de Grimma se lèvent en masse, et au risque d'assourdir les oreilles de leur auguste Souveraine, ils font retentir les airs de leur cri triomphal trois fois répété: Vivat Catharina magnus! Ce qui veut dire en français: vive Catherine le grand, et en Allemand: Es lebe Catherina der große! Dieu sait quelle lubie leur fait ainsi violer la grammaire dans les trois langues. Ce n'est pas moi qui me hasarderai à faire le pédagogue, pour les ramener aux règles.

Ce 23 novembre (4 décembre).

Dans une relation ministérielle de Vienne que je viens de voir par hasard, ils est dit que l'ambassadeur du grand Sélim destiné pour la cour de Londres, en passant rapidement par la capitale de François II, a cependant vu ses principaux ministres, et qu'il s'est informé amialement, par manière de conversation, si la maison d'Autriche n'était pas en peine du prodigieux agrandissement et de la redoutable prépondérance que prenait l'Impératrice des Grecs, dont les autels étaient encensés depuis Grimma jusqu'à Varna, depuis le mont Caucase jusqu'à l'extrémité de la Morée. Je n'ai pas trouvé dans ma relation ce que les ministres de l'Empereur des Romains lui ont répondu; mais je ne manquerai pas de le demander à M. de Thugut. En attendant, son excellence, M. de Koutouzov pourrait me faire savoir qu'elle est la série des questions que ce marabout de Sa Hautesse a eu la permission de faire depuis Constantinople jusqu'à et y compris Londres, et j'espère que le comte Simon me mandera exactement celles qu'il aura faites au right honourable William Pitt et à lord Grenville.

Ce 16 (27) novembre.

Mon saint dépêche mon ami Charles Schweizer vers le séjour de la gloire avec ses paquets. Il est arrivé aujourd'hui au milieu des ténèbres vers le matin, pour prendre les miens, et suivant l'usage, il ne m'accorde qu'un moment pour les fermer. Je lui remets donc une pancarte prête, et suis obligé de garder l'autre qui est sur le métier, mais j'espère que M. de Tiesenhausen, qui m'a apparu dans la nuit du 4 (15) novembre avec un nouveau bienfait de mon auguste Souveraine, ne tardera plus beaucoup à

* reparaître dans ce taudis solitaire, et à se charger de la pancarte actuellement sur le métier.

Eh bien, quoique mon saint, qui est toujours la circonspection même, ne me parle que vaguement d'un voyage de M. le Régent de France vers le midi, et de la possibilité que M. le comte d'Artois ne reste plus longtemps à Ham, je soutiens que Monsieur le Régent se rend à Toulon, et que M. le comte d'Artois se rendra en Bretagne dès que les Anglais seront maîtres d'un port; c'est ce que disent tous les avis unanimement. On m'assure de bonne part que les Anglais sentent enfin, quoique tard, que la guerre poussée avec la plus grande énergie pourra seule les préserver, ainsi que l'Europe entière, de tous les maux dont l'anarchie française les menace. C'est ainsi que s'accomplit la prophétie que, quoi qu'on fasse, il en faut revenir au plan tracé par le génie tutélaire de l'Europe, et que c'est son intervention qui la préservera et qui en règlera la destinée. Mais qu'il eût été différent pour l'avantage commun, d'écouter sa voix depuis deux ou trois ans! qu'il eût été salutaire pour l'Angleterre et pour l'Europe, de l'écoutur seulement au mois de mai! Ce n'est pas l'avis de mon ami Charles Schweizer que je m'enfonce dans le dédale de mes regrets politiques et des lamentations qui s'ensuivent; il dit qu'il faut fermer le paquet et l'expédier.

Quoiqu'on m'ait scandaleusement dérobé la connaissance du jour fortuné qui a comblé les voeux de mon légataire, aujourd'hui l'ange marié, ce n'est pas une raison pour que je boude mon ange. Je lui dois son présent de noce, et je supplie Votre Majesté de le lui remettre de ma part. Il observera d'abord que c'est un chef d'oeuvre de reliure fait à Gotha. Il me dira ensuite son avis sur la première partie de l'ouvrage relié; et moi je me réserve de lui dire le mien sur la seconde partie de l'ouvrage, qui est une espèce d'homélie d'un fort bon citoyen, à ce qu'il paraît, mais où tout ce qu'il dit sur la France est presque entièrement faux. Je n'ai pas pu savoir l'auteur de mon présent de noce; mais M. le comte d'Anhalt doit le connaître et peut me le confier.

Un honnête domestique de M. de Meister s'est enfin courageusement hasardé d'écrire à son maître d'une manière intelligible sur mes tristes affaires en France, pour mon information. Je joins ici la copie de sa lettre. Votre Majesté voit qu'on ne peut pas être souffre-douleur impérial et enfant gâté des jacobins; il ne me reste que le rôle d'enfant châtié un peu sévèrement. Il est clair d'après cette lettre que je ne dois ni ne puis exposer personne à faire une réclamation de mes droits en ma faveur; ce serait, sans aucune utilité pour moi, risquer de livrer aux tigres un malheureux de

* plus. Il est très remarquable que le comte de Salmour, ministre-plénipotentiaire de l'électeur de Saxe, dont les troupes rossent fréquemment les brigands jacobins sur les bords du Rhin en compagnie des Autrichiens et des Prussiens peu mordants, a conservé sa maison à Paris intacte, préservé tous ses effets de tout scellé, encore bien plus de tout pillage, les gens qu'il a laissés à Paris, d'où il s'est absenté dès le commencement de la révolution en 1789, n'étant aucunement inquiétés et jouissant en sécurité de toutes les immunités du droit des gens, ce dont un secrétaire particulier qu'il a laissé, lui confirme la certitude toutes les semaines par ses lettres confiées à la poste. Je suis donc très honorablement privilégié par les brigands contre leurs principes qui n'admettent aucun privilége.

Il faut finir, en mettant aux pieds de Votre Majesté Impériale l'hommage du plus profond respect et d'un zèle dont la mesure n'existera jamais. Ma pauvre pupille, que le sort de la Reine a pensé faire mourir, se prosterne aussi avec ses enfants devant le trône de la gloire.

On m'assure que le Roi de Prusse n'a pas revu das Rebsweib, la comtesse de Dönhof, et qu'elle a eu ordre, avant son retour à Berlin, de s'éloigner à dix meilen de Potsdam où elle s'était établie. Bischofswerder, qui y est aussi, a d'abord dû s'établir à Dessau, ensuite il a eu ordre, pendant le séjour du Roi à Potsdam, d'être malade et de garder sa maison. On regarde Schulenbourg comme l'auteur de la disgrâce ou du refroidissement du Roi pour Bischofswerder; mais si la comtesse Rebsweib ne reprend pas son empire, qui aurait sans doute des effets bien sinistres sur le système de la cour de Berlin, on ne pense pas que la disgrâce de Bischofswerder soit sans ressource. On dit que Lucchesini sera pourtant obligé de se rendre à son poste de Vienne, et de quitter sa place près du Roi, et que le comte de Lehrbach viendra de la part de la cour de Vienne à Berlin relever le prince de Reuss.

On dit que les Anglais se proposent de pousser la guerre avec la dernière vigueur. Que n'ont-il commencé par là? Elle serait finie à l'heure qu'il est. Ils feront, me dit-on, l'impossible pour faire marcher le Roi de Prusse dans la bonne voie des puissances coalisées. Ils tâcheront qu'il y trouve son intérêt, mais ils sentent, dit-on, qu'il n'y a que l'Impératrice qui par sa puissante intervention et par la peur de lui déplaire et de s'attirer son animadversion, puisse le maintenir efficacement dans le chemin droit de la cause nécessaire à la tranquillité de l'Europe.

On m'a aussi dit un mot sur M. Liston, nouvel ambassadeur d'Angleterre à la Porte. Je l'avais rencontré autrefois, et il m'avait plu; mais ce qu'on m'a dit de son caractère ne lui est pas favorable. Il a été ancienne-

* ment précepteur de M. Elliot, aujourd'hui ministre anglais à la cour de Dresde, ci-devant ministre bien connu à Berlin, Copenhague et Stockholm. M. Elliot a placé M. Liston dans la carrière diplomatique, et l'on m'assure qu'il en a été trahi pour sa récompense. On croit que M. Liston se laisserait graisser la patte si l'on en avait envie.

Je supplie monsieur le grand maître de l'artillerie d'agréer mon respect et mes très humbles felicitations. Il ne dira pas que je ne sais pas choisir mes commissionnaires.

Allerunterthänigster kurzgefasster,

durch die allerhöchste Kaiserliche Wohlthätigkeit, vor der Zeit abgedrungener Rechnungs-Vortrag.

A Gotha, ce 20 novembre (1 décembre) 1793.

Madame,

C'est une chose bien cruelle, disent les gens de Grimma, que notre Impératrice, à qui l'on ne peut contester de se tirer assez passablement de certaines parties, affecte de ne faire aucun cas de la comptabilité et de ses procédés lumineux, et pousse son aveuglement au point d'avancer que ses serviteurs, qui par la grâce de Dieu y excellent, donnent dans un mauvais genre, et de se vanter presque publiquement de n'y rien entendre. Il y aurait là de quoi troubler les cendres du feu prince de Viazemskoi, en son vivant le premier comptable de l'empire par excellence: heureusement la paix éternelle dont il jouit, le met à l'abri du danger d'entendre avancer de pareilles hérésies à son auguste Souveraine; il en aurait pris tout simplement la jaunisse. Quant à moi, dont les minces talents ne peuvent aspirer à l'honneur de délier seulement les souliers de ce grand financier, voilà tout ce que j'ai remboursé à l'occasion de la perfection de mes comptes rendus au commencement de cette année; toute ma louange se réduit à exceller dans un mauvais genre.

J'étais bien éloigné, Madame, de m'exposer si tôt à m'attirer cet éloge de nouveau par un Belobungs-Schreiben impérial. Mon ferme projet était de laisser dormir mes comptes encore longtemps en paix dans mon secrétaire, et de me passer à leur égard de louange et même de justice: denn das eigne Bewußtſeyn ſeiner Fähigkeiten und Talente bleibt doch immer die größte Belohnung eines großen Mannes. A qui en est la faute, si je suis obligé de remettre un de mes comptes sous les yeux de Votre Majesté Impériale avant

* le temps et contre mon plan? Uniquement à cette bienfaisance souveraine qui ne sait pas arrêter un instant les mouvements de son coeur magnanime.

Dans la lettre que je dois au passage de la princesse de Bade et que M. de Strekalov m'a remise à Erfort, la volonté suprême me déclare sous date du 28 juin, comme si ce jour n'était pas assez chargé de bienfaits tous les ans depuis 1762 que l'astre bienfaisant s'est levé en Russie pour le bonheur de l'humanité..... la volonté suprême me déclare donc que les six mille roubles que j'ai touchés en juillet 1792 chez Messieurs Bethmann à Francfort, et dont ils m'ont payé le montant avec 7693 florins 34 kreuzer de l'empire, sont destinés et appartiennent à Madame de Bueil. Votre Majesté, en ajoutant à cet ordre le mot: ceci est clair, entendez vous, y a mis l'exequatur impérial, afin que le souffre-douleur n'ait qu'à s'y soumettre et à obéir. Ce n'est pas à moi à priver ma pauvre pupille d'un bienfait, quelque considérable qu'il soit, que la bonté souveraine lui destine. Hélas, elle ne sait que trop que depuis que sa nation barbare lui a enlevé son patrimoine et tout ce qu'elle possédait au monde, et depuis que le brigandage systématique de ces voleurs infâmes m'a associé à ces infortunes, nous ne subsistons, elle, ses enfants et moi, que par les bienfaits de Votre Majesté; il n'existe pour nous d'autre providence divine que celle de l'immortelle; mais elle n'en connaîtra tous les détails que lorsque j'aurai quitté la vie et qu'elle pourra les lire dans mes papiers. D'ici à ce moment je me borne à lui faire sentir ce qu'elle ne sait que trop, que si nous respirons depuis deux ans, c'est le bienfait de Votre Majesté. Quant à la somme que sa bonté vient de m'assigner pour cela, je prétends en rester comptable envers notre auguste bienfaitrice, et ne l'employer qu'en supplément, lorsque mes petits moyens personnels ne pourront pas suffire aux besoins les plus pressants de ma pauvre pupille et à l'éducation de ses enfants. Vivre avec la plus grande économie et ne dépenser que le strict nécessaire est un devoir rigoureusement indispensable; cela va sans dire. Mais il résultera de cette nouvelle munificence impériale un inconvénient pour Votre Majesté. C'est qu'outre le compte de ses propres affaires, elle sera obligée de jeter les yeux sur le compte de l'emploi de ses bienfaits. Cela sera une double besogne dont l'aversion de Votre Majesté pour les comptes clairs et lucides ne s'accommodera pas, mais que je ne saurais lui épargner. Elle ne vient pas de mon fait, mais du fait de cette providence dont les rayons bienfaisants ne se lassent pas de darder sur nous.

Pour conserver la clarté nécessaire à mes opérations de finances, je suis obligé de tirer les six mille roubles accordés à Madame de Bueil, du dernier compte mis sous les yeux de Votre Majesté Impériale et de réserver

* cette somme à un compte particulier qu'il sera indispensable de rendre sur son emploi à fur et mesure. C'est cette opération que je viens de faire dans le compte que je joins à ce Vortrag. Moyennant cette opération, au lieu d'avoir une grosse somme dans la caisse impériale, il se trouve que Votre Majesté me doit 1318 florins 51 kreuzer de l'empire au cours de Francfort; c'est le résultat du compte ci-joint, sur lequel heureusement pour Votre Majesté et pour moi, qui rembourserai beaucoup moins de Stichelreden à cette occasion, je n'ai point d'observations à faire, les pièces justificatives suffisant à tous les éclaircissements nécessaires. Elles se trouvent dans une petite liasse sous № 1, № 2 et № 3 ajoutées au compte.

Les deux tableaux payés à Teresina de Maron par cet excellent et loyal mortel qui a emporté au tombeau le surnom de divin décerné par l'immortelle, sont en route et je les attends avec impatience pour en charger le premier des courriers qui se montrera dans mon taudis solitaire. Ce paiement fait à Teresina a été un des derniers actes de la vie de ce digne Reifenstein qui est mort sans connaître le surnom qu'il portait depuis tant d'années, tandis que beaucoup d'étrangers n'ignoraient pas le glorieux baptême qu'il avait reçu, sans le savoir, de celle dont tous les noms marquent pour l'immortalité: on ne se méprenait guère, quand on entendait parler du divin tout court, sur le nom de celui dont il était question.

La traite de Messieurs Livio de deux cents ducats me fut envoyé cet été par M. de Strekalov sans autre renseignement si ce n'est que Votre Majesté l'avait ordonné. Je jugeai qu'ils étaient destinés aux deux miniatures de Teresina, et je les ai fait employer à cet objet. Le projet de tirer de France par lettre de change la somme de 7326 livres qui se trouvait encore dans la caisse impériale à Paris, pour l'employer à payer ces deux miniatures à Rome, ne put avoir lieu, parce qu'au moment où je voulus l'exécuter, la sagesse de la Convention régicide avait fait fermer la bourse de Paris, ce qui occasionna une telle baisse dans le cours du change que pour avoir deux cents ducats à Francfort, il aurait fallu payer au-delà de douze mille six cents livres à Paris. Il est vrai que la horde de brigands qui y règne, a mieux fait depuis. En s'emparant de tout mon bien, elle a eu la satisfaction de voler la caisse de Votre Majesté Impériale, mais du moins sans le savoir, puisque tous mes papiers russes sont avec moi. God save our Emperor! C'est notre cantique de tous les instants.

Ce 24 novembre (5 décembre).

J'étais hier trop occupé de matines pour me préparer à la solemnité de la fête d'aujourd'hui, et par conséquent hors d'état de m'arrêter beaucoup

* au passage de M. le marabout de Sa Hautesse par Vienne. Mon triste réduit habituellement tendu et couvert d'un crêpe lugubre et impénétrable à la joie, je l'ai trouvé ce matin en grand gala, et le bonheur y est peint sur tous les visages. Katinka reçoit les compliments à l'occasion de la fête de son auguste marraine. Adèle, qui jouit ici d'une haute réputation de beauté et de gentilesse, en fait les honneurs à côté de sa soeur, qui lui en dispute le droit; mais elle soutient que si la beauté est un don du ciel, elle en doit la conservation à cette auguste marraine qui n'est pas la sienne; que c'est par ses bontés intarissables qu'elle a été garantie des ravages de la petite vérole, ni plus ni moins que la filleule et le filleul de Sa Majesté Impériale; qu'en conséquence elle est en droit, tout comme sa soeur et son frère, de chanter tous les psaumes de bénédiction, de louanges et de grâces qu'elle entend journellement répéter aux gens de Grimma pour célébrer les bienfaits de l'immortelle. Son frère Catau, qui braille de son côté ces psaumes à l'institut de Schnepfenthal où il se trouve comme le poisson dans l'eau, n'est pas là pour juger le procès entre les deux soeurs. Je présume qu'Adèle aurait beau jeu à son tribunal, parce qu'il a beaucoup de faible pour elle. Katinka, qui va se trouver incessament au terme de sa septième année, n'est pas seulement la plus grande questionneuse, mais aussi une des grandes géographes qui existent. Par ses questions elle embarasse à tout moment sa mère et en embarrasserait de plus habiles qu'elle. Ses connaissances géographiques l'ont conduite dans l'empire de sa marraine, dont elle parcourt les différentes provinces avec la même agilité que sa chambre, sachant nommer au bout de ses doigts chacune par son nom. Elle trouve aussi comme autrefois M. Rouillé, en son vivant ministre des affaires étrangères en France, lorsque pendant son ministère il eut une fois l'occasion de regarder une carte de la Russie, que sa marraine est une grande terrienne, mais une filleule de cette terrienne, d'accord sur le fond, ne sait pas s'exprimer aussi platement et aussi bourgeoisement que le ministre de Louis XV. Ses voyages en Russie lui ont fait faire connaissance avec Pierre-le-Grand. Elle sait très bien aujourd'hui ce que c'est que le gagne-pain de sa marraine, par conséquent ce que c'est qu'un empereur; mais quand on lui dit que cet Empereur Pierre-le-Grand, devancier de Catherine-le-Grand, comme disent obstinément les gens de Grimma depuis quelques jours, s'est fait successivement tambour, soldat, caporal, charpentier, elle dit que cela n'est pas vrai, que ce sont là des contes à dormir debout; que sa marraine sait bien régner sans avoir appris aucun de ces métiers. En revanche, les voyages de l'Empereur lui plaisent beaucoup: elle voudrait bien que l'Empereur Catherine se mît aussi à voyager; mais on voit clairement qu'en cela ses vues sont

* très intéressées, et que l'espérance de se trouver sur le passage de l'Empereur sa marraine lui fait former ce voeu. L'heureux âge que celui de cette Katinka où l'on peut entendre parler tous les jours de malheurs, de désastres, de pillages, de meurtres atroces, de toutes les horreurs de la barbarie, sans que la sérénité et le bonheur en soient altérés un instant, parce que tout cet horrible dictionnaire ne présente heureusement encore aucun sens à ces âmes innocentes et neuves. Plût à Dieu que la mère de ces enfants pût partager leur heureuse ignorance! Elle ne dépérirait pas si sensiblement de jour en jour, à mesure que les malheurs de sa déplorable patrie se multiplient. Elle a cependant aussi ses moments de joie et de bonheur, et une lettre qu'elle a reçue, il y a environ un mois, de son amie, la princesse Prascovia Galitsine, l'a fait pleurer aux sanglots, mais ces larmes sont bien douces. Je n'ai pas non plus pu lire cette lettre avec des yeux secs. Y a-t-il rien de plus touchant au monde que cette amitié conservée avec cette tendresse et cette constance depuis la première enfance, après une séparation de plus de douze ans? J'ai beau regarder autour de moi, j'ai beau parcourir les souvenirs de toute ma vie, ces phénomènes ne se trouvent qu'en Russie, je n'en ai pu découvrir nulle part ailleurs. J'ai déjà mis l'année dernière sous les yeux de mon auguste Souveraine une lettre parfaite de cette Prascovia ci-devant Schouvalov qui a toujours conservé de grands droits sur mon coeur; Votre Majesté ne peut échapper à cette seconde lettre, qui a augmenté ma passion pour elle d'une manière effrayante pour mon repos. Hélas, la tournure que prennent les affaires de France et celles des puissances, pourrait bien faire qu'il ne restera à Emilie et à ses trois enfants d'autre planche de salut que celle que lui offre l'amitié la plus tendre et la plus touchante, comme la protection de la plus généreuse des souveraines sera le seul refuge de cette noblesse française partout traitée avec une si barbare indifférence, pour avoir été fidèle aux lois de l'honneur et à son malheureux Roi. Aber dieſe betrübte Ausſichten, welchen doch ſo ein herrliches Labſal als der Schutz unſerer großen Kaiſerin geſichert iſt, müſſen dieſen feyerlichen Tag durch keine Trauer entweyhen, und werden den Schmerzdulder ſo wenig als Katinka und Adele hindern, ihre Lob- und Dank-Pſalmen mit großen Freuden und Jubelklang der Unſterblichen zu opfern.

Ce 5 (16) décembre.

Il passa ici il y a cinq ou six jours un signor Merchi Pelgier, se donnant pour courrier russe. S'il l'est effectivement, d'où vient-il? où va-t-il? Il ne frappa pas à la porte du souffre-douleur. Il y a à parier qu'il ne sait

* pas qu'il existe un souffre-douleur au monde, et que c'est bien sans malice qu'il laisse les pancartes de celui-ci se morfondre dans son réduit de Gotha. Comme la sagacité n'abandonne jamais les gens de Grimma, et que c'est là où ils brillent, ils soutiennent que ce courrier, toujours bien entendu si c'en est un, vient d'Italie, de Turin, de Gênes peut-être et qu'il est vraisemblablement chargé de porter au pied du trône la nouvelle de quelque Rothere de la coalition.

Puisque j'ai touché à cette triste corde, je vais joindre ici une lettre allemande de Londres du 3 de ce mois, qui renferme le fin mot de la politique prussienne. Si Votre Majesté ne prend pas ses précautions, elle risque d'apprendre par son souffre-douleur tous les fins mots de tous les cabinets de l'Europe, excepté celui de Pétersbourg. Je ne sais pas comment Votre Majesté fera pour se passer du fin mot de celui-là; quant à moi, si je peux le happer au passage, je le porte droit à l'oreille de l'Impératrice des Grecs; mais on m'assure que je ne le tiens pas encore. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il se répand de plus d'un côté d'étranges inquiétudes sur la défection de la Prusse de la ligue contre les barbares, et que je n'ai nulle confiance ni dans le caractère moral ni dans le caractère politique de cet ultramontain de Luques dont la mission doit cimenter à Vienne l'union des deux cours. Je m'écrie sans cesse dans mes angoisses: Grand Dieu, à quelles mains as-tu confié les destins du monde!

Si Votre Majesté a un peu de crédit au cabinet de Pétersbourg, elle le sollicitera de protéger un journal dont voici l'annonce, et qui paraîtra avec le commencement de l'année, sous le titre de Fliegende Blätter. Il ne dira le fin mot d'aucun cabinet, mais il sera fait dans un excellent esprit, et offrira un préservatif efficace contre l'esprit de vertige et de révolution dont tant de têtes sont attaquées; il méritera en conséquence d'être partout répandu, parce que la maladie l'est partout.

A Gotha, ce 7 (18) décembre 1793.

Madame,

Le 16, c'est-à-dire le 27, ou bien le 27, c'est-à-dire le 16 novembre dernier, M. Charles Schweizer, dépêché de Ham à Pétersbourg, parut sur l'horizon de Gotha pour augmenter le nombre de ses paquets d'une pancarte du souffre-douleur impérial, et continua sa route le même jour, accompagné de nos voeux les plus ardents. Il en avait d'autant plus besoin que sa santé, le premier attribut indispensable d'un courrier, n'était rien moins que bonne,

* et que les voeux d'enfants chéris du ciel comme ceux de Grimma, attendu que ceux qu'il aime, il les châtie et que ce symptôme de faveur, il le leur a singulièrement prodigué depuis quelque temps, ne peuvent jamais rien gâter à rien. Nous espérons apprendre en son temps l'entrée triomphale du seigneur Charles, chevalier de Saint-George, à Pétersbourg effectuée vers le $^1/_{19}$ de ce mois, avec tous ses paquets, y compris la pancarte souffre-douloureuse.

Une autre pancarte est déjà toute prête, Madame, et attend sa rédemption de la miséricorde céleste, lorsqu'elle jugera à propos de lui accorder le passage d'un messager de l'immortelle, qui la prenne dans son havresac et la porte aux pieds de Votre Majesté Impériale. Mais comme le ciel est depuis quelque temps d'airain pour les voeux de ses enfants de Grimma, et que lui seul sait quand il permettra à un messager de l'immortelle de se montrer sur leur horizon, il faut bien que je prenne mon recours aux successeurs de Bacchus, mes protecteurs malgré eux, pour mettre sous les yeux de Votre Majesté un ou deux articles plus ou moins pressés. Der barmherzige Himmel, der mir ſie auf den Hals ſchickt, überläßt mir großmüthigſt die Art und Weiſe mich derſelben zu entledigen.

J'ai déjà rempli un triste dévoir, en rendant compte à mon auguste Souveraine de la perte du divin et fideèl Reifenstein, qui est mort en bénissant son nom glorieux, et cette occupation habituelle du juste doit aussi être sa dernière dans cette demeure terrestre. M. Louis Hirt, welcher ſich ſchon ſeit verſchiednen Jahren in Rom aufhält, und in die Fußſtapfen des göttlichen Mannes zu treten ſich beeifert hat, m'a écrit une lettre dont je mets ici l'original sous les yeux de Votre Majesté Impériale. Les renseignements que j'ai pu me procurer à son sujet, lui sont unanimement favorables, et il ne lui manque que le suffrage du divin Reifenstein, à qui je n'en ai jamais voulu demander des nouvelles, espérant le conserver lui-même encore bien longtemps. Préliminairement j'ai répondu à M. Hirt que notre auguste Souveraine étant depuis longtemps en possession de toutes les richesses de Rome, les fonctions du divin depuis plusieurs années s'étaient réduites presqu'à rien, et que la pension dont il jouissait, n'était qu'une marque de bonté de Sa Majesté, et de satisfaction de ses services passés. En effet, le conseil de Grimma est unanimement d'avis que si l'appétit impérial peut encore avoir des besoins à Rome, ils ne peuvent être qu'excessivement rares, et alors en employant un homme intelligent à les satisfaire et à exécuter les ordres prescrits, cet homme peut se trouver récompensé par des gratifications partielles, mais que cela ne peut pas être l'objet d'une pension permanente.

Par la lettre du seigneur Santini, Votre Majesté verra que j'attends

* maintenant à tout moment les deux tableaux de Teresina de Maron, et quand je les aurai reçus, j'attendrai avec impatience le passage du premier messager de l'immortelle pour les faire arriver à leur glorieuse destination; mais jusqu'à présent je ne les tiens pas encore.

Votre Majesté, après avoir jeté les yeux sur la lettre que je viens de recevoir de M. Hackert de Naples et dont je joins ici la copie, jugera peut-être à propos de me donner ses ordres sur le champ relativement au tableau qu'il propose, afin que l'artiste, si son offre n'est pas agréée, ne perde pas dans l'intervalle de sa proposition à la réponse, une occasion de placer son ouvrage avantageusement. C'est cette considération principalement qui me fait prendre mon recours aux successeurs de Bacchus, sans attendre l'occasion incertaine d'un courrier, afin de ne pas retarder cette résolution par mon fait. Au cas que l'offre de Hackert soit acceptée, il serait bon sans doute de nous prescrire la route que ce tableau doit suivre pour arriver à sa glorieuse destination. Peut-être pourrait-il être embarqué à Naples pour la mer Noire, pour un port de la Tauride, ou même pour Kherson, et être ensuite expédié de là pour Pétersbourg. Le voyage par la Méditerrannée et l'océan dans la Baltique me paraît trop hasardeux dans les circonstances présentes. Le plus dispendieux, mais le plus sûr, serait de le faire venir ici de Naples par terre, de l'expédier d'ici par terre à Lubeck où il serait embarqué le printemps prochain pour Pétersbourg.

Je viens de perdre inopinément un ancien ami avec qui j'avais été fort lié il y a vingt-quatre ou vingt-cinq ans. Les circonstances nous avaient ensuite éloignés l'un de l'autre, mais sans jamais nous perdre entièrement de vue; et dans ces dernières années, pendant mes fréquents voyages en Allemagne, nous nous sommes rencontrés presque tous les ans, et la dernière fois en 1792 au couronnement de l'empereur François II. C'est le baron d'Edelsheim, ministre d'état du margrave de Bade, subitement enlevé par une fièvre putride dans un âge peu avancé. Hélas, le pauvre homme a bien peu joui de la grâce que Votre Majesté lui a faite de le décorer de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski, à l'occasion du mariage des deux anges; mais enfin c'était la dernière et la plus éclatante de ses jouissances. Je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté que le baron d'Edelsheim, pendant son voyage d'Italie, a été très particulièrement lié avec Raphaël Antonio Mengs. Ce grand artiste voulut faire son portrait, qui m'est toujours resté dans la tête, quoiqu'il n'eût rien de particulier hors le pinceau de l'auteur. Je crois que M. d'Edelsheim possédait aussi plusieurs desseins originaux et d'autres ouvrages de ce grand maître, et si la curiosité impériale se portait sur cet objet et désirait d'en faire l'acquisition, je pense que mon saint

* serait très à portée de s'en procurer une notice exacte et de traiter de l'acquisition avec qui il appartiendrait. Le baron d'Edelsheim n'a jamais été marié. Son frère cadet, autrefois au service de la cour de Berlin, mais depuis longtemps aussi au service du margrave de Bade, est sans doute son héritier, avec qui il faudrait traiter. Celui-là est marié et a des enfants. Je le connais aussi beaucoup depuis bien longtemps, et nous nous sommes revus au commencement de cette année à Francfort chez le Roi de Prusse, auprès de qui son prince l'avait envoyé pour une commission.

Hier nous eûmes l'honneur de dîner ici à la cour avec les deux princesses de Mecklenbourg-Strelitz fiancées au prince royal et au prince Louis de Prusse. Elles étaient escortées de leur papa et de la princesse George de Darmstadt, leur grand'mère, et en route pour se marier à Berlin. Ces princesses sont charmantes de figure et, à ce qu'on dit, de caractère. Cela m'a rappelé mes deux anges, qui se sont mariés à mon insu, et j'ai pensé pleurer, mais en les bénissant et en glorifiant le nom de l'immortelle, car je suis sans rancune.

Ce 8 (19) décembre.

Avant-hier nous eûmes ici à dîner les deux princesses de Mecklenbourg-Strelitz à leur passage pour aller épouser les deux princes de Prusse. Pendant le dîner je larmoyais de temps en temps, et marmottais entre mes dents: est-il possible que je me trouve sur le chemin de toutes les princesses fiancées et non fiancées, et que l'ange destiné à cet autre ange, mon légataire, m'ait été escamoté l'année passée! Cette plaie de mon coeur ne guérira jamais. Ces princesses Mecklenbourgeoises, surtout l'aînée, sont bien de figure et de taille, et paraissent bien élevées. Leur père, que j'ai revu à cette occasion et qui appartient à Votre Majesté Impériale en qualité de chevalier de Saint-André, est bien heureux du lot de ces deux filles. On dit que le prince royal est amoureux, mais excessivement, de celle qui lui est destinée. Ce prince a eu le secret au commencement de cette année de se captiver mon affection à Francfort. Ce n'est pas qu'il ait fait aucuns frais pour cela; mais il a l'air sauvage, et j'ai toujours eu bonne opinion de la sauvagerie. Il parle peu, son air est austère sans rudesse, sérieux sans tristesse. J'espère qu'il remontera cette race, et qu'il rappellera son grand oncle, sans en avoir la séduction ni la dureté. Il n'en sera peut-être rien de tout cela; mais on a tant besoin de beaucoup espérer de la jeunesse, et de penser que la génération prochaine vaudra mieux que la présente, qui fait le désespoir de l'humanité par ses crimes et par sa nullité. Enfin ce prince me rappelle Hippo-

* lyte, et l'amour, s'il en ressent le pouvoir, comme on le dit, pourra adoucir dans son caractère ce qui paraîtrait d'une trempe un peu trop forte, et en faire un prince très intéressant. Son frère, le prince Louis, est d'une figure pleine de grâces; mais je ne crois pas qu'il y ait dans ce corset la vingtième partie de l'étoffe de celui de son frère; mais aussi il n'en aura pas besoin comme celui qui est appelé à règner.

Hier je m'adressai aux successeurs de Bacchus pour les charger de porter une pancarte en miniature aux pieds de Votre Majesté Impériale. Une lettre de Hackert de Naples, sur laquelle l'Impératrice jugera peut-être à propos de faire connaître sa résolution sur le champ à son souffre-douleur, me détermina à prendre ce parti, n'ayant aucune espérance prochaine de voir arriver un rédempteur qui tire la pancarte présente, dont l'embonpoint devient de jour en jour plus effrayant, de sa captivité, et la porte à la cheminée impériale où, comme un autre phénix, elle espère renaître de ses cendres; mais sa petite soeur cadette, partie hier, y sera avant elle; c'est comme dans l'évangile où les derniers-venus de mince encolure devancent leurs aînés à grosse taille.

Ce 16 (27) décembre.

Un billet de mon saint, qui m'arrive de Ham, m'apprend que peu de jours après avoir dépêché Charles Schweizer pour prendre mes paquets et les porter avec les siens au pied du trône de la gloire, il s'est trouvé dans le cas d'y expédier un second courrier, et que ne supposant pas que je puisse avoir un nouveau paquet tout prêt, il a fait aller ce courrier tout droit, sans lui faire faire le petit détour de Gotha. Ah, mon saint ne sait pas qu'un souffre-douleur n'a jamais fini avec son auguste Souveraine; qu'il ne lui reste jamais tant à dire qu'au moment où il vient de fermer une grosse pancarte; que tout ce qui est resté dehors le tourmente et l'oppresse alors de façon qu'il y a là de quoi étouffer vingt fois par jour. Dieu seul sait à présent quand il voudra m'accorder un rédempteur pour cette pancarte et compagnie. Je ne reçois qu'une ou deux fois tous les trois mois un signe de vie de mon saint en très peu de lignes, et je ne saurais lui en savoir mauvais gré. Nous sommes à une distance l'un de l'autre où en deux jours ou tout au plus le troisième, je devrais recevoir ses lettres par la poste, et elles ne m'arrivent jamais que le douzième jour ou au plus tôt le onzième de la date. Les miennes mettent tout autant de temps à faire leur voyage à Ham; le moyen d'avoir envie de s'écrire! Si mon saint résidait à Pétersbourg, il ne faudrait pas plus de temps à ses lettres pour m'arriver. Ces

* retards sont une suite de la perfection de l'administration des postes prussiennes. Là c'est une règle que chaque bureau de poste gagne un gros par lettre qui passe par sa filière; tous ces gros s'accumulent de bureau en bureau, et le dernier bureau prussien les fait payer à celui à qui il délivre la lettre. Or pour gagner beaucoup de gros au profit de la poste prussienne l'administration fait promener les lettres de bureau en bureau, et ne les lâche qu'à la dernière extrémité; ainsi au lieu d'envoyer une lettre de Ham à Cassel, qui en est très près et d'où elle viendrait à Gotha en 24 heures, le bureau de Ham l'envoie à Berlin, celui de Berlin au bureau de Halle comme le plus près de la Saxe, qui est enfin obligé de lâcher sa proie contre une quantité de gros. Das ſind nun ſo Hand- und Kunſtgriffe, ſagen die Leute von Grimma, wovon unſere Kaiſerin gar nichts verſteht; et cela se mêle pourtant de régner.

Mon saint suppose dans sa lettre que je n'ai pas manqué d'envoyer à Votre Majesté la brochure Die neueſten Arbeiten des Spartacus und Philo, et que je m'occupe à faire traduire cet écrit en français. Je sais qu'il a fait beaucoup de bruit depuis six mois qu'il paraît, mais je n'ai pu me le procurer que depuis deux jours, et au lieu de le lire, je vais me conformer aux ordres de mon saint, et l'adresser à mon auguste Souveraine. Le jeune Empereur l'a lu lui-même, et après cette lecture, il l'a fait sévèrement défendre dans ses états. Le prince Henri a été aussi fortement émoustillé par cette brochure, comme Votre Majesté pourra voir par un extrait de ses lettres à ce sujet, que je joins ici. Je dois la justice à ce prince qu'étant en 1788 à Paris, il m'a toujours soutenu que cet ordre des Illuminats avait de nombreux partisans en France, et jouerait un grand rôle aux états-généraux. Je ne faisais pas alors grande attention à ces propos que les événements n'ont que trop justifiés. Au reste, je n'ai aucun moyen de faire traduire cette brochure en français, et je pense qu'elle ne serait pas plus tolérée à Vienne dans cette langue qu'en allemand.

Puisque mon saint m'a joué le tour cruel de me soffler un courrier, je vais d'humeur fermer cette énorme pancarte et en commencer une autre avec la nouvelle année, après avoir renfermé dans celle-ci les voeux que ma pauvre pupille est en droit de porter tous les ans au pied du trône de son auguste protectrice. Je charge aussi Spartacus et Philo de déposer au pied de ce trône mes étrennes, six almanachs de Gotha, savoir: deux pour la Souveraine de toutes les Russies et de tous les coeurs, deux pour les deux anges mariés, deux enfin dont Votre Majesté disposera ad libitum, pour qu'ils aient un prix d'autant plus grand pour ceux qui les posséderont. Milord Findlater envoie aussi ses étrennes au corps des cadets par un ou-

* vrage anglais et un autre français qu'il dit tous les deux excellents pour eux. Enfin, ce pair d'Ecosse étant resté amoureux de Katinka et Adèle depuis qu'il a passé ici 24 heures, leur a envoyé des cahiers qui se publient à Weimar successivement. J'ai été obligé de lui confier que Katinka les possédait déjà dans sa bibliothèque, et qui plus est, les savait par coeur. A cela il me répond qu'il lui est impossible de reprendre ces cahiers; mais que Katinka, en sa qualité de filleule, avait le droit de les déposer au pied du trône pour que son auguste marraine en dispose en faveur de la bibliothèque de la communauté des demoiselles nobles.

Après tant de dépôts au pied du trône à la fin de l'année à jamais déplorable, il faut que Votre Majesté y souffre aussi mon coeur plus brisé par ses bienfaits et par sa bonté intarissable, que par tous les coups du sort.

A Gotha, ce 20 (31) décembre 1793.

Madame,

L'année la plus désastreuse dont les fastes de l'histoire aient conservé la mémoire, touche à sa fin, et les revers que son dernier mois a accumulés de tous les côtés, nous doivent préparer sans doute à en voir succéder une autre plus malheureuse encore. Jamais peut-être l'espèce humaine ne se trouva dans une crise plus effrayante et plus près d'un état entièrement désespéré. Les ravages les plus etendus des volcans et des tremblements de terre, les désastres d'un déluge submergeant et engloutissant des provinces entières, les fléaux de toutes les calamités physiques les plus terribles réunies, ne seraient que de légers maux en comparaison des événements dont nous avons été témoins. La plaie de l'humanité serait moins profonde, moins funeste, moins désolante. Elle n'exciterait du moins, avec la consternation inséparable des grandes calamités, que des sentiments de commisération et de pitié, tandis que la destruction qui s'opère sous nos yeux, de tout ordre social, de tous les principes fondés sur la raison universelle et éternelle, de toute idée de morale enfin, présente à l'âme un spectacle si affligeant et si douloureux, que dans le déluge de maux que cette décomposition traîne à sa suite, le plus grand de tous, c'est l'humiliation d'appartenir à une race si perverse et qui a pu tomber dans cet excès d'abrutissement.

Voilà, Madame, les réflexions qui m'occupaient pendant les derniers jours de cette année, d'une manière triste, mais paisible. Aux maux sans remède on ne peut opposer que le calme et la soumission. Cette paix ressemble, à la vérité, un peu à celle de la mort, mais c'est toujours la paix. J'étais loin de prévoir qu'à cette tranquille apathie succèderait une agita-

* tion violente et subite. Une lettre des successeurs de Bacchus m'arrive. Je l'ouvre. Elle en renfermait une dont je n'ai jamais pu apercevoir les traits sans une palpitation soudaine. C'était pour la première fois que les successeurs que j'avais donnés à Bacchus de mon autorité privée, me faisaient passer un gage du bonheur de ma vie. Je me félicite de les voir, à son exemple, devenir mes bienfaiteurs, et je me livre à la joie que cette nouveauté m'inspire. J'approche ce bienfait avec transport de mes lèvres, sans me douter du bouleversement dont mon âme était menacée. Briser le cachet, lire les quinze lignes qu'il renfermait, étouffer de sanglots et de larmes, rester immobile et anéanti, tout cela a été l'ouvrage d'un moment. Ce que l'adversité aurait inutilement tenté, Votre Majesté l'a fait en un clin d'oeil; elle a brisé mon coeur. J'ai été dépouillé, détroussé par des scélérats qui, pour avoir volé et dilapidé la propriété toute entière d'une puissante et florissante monarchie, n'ont pas dédaigné de grêler sur le persil, et n'ont pas jugé mon humble fortune un objet indigne de leur brigandage. Eh bien, je puis le dire avec vérité, et si c'est se vanter, je m'en vante, je suis resté indifférent à cette nouvelle, mon caractère et ma force morale n'en ont pas reçu la plus légère atteinte, mon sommeil n'en a pas été troublé un instant; mais quand à la réception de cette nouvelle, je vois cette Souveraine immortelle dont l'image et le génie me poursuivent et m'obsèdent jour et nuit depuis vingt ans, n'avoir d'autre soin que de verser sur moi ses bienfaits sans bornes et sans mesure et sans se rappeler que tout ce qui m'a été enlevé, je le devais déjà à ses bienfaits, alors mon coeur succombe, et j'éprouve que tout, jusqu'à sa bonté, porte un caractère redoutable et trop disproportionné avec la faiblesse de ma complexion. Votre Majesté me parle de pénurie. Celui qui est protégé par l'aigle de Russie, a-t-il jamais pu la connaître? Et ces appointements dont je cherche depuis plus de seize ans inutilement le titre ou du moins le prétexte, et que depuis tant d'années la bonté souveraine a rendu encore plus considérables, en ordonnant au cabinet impérial de se charger des frais du change, ne me mettent-ils donc pas à l'abri du besoin, et si je n'avais qu'à pourvoir à mes besoins, ne me procureraient-ils pas toute l'aisance nécessaire et jusqu'au superflu? Aber wer kann ſich mit der Unſterblichen ohne Hader berechnen? Wer wird ſie in ihrem unendlichen Wohlthun, ſo wie in allen ihren Handlungen, von dem ihr allein eignen Maaßſtabe abbringen? Sie begnügt ſich: ohne ſich zu bekümmern ob das Herz, von ihrer göttlichen Gutheit betroffen, es aushalten kann, oder in Gefühl und Thränen zerſchmelzen muß. Ce n'est pas certainement, Madame, au moment où je suis accablé par un tel bienfait, que je suis en état d'entrer en explication avec mon auguste Souveraine; il faut m'accor-

* der le temps de retrouver mon coeur, et de me reconnaître. Aujourd'hui je ne suis dominé, poursuivi que par une seule idée, c'est d'aller embrasser ses genoux et d'expirer à ses pieds de reconnaissance. Votre Majesté court certainement ce risque: car comment se promettre de résister à un besoin de son coeur irrésistible?

En attendant que mon coeur puisse reprendre son assiette, je dois me borner à instruire Votre Majesté Impériale de l'arrivée de ses lignes du 19 novembre, et à lui observer que les trois lettres de change dont il n'y a eu que la somme de la première de marquée, et dont la somme des deux autres est restée en blanc, ne font pas ensemble une somme de vingt mille roubles, ainsi que Votre Majesté le dit, mais bien de vingt sept mille roubles. Lorsqu'elles seront négociées, j'aurai soin de marquer à la suprême bienfaitrice leur produit en florins, et la manière dont j'en aurai disposé. C'est aussi un besoin de mon coeur de rendre ce compte à Votre Majesté, malgré le peu de faveur que les comptes obtiennent devant le trône de toute miséricorde. Je vais garder ce feuillet encore quelques jours, dans l'espérance qu'un rédempteur se montrera pour mes pancartes toutes prêtes, et que je pourrai y joindre ce feuillet; mais si cette espérance est trompée, il faudra bien prendre mon recours à ceux qui se sont faits mes bienfaiteurs, en me faisant passer d'une manière si inattendue la lettre de Votre Majesté. Cette lettre, en m'ordonnant de me bien porter, ajoute les trois mots les plus nécessaires à ma vie: J'en fais autant. Elle me recommande aussi le silence. Bien des motifs me le prescrivent, et puis, comment ferais-je pour parler de ce que je ne pourrais justifier d'aucune manière? Mais si l'on me voit tomber aux pieds de Votre Majesté et y rester, personne ne se méprendra sur la cause.

Ce 20 (31) janvier 1794.

Il y a un grand mois que je garde ce feuillet, parce que mon saint m'avait flatté dès le commencement de ce mois du passage d'un courrier qui prendrait mes paquets. Ce courrier ne paraissant pas, il faut bien que mes pancartes depuis longtemps cachetées attendent et se morfondent, mais je vais confier ce feuillet à mes bienfaiteurs, les successeurs de Bacchus. Puisse Votre Majesté y lire ce que je ne pourrai jamais lui exprimer! Mon âme n'est pas rentrée dans son assiette. Je ne puis pas encore me faire une raison de ce qui m'arrive, et j'ai toujours un violent désir de mourir de la plus belle mort aux pieds de Votre Majesté Impériale, où je dépose mon coeur avec toutes ses blessures, tous ses stigmates, tous ses voeux, tous ses

* hommages, et ce culte religieux que la reconnaissance et le respect le plus profond consacrent à la divinité bienfaisante.

Une lettre qui m'arrive de Rome, dit que M. le comte Ivan Tchernichev vient d'avoir une nouvelle attaque d'apoplexie qui fait désespérer de sa vie; que sa tête est entièrement perdue.

Fragment d'une lettre de Reinsberg,
du 11 octobre 1793.

J'ai été occupé depuis quelque temps par un livre des illuminés qui contient les papiers enlevés à ces messieurs en Bavière. J'y ai trouvé les grands mystères. Ce livre est en allemand. Un nommé Weishaupt a été le chef et l'auteur de cette institution. Il a été au service du duc de Gotha. C'est un drôle qui doit avoir bien du génie. Le fond de la doctrine c'est d'abattre le despotisme *optimé*, mais c'est une secte qui veut gouverner. Elle étale les principes d'égalité, et ce livre m'explique la conduite de bien des gens que je ne pouvais avant cette lecture bien concevoir. C'est à l'Allemagne qu'on doit ce chef-d'oeuvre. Je dois vous avouer qu'il y a dans le plan des idées sublimes, mais la marche tortueuse et les moyens sont infâmes.

Ah, que je veux du bien aux malveillants qui m'ont poussé par les épaules hors de toute affaire. Il n'eût pas été possible de rester et de se concerter avec tous ces gens. J'aurais quitté, et on m'aurait encore accusé d'avoir tort, car les puissants ont toujours raison.

Autre Fragment du 6 décembre.

Qui connaît mieux que moi Philo et Spartacus? Vous possédez le dernier à Gotha, c'est M. Weishaupt. Je ne vous louerai pas son coeur, c'est le plus profond macchiavelliste; mais sa tête ne doit pas être commune. C'est un laboratoire d'excellents préceptes de morale, de grandes idées philosophiques, sur lesquels il fonde la société des illuminés, pour les conduire par les chemins les plus tortueux à toutes les actions qui peuvent être agréables ou utiles uniquement à leur société. En détruisant le despotisme des souverains, ils veulent, si leur plan réussit, que les souverains tremblent pour eux. En un mot, il y a un rapport infini entre eux et les jac. ins; c'est que, comme je l'ai cru depuis longtemps, il se trouve parmi ces derniers un grand nombre d'illuminés. Mais la tête qui a imaginé, qui a conçu cette idée ambitieuse, est plus forte encore que celle de Catilina. Peu s'en

* faut que je n'aille à Gotha pour parler à cet homme. Je ne croirais nullement à la sincérité des réponses qu'il me ferait; mais il me suffirait de l'entendre raisonner sur quelque matière que ce fût, pour voir si cette même tête a toujours les mêmes ressorts.

Vous concevez d'abord que le désir que j'aurais, si je pouvais le satisfaire, de voir M. Weishaupt, vient de ce que je suis assez curieux de têtes extraordinaires, à grandes vues et douées d'une forte imagination; mais c'est que je voudrais savoir aussi ce qui a brouillé la loge de Munich avec celle de Berlin, et en quoi celle de Berlin diffère des principes que j'ai trouvé imprimés dans l'Histoire des Illuminés de Munich où tous les papiers de M. Weishaupt sont publiés. Ceci ne peut être un secret, et s'il voulait m'en faire part, je lui en aurais une véritable obligation.

NOTES

que le souffre-douleur vient de recevoir de la part d'un de ces fidèles qui sont dévorés par leur zèle pour la maison, non du Seigneur, mais de son ointe, laquelle, suivant les relevés qu'on fait tous les ans pendant ce mois-ci dans toutes les paroisses, a plus de zélateurs et d'adorateurs à sa dévotion que le Seigneur Dieu lui-même. Ces Notes n'ont pas été confiées à la poste. Le souffre-douleur les recommande à l'indulgence de l'ointe du dit Seigneur, sans aucunement décider, si hors la preuve du zèle dévorant, mais à coup sûr désintéressé et pur, elles peuvent être de la moindre utilité. Son devoir est de les transcrire fidèlement telles quelles, en chantant le verset und hilft es nichts, so schad es nicht, tiré du cantique:

Der Köthereyen giebt es viel
In diesen bösen Zeiten... und so weiter.

Ces Notes appartiennent à la date de la pancarte du 17 (28) novembre.

№ 1.

Les notions que le hasard m'a procurées depuis peu, m'ont confirmé, entre nous soit dit, dans l'idée que j'ai toujours eue, que mylord Auckland était un grand coquin, aussi bien que le chancelier lord Loughborough dont il est le bras droit, et qui à présent influe beaucoup chez nous. On m'assure que ces deux messieurs bouleverseraient leur patrie, pour servir

* leurs propres vues. Je crois aussi que M. Dundas, secrétaire d'état, qui est prodigue et pauvre, ne serait pas homme à mépriser les roubles; mais quant à ceci, je n'en suis pas si sûr. Pitt a toujours passé pour ambitieux, mais désintéressé. Ces trois personnages avec lord Grenville, ministre des affaires étrangeres, qui passe pour intéressé, ont l'oreille de Pitt. Si une puissance avait des vues sur le cabinet britannique, il me paraît qu'il faudrait commencer par acheter très chèrement Auckland, qui donnerait des renseignements sur les autres. Il importerait aussi de gagner les chefs de l'opposition, pour mettre les ministres plus à leur aise. De ce côté Sheridan serait l'homme; mais quelles sommes énormes ne faudrait-il pas pour cela? car les florins de Pologne n'ont point de cours dans ce pays-là. Fox a demandé dernièrement à son parti 180 mille livres sterling, pour payer ses dettes et le mettre à son aise. On m'a assuré que pendant la dernière guerre de Turquie, Fox a proposé au ministre de l'Impératrice, de lui faire donner un million de livres sterling, moyennant lequel il s'engagerait de faire élire assez de membres dans le nouveau parlement pour rendre l'Angleterre entièrement neutre au besoin. Aujourd'hui la méthode la plus efficace serait sans doute de gagner ceux qui sont déjà élus; et certes, l'économie serait grande si l'on parvenait par ce moyen à épargner le sang humain et des trésors immenses. On ne saurait payer trop cher une flotte anglaise à Constantinople dans les intérêts de la Russie.

Vive à jamais Catherine, la plus que grande!

№ 2.

M. Liston, qui a été en Suède et qui est nommé ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, a été placé dans la carrière diplomatique par M. Elliot, qui est aujourd'hui ministre d'Angleterre à la cour de Dresde, dont il était le précepteur. M. Liston pour récompense l'a trahi. Cet ambassadeur en cas de besoin se laisserait graisser la patte. Quant à M. Elliot, puisque M. Liston me l'a fait nommer, je vous dirai qu'il a toujours le coeur un peu russe, quoi que vous puissiez dire et croire. Il a infiniment d'esprit et de connaissance des affaires. S'il a un défaut, c'est de s'intéresser trop vivement au bonheur de l'humanité, au point d'en altérer sa santé. Son vif amour du bien a paru de l'exagération aux flegmatiques, et l'a quelquefois rendu le jouet de gens qui ne le valaient pas. Vous savez qu'il a fait comme volontaire une partie de la première guerre contre les Turcs dans l'armée russe. J'ai oui dire qu'il avait eu la promesse de la croix de Saint-George, et que le ministre de Russie à Dantzick, qui était chargé de la lui remettre,

* l'en avait privé par jalousie. Je crois qu'il serait toujours charmé de la porter. J'avais oublié de comprendre dans ma liste № 1 M. de Jacobi, qui est aujourd'hui ministre du Roi de Prusse à Londres, après l'avoir été longtemps à Vienne. Comme vous savez qui il est, vous verrez qu'il est essentiel que ma liste soit enrichie de son nom.

Le comte Giuseppe Gorani, gentilhomme milanais, s'est fait, je crois, des affaires sous le règne de l'Empereur Joseph II, qui l'ont obligé de quitter son pays. A la révolution de France, il a quitté sa noblesse ultramontaine, et s'est fait citoyen français, et même, je crois, jacobin, mais mitigé. Si vous lisez ses mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et des moeurs des principaux états de l'Italie, vous trouverez que le citoyen Gorani y fait un superbe éloge du génie, des talents et des qualités du marquis Lucchesini à propos de ce qu'il annonçait pendant sa jeunesse, étant encore dans sa patrie. Quand ensuite il gémit d'avoir à compter un tel homme parmi les plus grands ennemis de la révolution française, cela ne vous fournit-il pas une preuve palpable que Lucchesini est vendu ou affilié aux jacobins?

Vive à jamais Catherine, l'incomparable!

№ 3.

Il faut que j'aie une grande confiance dans les dispositions pacifiques de votre favorite, l'incomparable, pour avoir osé vous confier mon projet, tout sot qu'il est. Je me croirais damné à juste titre, si je contribuais le moins du monde à provoquer la guerre, qui est toujours inhumaine et impolitique à entreprendre. Mais on peut être attaqué, l'incomparable l'a été dans les deux guerres qu'elle a soutenues; et dans cette supposition il y a quelquefois des arrangements à prendre d'avance, pour qu'on n'ait pas tout le monde sur les bras, surtout quand on n'a jamais eu de revers, car les puissances sont envieuses et jalouses comme des harpies.

Vive à jamais Catherine la trois fois grande!

A Grimma Gotha, ce 1 (12) janvier 1794.

Madame,

Malgré les plus tristes nouvelles qui se sont succédé depuis plus de quinze jours sans interruption; malgré l'état de fusion où mon pauvre coeur, à moitié suffoqué par l'attendrissement et la reconnaissance, se trouve à peu près depuis le même temps; malgré le trouble dont les bienfaits de l'im-

* mortelle l'ont rempli d'une manière si inattendue et si soudaine, je m'étais levé ce matin, pour me présenter en gala, et en compagnie de ma pupille et de ses enfants, devant le trône de Votre Majesté Impériale, et y déposer, au milieu des voeux et des acclamations de l'empire, mes voeux, mon hommage et ce coeur qui ne respire que pour elle et par elle. Mais au moment où je songe à m'acquitter d'un devoir aussi sacré, de quoi s'avise la gazette du jour de m'apporter les nouvelles de Constantinople, et monsieur l'ambassadeur de Votre Majesté près la sublime Porte, de me distraire de la solennité du nouvel an, par l'éclat et la pompe de ses audiences, de son cortége, et ce qui pis est, de la fête qu'il a donnée le jour de sainte et grande Catherine, sans s'embarrasser le moins du monde du tort qu'il faisait, j'aime à croire involontairement, à la fête que Katinka de Bueil donnait le même jour et à la même occasion au palais de Grimma? Elle eût été bien fâchée d'offusquer par une trop grande magnificence la fête de son excellence. Il fallait donc en user avec elle aussi noblement, et lui épargner la mortification de lire dans les gazettes sur cette fête des détails d'un genre tout à fait nouveau, tandis qu'aucune gazette n'a daigné faire mention de la fête de Grimma, bien moins encore en donner le moindre détail. Monsieur l'ambassadeur pouvait se contenter de la singularité d'avoir été regardé, fixé, considéré par le sublime Sultan pendant toute la durée de son audience, au mépris de l'étiquette qui prescrit à Sa Hautesse de n'honorer dans ces cérémonies de ses regards que les musulmans qui l'entourent, sans avoir l'air de faire la moindre attention à un chien d'infidèle, tout amabassadeur qu'il est: étiquette bien plus rigoureusement nécessaire, quand cet ambassadeur est un général Koutousov, qui a osé manquer si souvent de respect pendant la guerre à des corps entiers de musulmans, en les étrillant sans aucune cérémonie. Katinka demande où le grand Sélim avait sa tête ce jour-là. Après cela, elle ne trouve pas qu'il ait été nécessaire de mettre encore, le jour de Catherine la trois fois grande, aussi pour la troisième fois en deux mois, tout Stamboul sur pied, par la magnificence d'une fête accompagnée d'ailleurs de singularités capables d'alarmer sur la stabilité des moeurs musulmanes. Mais puisque c'est fait et qu'il n'y a plus de remède, il faut bien prendre son parti. En revanche, il doit nous être permis de demander le nom de certains masques qui se sont trouvés au bal de son excellence. La relation dit daß einige vornehme Türken, auch ein hier ſehr viel bedeutender Mann nebſt einem andern hieſigen Großen bey dieſem Feſt ſich eingefunden. Und, wird hinzugeſetzt, dieſer vielbedeutende Mann bewies ſchon vorher durch ein paar Züge großer Artigkeit, daß er ſeiner Excellenz dem Bothſchafter wohl will, der durch ſeine Herablaßung und Güte ſich die Liebe und Achtung des ganzen hieſigen

* Publicums erworben hat. Nun, sagt Katinka la filleule, on voit bien que les ambassadeurs de ma marraine sont à deux mains. Im Kriege bezeigen sie ihren Herren Bekriegern ihre Herablaßung durch vielfältige Austheilung von derben Schlägen; vont-ils en ambassade, ils deviennent les plus polis, les plus courtois, les plus aimables du monde. Puisque c'est comme cela, nous pouvons bien nous adresser aussi à monsieur l'ambassadeur, und auf seine Herablaßung rechnen, weil wir doch auch seiner Excellenz wohlwollen, obgleich hochdieselben unser Catharinenfest durch das ihrige so jämmerlich verfinstert haben. Und zuerst, weil wir doch eben auch nicht die unartigsten Leute von der Welt sind, möchten wir gern wißen worin eigentlich die paar Züge der großen türkischen Artigkeit bestanden; und hernach wird es uns wohl erlaubt seyn, uns nach dem Namen dieses vielbedeutenden Mannes und des Großen incognitio zu erkundigen, um sie mit den bewußten Artigkeiten in unsere Schreibtäfelchen aufzuzeichnen. Je ne saurais mieux faire que de supplier Votre Majesté de faire porter cette demande de sa filleule la curieuse, ainsi que ses griefs, à la connaissance du brillant ambassadeur de l'Impératrice des Grecs, et de nous faire savoir en temps et lieu la réponse de son excellence.

Après avoir porté aux pieds de Votre Majesté Impériale l'hommage et les voeux de nouvelle année, il ne me reste qu'à rentrer dans ma solitude, qu'à m'y occuper de la guérison de mon pauvre coeur si grièvement percé par les derniers traits de bienfaisance de l'immortelle, et qu'à reprendre mon rôle de songe-creux sur les événements que je vois arriver autour de moi, et qui achemineront l'Europe avant la fin de cette année vers un dénoûment dont les suites sont incalculables.

Un oracle prononcé en 1789, dès le commencement de la révolution en France, ne m'est jamais sorti de la tête. Votre Majesté m'écrivit alors: Si cette révolution prend de la consistance, il en faut faire compliment aux Turcs; ils feront la conquête de l'Europe quand il leur plaira. Frappé de cet oracle, le voyant toujours tracé en caractères rouges devant les yeux, je me suis quelquefois, rarement à la vérité, mais enfin quelquefois, laissé aller à le dire à des hommes d'état; je n'en ai jamais rencontré dans mon chemin un seul qui le comprît. En 1790, au couronnement de l'empereur Léopold à Francfort, je le dis à ce souverain fraichement ceint du diadême de l'Empire, dans une audience où il me parla des affaires de France. Ce mot glissa sur Sa Majesté, comme il avait glissé sur mes hommes d'état. Il est vrai que la circonspection pouvait empêcher César de s'expliquer avec un homme à qui il ne devait aucun compte de ses idées; quoi qu'il en soit, son frère Joseph n'eût pas laissé tomber mon oracle à terre, et me l'aurait témoigné. Qui eût pu ou voulu croire alors, que trois ans après, la France

* redevenue entièrement barbare, abolirait formellement le christianisme, et y substituerait une espèce de religion païenne aussi plate que puérile? Car c'est une chose digne de remarque que la férocité habituelle de ces barbares ne les a point empêchés de conserver, au milieu de leur législation et de leurs moeurs atroces, ce caractère d'enfantillage et de puérilité qui a toujours si éminemment distingué les Français. Le nouveau calendrier, discuté, décrété, adopté, introduit en quinze jours de temps, en fournit une nouvelle preuve. Cependant par cette extravagance qui n'est en apparence que frivole et dégoûtante, voilà une dernière barrière élevée entre ce malheureux peuple et toutes les nations civilisées; voilà, au centre de l'Europe, une nation policée subitement disparue, et une horde de brigands systématiquement barbares qui a pris sa place. En reculant en quatre ans de plusieurs siècles, ils se sont trouvés tellement rapprochés des musulmans, ou plutôt ils sont tellement derrière eux, que ceux-ci leur sont aujourd'hui aussi supérieurs en morale, en police, en gouvernement, que les hommes le sont en intelligence aux brutes. Il est clair jusqu'à l'évidence que ces hordes ne sont devenues redoutables qu'à mesure qu'elles se sont éloignées de toute police, de tout ordre social, de tout principe d'un gouvernement stable et réglé. Elles ont fondé leur puissance sur la destruction, comme les gouvernements sages la fondent sur la conservation. Ce phénomène étrange a-t-il frappé un seul de nos hommes d'état d'étonnement? Ceux qui sont obligés de combattre ces sauvages, sous peine d'en être dévorés, ont-ils seulement songé qu'il fallait peut-être toute une autre théorie, pour s'opposer efficacement à un système méthodique de destruction? Je vois que tous les cabinets sont restés fidèles à leurs routines, se sont occupés de leurs intérêts individuels, de leurs rapports et jalousies réciproques, se sont enfoncés, chacun pour son compte, dans ce que la fille de Jupiter a désigné si expressivement par le terme de Röthereyen, et continuent à délibérer, à se consulter paisiblement à côté d'un volcan qui les exterminera avant qu'ils se soient doutés du danger. On ne s'est encore nullement convaincu, ni par la réflexion ni par l'expérience, que le système de faire une guerre défensive contre des hordes sauvages est de tous les systèmes le plus vicieux et le plus absurde. Tant que le pieux Josias a attaqué, il les a toujours battues; la seule fois qu'il s'est laissé attaquer, il a perdu une bataille gagnée. A quoi cet exemple a-t-il servi pour la campagne d'Alsace? Après s'être avisé enfin, après une inaction sanglante de plus de deux mois, d'agir offensivement, on obtient des succès brillants, et sur-le-champ, pour les assurer, on revient au système défensif, et l'on se persuade qu'on peut exposer son armée, parce que les troupes sont excellentes, pendant plus d'un mois, à des attaques

* journalières par des sauvages qui ont tous les jours de nouvelles masses à mener au combat, et qui, en faisant des pertes immenses en hommes, perdent à peine quelques soldats. Le vuc de Brunswick peut avoir déployé de grands talents dans cette défensive du mois de décembre; mais l'Alsace en est-elle moins perdue, et l'issue de la campagne ne menace-t-elle pas l'Allemagne de nouveau de tous les dangers dont elle devait se croire délivrée? Qu'on ajoute a ce revers celui de la reprise de Toulon, qui met les barbares en état de porter une partie de leurs hordes dans le comté de Nice, de passer, avec ou sans la permission de la république, par l'état de Gênes, d'inonder le Piémont et la Lombardie, et de faire trembler l'Italie; qu'on suppose que la maison d'Autriche éprouve un grand revers de la part de ces brigands, ne se trouverait-elle pas, avec une grande partie de l'Europe, immédiatement pressée entre les barbares gaulois et ces musulmans qu'ils ont surpassés à pas de géant en barbarie? Ces derniers ne deviendraient-ils pas, et par conformité de système et par l'analogie des moeurs, leurs alliés naturels, et l'oracle de 1789 ne toucherait-il pas à son accomplissement? Mon rôle de songe-creux me met en droit de demander: quel est le cabinet, quel est l'homme d'état qui se soit occupé de cette position de chances? Le jeune empereur François donne journellement des preuves d'un excellent caractère; je voudrais savoir ce que ses ministres lui disent sur cette position; je voudrais connaître les mesures extraordinaires auxquelles le cabinet de Vienne s'arrête dans une conjoncture aussi menaçante et aussi dangereuse, résultat immédiat de son imprévoyance et de ses vacillations en 1791. Je soupçonne témérairement le cabinet de Berlin, si cabinet y a, de ne mettre sa capacité qu'à tripoter, qu'à manigancer, qu'à songer à tirer parti de la conjoncture, pour se procurer des avantages du moment, sans s'être demandé si cette conjoncture n'intéresse pas peut-être autant l'existence de la maison de Brandebourg que celle de la maison d'Autriche. Je crois audacieusement le cabinet de Londres borné à calculer tous les profits et tous les dommages qui peuvent résulter pour le commerce anglais de la position actuelle de l'Europe, sans faire entrer dans ses calculs de probabilités les bouleversements imminents et les catastrophes soudaines, welche in einem Augenblick einen gewaltigen Strich durch alle dieſe mühſamen Rechnungen machen können.

D'après cette triple confession, le songe-creux doit se rendre justice et sentir qu'il ne mérite un tabouret dans aucun des trois cabinets; il se permettra seulement d'observer en passant à François le bien-aimé, que s'il est doux pour un souverain qui a l'âme au niveau de ses devoirs, de se croire [illegible] n'est qu'autant qu'il est sûr d'être respecté. Louis XVI aussi, pen-

* dant les quinze premières années de son règne, jouissait de l'amour et de l'affection de ses sujets, au point qu'il oublia de se faire respecter. Il était bon comme le pain que Dieu donne, et l'on sait comme cela lui a réussi. Pardonner et dissimuler beaucoup de choses sont au nombre des premières qualités de ceux qui gouvernent; mais on ne sait pas gouverner quand on ne sait que cela, et celui qui n'a jamais puni ne doit pas compter qu'on lui sache jamais gré de pardonner. Cette homélie faite, le songe-creux se retire, et abandonne aux trois puissances et à leurs alliés le soin de pourvoir à la sûreté de l'occident avec un système et un concert qui puissent rassurer sur l'issue d'un procès dont dépend l'existence de l'ordre social en Europe. Quant à lui, certains symptômes attirent ses regards vers l'orient, auquel personne ne songe dans le sens de l'oracle de 1789. Il proposera donc aux grands professeurs des trois sublimes cabinets de faire avec lui un petit cours d'hydraulique. Le professeur de cette science leur enseignera la théorie des digues, et leur dira, si par votre insouciance passée vous ne pouvez pas compter du côté de l'occident sur une digue suffisante pour vous mettre à l'abri de l'irruption des barbares, remerciez donc ce bon songe-creux qui, pendant qu'il en est temps encore, songe à vous conserver le dos libre du côté de l'orient. Vous n'ignorez pas, Messieurs les Rötherer, que vous avez là derrière vous d'autres barbares qui, dès que vous vous trouverez en presse, feront cause commune avec les sauvages de fraiche date, pour vous achever. Le plus pressant intérêt de l'Europe exige donc, avant que ce péril existe, que les barbares, de l'orient soient repoussés en Asie qui les a vomis sur nous; et que le songe-creux obtienne par ses ferventes prières, du Dieu de miséricorde que l'aigle de Russie s'empresse de prendre à Constantinople la place du croissant. Alors, délivré de la moitié du péril, il faut espérer que vous ne bornerez pas votre science à la théorie des digues, qui ne sont que des moyens de défense, et que vous concevrez qu'il n'y a point de salut, ni de paix, ni de sécurité pour l'Europe, tant que la horde des sauvages subsistera en France.

À cette première leçon de mon professeur d'hydraulique, tous mes grands hommes d'état ses auditeurs restèrent stupéfaits et ouvrirent de grands yeux en se regardant; à leur air d'indécision et d'étonnement on vit clairement que rien de tout cela n'avait jamais effleuré leur tête. Milord Findlater, présent à cette leçon et déjà travaillé de spleen, vit déjà, sur ces simples appréhensions du professeur, et sur le pronostic de l'oracle de 1789, l'Allemagne une proie facile pour les Turcs, qui alors, se trouvant nez à nez avec les jacobins, n'auraient plus qu'à tirer avec eux à la courte paille, pour décider qui aurait l'honneur de nous égorger. Son imagination va plus

* loin: elle lui montre les barbares circoncis travaillés dès à présent par les jacobins, pour les porter à attaquer de nouveau l'incomparable héroïne du Nord, et s'adressant aux grands hommes d'état des trois cabinets, il leur demande si cette perspective ne doit pas engager tous les souverains, fous et sages, gras et maigres, de s'unir tous immédiatement pour la défense de nous autres Russes. Le songe-creux observe au pair d'Ecosse qu'il n'a pas besoin de cette association de gras et de maigres, de fous et de sages, qu'il s'en remet à Notre-Dame des Miracles de Russie pour lui rendre bon compte, si besoin est, des barbares circoncis. Mais en attendant qu'il puisse aller voir à Constantinople l'aigle de Russie au haut des tours de sainte Sophie, il voudrait savoir en quel lieu de la terre il pourra s'arrêter, et il se demande avec quelque inquiétude, où nous en serons, en ces quartiers-ci, d'ici dans un an, à pareil jour.

Ce 15 (26) janvier.

J'ai négligé bien des choses depuis environ un mois. J'avais plusieurs commissions essentielles à donner à Votre Majesté Impériale; je voulais faire mon compliment à M. le grand maître de l'artillerie et puis à M. le grand maître de la cour; mais le bienfait imprévu de Votre Majesté m'a troublé le coeur, et les mauvaises nouvelles de Toulon, du Rhin, de l'abandon de ces nobles et braves royalistes, m'ont troublé l'esprit, au point que je n'ai pas osé endosser meinen Gratulanten-Rock ni supplier mon auguste Souveraine de me présenter à messieurs les grands, de peur de jouer une triste figure. Nun, obgleich das Herz noch immer bis auf's innerſte gerührt iſt, und der Geiſt ſich von ſeinen trüben Ausſichten der politiſchen Lage noch nicht erholt hat, ſo kann ich doch nicht unterlaßen hochgedachten Ihro Excellenzien unterthänigſt zu gratulieren.

Voyageant sans cesse, allant vingt fois par jour de Grimma à Pétersbourg et à l'Ermitage, Votre Majesté me pardonnera bien de ne pas traverser tant de fois la Pologne, sans y jeter un coup d'oeil. Eh bien, je n'en suis pas du tout édifié. A peine la fille de Jupiter passait-elle à son souffre-douleur, il y a deux ans, le moindre petit mot à la charge de son amie la république, toutes ses innombrables sottises étaient mises sur le compte de ses séducteurs. A quoi a servi tant d'indulgence? La petite égrillarde s'est-elle sincèrement corrigée de ses fredaines? Je veux bien le croire, s'il le faut. Elle a eu tout le temps de se convaincre par une triste expérience qu'elle n'aurait pas dû répéter, qu'il lui en a cuit toutes les fois qu'elle a voulu s'écarter de la voie de son salut et chercher sa protection ailleurs que

* sous l'égide de Minerve. Mais puisque j'ai la complaisance de croire à la sincérité de sa conversion, elle doit venir de son côté une bonne fois à résipiscence, se confesser de ses incurables légèretés, et en disant: mea culpa, mea maxima culpa, convenir qu'elle se surprend à tout moment dans la triste disposition de confirmer l'observation d'Horace: Naturam furca expelles..... ce que le fameux poëte Hans Sachs a traduit par ces deux vers élégants: Treib die Natur mit Gabeln aus, ſie ſchleicht zurück durchs Hinterhaus. Comment serait-il possible sans cela, qu'après la forte et sevère leçon que la petite écervelée s'est attirée, et les marques de repentir qu'elle a données, elle ait pu entasser sottises sur sottises, en dansant le Kehraus à Grodno, parce qu'elle se croyait peut-être moins surveillée? Je ne veux pas me rappeler la générosité avec laquelle la fille de Jupiter s'est chargée de trois millions de ses dettes, sans compter ce qu'elle a daigné faire pour assurer et garantir le remboursement des sommes si follement dissipées pour lui faire des niches qui ont eu un succès si brillant, sans compter ce don en ducats vraiment impérial fait au royal pénitent peu de jours avant le Kehraus de Grodno, sans compter... sans compter... Je ne finirais pas si je voulais continuer à compter, et il faut que j'oublie tout cela, si je veux conserver un coeur disposé au pardon des fredaines du Kehraus. Je demanderai seulement à la petite étourdie si les coches qui lui arrivent du côté de Süd-Preuſſen ou les vents qui soufflent sur elle de ce côté-là lui apportent de pareilles aubaines en ducats et en millions. Après quoi le mieux pour elle est que je n'en entende plus parler de longtemps.

Puisque je suis en train de donner mes commissions, je supplie Votre Majesté de faire mon compliment à sir Charles Withwort sur la belle épée qui l'a créé chevalier, et qu'il a l'avantage de porter aujourd'hui à son côté. A cette occasion les gens de Grimma observeront à monsieur le chevalier la différence qu'ils remarquent entre les procédés du ministère britannique et ceux de leur auguste Souveraine à leur égard. Le right honourable William Pitt leur montra l'année dernière toute la somme qu'il mettait au jeu pour les frais de la campagne, et ils furent fort contents de cette mise. Quand ensuite à la fin de la campagne, ils voulurent voir les intérêts produits par cette somme énorme, les profits, les entreprises, les succès, les résultats, le right honourable ne leur dit mot. Vraisemblablement il ne tardera pas à leur faire part, dès que le parlement sera en mouvement, d'un budget dont la mise sera encore magnifique; mais si à la fin de cette année il gardait le même silence sur le produit des intérêts, les gens de Grimma se trouveraient fort désappointés. Leur Impératrice les traite tout diversement. Jamais elle ne leur a parlé de sa mise au commencement de ses campagnes; dans

* le fond on ne sait ni ce qu'elle, ni ce qu'elle n'a pas, parce qu'elle ne demande jamais aucun subside de guerre ni aux gens de Grimma, ni à ses autres enfants. Singulière manie! En revanche, à la fin de la campagne on a un étalage énorme de toute la récolte en coups amplement distribués, en batailles gagnées, en villes emportées, en provinces conquises. M. le chevalier est prié de voir si l'on ne pourrait pas amalgamer les deux manières, ou bien, en passant à l'Impératrice son silence sur ses mises, parce qu'au fond elle est têtue, et que c'est le diable, comme le right honourable sait fort bien, de la faire changer de gamme, engager celui-ci à être plus parlant, plus étalant à la fin de la campagne. Monsieur le chevalier mériterait d'ailleurs éminemment de sa patrie et de l'Europe entière, et tout le monde le féliciterait de l'épée qu'il a la gloire de porter, s'il savait le secret de mettre le ministère de sa patrie au pas de notre Impératrice.

Ce 25 janvier (5) février.

La bonté céleste m'a pris en pitié et m'a envoyé un rédempteur au moment où je commençais à désespérer de mon salut. Il y a plus d'un mois que le comte de Romantsov, qui se tient depuis plus d'un an imperturbablement à Ham, qui ne passe pas pour le paradis terrestre, me manda qu'il attendait un courrier de Votre Majesté de retour de Londres, qu'il lui donnerait ses paquets, et l'engagerait de passer par Gotha pour y prendre les miens, à condition que je ne le retarderais pas d'une minute dans la poursuite de sa route. En conséquence je fermai mes pancartes et les tins toutes prêtes sur ma table. Combien de jours ne se sont pas passés dans cette attente vaine! Ou ce courrier n'a pas repassé à Ham, ou mon saint m'a oublié et se rit de mes larmes, ou bien le messager de l'immortelle n'a pas jugé à propos de passer par Gotha, et de frapper à la porte du pauvre souffre-douleur. Plein de ces tristes alternatives, et ne pouvant plus les supporter, je pris mon recours vendredi dernier 20 (31) janvier aux successeurs de Bacchus, pour soulager du moins mon coeur d'un poids au-dessus de ses forces et dire à mon auguste bienfaitrice que ses traites sont venues m'étouffer au moment où j'y pensais le moins. A peine ma lettre était-elle partie qu'un rédempteur imprévu se montra: le comte de Tiesenhausen, que j'accusais de m'avoir oublié, que je croyais depuis longtemps rentré dans le séjour de la gloire, vint le surlendemain m'enlever mes pancartes et se charger de mes paquets, dont je joins ici la facture en duplicata; mais il n'a pas emporté mon coeur; je sens qu'il est toujours là, qu'i est tantôt souffrant, tantôt délicieusement affecté, mais jamais tranquille, et toujours par le fait de

* l'auguste objet de son culte. Maintenant j'attendrai le courrier de Ham avec plus de résignation, et pour qu'il ne soit pas retardé, je vais fermer cette pancarte et en recommencer une autre qu'il me laissera ou ne me laissera pas le temps d'achever.

Je mets aux pieds de Votre Majesté Impériale son souffre-douleur avec armes et bagages, et quoique personne ne soit plus pénétré que moi de la toute-puissance de l'immortelle, je ne la crois cependant pas suffisante pour l'en arracher.

A Gotha, ce 22 janvier (2 février) 1794.

Madame,

Un rédempteur imprévu, inattendu, se présente. M. le comte de Tiesenhausen, que j'accusais témérairement de m'avoir oublié, que je croyais depuis longtemps retourné vers les régions habitées par la gloire, me prend au saut du lit et me demande mes paquets; mais plus il a été retardé à Carlsruhe et à Stuttgard, plus il est pressé de continuer sa route. Il ne m'accorde donc que le temps nécessaire pour lui remettre les deux pancartes et trois autres paquets qui, cachetés depuis plus d'un mois, soupiraient sur mon bureau après leur rédemption, et pour y ajouter en toute hâte quelques lignes plus fraiches.

Mais que dirai-je à Votre Majesté Impériale? Je ne puis que lui répéter ce que je lui ai déjà dit par une autre voie, que depuis un mois j'ai le coeur brisé, et ce que les coups redoublés du malheur n'ont pas pu faire au milieu de tant de catastrophes, une lettre de douze lignes de Votre Majesté l'a fait en un clin d'oeil. Depuis environ un mois qu'elle est entre mes mains, je puis m'en distraire; mais mon âme ne reste pas moins sans force et comme anéantie. Votre Majesté ne craint donc pas de me voir arriver subitement embrasser ses genoux et expirer à ses pieds d'attendrissement et de reconnaissance. J'éprouve, par ce qui m'arrive, une chose que je savais, déjà, c'est que tout dans notre Impératrice, jusqu'à sa bonté, a un caractère redoutable, et qu'elle n'est guère moins difficile à supporter par ceux qui ont un coeur, que l'effort de ses armes et les mesures de son génie, par ses ennemis et ses envieux. J'ai été obligé de relever quelques inexactitudes dans cette lettre de douze lignes. Votre Majesté en laissant la somme de deux lettres de change en blanc et ne me marquant que celle de la troisième, me dit qu'elle m'envoie vingt mille roubles, et il se trouve que ces trois lettres ensemble font la somme de vingt sept mille roubles à 25 stuver courant d'Hollande. Votre Majesté me parle de la pénurie où je me

* trouve. J'ai été volé, dépouillé, j'ai tout perdu; mais je ne suis pas dans la pénurie. La bienfaisance de mon auguste Souveraine n'a-t-elle pas pourvu depuis plus de seize ans, à ce que cela fût absolument impossible, et les deux mille roubles que je dois annuellement à sa bonté intarissable, ne sont-ils pas plus que suffisants, non seulement pour me garantir de toute pénurie, mais pour me mettre bien au-dessus de tous mes besoins? J'ai osé découvrir à Votre Majesté la seule plaie véritable de mon coeur. Ce sont les angoisses que j'éprouve sur le sort de ma pupille et de ses trois enfants, à qui, en me perdant, il ne resterait pas de quoi se garantir de la faim et de la dernière misère. C'est cette idée que je ne soutiens qu'en me confiant dans la commisération de son auguste protectrice. Je crois le procès de l'honneur et de la justice, de la noblesse française en un mot, entièrement perdu: je ne lui vois donc plus de ressource que dans la générosité de Votre Majesté; au milieu de ces ressources, il s'en trouvera sans doute pour ma pauvre pupille. Son mari a été toute sa vie cultivateur de goût et de passion; il faut donc croire qu'un coin de terre qui lui serait accordé par la bienfaisance souveraine, deviendrait entre ses mains un abri pour ses enfants et les mettrait en sûreté contre l'indigence; mais ces soins champêtres ne l'empêcheraient pas de poursuivre sa carrière militaire, à laquelle son fils âgé de six ans doit également être voué. Je me réserve de rendre compte à Votre Majesté Impériale de l'emploi de ces vingt sept mille roubles dont le fonds ne peut-être employé qu'à l'avantage de cette petite famille; mais je me garderai bien de rien prescrire, ni même de rien indiquer à la souveraine bonté sur le sort de cette famille sans ressource comme tant d'autres. C'est à Votre Majesté à me guider et à me dire, si Madame de Bueil doit se rendre cette année aux instances de la tendre amitié de la princesse Prascovia Galitsine, ou si elle doit encore attendre ici les derniers événements qui décideront sans doute avant la fin de l'année, si ce n'est du sort de sa patrie, du moins de celui des infortunés emigrés. J'attendrai en silence les ordres de la bonté souveraine, et vais fermer mon paquet pour ne pas retarder mon rédempteur.

Dans la foule des événements déplorables, j'ai été très touché de la perte du chevalier de Germagnan, chevalier de saint-George, que j'avais vu à Coblence, et aux talents duquel les Anglais rendent une justice éclatante. Il paraît que s'il y avait eu beaucoup d'officiers de son mérite à Toulon, les affaires auraient pu tourner autrement. Le comte de Tiesenhausen pourra dire à Votre Majesté, en quel état est l'armée autrichienne depuis qu'elle a repassé le Rhin. Ce qu'il m'en a dit, s'accorde parfaitement avec ce que j'en ai appris par d'autres canaux. On m'assure que le duc de Bruns-

* wick en est aux regrets d'avoir quitté le commandement. Il a du moins l'air très chagrin. Peut-être s'est il flatté que sa démission ne serait pas acceptée. Le maréchal de Moellendorf a passé ici il y a huit jours pour le relever. Il n'a vu personne ici, mais à six lieues plus loin, à Eiſenach, il s'est arrêté une journée entière, et là il a dit au commandant que c'est bien malgré lui, qu'il a accepté ce commandement; que rien n'était moins agréable, wenn der Karren einmal verſchoben iſt. En rendant justice aux dernières opérations du duc, il a blâmé sa conduite antécédente sur tout le reste. Il a paru peu édifié du choix qu'on a fait à Vienne du comte de Browne pour remplacer le comte de Wurmser; il a dit que ce qu'on lui connaissait de talents et de mérite, se réduisait à être neveu du maréchal de Lascy. Le comte de Schulenbourg, ministre, a suivi M. de Moellendorf de près, et ne s'est pas arrêté davantage; mais je crois qu'il a dit à Weimar que le Roi ne retournerait pas à l'armée, et ici il a répondu à quelqu'un qui lui demandait si le Roi passerait bientôt: Eh, qui vous a dit qu'il y aura une campagne. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à Berlin les bruits de paix sont très accrédités; tout le monde, me dit-on, soupire après la paix hors le primogenito. Si cela est, les actions de ce primogenito ne tomberont pas dans mon esprit où elles se trouvent à un taux très avantageux. Le prince Henri est dans la joie de son coeur de cette paix qu'il croit immanquable et prochaine, c'est-à-dire imminente. Cela me fait gémir sur notre misère. Qu'est-ce donc que le jugement sain, s'il peut-être offusqué à ce point par la passion? On dit que la passion s'est aussi mêlée du rapport officiel que je joins ici et surtout de ses notes. Les Autrichiens veulent y répondre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'armée prussienne est dans un état florissant, et celle d'Autriche dans l'état contraire et surtout dans un état d'indiscipline qui n'est rien moins que rassurant. La lettre de M. Necker est, à ce qu'on m'assure, d'un abbé Talmont, émigré; je l'ai lue avec grand plaisir.

Votre Majesté trouvera ci-joint la facture de ce que M. le comte de Tiesenhausen va mettre à ses pieds. Pour un rien je me mettrais dans sa voiture, mais en arrivant aux pieds de mon auguste Souveraine, je ne pourrais plus m'en arracher, et je ne puis m'y retrouver que pour y mourir.

Une lettre pour la comtesse de Schouvalov ne peut arriver sous des auspices plus heureux que ceux auxquels je la confie.

A Grimma-Gotha, ce 5 (16) février 1794.

Madame,

M. le marquis de Lambert, général au service de Votre Majesté Impériale, me prend au milieu de la nuit pour me demander mes paquets et les porter au pied de son trône. Il vient très à propos pour se charger des deux tableaux de Teresina de Maron dont je ne suis en possession que depuis deux jours. Je n'ai pas encore vu M. de Lambert. Il me fait dire de la maison de poste, qu'un postillon maladroit l'a versé en route et lui a cassé le bras; et malgré un petit accident de cette force, il veut repartir sur-le-champ. Je vais donc lui porter mes paquets et voir par moi-même en quel état il se trouve.

S'il m'en avait laissé le temps, j'aurais parlé à Votre Majesté de mes tribulations. Je suis depuis quelque temps accâblé de lettres de malheureux émigrés. Dans leur détresse ils tournent tous leurs regards vers l'unique asile qui leur paraît réservé sur la terre. Mais je ne puis aujourd'hui parler que d'un seul. Le marquis de Juigné, chef d'une famille nombreuse, dépouillé d'une fortune très considérable, présenta il y a un an par le comte de Romantsov une requête pour entrer au service de Votre Majesté Impériale. Cette requête étant restée sans réponse, il vient de m'écrire de Constance. Il craint d'avoir déplu à Votre Majesté par cette démarche. Je lui dis que cela n'est pas possible; mais que je présume que l'auguste et unique véritable protectrice de la noblesse française a voulu attendre l'issue de cette campagne, et voudra peut-être attendre encore l'issue de la campagne prochaine, pour voir la tournure que prendront les affaires générales, afin de se déterminer ensuite à un parti définitif et général où tous ceux qui ont l'honneur de lui être personnellement connus, trouveront leur place. J'espère que mon auguste Souveraine approuvera ce langage des naſeweiſen Herrn Schmerzbulders, ou lui fera donner vingt coups d'étrivières pour parler à tort et à travers.

Mais n'osant pas faire attendre plus longtemps M. de Lambert au bras cassé, je ferme mes paquets de très grand matin dans le triste réduit du souffre-douleur, qui ne sait guère s'endormir que lorsque l'aurore commence à poindre. Il porte aux pieds de Votre Majesté Impériale l'hommage de son très profond respect et d'un coeur ravagé par ses bienfaits.

Le duc de Brunswick a remis son régiment et quitté le service de Prusse. Il travaille à un mémoire; mais j'ignore s'il doit rester manuscrit ou être livré à l'impression. Les lettres de Berlin disent que le Roi ne retournera plus à l'armée, ni les princes ses fils non plus. On croit cependant que

* l'Angleterre avancera les millions que S. M. demande pour continuer la guerre et qu'elle se réserve de s'en dédommager à la paix future sur la France. C'est toujours continuer à se partager la peau de l'hyène avant de l'avoir tuée. Le duc de Weimar, à l'exemple du feld-maréchal, son oncle, a aussi quitté le service de Prusse.

A Gotha, ce vendredi, 10 (21) février 1794.

Madame,

Le marquis de Lambert, général-major des armées de Votre Majesté Impériale, un de cette légion innombrable qui, comme moi, ne comptent et ne prolongent leurs jours que par les bienfaits de l'immortelle, me fit éveiller dimanche dernier à l'improviste de très grand matin. Il me manda de la poste, qu'allant à Pétersbourg, il était arrivé ici au milieu de la nuit, mais que ne voulant pas troubler mon sommeil, il avait attendu le retour de l'aurore pour me demander mes paquets; qu'il me priait de les préparer, qu'il viendrait les prendre à 9 heures, et repartirait immédiatement après, pour continuer sa route. Effectivement je le vis entrer chez moi à l'heure marquée avec la ponctualité militaire, et ce qui me frappa d'abord, c'est de lui voir le bras en écharpe. Il m'apprit que voulant aller porter l'hommage de sa reconnaissance aux pieds de notre auguste bienfaitrice, il n'avait pu se dispenser de faire une course à Ham prendre les ordres de M. le comte d'Artois, et que revenant de Ham à Mayence, il avait été versé la nuit par un posstillon maladroit de telle force qu'il s'était cassé la clavicule par la culbute que fit sa voiture. Cet accident l'avait retardé quelques jours à Mayence, mais ne l'avait pas empêché de se remettre en route tout aussitôt, d'aller jour et nuit et d'arriver ici avec son bras très hypothéqué, comptant bien, quoique continuant à aller d'ici à Pétersbourg jour et nuit sans aucun relâche, arriver avec le bras parfaitement guéri aux portes du séjour de la gloire. Comme il y avait un an que nous nous étions quittés au quartier général de Francfort, nous ne pouvions pas craindre de manquer de sujets de conversation pour la demi-heure qu'il me destinait. Il venait de faire toute la campagne du Rhin avec l'armée prussienne, et ne s'était séparé du duc de Brunswick qu'au moment où ce prince avait remis le commandement de l'armée et était retourné dans ses états. La conversation s'engagea donc et n'avait pas encore duré un quart d'heure que mon général envoya chercher à la poste son portefeuille pour me communiquer quelques pièces ori-

* ginales et probantes. Il en résulta que la demi-heure qu'il m'avait destinée dura depuis neuf heures du matin jusqu'à une heure et demie. Alors il consentit de prendre un repas frugal en compagnie de la protégée et des filleuls de Votre Majesté, ce qu'il m'avait absolument refusé le matin, et se remit en route immédiatement après être sorti de table.

Sans avoir été jamais lié avec M. de Lambert, je l'avais rencontré assez souvent. Je savais qu'il était très estimé, non seulement comme militaire, mais comme homme de probité et d'honneur. Lorsque le fils qu'il a perdu alla en Russie, il vint me voir et me prouva qu'il était bon et excellent père, et j'eus alors la satisfaction de lui procurer des témoignages très satisfaisants de la conduite de son fils par M. le baron de Bühler; mais dans le monde M. de Lambert me parut toujours froid et très peu pressé de parler. Je ne fus donc pas médiocrement surpris de le voir débuter chez moi d'un air et d'un ton très animé, et continuer pendant quatre heures et demie une conversation pleine d'intérêt et de feu. Je ne pus lui en cacher ma surprise, et lui avouai franchement que je ne le connaissais qu'à dater de notre entrevue à Gotha. J'aime les convérsations qui nettoient les objets, et la sienne m'a paru avoir particulièrement ce mérite; aussi, quand un objet était fini et coulé à fond, ne me restait-il pas une seule question à faire. Toutes ses idées sont claires, précises et très arrêtées, et il fallait bien qu'elles me parussent excellentes, puisque je les trouvais parfaitement conformes aux miennes et à ma manière de voir: car lorsque nous disons: Voilà un excellent esprit, ou un esprit juste et lumineux, cela ne veut dire en dernière analyse que: Voilà un homme dont les idées sont conformes aux miennes, dont j'entends par conséquent le dictionnaire, qui ne me parle pas arabe, qui, en un mot, développe en moi ce que j'ai moi même dans la tête. Mon orgueil de Lucifer va bien plus loin encore, et me persuade que si M. de Lambert a le bonheur d'entretenir notre auguste Souveraine sur les divers objets qui nous ont occupés ici pendant toute cette matinée, elle trouvera que personne ne lui a fait sur ces objets un rapport plus simple, plus vrai, plus exempt de toute passion pour ou contre, avec des vues plus saines et plus allant au but. D'après cela, Votre Majesté pourra dire que son souffre-douleur a la présomption infernale de ne pas se croire étranger au dictionnaire de l'objet auguste de son culte, et d'oser juger de ses impressions d'après celles qu'il a lui-même éprouvées. Ce n'est que lorsque nous étions à table, que je compris par un propos de M. de Lambert, qu'il faut qu'il ait été en Pologne à la fin de 1791 ou au commencement de 1792. Il me parla du roi et de quelques personnages de ma connaissance dont ce prince était entouré à cette époque; mais je ne pus nettoyer cette affaire

* comme les autres, parce que le lieu ne s'y prêtait pas, et qu'en sortant de table, mon voyageur me quitta si précipitamment qu'il n'y eut plus moyen de rien éclaircir. Il avait couru en France dans les premiers jours de la révolution un danger vraiment effroyable. La populace, en l'entendant nommer, l'arrêta et le traîna à l'hôtel de ville, et voulut qu'il lui fût livré pour être déchiré méthodiquement, parce qu'elle ne trouva aucune différence entre le nom de Lambert et de Lambesc. Ce n'est qu'après s'être vu pendant trois heures entre les griffes de ces tigres, qu'on trouva le moyen de le faire échapper par une porte de derrière.

Votre Majesté trouvera ici le double de la facture des paquets dont il s'est chargé pour les déposer au pied du trône. J'avais reçu les deux tableaux de Rome quelques jours auparavant à point nommé, pour les transmettre à leur glorieuse destination. Le Dieu des miséricordes m'a envoyé depuis peu deux rédempteurs de mes pancartes gémissantes sans espérance d'être sitôt délivrées. Que sa bonté soit bénie éternellement! Mais quand descendra l'ange du ciel pour me dire: ſey getroſt, du Erdwurm, und nicht beklommen, car l'immortelle n'oublie pas même le ver de terre qu'elle a protégé.

Ce fut hier, Madame, un jour séculaire, l'anniversaire centenaire de la naissance de Voltaire. Il y a seize ans qu'il a quitté ce monde. Il pouvait prolonger sa carrière de dix ans sans inconvénient, et cela serait arrivé sans doute, s'il ne fût pas venu à Paris, ou qu'il s'en fût retourné promptement dans sa retraite. Mais qu'il eût été malheureux de voir la révolution! C'eût été l'aristocrate le plus fieffé, et la peur l'aurait rendu démocrate, jacobin, sans-culotte, tout ce qu'on aurait voulu. Les gens superficiels le regardent comme un de ceux qui ont préparé cette funeste révolution: en ce cas les bandits régicides l'en ont déjà puni, en lui accordant les honneurs du Panthéon et mêlant ainsi sa cendre avec celle de Marat et d'autres criminels de la plus vile espèce. Mais je le vengerai un jour, si Dieu me prête vie, de cette calomnie, en indiquant les vrais et uniques auteurs de la révolution française. Puisse l'hymne que je chante, jour et nuit, à la louange de l'immortelle, parvenir jusqu'au trône de sa gloire!

A Grimma-Gotha, ce dimanche, 12 (23) février 1794.

Madame,

Il y a aujourd'hui huit jours que le général, marquis de Lambert, parut subitement sur l'horizon de Grimma avec son bras en écharpe, et disparut

* tout aussi vite. Le lendemain je reçus de la Suisse la nouvelle officielle, c'est-à-dire la confirmation certaine, que tout ce que je possédais au monde, était pillé, saccagé et vendu à Paris au profit de la nation. Avant-hier j'eus recours à la poste et aux successeurs de Bacchus devenus aussi mes bienfaiteurs, pour faire part à mon auguste Souveraine du passage de M. de Lambert et de son essor vers les régions de la gloire, pour y porter avec l'hommage de sa reconnaissance, mes pancartes № 71 et № 72, et deux autres paquets. Voilà, Madame, mon journal de la semaine passée.

La lettre officielle de la Suisse, en me confirmant la dilapidation et la destruction opérées chez moi par les brigands régicides, me causa un moment de satisfaction bien doux, en m'apprenant que les voleurs, avant de consommer leurs rapines, avaient permis à la personne qui était à la tête de ma maison depuis plus de treize ans et qui par son attachement m'intéresse si vivement et si justement, de quitter ma maison avant sa spoliation et de retourner chez sa mère. J'étais pendant plus de six mois dans des transes continuelles relativement à cette personne. Depuis le mois d'octobre je n'avais plus reçu une ligne de Paris, personne n'osant se permettre de m'écrire, et ce que j'avais appris de mes affaires par une voie indirecte de la Suisse, était si énigmatique que ce stile mystérieux achevait de troubler mon repos. Je craignais d'un moment à l'autre d'apprendre que cette personne avait été arrêtée comme suspecte; il y en a un grand nombre qui ont perdu la liberté et la vie sous des prétextes plus frivoles: heureusement celle qui m'intéresse est pauvre, et la nation ne pouvait rien hériter d'elle. Voilà donc un grand motif d'inquiétude de moins. Rentrée dans la foule et oubliée chez sa mère, elle ne souffrira plus que de la réunion de toutes les calamités qui offligent les malheureux et insensés habitants de la plus coupable cité de la terre, et ce sera à moi à chercher quelque moyen de lui faire passer des secours qui l'empêchent de mourir de faim.

Après avoir joui de ce motif de tranquillité, je n'ai pas tardé à être douloureusement affecté de la certitude que des mains sacriléges se sont portées sur les images sacrées de mon culte, qu'excepté la dernière que je dois aux bontés de Votre Majesté Impériale et que j'ai emportée avec moi comme Anchise ses pénates, toutes les autres sont devenues la proie des impies. Hélas, ils n'ont respecté aucun temple, le crime les a tous profanés, comment pouvais-je me flatter que celui de l'immortelle serait préservée? Cette réflexion n'ôte malheureusement rien de l'amertume que cette perte me fait éprouver. Je jouissais continuellement de tous ces objets de mon culte: Quand j'étais en France, je passais la plus grande partie de la journée dans le sanctuaire qui leur était consacré; absent, je les passais

* continuellemnnt en revue, et je m'étais ainsi fait une jouissance même des objets éloignés de ma vue. Tout est détruit, je ne les reverrai plus. Il y en a un qui excite particulièrement mes regrets. Je n'ai jamais su haïr, je n'ai jamais conservé la mémoire du mal qu'on a voulu me faire, ni d'aucune injustice qu'on a pu exercer à mon égard; et c'est peut-être moins une preuve de la bonté de mon coeur que d'un certain orgueil très répréhensible. En revanche, je n'ai jamais oublié aucune marque de bonté ou de bienveillance, et la reconnaissance m'a certainement procuré les jouissances les plus douces de ma vie. A ce titre il est bien naturel que j'aie religieusement conservé la mémoire du général de Lanskoï. Je devais, depuis l'époque fatale de sa perte, sa médaille d'or à la munificence de mon auguste bienfaitrice; je m'étais aussi procuré, je ne sais plus comment, car j'ai une misérable mémoire, son portrait en miniature que ceux qui l'avaient connu trouvaient d'une ressemblance parfaite. Ces deux pièces avaient leur chapelle particulière dans mon sanctuaire; des mains impies et sacriléges m'en ont privé pour toujours. Si je les regrette si vivement après la perte de toutes les images de l'immortelle, de celle de l'ange marié depuis cinq mois et de son frère, de leurs profils, avec ceux de leurs soeurs sur de la porcelaine, c'est que la première est vraiment irréparable; quant à l'immortelle, tout l'univers est rempli de sa gloire; l'on peut me dire comme à Zaïre:

«Tu n'y peux faire un pas sans rencontrer ton Dieu»,

et en quel lieu en effet pourrais-je aller sans y trouver son image ou révérée ou respectée ou redoutée, sans découvrir quelques-uns de ces médaillons d'or que les brigands régicides m'ont enlevés pour les changer en infâmes monnaies qui attesteront un jour à venir aux siècles indignés leur criminelle et révoltante existence? Si j'étais dévot, je pourrais demander à la Providence quels sont ses desseins, en faisant ainsi triompher le crime et la bassesse depuis tant d'années, et en leur livrant la vertu et l'innocence, en leur donnant à immoler tous les sentiments qui élèvent l'âme et qui honorent l'humanité, und da würde des Haderns zwiſchen der Vorſicht und ihren frommen Anbetern vermuthlich nicht leicht ein Ende werden; mais il y a longtemps que je l'ai absoute et que je la tiens quitte de tout le mal qu'il faut bien qu'elle permette, puisqu'elle ne peut pas l'empêcher.

Ce lundi, 13 (24) février.

On n'aura pas manqué de rendre compte à Votre Majesté Imperiale de la scène scandaleuse qui est arrivée la semaine passée à Francfort. Je sa-

* vais que trois commissaires sans-culotte étaient dans cette ville depuis environ quinze jours incognito, et qu'ils avaient pendant la nuit de fréquentes conférences secrètes avec le comte de Schulenbourg, ministre d'état prussien. Leur mission publique était de régler et de solder les dettes que les troupes de la république des brigands régicides avaient laissées à Mayence lors de la prise de cette place, et pour la sûreté desquelles on avait retenu des otages. On ne voit rien dans cette négociation qui exigeât des conférences nocturnes et secrètes. Enfin le mystère cessa, les commissaires révolutionnaires dînèrent publiquement chez le général comte de Kalkreuth, et partirent le lendemain pour se présenter à Mayence chez le maréchal de Moellendorf. Celui-ci ne les garda pas longtemps, mais les renvoya au bout de deux fois vingt-quatre heures à Francfort pour y régler leurs comptes. Cette fois-ci ils devaient y reparaître en forme publique et faire une entrée solennelle. En conséquence monsieur le maréchal non seulement leur donna une escorte de hussards, mais leur permit, sans doute de concert avec le ministre Schulenbourg, de faire cette entrée dans un carrosse où il y avait aux deux portières un bonnet rouge peint en armoirie, sur l'impériale un pareil bonnet, et à chacun des deux bouts du siége du cocher un drapeau flottant aux couleurs nationales; c'était la seconde représentation d'une farce qui avait si mal réussi à Rome au citoyen Basseville. Il est impossible de trouver un motif qui ait pu porter le chef de l'armée prussienne et le ministre de cette puissance à autoriser une arlequinade aussi plate et aussi indécente, à moins qu'ils n'aient dans leurs instructions un article exprès qui leur recommande d'insulter leurs alliés et de caresser l'insolence de la canaille régicide de toutes les manières possibles. Ce qu'elle n'aurait pas osé risquer dans le temps où Custine avait une armée dans les murs de Francfort, dans un temps où les mains sacriléges de cette horde exécrable n'étaient pas encore teintes du sang de leur Roi et de leur Reine, ils l'ont pu faire sous la protection et la sauve-garde prussienne. Dans le temps que Francfort fut au pouvoir de Custine, jamais ses habitants courageux et fermes ne souffrirent qu'aucun homme qui ne fût pas engagé au service militaire, portât la cocarde nationale dans leur enceinte; ils ne prévirent pas alors qu'ils seraient dans le cas de le souffrir quatorze mois après sous les ordres d'une garnison prussienne. Cette scène scandaleuse causa effectivement un attroupement considérable. Le peuple indigné la désapprouva hautement, et se porta en foule devant l'auberge où les trois arlequins étaient descendus; mais, toujours sage et mesuré, il ne se permit aucune voie de fait. Des officiers prussiens mêlés dans cette foule partagèrent hautement cette indignation, et blâmèrent plus hautement encore cette condes-

* cendance inexplicable. On m'a mandé que c'est à leur instigation qu'un des gens du comte de Romantsov présent à cette bagarre arracha les deux drapeaux nationaux du siège de la voiture. Il fut arrêté par la police de la ville, réclamé immédiatement par le conseiller de légation de Votre Majesté, et relâché tout aussitôt. Le général de Kalkreuth se chargea d'apaiser le courroux des républicains; il fit remettre les drapeaux au siége et placer deux sentinelles prussiennes auprès, pour les faire respecter.

Il est inutile et il serait dégoûtant de se livrer aux réflexions que cette aventure présente en foule. Je crois que cette Rötherey en est une de la première classe, quoiqu'au premier aspect elle tombe sur un objet d'une puérilité et d'une platitude méprisables. Si c'est par de pareils procédés qu'on compte venir à bout de l'hydre antisociale, on pourra incessament savoir à ses dépens à quoi de telles Rötherey mènent. Au reste, on me mande aussi de Francfort que le parti prussien ministériel et administrant, s'affichant en toute occasion antiguerrier, déclare constamment et hautement qu'il est impossible de continuer la guerre, et que c'est une folie de vouloir dompter la France. Cette manière d'avouer et d'afficher son impuissance est sans doute un moyen neuf que ces grands hommes d'état ont découvert depuis peu, pour procurer à leur souverain une paix solide et honorable. Les négociateurs sans-culotte dont les bonnets rouges et les drapeaux tricolores sont confiés à une garde d'honneur prussienne, ne sauraient ignorer des propos si publiquement et si continuellement répétés, et ne manqueront pas d'en informer les seigneurs jacobins, leurs commettants, pour qu'ils s'arrangent en conséquence. C'est une chose digne de remarque qu'à la fin de 1792 et au commencement de 1793, tandis que le ministère prussien ne parlait que de la nécessité de pousser la guerre avec vigueur, le plus grand nombre d'officiers étaient démocrates, et presque la totalité de l'armée frondait cette guerre ouvertement et sans ménagement; et qu'au commencement de 1794, lorsque les ministres prussiens ne parlent que de la nécessité de la paix, toute l'armée se déclare pour la continuation de la guerre, rejette toute idée de paix comme déshonorante, blâme hautement sa cour des prétentions inadmissibles qu'elle forme soit envers la cour de Vienne, soit envers l'Empire, et lui reproche avec humeur de n'employer que des demi-moyens et des mesures mesquines contre un ennemi puissant et féroce.

Votre Majesté trouvera ci-joint une lettre que le duc de Brunswick, en quittant le commandement de l'armée, a écrite au prince Louis, fils du prince Ferdinand de Prusse et très sûrement de la princesse sa mère. Ce jeune prince a fait la campagne d'une manière très distinguée, et l'on assure généralement qu'indépendamment d'une valeur brillante, il annonce des ta-

* lents vraiment militaires. Il a été grièvement blessé au siége de Mayence à la cuisse, mais s'est très heureusement tiré de cet accident. On conte de lui un trait qui n'est pas fait pour faire tort à un héros en herbe. Dans une affaire excessivement chaude un grenadier autrichien combattant à ses côtés fut dangereusement blessé et renversé. Le prince le ramassa, le mit sur ses épaules et le porta hors de la mêlée, pour le confier et le recommander au dépôt des blessés. On lui a donné dans la maison maternelle le surnom de Huron, et son naturel bon et aimable, ses manières franches et sans apprêt prouvent qu'il a été très bien baptisé. On pourrait inférer d'une lettre de la princesse sa mère à son gouverneur, qui fut interceptée en Champagne et imprimée dans la correspondance des émigrés avec une orthographe fort négligée, figurée d'après l'original, que le Huron est un peu libertin et un grand vaurien; mais je suis disposé à croire qu'il ne l'est qu'autant qu'il convient à un bon Huron qui doit avoir le coeur inflammable, de l'être. Il a un talent décidé et très distingué en musique. Malheureusement, si le système jacobin triopmhe en Allemagne et réduit ce prince à l'état de simple Huron, il vaudrait mieux pour lui d'être bon cordonnier ou forgeron, que grand musicien, attendu que les beaux-arts sont aussi méprisés d'un siècle de ténèbres et de barbarie, que la culture de la raison.

On peut plaindre le duc de Brunswick d'être réduit à confier ses chagrins au jeune Huron; mais cette lettre est remarquable, en prouvant qu'il n'a nullement influé sur les opérations de la campagne de 1793, et que bien loin de les diriger, il n'a pas eu plus de crédit que tout autre commandant d'une des subdivisions par lesquelles l'armée prussienne s'est trouvée morcelée. Cette lettre est donc la preuve de tout ce que M. de Lambert pourra dire à Votre Majesté avec plus de détail, et de ce que je savais aussi d'ailleurs. Elle montre en trois lignes que l'inaction qui a suivi la prise de Mayence, a été la source de tous les malheurs de la campagne, et que cette inaction n'a pas eu l'attache du duc de Brunswick. Ce prince généralissime était alors réduit au commandement d'un corps de quinze mille hommes posté en avant, et ses bons amis se seraient sans doute consolés si les hordes de la convention régicide avaient pu lui faire quelque avanie un peu considérable. Il paraît que dans ce temps-là l'armée prussienne était effectivement commandée par le vertueux Manstein et par le plus que vertueux Lucchesini, qui rejetèrent la faute de l'inaction des armées sur l'indécision de la cour de Vienne. Le plus que vertueux ultramontain m'assura du moins, lors de son passage avec le Roi par Gotha pour se rendre en Pologne, que si la cour de Vienne l'eût voulu, l'armée prussienne aurait, immédiatement après la prise de Mayence, entrepris le siége de Saarlouis. D'autres

* personnes instruites m'ont assuré que la cour de Vienne ne perdit pas un instant après la reddition de Mayence, pour faire déclarer au Roi que se trouvant en personne à la tête de son armée, il devait rester le maître des opérations, et que tout ce qu'il jugerait à propos d'entreprendre serait approuvé par elle. Ces opérations se bornèrent alors à négocier successivement avec le prince de Waldeck envoyé de Vienne et avec le comte de Lehrbach, et à affaiblir l'armée du prince de Cobourg, au plus fort des opérations, en retirant le corps d'armée prussien des Pays-Bas et le réunissant à la grande armée, ce qui fournit le prétexte et le profit d'une inaction de près de deux mois. Quoi qu'il en soit, le duc de Brunswick ne commanda réellement l'armée prussienne que du moment où par d'autres intrigues ou pour d'autres projets, les vertueux parvinrent à déterminer le Roi au voyage de Pologne, et tous les connaisseurs en opérations militaires conviennent unanimement que le duc a déployé de grands talents dans cette fin de campagne défensive. Il a paru à ce sujet, vraisemblablement pas à son insu, une brochure remarquable, intitulée: Kurze Ueberſicht des Feldzugs im Jahr 1793 zwiſchen dem Rhein und der Saar. Aus dem Tagebuch eines bey der alliirten armée befindlichen engliſchen Officiers frey überſetzt. Je ne saurais me dispenser d'ajouter cette brochure à ma pancarte. J'ai si souvent dit et écrit ce qu'on y lit pour exorde, que je puis soutenir au besoin, que les huit premières pages sont de moi. Ce journal ne va que jusqu'à la fin de novembre, et s'arrête au premier décembre dont presque tous les jours ont été marqués par des combats; mais l'officier anglais ne se sera pas arrêté en si beau chemin, et j'attends la suite de son journal incessamment. Le duc lui-même fait ou a déjà fait un mémoire apologétique, j'ignore s'il est destiné à l'impression; mais je trouve que c'est une triste ressource pour un homme de son rang et de sa réputation, de publier ou de faire courir des plaidoyers. Depuis son retour dans sa résidence, il a envoyé à Berlin sa démission du service et de son régiment; le Roi ne l'a point acceptée et l'a au contraire invité à se rendre à Potsdam, où je le crois arrivé en ce moment. Je vois aussi par une lettre de Reinsberg, qu'il a fait des démarches pour se rapprocher du prince Henri, et que ces démarches ont été favorablement accueillies. C'est depuis le commencement du règne actuel, le premier rapprochement entre l'oncle et le neveu; il prouve que le malheur a besoin d'appui et cherche à s'accrocher. L'opposition, quand elle peut se fortifier, passe aisément aussi l'éponge sur les torts passés; mais à la place du Guelfe excommandant, j'aurais été trop fier pour me rallier à un parti d'opposition qui ne peut mener à rien, et je serais resté seul, comme un roc au milieu de la mer et de ses vagues impuissantes.

* On remarque que ce prince, toujours sourdement contrarié par les entours du Roi, et n'osant rompre en visière à la cabale, s'est déterminé à la retraite dans un moment où tout le monde s'est réuni à rendre justice à ses opérations. Il s'est flatté de sauve ainsi du naufrage au moins quelques lambeaux de sa haute réputation passée; mais il doit sentir trop vivement la différence de son départ de Brunswick en 1792 d'avec son retour en 1794, pour n'être pas au désespoir: cette plaie est inguérissable. Les gens instruits ne le rendront pas responsable de l'ouvrage des Rötherer privilégiés de la suite du Roi pendant la campagne de 1793, les militaires porteront aux nues ses talents déployés à la fin de cette campagne; mais rien ne rendra à sa réputation son premier lustre; mais la campagne de 1792 en Champagne restera avec tous ses détails inexplicable et enveloppée de ténèbres impénétrables. En un mot, le Guelfe partit de Brunswick en 1792, tenant dans ses mains la destinée non seulement de la France, mais de l'Europe entière. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Tous les coeurs payaient au héros du siècle d'avance un tribut de respect et d'admiration. On voyait le sauveur de la France, l'ange libérateur d'un roi malheureux et captif, l'arbitre des destinées de l'Europe s'avancer vers les rives du Rhin. Comment en revient-il aujourd'hui, au bout de dix-huit mois, dans ses foyers? par quelle fatalité se trouve-t-il rangé au nombre des hommes ordinaires? quelle influence sinistre l'a fait déchoir de ce sommet de la plus haute gloire auquel il est permis à si peu de mortels de monter? on se perd en conjectures, pour trouver les raisons d'un changement si subit et si surprenant, et elles sont souvent plus simples qu'on ne pense. Peut-être ébloui par l'éclat de sa destinée, enivré du pouvoir suprême sur toutes les forces de la coalition, de la distinction d'avoir sous ses ordres autrichiens et prussiens, et d'étendre son commandement jusqu'au pied des Alpes, oublia-t-il ou négligea-t-il de faire expliquer les cours sur des points très essentiels. Investi de leur confiance presque respectueuse, il était bien en droit, avant d'accepter ce commandement, de demander catégoriquement aux cours de Vienne et de Berlin, quels étaient le but et le plan soit politique soit militaire, de la campagne projetée. Après avoir examiné scrupuleusement si ce but était sage, s'il répondait à l'importance du plus grand objet dont il ait été question en Europe depuis l'invasion des barbares, il se devait encore à lui-même de voir si ce but pouvait s'accorder avec les intérêts de sa gloire et de sa réputation, et de refuser dans le cas contraire son nom et son concours à une entreprise équivoque et propre à ternir l'une et l'autre. Adoptant ensuite ce plan après mûr examen et se chargeant de son exécution, il devait s'assurer soigneusement si les moyens préparés pour

* son succès étaient suffisants et ne laissaient pas au hasard une infinité d'événements importants et décisifs. Enfin ces deux points éclaircis et réglés, et le plan ayant reçu la sanction irrévocable des cabinets, il devait exiger carte blanche et se rendre tellement maître des opérations, qu'il n'eût plus dépendu de personne à en déranger ou arrêter l'exécution avant la fin de la campagne. Et tout cela devenait encore parfaitement inutile, si le héros digne de si hautes destinées, n'avait pas le coup d'oeil de l'aigle du nord sur la nature et les suites de la révolution française, sur les dangers qui en résultaient pour l'Europe, parce qu'un esprit alambiqué de sophismes, entaché de la manie de négocier et de finasser, au lieu de porter des coups décisifs, suffisait pour envelopper le lion dans des filets inextricables et l'exposer impunément aux morsures et aux outrages des plus vils insectes.

Eh bien, lorsque le Guelfe partit de Brunswick en 1792, voilà comme j'avais conçu qu'il jugeait de l'état des affaires et qu'il avait pris ses mesures pour les rétablir. J'avais tant besoin d'un héros, d'un grand homme, d'un dieu qui se montrât pour le salut de l'Europe, que j'avais entièrement oublié ce que son oncle, le prince Henri, m'avait dit il y a plus de quinze ans, ce que d'autres m'avaient confirmé, et ce dont enfin j'avais cru m'être aperçu moi-même dans quelques occasions. C'est que ce Guelfe, de la valeur la plus brillante et la plus calme en face d'une batterie de canons, au plus fort de la mêlée, au milieu d'une grêle de balles, était dans le cabinet et vis-à-vis d'hommes qui, sous aucun rapport, n'étaient dignes de lui délier les souliers, d'une contenance si embarrassée, d'une poltronnerie, pour ne pas dire lâcheté, si incroyable qu'il ne savait plus que balbutier et faire des compliments qui manquaient presque toujours de justesse et de mesure. C'est sans doute à cette pusillanimité qu'il doit la réputation de duplicité et de fausseté dont on l'a longtemps généralement accusé. S'il n'était pas parti de Brunswick du pied gauche, ou si, arrivé à Coblence, il avait pu redresser cette fausse allure, l'Europe n'aurait pas été trompée dans ses espérances, le Roi et la Reine de France vivraient encore, je n'aurais pas été dépouillé et détroussé par les brigands régicides, le Guelfe n'aurait pas été réduit, depuis sa retraite de la Champagne, à un rôle secondaire dans l'armée dont il devait être le modérateur suprême, ni exposé aux coups de pied d'un vertueux Manstein ou aux coups de Jarnac d'un patelin de Lucques; de l'apothéose qui lui était destinée parmi les héros et les demi-dieux, bienfaiteurs du genre humain, il ne serait pas retombé dans la foule des hommes ordinaires, et ne courrait pas risque de mourir de chagrin, sans espérance de revivre dans la mémoire des hommes avec la gloire, l'idole des grands

* coeurs, qui lui était offerte par le suffrage unanime de son siècle dans une occasion telle qu'il ne s'en retrouve pas une pareille dans le cours de plusieurs, et qui lui a échappé, sans que nous sachions encore au juste par quel concours de fausses considérations, de fausses mesures, de fausses espérances, toutes nécessaires pour produire des malheurs si irréparables. C'est le cas de dire avec Voltaire:

«Pour les faibles mortels quelle haute leçon!»

Ce 17 (28) février. Nouvelles.

Le prince Louis Huron dont j'ai eu occasion de parler dans cette pancarte, sans me douter que j'aurais sitôt l'honneur de le revoir, arriva ici avant-hier à l'improviste de l'armée, pour aller faire une courte visite à papa et maman avant l'ouverture de la campagne. J'ai vu une lettre de Francfort qui disait que ce prince s'étant présenté chez le maréchal de Moellendorf en cheveux courts sans queue, ce chef rigide observateur des ordonnances, lui en avait marqué son étonnement, lui avait représenté que la valeur n'était pas la seule qualité nécessaire à un prince, mais qu'il devait encore servir d'exemple à toute l'armée, en se conformant rigoureusement à tout ce que la discipline prescrit sur la tenue; que son oncle, le grand Frédéric, n'aurait pas reconnu dans la sienne un de ses généraux, et que pour y avoir manqué, il conseillait à son Altesse Royale d'aller passer quelques semaines à Berlin. Que cette nouvelle soit vraie ou fausse, le prince Huron nous a donné deux jours de ce peu de semaines; il a déployé ses talents en musique dans une cour où cet art n'est point du tout en honneur, et il n'est reparti que ce matin pour continuer son pélerinage de pénitent.

Une lettre de son oncle, le prince Henri, qui m'arrive en ce moment, finit par ce mots: «On m'assure très positivement que la guerre est décidée «entre la Russie et la Porte; vous devez, mon cher ami, le savoir mieux que «personne. M. de Meilhan cherche dans ma petite bibliothèque et y a trouvé «à peu près tout ce qu'il lui faut pour composer un discours préliminaire «savant et très bien fait pour l'histoire de Russie. Voilà à quoi se borne «aujourd'hui ma lettre».

Et voilà, Madame, à quoi se bornent mes nouvelles. Je ne puis que savoir un gré infini au prince de la persuasion où il est, que cette guerre ne peut pas s'être décidée à mon insu. Il est cependant certain que ni M. le général de Koutouzov, ni le Grand-Visir, ni le Reis Effendi n'a fait son devoir et que je n'ai encore reçu aucun raport officiel sur les affaires de coeur entre mon auguste Souveraine et la Sublime Porte.

* Une autre lettre en miniature qui m'arrive de mon saint de Ham, m'apprend que M. d'Avaray est de retour du séjour de la gloire dans ce séjour de longues et de cruelles épreuves, et lui a apporté des dépêches de sa cour, dans lesquelles il a trouvé une lettre de l'objet auguste de mon culte pour celui qui n'existe depuis plus de vingt ans que par ses bienfaits. A cette nouvelle, une chaleur douce me parcourt subitement toutes les veines, la reconnaissance me gonfle le coeur et humecte mes yeux, et les ténèbres de mon réduit solitaire s'éclaircissent et se dissipent. Voilà le miracle de la simple certitude que l'immortelle ne sait oublier ni perdre de vue celui qui met sa confiance en elle. Que sera-ce donc quand je tiendrai ce gage précieux entre mes mains? Mon saint me mande qu'il se trouvera bientôt dans le cas d'expédier un courrier à Votre Majesté, et que ne pouvant confier à la poste la lettre dont il est dépositaire, il me la fera remettre par ce courrier, qui prendra en même temps mes paquets. Je vais donc vivre d'espérance; c'est de toutes les manières de vivre la plus heureuse. A chaque coup de cornet de postillon, dans cette ville où le passage des postes et estafettes ne discontinue ni jour ni nuit, je dresserai les oreilles, le coeur me battra, et je croirai que le bienfait de l'immortelle approche. Mais comme il ne me sera pas loisible de retarder le courrier de Ham dans sa marche au delà de quelques moments, je vais dès à présent terminer et fermer cette pancarte, et préparer mes autres paquets, afin que je ne fasse pas froncer le sourcil à celui à qui je devrai un si grand bienfait, en le retenant quelques minutes au delà du temps qu'il me destine. Mais voici une réflexion pénible qui se présente. C'est que je ne pourrai pas répondre par lui à la lettre dont il sera porteur. Je ne pourrai pas même me permettre de l'ouvrir en sa présence. Briser ce cachet n'est pas là une de ces actions indifférentes où la présence d'un tiers puisse être admise. Elle veut de la solitude; elle est accompagnée de tant de cérémonies religieuses qu'elle exclut tout regard profane. Ce n'est donc que lorsque ce courrier aura déjà repris sa route, que je pourrai procéder à la cérémonie de l'ouverture, et ce n'est pas là un moyen de guérison ni de soulagement de ma maladie habituelle qui consiste en deux transes se succèdant et se relevant l'une l'autre: la première, c'est qu'il ne vienne plus de messager de l'immortelle frapper à ma porte; la seconde, c'est qu'il ne se présente plus de rédempteur pour porter mes pancartes au pied de son trône. Cette maladie est d'autant moins digne de compassion qu'elle est en contraction manifeste avec la confiance illimitée que j'ai dans la miséricorde sans bornes qui me conserve si généreusement la vie. Ce serait un tour digne d'un croyant de ma force que de répondre à cette lettre dont l'attente m'a déjà fait faire

* tant de soubresauts sur ma chaise depuis cinq où six heures que je la sais à Ham; je dis, d'y répondre, avant de l'avoir reçue, afin que ma réponse pût être confiée au porteur sans le retarder un instant. Dans les temps de ma prospérité passée j'aurais peut-être tenté un tour de cette force avec succès; mais dans ces temps de calamité où chaque jour apporte la nouvelle de désastres et de crimes qui se succèdent avec une incroyable rapidité, on perd jusqu'au souvenir de ses forces et de son courage.

Je vais donc fermer cette pancarte, en y ajoutant le fragment d'une lettre de milord Findlater, qui mettra Votre Majesté au fait de tous les dons que le noble lord écossais me charge de lui présenter, et qui n'attendent que le courrier de Ham pour aller à leur glorieuse destination. Il s'agit pour les menus plaisirs du pair d'Ecosse, de l'érection d'une nouvelle capitale à l'autre bout de l'empire, et comme il l'a déjà baptisée Ecarterinople, il est évident que le plus fort est fait et qu'il n'y a qu'à achever. Il est vrai que sa seigneurie perd un peu de vue qu'il existe déjà dans ces contrées un Ecaterinoslav, ou bien elle pense que tous les slav, gorod, nople ou pol doivent désormais porter en tête ce nom glorieux et salutifere. Quoi qu'il en soit, milord n'a pas assez vécu au milieu des gens de Grimma pour se douter de la tête hétéroclite de leur auguste Souveraine. Il croit que pour guider ses vastes conceptions dans l'ordonnance d'une capitale, il faut lui fournir des plans d'architecture. Il est loin de se douter que c'est dans les Loges de Raphaël qu'elle cherche et qu'elle trouve sa science de gouvernement, et qu'il est très possible qu'elle trouve dans ses vieilles chroniques qui sont chez elle à la mode depuis quelque temps, ses plans d'architecture. Ce bon pair ne sait pas, comme le souffre-douleur, que l'orbite de la comète la plus excentrique n'est pas aussi difficile à calculer que l'allure habituelle de cette tête. Mais ses largesses sont faites, ses plans sont entre mes mains; il faut qu'ils partent. Je ne me réserve que l'estampe du tableau du chevalier Reynolds, parce qu'elle m'est destinée. Je remarque que dans l'Histoire générale de la Navigation intérieure, ouvrage qui jouit d'une haute réputation, Monsieur Alexandre trouvera tout le chapitre troisième consacré aux canaux de Russie. J'ignore si les vues sur l'administration des finances de la France sont de M. de Meilhan; si j'ai le temps de les lire, j'aurai aussi un avis là-dessus. Au reste, milord a mis un si grand soin à river les cloux de la caisse qu'il m'a envoyée, que ce pauvre M. de Meilhan, si toute fois il est le papa de ces vues, a pensé en être percé outre en outre. Si Votre Majesté trouve dans Montesquieu ou dans Blackstone quelque idée d'embellissement ou d'agrandissement pour Ecaterinople, j'espère qu'elle me chargera d'en faire part à milord. De tous ceux que l'Impéra-

* trice peut charger de commissions, son souffre-douleur est celui qui est le plus sous sa main: car en quel instant de la journée qu'elle en veuille disposer, elle le trouvera infailliblement à ses pieds.

A Grimma-Gotha, ce 20 février (3 mars) 1794.

Madame,

Plus je réfléchis sur le bienfait dont il a plu à Votre Majesté Impériale de me combler après la confiscation et le pillage dont les hordes régicides se sont rendues coupables, moins encore envers moi, qu'envers le droit des gens respecté même chez les barbares, plus je crois devoir me rappeler que les immortels ne manifestent leur volonté que par des faits dont ils laissent aux faibles mortels le soin de démêler les intentions, et que leurs oracles sous un sens apparent présentent presque toujours encore un sens caché. Ils veulent qu'on les devine, et qu'on s'explique les motifs, surtout de leurs grâces et bienfaits, afin de les employer dignement. De toutes les qualités que l'immortelle a de commun avec les puissances invisibles qui gouvernent l'univers, ce désir d'être devinée est une des premières qui m'ait frappé en elle, lorsque la faveur du sort m'approcha de son trône il y a vingt ans, et que ses regards daignèrent s'arrêter sur moi. Je m'aperçus bientôt que ce que la puissance a d'imposant et de redoutable, elle aimait à le voiler; que pouvant commander purement et simplement, elle cherchait à conserver à celui qui dépendait de ses ordres, le mérite de les démêler, et de lui faire, pour ainsi dire, une offrande libre de ses devoirs. Cette délicatesse si étrangère aux puissances de la terre, cette habitude d'envelopper d'un nuage léger ses volontés et de n'en laisser entrevoir qu'une trace passagère, s'attirèrent mon premier hommage de surprise, d'admiration et d'attendrissement; ma première étude fut de chercher à pénétrer le sens de ses oracles, et ma présomption ne tarda pas à me persuader que j'avait fait quelques progrès dans cette science que je ne croyais pas à portée de tout le monde. Une des plus douloureuses circonstanccs de mon exil, c'est de ne plus lire dans sa pensée à travers ses regards si perçants, si doux, si majestueux; c'est qu'il ait fallu renoncer à cette étude, et tandis que le fantôme de son image auguste voltige sans cesse devant mes yeux, me résigner à ne plus rien entendre de ce dont la méditation faisait l'orgueil et le bonheur de ma vie.

La rosée du ciel n'étant pas plus universelle que sa bienfaisance, cette méditation est surtout nécessaire à l'étude de ses dons et de ses grâces.

* Il est donc bien naturel qu'accablé par un bienfait inattendu, je me sois demandé quelle en doit être la destination, et voici à peu près le soliloque que cette question a fait naître. L'immortelle ne peut ignorer que des appointements si généreusement et si gratuitement accordés il y a près de dix-sept ans, me garantissent suffisamment de la misère à laquelle la spoliation violente que j'ai éprouvée m'aurait réduit: un homme à la fin de sa carrière qui, jouissant de ce bienfait, aurait encore besoin de secours, n'en serait pas digne. Sa bonté suprême n'a donc pu avoir en vue que cette Emilie et ses enfants dont c'est la destinée de n'avoir plus d'autre appui au monde que moi. Cette famille infortunée et innocente lui devait avant la révolution tout jusqu'à son existence; elle n'a pas voulu en détourner ses regards miséricordieux, lorsque cette atroce révolution non-seulement l'a inhumainement dépouillée de son patrimoine et de tout ce qu'elle possédait au monde, mais vient de lui porter le dernier coup de massue, en s'emparant aussi de mon bien et lui enlevant ainsi la dernière faible ressource qui devait du moins la préserver de l'indigence absolue. Après ce soliloque, Madame, l'emploi de cette dernière remise n'était plus douteux pour moi. Le don de six mille roubles fait par la munificence de Votre Majesté Impériale à Emilie il y a dix-huit mois, et expressément confirmé l'été dernier, avait déjà réparé en grande partie la brèche que les fuites précipitées et tous les cruels malheurs de la fin de l'année 1792 avaient faite à ma bourse, unique pourvoyeuse à tous ces besoins. Il ne m'a plus fallu distraire qu'une petite portion de la nouvelle remise, pour boucher entièrement ce trou fatal, et j'ai songé à placer le reste, c'est-à-dire, la plus grande partie de cette remise, afin de recommencer à reconstruire un édifice de fortune quelconque pour une famille réduite, ainsi que toute la noblesse de France, au dernier terme de la misère humaine.

La totalité des trois traites sur Amsterdam montant ensemble à vingt-sept mille roubles a produit la somme de 33.170 florins 23 kreuzer courant de Francfort. J'ai pensé qu'il n'y en avait pas de meilleur ni de plus sûr emploi à faire que de prêter à Votre Majesté son propre argent, et de placer dans les emprunts de la Russie ouverts en Hollande, les bienfaits que je tenais de la bonté suprême de l'Impératrice. Les intérêts qui en résulteront, allégeront un peu le fardeau de la dépense indispensable, et le capital pourra être conservé. Plût à Dieu que j'eusse constamment fait cet emploi des bienfaits antérieurs de Votre Majesté, au lieu de les confier à l'infortuné Louis XVI! Les brigands ne m'auraient pas tout enlevé, et une partie considérable de ma fortune eût été soustraite à leurs mains rapaces. Mais le peu de temps que j'ai eu toute ma vie à donner à mes affaires d'intérêt,

* m'obligeait de les garder près de moi et sous mes yeux, afin de me préserver de toute correspondance mercantile ou financière; l'imprévoyance du renversement total et subit d'une puissante et florissante monarchie, était d'ailleurs plus que suffisante pour endormir un homme si peu propre aux spéculations d'intérêt, sur le cratère du volcan qui devait l'engloutir.

La suprême bienfaisance ne se borne pas à ce don si généreux; elle m'annonce pour le courant de cette année un bienfait bien plus considérable encore. N'est-ce pas là une preuve manifeste que le rôle que sa bonté m'impose, est celui d'administrateur et de conservateur d'un bien confié à mes soins? Ici l'immortelle laisse cependant deviner un peu davantage ses intentions bienfaisantes, en m'insinuant que ce don pourrait servir à l'acquisition d'une maison de ville ou de campagne à Vienne. Je dois regarder cette indication comme un passe-port qu'elle m'accorde pour cette capitale. Effectivement j'ai tourné mes pensées errantes plus d'une fois de ce côté-là. Le principal motif en était que je m'y voyais continuellement à portée des messagers de l'immortelle, et que toutes les fois qu'il lui plairait de me rendre à la vie par quelques lignes, gage de sa bonté suprême, l'occasion s'en trouverait sans cesse sous sa main. Mais cette considération si essentielle au soutien de ma vie, ne doit pas me fermer les yeux sur les inconvénients attachés à un projet d'établissement permanent à Vienne. J'oublie pour le moment les craintes que j'ai osé manifester à Votre Majesté à la fin de l'année dernière, sur les dangers qui peuvent menacer et envelopper, d'un moment à l'autre, tout l'empire germanique et toutes les monarchies dont il se compose, dans le renversement de l'ordre social, ce qui ne rendrait pas ce moment bien propice à l'acquisition d'une maison exposée dans cette supposition à devenir la proie de ces féroces brigands que l'enfer a vomis sur le sol naguère fortuné de la France. Je sais autant qu'un autre, combien ces craintes seraient chimériques, si l'on voulait, combien on les ferait disparaître vîte avec toute la horde des bêtes féroces qu'on a laissé pulluler au centre de l'Europe avec une incurie sans exemple; mais puisque l'intérêt le plus pressant, le plus général, le plus uniforme n'a pu sincèrement réunir ceux à qui le sort des nations est confié, dans l'emploi des mesures simples, efficaces et décisives pour exterminer ces monstres, qui donc peut nous assurer qu'on ne continuera pas à jouer avec eux, jusqu'à ce qu'ils nous aient dévorés?

Mais quand, à ma grande consolation, on m'obligerait de reléguer ces craintes dans la région des fantômes d'un cerveau malade, il resterait encore bien des réflexions à faire, avant de se déterminer à l'acquisition d'une maison à Vienne ou dans ses environs. Elle donnerait, il est vrai, une ha-

* bitation gratuite, mais ne donnerait pas de quoi vivre dans une capitale toujours très chère pour les fortunes modestes et bornées, dans un pays chargé de beaucoup d'impôts, où par conséquent il n'est pas aisé de vivre de peu. Si j'étais seul, j'y vivoterais sans doute, et même agréablement; mais joignant avec bien de la peine les deux bouts de l'année à Gotha, en soutenant le petit ménage de mes pauvres pupilles, il serait insensé de vouloir le transplanter à Vienne avec la certitude de n'y pouvoir pas subsister. Tant que je resterai leur seul, quoique frêle appui, leur unique pourvoyeur, une acquisition quelconque dans un pays qu'ils ne seraient pas en état d'habiter, absorberait, sans aucun avantage pour eux, le bienfait inattendu de l'immortelle, la dernière ressource que j'aie à leur offrir. Leur avenir est tellement effrayant, que tout le baume que la bonté souveraine daigne verser sur moi, c'est sur eux que ma compassion doit le détourner. La destinée m'a donc placé entre deux écueils, entre l'alternative de me consumer ici, surtout si, comme le cours des affaires semble le présager, le passage des courriers de Votre Majesté venait à cesser, ou en m'éloignant de ma couvée, même pour peu de temps, de faire quelque dépense qui ne tourne pas à son avantage immédiat. S'il était permis de songer à une acquisition pour ces infortunés, c'est en Suisse qu'il faudrait chercher une humble et modeste cabane, parce qu'en l'habitant avec eux, il me resterait peut-être encore de quoi leur y donner du pain et du lait; mais, heureusement pour mon salut, ce parti héroïque, en m'ensévelissant tout vivant, et m'écartant entièrement de la route des messagers de l'immortelle, me réduisant ainsi à l'impossibilité de recevoir les nouvelles essentielles au soutien de ma vie, n'est pas praticable en ce moment. La Suisse, en se réunissant aux puissances coalisées, portait peut-être le coup mortel à l'hydre régicide; elle n'en a rien fait. Aucun pays n'avait des injures aussi sanglantes et aussi atroces à venger qu'elle; mais dégénérée, comme toutes les nations vieillies et pourries de l'Europe, de la vertu et de l'énergie de ses ancêtres, n'éprouvant plus ce ressentiment fier et redoutable des grandes âmes, ni cette haine vigoureuse qui punit le crime et l'insulte; tout en abhorrant la république des sans-culotte, et sans vouloir la reconnaître formellement, elle a la faiblesse d'embrasser le parti de la neutralité à l'égard de ces bandits, et même de négocier avec eux et de souffrir un de leurs agents au milieu d'elle. C'est prendre de tous les partis le plus mauvais. Les jacobins, à qui cette neutralité est si indispensable en ce moment, cajolent beaucoup les cantons, les traitent avec une prédilection marquée, mais n'oublieront pas pour cela la non-reconnaissance; et si leur horrible existence peut se prolonger, si l'édifiante désharmonie entre les puissances coalisées peut leur procurer encore

* quelque succès sur le Rhin ou du côté de l'Italie, ils se souviendront enfin qu'ils sont maîtres de Genève et de Porentru, des deux clefs que la Suisse leur a laissé prendre sans sourciller, c'est sur cet asile de la paix et de la tranquillité que ces oiseaux de proie fondront les premiers, et le pays de Vaud, depuis si longtemps convoité par eux, éprouverait, avant tous les autres, la bénigne influence de la liberté et de l'égalité des tigres. L'imprudence qu'il y aurait de poser son tabernacle à deux pas d'un volcan dévastateur qui, tant qu'il n'est pas éteint, peut engloutir, d'un moment à l'autre, tout ce qui se trouve à sa proximité, est trop évidente pour chercher en ce moment un asile en Suisse. La fin de cette année produira vraisemblablement un dénouement quelconque de cette crise fatale. Si, avant cette époque, de nouveaux bienfaits doivent fondre sur moi de cette source intarissable, je continuerai à prêter à ma suprême bienfaitrice son propre argent, et je le placerai dans les emprunts de l'empire de Russie ouverts en Hollande, jusqu'à ce que le sort de l'Europe soit définitivement décidé.

Mais puisque j'ai toujours pu ouvrir mon coeur à mon auguste Souveraine, et que celui qui n'a plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien à dissimuler, je ne dois pas cacher que ce coeur en proie à de continuelles angoisses, ne goûtera plus un instant de repos sur cette terre de malédiction, tant que je n'aurai pas entrevu un asile assuré à cette famille infortunée dont je suis entouré depuis plus de deux ans. Le dénouement le plus effrayant qui les attend après moi, me fait continuellement enfanter mille projets pour leur salut, presqu'aussitôt détruits que conçus. Le rétablissement de la noblesse française dans sa patrie et dans son patrimoine devient de jour en jour, d'heure en heure, plus problématique. Je fais des voeux bien sincères pour que celles d'entre les puissances qui ont cru pouvoir la traiter avec tant d'indifférence, pour employer le terme le plus doux, n'aient jamais à se repentir de la faute qu'elles ont faite. Dans cette déplorable extrémité que me reste-t-il à faire si ce n'est de me tourner vers ce trône éclatant que la sagesse et la bonté ont posé sur des bases inébranlables, de déposer sur ses degrés mon testament de mort, et comme un autre Eudamidas, de léguer à Votre Majesté Impériale les enfants dont le sort par une fatalité inconcevable m'a abandonné la destinée?

Je lui lègue d'abord le père. Dépouillé de son patrimoine, du bien de sa femme, de tous les bienfaits de Votre Majesté pour leur établissement, il ne lui reste rien sur la terre. Le comte de Bueil, d'un caractère tranquille et doux, timide à l'excès, ce qui dans le monde lui donne avec un maintien embarrassé tous les désavantages possibles, est né sans ambition. Il ne faut pas le chercher parmi les hommes capables de prendre la lune avec les

dents, à moins que ce ne soit le croissant placé sur Sainte-Sophie. Ne désirant rien avant la révolution, il rendait sa femme et ses enfants parfaitement heureux. Possesseur de trois jolies terres dans la même province, avec l'espérance d'en hériter encore deux au moins, il se livrait à la seule passion qu'il avait apportée au monde, celle de s'occuper de leur administration et de leur amélioration; il suivait néanmoins la carrière militaire avec un zèle qui n'était pas outré, mais suffisant pour n'y pas rester en arrière. Ses pertes ont dû lui être d'autant plus cruelles, qu'avec toutes les ressources pour exister, il perdait encore la seule occupation qui eût de l'intérêt et de l'attrait pour lui; malgré cela il a supporté son dépouillement avec une fermeté et une douceur inaltérables. Il est vrai que ce sort lui étant commun avec tous ceux qui sont restés fidèles à l'honneur et à leurs devoirs, il faudrait être courageux pour oser se plaindre au milieu de tant de victimes illustres. Je ne dois cesser de rappeler à Votre Majesté que, par sa permission expresse, le comte de Bueil porte l'uniforme russe depuis le commencement de la campagne de 1792. Votre Majesté y donna son agrément, parce que le prince de Nassau l'avait mis alors au nombre de ses aides de camp. Il est vrai que ce prince s'étant mis lui-même dès le commencement de la campagne, pour ainsi dire, dans la suite du Roi de Prusse, confina ses aides de camp, à l'exception de deux, au milieu des émigrés qui furent traînés à la suite de l'armée prussienne, et souvent avec leurs chefs, les princes de France, singulièrement exposés, tandis qu'on les laissait sans munitions de guerre. Si cela fournit au comte de Bueil l'occasion de faire la plus rude campagne qu'il fera de sa vie, l'uniforme qu'il portait le préserva du moins des hauteurs que les officiers prussiens se permettaient à l'égard des émigrés, et qui étaient plus difficiles à supporter que tous les autres malheurs de l'émigration. Après la dispersion de la noblesse française à la suite de cette malheureuse campagne, il devint plus que jamais nécessaire au comte de Bueil, puisque dans aucune ville d'Allemagne on ne souffrait un émigré plus de 24 heures et qu'ici même il n'aurait pu être reçu avec sa famille que parce qu'on a regardé le père et la mère comme attachés au service de Votre Majesté Impériale. Ainsi ce glorieux uniforme et le chiffre de Votre Majesté ont été partout un signe de salut pour mes pauvres fugitifs, et le seraient encore s'il fallait changer de résidence; mais si l'on ne quitte pas un tel privilége avant qu'il ait été expressément retiré, il y a toutefois dans cette jouissance quelque chose d'irrégulier qui me tourmente, et je dois supplier mon auguste Souveraine de ne point oublier ce point, si elle daigne s'expliquer sur le sort de ces infortunés.

Je lui lègue ensuite cette Emilie qui lui doit tout depuis qu'elle existe.

* La révolution de France a été trop imprévue, trop violente, trop au-dessus de ses forces, pour ne la pas briser. Sa santé en a été détruite, et lorsque je pris le parti, il y a quinze mois, de l'emballer avec ses enfants pour Gotha, elle pensa rester en chemin, et y arriva mourante. La tranquillité de ce séjour l'a un peu remise, et jamais elle n'aurait soutenu ailleurs ni les assassinats successifs du Roi et de la Reine, ni les soucis dévorants dont son imagination est naturellement obsédée. L'idée de l'envoyer avec ses enfants au pied du trône de son auguste bienfaitrice, a dû quelquefois se présenter à mon esprit. Je me flatte alors que sa douceur, son air simple et naturel, sa modestie, sa discrétion, tout jusqu'à sa timidité et à ses malheurs, lui ferait trouver grâce devant ce trône glorieux. Il est dans l'ordre de s'attacher à ses bienfaits. L'immortelle lui dirait peut-être: Depuis douze ans que tu portes mon chiffre, je n'ai cessé de te protéger, de te combler de biens; mais je ne sais regretter des bienfaits ainsi placés, et je ne retirerai pas ma main de dessus toi. Quelquefois je porte ma confiance et je pousse la rêverie jusqu'à la placer auprès d'une ou de deux des jeunes Grandes-Duchesses, et à me persuader qu'elle justifierait dans une telle place le choix de son auguste protectrice par sa conduite. Pour me confirmer dans cette illusion, je me dis: Emilie n'a que 26 ans, mais depuis qu'elle existe, elle a toujours été raisonnable, sensée et réfléchie, c'est sa qualité dominante; depuis huit ans qu'elle est mariée et dans le monde et sa maîtresse, sa conduite a toujours été uniformément bonne et sage, et pendant la prospérité des premières années, et dans l'adversité subséquente; dans l'une et l'autre de ces positions, elle s'est toujours concilié une estime générale, on l'a toujours trouvée intéressante; je n'ai donc pas si mal placé l'intérêt qu'elle m'inspire depuis qu'elle existe. A ces projets hardis de l'envoyer en Russie avec armes et bagages, c'est à dire avec mari et enfants, succède bientôt le découragement. Mille difficultés se présentent contre ce voyage, et ce qui devrait les aplanir, augmente ma perplexité. Votre Majesté a peut-être daigné jeter les yeux sur deux lettres de la princesse Prascovia Andrevna Galitsine que j'ai osé lui envoyer. Elle y a vu un modèle de l'amitié la plus tendre et la plus parfaite. Qui peut engager cette aimable princesse à conserver un souvenir si vif et si touchant de la compagne de son enfance, dont elle s'était séparée à l'âge de douze ans, et au milieu de toutes les faveurs de la fortune, de toutes les jouissances de la situation la plus brillante à compâtir avec cette noble générosité à son infortune? Ces sortes de phénomènes, je ne les ai remarqués qu'en Russie. C'est là où je vis jadis le modèle de l'amour filial; c'est dans cette terre hospitalière que je retrouve aujourd'hui le modèle d'une amitié si vraie, si délicate, si simple, qu'en offrant

* les services les plus essentiels comme on offre un souper, elle ne croit faire que ce que tout le monde ferait à sa place. Mais si de telles offres pénètrent jusqu'au fond du coeur, et y laissent un sentiment ineffaçable, elles ne présentent à l'esprit que difficultés et regrets. Ma pauvre pupille dépouillée de tout, sans aucune perspective ni prochaine ni même éloignée peut-être, de rentrer dans son bien, pourrait, à toute rigueur, s'établir en arrivant avec son mari et ses enfants dans un asile offert avec tant de grâce et une sensibilité si touchante; mais cet asile ne pourrait jamais lui servir ni de retraite permanente, ni de ressource contre tous les besoins de la vie. Quand, par un dernier effort, j'aurais réussi à économiser sur mon courant la dépense qu'entraînerait un voyage si long, le séjour dans la cour la plus brillante, la plus magnifique de l'Europe, la cherté naturelle de ce séjour ont dû m'effrayer et dissiper l'illusion de tous mes rêves.

Ainsi, après m'être abandonné à tous les prestiges de l'imagination, je me retrouve au bout de mon voyage avec toutes mes angoisses et mes soucis cuisants, et le legs que je viens de faire à l'immortelle reste mon unique espérance dans cet abîme de douleurs. A ce legs il faut encore que j'ajoute celui de trois enfants, le seul bien qui reste à Emilie. Partout où l'émigration les a fait errer, ils se sont fait remarquer par leurs grâces et les dispositions qu'ils annoncent, et depuis que dans ce séjour paisible on a pu s'occuper de leur éducation, leurs progrès surprennent tout le monde. Katinka, la filleule de Votre Majesté, est dans sa huitième année. Sa pénétration, la justesse de son esprit, son agilité, la facilité incroyable de tout faire, de tout apprendre, malgré la plus extrême vivacité, lui ont déjà fait une réputation. Il est singulier que depuis Paris jusqu'à Gotha, quand on a su son nom, tout le monde ait toujours dit uniformément. Ah, c'est tout simple; la filleule d'une telle marraine doit s'annocer ainsi. Son frère qui partage avec elle la gloire d'être filleul de cette auguste marraine et que nous nommons M. Catau, ayant eu l'insolence de venir au monde le même jour que Monsieur Alexandre, aura atteint sa septième année à l'anniversaire de ce jour mémorable. Les bienfaits de Votre Majesté nous ont mis en état de l'établir depuis six mois à Schnepfenthal, célèbre institut, à trois lieues de Gotha, malgré la cherté de la pension. L'éducation physique surtout y est parfaite. La seule consolation qui reste à ses parents, la seule illusion qui puisse les tromper sur leur misère, c'est de le consacrer dès son enfance au service militaire de son auguste marraine, et si Votre Majesté daigne ratifier cette consécration, pourquoi n'aspirerait-il pas, après avoir reçu la première trempe du corps et de l'esprit à Schnepfenthal, au bonheur d'achever son éducation dans un de ces établissements glorieux qui

* avec d'autres monuments innombrables déposent de la grandeur des vues d'un règne à qui rien ne peut être comparé dans les fastes de l'humanité? Adèle, leur soeur cadette, est dans la quatrième année de son âge. Elle annonce également les plus heureuses dispositions, et si son âge ne lui permet pas de déployer encore le génie de Katinka, elle se contente en attendant de la réputation d'être la plus aimable créature du monde. Grâces aux bienfaits de Votre Majesté qu'elle aime avec passion sans avoir le bonheur d'être sa filleule, nous avons pu la faire inoculer il y a six mois, et lui assurer la beauté dont elle est menacée, en quoi sa soeur aura en elle une très dangereuse rivale, ses yeux ayant la vocation la plus décidée, au jugegement de tous les connaisseurs, pour faire les plus grands ravages.

Voilà, Madame, mon testament et ce que je puis léguer à Votre Majesté Impériale. Je comptais laisser après moi à Emilie environ vingt mille livres, c'est-à-dire, de quatre à cinq mille roubles de rente, et je me félicitais en secret de l'avoir ainsi garantie de la misère et mise en état d'exister dans quelque coin de la terre à l'abri de l'indigence absolue, si le malheur de la noblesse française était arrêté sans retour. Les brigands qui se sont emparés de sa patrie, viennent de lui enlever cette dernière ressource. Ils ont également pillé le legs que je destinais à Votre Majesté, et n'ayant plus rien au monde, je ne puis le remplacer que par celui que je fais ici à mon auguste Souveraine. Si elle daigne l'accepter de mon vivant, elle me rendra la faculté de respirer librement, et de même que les jours les plus beaux, les plus glorieux de ma vie, ont été son ouvrage, je lui devrai encore le bonheur de les terminer paisiblement. Ce n'est pas une fortune que je demande pour ces infortunés, mais la certitude qu'ils ne resteront pas abandonnés au désespoir et à toutes les extrémités de la misère humaine. Si avec la faculté de servir Votre Majesté, le père obtenait de la munificence impériale quelque portion de terre à faire valoir, j'oserais bien me flatter que ce n'est pas à lui, mais à ses enfants que la propriété en serait accordée, à sa femme la jouissance et à lui l'administration. Mais que l'immortelle daigne prononcer sur le sort d'Emilie, et quelque soit son arrêt, qu'il dise: Envoyez-la moi, ou bien: Ne l'envoyez pas en Russie, je le recevrai avec respect et reconnaissance, parce que le premier de tous les bonheurs pour moi, est la certitude de ne rien faire contre sa volonté. Si après avoir prononcé cet arrêt et m'avoir délivré du tourment de ma vie, sa suprême bonté daignait aussi me fixer mon asile, soit à Vienne, soit dans quelque coin d'Allemagne ou d'Italie, soit en Suisse, en Hollande, dans les Pays-Bas, dans quelque coin de la terre que ce fût, j'y irais achever ma vie avec joie, en

* me disant: J'y suis par la volonté de l'immortelle, elle le sait, elle ne m'y oubliera pas, tant que j'existerai encore.

Ce 20 (31) mars.

Le 1 (12) de ce mois, à cinq heures du matin, M. de Nolken, courrier de Votre Majesté Impériale, arrivant de Ham, entra chez moi. Il me remit d'abord sous l'enveloppe de mon saint ce paquet, ce gage précieux de ma vie que je savais arrivé à Ham; mais aussi, comme je l'avais prévu, il ne m'accorda pas le loisir de l'ouvrir, et je n'en étais pas même tenté en sa présence. Je ne le gardai pas au delà d'un quart d'heure, et mes paquets étant prêts, je n'avais que la pancarte à cacheter et à lui remettre. Je suis dans le cas de demander mille pardons à Votre Majesté des lignes que je griffonnai en présence de M. de Nolken pour ajouter à cette pancarte. Elles ne pouvaient pas être dépourvues de sentiment, cela est impossible; mais elles l'étaient à peu près de sens, et aussi inintelligibles qu'inlisibles. J'étais malade depuis trois jours lorsque M. de Nolken vint faire son apparition, et pour comble de contrariété, la plume que je trouvai sous ma main me refusa le service. Je n'eus pas même le temps d'ajouter à ma pancarte la facture des paquets qu'il emporta; Votre Majesté la trouvera ici, et je ne doute pas que le tout ne soit arrivé à sa glorieuse destination. Depuis ce passage jusqu'à ce moment j'ai été occupé à payer le tribut de la saison, et je ne suis venu à bout d'une fièvre de printemps que depuis deux jours. La panacée dont M. de Nolken était porteur, a été plus que suffisante pour me guérir efficacement sans autre médecin. Je l'ai dévorée pendant tout le temps que cette fièvre a duré, et actuellement que je puis reprendre la plume, je vais mettre une nouvelle pancarte sur le métier, sans perte de temps, pour dûment contrôler celle que je tiens de la suprême bienfaisance. La seule incommodité qui me reste de la maladie que je viens d'essuyer, c'est une inquiétude sourde qui me travaille et qui vient de ma foi peu robuste. Or la foi est un pur don du ciel; avec elle on peut transporter des montagnes, comme tout le monde sait, mais on ne peut se la donner. La mienne naturellement chancelante, ne cesse de me rembrunir l'imagination, en me persuadant que de longtemps, de plusieurs mois, de tout l'été peut-être, il ne se trouvera une occasion pour déposer mes pancartes au pied du trône de la gloire, et alors le découragement qui s'empare de moi ne ressemble pas mal à un désespoir total. En voici déjà une qui attend un rédempteur depuis un mois environ, sans aucune espérance. Je la garderai encore huit ou dix jours, et, comme il n'est que trop à craindre que le ciel

* ne reste inexorable, je la confierai alors à mes protecteurs, les successeurs de Bacchus; mais telle est mon ingratitude que je ne regarde leur protection que comme un pis-aller pour un cas quelquefois pressé et imprévu, mais nullement comme une ressource propre à soulager mon pauvre coeur, et à laisser errer ma plume vagabonde au gré de ses caprices.

Je dois, Madame, me flatter qu'immédiatement après l'expédition de cette panacée bienfaisante qui vient de me guérir et à laquelle le sceau impérial a été apposé le 13 janvier dernier, Votre Majesté n'aura pas tardé à être instruite de la réception exacte des trois traites confiées à mes protecteurs pis-aller, à leur insu. Tout ce qui me vient d'eux est d'un tel prix pour moi, que sans prévoir à quoi leur ministère pourrait être employé sans qu'ils s'en doutassent, il y a longtemps que je leur ai indiqué une voie sûre pour tout ce qu'ils seraient dans le cas de me transmettre, et ils ont observé depuis deux ans mes instructions avec une grande ponctualité.

Je me suis tourmenté longtemps pendant ma fièvre, pour découvrir à quelle occasion je m'étais attiré la déclaration que l'Impératrice n'achète plus rien, comme si je ne le tenais pas de la propre bouche de Sa Majesté il y a plus de vingt ans. Mon coeur étant pur, je fus obligé, après un examen de conscience fort sévère, de me rendre la justice que depuis que j'ai quitté la terre de malédiction, je n'ai pas à me reprocher la plus petite proposition d'aucun genre. J'étais, Dieu me pardonne, tenté de croire que Votre Majesté s'étant laissée aller à quelque grosse peccadille, à quelque énorme acquisition, avait voulu étouffer ses remords de conscience par une déclaration ferme et solennelle à un homme qui ne lui proposait rien, mais qui n'avait que trop de péchés mortels de ce genre des temps passés sur sa conscience. Enfin je me suis rappelé la proposition de Hackert, et me suis empressé de lui mander de ne pas manquer l'occasion de placer son tableau. Je l'y avais déjà préparé d'avance, et il m'avait répondu dans l'intervalle: «Si S. M. ne veut pas de mon tableau, il n'y aura aucun mal; j'ai eu tant de bienfaits de cette grande protectrice des arts que j'en suis et serai toute ma vie pénétré de reconaissance».

Ce 30 mars (10 avril).

N'ayant, Madame, aucune espérance prochaine ni même éloignée de voir arriver un rédempteur, j'ai recours à mes protecteurs pour mettre ce paquet aux pieds de Votre Majesté Impériale. Que ne puis-je m'y prosterner moi-même! L'Empereur a passé dimanche par Francfort se rendant en toute diligence aux Pays-Bas. Puisque l'Impératrice se peint flanquée de deux

* pédants, comme notre Sauveur l'était de deux larrons, Sa Majesté aura pour agréable de se charger de la lettre ci-jointe pour le pédant Busse. Cela lui prouvera que je ne puis ni ne veux changer de commissionnaire, et que la haute réputation de M. Busse a percé jusqu'a Gotha, où il a une soeur.

A Gotha, ce jeudi, 13 (24) avril 1794.

Madame,

Il y a aujourd'hui quinze jours que privé de toute espérance de voir de sitôt arriver chez moi un rédempteur de pancartes, je me découvris tout à coup un désir irrésistible de déposer au pied du trône de la gloire ce que j'avais griffonné avant d'avoir été atteint de cette fièvre qui m'a tracassé le mois dernier. Au sortir d'une maladie on est rempli de fantaisies, les désirs sont plus irritables. Obligé de caler doux avec les miens, j'eus recours à mes protecteurs ordinaires et leur adressai mon paquet. J'y fourrai avec mon griffonnage une copie reçue de Francfort de la lettre du duc de Brunswick au Roi de Prusse datée d'Oppenheim du 6 janvier, dont il a passé des fragments dans les papiers publics. Cette copie n'est pas peut-être exempte de fautes et d'omissions. On m'en a fait espérer une plus fidèle, calquée sur l'original, et si l'on me tient parole, je la ferai courir après l'autre pour lui disputer sa place dans mes archives qui, comme il est connu de tout l'univers, sont logées dans la cheminée de Sa Majesté Impériale. Il y avait aussi dans ce paquet une lettre de Zug en Suisse du 8 février et une petite lettre du coadjuteur de Mayence à Emilie de Bueil. Enfin j'étais fort embarrassé d'une lettre pour M. Busse que sa soeur, qui est ici, m'avait extrêmement fait recommander. Heureusement dans cette pancarte de mon auguste Souveraine que je dois au passage de M. de Nolken, je trouve le nom de M. Busse en toutes lettres, et par-dessus le marché un brevet de pédant à lui expédié en bonne forme. Je me réserve de revenir sur cet homme illustre dans mes pancartes, et sur son journal que nous sommes en droit de posséder à Gotha, puisque nous y avons sa soeur, et dont je veux être le cinquième lecteur en Europe, pour qu'il ne soit plus dit qu'il n'en a pas quatre. En dépit de ces sarcasmes que je réfuterai, il n'est plus possible que le nom de M. Busse n'aille pas à la postérité, puisqu'il se trouve consigné dans une pancarte de l'immortelle. Und das habe ich auch als einen göttlichen Wink wegen des Briefes angesehen welcher seit verschiedenen Wochen auf meinem Tisch gelegen, und dessen Uebermachung an diesen großen Gelehrten mich in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Es ist weltkündig, sagte ich in einem exprßen Monologue zu mir selber, daß ich im Rußischen Reich keine andere Geschäftsträgerin

* als unſere Kaiſerin habe, und allerhöchſt dieſelbe mein Vertrauen im höchſten Grade unwiderruflich beſitzt. Pour quoi donc lui enlever une commission qui lui revient de droit, et à M. Busse une occasion de recevoir sa lettre de la première main, ce qui est aussi incontestable que son titre à l'immortalité? Cette réflexion m'a déterminé, et je suis persuadé que Votre Majesté me saura un gré particulier de lui avoir fourni une occasion de donner une marque d'attention à un des journalistes à quatre et bientôt à cinq lecteurs, qui sait apprécier, comme il convient, le mérite d'un chroniqueur auguste ou, pour mieux dire, d'une chroniqueuse couronnée.

Je ne doute pas, Madame, que ce paquet, parti il y a quinze jours, n'ait voyagé heureusement et ne soit prêt à toucher au terme où toutes mes pensées aboutissent. Immédiatemént après son départ une autre pancarte a été mise sur le métier; mais comme elle est de celles qui ne se confient pas à mes protecteurs, elle grossira en embonpoint, jusqu'à ce qu'il plaise à un redempteur de paraître, de s'en charger et de la porter vers le séjour céleste. Que n'ai-je une foi plus robuste dans la prochaine apparition de ce Messie! Le vrai chrétien n'est heureux que par la foi et l'espérance, et ces deux pivots de sa félicité manquent à la mienne, ces deux vertus cardinales m'abandonnent à tout moment dans ces temps d'épreuves et de tribulations au-dessus de mes pauvres forces.

Ce n'est pas tout. Il y a aujourd'hui huit jours que j'ai confié à mes protecteurs un feuillet adressé à mon auguste Souveraine avec la nouvelle incroyable de Naples. Je l'ai intitulé Bulletin et l'ai numéroté № 1, parce que je me propose de le continuer toutes les fois que des événements importants parviendront à ma connaissance avec une certaine promptitude. En conséquence de ce plan formé dans ma sagesse j'ai expédié ce matin № 2 par la même voie. Je ne me flatte pas d'avoir jamais le bonheur d'apprendre à Votre Majesté le premier une nouvelle de quelque importance; mais ma version succincte suivant de près les rapports originaux, pourra de temps en temps servir de cinquième roue au carrosse de M. le grand maître d'artillerie ou de M. le vice-shancelier, ou à celui de M. le grand maître de la cour, ou bien à celui de M. de Markov. Si Votre Majesté daigne agréer cette cinquième roue, je voudrais être autorisé de l'adresser au successeur d'un de mes premiers bienfaiteurs en Russie, feu M. Eck ou d'Eck qui, suivant ma chronique, s'appelle M. de Hahn, ou plutôt, je voudrais que celui-ci fût prévenu de l'expédition de ces feuillets sous son couvert, afin de les faire passer immédiatement au pied du trône, ce qui pourrait quelquefois faire une différence de 24 heures, profit qui n'est pas à négliger en fait de nouvelles.

* Ce 19 (30) avril.

Malgré mes ferventes prières au ciel, aucun rédempteur ne se présentant, je prends le parti de confier aux successeurs de Bacchus cette feuille nécessaire à mon auguste Souveraine pour vérifier si tout ce que j'ai expédié est arrivé au pied du trône, ce qui est de la denière importance pour la prospérité de l'empire. Je joins à cette feuille: 1°. une lettre qui m'arrive du comte de Nesselrode. 2°. une lettre de Santini de Rome, qui m'annonce l'expédition du portrait de Mengs. C'est le legs que feu notre pauvre divin de Rome a laissé à Votre Majesté Impériale, en quoi il a été incomparablement plus heureux que son admirateur, le souffre-douleur, dont le legs destiné à l'immortelle a été englouti dans la ruine générale dont l'a gratifié la horde des brigands régicides. Dès que ce tableau sera arrivé à Francfort, je le ferai aller à Lubeck pour y être expédié par mer. S'il y a des ordres à donner relativement aux tableaux à l'encaustique, je les ferai passer à Rome avec la plus grande exactitude; mais s'il y a des remises en argent à faire à Santini, le cabinet impérial jugera sans doute à propos de faire payer ces traites à Rome, et non pas à moi à Francfort, parce que la traite directe épargnera au moins une ou deux provisions de banquier. 3°. Enfin je mets sous les yeux de Votre Majesté Impériale deux lettres de ce pauvre Wagnière que je crois prisonnier ou à peu près, à Ferney. Je l'ai autorisé à tirer sur une maison de banque de Franfort pour la somme de quinze cents livres, que j'ai reçue du cabinet pour sa pension de 1793. C'est l'unique manière qui reste pour garantir de tout danger la pension et le pensionnaire.

Cette affaire m'a procuré une lettre de ce vénérable Tronchin nonagénaire des Délices qui vendit à Votre Majesté son cabinet de tableaux il y a 20 ou 25 ans. A l'occasion du jour le plus auguste de l'année qu'Emilie, Katinka et Adèle et M. Catau de Schnepfenthal se proposent de célébrer après demain par des chants d'alégresse je vais faire hommage en pur don de cette lettre du plus aimable vieillard, à l'héroïne de ce jour auguste. Il est juste d'offrir une fois du moins à l'inimitable un modèle à imiter, et je lui enjoins de garder cette lettre et d'en écrire une pareille à 90 ans au souffre-douleur de ce temps, en lui disant: Après avoir vu passer 3 générations, siégé en Europe avec 90 ou 100 têtes couronnées, je continue ma course paisiblement à l'Ermitage de Pétersbourg ou de Constantinople, sans acroc d'aucun genre, sans envieux, parce que l'éternel n'en a pas, et jouissant des regains d'une mémoire dont les chroniques de Russie remplies de ma gloire et de mes bienfaits ne peuvent s'effacer. Ainsi soit-il, s'écrieront après-demain Emilie, Katinka, Adèle et M. Catau.

* A Grimma. Gotha, ce vendredi 18 (29) mai 1795.

Madame,

Comme il importe essentiellement à Votre Majesté Impériale d'avoir toujours les notions les plus exactes sur l'air du bureau de son souffre-douleur, afin de pouvoir s'arranger en conséquence, je ne dois pas lui laisser ignorer qu'aujourd'hui, après l'arrivée de la poste, j'ai remarqué un changement singulier dans les manières du susdit. Il porte le nez trois fois plus haut que de coutume. Une bouffissure subite qu'on croirait de vanité, puisqu'il ne s'en plaint aucunement, a grossi considérablement et à vue d'oeil son embonpoint naturellement modeste. Tout son maintien annonce une humeur altière et peu traitable, et si son auguste Souveraine avait en ce moment quelque affaire importante à traiter avec lui, je ne pourrais que lui conseiller en toute humilité, de filer bien doux et de s'y prendre avec des mitaines de velours. Quant à ce qui peut avoir produit un changement si soudain, je le donne à Votre Majesté en cent, en mille, à le deviner, et comme je ne suis pas sûr de pouvoir satisfaire la curiosité impériale sur ce phénomène aujourd'hui, parce que je me trouve précisément dans les arrière-douleurs de l'enfantement de la pancarte № 92, que j'ai fort à coeur de voir toute achevée, toute enveloppée, toute cachetée pour le moment de sa rédemption, j'aime mieux en commencer une toute fraiche, pour y consigner cet incident imprévu, avec la certitude de ne pas clore cette pancarte, sans expliquer cette énigme avec toutes ses appartenances et dépendances, dans le cas où la pénétration impériale resterait entièrement en défaut, ohne im geringſten auf die Spur zu kommen.

Ce samedi, 26 mai (6 juin).

Nun, da haben wir's. Ainsi que je l'ai prévu, un messager de l'immortelle arrive de Francfort en toute diligence, et me demande mes pancartes, pour les porter au séjour de la gloire. Je vais donc lui donner sa charge, et j'ai bien fait de réserver le mot de mon énigme pour le courant du mois de juin où je trouverai sans doute le moyen d'en accoucher, à moins que Votre Majesté ne me prévienne par son esprit de divination, qui a une réputation à soutenir. Tout ce que je puis dire, c'est que le nez du souffre-douleur depuis neuf jours est constamment resté à la même élévation, et n'a pas baissé d'une ligne.

Ce mercredi, 13 (24 juin).

Je ne doute pas, Madame, que ma pancartine № 94, amendée et révoquée huit jours après par le bulletin № 31, n'ait donné à Votre Majesté

* la plus haute idée de la tête de son souffre-douleur, et qu'elle ne lui ait procuré la première place parmi les linottes de la cage impériale. Voilà ce que c'est que d'être pressé de parler; mais enfin rien n'arrive sans raison dans ce monde, et les bévues ont aussi leurs causes. J'étais sur le point, le 13 de ce mois, de monter en voiture pour faire une course à Erfort, et puis une autre à Eisenach, lorsqu'on m'apprend que le duc de Gotha vient de revenir à l'improviste d'Altenbourg; que sa cousine, la duchesse de Mecklenbourg, n'est pas venue au rendez-vous; que son voyage de Carlsbad est, si non entièrement dérangé, au moins considérablement retardé, et tout le roman que j'ai si consciencieusement consigné dans ma pancartine № 94 confiée aux soins des successeurs de Bacchus. Je ne voulais pas perdre un moment pour étaler ma science, et ma course d'Erfort m'ôta le moyen de la soumettre à l'examen d'une saine critique. Les professeurs qui ont eu soin de former ma jeunesse, m'avaient cependant bien recommandé, avant de me perdre en conjectures et en raisonnements sur un fait, d'examiner préalablement si ce fait existait réellement. Ce n'est qu'à mon retour de mes courses, que j'ai appris que j'aurais pu épargner à Votre Majesté tous mes beaux rapports, et à moi les honneurs d'une place dans la cage à linottes de l'ermitage. En attendant la duchesse de Mecklenbourg prend tranquillement les eaux à Carlsbad et ne se doute pas de la brillante visite du jeune Roi de Suède et de son tuteur jacobin, que je lui avais ménagée sur la foi des bavards d'Altenbourg.

Dans ces temps sinistres on ne peut pas se promettre un seul jour de la semaine de se lever le matin avec la certitude de ne pas apprendre un nouveau malheur avant la fin du jour; je me couche donc ce soir avec la nouvelle de la mort de cet infortuné enfant enfermé au Temple que le maréchal de Castries vient de me mander. Il n'y a pas huit jours que la princesse de Chimay, dame d'honneur de l'infortunée Marie Antoinette, me chargea à Erfort de dire au maréchal de Castries, que le jeune Roi se portait parfaitement bien; qu'il était, ainsi que sa soeur, traité avec les plus grands égards, que son éducation était soignée autant que possible dans le désordre actuel; qu'il développait les plus heureuses dispositions; qu'il voyait assez souvent sa soeur, qui montrait une sagesse, une réserve, une dignité au-dessus de son âge. La princesse de Chimay me dit: Je suis aussi sûre de ces nouvelles que si j'en avais été témoin oculaire, et tandis qu'elle me parlait, ce malheureux enfant était déjà depuis huit jours rayé du nombre des vivants. On ne peut lui envier ce bonheur. Je crois que ces nouvelles favorables lui venaient de la duchesse de Duras, qui, ayant vu le maréchal de Mouchy, son père et sa mère périr sur l'échafaud, a échappé je ne sais

* par quel miracle au fer assassin de Robespierre, et se trouve encore à Paris assez libre pour oser mander de tels détails à ses amies émigrées. Lorsque j'en rendis compte au maréchal, il me montra une lettre sur le même sujet qu'il avait reçue de Londres, et que je vais joindre à cette pancarte, sans pouvoir ajouter que j'y crois comme à l'évangile. Si tous ces discours étaient attribués à la fille de l'infortuné Louis XVI, il serait plus aisé d'y croire. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on puisse dire sur ce triste événement dont quelques-uns attaquent jusqu'à la réalité, un nouvel ordre de choses se présente; le Roi légitime de France se trouve hors des griffes des scélérats et des assassins, et si les puissances voulaient avec la fermeté, la droiture et la vigueur qui seules arrangent les grandes affaires, une nouvelle chance leur serait offerte pour tirer l'Europe de la crise fatale où tant de fautes impardonnables l'ont plongée, et pour terminer enfin une contestation si funeste. Mais qui ose sonder les profondeurs de la politique des cabinets?

Ce vendredi, 15 (26) juin.

Je reçois aujourd'hui par le canal de mes bienfaiteurs, les successeurs de Bacchus, un gage de la bonté de mon auguste Souveraine, imperturbable comme elle-même, en neuf lignes, qui me prouve que ma pancarte de Leipzig est arrivée au pied de son trône avec tout l'étalage de ma science sur le compte de la duchesse de Mecklenbourg. Je me tiendrai coi dans mon taudis, à moins que ma santé, qui s'avise de temps en temps d'une assez mauvaise conduite, ne me fasse aller à Carlsbad où je trouverais cette princesse, mais où je ne me tiendrais pas moins coi que dans mon taudis, en vertu de cet ordre de Tsarsko-Sélo du 25 mai que je tiens dans mes mains vacillantes, parce que je ne puis sentir un tel feuillet entre mes doigts sans un frémissement de bonheur par tout le corps. God save, crient les gens de Grimma, notre Impératrice qui se porte bien, soit qu'elle se trouve à l'air comme un Calmouk, soit qu'elle se retire entre ses rideaux pour pouvoir recommencer le lendemain!

Ce mardi, 19 (30) juin.

De tous les coins de l'Europe les hommages de tout genre ont pris leur direction vers ce trône brillant que trente-trois années de gloire, de bienfaisance et de mesures jamais ralenties pour la prospérité du plus grand empire, ont rendu un centre commun vers lequel tous les regards se portent constament. Votre Majesté doit être accoutumée depuis longtemps à ce

* déluge d'hommages, comme son souffre-douleur l'est à servir à un grand nombre de ces hommages de bureau d'adresse pour parvenir à leur glorieuse destination. L'automne dernier l'évêque d'Anvers fuyant les bienfaits de la liberté dont les républicains régicides avaient pour la seconde fois enrichi son diocèse, et ne se fiant plus à la sûreté d'un asile chez les Bataves, passa ici pour en chercher un en Italie dans les chef-lieu de son église. Ce prélat est un homme d'esprit, savant et orné de connaissances non seulement en théologie, mais dans les belles-lettres. C'était un des membres des états de la Belgique les plus opposés aux vues et aux opérations de Joseph II. Aujourd'hui il professe un grand attachement pour la maison d'Autriche, et je crois bien que si c'était à recommencer, il s'emploierait volontiers à prêcher aux ouailles de toute la Belgique une autre conduite que par le passé envers leur souverain légitime, et qu'il n'aurait pas grande peine à y réussir. C'est dommage que les hommes ne deviennent sages que quand tout est perdu. L'évêque d'Anvers ayant appris par hasard à son passage, que je végétais ici, me fit demander la permission de me voir, et passa une heure avec moi. J'en fus d'autant plus content qu'il ne déparla presque pas, et comme sa conversation est très fleurie, très variée et instructive sur beaucoup d'objets, je n'eus que la peine de l'écouter, et m'acquitai fort bien de ma tâche. Depuis ce passage il a quelquefois continué sa conversation par écrit, et moi mon rôle d'écouteur sans répondre. Enfin il vient de m'adresser une nouvelle édition de ses ouvrages qu'il a fait faire en Italie, et comme il me charge aussi d'en mettre un exemplaire aux pieds de Votre Majesté Impériale avec une lettre qu'il a osé lui adresser avec ce paquet, je suis obligé d'exhiber mes lettres de créance pour cette commission, et de faire taire ma modestie, parce que, quelque honorables qu'elles soient pour moi, il ne m'est pas permis de les tronquer, encore moins de les falsifier. Si Votre Majesté me charge de dire à l'émigré d'Anvers que son hommage est parvenu au pied du trône et y a été reçu avec bonté, ce sera pour moi une belle occasion de rompre le silence pour lui en faire part.

Ce dimanche, 1 (12) juillet.

Je venais, Madame, de célébrer jeudi dernier avec toute la pompe imaginable, l'anniversaire de l'aurore de ce règne à jamais immortel, auquel il manquera toujours un pendant dans l'histoire. Le lendemain, avant-hier, à la chute du jour, je vis entrer dans mon taudis un messager de l'immortelle. Mon premier soin est de leur faire décliner leur nom; il m'apprit que le

* sien était Malighine. Après m'avoir délivré le gage de la bonté de mon auguste Souveraine, je le priai de continuer son chemin vers Francfort. Il ne me trouva pas rayonnant de santé, et cette pancarte, qui est sur le métier depuis cinq ou six semaines, sans prendre de l'embonpoint, prouve de reste que quelque chose cloche chez le souffre-douleur; mais comme je n'ai point de médecin, ce ne sera rien. Depuis que je suis en possession de ce dernier gage de la bonté de ma Souveraine bienfaitrice, et que je puis le serrer contre mon coeur, je me sens déjà infiniment mieux, et pour opérer le miracle de ma guérison, il suffit de ses émanations et de ma foi en elles, sans qu'il soit besoin de sa part d'aucune attention particulière qui puisse la distraire de ses miracles journaliers et d'une importance bien autrement grande que la guérison d'un pauvre diable de souffre-douleur.

Ce mardi, 3 (14) juillet.

Rien, Madame, ne désigne mieux la véritable grandeur d'âme que d'être tellement au-dessus de tous les sujets d'orgueil et de vanité, tellement supérieur à toutes les grandeurs humaines, qu'on néglige même de s'en prévaloir, de s'en vanter, et qu'on est assez grand pour passer six semaines sans faire semblant de rien, lorsqu'on a de quoi crever de vanité. Tel est ce héros à qui Votre Majesté a conféré la charge de son souffre-douleur, et qui dans un moment de distraction s'est traité avant-hier de pauvre diable, lorsqu'il est au fond rayonnant de gloire, et que Lucifer, le plus orgueilleux des êtres créés, serait bien content d'avoir un lot comme le sien. Mais j'éprouve que quelque héros qu'on soit, on s'ennuie à la longue de l'être à l'insu de tout le monde, et qu'on sent enfin le besoin impérieux de se procurer quelque confident. D'ailleurs, et j'aurais dû y penser plus tôt, il y a six semaines que j'en ai donné le premier éveil à mon auguste Souveraine. Votre Majesté est sûrement aux champs, elle se creuse la tête, elle se perd en conjectures: Qu'est-il donc arrivé à mon souffre-douleur? Est-il devenu fou? ou a-t-il réellement un sujet fondé de porter le nez en l'air comme il fait? Je m'accuse et conviens qu'il eût été de mon devoir de mettre plus tôt la tête impériale en repos, et de l'empêcher de travailler dans le vague.

Pour procéder methodiquement dans la découverte du mot de l'énigme qui nous occupe, il faut d'abord transcrire ici littéralement un fragment dont la découverte s'est faite il y a six semaines, et à qui l'on attribue tous les phénomènes de la tête exaltée du souffre-douleur.

* FRAGMENT

dont chaque mot est à étudier.

C'est à moi de suivre en tout la sagesse de votre excellence renomée en Europe. Les savants se rapprochent le plus des dieux par leur immortalité: ce sont eux qui nous élèvent au sublime de la vertu: leur génie nous mène à la douce satisfaction de ne vivre que pour le bien public. Ils nous instruisent à ne pas nous soucier de notre propre personne, et à mépriser les revers de la fortune, à nous sacrifier enfin pour la patrie et pour l'humanité.

Gloire au Dieu des armées! Je chéris vos préceptes.

C. A. S. R.

Maintenant, pour expliquer ce fragment d'une manière satisfaisante, je le donne à Votre Majesté en cent, en mille, en cent mille, en autant de milliards que la nation française possède en assignats. Ce fragment est-il ancien, est-il moderne? C'est la première question qui se présente. La qualification d'Excellence qu'on y remarque, pourrait faire présumer qu'il est moderne, mais ce n'est pas là une preuve sans réplique; le traducteur pourrait avoir substitué notre titre d'Excellence aux termes de Clarissime, d'Amplissime ou autres équivalents en usage chez les anciens. Une méthode plus courte pour savoir si ce morceau appartient à notre siècle, serait d'examiner s'il existe dans l'antiquité un assez grand homme à qui ce fragment puisse être appliqué, ohne die Anwendung bey den Haaren her zu ziehen, et si un tel grand homme ne se trouvait point dans les temps passés, il faudrait bien le chercher et le découvrir, en dépit de sa modestie, dans le dix-huitième siècle. Assurément, Votre Majesté ne pourra pas dire que je ne mette sa pénétration tout contre, et si elle reste en défaut, il n'y aura pas de ma faute. Mais si ce fragment ne peut s'adresser qu'à un grand homme, il est également indubitable qu'il ne peut être que l'ouvrage d'un très grand homme aussi; son style élevé le dénote assez, et si ce morceau appartenait à l'antiquitté, Longin n'aurait pas manqué de l'insérer tout entier, comme un modèle, dans son traité du sublime, et d'en faire connaître l'auteur, ainsi que celui qui en est l'objet. A qui donc attribuer ce morceau parmi nos contemporains? Que signifient les quatre lettres qu'on lit au bas: C. A. S. R? On serait d'abord tenté de croire que ces quatre lettres signifient *Catharina. Augusta. Spes* ou bien *solatium Russiae*, c'est-à-dire *Catherine l'Impératrice, l'espérance* ou bien *la consolation de la Russie*, et que tout le fragment est un monument que cette grande Souveraine élève à

* l'honneur de son souffre-douleur. Consolation dans ce sens, comme dans d'autres occasions, serait le synonyme de Gloire. Mais des critiques d'un oeil exercé n'admettent pas cette explication des quatre lettres. So einen hochtrabenden Styl, ſagen ſie, hat unſere Kaiſerin nicht in ihrer Gewalt. Sie weiß nur ihren Thaten, ihren faits et gestes, einen hohen Schwung zu geben, aber ihre Feder geht immer terre à terre; und was ihren würdigen Herrn Schmerzdulder betrifft, ſo weiß hochdieſelbe dieſen großen Mann wohl mit Stichelreden, aber nicht mit wohlverdienten Lobſprüchen zu beſpicken. Quoi qu'il en soit, la moitié de l'énigme est devinée, puisque nous avons découvert que ce fragment s'adresse au souffre-douleur impérial, et que plus on y réfléchit, plus on reste convaincu que de tous les grands hommes anciens et modernes, il est le seul dem dieſe vortreffliche Lobrede ſo ganz natürlich und ungezwungen anpaßt. Maintenant, si Votre Majesté renonce franchement à l'ambition d'en deviner l'auteur, et qu'elle s'avoue à cet égard au bout de son latin, il faudra bien venir généreusement à son secours, et la tirer d'une ignorance qui pourrait lui devenir préjudiciable. Je dirai donc que ces quatre lettres C. A. S. R. se devinent très aisément et se remplissent par *comte Alexandre Souvarov Rymnicksky*. Je conçois que cette découverte met le comble à la perplexité de mon auguste Souveraine. Elle ne se doutait sûrement pas que son maréchal comte des deux empires eût le moindre soupçon de l'existence de son souffre-douleur; celui-ci ne s'en doutait pas davantage; mais c'est tout simple, quand on est né modeste. Votre Majesté demandera: Mais comment donc? Mais par quel hasard donc? Mais à quel propos donc? Et lui, il dit, quels honneurs inattendus, quel excès de gloire le sort a réservés à ce souffre-douleur pour fondre sur lui dans ses vieux jours! Qu'y aurait-il donc de si extraordinaire, si la tête lui en tournait, et qu'il fallût lui retenir un logement aux petites-maisons? Votre Majesté dira: J'étais à mille lieues de me douter que c'est à mon souffre-douleur que j'avais l'obligation et du combat de Kinburn et de la bataille sur le bord du Rymnick, et de la prise d'Izmaïl et de celle de Varsovie avec toute la Pologne. Et lui, il est obligé de répondre: Rien n'est cependant plus incontestable que cette vérité jusqu'à présent inconnue: car qui, de l'aveu même du comte de deux empires, a élevé ce héros au sublime de la vertu? C'est le souffre-douleur. Et par quels moyens ce héros a-t-il obtenu tous ces étonnants succès qu'on serait tenté de croire l'ouvrage d'un pacte avec le diable, et qui n'est que celui d'un pacte avec la victoire? Par le sublime de la vertu qu'il confesse devoir au souffre-douleur. Donc tous ces brillants et mémorables exploits sont bien indubitablement l'ouvrage de celui-ci.

Il me reste à apprendre à Votre Majesté par quel miracle le héros et

* son esprit familier qui le gouvernait, sans le savoir, se sont subitement rapprochés et trouvés en commerce de lettres. J'ai connu en France, peu de temps avant la révolution, un original né à Gotha qui s'appelle Anthing. Il s'était fait une ressource, en faisant des portraits en silhouettes qu'il savait enjoliver d'une manière fort agréable et dont il composait des tableaux de plusieurs figures. Lorsqu'il vint en France, il avait déjà parcouru toute la Russie, et avait les silhouettes de tout l'empire dans son portefeuille. J'eus le bonheur de lui rendre service à Paris, de le bien adresser en Angleterre, et depuis ce temps-là il se piqua toujours de beaucoup d'attachement pour moi. Après s'être marié à Paris, il quitta la France, pour aller, disait-il, vivre tranquillement dans sa patrie; mais ce théâtre n'était pas assez spacieux pour lui, et il avait trop de puces dans le sang pour une vie sédentaire et sans événements. J'appris, il y a environ trois ans, qu'il était reparti une seconde fois pour la Russie avec armes et bagages. Bientôt après je sus qu'après avoir établi sa femme à Moscou, il avait trouvé le moyen de se fourrer dans la suite de l'ambassadeur extraordinaire de Votre Majesté pour Constantinople, sans doute pour se procurer les silhouettes de Selim et de ses principaux marabouts. Enfin, au commencement de cette année après un silence de cinq ans, je reçois une lettre de lui datée de Varsovie. Il m'apprend qu'après avoir déjà autrefois séjourné à Kherson auprès du vainqueur des musulmans et des sarmates, il avait été appelé en Pologne par son excellence pour être à la tête de la correspondance allemande, et qu'il avait obtenu, en même temps, le titre et la qualité de son aide de camp. Je ne pus manquer de faire mon compliment à mon original sur sa bonne fortune, et de lui demander s'il ne pouvait pas me procurer un portrait ressemblant de son héros et du mien. A quoi il me répond vers la fin d'avril que le favori de Mars et de la guerrière Pallas du palais Tauride avait ordonné qu'on fît son portrait pour moi, et qu'il aurait soin de me l'envoyer dès qu'il serait fini. A la suite de cette lettre je trouve en apostille le fragment glorieux et sublime que j'ai fidèlement copié dans cette pancarte, et j'aurais été tout aussi éloigné que Votre Majesté de deviner les quatre lettres initiales qui lui servent de signature, si mon original ne m'avait mis sur la voie de façon à ne pouvoir me cacher à moi-même ce rayon éclatant de gloire. J'ai beau fermer mes yeux éblouis par cet éclat insoutenable; depuis six semaines ce rayon est toujours là, et perce à travers les paupières. Que faire? Les dévots déposent toutes leurs tribulations au pied de la croix, et moi toutes les miennes au pied du trône de l'immortelle. Il y a longtemps que j'ai une motte de terre assurée à Tsarsko-Sélo à côté du monument des fameux Thomas Anderson, et je prévois que la

* magnificence accoutumée de l'auguste propriétaire ne manquera pas de faire surmonter ce lieu de mon repos d'une table d'airain où on lira en lettres de feu ce fragment élevé par le plus grand des guerriers à la gloire du plus grand des souffre-douleur, auquel il servira éternellement d'épitaphe et de brevet d'immortalité.

Ce jeudi, 5 (16) juillet.

Le maréchal de Castries a quitté mon voisinage aujourd'hui pour se rendre à Vérone où le nouveau Roi de France l'a mandé près de lui. Ce départ aura été pénible. Sa santé n'etait pas bien brillante depuis quelque temps, et il laisse celle de sa belle fille, la duchesse de Castries, dans un état très inquiétant. Je fus dès le commencement de ce mois à Eisenach pour prendre congé de lui, parce qu'il comptait être en état de se mettre en route beaucoup plus tôt. Il me parut persuadé alors, que l'Angleterre et peut-être même la cour de Vienne étaient disposées à reconnaître Louis XVIII, mais il n'était pas tranquille sur les conditions qu'elles pourraient vouloir attacher à cette reconnaissance. Il craignait qu'on ne voulût obliger le nouveau Roi de signer un engagement secret et de souscrire, pour prix de cette reconnaissance, à des cessions douloureuses en compensation des frais de la guerre. Le moindre inconvénient d'une telle convention serait que si elle venait à être connue ou soupçonnée, on ne manquerait pas d'en tirer le plus grand parti pour en faire un crime au nouveau Roi aux yeux de sa nation. J'ignore jusqu'à quel point les appréhensions du maréchal peuvent être fondées; mais je pense que lorsqu'il s'agit de reconquérir sa couronne, toutes les considérations doivent être subordonnées à cette nécessité. D'ailleurs, et sans compter que ce serait étrangement s'abuser que de vouloir retrouver la monarchie française dans l'état où on l'avait laissée en 1789, il faut considérer que tous les sacrifices qu'on pourra exiger de la France, ne pourront s'effectuer qu'au moment de la pacification générale, et qu'alors c'est l'acquiescement de toutes les puissances intervenantes qui leur donnera la sanction: or dans ce moment décisif les cessions inévitables se feront, qu'elles aient été consenties ou non préalablement. Le maréchal comptait chemin faisant s'aboucher avec le comte de Romantsov, l'organe de mon auguste Souveraine dans ces contrées.

Je viens d'apprendre que le régiment du duc de Castries où le comte de Bueil, comme protégé de Votre Majesté Impériale, a une compagnie, a reçu l'ordre, ainsi que le régiment du duc de Mortemar, de s'embarquer sur l'Elbe pour les côtes de France. Il avait eu ordre quelques jours au-

* paravant, de marcher sur le Rhin pour grossir le corps d'armée de M. le prince de Condé. Ces vacillations d'un jour à l'autre me désespèrent, parce qu'elles me prouvent qu'il n'y aucun plan d'arrêté, de combiné, de préparé d'avance, et qu'on varie au jour la journée. Je ne comptais pas d'ailleurs lancer au hasard un père de trois enfants sur les côtes de France, sans savoir comment cette opération serait conduite. Les deux campagnes passées ne sauraient rassurer sur la pureté des vues du cabinet de Saint-James. On m'a communiqué sur cet article de foi, il y a plusieurs mois, une lettre écrite de la Haie dont je joins une copie ici. Il serait peut-être difficile de laver la cour de Londres du reproche que l'auteur de cette lettre à moi inconnu, lui fait. Adoptera-t-elle d'autres mesures cette année? Sera-ce tout de bon qu'elle soutiendra les royalistes, et croira-t-elle enfin de son intérêt de rétablir la monarchie et un souverain légitime en France? L'incertitude sur ces questions n'est pas gaie, quand on doit fournir à ces entreprises des acteurs qui intéressent, et j'aurais mieux aimé voir le père de trois enfants guerroyer sur le Rhin et au delà, sous les ordres du prince de Condé. Mais que peut-on contre le sort qui décide de toutes choses, sans nous consulter? Souscrire à ses arrêts irrévocables. Heureusement pour mon repos, le mari et la femme sont contents de cette nouvelle destination, et la préfèrent à toute autre, et si l'on y fait passer les princes, et qu'on soit las de les persécuter, je prendrai mon parti aussi.

Ce vendredi, 6 (17) juillet.

J'avais pris hier la plume pour commencer la rédaction de l'évangile du comte de Findlater, parce que j'ai lieu de présumer que lorsque le comte de Romantsov aura vu le maréchal de Castries, il ne tardera pas peut-être à renvoyer un de ses courriers vers le séjour de la gloire, et si mon évangile n'était pas tout prêt pour son passage, il ne me resterait d'autre parti que de me noyer de désespoir. Je vais donc remplir l'attente de la plus indulgente des souveraines sur ce point, quoique j'aie encore les deux pancartes précédentes presqu'entièrement sur le coeur, et qu'il ne me reste aucune espérance de voir diminuer mes étouffements, tant que je n'y aurai pas répondu. Mon malheur est que je ne réponds jamais tant à Votre Majesté que quand je ne peux pas tenir une plume. J'en ai fait la triste épreuve depuis quelques semaines que des spasmes assez fréquents m'éloignent forcément de mon écritoire. Si Votre Majesté était exposée à lire tout ce que je lui dis et réponds, tandis que je ne puis lui écrire une ligne, elle succomberait infailliblement sous le fardeau de mes réponses. Malheureu-

* sement pour moi, quand je vivrais cent ans, et quand je pourrais employer tous les jours 15 ou 16 heures pour griffonner, Votre Majesté ne saura jamais la centième partie de ce que j'ai à lui dire. Tout cela me tourmentera tant que je respirerai, et ira avec moi se reposer sous le fragment du comte des deux empires.

Milord Findlater est bien atteint de la même maladie, mais elle ne lui cause pas les mêmes ravages. Il a une seule pensée fixe dans sa tête à laquelle il rapporte toutes ses idées, toutes ses connaissances, toutes ses méditations. C'est la Souveraine de Russie, c'est le bien de son empire, son accroissement, sa gloire, ses avantages sous tous les rapports. Comme il est grand promeneur solitaire, cette pensée le suit partout, le plonge dans des rêveries qui le mettent en extase, et le console de toutes les pauvretés qu'il voit ailleurs. Il ne s'y arrête que pour examiner quel parti l'ointe du Seigneur, ou, ce qui est la même chose, l'élue de l'évangéliste d'Ecosse pourrait en tirer pour ses intérêts, ou de quels inconvénients elle aurait à se garantir à cet égard. De cet usage de se livrer à ses inspirations dans le tumulte du monde ou au milieu des champs, sans s'astreindre à aucun ordre, il ne peut résulter qu'un recueil de versets inspirés à bâtons rompus, que j'ai été obligé, pendant tout le temps de mon séjour auprès du saint évangéliste, de noter dans mes tablettes pour les transmettre fidèlement et déposer religieusement dans le canon de l'église grecque. Ce n'était pas un emploi bien doux que celui d'amasser ces notes sous la dictée d'un inspiré. Je n'étais pas en sûreté un seul moment du jour; à toute heure, en tous lieux, il fallait être prêt pour noter ceci et puis cela, pour ne pas oublier ceci, ni encore moins cela, sans compter les répétitions des mêmes choses qui, quoique déjà consignées dans mes tablettes, devaient être reprises pour mon instruction. Je vais donc me débarrasser de ce redoutable fardeau; mais en observant qu'un profane n'a pas le droit de mettre plus d'ordre dans les versets de l'homme inspiré que celui-ci n'en a mis lui-même dans ses oracles. Tout ce que je pourrai me permettre, c'est de les classer sous certains titres, afin de rapprocher les objets qui se tienent les uns des autres le plus près possible.

Par ma pancarte précédente Votre Majesté a déjà été instruite des deux grandes découvertes que milord avait faites, l'une sur le but secret de la pompeuse ambassade anglaise à la Chine; l'autre, sur le projet qu'avait formé la cour de Londres d'assister efficacement les confédérés de Pologne, dès qu'elle aurait fini sa guerre avec la France, et d'entrer l'année dernière sur cet objet en ouverture confidentielle avec Ignace Potocki à Dresde avant la levée de bouclier de Kosciusko. Votre Majesté se rappellera que milord

* fut tellement estomaqué de ces deux découvertes qu'il me manda à Dresde l'hiver dernier malgré un froid de vingt degrés, pour déconcerter ces mauvais desseins. Je ne pus le calmer qu'au mois d'avril, en lui observant qu'autant en emportait le vent; qu'Elliot, avec tout son génie pour la négociation, n'avait pas pu empêcher le voyage d'Ignace Potocki en Russie, et que celui de lord Macarthney à la Chine était glorieusement terminé par le poëme épique de l'Empereur. Milord prétend que ce dernier projet n'est pas abandonné; qu'on doit envoyer à la Chine une seconde ambassade moins pompeuse, moins coûteuse, et moi j'ajoute, d'après mon oracle de Tsarsko-Sélo, tout aussi infructueuse. Il prétend que la querelle faite à l'Espagne il y a quelques années à propos de Nootka-Sund n'a eu pour fondement que la jalousie des liaisons de l'empire de Russie avec l'Amérique septentrionale; que l'Angleterre espère toujours avec le temps pouvoir faire une descente au Pérou. Et moi je dis, toujours d'après mon oracle: Ils voient si loin dans l'avenir, et bronchent sans cesse sur le présent. J'ajoute que le Pérou avec le temps ne sera pas pour le bec des Anglo-Européens, mais bien pour celui des Anglo-Américains indépendants. On jurerait que le mot: ils voient dans l'avenir, et bronchent sur le présent, est tiré du Livre de la sagesse ou des Proverbes de Salomon; le fait est qu'il appartient au canon de la Bible de sainte Sophie-lès-Tsarsko-Sélo. Mais il est temps d'ouvrir les tablettes de l'évangile d'Ecosse, et d'en placer les versets sous leurs chapitres respectifs.

Chapitre premier. Angleterre.

Tout vient à point à qui sait attendre. C'est une des devises qui caractérisent le règne de notre Impératrice, à qui les immortels ont révélé le secret de l'instant où il faut agir avec énergie et de celui où il faut rester immobile. Il ne fallait pas une vue bien longue pour prévoir que jamais la funeste lutte dans laquelle l'Europe se trouve engagée ne pourrait se terminer sans l'intervention immédiate de la Minerve du Nord, et que l'Angleterre, après avoir longtemps vainement cherché à l'écarter et à tout faire par elle-même, serait obligée de recourir à l'Aigle de Russie. C'est ce moment inévitable que Minerve a attendu avec une immobilité merveilleuse. L'Angleterre a proposé son traité le plus tard possible, lorsqu'il dépendait d'elle, en s'unissant loyalement il y a deux ans avec l'Aigle de Russie, d'être conjointement avec lui l'arbitre de l'Europe et de lui épargner tant de sang, tant d'horreurs, tant de crimes; mais enfin il vaut mieux tard que jamais, et puisque Votre Majesté a agréé le traité proposé, son souffre-douleur est bien convaincu que sa nouvelle alliée a été obligée de souscrire à

* de certaines conditions fondamentales, sur lesquelles l'Aigle de Russie n'a jamais varié et sans lesquelles jamais la paix ne pourra se rétablir en Europe sur une base solide. Telles sont la restauration de la monarchie française; la réintégration de la famille royale dans ses droits légitimes, et l'adoption des mesures à prendre en conséquence. Il ne reste qu'à savoir si l'Angleterre y a souscrit de bonne ou de mauvaise foi; car dans ce dernier cas, une puissance trouve bien des moyens d'éluder dans l'exécution des engagements qu'elle n'a pas consentis sincèrement, ou de les exécuter de façon à les faire manquer, sans que la puissance alliée puisse s'en plaindre avec une apparence de raison. Quoi qu'il en soit, puisque la nécessité a amené ce rapprochement tardif, il est essentiel, dit mon oracle d'Ecosse, que la suprême dominatrice du Nord connaisse bien tous les acteurs du cabinet de Londres, et leur influence sur les résolutions et les déterminations de ce cabinet.

Il y a déjà deux ans que dans un évangile alors transmis par le souffre-douleur à Votre Majesté Impériale, l'auteur sacré a passé en revue les premiers et principaux personnages de ce cabinet dont le caractère est d'ailleurs suffisament connu. Une observation générale qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les ministres britanniques sont rarement en état de s'occuper des détails de leur département. Pendant six mois de l'année la session du parlement les absorbe entièrement, et tout ce qu'il faut pour y conserver leur influence décisive les occupe suffisamment le reste de l'année. Par conséquent les sous-ordres et les bureaux n'ont dans aucun pays une influence plus marquée qu'en Angleterre, et si l'on veut être bien instruit de ce qui se passe, il faut y avoir des liaisons intimes et sûres. M. Rose, premier commis de la trésorerie, est le bras droit de M. Pitt, et M. Burgess, premier commis du bureau des affaires étrangères, est aussi un personnage important, et a une influence très décidée près milord Grenville. Ce sont deux hommes qu'il faut avoir dans sa manche, ou bien il faut être dans leur manche, quand on veut cheminer dans ce pays-là. Le parti Eden, ayant leur frère aîné, lord Auckland, à la tête, influe beaucoup sur le ministère.

Le cabinet de Londres, au lieu de diriger et de guider ses envoyés dans les différentes cours, est souvent dirigé par eux et par leurs insinuations. Cela vient d'une part de la pauvreté des vues du roi George et de ses ministres; de l'autre, de l'ignorance surprenante de ceux-ci de toutes les affaires du continent. Le comte de Mansfield, ci-devant vicomte de Stormond, est peut-être le seul membre du cabinet qui s'entende aux affaires du continent, où il a été constamment employé tout le temps de sa jeu-

* nesse. Il a commencé par le poste de Dresde, et a longtemps occupé ceux de Vienne et de Paris. Il est, avant tout, autrichien, et par conséquent très anti-prussien. Le souffre-douleur, qui l'a beaucoup connu en France, dit que c'est un très honnête homme, qui a de grandes connaissances tant dans les lettres que dans les affaires. Peut-être n'a-t-il pas assez d'étendue dans les vues, ni la tête assez froide dans les affaires. Il était russe, quand je l'ai connu, parce qu'il croyait que tout bon autrichien devait l'être, comme tout anglais devait être bon autrichien.

Milord Hawkesbury, ci-devant Jenkinson, a commencé sa carrèire par être secrétaire de milord Bute; il fut ensuite secrétaire de la trésorerie. Il a joui de tout temps de la confiance intime du Roi, et a une très grande influence sur son esprit. Le Roi s'en sert souvent pour contrecarrer ses ministres. Il serait bon de l'attacher aux intérêts de la Russie; mais il est très fin et très astucieux.

M. d'Alvensleben, ministre d'état d'Hannovre, qui fait à Londres les fonctions de secrétaire d'état pour l'électorat auprès du Roi, signifie beaucoup chez lui. Or, dit mon auteur sacré, les hannovriens sont très prussiens, et la régence d'Hannovre est soupçonnée d'être aux gages de la cour de Berlin. Quelques ministres d'Angleterre employés en Allemagne ne reçoivent leurs nouvelles d'Angleterre que par le ministre d'Hannovre du lieu de leur résidence, qui en est ordinairement bien informé. Cela est du moins vrai pour le ministre anglais à Dresde, Elliot, qui ne saurait rien des affaires de son pays si le ministre d'Hannovre près de l'Electeur ne le tenait au courant. Mais le souffre-douleur soutient contre son auteur canonique, que ceci est un cas particulier qui vient de ce que le ministère britannique néglige entièrement son organe près l'électeur de Saxe, qui est obligé de vivre ainsi des miettes de la table du ministre d'Hannovre, sous peine de rester dans une ignorance totale de tout ce qui se passe dans son pays. Au reste, si M. d'Alvensleben signifiait beaucoup chez son Roi au moment où le souffre-douleur consigna cette note dans ses tablettes, il ne signifie plus rien aujourd'hui où le dit souffre-douleur la transmet à son auguste Souveraine, car il a pris dans l'intervalle le parti de mourir.

La Reine protège M. Pitt plus que le Roi. La comtesse de Harcourt qui est sotte et vaine, a une grande influence sur la Reine, de même que toute sa famille, principalement Madame Harcourt, femme du général qui est fine. La Reine va souvent chez elle à sa terre près de Windsor. Le comte de Harcourt est petit-maître, avec assez de connaissances.

Le bureau des affaires étrangères en Angleterre, en général bien monté, possède surtout une grande habileté à déchiffrer. Tout ministre étranger qui

* réside à Londres depuis trois mois, peut compter qu'on lit ses dépêches chiffrées couramment. Deux frères qui ont entre eux trois mille livres sterling de traitement, sont les déchiffreurs du Roi. On les tient en retraite et fort cachés, afin qu'ils ne communiquent pas avec les ministres étrangers, et que ceux-ci ne puissent les connaître. Elliot étant un jour en Angleterre par congé, se permit une longue conversation confidentielle avec un ministre étranger qui la manda à sa cour dans une dépêche chiffrée. Trois jours après Elliot fut mandé au bureau des affaires étrangères, et y reçut une verte réprimande sur cette conversation qu'on lui rapporta tout entière. Ainsi, dit milord, si l'on voulait attraper la cour de Londres et la fourvoyer par son propre fait, on se servirait de son chiffre ordinaire pour mander à son ministre des choses absolument contraires à ses véritables projets; ce serait ainsi la comédie des fausses confidences. Sur quoi le souffre-douleur observe que cette ruse pourrait bien être employée avec quelque succès dans un moment décisif, mais ne pourrait pas être répétée, encore moins employée habituellement. Il croit au surplus, avec tout le respect pour l'auteur sacré dont il transmet les oracles, que la prééminence de la cour de Londres dans cette science se réduit à peu de chose, et que toutes les cours sont à peu près également avancées dans l'art de déchiffrer les dépêches; c'est donc un moyen général qui s'emploie réciproquement avec plus ou moins de succès selon le vrai degré d'habileté de chaque cabinet, et qui doit entrer dans le calcul de la conduite d'une affaire. J'ai ouï dire au baron de Breteuil que de tous les chiffres de sa connaissance, les chiffres suédois lui ont paru les seuls indéchiffrables; mais il ne m'a pas mis sur la voie de cette impénétrabilité.

C'est ici la place du verset concernant Hugh Elliot, ministre d'Angleterre à Dresde, d'ailleurs suffisamment connu par ses faits et gestes, non qu'il soit un personnage de la moindre influence, mais parce que c'est dans son genre un vrai original; que notre évangéliste a été plus à portée d'étudier son caractère, et enfin, parce que ceux qui ne peuvent rien, ne laissent pas d'embrouiller quelquefois les affaires par leur humeur inquiète et par le besoin qu'ils ont de s'agiter sans cesse dans leurs emplois sinécures. Elliot ressent ce besoin au suprême degré. Avec de l'esprit, il a reçu de la nature un coup de hache qui en fait dans les affaires et dans sa conduite particulière un véritable crâne. Il raisonne quelquefois avec une justesse et un sens si exquis, qu'on est tenté de le prendre pour une tête parfaitement solide; le lendemain on est tout surpris de ne plus trouver trace de bon sens dans sa tête, de la trouver au contraire remplie de fantômes, de visions de toute espèce, jusqu'aux plus extravagantes inclusivement; d'une défiance extrême

* pour ceux à qui il a parlé la veille avec une confiance sans réserve; défiance qu'il ne peut garder 24 heures sans que le besoin de parler ne lui arrache tous les secrets qu'il a sur le coeur, et qu'il vous conjure ensuite de lui garder religieusement. S'il lui arrive de retenir une partie de ce secret dans la première conversation, comme impossible à confier, on est sûr de l'avoir dans un second entretien tout entière sans l'avoir recherchée. Son humeur naturellement inquiète reçoit un aliment continuel de sa position personnelle, en ce qu'il est parfaitement mal dans son pays avec tous ceux avec qui il faudrait être parfaitement bien. Il est brouillé avec son ministère, à qui il reproche de l'avoir sacrifié par son désaveu dans sa négociation en Danemark en faveur de la Suède contre la Russie. Il en résulte que milord Grenville ne lui écrit jamais, et que toute sa mission se borne aux notifications d'usage entre les cours et à la remise des lettres d'étiquette de souverain à souverain. Il est brouillé avec son frère aîné sir Gilbert Elliot, en ce moment viceroi en Corse, homme fort estimé dans le parti de la cour. Il regarde les Eden comme ses ennemis particuliers, et milord Auckland, mari de sa propre soeur, à la tête de ses ennemis. Mais plus il est désoeuvré et par sa place et par sa position, plus sa tête travaille sans relâche sur toutes les visions qui tantôt l'enchantent, tantôt le troublent, et Dieu sait tous les fagots qu'il écrit au bureau des affaires étrangères à Londres. Cette manière d'être rend souvent le ministre d'Angleterre fort ridicule aux yeux de ses collègues à Dresde. Pendant tout l'hiver il pressa milord de me faire arriver, disant que l'Angleterre et l'Europe étaient perdues sans l'alliance avec la Russie, et ajoutant très ridiculement que je pouvais sauver l'Europe, en prêchant à Votre Majesté cet évangile. Après avoir eu connaissance des démarches de sa cour pour un traité plus étroit d'alliance et d'amitié avec la Souveraine de la Russie, il ne vit plus que des inconvénients à ce rapprochement; et lorsqu'enfin vers la fin d'avril je me déterminai à ce voyage, il en eut tellement peur qu'il décampa la veille de mon arrivée de sa maison dont il avait loué la moitié à milord et où je devais loger. Il prit pour prétexte un rendez-vous qu'il prétendait avoir donné à la foire de Leipzig au nouveau ministre d'Angleterre à Berlin, lord Henri Spencer. Je me divertis beaucoup de l'avoir ainsi chassé de sa propre maison. Milord ne voulut jamais en convenir; mais lorsqu'il vit cette absence se prolonger jusqu'à la veille de mon départ, pour ne pas coucher au delà d'une nuit sous le même toit avec moi, il en rit de bon coeur avec moi.

Au fond Elliot est anti-russe et archi-prussien. Il a un capital de cinq mille livres sterling placé à Berlin. C'est peut-être le bien maternel de sa fille qu'il tient de sa sage et chaste moitié; milord pense que cela peut in-

* fluer sur ses affections politiques. Tandis que M. Pitt s'occupait de son alliance avec la Russie, Elliot projetait dans sa tête l'alliance de la Prusse avec l'Angleterre, pour faire conjointement avec la Prusse la paix avec la France et la guerre à la Russie. Il soutient que l'alliance avec la Prusse est aujourd'hui la seule naturelle pour l'Angleterre, parce que les Pays-Bas perdus pour l'Autriche, il n'existe plus aucun lien ni aucun motif d'alliance entre ces deux puissances. En s'abandonnant à cette vision, il croit l'Angleterre intéressée et si elle consulte ses intérêts, capable à la paix de s'unir étroitement avec la France, pour assister les turcs et prévenir leur extermination en Europe, ou du moins de créer en leur faveur et pour les soutenir, un parti puissant dans la convention nationale de France, tandis que l'Angleterre s'allierait avec le Danemark, la Suède et la Prusse contre la Russie. Cependant dans un autre moment de l'effervescence de sa tête, il prétend que le ministère anglais est si convaincu qu'il ne peut se passer de la Russie, et qu'il désire tellement son alliance, qu'il consentirait à ce prix à la conquête de la Grèce, pourvu qu'il pût compter sur elle; l'Angleterre, dit-il alors, se mettrait peut-être même de la partie pour chasser les turcs de l'Europe, si pour prix de ce service on lui assurait la possession de la Sardaigne ou de Candie. On trouve de tout dans un pot pourri, et sa perfection est de réunir tous les contraires. Ainsi entre autres choses, Elliot a découvert que c'est Votre Majesté qui dirige les cabinets de Copenhague et et de Stockholm, et qui leur a prescrit et dicté le rôle qu'ils jouent depuis deux ans, afin de se rendre elle-même nécessaire à l'Angleterre, et de la forcer de se jeter dans ses bras, ce qui lui a parfaitement réussi. Je suis fâché de servir à découvrir ainsi les vues les plus cachées de mon auguste Souveraine; mais quand on écrit sous la dictée d'un auteur inspiré, on n'a pas le droit de supprimer une syllabe. Cela n'empêche pas Elliot de parler de ces deux cours et du rôle qu'elles voudraient jouer, avec le dernier mépris. Il prétend surtout que le grand ministre Bernstorf, qui aime tant à briller et à faire vanter son administration dans les gazettes comme un modèle de sagesse, peut-être arrêté et déconcerté par un seul mot ferme, et que l'étalage qu'il aime passionément, disparaît dès qu'il aperçoit un sourcil se froncer.

Les Eden sont ceux dont le crédit désespère le plus Elliot. Peut-être sont-ils le principal obstacle à son avancement, après lui-même toutefois. Peut-être n'est-il lui-même si parfaitement anti-autrichien et anti-russe que parce qu'il sait que sir Morton Eden à Vienne est bon autrichien et bon russe. Il prétend que tant que les Eden auront de l'influence en Angleterre, les affaires de l'intérieur et de l'extérieur iront toujours de mal en

* pis. Selon lui, milord Auckland, son beau-frère, est la véritable cause des troubles d'Irlande et de la brouillerie de milord Fitz-william avec le ministère, parce que ce viceroi, en arrivant en Irlande, s'est brouillé avec les Beresford et les a déplacés. Or ces Beresford étaient les créatures de milord Auckland qui les avait mis en place dans le temps qu'il était en Irlande en qualité de secrétaire du vice-roi, une des nombreuses places qu'il a successivement occupées et exercées. Voilà pour l'intérieur. Quant à l'extérieur, dit Elliot, les choses iront également mal, tant que sir Morton Eden sera ministre d'Angleterre à Vienne, à cause de l'inimitié personnelle que porte aux Eden le Roi de Prusse, qui croit avoir des griefs très grands et très légitimes contre milord Auckland; ils datent du temps de son ambassade à la Haie. Elliot ne manque pas non plus une occasion de dire beaucoup de mal de M. Pitt, de milord Grenville, de M. Burgess et de M. Rose; et comme mon auteur sacré soutient que son compatriote Elliot, d'après ses sentiments connus, ne peut manquer de distiller beaucoup de venin contre la Russie dans ses dépêches et de les remplir de rapports de toutes couleurs à son désavantage, ce qui offusque grandement le patriotisme du dit auteur canonique, il prétend qu'il n'y aurait pas grand mal que les ministres anglais sussent la manière de penser du susdit pélerin pour eux; ses dépêches en feront d'autant moins d'impression. Par la même raison il voudrait que sir Morton Eden à Vienne fût egalement instruit des sentiments de son confrère de Dresde pour lui.

Il y a un autre petit employé d'Angleterre en Allemagne qu'il n'est pas indifférent de connaître. C'est un écossais appelé Grey; il est créature des Eden. Il fut d'abord donné pour secrétaire au colonel Gardiner, ministre anglais à Varsovie. Après l'entrée du comte des deux empires à Varsovie, cette mission ayant cessé, on envoya Grey pour secrétaire à Elliot, qui n'en avait pas et qui était désolé de l'avoir, parce qu'il vit à Dresde à peu près comme un grigou, enfermé avec une maîtresse, dont il a cinq ou six enfants, et que tout le monde le gêne. Cependant il découvrit à son secrétaire une conformité de penser en politique qui le charma, mais Grey ne resta pas longtemps auprès de lui. Il lui fut ordonné par sa cour de se rendre à Berlin en qualité de secrétaire d'ambassade, et d'y faire les affaires d'Angleterre par intérim dans l'absence d'un ministre. Ce Grey était très fâché de quitter Varsovie, où il s'était flatté d'occuper le poste d'Angleterre, non comme secrétaire, mais comme ministre; il était donc outré contre les succès du maréchal chérissant mes préceptes. Il était tout polonais à Dresde; il est tout prussien à Berlin, et partout il déclame indécemment contre la Russie. Le chevalier de Withworth à Pétersbourg, dit mon oracle, doit savoir gu

* ſeiner Bekehrung, que Grey est en correspondance avec Elliot, et que sans cesse il se moque ou se plaint de lui et de ses dépêches. C'est un grand malheur pour lord Henri Spencer, continue mon oracle, d'avoir cet homme pour guide en entrant dans la carrière où il pourrâ être destiné aux premiers emplois et où il parviendra vraisemblablement fort vite à de grandes places, à cause du grand crédit dont jouit son père, le duc de Marlborough. Aussi Elliot tâche-t-il de s'attacher à lui et de le gangrener tant qu'il peut, et Grey y contribuera de son mieux. De tout ceci mon oracle conclut qu'il convient d'avertir le cabinet de Londres et Messieurs Eden en particulier, qu'Elliot travaille à s'emparer de lord Henri Spencer et à le diriger en faveur dn systéme de la cour de Berlin. Et si Elliot dit vrai, en assurant que le Roi de Prusse regardera toujours les Eden comme ses mortels ennemis, il s'ensuit, dit mon oracle, que l'Autriche et la Russie doivent chercher à s'assurer de Messieurs Eden, en leur faisant connaître les bonnes dispositions de la cour de Berlin pour eux. En général, ajoute mon oracle, les Eden et le chancelier Loughborough sont très excellents à avoir, parce qu'ils sont très intrigants. Avis au lecteur.

Elliot ne s'est pas contenté de découvrir à force de génie, que c'est Votre Majesté qui a forcé la Suède et le Danemark de rester neutres dans la guerre présente; qu'elle gouverne entièrement ces deux puissances; que tout ce que le comte de Bernstorf fait, se fait par instigation de la cour de Russie, uniquement pour embarrasser l'Angleterre; il sait encore qu'en 1792, lorsque les troupes prussiennes se portèrent sur le Rhin, notre Impératrice ne put s'empêcher de claquer des mains involontairement au milieu de sa cour parce qu'elle voyait alors que la Prusse se perdait. Il a encore découvert novissimé, lorsque le Roi a fait rebrousser chemin au corps de 20 mille hommes aux ordres du prince de Hohenlohe, qui était déjà arrivé en Thuringe, pour le porter de nouveau sur le Rhin, que M. de Markov a écrit à ce sujet une lettre d'exaltation à M. Alopéus, où, à l'imitation de son auguste Souveraine, il claque aussi des mains de ce que la Prusse serait rengagée ainsi dans la guerre sans s'en douter, et s'affaiblirait de plus en plus, ce qui la mettrait en peu de temps entièrement à la merci de la Russie.

Il ya à Leipzig un consul du Roi de Prusse, appelé Crayen, qu'on dit un très pauvre sujet, ce qui peut-être ne le rend que plus propre à jouer un rôle dans la basse-cour de Berlin ou de Potsdam. Il doit son poste insignifiant à sa femme, jadis maîtresse du Roi. Il contait lui même pendant la dernière foire qu'ayant fait l'automne dernier un voyage à Varsovie pour ses affaires, il se trouva un jour en son uniforme consulaire, à une table d'hôte avec beaucoup d'officiers russes. J'entendis, dit-il, pendant le repas

* des propos si extraordinaires sur le Roi, mon maître, que ne sachant plus quelle contenance avoir et n'y pouvant plus tenir, je feignis un saignement de nez et sortis de table; heureusement c'était sur la fin du repas. C'est par ce personnage qu'Elliot cherche à influer sur le cabinet de Berlin, ou du moins à savoir ce qui s'y passe; et c'est là l'objet de ses courses continuelles de Dresde à Leipzig.

Au milieu de tant d'agitations et de tant d'affaires qu'au défaut de sa cour son génie lui donne à aplanir ou à embrouiller, il projette de demander pour l'automne prochain un congé, soit pour aller en Angleterre, soit pour faire un voyage en Italie. Il désire parfois le poste de Florence, parce qu'il ne se trouve jamais bien que là où il n'est pas; et ce serait, dit mon oracle, un vrai bonheur pour la tranquillité des affaires, qu'une tête aussi inquiète fût tirée du centre d'Allemagne et de la proximité de Berlin. Un de ses projets favoris et qui se présente fréquemment aussi à son imagination, ce serait d'obtenir une concession de terres en Tauride, pour y faire un sort à ses enfants naturels. Milord, cultivateur passionné de son naturel, prétend que c'est de tous ses projets le plus sensé et qu'il faudrait favoriser, parce qu'en attirant quelques colons d'Angleterre, il porterait l'industrie dans un pays tout neuf sous un ciel très favorable, et si sa tête pouvait jamais mûrir, il y trouverait le bonheur.

Il sera question plus bas du lord Henri Spencer qui vient de mourir à la fleur de son âge et à l'entrée dans la carrière. Cette mort imprévue remet de nouveau les affaires d'Angleterre à la cour de Berlin, entre les mains de l'écossais Grey, grand jacobin polonais et prussien. Il faut que l'air de Varsovie ait été très contagieux pour gagner le jacobinisime; on prétend que ceux que la cour d'Espagne y a tenus sont également de fieffés jacobins. Son ministre était le chevalier Yriarte que j'ai connu secrétaire d'ambassade à Vienne et ensuite à Paris au commencement de la révolution. C'est un homme d'esprit et fin. Je ne voudrais pas répondre de l'orthodoxie de ses principes. Depuis qu'il a quitté la Pologne, sa cour l'a envoyé à Bâle où l'on dit qu'il négocie avec Barthélemi. Son secrétaire d'ambassade à Varsovie s'appelle, je crois, le chevalier Tennare. Il a passé pendant mon séjour à Dresde pour se rendre par l'Italie en Espagne où il doit occuper la place de premier commis des affaires étrangères. Mon oracle prétend que c'est un jacobin à triple karat; qu'il a parlé à Dresde de la manière la plus hostile contre la Russie; qu'il a prêché publiquement la nécessité urgente de la paix avec la France, pour en imposer à la Russie par une alliance générale contre elle, et s'opposer à son agrandissement ultérieur à quelque prix que ce fût. Comme il passait de Dresde à Vienne, mon oracle ne m'accorda ni

* trève ni cesse, que je n'eusse averti M. de Mestmacher, pour qu'il prévînt l'ambassadeur de Votre Majesté dans cette cour, de la jacobinerie fanatique de ce pélerin, et du peu de réserve qu'il met dans ses propos propagandistes.

De tous les ministres employés en ce moment par l'Espagne dans l'étranger, je ne connais que le chevalier de las Casas, son ministre à Venise, destiné au poste de Londres, digne de représenter une cour de la maison de Bourbon. Sous la figure d'un Sancho Pança, il a une grande élévation et loyauté, et si l'on pouvait donner son âme avec ses conseils, il aurait peut-être rendu des services éminents à sa cour et à son premier ministre. Mais cette cour paraît être dans un tel délabrement et tellement entourée de toutes les misères morales, qu'il est impossible d'en attendre le moindre avantage pour la cause commune, qui malheureusement est celle de l'humanité entière. Après cette petite digression que je me suis permise, je retourne à mon poste aux ordres de mon évangéliste inspiré.

On ne peut nier, dit-il, qu'avant ce dernier rapprochement, auquel la nécessité a forcé M. Pitt, l'Angleterre n'ait assez constamment développé des dispositions de malveillance envers la Russie. Sans revenir sur le but secret de l'ambassade à la Chine et sur le but clairement prononcé de l'ouverture faite à Ignace Potocki à Dresde avant la levée de bouclier de Kosciusko, il est certain qu'elle a envoyé en Turquie un de ses meilleurs ingénieurs. Cuyler, officier du génie qui assista en qualité d'aide de camp le général Elliot pendant le siège de Gibraltar, devait fortifier Izmaïl, Bender et toutes les autres places importantes. Le chevalier Smith, aussi anglais, ayant servi pendant la dernière guerre sur les galères de la Suède contre la Russie, et portant depuis ce temps la croix de l'ordre de l'Epée, a été dépêché à Constantinople pour assister les marabouts dans la construction et l'amélioration de leur marine.

Peut-être l'éloignement de M. Pitt pour la Russie ne vient que de ce que son antagoniste, M. Fox, passe pour être entièrement russe. A quoi le souffre-douleur prend la liberté d'ajouter la prudence ministérielle de ne point choquer sans une nécessité absolue les nobles préventions de son royal maître, et le petit ressentiment qu'une grande âme peut conserver contre une puissance qui a été l'occasion d'un pas de clerc fait par un grand ministre, et qu'il a fallu rétracter dans la minute, sous peine de n'en pouvoir plus faire dans la carrière ministérielle. Quoi qu'il en soit, tout en conquérant M. Pitt, il faudrait cultiver M. Fox aussi bien que lui, et faire entendre à celui-ci, qu'en s'adressant au ministère, on ne prétend pas le négliger et qu'on comptera toujours sur son apui.

* Richard, genévois, horloger de profession et banqueroutier, est venu à Berlin avec le médecin anglais Baylies pour lui servir d'interprète; depuis sa mort, il s'est fait espion des Anglais dans cette cour. Ils en ont encore un autre dont le nom a échappé à mon oracle; c'est peut-être un frère de ce Crayen de Leipzig qui fait faire tant de courses à Elliot.

On a su en Angleterre par un colonel Bentheim, anglais au service de la Russie, que la suprême dominatrice de cet empire a 35 mille hommes de troupes réglées sur les frontières de la Chine. J'ai vu autrefois ce Bentheim à son passage par la France en Angleterre; il ne connaissait pas de plus grand bonheur sur la terre que de servir la suprême dominatrice dans ces provinces. Mon auteur sacré, excessivement chatouilleux sur tout ce qui touche à cet empire, dit qu'il ne faudrait pas permettre aux étrangers employés dans ces parties, de sortir, parce qu'il est inutile que par indiscrétion et sans aucun motif coupable, ils donnent des notions aux curieux dont ceux-ci n'ont que faire.

Chapitre second.

Maison d'Autriche.

Ce chapitre est court, mais sévère. Le souffre-douleur a remarqué avec chagrin il y a déjà quelque temps, que le jeune Empereur a recommencé à donner ces audiences qu'il avait interrompues, où il admet dans une matinée successivement plusieurs centaines d'ouvriers, artisans et gens du peuple de toute espèce, pour lui presenter requête: emploi de temps, quand il n'aurait pas d'autres inconvénients, au moins entièrement perdu, puisqu'en sortant de ces audiences, il lui est impossible de se souvenir distinctement de deux ou trois cents exposés ou requêtes présentées, et bien moins possible d'y faire droit avec justice et connaissance de cause. Les versets de l'évangéliste d'Ecosse sur ce jeune monarque tirés je ne sais de quelle source, sont bien plus sévères, en ce qu'il lui reproche une inapplication entière aux affaires et de ne s'amuser dans son ménage et dans son intérieur que de niaiseries et d'enfantillages. Il persiste aussi à regarder le baron de Thugut comme porté pour la convention, à cause des rentes considérables qu'il a en France. L'armée autrichienne, dit-il, est entièrement gangrenée. Le soldat est toujours excellent, mais sur dix officiers deux sont vendus aux jacobins, pour faire manquer les opérations. Froissard, suisse de nation, originaire du pays de Vaud, créature du maréchal de Lacy, est connu de tout le monde pour-être vendu aux jacobins. On le donna au prince de Cobourg, afin que les jacobins fussent bien exactement instruits de tous les

* projets de la campagne; on le garda même à l'armée après la retraite du pieux Josias. Mon oracle l'accuse hautement d'avoir fait empoisonner deux généraux de l'Empereur, Bellegarde et Otto, parce qu'ils faisaient la guerre aux sans-culotte de manière à ruiner leurs affaires en peu de temps, si on les avait laissé continuer. Je conviens qu'Otto a disparu du théâtre de la guerre qu'il occupait dans l'occasion d'une manière brillante; mais Bellegarde y reparaît de nouveau depuis quelque temps, et paraît chargé d'un rôle qui suppose qu'il jouit de la confiance du cabinet de Vienne. Deux autres personnages, Rollin et Fischer, ce dernier aujourd'hui employé à l'armée d'Italie, partagent avec Froissard le soupçon d'être aux gages des jacobins. Tous les commis du conseil de guerre à Vienne leur sont vendus pour la communication de tout ce qui s'y projette.

Chapitre troisième.

Prusse.

Les foudres du Vatican d'Ecosse et les anathèmes de son oracle sacré étaient tellement aiguisés lorsque j'arrivai à Dresde, que je devais me prêter à faire menacer le Roi de Prusse, pour sa scandaleuse défection, du ban de l'empire par toutes les puissances de la coalition. Je convins que ce ban était encouru ipso facto; j'opinai néanmoins en toute humilité, qu'il ne fallait jamais menacer de peines même méritées qu'on ne pouvait, en cas de besoin, infliger immédiatement.

Le courroux de l'oracle se rabattit sur l'ultramontain Lucchesini. On a bien forcé, dit-il, le Roi d'Espagne de chasser Alberoni, pourquoi n'obligerait-on pas Frédéric Guillaume de chasser ce brouillon? J'observai encore humblement que Lucchesini, quand il est absent, n'a point de crédit dans le tripot. Mon oracle convient que Bischofswerder est toujours la véritable cheville ouvrière, si l'on peut appliquer ce terme à une machine où il n'y a nul ensemble. Il dit aussi qu'il faut savoir que la fille aînée de Bischofswerder a beaucoup de crédit sur son père.

Un des grands axiomes, selon mon oracle, du prince Henri, pacificateur, est qu'il est trop heureux que l'Angleterre ne s'entende pas avec la Russie, parce qu'à elles deux, elles gouverneraient l'Europe. Si c'est là une des maximes fondamentales de la cour de Berlin, le prince pacificateur lui a porté un terrrible coup, en faisant signer au cher neveu le traité de Bâle qui a mis l'Angleterre dans la nécessité immédiate de s'entendre avec la Russie.

Au milieu de ce gâchis du règne de Frédéric Guillaume, mon oracle

d'Ecosse prétend qu'il faudrait que mon auguste Souveraine fît porter au prince royal des paroles d'intérêt et d'amitié; qu'on lui fît, de sa part, le tableau des fautes consécutives de son père, qui ne tendent à rien moins qu'à ruiner sa maison et à la subversion de sa monarchie, et qu'on lui fît entendre que ce n'est pas contre la Prusse que le cabinet de Pétersbourg nourrit des sentiments défavorables, mais contre les imbéciles et les fripons qui la gouvernent et dont il est impossible d'être l'allié. Dans le cas d'une guerre avec les turcs, il faudrait faire sentir à ce prince, que l'établissement d'un prince chrétien en Grèce ne porterait aucun préjudice à la maison de Prusse à qui il serait bien plus utile d'avoir là pour allié le chef d'un gouvernement raisonnable et régulier que de rechercher l'amitié d'un gouvernement barbare comme celui des turcs.

Mais par qui faire entreprendre cette éducation politique du prince royal de Prusse? Ah, il ne faut pas croire que l'auteur de mon évangile n'ait pas songé d'avance à tout, et qu'il puisse laisser dans son édifice politique un seul trou sans cheville. C'est le duc de Mecklembourg-Strelitz, beau-père du prince royal, que mon oracle charge de cette éducation. Et par qui déterminer ce prince à se charger de ce rôle? Par le comte de Romantsov, ministre de Votre Majesté à Francfort, qui a depuis longtemps un crédit illimité sur l'esprit de ce prince, établi à Darmstadt avant d'être parvenu à la régence de son petit pays.

Chapitre quatrième.

La Saxe.

La course que j'ai faite à Dresde, m'a grandement confirmé dans l'idée que j'avais du bon gouvernement de ce pays-là; de la sagesse qui préside dans le conseil de l'électeur; de la persévérance imperturbable dans l'exécution des plans adoptés pour l'amélioration de toutes les branches de l'administration. Ce prince, souverain d'un pays circonscrit, mais particulièrement favorisé par son sol et par l'industrie de ses habitants, tient par la sagesse de son administration une des premières places parmi les souverains de son siècle. Le baron de Gutschmid, qui, après avoir été employé à son éducation, est devenu son ministre et jouit particulièrement de sa confiance, est d'autant plus remarquable qu'il se cache davantage; il évite tout juste avec autant de soin de faire parler de lui que, suivant Elliot, le comte de Bernstorf en met pour briller dans les gazettes. On ne peut se dispenser de le mettre à la tête des plus grands ministres de notre temps, lorsqu'on se rappelle en quel état de désordre, d'épuisement, d'anéantissement total était la Saxe en 1763 au sortir de la guerre de sept ans. Sans finances, sans au-

* cune force militaire, n'offrant partout que des vestiges de dévastation, elle est redevenue un des pays les plus florissants. Grâces à un plan conçu avec sagesse et exécuté avec une constance imperturbable, tous les maux de la guerre et d'un mauvais gouvernement précédant cette guerre, ont disparu; les obligations sur la Saxe qui perdaient, il y a 30 ans, 70 et 75 pour cent, la Saxe étant alors jugée en banqueroute irrémédiable, gagnent aujourd'hui de 5 à 7 et 8 pour cent, sans qu'on ait fait tort d'un écu à aucun propriétaire par des remèdes à la Terray, par des réductions ni volontaires ni forcées. Et malgré tout ce qu'il a fallu d'efforts continus pour rétablir ainsi les finances, le gouvernement a encore su se ménager les moyens de se créer une armée de 30 mille hommes comptés aujourd'hui parmi les meilleures troupes d'Allemagne; de favoriser une infinité d'établissements publics, et de porter la vie dans toutes les branches de l'administration. Tout ce bien s'est fait sans bruit, sans qu'il en fût question dans les gazettes, sans phrases et verbiage, et sans préambule d'édits à la Turgot et à la Necker; et c'est cet exemple de la Saxe que je ne cessais de prêcher en 1789 aux législateurs en herbe de la France, avec d'autant plus de force et de zèle que quoique toutes ces merveilles se fussent opérées de leur temps, à deux pas de chez eux, il n'y en avait pas trois parmi eux qui en eussent seulement entendu parler. Mais ce n'était pas le compte des fous et des bandits qu'on avait laissé s'emparer du gouvernement de France, d'y remettre de l'ordre; leur projet était de tout bouleverser, de tout détruire, et ils n'y ont que trop bien réussi.

La ponctualité avec laquelle l'électeur a rempli, depuis le commencement de la guerre, toutes ses obligations comme membre de l'empire germanique, est un modèle de loyauté que la plupart de ses co-états ont trouvé inimitable. Toutes ses prestations se sont faites à point nommé; son contingent a été le premier rendu sur les bords du Rhin et toujours tenu dans l'état le plus complet, il ne les a pas quittés depuis. Si l'electeur entretenant ce corps à des frais énormes pour lui, n'a pas voulu donner un homme au delà contre des subsides qu'on lui a offerts plus d'une fois, ce préjugé même, si c'en est un, est respectable. Ses ministres ont raison d'observer que tout ce que fait leur prince, est l'effect pur de son patriotisme, parce que, quelle que soit l'issue de cette guerre, il n'en résultera jamais aucun avantage pour la Saxe. Ils ont plus de droit encore de déplorer la manière ignominieuse dont cette guerre a été conduite, et de regretter vivement les deux cents vingt-mille écus qu'il en coûte au pays par mois (car l'entretien du contingent en campagne ne va pas à moins) pour faire coopérer à une guerre aussi perverse et aussi humiliante.

* C'est par un gouvernement constamment occupé du bien public que l'electeur rachète deux torts qu'il a aux yeux de ses sujets, celui de n'être pas de leur religion, et celui d'être trop rigoureux conservateur de ses chasses au détriment des champs voisins de ses plaisirs. Catholique et même un peu bigot, il remplit, contre les lois du pays, insensiblement toutes les grandes charges de la cour et même un peu les missions étrangères, par des catholiques étrangers en Saxe, et comme il est aimé et digne de l'être, on ferme les yeux sur ces irrégularités, et l'on tolère ce qu'on n'aurait pas passé à son grand père ou à son bisaïeul; mais s'il eût été de la religion de son pays, on lui aurait élevé des autels.

Il était naturel que j'eusse un grand désir de connaître un homme de la réputation du baron de Gutschmid, que je n'avais jamais vu même de figure, et que je savais être l'homme du monde le plus inaccessible. Le ministre de Votre Majesté Impériale m'a obtenu cette faveur. J'ai trouvé un vieillard de 74 ans, plein de feu et de bonhomie, dont la conversation répond parfaitement à sa réputation.

J'avais aussi à coeur de m'éclaircir sur une injustice de l'électeur envers la maison d'Anhalt, dont mon auguste Souveraine m'avait fait mention en deux mots l'année passée. Si les renseignements qu'on m'a donnés, sont exacts, je dois croire que Votre Majesté a elle-même depuis reconnu la validité des droits de l'électeur dans cette contestation; mais que par une juste différence pour notre Impératrice et par un désir constant de lui plaire, ce prince n'a voulu se réserver que son droit de suzeraineté sur les baillages en litige, et avait consenti de laisser à la maison d'Anhalt, tant qu'elle subsistera, la jouissance de tout le revenu, ce qui, à ce qu'on m'a assuré, a entièrement satisfait ma très incomparable souveraine. Il m'a semblé que le baron de Gutschmid et le comte de Loss croyaient avoir si parfaitement rempli les intentions de Votre Majesté dans cette occasion qu'ils se flattaient peut-être en secret de recevoir tous les deux pour gage de sa haute bienveillance la décoration de l'ordre de Saint-André. Un autre ministre de l'électeur, le comte de Schoenberg, avait eu la même ambition il y a quelques années et même un petit brin d'espérance; mais il est mort au commencement de cette année. Il a eu tort. Ce n'est pas le cordon qui lui a fait faux bond, c'est lui qui a fait faux bond au cordon. Au reste l'affaire avec la maison d'Anhalt doit être terminée à l'heure qu'il est; lorsque je quittai Dresde, on n'attendait que le retour du plénipotentiaire de la maison d'Anhalt, pour terminer sous les auspices de la suprême dominatrice. Was ſie beſchützt, iſt wohl geſchützt, ſo ſingen die Leute von Grimma und Jevern.

D'après tout ce bavardage, Votre Majesté croira sans peine que j'étais

* très favorablement disposé à écouter tous les fagots de mon évangéliste d'Ecosse sur la Saxe et à les consigner dans mes tablettes.

Il dit que la Saxe ne peut avoir un appui plus solide et plus désirable pour elle, que celui de la Russie. Cela me paraît démontré. Placée malheureusement entre deux puissances rivales dont les fréquentes querelles lui ont été si souvent funestes dans le cours de ce siècle, elle prétend bien à la première rixe faire respecter sa neutralité, en menaçant celui des deux dogues qui oserait la violer, de se jeter du côté de son ennemi avec une armée de 30 mille hommes valeureuse et parfaitement bien disciplinée, qu'au besoin la Saxe porterait aisément à 50 mille hommes; mais l'appui direct et public de la Russie la ferait bien autrement respecter. Il ne s'agit plus que de savoir quel intérêt la Russie aurait à protéger la Saxe efficacement et à se déclarer pour sa protectrice. Un très grand aussi, dit mon oracle. Il est difficile désormais, s'il arrive une rupture entre les deux puissances rivales, que la Russie reste neutre. Quelque soit le parti qu'elle épouse, son influence décisive sur la cour de Dresde ne serait alors rien moins qu'indifférente. Et si par malheur la cour de Berlin, à force des fredaines, se mettait dans le cas d'être sévèrement châtiée par la Russie, un allié de cet empire qui, au moment d'un revers de son ennemi, se trouverait dans un instant avec 30 mille hommes dans le coeur des états de l'ennemi commun, à deux pas de sa capitale, ne serait pas un allié inutile.

Une grande puissance s'attache les puissances inférieures à force de bienfaits, et les bienfaits pour les petites puissances sont des arrondissements, des agrandissements de territoire. A cet égard, la Saxe est mal située, et l'électeur n'a aucune chance d'agrandissement vraisemblable. Il est vrai que si je permettais à mon auteur sacré de tailler en plein drap, il ne serait jamais embarrassé. Il ferait de l'Europe un vaste échiquier dont il déplacerait les pièces à volonté; ce ne serait pas l'émigration des peuples, mais celle des princes, et il lui serait indifférent de transplanter un électeur de Saxe sur le Rhin ou en Lorraine, s'il croyait pouvoir lui arranger là ses affaires avec plus d'aisance. Mais je lui ai déclaré une fois pour toutes, que je ne lui passerais pas ces déplacements arbitraires; qu'un souverain a son patrimoine comme un particulier, qu'il doit tenir à son peuple, comme ses peuples tiennent effectivement à lui et à sa famille, et que ce serait une subversion de la plus dangereuse conséquence que de changer de sujets comme de souliers. Depuis cette déclaration sévère, mon auteur sacré n'ose plus se livrer à la fougue de son imagination, mais il est bien naturel que de temps en temps il lui échappe encore quelque velléité de translation, dont je ne fais pas semblant de m'apercevoir.

* Quant à l'électeur de Saxe, il dit que sans l'agrandir, ce serait un service éminent à lui rendre, si dans une occasion favorable, la très haute alliée que nous lui avons ménagée si généreusement, pouvait porter ou, suivant les circonstances, obliger la cour de Berlin à délivrer la Saxe de cette douane oppressive de Magdebourg qui arrête la sortie de toutes les productions sur l'Elbe vers Hambourg, et entrave ainsi, par d'énormes droits arbitraires, son commerce avec le reste du monde. Par ce seul bienfait, le prix des terres doublerait peut-être en Saxe.

Mais si, par une fatalité dont on a vu quelque fois des exemples dans l'histoire, la cour de Berlin, à force d'inquiétude et d'intrigues, de duplicité, de mauvaise foi et de bévues, réussissait à ruiner l'édifice de la grandeur de la maison de Brandebourg, élevé avec tant de peine par le grand électeur et ses successeurs, ce serait alors le véritable moment de procurer à la Saxe un accroissement de pouvoir et un agrandissement quelconque formé des débris d'une puissance mise en dissolution par une suite de son mauvais régime.

Il existe un autre cas de possibilité favorable à procurer un agrandissement quelconque à la Saxe. La succession de Juliers et de Bergue, qui sera incessament vacante, ne manquera pas d'être convoitée par la maison de Brandebourg. Cette succession, sur laquellle la Saxe a peut-être les droits les plus clairs et les mieux fondés, pourrait du moins lui servir de moyen d'obtenir quelques avantages réels. Pour réunir donc les duchés de Juliers et de Bergue à ses autres possessions en Westphalie, on proposerait à la maison de Brandebourg de les échanger contre les deux margraviats en Franconie, qu'on donnerait à la maison de Saxe avec le comté de Mansfeld qui devrait lui appartenir depuis longtemps; et comme il serait grandement convenable aux intérêts de la Russie et à la tranquillité de toute l'Europe, qu'au milieu de deux grandes puissances d'Allemagne sans cesse tendues l'une contre l'autre, on pût former une troisième assez considérable pour les tenir mutuellement dans un repos d'équilibre, mon oracle, pour mettre la Saxe en état de soutenir ce rôle, lui accorde libéralement la réunion du pays d'Erfort aux dépens de l'électeur de Mayence, item la seigneurie d'Asch, et au besoin il sécularise l'évêché de Bamberg pour lier toutes ces parties ensemble et en faire un tout.

En attendant que tous ces travaux de mon infatigable travailleur dans la vigne du Seigneur se réalisent, la grande Catherine pourrait s'attacher l'électeur par quelques marques d'attention capables de le flatter. Par exemple, dit-il, ce prince et ses frères portent, depuis qu'ils existent, la décoration de l'ordre de l'Aigle blanc. S'il est irrévocablement arrêté par le

* destin que le royaume anarchique de Pologne ne doit plus figurer dans ce monde, cet ordre est donc de fait sans chef, sans statuts, et a perdu son existence, à moins que la suprême dominatrice des Russes ne le relève et ne le recrée, pour ainsi dire. Elle remplirait cet objet, en offrant par une lettre directe la grande maîtrise de cet ordre à l'électeur, après l'avoir fait préalablement sonder sur l'acceptation.

Chapitre cinquième.

La Pologne.

Ici commence l'apocalypse du saint évangéliste d'Ecosse. On sait que chaque auteur inspiré a un coin apocalyptien dans la tête, et qu'il est de la nature d'un apocalyptique d'être d'un sens si juste dans de certains passages, et dans d'autres tellement près du délire, qu'au fond on ne sait plus où l'on en est avec lui. Ecoutons cependant l'apocalypse de notre auteur sacré dans ce chapitre-ci et dans le suivant.

Il soutient que l'unique chose qui soit réellement sensible aux sarmates, et sur laquelle ils se lamentent quand ils se rappellent leur patrie, c'est de voir le nom de Polonais entièrement effacé de la liste des nations. Si donc il plaisait à la suprême dominatrice des Russes de se déclarer Reine de Pologne, et de réunir pour toujours cette couronne à celle de l'empire de Russie, tout ce qui respire en Pologne serait au comble de ses voeux. La Prusse méridionale et peut-être même la Galicie voudraient appartenir de nouveau à ce royaume ainsi rétabli, et en faire partie. Les habitants du moins de la Prusse méridionale désirent vivement des armes pour se soulever contre la Prusse, leur marraine qui les a débaptisés; et pour favoriser ce retour vers leur première patrie, Glyschinsky, un des chefs de l'insurrection de la Prusse méridionale, serait prêt de tout entreprendre. Andreoli, maître de langue italienne à Dresde, est initié dans ces mystères; il sait où est Glyschinsky, il en donnerait sans doute des nouvelles et saurait au besoin où le trouver.

Si, au contraire, le projet était de faire de la Masovie et de ce qui reste au delà du partage Russe, un royaume de Pologne sous un roi à part, la grande Pologne ou la Prusse méridionale se souleverait encore pour s'y réunir.

Après avoir agrandi le partage Russe du reste de la Lithuanie, de la Samogitie et d'une partie de Brzesc et de la Volhynie, jusqu'aux frontières de la Galicie et aux bords de la rivière du Bug, on pourrait réserver la Podlachie et tout ce qui est au delà du Bug, y compris la Prusse méridionale, pour en former un royaume de Pologne. Dans cet arrangement, mon inspiré

* laisserait les palatinats de Posnanie et de Gnesen, c'est-à-dire le pays entre la Netze et la Silésie, au Roi de Prusse, et le dédommagerait, au besoin, de la perte du reste par quelque cession en Allemagne; de Juliers et de Bergue, par exemple: car nous ne restons jamais courts, lorsqu'il s'agit de tailler en plein drap. Si ce rayaume de Pologne ainsi circonscrit n'était pas un lopin convenable pour le Sieur Constantin, on pourrait en gratifier le duc d'Oldenbourg, et marier son fils à une des grandes duchesses. Dans ce dernier arrangement, mon oracle dédommagerait le Roi de Prusse par le duché d'Oldenbourg qui l'arrondirait du côté de son Ost Frise, parce qu'encore une fois, nous avons réponse à tout.

Chapitre sixième.

L'Empire de Russie.

Le grand Frédéric dit, quelques années avant sa mort, après avoir arrêté un projet, à son ministre Massow: Nous en aurons le profit dans 30 ans. Celui-ci répondit: Votre Majesté oublie qu'elle a près de 70 ans et moi près de 80. Le Roi, lui replique Frédéric, doit travailler pour la postérité comme pour le temps présent, et oublier qu'il ait jamais à mourir. C'est le cas de mon pair d'Ecosse. Ayant une fois pris à tâche de s'occuper jour et nuit du bien de l'empire de Russie, il vivrait l'âge de Mathusalem, qu'il ne pourrait se promettre de voir l'accomplissement du quart de ce qu'il projette pour la gloire et la prospérité de l'empire qu'il a adopté par pure passion pour le génie qui préside à ses destinées. Mais cela ne ralentit pas ses travaux un instant; il s'en croit redevable à la postérité comme à son siècle, et s'il pouvait les interrompre un seul jour il s'écrierait comme Titus: j'ai perdu ma journée. Les Parques seules, en coupant le fil de ses jours, pourront mettre un terme à ses travaux.

J'ai envie de me débarrasser d'abord de la petite partie politique qu'il m'a encore fourrée dans mes tablettes, afin de n'avoir plus ensuite à m'occuper que de la prospérité intérieure de l'empire.

Mon oracle exige absolument de moi que Votre Majesté tienne habituellement un ministre auprès des états de l'Amérique septentrionale, parce que c'est de là qu'il peut lui venir une infinité d'informations intéressantes sur les vues de l'Angleterre dans cette partie du monde et particulièrement sur l'Amérique méridionale et espagnole qu'elle couve sans cesse des yeux, comme mon oracle couve sans cesse des siens la Grèce, pour la délivrer de l'oppression des barbares, chasser ceux-ci de l'autre côté de l'Hellespont, et offrir au Sieur Constantin, pour le jour de son mariage, un

* bouquet digne de lui. Il ne se dissimule pas que la plus grande opposition qu'il éprouvera dans l'accomplissement de ses voeux, lui viendra du côté de ses compatriotes de la Grande Bretagne, excessivement jaloux et inquiets de tout changement qui n'est pas pour leur avantage exclusif. Voilà pourquoi il désire que Votre Majesté soit ponctuellement instruite de toutes leurs vues dans toutes les parties du globe, afin de les favoriser ou de les traverser et de les arrêter, suivant qu'ils se montreront eux-mêmes plus ou moins disposés à seconder les vues de l'aigle de Russie. La conquête de la Grèce pourrait leur faire craindre pour la sûreté de leur passage des Indes par terre; mais ce passage a lieu par l'Arabie, qui est fort éloignée de la Grèce. On pourrait d'ailleurs, pour les rassurer, leur proposer la cession de l'île de Chypre, pour servir d'entrepôt à leurs marchandises de l'Inde dans l'Archipel; et s'il fallait encore aller plus loin, pour les faire consentir à la conquête de la Grèce, on pourrait, en leur faveur, ajouter la possession de la Sardaigne à celle de la Corse, faire le Roi de Sardaigne Roi de Lombardie, en lui donnant le Milanais; la maison d'Autriche se trouverait amplement et avantageusement dédommagée de ce sacrifice par un agrandissement du côté de la Hongrie et en Dalmatie.

Me voilà enfin heureusement débarrassé de tout le fatras politique et spéculatif de mon oracle; je cours me reposer dans l'intérieur de l'empire de tant de travaux sans exemple.

Nous n'ignorons pas, dit milord, que l'Impératrice, pendant tout le cours de son règne, a toujours porté une attention pariiculière, et n'a épargné aucune dépense pour multiplier les moyens de communication et surtout les canaux dans l'intérieur de son vaste empire. Nous savons, par exemple, qu'il existe un projet pour joindre la Duna au Dnieper par un canal. Pour contribuer autant qu'il dépend de nous, à des vues aussi grandes et aussi bienfaisantes, nous devons observer que la Hollande possède en cette partie un grand nombre d'officiers et d'ingénieurs fort habiles, et que dans la subversion actuelle de ce pays naguère florissant, il serait très aisé d'en attirer en Russie les plus estimés: tous ceux du parti du stathouder sont d'abord indubitablement hors de service. En Angleterre il y a aussi de superbes ouvrages en ce genre. Le meilleur ingénieur pour les canaux est M. Withworth. C'est lui qui a fait en Ecosse le superbe pont en aqueduc près de Glasgow. Il a achevé dans ce royaume le fameux canal pour joindre les deux mers. Le canal en Angleterre pour joindre la Tamise, la Severn et le Trente est son ouvrage.

Deux ponts de nouvelle construction viennent de s'exécuter en Irlande, un à Londonderry et l'autre à Waterford. Celui-ci a près d'un quart de lieue

* de longueur sur la rivière, sans aucun pilier quelconque. Un vaisseau de guerre peut passer sous l'un et l'autre. Les constructeurs sont des américains. Il vaudrait la peine de se procurer les dessins de ces ponts, pour entreprendre de pareils ouvrages sur les grandes rivières en Russie.

Mais ce qui tient infiniment plus à coeur à milord dans son empire de prédilection, que toutes les merveilles de l'esprit humain en fait d'arts, ce sont les progrès de l'agriculture, parce qu'elle est la mère de tous les arts, la source de toutes les prospérités. Sa passion pour cette base de tout le bonheur social est tellement exaltée que dans un moment d'enthousiasme il a désiré que Votre Majesté fît de Monsieur Alexandre un agriculteur, comme Pierre-le-Grand s'était fait charpentier pour se créer une marine. Pour remplir cet objet, il faudrait faire voyager Monsieur Alexandre avec une très petite suite en Angleterre où l'agriculture a atteint un si haut degré de perfection. Il y suivrait tous les procédés de cet art, mettrait lui même la main à la charrue, et reviendrait dans l'empire professer une science pour laquelle son exemple enflammerait tous les grands propriétaires de terres.

Multiplier les établissements de Herrnhuter, pour défricher, cultiver, améliorer, vivifier les bords de la mer Noire, est un des préceptes évangéliques que mon oracle ne cesse de me recommander.

Il me prône très particulièrement le bien infini que l'établissement de plusieurs sociétés économiques en Angleterre a fait aux progrès de l'agriculture; et comme le sage doit être sans cesse en garde contre ses préjugés, et que je suis le sage par excellence, je renonce aux préventions que m'ont laissées les sociétés de ce genre formées en France, en Allemagne et ailleurs par des bavards désoeuvrés, en faveur des sociétés formées pour le même objet en Angleterre, dont je croirai aveuglément tout le bien que mon oracle leur attribue, vu qu'il n'y a rien de plus doux au monde que de croire au bien.

Pour la propagation de cette doctrine canonique sur la grande utilité des sociétés d'agriculture anglaises, mon oracle recommande préférablement le révérend Smirnov, aumônier de l'ambassade russe à Londres. Il serait très propre pour traduire en russe les meilleurs ouvrages anglais de ce genre. Il est lui-même membre de la société pour l'encouragement des arts, de l'agriculture et des manufactures, et il pourrait commencer ses traductions par les Mémoires de cette société, en tant qu'ils traitent de l'agriculture.

Les lettres de la société d'agriculture de Bath passent pour un des meilleurs ouvrages de ce genre, et pourraient également être traduites.

* Une autre société d'agriculture a été fondée très près de Londres sous le patronage du Roi; elle s'appelle la société géorgique; Arthur Young en est le secrétaire et le directeur. Le plan et les règlements de cette société passent pour excellents. Le révérend Smirnov pourrait en rendre compte ou les traduire.

Il faudrait aussi traduire en allemand ou en russe un ouvrage très intéressant sur les améliorations qui ont eu lieu en Ecosse dans l'agriculture depuis 50 ans. Ces améliorations sont prodigieuses, et prouvent quels étonnants progrès on peut faire dans un pays, quand on met de l'intérêt et de la suite dans l'exécution. Il existe en anglais déjà dix ou douze volumes de cet ouvrage dont l'auteur est le président de cette société géorgique formée dans un village près de Londres, ci-dessus mentionée. Il vient aussi de faire paraître un ouvrage qui a fait beaucoup de sensation, sur la conduite et sur la tenue des troupeaux, et sur l'amélioration de la laine. C'est le résultat des observations d'une société fondée en Ecosse pour cet objet, et qui a eu des succès vraiment étonnants. Cet ouvrage mérite également d'être traduit. Il enseigne la manière de traiter les troupeaux dans les pays les plus froids, et de se procurer, même sous le soixantième degré, de la laine très fine.

Un autre ouvrage intéressant sur l'Ecosse vient d'être traduit en allemand sous le titre: Statiſtiſche Nachrichten von Schottland aus Beſchreibungen der verſchiedenen Kirchſpiele, die von den Pfarrern mitgetheilt wurden, zuſammengetragen von Sir John Sinclair, Baronet. Ueberſetzt von J. P. Ebeling. Erſter Band in 8°. Leipzig 1794.

Mon oracle assure que depuis quelques années ces sociétés d'agriculture se sont fort multipliées en Angleterre, et qu'il en est résulté des progrès sensibles dans cet art, le premier et le plus intéressant de l'industrie humaine. Il observe que si le révérend Smirnov est destiné à retourner dans sa patrie, il pourrait être mis à la tête d'une société économique qu'il faudrait établir à Kiev ou dans quelque autre partie méridionale de l'empire.

Aucune vérité ne doit être cachée à celle qui règne pour la gloire et le bonheur de l'humanité. Elle ne doit donc pas ignorer que notre grand évangéliste d'Ecosse a d'insurmontables préventions contre la bonne ville de Sa Majesté Impériale de Pétersbourg, que son épithete de saint ne lui rend pas plus respectable. Il ne pardonne pas à Pierre-le-Grand d'avoir placé sa capitale dans les marais de l'Ingrie. Le soixantième degré lui gèle, seulement en y pensant, la moëlle des os, et il se lamente sur les millions qu'on a dépensés là pour en faire une des plus belles villes de l'Europe. Il en est résulté, dit-il, la fausse qualification de puissance du Nord qu'à la vérité le souffre-douleur n'a jamais admise. Comment peut-on greloter là, quand on

* a dans son empire les climats les plus fortunés à son choix et à sa disposition? Pétersbourg n'a pas besoin d'être au premier rang, au rang le plus glorieux; il maintiendra toujours son importance et son empire dans la Baltique, par son port militaire et commerçant. Enfin il termine son incartade par un apologue. Un souverain d'Orient, dit-il, maître d'un vaste empire, avait placé sa résidence à une des extrémités de ses états. Un jour son ministre avait fait étendre une peau de boeuf dans le jardin de son maître, en le suppliant de se placer successivement sur les quatre coins de cette peau. A chaque coin il remarqua qu'en se plaçant ainsi à l'exrêmité, il soulevait la peau de boeuf toute entière, et ce n'est qu'en se plaçant au milieu qu'il vit la peau également tendue dans toutes ses directions. Il est à présumer que la grande conjuration de mon auteur inspiré contre Pétersbourg ne vient que d'une imagination troublée par la rigueur du froid qui lui enlève jusqu'à la possibilité de l'espérance d'approcher jamais du trône de la gloire auquel il a voué toutes ses spéculations.

Ici il a terminé ses travaux d'inspiration, en me priant de recommander de nouveau à la protection impériale son menuisier décorateur—John Clark, à qui il fournit l'année dernière les moyens d'aller à Pétersbourg, et qu'il y entretient encore, autant que j'en peux juger, toujours dans la ferme persuasion que ses talents doivent faire fortune en Russie, et qu'il ne s'agit que de les connaître pour les employer. Il me charge aussi de dire à Votre Majesté qu'un des frères Artaria de Vienne, de ces commerçants qu'on appelle en Allemagne Kunſthändler, se propose d'aller à Pétersbourg. L'ambassadeur de l'Empeur en pourra donner des nouvelles. Enfin, comme il sait que Monsieur Alexandre cultive la littérature anglaise, il ne veut pas laisser ignorer à son cultivateur en herbe que Boydell à Londres a publié une superbe édition de Shakespeare avec de très belles gravures. Ce Boydell a aussi entrepris une nouvelle édition de l'Histoire d'Angleterre par David Hume, continuée par Smolett. Boydell publie cette édition in-folio par cahiers dont chacun coûte une guinée. On peut juger d'après ce prix de la beauté de l'édition. Elle doit, je crois, avoir en tout 60 cahiers.

Ce vendredi, 20 (31) juillet.

Depuis quinze jours j'ai travaillé sans relâche, sans aucune distraction, jour et nuit, à tirer l'évangile d'Ecosse des tablettes où j'avais été obligé de le consigner à Dresde avec des figures hiéroglyphiques plutôt qu'en discours suivi; la précipitation avec laquelle il fallait suivre et contenter l'auteur inspiré, ne m'ayant permis que l'emploi des signes à la place des lettres.

* C'est un rude travail que celui que je viens de terminer, et j'ai plus d'une fois désespéré de lui survivre. J'avais encore la crainte d'entendre à tout moment le messager de l'immortelle frapper à ma porter, et me crier: Me voilà: livre tes pancartes. Si cela était arrivé, il ne me restait d'autre parti que de me noyer. Enfin j'étais tellement absorbé par cette besogne, qu'ayant reçu, il y a cinq jours, sept lignes tracées le 25 juin par cette main sacrée qui tient entre ses doigts les rênes du plus vaste empire, les destinées de l'Europe et le fil de mon existence, je me contentai de presser ces sept lignes contre mon coeur, contre mes lèvres, d'embrasser les genoux de mon auguste bienfaitrice, et de continuer la rédaction de mon évangile, sans oser l'interrompre pour dire un mot du bienfait. On voit que les évangélistes savaient bien ce qu'ils faisaient, en choisissant pour leurs secrétaires des boeufs ou d'autres bêtes.

On croirait à présent que tout est dit, et que je n'ai qu'à me reposer; mais on oublie donc qu'on ne compose pas un nouveau testament avec un évangile, et qu'après les évangiles vient le tour des épîtres. L'évangéliste d'Ecosse ne s'est certainement pas reposé depuis notre séparation, et il ne me reste d'autre parti que de compléter par ses épîtres le canon des livres inspirés.

Première Epître

écrite au fidèle souffre-douleur par une voie sûre.

A Halle, ce 6 juin 1795.

J'ai quitté Dessau deux jours après votre départ, Monsieur le baron, et la curiosité l'emportant sur la paresse, j'ai fait le voyage de Berlin, pour voir cette basse-cour de plus près, et pour me mettre au fait de plusieurs choses que je n'aurais jamais pu apprendre sans cela. Au risque de vous ennuyer, j'ai envie de vous communiquer le résultat de mes observations.

Le Roi est parfaitement subjugué par Bischofswerder qui lui montre l'esprit de son père et celui de son grand père, le vieux Frédéric Guillaume; ceux-ci lui donnent des conseils sur sa conduite, et lui prédisent les événements. Quiconque gagne Bischofswerder, gouvernera la Prusse. Après lui, personne n'a plus de crédit que Madame Rietz et son mari, qui pourraient être utiles en entraînant le Roi dans des dépenses, et aidant à ruiner son trésor que tout le monde dit être à sec actuellement. L'ambition de Lucchesini est d'aller comme ministre en France; mais ils en enverront d'abord un autre pour rompre la glace. On croit qu'il serait encore possible de rengager le Roi dans la guerre avec la France, si l'Angleterre voulait lui donner un bon subside et une forte somme d'argent pour remonter son armée. Lui-

* même est enragé de la paix que ses ministres l'ont forcé de conclure. Peut-être serait-il ébloui par la promesse de quelque agrandissement comme Juliers et Bergue ou la Poméranie suédoise. S. M. l'Impératrice jugera mieux que personne le degré d'importance d'occuper le Roi de Prusse du côté de la France, quand même ses nouveaux alliés, les Anglais, devraient de nouveau payer les violons pour le faire danser.

Le prince royal a beaucoup gagné depuis son mariage. Il déteste le jeu et la débauche. Le baron de Schielden, mecklenbourgeois et excellent jeune homme, a du crédit sur lui. Son ancien gouverneur, le comte Charles de Bruhl, très digne homme, est lié avec Bischofswerder, protecteur de sa famille, autant qu'un honnête homme peut l'être. L'aide de camp du prince, le major de Kockeritz, a quelque influence, ainsi que son maréchal de la cour, une manière de bouffon, nommé Massow, avec qui le prince cause familièrement, sans pourtant l'estimer. Il sera bon de s'assurer du prince, dans le cas où une indigestion ou un coup d'apoplexie viendrait enlever le plus gros des Rois.

Notre envoyé, milord Spencer, est un jeune homme de mérite, solide et sensé, qui agira bien, pourvu qu'il ne soit pas mal conseillé par son secrétaire de légation, qui de polonais qu'il était, est devenu prussien enragé, et toujours démocrate dans l'âme. On serait tenté de croire, en entendant ce secrétaire et Elliot soutenir les prétentions les plus impertinentes de ce ridicule cabinet, qu'ils sont à ses gages; mais les sots n'ont souvent besoin que de leurs préjugés pour déraisonner.

On soutient ici que, malgré l'alliance, le cabinet de Vienne est aussi jaloux de la Russie que la Prusse peut l'être, et d'après tout ce qui me revient de l'Empereur, je dois lui croire tout autant de génie qu'à son gros voisin.

On commence à craindre à Berlin, à présent que l'armée est rentrée et retirée des bords du Rhin, que s'il survenait quelque nouveau changement en France, on ne s'y permît de tomber sur le pays de Cleves, la Mark etc. entièrement à la merci d'une invasion. Les prussiens commencent à douter de la durée de la république; ils désirent un Roi constitutionnel, ne se sentant pas dignes de la reconnaissance des princes et de la noblesse.

Le baron de Rhede, envoyé de Hollande à Berlin, est un homme de beaucoup de talent et d'expérience dans les affaires. Il conserve jusqu'à présent sa place, pour pouvoir servir la famille d'Orange, et parce que la cour de Berlin l'a désiré, pour empêcher par là l'envoi de quelque homme désagréable à sa place. Si l'Impératrice avait envie de faire une chose qui lui gagnerait le coeur de toutes les premières personnes de Berlin, elle

* prendrait ce ministre à son service; sa femme et sa belle-mère sont alliées ici à beaucoup de monde, et très aimées ainsi que lui, ayant passé 20 années à Berlin. Il est imbu des préjugés prussiens, mais un voyage de Pétersbourg le guérirait. Il m'a dit, entre autres choses, que le cabinet de Berlin redoute tellement le voisinage de la Russie, qu'il céderait volontiers quelques-unes de ses acquisitions en Pologne pour l'établissement d'un état intermédiaire. Mademoiselle de Bischofswerder, qui a du crédit sur son père, passe sa vie chez les Rhedes, et fréquente beaucoup Brown, médecin anglais de la cour, qui aime mieux se mêler d'intrigues que de pharmacie; et dont Richard, espion des anglais, est le secrétaire. Il paraît que la Prusse redoute beacoup les effets de l'alliance entre la Russie et l'Angleterre.

Ne me sentant pas assez en voix pour chanter un Te Deum, je ne me suis pas laissé aller aux pressantes invitations du pacifique Henri de Reinsberg, qui au reste, je me flatte, ne sera pas damné pour une paix qu'il n'a pas plus faite que vous et moi, quoiqu'il s'en pavane prodigieusement.

On lit beaucoup à Berlin l'épître du vieux cosmopolite Syrach, parce qu'on l'a défendue. Il décrie beaucoup nos chers russes; pour faire valoir les turcs et les polonais qui n'ont pas besoin de prôneurs, leurs succès constants parlent assez pour eux; ce que le vieux dit de la Prusse et de l'Angleterre, est vrai à la lettre.

Pour l'amour de Dieu, envoyez ma bibliothèque par des courriers, et ne me traitez pas assez inhumainement pour lui faire prendre la route de Lubeck. Préservez-moi de la peur de la voir tomber entre les mains du duc régent jacobin ou de Bernstorf, qui sont déjà trop éclairés pour avoir besoin de mes lumières.

Puisque je suis en train de bavarder, il faut que je vous dise encore quelques folies du pacificateur de Reinsberg. Il était un des derniers à Berlin à savoir l'arrivée du courrier de la paix. Dès qu'il l'apprend, il envoie chercher la première femme de chambre de la princesse, pour s'informer si sa maîtresse la sait déjà. La chambrière ne le croyant pas, le prince lui dit: Il convient que la princesse en soit instruite, et vous pouvez ajouter que c'est moi qui ai fait cette paix. En s'en glorifiant au petit Hatzfeld, envoyé de Mayence, il lui dit: Voilà donc les trois électeurs ecclésiastiques au diable. Tout ce que je crains, répond celui-ci, est que le prevôt de Magdebourg ne les suive de près.

Au cas que Sa Majesté imaginât que je pourrais faire un peu utilement la mouche du coche à Berlin, je me sacrifierais volontiers par zèle pour ses affaires, quoique ni l'air ni l'eau de ce pays-là ne convienne à ma santé. Je pourrais savoir des choses qu'on se garderait peut-être de dire à son

* ministre; mais dans ce cas, il faudrait que je fusse adressé à son envoyé, à condition cependant, qu'il ne fût pas plus prussien que russe. Je pourrais aussi, toujours en ma qualité de désoeuvré, faire des tournées à Vienne. Quant à Berlin, j'y ferais peut-être quelque peu de bien, si j'étais assisté, y connaissant beaucoup de monde; mais même le climat de l'hiver de ce pays-là me ferait mal; pour celui de l'été, il me tuerait.

Avez-vous rencontré M. de Boudberg? Je m'intéresse à lui à cause de ma passion pour les honnêtes gens, qui est une des mille et une raisons pourquoi je vous aime et vous respecte pour la vie. Adieu, mon cher baron. Pardonnez à cette lettre décousue, écrite au milieu du bruit d'une auberge et des fatigues d'un voyage. Venez me rejoindre à Carlsbad, et nous boirons ensemble à la fontaine de Jouvence. Mille respects à votre petite comtesse. Embrassez pour moi ses charmants poupons.

Seconde Epître

au même.

A Dresde, ce 16 juin 1795.

J'ai trouvé en arrivant ici, Monsieur le baron, votre très aimable lettre du 8, qui ne pouvait pas manquer d'être bien reçue, puisqu'elle me fait espérer de vous voir à Carlsbad, ce qui contribuera autant, je me flatte, à votre santé qu'à mon agrément.

J'avais oublié de vous parler du mariage d'Antoine Radziwill, second fils de la princesse, avec la princesse Louise, fille du prince Ferdinand de Prusse. Approuvera-t-on ce mariage au soixantième degré? N'y croira-t-on pas convenable d'ordonner une révision de la tutelle que le père du prétendu exerce sur les biens de son neveu mineur? Il y a des gens qui prétendent que ce tuteur est un administrateur très infidèle.

J'avais oublié encore de vous dire que la C. de P. comptait tirer parti de G., à qui elle cherche à faire jouer un rôle considérable [1]). Cela m'a été confirmé ici.

---

[1]) Cette épître ayant été confiée à la poste, l'auteur sacré s'y est piqué de discrétion, et s'est servi de lettres initiales pour la communication de ses secrets; mais rien ne peut se dérober à la pénétration du souffre-douleur. Selon ses doctes interprétations, la C. de P. est la cour de Prusse. Le G. dont elle compte tirer parti, est l'écossais Grey, secrétaire de légation de la cour de Londres et jacobin. Le fugitif est Elliot, désertant sa maison à l'approche du souffre-douleur, pestant plus que jamais contre la Russie, malgré l'alliance actuelle; et les intrigues sourdes sont tournées contre cette alliance. L'oracle récent qu'Elliot s'est choisi est Brockhausen, nouveau ministre prussien, qui vint pendant mon séjour à Dresde relever le comte d'Arnim.

* J'ai retrouvé ici le fugitif, pestant plus que jamais contre notre grande dame, malgré nos amours actuelles. Je puis vous assurer qu'il y a déjà des intrigues sourdes en train pour détruire, s'il est possible, l'ouvrage récent. Le fugitif prend son instruction à présent chez B. le M. P. Vous m'entendez bien.

A mon retour j'ai trouvé une lettre de John Clark dont je vous ai tant ennuyé. Il me dit que le chevalier Withworth a montré ses dessins à Quarenghi, en le priant de s'intéresser à lui; que Quarenghi avait promis d'en parler à Sa Majesté; mais qu'il n'en a rien fait, ou qu'il a mal représenté son affaire. Ne pourriez-vous pas mettre mon protégé directement sous la protection impériale? Vous servirez Sa Majesté par là, car il est très habile. Il a fait une autre demande pour obtenir de quoi payer ses dettes et partir incessamment. Dans ce cas, la Russie perdra un homme utile, qualifié pour être architecte, et que mon zèle lui avait ménagé.

Troisième Epître

au même.

A Dresde, ce 22 juin 1795.

Je me flatte, mon cher baron, que vous avez reçu les deux lettres que je vous ai adressées, l'une de Halle, l'autre d'ici. Depuis ce temps j'ai appris quelques détails touchant cet absurde mariage des Radziwills, qui vous étonneront tant du côté de l'ingratitude de cette famille envers leur auguste bienfaitrice que du côté de la bêtise intrigante des prussiens. Un parent de la princesse qui est ici, a dit à quelqu'un de ma connaissance, que le but de ce beau mariage était de faire ou le père ou le fils Radziwill roi de Pologne sous la protection de la Prusse; qu'en conséquence les fils Radziwill emploieront leur crédit sur la jeunesse polonaise pour la soulever contre la

---

Ce Brockhausen est un jeune homme, parent du grand Herzberg. Si c'est un aigle, il est bien dangereux, car il sait parfaitement se donner l'air et le jeu d'une buse. Son illustre parent l'employa d'abord dans les Pays-Bas autrichiens, lorsqu'il voulut les soulever contre leur légitime souverain; il l'envoya ensuite en France où je l'ai connu, pour intrigailler pendant la révolution. Depuis Brockhausen a volé de ses propres ailes dans le poste de Suède d'où il est venu à Dresde pour l'éducation politique, à ce qu'il paraît, du barbon blanc bec Elliot. Son prédécesseur d'Arnim avait demandé son rappel, pour se marier et pour quitter le service. Il disait, à ce qu'on m'a assuré, qu'on pouvait bien être prussien, parce que cela ne dépendait pas de soi; mais qu'on ne pouvait pas sans honte servir une cour qui se conduisait comme celle de Prusse.

* Russie; que le Roi de Prusse donnera des armes &c. après avoir obtenu préalablement la garantie de ses possessions actuelles. L'autre version est que le Roi de Prusse cherchera à faire valoir quelques droits chimériques, dérivés d'une princesse Radziwill, née de Brandebourg, restée veuve sans enfants, pour s'emparer d'une partie de la Lithuanie. Ce de quoi du moins on ne peut douter, c'est que l'intrigaillerie a donné lieu à ce mariage. Il s'est négocié l'hiver dernier sous les auspices de Walisky, qui s'était trouvé très offensé que le comte Golovkine, qui apparemment ne le trouvait pas digne de paraître en présence de son idole, le Roi de Prusse, eût empêché le ministre de Russie de le présenter à la cour. Le joueur cordonné et titré se fit alors présenter par Hatzfeld, envoyé de Mayence, moyennant le cadeau d'une bague.

On dit que le fameux mariage est différé jusqu'au mois d'octobre; si l'on ne trouve pas moyen de l'empêcher, il occasionnera des troubles. On pourrait mettre en jeu la vanité prussienne, et peut-être le gros rétracterait-il sa permission, comme Louis XIV fit en pareille occasion. Le père Radziwill veut donner en mariage à son fils, qui les mangera à Berlin, des terres sous la domination de la Russie. Le gros, pour célébrer les fiançailles, a fait jouer il Demogorgon ou il Filosofo confuso. Lisez le Démagogue, et l'opéra pourra servir pour célébrer plus d'une fête.

On dit dans ma maison que l'Angleterre, malgré l'alliance avec l'Autriche, cherche à appuyer à Pétersbourg les prétentions prussiennes en Pologne. Peut-être y dit-on cela au hasard, parce qu'on le désire, car ce serait une étrange manière de gagner la confiance de la cour de Vienne. Il est néanmoins hors de doute que, tant que le Roi d'Angleterre gardera ce maudit pays d'Hannovre, nous serons toujours entraînés vers la Prusse. Quelque âme charitable ne pourra-t-elle donc jamais faire comprendre au Roi George, que l'intérêt évident de l'électeur d'Hannovre est de tâcher d'abaisser un voisin aussi redoutable et aussi inquiet? Mais tous les hannovriens sont gagnés par la Prusse, et ne soupirent qu'après cette domination qu'ils préfèrent à celle de leur souverain.

Pour quoi donc M. de Clerfait ne passe-t-il le Rhin? Je me flattais que M. de Lehrbach, dont j'ai bonne opinion, du moins comme d'un honnête homme, redresserait les bêtises de sa cour.

Nous avons ici un temps du mois de décembre, après notre canicule de la fin d'avril. Tout le monde est malade. Moi, j'ai des coliques, dont vous direz peut-être que ma lettre se ressent.

* Quatrième Epître

au même.

A Dresde, ce 28 juin 1795.

Vous avez eu des spasmes, Monsieur le baron, ce qui est très vilain de votre part, sans en avoir demandé et obtenu ma permission: car ces spasmes contrarient prodigieusement mon plan de vous conserver en bonne santé jusqu'à l'âge de notre vieux Parr, pour être la consolation de vos amis et l'appui des malheureux. Sacrifiez-moi vos spasmes, et je vous dispenserai du mariage que notre centenaire anglais contracta à l'âge de 130 ans, pour se désennuyer. Apparemment qu'il n'avait pas à s'occuper du sort d'infortunés et d'intéressants émigrés, ni à faire des courses à Dresde pour intriguer le corps diplomatique, ni à entretenir une correspondance d'amitié avec le plus grand souverain qui ait jamais occupé un trône. Il faut sérieusement enrayer vos écritures et accompagner tous les jours mesdemoiselles Katinka et Adèle à la promenade; il faut surtout vous hâter de venir me rejoindre à Carlsbad où les eaux et ma science achèveront votre guérison. Le meilleur chemin est par Cobourg et Bareith; du moins de Cobourg à Carlsbad le chemin est très passable, même pour une berline.

Ici finit le médecin pour faire place au politique qui a l'honneur de vous faire part que Guillaume le gros héberge Madalinsky à Breslau. Des gens venus ici et qui ont dîné chez lui, assurent qu'il tient une très bonne maison sur une pension considérable qu'il reçoit du gros Roi, et que celui-ci, à ce qu'on prétend, donne moins par charité chrétienne que dans la vue de lâcher ce polonais quelque beau matin dans les états de notre très grande et très aimable Impératrice, ou bien dans ceux de son allié, l'Empereur des Romains.

Mon hôte prétend que Madame Rietz reste à Vienne pour que l'esprit intrigant de Lucchesini, se fourrant sous les jupes de la belle, puisse déterminer le ministère de Vienne à une paix honteuse sous la médiation de son gros amant. On tient du moins pour certain que force courriers passent de la belle à son ancien amoureux. J'avais oublié de vous dire que parmi la canaille dont cet amoureux est entouré, il y a un homme qui était ci-devant un de ses chasseurs et qui joue maintenant un rôle. Dans une basse-cour comme celle-là, il n'y a pas d'être si vil qu'il soit, qu'il faille négliger, car plus ils sont méprisables, plus ils influent. J'espère que vous avez reçu ma lettre avec le mot de l'énigme du mariage royal prussien polonais. J'attendrai votre réponse à Carlsbad où je vais incessamment.

* Que dites vous de l'empoisonnement du pauvre petit Roi de France? Les puissances jugeront-elles à propos de tourmenter Louis XVIII? Moi qui n'ai que le bien de la chose à coeur, je voudrais le faire entrer en France avec l'armée de Condé, et M. le comte d'Artois par la Bretagne, dont on nous donne des nouvelles favorables; mais je doute que la cour de Vienne soit de mon avis, non plus que celle d'Angleterre.

Il faut dire de ma part à l'amirauté de notre héroïne impériale que le Belt est une meilleure issue de la Baltique dans la mer du Nord que le Sund. Notre amirauté l'a fait sonder pendant la dernière guerre. L'eau est très profonde, et les vaisseaux ne sont pas obligés de s'alléger d'une partie de leurs canons. Adieu, vive et vale.

Cinquième Epître

au même.

A Dresde, ce 6 juillet 1795.

J'ai l'honneur de prévenir Monsieur le baron que le 10 du mois je quitte Dresde très absolument pour me rendre à Carlsbad, et pour y apprendre sa prochaine arrivée. Nous venons d'apprendre ici la mort subite de milord Spencer, envoyé d'Angleterre à Berlin. J'en suis très fâché, car d'après le peu que j'en avais vu, il m'avait paru un jeune homme d'un grand mérite. Voilà donc Grey, très boute-feu, très prussien et de plus, zélé jacobin, chargé des affaires d'une cour qui fait la guerre aux sans-culotte, et qui fait profession d'être fort mécontente de la conduite de la Prusse. Je vous conjure de faire imprimer au plustôt votre Mercure contenant le mot de l'énigme conjugale; cela me paraît très pressé.

On débite ici que les Carmagnoles se préparent à passer le Rhin avec le consentement et l'approbation de votre protégé de Reinsberg et de son gros et auguste neveu.

Les badauds de Dresde font Louis XVIII moine à Venise. Il sera drôle de voir un roi se faire abbé, pendant qu'un abbé [1]) usurpe son trône; mais hors de la Russie, rien ne doit paraître impossible dans le plus étrange des mondes possibles.

Ayez la bonté de m'adresser votre réponse à Carlsbad et la bonté plus grande de suivre votre lettre de près.

---

[1]) Apparemment l'abbé Sieyes. Grimm.

* Sixième Epître

au même.

A Carlsbad, ce 22 juillet 1795.

Je suis arrivé trop tard le 18 pour recevoir votre lettre du 13 et y répondre ce jour-là; mais je profite du premier jour de poste pour m'empresser de vous informer que votre appartement vous attend. Arrivez au plus vîte pour l'occuper et envoyer vos spasmes au fond du Sproudel. Je me flatte que vous avez reçu toutes mes lettres.

Minerve a bien fait de remettre votre voyage du Nord au printemps, car il vaut mieux brûler votre encens sur son autel en été qu'en hiver, jusqu'à ce qu'il plaise à Minerve de retourner en Grèce habiter ses anciens temples, d'où les décrets émanés de sa profonde sagesse produiront de bien autres effets, que pendant qu'elle réside dans les marais glacés du soixantième degré.

Vous trouverez ici plusieurs de vos connaissances. Comme on défend ici les écritures, défense dont je me flatte que vous ferez votre profit, je ne puis qu'en vous embrassant à la hâte, vous souhaiter un heureux et prompt voyage.

Septième Epître

au même.

A Carlsbad, ce 31 juillet 1795.

Je commence, mon cher baron, à être très inquiet de votre silence, car il y a bien longtemps que je vous ai mandé que votre appartement était prêt, et que je désirais vivement de vous voir l'occuper. Je resterai ici, suivant mon usage, jusqu'au mois d'octobre. Depuis quelques jours, le temps qui avait été détestable, commence à se remettre, et je me flatte que vous aurez une saison favorable pour vos eaux. Je n'ose vous proposer d'amener avec vous votre aimable petite colonie, puisqu'elle serait de la contrebande ici; nous avons bien les Caramans et Madame de Boisgelin ici, mais avec une permission expresse, signée de l'Empereur. Sans une exception spéciale, la qualité d'émigré ne permet pas de prendre part au bénéfice de nos

* eaux[1]). En revanche vous pourriez loger notre ami Reichard, à qui les eaux feraient du bien et que je serais ravi de revoir.

Il paraît que notre débarquement va son train, sans cependant avoir des succès assez marquants au gré de mes désirs. Mille respects de ma part à la comtesse, et mille souhaits pour votre heureux et prompt voyage.

Ce mardi, 24 juillet (4 auguste) 1795.

Ici se termine la révélation écossaise du pair de la Grande Bretagne miraculeusement inspiré par la-toute puissance de l'immortelle. Sa rédaction m'a mis dans un tel état d'épuisement, que si je ne me hâte pas de fermer cette monstrueuse pancarte, je pourrais bien ne plus trouver en moi un souffle de vie suffisant pour la faire arriver au pied de l'autel où elle doit être déposée.

A Grimma-Gotha, ce mardi, 24 juillet (4 auguste) 1795.

Madame,

Il faut que je commence ma nouvelle pancarte, ou plutôt que je continue la précédente, que je viens de cacheter dans l'instant, par une interruption..... Ciel! dans quelle faute as-tu pensé me faire tomber? ou plutôt, puisque je m'en aperçois encore à temps, de quel malheur ta bonté daigne me préserver! A peine mon nouveau testament composé de l'évangile et des épîtres de l'apôtre d'Ecosse, est-il sous le scel, que voulant jeter au feu les tristes tablettes qui en ont été surchargées à Dresde, afin qu'il n'en reste qu'une seule et unique édition dans les archives du souffre-douleur impérial à Pétersbourg, j'y découvre trois noms immortels qui m'avaient échappé, et qui m'obligent d'intercaler en leur faveur un verset tout entier dans le chapître sixième de l'évangile consacré à l'empire de Russie. Ce verset doit se placer parmi ceux qui traitent de l'économie politique dont notre auteur sacré est si saintement et si grandement engoué.

Approchez donc, grands hommes, vous qui au lieu d'entrer dans le canon où votre nom doit rester consacré à la vénération des fidèles, avez pensé

---

[1]) L'auteur sacré a ici une distraction qui pourrait, auprès d'un commentateur plus méfiant et moins dévot que moi, compromettre l'infaillibité de son inspiration. Il oublie qu'une émigrée décorée du chiffre de la suprême dominatrice des Russes, n'a besoin nulle part d'un brevet de tolérance, et encore moins, à ce que j'aime à me persuader, dans les états de l'Empereur, qu'ailleurs; c'est du moins ce que nous avons partout et constamment éprouvé depuis trois ans. Mais quelque besoin qu'une émigrée puisse avoir d'eaux minérales, elle ne se permet pas d'avoir recours à un remède inséparable d'une si grande dépense.

* entrer ici avec mes tablettes dans la cheminée de l'oubli de mon taudis; approchez tous les trois. Vous, Herr Commiſſions-Rath Riem qui vivez, je crois, à Dresde, où je ne vous ai pourtant pas rencontré, parce que, suivant les lois immuables de la nature, deux soleils ne pourraient se rapprocher sans causer un bouleversement dans l'univers; vous, secrétaire infatigable de la société économique de Leipzig. Vous mériteriez d'être correspondant de la société économique de Pétersbourg, de même que Herr Geißler qui vit aussi quelque part en Saxe, et qui a publié une traduction des Transactions de la société de Londres, en tant qu'elles concernent l'économie politique: mon auteur sacré vous recommande expressément à l'honneur de cette correspondance; mais comme la perfection réside dans la trinité, et qu'il vous faut un troisième, mon évangéliste vous associe Herr Profeßor Knoblauch, secrétaire de la société économique de Prague, et aussi grand homme que vous deux.

Il existe en Bohême un quatrième, qui est peut-être plus grand homme que vous trois. C'est M. le baron de Hillebrand, correspondant du Cercle de Rackonitz pour la société économique de Prague. Celui-là est regardé comme le père et le créateur de la bonne agriculture dans sa patrie. Il prend chez lui des élèves externes en pension, et après les avoir initiés par la théorie éclairée par une pratique journalière, dans tous les mystères de cette profession, la première et la plus respectable, il les renvoie dans leur patrie fonder ou perfectionner la doctrine puisée dans ses champs et dans son manoir, et en propager, s'il est possible, les principes par tout l'univers.

O U F!

Me voilà délivré de mes travaux évangélico-apostoliques, mes tablettes sont brûlées, et je puis enfin m'écrier: ô le cruel métier que celui d'écrire sous la dictée d'un inspiré, de coucher par écrit ses revêries de toutes couleurs et sans fin, d'y mettre un ordre apparent incompatible avec le désordre de la tête d'un inspiré. Comme on ne sent la violence de la maladie qu'on a essuyée, que lorsqu'elle est finie, que la fièvre est tombée, et qu'on entre en convalescence, ce n'est qu'en ce moment que je sens pour la permière fois l'excès de l'épuisement auquel m'a réduit ce métier après un exercice de quatre mois. Je ne crois pas qu'on m'y ratrappe de sitôt, et que du reste de ma vie je sois tenté de nouveau de l'honneur d'être l'animal symbolique d'un évangéliste; mais à quoi ne se résout-on pas pour le service de son auguste Souveraine? Il n'y a point de métier, quelqu'assomant qu'il puisse être, que cette idée ne fasse supporter.

* Si Votre Majesté Impériale a eu le courage de lire toute la pancarte précédente, elle me dira sans doute: Mort de ta vie! j'avais bien besoin que tu te misses sur les dents, pour m'accabler d'un fatras dont il n'existe rien de pareil en fait d'ennui. Il faut assurément être bien désoeuvré, bien rêvecreux, pour se remplir la tête de tous ces fagots, et pour avoir le courage de les coucher par écrit. Je ne serais pas trop étonné que ce fût là tout le remercîment que nous eussions de nos travaux apostoliques, mon évangéliste et moi, son animal symbolique. Puisque je serais tenté moi-même de me faire ce compliment, il faut bien que je le rembourse de mon auguste Souveraine, si l'excès de l'ennui que je lui ai causé, l'invite à m'en gratifier. Je dois cependant lui rappeler que je n'ai entrepris ce terrible travail avec tant de courage, que parce que j'ai lu dans la précieuse pancarte que je dois au dernier messager de l'immortelle, les mots sacramentaux: J'attends avec impatience ce que votre plume aura tracé sous sa dictée. Après la signification d'un tel ordre, m'était-il permis de supprimer une syllabe de ce que l'inspiré avait confié à ma loyauté? Non. Mais qui pouvait s'attendre, me dira Votre Majesté, à ce débordement de revêries et de gâchis politique? Celle qui ne peut pas ignorer qu'après son souffre-douleur, c'est le pair d'Ecosse qui s'occupe le plus d'elle, avec la différence que celui-ci se borne à se tourmenter pour ses affaires, tandis que l'autre voltige sans cesse autour de sa personne sacrée et ne peut s'en arracher un instant; que milord ne rêve à elle que toute la journée, au lieu que le souffre-douleur y pense jour et nuit. Au reste, j'oserai me flatter, tant que je ne saurai pas le contraire, que ma pancarte n'a fait éprouver à mon auguste Souveraine que sa vertu soporifique, qui me parait dominer et l'emporter sur toutes ses autres qualités: en ce cas, tout l'empire se croira redevable envers moi, d'avoir si heureusement administré un remède somnifère à celle qui veille sans interruption et travaille sans trève ni cesse, en Matouschka infatigable, au bonheur et à la gloire de ses enfants. Tout ce que je crains, c'est que cette forte vertu soporifique ne perce à travers les enveloppes dont je l'ai entourée et ne gagne le porteur du paquet dans sa chaise de courrier. Das wäre ein neuer und ſchrecklicher Zufall, wenn er ſich auf ſeiner Reiſe, durch eine ihm unbekannte allzuheftige Ausdünſtung, des Schlafes nicht entwehren könnte, und von ihm überwältiget würde. Das wolle der barmherzige Gott verhüten! car cet évangile n'a pas été composé pour le vulgaire, und der Laye oder gemeine Mann, er mag nun im Purpur auf dem Thron blitzen, oder im Miniſter-Cabinet bey großen Gedanken ſchwitzen, oder als Schuſter bey ſeinem Leiſten ſitzen, ſoll nicht ſeine Naſe ſo ſpitzig ſchnitzen. In dieſem Grundſatz iſt das Römiſche und Schottiſche Dogma das nämliche. Nous ne voulons pas même que l'évangile d'Ecosse

* parvienne à la postérité, parce que, pour conserver le saint respect dû aux miracles, il ne faut permettre à personne de regarder derrière le rideau. Or qu'y a-t-il de plus miraculeux sous le soleil que ce règne de 33 ans? Mais si les esprits forts venaient à connaître l'évangile d'Ecosse, ils ne manqueraient pas de dire: Il lui était, parbleu! bien aisé de régner et de faire des miracles par douzaines; ses évangélistes lui mâchaient ses morceaux, elle n'avait qu'à tordre et avaler et digérer. Cela était bien commode!

Quant à moi, Madame, avant de songer à me refaire, il me faut annexer ici les livres apocryphes de Reinsberg avec le docte commentaire qui y appartient. C'est ici leur place. Je les avais préparés avant d'entreprendre la rédaction de l'Evangile d'Ecosse.

Allerunterthänigster buntscheckiger Vortrag.

A Grimma-Gotha, ce mercredi 1 (12) auguste 1795.

Madame,

1°. Après la réception de la dernière divine pancarte que je dois à la constante bienfaisance de mon auguste et tant bonne Souveraine, je ne perdis pas un instant pour écrire à Rome et m'emparer des deux tableaux de Teresina Mengs de Maron. On m'avait si positivement annoncé à la galerie de Dresde sa perte récente que je ne fus pas peu surpris de recevoir un beau matin une lettre d'elle qui s'était croisée avec la mienne, et par laquelle elle répondait à celle que j'avais écrite à son mari, pour lui dire que j'allais prendre les ordres de Votre Majesté Impériale au sujet des deux tableaux de sa femme qu'elle venait de terminer. Elle m'apprit dans cette lettre que son mari avait été attaqué d'une grave et serieuse maladie, et qu'il en était encore si peu rétabli qu'elle était obligée de me répondre à sa place, parce qu'il était hors d'état de tenir la plume. Vraisemblablement c'est cette maladie du mari qui a donné lieu au bruit de la mort de la femme que j'avais trouvé si parfaitement établi à Dresde qu'il n'y avait pas moyen d'en douter. Cette capitale de la Saxe s'enorgueillit d'avoir donné naissance à un aussi grand peintre que Mengs, dont le nom n'est prononcé à Rome qu'avec respect, et quoique cet artiste, ainsi que tous ses parents, ait passé les trois derniers quarts de sa vie en Italie et en Espagne, on regarde sa famille toujours comme indigène dans sa terre natale, et l'on met de l'intérêt à être au courant de son sort. Au demeurant, les ordres de Votre Majesté sont exécutés, et les tableaux sont déjà en route de Rome à

* Gotha; mais comme j'attends à tout instant le passage du courrier qui doit enlever mes paquets, je n'ose me flatter de voir ces tableaux arriver assez vite pour pouvoir les lui confier, et à vue de pays, ils ne pourront parvenir à leur glorieuse destination que par le premier messager de l'immortelle qui suivra celui que j'attends. J'ai chargé à Rome de l'expédition de ces deux tableaux pour ici, le fils du feu consul de Votre Majesté, Santini, qui continue la maison de commerce de son père, et sur lequel on m'a donné des notions très favorables. S'il a eu trop d'ambition, en voulant succéder à son père dans la charge de consul, il n'en est pas encore totalement guéri, et il désire toujours bien vivement d'avoir l'air de tenir par quelque titre honoraire à la mission impériale à Rome. J'ai pensé que le titre d'agent ne done aucune existence diplomatique, et que les banquiers qui font quelquefois des paiements pour les grandes cours en sont souvent honorés par elles; ainsi je ne doute pas que François ou Francesco Santini ne fût au comble de ses voeux, s'il pouvait porter le titre d'agent de Votre Majesté Impériale.

2°. Presque dans le même temps où je fus chargé de demander les ordres de Votre Majesté sur les deux tableaux de Teresina de Maron-Mengs, je reçus une requête d'une autre artiste célèbre. Angélica Kaufmann m'écrivit en allemand avec une modestie fort offensante pour moi, puisqu'elle supposait que je ne devais pas même la connaître de nom. Je lui répondis qu'apparemment elle me prenait pour un de ces hommes sauvages et barbares à qui les noms illustres dans les arts devaient être entièrement inconnus. Sa requête était en faveur d'un artiste qui s'appelle Giovanni Battista dell'Era. Ce jeune artiste prétend avoir reçu en 1791, par le canal du feu divin Reifenstein, plusieurs ordres de M. Quarenghi, pour lui commander divers ouvrages de la part de Votre Majesté Impériale, comme il appert par la requête du jeune artiste qu'Angelica me charge de déposer au pied du trône. Avant d'en oser importuner Votre Majesté, j'ai voulu savoir en quoi consistaient ces ouvrages commandés, et quel prix en était dû. Cela m'a valu une seconde lettre d'Angelica. Votre Majesté trouvera toutes ces pièces jointes à ce Vortrag. Si tout cela est exact, il en résulte que M. Quarenghi a commandé dix tableaux dont les sujets sont marqués dans une de ces pièces. Cinq de ces tableaux furent finis et envoyés en 1792 et, d'après une lettre de M. Quarenghi au feu divin, honorés de l'approbation de Votre Majesté. Les cinq autres sont aussi terminés depuis longtemps. On en a écrit plusieurs fois à M. Quarenghi, pour avoir les ordres de Votre Majesté; il n'a jamais répondu. Je ne sais quel autre artiste d'Italie a voulu me persuader que M. Quarenghi lui avait répondu qu'il ne fallait plus s'adresser à lui pour ces objets, parce qu'il allait faire un voyage hors du pays, de

* sorte que je ne sais véritablement où le prendre en ce moment. D'après l'exposé du jeune artiste, le prix fut fixé à cent ducats par pièce pour les huit tableaux ronds, et à deux cents ducats pour chacun des deux grands en quarré long, en tout 1200 ducats; en outre il lui fut promis une somme de 500 écus romains pour l'achat des matières nécessaires à cette entreprise. De tout cet argent, il n'a touché que 300 écus romains, de sorte qu'il lui est dû d'un côté 1200 ducats ou zecchini, de l'autre 200 écus romains: en revanche il a encore en sa possession cinq des dix tableaux tout prêts à être livrés aux ordres de Votre Majesté, savoir trois ronds comme les cinq du premier envoi, et les deux plus grands. J'ai vu par les gazettes que Votre Majesté a nommé le comte Cassini son consul à Rome, et je crois qu'il serait le plus à portée de terminer cette affaire d'après les intentions de notre auguste Souveraine; mais il serait tout à fait digne de la bonté de Votre Majesté de m'intimer cette volonté suprême par une seule ligne, afin que je puisse prouver à l'illustre Angelica que je n'ai point négligé une affaire qui lui a coûté deux lettres allemandes. A propos d'elle, j'imagine que sa rivale, Madame le Brun, que j'ai laissée sur son départ à Dresde, est rendue depuis longtemps au séjour de la gloire, à moins qu'elle n'ait été interceptée à Berlin pour peindre les noces de l'Amour Antoine Radziwill avec Psyché Louise Ferdinand.

3°. Au moment de mon départ pour Dresde, je reçus une lettre de Vienne d'une ancienne amie, Madame de Bassewitz, soeur de la comtesse de Clary qu'on appellait à Vienne la petite veuve, et qui faisait les honneurs de la maison du prince de Kaunitz. C'est elle qui invitait, recevait, faisait les honneurs de la table et du salon. La fille de Madame de Bassewitz jouait, sous le nom de Lolotte, un rôle à cette cour de Kaunitz. Elle n'était pas jolie, mais elle avait de l'esprit que le prince et ses entours faisaient valoir. On l'avait fait chanoinesse d'un chapitre protestant, et comme elle devait jouir un jour, après sa mère et sa tante, d'une fortune assez honnête, je ne sais pourquoi elle s'avisa, il y a quelques années, d'épouser à l'âge de plus de 35 ans un comte de Callenberg âgé de plus de 40 ans, homme à la vérité d'une bonne maison de Saxe, mais sans fortune et sujet à des spéculations qui n'y mènent pas, et qui varient à tout moment. Votre Majesté demandera qu'est ce que tout cela fait au Vortrag de son souffre-douleur. Tout cela est nécessaire pour l'intelligence du passage d'une lettre de Madame de Bassewitz du 31 mars que je vais transcrire ici:

«Vous savez qu'à l'étonnement de tout le monde, notre cher prince défunt n'a pas laissé marque quelconque de son souvenir à ma soeur, excepté celui qui est le plus précieux pour une belle âme comme la sienne, le souve-

* nir d'avoir joui pendant trente ans de l'estime distinguée de ce grand homme, et qui ne s'est jamais démentie. Cependant le prince d'aujourd'hui a cru qu'il fallait faire à ma soeur une démonstration quelconque de sa reconnaissance, et lui a donné un déjeuner superbe en porcelaine, parce que c'était la dernière chose dont son père s'était occupé. Elle l'a accepté, mais pour le donner immédiatement à ma fille. Vous savez que cette fille chérie et presqu'adorée me quitte et va s'établir dans la Silésie prussienne où son mari a jugé à propos d'acheter une terre; vous savez aussi que toute porcelaine étrangère y est contrebande sans rémission. Que faire de ce précieux don qui devient une charge? Nous savons tous que le feu prince de Kaunitz destinait ce déjeuner à S. M. l'Impératrice de Russie, pour lui donner une idée de la perfection de notre fabrique. Vous, mon ami, qui possédez le talent de la persuasion, tâchez d'engager Sa Majesté à l'acheter. Le prix en est cent ducats. Il consiste dans deux théières d'une très belle forme, une jatte, un sucrier, une espèce de terrine pour de la crême ou du bouillon, et deux tasses; le tout couleur gros bleu avec des arabesques en or, dans un étui parfaitement bien conditionné. Si vous pouvez rendre ce service à ma fille, dont vous êtes certainement le plus ancien ami, vous serez bien aimable. Elle ne sait rien de cette négociation, et ne la saura que lorsque je pourrai lui dire à qui elle a l'obligation de l'heureuse issue dont je me flatte un peu, vu votre crédit et vos bontés pour nous».

A cela je n'ai rien à ajouter si ce n'est que de ces propositions il en pleut chez moi depuis vingt ans, et que je les laisse toutes sécher sur mon dos sans m'en vanter à Votre Majesté. J'ai excepté celle-ci de la règle générale, parce que j'ai été anciennement attaché au char de Lollote, et qu'elle m'a rappelé le legs que l'abbé Galiani laissa à Votre Majesté pour prix et somme de tant à payer à sa succession. Ce déjeuner était destiné à notre auguste Impératrice, comme une marque de la haute bienveillance du prince de Kaunitz, qui n'était pas en usage de prodiguer ses faveurs aux souverains. Sa mort ayant prévenu cette destination, il ne tient qu'à Votre Majesté de se mettre en possession de ce cadeau pour son argent; c'est bien gracieux. S'il n'est pas possible que Votre Majesté s'en passe, il me semble que son ambassadeur à Vienne est tout à portée de finir cette affaire, et de confier le cadeau payé au premier courrier.

4°. Votre Majesté peut déjà suffisamment se douter que si j'avais entrepris ma course de Dresde pour y faire l'Olibrius ou le joli coeur, je me serais trouvé loin de mon compte; mais j'y allais pour me mettre sous la fé[illegible]le d'un inspiré, et je savais par expérience que cette vie n'était rien [illegible]ue douce. Mais au moins je devais me flatter que mes tribulations

* se borneraient à cette auguste et pénible fonction, à laquelle je me soumettais de grand coeur, puisqu'elle me procurait l'avantage de m'occuper du matin au soir de l'objet immortel de mon culte. Ce n'était là l'avis de mon ange ou de mon démon tutélaire; et puisque Votre Majesté connaît si bien la très éloquente et très réclamante moitié du prince Charles de Saxe, je puis lui faire concevoir d'un mot l'excès du bonheur dont j'ai joui en devenant le confident malgré moi de toutes ses réclamations éloquentes, de toutes ses inquiétudes sur son sort à venir, sur celui de sa fille, de toute cette activité polonaise de génie, et de toute cette fécondité de ressources dont il ne tarit jamais. Quand on est dans la souricière, c'est le moment de faire des réflexions philosophiques et morales. J'en ai donc fait beaucoup sur le chagrin que les princes se préparent en contractant de mariages inégaux; c'est une des sources les plus sûres et les plus infaillibles des tourments de leur vieillesse. La femme et la fille du prince Charles ne sont pas reconnues par l'électeur; si cette dernière avait le rang de princesse de Saxe, son apanage serait réglé par la loi, et jamais elle n'eût été exposée à avoir recours à la toute-puissante protection d'un souffre-douleur. J'avais cependant déployé toute l'énergie de mon génie pour faire comprendre à son éloquente mère qu'il n'était pas en mon pouvoir de porter le moindre remède à tout cela, que cette affaire en était une d'état; que les bontés si gratuites de Votre Majesté ne me donnaient aucun droit de lui parler d'affaires d'état, et qu'une faveur non méritée dont mon étoile m'avait fait jouir depuis si longtemps ne devait produire sur moi d'autre effet que de me rendre d'autant plus attentif à ne jamais franchir les bornes que je m'étais prescrites. Toute mon éloquence germanique n'a fait que blanchir devant la faconde polonaise. Il a fallu lire et étudier toutes les pièces mentionnées dans la pièce capitale ci-jointe; il a fallu surtout écouter avec un flegme vraiment angélique pendant deux heures tout le plan relatif à l'acquisition des terres que possède le duc de Deux-Ponts en Bohême en faveur du prince Charles, qui est l'idée favorite du jour longuement détaillée dans cette pièce capitale dont je viens de parler. J'ai observé que si ce projet était exécutable, le Roi de Prusse pouvait seul à cet égard entrer en négociation avec le duc de Deux-Ponts, et que Si Votre Majesté était disposée à y engager S. M. prussienne, je ne m'y opposerais en aucune manière, parce que ne pouvant me charger du rôle de négociateur, je ne pouvais figurer dans tout ceci que comme partie contractante; j'ai ajouté que si à l'aprangement définitif des affaires polonaises, les puissances y intéressées fixaient le dédommagement du prince Charles à une somme d'argent une fois payée, ce serait à lui à entrer alors directement en pourparlers avec le duc de Deux-Ponts sur l'acquisition de ces terres

* en Bohême. Il est impossible, lorsque le souffre-douleur est trempé jusqu'aux os, qu'il n'en résulte aucune éclaboussure pour son auguste Souveraine. J'ai balancé longtemps si je mettrais cette pièce d'éloquence sous les yeux de Votre Majesté; mais la très réclamante vient de m'honorer d'une lettre où elle prétend que je lui ai promis la résolution impériale sous trois mois jour pour jour (si par parenthese cela est, je suis un véritable sorcier). Il faut donc que Votre Majesté connaisse une des plus redoutables de mes tribulations, et que dans sa bonté inépuisable elle daigne me répondre en deux mots, qu'elle avait déjà fait connaître directement au prince Charles l'attention qu'elle ferait à ses intérêts en temps et lieu; et que ce prince serait informé par la voie ministérielle de tout ce qu'il sera possible à cet égard. Il n'y a qu'une déclaration à peu près pareille qui puisse me soustraire à une vive, éternelle et parfaitement inutile correspondance avec son altesse très réclamante.

Je ne saurais me dispenser d'ajouter ici comme un corollaire à cet article, que je n'ai pu lire sans une vive et profonde admiration ce que Votre Majesté a daigné me répondre sur l'affaire de M. de Mestmacher, quoique cette réponse ne soit pas très favorable. C'est que j'y reconnais à chaque mot cette souveraine grande, ferme, inexorable sur les principes, mais toujours bonne et indulgente dans les plus petites affaires comme dans les plus importantes. Tout ce que je sais, c'est que M. le vice-chancelier pourra rendre un compte très exact sur cette affaire et sur les services de M. de Mestmacher; que celui-ci a toujours regardé le poste de Dresde comme une généreuse récompense de son auguste Souveraine, et qu'il ne désire que de la servir dans ce poste avec un zèle sans relâche jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a une nombreuse famille, il est fort goutteux; je crois qu'il a des dettes contractées dans le temps où ses apointements étaient moins forts, et qu'il craint de mourir en laissant ces dettes pour tout héritage à ses enfants. A ce ver rongeur près, ce serait l'homme du monde le plus heureux de la terre; ses enfants tournent bien, il a une fille qu'il adore et qu'il craint de laisser dans l'indigence. Je sens que Votre Majesté ne peut entrer dans des comptes d'apothicaire, quoiquelle en fasse elle-même tous les jours que Dieu donne. Ne voilà-t-il pas qu'elle fait compter au duc de Courlande pour ses biens allodiaux 260000 Reichsthaler au delà de sa propre estimation! M. le vice-chancelier ne pourrait-il pas, en son privé nom, rappeler à S. A. les intérêts de M. de Mestmacher et exciter dans son âme un remords salutaire?

* A Grimma Gotha, ce jeudi, 9 (20) auguste 1795.

Madame,

M. Doubensky, courrier de Votre Majesté Impériale, arrive avec ses paquets de Francfort, et je ferme les miens pour ne pas retarder sa course.

Votre Majesté trouvera par la facture ci-jointe qu'il est porteur d'une caisse dont les richesses sont détaillées dans la facture (cette caisse est marquée № 1) et d'un paquet de pancartes, savoir N-os 95, 96, 97, et celle-ci 98. Ce paquet est marqué № 2.

Maintenant je vais me mettre en prière pour son heureux voyage et pour que tout mon fatras arrive intact et promptement aux pieds de l'immortelle. Si je pouvais prêter à M Doubensky les ailes de ma pensée, son voyage serait fait en un clin d'oeil et sans fatigue. J'en fais cinq cents par jour avec cette voiture, et cinq cents autres quand je n'ai pas ma suffisance, et ne suis jamais tenté au retour de dételer.

M. Doubensky m'a demandé dix ducats pour sa route, non qu'il ne croie avoir suffisamment d'argent pour la faire, mais pour sa sûreté il aime mieux en avoir un peu de reste en cas d'accident imprévu. Il m'a proposé de me renvoyer ces dix ducats par le premier courrier qui viendrait m'apporter das Brod des Lebens; je lui ai dit qu'il y avait un arrangement plus simple à prendre; que je rendrais compte à Votre Majesté de cette petite avance, et que Votre Majesté lui ferait ordonner à son arrivée à qui il devait les rendre. Au reste, comme il n'est pas possible de trouver des ducats en ce pays-ci, je lui en ai donné l'équivalent en vingt deux écus de convention dont chacun vaut à Francfort deux florins 24 kreuzer, et c'est sur ce pied-là que je les ferai passer dans mon premier compte à Votre Majesté Impériale.

J'ose mettre sous la protection de mon auguste Souveraine une lettre pour M. de Lambert que je ne fais jamais qu'importuner pour mettre à la poste de Moscou une lettre pour un émigré qui y est et qui s'y trouve bien, dont ses parents m'embarrassent. Il a un frère qui sert dans le régiment de Castries avec le comte de Bueil. Malgré ma confiance illimitée dans Votre Majesté pour mes commissions, je n'en suis pas encore à la charger d'envoyer mes lettres à la poste.

Un courrier prussien qui passa hier dit à la poste que la paix de l'Empire avec la République française était signée, sans doute, si cela est, sous les auspices du Roi de Prusse et à l'insu de l'Empereur; mais je n'y crois pas encore. Cela viendra, parce que tout ce qui est absurde et déshonorant est immanquable aujourd'hui. D'un autre côté on dit que le Roi de Prusse

* coopérera avec les anglais pour retablir le stathouder, et que les républicains français ne s'y opposeront pas. D'un autre côté on dit que les Anglais vont faire leur paix aussi. On verra sous peu s'ils abandonneront les braves royalites parce que les émigrés de la baie de Quibéron se sont fait exterminer comme des étourdis. Ces royalistes vont avoir sur les bras l'armée devenue vacante en Espagne, et enfin ils succomberont, comme tout ce qui devait réussir a succombé. Le manifeste des royalistes que Votre Majesté trouvera dans le paquet № 2 de la caisse à son adresse, est très remarquable, et la lettre du comité interceptée où il est question de la guenon d'ambassadrice, c'est-à-dire de la citoyenne de Stael, l'est particulièrement. On voit à quels vils scélérats cette malheureuse France est livrée.

Le vieux comte de Wurmser va reparaître sur la scène. Il est arrivé à l'armée du Brisgau dont il doit prendre le commandement. Ma faible vue ne me permet pas de voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs le brave homme est bien vieux et bien sourd.

Je suis bien heureux de pouvoir embrasser à chaque instant l'autel consacré à l'objet auguste et immortel de mon culte. Sans lui, il y aurait de quoi mourir de douleur et de honte.

J'ai enfin réussi à me procurer les trois lettres que le fulminateur Herzberg écrivit à son Fr. Guillaume l'année dernière pendant sa glorieuse campagne en Pologne, avec la réponse royale. Elles m'arrivent dans l'instant, et seront consignées dans la première pancarte.

J'adresse de ferventes prières à l'Eternel qui se vante d'avoir le coeur des impératrices dans sa main, pour que la mienne ne retire pas la sienne de dessus son souffre-douleur. Amen. God save our Emperor in aeternum. Ainsi soit-il.

In medio virtus.

Cela veut dire qu'il faut chercher la perfection dans le milieu. En conséquence j'ai choisi entre les trois princesses celle du milieu —

Antoinette-Ernestine-Amélie,

et lui accorde à sa confirmation grecque le nom qu'il plaira à l'immortelle de lui imposer. Je lui accorde en outre pour dot toute la portion que le pair d'Ecosse et moi son menuisier avons si libéralement accordée dans notre partage de l'Europe au sieur Constantin, son futur époux, et je somme Minerve Victrix de ratifier les travaux que je lui ai soumis en différents temps à ce sujet, et d'en garantir la jouissance à mon dit sieur Constantin et à Madame sa future. Et qu'on ne dise pas que j'aie sué sang et eau pour faire ce choix, car ç'a été l'affaire d'un instant, d'une inspiration subite, confirmée

* par l'examen sévère de plus de 120 minutes et 45 secondes, attendu que le coup d'oeil de la chouette de Minerve égale celui de l'aigle de Russie, lorsqu'elle fait tant que d'ouvrir les yeux. Je souhaite que le choix de la chouette porte bonheur à sa choisie.

Donné à Cobourg
ce vendredi, 24 auguste (4 septembre) 1795.

A Cobourg, ce vendredi 24 auguste (4 septembre) 1795.

Madame,

J'ai menacé Votre Majesté Impériale de me transporter, bientôt après le départ du rédempteur de mes pancartes Doubensky, à Cobourg, et j'ai exécuté cette menace: car moi aussi je suis imperturbable dans mes desseins, et je veux que la postérité dise de moi: Telle maîtresse, tel valet. D'ailleurs, puisqu'il plaît à Votre Majesté de faire des choix à deux pas de mon taudis sans me consulter, sans m'en prévenir, sans me demander mon agrément, il plaît à son souffre-douleur de ne point renoncer au droit de contrôle qu'il est de son devoir d'exercer sur toutes les actions de son auguste Souveraine. Je suis donc venu, j'ai vu, j'ai choisi; mais comme je suis rancunier de mon naturel, Votre Majesté ne saura pas mon choix, et sera obligée de faire le sien toute fine seule, sans l'aide de son souffre-douleur. Tout ce que je puis faire, c'est de consigner ce mien choix dans un billet cacheté que j'ajouterai à cette pancarte, mais avec défense expresse d'ouvrir ce billet avant le jour du baptême grec et du changement de nom de la princesse élue, afin que si Votre Majesté a eu le bonheur de se rencontrer avec moi, elle s'en enorgueillisse, s'en applaudisse et s'en réjouisse tout à son aise, ou que dans le cas contraire, elle s'en morde les doigts, mais sans les blesser, car il ne convient pas que les doigts à qui les destins du plus vaste empire de l'Europe entière et des gens de Grimma sont confiés, reçoivent la plus légère égratignure.

Arrivé hier au soir, j'ai assisté aujourd'hui au dîner de congé qui s'appelle si noblement en allemand das Henkersmahl, donné par le pieux Josias, par le fidèle élève du héros qui m'admire; par l'oncle enfin ou grand oncle des voyageuses vers le temple de Minerve, lesquelles se mettront en route lundi prochain, 7 septembre nouveau style, ce que je suis bien aise d'apprendre à Votre Majesté en passant, parce qu'elle ne le saurait pas si je n'étais pas venu ici.

J'ai toujours eu un peu de faible pour le pieux Josias, quoique je l'eusse à peine entrevu au commencement de l'année 1793 à Francfort. Le peu

* que je lui ai ouï dire aujourd'hui sur les événements incroyables qui se sont passés depuis cette époque, n'a pas affaibli mon faible pour lui. Il n'a pas le style élevé du héros à qui je dois le surnom de Solon, comme il doit lui-même celui de Rymnickski à Votre Majesté; mais la simplicité sans fard du pieux Josias avec un air doux et paisible vaut bien aussi son prix à mes yeux. Il m'a montré la plaque de l'ordre de Marie Thérese en diamants reçue de l'Empereur et qui n'avait été accordée précédemment qu'au maréchal de Laudon. Il m'a dit qu'il a pensé être frappé d'apoplexie au moment où l'Empereur lui remit ce don, parce qu'il lui annonça en même temps le parti pris et arrêté de quitter l'armée et de retourner à Vienne.

Votre Majesté se doute bien qu'il n'a pas manqué de me montrer et la magnifique boîte et le superbe sabre par lesquels l'immortelle a immortalisé ses travaux militaires contre les infidèles. En revanche je lui ai montré le portrait du héros qui m'a solonisé; mais cette montre était un peu intéressée, parce que je voulais savoir si ce portrait était d'une ressemblance aussi parfaite qu'on me l'avait annoncé en me l'expédiant; le pieux Josias me l'a confirmé, et M. le général de Budberg aussi. Par cette seule ligne Votre Majesté apprend deux faits. Le premier, c'est que la veille de mon départ du taudis pour venir ici, il m'arriva de Varsovie ce portrait très bien peint en miniature. Le second, c'est que mon voyage ici m'a valu la connaissance personnelle de M. le général de Budberg qui répond bien à tout ce qui m'en était revenu. C'est un des favoris de milord le zélote de l'empire grec.

Aussitôt approché et entrevu, aussitôt pris pour porter une partie de mes fardeaux, ni plus ni moins que les messagers de l'immortelle qui frappent de temps à autre à ma porte. C'est que la veille de mon départ du taudis me sont arrivés aussi les deux tableaux de Teresina de Maron de Rome, et subito je les ai portés ici avec moi, pour en augmenter les paquets du général de Budberg, crainte qu'il n'en ait pas suffisamment pour son lest de Cobourg à Pétersbourg. Votre Majesté trouvera ces deux tableaux de Teresina ressuscitée dans leur emballage de Rome qui ne m'a cependant pas empêché d'user de mon droit d'inspection et de lorgnerie à leur égard. Cette petite caisse porte № 1. Le second paquet № 2 renferme la suite du roman du baron de Thummel, superbement reliée par ordre de la duchesse de Gotha, qui m'a chargé d'en faire hommage à la souveraine dominatrice du Nord à l'insu de l'auteur. Celui-ci est venu avec moi à Cobourg où il a été autrefois le principal ministre et administrateur, mais ne pouvant dompter le génie de la duchesse que Votre Majesté vient de subjuguer par une lettre de quelques lignes, ce qui n'est pas le moindre des miracles de l'Her-

* cule du Nord, M. de Thummel, qui ne se sentit pas les forces d'Hercule, préféra de quitter la partie, en laissant ici un souvenir très honorable de la sagesse et de l'intégrité de son administration. Il est venu par ancien attachement, comme moi par devoir de ma charge, pour prendre congé des princesses. Votre Majesté se souvient sans doute que dans le second volume de ce roman, il y a un magnifique portrait du Solon de l'Allemagne, lequel a fait l'admiration de tout le saint empire et à coup sûr dans le temps aussi de l'auguste Souveraine de Grimma et autres lieux, quoiqu'elle n'ait jamais eu l'attention d'en dire un mot à son Solon. Il faut aussi se souvenir que M. de Thummel eut dans le temps une magnifiquement jolie boîte impériale pour les deux premiers volumes de ce roman. Toute sa modestie n'a pu l'empêcher de l'apporter avec lui et de l'étaler au grand diner de Josias. Il m'a appris aussi que son premier ouvrage, Wilhelmine, a été traduit en russe; mais il a été fâché que la duchesse de Gotha m'ait chargé de la suite de sa nouvelle production, et m'a charge de faire en sorte qu'elle se perde dans le cabinet des livres de Votre Majesté, parce qu'il entrait dans son plan de détailler un peu la morale lubrique de feu les jésuites. D'où je juge que sur toutes choses, il ne faut pas mettre cette suite entre les mains de Madame la Grande Duchesse à qui Votre Majesté a donné les deux premiers volumes, parce que la sévérité de ses principes nuirait peut-être à l'auteur dans son esprit.

Il y a dans ce paquet une Zénobie, ouvrage d'une jeune comtesse le Groing, émigrée, chanoinesse du chapitre que l'infortunée Reine de France avait fondé en Auvergne. Cette jeune émigrée, après avoir subsisté quelque temps en Suisse par son aiguille, a voulu essayer sa plume pour lui procurer quelque ressource. J'ai payé cet exemplaire par quelques louis de la munificence impériale, ainsi que cela se verra par mes comptes lumineux.

Je joins à cette pancarte une lettre sur la mort du duc de Deux-Ponts et la correspondance du grand Herzberg avec son Roi dont j'avais eu l'honneur de parler à V. M. I. de mémoire, et que je me suis enfin procurée. On m'a interrompu 50 fois, et l'on me force de finir brusquement; mais on ne m'arrachera pas de l'autel de l'immortelle. Pour me consoler et distraire de mon griffonnage, on m'apporte les quatre lettres de V. M. I., qui feront époque dans les archives de Cobourg.

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 12 (23) septembre 1795.

Madame,

Je suis de retour de ma course à Cobourg où j'ai confié aux soins de M. le général de Budberg une petite pancartine, dans laquelle j'ai oublié une

des principales circonstances de la réception qui m'a été faite. C'est qu'en entrant dans cette résidence, nous rencontrâmes à la porte de la ville trois nymphes à pied sous la conduite de leur mère, qui avaient l'air de venir à notre rencontre, mais qui dans le fait se rendaient, en se promenant, dans un jardin situé aux portes de la ville. On s'incline, comme de raison, devant les Grâces, et je dis à mon compagnon de voyage, si toutes les nymphes de ces contrées ont cette tournure, il faut regarder ce pays-ci comme la Circassie de l'Allemagne. Nous ne sûmes que le lendemain que c'étaient les trois princesses voyageuses que nous avions rencontrées.

Les gens de Grimma devraient se mettre aujourd'hui en grand gala, ou plutôt ils devraient y être depuis six jours: car jeudi dernier 6 (17) il y eut 22 ans accomplis qu'ils se prosternèrent pour la première fois devant leur auguste Souveraine, et cet instant fortuné et glorieux n'est jamais sorti de leur esprit ni encore moins de leur coeur. Et aujourd'hui ils devraient célébrer un jubilé centenaire de pancartes qui dans le cours de ces 22 années s'est déjà renouvelé plusieurs fois, et se répandre en actions de grâces sur la longanimité et la patience incompréhensibles avec laquelle l'immortelle les a tolérées, supportées, accueillies et protégées pendant le cours de tant d'années, en les faisant arriver sous son égide au pied de ses autels, et ne dédaignant pas de les remarquer au milieu des hommages et des tributs de reconnaissance des nations. C'est d'entre tous ses innombrables bienfaits le plus touchant et le plus grand parce que c'est à cette condition que son souffre-douleur a pu conserver la vie, si tant est que la vie en soit un, loin d'elle, dans un temps de crimes et de malheurs, d'ignominie et d'opprobre. Mais à mon retour de Cobourg ces jours d'alégresse que je comptais célébrer ici avec toute la solennité requise, se sont promptement changés en jours de deuil et de tristesse. Tout en arrivant, j'ai trouvé une lettre d'avis de mon saint, qui me prépare au passage immédiat du dernier de ses courriers, tandis qu'il me faudrait encore quinze jours ou trois semaines de répit, pour griffonner à mon aise, donner à ma pancarte un embonpoint convenable, et soulager tant soit peu mon coeur oppressé, qui a encore des volumes entiers à répondre aux trois dernières pancartes impériales. Il suffit d'ailleurs que le passage d'un courrier me soit annoncé comme imminent, pour arrêter tout court toutes mes pensées, toutes mes effusions; à force de vouloir se montrer toutes à la fois et se surmonter les unes les autres, le passage reste obstrué et il n'en peut plus sortir aucune. Je crains toujours qu'au milieu d'une phrase le messager de l'immortelle ne frappe à la porte, et cette crainte suffit pour m'empêcher de commencer et de finir une phrase. En général je suis l'enfant de la piété paisible et tranquille. Concentré ha-

* bituellement dans l'objet de mon culte, je ne veux être commandé, pressé, retardé dans ce culte par aucune circonstance, et mon coeur exige une entière securité de n'être point troublé, en se livrant aux mouvements et aux transports de la plus sublime des passions.

Ce n'est pas tout encore. Pour m'achever, mon saint m'annonce qu'il suivra de près son courrier pour se rendre à Pétersbourg, parce que Votre Majesté Impériale lui a accordé la permission d'y venir par congé. Je présume qu'il n'y aura pas deux fois 24 heures d'intervalle entre ces deux passages, et je perds ainsi en moins de rien deux occasions précieuses pour mes pancartes qui ne se retrouveront plus. Voilà un coup de grâce auquel je n'étais pas préparé et qui m'afflige profondément. Je perds inopinément un ami de plus de 20 ans, avec qui je ne vivais pas à la vérité, mais dont la présence en Allemagne à peu de distance de mon manoir, faisait le fondement de l'édifice de ma tranquillité. Je perds le ministre de mon auguste Souveraine qui était precisément placé de façon d'en assurer la solidité. Son poste se trouvant entre moi et la république des bandits et des scélérats, je dormais sans inquiétude, parce que, sans rien concerter entre nous, sa marche m'indiquait et me dictait la mienne. Enfin je perds celui dont les courriers non seulement m'apportaient les paquets de l'immortelle, l'unique soutien de ma vie, le seul, mais le plus grand des biens que j'aie sauvé du naufrage, mais qui m'offraient aussi des moyens fréquents de déposer avec sûreté tous les besoins de mon coeur au pied du trône du salut et des miséricordes. Ainsi par l'éloigement imprévu d'un seul homme, je me trouve subitement privé de tout ce qui me restait de bonheur et de consolation sur la terre, et je me vois d'ici au printemps prochain, c'est-à-dire pour sept ou huit mois, plongé dans de si épaisses ténèbres que le courage de m'en tirer m'abandonne avec l'espérance. J'ai beau me dire que la nouvelle liaison avec la maison de Cobourg peut amener dans mon voisinage de temps en temps quelque messager de l'immortelle qui pourrait être chargé de ses bienfaits pour moi; dans ce premier instant rien n'est capable de me rassurer. Et en quel moment ces idées et la perte de l'ami le plus essentiel viennent-elles m'accabler? C'est lorsque l'irruption des républicains régicides de ce côté-ci du Rhin, depuis si longtemps prévue et si mal empêchée, rend la sûreté de mon asile ici absolument précaire; qu'il faut être aux écoutes pour pouvoir se sauver d'ici aux premières approches du danger qui menacera notre sûreté, et que dénué même de fonds et de moyens, à l'entrée de la mauvaise saison, je puis être réduit à plier bagage pour dérober mes enfants aux derniers malheurs, sans savoir où les conduire, où leur trouver un abri: car tels sont la sagesse et le concert qui gouvernent le corps germanique que

* s'il prend fantaisie aux républicains dévastateurs de pousser de ce côté-ci un parti de cent hommes, ils seront maîtres absolus du pays et dicteront les lois qu'ils voudront. Mais il vaut mieux finir ces tristes et inutiles doléances que d'en étourdir celle à qui sa sagesse, sa prévoyance, la fermeté et la sûreté de ses mesures rendent un tel ordre de choses incompréhensible.

Ce vendredi, 14 (25) septembre.

En relisant, Madame, ces lignes d'une teinte si noire et si sombre, je sens ma bile qui s'allume, et je suis tenté d'apostropher les gens de Grimma d'une rude manière. O race en effet impie et ingrate! A quoi t'auront donc servi vingt-deux ans de bienfaits non interrompus, s'ils ne t'ont pas appris à mettre ta confiance dans l'immortelle? A-t-elle jamais abandonné celui qui sait se confier en elle? Est-ce à toi qu'il appartient d'assigner des bornes à sa bonté et à sa puissance; à toi dont l'existence est un miracle toujours subtistant de cette puissance et de cette bonté adorables?

Pour faire oublier à Votre Majesté Impériale ces écarts et cet endurcissement causés par les malheurs du temps et les soucis qu'ils entraînent, je vais par une juste sévérité éloigner les gens de Grimma du trône des miséricordes, et entretenir mon auguste Souveraine de plusieurs petites choses à bâtons rompus. Cela aura encore l'avantage que dès que le courrier de mon saint se présentera, je pourrai fermer ma pauvre et chétive pacotille sans l'arrêter un instant.

A Grimma-Gotha, ce dimanche, 23 septembre (4 octobre) 1795.

Madame,

J'ai fini, il y a trois jours, tristement la centaine de mes pancartes. Les auspices sous lesquels j'en commence une nouvelle, ne sont pas devenus plus favorables; mais il n'est jamais permis de perdre le courage, et encore moins la confiance dans l'immortelle modératrice de mon sort et de celui de tant de millions d'hommes; il suffit d'un de ses regards, pour me rendre la vie, le bonheur et la sérénité. La journée d'hier où j'avais à célébrer l'anniversaire du couronnement de l'ointe du Seigneur, et celui de l'institution de l'ordre de saint Vladimir, fut à la verité pour moi des plus pénibles. Mon saint était arrivé la veille et m'avait amené lui-même son courrier: hier il me quitta pour continuer sa route, et après s'être arrêté quelques jours à Leipzig, d'où il dépêchera son courrier, il le suivra lui-même de très près. Ce courrier, M. de Malighine, est chargé de ma part d'un bien mince fardeau pour Votre Majesté Impériale, dont je joins ici la chétive facture.

* Me voilà donc abandonné, entièrement isolé et seul, si ce n'est pas dans l'univers, du moins dans ce saint empire romain regorgeant de gloire et de sagesse! Incertain si les brigands qui m'ont détroussé en France, ne viendront pas, au beau milieu de l'hiver, me chasser du taudis où je suis réfugié avec mon petit troupeau; incertain, si ce la arrive, où poser ma tête, où tourner mes pas, et cruellement tourmenté par la possibilité d'une interruption totale de communication avec le trône des miséricordes et l'unique boussole de mes destinées. Ah, si je n'étais pas réduit à me sacrifier sans réserve au salut d'une famille qui resterait sans moi exposée aux dernières extrémités, je crois que je me trouverais déjà sur la route de Vienne, dusséje y aller à pied. Je guérirais du moins mon imagination de la crainte de n'être plus sur le chemin d'aucun messager de l'immortelle, ou, ce qui est plus cruel à penser, d'être subitement poussé avec ma triste caravane, par les événements de la guerre, dans un coin de ce fatal faubourg d'où l'entrée dans le monde et l'accès libre du trône du salut et de la gloire restassent comme fermés pour moi. A cette idée tourmentante s'en joint une autre assez pénible. C'est que l'embarquement du régiment de Castries pour les côtes de France est décidé, les ordres de Londres sont arrivés, et vraisemblablement le comte de Bueil est en pleine mer pour se rendre avec ce corps et avec le reste des corps d'émigrés à sa destination. Il ne s'agit plus que de faire des voeux pour que ce ne soit pas autant de victimes qu'on livre aux républicains assassins pour leur faire subir le sort du malheureux Sombreuil et de ses compagnons d'infortune; mais pour se rassurer à cet égard, il faudrait être plus tranquille sur la politique du cabinet de Londres, qui, bien éloigné de vouloir finir les troubles en France, ne cherche peut-être qu'à les alimenter, qu'à les perpétuer, parce qu'il ne trouve pas encore ce malheureux pays assez détruit à sa fantaisie. Mais les dés sont jetés, et toutes ces tristes réflexions ne changeront rien au sort réservé par la fatalité au père de mes trois enfants. Zaghaftigkeit und Muthloſigkeit haben noch nie einen Unfall in der Welt verhindert, und ſollen der Seele eines Schmerzbulders der unter dem unmittelbaren Schutz des Ruſſiſch-kaiſerlichen Adlers ſteht, fremd ſeyn und bleiben. Alles was unſerer Kaiſerin livrée trägt, ſagen die Leute von Grimma, muß einen feſten und unerſchüttlichen Gang und Wandel haben.

Ce lundi, 24 septembre (5) octobre.

J'ai fourré sous le couvert de ma pancarte № 100, un paquet pour le marquis de Lambert, que je mets sous la protection bienfaisante de notre auguste Souveraine. Il sera vraisemblablement d'un grand intérêt et peut-

* être d'une grande consolation pour lui, en lui donnant des nouvelles de sa femme et de ses filles. Je l'ai reçu directement de Paris, par une personne que j'ai enfin réussi à tirer de ce gouffre infernal. A force de persévérance, on vient à bout de l'impossibilité même; c'est ainsi qu'après plus de deux ans d'angoisses, de tentatives inutiles et désespérantes, j'ai pourtant trouvé un moment favorable pour enlever cette proie à sa malheureuse patrie, munie de tous les passe-ports nécessaires pour sortir en sûreté. Je regarde ce succès comme le seul bonheur qui me soit arrivé en France depuis la première époque de ses désastres et des miens. Comme cette personne devait être comprise dans un article de la confession générale que mon auguste Souveraine exige de moi avec une bonté dont jamais rien de pareil n'a existé ni existera, j'en ai acquis le droit de la faire connaître plus particulièrement à Votre Majesté Impériale, en attendant qu'en franc et loyal souffre-douleur, j'achève cette confession, ce qui se fera incessamment, si Dieu me prête vie.

Elle s'appelle Antoinette Marguerite Marchais. Son père était jardinier en chef de ce fameux M. de la Borde, ancien banquier de la cour, que ses richesses immenses, évaluées à 30 ou 40 millions, ne pouvaient manquer de conduire à la guillotine sous le règne du féroce Robertspierre (*sic*). Son jardinier avait laissé trois filles d'une figure distinguée et d'un caractère fort audessus de leur état. Madame de la Borde s'était emparée de l'aînée, Antoinette, l'avait fait élever au couvent, et envoyée ensuite à sa soeur à Bruxelles, pour la faire instruire dans les ouvrages de son sexe; elle l'avait fait revenir ensuite à Paris pour la placer auprès d'elle. Antoinette avait parfaitement répondu aux soins que sa bienfaitrice avait pris d'elle. Au bout de quelque temps elle tomba dangereusement malade. Madame de la Borde la fit transporter chez sa mère, en fit prendre les plus grands soins, et puis, lorsqu'elle fut rétablie, par une inconséquence qu'on dit assez ordinaire aux gens riches, elle l'oublia insensiblement, n'ayant peut-être que différé d'abord d'un jour à l'autre pour la rappeler auprès d'elle. Antoinette fut longtemps inconsolable d'être séparée d'une bienfaitrice qu'elle aimait et respectait comme sa mère. Ne voulant cependant pas rester à la charge de sa propre mère, qu'elle aimait avec une égale tendresse, elle se plaça chez Madame d'Epinay. C'était passer de la maison la plus opulente où son enfance avait été si heureuse, dans la maison la moins aisée; mais tout en pleurant tous les jours Madame de la Borde, elle s'attacha en peu de temps à sa nouvelle maîtresse avec la même passion, et comme si elle n'avait rien perdu au change. Un attachement si désintéressé et si rare, qui ne se démentit pas un instant, me toucha, et à la mort de Madame d'Epinay, je regardai Antoinette comme un legs qu'elle m'avait laissé et dont je devais prendre soin.

* Je la mis à la tête de ma maison, et dans cette sphère si obscure et si étroite elle trouva le moyen de déployer toutes les qualités les plus précieuses d'une âme noble et sensible. Etrangère à tout intérêt personnel, elle passait sa vie à protéger auprès de moi les malheureux que le sort m'adressait, et grâces à ses soins, j'étais parvenu à avoir un bon nombre de pensionnaires qu'elle savait choisir avec un extrême discernement, et dont elle se faisait trésorière avec une intelligence qui doublait et triplait les petites ressources que je pouvais fournir. Quant à moi, tout ce que la reconnaissance, l'attachement, la passion peuvent inspirer à une fille bien née pour un bon père, je l'ai constamment éprouvé de sa part, et il y a 15 ans que ce dévoûment subsiste. Le désir naturel qu'il devait produire en moi, c'était de lui préparer un sort qui la mît, après moi, à l'abri du besoin. Ce que M. de la Borde aurait pu faire en une minute, d'un trait de plume, il m'a fallu huit ans de soins et d'épargnes pour l'effectuer; mais enfiin, en retranchant tous les ans une somme de cinq mille livres sur mon revenu et la plaçant sur sa tête et sur la mienne, j'étais parvenu à lui faire, à son insu, un sort de trois mille livres de rente dont elle devait jouir après moi: en attendant la vie douce et tranquille qu'elle menait dans ma maison, jointe à sa modération naturelle et à la vertu qu'on exprime en allemand par Genügſamkeit, la rendait une des personnes les plus heureuses de la terre. De mon côté, l'idée d'avoir pourvu à son sort et la consolation d'avoir, grâces aux bontés inépuisables de Votre Majesté Impériale, réussi à établir Emilie et de la savoir avec une fortune modeste dans une position heureuse, faisaient les deux pivots de ma félicité domestique, et la pensée que le sort de ces deux personnes se trouverait par ma mort considérablement amélioré, rendait l'instant où je devais cesser de vivre, une véritable jouissance pour moi.

Cette douce chimère fut engloutie par la révolution et disparut avec la France. Si cette fatale époque rendit Antoinette supérieure à elle-même et en fit une héroïne d'amitié et de dévoûment, elle me réduisit pendant plus de deux ans, c'est-à-dire depuis l'instant où la nation loyale m'a traité en proscrit et s'est emparée de ma fortune et de ma maison, à l'impossibilité absolue de lui écrire une ligne et d'en recevoir un signe de vie; elle me réduisit bien plus cruellement encore à trembler pendant tout ce temps pour la vie de cette malheureuse créature. Pendant longtemps je ne pus jeter les yeux sur une feuille de Paris, sans craindre de trouver son nom dans la liste des victimes, et lorsque la tyrannie de l'exécrable Robertspierre fut engloutie à son tour, la peur de la voir périr par la famine et par la privation de toutes les choses indispensables au soutien de la vie, malgré tous les secours indirects qu'il était en mon pouvoir de lui faire passer, succéda à celle

* que j'avais eue si longtemps pour ses jours. J'ai réussi enfin, sans la compromettre, sans lui écrire une ligne, sans en recevoir une de sa part, à la tirer de Paris, à la faire arriver à Bâle et puis venir ici où elle est depuis quinze jours. C'est un succès miraculeux auquel j'ai de la peine à croire. C'est depuis ce moment que j'ai des notions exactes sur son courage inébranlable et sur tous les risques auxquels elle s'est exposée pour mes tristes affaires. Quoique la pudeur et les scrupules n'arrêtassent pas longtemps les brigands qui convoitaient les petites comme les grandes fortunes, principalement parce que dans les petites expéditions les voleurs, exécuteurs de la volonté nationale, gardaient tout pour eux et détroussaient le propriétaire et la république à la fois, il n'était pourtant pas si aisé d'arriver jusqu'à moi, et de violer à mon égard le droit des gens sans justifier un procédé si violent par des prétextes plausibles. On commença par essayer plusieurs motions contre moi dans ma section, on me reprochait de n'avoir pour amis que des aristocrates, d'être en relation avec plusieurs tyrans de l'Europe; tout cela ne fit point d'effet. Plusieurs sans-culotte de mes voisins prirent hautement mon parti, et soutenaient qu'avant la révolution j'avais fait habituellement du bien aux bons patriotes, et qu'en ma qualité d'étranger, je n'étais pas obligé d'être républicain. On sentit donc la nécessité d'articuler des faits plus précis pour m'atteindre. On sema le bruit que 50 mille russes allaient renforcer la coalition et fondre sur la France; on ajouta que si je n'y avais pas déterminé Votre Majesté, j'étais du moins le dépositaire de ses secrets; qu'on en trouverait infailliblement les preuves dans mes papiers, et que le salut de la république valait bien la peine qu'on se mît au-dessus de quelques formalités à mon égard. Rien n'est plus mobile, plus bête et plus crédule que le peuple de Paris; on voyait déjà les 50 mille russes cachés dans ma maison pour tomber sur le peuple français, et je n'eus plus de défenseur à la section; j'étais un traître digne de tous les supplices. Tandis qu'on faisait courir le bruit que tout allait être chez moi au pillage, des amis s'adressèrent à la mère d'Antoinette pour la conjurer d'engager sa fille à quitter ma maison, si elle ne voulait pas devenir victime de son attachement pour moi. Sa mère se mit plus d'une fois à ses genoux; mais cette fille que j'avais connue si timide, si craintive avant la révolution, déclara que rien ne pouvait l'engager à se dessaisir de la garde de ma maison que j'avais confiée à ses soins; que si je devais être pillé, il fallait qu'elle y fût, et que la violence seule pouvait l'arracher de sa place. Un tel attachement professé hautement pour un homme suspect, était, dans ces temps de malheurs et d'opprobres, un crime irrémissible et n'échappait jamais au supplice; je suis donc encore à concevoir quelle puissance invisible a pu en préserver ma pauvre

* Antoinette. Elle resta donc au milieu des brigands, pendant qu'on inventoriait, qu'on brisait tout chez moi, et durant tout le temps de cette agonie de la terreur prolongée au delà de 15 jours, elle conserva une présence d'esprit et un courage au-dessus d'elle même. Lorsque, par exemple, mon secrétaire eut été crocheté, elle y aperçut la première une petite clef portant pour étiquette: Clef de la cassette déposée chez Monsieur un tel. La saisir, arracher l'étiquette, l'avaler et remettre la clef à sa place fut l'affaire d'un clin d'oeil qui préserva également la cassette et le dépositaire. En mon absence on m'avait adressé une malle qui renfermait les hardes de ce malheureux Belsunce massacré au commencement de la révolution à Caen, et que je devais remettre à sa soeur. Cette malle avait été mise au garde-meuble; ni moi, ni personne chez moi ne savait ce qu'elle contenait. On l'ouvrit, et au milieu de plusieurs habits d'uniformes alors proscrits, on trouva au fond deux ou trois douzaines de cocardes blanches. Antoinette dit en souriant: Mon Dieu, quelle bêtise d'envoyer ici des cocardes blanches, comme si au besoin on n'en pouvait faire avec des chiffons de papier! Au même instant elle saisit tout le tas de ces cocardes, les jette au feu, et comme il n'y avait qu'un seul brigand occupé de l'inventaire de cette malle, il la laisse faire et reste immobile. Si ces cocardes avaient été inventoriées, la contre-révolution était prouvée, et toute ma maison guillotinée. Mais le danger de ma pauvre Antoinette s'accrut avec l'inutilité des recherches de mes voleurs. On ne trouva pas une ligne de Votre Majesté, pas un chiffon de moi relatif à la Russie; on en devint furieux, et on voulut la rendre responsable de ce déficit, et l'obliger d'indiquer le lieu où j'avais recélé ces papiers. Une foule de malheureuses victimes a péri pour des causes bien plus légères, et encore une fois, il n'y a qu'un miracle du ciel qui ait pu soustraire au glaive homicide celle qui s'est si courageusement exposée pour moi. Ce n'est pas notre Impératrice qui s'étonnera que j'aie tremblé lorsque je la savais sous le couteau des assassins, et qu'il me soit echappé de dire dans mes angoisses, qu'il y avait des malheurs sans remède. Elle m'est rendue, et tant que j'aurai un écu, elle a le droit de le partager. Il ne me reste que la douleur de la laisser après moi sans ressource, puisque je n'ai plus rien au monde: car j'ai eu ce rare avantage sur mes collègues du corps diplomatique dont les asiles ont été pareillement violés, qu'on n'a pu leur voler que leur mobilier et ce qu'ils avaient porté en France, tandis qu'y ayant passé toute ma vie, y ayant placé et confié à la foi publique tout mon bien transporté des pays étrangers et provenant en plus grande partie des bienfaits de Votre Majesté, non seulement j'ai perdu, comme mes compagnons d'infortune, tout mon mobilier, mais j'ai été aussi dépouillé de toute

* ma fortune, injustice unique qu'il n'a pas été au pouvoir des brigands d'exercer contre eux. Je suis, hélas! bien tenté de léguer encore ma pauvre Antoinette à la bienfaisance impériale après moi. Puisque les dieux, en confiant mon sort à l'immortelle, m'ont tout enlevé jusqu'aux bienfaits que je ne devais qu'à elle, ils m'ont réduit à ne chercher qu'auprès d'elle des remèdes contre les soucis dévorants auxquels ils m'ont impitoyablement livré dans mes derniers jours.

Antoinette m'a apporté ici deux des portraits de mon auguste Souveraine et celui de ses deux petits-fils encore enfants, qu'elle a soustraits aux brigands et dont elle a eu l'imprudence ou le courage de se charger pendant son voyage. Ce ne sont pas les plus beaux d'entre ceux qui ornaient mon temple, mais elle avait le droit de voler les voleurs, et non la permission de les choisir; elle les a tenu longtemps cachés dans les matelas de son lit. La fureur des brigands de ne rien trouver de ce qu'ils cherchaient chez moi pour justifier leurs procédés violents et rapaces, fut telle que dans les premiers accès de leur dépit, ils portèrent leurs mains sacriléges sur tous les portraits de Votre Majesté, et les déchirèrent en mille morceaux. Tous les autres portraits qu'ils ne connaissaient pas éprouvèrent le même sort.

Ce mercredi, 26 septembre (7 octobre).

Votre Majesté m'a vanté quelque fois les gouttes de Bestoujev avec lesquelles elle fait ses cures; moi j'ai aussi un spécifique avec lequel j'opère les miennes. Ce sont les pancartes impériales. Quand la tristesse veut me surmonter, wenn in dieſen trüben Zeiten, Troſt und Labſal dem bedrängten Herze fehlt, je fourre mon nez au hasard dans une de mes pancartes, et dans le même instant je me sens soulagé et guéri. J'espère que Votre Majesté confessera de bonne grâce que mon spécifique est très supérieur au sien. A cette condition je lui permettrai d'en faire usage de temps en temps pour quelques cures, tandis que j'emploierai le mien pour faire des miracles, tous les jours si cela me convient.

Ce matin je me suis senti un petit besoin de me réconforter; aussitôt j'ouvre mon trésor, et je tombe sur une question assez singulière qui m'est faite dans la matinée du 9 avril dernier: Que dit-on de Secondat en Allemagne? Me voilà donc réduit à recueillir dans le saint-empire les opinions sur un personnage auquel personne ne pense. Nun, Gott weiß, ſagen die Leute von Grimma, unſere Kaiſerin thut zuweilen curioſe Fragen. Iſt es denn jemals in der Welt oder in den Vorſtädten der Gebrauch geweſen, von Dingen oder Leuten zu ſprechen welche die Gedanken nicht beſchäftigen? Aber wer, beym Fänkerl!

* ſagt der Caſperl von Wien, hat denn zur Zeit des unſterblichen Montesquieu an einen Secondat gedacht? Die welche aus ſeinem Revier kommen, ſingen freylich alle, ſammt und ſonders, die nämliche Litaney; aber die geht hier zu Lande in ein Ohr hinein, und zum andern heraus. Cela cause tout au plus aux oreilles des gens de Grimma un bourdonnement fâcheux que même mon spécifique miraculeux ne guérit qu'à la longue.

Dans la même pancarte Votre Majesté me notifie crûment que le comte des deux empires va marier sa fille au comte Nicolas Zoubov, frère aîné du grand maître de l'artillerie; qu'en fidèle observateur des moeurs patriarchales de l'ancien testament, il a fait venir son gendre, et lui a dit: Tu es brave et honnête, fais moi le plaisir d'épouser ma fille; que l'autre y a consenti, et que le consentement souverain ne peut manquer au mariage le mieux assorti du monde et de ses faubourgs. J'espère pourtant que le maréchal à qui le puissant Frédéric Guillaume laisse ses queues en Pologne à écorcher, n'aura pas bâclé ce mariage, sans en avoir demandé préalablement l'agrément au sage du Nord, et qu'il ne fera pas la noce sans y inviter le Solon de l'Allemagne.

Nous pouvons dire que dans ce monde absolument à l'envers depuis quelques années, nous nous trouvons à un bal masqué où l'on rencontre les travestissements les plus extravagants et les personnages les plus incohérents possibles. Ne voilà-t-il pas le Sidre Yermalaïtsch [1]) des matelots russes, le bon voisin jacobin de Votre Majesté Impériale, régent de Suède, qui vient de lancer un édit fulminant contre les jacobins, ses oracles, qui les désigne comme les ennemis de tout ordre social, qui leur reproche la destruction d'une des plus anciennes monarchies de l'Europe, tandis qu'il leur en fait faire chez eux ses congratulations par l'ambassadeur de son neveu, le spirituel baron de Staël, un des plus grands négociateurs de ce siècle et plusieurs autres. Apparemment que S. A. R. le Sidre Yermalaïtsch a découvert qu'il fallait aimer cette excellente race de loin, et qu'il y avait quelque inconvénient à leur laisser prendre racine chez soi.

On veut me persuader aussi que certain faiseur prussien, appelé M. de Dohm, qui fit jadis ses premiers essais de duplicité prussienne dans le pays de Liège sous la direction du grand et poli ministre patriote Herzberg et qui s'est novissime rendu, par ordre de sa cour, à Hannovre, y a opéré la déclaration de l'accession de George III au traité de Bâle. Si cela est, il faudra voir comment l'électeur d'Hannovre s'arrangera à cet égard avec le roi Britannique. Peut-être George III sera-t-il obligé de porter, comme les bedeaux

[1]) Сидоръ Ермолаичъ, nom que les mateloss russes avait formé à l'imitation du titre Зюдерманландскій (Södermanland) pour désigner le duc Charles, frère du roi Gustave.

* de paroisses sous l'ancien régime de France, un manteau de deux couleurs. La moitié bleue appartiendra aux jacobins, la moitié rouge restera à la coalition; le collet et les pourtours seront brodés en paillons de gloire: lorsque le roi rira, l'électeur sera obligé de pleurer, et vice versa.

Ce jeudi, 27 septembre (8 octobre).

En voici bien d'une autre. Je me croyais délivré pour plusieurs mois du trépied de mon oracle d'Ecosse, et Votre Majesté Impériale à l'abri de tout nouveau débordement de ce côté-là. Mais ce n'est pas là le compte de mon zélote infatigable. L'automne a été superbe, il a par conséquent pu faire de longues promenades qui sont, de fondation, consacrées au bien de l'empire de Russie, et pour m'en faire recueillir les fruits tout aussitôt, il a trouvé à point nommé un voyageur qui vient de m'en remettre la cargaison tout entière parfaitement intacte. Je crois que ce que je puis faire de mieux, c'est d'en transcrire ici tout de suite tout ce qui regarde l'objet de sa passion et de ses veilles, parce que ce qui est fait n'est plus à faire.

De Carlsbad, du 22 septembre.

Peu de jours après le départ de ma dernière lettre, Monsieur le baron, j'ai reçu la votre du 17. Elle m'a mis hors de peine sur la lettre que je vous avais adressée à Cobourg, vu l'impossibilité de votre voyage à Carlsbad. J'ai seulement à regretter que ma lettre soit arrivée trop tard pour vous y trouver encore, et n'ait pu servir d'interprète à mes voeux pour l'heureux voyage des trois Grâces vers le Nord. Vous êtes trop grand politique et trop boutonné pour me dire à laquelle des trois vous avez donné la pomme. Moi, bon diable, dont la franchise n'a pas été dénaturée dans les cours, pas même dans celle de Saxe, j'avoue tout rondement que ma pomme serait donnée à la plus jeune. C'est peut-être à cause de l'analogie de nos âges; reste à voir ce qu'on décidera au soixantième degré.

Comme vous savez depuis longtemps à quel point mon coeur est aimanté, vous devez être accoutumé à me voir m'adresser à vous pour faire passer quelques livres dans ce pays de mes préférences. Ils ont, ce me semble, du mérite dans leurs différents genres, comme vous pourrez juger quand vous les aurez reçus.

Dans mes rêves continuels sur ce pays de féerie, je souhaite toujours de voir la capitale suivre l'empire dans son essor vers les climats les plus doux et les pays les plus favorisés par la nature. Pourquoi donc la plus grande des souveraines serait-elle condamnée à un séjour éternel dans les

* marais glacés du pôle du Nord? Y a-t-il des raisons qui s'opposent à son retour à Kiov, l'ancienne capitale de l'empire russe? Ou, tout étant possible à l'Impératrice, ne pourrait-elle pas s'amuser à fondre sa nouvelle capitale plus bas sur le Dnieper? Et comme dans un empire créé par le génie de Catherine la Grande, tout doit porter l'empreinte de son nom auguste; sans avoir été demandé pour parrain, je nommerai le nouveau né Ecaterinople, et je demanderai un terrain attenant à l'hôtel de Grimma, pour y bâtir. Que dites-vous à cela, monsieur le frondeur? Trouvez-vous que les eaux de Carlsbad ont mis le dernier sceau à ma folie? Ou bien, m'appellerez-vous au printemps prochain, pour marcher à côté de Souvorov et de vous faire la conquête de la Moldavie, afin de mettre l'objet de notre adoration commune à l'abri de toute insulte de la part des circoncis, dans sa nouvelle capitale que j'ai déjà embellie par l'hôtel de Grimma, et où pendant les loisirs de la paix, je vois dans mes rêves le militaire occupé à creuser un canal entre la Dvina et le Dnieper, pour faire venir de Riga à Ecaterinople les quincailleries anglaises? Je vois aussi les industrieux frères moraves de Neuwied fonder une colonie sur les bords du Dnieper, où, ombragés par les ailes de l'aigle de l'Orient, ils n'auront plus à redouter les griffes des jacobins.

Ce que vous me dites de la retraite ou honteuse ou simulée des autrichiens me rappelle une nouvelle qu'on m'avait donnée à Dresde. On prétendait que les autrichiens verraient avec plaisir les français faire la conquête des électorats ecclésiastiques, pour être rendus à l'Empereur à la paix, et échangés ensuite contre la Bavière. Ces derniers événements feraient presque ajouter foi à ces vues. On nous dit ici que le Roi de Prusse demande à ses alliés sans-culotissimes les duchés de Juliers et de Bergue pour ses menus plaisirs. Adieu, Monsieur le baron. Hâtez-vous de jeter mes folies au feu, même avant de les avoir parcourues; cela sera moins humiliant pour votre serviteur.

Du 24 septembre.

Je vois Monsieur le baron s'impatienter de mon bavardage; mais ayant si peu d'occasions sûres, il faut que j'en profite.

1°. L'Impératrice ayant marié ses petits-fils, pensera naturellement à l'établissement de ses petites-filles; et comme il sera peut-être difficile de marier des princesses du rite grec dans les grandes cours et que S. M. ne voudra pas les envoyer végéter dans les petites, mon idée serait de faire venir des princes cadets de Holstein, Hesse-Darmstadt, Mecklenbourg ou telle autre maison, des les faire entrer au service russe et de les marier à ces princesses qui, en tenant leurs cours dans diverses villes de province,

* répandraient la civilisation plus promptement dans l'empire. Cela se voit pratiquer dans la monarchie autrichienne sans le moindre inconvénient.

2°. On dit que la famille de Colloredo a beaucoup d'influence sur l'esprit de l'Impératrice d'Allemagne, laquelle gouverne à son tour l'Empereur en commun avec Rollin.

3°. J'ai appris que la raison pour laquelle Gray, notre chargé d'affaires à Berlin, était si acharné contre la Russie, venait de ce qu'on l'avait fait venir pour établir une pêche, je crois dans la Tauride. Il soutient que le prince Potemkine lui a manqué de parole, et certes, il s'en venge tant qu'il peut.

4°. En quittant Dresde, j'ai laissé Elliot absolument entre les mains du ministre de Prusse et de Weissenwolf, très connu dans les fastes révolutionnaires de la Pologne; désapprouvant hautement les opérations de M. Pitt, surtout ses nouvelles alliances; disant qu'il prévoyait que nous serions obligés de nous retourner du côté de la Prusse, à cause d'Hannovre; qu'il était sûr alors d'être demandé par la cour de Berlin où il jouerait le même rôle que M. Eden actuellement à Vienne. Il me semble que le comte de Razoumovski pourrait recevoir l'ordre de prévenir M. Eden sur ce beau plan.

5°. Pourquoi n'aurait-on pas à Ecaterinople une colonne Catherine dont les bas-reliefs seraient bien plus intéressants que ceux de la colonne Trajane? Si la modestie de S. M. s'opposait à l'idée de se percher comme un dervis au haut d'une colonne, quoique M. de Calonne au moment de son exil voulût y mettre à Bordeaux le pauvre Louis XVI au milieu d'une place ronde, on pourrait s'en servir pour un phare, comme à Ostende, où la colonne dorique fait un très bel effet.

Du 26 septembre.

Savez-vous, Monsieur le baron, que je suis très mécontent du gazetier de Hambourg, qui vient de donner au Roi de Prusse le palatinat de Podlachie, et delà le pays jusqu'a la rivière Niemen, ce que je destine très fort à la Russie, à qui j'aurais voulu donner encore le port de Mémel, car il faut absolument que mes chers russes naviguent sur le Niemen pour exporter par là les denrées d'une grande partie de la Lithuanie, sans être à la merci des douaniers prussiens. Il me paraît aussi qu'avec le temps la maison d'Autriche doit céder toutes ses possessions polonaises et rester en deçà des monts Krapath. Ils pourraient donner la petite Pologne et Lublin au Roi de Prusse, afin de pouvoir céder à l'Impératrice le reste de la Galicie, qui était autrefois une possession russe, avec la Buckowine et la Moldavie. Pendant que cet arrangement ajouterait à nos possessions une grande

* étendue de pays, il aurait encore l'avantage de raccourcir la frontière et de diminuer la ligne de défense. On pourrait dédommager l'Empereur par la Bavière, la Valachie, la Croatie turque etc.

Pourquoi n'avons-nous pas un consul général d'Angleterre sur les bords de la mer Noire? Il faut l'activité et l'esprit d'entreprise des anglais pour mettre en valeur ce pays-là.

Je me flatte que vous ferez connaître à l'Impératrice cette excellente maîtresse de l'institut des filles que vous avez à Gotha, où Katinka et Adèle brillent de tout leur éclat. Je m'intéresse on ne peut pas davantage à l'éducation des demoiselles russes. Leurs fils deviendront des sujets d'autant plus utiles à l'état, que les mères auront de l'esprit et de la conduite, suites nécessaires d'une éducation soignée.

Si S. M. donne dans les chaussées, je pourrais avec certitude recommander le baron de Borne pour directeur général de ponts et chaussées de l'empire. Il exerce cette charge depuis plusieurs années en Bohême d'une manière qui lui fait honneur. Les nouveaux ouvrages et nommément le chemin qu'on fait à Carlsbad sont supérieurement bien dirigés et exécutés; mais comme il fait trop strictement son devoir, beaucoup de cabales et intrigues particulières l'ont dégoûté de sa place, et je crois qu'il quitterait s'il pouvait se bien placer ailleurs. Lui et tous ses employés parlent la langue bohême, qui est presque russe. Les nouveaux chemins qu'on ouvre de tous côtés en Bohême, leur donnent beaucoup d'expérience en ce genre.

Sous huit jours je me rendrai à Leipzig, d'où vous aurez de mes nouvelles et d'où je vous ferai passer les livres que je vous ai annoncés.

Ici

finit la prophétie du grand oracle d'Ecosse.

Ce vendredi, 28 septembre (9 octobre).

Anniversaire de l'hymenée de Monsieur Alexandre et de Madame Elisabeth.

Cette pancarte a été commencée pour être portée aux pieds de Votre Majesté Impériale par le comte de Romantsov que j'ai eu le chagrin de perdre il y a dejà huit jours, et qui va partir de Leipzig ces jours-ci pour continuer sa route. Je me suis arrangé avec lui pour lui faire passer mon paquet à la fin de cette semaine par une voie sûre. Je croyais avoir encore 24 heures à ma disposition pour griffonner quelques pages de plus; mais le voyageur impitoyable est là et ne m'accorde pas un quart d'heure pour fermer.

* En me séparant de ce paquet, je sens toute ma pusillanimité s'emparer de nouveau de mon coeur. Je me vois seul, sans appui, même sans sûreté de pouvoir passer tranquillement l'hiver ici. Aber die Unsterbliche, die 22 Jahre über mich, wie über ihr Erbtheil, gewacht hat, wird ihre mächtige Hand nicht von ihrem Schmerzdulder abziehen. Ihr Name sey gelobt und gebenedeyt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Preis der Unsterblichen! Preis der Huldreichen! Preis der Allgütigen, und Wonne in ihren Kindeskindern! Elle n'oubliera pas celui qui ne respire que pour elle et par elle.

A Grimma-Gotha, ce jeudi, 1 (12) novembre 1795.

Madame,

Suivant l'évangile du bulletin № 41 parti ce matin par la poste, c'est hier à dix heures du matin que l'apparition imprévue de l'ange sauveur et consolateur Garikhvostov répandit la joie dans le taudis du souffre-douleur, et qu'un rayon de lumière bienfaisant dissipa les ténèbres dont il était enveloppé. Il y avait, jour pour jour, quatre mois qu'aucun messager de l'immortelle n'avait approché de son enceinte; qu'aucune ligne de cette main auguste et révérée n'avait délecté ma vue, n'avait été portée à mes lèvres tressaillantes de bonheur et de reconnaissance. Votre Majesté Impériale peut aisément se figurer l'effet que produisit sur moi l'aspect d'un grand et énorme paquet, l'impatience où j'étais de me trouver seul pour le presser contre mon coeur et m'abandonner librement aux soudains et impétueux transports qui m'avaient saisi. Ce n'est pas assurément, Madame, que je ne sois en fonds plus qu'aucun mortel, pour subsister largement de mes richesses accumulées pendant tant d'années. En possession d'une mine inépuisable, je n'y descends jamais sans y découvrir de nouvelles veines échappées à mes recherches précédentes. Ainsi, grâces aux bontés passées de ma suprême bienfaitrice, je n'ai qu'à remonter le fleuve de la vie pour nager dans l'abondance. Ce n'est pas non plus que témérairement je prétende occuper Votre Majesté sans cesse des besoins d'un coeur qui ne bat que pour elle et par elle, ou l'astreindre à mesurer l'intervalle d'un bienfait à un autre. Une attente même longue ne me causerait jamais la moindre inquiétude, si un génie tutélaire pouvait de temps à autre me chuchoter à l'oreille: Elle se porte bien, tu n'es pas oublié. Voilà les deux pivots sur lesquels reposent les principes conservateurs de ma vie. Ma foi est toujours également vive et entière; mais (je crois l'avoir déjà dit cette nuit) l'espérance vacille quelquefois, et la peur d'être oublié guette ce moment pour se mettre à sa place. Elle est bien naturelle cette peur, et il n'est pas si aisé d'en guérir radica-

* lement. Qu'ai-je en moi qui doive me garantir de ce malheur? Rien qu'un attachement invincible, qu'une passion insurmontable pour l'objet auguste de mon culte. Mais combien d'âmes ne doivent pas être atteintes de cette passion! Et si cet état habituel de la mienne compose proprement mon existence, quelle réaction peut-il avoir sur Votre Majesté? par quelle vertu attractive détournera-t-il sa pensée sur moi? Encore, si j'étais de la moindre utilité à mon auguste Souveraine, si je la servais en quoi que ce fût, j'aurais, en lui rendant compte de ses affaires confiées à mon zèle, de quoi me rassurer, parce que le dernier de ses serviteurs n'a jamais été oublié, la plus petite de ses affaires n'a jamais été négligée par elle; je me dirais: Elle ne commencera pas par toi. Mais se sentir condamné à une inutilité absolue et éternelle, et n'avoir d'autre boulevard contre l'oubli qu'un miracle perpétuel; croire à son éternité, parce que dans le fait il subsiste depuis tant d'années d'une manière inexplicable et incompréhensible, ah, Madame, il est nécessairement des moments où il n'est pas possible que ces deux éternités ne fassent trembler un pauvre souffre-douleur accoutumé à se rendre justice, et ne lui causent quelques inquiétudes passagères sur son avenir, quelque court qu'il puisse être.

Je crois que je puis faire grâce à Votre Majesté du Lob- und Dank-Pſalm qui fut solemnellement entonné hier dans le taudis de Grimma, immédiatement après la réception de la pancarte céleste et la retraite de l'ange porteur d'icelle. Son premier verset a été consigné dans le bulletin de ce matin, et doit suffire. De tous côtés l'immortelle doit être étourdie par des psaumes de bénédictions et d'actions de grâces; il convient que les gens de Grimma, dont la vie entière se passe dans la composition de tels psaumes, n'en fatiguent pas du moins son oreille, et qu'ils apprennent à se contenter de les brailler dans leur synagogue à demi-voix. Le premier mouvement qui suit l'arrivée d'une pancarte impériale, c'est un ouragan, un élan du coeur, une expansion subite dans toutes les veines qui menace de briser ma frêle machine et de la faire éclater en mille morceaux; c'est le moment des psaumes. Après le premier épluchement de la pancarte, ces mouvements se calment à la vérité, mais à leur impétuosité succèdent des étouffements, des oppressions, tout ce que la concentration subite de trop de pensées, de trop de sentiments, nés d'une lecture fugitive à bâtons rompus, peut avoir de plus alarmant. Ce moment est le plus critique et le plus redoutable; c'est celui où je me trouve aujourd'hui. Les pensées s'élèvent alors les unes sur les autres, comme les flots de la mer agitée par la tempête; les sentiments se croisent, se heurtent, s'entrechoquent, comme les vents déchaînés dans l'atmosphère, et tant que ce double mouvement terrible n'est pas apaisé,

la vie même ne tient qu'à un fil. A de telles bourbasques le calme ne peut succéder que lentement, et lorsqu'enfin tout commence a se placer, à se ranger, à se classer dans ma tête et dans mon coeur, au lieu de la paisible jouissance que ce moment devrait me procurer, une tristesse profonde s'empare de moi, parce que j'aperçois l'impossibilité physique qu'il y a de porter à la connaissance de l'immortelle la moitié des idées et des sentiments que ses oracles ont fait naître en moi. Du matin au soir et du soir au matin, de quelque manière, en quelque lieu que j'existe, la seule occupation de ma vie, celle de lui parler, de lui répondre, ne m'abandonne pas un instant, et quand je pense que ma plume ne lui transmettra rien de toutes ces effusions, il est naturel que la désolation s'empare de moi.

Voilà, Madame, au juste l'état de mon âme après l'arrivée d'une pancarte impériale. Votre Majesté daigne me rassurer sur la crainte qui me tourmente quelquefois, que la longuer des miennes ne l'ennuie et ne l'excède. Cela est digne de sa bonté, sans bornes comme sans modèle. Mais Dieu lui pardonnera (car moi, je ne le saurais) de me dire à cette occasion que je pourrais avec plus de raison accuser les siennes, c'est-à-dire les conservatrices de mes jours, de produire cet effet sur moi. Cet horrible et indéfinissable blasphême, c'est tout crûment le péché irrémissible contre le Saint Esprit dont il est dit qu'aucune autorité, aucune puissance ni divine ni humaine ne peut absoudre. Comment donc l'ointe du Seigneur a-t-elle eu le malheur de le commettre? comment fera-t-elle pour s'en faire relever? D'après le tableau que je viens d'esquisser de l'état au vrai du souffre-douleur après l'arrivée d'une pancarte, je demande s'il est possible que la chose qu'on appelle l'ennui, approche de son âme. Si Votre Majesté avait eu à coeur de ne parler que d'après sa conscience, elle m'aurait dit: Je sais bien, mon pauvre souffre-douleur, que chacune de mes pancartes te réduit dans un état pitoyable; mais qu'y puis-je faire, si ce mal que je te fais, tu me le demandes à cor et à cri? Quelque délicat que soit le doigt d'une immortelle, il ne peut toucher à une aussi frêle machine que ta dépouille mortelle, sans la froisser; et cependant quand ce doigt a l'air de s'éloigner de toi, tu te tiens pour perdu; tu veux donc être froissé. Was ich dir ſchreibe, das iſt ungebundenes Zeug, eines durch das andere. Nun, ſagſt du, das iſt freylich wohl wahr; aber wer, in oder außer der Welt, verſtehet, wie ſie, den Handgriff eines durch das andere zu weben, mit einer Leichtigkeit, mit einer Fertigkeit, mit einer Natürlichkeit, mit einer Feſtigkeit, welche den gordianiſchen Knoten zum Kinderſpiel machen? Deswegen iſt es auch jeher keine Verläumdung geweſen, wenn man ſie die Zauberin par excellence qualificirt hat. Daß der Schmerzdulder Zeit dazu braucht um aus dem ungebundenen Zeug klug zu werden, und daß er vieles muß

* errathen, ob er gleich kein Oedipus iſt, das iſt weiter nichts als eine neue Probe von ſeiner tiefen weltbekannten Scharfſinnigkeit. Nun iſt aber auch noch mehr weltbekannt, daß ihm nie ſo wohl ums Herz iſt, als wenn er bey den Pancarten ſeiner Kaiſerin hockt, und ſich darine vergißt und vergafft, und das iſt auch ganz natürlich. Summa summarum: le souffre-douleur assure, et on doit l'en croire, que deux sortes de traits composent mein ungebundenes Zeug. Les uns sont des traits de lumière qui passent à travers la tête comme des éclairs et en dissipent les ténèbres, comme les rayons du soleil dissipent les nuages. Il ne serait pas poli de lui demander si sa pauvre tête n'a pas bien de la peine à en soutenir l'éclat. Mais il dit que les autres sont des traits bien autrement redoutables; qu'ils visent droit au coeur, qu'ils le percent d'outre en outre, parce que, suivant l'axiome connu que les extrêmes se touchent, on ne déchire pas un coeur seulement par le mal, mais encore par l'excès du bonheur qu'on lui procure. A tout cela je ne vois point de remède, et si mon épée trop acérée use ton misérable fourreau, je m'en lave les mains d'avance. Voilà, Madame, le discours que l'Impératrice devait adresser du haut de son trône à son souffre-douleur, et qui aurait fait un honneur infini à sa bonne foi.

Ce mercredi, 7 (18) novembre.

Le proverbe dit que le diable n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme; mais je suis depuis quelque temps en train de faire mentir tous les proverbes consolants. Le diable ne veut pas me perdre de vue un moment, et en bon luthérien, il faut bien que je le souffre, puisqu'il n'a pas plu à Votre Majesté de le chasser de notre catéchisme de Livonie, malgré les fortes instances de feu M. le président de Behmer et les invinicibles arguments par lesquels il motivait ce bannissement. J'espérais employer le peu de jours que M. de Garikhvostov mettrait à faire sa course à Cobourg et à repasser ici, au soulagement d'un coeur que la pancarte apportée par lui a éprouvé d'une manière si terrible et mis dans un si piteux état. Je m'arrangeais pour griffonner jour et nuit pendant le peu de temps que devait durer son absence. Je me disais: ce sera toujours cela de moins sur le coeur; mais j'ai été saisi par un violent mal de gorge, subitement à table à côté de Katinka; l'éclair n'est pas plus prompt. Au lieu de faire aller ma plume, j'ai été obligé de me tenir à la renverse et de passer mon temps à me gargariser, et le courrier est revenu de Coubourg avant que j'aie pu reprendre la plume. Si ce courrier était celui de Votre Majesté Impériale, il y aurait moyen de s'arranger, et je le garderais sans difficulté et sans remords quelques semaines pour me

* soulager du moins d'une portion du fardeau qui m'étouffe; mais c'est le courrier du Sieur Constantin. Les amoureux n'entendent pas raison; il faudra qu'il parte et que je périsse. Je dois déjà être passablement mal dans ses papiers pour avoir osé faire un autre choix que lui. Enfin, Dieu le bénisse! Je ne lui en veux pas de mal. Il ne pouvait pas mal tomber; mais je ne savais pas qu'à un espiègle comme lui il fallait espiègle et demi, pour faire bon ménage. Le pair d'Ecosse a mieux jugé de cette affaire que moi, je baisse pavillon devant sa seigneurie. Au reste ce choix a causé un bonheur général à Cobourg. J'ai vu une lettre écrite de Pétersbourg par une personne de la caravane, qui entre dans tous les détails de la réception, de ce qui a précédé et suivi le choix, de la manière dont la caravane passe son temps à la cour de Minerve Catherine. Tout cela m'a paru d'une vérité si frappante que je me suis mis à pleurer comme un enfant, et me suis écrié en sanglotant: Et moi aussi je vivais dans l'heurese Arcadie. J'ai reconnu notre Impératrice dans chaque mot, dans chaque geste, dans toute son allure. J'ai assisté à la première entrevue où cet alliage unique de majesté et de bonté n'a pas manqué son effet, et dont cette bonté divine a su faire une surprise, afin que la timidité ne pût se montrer qu'à l'instant même où elle se trouverait rassurée. On m'avait offert la communication de cette lettre, et je l'avais acceptée; mais on ne m'a pas tenu parole. La réflexion aura changé la première disposition, et l'on m'aura trouvé trop près du lieu de la scène pour m'accorder un rôle de confident. On a bien fait. Je n'aurais pas manqué d'en copier et le récit de la première audience et le portrait du Sieur Amoureux, et Votre Majesté aurait jugé du talent du peintre par la ressemblance frappante du tableau. On y parle, entre autres, de la manière ravissante dont le grandes duchesses Alexandra et Marie dansent le menuet, et je n'ai été choqué en cela que du saut qu'on a fait par dessus la grande duchesse Hélène, la marraine succursale de Katinka; je ne saurais même le pardonner qu'autant que la belle Hélène, objet de désespoir, avec la belle Alexandrine, du pinceau de Madame Lebrun, n'ait pas jugé à propos d'étaler ses grâces au bal en question. Mais si je me perds dans tous ces détails, je ne donnerai pas la clef des champs au Mercure du Sieur Amoureux, qui, si je juge d'après le portrait esquissé par un autre pinceau que celui de Madame Lebrun, a suivi bien exactement le conseil de Votre Majesté, de se faire beau, d'être singulièrement aimable comme quand il le veut, et qui, selon le peintre, a surtout du piquant dans le caractère avec un fond de bonté naturelle qui fait un contraste charmant. Il ne faut pas encourir l'indignation d'un prétendu de cette acabie.

Ce jeudi, 8 (19) novembre.

C'est un cruel état que d'avoir un messager de l'immortelle sous sa main, d'entendre gronder mille sentiments dans son coeur semblables au bruit du tonnerre qui roule à travers les nuages, de sentir mille idées se heurter dans la tête, sans en pouvoir rien consigner dans cette triste pancarte, parce qu'un mal de gorge toujours menaçant m'interdit le griffonnage, quoique ces maux s'en aillent ordinairement avec la même vitesse avec laquelle ils arrivent. Dès que j'en serai débarrassé, je me remettrai à griffonner; mais mon messager sera bien loin, et le défaut de prétexte qu'un autre se fourvoie de sitôt dans ces contrées, m'inquiète déjà. Coeur endurci, coeur ingrat, tu n'apprendras donc jamais à compter sur la providence bienfaisante de celle qui t'a conservé et secouru depuis vingt-deux ans?

En fermant cette piteuse pancarte, il faut que je me prosterne aux pieds de Votre Majesté Impériale, et que j'y dépose ma reconnaissance de cette providence adorable avec laquelle mon auguste Souveraine, à qui la Wohlthätigkeit la plus active est aussi nécessaire que la respiration, prévoit et prévient tous les embarras même possibles dans lesquels je puis me trouver, comme si elle n'avait d'autre soin sur la terre que celui de me mettre à l'abri des coups du sort. Il est vrai que je suis depuis cinq ans le seul père nourricier de cette famille infortunée à qui, sans l'adoption de Votre Majesté, il ne resterait pas la moindre ressource sur la terre, et pour mettre le comble à ma détresse, la nation régicide m'a détroussé complètement et entièrement, afin de mettre ma misère au niveau de celle de mes enfants à nourrir. Je me suis donc trouvé inopinément dans un assez grand embarras il y a deux mois, lorsque le passage du Rhin et l'inondation rapide de l'Allemagne par les hordes régicides menaçaient jusqu'à la sûreté du cercle de Saxe, où depuis longtemps la cherté rapide et excessive occasionnée par la proximité des armées sur le Rhin augmentait journellement et à vue d'oeil ma dépense. Je me trouvais encore enrichi d'une personne que je n'avais réussi à retirer du gouffre républicain qu'à force de soins et de dépenses, et que je dois bien regarder comme de la famille après les marques d'attachement que j'en ai reçues, et les dangers qu'elle a courus pour moi. Se trouver avec un tel fardeau, à l'entrée de la saison la plus rigoureuse, exposé à plier bagage, sans savoir où poser ma tête, épuisé d'ailleurs de moyens par des efforts de cinq années, cette perspective n'était pas riante. J'étais sur le point d'attaquer ce précieux bienfait de 20 mille roubles dont la suprême munificence m'a comblé il y a deux ans, immédiatement après avoir eu connaissance du traîtement que j'avais éprouvé en France. J'avais confié l'ad-

* ministration de cette somme à la maison Bethmann à Francfort, pour la conserver soigneusement à ma pupille, comme son unique ressource en mon pouvoir et devant l'empêcher, après moi, de demander l'aumône avec ses trois enfants, en lui procurant une rente de 12 à 15 cents florins. Il m'était douloureux de toucher à cette dernière ressource; mais comment l'éviter? Mon auguste et unique bienfaitrice vient de me la conserver par une nouvelle munificence; je lui en devais l'origine, je lui en dois la conservation. C'est donc un dépôt qui devient de plus en plus sacré pour moi.

J'avais précisément fait mon plan de retraite, comme Votre Majesté a la bonté de me le tracer. D'ici à Leipzig, delà à Francfort sur l'Oder, und ſo weiter gegen das gelobte Land. Le pair d'Ecosse, dont par parenthèse je n'ai pas signe de vie depuis près de deux mois, me fit dire de Leipzig qu'il allait s'établir pour l'hiver à Halle sur la frontière et sous la domination prussienne; qu'il y avait loué une maison assez grande pour pouvoir m'y loger avec toute ma petite colonie. Heureusement les choses ont changé de face, et ô phénomène vraiment étonnant et miraculeux! tandis que l'immortelle traçait le 6 (17) octobre ces lignes mémorables; sachez que de la façon dont vont les choses, lorsqu'on croira tout perdu, c'est alors que le sauveur se trouvera, et que toute cette gueuserie vous sera renvoyée beaucoup plus promptement qu'elle n'est venue; le temps fait mûrir les nèfles, cet oracle prophétique s'accomplissait de point en point sur les bords du Rhin par le serviteur de dieu Clerfay. On peut dire que du 12 octobre au 12 novembre, les autrichiens ont fait de la besogne, et que si l'on avait voulu faire la guerre de cette manière dès le commencement, il y a longtemps qu'elle serait finie. Suivant les nouvelles d'aujourd'hui, Pichegru battu et retiré derrière le Rehbach, le fort du Rhin devant Manheim sur la rive gauche pris, nous préparent à recevoir incessamment la nouvelle que les autrichiens sont dans Manheim. Je ne puis penser, sans me sentir transporté de fureur, à la manière dont cette ville a été livrée à l'ennemi du genre humain. L'électeur mériterait d'être marqué d'un fer chaud au front, et son ministre, l'archi jacobin Oberndorf, pendu au plus haut mât qui se trouve sur le Rhin; ils devraient sévèrement expier chaque goutte de sang que la reprise de cette malheureuse ville aura coûtée. Sans cette livraison infâme et sans la perte de Luxembourg, M. de Clerfay aurait sans doute repris les Pays-Bas autrichiens avec la même rapidité avec laquelle ils ont été perdus, et avant la fin de l'année. La postérité ne manquera pas d'ériger deux trophées d'honneur correspondants aux deux électeurs Palatin et de Brandebourg, car celui-ci-rival en gloire du premier, n'a pressé la signature de la paix de Bâle que pour empêcher les autrichiens de passer le Rhin et de dégager Luxem-

* bourg, qui n'était pas plus assiégé que feu la Bastille, et qui n'avait besoin que d'être ravitaillé. Le baron de Buhler a passé dans ces environs pour se rendre en toute diligence à son poste de Munich. Il m'a écrit de Naumbourg pour se lamenter de passer si près de moi sans me voir. Avec un peu d'humeur, je pourrais le soupçonner d'avoir voulu m'éviter tout exprès: car venant de Hambourg et de Brunswick, la route la plus droite le conduisait à son poste par Gotha. Je n'ai jamais eu l'honneur de le voir, mais dans le temps qu'il était près du prince Potemkine Tavritcheski, il m'écrivait quelquefois par ordre de son chef. Je ne doute nullement que Votre Majesté ne lui ait ordonné pour début dans son ministère, de présenter à l'électeur ein Belobungs-Schreiben impérial sur sa conduite noble, patriotique et loyale. J'espère que sa jeune épouse vengera l'empire de sa perfidie, en le couronnant de la couronne de Moïse, qu'il paraît si fort redouter, et qui ne manque jamais aux jaloux. J'avais assez bonne opinion de ce vieillard imbécile pour supposer qu'il ne s'était remarié à une jeune éveillée que pour avoir au plus vîte un fils de la façon d'un de ses officiers aux gardes bien découplé, en considération de sa tendresse pour la branche de Deux-Ponts. Je me reproche bien de lui avoir fait cet honneur.

Au reste, je suis si peu accoutumé à voir les coalisés jouer leur jeu, que je m'attends toujours à la nouvelle que les autrichiens se sont arrêtés au beau milieu de leur partie. Le jacobin Thugut trouvera peut-être que si on laissait faire le maréchal de Clerfay, les affaires de son maître contre les procureurs régicides pourraient aller trop bien et trop vîte, et il tâchera d'y mettre ordre, parce que de procureur à procureur, il n'y a que la main; l'une qui donne, l'autre qui reçoit. D'après ce que Votre Majesté m'en dit, je m'applaudis de l'avoir de tout temps, par instinct et sans en avoir précisément le droit, rangé parmi cette vermine politique que la Dominatrice du Nord et le feu Roi de Suède qualifiaient entre eux de canaille diplomatique, et je m'écrie dans ma douleur:

Grand Dieu, à quels marauds as-tu livré le monde!

Cela me rappele que lorsque le duc de Choiseul mit tout son génie à faire faire la première guerre à Votre Majesté par les marabouts, j'étais déjà russe à brûler, au point que le pair d'Ecosse m'eût honoré de sa haute bienveillance, et que le duc ministre, pas méchant au fond, mais fougueux comme un cadet de dragon, avait toujours quelque velléité de me renvoyer de France en mon pays, parce qu'il abhorrait qu'on contrôlât quelque opération de son ministère. Ma passion russe me portait donc à une grande attention sur ce qui se disait et se faisait, et je me souviens bien

* distinctement que le duc de Choiseul disait dans le temps à ses amis, qu'il avait acheté à Constantinople l'internonce Thugut, et qu'il l'avait entièrement à sa dévotion. Je conviens que le duc ministre était quelquefois léger dans ses propos; mais il aimait à corrompre, puis à s'en vanter avec une indiscrétion peu ministérielle, et à traiter de gueux et de fripons ceux qui lui avaient vendu leurs services. J'ai toujours ouï dire que le jacobin Thugut avait 80 mille livres de rente viagère en France. Or c'était assez l'usage sous l'ancien régime, de récompenser des services secrets ou équivoques, en accordant de telles rentes à ceux qu'on voulait favoriser, dont on les dispensait de faire les fonds, quoique dans le contrat de constitution on en fît mention, comme s'ils avaient été réellement fournis au trésor royal. Ce sont ces fonds en France appartenants au ministre dirigeant la politique de la cour de Vienne, qui offusquent si fort le pair d'Ecosse, et qui l'ont rendu si content ce printemps, quand il a cru que le comte de Lehrbach qu'il connaît et dont il a bonne opinion, supplanterait le jacobin; mais il paraît que le jacobin a bien trouvé le moyen de tenir ce collègue toujours loin de lui et de son maître. Votre Majesté dit tout, en disant que c'est un avocat. Ce génie perce dans toutes ses opérations qui sont venues à ma connaissance. L'hiver dernier il mit toute sa dextérité à empêcher que l'Angleterre ne prît pas le corps de Condé à sa solde. Il ne put s'opposer à ce que la cour de Londres fournît des fonds pour l'augmenter, l'équiper et le mettre en état de servir efficacement, mais il parvint à le retenir à la solde de son maître, de peur que l'Angleterre ne le fît agir à son gré et ne le tirât de l'inaction qui paraît le système favori du ministre procureur. Il a donc gardé ce corps effectivement à la solde de l'Empereur, afin de l'avoir dans sa dépendance, et depuis quelques mois il ne la paie pas, afin de le mettre aussi dans le plus grand embarras possible. Toute sa conduite envers Louis XVIII est un chef d'oeuvre de chicane contraire à toutes les vues de Votre Majesté Impériale et de la cour d'Angleterre, et qui perpétue toujours le règne de la scélératesse en France, parce qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a ni uniformité de principes ni concert de mesures parmi les alliés. Depuis qu'il est sûr que la malheureuse fille de Louis XVI doit être livrée à la cour de Vienne, Louis XVIII y a envoyé le bailli de Crussol pour obtenir de l'Empereur d'avoir sa nièce auprès de lui, et d'en recueillir les derniers sentiments de son malheureux frère. Cela a été refusé net. C'est un artifice de procureur connu que quand on ne peut attaquer le fond, il faut s'accrocher à la forme. Le procureur Thugut, embarrassé peut-être de motiver son refus, s'en est pris au ton avec lequel le bailli de Crussol avait formé cette demande, et en a fait une affaire de tracasserie personnelle, de sorte que celui-

* ci est retourné à Vérone sans avoir rien obtenu. Cet envoyé n'est pourtant rien moins que brutal dans ses manières, et il n'est pas présumable qu'il ait mis de la hauteur et de l'arrogance dans ses formes, en portant à l'Empereur une lettre pleine d'égards et de déférence de la part de Louis XVIII. Si l'on en croit les gazettes, la cour de Vienne destine cette jeune infortunée en mariage à l'archiduc Charles, et l'on en serait tenté, en voyant le choix des personnes qu'on a fait pour la recevoir et la conduire à Vienne; reste à voir si le procureur trouvera une forme pour se dispenser de faire une politesse aux parents. J'apprends qu'en ce moment le prince de Condé a aussi une tracasserie avec les généraux de l'Empereur. Je n'avais jamais entendu parler en France que des égards même timides et de la déférence la plus entière de ce prince pour tout ce qui est revêtu de quelque autorité de la part du gouvernement. Je crois que tout ce qui s'intéresse au rétablissement de l'ordre et de la monarchie en France, n'a pas en ce moment d'ennemi plus redoutable que le procureur jacobin de Vienne, si la Minerve du Nord, secondée par le cabinet de Londres, ne parvient pas à enchaîner son génie malfaisant et à dérouter sa marche tortueuse et oblique.

Ce samedi, 10 (21) novembre.

Le frisson me prend quand je pense que le Mercure du Sieur Amoureux est encore ici. J'espère, en dépit de ma gorge, ne pas quitter la plume sans mettre immédiatement le cachet à cette triste pancarte. Avant de la fermer, il faut nécessairement encore répondre à un article de la pancarté impériale. J'ai été confondu, en lisant ce que Votre Majesté dit sur la chasse des cadets qu'elle médite en Allemagne. Je croyais d'abord que la lettre de milord Findlater où la même chasse est indiquée, proposée, hautement conseillée, était déjà arrivée aux pieds de mon auguste Souveraine; que cette idée avait trouvé grâce devant ses yeux, et que les ordres dont j'étais chargé, en étaient la suite. Mais en calculant et comparant les dates, je me suis assuré que la lettre de milord où il a consigné le rêve de cette chasse, n'a pu se trouver que dans la pancarte confiée à mon saint. Or der Graf Herzblatt a emporté ma pancarte de Leipzig le 15 octobre, nouveau style, et Votre Majesté a ouvert sa chasse de cadets le 7 (18) octobre; il est donc clair qu'elle n'a pu avoir aucune connaissance des projets de mon chasseur écossais. Mais que deviendra ce pauvre chasseur quand il pourra et qu'il faudra s'avouer, en dépit de sa modestie naturelle, que dans une affaire aussi importante, sa tête a été inspirée par celle de Minerve au point d'enfanter le même projet littéralement? Il y a là de quoi crever de vanité, et je crains

* qu'il ne résiste pas à cette attaque, quelque ménagement que j'y mette de mon côté. Son silence obstiné dure toujours, et me met un peu en peine.

Cette chasse, Madame, ne sera pas ébruitée par moi, et il me serait bien doux d'y servir de chien d'arrêt à mon auguste Souveraine; mais mon début n'est pas heureux, et je vais donner une marque un peu pénible pour moi, en prouvant à Votre Majesté que le zèle et l'attachement de son souffre-douleur ne peuvent être balancés par aucune autre considération. Le cadet de Gotha ne peut être trouvé bien de figure qu'en le comparant à son aîné. Il est comme son frère, d'un blond fade et tirant sur le blanc. Il est grand et fort de carcasse, tandis que l'autre est élancé et fluet, et a l'air d'une vraie caricature anglaise. Il est aussi assez en chair pour faire craindre qu'il ne prenne de bonne heure trop d'embonpoint, et qu'il ne devienne lourd et pesant, à moins qu'il ne s'assujettisse à un exercice fort et suivi; mais comme il est grand et fort de carcasse, l'embonpoint, à moins de devenir excessif, ne pourra lui faire d'autre tort que de l'obliger à renoncer aux formes d'Apollon et de l'Antinöus pour lesquelles la nature ne l'a pas bâti. Son visage est gros et mafflé, les yeux enfoncés et petits, la vue excessivement faible, ce qui, dans l'état de tranquillité et de repos, lui donne un air d'aveugle. Son père ayant un régiment au service de la Hollande depuis un temps infini, ce prince a fait la campagne de 1793 dans les Pays-Bas comme colonel de ce corps. Il a bien débuté dans ce métier, a été aux coups de fusil de bonne grâce; il a même couru de très grands risques dans une affaire où un fils du Roi d'angleterre a été pris et repris. A la fin de cette campagne les états-généraux l'ont nommé général-major; mais lors de la conquête de la Hollande par les avocats régicides, il est revenu dans la maison paternelle où il végète avec son frère, n'ayant ni occupation, ni dissipation. Le malheur de ces princes a voulu que leur éducation ait été confiée à un homme d'une incapacité complète pour cette fonction, et qui avait la sottise de se croire formé tout exprès par la nature pour élever des princes. Je crois que l'étoffe de ceux de Gotha n'était pas précisément merveilleuse, mais susceptible pourtant de prendre de meilleurs plis. L'aîné ne manque point d'esprit, il a de l'imagination et quelquefois du trait; mais il lui est impossible de se fixer à rien ni de s'occuper raisonnablement. Le cadet est moins papillon, il est poli, et tout le monde l'a trouvé changé à son avantage au retour de la Hollande. Je ne connais pas assez ni l'un ni l'autre pour avoir le droit de porter un jugement d'eux, attendu qu'en venant ici, je me suis fait la règle invariable de m'enterrer tout vivant dans le taudis consacré au culte perpétuel de l'immortelle, et le duc a assez d'amitié pour moi pour ne s'attendre de ma part qu'à des apparitions très rares et qui

* dépendent entièrement de moi. Mais je vois que personne n'a bonne opinion du caractère de l'aîné, et que tous ces jugements défavorables pour lui tournent au profit de son frère. Celui-ci aime la musique. Il a une jolie voix, et chanterait, je crois, s'il en voulait prendre la peine; mais l'ennui habituel et le défaut d'intérêt sont deux cruels fléaux pour la jeunesse. Ce qui me console de débuter si malheureusement dans ma fonction de chien d'arrêt, c'est que tout le monde ici a dans la tête que le prince héréditaire ne se mariera pas et ne vivra pas, ce qui rendrait le cadet l'unique héritier des états de son père, et ce risque seul lui ôterait le droit de se ranger parmi le gibier digne de l'attention de Diane hyperboréenne. Je vais me mettre aux trousses du cadet de Coethen, et de tout autre cadet que Votre Majesté voudra m'indiquer, et je me trouverai bien heureux si j'en puis déterrer un seul digne d'une si haute destinée; mais il faudrait aussi l'avoir vu et le connaître de figure: car sans avoir les yeux du grand Lavater en fait des physionomies, on ne peut nier qu'il ne soit essentiel de les connaître pour porter un jugement sûr des caractères.

J'ai si peu voix en chapitre à Dresde que je n'y ai même aucune liaison quelconque. J'ai connu le ministre du cabinet et des affaires étrangeres, comte de Loss, autrefois en France, mais sans aucune liaison. Il m'a bien prouvé ce printemps qu'il en avait conservé le souvenir, mais voilà tout, et je n'ai jamais été dans le cas de lui écrire une lettre de trois lignes. Je ne crois pas non plus notre bon pair d'Ecosse propre à se charger d'une négociation relative à Caton Helbig, le censeur. Il n'a pas plus de liaison que moi dans cette résidence; mais il me passe par la tête une idée de faire savoir au comte de Loss que l'air de Pétersbourg n'est pas sain pour Caton le censeur saxon, et dès que ce paquet sera fermé et parti, j'éplucherai cette idée à tête reposée, et si elle soutient cet examen, j'en ferai usage, pour épargner à mon auguste Souveraine les frais d'un kibitka jusqu'à la frontière.

O bonheur inespéré! O mois signalé par des bienfaits! Tandis que je griffonne, non comme je veux, mais comme je puis, on m'apporte les lignes de Votre Majesté du 23 octobre. Je sais, grâces à sa suprême bonté, que mes deux pivots de félicité existaient, il y a dix-huit jours, dans toute leur inébranlable solidité, c'est-à-dire que mon auguste Souveraine se portait à ravir, et que je n'étais pas oublié. Pour m'en convaincre par mes propres yeux, je n'aurais pas manqué de me trouver à la mascarade du surlendemain si mon malheureux tailleur ne m'avait pas manqué de parole pour mon habit de bal. Certes, le désir de faire honneur à l'invitation de Votre Majesté ne m'a pas manqué.

* Comme on n'a rien de caché pour ses amis, ſo bin ich es ſehr zufrieden wenn der große Friedenſtifter und Kuppler von Reinsberg die Bewunderung ſeiner Talente noch eher als ich aus dieſem Schreiben erſehen hat. J'en doute; et le cher neveu, s'il en a eu connaissance, se gardera bien d'en faire compliment au cher oncle, de peur de renouer la correspondance. Rien ne pourra désormais me surprendre de la part du cher dernier. Au fond, de jacobin à jacobin, il n'y a que la main, et le cher jacobin oncle de Reinsberg a dû tendre la sienne au cher neveu jacobin régent, ne fût-ce que pour faire perdre à la Suède l'appui de la Russie, et pour faire une brèche sensible au testament de cet autre neveu antijacobin Gustave. Le cher oncle jacobin doit être fier comme Artaban dans ce moment-ci, car je vois qu'il possède à Reinsberg les comtes de la Gardie; c'est bien autre chose pour l'Artaban, que lorsque le prince Volkonski s'y rendit l'année dernière pour s'acquitter d'une commission en forme de Votre Majesté qu'il n'avait pas reçue. Au reste, le ministre du cher neveu de Potsdam auprès de Votre Majesté peut parler plus pertinemment que qui ce soit du cher oncle de Reinsberg. Il doit connaître et expliquer mieux qu'un autre les replis contradictoires de ce caméléon de coeur inexplicable pour tout autre, ayant été pendant longues années le favori en titre de son altesse jacobine.

Je n'ai pas besoin de mettre mon article sur le cadet de Gotha sous le sceau impénétrable de la confession, encore moins d'observer à mon auguste et tant bonne souveraine qu'il n'y a qu'elle au monde qui ait pu obtenir de moi cette confession.

Ce jeudi, 15 (26) novembre.

Le Mercure du Sieur Amoureux va partir dans l'instant. Quand je pense que je l'ai retenu ici près de dix jours, la sueur froide me prend. J'espère que mon mal de gorge et d'autres misères disposeront le Sieur Amoureux à la clémence en ma faveur. Je l'espère d'autant plus que je me flatte que son Mercure, mon bienfaiteur, arrivera tout juste le jour de sainte et grande Catherine, qui est un jour de grâce et d'indulgence. Et puis, pour l'avoir arrêté ici si longtemps, je suis à même de le charger de porter à Votre Majesté Impériale la nouvelle de la prise de Manheim que nous apprîmes hier. J'espère qu'il sera le premier à donner à Votre Majesté cette importante nouvelle avec celle des succès toujours renouvelés du maréchal de Clerfay. Le comte de Wurmser a pris possession de Manheim le 22 par capitulation; les 8000 républicains qui y étaient sont prisonniers de guerre. Je n'attends que l'arrivée de la poste pour fermer ce paquet et donner ma

* bénédiction au messager de l'immortelle, afin que si cette poste apporte quelque particularité qui vaille la peine, elle puisse encore être portée à la connaissance de Votre Majesté Impériale. Ce qu'il y a de plus nouveau dans le taudis du souffre-douleur, c'est qu'il s'y fait de grands prépartifs pour célébrer ce grand jour du 24 novembre. J'espère que le maréchal de Clerfay le fêtera aussi à sa manière, afin que suivant la prophétie de l'oracle de Minerve, toute cette gueuserie soit renvoyée chez elle et rencognée dans ses cavernes de brigands, où il était si aisé de l'étouffer au moment de sa naissance. Voilà donc ces hordes invincibles de barbares, la terreur de toute l'Europe abâtardie, rechassées et dissipées par cette même armée à qui l'on a fait faire constamment des sauts en arrière devant elles, pendant deux années consécutives, et qui les a vaincues et battues partout, dès qu'on lui a permis de faire la guerre une bonne fois et d'attaquer au lieu d'aller à reculons. On peut dire qu'il vaut mieux tard que jamais, pourvu qu'on continue sur ce pied-là; on peut dire encore qu'à quelque chose malheur est bon, si c'en est un pour les braves autrichiens que d'avoir perdu l'appui des prussiens sur le Rhin, car jamais ces loyaux amis n'auraient permis à leurs alliés une suite d'opérations aussi sevrées que celles qui ont eu lieu depuis le 12 octobre; ils auraient trouvé mille moyens de les arrêter ou de les traverser, toujours par des motifs supérieurs de sagesse et de zèle pour la cause commune.

Le futur beau-père du Sieur Amoreux vient de me dépêcher le baron de Thummel dans l'ouvrage duquel Votre Majesté aurait trouvé mon éloge à la fin du second volume si elle avait mis un peu d'empressement pour le connaître. Le prince beau-père futur me prend pour un casuiste, en me faisant soumettre un cas de conscience. Monseigneur le grand duc, papa, et Madame la grande duchesse, maman du Sieur Amoreux, n'ont pas écrit à Cobourg. Le prince beau-père ne sait s'il doit leur écrire le premier pour recommander sa fille à leurs bontés. Il s'adresse à moi pour décider une question si délicate, à moi qui suis si loin de l'oracle qui dirige tous mes pas. Comme cependant il est de la dernière importance qu'un souffre-douleur consulté ne reste jamais court, ne soit jamais pris sans vert, j'ai décidé sans hésiter que le prince m'adresse ses lettres pour papa et maman; j'ai dit que je les enverrais à la protectrice auguste du Sieur Amoreux et du sieur souffre-douleur, et que comme elle est de bon conseil, je m'en rapporterais à elle s'il est convenable que ces lettres soient remises ou si nous la supplierons de les jeter au feu. Voilà un oracle lumineux; le souffre-douleur n'en rend pas d'autres.

Je reçois aussi dans l'instant l'avis que le régiment du duc de Castries

où le comte de Bueil a une compagnie, a reçu l'ordre définitif d'aller s'embarquer pour l'Angleterre, tout juste au moment où toute expédition sur les côtes de France est décidemment manquée. N'était-il donc pas plus court d'envoyer ce corps et autres pareils renforcer l'armée de Clerfay et faire la guerre, au lieu de passer l'hiver oiseusement en Angleterre, où il coûtera beaucoup sans être de la moindre utilité? On se perd dans le labyrinthe de ces combinaisons politques.

Der Graf Herzblatt doit être, à l'heure qu'il est, aux pieds de son auguste Souveraine, ma commissionaire en titre. Je lui confie en conséquence le paquet ci-joint pour lui. Il est du maréchal de Castries, et je désire vivement que Votre Majesté ordonne au Herrenfütze de mettre cette lettre sous ses yeux après en avoir changé les Herrenfüffe en caractères lisibles. Cette lettre m'a paru curieuse sous différents rapports.

Le comte Herzblatt m'a écrit de Grodno. Il a diné chez mon parrain le comte des deux empires à Varsovie; mais il y a de quoi mourir d'inanition, car S. E. ne se met à table qu'à huit heures du matin, et le Herzblatt ne me dit pas seulement s'il lui a présenté, inter pocula, l'hommage du Solon d'Allemagne. Il est sensible que Votre Majesté a baissé de ton avec son souffre-douleur, et augmenté de considération pour lui depuis qu'elle a connaissance de ce brevet d'immortalité, et cela est dans l'ordre. Je ne sais comment il m'est arrivé de faire copier sur ma minute les deux lettres que j'ai été dans le cas d'écrire à mon parrain. Ce sont de toutes mes immortelles productions les seules copies que je possède. On dirait que j'aie eu un pressentiment que V. M. voudrait les voir. J'espère qu'elles me seront renvoyées avec l'admiration qui leur est due, afin que je puisse les faire insérer dans le Moniteur à la suite des lettres à Solon venues de Varsovie. Le peuple d'Allemagne a baptisé mon parrain, le comte des deux empires, der General Vorwärts. Après avoir noté le peu de nouvelles arrivées aujourd'hui je ferme mon paquet et m'elance vers le trône de la gloire pour embrasser les genoux de ma souveraine dominatrice dont le nom auguste soit glorifié d'âge en âge!

A Gotha, ce samedi, 24 novembre (5 décembre) 1795.

Jour de Sainte et Grande Catherine.

Madame,

Tandis que tout entier aux devoirs de ma dévotion, j'étais avec ma petite colonie, en pleine célébration de ce grand jour, on m'interrompt dans

* cette sainte et auguste occupation pour me remettre un paquet du prince héréditaire de Saxe-Cobourg. J'y trouve les lettres sur lesquelles j'ai eu l'honneur de prévenir Votre Majesté Impériale, et je laisse là mes fonctions solennelles du grand jour pour transmettre ces lettres à mon auguste Souveraine. Elle daignera se souvenir que ce ne sont pas là des réponses, puisqu' aucune attaque de Gatchina n'a été faite sur Cobourg; mais une simple recommandation de Julie la fortunée et née coiffée, dont je m'efforce en vain de deviner le nom que lui imposera l'église grecque, à la bienveillance de ses futurs beau-papa et belle-maman. Or qui peut mieux juger de la bienséance de cette démarche, et si ces lettres doivent être remises ou supprimées, que celle qui sait toutes choses et qui les règle d'après les principes de sa sagesse invariable? C'est donc un vrai jugement de Salomon que le Solon d'Allemagne a prononcé dans cette affaire épineuse et sur un cas de conscience de cette délicatesse. Il serait sans doute plus séant et convenable, qu'il ne fût pas toujours réduit à juger dans les cas difficiles d'après sa profonde sagacité, et qu'il fût mieux tenu au courant des usages et pratiques de l'étiquette impériale; il n'aurait alors à indiquer à ceux qui ont recours à ses lumières, que la loi et l'observance, au lieu de s'épuiser en oracles par essence obscurs et vagues; mais c'est de quoi, Dieu merci! on se met fort peu en peine. Il est cependant de la dernière évidence, que si le Solon d'Allemagne avait été exactement instruit de tout ce qui s'est passé dans le temps et à l'occasion du mariage de Madame la Grande Duchesse Elisabeth, il aurait su das Benehmen du prince et de la princesse héréditaires de Bade, à l'égard du beau-papa et de la belle-maman de leur fille, et il n'aurait eu besoin d'aucune assistance quelconque, pour rendre dans le cas présent un arrêt luminieux. Mais dans ce temps-là c'était la mode de faire des cachoteries au souffre-douleur, et il n'apprit le voyage des princesses de Bade que lorsqu'il se fut éloigné de leur route, pour aller noyer ses chagrins dans les eaux d'Aix-la-Chapelle. Il est à désirer que ces détails ne parviennent pas à la connaissance de la postérité, qui ne saurait que penser de ces injustices et plusieurs autres.

Je bénis depuis vingt-quatre heures le nom du chavalier d'Augard presqu' autant que celui de l'immortelle, puisque c'est à lui que je dois ces lignes précieuses du 3 novembre qui me furent apportées hier pendant que je faisais chanter dans ma chapelle les matines pour me préparer à la grande fête d'aujourd'hui. Grâces à ces lignes tracées il y a 22 jours, je sais que les deux pivots de ma tranquillité et de mon existence étaient parfaitement assurés, et j'en ai inséré un verset d'actions de grâces exprès dans mon Te Deum d'aujourd'hui. Je n'ai vu le chevalier d'Augard qu' une fois dans ma

* vie. Ce fut l'année dernière, lorsqu' après la triste issue de la campagne, toute la nuée d'émigrés se sauvant de Dusseldorf et de Munster, vint fondre sur ces contrées et se réfugier à Erfort. Il vint à son passage ici forcer ma porte le soir avec deux autres émigrés d'ancienne connaissance. J'étais précisément enfoncé dans mon griffonnage à l'arbitre suprême de mes destinées, et par conséquent inaccessible, et par conséquent de fort méchante humeur d'être interrompu. Les trois pélerins me tinrent deux heures. La conversation fut tellement intéressante et animée que mon humeur s'éclaircit en moins de rien, et le chevalier d'Augard y eut une part si distinguée qu'il ne m'est jamais sorti de la tête. Je m'en suis toujours informé depuis avec intérêt. Toutes les fois que j'ai passé par Erfort, j'ai eu le désir de le revoir; mais le hasard ne m'a jamais assez bien servi pour y réussir. Je ne sais comment il a fait pour échapper à la dernière proscription si inflexible qui a eu lieu à Erfort; mais on m'a assuré qu'il y était resté, et comme son altesse électorale vient de quitter cette ville pour retourner à Aschaffenbourg, les émigrés qui y sont restés ne seront plus tourmentés, et beaucoup de ceux qui l'ont quitté y reviendront peut-être sous l'ombre des ailes du coadjuteur, qui s'est toujours montré parfait pour eux. Au moment de la grande persécution le duc de Weimar leur a aussi ouvert tout son pays, et s'est fièrement appliqué l'évangile du samaritain qui prend soin du blessé abandonné sur le grand chemin, et sur lequel le lévite, en passant un peu auparavant, n'avait pas seulement daigné jeter les yeux, encore moins s'arrêter près de lui pour le soulager. J'ai déja prévenu le chevalier d'Augard des ordres que je viens de recevoir et que j'exécuterai de point en point quand je serai en possession de son paquet.

Comme le ciel ou bien l'enfer ne veut plus que la lumière du bonheur luise sur moi un seul jour sans nuage, il vient encore tout nouvellement m'accabler d'un grand souci. Les successeurs de feu Bacchus que je me suis donné pour protecteurs, sont l'exactitude même, ainsi qu'il est du devoir de tous ceux qui se mêlent de leur métier. Ils me mandent sous date du 30 octobre, que le 28 du courant ils m'avaient expédié une lettre de Votre Majesté Impériale, et que comme cette lettre leur avait été remise après le départ de la poste, ils avaient pris le parti de l'envoyer pas estafette rejoindre la poste à Riga. Or je n'ai pas reçu cette lettre. Je me flattais d'abord qu'elle ne serait que retardée, mais je dois craindre qu'à mon grand désespoir, elle ne reste absolument perdue: car voilà huit jours que je suis en possession de leur lettre du 30 octobre, et dans cet intervalle j'ai reçu de leurs nouvelles du 3 et 6 novembre, sans voir arriver ce paquet du 28 octobre, et chaque jour ajoute à la violence de la fièvre que la crainte de cette

* perte et sa seule possibilité me causent. J'en ai sur-le-champ fait part aux successeurs de Bacchus, mes bienfaiteurs, en leur observant que je ne pouvais approuver qu'ils eussent fait courir une estafette pour attraper la poste ordinaire à Riga; que le mieux était l'ennemi du bien; que je mettais la sûreté de mes lettres bien au-dessus de la promptitude de leur voyage; que lorsqu'une lettre de Votre Majesté leur était confiée après le départ de la poste, ils n'avaient d'autre devoir à remplir que de me l'expédier par la poste suivante etc. Mais à quoi serviront toutes ces observations tardives lumineuses? Cette moutarde après dîner me préservera-t-elle de la perte douloureuse dont je suis menacé? Elle est la première et l'unique que j'aie faite dans l'espace de 22 ans que mon bonheur subsiste; mais si elle devient irrévocablement arrêtée, il n'est pas bien sûr que je lui survive.

Ce dimanche, 25 novembre (6 décembre).

Je prends le parti de mettre ce paquet sous la protection de M. de Hahn, successeur de feu mon protecteur, M. d'Eck de bienfaisante mémoire: car il faut avoir plus d'une corde à son arc. J'y ajoute la brochure de M. le comte Strengschwerd sur ceux qui ont livré Manheim à l'ennemi de l'empire. Je crois qu'ils auraient de la peine à se blanchir à son tribunal, comme ils auront de la peine à sauver leur honneur au tribunal du public et de la postérité. J'ai envie, sans aucun motif, d'attribuer cette brochure au comte de Dietrichstein, fils du prince de ce nom, grand écuyer de l'Empereur, jeune sujet d'une grande distinction, à ce qu'on m'assure, que la cour de Vienne tient depuis quelque temps à Francfort. Dieu des miséricordes, en fermant ce paquet, je t'implore. Conserve ton ointe, et fais-moi retrouver le paquet qui me manque. Ainsi soit-il!

A Gotha, ce jeudi, 6 (17) décembre 1795.

Madame,

J'ai déjà eu l'honneur de dire à mon auguste Souveraine qu'aussitôt après la réception de ses ordres contenus dans ses lignes du 3 novembre, j'ai écrit à mon voisin d'Erfort, le chevalier d'Augard, pour lui en faire part. Je vais mettre sous les yeux de Votre Majesté Impériale la réponse que je viens d'en recevoir. Elle m'autorise à penser que son paquet se trouvera depuis longtemps au pied du trône, lorsque ces lignes y arriveront. Si, à cause du voisinage, Votre Majesté juge à propos de faire passer à son

* souffre-douleur ses ordres relatifs à ce paquet, ils seront exécutés avec ponctualité; c'est de toutes les vérités la plus inutile à dire. Alles was ich von diesem Manne weiß, habe ich schon ausgekramt, als das erstemal die Rede von ihm war. Je ne puis nier qu'il ne m'ait laissé une impression très favorable. Le prince de Salm dont sa lettre fait mention, est le prince Emanuel de Salm-Salm qui vint en Russie à mon premier voyage. Il a toujours marché dans la voie droite, et c'est une chose qu'il faut noter dans un temps où tant de noms illustres ont été déshonorés par leurs porteurs. Son cousin de Salm-Kyrbourg fut sans doute guillotiné, comme tant d'autres, injustement sous le règne de Roberspierre d'exécrable mémoire, mais c'était un triste et épouvantable sujet qui, criblé de dettes et de mauvaises affaires, s'était mis, au commencement de la révolution, dans les gardes nationales pour se mettre à l'abri des poursuites de ses créanciers dont Roberspierre le débonnaire a voulu, dans un de ses accès journaliers de clémence, le garantir à tout jamais. Le prince Emanuel a servi dans sa jeunesse en Espagne, où une de ses soeurs avait épousé le duc de l'Infantado immensement riche; il fut ensuite en France colonel propriétaire d'un régiment de son nom et officier général, et émigra, comme tous les honnêtes gens, au commencement de la révolution. Son frère, autrefois évêque de Tournay, fut le seul de tous les prélats belgiques qui depuis le premier commencement des troubles ne varia jamais dans son attachement et dans sa loyauté pour la maison d'Autriche qui le récompensa en lui conférant, il y a quelques années, l'archevéché de Prague, capitale de la Bohême.

Si j'ai béni le nom du chevalier d'Augard pour m'avoir procuré les lignes sans prix du 3 novembre, j'en ai béni bien autrement celui de Lebrun pour m'avoir procuré celles du 8 novembre tracées dans un saint accès d'enthousiasme, premièrement parce que ma science sur les deux pivots de ma tranquillité a acquis, grâces à ces lignes, une connaissance de cinq jours de plus, et cette connaissance m'a été d'autant plus salutaire que j'ai pu l'opposer immédiatement au grand débordement des eaux du 5 (16) novembre dont les gazettes m'ont gratifié en même temps, et qui aurait pu me chiffonner et tracasser pendant quelques nuits, si je n'avais eu pour correctif le silence absolu de ces précieuses lignes du 8 novembre. J'ai le droit d'en conclure que cet accident n'a été qu'un inconvénient très passager, puisqu'il n'a pas même fait mettre à Votre Majesté une seule goutte d'eau dans son vin, en se livrant à son saint enthousiasme sur le portrait de Mesdames les Grandes Duchesses, port de reine et mine de sainte nitouche. Il est bien malheureux que cet enthousiasme ait été si promptement noyé dans le fatal souvenir du siècle de Louis XIV. De quoi s'avise aussi Madame Lebrun

* de faire souvenir Votre Majesté par son nom de ce fameux Lebrun de Louis XIV? Elle ne sait donc pas encore qu'il ne faut qu'une conformité de nom pour faire trotter cette tête impériale, pour la conduire de fil en aiguille à cette célèbre école de peinture en France, à la noblesse, à l'esprit, à l'agrément qui y régnait dans ces temps-là? Je sais bien, moi, que quand une fois cette tête s'élance, il est trop tard de l'arrêter dans ses bonds et ses sauts; mais si j'avais été là, j'aurais tâché de prévenir le premier élan. J'aurais dit, aber um tausend Gotteswillen, wo soll denn das hinaus? Man muß doch bedenken daß der Louis XIV und sein siècle gar nicht mehr Mode sind, daß noblesse, esprit, agrément lauter verhaßte, aristokratische Wörter sind, welche in unserm aufgeklärten Zeitalter gar nicht mehr über eine philosophische Lippe herausstolpern dürfen. Gott bewahre den kaiserlichen Mund vor allen solchen gefährlichen Ausdrücken. Er stärke ferner den Pinsel der göttlichen Lebrun, welcher ich armer Pinsel die kaiserliche Stärkung und Labung vom 8 November zu verdanken habe!

Ce mercredi, 12 (23) décembre.

Cette feuille devrait déjà être en route depuis huit jours, j'ignore ce qui a pu l'arrêter ici. La bonté de Votre Majesté Impériale va jusqu'à me pardonner mes moutardes après dîner. Hélas, quoiqu'un souffre-douleur soit par son essence un animal très vain, il ne s'est jamais cru en état de faire par son misérable tonnelet le moindre tort à tous ces innombrables premiers moutardiers du chef visible de l'église grecque qui de tous les coins de la terre fournissent leur provision de moutarde pour la table impériale. Il n'a inventé la sienne que pour avoir à tout moment un prétexte de dire à son auguste Souveraine qu'il est là, et qu'il ne respire que pour elle. Il se gardera bien de parler à Votre Majesté du message pacifique de George III à son parlement, attendu qu'il remarque qu'un courrier lui a été dépêché exprès de Londres le 11 décembre pour lui porter ce message. Une nouvelle qui malheureusement n'en est plus une, c'est que le souffre-douleur n'a pas encore reçu ces lignes impériales que les successeurs de Bacchus, d'après leur propre avis, lui ont expédiées le 28 octobre dernier, et que ce retard prenant tous les jours davantage la physionomie d'une perte absolue, le fait dessécher à vue d'oeil. La même malle à laquelle je confie cette lettre, portera à M. de Hahn deux almanachs de Gotha que je le charge de déposer aux pieds de Votre Majesté Impériale, où je dépose aussi les voeux et hommages, les psaumes de bénédiction et d'actions de grâces de tout le taudis, parce que nous calculons qu'ils doivent y être rendus la veille du jour de l'an selon la computation grecque.

* Suivant les nouvelles qui m'arrivent, l'admirateur outré du règne immortel de 33 ans 5 mois 15 jours, le rival du pair d'Ecosse et le mien sur ce point, n'est déjà plus à portée d'en admirer les merveilles de près, ni de leur prodiguer son encens en plein air, tant on a été pressé de le faire changer d'air, dès qu'on a cru avoir connaissance de source de sa prodigalité en fait d'encens. J'ai donc encore fait ici le rôle de la mouche du coche, et je m'y attendais; il me paraissait bien impossible que cette habitude d'admirer une fois connue, on pût ou voulût retarder le changement d'air d'une minute, et je suis bien aise de ne m'être pas trompé dans mes conjectures.

Le maréchal comte des deux empires me fait notifier par son bras droit, qu'il va se rapprocher du séjour de l'immortelle. Les gazettes nous ont gratifiés d'une lettre qu'il a écrite au maréchal de Clerfay, qui a commencé à marcher sur ses traces. Le Solon d'Allemagne ne confie pas les siennes aux gazetiers; mais pour les garder dans son portefeuille, il n'en est pas moins enflé. Le maréchal à qui il doit son baptême de Solon, lui a fait mander encore de la manière la plus galante, qu'il n'y avait qu'une raison qui le rendait mécontent des succès brillants de Clerfay, c'est qu'ils lui ôtaient l'espérance de trouver son Solon à Pétersbourg, parce qu'ils garantissaient la sûreté de la Saxe. Je crois que l'auguste commissionnaire de Solon peut se flatter de recevoir de lui incessamment une lettre à soigner pour le maréchal son parrain. God save our gloriously reigning Emperor et son maréchal, mon parrain!

Monsieur le comte,

Depuis un mois je suis continuellement balloté entre le désir de donner à votre excellence une preuve d'attachement, et le parti infiniment plus commode et plus sage, de garder le silence et de ne point me mêler de ce qui ne me concerne en aucune manière. Quoique vous m'ayez fait, Monsieur le comte, à ma dernière apparition à Dresde un accueil plein de bonté, et traité comme une ancienne connaissance, je ne puis me flatter d'être assez conuu de votre excellence, pour que vous ayez dans mes principes et dans mon caractère cette confiance entière que je crois mériter de tout le monde, et que j'ai obtenue de toutes les personnes respectables avec qui j'ai eu des liaisons anciennes et suivies. Je ne pourrais cependant que regretter extrêmement une démarche à laquelle rien ne m'oblige, si elle devait être interprétée autrement que je ne la fais. Si je m'y détermine, Monsieur le comte, c'est que par l'idée que j'ai depuis longues années de votre caractère

* public et privé, je me persuade que vous ajouterez une foi entière à la déclaration préliminaire que je fais ici: 1°. que la démarche que je vais faire ne m'a été dictée ni suggérée par qui que ce soit; 2°. que je la fais de mon propre mouvement, sans autre projet que pour faire part à votre excellence d'un fait, et parce que je crois qu'un ministre doit toujours tout savoir, les plus petites choses comme les grandes; qu'aucune vue de côté, ni pour moi ni pour qui que ce soit, n'a influé sur ma détermination; 3°. enfin que, pourvu que vous rendiez justice à la parfaite pureté de mes intentions, je n'ai nul besoin de savoir l'opinion de votre excellence sur le fond de l'affaire, parce que si je cherche à l'éclairer, je ne prétends aucunement la diriger; 4°. que, hors votre excellence, personne n'a et n'aura connaissance de ma démarche.

Après ces préliminaires indispensables, j'aurai l'honneur, Monsieur le comte, de vous dire qu'il y a à peu près un mois que j'ai appris qu'il existait à Pétersbourg un M. Helbig, secrétaire de légation attaché à la mission de Saxe; qu'en apprenant son nom et son existence, j'ai su aussi, à n'en pouvoir douter, qu'il était accusé par le gouvernement Russe, de passer sa vie à dire et à écrire tout le mal possible de la Russie; qu'on lui reproche que c'est tellement un besoin en lui, qu'il arrête souvent les passants dans la rue pour leur en parler sur ce pied-là; qu'en un mot par ses sarcasmes continuels contre le nom Russe et même contre la personne de l'Impératrice, il se conduit, au milieu de la capitale, comme un ennemi déclaré de la puissance auprès de laquelle il est attaché à une mission publique. Je ne prétends pas fixer l'opinion de votre excellence sur un sujet employé; mais quand ces propos et cette conduite seraient exagérés, je suis autorisé à penser que c'est ainsi qu'ils sont représentés et rapportés à l'Impératrice, et je crois que s'il est difficile que la dignité de S. M. s'offense des propos d'un particulier quelconque, cette indifférence cesse, lorsque ce particulier est employé dans sa capitale par une autre cour. Il se trouve alors aisément autour des souverains des personnes qui insinuent qu'apparemment cette cour approuve cette manière de voir et ces rapports, et qu'elle trouve la correspondance du personnage charmante, puisqu'elle ne songe pas à le rappeler. Enfin je suis autorisé à croire qu'on a fait plusieurs démarches auprès de la cour de Saxe et par conséquent auprès de votre Excellence, pour le faire retirer de Pétersbourg, et je craindrais que si la dernière tentative faite à ce sujet restait sans effet, le gouvernement de Russie ne se portât à quelque éclat désagréable qu'il est surtout si grandement sage de prévenir.

Après m'être débarrassé, Monsieur le comte, d'une tâche aussi désagréable que celle que je me suis imposée ici, il ne me reste qu'à prier votre

* excellence, comme j'en ai incontestablement le droit, de me renvoyer cette lettre après l'avoir lue, sans qu'il soit besoin que je sache de quelle manière vous envisagez le fond de cette affaire. Il m'eût été doux sans doute, Monsieur le comte, de vous donner une preuve d'attachement d'un autre genre et de vous convaincre d'une manière plus agréable du cas infini que je fais de vos bontés, et du respect avec lequel je suis,

Monsieur le comte,
de votre excellence
le très humble et très obéissant serviteur
le b^on de Grimm.

A Gotha, ce 13 décembre 1795.

A Gotha, ce mardi, 1 (12) janvier 1796.

Madame,

Puisqu'il plaît à l'Impératrice des Grecs de faire son entrée dans la nouvelle année douze jours plustard que le reste de la chrétienté, et qu'il a plu aux gens de Grimma itou, de n'y entrer qu'à la suite de leur auguste Souveraine, il ne faut pas s'étonner que les gens de Courlande, de Lithuanie, des autres provinces rentrées dans le giron de leur ancienne mère patrie, aient été pareillement saisis de l'ambition de rajeunir de onze jours, afin de grossir le plus magnifique et le plus imposant des cortéges. Restera à voir comment se trouveront de cet accroissement de famille, les bénédictions des Emilies, des Katinka, des Adèles, de ce souffre-douleur enfin qui n'admet point de pluriel; qui par sa constitution et par la grâce de la très haute, ne peut-être qu'un et indivisible, comme par sa constitution et par la grâce spéciale de l'enfer, la république régicide ne sera, tant qu'elle subsistera, en dépit de son dicton, que mille et divisible, semblable en tout à la légion discordante de Belzébuth, son modèle. Jusqu'à présent ces bénédictions voyageaient incognito, arrivaient sans bruit de la chapelle de Grimma aux portes de Riga, et se rendaient delà au pied du trône; aujourd'hui c'est fort différent: à Grodno, à Vilna, à Liebau, à Mitau, partout sur leur passage on leur demandera qui vive, et sur leur réponse, toutes les villes ayant retrouvé le chemin de la maison maternelle, voudront profiter de l'occasion et faire voyager leurs bénédictions de conserve avec la pacotille de Grimma. N'est-il pas à craindre que les accens d'une chapelle aussi éloignée, aussi chétive, ne restent entièrement étouffés au milieu de cet énorme brouhaha

d'accompagnements dont ils seront obligés de se charger dans leur traversée? A cela je réponds hardiment: Non, de par l'immortelle! Parce qu'il est connu de toute la terre que son oeil pénétrant sait distinguer le dernier de ses enfants dans la cohue la plus nombreuse, et que la plus faible voix, si elle part du coeur, perce jusqu'à son oreille à travers la foule la plus bruyante. C'est avec cette certitude qu'il est doux de chanter ses louanges et de lui dire: Toi qui, à l'exemple de l'éternel, reçois l'hommage journalier de tes enfants de toutes les zones, de tous les climats, de toutes les langues, et qui néanmoins ne dédaignes pas la voix du faible, ne rejette pas nos voeux en ce jour consacré par l'allégresse publique. Que ton nom, comme il est un signal d'admiration parmi les peuples de la terre, reste aussi celui de nos bénédictions et à jamais le cri de notre amour et de notre reconnaissance!

Voilà, Madame, le cantique entonné ce matin par le souffre-douleur avec la plus grande solennité, et répété par les enfants de sa petite colonie avec la même ferveur avec laquelle ils récitent matin et soir leur prière journalière dont la formule dit: Mon Dieu, conserve ma marraine pour le bonheur du monde et pour le mien! C'est ainsi que les paroles du prophète et de l'évangile: Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du Dir dein Lob zugerichtet, s'accomplissent journellement. Ce grand jour m'a été propice encore d'une autre manière. Depuis deux mois j'étais en transe d'une lettre de Votre Majesté Impériale que les successeurs de Bacchus m'avaient expédiée de Pétersbourg le 28 octobre, et qui ne m'était pas parvenue. C'était le premier malheur de ce genre qui me fût arrivé dans l'espace de 22 ans. J'en devais être inconsolable, et je le fus. Il me semblait qu'après la perte d'un bien que je préférais à tous les biens de la terre, je n'étais plus à l'abri d'aucun malheur, et que désormais tous devaient fondre sur moi. Par un effet de ma prévoyance, ma machine chez les successeurs de Bacchus est si merveilleusement montée qu'elle pourrait servir de modèle à tous les hommes d'état, pour maintenir l'ordre invariable de leurs départements. Non seulement je suis informé sur-le-champ de l'arrivée et de la remise exacte de tous mes paquets et chiffons; mais il ne peut survenir le moindre accident, sans que j'en sois immédiatement instruit. Ainsi lorsqu'un feuillet pour moi est confié par l'Olympe aux successeurs de Bacchus, ils ne se contentent pas de me l'expédier tout de suite à l'adresse convenue; ils m'avertissent encore le jour de poste suivant qu'un tel paquet est parti un tel jour. C'est par ce moyen que j'ai eu notion sur-le-champ de celui qui me manquait, et que j'ai pu les avertir sans perte de temps du premier malheur de ce genre. J'ai senti dès le premier instant qu'il convenait de m'armer de la

* patience d'un saint, et que si ma perte pouvait se réparer, ce ne serait qu'après qu'elle serait parvenue à la connaissance des héritiers de Bacchus, de ses bontés pour moi, de son zèle brûlant pour mes intérêts. Je ne me suis pas trompé dans mon espérance. Aujourd'hui une de leurs lettres me fait part de la peine avec laquelle ils ont appris la nouvelle du paquet non arrivé, des soins qu'ils ont pris pour découvrir ce paquet, et de la promesse formelle qui leur a été faite, que ce paquet se retrouverait et arriverait à son adresse. Effectivement la même poste qui m'a apporté cette nouvelle consolante, m'a aussi mis en possesion de ce paquet tant désiré. Il en résulte que leur recherche n'a pas été bien pénible, que le retard de ce paquet a eu lieu, par quelque méprise, soit à Pétersbourg, soit à Riga, ce que je préfère incomparablement à tout retardement qui aurait pu provenir d'un bureau de poste étranger.

Le jour de l'an s'est donc particulièrement signalé envers moi, en me mettant en possession de la lettre de Votre Majesté Impériale du 27 octobre, écrite le jour même du départ de la princesse héréditaire de Saxe-Cobourg pour revenir en Allemagne. Quelle perte n'aurais je pas faite, si le ciel dans son courroux eût permis qu'elle restât perdue! Mais il a voulu dans sa clémence me la ménager pour un jour de grande solennité. Sa dernière ligne me remet à la bénédiction divine qui doit être plus efficace un jour de l'an qu'un jour ordinaire, et me donne les plus magnifiques étrennes possibles, en me disant: Nous nous portons comme le Pont-Neuf. Mon bon génie a tout de suite franchi l'intervalle de quelques mois, et je me suis écrié: Ce qui était vrai le jour du départ de la caravane de Cobourg, est tout aussi vrai en ce jour solennel, et ce matin lorsque l'ointe du Seigneur est entrée dans sa chapelle, tous les fidèles se sont soudainement écriés: Grâces soient rendues à l'Eternel! Son image se porte comme le Pont-Neuf. Peu s'en est fallu, Madame, que je n'aie fait rouvrir ma chapelle ce soir, et que fidèle à cette inspiration, je n'y aie fait une procession, en criant de toutes mes forces avec tous mes enfants: Elle se porte comme le Pont-Neuf! Elle se porte comme le Pont-Neuf! La caravane de Cobourg revenue depuis peu dans son gîte, y a répandu, à ce que j'apprends, le même cri de joie. Je ne demande pas mieux que de voir sur cet article fondamental de notre foi et de nos espérances, sur cet article essentiel au bonheur et au salut du monde, toutes les églises de la terre à l'unisson, quel que soit d'ailleurs le rite qu'elles suivent pour leurs pratiques particulières. Il sort bien d'autres cris de cette chapelle de Cobourg qui retentissent dans le voisinage, et étourdissent toutes les oreilles d'alentour. Naturellement on jase sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a éprouvé, sur ce qu'il a fallu supporter durant le court séjour dans cette

* terre de promission et de merveilles que le Herrnhutien Roentgen appelle dans sa géographie le monde proprement dit, en restreignant les autres parties du globe à la qualification de simples faubourgs. Dans un pays où les coups de baguette dominent toute l'année, il est tout simple que celle qui peint, trouve en entrant dans son appartement, tout ce qu'il faut pour exercer son talent, une autre dans le sien les instruments de musique qu'elle joue; que chaque pélerine, en un mot, découvre autour d'elle ce que ses goûts et ses habitudes lui auraient fait désirer de préférence; mais quand d'un faubourg on se trouve subitement transplanté dans un lieu enchanté de la sorte, il est tout simple aussi qu'on en reste tant soit peu pétrifié. Et puis, toute la dépouille qu'il a fallu emporter en partant, jusqu'à cette pauvre vaisselle de voyage à qui il a été défendu de rentrer dans l'empire! Comment empêcher que tout cela ne fasse jaser les faubourgs à perte d'haleine? Nous autres gens qui avons vécu dans ce monde-là, à force d'avoir vu de pareilles choses se répéter sans fin et sans cesse sous nos yeux, et de les savoir au bout de nos doigts, nous ne concevons plus qu'on doive ou qu'on puisse s'en étonner. On se fait si vîte au bien que si le malheur n'offre pas de temps en temps ses ombres tranchantes, on s'identifie avec le tableau le plus enchanteur. Voilà pourquoi les gens d'esprit ont quelquefois craint que le paradis ne soit peuplé de gens blasés, inconvénient que les enfers ne pourront pas éprouver. Or il est de notoriété publique que c'est depuis plus de trente-trois ans toujour-la même pièce enchanteresse qui se répète sur le théâtre de cette terre de promission, qu'il n'y a que le nom des acteurs qui change suivant les circonstances, et le fond des décorations qui varie à l'infini. Ceux qui sont faits à ce train, disent que c'est un pli pris, et que vouloir le changer, c'est vouloir transformer les montagnes en plaines, les fleuves ou les torrents en eaux dormantes; mais il est tout simple aussi que les gens des faubourgs qui n'ont jamais approché de la terre de promission, ne puissent pas s'en faire une idée bien nette, et traitent tout cela de fables. Ils se disent entre eux: Man will uns zum Beſten haben, wenn man uns ſolch Zeug erzählt und vorzuſpiegeln ſucht, welches offenbar aus den Mille et une Nuits entlehnt iſt. Aber um tauſend Gotteswillen, ſagt der Kaiſerliche Schmerzdulder, warum ſind denn in der beſten aller möglichen Welten ſo erbärmlich viele Vorſtädte, und nur eine einzige Welt auf Gottes Erdboden? Meiner wenigen Meynung nach, könnte die Unterſuchung dieſer wichtigen Frage im gegenwärtigen Jahre von den berühmteſten Akademien zur Einſendung der Preisſchriften vorgeleget werden, denn es kann viel darüber geſchwätzt werden, ehe man auf den rechten Grund der Wahrheit kömmt.

*

Ce mardi, 8 (19) janvier.

Le premier jour de l'année grecque s'est encore distingué pour moi d'une manière bien marquante. Le soir arrivèrent dans la même auberge, d'un côté le pair d'Ecosse, de l'autre M. le général de Budberg; celui-ci de Cobourg, l'autre de Halle où il a établi sa résidence pour cet hiver. On aurait juré, et les grands politiques ne manqueront pas de l'assurer en dépit de toutes les protestations contraires, qu'ils se sont donné rendez-vous ici; le fait est que le hasard seul a combiné cette rencontre dont milord a été fort aise, ayant connu le général à Carlsbad. Pour moi, le passage du général fut aussi une surprise fort agréable, mais j'attendais milord depuis quelques jours; il m'avait mandé qu'il viendrait passer une semaine avec moi. Il m'a tenu parole, n'étant reparti que ce matin. Le général, au contraire, n'est resté que deux jours francs qu'il a passés à la cour où je n'ai pas pu dîner avec lui, ayant mon pair à traiter, qui a grand soin de n'avoir jamais ni habit ni épée avec lui, afin d'avoir toujours une impossibilité insurmontable à alléguer, de paraître à la cour. Le troisième jour, 4 (15) janvier, le général pressé de poursuivre sa route consentit de dîner chez moi avec milord, les Emilies, les Katinka, les Adèles, et partit au sortir du dîner pour Hambourg, après que la santé de l'auguste Souveraine qui règne en ce taudis comme dans le monde par excellence, eût été portée par Adèle avec la plus grande solennité. Le lendemain du jour de l'an et de l'arrivée des deux pélerins, 2 (13) janvier, avait déjà été célébré d'une manière très brillante. C'est l'anniversaire du jour où Katinka eut l'impertinence de venir au monde. Je suis obligé de donner un petit bal à toutes ses petites compagnes d'étude; c'est l'usage. Comme les abus sont inséparables des plus belles institutions, les princes se sont mis en tête de s'inviter à mes bals, et, qui pis est, de s'y divertir le mieux du monde. Cette année, un pair d'Ecosse, un général entremetteur de mariages ont rehaussé l'éclat de cette fête. Ils ont eu la complaisance d'y rester depuis cinq heures jusqu'au Kehraus de cette fête bruyante, c'est-à-dire jusqu'à onze heures. Le reste du séjour de milord a été consacré à des conférences ayant pour objet son unique et constante passion, le bonheur du monde par excellence. Cette fois je me suis trouvé plus en fond que lui, en pouvant lui communiquer les réponses à ses rêves apostoliques de l'année dernière; mais quoique milord dans le séjour solitaire des muses et de la philosophie, où le passage subit du Rhin de l'automne dernier l'a confiné pour cet hiver, ne soit pas aussi riche que de coutume, il ne faut pas croire qu'il soit arrivé les mains entièrement vides. L'immortelle seule peut savoir dans son omniscience, quand viendra le moment fortuné où

* je pourrai me défaire de la provision de miettes qu'il m'a laissées. Il n'a pas oublié non plus de m'obtruder une petite caisse de livres destinés, suivant son usage, aux différents établissements qu'il couve des yeux dans ce monde où sa pensée erre jour et nuit; mais cette caisse restera longtemps prisonnière ici, à moins que, contre mon espérance, un messager de l'immortelle ne se fourvoie dans nos tristes contrées.

Ce vendredi, 11 (22) janvier.

La nouvelle de cette année la plus extraordinaire est celle de la température du mois de janvier. Elle est tellement douce et belle, que je me crois transporté à Naples où j'ai effectivement vu un mois de janvier qui ressemblait à celui-ci. La différence du climat de Gotha et de Naples est telle que cela tient du prodige. En vrai dévot qui aime à rapporter tout à l'objet de son culte, je soutiens que ce prodige est un bienfait qui nous vient du Nord, et je parierais que l'hiver de cette année est tellement doux dans l'empire de notre suprême dominatrice, que c'est à son heureuse influence sur nous que nous devons cette température printanière dont nous jouissons.

Mais ce n'est pas de quoi je voulais parler à Votre Majesté Impériale. J'avais pris la plume pour me confesser, et je m'en trouve un urgent besoin, surtout dans ce beau mois de janvier, où, grâces à sa douce influence, je me vois tout-à-coup transplanté des frimas de la forêt de Thuringe sous l'astre bienfaisant du printemps de Naples. J'ai fait la triste expérience que la dévotion n'exempte pas du danger de pécher, et si, suivant l'évangile, le juste pèche sept fois par jour, comment le souffre-douleur pourrait-il se promettre de ne pas ressembler une seule fois au juste de l'évangile? Tout ce qu'il y a de plus pressé en pareil cas, c'est de se repentir, c'est d'avoir recours à la confession, afin de mériter son pardon et de rendre par un aveu naïf et sincère la paix à sa conscienee. C'est ce que je vais tenter.

Dans cette longue et divine pancarte, le dernier bienfait de l'immortelle, à la suite de la phrase qui parlait de la fin déplorable du baron de Damas, j'ai trouvé deux lignes barrées; et quoiqu'elles le fussent si mal qu'on pût douter qu'elles dussent rester irrévocablement effacées, je confesse que j'aurais dû en détourner les yeux, et que c'est comme téméraire et mal avisé, que j'ai été tenté de les lire: en quoi je n'ai que trop bien réussi, car j'ai lu sans aucune difficulté les mots que voici: «Mais il est bien étrange que par une lettre cette dame me redemande son fils, le disant mal entretenu au corps des cadets où tous ses camarades sont bien». En me confessant, Madame, de mon énorme péché, et en cherchant mon absolution au tribunal de pénitence, je puis dire avec vérité que la lecture de ces deux lignes m'avait déjà sévèrement puni de n'avoir pas respecté ce qu'une main auguste avait

* condamné à l'oubli, et d'avoir osé y porter un regard indiscret. Je ne savais que faire de ma découverte absolument incompatible avec tout ce que Madame de Damas m'avait fait dire depuis que son fils était arrivé à Pétersbourg, et avec toutes les protestations de reconnaissance qu'elle ne cessait de me faire faire par nos amis communs. Une lettre que je reçus d'elle vers la fin de décembre, mit le comble à ma perplexité. Je lui avais écrit après le désastre de Quiberon, pour lui témoigner la part que je prenais à son cruel malheur. Je ne fus nullement surpris d'être plusieurs mois sans recevoir de réponse. A la fin elle arrive, telle que Katinka, copiste ordinaire de Votre Majesté Impériale, la joint ici, et voilà l'énigme dérobée à la pancarte de l'immortelle, encore un peu plus inexplicable pour moi qu'auparavant. Tout considéré, je suis obligé de soutenir d'après cette lettre: 1°. que celle qui l'a écrite n'a jamais cessé d'être pénétrée de la plus profondere connaissance pour l'auguste et magnanime bienfaitrice de son fils; 2°. qu'elle n'a jamais osé écrire à Votre Majesté, pas même pour lui parler de cette reconnaissance, encore moins pour former une plainte extravagante. Comment donc concilier ces deux versions contradictoires? Ce n'est pas à moi de percer ce mystère. Je l'abandonne à mon auguste Souveraine qui a quelquefois tranché des noeuds plus compliqués que celui-ci; mais elle ne doit s'en occuper qu'après m'avoir accordé l'absolution de mon péché, en me disant: Maroufle, que cela ne t'arrive pas davantage.

Ce mercredi, 16 (27) janvier.

Depuis deux mois et demi je suis en possession d'une des plus divines pancartes dont j'aie jamais été redevable à l'intarissable bonté de l'immortelle. Il est vrai que c'est toujours la dernière qui me parait l'emporter sur toutes les autres. A une moisson si riche ont succédé deux mois et demi de disette, mais je n'ai cessé d'être dans l'abondance, parce que je n'ai cessé d'étudier cette pancarte jour et nuit, comme Gamaliel étudiait les épîtres de Saint-Paul, son divin conducteur dans la voie du salut. Cette étude a l'avantage incalculable de découvrir tous les jours de nouvelles veines d'or dans ces pancartes dont les richesses sont inépuisables. Le long article du comte de Golovkine n'a pas échappé à mon attention. Sans en avoir jamais connu ni vu le héros, j'ai jugé son portrait d'une ressemblance frappante. On ne conteste plus que pour juger de la vérité d'un portrait, on n'a pas besoin de connaître l'original; on voit à la vérité des traits qu'une telle figure, un tel caractère doivent exister. Il y a apparence que si j'avais connu cet original, Votre Majesté n'aurait jamais eu l'occasion d'ébaucher son portrait d'une manière si piquante, parce que j'aurais tâché de lui rendre sen-

* sible qu'il ne fallait pas envoyer sa lettre; mais comment un inconnu aurait-il persuadé à une tête si vive, de laisser de côté une lettre dont il se promettait les plus merveilleux effets? J'obéis donc à un ordre absolu, et me contentai, lorsque je l'eus expédiée, de lui observer que c'était bien contre mon avis que je l'avais portée à la connaissance de notre souveraine; qu'il n'y avait point grand courage à moi de risquer de ces indiscrétions, puisque Votre Majesté, convaincue de la pureté de mes intentions, daignait me les pardonner avec une générosité sans exemple; mais aussi que cela n'avançait en aucune manière les affaires de ceux qui en étaient l'objet, et que dans le cas présent j'aurais cru les intérêts de M. Italinski, dont je me souvenais avec grand plaisir, infiniment mieux soignés s'il avait voulu tout simplement les recommander aux chefs du collége des affaires étrangères. Je ne m'attendais pas qu'une lettre d'un ton un peu magistral dût me valoir une déclaration d'amour en forme. Il est vrai que je m'aperçus en même temps, que je n'étais qu'un nigaud; que la recommandation d'Italinski n'avait servi que de planche pour faire arriver sur la table impériale la lettre du protecteur, moins occupé de son protégé que de l'idée qu'il voulait laisser de lui-même, et que c'est proprement ce grand service qui m'avait attiré une déclaration si chaude. Il faut convenir que c'était préjuger sainement l'effet de cette lettre! Quoi qu'il en soit, je ne dois pas perdre pour cela mon brevet d'immortalité. Si je ne l'ai pas gagné, je ne l'ai pas mendié non plus, et ce qui est donné librement, peut se garder, et la ratification de Votre Majesté ne peut pas m'être refusée. J'ai appelé ma Katinka, et je lui ai dit: Vite, barbouilleuse, prends ta meilleure plume, et copie moi ce brevet mémorable pour ton auguste marraine. Sur quoi Katinka l'examine et me dit: Mais, mon chou, quelle différence y a-t-il donc entre ces deux phrases: Si vous me connaissiez, j'aurais l'impudence de vous faire mon compliment sur ma conquête que vous avez faite; mais comme je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, c'est moi qui vous ferai compliment. Dans les deux cas, c'est toujours lui, le complimenteur et toi le complimenté. A cela j'ai été obligé de lui répondre: Tais-toi, péronnelle, je ne t'ai pas priée de faire l'entendue. Fais un chef-d'oeuvre de ta copie, et garde tes questions pour toi. La copie est faite; Votre Majesté la trouvera ci-jointe. Mais tandis que je la repasse avec complaisance; que je me mire dans mon brevet; que je me berce de l'espérance qu'il fera hausser mes actions de cent pour cent dans l'esprit de notre suprême dominatrice, quel coup de foudre imprévu vient de renverser l'édifice d'une si douce illusion? Je reçois la gazette de Hambourg. Le diable me tente d'y fourrer le nez, je ne sais pourquoi, car ordinairement je ne la lis que six mois après sa date. Comme mon usage est

* de commencer par la fin, la première chose qui frappe mes regards, c'est que celui dont j'ai fait la conquête et qui m'en a si cordialement complimenté, est rappelé, et que son protégé Italinski doit rester provisoirement comme chargé d'affaires, ce qui dénote que le départ du rappelé doit suivre de près son arrivée. Je me frotte les yeux, et m'écrie: J'ai la berlue, cela n'est pas possible. A peine a-t-il eu le temps de déballer, encore moins de négocier; ce n'est donc pas pour ses faits et gestes napolitains qu'il peut avoir reçu cet ordre. Donc de deux choses l'une: ou bien on le rappelle si subitement, pour lui conférer une de charges les plus importantes de l'empire, ou bien, c'est purement et simplement dans la vue de me mortifier, de me porter un coup de massue sur les épaules d'autrui, de rendre mon brevet à peu près illusoire. Comment expliquer sans cela cette précipitation? Il n'est guère possible qu'un incident nouveau y ait donné lieu. Je vois bien qu'on ne me consulte plus sur rien, qu'on fait tout à sa tête, et qu'un souffre-douleur n'est plus qu'une cinquième roue au carrosse de l'empire. Si Votre Majesté avait daigné me demander mon avis, je lui aurais d'abord observé que pour savoir ébaucher un portrait d'une manière frappante, on ne connaît pas encore tous les replis du coeur d'un héros dont on a atrappé la ressemblance de traits. Pour le prouver, je ne fais autre chose que d'ajouter à la copie de Katinka le cachet avec lequel la lettre qui m'a apporté mon brevet d'immortalité, était cachetée. Votre Majesté y verra un vaisseau cinglant majestueusement sur une mer agitée, avec l'inscription: Je fais mon chemin contre vents et marée. Cette parabole n'a pas besoin de commentaire. A bon entendeur salut; c'est tout ce qu'il est bon d'ajouter. Si le souffre-douleur eût été consulté à temps, il n'aurait pas eu besoin de s'égosiller; pour toute réponse, il aurait envoyé l'empreinte de ce cachet, et j'ose croire que le rappel n'aurait pas été signé ni expédié.

A Grimma-Gotha, ce jeudi, 20 (31) décembre 1795 [1]).

Madame,

En terminant une année latine, pas plus belle assurément que ses six soeurs aînées qui l'ont précédée, tous les bienfaits de Votre Majesté Impériale, tous les redoublements de sa bonté inépuisable se présentent à ma mémoire; et voilà que toutes mes plaies se ferment, que tous les maux qui

---

[1]) Оказывающееся здѣсь нарушеніе повременного порядка произошло отъ того, что Гриммъ писалъ и отправлялъ свои письма къ императрицѣ цѣлыми серіями; начинающаяся здѣсь серія начата была до предшествующихъ писемъ (посланныхъ особо), кончается же позднѣйшимъ письмомъ отъ 27 февраля (9 марта 1796 г.).

* m'ont déchiré, disparaissent. En revanche, mes veines s'enflent à vue d'oeil, mon coeur se gonfle, et je me sens menacé d'une suffocation soudaine. C'est un autre genre de spasme, mais dont on se félicite d'éprouver les angoisses, dont les approches causent le plus doux frémissement, et dont le paroxysme dans sa plus grande violence, quoique douloureux, procure à l'âme une jouissance de délices inexprimables. Tel est à peu près l'état habituel que je dois à mon auguste bienfaitrice, mais qui va toujours en empirant. Dans ces accès de spasme qui me forcent à me promener dans mon taudis, à grands pas, en long et en large, il faut tantôt rire et pleurer alternativement, tantôt gesticuler en tout sens et me tordre les bras, et quelquefois balbutier d'une voix entrecoupée: Qui suis-je, pour avoir pu fixer son regard un instant? Et après y avoir réussi sans savoir comment, quelle magie à moi inconnue, quel miracle toujours subsistant ou sans cesse renouvelé a pu me conserver ce regard depuis vingt-deux ans? Cela est vraiment incompréhensible, et de tous les phénomènes de ce siècle peut-être le plus inexplicable. Plus frappé de ce prodige que de coutume en ce moment de recueillement, une autre idée vient de s'associer tout-à-coup à ce juste étonnement, et je me dis: Puisque, sans me perdre de vue un instant, sa bonté a toujours veillé sur moi avec la même sollicitude avec laquelle elle veille sur le bonheur de l'empire, il n'est pas possible que durant ce long intervalle elle n'ait souvent remarqué en moi des choses qui lui ont déplu. Pourquoi n'a-t-elle pas daigné m'en avertir? Pourquoi me les laisser ignorer? Pourquoi me priver du bonheur de m'en corriger, de faire du moins tous mes efforts pour cela? Ne suis-je pas entre ses mains ce que le pot de terre est entre les mains du potier? Ou bien un ouvrage si chétif est-il tellement au-dessous de l'auteur de tant de grandes et merveilleuses productions, qu'une imperfection de plus ou de moins n'y peut attirer son attention? Cependant la pensée seule de m'être plus façonné à sa fantaisie, m'aurait rendu heureux, en me montrant à mes yeux moins indigne de sa main créatrice. Si son silence m'a privé de ce bonheur, elle se reprochera d'avoir manqué l'occasion d'un acte de bonté de plus, et s'écriera avec Titus: Diem perdidi, j'ai perdu ma journée.

Voilà, Madame, l'échantillon d'une de ces pensées qui viennent se nicher dans ma tête, subitement, sans dire gare, sans que je sache par quel coin, par quel mécanisme elles y entrent. Mille autres que je ne pressens pas davantage, leur succèdent; cent mille autres, que Votre Majesté ne saura jamais, ne pourra jamais savoir, parce qu'il est au-dessus des forces physiques de l'homme de les coucher par écrit, et que la vie n'est pas assez longue pour fixer sur le papier cette légion d'idées qui passent par la tête avec la

* rapidité de l'éclair; parce que, quand cela serait possible, toute la provision de papier existante en Europe ne suffirait pas pour les contenir; parce qu'enfin, rien de ce que je griffonne pour Votre Majesté, ne me satisfait: tout cela en dernière analyse, ne répond, à mon gré, jamais qu'imparfaitement ou bien faiblement aux idées qui m'obsèdent, aux sentiments qui me suffoquent. Nun, ſo verwirrt und ſo jämmerlich ſieht es in keinem menſchlichen Kopf als in des Herrn Schmerzdulders ſeinem aus. Der Kerl hat freylich auch ſeinen Vorrath von ungebundenem Zeug; aber was hülft das dem Stümper der die Kunſt des Auskramens nicht beſitzt? Wer kann ſich ſeiner Waare, ſo eines durch das andere, wie es kömmt, mit jener unnachahmlichen Leichtigkeit entledigen, womit unſere Kaiſerin ihren Kram aus ihrem Kopf in ihre Feder zu bringen, und aus der Feder in ihre Pankarten auszuſäen gewohnt iſt? Das iſt nun ſo für ſie weiter nichts als ein Zeitvertreib, ein bloßes Spiel, welches aber in dem Kopf und in dem Herzen des armen Schmerzdulders ein ſolches Wirrwarr verurſacht, daß in Vergleichung der babyloniſche Thurm ein Meiſterſtück der Ruhe und Ordnung iſt. Comment s'y prend-elle? C'est un secret que notre empereur Titus garde pour lui, comme beaucoup d'autres plats de son métier, en soutenant que généreux et communicatif ne sont pas synonymes. Ce secret consiste de jeter un mot, und durch dies einzige Wort ſo vielerley Ding auf einmal rege zu machen, daß daraus ſtundenlanges Nachgrübeln und tagelange Kopfgewitter mit Blitz und Sturmwind, mit Raſſeln und Praſſeln entſtehen. Da drängt ſich alles mit unerhörtem Getöſe auf einmal heran. Da will alles auf einmal heraus. Da ſtolpert eine Idee über die andere, und das Gewühl iſt ſo groß, daß kein einziges Gefühl, kein einziger Gedanke mit ſeinen ganzen Gliedmaaßen ans Tageslicht kömmt. Da kriechen nichts als lahme und verſtümmelte Krüppel heraus, welche ihrem elenden Vater nicht die geringſte Ehre machen, und ihn im Vorbeygehen noch obendarauf halb erwürgen, erdroßeln und zertreten, ſo daß wenn er ihrer endlich losgeworden, und nach ſo ſchweren Geburtsſchmerzen einige Erleichterung zu verſpüren hofft, ihm nichts als Erſtickungen, Ohnmachten und Zerquetſchungen übrig bleiben.

Voilà, Votre Majesté en conviendra sans peine, un tableau bien effrayant von der Wirthſchaft welche unſere Kaiſerliche Zauberin mit ihrem ungebundenen Zeug in den Herzen ihrer Verehrer zu treiben pflegt; mais jamais ces ravages n'ont été plus sensibles que depuis que je suis en possession de la dernière pancarte impériale, puisque six grandes semaines n'ont pas suffi pour rétablir le calme chez moi, et me remettre en possession du gouvernement légitime et paisible de mon intérieur. Il est vrai aussi que jamais pancarte plus riche en coups de pinceau frappants et justes, en vues profondes négligemment jetées, en traits de lumière et en oracles, n'a paru sur aucun

* horizon. Par son étendue et par la variété des sujets qu'elle passe en revue, elle touche à tant de cordes diverses, daß keine Fiber in der menſchlichen Seele bleibt welche nicht lebendig und in Bewegung geſetzt wird. So eine reichhaltige Stuffe befindet ſich in den berühmteſten Bergwerken von Peru, Mexico, Sibirien, Ungarn und Deutſchland nicht, und der Klumpen, welcher davon auf des armen Schmerzbulders Seele gefallen, iſt ſo vollgepfropft von allen Arten von Koſtbarkeiten, daß man nicht weiß wo man ihn anpacken ſoll. Comment prouverai-je à Votre Majesté que rien de tout ce que cette mine d'une richesse inépuisable renferme de précieux, n'est tombé à terre chez moi? Si je ne puis en administrer la preuve matérielle, on doit convenir du moins que l'homme que son heureuse étoile a placé et fixé depuis plus de vingt-deux ans à portée de ce phénomène unique, en lui permettant d'en examiner, étudier, fouiller toutes les veines, et d'en découvrir d'année en année de nouveaux trésors, fût-il le plus obtus et le plus inepte des manouvriers, doit avoir acquis un tact et une expérience auxquels il est difficile que même le plus petit filet échappe; et s'il regarde son cabinet de minéralogie comme le plus précieux du monde entier, personne ne sera tenté de le lui contester.

Dans toute autre circonstance je me serais peut-être reproché ma richesse; j'aurais trouvé qu'il est contre la probité d'avoir en sa possession tant de trésors inappréciables et d'en jouir solitairement, sans en faire part à personne, sans admettre qui que ce soit à cette jouissance; je me serais prêché que la rosée du ciel n'est pas le bienfait exclusif d'un champ isolé, mais la bénédiction générale de toute la contrée. Mais les horreurs dont nous sommes depuis tant d'années et les témoins et les victimes, m'ont entièrement débarrassé de mon peu de philanthropie. Je n'en avais jamais fait grande provision, étant persuadé de tout temps que ceux qui aimaient tant le genre humain, se croyaient dispensés d'aimer personne en particulier. Depuis que dans ces derniers temps notre belle engeance s'est montrée dans toute sa difformité, elle m'a rendu palpable un fait malheureusement trop avéré; c'est que dans aucun temps la vérité et la raison, même embellies de toutes les grâces et de tout le charme de la bonté, n'ont pu jouir de la moindre faveur auprès de cette race perverse, ni lui faire le moindre bien, ni lui épargner un seul acte de folie et de démence. Quand une fois elle est en train de se précipiter, il faut que tous les genres de fléaux soient éprouvés et que la mesure en soit comblée, avant qu'elle revienne à son bon sens. Fontenelle parlait en profond philosophe, quand il disait que s'il tenait toutes les vérités dans sa main, il se garderait bien de l'ouvrir; il sentait que les hommes abuseraient des unes et méconnaîtraient les autres. J'imiterai sa sagesse, et garderai mon trésor sans remords. A quoi servirait dans un

* temps de délire et de crimes d'un côté, de platitude et de myopie de l'autre, de porter le fanal de la vérité devant les aveugles, de faire aux sourds les harangues de Démosthène, si préalablement on ne parvient pas à leur ouvrir les yeux et les oreilles et à les effrayer sur le danger de leur sécurité et de leur Paßgängerey au milieu des fureurs et des ravages de la peste? C'est dans cent ans d'ici qu'il s'élèvera pour ces précieux fragments un cri universel d'admiration, parce que d'abord par ma munificence, ils auront passé dans le portefeuille de mon légataire; parce que, formé à l'école de Minerve, il aura prouvé par ses faits et gestes, qu'il était digne de les posséder; parce que, pénétré de la grandeur de mon bienfait, il regardera comme un devoir sacré d'en assurer la jouissance à la postérité; parce que celle-ci, justement émerveillée de la simplicité et de la profondeur des vues négligemment jetées dans ces pancartes pendant tant d'années consécutives, et surtout frappée de la parfaite concordance qu'elle trouvera entre les prédictions et les événements qui les ont vérifiées de près, rangera le recueil de ces oracles parmi les évangiles les plus précieux des nations: bien entendu toutefois que si, au milieu du tribut d'admiration que vous leur paierez, vous portez en vous le germe de quelque fermentation insensée, de quelque grande sottise à faire, de quelque grande horreur à commettre, ces biens que vous devrez à ma sollicitude, ne vous préserveront, illustre postérité, d'aucun des agréments que votre folie héréditaire vous aura préparés, et votre Marc-Aurèle sera obligé, comme le nôtre, de garder son ungebundenes Zeug pour lui seul, ou pour son souffre-douleur, s'il en a un, ou bien pour vos arrière-petits-neveux, parce qu'il est de la plus haute importance pour l'uniformité des fastes du genre humain, que l'axiôme d'après lequel les sottises des pères doivent rester perdues pour les enfants, ne reçoive aucune atteinte, et soit confirmé de génération en génération par toutes les expériences propres à constater l'incurabilité de la race humaine.

Si nous pouvions guérir, jamais temps n'eût été plus propre aux grandes expériences décisives que celui que la faveur céleste nous a ménagé: c'est dans les maladies aiguës que les grands médecins peuvent déployer toute l'étendue de leur savoir-faire. Mais je cherche et observe les grands médecins qui nous soignent dans cette crise épouvantable, et en suivant pas à pas leurs traitements, je me permettrais presque de croire que le grand hôpital de l'humanité est livré à un tas d'écoliers qui jouent la santé du genre humain et même son existence à croix ou pile avec toute la légèreté de l'ineptie et toute la présomption de l'ignorance. Mais puisqu'ils sont écoliers, que ne vont-ils à l'école de Marc-Aurèle-Catherine? que n'étudient-ils le cours de son règne de 34 ans? Ils apprendraient là que pour

* faire de la besogne et vie qui dure, comme on dit, il ne s'agit que de deux petits points grands comme rien. Le premier: Man muß ein gerades Geſicht haben, wenn man nicht ſchielen will. So muß man auch gerade, und nicht ſchiefe Gedanken haben, und wiſſen was man will, und ſeinen Zweck gleich anfangs feſtſetzen, wenn man ihn nicht verfehlen will. Der zweyte Punkt iſt die Beharrlichkeit, wieder eine Kleinigkeit. Dieſe iſt, wie bekannt, zu allen Dingen nutze, und hat die Verheißung dieſes und des zukünftigen Lebens, ſagt der Apoſtel. Wenn du aber alle vier Wochen von deinem Vorſatz abſpringſt und neue Plane entwürfſt, ſo treibſt du ein Affenſpiel. Da wird nun der Herr Schmerzdulder oft ſehr übler Laune und ſogar jachzornig, wenn er gewahr wird wie die Herren Regierer ihr Handwerk treiben. Wenn er aber ſich ſelbſt ſogar im Vertrauen befragt, könnte denn unſere Kaiſerin ſo zwey miſerable Pünktchen ihren hohen Alliirten nicht in den Kopf hinein-buchſtabiren, und ſie dadurch belehren, warum alle ihre Unternehmungen ſo jämmerlich ſeicht ablaufen, damit ſie doch Luſt kriegten ihre Sachen um ein weniges geſcheidter anzufangen, ſo iſt gedachter Herr Schmerzdulder weiter nichts als ein Pinſel, welcher glaubt daß andere Pinſelsköpfe die Marc-Aurelianiſche Schule mit Nutzen frequentiren können, und daß etwas unmögliches kann möglich gemacht werden. Cela n'étant pas, il en résulte que le genre humain est flambé sans ressource. Ce qu'il fallait démontrer, ou comme disent les docteurs, quod erat demonstrandum.

Il n'en fallait pas moins, Madame, que cette consolante découverte pour me maintenir sans remords dans la paisible jouissance exclusive de ma dernière pacotille, en vertu de l'adage évangélique, qu'il ne faut pas jeter les perles devant les cochons; mais en les serrant dans mon greffe, je ne prétends pas disconvenir que je ne doive l'expédition d'un si prodigieux amas de perles précieuses, en grande partie au pair d'Ecosse. Ce que j'ai rédigé d'après ses notes, tenait à tant de cordes diverses, grosses et minces, qu'une vibration générale dans la tête la plus électrique en devenait inévitable, et qui pourrait imaginer et soupçonner d'avance les effets d'une vibration universelle dans une telle tête? Milord m'a rendu cette fois le même service redoutable que dans les temps de ma gloire et de ma prospérité les grands ouragans me rendaient à Pétersbourg. Ceux-ci ne manquaient jamais leur effet sur cette tête, ni moi d'être exposé aux contre-coups, pour m'être approché trop près du trépied d'où partaient les oracles. Averti du danger par le départ du premier éclair, je ne m'en épouvantais que lorsqu'il n'y avait plus moyen de m'y soustraire. Denn da folgte, mit einer unerhörten Heftigkeit, ein Schlag auf den andern, und ich armer Teufel ſpitzte die Ohren wie ein Luchs. Da dauerte das Zigzag-Blitzen, ununterbrochen, ganze Stunden lang, und weil ich nun einmal nichts von einem ſolchen praßlenden Gewitter verliehren wollte, ſo

* bebte ich vor Furcht und Bangigkeit, daß mancher kleine Strahl unbemerkt meinem blöden Auge, zu meinem größten Leidwesen, entwischen könnte. Et lorsqu'un tel orage, après m'avoir mis, pendant deux heures et au-delà, en désarroi, tirait à sa fin, parce que tout finit dans ce monde, je rentrais chez moi moulu, trempé, rendu, et j'avais besoin du reste de la nuit pour me remettre d'un ouragan dont à peine on s'était aperçu dans la résidence impériale. Ainsi, de près comme de loin, de loin comme de près, j'ai toujours eu beaucoup à souffrir de la part de mon auguste Souveraine; mais comme je n'ai pas plus de fiel qu'une tourterelle, je ne sais pas m'en plaindre, et le souvenir même de mes dangers passés devient pour moi un sujet de bénédiction et d'actions de grâces pour celle qui me les a fait courir.

Ce samedi, 22 décembre 1795 (2 janvier 1796).

Milord, en quittant cet automne Carlsbad, dont il fait ses galeries d'été, se rendit d'abord à Leipzig où il se rencontra avec le comte Herzblatt, qui s'acheminait vers le séjour de la gloire. Ensuite l'irruption des républicains régicides en Allemagne le détermina à prendre ses quartiers d'hiver à l'université de Halle dans les états de leur ami et allié, le roi de Prusse, afin de pouvoir faire sa retraite paisiblement et en bon ordre, si suivant l'usage constamment observé jusqu'à présent, on abandonnait l'Allemagne en deçà du Rhin à leur rapacité, sans tenter de la défendre. Le maréchal de Clerfays ayant suivi une autre méthode, milord me menace de sortir de sa tanière savante, et de me faire une visite de quelques jours. Ich werde freylich einen harten Stand mit ihm haben, denn wie wird er denn seinen Stolz verbergen können? La supériorité que lui donnera son double triomphe sur moi, sera de dure digestion pour un Solon d'Allemagne. C'est un calice qu'il faudra boire. Milord ne sait pas seulement que la Nymphe choisie et désignée par lui a eu près du Sieur Constantin la préférence sur la mienne; mais il sait encore qu'il a eu l'inconcevable bonheur de se rencontrer avec la tête de Minerve dans ses idées d'établissement pour les grandes duchesses. Je sens qu'il est difficile d'apprendre un hasard aussi inouï sans crever de vanité. Je me soumets donc d'avance à toutes les humiliations qui m'attendent avec sa visite, et je sens que le seul moyen qui me reste à l'égard d'une si rude épreuve, c'est de la soutenir avec une grande dignité.

Le pair d'Ecosse, avant de quitter Carlsbad au mois d'octobre passé, m'avait écrit une lettre volumineuse où il m'enjoignait de recommander fortement aux bontés de Votre Majesté Impériale, l'archevêque d'Aix en Provence et sa soeur Madame de Boisgelin, chanoinesse, qui vivait beau-

* coup à la cour, que je connaissais encore moins que son frère, mais qui passait pour avoir beaucoup d'esprit, comme son frère passait parmi le clergé pour être un de ces faiseurs cherchant avec une grande dépense de capacité midi à 14 heures, qui ont fait tant de bien à leur ordre et à la France. Milord, qui ne recommande pas froidement quand il s'en mêle, m'ordonnait de solliciter un bénéfice dans les provinces réunies pour l'archevêque réfugié en Angleterre, et une place auprès de Votre Majesté pour sa soeur que milord avait trouvée à Carlsbad. Je lui répondis sur le champ que depuis quelques mois j'étais tellement tourmenté par d'innombrables requêtes en faveur d'émigrés dont la plupart portaient des noms bien connus, et même illustres; mais que leur nombre excessif me mettait dans l'impossibilité absolue de les présenter à Votre Majesté, non que je voulusse mettre des bornes à la munificence impériale, mais qu'il en fallait nécessairement et rigoureusement à l'indiscrétion même la plus outrée dont je n'avais manqué de fournir jusqu'en ce moment les preuves les plus multipliées. Je confiai ensuite à milord, comme à mon ami, que ces indiscrétions sans cesse répétées m'avaient assez occupé pour me faire négliger depuis quatre ans d'assurer un sort à mes enfants d'adoption que j'aurais dû dès lors conduire aux pieds de leur auguste bienfaitrice de tous les temps; et que comme ils peuvent me perdre d'un moment à l'autre, je croyais que le devoir le plus sacré m'obligeait de préférer à tout autre intérêt celui d'une petite famille qu'il trouvait lui-même si intéressante et si aimable. A cela le pair d'Ecosse m'a répondu au bout de deux mois, et je ne puis me dispenser, malgré mes projets de discrétion bien arrêtés, de mettre cette réponse sous les yeux de Votre Majesté Impériale.

Fragment d'une Lettre de Halle du 9 décembre.

«Quant à Madame de Boisgelin, comme les dames françaises croient qu'on met toujours le même empressement à les servir qu'avant l'émigration, elle n'a eu rien de plus pressé, à ce qu'elle m'a mandé dernièrement, que d'écrire à son frère, l'archevêque, que vous vous étiez chargé de l'affaire: En conséquence Milady Carnarvon a engagé le prince de Galles à écrire pour appuyer la demande, en vous citant comme l'ayant devancé et s'en rapportant aux éclaircissements que vous avez donnés. D'un autre côté, le roi de France, avec qui Madame de Boisgelin parait-être sur un pied fort amical, et dont son neveu qui demeure avec elle, a plusieurs commissions, doit aussi avoir écrit, toujours en vous citant. Nous voilà donc engagés dans une grande affaire sans nous en douter. Je crois que le plus court pour vous sera d'écrire, en faisant usage de la note que j'ai eu l'honneur de vous en-

* voyer. Je ne crois pas que cela puisse compromettre les intérêts de la petite comtesse, qui ne se propose pas d'être évêque en Pologne, ni même de prêcher les dissidents de Lithuanie. Je m'étonne au reste que votre besogne pour cette intéressante famille ne soit pas achevée. On compte apparemment vous faire monter tous en croupe derrière le grand Souvorov pour vous descendre sur la ci-devant Chaussée d'Antin».

Ici finit l'évangile de l'oracle d'Ecosse, touchant Madame de Boisgelin et son frère, et le souffre-douleur, son copiste, reprend la plume pour son compte en observant à sa seigneurie écossaise, qu'il ne s'agit pas ici des intérêts de la petite protégée de Sa Majesté Impériale, mais bien de ceux de son pauvre souffre-douleur, qui étant accablé de pareilles requêtes par douzaines, toutes à peu près également intéressantes, quand ses forces physiques suffiraient pour assaillir tous les jours son auguste et bienfaisante Souveraine d'un nouveau tableau de misère, n'en serait guère moins embarrassé: car, à moins de les tirer au sort, il n'aurait aucun motif pour accorder la préférence à une de ces requêtes sur ses compagnes.

Quant aux autres objets traités par milord dans sa correspondance, je pense que je ferai bien, pour le bon ordre, de les recueillir tous dans une même pancarte et de les présenter dans leur ensemble et comme un second évangile d'Ecosse à l'édification de notre auguste Souveraine.

En attendant la très éloquente et très réclamante princesse m'a adressé de Dresde sur la fin de l'année ein Lob- und Dankſchreiben, parce que Votre Majesté a daigné faire recommander fortement à ses alliés les intérêts des princes de la maison de Saxe dans l'arrangement définitif du sort de la Pologne. La très réclamante en est si enchantée qu'elle voit déjà à peu près son mari en possession des terres que le duc de Deux-Ponts a en Bohême, et que le roi de Prusse doit acheter pour en faire un objet de dédommagement pour le prince Charles de Saxe. Je renonce d'avance au pot de vin qui me revient de cette acquisition. Si je retrouve la lettre de la très réclamante, il est juste que j'en fasse hommage à Votre Majesté; il faut que le bien remonte à sa source.

A la clôture de l'année je dois aussi me confesser d'une démarche que je me suis permise, après avoir hésité un mois entier, tant j'ai en horreur de me donner l'air d'aimer à me mêler de ce qui ne me regarde pas. La découverte d'avoir près du trône de la gloire un panégyriste si assidu dans la personne du grand Helbig, petit secrétaire de légation, et par conséquent un rival bien redoutable pour nous, ne pouvait manquer d'inoculer à milord et à moi un grain de jalousie fort considérable; et comme Votre Majesté, dans la divine pancarte, abandonne expressément ce susdit panégyriste

infatigable à notre bras séculier, je me suis arrangé pour terminer cette affaire tout seul, et n'ai balancé, comme je l'ai dit, que pendant un mois, pour donner à la cour de Dresde un conseil désintéressé. Je connais le comte de Loss depuis environ 30 ans, sans avoir jamais eu avec lui ni liaison d'affaires ni liaison d'amitié. Il jouit d'une réputation de probité que je crois fondée, et je me flatte qu'il ne manque pas d'estime pour moi. Appuyé sur ces deux pivots, je me déterminai à lui écrire et à traiter la confidence que j'avais à lui faire, comme une marque d'amitié que je me sentais le besoin de lui donner. J'exigeai de lui de me renvoyer ma lettre après l'avoir lue, et je le dispensai de me dire son avis sur cette affaire qui ne me concernait en rien. Votre Majesté trouvera à la suite de cette pancarte cette lettre avec la réponse du comte de Loss, et si le souffre-douleur avait en cette occasion, par un excès de zèle, outre-passé les pouvoirs de sa charge, elle daignera sans doute sévèrement lui laver la tête en toute clémence. Il plaira aussi à Votre Majesté de considérer que ce que j'ai dû éviter avec le plus de soin dans ma lettre, c'est de faire penser que cet avis me vînt directement de mon auguste Souveraine. Au reste, je présume d'après la lettre du comte de Loss, qu'avant l'arrivée de la mienne, la conduite du seigneur Helbig était déjà connue de son ministre et son rappel expédié; qu'en conséquence j'ai encore eu en cette occasion la gloire de faire la cinquième roue au carrosse, avec la dextérité particulière que j'ai aussi en ma qualité de mouche du coche.

Pour passer d'un sujet important à un autre également grave, je serai encore obligé d'avouer ingénument a Votre Majesté Impériale que je ne suis pas assez au fait des ressorts cachés de la cour de Reinsberg pour me permettre une opinion sur la cause qui a pu éloigner M. de Meilhan de cette cour après l'engoûment réciproque qui a subsisté entre le seigneur Châtelain et l'historiographe de Russie établi dans sa bibliothèque. Si je fusse arrivé l'année passée 24 heures plus tôt à Dresde, j'aurais pu rencontrer celui-ci établi chez milord Findlater dans l'appartement qui m'était destiné et me mettre en deux ou trois heures au fait de beaucoup de choses; mais je trouvai l'oiseau déniché. Ou plutôt je crois que l'oiseau ne se souciait pas de se rencontrer avec moi, et avait compassé son vol sur le mien. Ne pouvant donc rien découvrir par moi-même, j'ai chargé un de mes amis d'ici de demander la cause de cette révolution à son ami de Brunswick, où sire de Meilhan s'était rendu en sortant de Reinsberg, et voici la réponse qui nous a été faite:

«Voici mon confiteor à l'endroit de sire de Meilhan. Il est allé d'ici directement à Vienne. Il y a séjourné quelques mois, et en est parti pour se

* rendre à Naples. Les bienfaits de la grande Catherine le mettent à son aise. Il s'est beaucoup loué ici de Reinsberg et de son maître; mais il s'y est brouillé avec l'historien des coeurs, et il a cru s'apercevoir qu'on lui battait froid depuis cette époque. Cela lui a fait prendre le parti de s'éloigner, et il est venu chez nous pour y trouver feu la générale de Bauer qui séjourne ici avec M. de Weinheim, successeur du feu général de Bauer».

L'historien des coeurs est le chevalier de Bouflers, qui s'était fait dans sa jeunesse une réputation en France par le tour original de ses chansons dont la plupart, comme celle des coeurs par exemple, étaient remplies de sottises enveloppées de mots décents. Avec un fonds si mince, relevé par un nom, on pouvait se faire en France au bon vieux temps une existence fort agréable. Le chevalier de Bouflers déserta le séminaire où il avait été mis pour être apprentif évêque, prit la croix de Malte, et eut bientôt, par le crédit de sa famille, 40 à 50 mille livres de rente en bénéfices ecclésiastiques dont cette croix le rendait susceptible. Au commencement de la révolution il donna la mesure de son esprit, en voulant siéger dans cette fatale Assemblée nationale. Malgré la teinte de démocratie qu'il se donna, il ne put jamais réussir à jouer le plus petit rôle, et fut également méprisé de tous les partis. Dépouillé de ses bénéfices avec tout le clergé par cette première assemblée, il émigra en 1791, et suivit la dame de ses pensées, la comtesse de Sabran, qui s'était déjà rendue à Reinsberg. Ils y jouissaient pendant quelque temps d'un crédit sans partage, quoique passablement détestés par la cour domestique de S. A. R. Sire de Meilhan parut et ébranla ce crédit, mais ne voulut pas ou ne put s'en emparer. Il quitta la partie; mais le chevalier de Bouflers l'accuse d'être allé exprès à Hambourg pour y dénicher un jeune Laroche-Aymon, émigré, et l'établir à Reinsberg. Celui-là s'empara de toute la faveur de S. A. R. et règne encore, autant que je sais, despotiquement dans cette cour qui ne laisse pas d'avoir ses petits orages, quoique sans tonnerre et sans éclair. Un ex-constituant émigré me conta, en passant ici le mois dernier, qu'en 1792, quelques mois avant que le roi de Prusse avait ouvert sa glorieuse campagne en Champagne, le chevalier de Bouflers avait ouvert une négociation avec l'assemblée législative de France d'après un plan imaginé à Reinsberg. Pour prévenir la guerre, le prince Henri devait se rendre à Paris, en qualité d'ambassadeur extraordinaire de je ne sais qui, mais accompagné de 12000 grenadiers bien armés, bien équipés. C'est avec ce cortège qu'il devait être reçu à l'Assemblée et marcher dans Paris. Sûr de son ascendant sur les jacobins, il se flattait de terminer en peu de jours tous les troubles de la France, de mettre tous les bandits et tous les forcenés républicains dans les intérêts

* du malheureux Louis XVI, à qui il aurait en même temps prescrit les conditions sous lesquelles il lui permettait de garder le nom de roi. C'est dommage que l'assemblée des bandits ne voulut admettre ni l'ambassade du Don Quixotte escorté de 12000 grenadiers, ni entrer sur cela en pourparler avec son négociateur Sancho. Si cette ambassade dont le succès paraissait indubitable à Reinsberg, eût eu lieu, nous aurions eu un magnifique pendant à celle que la première assemblée reçut en 1790 de la part de toutes les nations du monde en habits tirés de la garde-robe de l'opéra, et où l'orateur du genre humain, Anacharsis Cloots, guillotiné depuis, débita, au nom des nations, une harangue si éloquente.

Sire de Meilhan publia l'année dernière une brochure sur les causes de la révolution de France que j'ai lue avec plaisir, parce que l'auteur y expose ces causes avec une grande exactitude et précision, et qu'à parler franchement, je ne le croyais pas capable d'écrire avec tant de sagesse. Il y a cependant dans cet écrit quelques causes principales de subversion absolument passées sous silénce, d'autres trop faiblement indiquées. Je ne puis pas non plus souscrire à l'apothéose de son héros Turgot. Ce grand homme était une tête parfaitement creuse, dont je ne puis me passer pour le triumvirat de contrôleurs généraux, véritables auteurs du bouleversement. Turgot, Calonne et Necker, trois hommes bien différents de caractère et de systèmes, se sont merveilleusement succédés pour détruire, sans le vouloir et sans s'en douter, la monarchie; le comte de Maurepas brochant sur le tout, et jouant avec tous les brandons de matières inflammables dont une étincelle suffisait pour l'explosion générale qui s'en est suivie.

Ce dimanche, 30 décembre 1795 (10 janvier 1796).

Histoire de Memnon II du nom, souffre-douleur impérial.

Le Solon de l'Allemagne, en pensant quelquefois avec inquiétude au lendemain, non pas pour lui qui n'en a plus à craindre, mais pour les enfants intéressants et malheureux dont il est entouré, ne laisse pas de penser aussi de temps en temps au passé, et alors il ne peut s'empêcher de sourire et de trouver que son protecteur, le grand Alexandre Souvorov Rymnikski, aurait bien mieux fait de lui imposer dans le baptême dont il l'a favorisé, le nom de Memnon, parce qu'il est réellement cousin issu de germain de ce sage Memnon dont Voltaire nous a conservé l'histoire.

Au commencement de l'année 1786, lorsque Memnon II, souffre-douleur, eut réussi, grâces à la toute-puissance et à la suprême bienfaisance de son auguste Souveraine, à marier la pupille que le sort lui avait léguée, il

* jeta sur lui-même un regard de satisfaction, et tint à peu près ce soliloque: Mon étoile est vraiment unique sur la terre. Le bonheur est venu me déterrer dans mon obscurité, et m'a choisi d'entre des millions, pour faire de moi le modèle d'un homme heureux depuis sa naissance jusqu'à sa mort. J'avais un souci dont le nuage obscurcissait et menaçait mon bonheur; m'en voilà débarrassé. J'ai pu en même temps pourvoir à tout le bien que mes petits moyens me permettent de faire après moi, non seulement à cet objet principal de ma sollicitude, mais à tous les objets de mon affection, sans oublier d'assurer après moi le sort de ceux qui, en me servant fidèlement, m'ont prouvé leur attachement et ont droit à ma reconnaissance. Mon bonheur étant ainsi inébranlablement fondé, de quoi s'agit-il? De faire une belle fin. Et comment pourrai-je la rendre belle? En prenant un grand parti. Je n'irai pas, à l'exemple de mon cousin, le sage Memnon, m'enfoncer dans les routes de la vie; dès qu'on y veut cheminer, même sur des lits de roses, on ne peut pas se promettre de n'y pas rencontrer de cruelles épines. Mon grand parti à moi sera entièrement passif, négatif, concentré dans un objet unique sous tous les rapports, et se refusant à tous les autres objets quelconques. Pour parvenir à arrêter ce grand parti, j'avais besoin de me tracer le tableau de ma vie, de tout ce que je devais à mon étonnante étoile, et à la tête de ses dons se plaçait naturellement le plus miraculeux, le plus incroyable de tous, celui de m'avoir, par un prestige incompréhensible, tellement rapproché du plus grand, du plus puissant, du plus étonnant personnage du siècle, de celle dont le génie, la gloire et les travaux ont rendu à jamais le nom immortel, que je puis dire qu'au pied de la lettre, je n'existe qu'en elle, et que pour rendre ce miracle toujours plus incroyable, non seulement ce besoin de mon coeur qui fait mon bonheur de tous les instants, n'est pas ignoré d'elle, mais qu'il en est autorisé. Après ce tableau ravissant, j'avais besoin aussi de jeter mes regards sur celui de ma fortune et d'arrêter avec précission mon bilan, parce qu'à force de m'occuper des affaires des autres, je n'avais pas trouvé en 15 ans le moment de connaître l'état exact des miennes. Je savais qu'elles ne pouvaient pas être mauvaises, puisque mon étoile avait toujours pourvu à mes besoins et bien au delà, et ne m'avait jamais accordé un moment de loisir pour avoir une fantaisie; mais quelle fut ma surprise de découvrir que j'étais seigneur propriétaire de plus de 30 mille livres de France de rente annuelle dont la moitié en rentes viagères la plupart réversibles après moi sur la tête de Madame de Bueil, et d'autres destinées à passer à ceux qui m'avaient servi, et que je voulais laisser à l'abri du besoin après moi. L'autre moitié était en capitaux placés dans les établissements généralement réputés les plus

* solides, comme la Caisse d'escompte, ou dans des maisons de banque d'un crédit hors de toute atteinte. Ces capitaux produisant plus de 15 mille livres de rente devaient se partager après moi par moitié entre ma pupille et les descendans de mes frères en Allemagne qui n'étaient pas dans la peine, mais dont j'étais bien aise d'augmenter le bien-être. A ces 30 mille livres de rente et au delà, il fallait ajouter le bienfait annuel de Votre Majesté Impériale, deux mille roubles faisant 10 mille livres de France. Je l'avais jusqu'à présent détaché de mon revenu, et placé tous les ans, pour en augmenter la masse de ma succession en faveur de mes héritiers; mais croyant avoir assez fait pour eux, cette épargne devait cesser, et le bienfait de mon auguste Souveraine porter mon revenu au delà de 40 mille livres de rente. En conséquence du grand parti que je méditais, je fixai le commencement de ma jouissance pléniere au premier janvier 1790, supposé qu'il plût aux Parques de filer ma vie jusques là. Les trois années d'intervalle depuis la conception de mon plan jusqu'à son exécution, devaient être employées à me liquider avec tous mes amis et toutes mes connaissances, à finir toutes les affaires avec eux et à nettoyer l'étable d'une longue vie de façon qu'à l'époque fixée il n'y restât pas un chiffon de papier inutile. Le premier janvier 1790 où, courant ma soixante-septième année, je devais commencer à ne vivre que pour moi, une circulaire devait annoncer que j'étais mort et enterré, ou tout comme. Par conséquent plus d'affaires, plus de correspondance ni commerce de lettres avec personne, plus de visites même, qu'autant qu'elles pouvaient servir à mon amusement et à mon délassement. Toute ma vie devait rester concentrée dans l'unique occupation d'écrire à Votre Majesté jour et nuit, afin de soulager mon coeur, avant de mourir, au moins d'une partie de ce fardeau qui l'oppresse. Pour n'en être pas détourné, je prévoyais qu'il était nécessaire de persuader au public qu'un homme enterré n'avait pu conserver le droit de cette correspondance glorieuse, et que ce lien sacré de mon existence était également rompu. Sans cette précaution je ne voyais pas de possibilité de m'affranchir de cette correspondance assomante dont j'étais accablé tout le long de l'année, avec des requêtes et des propositions de toutes couleurs que je croyais de mon devoir d'épargner à la connaissance de mon auguste Souveraine, sans compter le grand nombre de celles dont je ne cessais de fatiguer son inépuisable bonté.

Je ne doute pas, Madame, que ce plan si magnifiquement conçu, ce parti sublime de mourir au monde avant le terme de la vie, pour n'exister plus que dans celle qui depuis tant d'années disposait de toutes les facultés de mon âme, en inspirant à Votre Majesté une juste admiration, ne lui fasse aussi venir la chair de poule. Grand Dieu, s'écriera-t-elle, que je l'ai échappé

* belle! Quoi, mon souffre-douleur ne me trouvait pas suffisamment accablée de son énorme fatras tout le long de l'année; il projetait encore d'en augmenter la dose sans mesure, et jusqu'à l'extinction totale de ses forces naturelles! Cela est un peu fort de café! — Il faut cependant que je rassure un peu Votre Majesté contre une crainte aussi légitime. Premièrement il entrait dans mon plan de faire tous les ans, pendant les quatre ou cinq mois de la belle saison, un voyage, et de me secouer sur les grands chemins pour l'entretien de mes forces physiques et la conservation de leur agilité. C'était mettre tous les ans autant de mois de la vie glorieuse de mon auguste Souveraine en sûreté contre le débordement intarissable de mes pancartes. En second lieu, à l'instant même où j'étais si amoureusement occupé de mon plan favori d'enterrement, la musique italienne, après tant d'essais malheureux, tant de disgrâces éprouvées en France, était venue tenter fortune de nouveau, et contre toute attente, y avait pris avec une sorte de fureur. Ce phénomène vraiment étonnant et inexplicable était sans doute l'ouvrage d'un pouvoir invisible et propice qui avait soudainement ouvert les oreilles aux Welches, dans la vue de m'assurer la jouissance d'un opéra italien à Paris vers l'époque de mon enterrement où je devais commencer à vivre. Que telle ait été la volonté suprême du destin, les faits l'ont prouvé de reste, puisqu'en 1790, ce que j'avais si longtemps et si inutilement désiré, ce que je n'avais jamais espéré de voir, un excellent opéra italien se trouvait effectivement et solidement établi à Paris. En me ménageant cette unique, mais puissante distraction, je sens bien que l'aveugle vieillard qui règle nos affaires comme il peut, s'est moins occupé de mes menus plaisirs que des intérêts plus essentiels de Votre Majesté, espérant de rendre, moyennant cette distraction, les fatras du souffre-douleur moins fréquents, moins lourds, moins épais.

Il est fâcheux que ces deux correctifs ne lui aient pas encore paru suffisants contre l'invasion de mes pancartes, et qu'il n'ait pas jugé pouvoir prendre sur lui la garantie du repos de Votre Majesté, à moins de détruire de fond en comble l'édifice de mon bonheur, ce plan sublime, tracé et arrêté en 1786: car pour faire rester mon plan dans les limbes, pour effacer et éteindre une étoile aussi merveilleuse, aussi étincelante que celle de Memnon II du nom, le vieillard aveugle a été obligé de se prêter à la destruction violente et entière, et qui pis est, la plus ignominieuse possible d'une des plus anciennes monarchies de l'Europe, ce qui fera toujours une fort vilaine page dans les annales du susdit aveugle. L'aurore de ma jouissance calculée pour 1790, s'est trouvée en conjonction avec le couchant de la monarchie française; mais rien n'annonçait ce couchant, et ma petite

* étoile ne devait pas se méfier d'un abîme qui n'existait pas et qu'il a fallu creuser de gaîté de coeur, pour m'y engloutir avec une nation entière. Quoiqu'il en soit, tout est anéanti, mon grand plan, mon bonheur, ma fortune, fruit de ma vie entière, celle de mes enfants d'adoption. Il a fallu les tirer de leur patrie pour les soustraire au glaive des assassins. Il a fallu pourvoir à leur subsistance et à la mienne, en errant d'asile en asile; et tandis que je m'occupais laborieusement de ce triste et pénible soin, une nation devenue féroce et sacrilége, après avoir englouti les trésors d'une puissante et florissante monarchie, envahi les possessions de tous ses propriétaires, dévoré la substance de tous ses citoyens opulents et aisés, me prouva que tant de millionnaires impitoyablement spoliés par elle, ne lui faisaient pas dédaigner les petits profits, et qu'elle savait aussi ramasser les miettes, en détroussant au mépris de toutes les lois divines et humaines, un pauvre diable comme moi, et le dépouillant de tout, excepté de ce qui était hors de l'atteinte de ces brigands assassins, les bontés de mon auguste et immortelle bienfaitrice. Sans elles, il ne me restait rien sur la terre, et je n'avais d'autre parti à prendre que de périr avec mes enfants de faim et de misère au coin d'une haie ou de la première borne d'un grand chemin. Dans l'extrémité à laquelle je me trouvai alors si subitement réduit, j'aurai éternellement un grand reproche à me faire; c'est de n'avoir pas conduit dès lors mes enfants aux pieds de cette bienfaitrice toute-puissante dont les bras m'ont été en tout temps si généreusement ouverts; leur sort serait assuré aujourd'hui, et il y aurait plus de trois ans que j'eusse cessé de trembler pour eux. Une juste discrétion enchaîna alors mes pas, et m'arrêta tout court. La certitude de tout obtenir sans peine de la souveraine la plus magnanime, n'enhardit pas précisément un coeur juste à tout demander. La folle espérance de voir les affaires de France changer, et ce désordre antinaturel se détruire par son propre fait, vint à l'apui d'une discrétion trop légitime; je dis folle, parce qu'en voyant en quelles mains, dans l'intérieur et dans l'extérieur, le sort de la France reposait, le bon sens apprenait de reste ce qu'il en fallait attendre. Enfin cette faute irréparable est faite, et aujourd'hui où je suis arrivé au bout de toutes mes ressources, où je ne suis plus en état de soutenir mes enfants, où la prolongation de la guerre rend la cherté excessive et le séjour en Allemagne plus dispendieux de semaine en semaine, il ne me reste plus que le parti tardif d'exécuter ce que j'ai, comme mal avisé, si mal à propos différé. Aussi je n'attends plus de la part de la volonté souveraine que le signal du départ et le mot: Marche. Votre Majesté, avec cette munificence qui n'appartient qu'à elle, a daigné pourvoir il y a déjà plus de trois mois aux frais de ce redoutable voyage. Re-

* doutable, sans doute: mais il ne l'eût été pour moi en aucun temps où il aurait plu à celle qui dispose de mon coeur, de me dire: Viens te rendre à mes ordres. Aujourd'hui la chance est fort différente, et quand je me rappelle que je me trouvai trop vieux à 50 ans pour entrer à son service, lorsque ses bontés voulurent me retenir, je ne puis me voir sans la plus vive émotion poussé par la rigueur du sort en son auguste présence, lorsque je cours ma soixante-treizième année. Ce parti, à force d'être courageux, pourrait paraître insensé; mais à qui pourrais-je confier le soin de conduire et de déposer mes enfants aux pieds de leur protectrice immortelle? Puisque le destin m'a chargé de leur sort, comment pourrais-je leur refuser cette dernière marque d'attachement? Ne faut-il pas être conséquent jusqu'au bout? La jeune femme a été trop brisée par une révolution inattendue, au-dessus de ses forces physiques et morales; comment ferait-elle pour se passer de l'appui de toute sa vie dans le moment décisif où elle doit paraître en présence de cette souveraine dont la gloire retentit sans cesse à ses oreilles, et à qui elle doit tout depuis qu'elle existe? Ses enfants intéressants et charmants au jugement de tout le monde, ne connaissent pas à la vérité l'étendue de ce danger: cependant Katinka entre dans l'âge où les filles commencent à être réservées, et elle a déjà recueilli trop de faits du règne de son auguste marraine pour que son nom glorieux ne lui en impose. Son frère, tapageur, livré à toute la fougue française sur laquelle le flegme et le climat d'Allemagne n'ont pas pu mordre encore, n'est pas si réfléchi. Quant à Adèle, si Votre Majesté daigne jamais jeter un regard sur elle et lui adresser la parole, elle court risque de s'en faire en un clin d'oeil une amie intime qui aura tant de secrets à lui dire à l'oreille que je ne sais comment les affaires de l'empire s'accommoderont de ce surcroît d'occupations. S'il n'y avait que ces trois enfants, je croirais peut-être qu'en les emballant simplement pour le séjour de la gloire, j'aurais vaincu la rigueur de leur sort que leur âge heureux les empêche de connaître, et que je pourrais dire avec Siméon: Seigneur, c'est maintenant que tu laisses mourir ton serviteur en paix, car ses enfants sont recueillis par l'immortelle, et il n'aura plus rien à redouter pour eux. Mais la mère, mais le père qui court risque en ce moment de se voir de nouveau sur le pavé par la réforme dont son régiment est menacé, ne me tiennent pas quitte à ce prix, et pour rassurer leurs pas incertains, pour raffermir leur courage, exigent que je ne chante mon dernier cantique que lorsque je serai arrivé avec eux sur le seuil du temple de l'immortelle vers les bords de la Néva.

Il ne s'agit donc de rien moins que d'affronter la fatigue d'un long voyage, d'éprouver de nouveau à quel point l'ignorance de la langue du

* pays est pénible à tous les instants de la journée, et bien mieux que tout cela, après de si grands et de si signalés bienfaits accumulés sur moi et sur ma sequelle, de reparaître au bout de 19 ans, au milieu de la cour la plus magnifique et la plus brillante, sous les haillons de la misère, tels en un mot, que les brigands assassins nous ont permis d'échapper de leurs mains féroces. Il ne s'agit de rien moins pour Memnon souffre-douleur, que de substituer à son plan si commode d'enterrement anciennement projeté, un petit effort de courage de rien, celui de se retrouver en la présence de la suprême dominatrice de son coeur, de soutenir ce regard auguste dont il n'a jamais pu guérir, et dont la bonté pénétrante surtout est l'arme la plus redoutable et la plus déchirante pour ce coeur froissé depuis 22 ans. Si, au milieu de l'écoulement rapide des années, il a pu conserver toute sa jeunesse, il n'en reste que plus douteux que dans cette disproportion avec ses forces, il puisse résister à une émotion de cette violence et au choc de tant de sentiments impétueux et subits que ce moment fera naître. Mais la grandeur de ce danger, loin de m'effrayer, soutient mon espérance, et me fait entrevoir la possibilité de finir aussi doucement que glorieusement une carrière en tout temps si digne d'envie. On meurt plus sûrement encore d'un trop grand bonheur que l'âme n'est plus en état de soutenir, que d'un excès de chagrin, et pourquoi cette fin glorieuse ne me serait-elle pas réservée? Le ravage de sentiments trop forts et trop violents pour une complexion affaiblie peut rendre ce service; le changement de climat peut y aider, et il n'y a pas jusqu'à l'eau de la Néva sur laquelle je ne fonde un peu d'espérance. Comme tout ce qui est tonique, je me rappelle que jadis elle m'échauffait au point de me donner la fièvre, et je ne retrouverai pas la maréchale de Romantsov qui faisait dérober à la provision de Monseigneur le Grand Duc de quoi m'abreuver d'eau de Bristol. Quel plus beau lot pourrais-je désirer que de cesser de vivre au moment où je n'aurai plus aucun souci puisque mes enfants tout déguenillés, tout battus qu'ils sont par une tempête interminable, seront arrivés au port de la commisération toute-puissante qui veut ce qu'elle peut? Quel plus beau lot que de déposer ma dépouille mortelle là où mon âme soi-disant immortelle n'a cessé d'exister depuis 22 ans! Par un excès d'ambition j'avais alors osé prétendre à la faveur d'avoir ma sépulture ou à côté ou même sous le monument de la famille de Thomas Anderson: quelle étonnante étoile que la mienne si ce voeu pouvait s'accomplir tout naturellement!

Mais si, contre toute attente et contre toute vraisemblance, mon âme était chevillée dans mon corps au point de résister à cette redoutable épreuve à laquelle je me prépare, Votre Majesté Impériale ne doit pas craindre que

* je puisse abuser de ses bontés jusqu'à former le projet d'achever ma végétation dans ce temple éclatant de lumière et de gloire où mes enfants auront trouvé leur salut. Non. Après avoir joui, pendant un court espace de temps, de la vision béatifique qui m'attend dans ce temple auguste, mon inébranlable résolution arrêtée dès à présent, est de reprendre mon bâton blanc et d'aller achever de vivre dans quelque coin de l'Europe que la suprême modératrice de ma destinée daignera, si non m'assigner, du moins approuver, et où mon taudis deviendra de nouveau une chapelle consacrée au culte de son nom immortel. Quand on a passé sa vie dans de grandes capitales, on ne peut se faire au séjour des petites villes, encore moins des petites résidences. Je reprendrais donc volontiers mon ancien projet de m'ensevelir à Vienne, s'il me restait de quoi y exister décemment, 1°. et principalement, parce que les messagers de l'immortelle connaissent cette route et la fréquentent continuellement, 2°. parce que la vie m'y a toujours paru agréable et douce. Peut-être même la protection de mon auguste Souveraine pourrait-elle m'y procurer ce que les Anglais appellent un bénéfice sinécure, tel que je l'ai possédé en France pendant 20 ans, c'est-à-dire une mission de la part de quelque petit prince qui ne me donnerait rien, pour lequel aussi je ne ferais rien, mais dont les lettres de créance me rangeraient à la queue du corps diplomatique, ce qui est toujours d'un grand agrément pour un étranger, quoiqu'assurément à un homme qui a encore trois ou quatre jours à vivre, la manière de les passer doive paraître assez indifférente. Si je ne pouvais vivre à Vienne, je pourrais chercher mon dernier asile dans quelque ville de l'état de Venise ou du Milanais, pourvu que le passage des messagers de l'immortelle n'y fût pas un événement sans exemple. Mais il sera temps de s'occuper de ce grand parti, lorsqu'il sera bien constaté que, malgré toutes les secousses, mon âme chevillée ne pourra se dégager de sa dépouille, en arrivant dans la terre de promission.

Ces idées qui me traversent la tête, prouveront du moins à Votre Majesté que si j'ai poussé l'année dernière le délire jusqu'à oser, avec une incroyable confiance, pour ne rien dire de plus, solliciter une niche dans ce palais que ma pensée n'a jamais quitté, ce n'a jamais été avec le projet insensé d'y désirer un établissement permanent, mais simplement pour avoir pendant le peu d'instants que j'aurais à y exister, la certitude de n'en pas manquer un où je pourrai grossir la foule de ceux qui ont le bonheur d'approcher Votre Majesté, avec la résignation toutefois de n'en pas ambitionner un seul, puisque respirer dans le même lieu, se trouver sous le même toit, à cent pas, à deux cents pas, suffit déjà à la jouissance d'une félicité parfaite.

* Je ne sais comment je puis avoir le courage d'envoyer cet interminable bavardage dans mes archives déjà si riches dans le genre ennuyeux. J'aurais pu dire en trois mots que Memnon souffre-douleur attend de la fille de Jupiter ce signe de tête, par lequel, d'après le catéchisme d'Homère, son père est en usage de manifester aux mortels sa volonté suprême. Dès que la fille de Jupiter aura prononcé sur le moment de ce voyage redoutable, la caravane s'ébranlera et le patriarche sentira son courage renaître pour entreprendre même ce qui est au-dessus de ses forces. Dans l'intervalle je trouverai, je l'espère, le moment de faire un aperçu de ma dépense annuelle depuis le dernier semestre de 1791 jusqu'à ce jour, espace de temps pendant lequel j'ai été dans le cas de pourvoir à tous les besoins de ma pupille, de son mari, de leurs trois enfants. Cette espèce de bilan prouvera que nous n'avons subsisté que par les bienfaits de Votre Majesté, savoir par les deux mille roubles que le cabinet impérial me fait toucher annuellement, auxquels la bonté souveraine a ajouté, dans le cours de l'année désastreuse de 1792, une somme de six mille roubles en faveur de ma pupille. Quant aux vingt mille roubles que mon auguste bienfaitrice m'a envoyés à la fin de 1793, après avoir su mon pillage en France, pour faire aller, comme elle disait, la marmite, et qui m'ont valu au delà de 30 mille florins d'Allemagne, elle daignera se rappeler que je n'ai pas eu le courage de les employer à mon courant ni à celui de mes enfants; mais que je les ai confiés à la maison Bethmann, pour les placer principalement dans les fonds de Russie, afin de laisser au moins à mes pauvres enfants après moi une rente de 12 à 15 cents florins, ma seule et dernière ressource, uniquement due à la munificence impériale, comme tout ce que j'ai jamais possédé au monde. Mais accablé progressivement par un fardeau plus lourd de jour en jour, j'ai été obligé dans ces derniers temps d'écorner aussi cette seule et unique ressource, et si je restais paisiblement encore quelque temps avec les charges que j'ai, cette somme sauvée du naufrage général se trouverait bientôt aussi entièrement fondue entre mes mains.

Je sens vivement, Madame, le besoin que j'ai, de distraire Votre Majesté Impériale d'une manière quelconque de cette confession générale et inexcusable devant tout autre tribunal que celui de sa commisération inépuisable. La lettre qui m'arrive de M. Jaenisch, consul de Votre Majesté à Leipzig, me rend cet éminent service. Elle me rappelle celle que milord Findlater m'écrivit le mois dernier à son sujet, et j'ose mettre et la lettre du protecteur et celle du protégé sous les yeux de mon auguste Souveraine Si la fille de Jupiter daigne encore faire le signe de tête de son père à cette humble supplique agricole, je l'annoncerai au pair d'Ecosse, le grand patron

* des cultivateurs; il en fera part à son protégé Jaenisch, et tous les deux se réuniront au souffre-douleur, grand chantre privilégié des louanges de l'immortelle, pour célébrer sa bienfaisance.

Ce mercredi, 20 février (2 mars).

Voilà près de deux mois écoulés depuis que j'ai osé faire ma confession générale, et plus le temps m'en éloigne, moins je conçois comment je puis avoir le courage de l'envoyer aux pieds de celle dont un seul regard sérieux pourrait me glacer d'effroi, en vertu de l'axiome qu'on ne peut aimer à l'excès, sans craindre au même degré; mais n'est ce pas rendre un hommage vraiment sublime à la souveraine la plus aimée et la plus redoutée de la terre, que d'avoir une confiance sans bornes dans sa bonté qui n'en a jamais admis? A peine me suis-je senti allégé de ce fardeau, que ne prévoyant aucune occasion prochaine pour faire passer mes paquets au pied du trône, je me déterminai incontinent à mettre sur le métier une pancarte qui au besoin pût être confiée aux successeurs de Bacchus. Si cette voie ne porte pas avec elle la garantie de ne pas rencontrer sur la route quelque curieux impertinent; si à cet égard elle ne permet pas l'abandon auquel je puis me livrer, lorsqu'un messager de l'immortelle m'a campé sur sa poitrine, d'un autre côté je ne puis me défendre d'y avoir recours, quand rien ne m'annonce une apparition prochaine d'un de ces anges. J'ai donc confié une de ces pancartes impatientes aux successeurs de Bacchus il y a trois jours. Elle apprendra à Votre Majesté la visite que j'ai reçue en janvier de milord Findlater. Je n'ai pu y ajouter tout ce qui s'est passé dans nos conférences, qui ont duré près de huit jours, parce qu'elles ne comportent point de confident. Je ne puis pas même entamer ce chapitre ici; il trouvera son cadre dans la suite. Il me suffira d'observer que le pair d'Ecosse plus fier qu'un Artaban d'avoir marqué du doigt celle des trois Nymphes qui a touché le coeur du Sieur Constantin, bien plus fier encore de s'être rencontré avec Votre Majesté dans ses vues sur les cadets d'Allemagne, s'est fait tout de suite une affaire capitale d'ouvrir cette chasse sans bruit et sans trompette, en se créant de sa propre autorité premier piqueur de cette battue, mais sans endôsser pour cela la livrée de chasse de Votre Majesté Impériale, et observant, comme de raison, dans toutes ces entreprises le plus rigoureux incognito. La revue de tout le gibier qu'il aura fait lever ainsi, formera le sujet d'une pancarte à part, afin que Votre Majesté puisse juger du même coup d'oeil de la totalité.

Depuis quelques jours le bruit s'était répandu autour de moi que les noces du Sieur Constantin allaient se faire au mois de février, et que le

* souffre-douleur, qui d'après l'oracle de Minerve, les avait annoncées et fixées au commencement du printemps, ce qui évidemment veut dire après l'équinoxe, en aurait, comme à l'ordinaire, le démenti. Hier matin j'eus la certitude de ce nouveau dégoût par l'apparition imprévue du messager de l'immortelle Mezentsov. Il m'apporta la notification formelle de la réception d'une nouvelle brebis dans le giron de l'église grecque, le 2 février, jour de la purification, fiancée le lendemain. Puisque par la miséricorde divine la brebis s'est trouvée en état de rentrer si vite dans le giron, il n'y a pas à se formaliser que les fiançailles s'en soient suivies, et que dix jours après les fiançailles, le couple amoureux soit marié.

L'ange Mezentsov, après m'avoir remis son paquet, a immédiatement continué sa route sur Cobourg. En ouvrant ma divine pancarte par le beau milieu, je lis au haut de la page: «Vous êtes plaisant, vous craignez man-«quer de pancartes, de ceci, de cela, et vous ne manquerez de rien; c'est «moi qui vous le dis», et je sens mon visage inondé par un torrent de larmes. Delà je porte mes regards sur la première page, et j'y trouve l'esquisse rapide du tableau d'une nouvelle Artémise inconsolable de la perte d'un mari insupportable à elle et au monde, et me voilà forcé de rire au milieu de mes sanglots. Mais ce n'est ni ce tableau si philosophique dont je connais les principales figures, ni mes sanglots qui m'ont occupé, passé ce premier moment. Incontinent après avoir lu ce que mon unique bienfaitrice m'a mandé sur Antoinette Marguerite Marchais, je me suis prosterné tout de mon long à ses pieds, j'ai embrassé ses genoux, en m'écriant: O de tous les êtres le plus miraculeux, il n'a jamais rien existé, il n'existera jamais rien qui te ressemble! Que ton nom soit glorifié, tant que la bonté aura des temples parmi les hommes! Qui pourra jamais croire qu'au milieu des soins de l'univers dont la destinée t'est confiée, le sort d'une fille obscure dont le courage et les vertus ne seront pas consignés dans les fastes du monde, ait pu t'occuper un instant? qui croira que tu aies le temps de penser avec inquiétude aux dangers que court sur mer le père des enfants que ta commisération a adoptés? Cette bonté incompréhensible consolerait de tout, Madame, si après tous les risques, après toutes les incommodités essuyés, le comte de Bueil ne se trouvait pas précisément aussi avancé qu'il l'était en 1792. Ce malheureux régiment de Castries est forcé de s'embarquer sur l'Elbe au milieu de novembre, sans avoir ordre de passer en Angleterre, parce que la régence d'Hanovre ne les souffre plus à terre. Encaqués comme des harengs dans des transports où, au dire même des commissaires anglais, ils sont plus entassés que les esclaves noirs qu'on transporte d'Afrique dans les colonies; les officiers réduits à se défaire de tout

* leur bagage, faute de place pour emporter la moindre chose d'où il résulte pour le comte de Bueil, comme pour ses camarades, la nécessité de se défaire pour trois louis d'un cheval qu'il avait payé 25 louis peu de temps auparavant, ils restent stationnaires sur l'Elbe pendant plusieurs semaines dans cet état, traversent enfin la mer au milieu des ouragans, et sont reçus au port d'Yarmouth, mais sans oser y débarquer. Là ils apprennent que le gouvernement britannique réduit le régiment à moitié, et de deux bataillons dont il était, n'en conserve qu'un, de sorte que le comte de Bueil, qui est du second bataillon réformé, après avoir été plus de deux mois encaqué dans son transport, se trouve tout-à-coup sur le pavé. N'était-il donc pas plus naturel et surtout plus humain, de faire cette réforme pendant que le corps était encore sur le continent? Là chacun du moins aurait regagné son asile à moins de frais et de pertes. On devient philosophe au milieu de tant de vicissitudes malheureuses; mais la philosophie sans appui se perd bientôt dans les espaces imaginaires, et court après des chimères et des illusions. Le comte de Bueil, voyant son épée se casser entre ses mains pour la troisième ou quatrième fois, et sa patrie aussi éloignée du retour vers la justice et le bon sens que le premier jour, a perdu l'espérance d'autant plus complètement qu'il s'était flatté plus longtemps. Il n'espère plus revoir l'héritage de ses pères auquel il était si passionnement attaché et qui s'était si sensiblement amélioré par ses soins depuis qu'il lui était dévolu; mais il pense avec raison, que dans les maux extrêmes il faut savoir prendre un grand parti. S'étant rendu à Londres avec quelques-uns de ses camarades d'infortune, après l'expédition de son congé, il y a apparemment fait rencontre de quelque agronome de la force de mon pair d'Ecosse, et sa passion pour l'agriculture jamais éteinte, s'est ralumée de plus belle. Il a écouté avec une extrême complaisance ce qu'on lui a dit sur la possibilité, sur la facilité même, de former un établissement dans une des provinces de l'Amérique Septentrionale, et de s'y faire, surtout en portant quelque avance en argent, en très peu de temps un état fort aisé pour soi et pour ses enfants, en cultivant un coin de terre qu'on aurait défriché. Qui peut douter de cela? mais où prendre cette avance indispensable pour passer dans un pays aussi éloigné, et pour y commencer un défrichement avec succès? Certes, l'unique et dernière ressource qui me reste après mon naufrage, la somme de 30 mille florins que je dois à la munificence impériale, et dont le comte de Bueil n'a pas même connaissance, ne courra pas les risques d'une avance qui, en ne répondant pas à notre attente, enleverait à ses enfants jusqu'à la dernière obole. Je lui ai donc répondu que pénétré comme lui de la nécessité de prendre un grand parti, hors d'état, comme il doit le savoir, de lui faire la

moindre avance, je ne connaissais pour lui qu'un grand parti décisif, celui de se réunir promptement à nous, pour aller se jeter avec sa famille aux pieds de l'unique, mais toute-puissante bienfaitrice que le ciel propice lui avait ménagée dans sa détresse, et de lui abandonner son sort et celui de ses enfants. J'espère que Votre Majesté Impériale daignera dans sa bonté approuver ce conseil, et qu'elle voudra bien se rappeler qu'avec sa permission souveraine et expresse, le comte de Bueil a porté l'uniforme des enfants de la victoire dans le grade qu'il avait en France, depuis le commencement de la campagne de 1792 jusqu'au moment où il est entré au régiment de Castries. Il faut un courage au-dessus du mien pour oser solliciter la grâce de reprendre cet uniforme glorieux qui seul l'a préservé et le préservera encore de toutes les persécutions auxquelles les émigrés français se trouvent exposés en Allemagne souvent du soir au lendemain. J'attends sur ce point la décision formelle de Votre Majesté qui seule pourra me tranquilliser. De combien de signes de tête n'ai-je pas besoin de la part de la fille de Jupiter, pour m'apprêter à m'approcher de son temple auguste avec quelque assurance! Voilà donc la caravane projetée augmentée de deux personnes auxquelles la bonté souveraine permet de chercher son salut sous l'égide de Minerve. Antoinette Marchais rendue depuis huit mois au repos, et même au bonheur, autant qu'il est possible quand on a laissé une mère et une soeur dans le gouffre inextinguible de cette terre de malédiction, éprouve aujourd'hui que vivre dans des transes continuelles porte des coups à la meilleure constitution. Pendant plus de dix-huit mois qu'elle a été sous le glaive tous les jours de la vie, son courage l'a soutenue; depuis que le calme est rentré dans son coeur, elle s'apercoit que sa santé a souffert, c'est dans l'ordre des choses; mais j'espère que le régime qu'on lui a prescrit lui rendra la santé dont elle a toujours joui, et préviendra à temps des maux qui auraient pu lui nuire.

Ce mercredi, 27 février (9 mars).

Maintenant que je suis sûr d'avoir à ma disposition un messager de l'immortelle qui se chargera de porter mes paquets au pied du trône de la gloire, je prends le parti de mettre bien vite entre cette épouvantable pancarte et son barbouilleur un cachet et une enveloppe qui la rendent inaccessible pour moi: car si je me réservais le moyen et la possibilité d'y jeter les yeux, jamais je n'aurais le courage de la fermer et de l'expédier. Je vais au contraire en recommencer sur-le-champ une autre, et faire en sorte qu'elle soit emportée par le même messager, et qu'elle fasse oublier, s'il

* est possible, à mon auguste Souveraine et à moi le barbouilleur, sa soeur aînée de fatale mémoire, ou qu'elle lui obtienne son pardon.

Puisqu'il me reste encore quelques lignes de blanc, je confierai à Votre Majesté que quelqu'accoutumé que je sois à être tarabusté par mon auguste Souveraine, sa dernière pancarte m'à apporté une humiliation dont je ne me suis pas encore relevé et dont je ne me releverai peut-être jamais. Je suis ordinairement très content quand il m'arrive des traits lancés du haut du trône, des injustices que je puis combattre victorieusement, et qui me rendent par conséquent plus grand à mes yeux que je ne me paraissais avant l'attaque; mais que devient un pauvre souffre-douleur, quand son auguste antagoniste lui fait toucher du doigt et de l'oeil qu'il est plus bête qu'un chou, et quand sa conscience l'oblige d'en convenir? Ce malheur m'est arrivé. Belzébuth m'a tenté de vouloir juger un trait de génie de Sider Yermalaïtch, et Votre Majesté me prouve que j'en ai jugé comme un sot. Il est constant que j'étais à mille lieues de pénétrer les vues sublimes de son édit contre les jacobins, et après l'énorme méprise qu'il m'a fait faire par la profondeur de ces vues, il est clair que je ne suis pas digne de lui délier les cordons de ses souliers. Je suis cependant, tout humilié que je suis, un peu fâché pour lui qu'il se soit tant pressé de faire sa cour aux constitutionnels: car quoique cela ait été payé par un pot de vin de 700 mille écus, ce pot de vin n'existait encore en décembre qu'en lettres de change protestées; et puis, ces constitutionnels sont bien les plus plats et les plus lâches héros de toute la masse des héros républicains. Ils p... ront dans la main de Sider Yermalaïtch quand il y pensera le moins. Ces jacobins qui ont eu quelques échecs, regagneront à coup sûr le terrain perdu contre des ennemis aussi plats qui n'ont point d'esprit, et qui manquent de résolution dans toutes les occasions que la fortune leur ménage. Quand les jacobins auront repris le haut du pavé, Sider Yermalaïtch ne sera peut-être pas très sûr d'etre bien aise d'avoir lâché son édit fulminant contre les jacobins; c'est un faux pas dont son ambassadeur Staël, qu'on appelait de mon temps le nigaud blanc, aurait dû le garantir, en lui montrant la possibilité d'un revirement dont les grands politiques, comme le susdit nigaud, savent prévoir et calculer les contre-coups.

Après ce qui m'est arrivé avec Sider, je n'ose charger Votre Majesté de mes compliments pour le Seigneur Moustaza Koulikan qui est une autre paire de manches; mais j'ai besoin d'une déclaration de sa part. Il me dira si c'est dans les Loges de Raphaël exclusivement qu'il se trouvait en paradis, et si en les quittant pour assister au bal ou à la fête des chevaliers de S. George, il se croyait en enfer: car, Dieu merci, si le souffre-douleur s'en

* rapportait aux commentaires de V. M. I. aveuglément suivant son usage, ils lui persuaderaient enfin que les vessies sont des lanternes.

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 16 (27) avril 1796.

Madame,

Votre Majesté Impériale, ne voyant revenir aucun de ses courriers dépêchés vers la Thuringe, sera bien en droit de penser qu'ils ne sont plus de ce monde; elle ne voudra jamais croire que son souffre-douleur ait eu l'audace de retenir le dernier un grand mois, et le permier pendant deux mois entiers. Celui-ci, M. de Mezentsov, parti pour porter à Cobourg la nouvelle des fiançailles, y est resté jusqu'à présent. On y a été fort content de lui, et il s'y est plu à son tour. Je l'attends avant la fin de la semaine pour l'expédier; mais en attendant le dernier venu, M. de Manitcharov, que je retiens chez moi depuis un mois, reprendra le chemin du séjour de la gloire le premier, pour y porter cette pancarte et sa soeur aînée qui se trouve dans mon secrétaire toute cachetée depuis plus de six semaines. Quant au comte de Tiesenhausen, porteur de la nouvelle du mariage, qui s'est montré entre ces deux messagers, je n'aurai pas son retard sur ma conscience. Il m'a prévenu qu'il irait de Cobourg à Stutgard et à Carlsruhe, et qu'il aurait soin de m'avertir de l'époque de son passage par Gotha, mais que ce passage ne serait pas si prompt: ce qui me convenait de toutes les manières, et j'attends de ses nouvelles sans l'ombre d'impatience.

Pour me justifier du retard des autres, j'ai besoin de rendre succinctement compte à mon auguste et tant bonne souveraine de ma conduite depuis le premier mars, nouveau style, jour de l'apparition de M. de Mezentsov. Huit jour après, je fermai ma pancarte précédente № 7, qui se morfond encore dans mon secrétaire, et je me sentis déjà passablement indisposé. Une fièvre catarrhale épidémique s'était manifestée non seulement à Gotha, mais dans tous les pays d'alentour, et il faut dire à notre éloge qu'elle a été dans toutes les villes voisines beaucoup plus meurtrière qu'ici. Le juste n'étant pas à l'abri de la contagion malgré toute sa sagesse, le souffre-douleur fut formellement saisi de cette fièvre le 12 avec des quintes de toux effroyables et continuelles qui redouablaient principalement au moment où il devait chercher le repos dans son lit, parce qu'apparemment la position horizontale du corps gênait davantage la poitrine; il en résultait un râle qui ne ressemblait pas mal à celui de la mort. Quand cela dure six

* semaines, on peut se vanter d'avoir fait ses preuves de saintété ou d'ânerie, parce que la vertu de la patience tient à ces deux états. On n'a pas passé une nuit tolérable pendant ce temps-là; on est harrassé, exténué, anéanti, et cependant ce qu'on craint le plus, c'est son lit; on s'arrange aussi tout doucement pour étouffer sans bruit et prendre congé de la compagnie sans trompette.

Dans cet état je vis arriver chez moi le 19 mars vers les onze heures du soir, le comte de Tiesenhausen, porteur d'une missive du 18 février, de mon auguste et constante bienfaitrice qui ne sait pas dire en vain à son souffre-douleur: Tu n'en manqueras pas; porteur en outre de l'heureuse conclusion de l'auguste hymenée; il partit un quart d'heure après pour Cobourg. J'avais reçu le même jour par mes bienfaiteurs, les successeurs de Bacchus, quelques lignes du 19 février de cette main révérée qui m'ordonnait de me mettre à la piste d'une Madame de la Roche Lambert, ce qui ne me sera pas difficile, si c'est celle que je connais beaucoup, et qui se tient à Arolsen, résidence du prince de Waldeck. Dans la nuit du 22, m'étant trouvé un peu mieux, je m'étais endormi sur les deux heures; à peine avais-je sommeillé pendant une demi-heure, qu'on me réveille en sursaut, en m'annonçant un courrier de Votre Majesté. J'avoue qu'après le passage si peu éloigné des deux qui venaient de le précéder, j'étais bien loin de m'attendre à l'apparition d'un troisième, et comme dans ces temps sinistres, on ne rêve que malheurs et désastres, la première idée qui se présenta à mon esprit, fut qu'il ne pouvait être que porteur de quelque nouvelle malheureuse. Je fus à la vérité détrompé et rassuré dans l'instant même, et par la contenance du messager de l'immortelle, et par la lettre du 25 février dont il était porteur; mais le mal était fait, et la pensée sinistre de quelque malheur possible, plus rapide que l'éclair, avait déjà fait son effet, en portant le frémissement dans un coeur très disposé à le recevoir. Le courrier de Votre Majesté repartit immédiatement pour Cobourg. Le lendemain 23 la fièvre redoubla avec beaucoup de violence, et les quintes de toux prirent un assez mauvais caractère. Le 26, M. de Manitcharov revient de Cobourg, après y avoir rempli les ordres de Votre Majesté, et me trouva hors de combat. Je suis resté dans cet état de souffrance et d'abattement jusqu'au 18 de ce mois, où un curé du voisinage des terres de Madame de Bueil, émigré établi à Erfort, fort savant en médecine sans être docteur, et qui l'a toujours exercée gratuitement avec le plus grand succès, passa ici. Il fut fort mécontent du traitement qu'on m'avait fait, et je dois dire à son honneur qu'en deux fois 24 heures j'éprouvai un bien sensible de celui qu'il me prescrivit. La fièvre a cessé, la toux a perdu ce caractère de dureté qui

* pouvait me déchirer la poitrine d'un moment à l'autre, le sommeil n'est plus inexorable pour porter le calme dans un sang enflammé, et enfin je puis reprendre la plume et songer à délivrer M. de Manitcharov de moi.

Votre Majesté est sans doute en droit de me demander un compte rigoureux pourquoi j'ai osé le retarder à ce point, le retenir tandis que j'étais hors d'état d'écrire une ligne, pourquoi je ne l'ai pas expédié avec ce qui était prêt, sans lui faire perdre son temps près de moi. Mais indépendamment du désir violent que j'avais de répondre à la lettre du 25 février par celui-là même qui me l'avait portée, une raison beaucoup plus grave m'avait fait prendre le parti audacieux de le retenir. Ma maladie était d'un assez mauvais caractère pour pouvoir procurer au souffre-douleur le repos éternel. J'avais pris mes arrangements pour qu'au premier symptôme d'un tel dénoûment, le courrier de Votre Majesté pût emporter et remettre entre les mains de mon auguste bienfaitrice ce trésor inestimable qui a fait le bonheur de tous les instants de ma vie; que sa bonté unique n'a cessé d'augmenter d'année en année, et dont le sort dépendant des vicissitudes de toutes les choses humaines, a cependant quelquefois excité assez sa sollicitude pour en désirer le sacrifice, sans que son coeur généreux et magnanime lui ait permis d'insister sur un parti si douloureux. Combien je me félicitais du hasard heureux de le pouvoir moi-même consigner en des mains sûres, dans le cas où l'heure de m'en séparer eût sonné pour moi, et de pouvoir dire à celle à qui je devais la longue possession de ce trésor unique: Ce que tu m'as confié avec une bonté sans égale, je te le rends avec une fidélité sans tache, seul hommage qui soit en mon pouvoir, pour reconnaître un bienfait dont il n'a jamais rien existé de pareil sur la terre, et dont la possession a fait l'orgueil et l'attendrissement de tous les instants de ma vie. J'espère, Madame, qu'en faveur d'un motif si important, Votre Majesté me pardonnera ce retard de son courrier, et daignera même, pour ma tranquillité, m'annoncer ce pardon à la première occasion avec cette bonté qui n'appartient qu'à elle. Si le sort eût disposé de moi, et que mon trésor fût retourné à sa souveraine dispensatrice, elle aurait pu se convaincre par ses propres yeux, que son volume n'est pas aussi embarrassant qu'elle a eu quelquefois l'air de le croire, et que dans une cassette d'une médiocre grandeur on peut loger des diamants pour des sommes incalculables. Enfin, puisque je suis sur ce chapitre, je dois détruire encore une autre inquiétude dont j'ai aperçu les traces dans ce coeur magnanime, l'objet de mon culte et de ma constante adoration. Ne lui a-t-il pas paru depuis peu, que la seule notoriété de la possession de ce trésor pourrait m'exposer à quelque grave inconvénient, et me rendre plus ou moins victime d'un complot qui aurait pour objet de

* me l'enlever ou me le dérober? Mais j'ai obvié à ce danger de tout temps, et particulièrement depuis que j'ai quitté la France. J'ai établi dans la tête de tout ce qui m'entoure, que je ne possède pas une ligne ni de tout ce que j'écris à mon auguste Souveraine, ni de ce qu'elle a la bonté de me répondre. Cela est d'abord rigoureusement vrai pour tout ce que j'écris, dont on ne trouvera pas trace après moi, toutes mes pancartes expédiées étant mes minutes; et quant à celles de Votre Majesté, j'ai si bien fait que sans affectation je suis parvenu à persuader à tous mes amis, que d'abord après mon départ de Paris, j'ai tout renvoyé à la source bienfaisante qui m'en avait gratifié, et que depuis ce moment, je renvoyais successivement chaque paquet à fur et mesure que j'y pouvais répondre. Cette idée s'est si bien accréditée qu'au milieu de mes richesses on me croit dépouillé de tout; qu'on admire mon courage et ma prudence que je n'ai point, et qu'on se persuade qu'ils auront leur récompense, parce que je retrouverai toutes mes richesses dans toute leur intégrité, lorsque j'aurai exécuté ce grand et retoutable projet de me rendre aux pieds de la bienfaitrice qui m'en a comblé.

Ne confiant pas mon trésor à M. de Manitcharov, puisque je suis rappelé à la vie, il en résulte pour moi une obligation plus étroite de le porter moi-même; mais il faut convenir que je me prépare bien mal à l'exécution de ce grand projet, et que ma maladie m'a rapproché bien plus de la route de l'oubli éternel que de celle du séjour de la gloire. Cependant, quand même je serais destiné à confier mes os à quelque coin de terre hospitalier de la route, mes enfants n'en consigneraient pas moins avec la plus scrupuleuse exactitude entre les mains de leur auguste protectrice cette caisse qui se trouverait à son adresse; je serais aussi bien sûr qu'arrivant sans moi, ils n'en seraient accueillis qu'avec plus de bonté et de compassion, et que Votre Majesté, se rappelant le legs que j'ai osé lui en faire et qu'elle a daigné si gracieusement accepter, ne le rejeterait pas au moment où il lui est dévolu par la disparition du testateur; j'en dis autant d'Antionette Marchais, héroïne obscure, sur laquelle l'incroyable bonté de la suprême dominatrice des coeurs daigne également s'étendre, et qui après m'avoir rendu les derniers soins, arriverait sans doute dans la suite de mes enfants au pied du trône des miséricordes. Le père de ces enfants est encore en Angleterre. Nous avons de ses nouvelles du commencement de ce mois où depuis le commencement de février, il n'avait reçu aucune de nos lettres. Depuis que le continent n'a plus de communication avec l'Angleterre que par la voie de Hambourg, le commerce de lettres est devenu singulièrement difficile avec les îles britanniques, et il faut souvent des mois pour qu'une lettre y parvienne. Je m'attends néanmoins d'apprendre d'un moment à l'autre que

* le comte de Bueil a débarqué sur le continent, et est en route pour nous joindre.

En attendant, ma confession générale si ennuyeusement achevée au commencement de janvier, grâces à ma maladie, est restée dans mon secrétaire, et quatre grands mois seront écoulés avant qu'elle se trouve aux pieds de la fille de Jupiter dont le signe de tête doit décider de mon sort et de celui de mes enfants. Quelle que soit cette décision, je supplie Votre Majesté de considérer qu'il me sera absolument nécessaire qu'elle suive de près la réception de ma confession générale, et qu'elle soit recommandée sans délai aux soins des successeurs de Bacchus pour qu'elle me parvienne dans le courant de juin, parce que je ne puis prévoir qu'il existe une occasion vers ce temps pour dépêcher un courrier vers ces contrées, et que si le redoutable voyage reçoit l'approbation souveraine, il est impossible de manquer les mois de juillet et d'auguste pour se mettre en route. Enfin Votre Majesté mettrait le sceau à toutes ses bontés, en ordonnant qu'on m'envoie ici un passe-port de Pétersbourg pour moi et tout ce qui se trouvera dans ma suite et dont je répondrai, afin que nous n'éprouvions point de difficulté sur la frontière de l'empire. Tout ce qu'il y aura de français dans ma caravane prêtera de grand coeur le serment prescrit; mais le comte Herzblatt n'étant plus à son poste, nous ne saurions comment nous procurer des passe-ports valables, et pressés comme nous seront par le temps, nous serons trop loin de Vérone et d'Edimbourg pour pouvoir nous y faire expédier des passe-ports en bonne forme; d'ailleurs nous appartenons tous individuellement et avant tout, à la suprême dominatrice de toutes les Russies et de tous les coeurs.

Il a plu à Votre Majesté Impériale de me dire qu'elle ordonnerait qu'à l'époque de l'année révolue où il me fut remis la somme de dix mille roubles destinée au secours des émigrés, pareille somme me soit remise pour les secourir cette année. Or cette première somme je l'ai touchée au commencement d'avril de l'année passée; l'année est donc révolue. J'ai encore de la première somme de quoi fournir plusieurs petits secours, comme Votre Majesté verra dès que je serai en état de rendre mes comptes, et je ne prendrais pas la liberté de solliciter cette nouvelle remise, si je ne supposais qu'il entre dans les vues bienfaisantes de mon auguste Souveraine d'assurer la subsistance du maréchal de Castries pendant cette année, ce qui absorbera la principale partie de cette nouvelle remise. Il me sera bien doux, en m'éloignant de ces contrées ou en finissant ma carrière, d'avoir assuré l'existence de cet homme respectable et de sa nombreuse famille, au moins jusqu'à la fin de cette année. C'est par ce motif aussi que j'observe que la re-

* mise des dix mille roubles touchés au commencement d'avril 1795 à Leipzig, a produit la somme de 9534 Reichsthaler et quelques gros, ce qui fait 17162 florins et quelques kreuzers de Francfort, tandis que les dix mille roubles remis en novembre et si généreusement destinés au redoutable voyage, n'ont produit à Leipzig que 6390 Reichsthaler, somme certainement plus que suffisante pour sa destination; mais Votre Majesté ordonnera peut-être que celle qui doit servir cette année au secours de l'émigration, s'élève à la même somme que celle du mois d'avril de l'année dernière, toujours à cause de la principale portion qui, d'après mes espérances, en doit revenir au maréchal de Castries.

Nous venons de perdre un de nos anciens amis, moi le plus ancien de tous, puisque notre liaison datait de l'âge de onze ans. Le grand adorateur de la grande Catherine, le comte de Schomberg, vient de terminer sa vie à Eisenach. Il avait été frappé il y a quatre ans à Dresde d'un violent coup d'apoplexie, et son existence n'était plus désirable. Il a nommé le maréchal de Castries son exécuteur testamentaire, et lui a laissé ce qu'il possédait de plus précieux, le portrait de l'immortelle. Le maréchal ne croit pouvoir accepter ce legs qu'autant que Votre Majesté daignera le ratifier. Il m'a envoyé sous cachet volant une lettre où il sollicite cette grâce, et puisque ses pieds de mouches et de hannetons n'empêchent pas Votre Majesté de déchiffrer ses lettres, j'ose me flatter que celle-ci obtiendra l'objet de ses voeux.

Je viens à l'objet principal de la lettre de Votre Majesté du 25 février, et ce n'est pas sans peine que j'en approche. Je me sens une horreur invincible pour Sider Yermalaïtch, et je sens que son idée suffit pour me causer une rechute et un redoublement de quintes. Depuis que je tiens cette lettre de mon auguste Souveraine, les bruits les plus contradictoires ont circulé autour de moi pendant toute ma maladie. D'abord on a mandé de divers endroits que le régent, pris au trébuchet, avait été obligé de rompre le mariage projeté de Mecklenbourg, et que le jeune roi demanderait à Votre Majesté la grande duchesse que son père avait obtenue pour lui, que sur cela le citoyen Lehoc avait jeté feu et flammes, menaçant que les subsides de la république régicide cesseraient du moment où ce mariage serait arrêté; que le régent répondait à cela, qu'un mariage était une affaire domestique qui n'avait rien de commun avec la politique, mais qu'en attendant ce grand prince se trouvait fort embarrassé. Dans le même temps le prince de Holstein Augustenbourg mandait de Copenhague à un de ses amis à Leipzig, que la rupture entre la Russie et la Suède était inévitable, que la Suède et le Danemark craignaient, comme de raison, la guerre; que le jeune roi

* était fort à plaindre; que son royaume était déchiré par des factions de toute couleur, &c. Cependant un M. d'Eyben, qui est chancelier à Gluckstadt, si je ne me trompe, écrivit dans sa patrie, à Meiningen, dans les environs d'ici que la guerre était prévenue, et s'en félicitait pour l'amour du Danemark, et un écrivain énigmatique de Brunswick, qui ne peut jamais mander un fait simplement et dans sa clarté, mandait: Tout est arrangé entre Stockholm et Schwerin, ce qu'on pouvait raisonnablement expliquer par: Tout est dérangé, car qu'y avait-il à arranger, si les premiers engagements devaient tenir? Depuis quelques ordinaires au contraire, toutes les nouvelles de Suède ne parlent que de préparatifs de guerre par terre et par mer. Il m'est très difficile, Madame, de savoir quelle est dans tout ce hourvari la façon de voir et de penser de la duchesse de Mecklenbourg. Malgré toute notre amitié, je n'ai jamais eu avec elle un commerce de lettres suivi, et Votre Majesté sait déjà que depuis que j'ai quitté la France, il a entièrement cessé. Au commencement de janvier, son fils, le prince héréditaire vint passer une semaine ici, et dans ces occasions je ne puis me dispenser de rompre la clôture de mon ermitage et de dîner à la cour. Je fus un peu étonné que ce prince ne me dit rien de la part de sa mère, et que ceux qui l'accompagnaient, m'évitassent avec beaucoup de soin. Je sentis que c'était une obligation que j'avais à la livrée que j'avais la gloire de porter, et je secondai de mon mieux le prince et ses conducteurs, en ne leur adressant pas la parole de tout le voyage. Cependant comme j'aime à me ressembler, j'écrivis le jour de son départ à sa mère une lettre de quelques lignes où je la félicitais du succès général que son fils avait eu à Gotha. Ma lettre resta plus de cinq semaines sans réponse, et alors je n'eus plus aucun doute sur mon entière disgrâce. Lorsque je n'y pensai plus, il m'arriva une réponse antidatée de cinq semaines. J'ignore encore aujourd'hui le motif de ce changement. Je joins ici une copie de cette petite lettre. Elle est écrite dans le ton auquel j'étais accoutumé; mais elle ne répond pas à la mienne. Je ne lui avais pas dit un mot du suffrage dont j'honorais son fils, et ne l'ayant pas approché, il m'était difficile d'avoir une opinion sur lui; je n'avais donc parlé que du suffrage général qu'il avait obtenu ici. J'ai ouï dire que la princesse héréditaire de Cobourg, qui était très étroitement liée avec cette duchesse, se ressent comme moi de sa position, et est à peu près disgraciée comme le souffre-douleur de Votre Majesté; mais cela me paraît plus naturel. Elle peut regarder comme un tort de parente qu'une des filles de cette princesse ait enlevé à la sienne le coeur du Sieur Constantin, auquel on prétend qu'elle avait visé un moment. Enfin, ne pouvant faire à la duchesse aucune insinuation directe, j'ai tâché de lui faire dire par des voies indirectes com-

* bien elle avait intérêt ou de rompre ce mariage, ou de le renvoyer du moins jusqu'après la majorité du roi, pour voir si ce jeune prince confirmerait les liens que son tuteur voulait lui faire contracter. J'ignore si ces insinuations pourront percer jusqu'à elle; il y a déjà quelques semaines que je leur ai donné mon passe-port. Je connais en général cette princesse pour très sensée, mais j'ignore qui sont les conseillers qui l'entourent et qui jouissent de sa confiance. J'ignore aussi si son cousin, le duc de Gotha, est instruit par elle de ce qui se passe; je suis exclus de tous ces mystères, toujours à cause de ma livrée. Tout ce que je sais, c'est que dans le principe ce mariage ne plaisait pas au duc, à cause du pays et de sa position politique. Je viens de recevoir une déclaration faite par M. de Budberg à Stockholm. Je la joins ici, et je somme mon auguste Souveraine de déclarer à son souffre-douleur, s'il doit la ranger dans ses archives parmi les pièces authentiques.

Ce samedi, 19 (30) avril.

J'ai mis trois jours à griffonner cette mince pancarte. Cela prouvera à Votre Majesté Impériale que mes forces physiques sont encore loin de répondre à l'ardeur de mon âme qui s'élance vingt fois, mille fois par jour, vers l'objet auguste de toutes ses pensées et de toutes ses affections. Il s'en faut bien que je sois soulagé de la centième partie de ce que j'aurais à lui dire: cependant j'expédie M. de Manitcharov avec ce paquet et le précédent, et il se mettra en route demain immédiatement après l'arrivée de la poste, afin qu'il puisse encore se charger des nouvelles qu'elle apportera. Votre Majesté trouvera dans la facture ci-jointe le détail des paquets dont il est porteur. Je dois dire à Votre Majesté que j'ai eu lieu d'être infiniment content de la conduite de cet officier pendant la longue et ennuyeuse quarantaine qu'il a faite à Gotha. Je reçois en ce moment une lettre du maréchal de Castries pour le comte Herzblatt, et je ne saurais mieux faire que de la confier à la bonté suprême.

J'ignore comment l'histoire mémorable de mes trois paires de manchettes a pu se faire jour, pour percer jusqu'à Votre Majesté Impériale, au milieu des fêtes de l'heureux hymenée et de ce superbe pas russe dont le simple récit en trois lignes est capable de rendre tous les Vestris et tous les Gardel stupéfaits. Cette histoire de dentelles trouvera sa place dans les fastes de la première pancarte. Je la destinais à Votre Majesté pour son carême; mais voilà ce carême passé, pendant lequel je n'ai pu vaquer qu'à mes quintes de suffocation. Cette nuit, souffre-douleur, Emilie, Katinka, Adèle, nous crierons de toutes nos forces: Христосъ воскресъ! et l'Impé-

* ratrice des Grecs sera bien obligée de regarder de notre côté. Demain nous marcherons toute la journée sur la pointe des pieds, de peur de la réveiller, parce que nous supposerons qu'ayant passé la nuit avec le ressuscité à l'église, elle passera la journée dans son lit; et après-demain, nous nous dédommagerons de notre silence du jour de Pâques, en célébrant avec le plus grand bruit l'auguste anniversaire de sa naissance. Que son grand nom soit à jamais glorifié au milieu de tant d'humiliations et d'opprobres que nous voyons ailleurs!

A Gotha, ce lundi, 21 avril (2) mai 1796.

Madame,

Après avoir passé hier, et pour cause, toute la grande fête de la Pâque sans bruit et sur la pointe des pieds, au palais d'hiver, comme Votre Majesté Impériale verra par la pancarte № 8, confiée à M. de Manitcharov qui court déjà depuis 24 heures pour déposer sa cargaison au pied du trône de la gloire, nous nous sommes dédommagés ce matin de notre silence d'hier, en nous transportant, tutti quanti, souffre-douleur et sequelle, au palais Tauride avec grand bruit et vacarme: car c'est là que je suppose que ce grand jour, le plus beau de l'année, aura été célébré en présence de l'immortelle. Nous y avons toujours déposé nos voeux et nos hommages au beau milieu de ceux de l'empire, et si par hasard nous nous sommes trompés dans nos calculs, et que nous n'ayons trouvé personne dans ce beau palais, nous en sommes toujours revenus ce soir, sans le savoir, et sommes rentrés dans notre taudis, très heureux de la manière dont nous avons célébré l'anniversaire de cette nativité la plus prospère pour le genre humain depuis celle du Sauveur du monde. En rentrant chez moi, j'ai retrouvé tous ces petits restes d'une convalescence lente et pénible dont je me passerais parfaitement, mais je ne m'en plains pas, puisqu'ils ne m'ont pas empêché de célébrer la Pâque et la nativité, et de dépêcher vers l'olympe l'un des messagers de l'immortelle qui m'a porté, au milieu de ma maladie, ce qui soutient et prologne l'existence du souffre-douleur depuis plus de vingt ans.

J'ai aussi reçu ce soir une lettre du maréchal de Castries qui me confirme tout ce que j'ai eu l'honneur de mander hier à Votre Majesté Impériale sur la nécessité où s'est subitement trouvé Louis XVIII de quitter Vérone sur le conseil impératif du sénat de Venise. Grâces à M. de Manitcharov, qui avait un pied dans l'étrier lorsque cette nouvelle m'arriva hier, je serai peut-être le premier qui l'aurai portée à la connaissance de Votre

* Majesté. Le maréchal me répète tous ces détails d'après une lettre qu'il vient de recevoir du Roi. Ce prince ne pouvait pas savoir alors ce que penserait la cour de Vienne de la détermination forcée qu'il a prise de se rendre au corps de M. le prince de Condé, sans pouvoir ni demander ni attendre l'aveu de l'Empereur. Il faut espérer que la cour de Vienne pensera que c'est le seul parti qui devait se présenter à Louis XVIII dans la position où la courtoisie du sénat de Venise venait de le mettre à l'improviste, et qu'elle l'approuvera en conséquence de sa nécessité. Ce qui me fait plaisir dans cette triste circonstance, c'est que le maréchal me mande que le roi, en lui faisant part de cet événement, l'invite à venir le joindre au corps de M. le prince de Condé où il allait se rendre, en vertu de l'engagement que le maréchal a pris d'être auprès de lui en qualité de son aide de camp dès que S. M. se trouverait à l'armée. «Le Roi, me dit le maréchal, daigne me sommer de tenir mon engagement, et je vais le remplir avec empressement, malgré l'état de ma santé et les embarras de tout genre qu'un départ précipité et imprévu peut occasionner. Je vais donner quelques jours à ma santé pour n'être pas malade en campagne, et je tâcherai d'aller vous embrasser avant mon départ. Reste à savoir si l'Empereur trouvera bon que je sois à l'armée, ce qui peut être douteux, malgré tout ce qu'un refus aurait de dur». J'ai répondu au maréchal sur-le-champ que malgré tout ce que je perdais à son éloignement de mon voisinage, j'étais ravi du parti qu'il prenait, et je le suis véritablement, parce que j'aime que chacun soit à la place où il doit être; cela est surtout essentiel par le temps qui court. La présence du maréchal fera en mille occasions à Louis XVIII un bien incalculable, et si jamais la France, délivrée des scélérats qui l'ont subjuguée, peut venir à résipiscence, c'est un homme tel que lui qui hâtera ce moment, parce qu'il aura la confiance de tous les partis, de toutes les factions; que toutes se fieront aveuglement à sa parole; que n'étant ni passionné, ni outré en rien, il apprendra à toutes la voie de la justice et de la modération dans laquelle il faudra marcher pour se rapprocher du bon sens. Le maréchal se trouvera naturellement fort embarrassé par cet incident imprévu dans ses finances, et je l'ai conjuré de s'ouvrir à cet égard à moi sans réserve. A la vérité, je n'ai pas un écu à lui offrir; mais n'ai-je pas mon auguste Souveraine derrière moi pour soutien, et ne suis-je pas bien sûr que tout ce que je ferai dans cette occasion sera honoré du sceau de son approbation? Le maréchal me confie encore qu'on lui écrit de Vienne que la jeune princesse de France avait déclaré que Louis XVI et sa mère lui avaient fait promettre d'épouser M. le duc d'Angoulême; que c'est ce qui a écarté d'autres idées qu'on a pu avoir, de manière qu'elle est libre d'aller où elle voudra.

Il y a des gazettes qui disent que le pieux Frédéric Josie, prince de Cobourg, maréchal de l'Empereur et de l'Empire, ayant commandé en chef les armées impériales, vient de passer par Bamberg et Wurzbourg pour se rendre au quartier général de Mayence. Je sais qu'il existe un attachement réciproque entre l'archiduc et le pieux Josie, que l'archiduc lui avait donné rendez-vous à Nuremberg pour le voir à son passage, mais qu'ayant pris une autre route, ce rendez-vous n'a pu avoir lieu. Reste à savoir si l'archiduc a pris sur lui de faire venir au quartier général le pieux Josie, au milieu d'une armée qu'il commandait naguère et dont il était fort aimé, ou si l'Empereur y a donné son agrément ou si les gazetiers ont inventé ce voyage à plaisir. Le prince valeureux et pieux se proposait de faire, immédiatement après cette course, un autre voyage avec son frère, le prince Christian, pour rendre visite à leur soeur, la duchesse de Mecklenbourg Schwerin, mère du duc régnant; mais je viens d'apprendre dans l'instant, que cette visite a été poliment déclinée par la cour de Schwerin à cause des circonstances actuelles.

Ce mercredi, 23 avril (4) mai.

Je confie aux successeurs de Bacchus cette pancartine en miniature, et la fais courir après celles qui cheminent dans le portefeuille de M. de Manitcharov. Dès demain je vais m'occuper des paquets et pancartes à donner à M. de Mezentsov que j'attends à présent à tout moment de Cobourg. Je n'ai pu passer sous silence combien j'ai été content de la conduite de son prédécesseur actuellement en route. L'ayant gardé cinq semaines, je lui ai offert de l'argent pour sa course de retour; mais il n'a rien accepté, disant qu'il avait suffisamment pour arriver à Pétersbourg. Il est vrai que j'ai cru de mon devoir de le défrayer pendant son séjour ici. Non seulement il a dîné ici tous les jours, ce qui a fort accommodé Katinka et Adèle, mais j'ai payé aussi la dépense de son auberge. C'est moi proprement, cause unique de ce retard, qui devrais supporter ces frais; mais comme tout ce que je dépense, je le tiens de la source de ma bienfaisante souveraine, que je mette ces frais sur son compte ou sur le mien, n'est-ce pas toujours elle qui paie? L'idée du redoutable voyage est celle qui, comme de raison, m'absorbe entièrement. Je pense que l'année avance avec une rapidité étonnante; que si ma confession générale était partie au mois de janvier, je pourrais déjà savoir à présent la résolution souveraine; mais il est vrai que ma maladie n'en serait venue ni plus ni moins, et je n'en serais pas moins hors d'état en ce moment de commencer ce voyage. Je m'abandonne à la suprême sagesse et

* bonté de l'immortelle. Ne sait-elle pas mieux que moi ce qu'il nous faut? Qui peut prédire où sa bonté s'arrêtera? Et si elle croit qu'un de ses messagers doit venir conduire toute la caravane à ses pieds, ne faut-il pas la laisser faire? Que son nom soit glorifié! Le maréchal de Castries a demandé l'agrément à Vienne pour se rendre à l'armée.

A Grimma-Gotha, ce dimanche, 18 (29) mai 1796.

Madame,

D'après les nouvelles que j'ai reçues du comte de Tiesenhausen, je l'attends aujourd'hui pour prendre mes paquets. Il m'avait fixé son passage à huit jours plus tôt, et j'avais fermé ma pancarte № 10 en conséquence; mais une légère indisposition l'a retenu à Cobourg. Ce printemps n'est rien moins que propice à la santé dans ces contrées. J'ai eu depuis quinze jours deux nouveaux procès avec la mienne, et ce n'est qu'à force de soins et de sagesse que je parviens à les gagner. La pénultième de ces anicroches m'a valu une lettre si touchante du comte de Findlater, que je ne puis m'empêcher de l'enfermer dans cette pancarte, quoique ma modestie dût m'en empêcher. J'espère fermement que cette communication ne me sera pas imputée à vanité. Le Solon d'Allemagne n'en a certainement pas besoin, depuis que l'Alexandre du Nord dont Minerve se sert pour nettoyer de temps en temps à fond bien de petites affaires autour d'elle, a fondé sa gloire sur des bases inébranlables; mais il me semble que la lettre de milord a pris sa source dans un coeur si excellemment bon, qu'elle montrera le pair d'Ecosse à Votre Majesté Impériale sous une face tout à fait touchante: en quel temps doit-on mieux connaître le prix de la véritable bonté, que lorsque la méchanceté et la scélératesse méditent la ruine du monde, et que l'esprit des ténèbres paraît devoir partout triompher de la lumière, et rejeter le genre humain dans l'abrutissement dont il s'était à peine tiré depuis trois siècles?

Comme je ne dois avoir rien de caché pour mon auguste Souveraine, il faut lui avouer à ma honte, que ce qui a empêché mon rétablissement de ma dernière maladie, ce qui depuis peu a dérangé de nouveau une santé mal raffermie, je ne puis l'attribuer qu'aux revers funestes de la campagne d'Italie, qu'aux succès incompréhensibles des brigands régicides, auxquels eux-mêmes ne s'attendaient en aucune manière, et qui paraissent l'ouvrage

d'un pouvoir miraculeux et magique, sorti de l'enfer. Il y a trois ans que je redoutais cette catastrophe; que je me disais tout bas: si elle arrive, j'en mourrai de douleur; j'ai passé ces trois ans à trembler pour le sort de l'Italie et à me rassurer alternativement. Je conviens que l'Alexandre du Nord en rabattrait bien de l'opinion qu'il a de son sage Solon si on lui disait qu'il est assez insensé pour s'affecter d'événements qui ne dépendent pas de lui, au point d'en perdre le sommeil, la santé et le gouvernail de sa raison; mais quand je ne le confierais à personne, quand je pourrais me le cacher à moi-même, le sentiment que j'éprouve en serait-il changé? Je ne saurais me faire à l'idée de la destruction que les beaux-arts vont subir dans leur patrie, ni à l'enlèvement que les barbares projettent déjà et qu'ils effectueront indubitablement, des plus sublimes productions de peinture et de sculpture, de leur pays natal, de la terre classique, pour les transporter parmi leur butin, dans cette terre de malédiction où elles s'anéantiront au milieu d'une horde sauvage à laquelle tout sentiment du beau est devenu étranger. Déjà je ne peux plus me rappeler ni entendre prononcer un de ces chefs-d'oeuvre de peinture ou de musique, à qui je dois de si beaux et de si doux moments, sans que mon sang se glace dans mes veines; quand je pense combien de charmes et de consolations ils ont répandu sur ma vie, comment pourrais-je me faire à leur disparition subite? En vain, pour me rassurer, je me dis que je disparaîtrai encore à temps, pour n'être pas témoin de ces horribles ravages. Toute ma vie ma plus douce pensée était qu'au milieu de nos folies, de nos platitudes, de notre corruption, nous ne laissions pas de faire quelques pas en avant, et de perdre d'année en année quelques préjugés, quelques-unes de nos sottises gothiques; que surtout nous n'avions pas à craindre le retour de la barbarie; que les arts, les lettres et les sciences resteraient éternellement la ressource de notre existence, l'adoucissement des maux inévitables de l'humanité, l'orgueil, l'ornement et la consolation de cette élite de notre race qui seule méritait notre amour, nos hommages et notre respect. Perdre cette douce illusion à la fin de sa carrière, c'est perdre doublement la vie, c'est voir avec son existence s'anéantir le monde, en y laissant tout ce qui nous est cher, dans la position la plus affligeante et la plus cruelle.

C'était là le triste refrain d'un entretien fort long que j'eus il y a environ un mois avec le coadjuteur de Mayence. Il fait tous les ans dans cette saison un voyage à Constance dont il est également coadjuteur; avant de quitter Erfort, il a voulu faire une visite à ses voisins de Gotha; et comme j'étais encore malade et hors d'état de me montrer dans le monde, il passa une bonne partie de la journée dans ma coquille. Au premier refrain affli-

* geant succéda cet autre refrain plus consolant: Resteront debout au milieu des ruines du monde, l'empire de Russie d'un côté, l'Amérique septentrionale de l'autre, pour servir de refuge aux arts, aux lettres, à la philosophie, d'asile à la raison humaine et à l'ordre social. Avant de quitter Erfort, le coadjuteur m'adressa sur notre conversation une lettre et des réflexions que Votre Majesté trouvera à la suite de cette pancarte. Il ajouta à cette missive un discours imprimé, lu l'année dernière à l'académie d'Erfort sur la préservation des constitutions des états, mais pour moi seul, parce qu'il avait fait imprimer son allemand en caractères français; et moi je me dépouille de ce beau présent, pour en faire hommage à Votre Majesté, dût-elle en détourner ses regards comme de la belle cantate de M. Gotter; si je ne puis obtenir la conversion de mon auguste Souveraine sur aucun point, je ne me rebuterai pas du moins de travailler à son impénitence finale.

Votre Majesté, qui ne se gêne pas avec son souffre-douleur, s'est souvent impitoyablement moquée de sa propension à l'engoûment pour tout ce qui a nom et rang de prince. Dans le long cours de sa patience et de ses bontés innombrables, c'est une des mille et une injustices dont j'ai été continuellement la victime depuis 23 ans. Il me semble qu'à la place de tant de sarcasmes poignants que j'ai remboursés sur ce prétendu penchant, j'aurais mérité d'être accablé de louanges, de m'attirer non seulement une profonde estime, mais, j'ose le dire, une sorte de respect: car que pouvait prouver cet engoûment, s'il a existé, si ce n'est le besoin impérieux dont j'étais tourmenté, de trouver un grand fonds de mérite et toutes sortes d'éminentes qualités à ceux à qui le bonheur du genre humain était confié, afin d'avoir la certitude que ce bonheur ne pouvait péricliter entre leurs mains? Si cette heureuse illusion, si nécessaire au repos et au charme de la vie, s'est, hélas! detruite chez moi, ne pourrais-je pas me permettre de penser que Minerve elle-même n'a pas toujours su s'en garantir, du moins à l'égard d'un des souverains, ses contemporains? Il n'y a pas deux ans qu'elle n'a pas dédaigné de me rassurer sur le caractère de François II, au point que j'avais beau recevoir des impressions moins farorables sur son compte, j'opposais toujours dans mon coeur l'opinion de Minerve à tout ce que j'entendais dire de contraire. N'est-il pas à craindre que ce jeune monarque n'ait pas en lui de quoi justifier cette opinion, et que faute d'avoir pu ou su mettre la main sur un ministre dont le génie soit au niveau de l'incalculable difficulté des circonstances, il ne fournisse une nouvelle preuve à une vérité qui malheureusement n'en a plus besoin, savoir que le meilleur naturel du monde, que la bonté personnifiée, assise sur le trône, sans autres qualités, mène à la nullité d'un règne dans les temps ordinaires; à l'ébranlement et à la chute du

* trône dans les temps semblables à celui où nous avons le malheur de vivre. Je n'attendais rien d'aucun autre côté ni pour le bonheur public ni pour la gloire. Elevé à l'école de Minerve depuis vingt ans, je sais à quoi on peut et l'on doit s'attendre de la part des excellents citoyens assis sur tous les trônes de l'Europe. Le citoyen frère George, le citoyen Frédéric Guillaume avaient fait depuis longtemps leurs preuves dans mon esprit. Ce malheureux citoyen Victor Amédée vient de faire les siennes d'une manière bien déplorable pour lui, pour moi, pour l'Italie et pour l'Europe. Ne valait-il donc pas mieux d'arrêter la horde des brigands sacriléges et parricides par les siéges de plusieurs places, de retarder par ce moyen leurs progrès, au risque de s'ensevelir sous les ruines de son état, que de se livrer à cette horde pieds et poings liés; que de leur livrer toutes les clefs de l'Italie à la fois, sans en obtenir le plus petit adoucissement à son propre sort; que de souscrire à une paix où la perte de l'honneur n'est pas même racheté par le plus mince avantage? Voilà, Madame, les blessures mortelles que j'ai reçues, et auxquelles il faudra que je succombe, si la contemplation de l'art sublime de régner que j'étudie jour et nuit dans l'histoire de celle à laquelle par un prodige incroyable ma destinée s'est attachée, ne vient pas à mon secours pour porter un baume efficace dans ces plaies saignantes. Le frisson de la mort me saisit toutes les fois que je pense aux coups funestes que ces bons citoyens couronnés, avec le plus excellent caractère du monde, ont portés à l'humanité, à l'Europe, à leurs propres états.

Un des symptômes d'aveuglement les plus constants, c'est cette disposition inconcevable à se laisser entraîner à la rêverie de la paix, à en manifester le désir, à se bercer de la chimère de l'obtenir, tandis que s'il existe une évidence au monde, c'est que la horde des brigands avec laquelle on brûle de traiter, ne peut s'y prêter sans signer sa perte; que la paix ne peut entrer dans leurs calculs; qu'ils ne la voudront jamais sérieusement, malgré toutes les simagrées pacifiques qu'ils font, pour leurrer ce malheureux peuple souverain qu'ils tiennent sous la verge de la plus attroce tyrannie. Que deviendraient-ils donc, ces criminels envers Dieu, leur roi et leur nation, au reflux des armées dans l'intérieur? Comment feraient-ils pour acquitter ce milliard qu'elles doivent toucher à la paix, et qu'ils sont en état de payer comme moi? Leur faut-il beaucoup d'esprit, pour prévoir que ces armées seront leurs arbitres à l'instant même où elles n'auront plus d'ennemis à combattre aux frontières? Leur unique moyen de se soutenir, de perpétuer l'ouvrage de leurs crimes et l'oppression la plus cruelle de leur pays, c'est d'occuper leurs armées au loin, et de livrer à leurs dévastations une partie de l'Europe après d'autre. Ils feront toutes les paix partielles qu'on voudra,

* et les tiendront tant qu'il leur conviendra; ils n'en feront pas avec la maison d'Autriche ni avec l'Empire, à moins qu'elle ne ressemble à celle qu'ils viennent d'imposer à ce malheureux roi de Sardaigne, parce que dès ce moment leurs armées deviendraient oisives, le seul danger qu'ils redoutent. L'unique moyen d'avoir la paix était de faire la guerre à outrance à ces ramas de brigands que leurs tyrans n'étaient plus en état de payer, qui étaient tout prêts à se dégoûter d'un métier ne leur valant plus que des coups et de la misère, et sur le point de se débander ou de forcer leurs tyrans à signer une paix quelconque. Ils les auraient peut-être massacrés avant cette signature, et l'Europe aurait pu respirer. Au mépris de vérités si manifestes, si palpables, c'est eux qu'on a laissé respirer, en ôtant le commandement de l'armée au maréchal de Clerfays au milieu de ses succès, en accordant et prolongeant un armistice qui a donné aux brigands tout le temps nécessaire pour revenir de leur abattement et qu'on vient de rompre le plus tard qu'on peut, parce qu'il aurait été par trop comique d'attendre les bras croisés, paisiblement, son tour après le pillage d'Italie. En attendant, le grand Thugut qui, sur la recommandation du comte Auguste de la Mark, frère si bien famé du duc d'Aremberg, a le secrétaire du feu patriote Mirabeau auprès de lui pour dépositaire de ses plus grands secrets, ne perd sûrement pas son temps. Il négocie, négocie, négocie, comme, dans le Pauvre Diable, l'abbé Trublet compilait, compilait, compilait; mais le pauvre diable Trublet et ses compilations ne compromettaient le salut d'aucune bicoque en Europe. Votre Majesté sait sans doute que le grand Thugut ne veut pas absolument que Louis XVIII reste au corps de Condé; il veut le confiner provisoirement dans quelque bicoque en Franconie. On dit que la cour de Vienne envoie à Londres le comte de Metternich, à qui l'on a donné pour faiseur le suisse protestant, M. de Muller, qui a passé du service de l'électeur de Mayence à celui de l'Empereur. C'est sans doute pour confier au ministère britannique la nécessité où elle se trouve, de faire une paix aussi glorieuse que le roi de Sardaigne. Si cela est, le grand Thugut ne manquera pas d'en faire aussi la confidence au cabinet de Pétersbourg.

Ce mardi, 20 (31) mai.

Le comte de Tiesenhausen vient d'arriver, et je vais fermer mes paquets tout de suite pour ne pas le retarder. Il l'a été déjà par une indisposition à Cobourg, et je ne lui trouve pas une santé bien vigoureuse pour faire sa course promptement. J'aurais cependant bien besoin que mes pancartes fussent aux pieds de Votre Majesté Impériale plûtot aujourd'hui que demain,

* à cause du très prompt agrément dont nous avons besoin 1°. pour entreprendre notre voyage, 2°. pour le faire par mer suivant la requête humblement présentée dans ce paquet-ci, 3°. pour recevoir encore ici les passe-ports nécessaires à notre entrée dans l'empire. Malheureusement il n'y a pas un instant à perdre si nous devons entreprendre ce voyage par mer. Il faut alors nous mettre d'ici en chemin dans un mois au plus tard, pour arriver à Lubeck avant la fin de juillet, afin de nous embarquer dans les premiers jours d'auguste, et de profiter du dernier mois de sûreté de la navigation. Je fais écrire en attendant à tout événement pour savoir s'il y a possibilité de trouver un bâtiment assez spacieux pour recevoir toute une caravane, et si outre la possibilité, il y a facilité. Si nous trouvons ce bâtiment, il ressemblera à l'arche de Noé comme deux gouttes d'eau, renfermant des animaux de tout âge, de tout ramage et de tout calibre. On dit que quelquefois dans ce trajet de Lubeck, on est obligé de relâcher à Réval pour éviter les dangers de la mer. Le trajet par terre de Réval à Pétersbourg n'est pas une affaire. Il faudrait donc être annoncé et recommandé dans ce port comme à Cronstadt, et je ne désespère pas que le voyage du souffre-douleur et compagnie ne donne à Votre Majesté plus d'affaires que l'administration de cinq ou six gouvernements de l'empire. Pendant tout le mois de juin, qui commence demain, les gens de Grimma attendront leur arrêt définitif de la clémence de leur auguste Souveraine, et s'y soumettront, tel qu'il soit, avec ponctualité. En attendant, le souffre-douleur travaillera à rattraper le sommeil que les événements d'Italie lui ont absolument enlevé. Si quelque chose peut opérer ce miracle, c'est la certitude qu'il a, que le pont-neuf subsiste toujours à Pétersbourg de la même manière. Que ne suis-je dévot à triple karat, pour avoir le bonheur d'en remercier le ciel jour et nuit! Que le nom de l'immortelle soit béni d'âge en âge, et puisque son règne glorieux est advenu depuis 34 ans, qu'il dure per saecula saeculorum! Amen. Puisqu'il est dans ses intentions bienfaisantes de donner par mes mains aux émigrés le même secours que l'année dernière, j'aime à me flatter que ces fonds m'arriveront avant que je ne m'éloigne d'ici, afin que je n'aie pas la douleur de laisser le maréchal de Castries sans secours et dans un dénûment absolu. Ci-joint la facture de ce que j'ai confié au comte de Tiesenhausen.

A Gotha, ce dimanche, 25 mai (5 juin) 1796.

Madame,

Le comte de Tiesenhausen partit d'ici il y a trois jours, c'est-à-dire jeudi dernier, pour porter mes paquets aux pieds de Votre Majesté Impé-

* riale; mais comme il n'était pas encore entièrement rétabli d'une indisposition qui l'avait retenu à Cobourg dix jours de plus qu'il ne comptait, je crains qu'il ne puisse pas faire une grande diligence, et que cette pancartine que je vais confier aux soins de mes patrons ordinaires, n'arrive aussitôt que lui ou peut-être même avant lui. Dans cette supposition je joins ici le double de la facture qui se trouve dans ses paquets, afin que Votre Majesté puisse, en tout cas, l'étudier d'avance, et se préparer à la réception de tous les trésors qui lui sont annoncés. Ce n'est pas seulement cette facture qu'il faut étudier avec soin, mais encore ce que le souffre-douleur a écrit sur chaque enveloppe des paquets renfermés dans la caisse, parce que ce sont autant d'oracles mémorables, dignes de toute l'attention impériale.

Ce que la même crainte du retard du comte de Tiesenhausen doit me faire répéter ici, au risque effroyable d'ennuyer mon auguste Souveraine, c'est ce que j'ai pris la liberté de lui mander sur le retour du comte de Bueil, sur le crédit qu'il a eu sur sa femme de lui faire préférer le voyage de Lubeck à Réval, ou peut-être même jusqu'à Cronstadt et à Pétersbourg, au voyage par terre si fatigant et si redoutable pour toute une caravane. Comme cette arche de Noé ne peut ni bouger d'ici, ni se permettre aucun mouvement quelconque sans l'agrément définitif de Votre Majesté, et que la saison pour le trajet maritime commande trop impérieusement pour pouvoir perdre une seule semaine sans risquer de la manquer, au point d'être obligé d'y renoncer, nous attendons ce dernier ordre souverain dans les premiers jours de juillet nouveau style, afin de nous y conformer immédiatement, de même que les passe-ports dont nous aurons besoin pour être respectés en route, et pour pouvoir franchir les portes de l'empire. Ma mauvaise santé ayant dérangé, ou du moins considérablement retardé toutes mes mesures pour prendre ces ordres à temps, je voudrais voir arriver toutes mes requêtes à tire d'aile au pied du trône, et particulièrement celle qui regarde notre voyage par mer, pour en obtenir la permission souveraine et expresse, sans laquelle il n'y a point de salut pour moi dans ce monde.

Je vais maintenant m'occuper de l'expédition du courrier de Votre Majesté, M. de Mezentsov, qui s'est toujours tenu à Cobourg, d'où je vais l'appeler dès que mes pancartes auront pris l'embonpoint nécessaire pour se mettre en route vers le séjour de la gloire. Arrivé avant les deux autres, il s'en retourne le dernier; cela est tout à fait dans l'esprit de l'évangile, ou plutôt c'est renchérir sur l'esprit de l'évangile qui n'accorde aux derniers venus que parité avec les premiers, mais ici c'est le monde à la renverse, les derniers deviennent les premiers, et laissent leur rang à ceux-ci. L'inexorable fatalité l'ayant voulu ainsi, en appesantissant depuis trois mois sa

* main sur moi, j'ai du moins la consolation de savoir, à n'en pouvoir douter, qu'on a été fort content à Cobourg de garder M. de Mezentsov, et qu'il a été aussi très heureux d'y être. En attendant je reçois, tandis que je trace ces lignes, une preuve indirecte de l'arrivée de son précurseur № 1, M. de Manitcharov, à sa glorieuse destination; une maison de commerce de Leipzig vient de me mander qu'elle a un ordre des successeurs de Bacchus, mes patrons, de me payer dix mille roubles de la part du cabinet de Votre Majesté. Je suppose que c'est la somme que la munificence impériale destine cette année au secours des infortunés émigrés, ainsi qu'elle a déjà daigné me l'annoncer d'avance. Je présume aussi d'après cet avis, que je ne tarderai pas à recevoir les ordres exprès de Votre Majesté sur l'emploi de ce secours, de même que sur mes premières requêtes relatives au redoutable voyage. Voilà donc déjà un baume consolateur que de savoir mes premières ennuyeuses pancartes entre les mains de l'auguste arbitre de mon sort. Toutes les fois que je puis me dire: Sie weiß wo mich der Schuh drückt, je ne sens plus de mal, et toutes mes inquiétudes sont finies.

Il faut que j'aie été bien bas, et bien pressé par le temps, puisque je n'ai pas pu trouver le moment de charger Votre Majesté d'une commission qui me tient fort à coeur. C'est de faire mon compliment au comte Herzblatt sur sa dignité de sénateur et de directeur général de la Banque; je me flatte que la voie par laquelle je lui fais passer mes congratulations, n'est pas ce qui le touchera le moins. Le voilà fixé dans sa patrie, pour laquelle je lui ai toujours connu un profond attachement, et auprès de sa Souveraine, dont les sublimes qualités n'ont jamais été appréciées par personne, le souffre-douleur, comme de raison, excepté, avec autant de justesse et de passion que par lui. Combien de fois ne lui ai-je pas entendu dire avec une profonde douleur qui me déchirait l'âme à mon tour: quel malheur de n'être rien, de ne marquer en rien, quand on existe sous un tel règne! Le voilà marquant dans un département important, auprès de cette souveraine, l'admiration de son siècle, l'orgueil de tous ceux qui ont l'honneur de lui appartenir par un lien quelconque. Quoiqu'il ait toujours été pour moi meilleur ami qu'exact correspondant, il n'a pu se dispenser de m'écrire deux chiffons, l'un pour m'annoncer ce changement d'état dont l'Allemagne et l'émigration française s'affligent, l'autre pour me confier la permission qu'il a eue de suivre sa Souveraine après les fêtes de Pâques au palais Tauride, et la manière dont il y est arrivé. Si Votre Majesté l'a déjà oublié, il est tout simple que lui et moi nous ne soyns pas dans le même cas, et pour peu que cela l'intéresse, nous le lui apprendrons. Ce sont des titillations qui font distraction un moment aux déchirements auxquels le coeur du souffre-douleur est habituelle-

* ment exposé. Votre Majesté dira peut-être: quelle folie aussi à ce souffre-douleur d'avoir confié sa santé aux médecins de Turin, de Vienne et même de Londres, tandis qu'il s'est si bien trouvé des médecins de Pétersbourg il y a plus de 20 ans, et qu'il n'a cessé de dire depuis ce temps-là qu'il n'avait de la confiance en eux! Que pensera donc Votre Majesté de la sagesse de son souffre-douleur, si je suis obligé de lui confesser que tous ces empyriques ci-dessus nommés ont détruit sa santé de fond en comble, sans qu'il ait jamais eu la moindre confiance en eux? Que pensera-t-elle de son caractère dénaturé, si je suis obligé de lui confier que si on lui en avait laissé le choix, il aurait peut-être préféré la dévastation de sa patrie!!! à celle d'Italie. Votre Majesté me dira peut-être: l'une n'empêchera pas l'autre, et c'est à quoi je m'attends dans le cours de cette campagne. Pour me tirer de ces noires pensées, je donnerais bien à mon auguste Souveraine encore une commission, c'est de faire aussi mon compliment à la nouvelle Artémise sur cette volonté souveraine qui fixe son neveu chéri près d'elle; mais si par hasard c'était un besoin de son coeur d'être toujours affligé, et que tout ce qui pourrait lui faire plaisir fût un tourment pour elle, alors il faudrait habilement rengainer les félicitations, et faire à leur place des compliments de condoléance. Le besoin de mon coeur, affligé ou joyeux, regorgé de bonheur ou de douleur, c'est de bénir le nom de l'immortelle, meine einzige Stütze in allen den großen und faſt unüberwindlichen Drangſalen, welche ich obgedachten auswärtigen Herren Aerzten und Quackſalbern zu verdanken habe.

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 28 mai (8 juin) 1796.

Madame,

Au moment où je prends la plume, pour entamer enfin un chapitre tant retardé par ma malheureuse maladie, le chapitre important de la chasse aux cadets entreprise par le pair d'Ecosse, on m'apporte la lettre de Votre Majesté Impériale du 6 mai, écrite le jour même de l'arrivée de mes paquets portés au pied du trône par M. de Manitcharov, et quoique cette lettre ne soit que de 16 lignes, me voilà encore une fois, par la toute-puissance de l'immortelle, jeté hors de ma selle et à mille lieues de la chasse aux cadets. La première idée qui me domine, après avoir lu ces 16 lignes, c'est de chercher comment il arrive que depuis longues années il me paraît de toute impossibilité que mon amour, mon attachement, ma passion, mon culte pour cet objet auguste et révéré soient susceptibles du moindre accroissement, et

* que toute fois à l'arrivée de chaque nouvelle preuve de son souvenir, de chaque nouvelle ligne échappée à sa bonté, tous les mouvements de mon coeur augmentent d'impétuosité et de violence dans une proportion si effrayante, que je suis obligé de m'écrier avec angoisse: Gott ſey mir gnädig und barmherzig! Was kann und wird denn endlich daraus werden? Votre Majesté accoutumée de veiller à tout, ferait une chose digne d'elle, si elle daignait ordonner à une de ses académies de proposer cet important problème, qui au premier coup d'oeil paraît impliquer contradiction, au concours pour le prix de cette année, et de couronner celui d'entre les concurrents qui en aurait trouvé la solution la plus satisfaisante. Bien entendu que celui qui s'enfoncera dans le labyrinthe de cette question abstraite, ne doit pas perdre son temps à prouver qu'il est dans l'ordre des choses et conforme aux lois éternelles, que chaque redoublement de bonté produise un redoublement de reconnaissance, d'amour et d'attachement; on n'a pas besoin d'un algébriste pour savoir cela. La question qu'il faut éclaircir, doit être ainsi posée: Chaque dose morale ayant, comme chaque dose physique, sa mesure au delà de laquelle on n'y peut plus rien ajouter, comment arrive-t-il qu'une dose étant depuis nombre d'années à son comble, reçoive et supporte néanmoins à tout moment un accroissement sensible sans diminution préalable de la dose précédente, et le récipient restant toujours le même? Le danger que ce récipient court, en se remplissant continuellement et hors de toute mesure, de matières inflammables, est manifeste; il doit à la fin éclater en mille morceaux; tous ces amas dans un coeur doivent produire les ravages d'un volcan trop longtemps comprimé. Mais comment cela n'est-il pas déjà arrivé? comment cela ne m'arrive-t-il pas en ce moment, par exemple, où seize lignes viennent de mettre mon pauvre coeur de nouveau en combustion? Voilà à quoi il s'agit de répondre d'une manière satisfaisante.

Dans cet état de mon âme, je conçois bien que par un excès de bonté, Votre Majesté craigne pour moi, non sans raison, que je ne sois pas en état de risquer le rapprochement que je médite, de l'objet auguste qui à chaque instant exerce sur moi un tel pouvoir, et qu'avec cette bonté qui ne se dément jamais, elle me conseille de renoncer à un voyage si redoutable en effet, non pour mes forces physiques, mais pour mes forces morales. Je ne disconviens pas du danger qui peut exister pour moi, et qu'en ce sens, mon entreprise ne soit au-dessus de mes forces. Mais quand j'aurai placé sous l'égide de Minerve ceux qui m'intéressent et qu'elle a daigné adopter, que peut-il me rester à désirer dans cette vie? Si j'ai le bonheur de tomber encore une fois aux pieds de mon auguste et unique bienfaitrice; si après avoir embrassé ses genoux et lui avoir balbutié quelques mots mal articulés, je

* puis rentrer dans la niche que sa bonté m'aura accordée, et y expirer immédiatement dans des convulsions d'amour et de reconnaissance, quel sort pourra être comparé au mien? N'irait-on pas d'une extrémité du globe à l'autre pour terminer par une telle fin une vie aussi belle que la mienne? Belle sans doute et au-delà de toute expression, puisqu'après en avoir passé les deux tiers dans la plus heureuse médiocrité, mon étoile vraiment unique avait réservé le dernier tiers de cette vie, à me rapprocher miraculeusement du plus étonnant phénomène que le ciel ait jamais montré à la terre, à me mettre, comme disent les magnétiseurs, en rapport avec lui; et qu'avec une âme capable de sentir toute l'étendue de ce bonheur, j'ai pu passer mes jours dans la contemplation et dans l'étude de ce phénomène, dans la jouissance continuelle de ses bontés et de sa gloire, et lui consacrer tous mes sentiments, toutes mes pensées exclusivement. Cette fin d'un rêve si ravissant n'est-elle pas mille fois préférable à la chance de le prolonger encore quelques instants, mais entouré de malheurs publics et particuliers, mais au milieu ou du moins à la proximité de l'athmosphère où les démons de la scélératesse d'un côté, les démons de la bêtise de l'autre, se sont donné rendez-vous pour travailler d'un commun effort à la destruction du monde? Végéter quelques instants de plus au milieu de ruines, accablé par le spectacle des innombrables Köthereyen de tous nos excellents citoyens gouvernants et gouvernés, est-ce là une chose à désirer? Ah! plutôt que mes derniers regards soient réjouis par le spectacle de la véritable grandeur dans tout son éclat environnée de tout le cortége et de tous les trophées d'un règne glorieux et immortel, et que mes yeux se ferment à la lumière, après avoir été encore une fois frappés de ce brillant et consolant tableau!

L'affaiblissement que ma santé a éprouvé par ma dernière maladie, serait réparé il y a longtemps, si les événements de cette campagne ne m'avaient porté un coup nouveau et mortel dans un moment où j'avais tant besoin de toutes mes forces pour me refaire. Je l'ai déjà confié à Votre Majesté, la perte de l'Italie m'a donné ce coup de grâce. Aucun événement public ne m'a jamais atterré à ce point. L'assassinat du roi, celui de la reine, celui de cette angélique Madame Elisabeth, m'avaient anéanti et enlevé jusqu'à la faculté de penser et de réfléchir; mais alors on pouvait encore si flatter qu'une vengeance éclatante suivrait des crimes jusqu'alors inouïs; que le genre humain déshonoré par des monstres serait consolé par leur châtiment aussi mémorable que leurs forfaits; cette idée calmait et adoucissait le désespoir. Aujourd'hui l'invasion de l'Italie ne présente plus que le dernier acte de la tragédie et l'inévitable dénoûment de la pièce; c'est la destruction des arts, des lettres, de l'ordre social parmi les nations

* les plus cultivées de l'Europe, c'est la perte de mille ans de police, à ne compter que du siècle de Charlemagne. Et quand je regarde en arrière, et que je me rappelle par quelle fatalité progressive l'Europe a été conduite à cette extrémité funeste, alors je m'aperçois pour la première fois et en frémissant, combien le mot de Madame Geoffrin, qu'on ne meurt que de bêtise, est profond et vrai, combien il l'est surtout pour nous qu'une bêtise continue de quatre ans, ce qu'en termes de musique on appellerait una bestialità, una stonatura obligata, oder in einer andern Sprache, jene unvermeidliche Köthereyen welche ſeit vier Jahren von der großen nordiſchen Weiſſagerin unaufhörlich ſind angekündiget und prophezeit geworden, ont enfin réduit à l'agonie.

Je ne m'attends à rien d'heureux ni de consolant du côté du Rhin, où le prince Ferdinand de Wurtemberg, le quatrième jour après les hostilités reprises, a débuté par recevoir sur la rive droite du fleuve, de la part des républicains un échec assez sensible pour renouveler à Francfort les terreurs de 1792 et 1793; et, ce qui pis est, on attribue cet échec, peut-être à tort, à pure négligence de sa part. Il n'en faut pas davantage pour rendre à ces héros de la guillotine la confiance que le meréchal de Clerfays leur avait fait perdre sur la fin de l'année dernière. Je prévois avec cette tranquillité effrayante qui précède les ouragans destructeurs, que cette superbe armée de 240 mille hommes, car c'est à quoi on évalue les forces autrichiennes sur le Rhin en les représentant sur le pied le plus respectable, va abandonner la rive gauche du fleuve à l'ennemi et se borner sur la rive droite à la plus triste défensive, en soutenant Mayence et Manheim, et attendre là en tremblant ce que le sort aura décidé des efforts que font les barbares pour percer par le Tyrol et par le pays des Grisons et porter la guerre dans le coeur des pays héréditaires. C'est un rêve qui m'avait déjà tourmenté dans la première effervescence de la frénésie républicaine, lorsqu'il n'avait pas l'ombre de possibilité, et que je cherchais avec le pair d'Ecosse un contrepoids, en chassant d'autres barbares de l'extrémité opposée de l'Europe, et établissant les enfants de la victoire à Constantinople. Si ce rêve funeste devait enfin se réaliser, le puissant Frédéric Guillaume, après avoir joui pendant quelques instants de la douceur de voir la maison d'Autriche, sa rivale, à deux doigts de sa perte, ne tarderait pas sans doute à s'apercevoir promptement, avec quelle profonde sagesse il a préparé la perte de sa rivale et la sienne propre, et par la manière dont ses invincibles troupes ont fait la guerre sur le Rhin, et par la lumineuse politique avec laquelle son noble et loyal cabinet a su faire son glorieux traité de Bâle. Il n'y aurait pas peut-être jusqu'au grand William Pitt qui n'eût quelques réflexions tardives à

* faire et à considérer qu'il y avait peut-être au commencement de cette malheureuse guerre tout autant d'importance pour l'Angleterre, à s'occuper vivement et efficacement du rétablissement de la monarchie en France, qu'à se féliciter exclusivement à chaque événement, de l'accroissement de la prospérité de sa nation par l'étendue illimitée de son commerce: car lorsque l'Europe aura été ravagée, pillée, appauvrie, replongée dans la misère et la barbarie, il verra avec qui ses compatriotes pourront faire les profits de leur commerce, et ces immenses profits s'anéantissant par l'appauvrissement de tous leurs voisins, ils s'apercevront à leur tour, combien il leur deviendra aisé de payer chez eux d'énormes impôts répondants de l'intérêt de leur petite dette nationale.

Ce qui achève ma perplexité, c'est d'avoir appris par un ami intime du sage et pieux Josias de Cobourg, qu'il a bien mince, pour ne pas dire mauvaise opinion, des officiers dont l'état major de l'archiduc Charles est composé, et particulièrement du maréchal général des logis ou quartier-maître général de l'armée, et qu'il en tire les plus sinistres augures pour le succès de la campagne. Il avait ainsi désapprouvé en silence le choix de M. de Beaulieu pour commander en chef l'armée d'Italie, parce qu'il le connaissait pour un excellent officier pour être chargé d'une expédition, ou de l'exécution d'une opération partielle, mais incapable d'ordonner ou de diriger un plan de campagne. Nun iſt aber dieſer Prinz und Krieger Joſias weltbekanntermaßen ein wackerer, biederer Mann, d'une grande simplicité, ſo wie er an den Ufern von Rymnick geweſen iſt und aus der Schule meines großen Alexanders gekommen iſt, sans fiel comme la colombe, sans passion et sans être tourmenté par l'envie, et il serait vraiment heureux de pouvoir voir les choses différemment, parce que les chances sont telles aujourd'hui que personne ne peut être indifférent aux suites qu'elles entraîneront. Malheureusement je vois par divers avis qui me reviennent du quartier général et de ses environs, que ce que le pieux Josias renferme dans son coeur et ne confie qu'à un ami intime, fait le sujet de l'entretien journalier des officiers de l'armée, les dégoûte et les décourage; ils se disent entre eux, que jamais l'Empereur n'a eu une plus belle armée, mieux pourvue, mieux organisée, mais qu'elle se trouve sous des chefs incapables de la conduire. Enfin, le besoin de me raccrocher à une espérance quelconque m'avait fait penser que le renouvellement qu'on vient de faire à Vienne du conseil de guerre pourrait avoir quelques suites favorables, quoiqu'au fond, ce conseil ne décide que ce qui lui est tout mâché transmis et prescrit par le cabinet de l'Empereur; mais je n'ai pu même conserver cette faible espérance: car celui à qui le pieux Josie confie ses plus intimes pensées, m'assure qu'il trouve

* ce nouveau conseil de guerre beaucoup plus mal composé que celui qu'on a congédié, et qu'il ne prévoit en général que malheurs et désastres pour la maison d'Autriche. Inzwiſchen will ſich dieſer fromme und biedere Schüler meines frommen und großen Patrons Alexander, eine kleine Zerſtreuung von dieſen traurigen Gedanken machen. Il est parti ou il va partir pour la cour de Schwerin où il compte passer une partie de l'été auprès de sa soeur. Son bon sens et sa philosophie naturelle pourront y consoler ceux qu'il trouvera dans l'affliction; car on m'assure qu'on y regarde le mariage comme rompu. On ajoute que la petite princesse a pris là-dessus son parti très lestement, et c'est assurément ce qu'on peut faire de mieux. On ne parle pas de la mère, ce qui me ferait presque craindre qu'elle n'est pas aussi philosophe que sa fille.

Le fait est que depuis longtemps il ne resterait plus trace de ma maladie, si les médecins de Turin et de Vienne ne se fussent mêlés pour mon malheur de ma convalescence. Ils m'ont porté un des coups les plus assenés que j'aie reçu dans ma vie, ils m'ont mis à deux doigts de ma perte; et si j'ai le bonheur d'échapper à leurs détestables opérations, ce qui n'est pas encore absolument sûr, Votre Majesté sera étonnée d'apprendre que c'est à la Suède que j'en suis redevable. Depuis la nuit où je reçus une si forte secousse par l'apparition soudaine d'un messager de l'immortelle, et où j'appris que le roi pupille pourrait bien n'être pas entièrement d'accord avec l'oncle tuteur sur le choix d'une reine, sa future compagne, je ne sais comment il est arrivé qu'il n'a plus été en mon pouvoir d'arracher mes regards de ce royaume. Cette occupation involontaire, en les détournant de mes assassins d'Italie, m'a évidemment sauvé la vie. Sans rien démêler de ce qui se passait là, sans aucune notion précise, je lorgnai sans cesse de ce côté-là, et à force d'examiner et de voir que je n'y voyais pas clair, je crus m'apercevoir que ce qui s'y passait n'était plus cousu à ce qui s'y était passé très peu de temps auparavant, et je sentis qu'on n'avait pas besoin de casser le fil, parce que ce qui n'était pas cousu n'avait pas besoin d'être défait. Il ne m'avait pas échappé que le général de Boudberg, en sortant du bal de Katinka, était arrivé comme un trait à Stockholm. Pourquoi faire? Pour y rester immobile, invisible, du moins à mes yeux qui ne voient pas plus loin que mon nez, au point que j'ignore encore s'il a seulement paru à la cour; et au milieu de cette immobilité de mon danseur du bal de Katinka, il me semblait que Sider Yermalaïtch ne dansait plus en mesure, ou peut-être ne savait plus sur quel pied danser. J'aurais bien voulu savoir de quel bois ce pélerin se chauffait, mais peut-être, me dis-je, n'en sait-il rien lui-même, ni de quel bois faire flèche. Tout-à-coup je me sens un violent

* besoin de jurer comme un charretier allemand, car pour rien au monde on me ferait prononcer un juron français, depuis que des scélérats et des criminels les ont déshonorés; et après avoir amalgamé die ſchwere Noth avec les éléments par milliers, je m'écrie: comme elle vous sait manipuler une affaire! Souvent immobile, comme le danseur Boudberg, elle a l'air de ne pas savoir ce qui se passe autour d'elle, et tout cela cependant faut que cela se range à sa fantaisie, sans qu'elle ait l'air d'y toucher. Et puis, nouveau déluge de jurons germaniques, suivi de nouvelles exclamations: Ah, si elle avait pu ou voulu inculquer ce secret de sa manipulation à ses amis, quel bien elle aurait fait à l'Europe! Trois manipulateurs de sa force ou de son école. l'un placé à Vienne, l'autre à Berlin, le trosième à Londres, que de maux irrémédiables auraient été prévénus! Il ne serait pas indigne de l'investigation d'une des académies de Votre Majesté, d'approfondir d'où peut venir à son souffre-douleur ce besoin soudain de jurer, item ce que signifient ses exlamations, et quelle est cette manipulatrice dont les faits et gestes, Hand- und Kunſtgriffe, lui pincent le coeur à ce point. Je me flatte bien que notre Impératrice n'a rien à démêler dans tout cela, et que mon grand oncle et prédécesseur, le Solon de l'Espagne, le sage Sancho Pança ne sera pas dans le cas de lui dire: Qui se sent morveuse, se mouche.

A toutes mes lorgneries se joint depuis quelque temps le radotage des gazettes qui annoncent que le jeune roi ira cet été faire son premier sacrifice au temple de Minerve, afin d'attirer la faveur des dieux sur le commencement de son règne; mais les cornes m'en viennent à la tête, quand je lis que Sider Yermalaïtch veut aussi être de ce voyage de dévotion. Est-ce donc pour y faire pénitence, pour y être fustigé ou pour y obtenir par un repentir sincère l'absolution? Je m'y perds, et voilà le souffre-douleur à jurer de plus belle, et à s'écrier: Ah, danseur Boudberg, si tu voulais dégoiser, je saurais ce que c'est que cette manipulatrice? Tout ce que je vois, c'est que cela vous retourne une affaire comme un cuisinier son omelette dans une casserole. Ce n'est pas tout. Ne voilà-t-il pas qu'on prétend que l'illustre baron de Staël-Holstein, ce puissant négociateur qu'on appelait à Paris avant la révolution le nigaud blanc, obtiendra, à l'occasion de certaines circonstances, tout comme son secrétaire d'ambassade et bras droit, la permission de s'absenter pendant quelque temps de son poste qu'il a si glorieusement rempli, et cela au plus fort peut-être des négociations les plus importantes qu'il doit laisser à demi ébauchées entre les mains d'un chargé d'affaires suédois, qui accourra tout essoufflé de Lisbone, pour les terminer, quoique l'on m'assure qu'il voit les affaires de tout un autre oeil que son excellence, le nigaud blanc, en quoi, à coup sûr, il a tort. Que deviendront

* donc les affaires entamées avec la république? Ici le besoin de jurer m'abandonne; je prends la contenance imposante d'un bourguemaître de Darmstadt, et tout en toussaillant et en tournant entre mes doigts une tabatière qui n'y est point, je dis: Hem! hem! cette permission de se promener, l'un à droite, l'autre à gauche, donnée à l'improviste, cette liberté de se récréer accordée à deux grands ouvriers, étaient sans doute bien nécessaires pour les empêcher de mourir d'épuisement au milieu de leurs travaux; mais à qui en ont-ils l'obligation? Serait-ce encore à cette manipulatrice invisible et immobile qui sait faire mouvoir tous les mannequins autour d'elle, sans faire elle-même la moindre dépense en mouvements? Il ne tiendrait qu'à Votre Majesté de fixer mes idées sur tous ces météores qui me voltigent sans cesse devant les yeux; mais c'est ce que mon auguste Souveraine n'a garde de faire. La lettre de 16 lignes finit bien par: B. est ici; mais en coûtait-il davantage d'ajouter: Il ne tardera pas de retourner d'où il est venu, puisque les gazettes me le soutiennent uniformément? Tout ce que je puis attraper pour mon information, c'est que nous verrons ce que nous verrons, c'est-à-dire qu'un pauvre souffre-douleur qui voit naturellement trouble ne sera nullement assisté pour nettoyer l'horizon suédois, et qu'il apercevra toujours le soir ce qu'avec un peu d'aide il aurait pu voir le matin. Je sens bien que Votre Majesté pourra me dire: De quoi te plains-tu, malheureux? N'est-tu pas trop heureux d'avoir eu cette occupation, puisque de ton aveu, elle t'a sauvé la vie, et te la préserve encore tous les jours, en te détournant de toutes les pensées qui t'achèveraient en un clin d'oeil? Si je te laissais disposer de mes lunettes, aurais-tu eu une si longue et si salutaire distraction? C'est donc pour mon salut, soit, que ma vue est restée si longtemps attachée à l'horizon de Suède, et que je suis tombé dans le péché de jurer comme un charretier allemand; mais je ne puis penser qu'en sanglotant, combien mes jurons m'auraient rendu heureux, si ces cruels manipulateurs d'Italie et d'Allemagne m'avaient permis de respirer et ne m'avaient pas mis la mort dans l'âme, en se précipitant dans le gouffre où l'on meurt de la mort de Madame Geoffrin.

Ce dimanche, 1 (12) juin.

Me voilà, Madame, bien loin de la chasse aux cadets par milord, premier piqueur de Votre Majesté Impériale. Il faut consacrer à cette chasse une pancarte tout exprès, et je vais achever celle-ci comme il plaira à Dieu et aux inspirations qui me viendront de sa part. Puisque l'histoire de mes manchettes est parvenue, je ne sais comment, aux oreilles de Votre Majesté,

* le plus court est de faire le dénoûment de l'histoire du sage Memnon II, souffre-douleur, en peu de mots, non en poëte, mais en historien fidèle, tel qu'il est effectivement arrivé. Il serait aisé d'en trouver un plus gai, mais impossible d'en trouver un plus comique.

J'admire combien il est difficile à la vérité de parvenir dans sa pureté originaire et baptismale jusqu'au pied du trône. On a dit à Votre Majesté qu'on avait mis à Paris 60 mille livres de mon bien, à m'envoyer trois paires de manchettes de dentelle, c'est-à-dire, qu'on a fait tort d'un grand tiers à ma magnificence, puisque mes trois paires de manchettes m'ont coûté au delà de 90 mille livres. Avant d'expliquer comment un homme modeste a pu tomber dans cet excès de luxe, il faut remarquer une chose tout aussi extraordinaire, c'est que dans cette circonstance, le plus grand tort qui m'ait été fait, me vient de mon auguste Souveraine. Du moment que je m'étais vu possesseur de dentelles aussi magnifiques, si ce n'est par leur beauté, du moins par leur prix, je balançai entre deux grands projets. Le premier et le plus beau était de me trouver en personne à la noce du Sieur Constantin, ayant mes poings couverts par ces manchettes. Sous un règne aussi fertile en merveilles que celui que l'empire de Russie éprouve depuis 34 ans, me dis-je, il faut que les plus petites circonstances soient marquées au coin d'une singularité incroyable. Ainsi lorsqu'on lira un jour dans les fastes de l'empire, qu'à la noce du Sieur Constantin le seigneur souffre-douleur impérial avait étalé sur son poing pour 90 mille livres de dentelles, il arrivera de deux choses l'une. Ou bien, le fait paraîtra fabuleux, et alors les savants se disputeront jusqu'à l'extinction des forces naturelles, et se casseront la tête pour deviner au vrai le prix de mes dentelles, et comment une erreur aussi étonnante a pu se glisser, dans un siècle aussi éclairé, dans l'histoire d'un règne dont tout le monde sait les plus petits faits au bout de ses doigts; ou bien, des critiques plus profonds et plus avisés diront: Qu'on juge d'après cet échantillon de la magnificence qui règnait dans cette cour: puisque le seigneur souffre-douleur avait une paire de dentelles et un jabot de 90 mille livres, les manchettes du Sieur marié devaient donc s'élever à des millions, sans compter ceux des premiers seigneurs de la cour, car au fond, le seigneur souffre-douleur, obſchon ein ſehr vornehmes Thier, n'était pourtant pas le premier de tous les grands moutardiers de l'Impératrice, et Dieu sait à quoi les auteurs statistiques évalueront, d'après ma paire de manchettes, l'article seul des dentelles étalées à cet auguste mariage. Ce projet séduisant d'effacer la cour la plus brillante de l'Europe par une simple paire de manchettes, était balancé par un autre qui avait bien aussi ses charmes pour moi. J'étais tenté de faire de mes dentel-

les un présent de noce au sieur Bräutigam, et je me flattais que dans toute l'histoire de Russie, il ne se trouverait pas un grand duc qui eût porté des dentelles approchant de ce prix, le jour de son mariage. Il me paraissait assez piquant d'être l'auteur d'une singularité aussi magnifique, qui ne pouvait manquer de faire un honneur infini à ma générosité. Hélas! l'un et l'autre de ces superbes projets sont tombés dans l'eau, parce que cette noce s'est encore bâclée à l'insu du seigneur souffre-douleur, qui a été même induit en erreur, son auguste Souveraine lui ayant mandé qu'elle se ferait vers le printemps, après Pâques. A cause de cela, elle s'est célébrée au beau milieu de février. Le premier bruit qui en parvint aux oreilles du seigneur souffre-douleur, lui arriva trois jours après la consommation du mariage à Pétersbourg, de sorte qu'il ne dépendait plus de lui ni de se mettre en route pour briller à cette auguste cérémonie avec ses manchettes, ni de les envoyer au sieur Bräutigam pour en orner la chemise nuptiale. N'est-il donc pas manifeste que Votre Majesté m'a fait le plus grand tort possible, en me privat de l'unique occasion où je pouvais me faire honneur de ma dépense? Que ferai-je donc actuellement de mes manchettes, et qui pourra jamais se convaincre du degré où j'ai su pousser la magnificence?

Il ne me reste plus qu'à confesser, comment j'ai pu donner dans cet excès de magnificence. Lorsque la république loyale eut passé à mon égard sur la petite difficulté de ma qualité de ministre étranger accrédité depuis 18 ans, et qu'elle eut résolu dans sa sagesse de violer mon domicile et de mettre sa main sur tout mon avoir, parce que j'étais un homme notoirement dangereux qui possédais la confiance de Votre Majesté en tout ce qui regardait les affaires de France, et qu'on trouverait chez moi les preuves que j'avais déterminé Votre Majesté à faire marcher cent mille hommes au secours de Louis XVI, elle fut bien un peu désappointée de ne pas trouver dans tous mes coins et recoins une seule ligne relative ni à la Russie ni à la France, mais cela ne civilisa pas mon affaire, ains l'envenima, et d'ailleurs le vin du pillage étant tiré, il fallait le boire. Je fus donc traité comme émigré, sauf la ressource qui me fut laissée de prouver après le pillage que je ne l'étais pas. En conséquence un mandat ordonna à tous ceux qui avaient quelque chose à moi, de le déclarer et le remettre aux autorités constituées pour me dépouiller, sous peine de vie. Ceux à qui j'avais laissé mes affaires n'eurent garde de désobéir et avaient raison. Onques depuis je n'eus plus aucun signe de vie d'aucun d'eux, ni me permis d'écrire une seule ligne à aucun; il y allait de leur vie, sans autre cérémonie. Tout ce que je me permis de leur faire insinuer par des voies détournées, ce fut que la république ayant violé à ce point la justice à mon égard, je n'entrerais jamais dans au-

* cune composition, et que je voulais ou qu'elle eût toute la turpitude de ses iniques procédés, ou qu'elle les réparât de la manière la plus éclatante. Après mon pillage, dans le cours de ce beau gouverment, un décret avait ordonné de mettre le séquestre sur tous les biens des étrangers absents. Après la descente de Robespierre aux enfers, ce décret fut annulé, et alors ou les brigands offrirent la restitution de mon bien, ou ceux qui l'avaient livré, le réclamèrent en vertu du décret, c'est ce que je n'ai pu savoir. Quoi quil en soit, j'appris au bout de quelque temps que tous mes fonds en argent avaient été restitués, mais en assignats qui perdaient de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute; mais que tout ce qui avait un prix réel pour moi, comme ma bibliothèque littéraire et musicale, fruit de plus de 40 ans de soins et de dépenses, ma vaisselle, mes médailles, mes papiers, était resté sous la main de mes brigands. Ceux qui avaient eu le soin de mes affaires, eurent une conduite inconcevable en cette occasion, qui prouve à quel point toutes les têtes sont à l'envers dans ce malheureux pays. Premièrement, ils devaient concevoir que le décret qui levait le séquestre mis sur les biens des étrangers absents, ne me regardait en rien; que je n'étais pas étranger établi en France, mais ministre étranger résidant en France. Je n'avais cessé de leur faire prêcher cette doctrine par des voies indirectes, et que je ne voulais rien reprendre, à moins d'une satisfaction éclatante avec dommages et intérêts considérables. En second lieu, lorsqu'on leur offrit la restitution de mes fonds, ils avaient la meilleure grâce du monde de répondre, depuis que vous l'avez proscrit: nous n'avons plus eu ombre de liaison avec lui, nous ne savons pas même ni s'il vit, ni en quel pays il vit; nous n'avons d'ailleurs aucune qualité pour recevoir en son nom, n'ayant aucune procuration de sa part, et ne sachant que faire de ce que nous recevrions pour lui. Tout cela était rigoureusement vrai et ne fit aucune impression sur mes anciens chargés d'affaires. Les uns, les banquiers, reprirent mes fonds de la république pillarde, parce qu'ils y virent un moyen de se libérer avec moi en chiffons qui ne leur coûtaient rien; ils avaient reçu ces fonds anciennement de moi en beaux deniers comptants; ils me les remboursèrent en monnaie republicaine qui n'avait plus aucune valeur quelconque. Les autres, honnêtes et vraiment attachés à mes intérêts, à qui mes banquiers firent même ces remboursements pour moi, partirent du faux principe qu'il vaut mieux sauver quelque chose du naufrage que de tout perdre, et ne purent concevoir la lubie que j'avais, de ne vouloir rien sauver. Nantis de mes fonds, ils suivirent la mode universelle du jour; ils firent pour moi comme pour eux. Les assignats se fondant entre les doigts, tout le monde s'était fait marchand; on se les passait de mains en mains, pour

* acheter des marchandises. Celles-ci en augmentaient d'heure en heure; mais la maxime qu'il valait mieux avoir quelque chose que rien, fit marcher cette roue d'acheter et de vendre, avec une vitesse incroyable, et c'est par ce miracle que je suis parvenu à avoir trois paires de manchettes pour 90 mille livres. Mais il ne faut pas que Votre Majesté imagine que ce soient là toutes mes richesses. On a employé le reste de mes fonds à m'acheter des pièces de mousseline et d'autres marchandises des Indes; il y a des pièces de 24 mille, de 30 mille de 36 mille, de 42 mille livres, et tout cela a été envoyé en Suisse dans une caisse qui n'a pas six pouces de hauteur, et qu'à toute rigueur je pourrais porter sur le dos de foire en foire. C'est du moins l'idée de ceux qui ont fait cette belle opération à Paris pour mon avantage; ils supposent que rien ne me sera plus aisé que de me faire marchand, que de vendre mes mousselines à la foire de Leipzig, et tirer d'une pièce trois à quatre louis; c'est, selon eux, avoir toujours sauvé quelque chose du naufrage. Ce que j'en ai sauvé, n'est du moins pas lourd, et je puis dire en arrivant à la foire, comme le philosophe Simonide: Omnia mea mecum porto, je porte tout mon avoir avec moi. Pour donner une idée juste de ce que j'ai en mousseline et en dentelles, il me prend envie d'envoyer à Votre Majesté copie de mon testament tel que je l'avais laissé en quittant la France en 1792; tout cela s'est fondu dans ma caisse de mousseline et de dentelles. Dans le fond, j'espérais toujours qu'il viendrait un temps où Votre Majesté, soit directement, soit par ses alliés, pourrait faire des réclamations sur l'injustice atroce de mon pillage, et faire faire ces restitutions au profit de ma pupille et de ses enfants; mais aujourd'hui on pourra répondre avec vérité que tous mes fonds m'ont été restitués. Je ne dirai pas comme Job, mon prédécesseur: der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Herrn sey gebenedeyet! Je dirai: die Unsterbliche hats gegeben, die Räuber habens geplündert, der Name der Unsterblichen sey gebenedeyet! Il résulte de ce dénoûment de Memnon, la nécessité de deux prières à l'immortelle. Premièrement, il faut qu'elle me permette de faire mon testament en sa faveur, et de la nommer mon héritière et légataire universelle; en second lieu, il faut qu'elle trouve bon que le bien remonte quelquefois à sa source. Tout mon bien m'est venu de sa munificence; il est juste que ma boîte de mousseline et de dentelles retourne vers elle. Si mon bien reste perdu, mon héritage ne l'importunera pas; si quelque chose peut en être sauvée, elle sait à présent l'usage que j'en voulais faire. C'est dans la douce persuasion que mes deux prières sont accordées, que je vais fermer cette pancarte, et me coucher, en bénissant le nom de l'immortelle, et en couvrant son autel de mes mousselines.

* A Grimma-Gotha, ce mercredi, 4 (15) juin 1796.

Madame,

O bénédiction céleste, comment reconnaître tous tes bienfaits! Hier dans l'après midi m'apparut un nouveau messager de l'immortelle à l'improviste; c'est l'ange Schoulepov qui avait passé il y a tout juste un an pour emporter mes paquets. Je ne pus recevoir celui de mon imperturbable bienfaitrice qu'il me remit, sans l'inonder de mes larmes. Après l'avoir parcouru avec la fièvre de la reconnaissance, je tombai aux genoux de mon auguste Souveraine pour la remercier de sa réprimande sur ma santé. Une autre réprimande que j'ai trouvée dans ce paquet pouvait et devait être beaucoup plus forte, mais cet excès de bonté qui n'abandonne jamais Votre Majesté Impériale l'a encore emporté sur une juste sévérité. Je parle du tort que j'ai eu de retenir le premier courrier de Votre Majesté pendant si longtemps à Cobourg. De premier qu'il était venu, il se trouve le dernier réexpédié. Ma maladie a sans doute été la première et la principale cause de tout ce dérangement; je supplie cependant Votre Majesté de croire que je n'ai pas été assez étourdi pour retenir de mon chef M. de Mezentsov pendant des mois entiers à Cobourg. Mon projet était de le faire repartir en même temps que M. de Manitcharov et avec d'autant moins de regrets, que j'avais encore le comte de Tiesenhausen pour réserve; mais le prince héréditaire écrivait ici sans cesse au baron de Thummel, son ami et le mien, non pas une fois, mais dix fois, qu'on était très content de posséder M. de Mezentsov à Cobourg; qu'on me priait de l'y laisser tant que je ne pourrais pas le lester convenablement de mes paquets, de sorte que lorsque le comte de Tiesenhausen repassa à Cobourg, on lui accorda la priorité du départ sur son ancien que j'aurais fait repartir avec lui d'autant plus volontiers que le dit comte se disait malade, ce qui me fait craindre avec raison qu'il n'ait fait une bien triste diligence; je sais déjà qu'étant parti d'ici le 2 juin n. st. le matin, il n'a continué sa route de Leipzig que le 8. Au reste, immédiatement après avoir reçu hier le dernier bienfait de Votre Majesté avec ces douces réprimandes, j'ai dépêché un courrier à M. de Mezentsov pour le prier d'arriver. Il emportera un № 13 déjà tout cacheté, et celui-ci que je cachterai au moment de son arrivée, et immédiatement après son départ, je m'occuperai du renvoi de M. de Schoulepov, pour réparer autant qu'il dépend de moi, mes fautes passées.

Je ne vais toucher ici que deux points de sollicitude que j'ai sur le coeur, et je garde tout le reste pour mon corps de réserve qui va suivre cette pan-

* carte-ci. Lorsque j'eus le premier vent de la remise nouvelle de dix mille roubles, je jugeai que c'était la somme destinée pour cette année à la caisse des émigrés, ainsi que Votre Majesté m'avait fait la grâce de me l'annoncer au commencement de cette année qu'elle l'ordonnerait. Dans cette confiance, et parce que Votre Majesté m'avait encore dit expressément l'année dernière, que sa bonté pourvoirait aussi cette année à la subsistance du maréchal de Castries et de sa famille, je m'empressai de lui mander que j'avais la nouvelle d'une remise qui allait m'arriver et que je ne doutais pas que Votre Majesté ne m'ordonnât d'en disposer en partie pour ses besoins. Quelle fut ma surprise hier de découvrir que c'est à moi que la suprême bonté destine ce nouveau bienfait! Je crois cependant que Votre Majesté ne désapprouvera point que je m'occupe des besoins du maréchal; mais comme je ne suis pas accoutumé à rien faire sans les ordres de ma souveraine, il me serait bien doux de les recevoir très promptement, pour avoir ma conscience en repos. Il est très difficile de se procurer des notions bien exactes sur la position du maréchal, parce que c'est l'homme du monde qui permet le moins à ses amis de partager ses peines à cet égard; mais j'ai des symptômes très alarmants d'une grande détresse non avouée. Cela va au point que s'il était obligé d'aller joindre le roi à l'armée, je prendrais sur moi de ne pas attendre l'autorisation de Votre Majesté, et de venir à son secours malgré lui même, par la certitude où je suis qu'il n'a plus aucune autre ressource au monde; mais je crois que la cour de Vienne nous donnera le temps de recevoir les ordres de Votre Majesté. Elle persiste à exiger que le roi quitte l'armée; Louis XVIII persiste à demander la permission d'y rester, dans l'espérance sans doute que l'intervention de Votre Majesté et de l'Angleterre vaincra la répugnance du terrible Thugut; ce procès pourra encore durer longtemps avant d'être arrangé définitivement.

Quant au second point de ma pressante sollicitude, celui de mon voyage avec ma caravane, je n'ai garde, après tout ce que j'en ai dit, d'en ennuyer de nouveau ma trop indulgente Souveraine. J'ose cependant la supplier de prononcer mon dernier arrêt immédiatement après la réception de cette pancarte; et pour lui épargner l'ennui d'écrire sur un sujet si peu digne de l'occuper, j'abandonne à sa bonté sans bornes et à sa sagesse, si elle ne jugera pas à propos de communiquer ses ordres souverains à mon Herzblatt, le nouveau directeur général de la Banque, et de lui enjoindre de me les transmettre sur-le-champ, en faisant particulièrement recommander sa lettre, de la part du cabinet de Votre Majesté, aux successeurs de Bacchus, pour qu'elle m'arrive avec sûreté et promptitude. Il est possible que je la reçoive le 4 (15) ou du moins avant le 9 (20) juillet, et cela est essentiel si

* le voyage par mer obtient l'approbation souveraine, supposé que nous trouvions un bâtiment convenable à Lubeck pour toute une caravane. Mais pour que la plus indulgente des souveraines puisse prononcer mon arrêt définitif avec pleine connaissance de cause, il faut que je soumette à sa bonté, après tout ce que j'ai dit sur ce sujet, les considérations suivantes. 1°. L'homme n'a qu'un certain degré de courage et de résignation, et je sens que la mienne a atteint son terme, et que mon courage est prêt à m'abandonner si je ne parviens pas cette année à mettre en sûreté sous l'égide de Minerve, le sort de mes enfants qui se trouve depuis six ans dans la plus effrayant incertitude. Le père servira son auguste bienfaitrice de son épée partout où elle daignera l'employer. Il est excellent praticien d'agriculture et administrateur de terre; c'est dire qu'il ne demandera jamais à être de la société économique de Pétersbourg ni d'aucune autre. La mère pourra servir à tourner la feuille à la grande duchesse Marie, lorsqu'elle jouera du clavecin, et à boucher par son chant un trou dans une académie de musique. J'ai tant de passion pour Katinka et Adèle, que je tremble pour leur succès. Ce qui doit me rassurer, c'est qu'il n'y a personne qui connaisse ces enfants, qui ne me dise toute la journée que leur succès auprès de la plus indulgente des bienfaitrices est indubitable. Quant à leur frère, tapageur, bon garçon, sans aucune forme, il recevra celle d'un parfait Russe, dès que son auguste marraine aura daigné faire régler son éducation. Ainsi en peu de mois, en peu de semaines, le fardeau qui m'écrase et me tue depuis tant d'années, peut être enlevé de mon coeur, et je puis respirer librement au moins encore une fois avant de mourir. 2°. Persuadé comme je le suis depuis longtemps et aujourd'hui plus que jamais, que l'heure de l'Europe a sonné, je ne vois plus aucun point où reposer ma tête avec tranquillite. D'ailleurs le rétrécissement des têtes dont je suis entouré, l'athmosphère des sotises qui m'enveloppe, la proximité du théâtre des bêtises, me tuent. On pouvait souffrir autrefois la déraison, l'extravagance, la méchanceté et la turpitude des hommes sans trop s'en affecter; mais aujourd'hui qu'on voit clairement que la perte de l'Europe en sera le résultat, cela est fort différent. Je me sens d'ailleurs un violent besoin de me déplacer, et le coeur me dit que de la façon dont on continue à conduire les affaires, si je laisse échapper les trois mois de la belle saison qui restent, il se pourrait très bien que je fusse obligé de m'enfuir vers le glorieux asile que le sort m'a ménagé, au milieu de la plus mauvaise saison, tant le salut de l'Europe est assuré. 3°. Pourvu que je sauve ceux qui m'intéressent, il est entièrement indifférent dans ma situation et à mon âge, que je termine ou que je prolonge ma carrière. Entre le parti de crever ici d'ennui et de désespoir, et

* celui de périr en route ou en arrivant, et de finir, en bénissant le nom de l'immortelle, il n'y a pas un instant à balancer. 4°. Je ne demande rien que le salut de ceux qui m'intéressent. Tout ce que Votre Majesté ordonnera à mon égard, sera reçu avec la plus profonde reconnaissance, la défense d'arriver inclusivement, même la permission d'arriver, mais sans espérance d'approcher la suprême dominatrice de mon coeur, parce que, quoi qu'il arrive désormais, il n'existe point de puissance ni divine ni humaine qui puisse m'enlever la conviction, qu'il est impossible que je perde jamais ses bontés; je ne serais pas digne de l'avoir jamais approchée un seul instant, si je n'avais pas appris d'apprécier à mon tour ce coeur magnanime dont le modèle n'a jamais existé avant elle, et dont le moule a été brisé à sa création. En conséquence, tout ce que Votre Majesté adoptera ou rejettera de mes précédents radotages, en grande partie fort indiscrets, sur ce grand et redoutable voyage, sera reçu avec un respect religieux, semblable à celui avec lequel les dévots se soumettent aux décrets de la providence; ils disent: Telle est la volonté céleste, et je l'adore, sans demander, pourquoi est-elle telle. Si le voyage est admis par cette volonté, il se pourrait que faute de bâtiments, ou trop pressés par la saison, nous manquassions le trajet de la mer. Cela serait excessivement fâcheux, mais il faut tout prévoir. Le voyage par terre nous offrirait une marge beaucoup plus considérable, puisqu'on n'a pas besoin de calculer l'équinoxe, et que nous aurions encore tout le mois de septembre pour arriver sans accident au port de nôtre salut, en revanche ce voyage par terre serait bien autrement fatigant et dispendieux. Un arrêt de l'immortelle transmis par M. le directeur général de la Banque, Herzblatt, finira toutes nos incertitudes. D'ici à l'arrivée de cet arrêt définitif, il y a de la marge pour faire de ce côté-ci encore une foule de bévues qui livrent l'Allemagne, comme l'Italie vient d'être livrée; mais quoi qu'il arrive, cette pancarte sera parvenue au pied du tróne, plusieurs jours avant le trente-quatrième anniversaire du glorieux règne, et quelle que soit la situation des affaires publiques en Allemagne à cette époque, Votre Majesté peut bien croire que ce glorieux anniversaire sera célébré par les gens de Grimma dans leur taudis avec toute la pompe et toute la dévotion imaginables.

Ce mercredi, 11 (22) juin.

M. de Mezentsov arrive de Cobourg, et je vais l'expédier encore aujourd'hui pour le séjour de la gloire. Votre Majesté Impériale trouvera dans la facture-ci jointe l'inventaire de la caisse dont il va être chargé; elle

* est arrivée très à propos avec les dépêches du pair d'Ecosse que je vais joindre à cette pancarte. Dès demain je me mettrai à dépouiller aussi tous les mémoires du pair d'Ecosse concernant la chasse aux cadets pour pouvoir les remettre à mon corps de réserve Schoulepov et le faire suivre de près son précurseur Mezentsov, qui va partir ce soir.

Votre Majesté Impériale aura remarqué peut-être que son souffre-douleur a depuis quelque temps ralenti, pour ne pas dire, interrompu l'envoi de ses tristes bulletins. C'est qu'il lui eût été impossible de toucher d'un seul mot aux événements d'Italie sans tomber en syncope, et étouffer de la bêtise d'autrui, est aussi une par trop triste fin. Il n'a tenu qu'à un cheveu pour qu'en Allemagne il arrivât un gâchis tout pareil à celui de la Lombardie. Il se répète de tous les côtés et passe pour constant que le prince Ferdinand de Wurtemberg, que j'étais accoutumé à protéger, se trouva en arrière du corps qui était sous ses ordres, à une noce ou à un bal, lorsque ce corps fut peloté par les républicains. A l'exemple du chef, les officiers étaient pareillement occupés à se divertir de droite et de gauche, personne ne se trouvait à son poste, et l'échec que reçut ce corps fut assez sensible pour déranger tout le plan de campagne de l'archiduc Charles, supposé toutefois qu'il en eût eu un. On prétend même que ce bal est un piége que les républicains ont fait tendre au prince de Wurtemberg, mon exprotégé, par une femme, et dans lequel il a donné bien inconsidérément. Il faut bien qu'il n'ait pas été chevalier sans reproche, puisque l'archiduc Charles, outré, à ce qu'on dit, lui a ôté le commandement de son corps, et lorsqu'il a demandé un conseil de guerre pour examiner sa conduite, lui a fait dire que c'est à Vienne qu'il avait à la justifier. En attendant l'archiduc a réparé cet échec le 15 du côté de Wetzlar dans une affaire où le sort de l'Allemagne a encore tenu à un cheveu; mais où la présence de l'archiduc et la valeur du contingent saxon ont enfin arraché la victoire aux régidices, qui le 17 et 18 ont repassé le Rhin. L'archiduc a remercié publiquement le général saxon du succès de cette journée comme uniquement dû à la valeur des saxons. Il s'agit maintenant de voir si l'on poursuivra les républicains au delà du Rhin où si l'on se contentera de rester en panne en deçà, jusqu'à ce qu'il leur plaise de le repasser de nouveau pour chercher à pénétrer en Allemagne et à y porter la dévastation et le pillage, dons inestimables de la liberté française.

J'ignore quels sont les projets de la cour de Vienne sur le haut Rhin, et si elle veut réellement faire passer ce fleuve au corps de Condé, peut-être pour fournir un pendant au désastre de Quiberon; mais voici ce que le maréchal de Castries m'écrit d'hier.

«Le roi était persuadé qu'il allait passer le Rhin. J'attendais un cour-«rier pour partir. On m'écrivait en même temps de Vienne, que l'Empereur «voulait obstinément que le roi quittât l'armée, et se rendît à Rothem-«bourg. On m'a aussi mandé de l'armée, et c'est quelqu'un qui pouvait le «savoir, que cette expédition apparente de passer le Rhin n'était qu'une «frime, mais qu'elle n'aurait pas même lieu, tant que le roi s'obstinerait à «rester à l'armée».

Le maréchal de Castries m'a aussi envoyé une lettre pour le comte Herzblatt que j'ose mettre ici sous la protection de la première des commissionnaires, comme elle est la première des dominatrices, parce que c'est son sort de primer partout. Il y a aussi dans la caisse un paquet de papiers à l'adresse du dit comte Herzblatt.

Le souffre-douleur a pensé avoir le sort de la grenouille, et crever d'une enflure de vanité, en lisant, de la propre écriture de Votre Majesté, que c'est lui qui a procuré au grand Helbig sa glorieuse retraite; mais les gens de Grimma l'ont fait désenfler tout de suite, en lui disant: Ne vois-tu pas, nigaud, que telle est l'aversion de notre auguste Souveraine pour la médiocrité, ton vrai lot, qu'elle aime mieux t'élever aux nues que te voir te traîner péniblement dans la correction des gens médiocres, tes pareils? C'est par la même raison qu'elle te bat si souvent à terre, et très injustement, si l'on veut t'en croire, parce qu'elle aime mieux te voir des hauts et des bas, que ce niveau désespérant de la médiocrité. En ce cas, il n'y aurait donc qu'à toujours louer et bénir le nom de l'immortelle, que sa bonté m'élève au delà de mon niveau, ou que sa justice m'abaisse, dans d'autres occasions, avec trop de sévérité. Or, comme rien n'est si doux pour mon coeur que de chanter ses louanges, je suis tout prêt à consacrer à cette douce et glorieuse occupation les faibles restes d'une vie qui lui appartient depuis si longtemps.

A Gotha, ce lundi, 16 (27) juin 1796.

Madame,

Dans la nuit de mercredi à jeudi passé, au coup de minuit, M. de Mezentsov partit d'ici, lesté de mes paquets, conformément à la facture que j'y ai jointe et dont j'ai l'honneur de mettre ici le double sous les yeux de Votre Majesté Impériale. Pour le maintien du bon ordre, je fais trotter cette pancartine après lui, sous les auspices de mes protecteurs ordinaires, afin que Votre Majesté sache huit ou quinze jours après son arrivée, qu'il est

* effectivement parti d'ici. Dès que je me serai acquitté de ce devoir, je m'occuperai à débarrasser de moi le dernier messager de l'immortelle qui me reste ici, en lui confiant le résultat de la chasse du premier piqueur impérial. Je crains bien que cette chasse ne paraisse bien pauvre à Votre Majesté; mais ce n'est pas la faute des chasseurs si le gibier manque partout dans cette fin de siècle, la lie des siècles, et encore quelle lie! Après le départ de ce dernier messager, j'attendrai avec anxiété l'arrêt définitif de l'arbitre suprême de ma destinée sur mon sort et sur celui de ma pauvre colonie, soit qu'elle daigne le prononcer elle-même, ou en confier la redoutable fonction au comte Herzblatt. En attendant je suis obligé de me déterminer encore à un parti violent à l'égard de cette heureuse Antoinette que Votre Majesté a daigné comprendre dans les objets de sa protection. On a beau être héroïne, on a beau affronter tous les dangers avec un courage jamais démenti, quand on a eu le malheur d'exister pendant trois ans sous le règne de l'exécrable Roberspierre et de ses complices, il est impossible que la meilleure constitutiton ne s'en ressente, et qu'un ordre de choses si funeste, en dépit de l'intrépidité la mieux soutenue, ne prenne sur la santé et n'attaque les forces physiques, quand il ne peut ébranler les forces morales. Les médecins m'ont déclaré qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir des accidents graves, en désobstruant tous les viscères de la région inférieure, et empêchant l'obstruction au foie de se former et d'engendrer l'hydropisie: en conséquence ils ont impérieusement prescrit l'usage des eaux de Carlsbad comme un remède souverain et radical qui ne manque jamais son effet quand on y a recours à temps. Je viens de me soumettre à cet arrêt rigoureux, mais d'autant plus pressant que c'est un préalable absolument nécessaire pour mettre Antoinette la protégée en état d'entreprendre le grand voyage que toute la petite colonie regarde comme l'unique planche de son salut. La malade sera de retour vers le 25 du mois prochain n. st. où nous espérons avoir l'ordre souverain et définitif. Il lui a fallu un grand effort de courage et de résignation pour entreprendre ce voyage aux eaux. Le désintéressement qui ne l'abandonne jamais l'effraie dans la position où elle me sait, sur chaque écu qu'elle me coûte, et les frais de ce voyage l'ont mise au désespoir. Je m'en serais sans doute parfaitement bien passé, mais après les preuves d'attachement qu'elle m'a données, s'il ne me restait plus qu'un écu, il serait à elle, avant d'être à moi. Quelqu'accoutumé que je sois, de tenir Votre Majesté au courant de tout ce qui m'arrive, je crois cependant que je l'aurai laissée dans l'ignorance de cet important événement du taudis du souffre-douleur; mais quoiqu'il soit défendu dans le décalogue de prendre le nom de l'Éternel en vain, je suis forcé dans ces

* temps malheureux, par je ne sais quelle fatalité, de mêler celui de l'immor telle pour mon salut et pour le salut des miens, dans toutes mes affaires. Voici de quoi il s'agit dans ce quart d'heure. Le gouvernement autrichien est d'une telle sévérité à l'égard des émigrés français, qu'il leur interdit jusqu'au séjour de Carlsbad où cependant le besoin absolu des eaux peut seul conduire. Je me rappelle que lorsque milord me pressa si fort, l'année dernière, d'y venir le trouver, il ajouta: je ne vous propose pas d'amener avec vous votre petite comtesse, sa qualité d'émigrée s'opposerait à son admission; les trois ou quatre dames émigrées que nous avons ici, ont eu besoin d'une longue négociation et d'une grande protection à Vienne, pour en obtenir la permission. Je me moquai alors de milord, en lui observant qu'avec l'égide sous laquelle nous nous trouvons, nous n'étions pas dans le cas de mendier des permissions à Vienne, et qu'une dame décorée du chiffre de Votre Majesté Impériale ne pouvait s'attendre qu'à une réception pleine d'égards à Carlsbad. Mais cette considération, Madame, m'a obligé d'assurer l'admission d'Antoinette Marchais. Elle ne sait pas encore assez d'Allemand pour pouvoir renier sa patrie, et son départ a été trop subit pour songer à d'autres expédients qu'au seul et plus efficace de tous. J'ai donc fait mettre dans son passeport d'ici, qu'elle était attachée au service de Votre Majesté Impériale, et puisque l'immortelle a daigné prononcer qu'elle se chargeait de son sort, elle a bien acquis le droit de prendre cette qualité, et je l'ai autorisée de se qualifier au besoin de femme de chambre de Votre Majesté, pour être à l'abri de toute insquiétude. J'espère que ma tant gracieuse et indulgente Souveraine ratifiera tout cela de sa haute approbation, et ne sera plus étonnée si les gazettes par hasard lui apprennent qu'une de ses femmes se trouve aux eaux de Carlsbad.

Je joins à cette pancartine deux lettres italiennes de Teresa Mengs de Maron, dont le prince Zoubov, dilettante de cette langue, pourra rendre compte à Votre Majesté Impériale. Pour la première, j'en ai déjà fait mon rapport dans la pancarte précédente. Elle m'annonce qu'elle a fini un nouveau tableau dont le prix est de 140 zecchins ou ducats, et me demande des ordres pour son expédition. J'en ai rendu compte à mon tour à Votre Majesté, et l'ai suppliée d'ordonner que ces 140 zecchins ou plutôt leur traite me soit envoyée ici, pour que je puisse les faire tenir à Teresina lorsque son tableau me sera parvenu. Sur ces entrefaites les incroyables désastres d'Italie sont survenus, et j'ai mandé à Teresina, qu'elle choisisse une voie sûre pour me faire tenir ce tableau, parce que, d'après la règle constamment observée par moi, je ne pouvais le payer qu'après sa réception. C'est à cette lettre que sa seconde lettre répond. Elle m'apprend que le tableau a été

* expédie pour Ancone d'où il ira par mer à Trieste, et de là il me sera envoyé ici. A cette occassion, elle m'ouvre son coeur sur sa triste situation, qui lui rend bien pénible la longue attente du paiement après avoir fini un ouvrage. Elle m'apprend qu'elle a 71 ans; que son mari vient d'essuyer une maladie de 18 mois; qu'il y a 17 ans qu'elle a voué son talent uniquement à la plus généreuse des souveraines, et elle me sonde s'il ne serait pas possible d'obtenir de sa clémence une pension qui la mît en état de travailler avec la tranquillité d'esprit nécessaire. Voilà ce que le prince de Zoubov daignera peut-être exposer à notre auguste Souveraine, comme protecteur des âmes en peine. Si Votre Majesté daigne à son tour exaucer Teresina, je pense qu'une pension de cent zecchins, c'est-à-dire, pareille à celle de Corilla, payable par moitié de 6 mois en 6 mois, remplirait parfaitement ce projet de bienfaisance. Le comte de Cassini pourrait être chargé du paiement, ou moi, au besoin, comme de celle de Corilla.

En finissant la dernière preziosissima pancarte, Votre Majesté m'apprend que depuis qu'elle est à Tsarsko-Sélo, elle ne fait qu'éternuer. Les archiatres diront que cela est très bon pour la plus précieuse de toutes les santés; mais moi, je dis que cela est très fatigant pour le souffre-douleur: car depuis qu'il a reçu cet avis, il se lève à tout instant sur ses deux pieds, et s'écrie, en s'inclinant profondément: Dieu benisse son ointe! et comme il crie haut, pour être entendu, au besoin, à Tsarsko-Sélo, cela ne laisse pas d'éprouver sa poitrine. Quoi qu'il en soit, que le nom glorieux de l'ointe du Seigneur soit béni in Ewigkeit! Amen.

A Gotha, ce mercredi, 25 juin (6 juillet) 1796.

Madame,

Votre Majesté Impériale n'ignore pas la contestation qui subsiste entre la cour de Vienne et Louis XVIII; le ministère autrichien ne veut pas absolument que le roi reste au corps d'armée de Condé, et le roi ne veut pas absolument le quitter, espérant toujours des bons offices de Votre Majesté et du roi d'Angleterre qu'à la fin l'Empereur n'insisterra plus sur son éloignement. Cette espèce de lutte et l'incertitude qui en est résultée sur le séjour du roi, avaient cloué jusqu'à présent le maréchal de Castries à Eisenach, où il attendait d'un jour de poste à l'autre, l'ordre du roi de venir le joindre; mais cet ordre n'arrivant pas, le maréchal, dès qu'on reçut dans nos contrées, mercredi passé, la nouvelle du passage du Rhin effectué par

* les républicains du côte de Strasbourg et de Kehl, prit son parti de se rendre sur le champ près du roi, sans savoir où il le trouverait, ne voulant pas que S. M. courût les hasards de la guerre sans avoir son premier aide de camp à ses côtés. Il me fit part de sa résolution par un exprès, et je me rendis sur-le-champ à Eisenach, pour l'embrasser avant son départ. A la vérité je le trouvai, comme je devais m'y attendre, dépourvu de tout moyen, non seulement de faire la campagne comme le plus petit lieutenant de l'armée, n'ayant plus depuis longtemps ni un cheval pour monter, ni un criquet pour porter son bagage, mais même sans argent pour payer les frais de son voyage jusqu'à l'armée. De telles extrémités, à l'âge de 70 ans, pour un homme généralement respecté depuis sa première jeunesse, et ayant joui d'une fortune immense, auraient passé pour fabuleuses il y a quelques années; depuis la révolution c'est le sort commun des noms les plus illustres de cette malheureuse nation. Comme le maréchal m'avait donné sa parole d'honneur de m'accorder dans un cas urgent la préférence sur les usuriers, et que je le savais depuis plusieurs mois dans un grand embarras de soutenir son petit et mesquin ménage à Eisenach, il ne put me cacher cette fois-ci sa détresse, et je m'empressai de mettre sur-le-champ trois mille florins à sa disposition à Francfort. C'est à quoi mes amis à argent de cette place-là ont estimé mon crédit, non pas en ma qualité individuelle, parce qu'ils me connaissent pour aussi parfaitement dépouillé que le maréchal ou Louis XVIII, mais en ma qualité de souffre-douleur impérial, parce qu'ils présument qu'avec un homme sous une telle protection, on peut courir le risque de quelques milliers d'écus sans grand inconvénient. Comme il a été toujours dans le coeur magnanime de mon auguste Souveraine, de pourvoir cette année comme l'année passée, à la subsistance du maréchal, et qu'elle destinait à cet objet une partie des dix mille roubles qui devaient m'arriver au mois d'avril, pour être versés dans la caisse de secours des émigrés, mais qui ne me sont pas encore parvenus, j'espère que Votre Majesté honorera de son approbation la disposition que j'ai faite en faveur du maréchal, et comme elle ne pourra le mener bien loin, je suis résolu, d'ici, à la réception des ordres souverains, de lui fournir tous les secours qui lui seront indispensables, et de les prendre provisoirement sur les dix mille roubles qui m'ont été transmis comme à moi appartenants. J'ai oublié à cette occasion de relever une expression très scandaleuse et malsonnante qui s'est glissée dans l'annonce de ces dix mille roubles, où il était dit: et que je vous dois. Or il se peut bien que Votre Majesté me doive quelques florins, mais cela ne peut se savoir que lorsque j'aurai fourni mon compte. Que peut-il donc m'être dû de la part de la suprême dominatrice de mon coeur et de mes

* pensées? Bonté gratuite, compassion pour l'état de mon coeur, pitié, support, patience, indulgence, un haut degré de considération pour le Solon de l'Allemagne, et un plus haut degré de longanimité pour ses ennuyeuses pancartes; mais dans tout cela je ne découvre pas un rouble de dette. Il serait temps que la bonté souveraine se corrigeât de l'emploi d'expressions impropres.

Comme j'ai des pratiques de tout genre et de tous les côtés, je viens d'acquérir aussi celle du prince Louis, frère du prince héréditaire de Saxe-Cobourg. Ce prince servait comme général-major dans l'armée autrichienne sur le Rhin. L'automne passé il fit une chute de cheval qui l'obligea de s'éloigner de l'armée; cependant il eut bientôt assurance du médecin qu'avec un peu de soins et de ménagements, il guérirait, et se retrouverait ce printemps en état de remonter à cheval et de faire la campagne. Dans le cours de l'hiver, l'Empereur fit une promotion dans son armée, dans laquelle il comprit le prince Louis, l'avança au grade de lieutenant général, mais en lui accordant pension et retraite. Das heißt in Wien jubilirt. Le prince réclama contre sa jubilation, à l'armée et au conseil de guerre, et pour prouver qu'il était très en état de servir, il se transporta lui-même à Vienne pour solliciter sa continuation au service. Il assure que l'Empereur dans trois audiences consécutives lui promit de le faire remettre en activité, mais jusqu'à présent cette promesse est restée sans effet. Le prince jubilé malgré lui, est persuadé que si Votre Majesté Impériale daignait ordonner à son ambassadeur à Vienne d'appuyer sa rentrée en activité, ses désirs à cet égard seraient promptement et heureusement remplis, et pour solliciter cette faveur impériale, il s'avise de s'adresser à une petite ficelle comme moi, tandis qu'il a à son arc de grosses cordes comme la grande duchesse Anne Feodorovna, et ses soeurs et sa mère dont je ne suis pas digne de délier les souliers.

Le dernier messager de l'immortelle doit toucher au terme de sa course. qui me procurera mon arrêt définitif. Da die Ausſichten in hieſigen Gegenden immer von Tag zu Tag düſterer werden, ſo iſt das einzige Mittel ſich zu beruhigen, gar keinen Blick mehr nach Weſten oder Mittag zu werfen. Pour reposer son âme mortellement fatiguée de tous les malheurs, de tous les crimes, de toutes les bévues, pour la récréer et la réconforter, il faut se tenir constamment tourné vers le nord et vers l'orient; ce n'est pas sans raison que dans tous les temps et chez tous les peuples, les dévots cherchaient de ce côté leur salut et leurs motifs d'espérance. Il y a eu ces jours derniers grande illumination au taudis du souffre-douleur, où toute la colonie s'est trouvée en gala. On y voyait sous le chiffre magnifiquement illuminé de la suprême

* dominatrice de l'empire d'orient, le chiffre d'un ancien et grand favori du taudis, le comte Valérien. On avait depuis trois mois toujours attendu sans relâche, qu'il donnât signe de vie, et l'on savait bien qu'il en donnerait un digne de lui. Vis-à-vis de son chiffre, on voyait le tableau du siége et de la prise de Derbent, et au-dessous on lisait l'inscription: Ce que Pierre I a pris et Catherine II a repris, est bien acquis, et reste dans l'empire compris. Quoique le comte Valérien ait oublié d'envoyer un courrier au taudis avec la nouvelle et les détails de cette conquête, Votre Majesté, en sa qualité de commissionnaire attitrée du taudis, est expressément chargée de lui envoyer une députation extraordinaire, pour lui témoigner la part que le taudis prend à sa gloire, et pour l'assurer que ce n'est pas par de semblables faits et gestes qu'il fera tomber ses actions céans. On a agité la question ce que le taudis pourrait faire pour lui dans cette brillante occasion; mais après mûre délibération on a décidé qu'il fallait laisser faire notre Dame des Ressources, à l'honneur de laquelle et pour terminer la fête, on a entonné la litanie ordinaire à son honneur et invocation, avec trompettes et timbales; car elle est l'alpha et l'oméga, et c'est toujous par elle qu'il faut commencer et finir.

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 18 (29) juin 1796.

Madame,

Pauvre Résultat de la chasse aux cadets.

Un pouvoir invisible s'est constamment opposé depuis plusieurs mois à mon projet d'entamer le compte que j'avais à rendre de cette chasse, et il m'a mis hors de combat et sur le grabat sans autre cérémonie, quand il n'a pas pu m'en dérouter par des moyens plus doux. Le premier piqueur d'Ecosse en titre de Votre Majesté Impériale m'avait fourni ses notes depuis longtemps, et si leur résultat ne répond pas à nos voeux, elles prouveront du moins qu'on ne saurait battre les buissons avec un zèle plus infatigable.

Je serais à la vérité bien tenté de commencer ce compte par une plainte amère sur une injustice criante essuyée sur la fin de l'année dernière de la part de mon auguste Souveraine, qui, pour avoir été prévue, ne mérite pas moins d'être relevée. J'avais passé une partie de cette année à rédiger et à coucher sur le papier les oracles de mon premier piqueur d'Ecosse avec un scrupule religieux. Je m'étais surtout garé d'y mettre du mien, trop péné-

* tré de l'importance de les faire passer dans toute leur pureté au pied du trône. Quelle est la récompense d'une si rare fidélité? Parce qu'ainsi que je l'avais prévu, ils ne pouvaient pas tous avoir le suffrage de l'immortelle, ceux qui se trouvent dans ce cas, on les attaque comme mes opinions personnelles, et on oublie que je n'ai fait en tout cela que le rôle d'organe passif, obligé de suivre l'inspiration de son prophète, quelque contraire qu'elle fût à ses propres sentiments. Au fond toutes ces injustices sont autant de trophées pour le souffre-douleur; bien loin de l'humilier, elles l'enorgueillissent, parce que premièrement, elles lui ont procuré en réponse à ces oracles clochants une admirable et sublime pancarte, étincelante de traits de lumière et d'éclairs de génie; cette pancarte il l'a dans son greffe à son profit; en second lieu, parce qu'il a la conscience que personne ne peut lui enlever, d'avoir sur la plupart des articles attaqués par Votre Majesté, précisément les mêmes idées et les mêmes sentiments qu'elle, de sorte que tout en couchant littéralement sur le papier les oracles de mon inspiré, je les combattais avec les mêmes armes et souvent dans les mêmes termes que Votre Majesté emploie pour me réfuter. De quelle plus grande gloire pourrais-je jouir dans ce monde et dans l'autre? Ainsi sans toucher à l'article des sociétés économiques et d'agriculture dont l'Impératrice sait depuis environ trente ans le cas extrême que j'en fais, je ne parlerai, pour donner un exemple, que de la passion de mon oracle de placer la capitale de l'empire au midi, sur laquelle, en exposant son sentiment sans aucun correctif de ma part, je lui ai fait les mêmes objections sous lesquelles Votre Majesté m'écrase, heureusement sans me froisser, puisque depuis que je réfléchis, je suis convaincu que par les lois éternelles de la nature, c'est le nord qui est appelé à la domination du midi et non vice versa; que le centre du gouvernement doit être là où réside le principe de la domination, et que ce n'est pas une raison, parce que mon oracle est frileux, de vouloir renverser une loi immuable de l'ordre éternel et possible. C'est ainsi que je me suis moqué, en face de mon oracle, et du titre de Reine de Pologne dont il a voulu affubler mon auguste Souveraine, et de tous ces hommes illustres dans leur banlieue dont il m'a exposé le mérite transcendant avec tant de candeur et de conviction, et de plusieurs autres articles sur lesquels Votre Majesté me bat à terre avec d'autant moins de difficulté que je suis de concert dans tous les coups que mon oracle reçoit sur mes épaules. J'écrirais des pages, si je voulais me laisser aller à l'exposition d'une injustice qui m'est si glorieuse; mais que deviendrait pour la trentième fois ma chasse aux cadets? Fier du sentiment de ma supériorité d'avoir sur tous les grands objets le coup d'oeil de l'aigle qui plane sur l'empire du nord, et de n'en différer que par la force

* de la vue, jamais par la rectitude du rayon visuel, ouvrons ma chasse, en nous enveloppant dans le manteau de notre grandeur et de notre gloire.

Le premier gibier qui devait nous occuper, puisqu'il était indiqué par l'immortelle Diane qui avait daigné nous constituer ses chiens courants, ce fut le prince Louis d'Anhalt Coethen, né le 25 septembre 1778, frère du prince régnant. Dès le mois de décembre passé j'avais profité d'une voie sûre pour informer milord de l'incroyable bonheur qu'il avait eu de se rencontrer avec Votre Majesté Impériale dans ses vues pour l'établissement de Mesdames les grandes duchesses, et je lui avais demandé s'il ne pouvait pas me procurer quelques notions sûres concernant ce prince. Aussitôt son zèle s'enflamma, comme Votre Majesté verra par la pièce marquée № 1 dans le coin, qui n'est qu'une introduction préparatoire de la chasse qui devait s'ensuivre. Comme Halle, que milord avait choisi pour sa résidence d'hiver, se trouve très près de Coethen, il se proposa de s'y rendre sur-le-champ, malgré son aversion extrême pour se déplacer en hiver. Cependant il vint ici en janvier danser au bal de Katinka avec le général de Budberg, et passer une semaine en conférence avec le souffre-douleur, sans avoir effectué sa course à Coethen. En me quittant le 19 janvier, il me remit des notions qu'il s'était déjà procurées sur ce prince et que je joins ici sous le № 2, et il partit d'ici avec le projet d'aller droit à Coethen vérifier par lui-même ce qu'on lui en avait dit; mais arrivé à Leipzig, il eut une roue de sa voiture cassée, ce qui l'obligea de rentrer dans son gîte à Halle, et de remettre de nouveau sa course. C'est enfin au mois de mars qu'il parvint à exécuter son projet, et à son retour il m'expédia le rapport dont Votre Majesté trouvera ici, sous № 3, l'original tel que je l'ai reçu de milord. Il n'est pas de sa main, mais il m'assura que celui qui l'a écrit, ne pouvait se douter de l'usage auquel il était destiné. Malheureusement, lorsqu'il me parvint, j'étais sur le grabat et hors de combat, et si Votre Majesté faisait quelque attention à ce que le zèle inspire à son Oberjägermeister d'Ecosse, j'aurais peut-être à me reprocher d'avoir fait manquer à ce prince les eaux de Carlsbad où milord voulait commencer son éducation; mais accablé par le mal lors de sa réception, je fus pendant plusieurs semaines hors d'état même de le lire, et c'est au bout de trois mois que je parviens à le mettre sous le yeux de Votre Majesté. Quant à ce que le premier piqueur dit de la princesse mère, sa réputation est si uniformément la même qu'on peut dire qu'il n'y a qu'une voix sur son compte. Elle est ouvertement brouillée avec son fils, le prince régnant, qui fait depuis quelque temps la guerre au service de l'Empereur, sans beaucoup faire parler de lui. Pour se désennuyer, la chère maman le contrarie dans tout ce qu'il fait chez lui, dans tout ce qu'il pro-

* jette, et il n'y a pas longtemps que l'introduction eines neuen Geſangbuches a pensé causer un schisme unter der Gemeine par la cabale et les intrigues de la mère, qui, comme de raison, tenait pour le vieux Geſangbuch, puisque son fils protégait le nouveau.

Avant de partir pour sa chasse dans le pays de Coethen, milord, sans bouger de son cabinet, se mit à faire une battue générale des cadets d'Allemagne, sans autre secours que celui de l'Almanach de Gotha, et le résultat de cette battue doit naturellement être inséré dans la pancarte consacrée à cette chasse.

A Grimma-Gotha, ce mardi, 1 (12) juillet 1796.

Madame,

Après avoir célébré, il y a quatre jours, le trente quatrième anniversaire du règne fortuné et glorieux, avec toute la solemnité que comporte la tristesse des temps et des événements, je prends la plume pour une nouvelle pancarte, et au même instant il m'arrive deux nouvelles qui ne se ressentent pas de la teinte des nouvelles à la mode, et qui me déroutent de mes idées, avant que j'aie pu savoir quelle route elles comptaient enfiler. Tout ce que je sais en gros, c'est que, comme suivant le proverbe, tout chemin mène à Rome, de même toute idée, tout élan de ma tête et de mon coeur mène droit au centre de toute mon affection, de tous mes sentiments, de toute ma dévotion.

La première nouvelle dont je me trouve gratifié, est l'arrivée de l'ambassadeur de Votre Majesté Impériale à Stockholm. Son excellence est lancée là comme un trait, comme une bombe, sans que personne me dise gare. Elle aurait pu, soit dit sans humeur, faire part à Katinka de son départ de Pétersbourg, sans déroger à son caractère. A peine arrivé, le voilà déjà en conférence avec l'illustre Reuterholm, ses premières audiences s'ensuivent immédiatement, ses lettres de créance sont remises, et l'on prolonge le camp pour que son excellence puisse y dîner avec le jeune roi sans faire une entorse à l'étiquette. Comment Sider Yermalaïtch et le jacobin Reuterholm, que je croyais un vieux reitre ou Reiter, et qui, à ce que j'apprends, n'est qu'un blanc-bec, trouvent-ils cela? C'est sur quoi les gens de Grimma n'ont pas la moindre notice. Tout ce qu'ils commencent à entrevoir, c'est que nous verrons ce que nous verrons; mais ils savaient cela depuis deux mois que cela leur était annoncé. Ce que nous voyons déjà, c'est que l'arrivée de

* Monsieur l'ambassadeur a été précédée de l'élargissement de la malheureuse comtesse Madeleine Charlotte de Rudenskiöld si indignement traitée. Je dis indignement, puisqu'on n'a pas même osé exécuter les indignités auxquelles on l'avait condamnée. Aujourd'hui on la remet en liberté. Je sais qu'on peut faire grâce à une coupable; mais qu'après l'avoir tirée de sa prison, la couronne, pour faire publiquement amende honorable, achète de ses deniers une terre pour en gratifier cette coupable, cela ne s'est jamais vu et vraisemblablement ne se verra plus. Ce que nous voyons encore, c'est que le général Toll est également remis en liberté, et Dieu sait tout ce qu'il nous est réservé de voir encore. Nun wäre uns aber höchſt nöthig zu wißen, ob bey allen dieſen Vorfällen Herr Sieder Germalaitſch und ſein rechter Arm Reuterholm ſüße oder ſaure Geſichter ſchneiden; man muß doch wißen wie man mit ſo großen Herren daran iſt, et sur quel pied ils comptent danser désormais. Ce que je vois, c'est que le directoire de l'invincible république ne veut pas absolument qu'on lui ôte ſeinen Buſenfreund, le jacobin Stael, et il a grande raison; c'est un homme vraiment irremplaçable.

L'autre nouvelle, pour venir bien plus loin, ne m'a trémoussé que davantage, et c'est dans la règle. Je supplie Votre Majesté très sérieusement de demander de ma part au comte Valérien, mon favori, s'il compte bientôt finir son train, oui ou non. Allenfalls wäre ihm auch das Handwerk aus allerhöchſter kaiſerlichen Macht zu legen. Je lui passe de s'être fait présenter les clefs de la forteresse de Derbent par un jeune homme de 120 ans, qui a déjà eu cette courtoisie pour Pierre-le-Grand, lors de la première prise. Le porteur de clefs aura dit: je ne saurais moins faire pour Catherine qu'on nomme aussi la grande. Cependant avec un esprit moins bien fait que le mien, on trouverait dans cette affectation un projet manifeste d'humilier le souffre-douleur, et d'en faire un blanc-bec qui ne serait pas bon pour présenter à Valérien le victorieux le pain et le sel ou du feu sur une tuile; voire même de faire entendre indirectement à mon auguste Souveraine, qu'elle a eu tort de choisir pour une place aussi importante que celle de souffre-douleur, un homme si peu avancé en âge. Quand je passerais sur tous ces dégoûts, ne voilà-t-il pas la même gazette qui fait tomber quatre provinces de Perse avec la grande et riche ville commerçante de Benderabassi sur le golfe persique, dans le greffe de mon favori, et les enfants de la victoire qui regorgent de butin autant que de gloire. Et où diable mon favori le victorieux veut-il donc dans la cherté actuelle de toutes choses, que je me procure assez de suif pour toutes les illuminations qu'il m'occasionne? Das iſt zu fett, muß ich hier mit unſerer großen Kaiſerin ſagen. Und das iſt zu arg, ſagt ihr Herr Nachbar, der große Selim. Est-ce donc pour les beaux yeux du comte

* Valérien, pour lui procurer des succès éclatants, pour faire pleuvoir sur lui et sur son armée des grâces, que je me suis donné la peine avec mon divan, dieſe perſianiſchen Schurken gegen das Reich meiner mir ſo theuern Nachbarin aufzuwiegeln? Das war ja gar meine Abſicht nicht. Et qu'est-ce que dit à tout cela le seigneur géorgien qui se trouve en paradis terrestre, lorsqu'il arpente les galeries de l'Ermitage?

J'ai reçu depuis dix ou douze jours une continuation de missives du pair d'Ecosse, que je ne manquerai pas d'ajouter à cette pancarte en la fermant. Il est parti depuis pour Carlsbad, dont il fait ses galeries d'été. Il y a été précédé cette année par Antoinette Marchais que j'en attends de retour sous quinze jours, et à ce que j'espère, guérie. Bien m'en a pris de l'avoir qualifiée protégée par Votre Majesté et attachée à son service. En arrivant sur la frontière de la Bohême, on lui a campé une ordonnance militaire avec son fusil sur sa voiture qui l'a conduite à Egra à l'officier de garde, lequel après l'inspection de son passeport l'a traitée avec la plus grande politesse. Elle ne s'est pas écartée de la vérité dans cet examen. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore eu le bonheur d'approcher Votre Majesté Impériale, mais qu'en sortant de Carlsbad, elle devait se rendre en Russie. Sans cette précaution de la mettre sous l'égide de l'auguste Souveraine qui nous protège tous, elle n'aurait jamais approché de la source salutaire à laquelle je me flatte qu'elle devra le retour de la santé.

Ce jeudi, 3 (14) juillet.

On a bien raison de dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Absorbé avant-hier dans la contemplation des merveilles du règne de notre suprême dominatrice, que chaque jour de poste enrichit de nouveaux détails, que je suis loin aujourd'hui de l'élévation qu'un tel spectacle imprime à l'âme! Entouré de malheurs et de désastres, accablé par les plus sinistres nouvelles, qui se succèdent avec une rapidité inouie, je ne vois autour de moi qu'un découragement universel et malheureusement trop justifié par les événements. Nous sommes arrivés à ce moment de crise extrême où il ne reste plus d'espoir ni de ressource. Chaque jour, chaque heure éclaire de nouveaux revers; sur le haut Rhin, sur le bas Rhin, tout est également perdu. On peut aisément se figurer le découragement de l'armée impériale dont le soldat est excellent, mais dont l'officier ne se trouve pas stimulé, et dont on a éloigné successivement tous les généraux qui avaient de la réputation et combatu avec succès. C'est ainsi qu'on a déplacé d'abord le pieux prince Josie de Cobourg; qu'on a, à diverses reprises, fait sortir de la coulisse et rentrer

* comme une marionnette, le général Mack si universellement regardé comme un homme de guerre; qu'on a perdu successivement le prince de Hohenlohe-Kirchberg, jouissant d'une grande réputation d'estime, le général de vins, Beaulieu, ayant servi avec grande distinction, et surtout ce maréchal de Clerfays qui sur la fin de la campagne dernière rétablit en peu de semaines la réputation des armes autrichiennes, rendit la confiance au soldat, et opéra si nerveusement et si rapidement qu'on n'eut rien de plus pressé, à Vienne, que de lui ôter le commandement de l'armée. Au plus fort de la plus terrible guerre, tous ses guerriers se reposent sur leurs lauriers, tandis que leur monarque, en reculant toujours, s'avance méthodiquement et graduellement vers sa perte. Il n'y a pas jusqu'au prince Ferdinand de Wurtemberg, mon ancien protégé, qu'on n'ait trouvé le moyen de perdre au commencement de cette campagne, parce que, disent mes mémoires, il a du talent et qu'il a montré trop de zèle, pour échapper à l'envie. On a accusé ce prince d'avoir assisté à un bal en arrière de son corps, lorsque les Français ont formé leur attaque. Ce fait généralement répandu est malicieusement controuvé, si j'en crois un homme d'honneur qui m'a fourni ces mémoires. Il prétend que ce prince avait onze mille hommes à opposer à 35 mille; qu'il ne cessait de représenter son danger et de demander du renfort, qu'on lui en promettait toujours, et qu'il l'eut effectivement au moment où après l'echec arrivé, on lui ôta le commandement de son corps. Comme on trouve souvent la vérité entre les deux extrêmes, je crois que le prince n'a d'autre reproche à se faire, que de n'avoir pas assez veillé sur la discipline de son corps, assez visité ses avant-postes, pour savoir par lui-même si toutes les mesures de défense étaient prises, et si chacun remplissait son devoir avec la vigilance et l'exactitude nécessaires. Il accuse lui-même, ce me semble, dans un rapport que j'ai lu, les hussards de Barco de n'avoir pas soutenu le régiment de Jordis, au mépris des ordres qu'il avait donnés, et le reproche qu'il leur fait, va jusqu'au soupçon de lâcheté. Quand une telle désobéissance n'est pas recherchée et immediatement punie par un conseil de guerre, on peut dire qu'il n'existe plus d'armée. Malheureusement on prétend que ce relâchement est général dans l'armée de l'archiduc; que particulièrement cette cavalerie qui avait une si belle réputation à conserver, ne se soucie plus de combattre, non pas qu'elle croie avoir à faire à un ennemi invincible, mais parce qu'elle sait d'expérience que les avantages qu'elle pourra remporter, seront suivis d'une marche en arrière.

Votre Majesté travaille depuis 34 ans sans relâche à un traité sur les moyens d'élever un empire au plus haut degré de puissance, de prospérité et de gloire; en revanche, nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour en

* faire le pendant, c'est-à-dire, un traité très instructif sur les moyens infaillibles de perdre les empires, tant ces moyens sont en évidence et perfectionnés parmi nous. Nous touchons, Madame, au moment dont j'ai entrevu le danger il y a quelques années. Il me semblait dès lors, que toutes les puissances chrétiennes avaient un pressant et égal intérêt à voir les Turcs chassés de l'Europe par les enfants de la victoire, afin que, si l'anarchie se perpétue en France pour le malheur de l'humanité, cette malheureuse Europe puisse du moins lui faire face sans s'inquiéter pour ses derrières, et sans craindre de se trouver pressée entre deux hordes barbares qui lui feront perdre quinze siècles de culture et de police. Quelque frappé que je fusse alors de ce danger, je ne me serais jamais douté qu'en peu de mois l'Italie et l'Allemagne pussent devenir à la fois la proie, et une proie facile, des barbares. Ce prodige de malheur était réservé à l'année 1796. Rien ne peut plus sauver l'Allemagne. Un mélange de crimes et de folies a changé subitement une des nations les plus policées de l'Europe en une horde d'aventuriers sans morale, sans lois, sans religion et frein quelconques. Ces aventuriers ou plutôt leurs affreux despotes ayant en peu d'années détruit le plus florissant royaume de fond en comble, n'ont plus d'autre ressource, d'autre métier, que de vivre de rapines, de se ruer sur leurs voisins, et de leur porter la désolation et le cortége de malheurs qui les poursuivent chez eux. Les voilà prêts à arriver sur les bords du Danube, dont l'embouchure se trouve sous la domination de ces autres barbares qu'ils ne cessent d'exciter à faire cause commune avec eux; et pour peu que la maison d'Autriche continue avec le même succès et sur le même plan sa campagne défensive, on peut prévoir qu'indubitablement les armées françaies prendront leurs quartiers d'hiver à Vienne et en Bohême. Dans cette crise alarmante et extrême, j'aurais un pressant besoin de me trouver pendant cinp minutes aux pieds de mon auguste Souveraine, pour entendre de sa bouche, ou bien lire avec anxiété dans ses yeux, si elle entrevoit encore un moyen de salut, ou si notre malheur est inévitable. Privé de ce bonheur, je suis en proie aux plus sinistres pressentiments, et le mot de l'écriture me retentit toujours dans les oreilles: Wehe dem Lande deßen Regenten Kinder ſind!

Ce vendredi, 4 (15) juillet.

La retraite des Autrichiens derrière le Mayn et la perte de Francfort sont assurées. La première est effectuée, et par la poste prochaine nous aurons la certitude de la seconde. Voilà donc encore une ville florissante et dont l'esprit public était un modèle de patriotisme et de sagesse, qui dis-

* paraîtra de la surface de la terre. Elle s'est captivée mon intérêt et mon affection dès mon premier séjour, il y a plus de 50 ans; je suis inconsolable du sort qu'elle va subir. Tout le cercle du haut Rhin et celui de Suabe sont en émigration. Le duc de Wurtemberg est arrivé avec sa famille à Anspach. On ignore où le margrave de Bade a porté ses pas avec la sienne. Les enfants du landgrave de Hesse-Darmstadt ont passé dans les environs d'ici, pour se réfugier en Saxe, sans savoir quelle était la route prise par leur père et mère. En ce pays-ci on ne fait pas encore ses paquets; mais on a le pressentiment qu'on n'échappera pas au malheur général, et qu'un peu plustôt, un peu plus tard, il faudra subir la loi commune. Quant à moi, il faut que je songe dès à présent à m'éloigner dici avec ma petite caravane. Je ne crois point que provisoirement les invincibles republicains puissent songer à nous; ils savent mettre de la méthode dans leur système de dévastation, et ne quittent pas une affaire principale pour une autre qui ne peut leur échapper à son tour. Quand ils auront poussé les Autrichiens en Bohême, ils trouveront le moment de s'occuper de la Saxe tout à leur aise; c'est un pays trop heureux et trop riche pour échapper à leur convoitise, et la ville de Leipzig est trop florissante pour ne pas mériter de leur part la même attention que Francfort. Mais en attendant qu'ils en aient le loisir, il ne se trouve pas un homme armé entre Francfort et Gotha qui puisse ou veuille leur faire la moindre résistance; et s'il prrenait fantaisie à un parti bleu de 50 hommes de s'aventurer ici, la peur est tellement enracinée dans tous les coeurs, que la possibilité de lui résister ne se présenterait à l'esprit de personne; ce parti ferait la révolution qu'il jugerait à propos, et exercerait les ravages qui lui conviendraient. Il faut donc être sur le qui vive, pour pouvoir décamper avec ses enfants à la première alerte, et pour cela il faut dès à présent envoyer le gros bagage en avant, pour n'être pas entravé dans sa fuite. Mais de quel côté fuir? Hélas, je l'ignore. Dans la perplexité où je suis, je tourne mes regards inquiets vers mon unique, mais puissant soutien. Je me confie en sa bonté sans bornes. J'espère avant la fin du mois recevoir un arrêt definitif qui règle ma marche et mette fin à mon inquiétude. Ah, si mon auguste protectrice pouvait avoir le plus léger soupçon de ce qui se passe ici, sa bonté m'aurait déjà tiré d'un pays où je ne peux plus dormir avec tranquillité. Lorsqu'à la fin de l'année 1792, je fis partir ma petite colonie, au milieu des neiges et des frimas de l'hiver, de Dusseldorf, pour l'envoyer à Gotha, je croyais avoir mis un intervalle immense entre son asile et le théâtre d'une guerre atroce, dirigée par l'ange exterminateur des nations. Etait-il croyable alors, qu'au bout de peu d'années ce même fléau funeste étendrait ses ravages jusqu'aux frontières de cette contrée heureuse

* et paisible, pour me replonger précisément dans le même abîme de malheurs dont je me croyais tiré pour jamais avec ma triste et déplorable séquelle?

Ce samedi, 5 (16) juillet.

Je dois aux soins des successeurs de Bacchus, mes constants bienfaiteurs, les lignes du 15 juin de ma véritable et souveraine bienfaitrice, que j'ai reçues aujourd'hui. Pour la première fois, ce caractère sacré que je n'aperçois jamais sans la plus douce et la plus profonde émotion, ce baume salutaire qui en un clin d'oeil fait disparaitre tous mes maux, ce spécifique souverain contre tous mes chagrins, tous mes soucis, a ajouté à la perplexité où je me trouve. L'arrêt de Votre Majesté Impériale contre le projet de mon grand et redoutable voyage est prononcé; un excès de bonté lui fait désirer qu'il n'en soit pas question cette année, parce qu'elle suppose ma santé à peu près hors d'état de le supporter; mais cette santé est bien moins en état de soutenir le spectacle qui l'entoure; et que peut m'importer ma conservation qui n'a plus aucun objet d'utilité pour personne, ni de satisfaction pour moi dans cette mer d'amertumes et de calamités qui menace à chaque instant d'engloutir tout ce qui m'est cher autour de moi? Ne suis-je pas trop heureux de terminer une vie inutile, si je puis la sacrifier à assurer un sort à ceux dont l'existence est assez précaire pour dépendre de la mienne, et si mes derniers regards, en se fermant à la lumière des cieux, peuvent me procurer la consolation de les voir au port de leur salut? Si j'étais seul au monde, s'il n'était question que de moi, combien j'aurais de grâces à rendre à ces bontés pour un chétif et mince individu comme moi, incroyables dans la suprême dominatrice du plus vaste empire, si chacune de ses journées n'en attestait l'existence toujours agissante, n'en renouvelait les preuves sans nombre! combien il me serait aisé de suivre des ordres qui sous la plume de ma trop magnanime Souveraine ne deviennent que des conseils de l'amitié! Votre Majesté n'ignore pas que depuis vingt-trois ans je ne respire que par elle et pour elle; que son existence s'est, pour ainsi dire, identifiée avec la mienne. Comme les dévots trouvent leur suprême félicité à être constamment en présence de Dieu, de même j'ai placé la mienne à me rendre l'idée de Votre Majesté tellement habituelle, que dans aucune situation de ma vie elle ne puisse m'abandonner un seul instant. Wo ich ſtehe oder wandle, ſitze oder liege, iſt meine Kaiſerin bey mir, vor mir, um mir, neben mir. Dieſe wohlthätige Täuſchung erhält mir das Leben, ſtärkt mich bey allen Unglücksfällen, verſchönert alle meine Glückſeeligkeiten, und verſchafft mir den Genuß eines beſtändigen, unſäglichen Wohls. Le sort peut donc disposer de

* moi comme il jugera à propos; partout où j'irai végéter et achever de vivre, mon bonheur est assuré, puisque l'idée de Votre Majesté sera avec moi. Le seul malheur qui puisse me frapper avant la fin de ma vie, ce serait d'être tellement séparé du trône de gloire et de miséricorde, que toute communication de témoignages de bonté de la part de Votre Majesté, tout élan de sentiment de la mienne fussent entièrement détruits pour moi. Si j'étais seul, et qu'il ne fût question que de moi dans la crise fatale qui, pour le malheur de l'humanité a englouti l'Italie et va engloutir l'Allemagne, j'irais passer l'hiver à Hambourg, parce que, sans rien donner au hasard, on peut bien dans cette contrée compter encore sur une année de tranquillité telle quelle, et parce que je m'y trouverais dans la route des courriers de Votre Majesté pour l'Angleterre, ce qui soutiendrait dans mon coeur l'espérance de cette communication essentielle à ma vie.

Mais, Madame, il ne s'agit pas de moi; il ne s'est jamais agi que de cette famille déplorable, de ces enfants infortunés à qui la rigueur du ciel n'a laissé pour soutien qu'un homme ruiné et dépouillé comme eux et que, suivant le cours de la nature, ils sont tous les jours menacés de perdre. C'est leur existence qui fait le tourment de ma vie. Tous les ennuis que j'ai osé causer à Votre Majesté Impériale, particulièrement depuis un an, avec une hardiesse qui seule suffit pour faire à jamais l'éloge de sa bonté ineffable, n'ont eu pour objet que ces infortunés dont l'avenir empoisonne tous les instants de ma vie. Je conviendrai même, parce que je ne puis avoir rien de caché pour la plus indulgente comme la plus adorée des souveraines, que le silence absolu qui a été observé à leur égard, au milieu d'une sollicitude si généreuse pour ma conservation, a eu pour moi je ne sais quoi d'effrayant, d'autant plus que leur voyage avait été fixé et arrêté pour cette année par la bonté souveraine elle-même. Depuis longtemps je me reproche journellement et amèrement de ne les avoir pas conduits au printemps de 1793 aux pieds de l'auguste Souveraine, welcher ſie ihr Daſeyn und alles was ſie ſind, zu verdanken haben. Le père et la mère, leur douceur inaltérable dans l'infortune, auraient sans doute trouvé grâce aux yeux de leur immortelle bienfaitrice: elle aurait jeté un regard de compassion et de miséricorde sur les enfants dont l'aimable figure, les heureuses dispositions et l'innocente sécurité auraient assuré le salut. Il le serait depuis quatre ans, et je n'aurais pas connu ce ver rongeur qui me mine et me détruit. Une année s'est écoulée après l'autre au milieu de soucis et de peines, et j'ai senti le terme de ma vie s'approcher sans être rassuré sur l'avenir funeste qui les attend. Lorsque Votre Majesté, en vertu du legs que j'avais osé lui faire, les adopta si généreusement l'année dernière, je vis leur salut assuré et je me sentis un grand

* soulagement, et lorsqu'elle associa depuis à ce legs une personne qui avait si généreusement exposé sa vie pour mes intérêts, il ne me resta plus d'autre occupation que de me prosterner sans cesse d'attendrissement et de reconnaissance aux pieds de la souveraine bienfaisance; mais cette année une maladie longue et opiniâtre dont l'issue fut longtemps douteuse, en me laissant mesurer à loisir l'abîme dans le quel ils restaient après moi, me rendit tous mes soucis, toutes mes transes. La complication des malheurs de l'Europe acheva de me consterner et de me troubler la tête. On dirait qu'un secret et noir pressentiment m'avertissait de la tournure funeste que prendraient les affaires en Europe et particulièrement celles de l'Allemagne, au point de me chasser de nouveau subitement avec mon petit troupeau de l'asile où j'ai végété jusqu'à présent.

Me voilà donc de nouveau fugitif et ne sachant où porter mes pas, où chercher un abri, et vraisemblablement avant que ce paquet se trouvera aux pieds de Votre Majesté, la nécessité de partir d'ici aura existé pour moi. J'ose à la vérité me flatter de recevoir encore un arrêt de mon auguste Souveraine dans le courant de ce mois, en réponse aux pancartes parties d'ici le 12 (23) juin; mais Votre Majesté ne pouvant deviner l'extrémité où l'ineptie ou la trahison ou toutes les deux ont conduit les affaires, l'arrêt prononcé après l'arrivée du comte de Tiesenhausen me fait présager d'avance que mes nouvelles instances n'auront pas fait changer d'avis à la bonté suprême, et que le grand voyage sera définitivement remis par ses ordres à l'année prochaine. En même temps pressé par les événements les plus imprévus, les plus incroyables, je me trouve dans la nécessité absolue de revenir encore à la charge sur tous les arrêts déjà prononcés, d'en appeler à Votre Majesté mieux instruite de la position actuelle de l'Allemagne, et de la conjurer de prononcer, en réponse à cette pancarte, mon arrêt véritablement définitif pour moi et mes tristes enfants. Il n'y a pas apparence que je puisse attendre cette réponse ici. Provisoirement cependant je m'éloignerai le moins que je pourrai de cette contrée; j'irai peut-être à Leipzig, si je puis y trouver un abri passager pour ma nombreuse caravane sans une dépense hors de toute proportion. Si je ne puis m'y fixer, je prendrai les plus grandes précautions pour la sûrete de mes lettres de Pétersbourg qui y seront adressées, et pour qu'un courrier de Votre Majesté, s'il venait m'y chercher, me soit directement et sûrement adressé au lieu de mon séjour.

Une circonstance qui m'afflige mortellement, et que je ne dois pas cacher à Votre Majesté, c'est de me voir accablé coup sur coup de bienfaits par la munificence de mon auguste Souveraine. A peine ai-je touché dix mille roubles il y a peu de semaines, qu'un nouveau bienfait d'une somme pareille

* m'est annoncé; et tandis que je voudrais assurer chaque denier pour faire de tant de dons une ressource solide et permanente pour mes enfants, je suis menacé de me retrouver dans la même cruelle situation où je fus en 1792 à Aix-la-Chapelle et Dusseldorf. La déplorable bagarre d'alors me dépouilla en moins de deux mois de tout ce qui me restait en poche de ma fortune, et je crains bien d'en voir le second tome dans la bagarre qui se prépare ici et, comme alors, d'être obligé de dépenser les bienfaits de notre immortelle bienfaitrice de la manière la plus désespérante, en les semant sur les grands chemins, dans les auberges et partout où il se trouve des voleurs âpres à profiter des malheurs publics pour détrousser les passants. Ce malheur me paraît d'autant plus inévitable, qu'obligé d'attendre dans ces environs la décision de mon sort en réponse à cette triste pancarte, la situation de toutes ces contrées aura eu le temps, d'ici à ce moment, d'empirer considérablement, si tant est qu'elles puissent se préserver jusque là du joug des barbares qui les menace dès à présent.

Quoi qu'il en soit, dans la position extrême de toutes choses, il ne me reste d'autre parti que de me jeter aux pieds de Votre Majesté Impériale, et de la conjurer de prendre en considération et en pitié les nouveaux malheurs qui viennent de fondre sur nous, et de fixer d'une manière quelconque le sort de cette famille infortunée dont tout le bien qu'elle a éprouvé depuis qu'elle existe, est l'ouvrage de l'immortelle. Je sens que le malheur est près de me surmonter, et si je suis réduit de nouveau à errer avec ces enfants sur les grands chemins, à dissiper en faux frais de fuite, d'établissements forcés et ruineux, et pour notre subsistance passagère, tous ces généreux bienfaits dont la bonté suprême ne cesse de nous combler, je sens que je n'aurai plus longtemps à errer, et que ces malheureux enfants, resteront incessament abandonnés et seuls sur quelque grand chemin. Nous nous rendrons dans l'asile que la bonté souveraine daignera nous assigner. Nous n'avons pas besoin d'aller à Pétersbourg. Il y a longtemps que je sens que ce séjour de splendeur et de gloire ne peut convenir à des indigents, plus malheureux que le peuple qui près de la richesse trouve dans son travail des sources abondantes de subsistance. Ceux qui se trouvent dans un dénûment à peu près complet ne doivent pas se montrer sur un théâtre si éclatant; la retraite la plus modeste est le lot qui leur convient. Cet asile modeste ne pourraient-ils pas le trouver, sous la protection auguste de leur bienfaitrice, dans quelque coin dn l'empire, en Courlande, en Ukraine, où sais-je, moi? Si jamais Votre Majesté voulait ensuite connaître les objets de tant de bienfaits, ils pourraient l'année prochaine ou en tout autre temps se mettre à ses pieds, et retourner après cet acte de dévotion dans leur asile. Je n'ai jamais ambitionné pour eux

* la richesse. Ils jouissaient en France de cette heureuse médiocrité qui renferme dans sa sphère le plus de bonheur et de contentement; après la perte de ce bien et de leur fortune le strict nécessaire doit suffire à leurs désirs. J'aurai sans doute quelque regret si les deux filles restent éloignées des moyens de cultiver leurs heureuses dispositions; mais il y a longtemps que toute idée de vanité est étouffée cher leurs parents; il faut au besoin savoir se soumettre à son sort, et se borner à en faire de bonnes ménagères, avant que l'âge et la connaissance du monde leur inspirent d'autres désirs. Sans doute la suprême bienfaisance accorderait au garçon une place dans un corps de cadets pour s'y former au service de son auguste marraine. Le père ayant dans toutes les occasions de sa vie toujours parfaitement rempli ses devoirs, ayant tout ce qu'il faut pour faire un excellent officier, ayant particulièrement eu le suffrage du duc de Castries pendant qu'il a servi dans son régiment, se rendrait certainement digne de servir l'empire de son épée s'il en obtenait la permission; et si Votre Majesté daignait le gratifier d'un coin de terre suffisant pour la nourriture et le modeste entretien de sa famille, il se livrerait à sa passion dominante pour la culture et l'économie rurale, et redeviendrait le plus heureux des hommes, tandis que sa femme chanterait dans la solitude avec sa douce voix les louanges de l'immortelle à qui elle doit depuis son enfance tout le bonheur de sa vie.

Si aucun de cec beaux rêves ne peut se réaliser, le comte de Bueil ne manquerait pas de courage pour traverser la mer, transporter sa famille dans une province de l'Amérique septentrionale, et s'y vouer entièrement à la culture de la terre; mais pour exécuter ce projet, il faudrait y porter un capital indispensable à l'achat du terrain, aux premiers frais de défrichement et de construction, qui à force d'industrie et de sagesse, seraient bientôt suivis de l'aisance, et avec le temps de la richesse de toute la famille C'est alors qu'on pourrait oublier les crimes et les malheurs de sa patrie, les turpitudes et la honte de l'Europe que j'oublierai bientôt pour jamais dans le sein de quelque coin d'une terre hospitalière qui voudra me recueillir pour me procurer le repos, dont à la vérité j'ignore encore le site et la latitude; mais dont tous les sites sont également bons. Ici où l'on a su dès l'année dernière, que notre voyage vers la terre de promission avait été remis à l'année présente, on n'est pas peu émerveillé de remarquer en nous si peu d'empressement pour nous y rendre, et nous soustraire aux malheurs dont ces pays-ci sont menacés.

Ce jeudi, 10 (21) juillet.

Dès que la retraite des Autrichiens au delà du Mayn et la prise de Francfort ont été connues ici, toute la colonie d'émigrés qui se trouvait si

* bien à Eisenach, s'est subitement sauvée et réfugiée à Wolfenbuttel où le duc de Brunswick a accordé l'habitation du château au maréchal de Castries et à sa famille, et où les autres émigrés et amis du maréchal, à la tête desquels se trouve l'archevêque de Reims, se sont logés dans la ville. J'ignore encore si le maréchal est parvenu à joindre le corps de Condé et le roi qui s'y trouvait toujours sans l'aveu de la cour de Vienne. Le maréchal, après quelques marches inutiles, s'est porté à Anspach et se proposait de se rendre à Ulm d'où il espérait pouvoir percer jusqu'au corps de Condé. Dans le fait on n'a aucune nouvelle sûre de l'armée de l'archiduc; on sait seulement que sans combattre ou ayant même l'avantage dans des combats partiels, elle recule toujours; que l'empereur perd des millions en magasins, en munitions et attirails de guerre, et que le désordre est extrême dans cette armée et effrayant pour les suites.

Il a plu à Votre Majesté d'ordonner une nouvelle remise de dix mille roubles pour moi, et en me l'annonçant, elle ne daigne pas s'expliquer sur sa destination; cependaut je la suppose toujours destinée au secours des émigrés et particulièrement au maréchal de Castries. Accoutumé toutefois à ne jamais disposer d'une obole de Votre Majesté sans son ordre et son agrément, je serais charmé de me voir confirmé dans mon idée, et la somme destinée au maréchal fixée. Dans la transmigration subite d'Eisenach à Wolfenbuttel j'ai cru devoir offrir de l'argent à toute la colonie pour un voyage si imprévu; on a été vivement touché de cette offre, mais personne n'a rien accepté. Je n'ai pas non plus touché jusqu'à présent cette dernière remise. La crise du moment est telle qu'on ne sait chez qui déposer son argent avec sûreté, et qu'il n'est ni sage ni prudent d'en avoir beaucoup chez soi. Tels sont les malheurs du temps, que tout, jusqu'aux bienfaits mêmes, devient, dans ce moment fatal, un sujet d'embarras et de sollicitude.

J'ignore si la comtesse de Marsan que le duc de Brunswick avait logée au château de Wolfenbuttel, il y est encore, ou si elle a changé de séjour, puisque ce prince vient d'en disposer. Ce château est peut-être assez vaste pour servir d'asile à plusieurs émigrés.

Ce jeudi, 17 (28) juillet.

Je vais fermer cette pancarte et faire partir demain le courrier de Votre Majesté Impériale, pour la déposer avec mes autres paquets au pied du trône. Entre autres malheurs qui me poursuivent cette année, je ne dois pas oublier celui qui me force de garder dans mon trou les messagers de l'immortelle beaucoup trop longtemps. Depuis le commencement de cette

* pancarte, les événements sinistres se sont tellement accumulés autour de moi, qu'au lieu d'écrire paisiblement à mon auguste Souveraine, et de me laisser aller à toutes les inspirations de mon coeur, il a fallu m'occuper de l'emballage de tous nos effets et de l'accélération des préparatifs de voyage avec une précipitation assez grande, pour pouvoir partir au besoin, à l'approche du danger, en très peu d'heures, sans savoir où porter ses pas. Le jour du départ de ma petite colonie était même déjà fixé une fois au lendemain, lorsque des nouvelles moins alarmantes me l'ont fait différer. plus par avarice pour éviter tous ces faux frais horribles auxquels je ne puis me soumettre sans une répugnance mortelle. Je me suis donc déterminé à garder encore mon troupeau, quoique dans des transes continuelles qui se renforcent ou s'affaiblissent vingt fois par jour, suivant les avis qui se croisent sans cesse. On ne craint pas pour le moment l'approche d'une armée, mais n'être pas en sûreté contre un parti déterminé de voleurs et de maraudeurs, est une triste position. Dans cette perplexité je me suis permis de garder le courrier de Votre Majesté, toujours à cause de ce trésor qui fait le bonheur et le tourment de ma vie, parce que sa possession est inséparable des soucis cuisants qu'elle entraîne; au moindre danger réel, j'aurais fait partir M. de Schoulepov avec ce trésor, pour le déposer sous l'égide de Minerve dont il est une émanation. J'espère donc que ce retard obtiendra le pardon de mon auguste et si indulgente Souveraine. En ce moment je garde mon trésor, et me sépare de M. de Schoulepov sans inquiétude, en lui souhaitant des ailes pour arriver à sa destination. La cour de Saxe s'occupe sérieusement à mettre sa frontière en sûreté; l'électeur prend avec ses cousins de la ligne Ernestine des mesures efficaces pour tirer un cordon tout autour de nous, et alors il n'y aura qu'une entreprise formée exprès contre ce pays-ci qui pourra mettre la Saxe en danger; dans cette triste supposition on pourra calculer avec précision le moment où il faudra se retirer. Les troupes saxonnes sont déjà en mouvement, et avant que le danger approche, j'espère que le cordon sera assez fort pour nous préserver de toute incursion passagère. Tout ce qui m'afflige, c'est que je crains que la situation géographique n'empêche que le duché de Cobourg soit compris dans ce cordon; il est situé au delà des montagnes de la Thuringe; et si les autrichiens se retirent vers Egra comme ils en prennent le chemin, les républicains qui sont si exacts à occuper le terrain qu'on leur cède, pourraient se trouver assez près de Cobourg pour vouloir y faire une visite en passant. Nous ne savons rien ici au juste de la position des armées; il ne manque pas des gens qui sont convaincus que la cour de Vienne travaille à sa paix; on peut prévoir qu'elle sera glorieuse. En attendant, le duc de Wurtemberg, à ce qu'on

* m'assure, a fait la sienne. Il paie à la république sept millions, lui livre mille chevaux, mille boeufs, tant de milliers de moutons, sans compter une infinité d'autres contributions qui ne finiront qu'avec la guerre. On se demande ce qu'un malheureux prince gagne pour signer une telle paix, et si, ruiné pour ruiné, il ne vaudrait pas cent fois mieux de se laisser égorger, sans tendre le cou par sa signature; on sauverait du moins l'honneur et le droit de regimber contre la violence quand l'occasion s'en présenterait. Il n'achètera pas même par cette paix le droit ou la possibilité de retourner dans ses états et d'y rester paisible, tant que la guerre durera. J'ignore si le margrave de Bade négocie aussi; mais on m'assure que jusqu'à présent les rédoutables républicains traitent ses états avec de grands ménagements. En général on dirait qu'on ne peut courir avec eux que deux chances: il faut s'en faire craindre, ou se résoudre d'en être méprisé. Mais au milieu de leurs fanfaronnades, il n'est pas si difficile de leur en imposer qu'on le dirait bien. La moindre fermeté fait cet effet-là sur eux. Il n'y a qu'à voir avec quel ménagement ils traitent jusqu'à présent cette faible ville de Francfort, sans autre motif que parce qu'ils savent qu'il y existe un esprit public qu'ils redoutent.

J'espérais par le retour de ce courrier rendre compte à Votre Majesté Impériale de l'état de ses caisses entre mes mains, particulièrement de celle qui est destinée aux émigrés; mais j'ai été tellement tourmenté depuis trois semaines qu'il m'a été de toute impossibilité de m'occuper d'autre chose que de faire mes paquets pour m'enfuir avec ma nombreuse séquelle au premier instant de danger. Dès que j'en aurai un pour respirer librement, il sera employé à remplir ce devoir. En attendant je prendrai la liberté de mettre sous les yeux de Votre Majesté la dernière lettre de Madame de Choiseul, abbesse de saint-Louis de Metz. Je suis infiniment content de sa manière franche de traiter avec moi. Ayant encore quelques restes du don que le roi de Prusse lui a fait, elle n'a encore rien accepté de moi; mais nous sommes convenus qu'à la première approche du besoin, elle s'adresserait à moi. Dans ce moment les pays d'Anspach et de Bareith sont tellement remplis de fugitifs qu'ils doivent être dans une grande agitation, et que la cherté doit y être à proportion bien plus grande qu'ici. Si d'ailleurs Votre Majesté daignait prendre une décision sur cette lettre, j'exécuterais ses ordres avec la plus grande ponctualité.

J'en dirai autant de celle de Madame de Rochelambert que je joins pareillement ici. J'ai été fort longtemps avant de pouvoir découvrir son asile, et me procurer son adresse; enfin j'y suis parvenu. Elle me parle de sa situation également avec beaucoup de candeur; c'est à la bienfaitrice univer-

* selle à me prescrire ce que j'ai à faire. En attendant je tâcherai de lui faire tenir 50 louis. Je dis que je tâcherai, parce que ce qui naguère se faisait avec un trait de plume, devient dans la crise actuelle sujet à mille difficultés. Tous les banquiers de la ville de Francfort s'en sont retirés, et l'on ne sait comment faire une traite grande ou petite surtout dans un petit trou comme Corvey.

Enfin je joins à cette pancarte le tableau des services du chevalier de Fransures, officier de marine, qui ambitionnerait la gloire de servir Votre Majesté. Il n'a que 32 ans, et il a prodigieusement servi pour son âge. C'est d'ailleurs, malheur à part, un homme d'une très jolie tournure qui se recommande au premier aspect et en laisse une impression très favorable.

Ce vendredi, 18 (29) juillet.

Voici une lettre du maréchal de Castries qui m'arrive au moment où je ferme ma pancarte, à point nommé pour faire part à Votre Majesté d'un nouvel attentat à ajouter à tous les crimes de la plus exécrable des révolutions. Cette lettre ne dit pas si dans le pays on a pris la plus petite mesure pour découvrir le coupable; je ne suis pas inquiet qu'il ne soit bien en sûreté.

J'ajoute ici la mince facture de ce que M. de Schoulepov emporte. Ce courrier n'ayant reçu du collège à son départ que 160 ducats pour sa course, M. le comte Factotum l'a autorisé de me demander de l'argent s'il en manquait pour son retour. Il ne m'a demandé que 25 ducats ou 75 écus de Saxe que Votre Majesté trouvera dans mes comptes. Je l'ai d'ailleurs défrayé ici pendant son séjour, comme de raison. C'est un excellent sujet: Votre Majesté m'observera que j'en dis autant de tous ses courriers. D'abord je les garde assez longtemps pour les connaître à fond; mais il n'y a qu'à m'en envoyer qui ne le soit pas, et je me tairai. Je dépose en finissant, aux pieds de l'immortelle le plus profond, le plus tendre respect. Iſt das zu fett, ſo ſage ich mit dem Herrn Pilatus: Quod scripsi, scripsi; je n'y peux mais.

A Gotha, ce mercredi, 23 juillet (3 auguste) 1796.

Madame,

Pour le maintien du bon ordre dans mes archives, il faut que, suivant mon antique usage, je serve à Votre Majesté Impériale la moutarde après

dîner, c'est-à-dire que je lui notifie que l'ange du ciel Schoulepov, chargé de mes pancartes rien moins que célestes, est parti dimanche dernier 20 (31) juillet. Cette notification, à laquelle je joins le double de la facture de ce qu'il a emporté, arrivera, toujours suivant l'usage, longtemps après que le retour du susdit ange céleste dans la terre de promission sera oublié; mais n'importe: rien de ce qui peut servir au maintien du bon ordre dans les archives du seigneur souffre-douleur, ne doit être négligé.

Cette affaire importante réglée, ne voilà-t-il pas tout de suite une seconde bien autrement difficile à arranger? Celle qui connaît les besoins de mon coeur comme ceux de tous ses enfants, la Matouchka de la plus nombreuse famille de la terre, a senti qu'étiquette à part, ce n'est que par elle que je pouvais apprendre l'heureux accouchement de maman grande duchesse, dont, par parenthèse, les belles-filles m'ennuient fort de n'être pas plus pressées de suivre le bon exemple. Fi, que c'est laid! Je me fâcherai tout de bon, si cela dure. Aurais-je donc consenti de faire porter le nom d'Elisabeth par un des plus beaux vaisseaux de la flotte, si je n'avais été trompé par une fausse joie mort-née, puisque Votre Majesté me l'a aussitôt reprise que donnée, moyennant une parenthèse en très menu caractère, intercalée au-dessus de la ligne d'espérance? Mais ce n'est pas de quoi il s'agit pour le moment. Le bulletin de l'heureux accouchement est daté du 25 juin, et annonce qu'il a eu lieu à trois heures du matin; voilà qui est clair et précis, voilà la loi et les prophètes. Or toutes les gazettes unanimement le placent au 2 juillet qui répond au 21 juin, suivant le style grec. Voilà donc une discordance de quatre jours qui se trouve dans l'histoire du Seigneur Nicolaï Pawlowitz colosso dès son entrée dans ce monde. Comment la concilier? Et si elle barbouille la tête d'un contemporain de la force du souffre-douleur, comment la postérité pourra-t-elle se tirer de cet embaras chronologique? Serait-il possible que le susdit Seigneur par ses façons d'une archine de long, en eût tellement imposé à la suprême dominatrice, qu'elle n'ait plus su elle-même où elle en était, en datant son bulletin? Ou bien, cette venue colossale a-t-elle effectivement dérangé le calendrier grec? Je m'y perds; mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas un instant à perdre pour obvier à une erreur aussi capitale. J'ai bien remarqué aussi la qualité de chevalier qui s'est glissée, fortuitement ou à dessein, dans le bulletin en faveur du dit arrivant. C'était en effet le titre que portaient les cadets en France; mais suffit-il, pour se l'approprier, de s'attabler, en ouvrant les yeux, près d'une gamelle à la bouillie? Et lorsque l'habitant du palais de marbre a été dans le cas, depuis qu'il est de ce monde, de se contenter du titre modeste de sieur, il ne s'agit plus que de savoir si je dois en accorder un aussi relevé à son ca-

* det, sans me convaincre préalablement de ses droits à cet égard, par l'inspection du brevet en due et bonne forme, notifié au Sénat par ukase.

Plût à Dieu que le psaume de mon rival Richter ajouté tout exprès pour ma mortification au bulletin d'accouchement, n'eût pas gâté l'illumination à laquelle je m'étais prêté de bonne grâce, à l'occasion de l'arrivée colossale, malgré l'énorme dépense en ce genre, à laquelle je me trouve condamné à tout bout de champ, parce qu'il plaît au comte Valérien, le Persan, d'aller tojours son train, sans s'informer si j'ai de quoi remplir mes lampions. Ce psaume ayant rembruni l'humeur du souffre-douleur, Votre Majesté sait déjà qu'il s'est accroché à l'&c. qu'il a trouvé sur le frontispice après les épithètes die Große, die Milde, die Weiſe. S'il y avait eu trois &c. après une longue et complète titulature, c'eût été une affaire d'étiquette, et je n'en aurais pas parlé; l'usage les demande pour suppléer aux titres qu'on peut avoir omis; mais un seul &c. donne à penser, il ne peut avoir été placé là que pour signifier un titre particulier qu'on a voulu réserver à notre Impératrice in petto. Votre Majesté sait déjà également qu'avec la promptitude de l'éclair j'ai percé cet &c. de mon rival; qu'en un clin d'oeil je l'ai rempli de la manière la plus heureuse, et qu'il ne m'a manqué qu'une traduction allemande tant soit peu tolérable de la moitié de mon remplissage, pour porter ma gloire au pinacle. Il ne sera pas inutile d'enseigner à la postérité la route par laquelle le génie arrive à ses découvertes; ses opérations sont encore plus frappantes par leur simplicité que par leur vitesse. L'Empereur des Romains, me disais-je, prend de temps immémorial le titre: Semper Augustus, Toujours Auguste, Zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, et l'on s'aperçoit bien que ce titre, à force de vieillir, est tombé en désuétude. M'est d'avis que sans perdre une minute, Sa Majesté Impériale se fasse clouer cette inscription en gros caractères sur la couronne de Charlemagne. Par la même raison elle ne peut nullement convenir à l'Impératrice des Grecs dans l'acception du jour, au lieu que la mienne: Die allezeit gaie comme pinson ſeyende Selbſtherrſcherin, lui va comme de cire. Ce titre n'est pas à la vérité hérité de ses prédécesseurs; il n'existe que depuis 34 ans par un miracle opéré sous la consécration du métropolitain de Novogorod, et si cette grande lumière de l'église a voulu qu'il restât caché à la vénération des fidèles, il n'a pu échapper sous la couverture de l'&c. à la sagacité du souffre-douleur. J'ignore comment ce titre s'exprime en russe dans la litanie du couronnement; tant y a qu'à moitié chemin le doigt de Dieu s'est visiblement retiré de dessus moi, et m'a empêché de trouver une traduction allemande convenable. Unſere allezeit Finken gleich aufgeräumte oder luſtige oder fröhliche Kaiſerin n'eut point mon suffrage, et pour mon malheur, je m'adressai à Katinka

* l'espiègle, ce qui m'a perdu. Cette sorcière, peut-être aussi embarrassée que moi, se retourna d'une autre manière, et pour se tirer d'affaire, elle attaqua mon édifice par le fondement. Quels fagots, me dit-elle, me contez-vous donc là, mon chou? eh qui vous a dit que gai comme pinson signifiait Luſtig oder aufgeräumt wie ein Fink? Moi, je n'ai jamais vu les pinsons que graves et sérieux, on ne les a appelés gais que par dérision; et le proverbe: gai comme pinson n'est autre chose que le synonyme du proverbe: triste comme un bonnet de nuit. Und freylich kann ich nicht läugnen, ſetzte ſie hinzu, es wäre viel erbaulicher wenn meine allergnädigſte und großmächtigſte Taufpathin ſich beſtrebte gaie comme pinson in dieſem Verſtande zu ſeyn, und ſtatt immer der Freude nachzuhängen, ſich insbeſondere bey großen Feſtivitäten und Courtägen einer philoſophiſch ernſthafter Schlafmütze ähnlicher Miene zu befleißen ſuchte, und auch zuweilen ſaure Geſichter mit unter zu ſchneiden geruhen wollte. Ici je l'arrêtai tout court. Ah, morveuse, lui dis-je, je t'apprendrai à mettre le nez dans la gazette de Hambourg, und darin deine naſenweiſe Bemerkungen über die verſchiedenen Mienen bey großen Hoffeyerlichkeiten zu ſtudiren!

Votre Majesté voit la zizanie qu'un seul &c. envoyé un peu légèrement avec le bulletin d'accouchement, a pensé exciter dans le taudis du souffre-douleur. J'implore l'éternel pour qu'il lui plaise d'étouffer les semences de pareilles disputes dans le palais Taurique et au château de Tsarsko-sélo, und daß unſere große und gute Kaiſerin gaie comme pinson in demjenigen Sinne verbleibe, welcher ihrer allerhöchſten Geſundheit und kaiſerlichen Laune am zuträglichſten ſeyn wird, ſoll und muß. God save our Emperor gai comme pinson!

Madame,

Le chevalier d'Augard ne veut pas se mettre en route sans avoir, en arrivant au séjour de la gloire, un feuillet du souffre-douleur à mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale, et je ne saurais lui refuser cette ombre d'une pancarte. Je lui ai donné aussi une lettre pour M. le comte Factotum, et j'ai supplié S. E. de rendre compte à notre auguste Souveraine de l'arrivée du dit chevalier, et de prendre ses ordres à son sujet. Quoiqu'appelé par Votre Majesté, il a cru devoir se mettre en règle, et en demandant l'agrément du Roi de France pour son voyage, solliciter en même temps un passeport, pour pouvoir satisfaire à la frontière de l'empire aux lois et formalités établies.

Comme il n'est pas de la première jeunesse, et qu'il s'est trouvé attaqué le printemps dernier d'une sciatique assez violente pour être perclus pendant quelques mois, il n'a pas osé risquer de se mettre en route tout seul,

* et son état d'émigré l'ayant obligé de renoncer depuis longtemps à son domestique français, il ne pouvait pas non plus prendre un domestique allemand, le seul qui aurait pu lui être utile dans cette occasion; mais malheureusement il n'a aucune connaissance de cette langue. A la vérité, espérant faire le trajet avec moi et ma colonie, il comptait pouvoir se passer entièrement de domestique en route, et rien n'eût été plus facile; mais l'arbitre suprême de mon sort en ayant autrement décidé, le chevalier d'Augard s'est trouvé dans le cas de songer sérieusement à remédier à cet inconvénient. Le chevalier de Vitry, chevalier de Malte, son compagnon d'infortune et d'émigration et son ancien ami, sachant très bien l'allemand, s'est offert pour l'accompagner et suppléer en route à tous les soins d'un bon domestique. Il a aussi eu pour ce voyage son certificat et son passeport de Louis XVIII. Je ne le connais pas même de figure; mais le chevalier d'Augard en dit un bien infini. Ce compagnon serait donc pour lui une ressource parfaite et bien précieuse, si elle ne doublait pas la dépense, ce qui est un grand inconvénient pour le chevalier du Japon, qui, ainsi que tous les émigrés, est aux abois du côté des ressources, et à qui, par intérêt pour lui, j'avais recommandé, en lui remettant les 300 ducats, la plus sévère économie, pour que ce bienfait lui serve à subsister dans les premiers temps de son séjour à Pétersbourg. Je crains que cet arrangement devenu nécessaire ne fasse une brèche considérable à mes conseils d'économie. Le remède à ce malheur présomptif dépend, comme tous les autres moyens de salut, de la bonté souveraine: en accordant au chevalier d'Augard une prompte audience, Votre Majesté décidera dans sa sagesse promptement de l'importance ou de la nullité de ses ouvertures, et pourra régler son sort en conséquence. Le chevalier de Vitry subsistait jusqu'à présent à Leipzig par des leçons de langue française; peut-être lui sera-t-il aisé de se faire un sort en Russie, et de n'avoir plus besoin de recourir aux secours de son compagnon de voyage et d'infortunes.

Celui-ci, la dernière fois qu'il vint ici, me lut le commencement et la fin d'un long mémoire qui renfermait ses secrets. Je vis qu'il ne se souciait pas de me les confier, et j'approuvai très fort sa prudence in petto. Je suppose que ces secrets sont le fruit des découvertes que le hasard et ses liaisons lui ont procurées dans ces derniers temps. Il y attache une grande importance, et je désire vivement que la sagesse suprême en conçoive la même idée.

Il est bien nouveau et bien dur pour un soufre-douleur de fermer une lettre où il reste du blanc à barbouiller; mais tel est l'arrêt du sort. Je

* m'oblige de lui laisser toute la forme d'une lettre de recommandation et de créance, en la signant et me confessant avec le plus profond respect,

Madame,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très obéissant et très fidèle
serviteur

à Grimma-Gotha,
26 juillet
ce —— 1796.
6 auguste

Grimm souffre-douleur.

A Grimma Gotha, ce vendredi 1 (12) auguste 1796.

Madame,

A peine mon dernier bienfaiteur, M. de Schoulepof, s'était-il mis en route avec mes paquets, qu'il m'arriva une estafette du maréchal de Castries, qui m'apprit que le Roi Louis XVIII, après avoir traversé la Franconie, était arrivé à Hof, ville sur les confins de la Saxe, dépendante du margraviat de Bareith et par conséquent aujourd'hui du Roi de Prusse; que Louis XVIII s'y arrêterait quelques jours pour recevoir une réponse de l'électeur de Saxe à qui il avait demandé un asile; qu'étant dans le cas de dépêcher un courrier à Pétersbourg, le Roi ne serait pas fâché; si j'en avais un à renvoyer à Votre Majesté Impériale, d'en profiter et de lui faire porter son paquet, pour s'éviter une dépense de plus; que lui, maréchal, viendrait au premier jour m'embrasser et me dire le reste. Je regrettai de n'avoir gardé le courrier de Votre Majesté qu'un peu plus de six semaines, et de l'avoir toutefois renvoyé trop tôt. Je prévis que l'asile sollicité à Dresde serait refusé, parce que la guerre dévastatrice et impie s'étant approchée des confins de la Saxe, l'électeur voulant faire respecter sa neutralité et la défendre à main armée sans traiter aucunement avec les républicains régicides, avec lesquels il soutient qu'il n'est pas en guerre, je sentis, dis-je, que ce prince croirait devoir à ses sujets d'éviter de donner le prétexte d'un grief aux conquérants de l'Allemagne pour tenter une invasion hostile dans le cercle de la haute Saxe et étendre ainsi le fléau de leurs rapines sur une province heureuse de plus. Je ne me suis pas trompé, l'asile a été refusé.

Le maréchal m'arriva ici dimanche au soir, 7 du mois, n-st. Il m'apprit ce refus, et que le Roi s'était adressé à Dessau pour y obtenir un asile. J'appris le lendemain de mon côté que le baron de Mestmacher, ayant su

* la détermination de la cour de Dresde, était parti pour Dessau pour y appuyer la sollicitation de Louis XVIII.

Le maréchal me dit que le Roi dont par parenthèse la blessure allait fort bien, l'avait dépêché vers moi, parce qu'il avait la confiance que j'étais toujours disposé à servir sa cause; qu'il espérait en conséquence, que je profiterais de son courrier pour appuyer auprès de mon auguste Souveraine ses demandes. Telle est l'idée que le Roi Très Chrétien se fait du poids d'un souffre-douleur; comme ce n'est pas moi qui la lui ai donnée, je ne suis pas obligé de m'épuiser à lui remettre la tête sur un point si délicat. Le maréchal me rémit en même temps le précis de ce que le roi désirait d'être mis par moi sous les yeux de Votre Majesté; et moi, au lieu de délayer ce précis dans une volumineuse pancarte, je le livre à mon auguste Souveraine tel que je l'ai reçu, tout cru 1°. weil nun ſchon einmal meine Gewohnheit iſt mit der Thür in das kaiſerliche Kabinet hineinzufallen, et de ne jamais chercher à déguiser mes ragoûts par les secours d'une cuisine recherchée et artificielle; 2°. parce que, quand j'en aurais le talent, on ne m'en accorderait pas le temps: car quoique le maréchal soit ici depuis cinq jours, ce n'est que d'aujourd'hui qu'il m'a permis de prendre la plume pour Votre Majesté, et voulant en même temps partir à midi pour rejoindre le roi, il veut importer mon paquet avec lui. C'est que lundi dernier 8, il fit partir une estafette pour Leipzig où le roi devait arriver le 9 et trouver la réponse de Dessau. L'estafete qui portait au roi ma soumission à ses ordres, devait nous être réexpédiée le 9 au soir, pour nous instruire de la réponse de Dessau, suivant laquelle je devais arranger mes flutes pour exposer la situation du Roi à son auguste protectrice. Ce prince devant repartir de Leipzig mercredi 10 au matin, le maréchal espérait recevoir son estafette dans toute cette journée du 10, et repartir avec ma lettre pour Votre Majesté, dès qu'elle serait faite, afin de la porter au roi et de s'occuper de l'expédition du courrier. Par un contre-temps inexplicable, point d'estafette ni avant-hier 10, ni hier 11, ni aujourd'hui 12, et le maréchal repart pour courir après le Roi au hasard, et pour lui porter ce paquet que j'ai été forcé de commencer et de finir en même temps. Il faut donc le fermer sans autre cérémonie, et réprimer tous les élans qui voudraient s'échapper de mon coeur.

Je ne me permettrai qu'une observation sur la conduite de la cour de Vienne à l'égard du malheureux Louis XVIII. C'est que s'il est permis de soupçonner l'Angleterre et la maison d'Autriche de n'avoir jamais voulu sincèrement le rétablissement de la monarchie en France, il y a cette différence entre les deux puissances, que la première a toujours marqué à tous les rejetons de la maison de Bourbon les plus grands égards, le plus grand

* intérêt, et employé en traitant avec eux les formes les plus honnêtes et les plus polies, tandis que la cour de Vienne a constamment fait usage des formes les plus dures et les plus offensantes. Un des ordres qui fut envoyé au maréchal de Wurmser, et que celui-ci fut obligé d'intimer au Roi, tel qu'il l'avait reçu, en l'adoucissant de tous les égards qui dépendaient de lui, portait que si ce prince toujours désigné de la manière la plus humiliante, ne se rendait pas à cette injonction, il devait le faire arrêter et le renvoyer de force. On ajoutait que l'Empereur voulait bien qu'il se retirât à Rotembourg, petite ville du Brisgau à 15 lieues en arrière du Rhin; mais qu'on espérait aussi, qu'il s'y tiendrait tranquille sans se livrer à ces agitations inquiètes qu'on pouvait lui reprocher; qu'il ne s'aviserait pas d'expédier des courriers, etc. etc. etc. et qu'il ne forcerait pas l'Empereur de regretter l'asile qu'il lui accordait. A ces traits d'hospitalité généreuse et noble dont le grand Thugut est vraisemblablement le maître des cérémonies, il n'y a rien à ajouter.

Le contingent Saxon et celui de Gotha sont de retour dans le pays, et moyennant les mesures vigoureuses que prend la maison de Saxe, on espère que provisoirement, il n'y aura rien à craindre pour ces contrées dans le moment présent; les conquérants de l'Allemagne ne penseront à nous ici, qu'après l'anéantissement de la maison d'Autriche.

L'attentat contre Louis XVIII a fort occupé le Roi Fr. Gu. Il a montré le plus grand intérêt et la plus profonde indignation. S. M. en quittant Pyrmont a fait une visite au landgrave de Hesse-Cassel. Le duc de Meiningen, qui n'est pas la meilleure tête du Saint-Empire, mais qui n'est pas un prince sans étoffe, s'y est trouvé avec sa figure hétéroclite, qui rappele prodigieusement celle du Roi de Naples. George de Meiningen ſagt aus daß der König während ſeines Aufenthalts in Heſſen ein finſteres Geſicht hatte, il lui a dit une fois, en lui parlant des Français tête à tête: Die Kerls irren ſich ſtark wenn ſie mich für ihren Alliirten anſehen. Ich erwarte nur einen gewiſſen Zeitpunkt, um ihnen zu weiſen wer ich bin. Si cela est, je demande: Pourquoi le Roi ne garde-t-il pas cela dans son coeur royal? Pourquoi le dit-il à George de Meiningen à l'oreille? Pourquoi celui-ci le confie-t-il au maréchal de sa cour? Pourquoi celui ci le mande-t-il à cinq ou six de ses amis à Gotha dont l'un me le confie? Mais le maréchal de Castries est là pour prendre mon paquet, et ne me permet pas une question de plus. Er erlaubt mir nur mich meiner allergnädigſten und der ganzen Welt unähnlichen Kaiſerin unterthänigſt zu Füßen zu legen. Est-ce là un éloge, est-ce une critique; c'est ce que le temps ne me permet pas d'examiner. Je supplie Votre Majesté de faire décider ce point par l'Académie Impériale.

*

A Grimma-Gotha, ce jeudi 7 (18) auguste 1796.

Madame,

Vendredi dernier le maréchal de Castries repartit de Gotha pour aller retrouver Louis XVIII, et emporta avec lui ma pancarte № 21 qu'un courrier de ce prince devait remettre aux successeur de Bacchus, mes protecteurs, pour être mise par eux, et par nul autre, aux pieds de Votre Majesté Impériale; c'est ainsi que l'avait arrangé ma suprême sagesse. Un instant avant le départ du maréchal, arriva le messager de l'immortelle, Nolken, et en un clin d'oeil tout le taudis du souffre-douleur fut sens dessus dessous. Avant-hier au soir m'arriva un courrier de Louis XVIII qui me rapporta ma pancarte № 21, avec une lettre du maréchal qui m'invite à y rectifier deux faits importants. Bien m'en a pris de n'avoir pas délayé mes instructions dans ma pancarte, et de les avoir annexées telles que je les avais reçues. Maintenant, sans rouvrir ma pancarte précédente, j'annexe ici le correctif renfermé dans la lettre du maréchal, et sans que je m'en mêle. Sans que je brûle mon verbiage de la semaine passée, et que j'en refasse un nouveau, mon auguste Souveraine se trouvera parfaitement au courant de la malheureuse situation et de la perplexité où se trouve le roi de France; seulement au lieu d'une pancarte, elle en aura deux sur ce triste objet.

Ce que je remarque d'abord par devers moi et que je garde pour moi, en comparant la rectification du roi sur son séjour à l'armée impériale avec les représentations faites par son auguste protectrice à la cour de Vienne, dont la pancarte divine apportée par mon bienfaiteur Nolken m'a donné connaissance, il résulte pour moi que si le roi Très Chrétien n'a plus eu de semonce du grand prédicateur Thugut sur la fin de son séjour au corps de Condé, si le glaive est reste suspendu, c'est à ces généreuses représentations de sa protectrice qu'il en est uniquement redevable, sans d'ailleurs altérer les dispositions favorables de ce grand faiseur.

Je suppose que le baron de Maleden que le roi m'a envoyé ici, est destiné à la course de Pétersbourg. C'est un de gardes du corps qui dans la funeste nuit du 5 au 6 octobre 1789 fut blessé à la grille du château de Versailles; son frère cadet était un des trois gardes qui accompagnèrent Louis XVI dans sa fuite et furent arrêtés avec lui à Varennes. Ils sont de 15 à 20 frères ou cousins de la province du Limousin, tous émigrés. Trois périrent dans la campagne de 1792. Le mien eut la croix de saint-Louis pour ses blessures et sa conduite en 1789.

J'avais envoyé M. de Nolken prendre les paquets de madame la princesse de Zerbst avec ordre de revenir ensuite pour pouvoir retourner d'ici

* droit vers le séjour de la gloire en émigration, exilée du reste de la terre. Chemin faisant je l'avais mis aux trousses de Louis XVIII dans le cas où ce prince voulût s'en servir pour porter ses paquets à sa généreuse et unique protectrice, mais je vois par la lettre du maréchal que le roi a préféré d'envoyer un courrier à Votre Majesté avec ses paquets et les miens, dans l'espérance sans doute de le revoir bientôt et d'autant plus vîte de retour, dans l'état de perplexité où il se trouve, ne sachant où poser sa tête. M. de Nolken est revenu ici ce matin, après s'être parfaitement acquitté de toutes ses commissions. Votre Majesté daignera sans doute approuver que je défere à la prière du maréchal ou plutôt du roi, en gardant M. de Nolken jusqu'à ce que S. M. m'ait prévenu en quel lieu elle pourra attendre le retour de son courrier.

Je mande au maréchal que je suis hors d'état de lui donner aucun renseignement sur le pays de Jevern, si ce n'est que je sais que les gens de Jevern portent le nez en l'air ni plus ni moins que les gens de Grimma, et qu'ils sont aussi fiers, aussi artabans, aussi vaniteux que ceux-ci d'appartenir à leur suprême dominatrice.

Je ne puis me dispenser de communiquer à mon auguste Souveraine la lettre que j'ai reçue de Louis XVIII et du comte d'Avaray, avec ma réponse au roi Très Chrétien. Je lui avais fait demander un passeport pour le chevalier d'Augard, et je ne sais comment celui qui les rédige a cru qu'il m'en fallait aussi un pour moi où il atteste que je suis resté fidèle aux principes de la religion et de la monarchie. Le roi en fut lui-même surpris, et dit, en le signant, au maréchal de Castries: Il me fait bien de l'honneur; si j'avais besoin d'un passe-port pour la Russie, c'est à lui que je le demanderais. Le maréchal au reste me reprit le mien pour le rendre au roi.

Ce digne et loyal serviteur de son roi m'a confié pendant son séjour ici le plan qu'il croyait que ce prince devait suivre si la cour de Vienne faisait sa paix, et il a voulu avoir mes avis sur ce plan. Hélas, quels avis peut-on donner quand tout est perdu? J'ai d'ailleurs le malheur de ne pas croire à la possibilité de la paix, même la plus infamante, parce que la guerre est le premier pivot fondamental sur lequel repose la durée du gouvernement républicain en France. Je mets ce plan intitulé Résultats, sous les yeux de mon auguste Souveraine, à l'insu de l'auteur, parce qu'il convient qu'elle sache tout ce qui passe par la tête des infortunés qui se noient. Votre Majesté observera bien que ces résultats n'ont pas été rédigés pour être connus d'elle.

Puisque tout à travers de mes écritures royales Très Chrétiennes, il m'arrive une missive du pair d'Ecosse de Carlsbad, il s'agit, moyennant un tour

* de force, de la faire copier vite et de la fourrer dans ce paquet, pour qu'au pied du trône des miséricordes, elle fasse diversion, au moins pour un instant, à nos tristes affaires, réflexions, résultats et autres misères. Il est hors de doute que milord est consumé à petit feu par son zèle pour le gagne-pain de l'immortelle, et que cette sainte passion abrègera sa vie. Car la belle Marchais, sa messagère, m'a juré qu'aucune puissance de la terre ne pourrait réussir à faire prendre la plume à milord, et à lui arracher une ligne d'écriture pendant son séjour à Carlsbad; ce n'est que pour moi seul qu'il est capable de cet effort généreux et surnaturel, d'où la belle messagère, qui ne se doute pas que je ne suis qu'un simple entremetteur, infère que je suis tout ce que milord aime le plus sur la terre. Je ne dis pas qu'il n'ait beaucoup de reconnaissance pour moi, puisque je sers sa passion avec un zèle infatigable. Le voilà fier comme Artaban ou comme les gens de Grimma et de Jevern, puis que ses protégés Beck et Hédéric sont pourchassés par un gentilhomme courlandais, et qu'il les voit déjà établis dans les chaires de Mitau donner du lustre à l'université naissante. Il faut convenir, si c'est en vertu des ordres de la suprême dominatrice de l'empire, d'après les indications du pair d'Ecosse que cette chasse se fait, qu'on ne peut concevoir comment il ne lui échappe rien, comment elle trouve le temps pour tout, comment elle a toujours des gouttes d'eau en abondance à verser dans la mer que son trident dirige.

Une seconde lettre que je reçois à l'instant de M. d'Avaray m'apprend que le roi compte faire porter modestement son paquet par un de ses valets de pied à Pétersbourg; ainsi je reprends tout ce que j'ai dit sur M. de Maleden.

Il nous arrive en même temps les plus tristes nouvelles d'Italie. Suivant la version républicaine, le maréchal de Wurmser a perdu en deux jours deux batailles et plus de 20 mille hommes, dont plus de 15 mille prisonniers. Quel siècle! Ah, que mes yeux ne s'ouvrent jamais que vers ce trône éclatant où la sagesse a préparé la gloire d'un règne qui n'avait pas besoin de si cruels pendants pour briller à jamais dans les fastes de l'histoire!

Allerunterthänigster Rechnungs-Vortrag über die Emigranten-Casse.

A Gotha, ce vendredi 8 (19) auguste 1796.

Madame,

Il n'y a que huit mois que je cherche inutilement à rendre mes comptes à Votre Majesté Impériale. La main de Dieu s'est visiblement appesantie

* sur moi depuis quelque temps, et m'empêche de faire ce à quoi je voudrais passer le reste de mes jours: penser à l'Impératrice, m'occuper de ses affaires, le lui dire, puis redire, pour le lui redire encore. Des distractions interminables m'en détournent sans cesse. Une grande partie de l'émigration m'accable de lettres, et cette calamité a surtout sensiblement augmenté depuis que le comte Herzblatt n'est plus à son poste. Il était le refuge de tous les malheureux, depuis Louis XVIII jusqu'au dernier des émigrés. Je le remplace bien mal sous tous les rapports, mais enfin ils m'ont pris, parce qu'à leurs yeux cela vaut mieux que rien. Il est bien vrai que toute cette correspondance entièrement inutile me ramène sans cesse à mon auguste Souveraine, et me fait parler d'elle; mais c'est à elle et non pas d'elle que j'ai besoin de parler.

Pour me concentrer dans mes comptes, c'est par la caisse des émigrés que je vais commencer. Il plaira à Votre Majesté de se souvenir que cette caisse à son origine en avril 1795 était de dix mille roubles, qui ont produit la somme de 17,162 florins 50 kreuzer de l'Empire. Le premier compte que j'ai rendu de ma gestion, se monte à la dépense de 10,658 florins 45 kreuzer, et s'arrête au 30 septembre 1795. Il restait par conséquent en caisse le premier octobre une somme de 6504 florins 5 kreuzer dont je dois rendre compte.

Observations

sur la première suite de mon compte arrêté et rendu le 30 septembre 1795, comprenant le dernier quartier de cette année.

Un des grands malheurs de l'émigration et qui la réduit fréquemment à la plus extrême détresse, c'est de se renouveler à tout moment. A peine un pauvre troupeau d'émigrés a-t-il trouvé un asile, et commence-t-il à respirer dans sa misère, qu'il en est chassé de nouveau, soit par l'inquiétude du prince qui l'a accordé, soit par les événements incompréhensibles de la guerre, de sorte qu'à tout moment un déplacement forcé et imprévu met le comble à la ruine des infortunés souvent à l'entrée de la saison la plus rigoureuse. C'est ainsi que vers la fin de l'année dernière, l'electeur de Mayence les chassa subitement d'Erfort, parce que quelques mauvais esprits l'avaient persuadé, contre toute vérité, que les habitants les souffraient très à contre-coeur, et qu'il en pourrait résulter une insurrection si on les tolérait plus longtemps. La ville en général fut fort mécontente de ce renvoi, et l'électeur en fut à peine parti, qu'on permit tacitement aux émigrés de revenir; mais en attendant on avait augmenté leur misère par les frais de déplacement qui auraient suffi à plusieurs mois de subsistance. Cette année l'irruption

* des républicains en Allemagne a rendu la nouvelle émigration des émigrés indispensable et presqu'universele, sans leur indiquer un point de la terre où ils puissent se retirer avec l'espérance d'y être tranquilles.

Le triste incident du dernier trimestre 1795 a causé à la caisse de secours de Sa Majesté Impériale plusieurs dépenses, comme le prouvent № 1, № 2, № 5 de cette première suite, et surtout № 7 qui renferme ma note particulière sur ces trois mois. L'abbé Bertier du № 5 est un proche parent de l'intendant de Paris de ce nom, massacré en 1789 au commencement de la révolution.

M. de la Hardière du № 3 est un gentilhomme du Poitou qui a servi dans le corps de Condé comme simple soldat. Sa santé ne le lui permettant plus, il est venu dans ces contrées, et il existe à Gotha depuis un an environ, miraculeusement, étant parvenu à vivre avec 60 gros par mois, ce qui fait environ deux gros écus de France ou 12 francs.

M. de Tessecourt du № 4 est un autre gentilhomme de Normandie ou du Mans, d'un rare mérite, si j'en juge par l'extrême attachement que j'ai connu pour lui à quelques-uns de ses compatriotes et compagnons d'infortune. Il a eu sa mère, ses soeurs, sa femme, toute sa famille guillotinée, sous le règne de Roberspierre.

Le vicomte de Belsunce du № 6 est le père de la comtesse de Bueil. Emigré avec ses enfants du côté des Pays-Bas, tandis que sa femme s'était sauvée en Espagne, il avait emporté avec lui de quoi subsister frugalement jusque vers la fin de 1794. En janvier 1795, au moment de l'invasion des républicains, il était à la Haie, et à l'âge de 70 ans, il fut obligé de se sauver à pied par le froid le plus rigoureux sur les glaces du Zuyder-Zee, et arriva moitié gelé de ce côte-ci du Rhin. Il trouva depuis un asile à Brunswick, où il commença par tomber dangereusement malade; mais quand on considère tout ce que l'homme peut supporter de maux physiques, on est presque convaincu de ce que disait M. de Buffon, qu'on ne meurt que parce qu'on y consent. J'ai jugé que Votre Majesté approuverait que je ne le laisse pas sans secours. Sa subsistance est presqu'aussi frugale que celle de M. de la Hardière, car l'année dernière il ne m'a coûté que 20 louis, et dans tout le cours de celle-ci il n'a encore reçu que 10 louis; je présume, à la vérité, qu'il ne tardera pas à frapper à la porte de la miséricorde impériale. Son fils sert dans la légion de Rohan à la solde de l'Angleterre. Il a été transporté au commencement de cette année avec son corps en Amérique, et se trouve en ce moment à Saint-Domingue. C'est la dispersion la plus complète possible. Le père végète à Brunswick, la mère en Espagne et subsiste Dieu soit comment, le fils est à Saint-Domingue, et la fille espérait si

* fermement aller en Russie qu'elle sèche sur pied en Allemagne et ne peut pas se faire une raison du retard qui remet son voyage à l'année prochaine.

Observations

sur la seconde suite de mon comte rendu en 1795, comprenant les six premiers mois de 1796.

№ 1. Madame la princesse de Chimay est la mère aux pauvres émigrés à Erfort, particulièrement des prêtres. Quand elle est aux abois, quand elle voit tout crouler sous elle, et ses pensionnaires sur le point de mourir de faim au pied de la lettre, elle frappe à ma porte, soit directement soit indirectement, et je m'empresse de voler à son secours.

№ 3. Le duc de Villequier a été, avec le maréchal de Castries et la vicomtesse de Sufren, l'occasion de l'établissement de cette caisse de secours par la suprême munificence. Je regarde en conséquence ces trois personnes comme y ayant droit avant tous les autres, mais suivant des gradations différentes. Le duc de Villequier est depuis le commencement de l'année auprès du roi; sa nombreuse famille était à Ratisbonne, et Dieu sait ce qu'elle est devenue dans la bagarre actuelle. C'est lui qui m'a aussi fait souscrire pour l'ouvrage de l'abbé du Voisin № 2, car les malheureux plaident volontiers la cause de leurs semblables.

№ 4. Madame de Miremont obtint avant la révolution, par la toute-puissante protection du souffre-douleur, la permission de dédier un de ses ouvrages sur l'éducation à Votre Majesté Impériale, malgré son aversion pour les dédicaces. Ce fut alors une pure affaire de gloire ou de vanité, sans aucune vue d'intérêt. Depuis, émigrée et privée de toute ressource, elle a cherché à s'en faire un titre à la compassion de Votre Majesté. Elle m'a obligé, il y a quelques mois, d'envoyer la suite de son ouvrage au pied du trône. Elle est réfugiée à Arolsen où elle vit dans une grande détresse, et pressé par elle et par le prince de Waldeck qui est lui même ruiné et plus généreux qu'il n'est en état de l'être, j'ai été obligé de venir à son secours. Mon malheur est de n'en être pas quitte pour cela; mais d'être bombardé de lettres inutiles, pour me demander s'il n'est pas émané un arrêt en sa faveur du trône des miséricordes, comme si j'avais besoin d'être persécuté pour annoncer ce qui m'est ordonné par mon auguste Souveraine.

№ 10. On m'a fait une histoire si lamentable d'une famille émigrée et réfugiée sur les bords du Rhin; on m'a si bien prouvé que si je voulais acheter d'elle une garniture de dentelles, en payant 20 louis, j'assurerais sa subsistance pour plus d'une année, que je n'ai pu me défendre de faire cette

* emplette. Le prix est bien mesquin, en comparaison de celui que je paie depuis la révolution pour mes manchettes de dentelles. Au reste, les connaisseurs qui ont vu cette garniture, l'ont estimée à 25 louis, et je l'ai en ma possession. Il ne peut être question ici d'une vente simulée; le saint homme qui s'est mêlé de cette affaire, m'a dit qu'il ne pouvait traiter qu'après avoir obtenu la permission de ne point nommer la personne à laquelle ces dentelles appartenaient, parce qu'elle ne voulait les vendre qu'avec la sûreté qu'on ne les lui rendrait pas au bout de quelques jours, en l'obligeant de garder le prix de la vente. Il faut que cette personne ait entendu parler des façons coutumières de Votre Majesté, puisqu'elle prend ses précautions contre de telles surprises. Il en résulte que cette fois-ci Votre Majesté n'échappera pas aux profits que lui produisent ses charités, et qu'il faut nécessairement qu'elle m'autorise à lui envoyer cette garniture en dépit des lois de l'empire.

№ 11. L'Abbé Ozane a reçu ces deux louis pour couvrir sa nudité, son habit étant entièrement usé et en loques. Il avait une cure dans le voisinage de la terre de Madame de Bueil. Il fut déporté avec son confrère, l'abbé Sarasin, autre curé voisin de la terre de Madame de Bueil. Ces deux prêtres passèrent à Gotha il y a environ 20 mois, s'enfuyant de Dusseldorf, ayant fait plus de cent lieues à pied, portant chacun sur son dos son paquet du poids de plus de 150 livres. Courbés sous ce fardeau et presque défaillants, mon vieux valet de chambre les vit arriver à Gotha, et m'en parla. Nous leur donnâmes à dîner le lendemain, et Madame de Bueil retrouva à l'improviste deux curés de sa province. L'abbé Ozane, beau vieillard de près de 70 ans, fut d'une sérénité si touchante, inspira tant du courage à son compagnon d'infortune en comparant le bonheur de ce jour au malheur et aux peines de la veille, et en faisant hommage à la Providence, que je ne me rappele pas d'avoir passé un jour plus agréable depuis l'émigration. Il nous dit qu'il avait laissé un père de près de 90 ans en France, qu'il espérait qu'il se portait bien; et que quant à lui, il espérait bien de vivre au moins cent ans. Je sentis qu'il n'était pas au pouvoir du sort de triompher de la constance d'un tel homme. Le lendemain ils partirent pour Erfort. A peu de distance de cette ville, l'abbé Ozane vit heureux au milieu de sa misère chez un fermier, et l'abbé Sarasin trouvé une bonne place dans la ville.

№ 12. Les Lambertyes sont très anciens en Lorraine. Madame de Lambertye, réfugiée avec son mari à Erfort, s'y soutient, en faisant des souliers pour femme. Elle en avait envoyé une pacotille à la foire de Francfort. Cette spéculation tourna mal, parce que les souliers apportés de France

* purent être donnés à un prix plus modique que les siens, à cause du vil prix des assignats. Ce moment de mécompte me parut celui où je devais venir à son secours.

№ 13. Ces 12 louis ont été payés à madame le maréchale des Castries pour une fourrure de martre dont elle a voulu faire de l'argent, comme précédemment de sa montre. Votre Majesté ne m'ayant pas permis d'établir un magasin de marchandises à son profit, j'ai gardé la montre et la fourrure de la maréchale pendant plusieurs mois, et j'ai cru faire un chef-d'oeuvre après son déplacement subit d'Eisenach, de lui renvoyer ses deux effets à Wolfenbuttel, sa résidence actuelle, de la part d'un inconu de Leipzig qui se réserve de se faire connaître d'elle à son passage par Wolfenbuttel, en lui portant ses deux reçus. Cette tournure m'a bien mal réussi. La maréchale m'a écrit sur-le-champ, qu'elle ne pouvait pas s'y méprendre; que le désir de l'obliger m'avait engagé à lui payer sa montre et sa fourrure, mais que n'ayant pu les placer, j'étais forcé de les lui renvoyer; qu'en conséquence elle me renvoyait le 37 louis que je lui en avais payés. J'ai été obligé de monter sur mes grands chevaux, de lui renvoyer ses 37 louis sur-le-champ, de me courroucer, de faire grand bruit, et de l'assurer que n'ayant aucune connaissance de ce tripotage, je ne pouvais m'en mêler en aucune manière. Voilà où j'en suis en ce moment, et Dieu sait, comment je m'en tirerai; mais ce sont ces épisodes qui mettent à tout moment un pauvre souffre-douleur à deux doigts de sa perte, en disposant du seul bien qui lui reste sur la terre, de son temps, dont chaque minute étant consacrée à l'immortelle, il ne lui reste pas une seconde à perdre.

№ 14. Cette vieille matrone, veuve d'un ancien gouverneur de Pondichéry, a été secourue par ordre exprès de Votre Majesté. Son gendre est le marquis de Valori dont le grand-père fut longtemps ministre de France près du grand Frédéric. J'ai beaucoup connu toute cette famille de Valori dont le rejeton végète avec plusieurs enfants en bas âge à Brunswick dans une grande misère.

№ 15. Je m'en rapporte sur Madame de Sufren, à ce que j'ai dit plus haut dans l'article du duc de Villequier № 3.

№ 18. Mon aumônier pour les secours des émigrés passant par Gotha, et particulièrement des prêtres ayant besoin d'un viatique, a été jusqu'à présent l'abbé Gandon, qui a passé chez moi près de quatre ans et tout le temps de mon séjour à Gotha, cherchant à mériter ce secours par ses soins pour l'instruction des enfants de la comtesse de Bueil. Celle-ci a touché le coeur de son amie d'enfance, la princesse de Galitsine, en faveur de l'abbé Gandon. Celle-ci, toujours parfaite pour Emilie, lui mande de lui envoyer l'abbé en

* Ukraine dans une de ses terres où elle va se rendre. Elle veut en faire son bibliothécaire, son factotum, où s'il ne lui convient pas, elle s'engage de le placer convenablement; en conséquence il va partir à la fin du mois directement pour Kiov, où il trouvera ses instructions. Rabelais était en son temps curé et médecin; Gandon l'était également avant la révolution dans la ville d'Angers. Comme il à été obligé de laisser sa cure en France, je lui ai conseillé de laisser son titre d'abbé en Allemagne, et de ne se montrer en Russie et chez sa protectrice qu'en qualité de docteur en médicine, sauf à reprendre sa qualité ecclésiastique, si sa protectrice le juge à propos. Louis XVIII lui a accordé un passe-port.

Je termine ici ce Vortrag. Lorsque je pourrai rendre compte du quartier courant, Votre Majesté Impériale verra que mes fonds tírent à leur fin. J'ose donc supplier la suprême munificence de m'ordonner deux points sur lesquels elle a déja prononcé sur la fin de l'année dernière: le premier, d'appliquer à cette caisse une des remises de 10 mille roubles que j'ai touchées depuis peu; le second, de pourvoir sur cette somme à la subsistance du maréchal de Castries et de sa famille pendant cette année comme la précédente. Gelobt ſey der Name der Geſalbten, der Gutthätigen, der Geliebten, ohne &!

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 13 (24) auguste, 1796.

Madame,

J'étais précisément occupé à fermer une pancarte que j'avais griffonnée en partie d'après les intentions de Louis XVIII, et que le maréchal de Castries attendait pour partir et là remettre en mains propres à son Roi, qui désirait la faire porter à Votre Majesté Impériale par un courrier en même temps que ses paquets, lorsqu'on m'annonça le 1 (12) de ce mois, vers l'heure du midi, un messager de l'immortelle, et son nom était Nolken. Je me levai précipitamment. Mon premier mouvement fut de me prosterner à ses pieds, et de les arroser de mes larmes d'attendrissement et de reconaissance, en m'écriant: Qu'il est heureux, mais qu'il est aisé de se confier en elle! Elle n'oublie pas dans sa miséricorde celui qui n'existerait pas une minute sans elle. Ce n'est pas en vain qu'elle lui dit sur la fin de l'année dernière, lorsqu'il se jugea déjà privé et abandoné de ses messagers, garde-toi, souffre-douleur pusillanime et chancelant sans cesse dans ta foi. Garde-toi de craindre d'en manquer. Ne concevras-tu donc jamais, coeur endurci, tête sans cervelle, que je n'ai besoin ni de la présence de mon ministre,

* ton Herzblatt, à Francfort, ni de ta proximité avec la cour de Cobourg, ni d'aucun autre prétexte, pour perpétuer l'oeuvre de ma miséricorde que ma bonté soutient depuis 22 ans! — Voilà, Madame, la réception que je préparais au messager de Votre Majesté. Glücklicher Weiſe hielt mich der philoſophiſch ernſthafte Blick dieſes göttlichen jungen Mannes noch zu rechter Zeit von meinem Fußfall ab. Wäre ich ſo thränend und ſchluchzend auf ſeine Knie herunter geſunken, was für Muthmaßungen hätten nicht in ſeinem Kopfe entſtehen können? Natürlicher Weiſe hätte er zu ſich ſelber geſagt: Nun, was doch unſere große Kaiſerin für vortreffliche, aber auch für Narren-Köpfe unter ihren unzähligen Verehrern hat! Ich komme von einer Fürſtin her, welche mich auch mit gerührtem Herzen angeblicket, als ſie das edle Bild unſerer erhabenen Monarchin mit Ehrfurcht und Bewunderung empfangen; aber zu meinen Füßen iſt ſie doch nicht geſunken wie dieſer Pinſel, und zwar ehe er noch weiß ob ich auch nur ein Blättchen von kaiſerlicher Huld zu ſeinem Labſal in meiner Brieftaſche habe. Was würde denn aus dem Kerl werden, wenn er ſich ſelber in der erlauchten Gegenwart unſerer Kaiſerin befände? Da ſchnappte ſeine Verſtands-Feder vollends über. Il est heureux, Madame, comme je l'ai dit, que ce soliloque ait percé au travers du premier regard philosophique du messager, pour m'arrêter tout court, et lui épargner une scène, la plus simple du monde, mais dont il n'aurait jamais compris les tenants et les aboutissants. Au lieu de lui serrer les genoux, je me hâtai de lui conseiller le repos dont il avait besoin, afin de pouvoir donner libre cours aux ouragans dont je sentais les approches. J'étais loin de soupçonner la suffocation qui m'attendait à la place du soulagement que je croyais m'être ménagé. Tout en serrant contre mon coeur le paquet auguste que je venais de recevoir, j'ouvris la lettre arrivée avec lui de la part d'un serviteur de Votre Majesté Impériale que j'avais connu autrefois à Vienne, et pour qui j'ai toujours conservé un grand fonds d'amitié et d'estime. Je n'avais pas vu de son écriture, depuis qu'il est placé à Pétersbourg; mais j'avais toujours demandé des nouvelles de sa situation à mes bienfaiteurs arrivant du séjour de la gloire; et connaissant son zèle pour le service glorieux de notre Impératrice, j'avais appris avec satisfaction, qu'il travaillait toujours avec une égale ardeur à la propagation de l'espèce dans la vigne du Seigneur, et à meriter les bontés de son ointe dans la partie de la vigne des affaires étrangères qui est confiée à ses soins.

Pour donner une idée des sanglots que cette lettre a dû me coûter, des suffocations qu'elle a dû me causer, je n'ai qu'à la mettre ici sous les yeux de Votre Majesté Impériale. Qui pourra jamais concevoir qu'au milieu de la plus grande et la plus dangereuse crise de l'Europe, celle dont le génie embrasse d'un coup d'oeil et les périls et les moyens de salut, ait encore le

* temps de s'occuper aussi du salut d'un atome tel que moi, et de lui ménager dans cette crise universelle un asile dans lequel il puisse attendre paisiblement ce qu'elle daignera décider de son sort ou plutôt de celui de l'infortunée petite colonie que je porte depuis cinq ans sur mes épaules? Qui croira qu'avant de savoir par mes pancartes du mois de juillet, à quel excès de détresse, de pusillanimité et de désespoir je me suis trouvé réduit, elle ait tout prévu et remédié à tout? Ce qu'elle a daigné faire avant de connaître ma situation, est précisément ce dont j'avais besoin pour retrouver mon courage. Je ne voulais aller nulle part sans son attache, prêt à me transporter à l'extrémité du monde, si telle était sa volonté. Ich will, ich muß von ihr geleitet ſeyn. Ne vivant que pour elle, je ne puis exister que par elle. Maintenant je ne serai plus exposé à errer à l'aventure, je sais où porter mes pas, si avant le retour du printemps le danger approchait de nouveau de nos frontières, ce que je ne crois pas, et la certitude que là où je serai, je m'y trouve par sa volonté, par sa toute-puissante protection, m'a rendu tout à coup le calme et le bonheur. J'ai déjà reçu l'invitation en forme du prince d'Anhalt-Bernbourg, et je dois en faire également hommage à ma divinité tutélaire. Cette lettre m'a mis dans le danger éminent d'y faire une réponse en allemand avec tout le cortége des formalités germaniques, ce qui ne m'était pas arrivé depuis environ 50 ans; mais ce n'était pas le cas de renier ma patrie. Au reste, ce rapport intime qui existe entre notre Impératrice et la Providence, telle que les théologiens nous la représentent, ne fut jamais plus frappant pour moi que dans cette occasion. L'une et l'autre ne parlent pas, elles agissent, c'est en agissant qu'elles manifestent leurs volontés, qu'elles rendent leurs réponses; mais l'une et l'autre prévoient tout, préviennent tout, et au mal qui menace, le remède est déjà préparé, avant qu'il n'arrive. Ainsi dans toute cette divine pancarte par laquelle l'ange Nolken m'a rendu la vie, il n'existe pas une seule ligne qui fasse mention de cet asile si généreusement ménagé pour le moment de la détresse. L'immortelle ne dit pas au père des croyants, à Abraham souffre-douleur chancelant dans sa foi: prends ton bâton, et va-t-en avec ta caravane vers le pays d'Anhalt où tu trouveras hospitalité et protection; elle se contente de les faire annoncer par ceux qu'elle y a disposés par sa puissante et efficace influence, c'est par eux que le calme rentre dans le coeur flétri du souffre-douleur, tout comme le retour des rayons du soleil annonce à la terre attristée par de longues pluies, le retour de la fécondité, sans que la Providence le fasse publier au son des trompettes et timbales. Comment pourrais-je donc exister un instant, sans être prosterné aux pieds de cette providence visible qui depuis plus de vingt ans ne me perd pas plus de vue que les

* intérêts les plus précieux de son empire et de la félicité publique, et n'ai-je pas fait un véritable tour de force depuis 12 jours, de lui parler de la situation de Louis XVIII, de celle de la caisse d'émigration, tandis que j'étais continuellement suffoqué par des larmes d'attendrissement et de reconnaissance, et que j'avais le plus violent besoin de les épancher aux pieds de mon auguste et constante bienfaitrice? Mon bonheur avant cette fatale révolution consistait à me coucher tous les jours avec la certitude dont rien ne peut remplacer les délices, que lorsque je me coucherais pour ne plus me relever, mes derniers regards seraient doux et tranquilles, parce que je pourrais les fixer sur tous les objets de mon affection sans la moindre inquiétude sur leur sort après moi. Ce bonheur m'a été enlevé et remplacé par un ver rongeur sur leur sort à venir qui m'a souvent menacé de ma destruction; mais dans ce moment de foi vive qui s'est ressaisie de mon âme, aucune inquiétude n'en peut approcher; ma confiance sans bornes dans cette providence visible qui veille sur moi, me dit que depuis longtemps tous les objets de mon affection qu'il n'est plus en mon pouvoir de secourir, ont été formellement adoptés par elle, et qu'elle jugera peut-être digne de sa bonté de leur fixer, encore de mon vivant, d'une manière ou d'autre, un sort quelconque qui assure leur subsistance et me rende le bonheur de fermer les yeux tranquillement, en bénissant son nom glorieux avec l'accent ineffable qui accompagne les derniers élans d'une âme sensible et pénétrée qui touche au moment de sa dissolution.

Ce vendredi, 15 (26) auguste.

Le chevalier d'Augard, après s'être flatté pendant une partie de l'été, de voguer, en ma compagnie et celle de ma caravane, sur la Baltique vers le séjour de la gloire, vient de prendre tristement son parti, et de s'acheminer vers la terre promise à travers les sables des états Prussiens. Son respect pour les décisions de mon auguste Souveraine, est tellement religieux, que dès qu'il a su ce qu'elle pensait de la navigation sur la Baltique pendant ce mois-ci et les suivants, et la défense qui m'était faite de m'embarquer si tard, tout marin qu'il est ou qu'il était du moins jadis, il l'a prise aussi pour lui, et s'est décidé pour la route de terre, malgré la différence de la dépense. Indépendament du passe-port que Louis XVIII lui a donné, et celui que j'ai prié M. de Mestmacher de lui expédier, je n'ai pu me dispenser de lui donner une lettre pour Votre Majesté Impériale, qui n'est aussi qu'un passe-port, avec quelques éclaircissements ultérieurs sur le porteur; une autre pour M. le comte Factotum, où je supplie S. E. de faire

* part à Votre Majesté de l'arrivée du susdit porteur, et de prendre ses ordres à son sujet; une troisième enfin pour M. le comte Herzblatt, parce que le chevalier, en sa qualité d'émigré, le regarde comme le protecteur né ou plutôt créé par sa mission, de tous les Français loyaux. Il ne lui demande cependant d'autre service que de lui faire louer par ses gens un réduit modeste, parce qu'il redoute l'extrême cherté qu'il suppose aux hôtels garnis de Pétersbourg; mais ce petit logis, à côté ou le plus près possible d'une église catholique, parce que tout le temps qui ne sera pas consacré à l'Impératrice, le pélerin d'Augard le destine au culte et à l'adoration de son Dieu et Sauveur dont notre saint père, le Pape, est, à son estime, le vicaire visible sur la terre. C'est que, si je ne l'ai pas déjà fait, je dois dire à Votre Majesté que le pélerin que je lui dépêche est dévot comme un ange. Il est juste que la suprême dominatrice des coeurs soit en possession de toutes les quintessences, et comme elle possède déjà celle d'un dévot grec, soit dans la personne de l'Alexandre du Nord, mon protecteur et mon admirateur, soit mieux encore dans celle de M. le grand chambellan actuel, il faut qu'elle connaisse aussi la quintessence d'un dévot catholique romain, comme elle a dans son souffre-douleur celle d'un dévot orthodoxe luthérien. Au reste, on ne s'aperçoit aucunement dans la conversation du chevalier, de cette teinte forte de dévotion; on ne peut même s'en douter, parce que sa conversation est naturellement enjouée et semée de contes et de traits plaisants. Seulement s'il était dans notre pouvoir de ressusciter quelques grands hommes de l'antiquitté pour en connaître plus particulièrement le fond du sac, je craindrais que Votre Majesté ne fût plus pressée de s'entretenir avec César ou quelqu'autre vaurien de cette trempe, qu'avec le tapissier Saint-Paul, à qui le chevalier accorderait la préférence sur tous les autres. Ce que je crains le plus pour lui, c'est que tout le temps qu'il ne passera pas au palais impérial à se chauffer doucement, sa ferveur le portera à geler dans l'église de son Sauveur, ce qui pourrait entraîner des suites graves et même dangereuses pour son salut temporel. Il a voulu se faire faire un habit noir, et paraître dans cet accoutrement devant Votre Majesté Impériale, parce que, suivant lui, tout Français doit rester éternellement en deuil de la France; mais je l'ai dissuadé de cette idée lugubre, et je lui ai dit que pour se présenter convenablement devant Votre Majesté, l'habit décent était l'uniforme qu'il portait autrefois au service de France.

J'ai déjà observé à mon auguste Souveraine, que le chevalier d'Augard, pauvre comme un rat d'église, ou, qui pis est, comme un émigré, n'ayant ni laquais ni valet de chambre, et ne pouvant, surtout à cause de l'ignorance totale de la langue allemande, entreprendre tout seul un si long voyage, a

* trouvé dans le chevalier de Witry un compagnon et un ami qui lui tiendra lieu de tout. Celui-là, chevalier de Malte, né sujet de l'Empereur, mais ayant servi en France, a eu aussi un passe-port du roi Très Chrétien; mais n'étant pas moins dépourvu que le chevalier d'Augard, de toute ressource, et le voyage à deux doublant la dépense déjà trois ou quatre fois plus chère par terre que par mer, j'ai craint que les trois cents ducats que le principal voyageur a reçus, ne leur suffisent pas pour atteindre le séjour de la gloire, et j'ai cru pouvoir prendre sur moi de tirer 25 louis de France de la caisse d'émigration et d'en disposer en faveur du rat d'église Witry; c'est ce que Votre Majesté voudra bien daigner approuver après coup.

Par la même raison, et parce que vraisemblablement les deux pélerins arriveront avec une bourse peu garnie, il sera digne de la générosité de Votre Majesté de s'éclaircir le plus tôt possible sur l'objet de ce voyage, et si par malheur il était entièrement chimérique, de ne point permettre que le rêveur se morfonde dans la capitale du monde, ains au contraire, de le renvoyer miséricordieusement dans le faubourg d'où il est venu, et de hausser les épaules sans colère, weil es der gute Japaniſche Träumer doch ſo gut gemeynt hat. Mais il me sera bien plus doux d'apprendre que son secret et ses vues valaient bien la peine du voyage, parce que sans avoir la moindre notion du fond de son sac, je vois que s'il ne s'abuse pas, il ne s'agit de rien de moins que d'ouvrir à l'empire de Russie les mines du Pérou et du Potosi dans son voisinage, et que je voudrais voir toutes les richesses de la terre entre les mains de celle qui seule les saurait employer au bonheur et à la gloire de l'humanité. Tout ce que je désire encore, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il lui plaise d'accorder au chevalier d'Augard si profondément convaincu de l'importance de ses révélations, une audience ou seule ou en présence d'un de ses ministres, parce que son coup d'oeil d'aigle aura décidé en un instant du degré d'attention qu'elles méritent. Votre Majesté trouvera, au demeurant, à la suite de cette pancarte le testament du chevalier, qu'il m'a laissé en cas de mort en route, mais qui deviendra nul du moment où il se sera trouvé en sa présence auguste et à portée de dégoiser. Les trois lettres dont le renvoi l'occupe en cas de mort, sont celles que je lui ai données.

Puisque je suis à m'occuper de la prospérité de l'empire, il ne m'en coûte pas davantage de dépêcher à Votre Majesté encore un homme important tant pour la marine que pour les mines; mais celui-là se rend dans la capitale du monde à ses risques et fortune. C'est un habile mécanicien qui s'appelle Hitzig, sujet du margrave de Bade, qui lui a fait donner une recommandation pour M. de Koch, mon protecteur auprès du prince d'An-

* halt-Bernbourg. Cet homme prétend avoir inventé une machine qui dans un temps donné pompe d'un vaisseau de guerre ou d'une mine précisément le double de la quantité d'eau qu'on en obtient par les pompes ordinaires et par les moyens connus jusqu'ici. Il a aussi beaucoup d'autres machines et inventions pour l'exploitation des mines, et s'il tient ce qu'il promet, on ne peut nier que ce ne soit un homme précieux. Il m'a été recommandé pour mes péchés et pour contribuer au gaspillage de mon temps autant qu'il dépendrait de lui. Il a fallu promettre à ses protecteurs qu'il serait nommé à Votre Majesté. Sur l'insinuation qu'il m'a glissée, qu'une lettre pour le prince de Zoubov, protecteur connu de tous les arts utiles et agréables, comblerait tous ses voeux, j'ai eu l'honneur de lui répondre: Mon cher génie inventif, il faut savoir qu'avec les dieux on peut se permettre toutes sortes de libertés, voire même de témérités; rien avec eux ne tire à conséquence, parce que par leur nature, ils sont autant au-dessus de la nôtre, que la puissance de tes pompes, à ce que tu prétends, est au-dessus de la puissance des eaux dont elles se jouent; mais pas ainsi n'est loisible d'user avec les saints; chez eux l'étiquette est de rigueur, et l'on ne frappe pas à leur porte sans avoir préalablement obtenu les entrées.

Puisque le comte de Loss a prouvé à Votre Majesté par le rappel subit du grand Helbig, ce que peut sur lui un seul mot du souffre-douleur impérial, je n'ai pu à mon tour me dispenser avec lui d'une congratulation formelle à l'occasion de la décoration récente dont il est justement glorieux, ainsi qu'il paraît par sa réponse que je dépose dans mes archives.

Ce lundi, 18 (29) auguste.

Je ne conseille à personne d'envier l'état d'un vrai dévot. Il n'en est pas de plus pénible sur la terre. Il faut en avoir tâté comme moi, et être exposé d'en tâter encore journellement, pour s'en faire une idée. Sans un instant de repos, semblable au vif argent hermétiquement enfermé dans le tube privé d'air; haussant, baissant, dans une oscillation continuelle, il passe souvent en un clin d'oeil de l'extrême extase, du plus doux ravissement, de la plus brûlante reconnaissance, à la plainte, au murmure, à la colère, à l'indignation même. Ces terribles soubresauts sont malheureusement inévitables, parce que rien de ce qui vient de la part de l'objet de son culte, ne peut lui être indifférent, et plus cet objet est élevé et auguste, plus la passion du pauvre dévot est violente et excentrique, plus il est exposé à l'alternative subite du charme, de l'enchantement, de l'attendrissement, du ravissement, de l'égratignure, du picotement, de la meurtrissure et même de l'écorchure.

* Ces hauts et ces bas redoutables se sont cruellement fait sentir à ma dévotion ces derniers quinze jours, depuis que je suis en possession de la pancarte divine apportée par M. de Nolken. Il était naturel et nécessaire de donner dans le premier moment, pour ne point étouffer, un libre cours à l'explosion de mon attendrissement et de ma reconnaissance si violemment mis en jeu par la lettre de M. de Koch; mais au plus fort de ce paroxysme, je ne laissais pas de lorgner la pancarte divine, et d'y découvrir un nid de griefs qui me faisait redouter, avec raison, le moment où je serais obligé d'y fouiller. On me dira que mon auguste Souveraine daigne me donner assez de tablature toute l'année, pour que je dusse y être fait. Cela est bien vrai; mais comme elle ne pousse jamais deux bottes de la même manière, ni ne renvoie celles qu'on lui porte, par le même chemin, on ne peut se faire un système d'attaque ou de défense avec elle; le souffre-douleur est pris sans vert, la moutarde lui monte au nez, son sang froid se perd, et avec lui tous ses avantages.

J'ai été, par exemple, complètement démonté par la manière leste avec laquelle Votre Majesté a bien voulu se donner la peine de battre en brèche ma théorie, j'ose dire, aussi profonde que neuve sur la manipulation, et traiter avec moi le fait qui y a donné lieu. Si je fais mettre dans la gazette que je suis dans le secret du voyage du jeune roi de Suède, personne ne s'en étonnera, ni ne me demandera seulement comment et par qui j'y suis; mais combien on restera stupéfait quand je dirai que c'est de Stockholm que je tire mes lumières sur ce point important de l'histoire moderne! Tout le monde restera bouche béante; il n'y a que les plus fins politiques qui croiront avoir trouvé la pie au nid. C'est le danseur du bal de Katinka devenu ambassadeur, diront-ils, qui, en vertu de ses instructions secrètes, rend au souffre-douleur impérial un compte exact, direct et journalier du progrès de ce grand projet vers son point de maturité. Et moi, obligé de leur dire: Messieurs, je suis au désespoir de votre énorme dépense de sagacité en pure perte, mais vous n'y êtes pas; c'est aux attentions délicates de l'illustre Sider Yermalaïtch que je dois toute ma science. Il ne fait pas le plus petit préparatif pour ce voyage invariablement arrêté, sans enjoindre au célèbre Hamburgiſchen Correſpondenten de m'en rendre compte sur-le-champ. Ventre saint-gris! est-il suffisamment scandaleux d'en être réduit là? Eh bien, ce n'est rien, en comparaison de ce qui va suivre. Comment la postérité voudra-t-elle, pourra-t-elle croire que, renfermé dans mes notions que je tirais de la Suède aussi promptement que régulièrement, ne faisant de ma science que l'étalage le plus modeste et le plus rarement possible, ne me permettant pas

* la plus petite question indiscrète, il ait néanmoins plu à Votre Majesté de me mander gracieusement le 14 (25) juillet:

«A l'heure qu'il est, le roi de Suède, qui selon vos nouvelles devait ve-«nir ici cet été, n'est point arrivé encore, et nul ne peut dire qu'il arrivera».

Ho, ho! il ne faut donc pas s'y frotter. Puisque nul ne doit dire qu'il arrivera, je risquerai, pour éviter toute chicane, de dire à mes confidents au tuyau de l'oreille tout doucement qu'il est arrivé. C'est un article de foi dont je ne me départs point, et la foi est un don du ciel qui ne dépend pas de nous; ainsi avec la meilleure volonté du monde, je ne puis sacrifier la mienne au systéme d'incrédulité de ma suprême dominatrice.

«Or, continue son oracle, en se gobergeant de moi, la saison étant déjà «avancée, il est plus probable qu'il n'arrivera pas».

Et moi itou je le pense ainsi, et m'est d'avis qu'étant arrivé, il n'arrivera plus cette année.

«Cependant, continue toujours mon auguste oracle, si ce jeune homme «était libre de faire à sa fantaisie, il se pourrait très bien peut-être qu'il «vînt à tire d'aile: mais ceci n'est qu'une pure hypothèse, comme celle de «M. de Buffon sur la création du monde».

Et voilà tout à coup le souffre-douleur lancé dans les espaces imaginaires de la création, et fourvoyé dans les théories abstraites du Pline de la France, le tout pour d'autant mieux le dérouter du voyage du jeune roi.

A peine y a-t-il un mois que ces oracles ont été prononcés, et cependant on gagerait aujourd'hui cent contre un et à coup sûr, que dans ce même instant où j'ai tant de peine à réprimer l'indignaton qui m'étrangle, le jeune roi se promène en long et en large, et pas tout seul, à l'Ermitage, ou peut-être au palais Tauride, ou enfin à Tsarsko-Sélo. Ce serait bien tout à fait l'oeuvre du malin, si au moment où les pieds me trépignent et font danser de colère ma table et ma chaise, Sa Majesté dansait en personne le menuet avec Madame la grande duchesse dont Katinka et moi et peut-être aussi le jeune roi tout le premier, avons célébré l'anniversaire il y aura demain trois semaines. Non, je ne réponds pas de moi, s'il faut que j'aie rencontré juste. Ventre saint-gris pour la seconde fois! Das iſt zu fett, und ſo ein fier morceau à avaler hat unſere allergnädigſte Kaiſerin höchſt dero Herrn Schmerzbulder noch niemals auftiſchen laßen. Sechs points admiratifs!!!!!! ſo wie ſie heut zu Tage unſere größten Deutſchen Schriftſteller, wenn ſie ihre Bewunderung, beſonders aber ihr Befremden über gewiße unglaubliche oder unverantwortliche Vorfälle zu erkennen geben wollen, in ihren unſterblichen Schriften neben einander zu ſetzen pflegen, wären nicht hinlänglich auch nur den geringſten

* Begriff von meiner Befremdung und von meiner gerechten Empfindlichkeit zu geben!!!!!!

Mais peu contente de faire semblant avec moi, d'ignorer ce qui se passe dans son voisinage, et de vouloir me persuader que tout ce qui s'y fait et s'y fera peut-être encore, se fait et se fera tout seul, sans qu'elle y soit pour rien, la grande manipulatrice de l'Europe et autres lieux prend lestement sous oeuvre toute ma théorie lumineuse sur l'art de la manipulation, résultat d'une étude longue et opiniâtre et d'un enchaînement d'observations déliées et fines, de peur qu'en rendant justice à mon coup d'oeil d'aigle, elle n'aide elle-même les profanes à démêler une partie de son savoir-faire. Il est beaucoup plus court sans doute de renverser mes travaux systématiques comme un château de cartes; de prendre un air de sainte nitouche, et de m'assurer froidement que sa manipulation dans les affaires de Suède n'a été.... rien.... du.... tout. Il faut avaler cela, et croire comme l'évangile, 1°. Que quand on ne se remue pas à faire tout craquer autour de soi, on ne manipule rien. 2°. Que la grande manipulatrice n'a pas seulement pris garde à ce qui se manigançait chez son jeune voisin, et que si je ne lui en parlais pas, elle n'en saurait rien, peut-être pas même que le jeune voisin, à l'heure qu'il est, se promène chez elle. Ventre saint-gris, pour la troisième fois! Solche Pillen muß der Herr Schmerzbulder verſchlucken, ohne zu muckſen. Es wird einem dabey blau und gelb vor den Augen. Da iſt kein Mittelpunkt auf Gottes Erdboden: Ueber ſolche Zumuthungen und Aeußerungen muß ſich ein ehrlicher Schnips entweder halb todt lachen, ce qui se pratiquait chez les anciens moyennant le rire sardonique, oder ſich bis zur Gelb- und Schwindſucht ganz todt ärgern, et c'est le lot qui m'attend, si Dieu ne prend pitié de moi dans sa miséricorde.

Ai-je donc dit, vive Dieu! que pour manipuler habilement une affaire, il faut se démener comme le diable dans un bénitier? Assurément, si les démeneurs étaient de si grands sachant-faire, l'Europe en serait pavée, und man hätte das Vergnügen keinen Schritt zu thun, ohne über einen ſolchen großen Mann zu ſtolpern. Nun auf dieſe Art würde man ſich ja wohl gern den Hals brechen, und es wäre ſüß mit der Gewißheit zu ſterben, daß ganz Europa von großen Köpfen wimmelt und vollgepfropft iſt. Aber ſo behaupten im Gegentheil die gelehrteſten und erfahrenſten Männer als eine Fundamental-Wahrheit, que quand on veut manquer son omelette, il n'y a qu'à la tourner et retourner vingt fois dans sa casserole avec beaucoup de fracas. C'est à cette doctrine que je me suis rallié: selon cette théorie si savamment disséquée par moi, l'art de la manipulation consiste souvent à ne rien faire, plus souvent encore, tout en faisant, à avoir l'air de ne rien faire, et dans cette immobilité

* dont le plus habile observateur pourra être la dupe, souffrant tout au plus un clignotement imperceptible dans les yeux qui voient tout, sans avoir l'air de rien regarder, sachant quand tout est vu, ne pas faire plus de bruit que de besogne, et trouver dans sa pharmacie pour chaque bobo l'emplâtre qu'il lui faut.

J'ai connu à Paris un Napolitain qui s'appellait Persico. Il avait l'air, le ton et le maintien d'un homme bien élevé et de bonne compagnie. Il appartenait à la classe des hommes uniques, comme Philidor. Celui-ci, lorsque dans la guerre de sept ans, le prince Ferdinand de Brunswick gagnait une bataille sur les Français, disait froidement: je lui donne la tour. Il marquait ainsi d'un seul trait sa supériorité aux échecs sur un héros. Celle de Persico consistait à n'avoir pas son égal au billard. Il donnait aux plus habiles joueurs une avance d'abord de six, et puis progressivement, de huit, de dix, de douze et jusqu'à seize sur vingt. Que l'avance fût grande ou petite, il les laissait toujours arriver à dix-huit points, et lorsqu'il ne leur en fallait plus que deux pour gagner la partie, il la commençait et la gagnait, parce que la bille de son adversaire était obligée d'aller et de se trouver où il la voulait. Cela se faisait sans effort, sans contorsion, sans avoir l'air occupé de son jeu, presque sans mouvement de sa part. Il ne se donnait que celui qu'il fallait pour chaque position; et avec si peu d'application en apparence, il attachait tous les yeux sur son jeu.

Dire pourquoi ou comment ce Persico s'est représenté à ma mémoire ce printemps, tandis que j'étais sur mon grabat à moitié suffoqué et gravement travaillé par la fièvre, ce serait m'engager dans un dédale dont toute ma profonde théorie sur l'art manipulatoire ne me tirerait pas. Tant y a que je suivis de mon grabat, comme je pus, la partie du billard suédois; c'était tout autour, un mouvement et un train de l'autre monde. Sider Yermalaïtch et ses parieurs annonçaient hautement qu'ils avaient déjà dix-huit points contre zéro, et qne la partie était à eux; ils en acceptaient et exigeaient même les compliments de félicitation. Une seule de leurs billes jetée hors du billard avec une dextérité sans égale, me fit dire: Ho, ho! voilà du Persico! la partie ne fait peut-être que commencer. Sur quoi mon esprit familier me chuchote à l'oreille: Tu as raison, mon fils. Ton Persico que tu admirais à Paris, n'était qu'un type pronostiquant cette grande manipulatrice de l'Europe, qui depuis 34 ans fait constamment toutes les billes qu'elle veut, et à l'instar de ton Persico, ne se mêle de sa partie qu'au moment décisif, au dénoûment, pour la gagner à celui qui s'en croyait déjà sûr. Encouragé par ce chuchotement de mon esprit familier, qui ne se serait pas persuadé comme moi, que le moment de publier ma théorie sur l'art de

* la manipulation est arrivé, et que la grande manipulatrice ne pourra me savoir mauvais gré d'avoir, à force de génie, réduit en système palpable une science jusqu'à ce moment occulte, si longtemps et si supérieurement pratiquée par elle, et dont la quintessence ne consiste pas, comme le pensent les sots, à tricher au jeu, mais à avoir le coup d'oeil juste et exercé, et la main ferme et sûre? Point du tout. Pour le plaisir de ruiner ma doctrine, elle quitte subitement le billard, et si je l'en crois, elle ne sait pas y jouer. Quant à mes théorèmes, c'est du grec pour elle, et si je prenais la liberté d'observer à Sa Majesté, qu'elle n'est pas Impératrice des Grecs pour rien, elle me dirait, pour me dérouter, que c'est donc de l'arabe; et voilà la récompense des laborieuses élucubrations de mon traité sur ses parties de billard! Non, il faudrait plus qu'une patience d'ange pour se laisser continuellement désappointer de cette façon; mais aussi je sens que la mienne est à son terme, et si la bille me surmonte, je ne réponds pas que je ne lui dise tout crûment qu'elle n'est qu'une Persica. Or, ce mot une fois lâché, il est évident que c'est un sobriquet qui lui restera, et qu'Ekaterina Persica ira tout aussi bien à la postérité que tant d'autres sobriquets dont Sa Majesté restera infailliblement affublée. Ce qui me damne d'avance, c'est que personne ne saura que c'est son souffre-douleur qui lui a appliqué celui-là le premier; tout le monde croira au contraire, et les savants le prouveront systématiquement, qu'il lui est venu de l'expédition confiée à ce Valérien, autre Persico de son école, qu'elle a envoyé professer le billard dans les contrées persiques, pour leur donner un échantillon de la manipulation guerrière de notre Persica, quand on s'y frotte. Je croyais cependant avoir payé assez cher ses parties de billard par tant d'illuminations ruineuses, pour qu'il ne cherchât pas encore à m'enlever l'invention glorieuse d'un sobriquet pour notre auguste Souveraine.

Ce vendredi, 24 auguste (4 septembre).

Il n'échappera pas à la sagacité de Votre Majesté Impériale, que les affaires suédoises m'ont honnêtement échauffé la tête et fait faire assez de mauvais sang. Je ne sais, en vérité, comment je serais parvenu à y remettre un peu de baume et à rattraper cet équilibre que le sage ne doit jamais perdre, si je n'avais trouvé heureusement dans la divine pancarte un passage lénitif et restaurant, sous la date du 16 juillet:

«Il y a aujourd'hui onze jours que je me baigne dans l'eau de la mer «que j'ai fait porter ici de Hogland. Je m'en trouve à merveille».

Ces bains d'eau de la mer m'ont fait un si grand bien que je me suis

* retrouvé, en sortant de là, entièrement calme et rafraichi. Je désire qu'ils aient fait le même effet à Monsieur le vice-chancelier et consorts, après l'énorme scandale du caprice impérial si mal à propos manifesté à l'occasion de la venue du comte de Schwerin affectueusement dépêché pour une notification de parenté et de bon voisinage. Par bonheur, si Jean fut obligé alors de s'en aller comme il était venu, il ne s'est pas tenu pour battu, et il a repris depuis peu le chemin du séjour de la gloire avec un succès complet. Cette réparation éclatante du premier scandale a dû pareillement remettre du baume dans le sang de Monsieur le vice-chancelier, et lui faire le même bien qu'à moi les eaux de la mer de Hogland. Je l'en félicite de tout mon coeur.

J'avoue que les dernières pages de la divine pancarte qui m'a tant étouffé d'attendrissement, de reconnaissance et de colère, ne m'ont pas été aussi salutaires et rafraichissantes; j'ai cru lire un chant de l'Arioste ou du Tasse. J'avais bien besoin de me retrouver dans ces siècles magiques et chevaleresques; au milieu de héros pour qui la gloire, l'honneur, la loyauté et la générosité sont sacrées, au moment où dans notre midi et dans l'atmosphère qui m'enveloppe, une horde d'avocats et de procureurs devenus bandits et assassins, a proscrit tous ces sentiments, en a déclaré les termes criminels et coupables, et est parvenue à les bannir entièrement du dictionnaire d'une nation jadis féconde en héros et célèbre par ses moeurs douces et sociales! Le sommeil étant à peu près le seul bien qui nous reste dans ces temps d'affreuses calamités, Votre Majesté croit-elle donc qu'il est bien aisé de s'endormir, quand on a l'imagination frappée par les charmes voilés de la belle et spirituelle princesse Peredje-Chanum qui à travers son voile vous darde des traits, et vous lance des regards capables de vous percer le coeur d'outre en outre? Ai-je prié le plus loyal et le plus galant des chevaliers de notre temps, de me remplir le cerveau de tableaux qui élèvent l'homme au-dessus de lui-même, ennoblissent ses sentiments, embellissent son existence? Que faire de tout cela dans un siècle de boue et de fange? Si le loyal et galant chevalier ne me laisse pas en repos avec ses prestiges, je le débaptiserai et l'appellerai Tancrède tout court, sans autre cérémonie: ou bien, s'il tient à son baptême grec, parce qu'enfin la dévotion est un trait caractéristique des vrais chevaliers, je ferai mettre dans la gazette son adresse toute entière: A Tancrède-Valérien-Persico, à l'enseigne du noble Jeu de Billard de la grande manipulatrice, sur les bords du fleuve Cyrus et de l'Arax, à une distance respectueuse de la tente de la belle et spirituelle Peredje-Chanum aux plus beaux yeux du monde perçant coeurs et voiles, &c. &c. &c.

* Afin d'écarter promptement toutes ces images importunes, je vais fournir au Tasse ou à l'Arioste de ma divine pancarte, des matériaux pour faire, moyennant le contraste le plus frappant, le pendant de son galant et loyal chevalier dans la personne du citoyen Jourdan, général des sans-culotte. Son entretin avec le major de Gutschmid, fils du principal ministre de l'electeur de Saxe, würden die Deutſchen Künſtler in ihrer Sprache ein Gegenſtück heißen. Il ne figurerait pas, à la vérité, dans l'Iliade ou dans la Jérusalem délivrée; mais ces monuments méprisables de l'ancien testament de l'histoire du genre humain ne survivront pas à l'époque brillante de la délivrance du genre humain, et de sa réintégration dans ses droits primordiaux et inaliénables, par l'heureuse invention de la véritable liberté, trouvée en France l'an 1789, vieux style. Tout ce que je crains, c'est que le peintre du galant et loyal chevalier ne soit guère propre à entreprendre un tableau de l'importance de celui du citoyen Jourdan et de son état-major. On ne peut faire un pas dans ce siècle de fer sans s'apercevoir de la pénurie des talents adaptés à la régénération du genre humain et au recouvrement des droits de l'homme.

Ce dimanche, 31 auguste (11 septembre).

Béni soit le nom de l'immortelle d'âge en âge, parce que sa bonté est sans bornes, et sa puissance ne sert que sa bienfaisance. Voilà le verset du psaume qui se chante à tous les instants du jour dans la chapelle des gens de Grimma, et qui va se répéter dans la chapelle de Teresina de Maron avec ferveur et componction. Quelle joie la nouvelle du bienfait si généreusement accordé va porter dans le coeur de cette pauvre Teresina! Voilà le repos de sa vieillesse garanti comme celui de Corilla, pourvu que les hordes barbares ne réussissent pas à le troubler, en bouleversant la patrie des arts comme tant d'autres pays. J'ai reçu conformément aux ordres de Votre Majesté les 140 zecchins destinés à payer son dernier tableau; mais avant de les faire aller à leur destination par lettre de change, il faut savoir si dans les circonstances désastreuses actuelles ils y peuvent arriver avec sûreté. Une autre raison m'oblige de différer ce paiement. C'est que le tableau envoyé de Rome à Trieste par mer, pour m'être expédié de là, ne m'est pas parvenu, et je crains bien qu'échappé à l'invasion de l'Italie, il n'ait péri au milieu de celle de l'Allemagne. S'il reste perdu, ce ne sera pas faute de perquisitions de ma part. Si ce malheur devient sans remède, je présume que l'auteur n'y ayant aucune part, la bonté suprême ne voudra pas qu'il perde le fruit de son travail; cependant je ne saurais, pour rester toujours en règle,

* lui faire ce paiement dans cette supposition, sans en avoir reçu l'ordre exprès de Votre Majesté. Si le comte Cassini est aussi religieux exécuteur des ordres sacrés de notre auguste Souveraine, que le souffre-douleur, il paiera à la fin de cette année à Teresina de Maron 50 zecchins pour les six premiers mois de sa pension impériale, et la joie habitera avec la reconnaissance dans le coeur de Teresina.

Si nous avons osé prendre en vain le nom de la très haute, pour le salut d'Antoinette Marchais, nous n'avons pas su mentir. Ce nom auguste lui a fait ouvrir les portes d'Egra avec les plus grands égards possibles; mais aux questions multipliées qui ne pouvaient manquer d'être faites, Antoinette a toujours répondu qu'elle n'avait jamais eu le bonheur d'approcher cette grande Souveraine; mais qu'en sortant des eaux, elle avait la permission de se rendre à ses ordres, ce qu'elle comptait bien faire avec toute la colonie.

Votre Majesté verra par les lettres du comte d'Avaray, ce que le roi de France désire de moi. La dernière de ces lettres m'est arrivée ce matin par estafette. Dans toutes mes réponses j'ai toujours déféré aux désirs du roi Très Chrétien, et promis de garder M. de Nolken, convaincu que cette déférence est entièrement conforme aux intentions de Votre Majesté Impériale. Je ferai donc aller M. de Nolken à Blankenbourg avec mes paquets, dès que le roi me le demandera, pour continuer de là sa route. J'ai jugé dès le commencement que par écrit on refuserait au roi d'attendre le retour de son courrier à Blankenbourg, mais que tout bas parlant au tuyau de l'oreille, on le lui permettrait, afin de ne pas manquer trop ouvertement de respect aux vertueux républicains. Je vais fermer cette pancarte, après y avoir ajouté une épître du pair d'Ecosse; mais j'en vais recommencer immédiatement une nouvelle, pour continuer mon griffonnage jusqu'au départ de M. de Nolken.

Lettre

de M. le maréchal de Castries, du 15 août 1796, de Leipzig.

J'ai mis sous les yeux du roi, Monsieur le baron, les points qui me paraissaient intéresser ce prince, que je vous avais communiqués, et d'après lesquels vous aurez pu transmettre votre sentiment à l'Impératrice.

Il y a deux de ces points sur lesquels j'ai erré par l'ignorance dans laquelle j'ai été des faits exposés dans ma note. Quant au premier, il faut observer que le roi n'a point quitté l'armée sur les ordres réitérés de l'Empereur, puisque la cour de Vienne avait suspendu enfin toute semonce à ce sujet; mais par ce que les armées impériales non seulement se réduisaient à la défensive, mais qu'elles s'éloignaient par leurs mouvemens rétrogrades

des frontières de France, ce qui n'avait plus de rapport aux vues politiques et militaires qui associaient Sa Majesté aux opérations de ces armées.

Le second point qu'il faut rectifier, c'est que je vous ai donné pour raison principale, que la blessure du roi l'avait empêché de se rendre tout de suite en Russie. Cette raison n'est pas la seule qui l'ait retenu. Il rend compte à l'Impératrice d'un fil intéressant qu'il tenait avec l'intérieur, qu'un éloignement trop considérable romprait, et qu'il lui était important de conserver.

Voilà, Monsieur le baron, les rectifications que je me dois et que je vous devais, afin que dans les motifs que je vous avais donnés, il ne se trouve aucune différence avec ceux que le roi donne à Sa Majesté l'Impératrice. Je vous renvoie en conséquence votre paquet par M. de Maleden, officier de l'armée de Condé, qui rapportera votre dépêche au roi à Mersebourg ou à Eisleben où ce prince sera dans quelques jours.

Vous pourrez en prendre deux au plus pour la rectification de votre dépêche. Le roi se détermine à envoyer un courrier à l'Impératrice, et vous prie de garder le vôtre jusqu'à ce qu'il ait pu savoir où il pourra se fixer.

Les princes d'Anhalt ont refusé d'accorder un asile provisoire à S. M. M. de Mestmacher qui les a vus, dit-on, pleurer, n'a rien gagné sur eux. D'après ce qui m'est revenu, il n'a pas osé les presser, n'ayant pas de mission ad hoc de sa cour. Le baron de Flachslanden qui aurait dû l'accompagner, n'a pas été avec lui. On a demandé à l'électeur qui a refusé de recevoir le roi, son cousin, des lettres de recommandation pour les princes de la maison d'Anhalt: or vous pouvez juger du peu de force que devait avoir la recommandation d'un souverain qui se refusait à faire ce qu'il demandait qu'on fît pour le roi.

Je dois vous ajouter qu'on dit que le prince de Dessau est taxé de démocratie, et que la maison en général ne fait que ce que la cour de Berlin désire: or elle n'a pas eu le temps de la consulter dans cette occasion. Si la puissante influence de l'Impératrice ne parvient pas à obtenir Zerbst, il est évident que le roi ne l'aura pas. Cependant de toutes les résidences, celle-là sérait la plus désirable, si l'armée d'observation de la basse Allemagne venait à se séparer. En toute hypothèse, si Sa Majesté Impériale ne procure pas un asile au roi, ce prince sera par trop à plaindre.

En attendant cette décision, je vais tâcher d'obtenir du duc de Brunswick un passage assez lent par ses états, pour y recevoir de retour le courrier qui va être expédié à Pétersbourg. Si cette faveur était aussi refusée, je ne vois plus que Jevern où le roi pourrait aller, pour y attendre ce que le retour de son courrier lui apprendrait des intentions de l'Impératrice. Si vous

* pouviez me mander à qui l'on pourrait s'adresser en cas de besoin pour y être reçu, ou me procurer d'autres renseignements sur cette principauté, vous obligerez le roi.

Je pars demain pour Brunswick, afin de parler à M. de Féronce dans l'absence du duc, et de voir ce que nous pouvons espérer de ce côté. Adressez-moi votre réponse à Wolfenbuttel, et donnez vos paquets pour la Russie à M. de Maleden, qui les portera à M. d'Avaray dans le lieu que son instruction lui fixera, et que je vous ai indiqué précédemment, c'est-à-dire à Eisleben.

Un malentendu a été cause que le roi a séjourné à Altenbourg, et que M. d'Avaray n'a pu recevoir mon estafette de Gotha à temps. Pour suppléer à cet accident, il m'a dépêché un courrier qui m'a rencontré à quelques lieues d'ici. Il m'a remis des dépêches qui vous étaient adressées pour le cas où je ne fusse plus à Gotha. Il y avait aussi pour vous dans ce paquet une lettre du roi et une de M. d'Avaray que je vous envoie ainsi que la dépêche pour la Russie que vous m'aviez confiée, afin que vous y fassiez vos changements.

M. de Nolken a passé ici hier. D'après ce que vous lui avez prescrit, il m'a demandé les ordres de M. le baron de Rosières. Je lui ai donné par écrit, ainsi qu'il l'a désiré, qu'il devait s'en retourner près de vous, après avoir fait sa commission dans la prircipauté de Zerbst. Je suis chargé de la part du roi de vous remercier de cette attention.

On parle beaucoup ici de la neutralité du cercle de la haute Saxe. Je crois qu'il n'y a rien de fini à ce sujet; du moins l'électeur de Cologne, qui est venu chez le roi, a dit qu'on ne le lui avait pas mandé.

A Grimma-Gotha, ce mercredi, 10 (21) septembre 1796.

Madame,

J'avais fermé ma précédente pancarte avec le reproche secret de m'être trop livré à un ressentiment, à la vérité, légitime sur plusieurs passages de la divine pancarte que j'avais sous les yeux. Je sentis l'approche de deux des plus grandes fêtes de mon calendrier, celles du 5 (16) et du 6 (17) septembre. Pour les célébrer avec un coeur aussi pur que ma dévotion pour l'immortelle, je cherchai à dissiper par un dernier effort les nuages dont mon humeur était encore restée offusquée. En y regardant de près, je découvris encore un grief dont je ne pouvais me promettre l'oubli sans l'avoir

* offert au repentir et à la réparation de la conscience impériale. C'est qu'il avait plu à Votre Majesté d'attaquer directement aussi mon dogme de la trinité siégeant sur le trône de l'empire grec, en me mandant un peu cavalièrement:

«Vous rêvez, mon cher souffre-douleur; je ne vois personne assis auprès de moi».

Quoi, m'étais-je écrié, après avoir eu ces deux fidèles acolytes à côté d'elle pendant 34 ans, elle veut avoir tout à coup ses coudées franches? il lui prend fantaisie de ne plus voir personne assis près d'elle, et de rayer de cette manière la trinité d'un trait de plume de mon catéchisme orthodoxe? C'est donc à dire que j'ai eu la berlue, quand j'ai vu ces deux acolytes sur son trône à côté d'elle? Je ne suis donc qu'un visionnaire? Mon orthodoxie en fait de dogme est si susceptible qu'elle flairerait une hérésie à une lieue; je me promis donc, en reprenant la plume, de débuter par relever celle-là, et je me tiens parole. Mais aussi, après avoir mis ainsi à couvert les intérêts de mon orthodoxie inébranlable, et vengé la pureté de mon dogme, j'espérais avec un coeur débarrassé de tout mauvais levain, me livrer sans réserve ma dévotion pendant les deux grands jours que j'avais à solemniser. Le premier était le ving-troisième anniversaire de mon arrivée des faubourgs dans la capitale du monde; le second, celui de mon admission en la présence de cette souveraine qui depuis cet instant devait disposer de ma destinée comme de celle des empires de la terre. Pour rendre cette année ma dévotion encore plus fervente, les jours de la semaine répondaient exactement aux jours de cette semaine de l'an 1773 à jamais consacrée dans les annales de ma vie; c'était un vendredi que j'avais fait mon entrée dans la capitale du monde, c'était un samedi que le premier regard de cette Souveraine auguste était tombé sur moi.

Tout était préparé dès la veille pour célébrer ces deux grands jours avec plus de recueillement que de pompe. Ils avaient laissé en moi des souvenirs ineffaçables. Les plus petites circonstances de ces moments fortunés se retraçaient à mon imagination comme si elles s'étaient passées hier. Heureux par mes souvenirs, heureux par ma reconnaissance, heureux par cette étoile vraiment miraculeuse qui depuis 23 ans attache ma destinée insignifiante à la première destinée du monde, mon coeur devait s'abandonner pendant ces deux jours d'alégresse et de réminiscence au délire de ses plus doux épanchements. Que j'étais loin de me douter de ce qui m'arriverait, et de l'agitation aussi violente que soudaine qui en serait la suite et remplacerait cette douce et paisible dévotion à laquelle je comptais me livrer.

* Le premier objet qui s'offre à mes yeux au moment de mon lever, ce sont deux lettres arrivées par la poste qu'on m'apporte. J'y reconnais ce caractère auguste que je n'aperçus jamais sans le plus redoutable bondissement de mon coeur, et je m'écrie: quel beau début d'un beau jour! Je n'en avais pas encore brisé le cachet, qu'on m'annonce un messager de l'immortelle, et la tête achève de me tourner de cette réunion de bienfaits dans un jour si solennel; mais bientôt la remise du paquet du collége des affaires étrangères et l'inscription que j'y remarque, me font tomber de la plus extrême surprise dans un anéantissement total. Je conserve cependant assez de tête pour me dire qu'il faut, avant tout, ouvrir les lettres arrivées par la poste, parce que leur date doit précéder de plusieurs jours celle de la lettre de Votre Majesté Impériale remise en ce moment par M. de Kolichkine avec l'expédition de ses ministres. La seconde de ces lettres, sous la forme d'un simple bulletin de nouvelles, m'en annonce trois bien disparates. La première, qui me regarde, me pétrifie; la seconde, qui me fait part de l'arrivée du comte de Haga, m'enchante, et la troisième, qui m'apprend l'approche de 60 mille enfants de la victoire avec leur invincible conducteur des bords de l'Elbe, me ravit au troisième ciel. Tout ce que mes lèvres tremblantes peuvent balbutier, c'est que dans la manière de faire les grandes choses et de régler les petits détails, c'est toujours elle qui n'imite personne et que personne ne sait imiter, et dans la manière d'annocer les mesures les plus décisives et les bienfaits les plus touchants, c'est encore sa tournure unique et inimitable. A la fin de son bulletin elle me conseille de me préparer à des tours de griffe, au moment où la griffe de sa bienfaisance vient de saisir mon coeur et le tient empoigné, et je dirais volontiers à ceux qui sont menacés: Si la griffe de ses bienfaits même est redoutable aux coeurs sensibles, comment ne craignez-vous pas celle de sa justice, vous qui ne marchez pas dans la voie droite? Avec sa griffe dans le coeur, je découvre par la lettre dont la date précède ce bulletin, que six jours auparavant, mon auguste bienfaitrice n'avait aucunement songé à me décocher ce coup de massue, puisqu'elle m'apprend que le comte de Romantsov est chargé de chercher et préparer l'asile pour moi et ma séquelle dans le port de notre salut; et six jours après que ce coup est porté, elle en ordonne l'expédition, et toujours semblable à elle-méme, elle s'en rapporte à mon goût pour décider de la manière dont il me plaira d'envisager ce qui vient de m'arriver.

Votre Majesté ne sera pas surprise quand je lui dirai que ce n'est pas dans ce premier moment de surprise et de pétrification, que je fus en état d'avoir un avis sur ce qui m'était arrivé de bien ou de mal; que tout ce que je sentis alors, ce fut l'impossibilité de solenniser mes deux anniver-

* saires avec une tête entièrement bouleversée, avec une âme si parfaitement troublée par une nouvelle aussi inattendue. Il fallut d'abord s'abandonner de bonne grâce à la tempête des premiers mouvements, et laisser au temps le soin de calmer l'effervescence des agitations de mon coeur. C'est aujourd'hui pour la première fois que je me flatte de pouvoir essayer de prendre la plume avec l'espérance de mettre quelque ordre dans mes idées.

Accoutumé à ne rien cacher à Votre Majesté, je suis forcé de lui avouer que mon premier mouvement a été un mouvement de vanité. Quoi, je serai à elle, uniquement à elle, à la face de l'Europe! J'acquiers la certitude de mourir à son glorieux service, publiquement avoué par elle, tout comme je suis sûr de rester son souffre-douleur jusqu'à la fin de mes jours, et qu'elle n'en aura pas même un second après moi! Personne n'osera plus me contester de lui appartenir exclusivement, ni me demander compte de cette existence amphibie, et comment avec un coeur tout entier à elle, j'ai pu passer ma vie affublé d'une autrelivrée que la sienne! Partout où je paraîtrai dèsormais, son nom glorieux planera sur ma tête, et m'attirera les respects et les hommages que toute la terre s'empresse de lui rendre, mais dont le tribut est payé diversement, par les uns avec amour et passion, par d'autres avec une crainte salutaire et nécessaire! Dès cet instant, Madame, je me suis senti l'âme plus élevée, j'ai retrouvé son ancienne trempe, et dégagé de cette fange révolutionaire dont la proximité est déjà une souillure, j'ai rélevé la tête avec plus de fierté et d'assurance. Ce mouvement a été assez fort pour faire taire toute autre réflexion, pour étouffer tout autre sentiment. Résolu depuis longtemps, en ne cachant à mon unique bienfaitrice aucune des jouissances ni aucune des peines de mon coeur, de me soumettre aveuglément à ses décrets, comme aux immuables décrets de la destinée, je ne me demande pas seulement, comment, m'étant trouvé trop vieux en 1773 pour me vouer à son glorieux service, il ne me vient aucun scrupule à cet égard 23 ans plus tard. En vain je me rappelle cette sage maxime de mon vieux maréchal de Biron, que c'est tandis qu'on a encore toute sa tête, qu'il faut s'interdire l'acceptation de tout nouvel emploi, parce qu'on ne l'a pas si tôt perdue, qu'on se croit capable de tout. En vain je me rappelle aussi ce sage projet de souffre-douleur Memnon second du nom, de se faire enterrer publiquement en 1790, afin de ne plus vivre que secrètement pour lui tout seul, et de consacrer le reste de ses jours ignorés à l'unique occupation d'écrire à la suprême dominatrice de son coeur, mais pour son propre compte, sans plus se charger d'aucune commission étrangère auprès d'elle, mais pour lui faire toutes les déclarations de ce coeur qui n'existe que pour

* elle et par elle, et qui se rappelant la maxime des mourants: «qui n'a plus qu'un instant à vivre, n'a plus rien à dissimuler», ne voulait pas cesser d'être sans qu'elle sût tout ce qu'elle lui a été, tout ce qu'il a été pour elle. En vain je me demande enfin comment je ferai pour remplir les devoirs de mon poste, et comment on ose prendre un emploi sans être sûr d'y faire son devoir, au moins comme l'exige Rabelais, taliter qualiter, tellement quellement. Je réponds à tous ces scrupules, que ma souveraine bienfaitrice ne prétend pas me confier un emploi; qu'elle sait bien que tous mes emplois dans cette vie sont faits; qu'elle n'a voulu que me donner un témoignage public de protection, et laisser à la postérité un monument éternel de sa bonté inépuisable pour celui que son étoile a réduit, suivant l'évangile, à beaucoup aimer sans servir. Que sa sagesse prévoit dès à présent que son service n'en souffrira pas longtemps; que ce poste ne servira à son souffre-douleur que de passage pour arriver doucement et promptement et glorieusement au repos, et que pour le coup il pourra dire que la synagogue sera enterrée avec honneur. Qu'en conséquence cette bonté suprême disposera aussi dès à présent ses supérieurs à l'indulgence envers l'instrument le plus chétif qu'elle ait jamais mis entre leurs mains pour son service, en leur déclarant qu'en me confiant ce poste, elle m'a en même temps accordé les invalides, auxquels j'ai un droit acquis par mon âge qui supplée ici aux services.

Voilà, Madame, avec quelle sécurité j'ose me soumettre à la volonté et à la décision souveraine de Votre Majesté Impériale; mais je ne saurais ajouter que cette soumission soit pure et simple, et que j'accepte ce qui m'arrive de bien ou de mal du fait de la suprême puissance, sans que je fasse mes conditions de mon côté.

1°. Aucune puissance humaine, aucun avantage de la terre, aucune place, aucune dignité ne pourrait me faire renoncer au droit d'adresser mes pancartes à mon auguste Souveraine, ni à l'espérance d'en recevoir de sa suprême bienfaisance ni plus ni moins que par le passé. Ses pancartes sont le premier soutien de mon existence, les miennes sont la plus importante occupation de ma vie, qui ne peut cesser qu'avec elle. Toute autre occupation ne peut marcher qu'après celle-là, et voilà pour quoi il est très douteux qu'il me reste assez de temps et de forces pour remplir les devoirs de ma place; mais pour l'instant que je dois l'occuper, cela est assez égal, comme je l'ai déjà observé, et comme Votre Majesté l'à sûrement pensé en me conférant cette place. J'ose donc supplier mon auguste Souveraine de confirmer à son souffre-douleur ce privilége précieux des pancartes à griffonner et à recevoir, auquel il ne pourrait renoncer sans renoncer à la vie.

* Cette confirmation expresse est une condition sine qua non, parce que de son refus mort s'ensuivrait.

2) Les ministres du département des affaires étrangères dans l'expédition qu'ils m'ont fait l'honneur de m'adresser, ont fixé les appointements de ma place à six mille roubles. Il plaira à votre Majesté Impériale de se rappeler que je jouis depuis près de 20 ans d'un don annuel de deux mille roubles payé par le cabinet à titre d'appointements. J'ai été longtemps confus à l'excès d'une grâce si considérable et si peu méritée; mais je ne sais comment il arrive qu'à force de durer, le titre le plus précaire devient précieux, surtout pour un homme, comme moi superstitieux à l'excès pour tout ce qui a duré. J'ose donc supplier Votre Majesté de ne point supprimer cette grâce première et ancienne, et de permettre que son cabinet continue à me la payer sous le même titre distinct que par le passé, sauf à fixer les appointements de ma place au taux qu'elle jugera à propos.

3) Lorsque l'Empereur Joseph, pour qui j'ai toujours du faible, weil ſein Herz an meines Herzens Weide faſt eben ſo ſtark als ich ſelber hang, m'accorda le diplome de Baron du Saint Empire Romain il y a vingt ans, il me conféra le titre de Baron Grimm de Grimhof, avec le droit de m'en servir ou non, à mon choix, droit pour lequel il faut payer une taxe à part. J'aimais ce titre à cause de sa terminaison en of, et je me croyais plus près, moyennant elle, d'être Russe; mais ayant vieilli avec mon nom, j'ai laissé ma terminaison Russe vieillir dans mon diplome, qui, par parenthèse, m'a été volé à Paris par les brigands avec le reste. Aujourd hui j'ose demander à mon auguste souveraine le nom qu'elle ordonne à son ministre de prendre dans sa mission.

4) J'aurais voulu que sa bonté m'eût fixé le temps précis où elle désire que je sois à mon poste, parce qu'il m'est si doux de me dire: je fais sa volonté. Puisqu'elle n'a pas daigné la manifester sur ce point, je vais me hâter de me débarrasser de ses deux messagers; après quoi je médite une course de quelques jours à Leipzig où j'espère rencontrer M. de Mestmacher, et engager peut-être milord Findlater de venir me faire visite, puisqu'il a l'air de me faire faux bond à Gotha où il devrait être depuis plusieurs jours. Quant au premier, c'est un vieux routier chez lequel je vais me mettre en apprentissage pendant deux jours, pour préserver, s'il est possible, un jeune débutant dans la carrière du danger de faire des pas de clerc à l'égard de ses supérieurs. De retour ici, je m'apprêterai à faire mes paquets; mais quelque diligenec que je fasse, je ne pourrai manquer de tomber dans la mauvaise saison. Mon chemin pour me rendre d'ici à Hambourg, me mènera par Brunswick où je trouverai sans doute le duc de retour de Minden. Je vais

* en attendant lui dépêcher M. de Kolischkine, qu'il a prié de repasser pour se charger de son paquet.

5) Dans toute la correspondance de cette année sur le grand voyage si vivement projeté par nous, si constamment renvoyé par l'arbitre suprême de nos destinées, sa généreuse, j'oserai dire sa tendre sollicitude pour ma conservation malheureusement si inutile et si indifférente, s'est manifestée à chaque ligne et m'a troublé le coeur d'attendrissement et de reconnaissance. En dernier lieu, je viens de découvrir que par une suite de l'habitude de ces soins dèlicats dont on voit les traces dans tous les arrangemens de votre Majesté, il n'est pas entré dans ses vues de me séparer de ma petite famille d'adoption, parce qu'elle suppose que l'habitude de vivre entouré par elle m'est devenue nécessaire-et pour ainsi dirc une seconde nature. Il est bien vrai que les malheurs resserrent les liens de l'amitié et que les infortunés trouvent nne sorte de douceur à être à côté les uns des autres, lors même qu'ils ne peuvent s'être d'aucun secours. Il est bien vrai que les enfants de ma pupille ont de grands droits sur moi. Ich kann nicht läugnen, mein Herz hängt ganz an ihnen, et le peu de moments de relâche que mon écritoire m'accorde pour mon délassement, leur appartient de droit. J'ai toute ma vie aimé les enfants avec passion, je les ai constamment étudiés avec le plus grand intérêt, et tout ce que je puis avoir acquis de connaissance des hommes, je le dois à cette étude; mais jamais je n'ai vu ni connu des enfants qui, tous trois d'un caractère très marqué et fort divers, aient avec une figure plus intéressante, annoncé un plus heureux naturel et une disposition morale plus désirable. Depuis quelque temps j'en ai parlé à Votre Majesté le moins que j'ai pu, parce que me flattant du bonheur de les conduire cette année aux pieds de leur unique protectrice, je devais me garer du piége de trop faire valoir ma marchandise, crainte d'affaiblir l'impression favorable si essentielle au premier coup d'oeil qui devait décider de leur sort. Ce qui me rassure cependant contre toute espèce d'aveuglement de ma part, c'est que tout le monde les voit des mêmes yeux que moi et prétend que si entre mille enfants il fallait choisir trois filleuls à Votre Majesté, le choix tomberait indubitablement sur eux; ce qui m'en plaît encore, c'est que cette faveur publique qui en toute occasion leur attire des préférences sur les enfants de leur âge, ne fait pas sur eux la moindre impression de vanité. Aber dieses Hangs meines Herzens ohngeachtet, comme il faut aimer ses amis pour eux et non pour soi, j'ai toujours désiré avec passion de me séparer de mes enfants et de leurs parents, et de les voir rendus au seul port de salut qui leur reste, mais aussi au plus propice de la terre entière. Comment pourrais-je désirer de les garder, à leur préjudice, près de moi, pendant le peu d'instants de navigation

* qui me restent pour le port où l'on est sûr d'aborder, et qu'importe, après tout, au moment où l'on touche à ce port, de rester seul sur le navire ou entouré des soins de l'amitié? Cette dernière manière d'arriver est sans doute préférable, mais autant seulement qu'elle ne tourne pas au préjudice de ceux que nous retenons près de nous. Je me suis déja fait ce reproche plus d'une fois à l'égard de mes enfants, et aujourd'hui que la bonté de mon immortelle bienfaitrice me fait clairement entrevoir qu'elle les retient près de moi pour ma consolation personelle, je deviens presque coupable à mes yeux. Quoi, me dis-je, un si grand nombre d'émigrés, n'ayant d'autres titres à ses bontés que leurs malheurs, ont pu obtenir la permission d'approcher de son trône glorieux, et jouissent de ce bonheur depuis longtemps, et ma petite émigrée, honorée de sa protection auguste presque depuis qu'elle est au monde; qui lui doit tout, c'est moi qui l'ai empêchée, qui l'empêche encore, d'aller se jeter à ses pieds, d'y conduire ses enfants, et de lui dire: Daigne jeter un regard de miséricorde sur celle que ta bonté puissante a tirée du néant, et sur ses enfants qui sans cette bonté n'auraient jamais vu le jour. Je ne puis aujourd'hui me dissimuler que si ma petite émigrée avait été moins près de mon coeur, il y a longtemps qu'elle aurait joui de ce bonheur inappréciable, et que je n'aurais plus aucun souci sur son sort à venir. Maintenant, quoique la volonté souveraine ne se soit pas expressément expliquée sur ce point, il me paraît qu'elle veut et entend que je ne me sépare pas de mes enfants, et que j'en reste entouré à Hambourg comme ici. Il faudra cependant bien que je m'en sépare d'abord, et Dieu sait pour combien de temps. Il faudra bien que je me rende d'abord seul à Hambourg. Au lieu d'une grande affaire, j'y en aurai trois capitales. La premiere sera, um nicht aus der Übung zu kommen, d'écrire jour et nuit à mon auguste souveraine comme si de rien n'était, et que je ne fusse pas son ministre. La seconde, de me mettre autant que mes forces le permettront, en état de remplir ma place taliter qualiter, ce qui ne laissera pas que de m'absorber dans les commencements. Mais la troisieme, celle de monter ma maison, sera sans contredit la plus pénible et la plus redoutable. Dieu seul peut savoir comment je m'en tirerai. Détroussé par les brigands le plus proprement du monde, je n'ai ni une chaise, ni une assiette, ni un couvert ni une serviette. Ici le duc m'a prêté meubles, batterie de cuisine, vaisselle, linge de ménage, et son frère m'a logé dans sa maison en ville qu'il n'occupait pas; jamais je n'aurais pu me tirer d'affaire avec mon train nombreux, sans ce secours et cette assistance. Savoir comment je ferai à Hambourg, c'est là le moindre de mes soucis, parce que j'ai pour principe invariable qu'à chaque jour suffit sa peine. Tout ce que je prévois, c'est que seul il ne m'eût pas été difficile peut-être de me loger décemment

* et convenablement; qu'avec toute ma caravane, ce sera peut-être chose de la plus extrême difficulté, pour ne pas dire impossible, d'autant qu'on m'assure que les maisons à Hambourg sont hors de prix depuis quelque temps. Il serait donc très possible que je fusse obligé de me séparer de mes enfants pour longtemps et peut-être pour tout l'hiver.

6) La venue des soixante mille enfants de la victoire sur les bords de l'Elbe a ragaillardi mon coeur. Votre Majesté a daigné permettre au comte de Bueil de reprendre leur uniforme à son retour d'Angleterre; il est impossible que ma tant bonne, ma tant généreuse, ma tant indulgente Souveraine me refuse la grâce que j'ose lui demander à genoux, de lui permettre d'aller servir sous ses glorieux drapeaux en attendant qu'il aille défricher un petit coin dans l'empire. J'ai fait depuis 1792 son équipage de campagne trois ou quatre fois en pure perte, sans aucun profit ni pour lui ni pour la cause de son Roi; j'en ferai de grand coeur la dépense une cinquième fois dans cette glorieusse occurrence. Lorsque les enfants de la victoire approchent des bords du fleuve dont je dois habiter l'embouchure, il est impossible que le père des filleuls de mon auguste Souveraine, honoré de leur uniforme, reste oisif et les bras croisés sur les bords de ce fleuve. Que Votre Majesté ordonne qu'il soit placé dans l'état-major de son armée, ou qu'elle lui accorde toute autre place, n'importe, pourvu qu'il soit en activité quelconque à son glorieux service. Il y a déja quelques mois que le maréchal de Castries s'occupe avec le Roi Louis XVIII à le faire colonel, et à lui faire accorder la croix de saint Louis. Le grade de colonel ne peut souffrir de difficulté d'après les principes établis pour le service en France; mais tout cela n'a rien du commun avec la faveur que j'ose implorer. Cette faveur se borne à la permission pure et simple de servir, n'importe dans quel grade. Si la bonté souveraine me l'accorde, peut-être le Solon d'Allemagne aurait-il assez de crédit sur son admirateur et protecteur pour l'engager à mettre au nombre de ses aides de camp, le protégé de sa Souveraine et le fils adoptif de son Solon qui ne manquerait pas d'apprendre à celui-ci qu'à son Alexandre il n'est jamais permis à aucun mortel de répondre: je ne sais pas.

Ce vendredi, 19 (30) septembre.

Notre taudis jouissait depuis quelques semaines d'une tranquillité qui n'avait certainement pas assez duré pour faire craindre que nous ne fussions corrompus à force de prospérité; cependant il a plu au ciel de nous accabler d'un nouveau malheur. Ma malheureuse pupille vient de perdre le frère qui lui restait, celui qui eut le bonheur il y a quatre ans de se trouver un in-

stant en présence de Votre Majesté Impériale, et cet instant lui valut un bienfait. Depuis cet instant il a servi avec un zèle, une application, une intelligence qui ne se sont pas déméntis un instant. Ne pouvant trouver de place après la malheureuse campagne de 1792, il se mit dans le régiment de Berchini comme simple hussard, et fit toute la terrible campagne de 1793 de cette manière pénible. Lorsque le prince de Rohan obtint la permission de lever une légion à la solde britannique, il plaça le chevalier de Belsunce dans son état-major, et c'est lui qui dressa et organisa ce corps avec un zèle infatigable; et après avoir fait ainsi toutes les tristes campagnes de cette guerre en Europe, ce corps eut ordre à la fin de l'année dernière de s'embarquer pour saint-Domingue, et c'est là que ce malheureux vient de périr par la fièvre jaune, qui a fait des ravages prodigieux parmi les troupes anglaises, et enlevé les trois quarts des officiers et au-delà. C'était un excellent sujet sous tous les rapports. C'était le seul rejeton qui restait de cette famille très ancienne. Sa soeur est écrasé de cette perte, qui d'ailleurs lui en rappelle une affreuse. Elle aimait passionnément ce frère depuis son enfance. Il ne lui avait donné, ainsi qu'à moi, qu'un seul chagrin, mais bien vif, il y a deux ans. C'est qu'il s'était marié, il y a deux ans, sans nous consulter. Il n'y avait rien à dire contre son choix, il avait épousé la soeur du comte de Bueil, son beau-frère, chanoinesse de Maubeuge, mais ils n'avaient rien au monde ni l'un ni l'autre, et peu s'en faut que je ne trouve que c'est presque manquer à l'honneur et à la probité que de se marier dans cette détresse pendant l'émigration. C'est vouloir faire des malheureux pour les laisser dans la misère, en aggravant la sienne. Ce malheur ne nous a pas manqué. Il reste de ce mariage deux enfants dont le fils n'a pas, je pense, deux mois, et pour lesquels je ne vois pas d'autre ressource au monde que de les mettre quelque part aux enfants trouvés; après l'invasion de la Hollande, la mère s'était sauvée avec son beau-père le vieux Belsunce, à Brunswick où ils végètent dans la misère. Ne vaut-il pas mieux que toutes les races anciennes de France s'éteignent, et ne survivent pas à leur patrie, qne de les voir se propager à ce prix? Le duc de Brunswick a été le parrain de ce dernier faible et malheureux rejeton, avec une générosité qu'il déploie en toute occasion envers les émigrés réfugiés dans ses états; mais un prince d'Allemagne, avec ses moyens bornés, ne peut guère accorder des secours permanents et efficaces. Il est naturel que dans tous les désastres, dans tous les cas désespérés, on se tourne vers cette Souveraine magnanime que le ciel a accordée à notre époque déplorable, pour ne pas nous faire douter entièrement de sa bonté et de sa justice. J'ai donc osé penser que s'il plaisait à Votre Majesté Impériale, de faire solliciter par son ministre et en son nom auguste au-

* près du ministere d'Angleterre une pension qui serait bien au pied de sa lettre alimentaire, en faveur de ces deux infortunés rejetons, dont l'un est une fille d'environ dix-huit mois, l'autre un garçon qui n'en a pas deux, je pense, il y aurait un article de plus ajouté à la liste de ses bienfaits innombrables. Cette pension serait assurée aux enfants, mais la mère en jouirait pour les élever. Leur père, le vicomte de Belsunce, vient de périr, comme tant d'autres, de la fièvre jaune à saint-Domingue, au service britannique à l'âge de 30 ans. Une pension en faveur de malheureux enfants sans aucune ressource quelconque, ne serait donc de sa part qu'un acte de justice, car il faut convenir que si la nation anglaise a déployé en toute occasion un grand fonds de générosité envers l'émigration française, son gouvernement l'a constamment sacrifiée, non seulement sans aucun ménagement, mais fréquemment aux plans les plus mal combinés et par les mesures les plus mal concertées. Lorsqu'on a vu au printemps dernier ces embarquements de troupes tardifs, pour les faire arriver dans ces climats redoutables au moment de la mauvaise saison, tout le monde a senti qu'on conduisait ces malheureuses victimes à une mort à peu près inévitable.

Je vais fermer cette pancarte, l'ajouter à toutes les précédentes qui se morfondent sur ma table toutes cachetées depuis longtemps, et en remettre toute la charge à M. de Kolichkine, avec ma bénédiction pour son heureux voyage vers le séjour de la gloire. Il doit repasser à Minden et Brunswick où, si la gloire n'y est plus en permanence, il règne une grande hospitalité envers les émigrés français. Mais la santé n'y habite plus non plus. L'état du duc a été inquiétant, même alarmant, pendant tout l'été. Une jaunisse opiniâtre et des crampes d'estomac très douloureuses ont souvent menacé d'un danger très prochain. Cette perte serait un malheur irréparable pour le pays.

Votre Majesté trouvera dans la facture ci-jointe toute la charge de M. de Kolichkine, puisqu'il est venu à la traverse pour l'enlever à M. de Nolken, pour qui proprement elle a été préparée. Mais je suppose toujours que Votre Majesté approuve en plein que je garde ce dernier sur les instances que le Roi de France m'en a fait faire, afin qu'il puisse s'en servir pour porter à Votre Majesté Impériale ce qu'il espère avoir à lui mander lorsque son courrier, qu'il a dépêché, sera de retour. M. de Nolken est fort content de ce retard, et ne s'ennuie pas ici; il devient astronome sous la direction de M. de Zach, un des meilleurs astronomes de l'Europe, que le duc a ici à son service, et pour lequel il a fait construire sur une montagne à un quart de lieue de la ville, un observatoire qui est sans contredit le premier de l'Allemagne. M. de Zach trouve à M. de Nolken beaucoup d'in-

* telligence et une grande aptitude à manier les instruments, et celui-ci espère se rendre utile au service militaire de terre de notre glorieuse Souveraine, en apprenant à prendre avec justesse et promptitude la véritable hauteur des lieux qu'on aura intérêt de constater.

M. de Kolichkine n'ayant pas reçu en partant de Pétersbourg tout l'argent nécessaire pour sa course, et M. le comte Factotum lui ayant ordonné de me demander le supplément, je lui ai fourni 450 écus de Saxe pour l'équivalent de 150 ducats, monnaie qu'on ne peut trouver ici. Je comprendrai cette somme dans mes dépenses, quand il plaira à Dieu de m'accorder un moment pour rendre mes comptes à Votre Majesté Impériale.

J'aurais une belle occasion de continuer, augmenter et perfectionner ma théorie sur l'art de manipuler les affaires, par un chapitre tiré des événements de Constantinople; mais je crains, si je me laisse aller aux inspirations de mon génie, étayées sur des faits indubitables, que la grande manipulatrice ne recommence à me contester mes théorèmes, et ne m'expose à un épanchement de bile qui pourrait à la fin devenir mortel pour moi. J'aime donc mieux me borner à féliciter le grec Mouradja Osshon, digne pendant du suédois Stael de Holstein, du prochain espoir qu'il a de partager le repos glorieux dont son modèle Stael goûte déjà actuellement les douceurs en Suisse.

Au moment où je vais fermer ce dernier paquet de ma charge confiée au divin Kolichkine, je reçois encore de Blankenbourg un mémoire justificatif pour Louis XVIII, qu'on me presse de mettre sous les yeux de mon auguste Souveraine. Il arrive bien à propos; une heure plus tard, l'occasion en était manquée.

Le maréchal de Castries m'écrit de son côté ce qui suit:

«On m'assure que le duc de Brunswick a demandé un congé à S. M. Prussienne, pour revenir ici le 20, et que ce prince, en le lui accordant, avait dit qu'il était d'autant plus aise qu'il se rapprochât, qu'il lui enverrait quelqu'un pour lui parler.

«Je ne réponds pas de cette dernière circonstance, quoiqu'on me l'ait assuré. Je crois vous avoir mandé que les troupes prussienes en Pologne avaient eu un premier avertissement pour se tenir prêtes. Des lettres de Silésie portent que la tête des troupes russes est entrée en Galicie.

«Je ne conçois pas ce qui peut retarder le retour du courrier du Roi de Pétersbourg. Voilà déjà un mois qu'il y est.

«On a fort improuvé à Vienne le départ du roi de l'armée, après avoir commencé par ne vouloir pas l'y souffrir. Je crains que cette cour n'ait cherché à indisposer l'Impératrice, à laquelle le roi a écrit les motifs qui

* l'avaient déterminé à ce parti; et comme Sa Majesté Impériale n'est mue que par les grands objets, elle écartera les petits».

Ici finit le maréchal, et je finis avec lui, non que j'aie vidé mon sac, plus plein que jamais; mais parce qu'il faut porter aux pieds de ma Souveraine adorée l'hommage du plus profond respect et les élans d'un coeur qui bat pour elle avec plus de violence que jamais.

Précis

des lettres de M. le maréchal de Castries.

Du 14 septembre.

Un courrier envoyé de Pétersbourg à Minden a dit, en passant à Brunswick, que l'Impératrice vous avait nommé son ministre à Hambourg. Je vois par vos lettres du 8 et 10, que vous n'en saviez rien; mais il en a parlé comme d'un arrangement certain; et comme il est parti de Pétersbourg le 30 du mois passé, il est possible que vous n'en soyez pas encore instruit. Au hasard j'envoie une estafette à Blankenbourg, et je prie M. d'Avaray, sans lui en dire l'objet, de vous en expédier une pour vous porter cette lettre.

L'envoi au duc de Brunswick à Minden mérite bien quelque attention. Le peu que j'en sais ne me permet pas de vous dire, même par estafette, ce que j'en ai appris, si ce n'est que cela est important et bien digne de votre grande Souveraine.

J'aurais bien besoin dans ce moment de causer avec vous. Par malheur l y a des choses qui ne peuvent se concilier de loin, ni s'écrire.

On vient de m'assurer (ceci pour vous seul) que S. M. Prussienne a fait dire à la Convention Batave qu'elle pouvait laisser partir sans crainte l'armée de Beurnonville pour secourir Jourdan. Si cela est ainsi, et l'on ne me permet pas d'en douter, le ministère de Berlin est de moitié en tout ce que ait la République française.

Du 17 septembre.

Je souhaite que ce qu'on vous a dit sur les changements arrivés dans es principes politiques de la cour de Vienne et dans les personnes qui avaient la confiance de l'Empereur, soit vrai. Je n'ai encore vu aucune lettre qui fasse mention de l'éloignement de M. Rollin. Il est probable que les armées impériales se replaceront sur le Rhin, à moins que les Français bataves et l'armée de l'intérieur ne courent aux frontières.

* Du 18 septembre.

C'est un M. de Vincent qui remplace M. Rollin dans les fonctions d'adjudant de l'Empereur. On en dit autant de bien, qu'on estimait peu son prédécesseur. Il n'est pas vrai que le conseil de guerre soit supprimé à Vienne.

Du 21 septembre.

Je suis étonné que le 15 vous n'eussiez pas encore reçu le courrier qui a passé par Minden, et qui doit y repasser avant de retourner en Russie. Je crains fort qu'en se chargeant de l'exécution des ordres qu'on y recevrait, on ne veuille ouvrir la tranchée pour déterminer une certaine cour à faire ce qu'il faudrait pour assurer l'exécution des vues et des offres généreuses qui sont faites [1]).

On dit que dans celles que M. Hammond a faites inutilement à la cour de Berlin, il s'agissait d'une nouvelle possession et d'un port. Comme les lettres de cette capitale ne s'expliquent pas davantage, je ne sais ce que ce peut être que cette possession à acquérir dont l'Angleterre pourrait faire les honneurs. Je ne verrais que Hambourg qui pût tenter le cabinet de Berlin. Or, étant déjà maître de la Vistule et de l'Oder, j'ai de la peine à me persuader qu'on veuille y laisser réunir le débouché de l'Elbe.

Du 24 septembre.

J'ai remis immédiatement à M. de Fransures la lettre que vous m'avez adressée pour lui. Il en a été touché jusqu'aux larmes, particulièrement de la manière dont vous avez été au devant de sa situation. Il a une jolie tournure. C'est un bon sujet.

J'espère que je saurai lorsque vous vous mettrez en mouvement pour Hambourg. Vous ne nous brûlerez pas, particulièrement si le duc de Brunswick, auprès duquel vous êtes accrédité, était dans sa résidence où il est annoncé pour le mois prochain.

Il sera important que vous le voyiez. Si l'on ne frappe pas des coups un peu forts à Berlin, cette cour ne s'ébranlera pas. En même temps il est de principe dans ce pays, à la cour, même à Reinsberg, que dans tous les cas, jusqu'à ce que la maison d'Autriche soit écrasée, il faut être bien avec la Russie, et ne se jamais mettre dans le cas d'entrer en guerre avec elle.

---

[1]) Ceci est d'un tissu si fin qu'il échappe entièrement à la pénétration du souffre-douleur copiste. L'ouverture de la tranchée présagerait un siége méthodique et long, lorsqu'il faudrait peut-être emporter la place d'emblée à la Souvorov. (Grimm).

* Il y a de fortes raisons pour croire que Messieurs de Bischofswerder et de Haugwitz sont contraires à ce que l'Impératrice demande en ce moment à S. M. Prussienne, de façon qu'il n'y a que la crainte d'une rupture qui puisse les détourner de la direction qu'ils ont prise et des engagements particuliers qu'on peut avoir à Berlin avec le directoire. L'ordre qui vient d'être donné d'étendre les quartiers de l'armée de l'observation, et l'assurance de ne pas profiter de l'affaiblissement des forces françaises en Hollande pour renforcer Jourdan, donnent la preuve de l'accord parfait qui règne dans les vues de Berlin et de Paris. La voie de la poste ne me permet pas d'étendre mes réflexions.

Du 27 septembre.

On mande de Berlin que la notification de M. de Kolitschev à S. M. Prussienne sur l'envoi des 60 mille Russes est officielle, et qu'il a ajouté que l'Impératrice est disposée à employer toutes ses forces de terre et de mer contre les Français et leurs alliés.

On ajoute que le ministère Prussien dit que ce sont des contes, et que l'Impératrice n'enverra pas plus de troupes cette année que les précédentes.

Vous trouverez ici le précis de ce qu'on m'écrit de Londres du 16. J'ai de la peine à croire ce qu'on mande touchant les engagements offensifs et défensifs de la Prusse avec les Français et les Espagnols. Il est difficile de démêler la vérité avec tant de mauvaise foi. Ce qui est bien vrai, c'est que les affaires s'embrouillent en apparence.

Du premier octobre.

Le roi n'a point encore de nouvelles de Pétersbourg. Je vois cependant par votre lettre que son courrier y était arrivé le 2 septembre, puisque vos paquets pour l'Impératrice ont été remis. Vraisemblablement M. d'Esterhasy qui, je crois, a été dans ses terres en Pologne et en Ukraine, n'a laissé personne à Pétersbourg pour ouvrir ses paquets.

Les troupes prussiennes en Pologne ont ordre de se tenir prêtes à marcher. Je crains bien que le ministère de S. M. Prussienne n'ait de grands engagements avec la République française sans que le roi en soit instruit.

Quelles raisons donnez-vous à ce monarque, pour paraître de ne pas se soucier de Nuremberg [1]).

[1]) Tout bêtement l'approche des soixante mille Russes et les succès de l'archiduc Charles tout comme un de mes amis m'explique le traité offensif et défensif avec la Republique, en me mandant: Vos 60 mille Russes marchant vers l'Elbe, conjointement avec les succès de l'archiduc, sont sans doute cause que le traité d'alliance qu'on prétend avoir été signé à Paris par M. de Sandoz, n'a pas été ratifié à Berlin. Il paraît que les ratifications ne sont plus de mode. (Grimm).

* Il faudra la tête de l'Impératrice pour éclaircir le temps, et dissiper les nuages qui empêchent les rayons du soleil de venir jusqu'à nous. C'est ainsi que le comte de Romantsov nous expliquait tout ce qu'il nous a annoncé sur la manière dont l'Impératrice terminerait nos affaires. M. de Mestmacher a été chargé par sa Souveraine, de procurer un asile au roi à Zerbst. Je voudrais que le duc de Brunswick eût la récompense de sa conduite généreuse envers le roi, par l'approbation de l'Impératrice, et qu'elle lui fût témoignée.

A Grimma-Gotha, ce mercredi 1 (12) octobre 1796.

Madame,

Vendredi dernier je donnai ma bénédiction à M. de Kolichkine avec un lourd fagot de pancartes, et je n'en restai pas moins le coeur surchargé d'un pesant fardeau, car, c'est une ancienne expérience, plus j'en dépose aux pieds de mon immortelle bienfaitrice pour le soulagement de mon pauvre coeur, plus le poids s'en accroît et devient menaçant pour lui. Gardant M. de Nolken aux instantes prières de Louis XVIII, et espérant remplir en cela les intentions de Votre Majesté Impériale, je comptais partir hier pour me trouver au rendez-vous pris avec milord à Leipzig pour les importantes confessions qu'il prétend avoir à me faire, afin de les déposer immédiatement après mon retour, c'est-à-dire au bout de huit jours, dans mes archives par le ministère de M. de Nolken, l'astronome. Aber ſiehe da! L'homme propose, Dieu dispose. Lundi, avant-hier au soir, je vois entrer chez moi un messager de l'immortelle dont le nom est Yacovlev. Je reçois le bienfait qu'il me remet, avec une main tremblante et un coeur qui bondit; mais que devient ma course de Leipzig? Ne voulant garder ici deux courriers de Votre Majesté pendant mon absence, quelque courte qu'elle doive être, ne pouvant manquer totalement à milord sans être anathématisé par lui, je retarde mon voyage de Leipzig de 24 ou 36 heures, et je réexpédie mon messager céleste, en le chargeant de quelques lignes à la place d'une pancarte, je garde tout mon fardeau sur le coeur et tout mon fatras dans ma tête, pour qu'une fois en 23 ans Votre Majesté puisse dire: mon souffre-douleur devient un garçon tout à fait aimable et de bonne compagnie; au lieu de volumes, il ne m'envoie plus que des feuilles: Dieu le maintienne dans cette bonne voie! Il m'en coûte sans doute pour mériter cet éloge; mais d'un autre côté, comme tout dans ce monde a son avantage et son désavantage, M. de Yacovlev repassera sans perte de temps chez les princes d'An-

* halt prendre leurs réponses et pourra encore porter immédiatement les paquets de M. de Kolitchev aux ministres de Votre Majesté Impériale.

Le grand malheur est que dans ces occasions où la place est bornée et rétrécie, tout veut être placé de préférence, tout se présente également et à la fois à la porte, et il en résulte qu'elle est si parfaitement obstruée que rien ne peut sortir. Il y a cependant une notification préalable à qui j'ai promis le pas pour la première pancarte; elle doit donc le conserver également dans ce qui n'en est pas une. C'est que cette légèreté d'oiseau qui était à la mode dans le séjour de la gloire, le 18 auguste, jour du bal et souper ou souper dansant chez M. Alexandre, a aussi gagné les gens de Grimma d'une manière surprenante si la force sympathique ne rendait pas cette contagion la plus simple du monde. Ce leste d'oiseau est sans contredit une suite du bien que m'ont fait les bains d'eau de la mer apportée de Hogland à Tsarsko-Sélo, car après l'usage de ces bains, je me suis senti de mieux en mieux. Les bals continuels dont je suis redevable à la présence de M. le comte de Haga ont aussi prodigieusement contribuée à m'alléger, et si cela continue, je serai comme le fils du dieu de la danse Vestris, dont son père disait qu'il ne posait le pied à terre que par égard pour ses camarades. Je sens aussi que j'ai les plus grandes obligations du monde à M. le comte de Haga, qui tout en dansant et s'oubliant jusqu'à presser la main de sa danseuse, a si victorieusement démontré au milieu de Pétersbourg ma lumineuse théorie sur la manipulation, qu'on dirait qu'il n'y est venu que pour faire repentir la grande manipulatrice de s'être si prodigieusement compromise avec moi sur ce chapitre, pour le plaisir passager d'attaquer ma théorie incontestable.

J'avais besoin à mon tour de cette légèreté d'oiseau, pour ne pas tomber en syncope et éviter un coup d'apoplexie à la lecture d'un passage foudroyant qui s'est glissé dans cette pancarte, dont la bonté céleste vient de me gratifier et qui est d'ailleurs un recueil d'oracles de sibylle sur la science sans contredit la plus difficile, celle d'être grand et imposant dans le malheur. Au milieu de ces oracles dont chaque mot élève l'âme, agrandit et ennoblit l'homme, Votre Majesté me reproche crument de lui dire continuellement des choses qui n'ont pas le sens commun. A ces mots une pâleur mortelle m'a monté au visage comme à la danseuse lorsqu'elle se sentit la main serrer. Cela a été au point que Katinka, me voyant lire dans un coin du salon ma dépêche arrivée à l'improviste, s'est écriée: mon chou se trouve mal! Et moi de lui dire, comme la danseuse à Madame sa gouvernante: non, je ne suis qu'effrayé; j'ai seulement pensé tomber à la renverse. A cette première impression a succédé un examen inutile pour me rappeler les choses qui se répètent continuellement de ma part, et produisent cet effet

* sinistre pour moi; mais Votre Majesté me dira que si l'on pouvait se les rappeler et les reconnaître, on ne les aurait pas fourrées dans ses pancartes. Encore voudrais-je savoir si ces choses dépourvues de sens commun sont de mon crû, ou si je ne fais que les rapporter d'après le sentiment d'autrui, ce qui ferait cependant une différence en ma faveur. Ce ne serait pas la première fois que mon auguste Souveraine m'aurait attaqué sur des opinions d'autrui qu'il était de mon devoir d'exposer dans toute leur étendue et leur pureté, puisque je m'en étais fait le rapporteur, sans me permettre de laisser seulement deviner mon propre sentiment: si cela était, je dirais, après cela: soyez honnête homme et scrupuleux observateur des limites, si le coeur vous en dit, et si le profit de cette responsabilité vous tente. Toujours est-il sûr que la fille de Jupiter a grand tort, très grand tort, de me dire: un beau jour je vous laverai la tête quand l'envie m'en viendra et que j'en aurai le temps. La menace n'est pas permise aux immortelles. Elles ne doivent promettre que des faveurs et des grâces; quant aux rigueurs, elles doivent toujours payer comptant, parce que la menace et l'attente en sont mille fois plus cruelles que la réalité la plus assommante. Que deviendra donc le souffre-douleur d'ici au moment où son bain de tête lui sera administré? Je crains bien que cette attente ne lui enlève tout le bien que les bains d'eau de la mer et les pas de rigaudon de M. le comte de Haga lui ont fait. Gott ſtehe dem armen Tropfen in ſeinen Drangſalen bey! .

J'apprends que le courrier du roi de France est revenu avec celui de l'immortelle; il ne tardera donc pas à me demander M. de Nolken, et dès mon retour de Leipzig je l'expédierai avec les secrets de milord. Je ne puis entamer aujourd'hui le chapitre du roi Très Chrétien; mais je sais qu'au premier avis de l'approche des enfants de la victoire, l'idée de s'y réunir lui est venue, puisqu'il a voulu avoir mon avis sur cela, et que cet avis a été conforme à celui de mon auguste Souveraine que je ne savais pas encore. Ceci pourrait devenir un acte de régénération: car il est bien difficile de se plaire dans une armée où la malveillance vous entoure à chaque pas, et vous prouve que c'est bien malgré elle que vous y êtes. Quelle sublime et admirable idée que celle sur le corps de Condé que je suis obligé de garder au fond du sac! Si elle se réalise, je crois que je sauterai plus haut que M. le comte de Haga.

Il faut finir, et partir pour Leipzig par un temps effroyable, avec un mal de gorge bien conditionné. J'ajoute ici le double de la facture en route; une épître de l'oracle d'Ecosse; une autre de Blankenbourg, et je dépose aux pieds de l'immortelle l'hommage du plus profond respect. God save our Emperor leste comme un oiseau! Amen.

Allerunterthänigster Rechnungs-Vortrag.

A Gotha, ce lundi, 17 (28) novembre 1796.

Madame, Votre Majesté Impériale n'ignore pas qu'elle est depuis plusieurs mois menacée d'une reddition de compte de ma part, et il n'y a que ma mauvaise santé et mes griffonnages interminables qui aient pu me faire différer, car je n'aime jamais attendre plus de dix ou onze mois pour rendre compte de ma gestion, et cette fois-ci ce terme a été poussé à quatorze. Il est vrai qu'il y a eu un peu de politique dans mon fait. J'ai dit, si je tombe avec mon compte au milieu des fêtes occasionnées par la présence des comtes de Haga et de Wasa, mon auguste Souveraine ne manquera pas de jeter les hauts cris. Gebranntes Kind fürchtet das Feuer. Ich erinnere mich noch immer des harten Standes den ich aushalten mußte, parce qu'un de mes malheureux comptes, sans que j'aie pu prévoir ni le calculer d'avance, tomba dans la semaine de beurre. Combien d'exclamations: c'est dur, cela! un compte à examiner pendant la semaine de beurre, c'est bien dur! et autres propos n'ai-je pas eu à avaler? Celui-ci trouvera Votre Majesté en plein repos, et au lieu de reproches et de sarcasmes, je n'aurai que des compliments à rembourser d'avoir su briser l'uniformité de la journée impériale par une distraction si agréable.

Pour plus grande clarté, j'ai partagé mon compte en № 1 et № 2, comme il m'arrivé toutes les fois qu'il s'étendrait au-delà d'une page, si je n'y faisais pas une séparation. Moyennant cette précaution, un coup d'oeil suffit pour embrasser chaque numéro, et pour connaître la situation de la caisse impériale.

Observation préliminaire. Comme il y a longtemps que je n'ai comparu en l'auguste présence de ma Souveraine avec mon portefeuille de finance sous le bras, je vais lui rappeler que depuis que je ne puis plus compter en livres tournois, mes comptes ont été rendus en florins et kreuzer au cours de Francfort, et que je m'y tiendrai, non seulement parce qu'il ne faut pas à tout moment changer de gamme comme une girouette, mais parce que la plus grande partie des articles pour le service de Votre Majesté Impériale se payant effectivement à Francfort, je n'éviterais pas la bigarrure dans mes comptes, si je voulais compter en écus et gros suivant l'usage de ce pays-ci.

Je passe aux observations particulières qui ne seront ni abstraites, ni profondes, ni lumineuses, comme autrefois, la matière ne comportant rien de tout cela.

№ 1. Je n'ai rien à observer sur l'article № 1 du compte № 1, si ce n'est que Votre Majesté m'ayant ordonné expressément de payer les frais

d'auberge de ses courriers pendant leur séjour ici, et de les lui porter en compte, je me suis conformé à cet ordre. Ils dînent régulièrement chez moi en famille, mais la soirée et la nuit étant consacrées à mon griffonnage, je ne puis leur offrir à souper.

№ 2. Tout ce qu'il y a à dire sur cet article, a été si souvent dit dans les comptes précédents, qu'il faut le passer en silence.

№ 3. Il faut lui appliquer ce que je viens de dire sur № 1.

№ 4. J'apprends par une voie indirecte que le chevalier d'Augard est arrivé à Pétersbourg le premier novembre, nouveau style. Je souhaite vivement que ses communications soient dignes de fixer l'attention de Votre Majesté sur un objet qu'il croit si important pour l'empire.

Observations sur le compte № 2.

№ 1. Je renvoie sur cet article au № 1 et au № 3 ci-dessus du compte № 1.

№ 2. M. le comte de Bezborodko n'ayant pas fait payer à M. de Schoulepov à son départ, le montant de la totalité de sa course, et S. E. lui ayant dit de me demander ce supplément pour son retour de Gotha à Pétersbourg, j'en ai fait d'autant moins de difficulté, que la même chose m'est déjà arrivée avec plusieurs autres courriers, et que Votre Majesté l'a approuvée chaque fois. D'ailleurs M. de Schoulepov ne m'a demandé que 25 ducats, et cette demande m'a paru infiniment discrète.

№ 3. Mes pancartes ont déjà amplement parlé des talents de M. Wiebeking et du mérite de ses cartes topographiques.

№ 4. Je renvoie sur cet article au № 1 du compte № 2, lequel renvoie, à son tour, aux № 1 et 3 du compte № 1, et voilà comme dans un système de finances bien lié, tout se tient et s'éclaircit mutuellement.

№ 5. Quant à cet article, je renvoie au № 2 du compte № 1, toujours pour prouver la bonté de mon système lié.

№ 6. Sur cet article il faut consulter № 4 de ce compte et tous les articles auxquels ce № renvoie. M. de Nelcken porte à l'Académie impériale des sciences plusieurs instruments précieux pour l'astronomie, qui ont été ou inventés ou perfectionnés ici par M. de Zach, membre de l'Académie impériale et un des premiers astronomes de l'Europe. Pendant son long séjour ici, M. de Nelcken s'est beaucoup appliqué à l'astronomie. Il est parfaitement en état de montrer aux académiciens de Pétersbourg l'usage des instruments qu'il porte, ainsi que la manière de les monter et de les démonter. M. de Zach, qui n'est pas louangeur de son métier, lui a trouvé beaucoup de dextérité

dans les mains et une grande intelligence pour deviner et comprendre l'usage d'un instrument et pour le manier avec sûreté. Les connaissances qu'il a cherché à acquérir peuvent être aussi d'une grande utilité aux militaires, à la guerre, et pour la science de placer et d'asseoir les camps, de prendre la hauteur exacte des villes etc. On ne peut pas dire précisément que le ciel ait favorisé M. de Nelcken du côté de la figure; mais il m'a paru qu'il l'a dédommagé de cet avantage d'une autre manière qui n'est rien moins qu'indifférente.

№ 7. Tout ce que j'ai à observer sur ma dépense particulière, c'est que depuis que M. le directeur général de la Banque impériale a quitté son poste de Francfort, l'acticle des ports de lettres a augmenté chez moi d'une manière à faire trembler. Tous les émigrés m'ont choisi de leur chef pour son successeur et m'accablent de lettres, de requêtes, de mémoires, dont je prends rarement sur moi de parler à mon auguste Souveraine. Il en reste toujours un grand nombre dont je ne puis me dispenser de faire mention pour l'entretien de l'exercice de sa patience et de sa sensibilité.

№ 8. Il y a déjà deux feuilles d'imprimées, et le sage Reichard promet le premier volume pour la foire de Pâques de l'année prochaine.

Et voilà mes deux comptes, n'en faisant qu'un, coulés à fond. Ils prouvent que Voire Majesté Impériale me doit 1635 florins 27 kreuzers, que le cabinet impérial aura la bonté de me faire payer par mes protecteurs Livio, que je dirigerai sur la remise. God save our Emperor of all the Russias in saecula saeculorum. Amen.

Compte courant № 1. Première section.

Doit 1795 Sa Majesté.

Octobre.

	Fl.	Kr.
Suivant mon compte arrêté, rendu et approuvé par S. M. I. le 30 septembre 1795, il m'était dû pour solde.....	442	39

Novembre.

Ce 26. Payé pour logement et frais à l'auberge pour M. de Garikhvostov, courrier de S. M. I., pendant le séjour qu'il a fait près de moi. Voyez № 1.....	59	45

1796.

Janvier.

Ce 22. Les six derniers mois 1795 de la pension de Corilla à Florence. Voyez № 2.....	272	32

Mai.

	Fl.	Kr.
Ce 1. Payé pour logement et frais à l'auberge pour M. de Manitscharov, courrier de S. M. I., pendant le séjour qu'il a fait près de moi. Voyez № 3.....	82	26
	857	22

Pour mémoire.

Arrêté sauf erreur où Messieurs les frères Livio et C. m'ont aussi fait toucher en juin 1796, chez Messieurs Dufour frères à Leipzig, par ordre du cabinet impérial, la somme de trois cents ducats en espèces que S. M. I. m'a ordonné de remettre à M. le chevalier d'Augard, ancien officier de marine en France, émigré à Erfort, pour les frais de son voyage à Pétersbourg, où il a été appelé par ordre de S. M. Sa quittance ajoutée aux pièces justificatives prouve que je me suis acquitté de ces ordres. Voyez № 4.

1796.

Janvier.

	Fl.	Kr
Ce 4. Par ordre du cabinet impérial Messieurs les frères Livio et C. m'ont fait payer par Messieurs les frères Bethmann à Francfort, pour rembourser le solde ci-contre résultant de mon compte arrêté le 30 septembre 1795, la somme de...	442	39

Juin.

J'ai payé en novembre 1795, janvier et mai 1796 pour le service de S. M. I.....	414	43
	857	22

Mission à Gotha, ce 19 (30) juin 1796.

Grimm.

Ces deux lettres me sont arrivées le printemps dernier pendant ma maladie, et je les sépare d'une foule d'autres, foule innombrable dont je suis journellement accablé, et dont il m'est impossible d'importuner la plus indulgente comme la plus généreuse des Souveraines. Je me reproche d'avoir oublié jusqu'à ce moment la lettre de M. de Juigné, qui cet été, à l'approche des bandits républicains, s'est enfui de Constance, en Suisse, avec son frère, l'archevêque de Paris. Mais ce péché d'omission obtiendra son pardon des iuteressés même, s'ils peuvent se figurer combien je suis tiraillé, persécuté, tourmenté sans relâche, et considérer que chaque homme ne reçoit de la nature qu'une certaine dose de forces physiques qu'il ne peut outre-passer.

A Gotha, ce 19 (30) novembre 1796.

NOTES DU TOME XXIII

POUR LE TEXTE DES LETTRES DE CATHERINE II À GRIMM.

Page 1. 1) Grimm retournait alors de Pétersbourg en France.

2) M. Riedesel appartenait à la suite de la landgrave de Hesse-Darmstadt Caroline, pendant son voyage en Russie. Elle était mère de la première épouse du grand-duc Paul Petrovitch, Natalia Alexeievna et est morte le 19 (30) mars 1774.

Page 2. 1) Chien favori de l'Impératrice, qui lui donnait tantôt le nom de Thomas, tantôt celui de Tom. En parlant de ses chiens elle s'exprime souvent comme si c'étaient des êtres humains.

2) Du siège de Pougatchev.

3) Ville où siégeait la cour d'appel qui jugeait les différends entre les états d'Allemagne.

Page 3. Nomination allemande des peuples romains. Voltaire nommait ainsi tout ce qui était barbare, fût-ce en France ou ailleurs.

2) Jean Kelchen, chirurgien du grand-duc Paul Petrovitch.

3) Le prince André Mikhaïlovitch, ministre russe en Saxe.

4) William Baylies, médecin de Frédéric II.

Page 4. 1) Le comte Henri-Christian Keyserling, qui vivait à Koenigsberg et était fils du ministre de Catherine II à Varsovie.

2) Il est question ici du prince A. S. Wassiltchikov et de Potemkine.

3) Du prince Henri de Prusse, frère de Frédéric II.

Page 5. 1) Gustave III.

2) La paix faite à Koutchouk-Kaïnardji.

Page 6. 1) Grimm avait été pendant un certain temps secrétaire du duc d'Orléans.

2) La correspondance de l'Impératrice avec la célèbre M^me^ Geoffrin est insérée dans le tome I du «Recueil de la Société d'histoire russe». Burigny, contemporain de cette dame, est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques.

Page 7. 1) Il est question du roi de Suède, dont la légèreté faisait souvent le sujet des railleries de Catherine II (voir notre «Recueil», tome XIII).

Page 8. 1) Il fut mis aux fers et amené ainsi à Yaïtsk dans la nuit du 14 au 15 septembre v. st.

Page 9. 1) Le prince de Prusse, frère de Frédéric II.

2) Une petite brochure de Grimm. Elle fut réimprimée avec ses «Opuscules» dans le XV^me^ tome de la «Correspondance de Grimm et de Diderot», Paris 1831.

Page 10. 1) Du pape Clément XIV, mort le 22 septembre 1774.

Page 12. 1) L'institutrice de Catherine II lors de son séjour à Stettin, sa ville natale.

2) Il est probablement question de la grande-duchesse Natalia Alexeievna; son frère était au service russe.

Page 13. Le village Boue Noire, que Catherine II avait acheté au prince Kantémir et dont elle changea le nom en celui de Tsaritsino; seulement Kantémir était originaire de la Moldavie et non pas de la Géorgie.

Page 14. 1) Voir ci-dessus le № 7, page 10.

2) A notre ministre à Paris.

Page 16. 1) La soeur de la grande-duchesse Natalia Alexeievna, fiancée avec le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach Charles-Auguste.

Page 17. 1) C'est-à-dire de Moscou; ce plan ne fut cependant pas effectué: l'Impératrice ne retourna à Tsarskoë-Sélo qu'en traîneau, le 23 décembre 1775.

Page 18. 1) Le marquis de Castries se couvrit de gloire pendant la guerre de sept ans; il fut dans la suite (depuis 1780) ministre de la marine.

Page 19. 1) Probablement notre ministre de Berlin d'alors, le prince Woldémar Sergueievitch.

2) Il est sans doute question de M^me^ d'Epinay, l'auteur du livre «Les Conversations d'Emilie».

Page 20. 1) Le premier des deux manifestes qui sont mentionnés ici, est celui de 17 mars annonçant aux différentes classes les grâces qui leur furent accordées à l'occasion de la paix; le second est du 31 mars, et ordonnait à la banque de Moscou d'instituer des succursales à Orenbourg, à Kazan et à Nijni-Novgorod pour la distribution de secours pécuniaires aux habitants des gouvernements dévastés par Pougatchev (Recueil complet des Lois t. XX, №№ 14, 275 et 14, 285).

Page 21. 1) Peintre qui était plus réputé pour son habileté à découper des dessins, surtout de la vie de Voltaire, chez qui il demeurait à Ferney, que par ses tableaux.

2) Voltaire avait encore en 1764 travaillé à une tragédie intitulée Pierre de Castille, surnommé le Cruel. Cette tragédie fit partie de ses oeuvres complètes sous le titre de Don Pèdre.— Nonnotte et Fréron étaient les détracteurs de Voltaire.

Page 22. 1) Le pape Pie VI, successeur de Clément XIV, appartenait à la maison de Braschi; voir le № 8.

Page 24. 1) Voir ci-dessus le № 14, page 19.

Page 25. 1) Des tappisseries tissées.

Page 27. 1) Voir le № 15, où il est question des 47 articles du manifeste nouvellement publié.

Page 28. 1) Statut sur les gouvernements.

Page 29. 1) C'est-à-dire Luther.

Page 30. 1) L'Impératrice emploie souvent en plaisantant le *ma* italien au lieu du *mais* français.

Page 31. 1) Sti-là au lieu de celui-là — une des particularités du langage de plaisanterie dans les lettres de Catherine II.

Page 32. 1) C'est-à-dire des jésuites; voir le № 16, page 22.

Page 33. 1) Composition de M^me^ Favart: comédie en un acte en vers, mêlée d'ariettes et de vaudevilles, Paris, 1762, 1763. Quérard ajoute: «Cette jolie pièce fut composée en société avec Lourdet de Santerre» (La France littéraire, III, 78).

2) De la soeur de Louis XVI, qui se maria le 6 septembre 1775 au roi de Sardaigne Charles-Emmanuel V.

Page 35. 1) Le frère de la grande-duchesse Natalia Alexeievna, qui devint plus tard grand-duc Louis I.

2) Voir sur cela la lettre de Falconet dans le «Rec. de la soc. hist.» XVII, 239.

Page 36. 1) Voir le № 23, page 33.

2) Célèbre médecin du duc d'Orléans, élève de Boerhave; c'est lui qui a introduit la vaccination en France.

3) Secrétaire de Grimm.

Page 38. 1) Auguste Ernesti, célèbre théologien et connaisseur des langues anciennes, recteur de l'université de Leipzig.

Page 39. 1) Statut sur les gouvernements (Rec. compl. des Lois, t. XX, № 14, 392, p. 229—304).

2) Eck, directeur des postes à Pétersbourg.

Page 40. 1) Lettres à Madame la comtesse Tation, un petit livre dans le genre facétieux, imprimé pour la première fois en 1765 (Voir Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, II, 123).

Page 41. 1) Voir ci-dessous, page 56.

Page 42. 1) C'est-à-dire le statut sur les gouvernements.

Page 47, 1) C'est encore du statut sur les gouvernements qu'il est question ici; mais dans la rédaction définitive il n'y a que 30 articles.

2) C'est-à-dire le tribunal de conscience qui constitue l'objet de l'article XXVI du statut sur les gouvernements.

3) A l'amiral Ivan Abramovitch Hannibal.

Page 48. 1) Le prince Dmitri Mikhallovitch, qui a été depuis 1761 ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne.

Page 49. 1) Ou bien Friederichs, banquier de la cour: l'Impératrice écrit son nom de différentes manières (comp. t. XIII du R. de la S. H., page 190 etc.).

2) Le dernier mot se trouvant au bas de la page est effacé et n'a pu être déchiffré.

Page 50. 1) Il est question de la princesse Sophie-Dorothée de Wurtemberg, née le 14 (25) octobre 1759, et devenue depuis grande-duchesse Maria Feodorovna. L'Impératrice avait tourné ses vues sur elle avant le choix de Natalia Alexeievna, mais elle était encore trop jeune alors; comp. le témoignage de Catherine elle-même sur cette question R. de la S. H. t. XIII, p. 66.

Page 52. 1) Anna Morandi Manzolini (née 1716, morte 1774), ayant étudié l'anatomie sous la direction de son mari, s'acquit une grande réputation par des modèles en cire des différentes parties du corps humain et des figures entières. Elle fut invitée à Milan, à Londres et à Pétersbourg, mais préféra de rester dans sa patrie. En 1758 elle occupa la chaire d'anatomie à l'université de Bologne. Le ci-dessous mentionné comte Girolamo Ranuzzi était son protecteur: il lui offrit un logement et tout le nécessaire dans son palais et y organisa un musée de ses collections. Son buste fait par le sculpteur anglais Nollekens servit plus tard de

modèle pour son portrait gravé. Ne serait-ce pas ce buste et ce portrait que Ranuzzi fit parvenir à Catherine II? (Lettre du prof. Teza de Pise à feu A. Schiefner et Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, t. XII. Paris, 1810, p. 204).

2) William Blackstone, d'abord avocat à Londres, puis professeur de droit civil et politique à Oxford; il a publié en 1765 ses cours sous le titre de Mémoires.

Page 53. 1) Abbé napolitain, n. 1728, m. 1786, auteur de plusieurs livres politico-économiques qui se distinguent par leur originalité. Il a longtemps vécu à Paris en qualité de secrétaire d'ambassade et s'y lia avec les encyclopédistes, surtout avec Grimm et Diderot.

2) Célèbre artiste, né à Venise en 1707 mort en 1778. Sa spécialité était la gravure, e il s'occupait aussi de la vente d'estampes. I était renommé surtout pour l'art de reproduire les oeuvres de l'architecture et les ruines. Son «oeuvre», contenant les gravures de tous les monuments de l'antique et de la nouvelle Rome, consiste en 16 volumes.

3) Mercier de la Rivière, économiste appelé en Russie par Catherine II au commencement de son règne. Voir R. de la S. H. t. X, 240.

4) Anne-Robert-Jacques Turgot, ministre des finances sous Louis XVI depuis 1774 jusqu'à 1776, économiste rénommé et auteur de plusieurs livres sur l'économie politique.

5) Badeau, économiste et écrivain.

6) Le grand-duc Paul Petrovitch fit le voyage de Berlin pour y voir sa fiancée qu'il épousa plus tard en secondes noces. Il partit le 11 juin v. st., et le mariage se fit à Pétersbourg le 26 septembre (7 oct.) de la même année. Sa correspondance avec l'Impératrice pendant ce voyage est insérée dans les «Papiers de Catherine II». (R. de la S. H. t. XXVII).

Page 54. 1) Pierre Ivanovitch Pastoukhov, devenu dans la suite sénateur, était en ce temps-là secrétaire de l'Impératrice.

Page 55. 1) L'Impératrice Catherine II portait, comme la grande-duchesse Marie Feodorovna, le nom de Sophie avant son entrée dans le giron de l'église grecque.

Page 56. Corilla Olympica était le pseudonyme sous lequel fut reçue à l'académie des Arcadiens une demoiselle de Pistoie, nommée Marie-Madeleine Morelli, qui se rendit célèbre par son talent poétique; en 1771 elle fut couronnée au Capitole comme jadis Pétrarque et Tasse. Elle est morte à Florence le 8 nov. 1800 (Dict. universel, historique etc. t. XII, 216).

Page 58. 1) Cette apostille est écrite sur un chiffon de papier séparé et peut par conséquent appartenir à une autre lettre.

2) L'original de cette lettre est daté par l'Impératrice elle-même du 1 septembre 1775, mais le contenu démontre clairement que c'est un lapsus calami. Dans le cahier relié des lettres de Catherine II à Grimm celle-ci est placée, évidemment par erreur aussi, après celle du 23 août 1775, tandis que l'endroit même (Tsarskoë Sélo) d'où l'Impératrice écrivit cette lettre, prouve qu'elle ne put le faire en 1775, car elle passa presque toute cette année à Moscou.

Page 59. 1) Alors ministre de France à Rome.

2) Le pape Pie VI.

Page 60. 1) Ferdinand IV, de la maison des Bourbons espagnols, né en 1751, devenu plus tard, depuis 1812, roi des deux Siciles sous le nom de Ferdinand I († 1825).

2) Le mot russe *schal* (subs. masc.) est presque oublié maintenant, mais au XVIII siècle il était très en vogue.

3) Cette correspondance fut interrompue pendant un an à peu près par l'arrivée et le séjour de Grimm à Pétersbourg.

Page 61. 1) Le roi Gustave III avait été peu avant à Pétersbourg, où Grimm lui fut présenté par l'Impératrice.

Page 63. 1) Célèbre compositeur italien; en 1776 il fut appelé à Pétersbourg où il passa neuf ans.

2) Le grand et le petit Caprice de Tsarskoë Sélo sont deux monticules courronnés de pavillons, qui réunissent le vieux jardin avec le parc Alexandre par des terrasses en pente douce.

3) La duchesse anglaise Kingston, célèbre par sa beauté et ses aventures, vint en 1777 chercher fortune à Pétersbourg et acheta un bien en Estonie. Elle voulut être reçue au nombre des dames de la cour, mais, n'y étant pas parvenue, se retira en France; en 1782 elle revint à Pétersbourg, y fut complètement déçue dans toutes ses espérances, retourna de nouveau en France et mourut à Fontenebleau en 1788 (Voir l'article de Karnovitch sur elle inséré dans «L'Antiquité Russe» 1877, livre 1).

4) Marie I, qui succéda à son père Joseph I le 24 février 1777. Elle souffrit d'une maladie mentale depuis 1792 et mourut en 1816.

Page 64. 1) Nom que l'Impératrice, à l'exemple de Voltaire, emploie souvent au lieu de celui d'août.

2) L'Impératrice décrit ici l'inondation qui causa tant de dégâts à Pétersbourg.

Page 65. 1) Le comte Ernest Munich, fils du célèbre général; il occupait l'emploi de directeur des impôts de la douane.

2) La nouvelle Casa Santa veut dire probablement l'église dont les fondements furent posés par l'impératrice en présence de Gustave III, au mois de juillet 1777, en l'honneur de la victoire de Tchesma. Cette église fut bâtie à l'endroit où se trouve à présent la maison des invalides, nommée Tchesma, et où se trouvait jadis un château de plaisance impérial. Il ne faut pas oublier que Grimm demeurait alors à Pétersbourg et que par conséquent l'allusion à cette église était compréhensible pour lui (Voir sur la fondation de cette église «La Russie ancienne et moderne» 1876, № 2, l'article de Grot «Catherine II et Gustave III).

Page 66. 1) Voir ci-dessus page 52. Le livre de Necker fut imprimé en 1775 sous le titre «De la législation et du commerce des grains». Il eut plus tard jusqu'à 20 éditions.

2) Fernando Bibbiena (fils du peintre Giov. Maria Galli), né 1657, mort 1743 à Bologne, se rendit célèbre comme constructeur de théâtres et décorateur. Son principal ouvrage est intitulé «Architettura civile». L'Impératrice fait encore une fois mention de Bibbiena à la page 86.

3) Probablement en Suède, par où Grimm a passé en retournant en France.

4) Erikson était un peintre qui fit le portrait de Catherine II, gravé par Vinkeles après son retour de Pétersbourg en Hollande en 1771 (R. de la S. H. XVII, 273).

Page 67. 1) C'est au commencement de son règne que Catherine II était en correspondance avec cette dame célèbre, dont le salon servait de lieu de réunion à tous les hommes de talent remarquables et de tribunal littéraire. Voir R. de la S. H. t. 1.

Page 68. 1) L'Impératrice appelle ainsi en plaisantant ses contemporains et contemporaines couronnés.

2) Nom d'une partie du clergé musulman, appliqué ici à tous les musulmans (les turcs) en général.

3) On appelait ainsi un établissement d'éducation institué à Dresde par Basedow, qui appartenait à la nouvelle école pédagogique de son temps, dont la tâche était de mettre fin aux anciennes méthodes et de les remplacer par d'autres, plus compatibles avec la nature et les besoins de l'homme.

4) Un grand plateau que de Breteuil avait envoyé de France avec un service précieux (Comp. page 65 et 76).

Page 70. 1) Nicolas Malebranche (né à Paris 1678, † 1715), philosophe et théologien; élève de Descartes, auteur de plusieurs écrits remarquables: «La recherche de la vérité», «Conversations chrétiennes» etc.

Page 71. 1) «L'Ingénu, histoire véritable, tirée des manuscrits du p. Quesnel», nouvelle de Voltaire, qui fut deux fois traduite en langue russe (1789 et 1802) sous le titre de «Huron».

Page 72. 1) Caroline-Louise-Ulrique, soeur de Frédéric II, veuve d'Adolphe Frédéric († 1771) et mère de Gustave III. Elle est décédée en 1782.

Page 73. 1) C'est sans doute le général anglais Burgoyne qui est mentionné ici. Il était gouverneur du Canada et fut envoyé en 1777 pour lutter contre le congrès américain; après un succès insignifiant il mit bas les armes à Saratoga et fit le serment de ne plus se battre contre l'Amérique. Ses travaux littéraires n'ont rien de remarquable. Il est mort en 1792.

2) C'est-à-dire Voltaire. L'écrit mentionné ici fut imprimé dans la «Gazette» de Berne; il y offrait d'ajouter 50 louis au prix fixé pour un nouveau projet de lois criminelles.

Page 75. 1) Comédie en un acte, en prose, par Chamfort, dont la première représentation eut lieu à Paris le 26 janvier 1770.

2) Probablement le roi d'Angleterre.

3) Le fameux chevalier d'Eon, qui vint en Russie en 1755 en compagnie de l'agent français Douglas; sur l'ordre de Louis XV, il portait des habits de femme. Voir sur ce personnage énigmatique l'article de Karnowitch dans «La Russie ancienne et moderne» 1875, № 7.

Page 76. 1) Don Juan de Bragance, duc de Lafoens, né à Lisbonne en 1719, fit ses études à l'université de Cambridge, où il se distingua par son talent littéraire et ses manières agréables A l'avènement de son frère, Joseph I (né 1714, monté au trône de Portugal 1751, † 1777), il dut quitter son pays et s'en alla en Angleterre, puis servit comme volontaire dans l'armée autrichienne pendant la guerre de sept ans, après quoi il s'installa définitivemeni à Vienne, voyagea beaucoup et visita entre autres la Russie. A l'avènement de la fille de Joseph I, Marie I (née 1734, reine 1777, † 1816), il retourna dans sa patrie et institua à Lisbonne une académie des sciences. Mort le 10 novembre 1806. De retour en Portugal il se maria avec Henriette Menezes, de la maison de Marialva, alliée avec la maison royale. Il a déjà été fait mention de ce duc de Bragance plus haut dans le № 23, voir page 33. Sous le nom de «ma soeur», chez laquelle il se

rendait, l'Impératrice entend la reine de Portugal Marie, qui était mariée avec son oncle, le roi don Pedro.

2) C'est-à-dire que la fête de l'Impératrice était célébrée le 24 novembre 1777, jour où l'on attendait la délivrance de la grande-duchesse, qui n'eut lieu que le 12 décembre.

Page 77. 1) Toutes les deux épitaphes se sont conservées dans les papiers de l'Impératrice. Sur le revers de la feuille où l'épitaphe du chien est écrite d'une main étrangère, l'Impératrice a écrit de sa main les lignes suivantes: «Ci-gît Catheriñe Seconde, née à Stettin le 21 avril (2 mai) 1729. Elle passa en Russie l'an 1774 pour épouser Pierre III. A l'âge de quatorze ans elle forma le triple projet de plaire à son époux, à Elisabeth et à la nation. Elle n'oublia rien pour y réussir. Dix-huit années d'ennui et de solitude lui firent lire bien des livres. Parvenue au trône de Russie, elle voulut le bien et chercha à procurer à ses sujets bonheur, liberté et propriété. Elle pardonnait aisément et ne haïssait personne; indulgente, aisée à vivre, d'un naturel gai, l'âme républicaine et le coeur bon, elle eut des amis; le travail lui était facile, la société et les arts lui plaisaient».

Page 78. 1) Paul Rapin de Thoïras, né à Castres (Languedoc) le 25 mars 1661, † à Wesel le 16 mai 1725. Exilé de la patrie par l'édit de Nantes, il vécut tantôt en Angleterre, tantôt en Hollande et écrivit à la Haie, un an avant sa mort, son livre célèbre: «Histoire d'Angleterre, depuis l'établissement des Romains dans la Grande Bretagne jusqu'à la mort de Charles I». Les matériaux biographiques dont nous nous sommes servis, n'indiquent pas que Mauclerc fût l'éditeur de ce livre. P. E. Mauclerc était pasteur de la chapelle française à Stettin et membre de l'académie des sciences de Berlin. Il prit part à la rédaction de la «Bibliotèque germanique» et à d'autres éditions (Quérard, la France littéraire). Son fils devint pasteur à Monbéliard, ville natale de l'impératrice Marie Feodorovna, épouse de l'emperuer Paul, laquelle fut longtemps en correspondance avec ce Mauclerc fils.

2) Marie-Madeleine, épouse du roi d'Espagne de la maison des Bourbons, Ferdinand VI.

Page 79. 1) Thunder-ten-tronckh (un personnage du Candide de Voltaire) serait plus juste.

Page 80. 1) Toutes les fêtes de la cour à cette époque furent données à l'occasion de la naissance du grand-duc Alexandre Pavlovitch.

2) Une annonce imprimée, jointe à la lettre, portait ce titre.

Page 81. 1) Une supplément séparé, écrit de la main de l'Impératrice.

2) Dans le cahier relié des lettres originales de Catherine II à Grimm cette lettre se trouve placée parmi celles de 1775; son contenu nous fit voir cette inexactitude, et l'indication en tête de la lettre nous permit de définir avec précision l'année à laquelle elle se rapporte.

3) James Harris, comte de Malmsbury (né 1746, † 1820), occupait le poste de ministre à la cour de Pétersbourg depuis 1777 jusqu'à 1783; son but, qu'il n'atteignit cependant pas margré tout son art diplomatique, était de porter l'Impératrice à signer une alliance défensive et offensive avec l'Angleterre. Ses dépêches de Pétersbourg sont insérées dans «Les Archives Russes» 1866 et 1874.

Page 82. 1) Grimm est né à Ratisbonne le 26 décembre 1723.

Page 84. 1) C'est-à-dire roi de Suède.

2) A son retour à Stockholm du voyage fait à Pétersbourg en 1777, Gustave III résolut d'introduire en Suède un habit national particulier. Voir sur cela l'article de J. Grot «Catherine II et Gustave III» «Russie ancienne et moderne» 1876, février.

3) Acteur célèbre, † à Paris le 8 février 1778.

Page 85. 1) Palatin, devenu duc de Bavière en 1777; c'est lui qui l'année suivante donna lieu à la guerre pour la succession de Bavière.

2) Mémoire sur les 16 premières années du reigne de Catherine II, fait par elle-même. Malheureusement il ne s'est conservé aux archives de l'état qu'une partie de ce mémoire curieux, et en copie, non pas en original. Cette partie conservée, formant le commencement du mémoire, a été imprimée dans «Les Archives Russes» 1865, page 480.

Page 88. 1) Potemkine.

Page 89. 1) Bosquet de trembles, nom d'un village près de Pargolovo, sur la rivière Tchernaïa, qui se jette dans la Sestra.

Page 93. 1) Chatam (William Pitt) est mort le 11, et Voltaire le 30 mai.

2) C'est-à-dire à Paris.

Page 94. 1) Un libraire de Génève, éditeur des oeuvres de Voltaire.

2) Le baron Charles Dalberg, devenu dans la suite prince de l'union du Rhin, né en 1744, † 1817. En 1777 parut son oeuvre principale «Betrachtungen über das Universum»; probablement c'est de ce livre que parle l'Impératrice.

Page 95. 1) Cettè écritoire se trouve jusqu'à présent au musée impérial. En voici une description sommaire que nous devons à l'obligeance de M. A. A. Kunik. Ce n'est pas une écritoire proprement dite, c'est une grande pendule garnie d'une écritoire, mi-partie bronze dorée, mi-partie argent, ayant la forme d'un pont de vaisseau. Au fond se trouve une figure d'Hercule portant sur le dos une pendule sphérique; derrière le globe s'élève un trophée formé d'un aigle romain avec le portrait de Catherine II sur le bouclier etc. Quelques tableaux en miniature représentent les faits les plus glorieux du temps de Catherine II. Ainsi on voit, assujettis sur les trophées, deux boucliers en oval, sur lesquels sont peintes en miniature, sur l'un la prise d'Ibraïlow (sic), sur l'autre la prise de Bender. La troisième miniature ovale représente Catherine II sur le trône, entourée de sa cour et ornant de la croix de st.-George la poitrine du comte Orlov, qui est à genoux devant elle. Sur la façade du piédéstal le comte Orlov est représenté accordant la paix aux envoyés turcs. Le couvercle de l'écritoire est orné d'une grosse miniature, représentant la victoire de Tchesma. Sur le fond du tableau se trouve l'inscription suivante: «Catharinae II Russorum imperat. avg. hostibus debellatis publicae felicitati restitutae. Anno Dom. MDCCLXXVIII. Offer. Barnab. Augustin Demailli. Paris».

Page 96. 1) Il est question des couplets faits par la marquise de Boufflers à propos des difficultés que les obsèques de Voltaire rencontrèrent de la part du clergé. Ces couplets furent imprimés dans la «Correspondance de Grimm et de Diderot», X, 51.

2) Janus; il suit des autres lettres que l'Impératrice nommait ainsi l'empereur Joseph II.

3) Gustave III, roi de Suède.

4) Sabathier de Cabres fut chargé d'affaires auprès de Catherine II depuis 1769 jusqu'à 1773, et Durand lui succéda comme ministre français à sa cour.

Page 97. 1) Ce jour d'hui est l'anciennne forme de l'aujourd'hui moderne.

2) Reiffenstein (originairement Reiffstein) naquit dans la Lithuanie prussienne, fit ses études à l'université de Koenigsberg, voyagea 1760—1762 avec le fameux comte de Lynar, et s'étant lié à Rome avec Winkelmann, il résolut de s'y installer. Là il s'adonna entièrement à l'étude des arts et des antiquités, et s'il avait voulu embrasser le catholicisme, il aurait pu remplacer Winkelmann après la mort de celui-ci. Il était universellement reconnu pour le meilleur connaisseur des antiquités de Rome et servait volontiers de cicerone aux étrangers, soutenait de tout son pouvoir les artistes et fut le commissionnaire de la cour russe, qui lui faisait une pension. Il écrivit plusieurs livres tant sur l'histoire de la littérature que sur les arts. Il est mort le 13 octobre 1793 (Meuse, Schriftsteller-Lexikon).

Page 98. 1) Professeur de théologie au collége de la Propagande à Rome et mathématicien distingué, auteur de plusieurs livres de mathématiques.

2) Jakob Philipp Hackert, natif de Brandenbourg; après de longs voyages en Europe, il vint en 1778 en Italie, où il fit plusieurs tableaux commandés par Catherine II. La famille des Hackert compte plusieurs peintres remarquables (Diction. univers. historique etc., VIII, 202).

Page 99. 1) C'est Marie-Thérèse, mère de Joseph II, qui est sous-entendue ici.

Page 100. 1) Roslin, Alexandre, peintre portraitiste, qui se distinguait cependant beaucoup plus par la perfection achevée des détails que par la ressemblance de ses portraits; il a vécu pendant quelques années à Pétersbourg et y fut élu membre de l'académie des beaux-arts. Il a fait entre autres le portrait de Catherine II, du grand-duc Paul Petrovitch et de son épouse, la grande-duchesse Maria Feodorovna. Il existe aussi un portrait de Gustave III peint par lui. Il est mort en 1796, âgé de soixante ans (Naglers Künstler-Lexicon).

2) Voir ci-dessus page 85.

Page 101. 1) Ce projet fut exécuté, comme le témoigne la Galerie de Raphaël à l'Ermitage impérial, qui fut construite, d'après l'ordre de Catherine II, par l'architecte Quarenghi sur le modèle et de la grandeur des loges du Vatican. Les copies des fresques dont elle est ornée furent exécutées à Rome, sous la surveillance du peintre Unterberger, qui les fit peindre sur de la toile pour qu'il fût possible de les rouler. C'est grâce à cette précaution que plus tard, lors de la construction du nouvel Ermitage, elles purent être ôtées et replacées de nouveau sans le moindre endommagement. Le mérite de ces copies est de représenter les originaux dans un état moins changé que ne le sont les originaux mêmes, qui ont beaucoup souffert du temps (Livret de la Galerie Impériale etc., St.-Pétersbourg, 1838, et les catalogues ultérieurs de l'Ermitage en langue russe).

2) Ivan Ivanovitch Schouvalov; après une absence de 14 années, il revint de l'étranger au

mois de septembre 1777 et occupa le poste de grand chambellan.

Page 103. 1) Mignot, neveu de Voltaire et auteur de plusieurs livres historiques (né 1730, déc. 1790).

2) Neveu de Voltaire.

Page 104. 1) Sur les désagréments éprouvés par Falconet dans le dernier temps de son séjour à Pétersbourg, et sur son départ, voir le R. de la S. H. t. XVII, p. XXXVIII—XL. Ce tome contient sa correspondance avec l'Impératrice.

2) Il est question ici de Pierre-Louis, évêque de Lubeck, devenu plus tard duc d'Oldenbourg (né 1755, † 1829); il épousa en 1781 la princesse Frédérique de Wurtemberg. Il était fils du cousin de Catherine II George-Louis, prince de Holstein, mort à Pétersbourg en 1763, et père du prince George d'Oldenbourg, qui devint l'époux de la grande-duchesse Catherine Pavlovna.

Page 105. 1) Cela signifie: Nous avons un couvent appelé la Nouvelle Jérusalem. (La lettre F. dans le texte doit être remplacée par J.)

2) Durant la dernière année de la vie de Voltaire Panckouck (de Lisle) fit le voyage de Ferney et reçut la permission de Voltaire de faire une nouvelle étidition de ses oeuvres, revues par l'auteur lui-même. A la mort de Voltaire Panckouck eut recours à la protection et au soutien de Catherine pour son plan. Mais la réponse se fit attendre si longtemps que Panckouck dut se résoudre à vendre son droit au fameux Beaumarchais. On assure que la réponse très favorable de l'Impératrice, accompagnée d'une lettre de change de 150,000 livres, fut reçue le lendemain même de la conclusion de ce marché, mais que Beaumarchais ne consentit pas à annuler le contrat, établit une typographie à Kehl (sur le Rhin) et acheva son édition, qui parut en 1785—1789, en 72 volumes in-8 ou 92 vol. in-12 (Quérard, La France littéraire, X 374).

Page 107. 1) Il est probablement question d'Ivan Nicolaïevitch Korsakov, qui fut en faveur depuis l'été 1778 jusqu'au mois d'octobre 1779.

Page 109. 1) L'artiste qui travailla l'écritoire si souvent mentionnée. Voir ci-dessus, p. 95, l'inscription copiée de cette écritoire.

2) C'est-à-dire de Voltaire. Ci-dessous ce sont ses parents et héritiers qui sont désignés par le nom de Secondats.

Page 111. 1) Le célèbre violoniste, né à Livourne en 1725, † en France 1796.

2) La cantatrice célèbre Catherine Gabrielli, née à Rome 1730, fille d'un cuisinier, ayant reçu son nom du maître de son père le prince Gabrielli; ses voyages à travers l'Italie et d'autres pays de l'Europe lui acquirent une célébrité universelle; elle vint aussi à Pétersbourg, où son souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours, grâce à une anecdote que l'on raconte sur son aventure avec le colonel I. P. Yélaguine, qui se démit une jambe en valsant avec elle. Elle est morte à Rome 1796 («Récits et esquisses historiques» par Schoubinski, St.-Pétersb. 1871).

Page 113. 1) L'épître du comte A. P. Schouvalov à Ninon de l'Enclos, qui de son temps jouit d'une certaine célébrité et qui fut imprimée par Voltaire, à qui l'auteur l'envoya. Elle est insérée en entier dans la Correspondance de Grimm et de Diderot, VIII, 292.

2) Tragédie de La Harpe, dont le sujet est emprunté à l'histoire d'une famille illustre en Orient, les Barmécides. La première représentation de cette tragédie eut lieu à Paris le 11 juillet 1778, mais elle n'eut pas de succès, malgré les applaudissements zélés des amis de l'auteur, surtout du comte Schouvalov.

Page 114. 1) Voir ci-dessous la note à la page 118.

Page 115. 1) Le baron François de Tott, diplomate français (né 1733, † 1793); sous Vergennes il servait à Constantinople, où il resta jusqu'à 1763, et après son retour en France il fut nommé par Choiseul au poste de consul en Crimée, où il contribua beaucoup à la rupture de la Russie avec la Turquie. Rappelé à Constantinople vers 1769, il prit part à la réorganisation de l'armée et de la flotte turques ainsi qu'à l'armement de leurs forteresses. Retourné en 1778, il quitta le service diplomatique. Il est mort en Hongrie. Ses «Mémoires sur les Turcs et les Tatares» sont très renommés.

Page 116. 1) Voir ci-dessus, la 1-re note à la page 101.

Page 117. Jean-Jacques Rousseau est mort le 3 juillet 1778.

Page 118. 1) «Irrthümer in einer Nacht», comédie traduite de l'anglais. Hambourg 1774.—«Die Schöne Wienerin», comédie en cinq actes, par Paul Weidmann, Vienne 1776 (Vollständiges Bücher-Lexicon, VI Theil. Leipzig, 1836).

Page 119. 1) A la nièce de Voltaire. Cette lettre est insérée dans la collection des papiers de l'Impératrice Catherine II, édités par la Société historique: voir le R. XXVII, 156.

2) Mémoires sur la Chine, par d'Anville, Paris 1776.

Page 120. 1) Pasquino, statue (ou, pour mieux dire, torse) en marbre qui se trouve à un coin du palais Orsini à Rome. Il existait encienne-ment la coutume de coller à cette statue toute sorte d'inscriptions satiriques (c'est de là que vient le mot pasquinade). Morforio, autre statue qui se trouvait vis-à-vis de la première et sur laquelle on collait les réponses aux railleries écrites sur le Pasquino.

2) Peintre et architecte (né 1721, † 1820), français d'origine, qui a longtemps travaillé à Rome et s'est rendu célèbre par la reproduction des monuments d'architecture ancienne. Comme écrivain il est réuommé pour son livre «Les Antiquités de la France». En 1773 Catherine II lui commanda, par l'entremise de Falconet qui était alors à Pétersbourg, le dessin d'une «maison antique», sur le modèle duquel elle voulait faire construire un pavillon au jardin de Tsarskoë-Sélo; au lieu de ce dessin Clérisseau lui fit le plan d'un édifice énorme, pour lequel il exigea une grosse somme. Il s'éleva des malentendus, des discussions, qui forcèrent l'Impératrice à renoncer à ses relations avec cet artiste (voir R. de la S. H. t. XIX, p. 213 et 298).

Page 122. 1) Le fameux épicurien français, auteur de plusieurs chansonnettes légères; né en 1599, † 1673.

2) Voir ci-dessus note 2, page 104.

Page 128. 1) L'empereur du Saint-Empire Romain Joseph II.

2) Il s'agit, paraît-il, du prince Louis d'Oldenbourg et de sa fiancée, la princesse Frédérique de Wurtemberg; voir ci-dessus pages 104 et 122.

3) Le roi de Suède Gustave III.

Page 129. 1) Né le 28 mars 1727, décédé le 30 décembre 1777. Avec lui s'éteignit la ligne masculine de la principale dynastie bavaroise, ce qui servit de motif à la guerre pour la succession de Bavière.

Page 132. 1) Le nom de Zelmire désigne la princesse Augusta de Brunswick, fille du duc Charles-Guillaume-Ferdinand, qui épousa l'année suivante Frédéric de Wurtemberg, frère de la grande-duchesse Maria Feodorovna. Frère G. signifie, comme nous l'avons déjà mentionné, Gustave III. Le nom de Télémaque est donné au prince Pierre-Louis d'Oldenbourg, dont il a été quastion plus haut. Voir ci-dessus p. 104 et 122.

Page 134. 1) Lacune qui se trouve dans la lettre originale.

Page 135. 1) C'est-à-dire: vuol farmi (veut me faire).

Page 137. 1) Voir ci-dessus page 107.

Page 138. 1) C'est-à-dire les jésuites de la Russie Blanche.

Page 139. 1) Les mots imprimés en caractères italiques sont écrits dans l'original en grosses lettres, dont quatre lignes occupent tout une page.

Page 144. 1) Le banquier de la cour Friederichs.

Page 145. 1) Frère Gustave.

Page 146. 1) Personnage d'une comédie de Sedaine; voir ci-dessus page 120.

2) I. I. Schouvalov.

Page 148. 1) Le grand-duc Constantin Pavlovitch naquit le 27 avril (8 mars) 1779.

2) Saint-Priest, ministre de France à Constantinople, reçut de Catherine II le grand cordon de l'ordre de St.-André orné de diamants pour son concours à la conclusion du traité avec la Turquie.

3) C'est-à-dire un compte-rendu semblable à celui que fit l'Impératrice elle-même et qui a été plusieurs fois mentionné dans ses lettres antérieures.

Page 149. 1) Il est question des Anglais, qui étaient forcés alors de se battre en Amérique et en Europe.

Page 151. 1) Le grand veneur L. A. Narischkine.

Page 153. 1) Une ci-devant élève du couvent de Smolni, que l'Impératrice honorait d'une faveur particulière et nommait ordinairement «ma noiraude de Lovouchka»; voir le R. de la S. H., XIII, 112 et 338.

2) Le grand chambellan I. I. Schouvalov.

3) Dans l'original la page finit par ces lignes; la première partie de celle qui suit est occupée par les lignes suivantes, séparées du reste de la lettre par un trait:

«Feuille renfermée dans la dernière des pancartes divines et impériales.

«Feuille admirable et unique, allez revoir Paris pour la seconde fois; ce n'est pas moi, je pense, qui vous y ai envoyée pour la première, mais bien messieurs les commis de poste, qui après lecture auront eu envie de conserver mon beau griffonnage, dont j'ai lieu de les remercier».

4) Ces mots se trouvent dans l'original.

Page 156. 1) Lois danoises.

Page 157. 1) Voir ci-dessous une note sur ces deux architectes.

Page 159. 1) Ministre français à la cour de Russie depuis le mois d'avril 1765; il est mort en 1767; voir R. de la S. H. X, 202.

2) Duca di San Nicolo, ministre plénipotentiaire du roi des deux Siciles, arrivé à Pétersbourg au mois d'août 1779.

Page 160. 1) Compositeur d'opéra, qui était maître de chapelle à la cour de Catherine II depuis 1768 jusqu'à 1775; il y succéda à Galuppi. Né dans les états napolitains le 19 mai 1727, il est décédé à Venise le 6 avril 1779.

Page 161. 1) Ambassadeur extraordinnaire et ministre plénipotentiaire du roi de Prusse; il venait d'arriver alors à Pétersbourg.

Page 162. 1) Giacomo Trombara, natif de Parme, fit plus tard les plans de plusieurs édifices à Pétersbourg; il est cependant bien moins connu que Geronimo Quarenghi, né à Bergamo en 1744; élève de Mengs à Rome, il se passionna pour l'architecture, étudia avec amour Palladio et concourut beaucoup à la renaissance du bon goût, de la noblesse et de la simplicité de forme dans l'architecture. Pétersbourg, Tsarskoë-Sélo et Peterhof lui doivent quelques-uns de leurs plus beaux édifices. L'Empereur Alexandre I l'éleva au rang de la noblesse et lui accorda le titre de conseiller d'état (Naglers Künstler-Lexicon).

2) Le beau-frère de Mengs, marié avec la soeur de celui-ci Thérésine, renommée pour son talent comme peintre miniaturiste.

3) Il est question de Reiffenstein, que l'Impératrice appela depuis lors divin tout court.

4) C'est-à-dire de la soeur d' I. I. Schouvalov, la comtesse Galitsine.

Page 163. 1) Le cardinal de Bernis, ministre de France à Rome.

Page 166. 1) Oeuvre de Buffon.

Page 167. 1) Le prince de Brunswick, né en 1735, succéda à son père quelques mois après l'envoi de cette lettre, et notamment le 26 mars 1780.

2) Le fils du duc Ernst II, le prince Ernst, qui n'avait que neuf ans quand il mourut le 21 novembre (3 décembre) 1779.

Page 168. 1) Dans le cahier des lettres originales de Catherine II celle-ci est suivie d'un feuillet de papier avec les vers suivants, écrits, comme le reste, de la main de l'Impératrice:

Chanson.

Jean bâtit une maison
Qui n'a ni rime ni raison:
L'hiver on y gèle tout roide,
L'été ne la rend point froide;
Il y oublia l'escalier,
Puis le bâtit en espalier.

2) Lev (Léon) Alexandrovitch Narischkine.

Page 169. 1) Tout ce supplément est écrit aussi de la main de Catherine II. Un mémoire pareil, répétant en partie celui-ci, mais complété de différents appendices, fut envoyé par l'Impératrice en 1785. Ce mémoire a été imprimé dans les «Lettres et papiers de Catherine II», édités par M. A. F. Bytchkov, page 149.

2) Il est probablement question de Juigné, car son successeur, le marquis de Vérac n'eut sa première audience de présentation que le 28 juin 1780.

Page 170. 1) Jusqu'au mois de septembre 1779 l'ambassadeur d'Allemagne était Kaunitz, celui d'Angleterre, lord Malmsbury.

Page 173. 1) Ce personnage souvent mentionné est un sultan indien du conte de Crébillon le fils «Le Sopha». Voir la note 1 à la page 185.

Page 174. 1) La déclaration sur la neutralité armée, envoyée le 28 février aux puissances qui étaient alors en guerre.

Page 175. 1) Probablement le roi d'Espagne Charles III (monté sur le trône en 1759, déc. en 1788).

2) Il est particulièrement question de son écrit sur la paix éternelle (Projet de paix universelle), qui fut plus tard traduit en russe.

Page 177. 1) Voir ci-dessous page 187.

Page 179. 1) L'empereur Joseph II.

2) Le mémoire dont il est question ici. voir ci-dessous page 181.

Page 180. 1) Son second mari fut un certain Duvivier.

2) Une ancienne famille princière de Bohème. Vers la fin du XVIII siècle plusieurs membres de cette famille se distinguèrent par leurs services éminents. L'Impératrice parle probablement du prince de l'empire Auguste, qui naquit en 1729, fut ministre à Madrid et mourut en 1803. Il se peut pourtant qu'il soit question de son frère Ferdinand, évêque de Gand (depuis 1779), né à Vienne en 1726 et déc. en 1795.

Page 185. 1) Dans le conte de Crébillon le fils «Le Sopha» le sultan indien schah Baham est fils du schah-Riar et de Schéhérazade, deux personnages des fameux contes de Mille et une nuits. Un des favoris du schah Baham, adorateur de Brama, devenu sopha par la métempsycose, lui raconte ses aventures. Schah Baham

se distinguait par son ignorance et sa sensualité extrêmes; les choses les plus ordinaires l'étonnaient et il ne comprenait rien que l'absurde et l'incroyable. Il ne savait point penser, mais ne savait pas non plus se taire. Il appréciait au dessus de tout l'art de broder et de tailler, et nomma visir un homme qui ne possédait que cet art. Voir la «Collection des oeuvres de Crébillon le fils», Londres, 1772, t. III.

2) Frédéric-Guillaume, le prince héréditaire de Prusse, neveu de Frédéric II, vint à Pétersbourg le 26 juillet 1780.

3) C'était le premier rapprochement de l'Impératrice avec le célèbre prince de Ligne, dont l'esprit lumineux et les connaissances variées la charmèrent de prime abord, et qui plus tard accompagna l'Impératrice dans son voyage de Crimée. Elle lui conserva pour la vie sa bienveillance, dont nous avons le témoignage dans sa correspondance avec lui, qui n'est connue qu'en partie.

Page 186. 1) A l'épouse du ministre des affaires étrangères de France.

Page 187. 1) André Danican, dit Philidor (né 1726, † 1795), célèbre compositeur français, auteur de plusieurs opéras comiques et autres oeuvres musicales; il se fit en outre une grande réputation par son art extraordinaire au jeu d'échecs, sur lequel il a écrit un livre, estimé jusqu'à nos jours.

2) Serguel Guérassimovitch Domachnev fut directeur de l'académie des sciences depuis 1775 jusqu'à 1783.

Page 189. 1) Voir ci-dessus page 185; de cette manière ce prince a passé à Pétersbourg deux mois et quelques jours.

2) Voir ci-dessus la même page.

Page 190. 1) Il est question, paraît-il, du prince royal de Prusse.

2) Herzberg, ambassadeur de Prusse. Voir ci-dessus page 161.

3) Lord Gordon, qui venait d'être jeté en prison à cause des désordres que son opposition au parlement avait soulevés.

Page 192. 1) C'est-à-dire de l'Impératrice Marie-Thérèse.

2) Allusion au roi d'Angleterre.

Page 193. 1) C'est-à-dire de l'empereur d'Autriche et du prince de Prusse.

2) Le roi de Suède Gustave III.

Page 194. 1) Procureur-général, c'est-à-dire le prince Viazemski.

2) Probablement la reine de Portugal Marie I; et la ligne précédente fait mention de son époux don Pedro III.

Page 197. 1) C'est-à-dire de la guerre de l'Angleterre avec les états-unis d'Amérique, à laquelle la France et l'Espagne prenaient part.

Page 200. 1) Voir ci-dessus page 196.

Page 201. 1) M-me d'Epinay.

2) La filleule de M-me d'Epinay.

3) Voir ci-dessus page 185. L'Impératrice parle de ses travaux préparatoires, qui eurent pour résultat plusieurs règlements ultérieurs très importants.

Page 202. 1) Ou bien, pour employer la forme française de ce nom, Nabuchodonosor.

2) Année de l'avènement de Frédéric II, dont il est probablement question ici.

Page 205. 1) Les trois règlements en question sont probablement ceux-ci: Nouvelle ordonnance sur les gouvernements (13 juillet), statut sur le débit du sel (6 juillet) et ordonnance sur la navigation marchande (25 juillet); voir R. compl. des Lois, t. XXI.

Page 207. 1) «Voyage pittoresque de la Grèce» par Choiseuil-Gouffier, dont le premier volume paraissait en livraisons depuis 1780 jusqu'à 1782 (comp., page 180). Les volumes II et III parurent de la même manière entre 1809 et 1824.

Page 208. 1) L'auteur de «Wilhelmine ou le pédant marié», poëme comico-héroïque en prose et en six livres, était Maurice-Auguste Thummel, né en 1738 non loin de Leipzig, décédé en 1817 à Cobourg, où il occupa pendant quelque années (depuis 1768) le poste de ministre. «Wilhelmine» parut en 1764 et fut lue avec avidité par toute l'Europe; ce n'est que plus tard qu'elle fut traduite en russe par Kozodavlev.

2) «Leben und Meinungen des Magister Sebaldus Nothanker» (le titre et la forme du récit présentent une imitation du Tristram Shandy de Sterne) était le roman satirique, célèbre en son temps, de Frédéric-Chistian Nicolaï, qui combattait pour la liberté de pensée et de conscience contre le formalisme et l'hypocrisie.

3) Joseph Andrews, roman de Fielding, qui tournait en ridicule la Pamela de Richardson. Adams est un des personnage de ce roman.

4) Un des principaux personnages du roman «Sebaldus Nothanker» est un surintendant qui poursuit le héros.

Page 211. 1) Essai sur l'histoire de la maison d'Autriche, par le comte de G. Paris, 1778, 9 volumes.

Page 212. 1) Voir sur ses livres ci-dessus page 208.

Page 214. 1) Peintre et graveur français, éditeur du «Voyage pittoresque de Sicile.

Page 215. 1) Marie-Thérèse est morte le 29 (17) novembre 1780.

Page 217. 1) Voir ci-dessus, page 219.

Page 218. 1) C'est pour la première fois que se rencontre le nom d'A. D. Lanskoï, dont la faveur commença à Pâques en 1780 après l'éloignement d' I. N. Korsakov au mois d'octobre 1779.

Page 220. 1) Voir ci-dessus page 100.

Page 223. 1) Ce général anglais, qui commandait un corps d'armée aux colonies de l'Amérique du nord, capitula le 19 octobre 1781 et se rendit à Washington devant Yorktown.

Page 224. 1) C'est-à-dire le roi d'Angleterre. Il s'agit principalement de ses plans manqués durant la lutte contre les colonies de l'Amérique du nord.

Page 225. 1) Il s'agit évidemment du jeune Lanskoï, qui devait entreprendre un voyage en Italie.

Page 226. 1) L'Impératrice, qui écrivait jusque là Müller, n'écrit plus dès lors que Miller, ortographe que nous suivrons aussi dorénavant.

2) Voir ce qui est dit pages 223 et 225.

Page 227. 1) C'est-à-dire frère George; il est question du roi d'Angleterre.

2) Général-ingénieur, lieutenant-général Fedor Wilmovitch Bauer, né en Hesse en 1731, servait dans les armées de Frédéric II, lorsque, en 1769, Catherine II l'invita à passer au service russe, ou il se couvrit de gloire pendant la première guerre contre les Turcs. La guerre finie, il dirigea la construction de canaux entre Pétersbourg et les gouvernements limitrophes. Catherine II, comme nous le verrons ci-dessous, l'appréciait beaucoup et fut fort attristée de sa mort, qui eut lieu au commencement de l'année 1783.

Page 228. 1) «Spitzbart, eine tragi-komische Geschichté, von Schummel» (Leipzig, 1779) est un romans atirique, tournant en ridicule les innovations pédagogiques de Basedow et son Philantropin.

2) Publication de Nicolaï, l'auteur du dernier des deux romans, mentionnés dans le texte.

Page 229. 1) C'était Frédéric-César La Harpe, le futur précepteur du grand-duc Alexandre Pavlovitch, devenu si célèbre depuis. Sur la prière des Lanskoï, Grimm lui offrit d'accompagner les jeunes voyageurs en Italie, où ses propres goûts l'attiraient depuis longtemps.

2) Voir ci-dessus, page 224.

3) Le prince Dmitri Mikhaïlovitch, ministre de Russie à Vienne depuis le 28 mai 1761 jusqu'au 9 avril 1792.

Page 230. 1) Voir sur l'arrivée de La Harpe à Pétersbourg et sur son service ultérieur un extrait de ses mémoires, inséré dans «Les Archives Russes» 1866, page 80, et l'article de M. M. Soukhomlinov dans le «Journal du Ministère de l'Instruction publique», 1871, livrais. de janvier, page 47 et les suivantes.

Page 232. 1) Ci-dessous, page 239, il est nommé Matthiev. Ne serait-ce pas plutôt Matvéiev?

Page 233. 1) Lieu de naissance de la grande-duchesse Maria Feodorovna.

2) Brochure de Grimm; voir ci-dessus page 9.

Page 234. 1) La princesse Caroline de Brunswick (née en 1768) était soeur cadette d'Augusta (Zelmire), qui était mariée au beau-frère du grand-duc Paul Petrovitch, Frédéric; elle épousa plus tard le prince royal d'Angleterre, George (IV).

2) Ville, où se trouvait le prince Frédéric avec le régiment qu'il commandait.

3) Dont le prince fut nommé gouverneur.

Page 235. 1) Siestrencewicz-Bohusz; le 18 janvier 1784 il fut revêtu du pallium (Le Catholicisme romain en Russie, par le comte Dm. Tolstoy, II, 27).

2) Altesses Impériales.

Page 238. 1) Le banquier de la cour, successeur du baron Frederichs, mort en 1779.

2) Banquier à Rome, mentionné plusieurs fois dans les lettres précédentes.

Page 239. 1) «Tsarévitch Khlor», conte de Catherine II, qui venait d'être imprimé.

Page 240. 1) L'Impératrice parle d'elle-même.

Page 242. 1) Voir ce qui est dit sur cette église ci-dessus, page 65, note 2; la consécration eut lieu en présence de Joseph II, le 24 juin 1780.

2) C'est ainsi que l'Impératrice traduit l'ancien nom finnois de cet endroit Kekereksinen, ce qui, d'après l'opinion générale de l'époque, signifie: marais aux grenouilles (Voir le «Dictionnaire géografique» de Maksimovitch et Stchékatov, sous le mot Tchesma).

3) N'est-ce pas la même personne qui, page 200, est nommée le vicomte de Herrera?

Page 243. 1) Allusion au ministre de Prusse Goertz; voir ci-dessus pages 161 et 190.

Page 244. 1) Grand-duc de Toscane. C'était Léopold I, frère de Joseph II, qui lui succéda plus tard sous le nom de Léopold II.

Page 247. 1) «Geschichte der Abderiten», roman satirique de Wieland (1773).

2) Probablement le baron Jean-Gustave, qui

a été pendant très longtemps ministre de Saxe à Pétersbourg (né en 1730, † en 1789).

Page 248. 1) La séance de l'académie française en présence du grand-duc Paul Petrovitch et de son épouse; La Harpe (critique rénommé) lut son «Epître à M. le comte du Nord» en vers, où il donne le nom de Petrovitch à l'auguste visiteur; le «Portrait de César» fut lu par l'abbé Arnaud (Correspondance de Grimm et de Diderot, XI, 154).

2) La fille de la célèbre M-me Geoffrin; née en 1715, elle se maria avec le comte La Ferté Imbault et devint veuve à l'âge de 21 ans. Elle était spirituelle comme sa mère, mais n'aimait pas les philosophes contemporains, que sa mère protégeait au contraire. Voir ci-dessus page 237.

Page 251. 1) Le médecin anglais renommé qui avait vacciné Catherine II.

Page 253. 1) Voir ci-dessus page 227. Dans le cahier des lettres de Catherine II à Grimm se trouve la copie des lignes suivantes que l'Impératrice avait écrites le même jour au général Bauer: «Monsieur le général Bauer, j'ai confirmé les dispositions qu'en bon mari et en bon père vous avez jugé à propos de faire. Je souhaite de tout mon coeur que ce ne soit qu'une précaution; je prie le ciel d'en éloigner et reculer le moment le plus que possible; il me serait bien douloureux d'être privée si tôt de vos services, que je prise, de même que vos talents, avec les sentiments que le mérite seul peut inspirer. Soyez assuré que je regarderai comme un moment fortuné, celui où je vous reverrai en bonne santé; ne doutez nullement qu'en toute occasion je ne réponde à la confiance que vous m'avez toujours temoignée. Catherine. Ce 15 nov. 1782».

Page 254. 1) Le célèbre graveur russe déjà mentionné ci-dessus page 240 (né en 1755, † 1792).

2) C'était Fedor Ivanovitch Iankovitch de Mirievo, qui occupait le poste de directeur des écoles à Temeswar et fut, sur la recommandation de Joseph II, appelé en Russie, où il reçut le même emploi (né 1741, † 1814). Voir sur lui l'article de feu A. Voronov «Journal d'Education» 1858.

Page 258. 1) Chirurgien du grand-duc Paul Petrovitch.

2) C'est-à-dire Stchédrine, Siméon Fedorovitch, peintre rénommé, proffesseur de peinture de paysage à l'académie des beaux-arts à Pétersbourg.

3) Bacchus?

Page 259. 1) Cette société littéraire de Rome a déjà été mentionnée ci-dessus, page 56.

Page 260. 1) C'est-à-dire le frère et le cousin de Lanskoï, qui voyageaient alors en Italie. Fontaine est un français qui avait entraîné le premier à des actions déraisonnables.

2) Alexandre Nicolaïevitch, neveu de Potemkine.

Page 261. 1) Johan-Gottlieb Georgi, professeur de sciences naturelles et de chimie à l'académie des sciences de Pétersbourg; il avait imprimé en 1782 la seconde édition de son livre «Beschreibung sämmtlicher Russland bewohnender Völkerschaften» (1-ère éd. 1776). Ce livre fut traduit en russe et en français.

Page 264. 1) L'inauguration du monument de Pierre-le-Grand eut lieu le 7 (18) août 1782.

Page 268. 1) L'Impératrice parle d'elle-même, comme le prouvent les lignes suivantes, où il est question du plan de ses «Notices concernant l'histoire de Russie».

2) C'est-à-dire de La Harpe, arrivé en Russie avec le frère d'A. D. Lanskoï; c'est sans doute ce dernier qui est désigné par le titre d'ami inconnu à Grimm.

3) Le portrait bien connu de Catherine II que Derjavine a dépeint dans son ode «*La Vision de Mourza*». Une copie de ce portrait se trouve dans la Bibliothèque publique Impériale.

4) Quelque temps avant la mort du général Bauer l'Impératrice lui écrivit de sa propre main la lettre suivante, dont la copie s'est conservée entre ses lettres à Grimm: «Monsieur le général Bauer, je viens de recevoir votre lettre et l'ouvrage sur les chemins que vous m'avez envoyé. Je me réserve de vous répondre en détail, après que j'aurai lu l'ouvrage: mais ce qui m'étonne, c'est de voir que vous travaillez avec autant d'assiduité après une aussi forte maladie. M'intéressant autant que vous le savez à votre santé, je vous prie très sérieusement de ménager votre reconvalescence; je vous avoue que je me suis réjouie en voyant votre signature. Je souhaite d'avoir le plaisir de vous voir dans peu parfaitement retabli. Adieu, à 5 heures, ce 18 janvier».

5) Il s'agit ici de la lettre du frère de Lanskoï à Grimm.

Page 269. 1) Un certain napolitain d'origine espagnole, qui était amiral au service de la Russie et marié avec la fille de Betski, Anastasia Ivanovna Sokolova.

Page 271. 1) Cet ordre fut institué en 1782.

2) L'Impératrice parle ici des oukazes du 23 et 24 octobre et du 6 novembre 1782, qui ordon-

naient quelques changements à la toilette des personnes des deux sexes ayant accès à la cour. Ces oukazes avaient pour but d'introduire une plus grande «simplicité et modération dans la manière de s'habiller», de faire «épargner leur propre avoir pour un usage meilleur et plus utile» et de «bannir le luxe ruineux» (R. compl. de L. t. XXI, №№ 15,556, 15,557 et 15,569).

3) C'est-à-dire le poste de ministre des affaires étrangères.

4) Voir ci-dessus, page 208.

Page 275. 1) Le 31 mars 1783.

Page 276. 1) «Les Proverbes russes, collectionnés par Bogdanovitch», d'après l'ordre de l'Impératrice, comme cela est constaté par le dictionnaire du métropolitain Eugène, page 46.

Page 277. 1) C'est-à-dire la princesse Daschkaw.

Page 279. 1) Il est question ici de la mort de M-me d'Epinay.

Page 281. 1) Le «Compagnon des amateurs de la littérature russe», journal qui fut édité par la princesse Daschkaw avec la collaboration très-active de l'Impératrice.

2) La grande-duchesse Alexandra Pavlovna naquit le 29 juillet 1783.

Page 282. 1) Sa Majesté très-chrétienne.

2) Bibikov remplaça Yélaguine au poste de directeur du théâtre.

Page 284. 1) C'est Beaumarchais qui est désigné par ce nom de Figaro, celui-là même qui avait acheté à Panckouck son droit à l'édition des oeuvres de Voltaire; voir ci-dessus p. 105.

Page 285. 1) Fedor Ivanovitch Koch, employé du collége des affaires étrangères; il est souvent mentionné dans le «Journal de Khrapovitski».

Page 286. 1) Les lignes en paranthèse ont été ajoutées à la lettre. Voir sur le mémoire dont il s'agit ici la note ci-dessus, page 253.

2) «*Le compagnon des amateurs de la littérature russe*» fut entrepris au mois d'avril de cette année, et dès le mois suivant il paraissait régulièrement chaque mois. Le travail dont il s'agit ici fut inséré dans ce journal sous le titre de «*Notices concernant l'histoire de Russie*». Comp. ci-dessus. p. 281.

Page 288. 1) Euler est mort le 7 sept. 1783 et Müller le 4 oct. Les lignes en paranthèse ont été ajoutées au moment d'expédier la lettre.

Page 289. 1) Le feldmaréchal prince Alexandre Michallovitch Galitsine.

2) Pour l'explication des détails concernant ce journal, voir l'article de J. Grot: «Collaboration de Catherine II dans le Compagnon de la princesse Daschkaw», R. de la S. H. t. XX.

Page 290. 1) Ajouté plus tard.

2) Voir ci-dessus, p. 68.

3) Le comte Fedor Ievstafievitch, fils du prince héritier d'Anhalt-Dessau, né en 1732, † 1784.

Page 291. 1) Il s'agit ici d'un article inséré dans «Le Compagnon» sous le titre de «Journal de la société des Ignorants»; c'était une parodie des séances de l'Académie Russe, écrite par Catherine, mais attribuée par elle à L. A. Narischkine. La princesse Daschkaw se sentit blessée en sa qualité de président de l'Académie; des discussions s'élevèrent, en suite de quoi l'Impératrice cessa sa collaboration dans la partie satirique du journal et n'y inséra plus que ses «Notices concernant l'histoire de Russie». La société des ignorants se divisait en deux chambres: *la chambre au flair* et *la chambre sans flair*.

Page 294. 1) Une romancière allemande renommée de son temps (née vers 1740, † 1806); son nom de fille était Sophie Guttermann.

2) Electeur de Mayence, dont La Roche était sujet.

3) C'est une lettre d'A. D. Lanskoï; cependant, à l'exception de la signature, qui est de L., la lettre tout entière est écrite de la main de l'Impératrice. Il en est de même de toute les autres lettres de L. qu'on verra dans la suite.

Page 297. 1) Mot composé spontanément à l'instar du *hobeln* allemand, qui veut dire *raboter*.

Page 298. 1) Pour donner au grand-duc la pratique de la langue allemande, on invitait chez lui le fils du pasteur de l'église luthérienne de S^te^-Catherine Joachim-Christian Grot, père de l'éditeur de la correspondance de l'Impératrice avec Grimm. Le grand-père attira l'attention de Catherine II par ses sermons en faveur de la vaccination, ce qui lui valut une médaille d'or. Ces sermons sont imprimés et forment tout un volume.

Page 299. 1) L'Impératrice appliquait cette épithète au ministre de Prusse Goertz. Weikard était un médecin, reçu au service russe grâce à la recommandation du célèbre Zimmermann. La mort de Lanskoï, qu'il ne put détourner, fut la cause de son éloignement de la cour. Voir «Zimmermanns Verhältnisse mit der Kayserin Catharina II und mit dem Herrn Weikard. Von H. M. Marcard. Bremen, 1830».

Page 300. 1) Le père du célèbre ministre, le comte G. F. Kankrin.

Page 303. 1) Lacune avec une rangée de points dans l'original.

2) Voir R. de la S. H. t. XIII, p. 279 et 288.

Page 307. 1) La rue Malaïa (petite) Millionnaïa, réunissant la perspective de Nevski avec la place du Palais et faisant à présent partie de la rue Bolschaïa (grande) Morskaïa.

Page 313. 1) Ne faudrait-il pas lire plutôt: venturum, ce qui signifierait: le temps viendra?

2) On appelait *Salon du matin* un pavillon du jardin de Tsarskoë-Sélo, construit au bord du lac.

Page 315. 1) Toute la lettre est de la main de Lanskoï.

Page 316. 1) Cette apostille est de la propre main de Catherine II, mais il est impossible d'en définir la date précise.

2) C'est-à-dire le procureur général, prince Viazemski.

Page 317. 1) Il est mort le 25 juin (6 juillet) 1784.

Page 318. 1) L'oeuvre de Court-de-Gébelin, philologue français renommé; cet ouvrage, consistant en 8 volumes, parut par livres depuis 1773 jusqu'à 1781.

Page 319. 1) Les points indiqués se trouvent dans l'original.

Page 321. 1) L'exemplaire connu sous le nom d'*Evangile de Reims*, qui fut trouvé au couvent de Sazawo-Emaüs à Prague. Sous l'Empereur Nicolas le gouvernement russe le fit imprimer à Paris. L'original se trouve actuellement à la bibliothèque publique de Reims.

Page 322. 1) Ce qui suit présente sans doute le supplément dont il est fait mention dans les lettres du 18 et 23 septembre.

Page 326. 1) Le maréchal prince Potemkine.

Page 327. 1) «Le Trompeur», oeuvre de Catherine II.

Page 328. 1) On «Le Séduit», autre comédie de Catherine II.

Page 330. 1) La comtesse Prascovia Alexandrovna, née Roumiantsov, soeur de Zadounaïski.

Page 332. 1) C'est ainsi que l'Impératrice abrège dans ses lettres suivantes le mot de *maréchal*.

Page 337. 1) Siestrencevicz.

Page 341. 1) Le comte Iakov Alexandrovitch, gouverneur-général de Moscou.

Page 347. 1) Les vers, gravés sur la pierre posée derrière la pyramide de granit au jardin du Tsarskoë-Sélo; voir ci-dessous, page 357.

3) Voir ci-dessus, page 342. Tous ces suppléments sont de la main de l'Impératrice.

Page 351. 1) Traduction du nom de Poltoratski (poltora veut dire un et demi).

Page 357. 1) Les suppléments dont il s'agit ne se trouvent pas dans le cahier des lettres.

Page 358. 1) Le duc Etienne-François Choiseul-Stainville, né le 28 juin 1719, † à Chateloup le 8 mai 1785.

Page 361. 1) Ce nom, appartenant à un château de plaisance près de Stockholm, fut emprunté par Gustave III pendant le voyage qu'il fit à travers l'Europe.

2) Bezborodko.

Page 366. 1) La grande-duchesse Héléna Pavlovna, née le 12 déc. 1784.

Page 370. 1) Oeuvre de Pallas.

Page 373. Cette date s'est déjà rencontrée ci-dessus, page 371; mais nous savons qu'outre les longues «pancartes» qui s'écrivaient parfois durant des semaines entières, il arrivait souvent à l'Impératrice d'écrire à Grimm séparément de courtes lettres, qu'elle expédiait aussitôt.

Page 374. 1) La comédie de Catherine II «Le Trompeur».

Page 376. 1) Le comte Alexei Grigorievitch Bobrinski. Voir sur lui «Les Arch. Russes» 1876, t. III, p. 5 et les suivantes.

Page 377. 1) C'est-à-dire le jour de nom du grand-duc Constantin Pavlovitch et de la Grande-duchesse Héléna Pavlovna, jour qui, cette année-là, concourut avec la fête de l'Ascension.

Page 380. 1) Voici le billet de Betski: «Selon l'ordre de Votre Majesté, Sutherland sera payé, et l'aurait déjà été, sitôt qu'il nous produira les quittances de M^rs^ *Bobrinski* et *Bouchouyev* pour terminer les ci-devant comptes du premier créditif, et pour savoir au juste de quelle date commenceront à courir les *10,000* r. par tertial, d'autant plus que M. Bobrinski, selon les premiers ordres de Votre Majesté, recevait sur le total de ses capitaux les revenus *37,645* r.; ayant entre ses mains le certificat du conseil qu'il faudra annuler en lui envoyant un autre de *30,000* r. J'ose encore, Madame, avec soumission représenter à Votre Majesté que *M. Bobrinski*, selon le certificat ci-dessus nommé, a le droit de tirer ses revenus par toute autre voie qu'il lui plaira.

Betski.

Ce 19 juillet 1786. Pardonnez avec bonté, Madame, ma main tremblante.

Sur le revers du billet de Betski l'Impératrice Catherine II écrivit les lignes suivantes:

«A ce billet de Betski, en réponse à ma lettre du 13 juillet, j'ai répondu que les 37,645 r. devaient être remis et que toute chicane attirerait mon indignation.

2) A. M. Dmitriev-Mamonov.

Page 385. 1) A partir de ce mot la lettre est écrite de la main de Mamonov.

L'adresse est d'une main inconnue: «A Monsieur, Monsieur le baron de Grimm, chevalier de l'ordre de St.-Wolodimir, à Paris». Au bas: «Reçu 26, 8-ième 1786».

Page 386. 1) Sur le couvert il est écrit de la main de Grimm: Reçu le 16 nov.

Page 388. 1) Marqué sur le couvert: Reçu le 20 décemb.:

2) Marqué sur le couvert: Reçu le 23 janvier 1787.

Page 396. 1) Points dans l'original.

Page 400. 1) Voir ci-dessus la note à la page 321.

Page 401. 1) Bobrinski.

Page 418. 1) Il s'agit de l'édition des oeuvres de Voltaire qui fut entreprise par Panckouck et achevée par Beaumarchais (Figaro). Voir ci-dessus, page 105.

2) Il manque ici un verbe, qui ne se trouve pas non plus dans l'original (défier?).

Page 422. 1) L'époux de Zelmire, le prince Frédéric de Wurtemberg; Zelmire elle-même était Augusta de Brunswick; voir ci-dessus page 132.

Page 428. 1) Propriété, acquise par Voltaire prés de Génève.

2) Voir ci-dessus page 422.

Page 430. 1) Protassova.

Page 435. 1) Cette lettre est écrite de la main de Bezborodko et n'est que signée par l'Impératrice.

Page 436. 1) La signature seule est de la main de l'Impératsice.

2) Le comte Siméon Vorontsov.

3) Beaumarchais, dans son édition des oeuvres de Voltaire.

Page 437. 1) La suite prouve (voir page 445), que c'est le roi de Suède Gustave III qui est désigné par ce nom.

Page 438. 1) Un officier de marine, américain; il fut invité à entrer au service russe. Voir ci-dessous, ainsi que les lettres de Catherine II à Potemkine des 13 et 22 février et du 1 mai 1788, dans le t. XXVII du R. de la S. H.

Page 443. 1) Alors ministre des affaires étrangères en France.

Page 444. 1) On peut trouver la description de ce remède fort en vogue alors, dans «Le Messager de St.-Pétersbourg» v. VI, p. 306 et 386.

Page 453. 1) La dernière période n'est pas très correcte sous le rapport grammatical, mais le sens en est parfaitement lucide, et voilà pourquoi nous n'avons pas voulu la changer, ce que nous tâchons d'ailleurs d'éviter autant que possible.

Page 455. 1) Cette traduction, insérée ci-dessous, est jointe à la lettre en forme d'un imprimé, mais la note dont il est question dans le texte de la lettre, ne s'y trouve pas.

Page 459. 1) A ce billet, écrit par l'Impératrice elle-même est jointe une copie de la lettre de l'amiral Greigh, écrite d'une main inconnue:

«Extrait de la lettre de l'amiral Greigh sur le champ de bataille, à l'ancre, le 7 juillet 1788.

«Hier au soir nous avions une action avec la flotte suédoise des plus chaudes et des plus opiniâtres de l'une part et de l'autre, qui a duré depuis 5 heures du soir jusqu'à 10 heures sans interruption. Nous avons pris le vaisseau le Prince Gustave de 70 canons, sur lequel se trouvait le comte de Wachtmeister, qui commandait l'avantgarde de la flotte ennemie sous pavillon de vice-amiral; il a amené son pavillon au vaisseau Rostislav (sur lequel l'amiral Greigh avait son pavillon). La bataille a fini vers l'obscurité de la nuit. Il y avait une petite brise de vent au commencement; mais pendant l'action il est devenu tout-à-fait calme. L'ennemi a plié et nous a laissés maîtres du champ de bataille qui était entre Schtien-Skare et Kalbo de ground à sept milles allemandes à l'ouest de Hogland. L'ennemi fait voile vers Sweaborg en Finlande (Suédoise); il avait 16 vaisseaux de ligne de 70 et 60 canons et 6 grandes frégates qui sont entrées dans leur ligne de bataille. Je n'ai jamais vu un combat plus chaud ou mieux soutenu d'une part et de l'autre».

Page 464. 1) Montmorin.

Page 469. 1) Schlaff est le nom du secrétaire de l'ambassade qui vint à Pétersbourg. Voir ci-dessus p. 453.

Page 471. 1) Le roi Frédéric-Guillaume II, successeur de Frédéric II.

Page 472. 1) Le ministre de Prusse Goertz; voir ci-dessus p. 161.

2) Il est mort le 15 oct. 1788 sur le vaisseau Rostislav.

Page 476. 1) Ici commence le supplément, mentionné dans le texte de la lettre et écrit d'une main étrangère.

Page 477. 1) Ce n'est qu'à partir de ce mot que la lettre est de la main de l'Impératrice.

Page 478. 1) Ce n'est qu'à partir de ce mot que la lettre est de la main de l'Impératrice.

2) Nom primitif d'Odessa qu'il serait plus juste d'écrire Hadji-bey.

Page 483. 1) L'empereur Joseph II décéda le 20 février n. st. 1790.

Page 490. 1) Lettre du comte Bezborodko, signée par lui, mais écrite d'une main étrangère.

Page 491. Ici recommence la lettre de l'Impératrice.

Page 495. 1) Général, un des plus zélés partisans de Louis XVI, qui marchait sur Nancy pour y réprimer les désordres.

Page 499. 1) La grande-duchesse Catherine Pavlovna, née le 10 mai 1788.

Page 501. 1) Igelström de notre côté, de celui de la Suède—Armfelt.

Page 507. 1) Cette inscription en honneur de la victoire remportée par Tchitchagov dans la rade de Réval le 2 mai 1790, fut composée par l'Impératrice elle-même, puisque elle ne se trouva satisfaite par aucun des nombreux projets de vers à cette occasion que lui présentèrent Dertavine et Khrapovitski, à qui elle les avait demandés. Cette inscription, gravée sur la pierre tumulaire de Tchitchagov au monastère d'Alexandre-Nevski, fut définitivement rédigée en termes suivants:

Armés de triple force les Suédois marchaient sur lui;
L'ayant appris, il dit: Dieu est mon défenseur,
Ils ne nous avaleront pas.
Il les repoussa, les captiva et remporta la victoire.

Voir «Oeuvres de Derjawine», édit. de l'Acad. des Sciences, t. III, p. 351.

2) Ce qui suit est de la main de l'Impératrice, écrit très soigneusement, en gros caractères. Les vers présentent ici certaines variantes de la rédaction définitive.

Page 509. 1) L'Empereur Joseph II.

Page 512. 1) Lucchesini, un Italien que Frédéric II avait employé au service diplomatique; c'est lui qui arrangea l'alliance de la Prusse avec la Pologne et prit part au congrès de Reichenbach.

Page 516. 1) Auguste Frédéric Kotzebue, originaire de Weimar, fut avocat à Iena, qu'il quitta pour venir à Pétersbourg, où il fut appelé par l'ambassadeur de Prusse Goertz; il servit plus tard aux provinces Baltiques et après 1790 vécut longtemps à l'étranger; il se trouvait à Paris quand cette lettre fut écrite. Voir ci-dessus p. 504.

Page 520. 1) Voir ci-dessous p. 528.

Page 522. 1) La fameuse épitaphe que Lafontaine se fit lui-même.

Page 524. 1) Ministre de France à Rome.

2) Les deux tantes de Louis XVI.

Page 526. 1) Coeur de Montorgueil est la traduction du nom du ministre prussien Herzberg.

Page 527. 1) Le veneur de la cour qui avait la suveillance des chiens de l'Impératrice (les Thomassins). Voir ci-dessus p. 14.

2) Voir ci-dessous. Le titre aussi bien que le texte qui le suit sont écrits d'une main inconnue; il n'y a qu'ne petite remarque qui est de la main de l'Impératrice, comme cela sera indiqué en son lieu. Il existe plusieurs minutes de cette oeuvre humoristique de Catherine II, qui sont toutes écrites de la main de l'Impératrice, et de rédaction différente. Elles se trouvent insérées dans l'étude de feu Pékarski: «*Matériaux pour l'histoire des travaux littéraires de Catherine II*» (*Mémoires de l'Académie des sciences*, t. III, appendice № 6, p. 16). Le texte que nous donnons ici est presque identique avec la quatrième des minutes mentionées, copiée par la main de Khrapovitski. Suivant notre règle, nous ne corrigeons que l'ortographe.

Page 528. 1) Il y a une note marginale écrite de la main de l'Impératrice et contenant les mots suivants: «Borck, fameux menteur, dit le commentateur. Notez qu'il n'avait que 26 ans quand il vint ici avec sa souscription pour ses 36 vol. in-folio».

2) Probablement Strékalov; il y a Str. dans une autre copie.

Page 538. 1) Guillaumisme — allusion à l'attachement pour le roi de Prusse Frédéric-*Guillaume*.

2) A cette lettre est joint le billet suivant, écrit par l'Impératrice:

Rousseau dans ses Considérations sur le gouvernement de Pol. dit, tome second, édition de 1783, pag. 264: «Fière et sainte liberté! Si ces pauvres gens pouvaient te connaître, s'ils savaient à quel prix on t'acquiert et te conserve, s'ils sentaient combien tes lois sont plus austères que n'est dur le joug des tyrans; leurs faibles âmes, esclaves des passions qu'il faudrait étouffer, te craindraient cent fois plus que la servitude; ils te fuiraient avec effroi, comme un fardeau prêt à les écraser». NB. Il est bon de lire

ce qui précède cette exclamation; cela n'est pas moins fort. Frottez les nez *camus* de cela.

Page 539. 1) C'est le comte Nicolaï Petrovitch Roumiantsov, ministre de Russie à Francfort sur le Main, qui est désigné par ce nom de St.-Nicolas.

Page 546. 1) Un château situé dans le cercle de Potsdam et appartenant au prince Henri.

2) Souvorov, qui avait reçu ces deux titres de comte pour sa victoire de Rymnik, remportée pendant la deuxième guerre avec la Turquie.

Page 555. 1) Guillaume, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume.

Page 557. 1) Oeuvre de Thümmel: «Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich», qui commença à paraître en 1791 et forma dix volumes en 1805.

2) C'était le prince Charles-Alexandre de Wurtemberg, décédé le 13 (24) août 1791. Voir les «Mémoires» d'Engelhardt, p. 95, et le «Journal» de Khrapovitski du 24 août.

Page 558. 1) Cette copie est écrite d'une main inconnue.

Page 562. 1) C'est encore le roi de Prusse Frédéric-*Guillaume* qui est désigné par cette abréviation de Gu.

Page 564. 1) Marie I, épouse de son oncle don Pedro III; elle est née en 1734, † en 1816.

Page 569. 1) Il s'agit ici du «Dictionnaire comparatif de toutes les langues et de tous les idiomes», composé en partie par l'Impératrice elle-même et édité, sur ses ordres, d'abord par le membre de l'Académie Pallas, puis, après révision, par Iankovitch de Mirievo. Voir dans «Les Archives Russes» l'article de J. Grot: «Les occupations philologiques de Catherine II».

2) Femme-poëte. Voir ci-dessus p. 41 et 56.

Page 570. 1) Olga Pavlovna, née le 11 juillet 1792. Aux félicitations que lui fit Khrapovitski à cette occasion, l'Impératrice répondit: «Trop de filles, on ne pourra pas les marier toutes». («Journal de Khrapovitski»). Mais ce souci se trouva être vain: la grande-duchesse décéda le 15 janvier 1795.

Page 572. 1) Une brochure de Sénac où il compare Catherine II avec le temple de St. Pierre à Rome.

2) Un écrivain allemand, sur lequel voir ci-dessus p. 208.

Page 573. 1) Le souvent mentionné St.-Nicolas, c'est-à-dire le comte N. P. Roumiantsov.

Page 576. 1) La liste des noms qui commence ici est écrite au crayon sur une feuille séparée.

Page 577. 1) Louise-Marie-Auguste, qui fut bientôt après fiancée au grand-duc Alexandre Pavlovitch, et sa soeur Louise, devenue plus tard reine de Suède.

Page 578. 1) Le comte Adam de Custine, qui fut créé maréchal de France pour ses hauts faits pendant la guerre de sept ans. Il venait d'être nommé commandant en chef de l'armée du Rhin, qui agissait contre les alliés, mais fut plus tard guillotiné par ordre de la Convention pour avoir mal défendu Mayence.

Page 582. 1) Sur le motif de cette lettre voir ci-dessus p. 572.

Page 585. 1) Voir les «Notices concernant l'histoire de Russie», vol. V, St. Pétersb. 1793: Table généalogique des grands-ducs et des princes apanagistes de la famille de Rurik, 1-re partie. — Le tome VI suivant s'arrête à l'année 1272.

Page 586. 1) Lacunes dans l'original.

Page 589. 1) Ivan Perfilievitch Yelaguine, grande-maître de la cour, né en 1725. L'oeuvre dont il est question, a pour titre: «Essai de narration sur la Russie»; l'auteur n'a amené sa narration que jusqu'à 1389. L'opinion du métropolitain Eugène et de Bantych-Kamenski sur la date de la mort de Yélaguine, qu'ils rapportent à l'année 1796, se trouve donc être erronnée.

Page 596. 1) Voir ci-dessus p. 185.

Page 602. 1) Le nom du héros du conte de Voltaire: «L'Ingénu».

Page 603. 1) Forme provençale du mot niveau.

2) Au lieu de successeurs de Bacchus.

3) L'Impératrice avait promis à Grimm de lui donner une somme pour l'achat d'une maison à Vienne.

4) Il s'agit de l'asile à donner à M^me^ de Bueil et à ses enfants en cas de la mort de Grimm.

Page 609. 1) Le membre de l'académie Eric Laxman, finnois d'origine (né à Abo en 1712) a vécu depuis 1781 dans la Sibérie orientale, où il était membre d'une expédition pour explorer les mines et où il mourut en chemin entre Tobolsk et Irkoutsk le 5 janvier 1796. Son fils, Adam Laxman fut envoyé en 1792 d'Okhotsk en Japon. Le journal de son voyage fut imprimé en 1805.

2) C'est ainsi que fut traduit le titre de l'oeuvre de l'Impératrice: «*Notices* concernant l'histoire de Russie».

Page 613. 1) Saxe-Weimar.

Page 614. 1) Cette copie est écrite d'une main inconnue. D'après sa date cette lettre appartient au commencement de l'année suivante, mais vu la liaison de son contenu avec celui de la lettre précédente nous la plaçons ici.

Page 616. 1) Samborski, archiprêtre à Sophia, située près de Tsarskoë-Sélo.

2) Valérien Alexandrovitch Zoubov.

Page 622. 1) Sénac de Meilhan.

Page 632. 1) V. A. Zoubov; voir ci-dessus p. 616.

Page 635. 1) Voir ci-dessus p. 614.

Page 637. 1) Ceci est une lettre séparée au milieu d'une longue suite d'autres, se rapportant au même temps.

Page 639. 1) Ivan Nikititch Boltine, gén.-major, membre de l'Académie Russe, né en 1735, † le 6 oct. 1792.

2) Le comte Alexeï Ivanovitch Moussine-Pouchkine, amateur des antiquités, né en 1744, † en 1817.

3) C'était l'archiprêtre Jean Pamphilov.

Page 642. 1) Il paraît qu'ici l'Impératrice a laissé échapper, comme cela lui est arrivé quelquefois, un mot demi-allemand au lieu d'un mot français.

Page 649. 1) Les lignes précédentes, à partir des mots: «Rien de si beau», sont écrites de manière que pour les lire il fallait tourner le feuillet en sens contraire.

2) Les princesses de Saxe-Cobourg, les petites-filles d'Ernst-Frédéric, le duc régnant d'alors († 1800), filles de son fils François-Frédéric († 1806). Leur mère était Augusta, princesse de Reuss. Il était question de choisir une fiancée pour le grand-duc Constantin Pavlovitch.

3) Frère cadet de Frédéric II et père de la princesse Louise, que le prince Radzivill avait demandée alors en mariage. Ce mariage eut lieu le 17 (29) mars 1796.

Page 650. 1) Au-dessus de ce mot, au haut de la page, l'Impératrice écrivit de sa propre main: «6 ou 5, comme vous voudrez».

Page 651. 1) Le secrétaire de la légation de Saxe, qui s'est fait un nom par ses écrits sur la Russie, surtout par le livre, fort rare aujourd'hui, de «*Russische Günstlinge*».

Page 652. 1) La fille de M^me^ de Bueil, filleule de Catherine II.

Page 653. 1) Plus tard roi de Suède Charles XIII, frère de Gustave III et oncle de Gustave IV Adolphe.

Page 658. 1) Frédéric IV.

Page 662. 1) Le comte N. P. Roumiantsov.

2) Le grand échanson Al. Al. Narichkine. Il avait épousé Anna Nikitichna Roumiantsova.

Page 664. 1) C'est ainsi que les matelots russes avaient arrangé à leur façon le nom du duc de Sudermanie.

2) Le baron de Staël-Holstein, ministre de Suède à Paris, de 1785 à 1799, qui y épousa la fille de Necker, la célèbre femme-écrivain.

Page 667. 1) La grande - duchesse Anna Pavlovna. Voir ci-dessus p. 617.

Page 670. 1) Voir le mémoire de Grimm sur ses relations avec l'Impératrice, R. de la S. H. t. II, p. 377.

Page 672. 1) La requête d'une émigrée française M^me^ Chastenay de Lanty, marquise Dupleix, qui demandait du secours pour elle et pour ses petites-filles. Ce supplément ne présentant aucun intérêt, nous ne l'imprimons pas.

Page 673. 1) Grimm avait l'intention de venir à Pétersbourg avec M^me^ de Bueil.

Page 675. 1) A cet endroit se trouve aujourd'hui la Maison de Labeur de Demidov.

Page 681. 1) C'est-à-dire les lettres de l'Impératrice.

Page 687. 1) Le fils de Gustave III, le roi Gustave IV Adolphe.

2) Charles, duc de Sudermanie, régent du royaume pendant la minorité de son neveu.

3) Voir ci-dessous la fin de cette lettre.

Page 689. 1) C'est-à-dire le roi de Suède et son oncle.

Page 694. 1) Points dans l'original.

Page 696. 1) Cette lettre de l'Impératrice ne porte aucune date, mais par son contenu elle se rapporte à l'époque du séjour de Grimm à Pétersbourg (l'année 1777). Grimm mentionne dans son «Mémoire historique» l'offre qui lui était faite par cette lettre; voir R. de la S. H. t. II p. 333.

Page 697. 1) Ainsi cette lettre fut écrite le 2 février 1777, jour de la Chandeleur.

2) Ces document, qui contient une réponse badine de Catherine II à une note du même genre supposée être dressée par l'ambassadeur de France comte de Ségur, appartient à la série de ceux (imprimés ci-dessus p. 347—357) que l'Impératrice écrivit en été 1785, pendant son voyage de Moscou, où elle fut accompagnée par plusieurs membres du corps diplomatique. On voit d'après le contenu de ce mémoire qu'il fut précédé d'un autre, soit-disant écrit par Ségur et servant de répétition du mémoire composé dans des circonstances analogues (voir ci-dessus p. 169). La minute de l'Extrait présent, écrit en blanc de lamain de l'Impératrice, comme la minute, est insérée dans les «Lettres et Papiers de Catherine II», édités par M. Bytchkov, p. 149.

Page 701. 1) Voir la remarque prècédente ainsi que les paroles de l'Impératrice au commencement de la lettre № 143, (page 357).

Tableau des sommes transmises au conseiller d'état baron Grimm *).

Dates.	Roubles.	Copeks.	Livres.	Florins de Hollande.
19 février 1765	366	66	—	—
1766.				
11 mars.....	360	—	—	—
23 décembre, par la maison Sutherland un créditif de	40,000	—	—	—
1767.				
24 mai, au lieu de 1700 livres....	404	81	—	—
1768.				
3 mars.....	377	78	—	—
1770.				
26 janvier.....	360	—	—	—
1772.				
5 juin	345	—	—	—
1775.				
5 juin envoyée à Paris au prince Bariatinski pour être remise à Grimm une lettre de change de	8,640	—	—	—
25 août.....	352	—	—	—
1778.				
22 février pour les années 1775 et 1776	720	—	—	—
25 août pour l'année 1777.....	360	—	—	—
1779.				
12 février par le banquier de la cour Friedrichs.....	—	—	110,000	—
1780.				
24 octobre pour deux ans	922	59	—	—
1781.				
28 avril par le procureur général prince Viazemski envoyé un créditif de	—	—	—	50,000
5 novembre par le même... ...	—	—	—	50,000
31 décembre pour les années 1780 et 1781	731	20	—	—

*) Nous devons ce document à l'obligeance de M. Doubrovine, qui l'a trouvé aux archives du Cabinet Impérial.

Dates.	Roubles.	Copeks.	Livres.	Florins de Hollande.
1782.				
6 juin par le prince Viazemski un créditif de	—	—	—	50,000
23 décembre pour l'année 1782...	366	—	—	—
1783.				
28 février	366	60	—	—
21 mars par la maison Sutherland	—	—	10,000	—
21 mars envoyé un créditif de	—	—	—	50,000
1784.				
4 mars pour l'année 1784.....	365	4¼	—	—
15 mars par le pr. Viazemski un créditif de	50,000	—	—	—
1785.				
25 février pour l'année 1785.....	363	60	—	—
17 mars par le banquier Sutherland	—	—	60,000	—
7 juillet par le même	—	—	13,279	—
22 juillet par le même	—	—	60,000	—
1786.				
23 décembré par le banquier Sutherland	40,000	—	—	—
1787.				
22 février pour l'année 1787.....	365	4¼	—	—
29 juin par le banquier Sutherland	100,000	—	—	—
1790.				
7 novembre par la maison Sutherland	6,000	—	—	—
1791.				
10 mars pour l'année 1791.....	482	14	—	—
1795.				
8 février.....	10,000	—	—	—
12 octobre	10,000	—	—	—

Dates.	Roubles.	Copeks.	Livres.	Florins de Hollande.
1796.				
17 mars	1,320	—	—	—
9 mai	10,000	—	—	—
8 juin	10,000	—	—	—
24 juillet	1,062	70	—	—
1797.				
17 février	10,100	—	—	—
22 juin	1,710	—	—	—
Total....	306,441	34¼	253,279	200,000

Roubles	306,441 R.	34½ C.
Livres	253,279 »	— »
Florins de Hollande	200,000 »	— »

NOTES DU PRÉSENT VOLUME.

Page 2. 1) Prince Alexandre Mikhaïlovitch. — Au haut de la lettre se trouve une apostille écrite en russe: «Reçue le 13 février 1764». Au bas de la première page se trouve une autre apostille en russe: «Retournée du palais le 26 février 1764».

2) Dimitri Alexeievitch, dans la suite ambassadeur à Hague.

Page 211. 1) Dans ses lettres á Grimm l'Impératrice écrit par erreur: Olavides.

Page 641. 1) Sidor Yermolaïtch.

Page 676. 1) L'infraction à l'ordre chronologique qui se voit ici provient de ce que Grimm expédiait ordinairement tout une série de ses lettres à l'Impératrice à la fois; la série qui s'ouvre ici a été commencée avant les lettres précédentes (envoyées séparément) et se termine par une lettre postérieure du 27 février (9 mars 1796).

INDEX ANALYTIQUE DES NOMS MENTIONNÉS DANS LE VOLUME XLIV.

Abdul-Hamet, sultan, nommé quelquefois Grand-Seigneur ou sa Hautesse Ottomane. 202, 264, 305, 330, 333, 353.

Abraham, patriarche 510, 778.

Acciardi, chevalier. 332.

Acton, chevalier. 332.

Adams, nom d'un des héros du roman «Sebaldus Nothanker». 254.

Adèle de Bueil, fille de la c-tesse de Bueil (Emilie de Belsunce). 493, 520, 528, 569, 574, 615, 645, 672, 692, 708, 711, 734.

Agar, mère d'Ismaël. 510.

Aimable, vaisseau 457.

Aix, archevêque d', émigré. Il est recommandé à l'Imp. 682—3.

Albaret, comte d'. 213.

Albéroni, Jules, premier ministre d'Espagne sous Philippe V. 597.

Alcide, opéra de Paisiello, 185.

Alembert, Jean le Rond d', célèbre philosophe français. 302.

Alexandra Pavlovna, Grande-Duchesse, fille de Paul I. Sur sa grâce ravissante 650, sur la cour que lui faisait Gustave IV 808; mentionné 784.

Alexandre (le Grand) 277.

Alexandre, grand-duc, fils aîné de Paul Petrovitch, dans la suite Empereur Alexandre I. Fête à l'occasion de son jour de naissance 38; sur son éducation future 39; envoi de différents objets destinés pour ses études ou son amusement: 88, 122, 313, 314, 339, 342; sur différents livres et cahiers d'étude fait pour lui par l'Imp. 95, 164, 193, 221, 237, 267, 325, 329, 332, 479; sur son portrait que G. désire avoir: 225, 240, 322; sur son habit; 225 278; reception du grade d'enseigne 333; sur son mariage: 474, 494, 524, 645; un présent de noce de Grimm: 508, 515; il faudrait lui avoir fait étudier l'agriculture 606; sur ses occupations littéraires 608. Ment: 65, 79, 124, 150, 178, 192, 197, 205, 222, 245, 249, 280, 288, 302, 321, 327, 337, 422, 457, 465, 495, 560, 808.

Alexandre Nevski, ordre russe, institué par Pierre-le-Grand. 124, 306, 524.

Alexeiev, courrier, 351.

Alexis, comte; voir Orlov, Alexis Grégorievitch.

Algarotti, François, comte d', philosophe italien. 266.

Alopeus, Maxime Maximovitch, ministre russe à Eutin. 593.

Alvensleben, ministre suédois à Dresde. Il a de l'influence sur le roi G. III et est

soupçonné d'être aux gages de la Prusse 588; ment: 367.
Amore e Psiche, opéra de Traetta 98.
Amour et Psyché, camée de Pichler 290.
Amour, dieu mythologique. 623.
Amphitryon, roi de Tirynthe en Argolide. 301.
Anchise, prince troyen, 551.
Anderson les. 356.
André 148.
André, saint-, ordre russe, créé par Pierre-le-Grand 380, 385, 474, 525, 600.
Andreoli. 603.
Andrews Joseph — nom d'un des héros du roman Sebaldus Nothanker. 254.
«Andromède et Persée», tableau de Mengs 79, 81, 188. Il y avait aussi un camée, représantant le même sujet, que l'Imperatrice acheta aux successeurs de Mengs; ment: 88, 90.
Anfossi, d', compositeur, 43.
Angeli, madame d', 288.
Angerviller, comte d', directeur général des Académies et des bâtiments en France. 61.
Angiolo Quirini, prélat et écrivain italien. 8.
Angoulême, Louis-Antoine de Bourbon, duc d' 710, 506.
Anhalt-Bernbourg, duc d'. Voir Frédéric-Albert.
Anhalt, les princes d'. Ils refusent un asile même provisoire au c-te d'Artois 791; envoi d'un courrier de l'Imp. chez eux 808.
Anhalt-Coethen, princesse d'. Voir Louise-Charlotte.
Anhalt-Coethen, prince d'. Voir Auguste-Chrétien-Fréd.
Anhalt, Friedrich, comte d', général de l'armée russe, aide-de-camp de Catherine II. 509, 515.
Anhalt-Zerbst, maison à laquelle appartenait par sa naissance l'Imp. Caterine II. 600.
Anna Feodorovna. Voir Juliane, pr. de Saxe-Cobourg.
Anne-Charlotte-Amélie, princesse héréditaire de Bade. Elle écrit une lettre à G. 459; ment: 474, 661.
Antigone, fille d'Oedipe, roi de Thèbes 98.
Antinoüs, favori de l'empereur romain Adrien, qui après sa mort le déclara dieu. 656.
Antoinette-Ernestine-Amélie, princesse de Saxe-Cobourg-Saalfeld. G. la désigne pour fiancée au G.-D. Constantin 628.
Antonio, ou Antonius. C'est apparemment Gustave III qui est désigné par ce nom. 366.
Anvers, évêque d'. Sa fuite et le changement de ses opinions. 578.
Apollon du Belvédère, camée, fait sur la commande de l'Impératrice 88, 90, 91, 141, 162, 173.
Apollon, dieu mythologique — 13, 81, 656.
Archevêque de Paris 234.
Aremberg, duc de. 716.
Argental, Charles-Auguste Ferriol, comte d'; ami et ardent admirateur de Voltaire. 69.
Arioste, Ludovico d', célèbre poète italien du XV siècle. 788.
Arlequin, 209.
Arnim, comte d', ministre prussien à Dresde. Les raisons de son congé 612 — 613.
Arnold Benoît, général américain, qui trahit sa patrie. 148.
Arnoud, abbé, académicien. 217.
Artaria, comerçant. 608.
Artémise, déesse mythologique 697, 720.
Artois, comte d', frère de Louis XVI, plus tard Charles X, roi de France. Ment: 142, 229, 308, 513, 547, 616; sur le mariage projeté de son fils 506; son voyage présumé 515.
Astrée, déesse mythologique 290.
Audet, mademoiselle d', amie et protégée de Grimm, qui demande pour elle la

bienveillance de l'Impératrice: 69, 70; ment: 98.

Augard, chevalier d'; il apporte une lettre de l'Imp. à G. et passe une journée chez lui 661—663; sur son voyage en Russie 763—4, 769, 813; sur son extrême dévotion et les lettres de recommandation que lui donne G. 779—81.

Augusta (mentionnée sous le nom de Zelmire), princesse de Brunswick, épouse de Frédéric, devenu dans la suite roi de Wurtemberg. Sur la protection que lui accorde l'Imp. 271, 307, 337; ses parents en sont enchantés 367; ment: 433.

Augusta, princesse de Saxe-Cobourg, mère de la G.-D. Anna Feodorovna; son retour de Russie avec sa famille, 670; mécontentement occasionné par le succès de sa fille. 707.

Auguste - Chrétien - Frédéric, prince d'Anhalt-Coethen. Il est brouillé avec sa mère 745.

Auguste, orfèvre du roi Louis XVI. 111.

Aukland, lord, ministre anglais en Hollande. Ment: 420, 444, 532, 590; il a une grande influence sur le ministère 587; est personnellement détesté par le roi de Prusse 592.

Aumont, duc d', sur sa collection de raretés 290.

Aurore, tableau du Guide 266.

Avaray, d'; il apporte au c-te Roumiantsov les dépêches de la cour 559; apporte à G. des lettres du c-te d'Artois 770, 790, 804. Ment: 792.

Ayen, duc d', 183.

Bacchus, Weynach, auquel G. envoyait souvent ses paquets pour être remis aux mains de l'Imp. 350, 355, 356, 360, 375, 382, 396, 404, 423, 425, 429, 434.

Bacchus, successeurs de, personnages qui ne sont pas autrement nommés. Comme leur prédécesseur désigné par ce nom, ils transmettaient à l'Imp. les lettres de G. particulièrement secrètes. Ment: 489, 523, 526, 529, 542, 550, 571, 574, 576, 577; ils mandent à G. la perte probable d'une lettre de l'Imp. 662, 665; elle se retrouve 669; ment: 696, 702, 705, 711, 719, 733, 766.

Bade, margrave. Voir Frédéric.

Bade, princesse de. Voir Madeleine-Wilhelmine.

Bade, prince héréditaire de. Voir Frédéric.

Bade, princesse héréditaire de. Voir Anne-Charlotte-Amélie.

Ballat, Afanasy Fedorovitch, employé de la chancellerie de la tutelle des étrangers, presidée par le prince Orlov. Il avait accompagné Diderot en son voyage en Russie, G. propose qu'il fasse de même pour Corilla 52.

Balu, confiseur. G. l'engage au service de la cour Imp. 334; son voyage 274; sa lettre 294.

Barco, régiment de hussards dans l'armée autrichienne. 749.

Bariatinski, prince Ivan Sergueievitch, ministre de Russie à Paris. Ment: 20, 86, 272. Différents objets envoyés par son entremise: 22, 53, 86, 88, 89, 99, 324; son départ et l'envoi de diamants avec lui: 65, 90, 94, 111; il retarde son voyage 97; possibilité de la commande d'une vaisselle d'or 112; nouvelle qu'il quitte son poste 133; G. lui écrit 163; son retour 215; sur l'aventure de Clérisseau 284; son départ et les éloges de G. 347.

«Barmécides» les, titre d'une pièce de La Harpe, jouée au théâtre de la cour de Pétersbourg, 38.

Barnaves, les 417, 437, 443.

Baron, acteur. 244.

Barry, comtesse du, 92.

Bartoli, Pietro-Sante, peintre. 318.

Baschlovski, courrier. 347.

Baskerville, 48.

Basseville, Nicolas-Jean Hugon de, secrétaire de légation pour la Convention,

blessé à mort à Rome par la populace. 552.

Bassewitz, M^me^ de. Sur son offre de vendre à l'Imp. la porcelaine que Kaunitz lui avait destiné en cadeau 623—4.

Baudouin, comte de; sa collection de tableaux est offerte à l'Impératrice 45, 178, 208, 268; m. 228.

Baur et Tourton; voir Tourton et Baur.

Baur, Fedor Fedorovitch, général ingénieur russe 269; sur sa maladie 326.

Boufflers, chevalier de; son passé; on le dit agent du pr. Henri auprés de l'Assemblée Législative 686.

Baylies, anglais, médecin de Frédéric II. 596.

Beaulieu, baron de, général des armées autrichiennes; sur son incapacité 724; ment.: 749.

Beaumarchais, P.-Aug., baron de, écrivain français; sur sa participation à l'édition de Kehl: 48, 49, 169, 172; envoi de son prospectus 147; ment: 188, 363; il fait la lecture du «Mariage de Figaro» à leurs Alt. Imp. 216; demande leur protection pour cette pièce 217.

Beauteville, chevalier de. Sur sa santé, 410.

Beauvau, prince de. 433.

Beck, 770.

Behmer, Frédéric-Ehrenreich, vice-président du collége pour les affaires de Livonie et d'Estonie. 649.

Bellegarde, Henri, comte de, général de l'armée autrichienne. Sur la guerre austro-prussienne contre la France 481; il jouit de la confiance du cabinet 597.

Belsunce, Emilie de, pupile de G. Sur le chiffre de l'Imp. reçu par elle: 213, 232, 421, 738, 770; elle est reçue par Leurs Alt: Imp.: 216; G. lui constitue une rente 298; son mariage 349, 351; G. va à sa campagne 368; elle est forcée de rester en France 380, 384; sa réapparition à la cour de Paris 397; elle est ruinée 400, 462, 544, 569; sommes envoyées pour elle par l'Imp. 518, 562; ses qualités 567, 695; G. supplie l'Imp. de lui donner un emploi à la cour des Gr.-Duch. 692, 734, 753; ment.: 99, 143, 201, 227, 245, 251, 265, 301, 329, 372, 374, 434, 460, 516, 527, 548, 572, 636, 687, 702, 705.

Belsunce, officier français (frère d'Emilie). Il est massacré par la populace 397, 639.

Belsunce, second frère d'Emilie. Il se trouve à Saint-Domingue 772; nouvelle de sa mort 801.

Belsunce, vicomte de (père d'Emilie). Sur ses malheurs et le secours qu'il reçut de la caisse des émigrés de l'Imp. 772; sur sa position déploroble 801—2.

Belzébuth, 668, 700.

Bentheim, colonel anglais au service russe. Sur son indiscrétion 596.

Berchini, régiment de hussards français 801.

Bergasse. Envoi de son pamphlet 352.

Bernis de, cardinal, ambassadeur de France à Rome; sa lettre à Grimm 53. Grimm lui demande sa protection pour Reiffenstein 55.

Bernstorf, André-Pierre, comte de, premier ministre danois. Sur sa vanité 591, 598; l'influence supposée de Catherine II sur lui 593; ment.: 611, 473.

Bertier, abbé, recevait des secours de la caisse des émigrés 772.

Bertin, mademoiselle, modiste de Marie-Antoinette. 173, 304.

Bertin. Propose une collection de manuscrits diplomatiques 171. Il demande à l'Imp. un emploi 346.

Bestoujev, comte Alexis Petrovitch, chancelier sous l'Imp. Elisabeth. Sur ses gouttes 640.

Bethmann, banquier de Francfort. 430, 518, 652, 695, 813.

Betski, Ivan Ivanovitch, conseiller privé actuel, 37, 61, 70, 262, 284. G.

prie l'Imp. de protéger Clérisseau auprès de lui 74; on plaide la cause de Gillet auprès de lui 94. G. demande à l'Imp. de soutenir auprès de lui la demande du duc de Gotha 315.

Beurnonille, armée de, 804.

Bezborodka, prince Alexandre Andreievitch, chancelier. Les paquets adressés à son nom 47, 207, 214, 218, 290, 339; sa caution pour le paiement d'une pension 83, 90; envoie à G. un crédit de 50 m. fl. 137; un autre pareil 242; le banquier Santini lui rend ses comptes directement: 138, 163, 253; il oublie de régler ces comptes: 403; un courrier de lui à G. 173; les dépenses de l'Imp. doivent lui déplaire 173; G. veut se faire son ami pour qu'il tienne ce que l'Imp. lui promet 192; G. lui recommande un commerçant 208; sur l'acceptation des traites de G. 210, 260; il envoie de la musique à G. 225, 268; sa dépêche 241, 273; G. attend des nouvelles de lui: 276, 288; sur les avances faites par G. 353, 760, 803, 811; G. lui écrit 763, 779. Ment.: 57, 170, 193, 247, 253, 264, 270, 279, 291, 304, 307, 313, 324, 336, 345, 354.

Bibbiena, écrivain italien 33, 188.

Bibikov, Alexandre Iliitch, chambellan; il a remplacé Yelaguine 154, 217, 340.

Biron, de Gontaut, duc de, maréchal. 208, 239, 268, 795; sur son amabilité particulière pour les Russes et les grandes sommes que ceux-ci lui doivent 345.

Bischofswerder, Jean-Rodolf, général, favori de Fréd.-Guil. II. Sur sa mission secrète à Vienne 443; sa disgrâce présumée 446, 516; son crédit 510, 597; il amuse le roi de séances spiritiques 609; il est contraire à la coalition 806. Ment: 466, 610.

Blackstone, Guillaume, jurisconsulte anglais célèbre. 560.

Blandow, gentilhomme de Poméranie. G. le recommande au comte Bezborodka, 208.

Blot, m-me de. 412.

Boisgelin, chanoinesse de, émigrée 617. On sollicite l'Imp. pour elle, 683.

Boistel, comte de. 364.

Bock, baron de, livonien. Met G. dans l'embarras 121, 124; porte à l'Imp. un paquet de G. 131. Ment: 134, 151.

Borde, de la, banquier de la cour sous Louis XVI. 636.

Borde, m-me de la, femme du précédent. 636.

Borissov, Ivan Antonovitch, contre-amiral, arrive à la tête d'une escadre à Lisbonne 121; prend à bord les machines commandées par l'Imp. 136. M. 197.

Bork, un commissaire prussien. 511.

Borne, baron de. Ingénieur, il est recommandé à l'Imp. 645.

Bouchwald, m-me. 63.

Bouillé, Claude-Amour, marquis de, général distingué, qui se rendit célèbre par ses victoires et surtout par son attachement pour Louis XVI. Il a fait la proposition d'entrer au service de la Russie. Sa biographie et sa caractéristique 425—427; sa positton 428, 430, 454; raisons pour accepter sa proposition 426, 428; ses conditions: 430—1, 435. Ment. 389.

Boudberg, Gothard, baron de, diplomate et écrivain russe. Il vient chez G. et y rencontre Findlater 672; envoi à l'Imp. d'une lettre pour lui 708; sur son séjour à Stockholm comme ambassadeur 725, 727, 746. Ment.: 612, 630, 708, 726, 745, 783.

Boulogne, comtesse de, 39.

Bourbon, maison royale de France et d'Espagne. 595, 766.

Boydel, éditeur. Sur son édition des oeuvres de Schakspeare, 608.

Brandebourg, électeur de. Voir Frédéric-Guillaume II.

Brandebourg, marquis de. Voir Henri, prince de Prusse.

Brandenbourg, princesse de Radziwill, née pr. de 614.

Braschi, le pape Pie VI; voir le Pape.

Brawn, anglais, médecin de la cour de Berlin. 611.

Brème, marquis de, ministre de Sardaigne; du couronnement de Léopold II. 376.

Breteuil, baron de, bailli, ambassadeur de France en Russie dans le commencement du règne de Catherine II, après ministre des affaires étrangères. Sur l'aquisition de son cabinet de pierres gravées 94, 109, 111, 187, 199, 207, 228, 258, 270, 272. M. 290, 295, 589.

Brockhausen, ministre prussien à Dresde. Il était employé par Herzberg à différentes intrigues politiques, 613.

Broglie, duc de, maréchal, 159.

Brompton, peintre; sur un portrait qu'il a fait des grands-ducs Alexandre et Constantin 225, 229, 239, 278. Nouvelle de sa mort, 322.

Brosine, courrier, 173, 182, 186, 200.

Browne, comte de, général autrichien. 545.

Bruce, comte Iacov Alexandrovitch, sénateur; son départ de Paris, 217. Ment.: 57, 196, 250.

Bruce, comtesse Prascovia Alexandrovna, dame de la cour. 196, 301.

Bruhl, Charles, comte de. 610.

Brunswick, - Lunebourg, Charles - Guil.-Ferd., duc de, célèbre général de l'armée prussienne. Il est appelé à Berlin 439; tournure inattendue et déplorable de la campagne de 1792 où il commandait en chef 459, 538, 555—557; la victoire de Wissembourg 465; sur ses regrets d'avoir quitté le commandement 545; il quitte le service de la Prusse 546; sur une lettre de lui 553 — 4; il ne commandait que de nom 555; sur son retour pitoyable et son manque de tact 556 — 7; sa lettre au roi 572; son dîner de congé 629; il offre son château aux émigrés 757, 801; un mot de lui 786; sur son congé 803, 805. Ment.: 471, 447, 791, 797, 804, 807.

Bueil, Jean Du Roux, comte de. Son mariage avec Em. de Belsunce 349; perte totale de sa fortune et des actes de possession 461; G. demande pour lui une terre en Russie 544, 567, 569; son caractère et sa position 565; l'uniforme russe lui sert de sauve-garde 566, 690; son service dans l'armée de Condé 583, 635, 660; G. implore la générosité de l'Imp. pour lui 692, 697 — 8, 734, 753, 756; demande de le recevoir au service russe 800; ment.: 627, 704, 718.

Bueil, comtesse de. Voir Belsunce, Emilie.

Buffon, G.-L., Leclerc, comte de, célèbre naturaliste; envoi de son oeuvre «Epoques de la nature» 70, 71; sur le présent à lui faire 165, 167, 182; envoi d'une chaîne d'or 198; sur sa reconnaissance, 206; envoi de son buste, 213; sur une lettre que lui écrit l'Imp. 132, 266, 268; sur ses oeuvres envoyées à l'Imp. 343, 359. Ment.: 86, 92, 772, 784.

Buffon, vicomte de, fils du précédent, son départ pour Petersbourg 208, 242, 245, 507.

Bühler, Karl Iacovlévitch, baron de; envoie de la lettre de G. au pr. Potemkine, 423; ment.: 548; courroux de G. contre lui, 653.

Buonafini, cantatrice au théâtre de la cour à Petersbourg, 24, 114.

Burgesse, prem. commis du bureau des affaires étrangères de Londres. Sur son influence et la nécessité de le gagner 587. Ment.: 592.

Buridan, Jean, docteur scolastique, 478.

Burigny, l'évêque de, historien. 71.

Burke, Edmond, célèbre orateur anglais; sa lettre 457. Ment. 370.

Busch, jardinier de l'Imp. 241, 247, 252, 264.
Buscher, M. de, 14, 15.
Bute, lord, ministre anglais. 31, 588.
Byres, antiquaire à Rome. 218.

Cagliostro, Joseph-Balsamo. 176.
Calamai, maison de banque à Livourne; 52, 228.
Calchas, personnage mythologique. 474.
Calonne, Char.-Alexandre de, ministre de Louis XVI qui proposa l'Assemblée des notables et fut peu après exilé. Il envoie un tableau à G. 455; envoi de son mémoire contre le décret de l'assemblée nationale 457: ment: 644, 687.
Camille, courrier. 489.
Campe, major. 82.
Camus, Armand-Gaston, membre de l'Assemblée Constituante et de la Convention. 387, 400.
Caprara, cardinal, nonce du pape. Il est le premier nonce reconnu en cette qualité par le collége électoral d'Allemagne 376; son opinion sur les jacobins 393. Ment: 343.
Cardel, mademoiselle, institutrice de Catherine II. 24, 63, 97, 237, 316.
Carmagnole, ville italienne, qui fut prise par les Français au commencement de la révolution et dont le nom fut, à cette occasion, donné à une chanson, puis à une danse populaire républicaine, puis à l'habit qu'adoptèrent les jacobins. Ici c'est l'armée républicaine qui est comprise sous ce nom, 616.
«Carmen Sacculare» voir Philidor.
Carnarvon, lady. 683.
Carpentras, abbé de; 275.
Carraman, comte de, 75.
Carramans, les. 617.
Casas, chevalier de Las, ministre d'Espagne à Venise. Sur ses qualités 595.
Cassini, comte, consul de Russie à Rome. 623, 740, 790,
Castel, comtesse de. Sa lettre à G. 471.
Castries, duchesse de. 583.
Castries, marquise de, épouse du maréchal. Connaissant son dénuement G. lui achète différents effets 775.
Castries, Ch.-Eug.-Gabriel de la Croix, marquis de, maréchal de France et ministre de la guerre. Sur sa nomination 122; nouvelles données par lui: 123—4, 363, 576, 765; il se réfugie en Suisse 406, 584; ses relations avec Louis XVIII 583, 709, 712, 740, 766, 768, 792; ses lettres à G. 141, 455, 576, 660, 737, 706, 760, 769, 790—792, 803—807; le saccage de son hôtel à Paris 383, 411; ses qualités 409; son dénuement 717, 733; reçoit des secours de l'Imp. 705, 741, 776; il aide à la fondation et à l'activité de la caisse des émigrés de l'Imp. 773. Ment: 115, 201, 363, 584, 754, 767, 800.
Castries, duc de, fils du précédent. 409, 659, 756.
Catau, la divine; surnom que Voltaire donnait à Catherine II.
Catherine de Vagnières, fille du secrétaire de Voltaire. 147.
Catherine, sainte. 23, 26, 194, 265, 474, 535, 658, 660.
Catholique, roi. Voir Charles III, roi d'Espagne.
Catilina, célèbre conspirateur romain. 531.
Caton, Porcius, romain célèbre par ses vertus 97.
Cavaceppi, chevalier, 60.
Cavalcabo, marquis de. 246.
Céliante, personnage d'une comédie de Molière. 447.
Chabot, duc de. Envoi du catalogue de ses tableaux, 360.
Charlemagne, roi de France et empereur d'Occident. 762.
Charles, duc de Sudermanie, frère de Gustave III et régent du royaume de Suède pendant la minorité de Gustave IV; sur son édit contre les jacobins 641, 658, 700; sur le projet du mariage de Gu-

stave IV 706, 708, 725; sur le voyage de Gustave IV à la cour de Russie 726, 783, 810; sa politique est complètement déjouée par Catherine II 786. Ment: 746.

Charles, archiduc, frère de François II. Ment: 655. Bruit de son rendez-vous avec Cobourg 711; l'état déplorable de son armée 724, 749; elle recule toujours 757.

Charles, prince de Saxe; sur ses affaires de famille et d'état 625—6, 684.

Charles III, roi d'Espagne; snr sa politique 597, 378, 331, 392.

Charles-Auguste, duc de Saxe-Weimar. Propose à G. d'être son ministre à Paris 6. Il quitte le service de Prusse 547; ouvre son pays aux émigrés 662.

Charles-Emanuel, roi de Sardaigne, nommé quelquefois frère de Savoie; envoi d'un projet de traité de commerce entre la Russie et les états de ce roi 207; il serait enchanté des relations directes avec la cour de Russie 208, 273.

Charles-Louis-Frédéric, duc de Mecklembourg-Strelitz; sur la mission auprès du pr. royal de Prusse 598; ment: 525.

Charlotte, reine d'Angleterre, épouse de George III. M. 301, 588.

Charlotte, duchesse de Saxe-Gotha; envoi de son cadeau à l'Imp. 630. Ment: 406.

Chartres, un avocat de, personnage qui n'est pas autrement nommé par G.; il a offert un manuscrit de Voltaire à l'Imp., qui le reçut et récompensa l'avocat d'une médaille d'or. 145, 155, 160, 168.

Chartres, duc de. Voir Orléans (Philippe Egalité).

Chartres, duchesse de, plus tard duchesse d'Orléans. 15, 70, 505, 508.

Chartres, mademoiselle de, 70.

Chatam, lord, ministre anglais. 78, 391, 513.

Châtelain, George, littérateur flamand. 685.

Châtelet, Gabrielle-Emilie le Tonnelier de Breteuil, marquise, du, amie de Voltaire. 168.

Chauvigny, chevalier de. 410.

Chédrine, sculpteur russe. G. le recommande à l'Imp. 256, 267, 283. Ment. 281, 313, 335, 342.

Chéret, sculpteur. Il apprécia comme expert l'écritoire exécutée par Demailly et fut honoré d'une médaille d'or 19; il propose un vase sculpté en vermeil pour l'Impératrice 26, 27.

Chesterfield, lord, 23.

Chichi, ou Chigi peintre italien 61.

Chigi, abbé italien, 86, 98.

Chimay, princesse de. Elle donne des nouvelles de l'état des enfants de Louis XVI 576; protège les émigrés de toutes ses forces et les recommande souvent à la générosité de l'Imp. 773.

Chine, empereur de la Chine, 202.

Choiseul, m-me de, abbesse de st.-Louis de Metz. Sur les secours de l'Imp. à lui offrir 759.

Choiseul-Gouffier, Auguste-Laurent, duc de, savant distingué, ambassadeur de France à Constantinople dans les dernières années avant la révolution. Sur son livre: «Le voyage pittoresque de la Grèce»: 16, 83, 310, 328; il retire la plupart des officiers français du service turc 353, 365; son dire sur Thugut 653—4.

Chrysologue r. p. capucin. Envoi de son planisphère, destiné au grand-duc Alexandre 88, 89.

Cicéron, 237.

Cimarosa, compositeur italien 352.

Circé, déesse mythologique 507.

Clairfait, comte de, feldmaréchal des armées autrichiennes. Ment: 471; sur la guerre austro-prussienne contre la France 481; sur la guerre de l'Autr. seule contre la F. 614, 642, 653, 658, 660, 666, 682, 723, 749; sur les suites de son éloignement de l'armée 716, 749.

Clark, John. 613.

Clary, comtesse de. Sur ses relations avec Kaunitz 623—4.

Clément-Wenceslas, électeur de Trèves. 235.

Clérisseau, Charles-Louis, peintre et architecte, membre de l'académie royale de peinture et sculpture de France. Sur la recommandation de Grimm l'Impératrice lui acheta la totalité de ses dessins, qu'elle paya avec munificence, et le nomma dans la suite membre de l'académie imper. des beaux-arts. Sur deux visites que lui fit Joseph II: 29—30; recommandation de Grimm 28—34; sur sa reconnaissance 49—50, 61, 63, 118, 133; sur l'envoi de ses portefeuilles: 15, 35, 73, 77, 81, 85, 89, 91, 111, 116; sur ses travaux: 138, 167, 173, 187, 230, 269; sur sa pension 177; sur sa nomination 188; m. 159, 197, 342; sur son malentendu désagréable avec le c-te du Nord 283—285.

Clinton, sir Henry, commandant en chef de l'armée anglaise pendant la guerre d'Amérique, 148.

Cloots, Anacharsis, fameux démagogue. 687.

Clotilde, Madame, soeur de Louis XVI. 331.

Coadjuteur de Mayence, voir Dalberg.

Cobenzl, Louis, comte de, diplomate autrichien, qui a été ambassadeur à Pétersbourg en 1779. Il est soupçonné de jacobinisme 467.

Cobourg, Fréd.-Jossie, prince de Saxe,— général de l'armée autrichienne. Sur la guerre austro-prussienne contre la France 470, 480, 492, 537, 555, 748; bruit de son voyage au quartier général 711; son caractère et son opinion sur l'état-major et le conseil de guerre autrichiens 724—5. Ment: 500, 596.

Cobourg-Gotha, prince héréditaire. Voir François-Frédéric.

Cochin, peintre français. Il avait fait les dessins des costumes et scènes de plusieurs pièces, acquises pour le théâtre de la cour de Russie; d'une pièce de Sedaine 37, d'un opéra de Philidor 153.

Collorédo, une famille comtale d'Autriche. Ment: 493; son influence à la cour, 644.

Cologne, électeur de, voir Maximilien-François-Xavier.

Condé, Louis-Joseph, prince de, commandant en chef de l'armée des émigrés, connue sous le nom de l'armée de Condé. Ment: 159, 584, 616, 710, 716, 737, 757, 768, 809; sur la politique de l'Angleterre vis-à-vis de lui 654.

Condorcet, Antoine-Nicolas Caritat, marquis de, géomètre et écrivain distingué, membre de l'Académie Française, célèbre surtout comme membre de la Législative et de la Convention; sur l'influence de ses écrits 415.

Conflans de. 426.

Constantin, le gr.-duc Constantin Pavlovitch, second fils de Paul I. Ment. 122, 130, 192, 197, 202, 205, 221, 237, 238, 240, 246, 258, 267, 278, 288, 302, 322, 325, 327, 329, 332, 401, 655, 658, 728. Allusions sur le fameux projet d'empire grec formé par Catherine II: 238, 281, 338, 444—5, 604; projet de Findlater de le faire roi de Pologne 604; sur son mariage — 628, 650, 696, 707.

Constantin, empereur de Bysance, 202,

Constantinov, courrier 351, 353.

Cooke, capitaine. 247.

Corilla, une poëtesse italienne, pensionnaire de l'Impératrice; elle habitait Florence; ses vers dédiés à l'Imp. 227, 248—251, 262, 320; une ligne de la main de l'Imp. la rendrait heureuse: 268, 308; sur sa pension: 335; envoi de sa lettre au c-te Orlov par l'entremise de l'Imp. 352; ment: 52, 489, 740, 789, 812.

Corneille, Pierre, célèbre tragédien. 71, 118.

Corrège, peintre célèbre 74, 133, 177, 243.
Courlande. Pierre, duc de Biron; sur le paiement de ses biens allodiaux 626.
Courtenvaux, de. 333.
Cozette, directeur de la manufacture des gobelins et artiste. Propose des tableaux gobelins à l'Imperatrice, 158. M. 219.
Craon, prince de, émigré français, reçu en Russie. 433.
Crayen, consul prussien à Dresde. Son aventure à Varsovie 593; il sert d'agent entre Elliot et la cour de Berlin 594, 596.
Custine, Adam-Philippe, comte de, lieutenant-général français, qui commendait l'armée du Rhin en 1792. 552.
Curtis, Roger, capitaine anglais, 332.
Cuyler, officier du génie anglais. Il fut envoyé en Turquie pendant la guerre turco-russe pour fortifier les places, 595.
Cyropédie, oeuvre de Xénophon, 327.

Dahl, Hermann Iourievitch, employé des douanes. 317.
Dalberg, Charles-Théodore, baron de, écrivain, coadjuteur de Mayence, devenu dans la suite prince de l'empire et président de la confédération du Rhin. Envoi de son manuscrit 20; sur son plan de la formation des écoles 113. Efforts de la cour de Vienne pour le faire renoncer à son poste de coadjuteur 492—3. Envoi de sa lettre et de ses réflexions sur la politique 713—14. Il chasse les émigrés d'Erfort 771. M. 25, 95, 602, 572, 662, 716.
Damas, baron de. 673.
Damas, baronne de, épouse du précédent. Malentendu au sujet d'une lettre que l'Imp. croyait avoir reçue d'elle 673—4.
Danaïdes, 440.
Darmstadt, princesse George de. 525.
Daschkaw, princesse Ecathérina Romanovna, président de l'académie des sciences. Ment: 144, 216; sur sa présidence à l'académie 337; ment. elle et ses enfants 190. Grimm prie l'Imp. de protéger Rochon auprès d'elle, 342.
Dauberval, danseur, m. 185.
Dauphin, Louis-Joseph, fils aîné de Louis XVI, mort très jeune. 226, 229, 238, 302, 505. Sur sa mort: 576—7, 615, 654.
Delfino, illustre maison de Venise, 319.
Delorme, emballeur d'antiques et de tableaux, qui travaillait pour Grimm, 91, 187, 207, 213, 215, 272, 341.
Demailly, artiste, qui avait exécuté pour l'Impératrice une écritoire, commandée par Grimm et payée 36 m. liv. 17, 18.
Demetrio, 98.
Demogorgon, nom d'un opéra, 614.
Démosthène, célèbre orateur grec, 680.
Denis, madame, nièce de Voltaire. Elle offre la bibliothèque de son oncle en hommage à l'Impératrice et envoie chercher Grimm, 21; écrit au c-te Schouvalov et remet à Grimm les lettres de l'Impératrice à son oncle 22; elle commande la statue de Voltaire, 25; de tous les diamants que Catherine II lui avait donnés, elle se fait faire un ruban, qu' elle porte au cou, en y attachant le portrait de l'Impératrice 39; ment.: 61, 73, 94.
Dessau, prince de. Voir Léopold-Frédéric-François.
Deux-Ponts, maison ducale de. 653.
Deux-Ponts, duc de. Voir Frédéric.
Diacov, courrier. Apporte une lettre de l'Imp. 231. M. 245, 247, 276.
Diane la, statue de Houdon 314, 316, 336.
Diderot, Denis. Fait passer une lettre à l'Impératrice 52; visite du p. Orlov chez lui, 130; une traduction faite par sa fille, 152. Ment: 37, 77. Sur sa maladie 326; sur l'édition de sa biographie 346.
Didona abbandonnata, opéra de Galuppi, 98.
Didot, imprimeur, 328.
Dimsdale, Thomas, baron de, médecin de l'Impératrice. Son voyage à Pétersbourg

pour vacciner les jeunes gr.-ducs, 197; entrevue de G. avec lui, 225.
Diodati, cantatrice. 412.
Doell, sculpteur, pensionnaire du duc de Saxe-Gotha, 61.
Doenhof, Sophie-Julienne, comtesse de, épouse morganatique de Fréd.-Guil. II, désignée souvent par le surnom de Kebsweib. Son entrevue avec Fréd.-Guil. 466; sa tentative inutile de raccommodement avec lui, 510; elle reçoit l'ordre de quitter Potsdam, 516.
Dohm, un agent diplomatique prussien. 354, 641.
Dominichino, Domenico Zampieri, peintre célèbre. 198.
Don-Carlos. 283.
Don Japhet d'Arménie, personnage d'une comédie, 87.
Don-Quichotte, héros du roman de Servantès 387, 493, 687.
Dorat, écrivain français. 36.
Doubenski, officier russe. 627, 629.
Drais, sculpteur; reçoit une médaille d'or 19.
Drais, madame, femme du précédent. Grimm lui donne de la part de l'Impératrice des manchettes de dentelles, 19.
Dubusquet, nom qu'on donnait à Pétersbourg à M. de Buscher 14, 15.
Dufour, frères, banquiers de Leipzig. 813.
Dumarsais, 117.
Dumouriez, Claude-Franç., maréchal français; sa caractéristique, 471. Ment: 507.
Dundas, (Lord Melville), secrétaire d'état anglais. Peut être pourrait-on l'acheter, 533.
Dupuis, Charles. 288.
Duras, duchesse de. 576.
Du Roux. Voir comte de Bueil.
Duvivier, M^r. A épousé M^me Denis, nièce de Voltaire, 94.

Eck, Matveï Matveievitch, directeur des postes à Petersbourg. 20, 47, 57.
Edelsheim, baron de. Ami de G. est mort subitement, on peut acheter à ses successeurs plusieurs beaux tableaux, 524.
Eden, ministre anglais à Dresde. Porte au duc de Gotha l'ordre de la Jarretière, 444; son parti est très-influent, 587.
Eden, sir Morton, ministre d'Angleterre à Vienne. Ses sympathies austro-russes et l'inimitié personnelle du roi de Prusse pour lui 591; il faudrait l'instruire de l'hostilité d'Elliot, 592, 644.
Eden, les. 590. Le roi de Prusse est leur ennemi; la Russie doit tâcher de les gagner, 593.
Electeur de Mayence, voir Dalberg.
Electeur de Saxe, voir Fréderic-Auguste III.
Elisabeth Alexeievna, grande-duchesse, puis impératrice de Russie, épouse d'Alexandre I. Ment: 645, 661.
Elisabeth, Madame, soeur de Louis XVI, guillotinée en 1794. 722.
Elisabeth, nom d'un vaisseau, 761.
Elisabeth Petrovna, Impératrice de Russie 93, 171.
Elliot, George-Auguste, lord Heatfield, général anglais, défenseur de Gibraltar. 595.
Elliot, Hugh, ministre d'Angleterre à la cour de Dresde. Va à Francfort conférer avec les autres ministres anglais, 510; conversation politique avec G. 511, 513; il aime la Russie, 533; sa cour le néglige, 588; sa caractéristique et les moyens de lui nuire, 589—599; ses sympathies politiques, 591, 610, 612, 644. Ment; 517, 586, 596, 598.
Elliot, sir Gilbert. 590.
Endymion, statue, travaillée par Chédrine, 256.
Ennery, connaisseur d'antiquités, à qui G. avait souvent demandé conseil 110, 259, 265, 290, 343; sa mort, 350.
Ephraïm, juif, envoyé de Prusse à Paris en 1792. 453.
Epinay, M^me d', écrivain connue. Grimm lui acheta pour l'Impératrice des diamants

de haut prix 92, 93; supplie l'Impératrice de ne pas la protéger auprès de Necker, 181; demande la protection de l'Impératrice, 197. Sur son livre, 199. Envoi de sa lettre à l'Imp. 211, son livre reçoit un prix de l'académie 309. M. 636.

Era, Giovanni Batista dell', peintre. 622.

Ericson, Virgile, peintre qui a fait un portrait de l'Impératrice. 154, 164.

Ermite de Reinsberg; sous ce nom est entendu le pr. Henri de Prusse.

Ernestine, branche aînée de la maison régnante de Saxe. 758.

Ernest-Louis, duc de Saxe-Gotha. Sa requête à l'Imp. 315; il confie à G. la mission de présenter à Léopold II sa lettre de félicitation, 379, 393; il reçoit l'ordre de la Jarretière, 444; il désapprouvait le projet de mariage de Gustave IV avec une pr. de la maison de Schwerin, 708. Ment.: 7, 61, 301, 314, 531, 576.

Ernest-Louis, duc de Saxe-Meiningen. Il n'a pas le corps d'armée qu'on lui supposait, 510.

Esculape, dieu mythologique 135, 300.

Espagne, roi d'. Voir Charles III.

Espagne, reine d'. Voir Marie-Madeleine.

Esterhasy, Valent. - Ladislas, comte d', agent de Louis XVIII à Pétersbourg. Il est probablement absent de Pétersbourg 806.

Eudamidas, roi de Sparte. 563.

Euménides, 67.

Eyben, jurisconsulte allemand. Donne des nouvelles des affaires de la Suède, 707.

Factotum, ou Factotum impérial, nom que G. donne invariablement au vice-chancelier Bezborodko.

Fagot, dit Cochois, tailleur. 302, 304.

Falconet, écrivain et sculpteur, 57; sur sa mort, 456.

Falkenstein, comte de, voir Josephe II.

Falstaff Schlaf, voir Gustave III.

Falstaff, personnage d'une comédie de Shakespeare 358.

Fawkener, secrétaire du conseil intime de George III. Son arrivée à Pétersbourg avec une mission, 432.

Fede, comte, 290.

Ferdinand I, roi de Naples. Une colonie fondée par lui et son ouvrage là-dessus, 380; son désir d'instituer un commerce direct avec la Russie, 332; son partage d'après Findlater, 605; ment.: 56, 58, 767.

Ferdinand, prince de Prusse 553; sur le mariage de sa fille, 612.

Ferdinand III, grand-duc de Toscane. 467.

Féronce de, ministre de Brunswick; 792.

Ferrières, marquis de. 362.

Ferté-Imbault, madame de la, fille de M^me^ Geoffrin. 220; 268, 456.

Feveï, un conte de l'Imp. 327, 333.

Fielding. 254.

Filosofo confuso, nom d'un opéra, 614.

Findlater, lord, désigné souvent par pair d'Ecosse, ou bien oracle d'Ecosse, ou bien encore de zélote impérial. Sa visite à G. 493; son plan politique 494—496; croit que l'Allemagne deviendra la proie des Turcs 539; son projet de transporter la capitale à l'extrême sud de la Russie, 560, 643; son attachement à l'Imp. et ses avis sur les menées anglaises 585; son plan de politique que la Russie doit suivre à l'égard de l'Angleterre 586—596; de l'Autriche, 596—7; de la Prusse, 597—8; de la Saxe — 598 — 603; de la Pologne 603—4; de l'intérieur de l'empire, 604 —608; ses lettres politiques, 609—618, 642—645, 683—4; ses idées sur le mariage des grandes-duchesses, 643—4, 655; son entrevue avec Budberg, 672; sur la chasse aux cadets 720, 727, 743, 745. Ment.: 527, 584, 618, 628, 650, 652, 657, 681, 685, 695, 698, 712, 723, 739, 748, 769, 790, 797, 807.

FISCHER, officier autrichien. Il est soupçonné de jacobinisme, 597.

FITTE, la, 353, 365.

FITZ-HERBERT, 268, 333.

FLACHSLANDEN, Jacques-Conrad, baron de, médecin. 791.

FLEURIEN, M. de. 455.

FLEURY, M. de 197.

FONTAINE, la, un français qui a entraîné le jeune Lanskoï dans des désordres. Sur la requête de G. une lettre de cachet est lancée contre lui, 255; G. demande la permission da la révoquer, 302.

FONTENELLE, Leboyer, littérateur et savant. 670.

FORSMANN, officier russe. 220.

FORSTENBERG, comte de, fils naturel du duc de Brunswick. Son entrée au service russe et sa lettre de Pétersbourg 436.

FOX, Charles-Jacques, un des plus grands orateurs anglais; sur la proposition qu'il était censé avoir faite à l'ambassadeur russe, 533; sur la nécessité pour la Russie de le gagner, 595.

FRANÇOIS II, empereur du Saint-Empire Romain, plus tard emp. d'Autriche. Sa douleur à la vue d'une liste de conjurés, 466; il envoie cette liste à toutes les cours, 467; sur les dons patriotiques, 500; il défend sévèrement le débit des brochures des illuminés, 527; quelle politique suivra-t-il, 538; se rend aux Pays-Bas, 571; sur ses audiences au peuple, 596; ses vues sur les électorats ecclésiastiques, 643; son partage d'après Findlater, 597, 645. Sa manière d'agir envers Louis XVIII 710, 737, 740, 767, 790; sur son caractère, 714; sur l'état déplorable de son armée 724; il s'avance à sa perte, 749, 757, sur les changements dans son entourage, 804. Ment: 514, 524, 615, 627, 630, 654, 716, 745.

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC-ANTOINE, prince héréditaire de Saxe-Cobourg-Gotha. 732.

FRANSURES, chevalier de, émigré. Demande à être reçu au service russe, 760; reçoit une lettre de G. 805.

FRASCATANA, un opéra de Paisiello. 24.

FRÉDÉRIC, prince de Wurtemberg, devenu dans la suite roi. Ses assiduités auprès de G. et la reconnaissance de son mariage par le pape, 434.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME II, roi de Prusse. Sur sa première guerre avec la France: 468, 470, 500, 686; ses dispositons pacifiques et la paix de Bâle 511, 512, 545—6, 652; sa brouille avec la c-tesse Doenhof, 510, 516; son rapprochement avec le pr. Henri, 555; son partage d'après le plan de Findlater, 495, 597—8, 610, 644; sa haine personnelle contre les ministres anglais 592; sa politique incohérente et pernicieuse 597—8, 715, 723; les mauvaises influences sur lui, 510, 554, 597; bruits de ses projets à l'égard de la Pologne 614, 615; sa politique bienveillante envers la république franç. 616, 627, 643, 804; envoi de ses lettres à Herzberg, 628, 631; sa réponse au duc de Brunswick, 803; sur la coalition générale contre la Fr. 806. Ment: 441, 450, 479, 509, 526, 534, 554, 572, 604, 625, 641, 658, 682, 684, 759, 765.

FRÉDÉRIC-AUGUSTE III, électeur de Saxe, surnommé le Juste. Sur son gouvernement et sa politique 598—9; sur l'affaire de la maison d'Anhalt, 600; sur la nécessité et les moyens de le gagner, 601, 603; sur son partage, 602; le mariage de son fils n'est pas reconnu par lui, 625; ses mesures pour le cas de l'invasion française, 758; il refuse l'asile à Louis XVIII 765; le recommande aux pr. d'Anhalt, 791; Ment: 516, 588.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME, prince royal, plus tard roi de Prusse. Sur son air et son amour pour sa fiancée 525; la cour de Russie devrait s'adresser à lui 598; son caractère 610. Ment: 564.

Frédéric II, roi de Prusse. Ment: 23, 95, 99, 189, 344, 390, 406, 426, 442, 451, 558, 775; veut-il acheter une statue, 60; sa brochure sur la littérature allemande, 146, 237; G. voudrait le voir causer avec Raynal 216; il disait qu'il vivrait avec 30 sous 410; son conseil et son plan de campagne 435; un mot de lui, 604.

Frédéric-Guillaume I, roi de Prusse. Ment: 609.

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg. Il fuit avec sa famille, prévoyant l'invasion française, 751; son traité avec la république 758—9.

Frédéric-Albert, duc d'Anhalt-Bernbourg. Il invite G. à venir s'installer chez lui, 778; ment: 781.

Frédéric, margrave de Bade. Il est parti avec sa famille, on ne sait où, 751; il négocie avec la république, 759; ment: 781.

Frédéric III, landgrave de Hesse-Cassel. Son partage d'après le plan de Findlater, 495; Gustave IV lui fait une visite, 767.

Frédéric, duc des Deux-Ponts. Sur l'acquisition de ses terres par le pr. de Saxe, 625—6, 684; envoi d'une lettre sur sa mort, 631.

Frédéric, prince héréditaire de Bade 661.

Frédéric-François, prince héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin; sur sa visite à Gotha, 707.

Frédérichs, baron de, banquier de la cour Impériale de Russie. 41, 52, 54.

Frédérique-Sophie-Wilhelmine, princesse d'Orange, fille du pr. Aug.-Guil. de Prusse, soeur de Fréd.-Guil. II. Sa visite à Spa chez son oncle, le pr. Henri de Prusse 195; miniature peinte par elle: 198, 202, 206; elle prend part aux intrigues politiques prusso-anglaises, c'est par ses mains que passe l'argent: 418, 420, 453. Ment: 449, 481.

Frédérique-Sophie-Wilhelmine, princesse de Brandenbourg-Bareith, première épouse du duc Charles-Eugène de Wurtemberg. 498.

Frédérique-Louise-Caroline, épouse du prince Frédéric-Louis-Charles de Prusse. Sur son mariage. 525, 576—7.

Frédérique-Auguste-Sophie, princesse d'Anhalt-Zerbst. Un courrier russe va lui prendre ses lettres à l'Imp. 768.

Frère Gu. Voir Gustave III.

Friport, M. 202.

Froissard, Suisse au service de l'Autriche. Sur son jacobinisme, 596; on l'accuse d'empoisonnement. 597.

Fronsac, duc de. Voir Richelieu.

Furstemberg, prince de, général prussien. 470.

Gabriel, archange, 19.

Gabriel, archevêque de Pétersbourg, 312, 386.

Gabriel, architecte. 247.

Gabrielli, cantatrice à Pétersb. 114.

Galiani, abbé italien, surnommé «petit abbé de Naples.» Ment: 26, 62, 104, 145, 151, 184, 199, 218, 248, 332, 473, 623; envoie à G. le projet d'une fête 152, 153; sur sa nomination à l'académie, 230; sur son livre 315; sa manière de travailler, 415; sur sa mort 380; sa prédiction sur le grand avenir de la langue russe 393, 487—8.

Galitsine, prince Alexandre Michaïlowitsch, vice-chancelier. Lettres de Grimm adressées à lui 2; ment: 107, 111, 195, 433, 573, 626.

Galitsine, prince Dimitri Alexeievitch, ministre plénipotentiaire de l'Imperatrice à la cour de France, 2, 335.

Galitsine, prince Dimitri Mikhaïlovitch, ambassadeur de Russie à Vienne. Sur un malentendu, survenu par sa faute, dans l'affaire de la souscription à l'édition des oeuvres de Metastasio: 84, 85, 116, 121, 164; M. 242.

Galitsine, prince, général. Il se distingue dans la guerre turco-russe, 434.

GALITSINE, prince Nicolaï Michaïlowitch, grand-maître de la cour et maréchal de noblesse du gouvernement de St. Pétersbourg. Sur le refus de l'Imp. d'accepter le titre de Grande: 107,195,433,573.

GALITSINE, princesse Praskovia Andréïevna, née comtesse Schouvalov. Sa lettre 245; une lettre à elle, 489. Ment. 521, 544, 545, 567, 775.

GALLES, prince de. Voir George-Fréd.-Aug.

GALUPPI, compositeur italien, prédécesseur de Païsiello au poste de maître de chapelle à Petersbourg 24, 98.

GAMALIEL, savant rabbin, vivait au temps de J.-C. 674.

GANDON, abbé, émigré. Il va en Russie chez la pr. Galitsine, 775.

GARDEL, les, 708.

GARDIE, les comtes de la. 658.

GARIKHVOSTOV, courrier, apporte une lettre de l'Imp. à G. 646; somme reçue par lui de G. 812; ment: 649.

GAVAUDAN, personnage d'une pièce de Sedaine. 34, 37.

GEISLER, Jean Gottlieb, savant allemand, membre-correspondant de l'académie imp. de Pétersbourg. 619.

GEMMINGEN, Eberhard-Fréd., jurisconsulte allemand. 354.

GENLIS, comtesse de, Elle protège un abbé polonais 15, 16, 70. Envoi de ses pièces 70; sa défaite à l'académie, 309: so liaison avec le duc d'Orléans et ses intrigues 504—507.

GEOFFRIN, M^me^, auteur d'un mémoire que Grimm envoie à Pétersbourg, 14; ment: 23, 71, 88, 456, 727; un mot d'elle 723.

GEORGE, duc d'Oldenbourg. On pourrait en faire un roi de Pologne 604.

GEORGE, saint, ordre russe, institué par Catherine II. 306, 434, 508, 523, 544, 700.

GEORGE FRÉDÉRIC AUGUSTE, prince de Galles, dans la suite roi George IV d'Angleterre. Sur sa dissipation et sa maladie 196; sur sa lettre 683.

GEORGE III, roi d'Angleterre, «sa majesté Britanique, frère George ou frère Ge.» 31, 58, 127, 129, 148, 161, 301, 332, 439, 466, 589, 607, 740; sur l'abolition des lois contre les catholiques 97; au sujet de la neutralité armée 127; de la piraterie 129; son aveuglement sur les affaires d'Amérique 148; sur ses idées aristocratiques, 418, 453; sur sa politique hostile à la Russie 419; bruit de sa maladie 456; la pauvreté de ses vues, 587; ses intimes, 588; ses intérêts vis-à-vis la Prusse, 614; son accession au traité de Bâle, 641; son message au parlement, 665; sa politique à l'égard de la France, 715.

GEORGE, prince de Saxe-Meiningen. Sur les confidences que lui fit Gustave IV 767.

GERMAGNAN, chevalier de. 544.

«GERMANICUS», tableau de Poussin, 85.

GESSNER, Salomon. G. demande pour lui une médaille d'or 99; ment: 145, 160.

GHIGI *), architecte, protégé de Reiffenstein: 26.

GIBBON, Edouard, célèbre historien anglais; sur sa maladie, 412.

GILLET, Nicolas François, sculpteur, pensionnaire de l'Impératrice. Sur un malentendu, survenu dans le payement de sa pension, 94, 117, 120, 132, 177, 184, 270; sur ses travaux, 188; sa confiance en l'Imp. 336; sa mort, 456. Ment. 247.

GIRARD, abbé, grammairien distingué, membre de l'Académie française. 411.

GIRARDOT Haller et C-ie., maison de banque à Paris, 42, 294.

GIRECOURT, comte de. Envoi de son livre à l'Impératrice 169. m. 172.

GLEICHEN, baron. Envoie à Grimm, pour

*) Ou Chigi, comme l'Impératrice le nomme dans ses lettres.

être remis à l'Impératrice, un remède contre les mulots 53, 54.
GLÜCK, compositeur. 217.
GLYSCHINSKY, un des chef de l'insurrection polonaise. Il pourrait être employé pour insurger la Pologne prussienne, 603.
GMELIN, George, naturaliste, professeur à Pétersbourg et membre de l'Académie des sciences; 184.
GODSKA, épouse divorcée du prince Sangusko. Sur son attachement à l'Impératrice et à la Russie, 157.
GOERZ, Jean Eustache, comte de, ministre de Prusse à Petersbourg. Il est ami de Grimm, 62, 63; ment: 76, 114.
GOLOVKINE, comte Fedor Gavrilovitch, ministre de Russie à Naples. Ment: 614; un article sur lui daus une lettre de l'Imp. 674—5; son rappel, 676.
GORANI, Giuseppe, gentilhomme milanais, ayant pris part à la révolution française. Envoi de ses mémoires, 534. ment: 509.
GORDON, George, lord. 87. Sur sa lettre à Grimm, 96.
GOTHA, prince de, cadet; sa caractéristique, 656; ment: 658.
GOTHLAND, comte de; voir Gustave III, roi de Suède.
GOTTER, Frédéric Guillaume, poëte allemand. 714.
GOUVERNANTE, Madame la; ment: 908. (Il est question ici de M^me^ la c-tesse Lieven).
GRAND-DUC, voir Paul Petrovitch.
GRANDE-DUCHESSE, voir Maria Feodorovna.
GRANDES-DUCHESSES, les 567, 664, 682, 745.
GRAND ÉCUYER, M. le, Lev Alexandrovitch Nariskine. 38, 76, 415.
GRAND MAÎTRE DE LA COUR. Voir pr. Viazemsky.
GRAND VIZIR, le, 304, 558.
GRASSE, comte François Joseph Paul, marquis de Grasse-Tilli. Sa victoire sur les Anglais, 201. M. 225.
GRENVILLE, lord, ministre des affaires étrangères; on le croit intéressé, 533. Ment: 514, 587, 590, 592.
GRESSET, J. B. Louis, poète, 74.
GREUZE, célèbre peintre français. Fait un portrait de l'Imp. 277, 323.
GREY, Ecossais, secrétaire d'ambassade à Berlin. Il intrigue contre la Russie, 592; moyen de lui nuire, 593; il est jacobin, 594, 610, 612, 616; raisons de sa haine contre la Russie, 644.
GRIFF, banquier, se charge d'un paquet pour l'Im. 281, 290. M. 289.
GROING, comtesse, chanoinesse émigrée. Envoi de son livre, 631.
GRONCHI, ingénieur. 343.
GROOT, maison de commerce de Pétersbourg. 208.
GROSCHLAG, baron de; a été envoyé par la cour de France à Berlin, 367.
GUELFE; par ce nom est désigné le duc de Brunswick, qui appartenait à la maison des Guelfes (en allemand Welfen).
GUÉMENÉE, princesse de. 331.
GUÉMENÉE, Jules Mériadec, prince de Roban-; sur sa banqueroute célèbre, 278, 293, 311, 330, 332.
GUERCINO, peintre. 333.
GUIDE, le, célèbre peintre Guide Réni, 266, 402.
GUSTAVE III, roi de Suède, désigné souvent par l'abréviation de frère Gu. ou bien le sobriquet de Falstaff-Schlaff. Sur sa visite à la cour de Russie 95, 106; son séjour à Spa 115, 124, 196; sa réponse à une lettre de G. 123; la cour de France est mécontente de sa politique, 365—6; il y envoie un ministre, 367; sur sa guerre avec la Russie, suivie d'une paix séparée 375, 381, 387—389, 447, 450, 571; il s'incline vers l'alliance anglo-prussienne contre la Russie, 438, 442, 444; ment: 143, 263, 446, 653, 658.
GUSTAVE IV Adolphe, roi de Suède, fils de Gustave III. Ment: 576; sur les projets de son mariage, 706, 725; sur l'état

de la Suède et sa politique 706, 708; sur son voyage à la cour de Russie, 726, 783—785, 808—810; son indignation à la nouvelle de l'attentat à la vie de Louis XVIII, 767.

Gutschmid, Christian Gotthelf, baron de, premier ministre de Saxe; sur son activité utile et sage, 598—600.

Gutschmid, major, fils du précedent. 789.

Habit rouge, surnom que G. donnait parfois, à l'exemple de l'Imp., à Mamonov-Dmitriev. Voir Mam.-Dm.

Hackert, Philippe, peintre. Proposition d'acheter 2 de ses tableaux 137. Lettre de lui, 524, 526. M. 61, 62, 571.

Haga, comte de; nom emprunté par Gustave III et Gustave IV pendant leur voyage en Russie. Voir Gustave III et IV.

Hahn, Auguste Ivanovitch, directeur des postes à Petersbourg après Eck. G. voudrait qu'il fût prévenu de la manière de passer ses lettres à l'Imp. 572; il lui envoie des almanachs, 665.

Haller, Albert de, savant et poëte suisse. 132, 184; sa lettre, 201.

Haller, Emmanuel de, fils du précédent, financier et banquier à Paris. 132.

Haller, Girardot et Co. Voir Girardot Haller et C.

Hamilton, chevalier, ministre d'Angleterre à la cour de Naples 59, 333.

Hamilton, peintre anglais; sur sa proposition d'acheter une statue de Jupiter assis, trouvée à Rome 58—60.

Hammond, envoyé d'Angleterre à Berlin; sur les offres qu'il a faites à la cour de Berlin, 805.

Hannovre, électeur de. Voir George III.

Harcourt, comte de. 588.

Harcourt, comtesse de; son influence sur la reine d'Angleterre, 588.

Harcourt, la générale. 588.

Harcourt, lord, ambassadeur d'Angleterre à Paris; protégeait Clérisseau, 31.

Hardière de la, gentilhomme français, recevait des secours de la caisse des émigrés, 772.

Hardy. Coiffeur du gén. Lanskoï, recommandé par G. Il écrit à G. 244, G. envoie sa lettre à l'Imp. 346.

Hassan-Samsondgi-Bacha, général turc. 434.

Hatzfeld, comte de. Un mot de lui, 611. Ment: 614.

Haugwitz, Henri, comte de, ministre prussien. Il est contre la coalition, 806.

Hawkesburg, lord, secrétaire de la trésorerie. Il est très intime avec le roi, très influent, il faudrait le gagner, 588.

Hay, Jean et Robert, banquiers, 86; 120.

Hédéric, 770.

Heinel, mademolselle, danseuse 185.

Helbig, secrétaire de la légation saxonne à Pétersbourg. Sur ses propos injurieux contre l'Imp. 657, 667, sur son rappel 685, 737, 782. Ment: 684.

Hélène Pavlovna, grande-duchesse, fille de Paul I. 650.

Hendel, compositeur. 289.

Hennin de. Sur son désir d'avoir un livre imprimé en Russie, 149, 184.

Henri, prince de Prusse, frère de Frédéric II. Sa visite à Catherine II: 96, 114; il appelle G. à Spa: 176, 190; leur entrevue, conversations et passe-temps: 191—196, 204; sa lettre à l'Imp: 202, 206; une lettre de l'Imp. pour lui 260; sur son entrevue avec G. en Allemagne, 370; ses sentiments sur la politique de la Prusse: 390; il croit la guerre imminente, 429, 437; extraits de ses lettres à G. 436—451; il n'a aucune voix à la politique, 438, 444, 450; il déteste Herzberg 442; son opinion sur l'Angleterre, 448; son admiration pour l'Imp. 447—450; sur son séjour à Berlin et les conseils qu'il y a donnés: 451—453; il est enchanté de Meilhan 480, 558; fragments de ses lettres à G. 531—2; son opinion sur Weishaupt, 531; il voudrait le voir, 532; il se ré-

jouit de la paix prochaine, 545; son rapprochement avec le roi, 555; son opinion sur Brunswick, 557; son idée, formant une maxime fondamentale de la politique prussienne, sur la Russie et l'Angleterre 297, 805; il se vante d'avoir été l'instigateur de la paix 611, soutient la politique amicale envers la Fr. 611, 616; il est supposé vouloir y aller lui-même, 686; il voudrait brouiller la Suède avec la Russie 658. Ment: 186, 198, 237, 369, 527.

Henri IV, roi de France, 219.

Hercule, héros mythologique 256, 267, 315, 378.

Hermano, Augustin, imprimeur. 256.

Hérode, roi des Hébreux. 261.

Herreira, vicomte de, ci-devant ambassadeur à Pétersbourg, puis ministre d'Espagne à Naples. Sur son attachement et sa vénération pour l'Imp. 142, 183, 213, 266, 292.

Hervey, lord, ministre d'Angleterre en Toscane. 467.

Herzberg, Ewald Frédéric, comte de, ministre prussien, diplomate et écrivain. Sur la confiance de l'Imp. en lui 369; sur sa politique hostile à la Russie: 387, 391, 420, 437; son gouvernement ruine et affaiblit la Prusse: 390, 419, 438, 444, 446; sur ses intrigues en Saxe 407, 416; en France et contre l'Autriche, 418, 453; envoi de ses lettres au roi 628, 631. Ment: 401, 439, 441, 480, 496, 613, 641.

Herzblatt, nom d'emprunt, par lequel G. désignait le comte Nicolas Roumiantsov, qu'il appelait aussi St.-Nicolas ou simplement mon saint. Voir Romantsov, Nicolaï Petrovitch.

Hesse-Cassel, landgrave de. Voir Frédéric III.

Hesse-Darmstadt, landgrave. Voir Louis IX.

Hesse-Philipsthal, Guillaume, prince de, général de l'armée hollandaise et gouverneur de Herzogenbusch. Il prie l'Imp. d'être la marraine de son fils, 344.

Heymann, général français, entré au service de la Russie; son état de services et sa caractéristique 226; il apporte à G. la lettre de Bouillet 227; quels services il peut rendre 426, 429, 431, 435; il veut entrer au service russe 429; ses conditions 430, 434; son départ est retardé, 434; il aura lieu bientôt 454. Ment: 432.

Hillebrand, baron de, savant agronome. 619.

Hirt, Louis, connaisseur d'antiquités. Il s'offre pour remplacer le défunt Reiffenstein, 523.

Hitzig, mécanicien; sur la machine inventée par lui, 781—2.

Hohenfeld, baron de. 235.

Hohenlohe-Kirchberg, prince de, général des armées autrichiennes. 749.

Hohenlohe, Louis Joachim, Waldenbourg-Bartenstein, prince de, maréchal et pair de France, émigré. Sur la guerre austro-prussienne contre la France 481, 593.

Holbach Thiry, baron de, savant et esprit fort, intimement lié avec les principaux écrivains et philosophes de l'époque et ayant lui-même beaucoup écrit sur les questions religieuses et philosophiques. Grimm habitait sa maison à Paris, 69.

Holstein-Augustenbourg prince de, Frédéric-Christian, général au service du Danemark; donne des nouvelles sur la Suède, 706—7.

Homère, poète grec 168, 695.

Hood, Samuel, amiral anglais. 201, 332.

Horace, poète latin. 152, 264, 409, 541.

Hott, maison de banque à Amsterdam, 137.

Houdon, Pierre, sculpteur, auteur du buste et de la statue de Voltaire; la cour de Russie lui en commanda plusieurs exemplaires. Sur l'acquisition de ces bustes et statues: 19, 25, 61, 314; sur leur expédition; 40, 65, 116. Ment: 52, 73.

Houel, Jean, peintre. La collection de ses tableaux est proposée à l'Impératrice, 179; sur l'envoi de ses dessins, 207, 230, 258, 342.
Howe, Richard, comte de, marin anglais, 268.
Huber (de Genève) Jean, dessinateur et naturaliste. Envoi de sa lettre 151. Men: 199, 201.
Huber (de Leipzig), Michel, traducteur des oeuvres de Winkelmann. 26, 307; sur la souscription à son édition 199.
Hume, David, historien anglais. 608.
Huron, héros du conte de Voltaire «l'Ingénu».
Huttin, peintre français. 136.
Hyder Ali. 310.
Hyppolyte. 525.

Iacobi, Frédéric-Henri, célèbre philosophe allemand. 534.
Iacovlev, officier russe. Apporte une lettre de l'Imp. à G. 807.
Iaenisch, consul russe à Leipzig. Il est recommandé à l'Imp. comme agronome, 695.
Iliade, poème épique d'Hommer, 789.
Inkle et Jariko, conte traduit par Meister. 374.
Inspecteur de police à Paris. 17, 227.
Iphigénie en Aulide, opéra de Gluck, 217.
Italinski, André Iacovlevitch. Ses qualités 375; sur une lettre à l'Imp. le concernant 657; reste chargé d'affaires à Naples, 676.
Ivan Grégoriewitch, graf, voir comte Tchernichev.

Jacobins 393, 405, 417, 426, 453, 470, 482, 553.
Jaquaut, 23.
Jaquier, r. p., professeur à Rome, 61, 63.
Jarkoï, Pierre Guérassimovitch, peintre miniaturiste. 372, 384, 406.
Jarnac, Gui de Chabot, seigneur de, gentilhomme de la chambre de Henri II, qui frappa traîtreusement au jarret son adversaire en duel; depuis on donne le nom de Jarnac aux coups de traîtres; 557.
Jenkins, brocanteur d'antiquités à Rome. Reiffenstein lui achète des tableaux pour l'Imp. 137; sur sa fourberie 218. 243, 296.
Jenkinson. 588.
Jérémie prophète 4, 5, 381.
Job, personnage biblique. 459, 731.
Jonas, prophète hébreux 251.
Jones, Paul, intrépide marin anglais, qui se rendit célèbre au service de l'Amérique. Il confie à G. un paquet pour l'Imp. 412.
Jordis, régiment dans l'armée autrichienne. Ment.: 749.
Joseph, archiduc, frère de l'empereur François II. 492.
Joseph II, empereur du Saint-Empire Romain. Ses visites chez Clerisseau: 29, 30, 284, 286; sur la visite qu'il fit à l'Imp. à Mohilev: 82, 90, 107; sur son séjour à Pétersbourg III. G. l'a prédite: 106; sa bonne opinion sur G. 105, 108; à propos d'écoles en Autriche et sur sa passion pour la musique 114; sur son avènement au gouvernement et ses réformes 130, 147; sur sa médiation dans la guerre anglo-américaine 139; sur son conflit avec Rome et le pape 160, 186, 210; l'Allemagne ne lui appartient pas, comme la Russie appartient à Catherine 184; sa prochaine visite à Paris 189; son voyage aux Pays-Bas 191; son séjour à Spa et son entrevue avec le prince Henri: 192—196, 200, 204; sur son mal d'yeux 204 — 5, 261; il devrait relever la langue allemande 237; il possède plusieurs oeuvres de l'Imp. et est en correspondance suivie avec elle 193, 199; nouvelle de sa mort 437; sur le titre de baron, accordé à G. 797. Ment.: 35, 113, 120, 195, 263, 267, 301, 356, 366, 426, 534, 536, 578.
Jourdan, maréchal de France. Sur la guerre austro-prussienne contre la Fran-

ce 481; sur le secours à lui porter 804, 806. Ment.: 789.

JUIGNÉ, marquis de, ministre plénipotentiaire et ambassadeur de France à la cour de Russie. Sa caractéristique faite par G. 142; il désire entrer au service russe, 546; envoi de sa lettre, 813; 183.

JULES CÉSAR, 30, 217, 275, 277, 397, 780.

JULIANE, Henriette Ulrique, princesse de Saxe-Cobourg, fiancée, puis épouse du g.-duc Constantin, sous le nom de G.-D. Anna Feodorovna. Lettre de son père pour la recommander à la bienveillance des parents de son fiancé 661; nouvelle de son accession à l'église grecque et de son mariage 679. Ment.: 682, 696, 707, 742.

JULIEN, empereur romain. 397, 410.

JUNON, déesse mythologique 29, 128.

JUPITER, dieu mythologique 209, 350.

JUSSUF-PACHA, commendant en chef de l'armée turque. 434.

KALKREUTH, comte de, général prussien. Il reçoit à dîner les commissaires républicains 552; les protège à Francfort 553.

KAMENSKI, comte, Michel Fedotovitsch, général. Sur ses relations avec l'artiste Chédrine 256, 282, 283.

KARL THÉODOR, électeur Palatin. Sur sa politique hostile aux autrichiens 652.

KATAU, fils de M^me^ de Bueil et filleul de l'Imp. Ment: 372, 421, 431, 434, 548, 574, 692, 734; il faut le placer à l'école 457; il s'y trouve 520, 568.

KATINKA, fille de M^me^ de Bueil (Emilie de Belsunce) et filleule de l'Imp. et du G.-D. Alexandre. Ment: 372, 374, 386, 421, 423, 431, 434, 475, 493, 520, 528, 535, 548, 568, 574, 615, 645, 649, 672, 674, 692, 708, 711, 725, 734, 745—6, 762, 784, 808.

KAUFMANN, Angelica, peintre. Ses lettres à G. 622.

KAUNITZ, Rietberg, prince Wenceslas Antoine, chancelier autrichien. Sur une lettre qu'il avait écrite à Grimm 95; sur la porcelaine qu'il destinait à l'Imp. 623. Ment: 78, 446.

KELCHEN, Jean Zakharievitch, chirurgien du grand-duc Paul Petrovitch. 10, 14, 191, 205, 270, 309.

KNIGGE, baron de, écrivain allemand, un des patriarches des illuminés, qui écrivait sous le pseudonime de Philo. Sur ses écrits 493, 527, 531.

KNOBLAUCH, Hermann-Karl, professeur de physique à Halle. 619.

KOCH. Il protège Grimm 781, 783.

KOCKERITZ, général-major, Karl Léopold; son influence sur le pr. royal de Prusse 610.

KOLICHKINE, courrier; apporte à G. une lettre de l'Imp. 794; il reçoit de l'argent de G. 803. Ment: 798, 802, 807.

KOLITSCHEV, Stépane Alexeievitch, ministre russe à Berlin. Sur la notification qu'il fit à la cour de Berlin 806.

KOSCIUSKO, héros de l'insurrection polonaise de 1794. Sur ses relations avec l'Angleterre 585, 595.

KOTCHOUBEY, Victor Pavlovitch. Son éloge 313.

KOTZEBUE, Aug. Fréd. Ferdinand de, écrivain allemand, qui a longtemps servi en Russie. G. envoie à l'Imp. sa lettre et demande pour lui une prolongation de congé 404; implore la protection de l'Imp. auprès du sénat 424; sa reconnaissance 432.

KOUTOUZOV, prince Michel Ilarionovitch, général, puis feldmaréchal russe. Sur son entrée à Constantinople en qualité d'ambassadeur 502; sur l'éclat et la pompe qu'il y déploie 535. Ment: 514, 558.

KOUZMINE, Serge Matveievitch, secrétaire de l'Impératrice, 45.

KRUSE, Alexandre Ivanovitch, vice-amiral; 244, 404, 420.
KRUSE, Charles Fedorovitch, médecin de l'Imp. Amitié de G. pour lui 244; ment: 214.

LACHAUD, abbé de. 355.
LA FAYETTE, Gilbert Motier, marquis de. Sur la probabilité de l'ingratitude du peuple envers lui 379, 417.
LA HARPE, Fréd. César, Français de la Suisse, précepteur de l'Emp. Alexandre I. Sur la nouvelle de son invitation à Pétersbourg 38, Une lettre de lui à G. 210, m. 308.
LA HARPE, Jean François de, critique et polygraphe français. Ment: 23, 36, 225, 275. Prend part à la séance de l'Acad. franç. en l'honneur de leurs Alt. Imp. 217.
LAMBALLE, princesse de. Une aventure de bal chez elle 317.
LAMBERT, marquis de, émigré, reçu au service russe en qualité de général. Son arrivée à Gotha 547; son accident et l'entrevue de G. avec lui 547—49; rendra compte de l'état des choses dans l'armée austro-prussienne 554; un paquet de G. pour lui 627, 635.
LAMBERTYE, M^me^ de. Elle et sa famille reçoivent des secours de la caisse des émigrés 774.
LAMBESC 549.
LAMETH, Charles, député des états-généraux et de la Constituante, qui se rendit célèbre par sa modération. 409.
LAMETH, les 417, 443.
LANDRIANI, comte de, diplomate autrichien. Il est envoyé à Mayence pour porter l'électeur à renoncer à sa dignité 492.
LANSKOÏ, Alexandre Dmitrievitch, général, favori de l'Imp. Il envoie un portrait de l'Imp. à G. 215, 265. Promet et puis envoie celui des jeunes princes 225, 322. Demande à G. un confiseur, 234, un portrait de l'Imp. d'après Greuze 323; sur l'affaire Lehnchen 224, 244, 254, 270; ses grandes qualités 266, sa maladie: 333. Ment: 268, 308, 335, 337, 551.
LANSKOÏ, Basile Dmitrievitch, frère du favori, m. 254, 308.
LANSKOÏ, M-rs, le frère et le cousin du favori, Sur leur voyage et les sommes qui leurs furent délivrées 218, 254. M. 308.
LAROCHE-AYMON, émigré français 686.
LAS-CASAS, voir Casas.
LASCY, François Maurice, comte de, ambassadeur d'Espagne à la cour de Russie, remplacé par le marquis de la Torres. 142.
LASCY, Maurice de, feldmaréchal autrichien. 545, 596.
LAUDON, Gédéon Ernest, baron, généralissime des armées autrichiennes, 630.
LAVATER, Kaspar, écrivain suisse 275, 473, 501, 657.
LAVROV, courrier. 349.
LEBRUN, Charles, célèbre peintre. 665.
LEBRUN, M^me^, née Vigée, célèbre peintre portraitiste et écrivain. Sur son article et son départ de Paris 402; sur ses portraits des gr.-duchesses 623, 650.
LÉDA, déesse mythologique 290.
LE FORT, baron. Sa requête à l'Imp. 287; sur sa mort 338.
LEHNCHEN, une jeune personne de Dresde qui n'est pas autrement nommée par Grimm. L'arrêt définitif, sage et juste sur son cas 210; inconvénient de garder un lutin comme elle 226; elle avait été surveillée par la police 227; il lui est constitué une rente viagère de 2 m. r. 243; elle ne la touchera que l'année suivante 244; son roman et le rôle de G. sont finis 254; elle ne peut prononcer le nom de Lanskoï sans larmes 255. Ment: 270, 299, 336.
LEHOC, représentant de la république franç. à Stockholm. Menace de la cessation des subsides à la Suède 706.
LEHRBACH, François Sigismond, comte de; c'est un honnête homme, dont l'influence

pourrait être utile à François II 516, 614; bruit de son envoi à Berlin 555. On le tient éloigné des affaires 654.

Lenz, Jacques Michel, dramaturge livonien 309.

Léon, sire, G., suivant l'exemple de l'Imp., appelait ainsi L. A. Narischkine, le grand écuyer.

Léopold II, empereur du Saint-Empire Romain. Sur le bruit de sa maladie, 205; sur le traité de Reichenbach: 369, 445. Sur son couronnement: 370, 386; sur l'audience à G. 379, 392, 536; il est menacé d'une guerre 420; il est très pacifique 437, 439; sur les difficultés en Hongrie 444; il fera une paix particulière avec la Porte 445; intrigues de Herzberg contre lui 453, 418. Ment: 228, 257, 380, 391, 408, 443, 492.

Léopold Frédéric François, prince d'Anhalt-Dessau. Il obéit en tout à la cour de Berlin 791.

Le-Paon, Louis, peintre-bataliste; G. propose à l'Imp. de lui faire peindre les épisodes les plus marquants de la guerre russo-turque 158.

Lévachev 363.

Levchine, mademoiselle de, 28.

Lexell, Anders-Iohan, matématicien et astronome finnois, professeur et membre de l'Académie des sciences à Pétersbourg. 342.

Lichtenstein, prince de, 193.

Ligne, Charles Joseph, prince de, général autrichien, célèbre guerrier et écrivain, honoré de l'amitié de Catherine II. Opinion de G. sur son livre. 160; sur son indiscrétion: 398—9, 405. Ment: 361, 375.

Lippert, Philippe Daniel, artiste- mouleur. 200, 243.

Liston, ambassadeur d'Angleterre à la Porte. Il a trahi Elliot et serait capable de se laisser acheter 516—17, 533.

Litvinov, officier russe 19.

Livio, frères et Co., banquiers. 519, 813.

Lobkowitz prince de. A été pendant longtemps ambassadeur de l'Autriche en Russie. Sur sa conversation avec Grimm 96, 107,

Lohmann. G. envoie un paquet avec lui 167, 169, 172.

Lolotte, M^lle Bassevitz; sur ses relations avec Kaunitz et son mariage 623—4.

Loménie, Etienne-Charles, comte de Brienne, archevêque de Toulouse, ministre de Louis XVI. 506.

Longin, Cassius, rhéteur grec, 580.

Loss, comte de, minisire saxon. Ment: 600; quoique le connaissant peu, G. va lui écrire 657; lettre de G. 666—7; il accomplit sa demande 685; G. l'en remercie par une lettre 782.

Loth, patriarche, 333.

Louborough, lord, ministre anglais. Son funeste conseil 466; son influence en Allemagne 532; il faut le gagner 593.

Louis, saint, ordre français, institué par Louis XIV. 364, 720.

Louis, prince d'Anhalt-Coethen. 657, 745.

Louis, prince de Hohenzollern, fils du pr. Ferd. de Prusse. Sa caractéristique 553, 554; son retour de l'armée 558.

Louis, prince de Prusse, fils de Fréd. Guillaume II; il est bien de figure, mais ne promet pas beaucoup 526. Ment: 525, 546.

Louis, prince de Saxe-Cobourg, fils cadet du duc Ernst Frédéric. Sur sa blessure légère et sa jubilation forcée 742.

Louis IX, landgrave de Hesse-Darmstadt. 751.

Louis XIV, roi de France. 224, 479, 614, 664—5.

Louis XV, roi de France, 40, 92, 99, 128, 243, 259, 503, 505, 520.

Louis XVI, roi de France, 51, 74, 77, 80, 83, 111, 139, 223, 239, 241, 243, 247, 270, 284, 299, 301, 312, 314, 317, 337, 339, 350, 374, 390, 426, 467, 473, 479, 492, 505, 557, 562, 567, 654, 729, 768; sur la suppression

des bénéfices 92; sur la nomination de différents ministres, 122; il est instruit du cadeau fait par l'Imp. aux époux Vergennes 131; vraisemblablement ne touchera jamais aux rentes viagères 112; vend à prix très-modéré des gobelins à Paul Petrovitch 219; l'amour du peuple pour lui 225; dîner à l'hôtel de ville 226; il est trop faible, ne veut pas sauver la France 389; il aurait pu prévenir la révolution 395; il fut aimé du peuple dans le commencement de son règne 458, 538; sur son supplice 459, 552, 722; promesse prise à sa fille 710.

Louis XVII. Voir Dauphin.

Louis XVIII, roi de France. La conduite des puissances envers lui 616, 654, 709, 716, 733, 737, 740, 757, 765, 768, 790—2, 800; il sollicite la protection de l'Imp. 766, 790; sur l'attentat contre sa vie 767; son mot sur G. 769; envoi des dépêches à la cour de Russie, son mémoire 803; absence de réponse de Pétersbourg 803, 806; sur les passe-ports aux Français qui voulaient passer en Russie 763, 776, 769; ment: 771, 802, 807, 809.

Louise, princesse, fille du pr. Ferdinand de Prusse. Sur son mariage avec le pr. Radziwill 612, 623.

Louise Amélie, princesse de Mecklenbourg-Strelitz, épouse de Fréd.-Guil., célèbre reine Louise de Prusse. Sa visite á Gotha et sa beauté 525.

Louise Charlotte Frédérique, princesse d'Anhalt-Coethen. Ses intrigues contre son fils 745.

Louise, duchesse de Mecklembourg-Schwérin de. Son séjour à Paris, 301; demande un cordon d'Alexandre-Nevski pour son cousin, 338; sur le projet du mariage de Gustave IV, 707—8, 725.

Louise, princesse de Prusse, épouse du pr. Ferd. et mère du pr. Louis; 553, sa lettre est interceptée et imprimée 554.

Louvois, François-Michel Letellier, marquis de, célèbre ministre de Louis XIV. 369.

Lubersac, abbé de 268, 336.

Luc, saint. 265.

Luc, nom supposé, par lequel est probablement désigné Lucchesini. 441.

Lucchesini, Jérôme, marquis de, Italien, diplomate au service prussien. Il est partisan d'une coalition contre la Russie 437. Sur un de ses articles 509; bruit de sa négociation à Vienne 512, 615; son influeuce héfaste sur les actions de l'armée et sur le roi 554, 597. Ment: 438, 496, 534, 557, 609.

Lucifer, 165, 390, 548, 578.

Luques, un nom évidemment supposé, sous lequel est entendu probablement Lucchesini 522.

Luxembourg, la maréchale de; son bon-mot 309.

Macarthy, 362.

Machkov, officier russe, 372, 382, 384, 392, 413, 418, 421, 424.

Mack, Charles, baron de, général autrichien. Sur la guerre austro-prussienne contre la France, 481, 749.

Madalinsky, Antoine, général polonais. Les vue de la Prusse sur lui, 615.

Madelbine Wilhelmine, princesse de Bade 661.

Magdebourg, prevôt de, 611.

Mahomet, 412.

Maleden, officier français. Il doit partir pour Pétersbourg comme courrier de Louis XVIII, 768; il vient chez G. 791, 770, 792.

Malighine, officier russe. Apporte une lettre de l'Imp. à G. 579, 634.

Mamonov-Dmitriev, Alexandre Matveievitch, favori de l'Imp. Un livre et une lettre pour lui envoyés par G. à l'Imp. 351—2, 359, 361.

Manfredini, ministre toscan. Il est compromis comme sympathisant aux idées révolutionaires, 467.

MANITCHAROV, officier russe. Apporte une lettre de l'Imp. à G. et est retenu par lui, 701; la raison de ce retard, 704; il trouve G. malade 702; son départ, 708—9; 711, 719, 732.

MANSFIELD, comte de, membre du cabinet anglais. Il est le seul qui se connaisse en affaires, 587; il aime l'Autriche, a de l'inclination pour la Russie, hait la Prusse 588.

MANSTEIN, Ernst Sébastien, général prussien, 510, 554, 557.

MARAT, Jean-Paul, célèbre démagogue, 549.

MARC, Saint-, nom d'un vaisseau russe.

MARC-AURÈLE, empereur romain, 213, 680.

MARCEL, danseur du temps de Louis XV, 479.

MARCHAIS, Antoinette Marguerite. G. implore pour elle les secours de l'Imp. 636—640; sur la protection que l'Imp. lui a accordée, 697, 669, 704; sur son voyage à Carlsbad, 738—9, 748, 770, 790.

MARCOLINI, ministre saxon, 381; haine de Herzberg pour lui, 407.

MARÉCHAL DE LA NOBLESSE DU GOUV. DE PÉTERSBOURG. Voir Galitsine, pr. Nic. Mikh.

MARIA, Donna. Voir Marie I, reine de Portugal.

MARIA FEODOROVNA, épouse de Paul I. 38, 268, 301, 314, 352, 372, 498, 659, 661; sur son voyage, 197, 205; comtesse d'Orient serait plus juste que comtesse du Nord, 212; séjour à Paris: 214 216, 219—224, 226, 239; elle s'est attiré tous les coeurs à Paris: 220, 223; elle fait pour le dauphin un habit russe, 226, 302; sur sa miniature et sa toilette de Sèvres, 240; son amabilité envers Clérisseau, 285; la sévérité de ses principes, 631; sur la naissance du G.-D. Nicolas 761.

MARIA Pavlovna, grande-duchesse; sur sa grâce ravissante, 650, 734.

MARIE ADELAÏDE, reine de Sardaigne, 334.

MARIE ANTOINETTE, reine de France. On lui confie le secret des bienfaits de l'Imp. pour Sedaine 72; ses billets à Maria Feodorovna, 221; dîner à l'Hôtel de ville 229; dîner à Trianon 217; ses bontés particulières pour les dames russes 303, 317; sa triste position 373, 458—9, 483; son émotion 397; sur son supplice, 486, 496, 552, 722; promesse prise à sa fille, 710; 158, 223, 301, 302, 304, 502, 505, 516, 557, 567, 576, 631.

MARIE LOUISE d'Espagne, épouse de Léopold II, gr.-duch. de Toscane, puis impératrice romaine, 251.

MARIE I, reine de Portugal. Sur sa politique: 232, 207.

MARIE (Sainte-Vierge) 383.

MARIE THÉRÈSE, impératrice du St. Empire Romain, 86, 103, 114, 170, 189; sa mort, 126; son deuil à la cour, 131; son édit, 103.

MARIE THÉRÈSE-CHARLOTTE de France, fille de Louis XVI et épouse du duc d'Angoulême. Sur ses qualités, 576; elle doit être livrée à la cour de Vienne 654—5; sa promesse de mariage, 710, 577.

MARIE THÉRÈSE DE NAPLES, épouse de François II; son influence sur l'emp., son époux, 644.

MARIE THÉRÈSE, ordre autrichien, institué par Marie-Thérèse, 630.

MARK, Auguste, comte de la, 716.

MARKOV, Arkadii Ivanovitch, membre au collége des affaires étrangères; sur sa joie supposée de ce que la Prusse va à sa perte, 593; 573.

MARON, Teresina, soeur de Mengs, peintre miniaturiste; envoi de ses miniatures, 116, 207, 546, 630; acquisition et envoi de deux grands tableaux, peints par elle, 491, 519, 524; sur sa position pénible, 621; demande d'une pension, que l'Imp. lui accorde 739, 799; 61, 91, 198, 340, 402.

MARS, dieu mythologique, 582.

MARSAN, comtesse de, émigrée. Elle est accueillie par le duc de Brunswick, 757.
MARTANGE, 364.
MARTHE, soeur de Marie (Bible) 328.
MARTIN LUTHER, 224, 292, 358.
MARTINELLI, peintre-restaurateur 117, 207.
MASSOW, Joachim Ewald, ministre prussien sous Frédéric II, Sa conversation avec Fréd. II. 604.
MASSOW, Eberhard Julius, maréchal de la cour, fils du précédent. Son influence sur le pr. royal de Prusse, 610.
MATHIEV, Siméon, prêtre, 242.
MATHUSALEM, patriarche, 604.
MAUBEUGE, chanoinesse (Mme de Belsunce). Sur sa position 801; G. prie l'Imp. d'exiger de l'Angleterre une pension pour elle, 802.
MAUREPAS, Jean Frédéric Philippeaux, comte de, président du conseil d'état, 77, 122, 306, 687.
MAXIMILIEN FRANÇOIS XAVIER, électeur de Cologne; sur la politique de la Saxe, 792.
MAYEL, archiduc, frère de Joseph II; sa famille le destine à l'état écclésiastique, 99.
MECKLEMBOURG, maison régnante, 495.
MECKLEMBOURG-SCHWÉRIN, duchesse de. Voir Louise duch. de Meck.-Schw.
MECKLEMBOURG-SCHWÉRIN, prince héréditaire de. Voir Frédéric-François.
MECKLEMBOURG-STRÉLITZ, duc de. Voir Charles-Louis-Frédéric.
MECKLEMBOURG-STRÉLITZ, princesse. Voir Frédérique Louise Caroline.
MÉDÉE, héroïne mythologique, 507.
MÉGÈRE, déesse mythologique, 506.
MEILHAN, voir Sénac de Meilhan.
MEININGEN, duc de Saxe-; voir Ernest-Louis.
MEISTER, Léonhard, écrivain suisse. Il reçoit une médaille et envoie une de ses ouvrages à l'Imp. 352; projet de la traduction des contes de l'Imp. 374.
MEISTER, secrétaire de Grimm 120; reçoit une lettre concernant la fortune de G. 515.
MÉLISSINO, Ivan Ivanovitsh, curateur de l'université de Moscou. Sur son séjour à Paris, 160.
MELON, voyageur français, ses recits sur Pétersbourg, 292.
MEMNON II, nom que se donne G.
MENGS, Antoine Raphaël, peintre. Nouvelle de sa mort, 54, 55; sur le paiement de sa dette par ses héritiers, 63; sur les objets d'art achetés par l'Impératrice à la vente de ses collections, 89, 90; sur l'envoi de ces objets, 111, 116; sur l'acquisition de ses dessins, 137; 188, 471, 524, 574, 621.
«MENCHIKOV», titre d'une pièce de La Harpe jouée au théâtre de la cour à Pétersbourg, 38.
MERCHI PELGIER; il passe à Gotha en se donnant pour courrier russe, 521.
MESTMACHER, Ivan, ministre de Russie à Dresde; sur ses affaires et la bonté de l'Imp. pour lui, 626; il appuie infructueusement Louis XVIII: auprès de la Saxe, 766, d'Anhalt 791; il reçoit l'ordre de lui procurer un asile à Zerbst, 807; sur les passe-ports aux émigrés, 779; G. va chez lui faire son apprentissage d'agent diplomatique 797.
METASTASIO, célèbre poète italien du XVII siècle. Sur la souscription à ses oeuvres, 84, 85, 116, 120, 164, 249.
METTERNICH-Winneburg, Clemens Wenzel Nepomuk, prince de, célèbre diplomate autrichien. Il est envoyé à Londres, 716.
MEUCCI, Antonio, peintre, 489.
MEZENTSOV. Il arrive en Allemagne pour notifier les fiançailles du G.-D. Constantin, 697, 701; il a tant plu à la cour de Cobourg qu'on l'y a retenu longtemps, 719, 732; 711, 735, 737.
MIATLEV, Pierre Vassilievitch, 82.
MICHEL-ANGE, célèbre peintre, 74.
MICHEL, médecin-paysan suisse, que le prince Orlov avait consulté, 131.

Michel-Saint, tableau de Teresina Maron 402.
Miklaschevski, courrier russe, 214.
Miller, chevalier; sur les rouets de son invention: 120, 135, 334; sur la manière de le récompenser, 219; sur le commerce direct avec la Sardaigne, 241, 273.
Millioti, brocanteur italien, 355.
Minerve, déesse mythologique, 29, 335, 358, 372.
Minerve du Nord, nom que Grimm donne souvent à l'Impératrice.
Minos, roi de Crète, 415.
Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, comte de, le plus grand orateur de la révolution française; sa maladie 413; opinion de G. sur lui 417; G. ne veut pas vivre dans une rue, portant le nom de M. 418; 388, 393, 506, 716.
Mirabeau, Victor Riquetti, marquis de, économiste, auteur de plusieurs ouvrages très-connues, dont le plus en vogue fut «L'ami des hommes»; 103.
Mirabeaus, les, 437.
Miremont, Mme de. Sur la dédicace de son ouvrage à l'Imp. 773.
Moellendorf, Henri, comte de, feldmaréchal prussien. Il prend le commandement après le duc de Brunswick et est mécontent de l'état qu'il trouve, 540; il reçoit et fait escorter triomphalement les commissaires républicains 552; sa rigidité sur la tenue d'ordonnance, 558.
Moheau, auteur d'un livre sur la population de France, 145.
Moïse, prophète, 319, 653.
Moltreck, capitaine, officier russe, 490.
Montbard, éditeur à Paris, 86.
Montbarey, de, ministre, 364.
Montemurli, 171. 246.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, célèbre écrivain et savant français, 234, 303, 500, 560, 641.
Montmorin-Saint-Hérem, Armand Marc, comte de. Ministre des affaires étrangères à l'ouverture des états-généraux. Témoigne beaucoup d'amitié à G. 365; sa position est chancelante, 401.
Montribloud. Sur son offre d'acheter une collection de tableaux 252, 337.
Montyon, baron de, fondateur du célèbre prix de vertu, 145, 200; sur un prix d'académie fondé par lui, 309.
Moreau, graveur. Entreprend l'édition de Voltaire avec gravures, 169; son édition n'aura rien de commun avec celle de Kehl, 172, 207; G. y souscrit, 267.
Mortemar, duc de, émigré, commandant d'un régiment de Condé, 583.
Mouchy, maréchal, duc de, 576.
Moulovski, capitaine de vaisseau. Vient de Livourne, en passant par Paris, pour voir et étudier le port de Brest, 141; G. lui confie un paquet pour l'Imp. 142, 151.
Mouradja Osshon, 803.
Moustaz Koulikan, 700.
Mufti, le; 304.
Muller, un agent diplomatique autrichien, 716.

Naples, roi de, ou roi Napolitain, ou encore cousin de Naples—voir Ferdinand I.
Nardini, violoniste, 52.
Nassau, Jean Maurice, prince de. Il a épousé madame Godska après son divorce, 157; mande la prise d'Otchakov, 353; son départ pour l'armée de Potemkine, 361; il cause un désagrément à G. 368—9; 364, 366, 407, 431, 433, 455.
Necker, Jacques, célèbre ministre sous Louis XVI; il envoie à G. son livre avec un billet, 134; G. envoie à l'Imp. son célèbre compte-rendu, 139, 348; sur sa rigidité outrée, 140; sa retraite et sa maladie, 180; envoi de sa lettre, 201, 545; sa démisstion, 379; ses fautes, 395; 92, 93, 122, 210, 264, 277, 297, 417, 599, 687.
Necker, madame, femme du ministre, 144, 220.
Nesselrode, Guillaume, comte de, est reçu

au service de Russie, 25; 87, 436, 574.
Neubaum, banquier, 285, 289.
Newton, Isaac, illustre savant anglais, 246.
Nicolaï, Frédéric Christian, romaniste et journaliste allemand. Il examine les objets d'art, offerts à l'Imp. 228; sur son journal édité à Berlin, 238.
Nicolas Pavlovitch, grand-duc, dans la suite emp. Nicolas I. Sur sa naissance et sa taille extraordinnaire, 761.
Nicolas, saint. Voir Romantsov, comte Nicolaï Petrovitch.
Ninette, un ballet, 217.
Nitteti, opéra, 23, 96.
Nivelon, danseur, 185.
Nivernais, duc de, ambassadeur de France à Londres. Une anecdote sur lui, 501.
Noailles, maréchal, duc de, 80, 142, 183.
Noé, patriarche, 717.
Noé, remet une caisse à G. 337.
Nolken, officier russe; 570, 572, 768; il s'acquitte parfaitement de toutes les missions confiées par G. 769; apporte une missive de l'Imp. 776, 778, 783; G. l'envoi chez Louis XVIII, 790; il le garde à la prière de celui-ci, 792, 802; sur ses occupation astronomiques, 803, 807, 811; son départ prochain, 809.
Nord, comte du, voir Paul Petrovitch.
Nord, comtesse du, voir Maria Feodorovna.
Nymphes, les trois, 668; il est question ici des princesses allemandes, invitées à la cour de Russie pour choisir parmi elles une épouse au Gr. D. Constantin.

Oberndorf, François Albert, baron de, ministre du Palatinat; sur la prise de Manheim, 652.
Oels, comte de, nom sous lequel le prince Henri avait séjourné à Spa.
Offélize, comte d', 364.
Olaus, courrier impérial russe 87, 88, 89, 418; G. est perplexe sur l'orthographe de ce nom 413, 424.
Olavidès, Antoine Joseph, intendant de Séville, qui fut accusé d'hérésie et enfermé par l'inquisition; sur cette affaire, 27; son arrivée à Paris, 183; son récit sur sa visite à Ferney, 198; il demande la copie du passage de la lettre de l'Imp. qui le concerne, 211; envoi de son portrait, 219; sur ses pertes de fortune 311, 331.
Oldenbourg duc d'; voir George, duc d'Oldenbourg.
Olibrius, 624.
Olivades. Voir Olavides,
Olsoufiev, Adam Vassilievitch, sénateur. Grimm le nomme archange de l'Imp. 19; voudra peut-être faire un cadeau à l'Imp. 94, 109, 199; G. attend de lui la dernière décision sur les acquisitions 111, 267.
Olympe, séjour des dieux mythologiques, 93.
Orange, famille d', 610.
Orange, princesse d'. Voir Frédérique-Sophie.
Oreste, héros de la mythologie grecque. 13, 67.
Orléans, duchesse d'; voir duchesse de Chartres.
Orléans, mademoiselle d', fille aînée de Philippe Egalité. 70, 506.
Orléans, Louis Philippe, duc de, gouverneur du Daufiné; sur l'acquisition de sa collection de pierres gravées: 89, 361; G. place chez lui son capital, 298; sur son caractère 503—4.
Orléans, Louis Philippe Joseph, duc de (Philippe Egalité), fils du précédent; sur sa mort: 502, 506; sur sa liaison avec M^me^ Genlis, 504 — 507; sur son caractère, 504; 353.
Orlov, Alexis Grigoriévitch, comte. Il protège Corilla 52; s'arrêtait toujours à Géra, 190; vient à la rencontre de son frère, 200; une lettre de Corilla, 352.
Orlov, comte Ivan Grégoriévitch, 200.
Orlov, Ecathérina Nicolaïevna princesse; sur son désir de devenir mère 123, 130, 176.

Orlov, prince Gregoire Grigoriévitch, grand-maître d'artillerie, favori de Catherine II; la joie que causera à G. son arrivée à Paris, 115; George III le rencontre à Spa, 123; son séjour à Paris, 130; sa faiblesse pour les médecins charlatans 123, 131, 176; son retour en Russie, 200; sa maladie, 325; 45, 52, 119, 266, 270, 476, 573.

Osmond, successeur du c-te de Ségur au poste d'ambassadeur de France à la cour de Russie, 424; part pour Pétersbourg, 454.

Otto, général autrichien; sur sa disparition problématique, 597.

Ouchakov, Fedor Fedorovitch, contre-amiral. G. prie l'Imp. de lui faire des félicitations sur ses victoires, 375.

Oueng-Ouang, surnom que Catherine II se plaisait à donner à Grimm.

Ovide, poète latin, 155.

Ozane, abbé, émigré, pensionnaire de la caisse de l'Imp. 774.

Paisiello, compositeur italien, qui a été maître de chapelle à Pétersbourg. G. solicite pour lui une augmentation d'appointements et énumère ses qualités, 24. Sa lettre à Gr., 185. Reçoit un cadeau de G., 340; 43, 44, 79, 98, 108, 114, 154, 156, 164, 218, 222, 227, 248.

Palatin, électeur, voir Karl-Théodor.

Pallas, déesse mythologique, 582.

Panckoucke, libraire. Sur son édition des oeuvres de Voltaire, connue sous le nom d'édition de Kehl, 47—49.

Panine, comte Nikita Ivanovitch, ministre des affaires étrangères; 163, 474; doit avoir reçu un mémoire sur le commerce, 53; G. lui propose ses services pendant l'absence du ministre russe, 65; il envoie Tier en mission particulière, 126, son opinion sur les rois, 473.

Panini, peintre italien, 43.

Parques, les, 604, 689.

Parr, un des plus célèbres centenaires connus, 615.

Paul, apôtre, 105, 187, 674, 778.

Paul Petrovitch, grand-duc, fils de Catherine II, devenu après Empereur Paul I; 38, 92, 93, 98, 180, 227, 233, 240, 244, 252, 268, 280, 301, 303, 313, 315, 499, 659, 661, 693; sur son voyage, 197, 205; G. trouve le nom de comte du Nord peu satisfaisant, comte de l'Orient serait mieux, 212; séjour à Paris: 214, 216, 219—224, 235, 238, 239, 290; l'effet excellent produit par lui, 221; on le trouve mieux élevé que les princes français 305; son succès universel à la cour et à Paris, 223; il a été témoin d'un mouvement prouvant la popularité de Louis XVI, 225; son départ, 227; ses achats à Rome, 243; explication de son succès, 239; il va en Suisse, 261; envoi de ses effets, 274; son malentendu avec Clérisseau, 283—286; promet sa protection à le Fort 287; personne n'y pense en Allemagne, 640.

Pauli, M. M., H. F. et A. W., maison de banque à Lubeck, 41, 79, 81, 160, 177, 186.

Pavlov, courrier. Apporte une lettre de l'Imp. à G. 368, 373.

Pellerin, sur sa collection de médailles, 319.

Peredje-Chanum, princesse, 788.

Persée, voir Andromède et Persée.

Persico, un remarquable joueur au billard que G. avait connu à Paris, 786.

Petitot, peintre en émail, 350.

Philantropin de Dessau. Un établissement pour l'instruction des enfants, institué par Bazedow 28.

Philémon et Baucis, 349.

Philidor, François André, compositeur. Envoi de la partition de son opéra «Carmen saeculare», acheté par l'Impératrice pour 5 m. liv. 87; sa joie et sa requête, 88, 89; sur son opéra, 114, 151; sur une

partition, 153; sur la somme d'argent qu'il devait recevoir, 117; sur la mauvaise traduction de son opéra, 124; 231, 264, 338, 786.

Philo, voir Knigge.

Pichegru, Henri, général français; sur sa défaite, 52.

Pichler, artiste en camées, 228, 290.

Pie VI, pape. Il s' intéresse au travail des loges de Raphaël, dirigé par Reiffenstein, 42; l'état de sa santé, 53; sur l'audience à Reiffenstein, 98; il a de l'amitié pour l'Imp. 136; protège Miller, 137; appelle l'Imp. «viscere mie», 185, à propos des réformes de Joseph II, 160; il ferait bien de demander la médiation de l'Imp. 185 et d'écrire à Joseph II dans une langue qu'il ne connaît pas, 195; son voyage à Vienne, 205; il reconnaît le mariage du pr. de Wurtemberg 434; 230, 330, 336, 376, 454, 780.

Pierre, apôtre, 328.

Pierre le-Grand, Tsar et Empereur de toutes les Russies, 14, 251, 361, 520, 606—7, 743, 747; sur l'inauguration de son monument 264, 278, 280, 310.

Pierre, peintre français, membre de l'Académie impériale des beaux-arts, 51, 74.

Pierres, imprimeur 328, 329.

Pilat, Ponce, 760.

Pincé, 222. 237, 368.

Piron, écrivain français, 449.

Pitt, William, premier ministre anglais sur; sa politique antirusse, 419, 429, 439, 443; il est ambitieux, mais désintéressé, 533; la différence qu'il y a entre ses procédés et ceux de Catherine II. 541; il est protégé par la reine, 588; ce n'est que la nécessité qui l'a forcé à un rapprochement avec la Russie, 595; ses regrets tardifs probables, 723; 17, 514, 587, 591, 592, 644.

Platon, philosophe grec, 386.

Pline, historien latin, 168.

Plutarque, 149, 408; sur la traduction de ses oeuvres par l'Imp. 396, 401, 444, 499.

Poirier, sculpteur. Reçoit une médaille d'or, 19.

Poix, prince de, 317.

Poletika, Grégoire Ivanovitch, conseiller d'ambassade à Vienne, 84.

Polibine, capitaine de frégate russe, 121.

Polybe, historien grec, 401.

Pompadour, madame de, 37.

Pompignan, personnage d'une comédie, 127.

Portia, une statue achetée à Rome pour l'Imp., à qui elle fut portée par le p. Boriatinski, 98.

Potemkine, prince Tavritcheski, Grégoire Alexandrovitch, 256, 270, 360, 407, 433, 644, 653; sur ses qualités, 292; ses bontés pour G. 348, 354; G. lui recommande un ingénieur, 364; il avait promis une carte à Joseph II 366; sur son cantique à l'Imp. 383, 385; sur la traduction de son nom de Tavr. 423.

Potocka, comtesse polonaise, 16.

Potocki, Ignace, grand-maréchal de Lithuanie; sur ces relations avec l'Angleterre, 585, 596; 586.

Poussin, Nicolas, célèbre peintre, 86, 131, 209.

Povalichine, Larione Afanassiévitch, contre-amiral; sur la manière de mener la campagne navale, 420; 404.

Praskovia Andreïevna, voir princesse Galitsine.

Prévôt des marchands de Paris, 229.

Principati, personnage inconnue, à qui G. avait donné ce surnom. Il lui apporte une lettre de l'Imp. 126, 130—4, 151.

Prozorovsky, prince Alexandre Alexandrovitch, général. Grimm lui confie une lettre pour Kaunitz, 95.

Psyché, être mythologique, 623.

Puchelberg. G. demande pour lui une patente de consul, 163.

Pye, Rich et Wilkieson, maison de banque à Amsterdam, 138.

Quaglia. Il est auteur principal du projet de commerce direct entre la Russie et la Sardaigne et voudrait recevoir le poste d'ambassadeur à Pétersb. 273.

Quarenghi, Giacomo, architecte italien, qui a longtemps vécu à Pétersbourg et contribua beaucoup à son embellissement. Ses remerciements à G. 222. Ment: 57; 227, 302, 613, 622.

Rabelais, François, célèbre écrivain français du XVI siècle, 776, 796.

Racine, Jean, célèbre poète tragique français, 393.

Rackonitz, société agricole de — à Prague, 619.

Racle, architecte, 40, 42, 52.

Radziwill, perè et fils, sur leur prétention au trône de Pologne, 613.

Radziwill, prince Antoine, époux de la pr. Louise de Prusse; sur son mariage, 612, 614, 623.

Radziwill, prince Michel; sur la dot qu'il donne à son fils, 614.

Radziwill, princesse de, 614.

Raphaël, Sancio, 22, sur ses loges, que l'Impératrice fit copier pour son palais de Pétersbourg, 30, 34, 38, 54, 64, 119, 137, 173, 253, 360, 700; 74, 81, 243, 323.

Raymond et Théodore de Smeth, maison de banque à Amsterdam, 138, 163.

Raynal, abbé, historien. Envoi d'un de ses ouvrages à l'Impératrice, 82; 194, 215.

Razoumovski, comte Alexis Grégorievitch, grand-veneur, 93; sur sa promesse non accomplie au m-al Biron, 345.

Razoumovski, comte; les mesures qu'il devrait prendre, 644.

Razoumovski, comte Pierre Kirilovitch; sur le non-paiement de sa dette au m-al Biron 345.

Redern, comte de, ministre de Prusse à la cour de Saint-James. Il a des idées démocratiques, 418; 453.

Régent de France, Charles, comte de Provence; sur son prochain voyage, 515.

Reichard, compositeur allemand. Envoi de ses ouvrages à l'Imp. 464; demande d'un petit subside, 465.

Reiffenstein, connaisseur des antiquités, commissionnaire de la cour de Russie à Rome, que l'Impér. avait l'habitude de qualifier de «divin». Sur ses lettres et rapports à l'Impératrice, qu'il envoyait ordinairement par l'entremise de Grimm: 26, 30, 34, 42, 55—57, 68, 97, 120, 133, 135, 137, 161, 187, 201, 225, 228, 252, 266, 273, 283, 291, 402, 622; sur sa pension et les besoins de ses dépenses pour les travaux: 56—7, 83, 91, 138; 91, 61—64, 176, 177, 189, 198, 207, 334; sur la cherté des objets d'art à Rome, 165; sur sa mésaventure, 243; sur son honnêteté et sa candeur 254, 295—299, 519; sur sa mort 491, 523; son legs à l'Imp. 574.

Reims, archevêque de, émigré. Il est accueuilli par le duc de Brunswick, 757.

Reine Très-Fidèle, voir Marie I, reine de Portugal.

Reis-Effendy, 558.

Rembrandt, célèbre peintre, 158.

Reuss, Henri XIV, prince de. Sollicite des secours pour une ville incendiée, 190; on sollicite un cordon pour lui, 338; 516.

Reuterholm, Gustave-Adolphe, baron de, ministre suédois, 746.

Reynière, de la, 154, 285.

Reynolds, chevalier, 560.

Rhede, baron de, envoyé de Hollande à Berlin. C'est un homme de talent, 610; l'Imp. devrait le prendre à son service. 611.

Riancour, comte de, ambassadeur de Saxe à la diète de Francfort; sur sa dépêche, donnant la liste des affiliés secrets des jacobins, qui se trouvent auprès des différentes cours, 407.

Ribas, chevalier de, Napolitain, amiral au

service russe, marié à la fille de Betski, 310, 315, 316, 318, 324, 333.

Richard, horloger genevois. Il sert d'espon anglais à Berlin, 596, 611.

Richelieu, Armand Emmanuel, Du Plessis, duc de Richelieu (du vivant de son père de Fronsac); ministre français à la Restauration, il était au service russe d'abord comme général, puis comme gouverneur d'Odessa. Il regrette de n'avoir pas pu aller à Pétersb. 423; reçoit une croix de St.-George. 434.

Richmond, duc de, 200.

Riem, conseiller, 619.

Rietz, M^me^ de. Sur son influence à la cour de Berlin et l'avantage qu'on peut en tirer 609; 615.

Rieu, collectionneur et éditeur des oeuvres de Voltaire, dont il a fait l'édition la plus complette, 40, 41, 42, 52.

Rilliet, M^rs^, banquiers, 260.

Robert, peintre. Strogonov lui commande un tableau de la part de l'Imp., 456.

Robertson, William, historien anglais, 82.

Robespierre, Maximilien, 577, 636, 664, 730, 738, 772.

Robin, 177.

Robinet, peintre. L'Imp. avait acheté, sur la recommandation de G., six de ses tableaux, qui lui déplurent tous. Sur l'acquisition, l'envoi et le mauvais effet de ces tableaux, 45, 118, 146, 176, 179, 186, 197.

Roche, M^me^ de la. G. demande à l'Imp. du secours pour elle, 235, 335.

Roche, M. de la. Sa mésaventure au service de l'electeur de Trèves, 235.

Rochefoucault d'Enville, duchesse de, 313.

Rochelambert, M^me^ de la, émigrée. L'Imp. ordonne à G. de la trouver, 702; envoi du secours, 759.

Rochon, abbé, académicien; sur sa machine à imprimer, 314, 342.

Rodney, amiral anglais, 225, 345.

Roellig, maître de musique de Catherine II, 44, 45.

Rogerson, Ivan Samoïlovitch, médecin de l'Impératrice, 10, 14, 174, 191.

Rohan, sur la formation de sa légion, 801; 772.

Rolland de la Platière, Jean-Marie, ministre. Envoi de son livre, 342.

Rollin, aide-de-camp de François II. Il est soupçonné de jacobinisme 597, son influence sur le couple impérial, 644; son éloignement, 804.

Romantsov, comtesse Ecatherina Michaïlowna, épouse du maréchal, 693.

Romantsov (Roumiantsov), comte Nicolaï Petrovitch, ministre plénipotentiaire et envoyé de Russie à Francfort; G. le recommande pour remplacer le pr. Bariatinski à Paris 133; son faste et ses sucsès au couronnement de Léopold II, 375; son amour pour Zoubov, 401; envoi de sa lettre, 406; il projette avec G. l'édition d'une brochure, 416; écrit à G. 457, 464; il oublie une requête, 546; l'action d'un de ses gens à Francfort, 553; sur la mission auprès du prince royal de Prusse, 598; son départ pour Pétersbourg, 633; 645; il emporte une pancarte de G. 655, 660; G. prie l'Imp. de lui transmettre ses félicitations, 719; envoi d'une lettre du m-al de Castries pour lui, 737; il était la providence des émigrés, 771, 778; ses explications à Louis XVIII 807; il est chargé de trouver une place pour G. 794. M. 235, 348, 363, 369, 379, 381, 392, 408, 421, 425, 430, 459, 465, 489, 508, 514, 524, 530, 542, 559, 569, 583, 632, 655.

Romantsov, comte Serge Petrovitch, 196, 306; ses succès à la cour de Paris, 303.

Romantsov, comte Michel Petrovitch, 196, 339.

Romantsov, les comtes, 193, 301.

Romme, écrivain, 359.

Romulus et Remus, fondateurs de Rome, 233.
Röntgen, ébéniste mécanicien, 341; il appelle la Russie «le monde proprement dit», 671.
Rose, premier commis de la trésorerie anglaise. Sur son influence et la nécessité de le gagner, 587; 592.
Rosières, baron de, 792.
Roslein, peintre 154, 275.
Rotari, comte de, 277.
Rouillé, ministre de la marine sous Louis XV, 520.
Rousseau, Jean Jacques, 35, 224.
Rudenskiöld, Madeleine-Charlotte de. Sur la conduite du gouvernement de Suède à son égard, 747.
Rulhière, Claude Carloman, écrivain français; sur sa mort, 456.
Rzewuski, comte, 43.

Sachs, Hans, poète allemand, 541.
Sacken, baron, Karl, ministre russe à Copenhague, 216, 274.
Sahin-Guirai, khan de la Crimée, 78.
Saint-Prieste, chevalier de, 154.
Sainval, actrice, 244.
Salm-Kyrbourg, prince de; son caractère et sa mort, 664.
Salmour, comte de, ministre de Saxe à Paris. Sa maison et ses gens sont respectés par la populace, 516.
Salm-Salm, Emanuel, prince de; sa caractéristique, 664.
Salomon, roi (Bible). 161, 320, 586.
Sambucca, marquis della, 332.
Samoïlov, Alexandre Nicolaïevitch, procureur-général, 256, 476.
Samoïlovitch, docteur, 312—3; G. le recommande à l'Imp. 299, 300.
Sanadon, r. p. Il traduit pour G. un opéra de Philidor, 124.
Sancho-Pansa, personnage du «Don-Quichotte» 8, 42, 304, 387, 595, 687.
Sangouschko, prince, 157.
San-Nicola, duc de, ministre de Naples à Pétersbourg, 61, 62, 266; sur le désir de l'Imp. de le garder à Pétersbourg, 332.
Santini, Gaspard, commerçant et consul russe à Rome, 54, 83, 210, 218, 228, 242, 253, 403, 491, 523, 574; projet d'arrangement de la remise des fonds, 119; situation embarrassée de ses affaires, 137; G. lui ordonne de rendre ses comptes directement à Bezborodko 138; sur son projet de commerce direct entre la Russie et l'Italie, 163.
Santini, François, fils du précédent, commerçant; remplace son père, 622.
Sarasin, abbé, émigré, pensionnaire de la caisse de l'Imp. 774.
Sardaigne, reine de. Voir Marie-Adélaïde.
Sardaigne, roi de. Voir Charles-Emanuel.
Sartine, Gabriel de, ministre. Offre d'un tableau. 333.
Saxe-Cobourg, princesse de; voir Augusta.
Saxe-Gotha, duc de; voir Frédéric duc de Saxe-Gotha.
Saxe-Gotha, duchesse de; voir Charlotte.
Saxe-Weimar duc de; voir Charles-Auguste.
Scarnafis, comte de, ambassadeur de Sardaigne en France; sur le commerce direct entre la Sardaigne et la Russie, 208, 241, 273.
Scorodoumov, Gavril Ivanovitch, graveur russe, recommandé à l'Imp. par G. Il est nommé au service de la cour, 233. Préparatifs pour son départ et les achats à faire, 255, 294; fait un profil de l'Imp. 265, 323; 257, 277, 314, 342.
Schaden, Emile Auguste, théologue, professeur à l'univers. d'Erlangen; analyse de son projet sur les écoles, 100.
Schielden, baron de; son crédit auprès du pr. royal de Prusse, 610.
Schloesning, secrétaire de François II. Il est gravement compromis, 467.
Schnepfenthal, nom d'un pensionnat, ou était placé le fils de M^me^ de Bueil, 520.
Schoenberg (Schomberg) comte de, ambassadeur de Saxe à Francfort lors du couronnement de Léopold II. G. demande

pour lui le cordon de St.-André, 380; nouvelle de sa mort, 600; son sentiment sur l'Imp. 271, 405, ses épitres à G. 408—413; nouvelle de sa mort, 706; 380, 433.

Schouvalov, comtesse; voir princesse Galitsine.

Schouvalovs, les, 144, 189.

Schouvalov, Ivan Ivanovitch, grand chambellan. Il écrit à M^me^ Denis, 21; l'avance à Mengs est faite par son ordre, 55; M^me^ de Genlis s'adresse à lui, 70; sur l'exportation du cuivre comme moyen de relever le change, 139, 185; sur son érudition, 183; 86, 217, 227.

Schoulepov, officier russe. Apporte une lettre de l'Imp. à G. 732; sur la cause de son long retard, 758; 760, 765; reçoit une avance de G. 811.

Schulenbourg, comte de, ministre prussien; son opinion sur l'état de la Prusse, 434—5; il est supposé d'intriguer contre Bischofswerder, 516; il parle de paix, 545; ses entrevues secrètes avec les commissaires républicains, 552.

Schweizer, Charles, officier allemand, reçu au service russe, 433; son arrivée chez G. 508, 514, 522; 526.

Sebaldus Nothanker, le titre d'un roman satirique de Fr.-Chr. Nicolai, 307.

Secondat, monsieur, surnom que G. donnait à Paul Petrovitch.

Sedaine, Pierre, un dramaturge français. Grimm, sur l'ordre de l'Impératrice, lui commande une comédie, 34, 35; il fait son éloge et le recommande chaleureusement à Catherine II: 36—38; sur une lettre de l'Imp. à propos de sa pièce 74; encore une pièce de lui, 98, 143, 151, 182; sur sa reconnaissance à l'Imp. 72, 247; sa nomination 247, 252; adresse directement à l'Imp. l'offre de l'Acad. Royale d'Architect. à l'Acad. Imp. des Beaux-Arts, 312; m. 77.

Séguier, Antoine Louis, avocat général au grand conseil, 194.

Ségur, Louis Philippe, comte de, lieutenant général, ambassadeur de France à la cour de Russie. Ecrit à G. 367; il est nommé à l'ambas. de Rome, 424; 360, 454.

Ségur, comtesse de, épouse du précédent, 352.

Seidlitz, général prussien, 426.

Selim III, sultan, 501—2, 514, 582, 747.

Semonville, agent des jacobins, il est arrêté, 466; on trouve sur lui une liste des conjurés à l'étranger, 467.

Sénac de Meilhan, savant français, qui a aidé Yelaguine dans ses travaux historiques. Bruit de ce qu'il est reçu comme historiographe de Catherine II, 432; son séjour chez le prince Henri, 480, 560; les intrigues l'éloignent de Reinsberg, 685; sur sa brochure, 687.

Shakespeare, 37, 608.

Sheridan, Richard Brinslay, célèbre écrivain et grand orateur. Sur la nécessité pour la Russie de gagner les chefs de l'opposition, 533.

Sibylle, tableau du Dominichino, 198.

Sidre Yermolaïtch. Voir Charles, duc de Sudermanie.

Sieyès, abbé, célèbre homme d'état et écrivain français, 616.

Silhouette, Etienne, contrôleur des finances sous Louis XV. Sur son activité et sur la plaisanterie qui fit de son nom un nom commun, 503.

Siméon, saint, 385.

Simolin, Ivan Matvéievitch, ministre de Russie à Paris, 362, 369, 455.

Simonide, poète et philosophe grec, 731.

Sinclair, sir John, auteur d'un livre sur l'Ecosse 607.

Slitzov, capitaine du vaisseau «l'Evangéliste St. Marc» 91, 111, 116.

Smeth, de; voir Raymond et Théodore de Smeth.

Smirnov, aumônier de l'ambassade russe à Londres. Il pourrait traduire les livres et

les journaux anglais sur l'agriculture, 606—7.

Smith, officier de marine anglais. Il est envoyé à Constantinople pour aider à l'amélioration de la flotte, 595.

Smollett, Tobie, historien et romancier anglais, 608.

Solano, Joseph, 183.

Solon d'Allemagne, surnom que Souvorov avait donné à G.

Soltikov, comte de, 306, 310; sur son départ de Paris, 333.

Soltikov, comtesse de. Amabilité de Marie-Antoinette pour elle, 303; 196.

Soltikovs, les, 144.

Sombreuil, Charles de, émigré. 635.

Sophocle, grec, 168.

Southerland, Richard, baron, banquier de l'Imp. 138, 163, 210, 260, 300, 335, 359, 362, 392, 403.

Souvorov-Rymnikski, comte Alexandre Vassiliévitch, prince Italiski. La guerre contre la France prendrait une autre tournure, s'il commandait l'armée 500—1; son billet à G. 580—582; surnom qu'il lui donna, 630, 687; sur le mariage de sa fille, 641; sa frugalité et le surnom de gén. Vorwaerts que les allemands lui ont donné 660; il écrit au m-al de Clairfaix 666; sur son entrée en Allèmagne à la tête d'une armée de soixannte mille, 800; 385, 592, 643, 684, 711, 724, 780, 805.

Sozelière, de la, acteur, 244, 246.

Spartacus, voir Weishaupt.

Spencer, Henri, lord, ministre d'Angleterre à Berlin, 590; ses qualités 610; il est mal conseillé, 593; nouvelle de sa mort, 594, 616.

Spielmann, baron de, diplomate prussien. Il travaille au traité deReichenbach 445; gravement compromis et en général connu par ses idées quasi-révolutionnaires, 467.

Stackelberg, comte Otton Magnus; son arrivée à Paris 43, 464

Stackelberg, c-tesse de, demoiselle d'honneur, 408.

Staël-Holstein, Anne Louise Germaine Necker, baronne de, célèbre écrivain français, 641.

Staël-Holstein, baron de, ambassadeur de Suède en France, 641, 700, 803; sur son congé probable, 726; le gouvernement républicain désire qu'il reste, 747.

Stählin, Jacob, académicien 199.

Stanislas Auguste Poniatowsky, roi de Pologne; sur le traité avec la Russie, 497; 15, 548.

Stormond, vicomte de, 587.

Strekalov, Stépane Fedorovitch, secrétaire de l'Imp. Il remet à G. une lettre de l'Imp. 472, 518; 489.

Strogonov, comtesse Ecatherina Petrovna. épouse du c-te Al. Ser. 69.

Strogonov, le comte Alexandre Serguéiévitch, sénateur; son départ de Paris, 68, 70; 71, 86, 213, 318, 456.

Strogonovs, les, 144.

Styx, courrier russe. Apporte à G. une lettre de l'Imp. 319, 324, 326, 334, 337.

Suffren, bailli de, célèbre marin français, 364.

Sufren, vicomtesse de, prend part à la formation et à l'activité de la caisse des émigrés, 773, 775.

Suleau, un pamphlétiste français; envoi de sa brochure sur les principaux acteurs de la grande révolution, 417.

Sully, célèbre compagnon et ministre d'Henri IV, 219.

Syrach, sur sa brochure, 611.

Tacite, historien romatin, 189.

Talmont, abbé émigré. 545.

Tancrède, célèbre héros des croisades; G. donne ce nom au c-te V. Zoubov, 788.

Tantale, personnage mythologique, 361.

Tartuffe, personnage d'une comédie de Molière, 510.

Tasse, Torquato, 788.

Tassi, James, artiste mouleur, 243, 315.
Tchernichev, comte Ivan Gregoriévitch, vice-président du collége de la marine, 15, 45, 59, 310, 373; nouvelle de sa maladie, 531.
Tchernichevs, les, 144.
Tchitchagov, Vassili Iacovlévitch, amiral. Comment il doit, selon G., mener la campagne navale, 420; 404, 409.
Teissonière, chevalier de la, 86.
Télémaque, fils d'Ulysse. 479.
Tennare, chevalier, secrétaire d'ambassade espagnole à Berlin. Sur son hostilité à la Russie et son jacobinisme, 594.
Térentius, poète latin, 496.
Terray, abbé, ministre fameux sous Louis XV. 92, 93, 211, 599.
Terzy, baron de, général-feldmaréchal autrichien, 481, 134.
Tessecourt de, gentilhomme français, secouru de la caisse des émigrés, 772.
Tessé, comtesse de, 80.
Thalestris, reine mythologique, 171.
Thames, maison de banque à Moscou, 286.
Théodore, M^lle^, danseuse, 185.
Thier, pédagogue. Grimm reçoit de lui des nouvelles de la famille impériale, 39. Un mot de lui sur l'Imp. 113; son arrivée inopinée 125; 14, 89, 329, 388, 413.
Thomas Anderson, sir, appelé aussi sir Tom, ou sir Thomas, chien favori de Catherine II, 7, 12, 14, 79, 174, 240, 582, 693.
Thomas, poète français. Envoi de ses vers sur Pierre-le-Grand. 14.
Thomas II, surnom que Grimm se donne par plaisanterie, pour peindre son attachement sans bornes à l'Impératrice.
Thugut, Franz Maria, baron de, ministre des affaires étrangères en Autriche. On le croit porté pour la Convention, 596; sa politique ambiguë, 653; sa malhonnêteté 654—5; il veut l'éloignement de Louis XVIII de l'armée, 716, 733, 767; 514, 768.
Thümmel, baron de, auteur du roman «Wilhelmine», 307, 732; sur l'envoi de son livre, 630; il est envoyé vers G. 659.
Thurn, baron de. Apporte une instruction et un paquet à G. 374.
Tiesenhausen. Vient en Allemagne pour notifier le mariage du G.-D. Alexandre, 498; il rendra compte de l'état de l'armée autrichienne, 544; va en Al. notifier le mariage du G.-D. Constantin, 701; 514, 542, 545, 702, 712, 716, 718, 732, 754.
Titus, empereur romain, 677.
Todi, madame, cantatrice, 340.
Toll, général. Il est remis en liberté, grâce à l'influence de l'ambassadeur russe, 747.
Torre, marquis della, ministre d'Espagne à la cour de Russie, 142.
Toscane, grand-duc de. Voir Ferdinand III et Léopold.
Toscane, grande-duchesse de. Voir Marie Louise.
Touron, peintre, 277.
Tourton et Baur, maison de banque, 15.
Toutolmine, officier russe. Apporte à G. une lettre de l'Imp. avec une mission particulière, 358; cause de son retard, 360.
Traetta, compositeur italien, qui fut appelé à Pétersb. et y resta plusieurs années, 98, 154.
Trajane, colonne dont le dessin fut envoyé à l'Imp., 98.
Traversay, marquis de, capitaine de vaisseau; se rend à Pétersbourg, 455.
Trèves, électeur de, voir Clément-Venceslas.
Tristram Shandy, titre d'un roman de Sterne. 264.
Trombara, architecte italien, 57.
Tronchin des Délices; amateur d'arts à qui l'Imp. avait acheté une collection de tableaux; son avis sur le prix des livres, 40; ses lettres, 41; sur ses «Récréations» dramatiques, 71, 118; il reçoit une somme de 1500 roubles, 117; il collectionne un nouveau cabinet de tableaux, 119; en envoie un catalogue, 122;

n'offrait pas de vendre le second cabinet, 179; 27, 574.

TRONCHIN, Théodore, médecin de Grimm, 66, 126; il fait une saignée à G. 126; lui prescrit les eaux de Spa, 176, 262.

TRONCHINS, les, 58.

TRUBLET, abbé, écrivain et académicien, 716.

TSAREVITCH CHLOR, un conte de Catherine II, 221.

TURENNE, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de, célèbre général français, 468.

TURGOT, Robert-Jacques, baron de l'Aulne, célèbre ministre, 600, 687.

ULRIC, capitaine de navire, 339.

UNTERBERGER, Christophe, peintre qui a fait la copie des loges de Raphaël pour la cour de Russie; 61, 65, 173.

VAGNIÈRE, secrétaire de Voltaire. Pour le mettre à l'abrit du besoin, où il tomba après que les héritiers de Voltaire lui eussent retiré sa pension, l'Impératrice l'appela à Pétersbourg pour mettre en ordre la bibliothèque du philosophe, achetée par elle. Sur son voyage: 42, 43, 52; sur son récit du dernier voyage de Voltaire à Paris, 140; 94, 147; sur l'envoi de ses manuscrits, 168; envoi de ses lettres à l'Imp. 300, 346, 403; sur sa pension, 404, 574.

VALLIÈRE, duchesse de la, 352.

VALORI, marquis de, pensionnaire de la caisse des émigrés 775.

VAUBAN, comte de, officier français; désire entrer au service russe, 424.

VAUBAN, Sébastien Leprestre de, célèbre ingénieur, 353.

VAULX, chevalier des, officier d'artillerie française. G. le recommande à l'Imp. 363—4.

VÉRAC, M^r de, 184.

VERGENNES, Charles Gravier, comte de, ministre des affaires étrangères sous Louis XVI; sur l'envoi par l'Imp. de fourrures à sa femme, 131; il envoie une lettre à l'Imp. 132; ment: 65, 77, 79, 81, 93, 122, 144, 146, 154, 207, 223, 239, 345, 365; promet de protéger madame d'Epinay, 197; son enthousiasme pour leurs Alt. Imp., 221; sur sa participation à l'affaire Lenchen 255; affranchit des impôts de douane les effets, destinés à l'Imp. 339.

VERGENNES, comtesse de, épouse du précédent. L'Imp. lui envoie des fourrures, 131.

VEROSPI, palais Verospi, 59—60.

VESTRIS, célèbre danseur et compositeur de ballets, 185, 331, 479, 808.

VESTRIS, Auguste Allard, fils du précédent, danseur très connu, 185, 331.

VESTRIS, les; 331, 708.

VIAZEMSKI, Alexandre Alexandrovitch, procureur-général. Fait passer 40 m. l. à G. 85, 98; peut bien vouloir faire un cadeau à l'Imp. 94, 109, 199; c'est à lui à se prononcer sur l'acquisition des objets d'art: 111; il établit pour G. un crédit de 50 m. fl. 163, 177; il s'épouvente des dépenses énormes sur les objets d'art: 164, 173; chaque demande d'argent lui cause des étouffements, 260, 335, 337; le crédit est épuisé, 294; son discours au sénat, 475; il était excellent comptable, 517; 178, 188, 273, 299, 313.

VIAZEMSKI, prince; son arrivée à Gotha, 457, 459.

VICTOR AMÉDÉE III, roi de Sardaigne; sur son traité avec la république franç., 715; 716.

VIEIL ENFANT (c'est D'Alembert qui est désigné ainsi), 108.

VILLEQUIER, duc de; travaille à la formation et à l'activité de la caisse des émigrés, 773.

VILLETTE, M^me de, surnommée par Voltaire belle et bonne, 39.

VINCENT, aide-de-camp de François II, il remplace Rollin, 805.

Viomenil, officier français, désirant entrer au service russe, 424.
Virgile, poète romatin, 408.
Vitry, chevalier de, émigré; il se rend en Russie, 764, 781.
Vladimir, saint, ordre russe, institué par Catherine II, 303, 306, 634.
Voisin, abbé du, émigré; un des pensionnaires de la caisse des émigrés, 773.
Volkonski, prince; il va avec une commission officielle à Reinsberg, 658.
Volpato, artiste, 323.
Voltaire. Il est souvent nommé par Grimm «patriarche», ou «l'immortel patriarche» ou bien encore «le plus grand philosophe du siècle» 1, 15, 23; envoi d'une nouvelle édition de sès oeuvres, 20, 47, 51, 359; sur le paiement et l'envoi de son buste et de sa statue travaillés par Houdon, 19, 21, 25, 40, 65, 116, 146, 177, 314, 336, 341; sur l'aquisition et l'envoi de sa bibliothèque, 21, 40, 89; sur son monument que l'Impératrice voulait ériger à Pétersbourg, 21, 22; sur sa correspondance avec l'Imp. 22, 363; envoi de son manuscrit, 144, 149, 155; 27, 36, 69, 74, 94, 107, 113, 127, 131, 140, 169, 207, 249, 271, 316, 393, 405, 439, 441, 447, 501, 558, 549, 687.
Voyageur, le jeune; personnage qui n'est pas autrement nommé, mais qui semble désigner le c-te Alexis Grigorievitch Bobrinski. Sur ses dettes 359; sur des billets souscrits par lui et le moyen de les racheter, 361, 368; 359, 361, 362.

Wackenitz, 42.
Wagner, pasteur, précepteur de Catherine II, 230, 237, 276, 316, 322.
Waldeck, Chrétien Aug., prince de, général de l'armée autrichienne. Sur la bataille de Wissembourg, 465, 555; ruiné lui-même il soutient une masse d'émigrés français, 773; 702.
Walisky, sur le mariage de la pr. Louise de Prusse, 614.
Walpole, Horace; une conversation politique de G. avec lui, 390—1.
Walpole, Robert. La collection de ses tableaux est acheté par l'Impératrice, 45.
Walz, M^r^ de, officier, 26.
Wasa, comte de. Nom que le duc Charles de Sudermanie avait emprunté pendant son voyage à la cour de Russie.
Weber, artiste en camées, 141, 167, 173, 203, 228.
Weimar, duc de; voir Charles Auguste.
Weinheim, 686.
Weishaupt, Adam, chef de la secte des illuminés, qui écrivait sous le pseudonyme de Spartacus. Sur lui et ses écrits, 493, 527, 231; sur la force de son esprit, 531—2.
Weitbrecht, libraire de l'Imp., 316.
Weynach, Voir Bacchus.
Wiebeking, topographe, 811.
Wilhelmine, voir Thiimmel.
Wimpfen, Félix, baron de, membre de l'Assemblée Nationale; sur son rapport au comité, 372, 374, 399.
Winkelmann, Jean Joachim, célèbre antiquaire, président des antiquités à Rome et bibliohéquaire du Vatican, 26, 199, 295, 307.
Withworth, ingénieur anglais, 605; il est recommandé à l'Imp., 613.
Withworth, sir Charles, ministre plénipotentiaire d'Angleterre à la cour de Russie, 541, 592.
Woellner, Jean Christian de, ministre prussien, 510.
Worontsov, comte Siméon Romanovitch: sa nomination à Vénise, 247; G. lui écrit 361, et envoie sa réponse à l'Imp. 362; 514, 692.
Wurmser, Dagobert-Sigismond, comte de, général autrichien. Sur la battaille de Wissembourg, 465; sur la guerre austro-prussienne contre la France, 470; il est remplacé, 545; son retour dans l'ar-

mée 628; sur la reprise de Manheim, 658; il est obligé de transmettre à Louis XVIII l'ordre de se retirer de l'armée sous peine d'être arrêté, 767; bruit de la perte de deux battailles par lui, 770.

WURTEMBERG, duc de. Voir Frédéric-Eugène.

WURTEMBERG, Ferdinand, prince de; sur son échec, 723; son explication de cet échec, 749.

WURTEMBERG, Frédéric, prince de, devenu dans la suite roi. Ses assiduités auprès de G. et la reconnaissance de son mariage par le pape 434.

WURTEMBERG, princesse de. Voir Frédérique Sophie de Brandenbourg-Bareith.

WURTEMBERG, prince de, voir Fréderic.

XAVIER, fils du comte de Schomberg, 408.

YAKHANTOV, officier, russe. Apporte à G. une lettre de l'Imp. 257; 259, 268, 274, 288, 291, 293.

YELAGUINE, Ivan Perfiliévitch, ministre et directeur du théâtre de la cour; à propos des affaires de théâtre 23—4, 154; sur son histoire de Russie, 474, 480, 495.

YOUNG, Arthur, célèbre agronome; sur la société agricole fondée par lui, 607.

YRIARTE, chavalier de; ministre d'Espagne à Berlin; sur son jacobinisme, 594.

ZACH, François, baron de; astronome allemand distingué. Le duc de Gotha construisit un observatoire exprès pour lui, 802; sa haute opinion des capacités et du savoir de Nolken, 811.

ZAÏRE, tragédie de Voltaire, 551.

ZAVADOVSKI, comte Pierre Vassilievitch; à propos de l'affaire du «jeune voyageur» qui, paraît-il, passait pour le neveu du dit comte, 362, 374.

ZELMIRE, voir Augusta.

ZÉNOBIE, ouvrage de la c-tesse de Groing, 631.

ZERBST, princesse de. Voir Frédérique-Auguste-Sophie.

ZIMMERMANN, George, médecin et philosophe, 424, 432.

ZOUBOV, comte Nicolaï Alexandrovitch, écuyer de la cour, frère aîné du comte Platon; sur son mariage, 641.

ZOUBOV, comte Valérien Alexandrovitch; sur la prise de Derbent et autres victoires remportées par lui en Perse, 743, 747. 762, 787, 788.

ZOUBOV, prince Platon Alexandrovitch, grand-maître d'artillerie, dernier favori de Catherine II; sur ses travaux de traduction, 401, 730; G. lui envoie ses félicitations cordiales, 517, 540; 476, 573.

ZUCKMANTEL, baron de; 23, 66, 118, 138, 146, 160, 177, 179, 186, 197.

ZUG, 572.

ERRATA.

Page.	*Ligne.*		*Il faut lire:*
74.	5 et 6 d'en bas:	Voltaire disait dans le Pauvre Diable de Gresset	Voltaire disait, dans le Pauvre Diable, de Gresset
95.	dernière ligne:	du cabinet	des cabinets
481.	dernière ligne:	n'arriverta le	n'arrivera-t-il
802.	première ligne:	au pied de sa	au pied de la

Note. Nous croyons devoir repoduire ici une observation que M. Scherer, l'éminent biographe de Grimm, à eu l'obligeance de nous communiquer et qui se rapporte aux lignes 10 et 11 de la page 455: «Le passage des Actes des Apôtres dont Grimm se plaint est assez curieux; c'est la reproduction de la lettre de Montmorin, du 23 avril 1791, aux agents diplomatiques de la France, et une prétendue réponse de Grimm sous ce titre: «Fragments de la correspondance secrète du baron de Grimm avec la première fonctionnaire publique de toutes les Russies». On comprend l'ennui de Grimm en se voyant ainsi mis en scène comme correspondant confidentiel de Catherine et comme professant des opinions réactionnaires».

Voici encore quelques corrections à faire dans le volume des Lettres de Catherine à Grimm (tome XXIII du «Recueil»):

Page 382	*Ligne* 18	Au lieu de	poudre	il faut lire:	poche
» 632	» 16	»	Robert Pierre	»	Robertspierre *)
» 662	» 1	»	moax	»	macaques **)

*) C'est ainsi que le démagogue sanguinaire écrivait son nom au commencement de son activité, comme on peut s'en persuader par sa propre signature au-bas d'un document exposé dans la salle du jeu de paume à Versailles.

**) A cette correction, proposée par M. Scherer, nous nous permettons cependant de faire observer que le mot «moax» se trouve très lisiblement écrit dans la lettre originale de l'Impératrice.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВЫХЪ СОРОКА ТРЕХЪ ТОМОВЪ СБОРНИКА

Императорскаго Русскаго Историческаго Общества.

Томъ I. Уставъ Русскаго Историческаго Общества. — Рескрипты и письма им. Екатерины II на имя графа А. Г. Орлова. Сообщ. кн. Н. А. Орловымъ и изд. подъ наблюденіемъ А. Ѳ. Бычкова. — Бумаги изъ дѣла о самозванкѣ Таракановой. Сообщ. изъ Государственнаго Архива К. К .Злобинымъ.—О мемуарахъ герцога Карла Фридриха, отца им. Петра III, Барона М. А. Корфа. — Письма им. Екатерины II къ принцу Нассау-Зигенъ. Сообщ. княземъ П. А. Вяземскимъ. — Бумаги изъ дѣлъ о генералъ-прокурорѣ Глѣбовѣ и о сибирскомъ слѣдователѣ Крыловѣ.— Письма им. Екатерины II къ г-жѣ Жоффренъ. Сообщ. А. Ѳ. Гамбургеромъ. — Переписка по дѣлу объ открытіи въ Бѣлоруссіи Іезуитскаго новиціата. Князя М. А. Оболенскаго и пр. ..... Цѣна 2 р.

Томъ II. Дипломатическія сношенія между Россіею и Швеціею въ первые годы царствованія им. Александра I. Статья К. К. Злобина. — Новые документы по дѣлу Новикова Сообщены А. Н. Поповымъ. — Записка графа Поццо ди Борго о немъ самомъ. Сообщено К. К. Злобинымъ. — Депеши графа Литты, посланника мальтійскаго ордена въ С.-Петербургѣ. Сообщены А. Ѳ. Бычковымъ; примѣчанія князя П. П. Вяземскаго.— Выписки о государственныхъ учрежденіяхъ, основанныхъ им. Екатериною II, съ 1762 по 1769 годъ. Сообщ. графомъ А. С. Уваровымъ. — Извлеченія изъ бумагъ графа Г. Г. Орлова. Сообщ. княземъ Н. А. Орловымъ.—Записка барона Т. Димсделя, о пребываніи его въ Россіи и пр. Цѣна 2 р.

Томъ III. Записка Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго о министерствахъ. Сообщ. А. Н. Поповымъ.—Записка графа І. Каподистріа о его служебной дѣятельности. Сообщ. изъ Государственнаго архива въ С.-Петербургѣ. — Отвѣтное письмо графа І. Каподистріа Петро-Бею, вождю Спартанцевъ.— Инструкція, данная им. Екатериною II-ю, фонъ-Ребиндеру. Сообщ. А. Х. Бекомъ. — Письма им. Александра I-го къ княгинѣ З. А. Волконской. Сообщено княземъ А. Н. Волконскимъ.—Дипломатическіе документы, относящіеся къ исторіи Россіи въ XVIII ст. Сообщено изъ дѣлъ саксонскаго государственнаго архива, въ Дрезденѣ, профессоромъ Э. Германомъ ..... Цѣна 3 р.

Томъ IV. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Коммисіи для сочиненія проекта Новаго Уложенія, собранныя и приведенныя въ порядокъ Д. В. Полѣновымъ. Часть I. Ц. 3 р.

Томъ V. Письма им. Александра I и другихъ особъ царствующаго дома къ Ф. Ц. Лагарпу. Сообщено Е. И. В. Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ. — Проектъ кн. М. Н. Волконскаго о лучшемъ учрежденіи судебныхъ мѣстъ, поданный им. Екатеринѣ II, въ 1775 г. Сообщено А. Н. Поповымъ. — Бумаги князя Н. В. Репнина. Сообщено изъ семейнаго архива кн. Н. В. Репнинымъ. — Государственные доходы и расходы въ царствованіе им. Екатерины II. Сообщено А. Н. Куломзинымъ.—Дипломатическіе документы, относящіеся къ исторіи Россіи XVIII столѣтія. Сообщено изъ дѣлъ саксонскаго государственнаго архива въ Дрезденѣ, Э. Германомъ. Письма гр. Петра Ив. Панина къ сыну гр. Никитѣ Петровичу. Сообщено гр. В. Н. Панинымъ ..... Цѣна 3 р.

Томъ VI. Письма адмирала Чичагова къ им. Александру I. Сообщено М. И. Богдановичемъ. — Бумаги графа П. И. Панина о пугачевскомъ бунтѣ. Сообщено гр. В. Н. Панинымъ — Государственные доходы и расходы въ царствованіе им. Екатерины II. Сообщено А. Н. Куломзинымъ. — Бумаги кн. Н. В. Репнина. Сообщен. кн. Н. В. Репнинымъ. — Записка князя А. А. Чарторижскаго им. Александру I, 26 іюня 1807 года.— Дипломатическіе документы, относящіеся къ исторіи Россіи XVIII столѣтія. Сообщено изъ саксонскаго государственнаго архива Э. Германомъ ..... Цѣна 3 р.

Томъ VII. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящіяся въ Государственномъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Собраны и изданы, съ Высочайшаго соизволенія, по предначертанію Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича, академикомъ Пекарскимъ (здѣсь помѣщено болѣе 400-тъ преимущественно собственноручныхъ бумагъ Императрицы, съ 1744 по 1764 г. включительно). Часть I ..... Цѣна 3 р.

Томъ VIII. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Коммиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія, собранныя и приведенныя въ порядокъ Д. В. Полѣновымъ. Часть II..... Цѣна 3 р.

Томъ IX. 1, Бумаги изъ архива дворца въ г. Павловскѣ, 1782 г. Сообщено кн. А. П. Вяземскимъ; документы эти напечатаны съ разрѣшенія Е. И. В. Великаго Князя Константина Николаевича. 2, Переписка относительно несостоявшагося брака Густава-Адольфа IV съ Великою Княжною Александрою Павловною. 3, Переписка гр. П. А. Румянцова съ гр. Н. И. Панинымъ, въ 1765 и 1771 гг. 4, Письма кн. А. А. Чарторижскаго къ Н. Н. Новосильцеву. 5, Изъ бумагъ Ивана Ивановича Шувалова (Письма Апраксина, Румянцова, Бутурлина и Салтыкова къ И. И. Шувалову)..... Цѣна 3 р.

Томъ X. Бумаги им. Екатерины II, хранящіяся въ Государственномъ архивѣ М. И. Д., съ 1765—1771 г. Собраны и изданы съ Высочайшаго соизволенія академикомъ Пекарскимъ. Часть II..... Цѣна 3 р.

Томъ XI. Письма, указы и замѣтки Петра I-го, доставленные кн. П. Д. Волконскимъ, Н. В. Калачевымъ и извлеченные изъ архива Прав. Сената. Всѣхъ документовъ свыше 600. Собраны и изданы академикомъ А. Ѳ. Бычковымъ..... Цѣна 3 р.

Томъ XII. Дипломатическая переписка Англійскихъ пословъ и посланниковъ при Русскомъ дворѣ, съ 1762 по 1769 г. включительно. Сообщено изъ Англійскаго Государств. архива и архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Часть I..... Цѣна 3 р.

Томъ XIII. Бумаги им. Екатерины II, хран. въ Госуд. архивѣ. М. И. Д., съ 1771—1774 г., изданы академикомъ Я. К. Гротомъ. Часть III..... Цѣна 3 р.

Томъ XIV. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Коммиссіи для сочиненія проекта Новаго Уложенія, собранныя и изданныя Д. В. Полѣновымъ. Часть III..... Цѣна 3 р.

Томъ XV. 1, Бумаги изъ архива дворца въ г. Павловскѣ. 2, Донесенія барона Мардефельда, прусскаго посланника при Петрѣ Великомъ. 3, Бумаги князя Репнина, за время константинопольскаго посольства..... Цѣна 3 р.

Томъ XVI. Бумаги кн. Н. В. Репнина, за время управленія его Литвою, изд. Н. И. Костомаровымъ..... Цѣна 3 р.

Томъ XVII. Переписка императрицы Екатерины II съ Фальконетомъ... Цѣна 3 р.

Томъ XVIII. Донесенія графа Мерси д'Аржанто императрицѣ Маріи Терезіи и государственному канцлеру, графу Кауницу-Ритбергу, съ 5-го января новаго стиля 1762 года по 24 іюля нов. ст. 1762 года, и переписка гр. Мерси съ русскимъ министерствомъ. Изданы Г. Ѳ. Штендманомъ. Часть I..... Цѣна 3 р.

Томъ XIX. Дипломатическая переписка Англійскихъ пословъ и посланниковъ при Русскомъ дворѣ, съ 1770 по 1776 г. включительно. Сообщено изъ Англійскаго Государств. архива и архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Часть II..... Цѣна 3 р.

Томъ XX. 1, Дипломатическіе матеріалы сборнаго содержанія, относящіеся къ царствованію Петра Великаго. 2, Дипломатическіе документы, относящіеся къ исторіи Россіи XVIII столѣтія. 3, Переписка императрицы Екатерины II съ королемъ Фридрихомъ II. Сообщено Имперскимъ Канцлеромъ Княземъ Бисмаркомъ и Госуд. Канцлеромъ Княземъ А. М. Горчаковымъ. 4, Собственноручныя письма Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны (въ послѣдствіи императрицы) къ барону Карлу Ивановичу Сакену, посланнику при датскомъ дворѣ. 5, Письма Великаго Князя Павла Петровича (въ послѣдствіи императора Павла I къ барону Карлу Ивановичу Сакену, посланнику при датскомъ дворѣ. 6, Проектъ императрицы Екатерины II объ устройствѣ свободныхъ сельскихъ обывателей. 7, Записка Государственнаго Секретаря А. Н. Оленина о засѣданіи Государственнаго Совѣта, по полученіи извѣстія о кончинѣ императора Александра I. 8, Отчетъ о годичномъ собраніи Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, происходившемъ 17-го Марта 1877 года, въ Аничковскомъ дворцѣ, подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича. 9, Сотрудничество Екатерины II въ «Собесѣдникѣ» княгини Дашковой. Сообщено академикомъ Я. К. Гротомъ..... Цѣна 3 р.

Томъ XXI. 1) Донесенія А. И. Чернышева им. Александру I., 1810 и 1811 гг., 2) Донесенія А. И. Чернышева канцлеру графу Н. П. Румянцову, 1811 г. 3) Письма А. И. Чернышева канцлеру графу Н. П. Румянцову, 1809 г. 4) Донесенія Им. Александру I кн. А. Б. Куракина, 1811 и 1812 гг. 5) Донесенія кн. А. Б. Куракина канцлеру Н. П. Румянцову, 1811 и 1812 гг. 6) Письмо графа П. А. Шувалова им. Александру I, 1811 г. 7) Донесенія бар. Сухтелена им. Александру I, 1812 г. Сообщено А. Н. Поповымъ изъ дѣлъ Гос. архива въ С.-Петербургѣ. 8) Отчетъ о дѣлахъ 1810 г., представленный им. Александру I, М. М. Сперанскимъ. Сообщено А. Ѳ. Бычковымъ..... Цѣна 3 р.

Томъ XXII. Дипломатическая переписка прусскихъ посланниковъ при русскомъ дворѣ: 1, Донесенія гр. Сольмса Фридриху II, и отвѣты короля, съ 1763 по 1766 г.; 2, Шесть приложеній къ донесенію гр. Сольмса королю, отъ 15 (26) октября 1766 г., № 270. Сообщено изъ Берлинскаго Госуд. архива. Документы изданы подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Штендмана. Часть I..... Цѣна 3 р.

Томъ XXIII. Письма им. Екатерины II барону Мельхіору Гримму. Сообщ. изъ Государ. архива Мин. Ин. Дѣлъ въ С.-Петербургѣ. Изд. академикомъ Я. К. Гротомъ. Цѣна 3 р.

Томъ XXIV. Донесенія нидерландскихъ посланниковъ о ихъ посольствѣ въ Швецію и Россію, въ 1615 и 1616 гг. Сообщ. изъ Нидерландскаго Государственнаго архива. Изданы А. Х. Бекомъ..... Цѣна 3 р.

Томъ XXV. Переписка и бумаги гр. Бориса Петровича Шереметева, съ 1704—1718 г., и другія бумаги. Съ портретомъ им. Петра Великаго. Изданы гр. С. Д. Шереметевымъ. Цѣна 3 р.

Томъ XXVI. Канцлеръ кн. Александръ Андреевичъ Безбородко въ связи съ событіями его времени. Н. И. Григоровича. Съ гравюрою и снимками почерковъ. 1747—1787 гг. Томъ I.....Цѣна 3 р.

Томъ XXVII. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящ. въ государ. архивѣ Минис. Иностр. Дѣлъ; съ 1774 по 1788 г. Собраны академ. Я. К. Гротомъ и напеч. подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Штендмана. Часть IV.....Цѣна 3 р.

Томъ XXVIII. Финансовые документы царствованія импер. Екатерины II. Собраны и изданы А. Н. Куломзинымъ. Т. I.....Цѣна 3 р.

Томъ XXIX. Канцлеръ князь Александръ Андреевичъ Безбородко въ связи съ событіями его времени. Н. И. Григоровича. Съ 2-мя гравюрами и планомъ. 1788 — 1799 гг. Томъ II.....Цѣна 3 р.

Томъ XXX. Годы ученія Его Импер. Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича. Т. I.....Цѣна 4 р.

Томъ XXXI. Годы ученія Его Импер. Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича. Т. II.....Цѣна 4 р.

Томъ XXXII. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской коммиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія. Собраны и напеч. подъ наблюд. проф. В. И. Сергѣевича. Часть IV.....Цѣна 3 р.

Томъ XXXIII. 1, Письма барона Мельхіора Гримма къ импер. Екатеринѣ II, съ приложеніями. 2, Письма Эрнеста—Іоганна Бирона посланнику Герману Кейзерлингу. 3, Письма Дидро къ импер. Екатеринѣ II, съ примѣчаніями.....Цѣна 3 р.

Томъ XXXIV. Донесенія французскихъ посланниковъ и повѣренныхъ въ дѣлахъ при Русскомъ дворѣ; повелѣнія правительства и отчеты о пребываніи русскихъословъ, посланниковъ и дипломатическихъ агентовъ, наход. во Франціи, съ 1681 по 1718 годъ. Сообщено изъ архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Парижѣ. Напечатано подъ наблюденіемъ А. А. Половцова, А. Ѳ. Бычкова и Г. Ѳ. Штендмана. Часть I-ая..Цѣна 8 р.

Томъ XXXV. Памятники дипломатическихъ сношеній древней Россіи съ Польшею, въ царствованіе Вел. Кн. Ивана Васильевича, съ 1487 года. Напечатано подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Карпова. Томъ I.....Цѣна 3 р,

Томъ XXXVI. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской коммисіи для сочиненія проэкта новаго уложенія. Собраны и напечатаны подъ наблюденіемъ профессора В. И. Сергѣевича. Часть V.....Цѣна 2 р.

Томъ XXXVII. Дипломатическая переписка прусскаго короля Фридриха II съ гр. Сольмсомъ, посланникомъ при Русскомъ дворѣ. Сообщ. изъ Берлинскаго Государ. архива Томъ изданъ подъ наблюд. Г. Ѳ. Штендмана. Часть II.....Цѣна 3 р.

Томъ XXXVIII. Памятники дипломатическихъ сношеній Московскаго государства съ Англіею. Съ 1581 по 1604 годъ. Изданъ подъ наблюден. К. Н. Бестужева-Рюмина. Томъ II.....Цѣна 3 р.

Томъ XXXIX. Дипломатическая переписка англійскихъ посланниковъ при Русскомъ дворѣ, съ 1704 — 1708 г. Сообщено изъ Англійскаго Государственнаго архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Часть III.....Цѣна 3 р.

Томъ XL. Дипломатическая переписка французскихъ посланниковъ и агентовъ при Русскомъ дворѣ, съ 1719 — 1723 г. Напеч. подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Штендмана...Цѣна 3 р.

Томъ XLI. Памятники дипломатическихъ сношеній Россіи съ азіятскими народами Крымомъ, Казанью, Ногайцами и Турціею, за время Великихъ Князей Іоанна III и Василія Іоанновича. Напеч. подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Карпова.....Цѣна 3 р.

Томъ XLII. Бумаги имп. Екатерины II, хранящ. въ госуд. архивѣ Мин. Иностр. Дѣлъ, съ 1788 по 1796 гг. Собраны академикомъ Я. К. Гротомъ и напачатаны подъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Штендмана. Часть V.....Цѣна 3 р.

Томъ XLIII. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Коммиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія. Собраны и напечатаны подъ наблюденіемъ профессора В. И. Сергѣевича. Часть VI.....Цѣна 3 р.

Къ каждому тому Сборника приложенъ азбучный указатель именъ.